МИРОВАЯ КЛАССИКА

М. ШОЛОХОВ

Тихий Дон
Том 1

Annotation

Вниманию читателей предлагается одно из лучших произведений М.Шолохова — роман «Тихий Дон», повествующий о классовой борьбе в годы империалистической и гражданской войн на Дону, о трудном пути донского казачества в революцию.

«…По языку сердечности, человечности, пластичности — произведение общерусское, национальное», которое останется явлением литературы во все времена.

Словно сама жизнь говорит со страниц «Тихого Дона». Запахи степи, свежесть вольного ветра, зной и стужа, живая речь людей — все это сливается в раздольную, неповторимую мелодию, поражающую трагической красотой и подлинностью. Разве можно забыть мятущегося в поисках правды Григория Мелехова? Его мучительный путь в пламени гражданской войны, его пронзительную, неизбывную любовь к Аксинье, все изломы этой тяжелой и такой прекрасной судьбы?

http://booksreader.ru

- Михаил Шолохов
  - Тихий Дон
    - * КНИГА ПЕРВАЯ *
      -
      - * ЧАСТЬ ПЕРВАЯ *
        - I
        - II
        - III
        - IV
        - V
        - VI
        - VII
        - VIII
        - IX
        - X
        - XI
        - XII
        - XIII
        - XIV
        - XV
        - XVI
        - XVII
        - XVIII
        - XIX
        - XX
        - XXI
        - XXII
        - XXIII

- * ЧАСТЬ ВТОРАЯ *
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII
  - IX
  - X
  - XI
  - XII
  - XIII
  - XIV
  - XV
  - XVI
  - XVII
  - XVIII
  - XIX
  - XX
  - XXI
- * ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ *
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII
  - IX
  - X
  - XI
  - XII
  - XIII
  - XIV
  - XV
  - XVI
  - XVII
  - XVIII
  - XIX
  - XX
  - XXI
  - XXII
  - XXIII

- XXIV
- * КНИГА ВТОРАЯ *
  - * ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ *
    - I
    - II
    - III
    - IV
    - V
    - VI
    - VII
    - VIII
    - IX
    - X
    - XI
    - XII
    - XIII
    - XIV
    - XV
    - XVI
    - XVII
    - XVIII
    - XIX
    - XX
    - XXI
  - * ЧАСТЬ ПЯТАЯ *
    - I
    - II
    - III
    - IV
    - V
    - VI
    - VII
    - VIII
    - IX
    - X
    - XI
    - XII
    - XIII
    - XIV
    - XV
    - XVI
    - XVII
    - XVIII
    - XIX
    - XX
    - XXI
    - XXII

- XXIII
- XXIV
- XXV
- XXVI
- XXVII
- XXVIII
- XXIX
- XXX
- XXXI

- * КНИГА ТРЕТЬЯ *
  -
  - * ЧАСТЬ ШЕСТАЯ *
    - I
    - II
    - III
    - IV
    - V
    - VI
    - VII
    - VIII
    - IX
    - X
    - XI
    - XII
    - XIII
    - XIV
    - XV
    - XVI
    - XVII
    - XVIII
    - XIX
    - XX
    - XXI
    - XXII
    - XXIII
    - XXIV
    - XXV
    - XXVI
    - XXVII
    - XXVIII
    - XXIX
    - XXX
    - XXXI
    - XXXII
    - XXXIII
    - XXXIV
    - XXXV

- XXXVI
- XXXVII
- XXXVIII
- XXXIX
- XL
- XLI
- XLII
- XLIII
- XLIV
- XLV
- XLVI
- XLVII
- XLVIII
- XLIX
- L
- LI
- LII
- LIII
- LIV
- LV
- LVI
- LVII
- LVIII
- LIX
- LX
- LXI
- LXII
- LXIII
- LXIV
- LXV
- * КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ *
  - * ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ *
    - I
    - II
    - III
    - IV
    - V
    - VI
    - VII
    - VIII
    - IX
    - X
    - XI
    - XII
    - XIII
    - XIV
    - XV

- XVI
- XVII
- XVIII
- XIX
- XX
- XXI
- XXII
- XXIII
- XXIV
- XXV
- XXVI
- XXVII
- XXVIII
- XXIX
- * ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ *
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII
  - IX
  - X
  - XI
  - XII
  - XIII
  - XIV
  - XV
  - XVI
  - XVII
  - XVIII
- * ПРИМЕЧАНИЯ *

Михаил Шолохов

Тихий Дон

* КНИГА ПЕРВАЯ *

Не сохами-то славная землюшка наша распахана…
Распахана наша землюшка лошадиными копытами,
А засеяна славная землюшка казацкими головами,
Украшен-то наш тихий Дон молодыми вдовами,
Цветет наш батюшка тихий Дон сиротами,
Наполнена волна в тихом Дону отцовскими, материнскими слезами.
Ой ты, наш батюшка тихий Дон!
Ой, что же ты, тихий Дон, мутнехонек течешь?
Ах, как мне, тихому Дону, не мутну течи!
Со дна меня, тиха Дона, студены ключи бьют,
Посередь меня, тиха Дона, бела рыбица мутит

Старинные казачьи песни

* ЧАСТЬ ПЕРВАЯ *

I

Мелеховский двор — на самом краю хутора. Воротца со скотиньего база ведут на север к Дону. Крутой восьмисаженный спуск меж замшелых в прозелени меловых глыб, и вот берег: перламутровая россыпь ракушек, серая изломистая кайма нацелованной волнами гальки и дальше — перекипающее под ветром вороненой рябью стремя Дона. На восток, за красноталом гуменных плетней, — Гетманский шлях, полынная проседь, истоптанный конскими копытами бурый, живущий придорожник, часовенка на развилке; за ней — задернутая текучим маревом степь. С юга — меловая хребтина горы. На запад — улица, пронизывающая площадь, бегущая к займищу.

В предпоследнюю турецкую кампанию вернулся в хутор казак Мелехов Прокофий. Из Туретчины привел он жену — маленькую, закутанную в шаль женщину. Она прятала лицо, редко показывая тоскующие одичалые глаза. Пахла шелковая шаль далекими неведомыми запахами, радужные узоры ее питали бабью зависть. Пленная турчанка сторонилась родных Прокофия, и старик Мелехов вскоре отделил сына. В курень его не ходил до смерти, не забывая обиды.

Прокофий обстроился скоро: плотники срубили курень, сам пригородил базы для скотины и к осени увел на новое хозяйство сгорбленную иноземку-жену. Шел с ней за арбой с имуществом по хутору — высыпали на улицу все, от мала до велика. Казаки сдержанно посмеивались в бороды, голосисто перекликались бабы, орда немытых казачат улюлюкала Прокофию вслед, но он, распахнув чекмень, шел медленно, как по пахотной борозде, сжимал в черной ладони хрупкую кисть жениной руки, непокорно нес белесо-чубатую голову, — лишь под скулами у него пухли и катались желваки да промеж каменных, по всегдашней неподвижности, бровей проступил пот.

С той поры редко видели его в хуторе, не бывал он и на майдане. Жил в своем курене, на отшибе у Дона, бирюком. Гутарили про него по хутору чудное. Ребятишки, пасшие за прогоном телят, рассказывали, будто видели они, как Прокофий вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до Татарского, ажник, кургана. Сажал ее там на макушке кургана, спиной

к источенному столетиями ноздреватому камню, садился с ней рядом, и так подолгу глядели они в степь. Глядели до тех пор, пока истухала заря, а потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил домой. Хутор терялся в догадках, подыскивая объяснение таким диковинным поступкам, бабам за разговорами поискаться некогда было. Разно гутарили и о жене Прокофия: одни утверждали, что красоты она досель невиданной, другие — наоборот. Решилось все после того, как самая отчаянная из баб, жалмерка Мавра, сбегала к Прокофию будто бы за свежей накваской. Прокофий полез за накваской в погреб, а за это время Мавра и разглядела, что турчанка попалась Прокофию последняя из никудышных…

Спустя время раскрасневшаяся Мавра, с платком, съехавшим набок, торочила на проулке бабьей толпе:

— И что он, милушки, нашел в ней хорошего? Хоть бы баба была, а то так… Ни заду, ни пуза, одна страма. У нас девки глаже ее выгуливаются. В стану — перервать можно, как оса; глазюки — черные, здоровющие, стригеть ими, как сатана, прости бог. Должно, на сносях дохаживает, ей-бо!

— На сносях? — дивились бабы.

— Кубыть, не махонькая, сама трех вынянчила.

— А с лица-то как?

— С лица-то? Желтая. Глаза тусменныи, — небось не сладко на чужой сторонушке. А ишо, бабоньки, ходит-то она… в Прокофьевых шароварах.

— Ну-у?.. — ахали бабы испуганно и дружно.

— Сама видала — в шароварах, только без лампасин. Должно, буднишные его подцепила. Длинная на ней рубаха, а из-под рубахи шаровары, в чулки вобратые. Я как разглядела, так и захолонуло во мне…

Шепотом гутарили по хутору, что Прокофьева жена ведьмачит. Сноха Астаховых (жили Астаховы от хутора крайние к Прокофию) божилась, будто на второй день троицы, перед светом, видела, как Прокофьева жена, простоволосая и босая, доила на их базу корову. С тех пор ссохлось у коровы вымя в детский кулачок, отбила от молока и вскоре издохла.

В тот год случился небывалый падеж скота. На стойле возле Дона каждый день пятнилась песчаная коса трупами коров и молодняка. Падеж перекинулся на лошадей. Таяли конские косяки, гулявшие на станичном отводе. И вот тут-то прополз по проулкам и улицам черный слушок…

С хуторского схода пришли казаки к Прокофию.

Хозяин вышел на крыльцо, кланяясь.

— За чем добрым пожаловали, господа старики?

Толпа, подступая к крыльцу, немо молчала.

Наконец один подвыпивший старик первым крикнул:

— Волоки нам свою ведьму! Суд наведем!..

Прокофий кинулся в дом, но в сенцах его догнали. Рослый батареец, по уличному прозвищу Люшня, стукал Прокофия головой о стену, уговаривал:

— Не шуми, не шуми, нечего тут!.. Тебя не тронем, а бабу твою в землю втолочим. Лучше ее уничтожить, чем всему хутору без скотины гибнуть. А ты не шуми, а то головой стену развалю!

— Тяни ее, суку, на баз!.. — гахнули у крыльца.

Полчанин Прокофия, намотав на руку волосы турчанки, другой рукой зажимая рот ее, распяленный в крике, бегом протащил ее через сени и кинул под ноги толпе. Тонкий вскрик просверлил ревущие голоса.

Прокофий раскидал шестерых казаков и, вломившись в горницу, сорвал со стены шашку.

Давя друг друга, казаки шарахнулись из сенцев. Кружа над головой мерцающую, взвизгивающую шашку, Прокофий сбежал с крыльца. Толпа дрогнула и рассыпалась по двору.

У амбара Прокофий настиг тяжелого в беге батарейца Люшню и сзади, с левого плеча наискось, развалил его до пояса. Казаки, выламывавшие из плетня колья, сыпанули через гумно в степь.

Через полчаса осмелевшая толпа подступила ко двору. Двое разведчиков, пожимаясь, вошли в сенцы. На пороге кухни, подплывшая кровью, неловко запрокинув голову, лежала Прокофьева жена; в прорези мученически оскаленных зубов ее ворочался искусанный язык. Прокофий, с трясущейся головой и остановившимся взглядом, кутал в овчинную шубу попискивающий комочек — преждевременно родившегося ребенка.

Жена Прокофия умерла вечером этого же дня. Недоношенного ребенка, сжалившись, взяла бабка, Прокофьева мать.

Его обложили пареными отрубями, поили кобыльим молоком и через месяц, убедившись в том, что смуглый турковатый мальчонок выживет, понесли в церковь, окрестили. Назвали по деду Пантелеем. Прокофий вернулся с каторги через двенадцать лет. Подстриженная рыжая с проседью борода и обычная русская одежда делала его чужим, непохожим на казака. Он взял сына и стал на хозяйство.

Пантелей рос исчерна-смуглым, бедовым. Схож был на мать лицом и подбористой фигурой.

Женил его Прокофий на казачке — дочери соседа.

С тех пор и пошла турецкая кровь скрещиваться с казачьей. Отсюда и повелись в хуторе горбоносые, диковато-красивые казаки Мелеховы, а по-уличному — Турки.

Похоронив отца, въелся Пантелей в хозяйство: заново покрыл дом, прирезал к усадьбе с полдесятины гулевой земли, выстроил новые сараи и амбар под жестью. Кровельщик по хозяйскому заказу вырезал из обрезков пару жестяных петухов, укрепил их на крыше амбара. Веселили они мелеховский баз беспечным своим видом, придавая и ему вид самодовольный и зажиточный.

Под уклон сползавших годков закряжистел Пантелей Прокофьевич: раздался в ширину, чуть ссутулился, но все же выглядел стариком складным. Был сух в кости, хром (в молодости на императорском смотру на скачках сломал левую ногу), носил в левом ухе серебряную полумесяцем серьгу, до старости не слиняли на нем вороной масти борода и волосы, в гневе доходил до беспамятства и, как видно, этим раньше времени состарил свою когда-то красивую, а теперь сплошь опутанную паутиной морщин, дородную жену.

Старший, уже женатый сын его, Петро, напоминал мать: небольшой, курносый, в буйной повители пшеничного цвета волос, кареглазый; а младший, Григорий, в отца попер: на полголовы выше Петра, хоть на шесть лет моложе, такой же, как у бати, вислый коршунячий нос, в чуть косых прорезях подсиненные миндалины горячих глаз, острые плиты скул обтянуты коричневой румянеющей кожей. Так же сутулился Григорий, как и отец, даже в улыбке было у обоих общее, звероватое.

Дуняшка — отцова слабость — длиннорукий, большеглазый подросток, да Петрова жена Дарья с малым дитем — вот и вся мелеховская семья.

II

Редкие в пепельном рассветном небе зыбились звезды. Из-под туч тянул ветер. Над Доном на дыбах ходил туман и, пластаясь по откосу меловой горы, сползал в яры серой

безголовой гадюкой. Левобережное Обдонье, пески, ендовы [1], камышистая непролазь, лес в росе — полыхали исступленным холодным заревом. За чертой, не всходя, томилось солнце.

В мелеховском курене первый оторвался ото сна Пантелей Прокофьевич. Застегивая на ходу ворот расшитой крестиками рубахи, вышел на крыльцо. Затравевший двор выложен росным серебром. Выпустил на проулок скотину. Дарья в исподнице пробежала доить коров. На икры белых босых ее ног молозивом брызгала роса, по траве через баз лег дымчатый примятый след.

Пантелей Прокофьевич поглядел, как прямится примятая Дарьиными ногами трава, пошел в горницу.

На подоконнике распахнутого окна мертвенно розовели лепестки отцветавшей в палисаднике вишни. Григорий спал ничком, кинув наотмашь руку.

— Гришка, рыбалить поедешь?

— Чего ты? — шепотом спросил тот и свесил с кровати ноги.

— Поедем, посидим зорю.

Григорий, посапывая, стянул с подвески будничные шаровары, вобрал их в белые шерстяные чулки и долго надевал чирик, выправляя подвернувшийся задник.

— А приваду маманя варила? — сипло спросил он, выходя за отцом в сенцы.

— Варила. Иди к баркасу, я зараз.

Старик ссыпал в рубашку распаренное пахучее жито, по-хозяйски смел на ладонь упавшие зерна и, припадая на левую ногу, захромал к спуску. Григорий, нахохлясь, сидел в баркасе.

— Куда править?

— К Черному яру. Спробуем возле энтой карши, где надысь сидели.

Баркас, черканув кормою землю, осел в воду, оторвался от берега. Стремя понесло его, покачивая, норовя повернуть боком. Григорий, не огребаясь, правил веслом.

— Гребани, что ль.

— А вот на середку выберемся.

Пересекая быстрину, баркас двинулся к левому берегу. От хутора догоняли их глухие на воде петушиные переклики. Чертя бортом черный хрящеватый яр, лежавший над водой урубом, баркас причалил к котловине. Саженях в пяти от берега виднелись из воды раскоряченные ветви затонувшего вяза. Вокруг него коловерть гоняла бурые комья пены.

— Разматывай, а я заприважу, — шепнул Григорию отец и сунул ладонь в парное зевло кубышки.

Жито четко брызнуло по воде, словно кто вполголоса шепнул: «Шик!» Григорий нанизал на крючок взбухшие зерна, улыбнулся:

— Ловись, ловись, рыбка, большая и малая.

Леса, упавшая в воду кругами, вытянулась струной и снова ослабла, едва грузило коснулось дна. Григорий ногой придавил конец удилища, полез, стараясь не шелохнуться, за кисетом.

— Не будет, батя, дела… Месяц на ущербе.

— Серники захватил?

— Ага.

— Дай огню.

Старик закурил, поглядел на солнце, застрявшее по ту сторону коряги.

— Сазан, он разно берет. И на ущербе иной раз возьмется.

— Чутно, мелочь насадку обсекает, — вздохнул Григорий.

Возле баркаса, хлюпнув, схлынула вода, и двухаршинный, словно слитый из красной

меди, сазан со стоном прыгнул вверх, сдвоив по воде изогнутым лопушистым хвостом. Зернистые брызги засеяли баркас.

— Теперя жди! — Пантелей Прокофьевич вытер рукавом мокрую бороду.

Около затонувшего вяза, в рукастых оголенных ветвях одновременно выпрыгнули два сазана; третий, поменьше, ввинчиваясь в воздух, настойчиво раз за разом бился у яра.

Григорий нетерпеливо жевал размокший конец самокрутки. Неяркое солнце стало в полдуба. Пантелей Прокофьевич израсходовал всю приваду и, недовольно подобрав губы, тупо глядел на недвижный конец удилища.

Григорий выплюнул остаток цигарки, злобно проследил за стремительным его полетом. В душе он ругал отца за то, что разбудил спозаранку, не дал выспаться. Во рту от выкуренного натощак табака воняло припаленной щетиной. Нагнулся было зачерпнуть в пригоршню воды — в это время конец удилища, торчавший на пол-аршина от воды, слабо качнулся, медленно пополз книзу.

— Засекай! — выдохнул старик.

Григорий, встрепенувшись, потянул удилище, но конец стремительно зарылся в воду, удилище согнулось от руки обручем. Словно воротом, огромная сила тянула вниз тугое красноталовое удилище.

— Держи! — стонал старик, отпихивая баркас от берега.

Григорий силился поднять удилище и не мог. Сухо чмокнув, лопнула толстая леса. Григорий качнулся, теряя равновесие.

— Ну и бугай! — пришептывал Пантелей Прокофьевич, не попадая жалом крючка в насадку.

Взволнованно посмеиваясь, Григорий навязал новую лесу, закинул.

Едва грузило достигло дна, конец погнуло.

— Вот он, дьявол!.. — хмыкнул Григорий, с трудом отрывая от дна метнувшуюся к стремени рыбу.

Леса, пронзительно брунжа, зачертила воду, за ней косым зеленоватым полотном вставала вода. Пантелей Прокофьевич перебирал обрубковатыми пальцами держак черпала.

— Заверни его на воду! Держи, а то пилой рубанет!

— Небось!

Большой изжелта-красный сазан поднялся на поверхность, вспенил воду и, угнув тупую лобастую голову, опять шарахнулся вглубь.

— Давит, аж рука занемела… Нет, погоди!

— Держи, Гришка!

— Держу-у-у!

— Гляди под баркас не пущай!.. Гляди!

Переводя дух, подвел Григорий к баркасу лежавшего на боку сазана. Старик сунулся было с черпалом, но сазан, напрягая последние силы, вновь ушел в глубину.

— Голову его подымай! Нехай глотнет ветру, он посмирнеет.

Выводив, Григорий снова подтянул к баркасу измученного сазана. Зевая широко раскрытым ртом, тот ткнулся носом в шершавый борт и стал, переливая шевелящееся оранжевое золото плавников.

— Отвоевался! — крякнул Пантелей Прокофьевич, поддевая его черпаком.

Посидели еще с полчаса. Стихал сазаний бой.

— Сматывай, Гришка. Должно, последнего запрягли, ишо не дождемся.

Собрались. Григорий оттолкнулся от берега. Проехали половину пути. По лицу отца Григорий видел, что хочет тот что-то сказать, но старик молча поглядывал на разметанные

под горой дворы хутора.

— Ты, Григорий, вот что… — нерешительно начал он, теребя завязки лежавшего под ногами мешка, — примечаю, ты, никак, с Аксиньей Астаховой…

Григорий густо покраснел, отвернулся. Воротник рубахи, врезаясь в мускулистую прижженную солнцегревом шею, выдавил белую полоску.

— Ты гляди, парень, — уже жестко и зло продолжал старик, — я с тобой не так загутарю. Степан нам сосед, и с его бабой не дозволю баловать. Тут дело могет до греха взыграть, а я наперед упреждаю: примечу — запорю!

Пантелей Прокофьевич ссучил пальцы в узловатый кулак, — жмуря выпуклые глаза, глядел, как с лица сына сливала кровь.

— Наговоры, — глухо, как из воды, буркнул Григорий и прямо в синеватую переносицу поглядел отцу.

— Ты помалкивай.

— Мало что люди гутарют…

— Цыц, сукин сын!

Григорий слег над веслом. Баркас заходил скачками. Завитушками заплясала люлюкающая за кормой вода.

До пристани молчали оба. Уже подъезжая к берегу, отец напомнил:

— Гляди не забудь, а нет — с нонешнего дня прикрыть все игрища. Чтоб с базу ни шагу. Так-то!

Промолчал Григорий. Примыкая баркас, спросил:

— Рыбу бабам отдать?

— Понеси купцам продай, — помягчел старик, — на табак разживешься.

Покусывая губы, шел Григорий позади отца. «Выкуси, батя, хоть стреноженный, уйду ноне на игрище», — думал, злобно обгрызая глазами крутой отцовский затылок.

Дома Григорий заботливо смыл с сазаньей чешуи присохший песок, продел сквозь жабры хворостинку.

У ворот столкнулся с давнишним другом-одногодком Митькой Коршуновым. Идет Митька, играет концом наборного пояска. Из узеньких щелок желто маслятся круглые с наглинкой глаза. Зрачки — кошачьи, поставленные торчмя, оттого взгляд Митькин текуч, неуловим.

— Куда с рыбой?

— Нонешняя добыча. Купцам несу.

— Моховым, что ли?

— Им…

Митька на глазок взвесил сазана.

— Фунтов пятнадцать?

— С половиной. На безмене прикинул.

— Возьми с собой, торговаться буду.

— Пойдем.

— А магарыч?

— Сладимся, нечего впустую брехать.

От обедни рассыпался по улицам народ.

По дороге рядышком вышагивали три брата по кличке Шамили.

Старший, безрукий Алексей, шел в середине. Тугой воротник мундира прямил ему жилистую шею, редкая, курчавым клинышком, бороденка задорно топорщилась вбок, левый глаз нервически подмаргивал. Давно на стрельбище разорвало в руках Алексея винтовку,

кусок затвора изуродовал щеку. С той поры глаз к делу и не к делу подмигивает; голубой шрам, перепахивая щеку, зарывается в кудели волос. Левую руку оторвало по локоть, но и одной крутит Алексей цигарки искусно и без промаха: прижмет кисет к выпуклому заслону груди, зубами оторвет нужный клочок бумаги, согнет его желобком, нагребет табаку и неуловимо поведет пальцами, скручивая. Не успеет человек оглянуться, а Алексей, помаргивая, уже жует готовую цигарку и просит огоньку.

Хоть и безрукий, а первый в хуторе кулачник. И кулак не особенно чтоб особенный — так, с тыкву-травянку величиной; а случилось как-то на пахоте на быка осерчать, кнут затерялся, стукнул кулаком — лег бык на борозде, из ушей кровь, насилу отлежался. Остальные братья — Мартин и Прохор — до мелочей схожи с Алексеем. Такие же низкорослые, шириной в дуб, только рук у каждого по паре.

Григорий поздоровался с Шамилями, Митька прошел, до хруста отвернув голову. На масленице в кулачной стенке не пожалел Алешка Шамиль молодых Митькиных зубов, махнул наотмашь, и выплюнул Митька на сизый, изодранный коваными каблуками лед два коренных зуба.

Равняясь с ними, Алексей мигнул раз пять подряд.

— Продай чурбака!

— Купи.

— Почем просишь?

— Пару быков да жену в придачу.

Алексей, щурясь, замахал обрубком руки:

— Чудак, ах, чудак!.. Ох-хо-ха, жену… А приплод возьмешь?

— Себе на завод оставь, а то Шамили переведутся, — зубоскалил Григорий.

На площади у церковной ограды кучился народ. В толпе ктитор [2], поднимая над головой гуся, выкрикивал: «Полтинник! От-да-ли. Кто больше?»

Гусь вертел шеей, презрительно жмурил бирюзинку глаза.

В кругу рядом махал руками седенький, с крестами и медалями, завесившими грудь, старичок.

— Наш дед Гришака про турецкую войну брешет. — Митька указал глазами. — Пойдем послухаем?

— Покель будем слухать — сазан провоняется, распухнет.

— Распухнет — весом прибавит, нам выгода.

На площади, за пожарным сараем, где рассыхаются пожарные бочки с обломанными оглоблями, зеленеет крыша моховского дома. Шагая мимо сарая, Григорий сплюнул и зажал нос. Из-за бочки, застегивая шаровары — пряжка в зубах, — вылезал старик.

— Приспичило? — съязвил Митька.

Старик управился с последней пуговицей и вынул изо рта пряжку.

— А тебе что?

— Носом навтыкать бы надо! Бородой! Бородой! Чтоб старуха за неделю не отбанила.

— Я тебе, стерва, навтыкаю! — обиделся старик.

Митька стал, щуря кошачьи глаза, как от солнца.

— Ишь ты, благородный какой. Сгинь, сукин сын! Что присучился? А то и ремнем!

Посмеиваясь, Григорий подошел к крыльцу моховского дома. Перила — в густой резьбе дикого винограда. На крыльце пятнистая ленивая тень.

— Во, Митрий, живут люди…

— Ручка и то золоченая. — Митька приоткрыл дверь на террасу и фыркнул: — Деда бы энтого направить сюда…

— Кто там? — окликнули их с террасы.

Робея, Григорий пошел первый. Крашеные половицы мел сазаний хвост.

— Вам кого?

В плетеной качалке — девушка. В руке блюдце с клубникой. Григорий молча глядел на розовое сердечко полных губ, сжимавших ягодку. Склонив голову, девушка оглядывала пришедших.

На помощь Григорию выступил Митька. Он кашлянул.

— Рыбки не купите?

— Рыбы? Я сейчас скажу.

Она качнула кресло, вставая, — зашлепала вышитыми, надетыми на босые ноги туфлями. Солнце просвечивало белое платье, и Митька видел смутные очертания полных ног и широкое волнующееся кружево нижней юбки. Он дивился атласной белизне оголенных икр, лишь на круглых пятках кожа молочно желтела.

Митька толкнул Григория:

— Гля, Гришка, ну и юбка… Как скло, насквозь все видать.

Девушка вышла из коридорных дверей, мягко присела на кресло.

— Пройдите на кухню.

Ступая на носках, Григорий пошел в дом. Митька, отставив ногу, жмурился на белую нитку пробора, разделявшую волосы на ее голове на два золотистых полукруга. Девушка оглядела его озорными, неспокойными глазами.

— Вы здешний?

— Тутошний.

— Чей же это?

— Коршунов.

— А звать вас как?

— Митрием.

Она внимательно осмотрела розовую чешую ногтей, быстрым движением подобрала ноги.

— Кто из вас рыбу ловит?

— Григорий, друзьяк мой.

— А вы рыбалите?

— Рыбалю и я, коль охота набредет.

— Удочками?

— И удочками рыбалим, по-нашему — притугами.

— Мне бы тоже хотелось порыбалить, — сказала она, помолчав.

— Что ж, поедем, коль охота есть.

— Как бы это устроить? Нет, серьезно?

— Вставать надо дюже рано.

— Я встану, только разбудить меня надо.

— Разбудить можно… А отец?

— Что отец?

Митька засмеялся.

— Как бы за вора не почел… Собаками ишо притравит.

— Глупости! Я сплю одна в угловой комнате. Вот это окно. — Она указала пальцем. — Если придете за мной — постучите мне в окошко, и я встану.

В кухне дробились голоса: робкий — Григория, и густой, мазутный — кухарки.

Митька, перебирая тусклое серебро казачьего пояска, молчал.

— Женаты вы? — спросила девушка, тепля затаенную улыбку.

— А что?

— Так просто, интересно.

Митька внезапно покраснел, а она, играя улыбкой и веточкой осыпавшейся на пол тепличной клубники, спрашивала:

— Что же, Митя, девушки вас любят?

— Какие любят, а какие и нет.

— Ска-жи-те… А отчего это у вас глаза как у кота?

— У… кота? — вконец терялся Митька.

— Вот именно, кошачьи.

— Это от матери, должно… Я тут ни при чем.

— А почему же, Митя, вас не женят?

Митька оправился от минутного смущения и, чувствуя в словах ее неуловимую насмешку, замерцал желтизною глаз.

— Женилка не выросла.

Она изумленно взметнула брови, вспыхнула и встала.

С улицы по крыльцу шаги.

Ее коротенькая, таящая смех улыбка жиганула Митьку крапивой. Сам хозяин, Сергей Платонович Мохов, мягко шаркая шевровыми просторными ботинками, с достоинством пронес мимо посторонившегося Митьки свое полнеющее тело.

— Ко мне? — спросил, пройдя, не поворачивая головы.

— Это, папа, рыбу принесли.

Вышел с порожними руками Григорий.

III

Григорий пришел с игрищ после первых кочетов. Из сенцев пахнуло на него запахом перекисших хмелин и пряной сухменью богородицыной травки.

На цыпочках прошел в горницу, разделся, бережно повесил праздничные, с лампасами, шаровары, перекрестился, лег. На полу — перерезанная крестом оконного переплета золотая дрема лунного света. В углу под расшитыми полотенцами тусклый глянец серебреных икон, над кроватью на подвеске тягучий гуд потревоженных мух.

Задремал было, но в кухне заплакал братнин ребенок.

Немазаной арбой заскрипела люлька. Дарья сонным голосом бормотнула:

— Цыц, ты, поганое дите! Ни сну тебе, ни покою, — запела тихонько:

— Колода-дуда, Иде ж ты была?

— Коней стерегла.

— Чего выстерегла?

— Коня с седлом, С золотым махром…

Григорий, засыпая под мерный баюкающий скрип, вспомнил: «А ить завтра Петру в лагеря выходить. Останется Дашка с дитем… Косить, должно, без него будем».

Зарылся головой в горячую подушку, в уши назойливо сочится:

— А иде ж твой конь?

— За воротами стоит,

— А иде ж ворота?

— Вода унесла.

Встряхнуло Григория заливистое конское ржанье. По голосу угадал Петрова строевого коня.

Обессилевшими со сна пальцами долго застегивал рубаху, опять почти уснул под текучую зыбь песни:

— А иде ж гуси?

— В камыш ушли.

— А иде ж камыш?

— Девки выжали.

— А иде ж девки?

— Девки замуж ушли.

— А иде ж казаки?

— На войну пошли…

Разбитый сном, добрался Григорий до конюшни, вывел коня на проулок. Щекотнула лицо налетевшая паутина, и неожиданно продал сон.

По Дону наискось — волнистый, никем не езженный лунный шлях. Над Доном — туман, а вверху звездное просо. Конь позади сторожко переставляет ноги. К воде спуск дурной. На той стороне утиный кряк, возле берега в тине взвернул и бухнул по воде омахом охотящийся на мелочь сом.

Григорий долго стоял у воды. Прелью сырой и пресной дышал берег. С конских губ ронялась дробная капель. На сердце у Григория сладостная пустота. Хорошо и бездумно. Возвращаясь, глянул на восход, там уже рассосалась синяя полутьма.

Возле конюшни столкнулся с матерью.

— Это ты, Гришка?

— А то кто ж.

— Коня поил?

— Поил, — нехотя отвечает Григорий.

Откинувшись назад, несет мать в завеске [3] на затоп кизяки, шаркает старчески дряблыми босыми ногами.

— Сходил бы Астаховых побудил. Степан с нашим Петром собирался ехать.

Прохлада вкладывает в Григория тугую дрожащую пружину. Тело в колючих мурашках. Через три порожка взбегает к Астаховым на гулкое крыльцо. Дверь не заперта. В кухне на разостланной полсти спит Степан, под мышкой у него голова жены.

В поредевшей темноте Григорий видит взбитую выше колен Аксиньину рубаху, березово-белые, бесстыдно раскинутые ноги. Он секунду смотрит, чувствуя, как сохнет во рту и в чугунном звоне пухнет голова.

Воровато повел глазами. Зачужавшим голосом хрипло:

— Эй, кто тут есть? Вставайте!

Аксинья всхлипнула со сна.

— Ой, кто такое? Ктой-то? — Суетливо зашарила, забилась в ногах голая ее рука, натягивая рубаху. Осталось на подушке пятнышко уроненной во сне слюны; крепок заревой бабий сон.

— Это я. Мать послала побудить вас…

— Мы зараз… Тут у нас не влезешь… От блох на полу спим. Степан, вставай, слышишь?

По голосу Григорий догадывается, что ей неловко, и спешит уйти.

Из хутора в майские лагеря уходило человек тридцать казаков. Место сбора — плац. Часам к семи к плацу потянулись повозки с брезентовыми будками, пешие и конные казаки в майских парусиновых рубахах, в снаряжении.

Петро на крыльце наспех сшивал треснувший чембур. Пантелей Прокофьевич похаживал возле Петрова коня, подсыпая в корыто овес, изредка покрикивал:

— Дуняшка, сухари зашила? А сало пересыпала солью?

Вся в румяном цвету, Дуняшка ласточкой чертила баз от стряпки к куреню, на окрики отца, смеясь, отмахивалась:

— Вы, батя, свое дело управляйте, а я братушке так уложу, что до Черкасского не ворохнется.

— Не поел? — осведомился Петро, слюнявя дратву и кивая на коня.

— Жует, — степенно отвечал отец, шершавой ладонью проверяя потники. Малое дело — крошка или былка прилипнет к потнику, а за один переход в кровь потрет спину коню.

— Доисть Гнедой — попоите его, батя.

— Гришка к Дону сводит. Эй, Григорий, веди коня!

Высокий поджарый донец с белой на лбу вызвездью пошел играючись. Григорий вывел его за калитку, чуть тронув левой рукой холку, вскочил на него и с места — машистой рысью. У спуска хотел придержать, но конь сбился с ноги, зачастил, пошел под гору наметом. Откинувшись назад, почти лежа на спине коня, Григорий увидел спускавшуюся под гору женщину с ведрами. Свернул со стежки и, обгоняя взбаламученную пыль, врезался в воду.

С горы, покачиваясь, сходила Аксинья, еще издали голосисто крикнула:

— Чертяка бешеный! Чудок конем не стоптал! Вот погоди, я скажу отцу, как ты ездишь.

— Но-но, соседка, не ругайся. Проводишь мужа в лагеря, может, и я в хозяйстве сгожусь.

— Как-то ни черт, нужен ты мне!

— Зачнется покос — ишо попросишь, — смеялся Григорий.

Аксинья с подмостей ловко зачерпнула на коромысле ведро воды и, зажимая промеж колен надутую ветром юбку, глянула на Григория.

— Что ж, Степан твой собрался? — спросил Григорий.

— А тебе чего?

— Какая ты… Спросить, что ль, нельзя?

— Собрался. Ну?

— Остаешься, стал быть, жалмеркой?

— Стал быть, так.

Конь оторвал от воды губы, со скрипом пожевал стекавшую воду и, глядя на ту сторону Дона, ударил по воде передней ногой. Аксинья зачерпнула другое ведро; перекинув через плечо коромысло, легкой раскачкой пошла на гору. Григорий тронул коня следом. Ветер трепал на Аксинье юбку, перебирал на смуглой шее мелкие пушистые завитки. На тяжелом узле волос пламенела расшитая цветным шелком шлычка, розовая рубаха, заправленная в юбку, не морщинясь, охватывала крутую спину и налитые плечи. Поднимаясь в гору, Аксинья клонилась вперед, ясно вылегала под рубахой продольная ложбинка на спине. Григорий видел бурые круги слинявшей под мышками от пота рубахи, провожал глазами каждое движение. Ему хотелось снова заговорить с ней.

— Небось, будешь скучать по мужу? А?

Аксинья на ходу повернула голову, улыбнулась.

— А то как же. Ты вот женись, — переводя дух, она говорила прерывисто, — женись, а после узнаешь, скучают ай нет по дружечке.

Толкнув коня, равняясь с ней, Григорий заглянул ей в глаза:

— А ить иные бабы ажник рады, как мужей проводют. Наша Дарья без Петра толстеть зачинает.

Аксинья, двигая ноздрями, резко дышала; поправляя волосы, сказала:

— Муж — он не уж, а тянет кровя. Тебя-то скоро обженим?

— Не знаю, как батя. Должно, после службы.

— Молодой ишо, не женись.

— А что?

— Сухота одна. — Она глянула исподлобья; не разжимая губ, скупо улыбнулась. И тут в первый раз заметил Григорий, что губы у нее бесстыдно-жадные, пухловатые.

Он, разбирая гриву на прядки, сказал:

— Охоты нету жениться. Какая-нибудь и так полюбит.

— Ай приметил?

— Чего не примечать… Ты вот проводишь Степана…

— Ты со мной не заигрывай!

— Ушибешь?

— Степану скажу словцо…

— Я твоего Степана…

— Гляди, храбрый, слеза капнет.

— Не пужай, Аксинья!

— Я не пужаю. Твое дело с девками. Пущай утирки тебе вышивают, а на меня не заглядывайся.

— Нарошно буду глядеть.

— Ну и гляди.

Аксинья примиряюще улыбнулась и сошла со стежки, норовя обойти коня. Григорий повернул его боком, загородил дорогу.

— Пусти, Гришка!

— Не пущу.

— Не дури, мне надо мужа сбирать.

Григорий, улыбаясь, горячил коня; тот, переступая, теснил Аксинью к яру.

— Пусти, дьявол, вон люди! Увидют, что подумают?

Она метнула по сторонам испуганным взглядом и прошла, хмурясь и не оглядываясь.

На крыльце Петро прощался с родными. Григорий заседлал коня. Придерживая шашку, Петро торопливо сбежал по порожкам, взял из рук Григория поводья.

Конь, чуя дорогу, беспокойно переступал, пенил, гоняя во рту, мундштук. Поймав ногой стремя, держась за луку, Петро говорил отцу:

— Лысых работой не нури, батя! Заосеняет — продадим. Григорию ить коня справлять. А степную траву, гляди, не продавай: в лугу ноне, сам знаешь, какие сена будут.

— Ну, с богом. Час добрый, — проговорил старик, крестясь.

Петро привычным движением вскинул в седло свое сбитое тело, поправил позади складки рубахи, стянутые пояском. Конь пошел к воротам. На солнце тускло блеснула головка шашки, подрагивавшая в такт шагам.

Дарья с ребенком на руках пошла следом. Мать, вытирая рукавом глаза и углом завески покрасневший нос, стояла посреди база.

— Братушка, пирожки! Пирожки забыл!.. Пирожки с картошкой!..

Дуняша козой скакнула к воротам.

— Чего орешь, дура! — досадно крикнул на нее Григорий.

— Остались пирожки-и! — прислонясь к калитке, стонала Дуняшка, и на измазанные горячие щеки, а со щек на будничную кофтенку — слезы.

Дарья из-под ладони следила за белой, занавешенной пылью рубахой мужа. Пантелей Прокофьевич, качая подгнивший столб у ворот, глянул на Григория.

— Ворота возьмись поправь да стоянок на углу врой. — Подумав, добавил, как новость сообщил: — Уехал Петро.

Через плетень Григорий видел, как собирался Степан. Принаряженная в зеленую шерстяную юбку Аксинья подвела ему коня. Степан, улыбаясь, что-то говорил ей. Он не спеша, по-хозяйски, поцеловал жену и долго не снимал руки с ее плеча. Сожженная загаром и работой рука угольно чернела на белой Аксиньиной кофточке. Степан стоял к Григорию спиной; через плетень было видно его тугую, красиво подбритую шею, широкие, немного вислые плечи и — когда наклонялся к жене — закрученный кончик русого уса.

Аксинья чему-то смеялась и отрицательно качала головой. Рослый вороной конь качнулся, подняв на стремени седока. Степан выехал из ворот торопким шагом, сидел в седле, как врытый, а Аксинья шла рядом, держась за стремя и снизу вверх, любовно и жадно, по-собачьи заглядывала ему в глаза.

Так миновали они соседний курень и скрылись за поворотом.

Григорий провожал их долгим, неморгающим взглядом.

IV

К вечеру собралась гроза. Над хутором стала бурая туча. Дон, взлохмаченный ветром, кидал на берега гребнистые частые волны. За левадами палила небо сухая молния, давил землю редкими раскатами гром. Под тучей, раскрылатившись, колесил коршун, его с криком преследовали вороны. Туча, дыша холодком, шла вдоль по Дону, с запада. За займищем грозно чернело небо, степь выжидающе молчала. В хуторе хлопали закрываемые ставни, от вечерни, крестясь, спешили старухи, на плацу колыхался серый столбище пыли, и отягощенную внешней жарою землю уже засевали первые зерна дождя.

Дуняшка, болтая косичками, прожгла по базу, захлопнула дверцу курятника и стала посреди Саза, раздувая ноздри, как лошадь перед препятствием. На улице взбрыкивали ребятишки. Соседский восьмилеток Мишка вертелся, приседая на одной ноге, — на голове у него, закрывая ему глаза, кружился непомерно просторный отцовский картуз, — и пронзительно верещал:

Дождюк, дождюк, припусти,
Мы поедем во кусты,
Богу молиться,
Христу поклониться.

Дуняшка завистливо глядела на босые, густо усыпанные цыпками Мишкины ноги, ожесточенно топтавшие землю. Ей тоже хотелось приплясывать под дождем и мочить голову, чтоб волос рос густой и курчавый; хотелось вот так же, как Мишкиному товарищу, укрепиться на придорожной пыли вверх ногами, с риском свалиться в колючки, — но в окно глядела мать, сердито шлепая губами. Вздохнув, Дуняшка побежала в курень. Дождь спустился ядреный и частый. Над самой крышей лопнул гром, осколки покатились за Дон.

В сенях отец и потный Гришка тянули из боковушки скатанный бредень.

— Ниток суровых и иглу-цыганку, шибко! — крикнул Дуняшке Григорий.

В кухне зажгли огонь. Зашивать бредень села Дарья. Старуха, укачивая дитя, бурчала:

— Ты, старый, сроду на выдумки. Спать ложились бы, гас [4] все дорожает, а ты жгешь. Какая теперича ловля? Куда вас чума понесет? Ишо перетопнете, там ить на базу страсть господня. Ишь, ишь как полыхает! Господи Иисусе Христе, царица небес…

В кухне на секунду стало ослепительно сине и тихо: слышно было, как ставни царапал

дождь, — следом ахнул гром. Дуняшка пискнула и ничком ткнулась в бредень. Дарья мелкими крестиками обмахивала окна и двери.

Старуха страшными глазами глядела на ластившуюся у ног ее кошку.

— Дунька! Го-о-ни ты ее, прок… царица небесная, прости меня, грешницу. Дунька, кошку выкинь на баз. Брысь ты, нечистая сила! Чтоб ты…

Григорий, уронив комол бредня, трясся в беззвучном хохоте.

— Ну, чего вы вскагакались? Цыцте! — прикрикнул Пантелей Прокофьевич. — Бабы, живо зашивайте! Надысь ишо говорил: оглядите бредень.

— И какая теперя рыба, — заикнулась было старуха.

— Не разумеешь, — молчи! Самое стерлядей на косе возьмем. Рыба к берегу зараз идет, боится бурю. Вода, небось, уж мутная пошла. Ну-ка, выбеги, Дуняшка, послухай — играет ерик?

Дуняшка нехотя, бочком, подвинулась к дверям.

— Кто ж бродить пойдет? Дарье нельзя, могет груди застудить, — не унималась старуха.

— Мы с Гришкой, а с другим бреднем — Аксинью покличем, кого-нибудь ишо из баб.

Запыхавшись, вбежала Дуняша. На ресницах, подрагивая, висели дождевые капельки. Пахнуло от нее отсыревшим черноземом.

— Ерик гудет, ажник страшно!

— Пойдешь с нами бродить?

— А ишо кто пойдет?

— Баб покличем.

— Пойду!

— Ну, накинь зипун и скачи к Аксинье. Ежели пойдет, пущай покличет Малашку Фролову!

— Энта не замерзнет, — улыбнулся Григорий, — на ней жиру, как на добром борове.

— Ты бы сенца сухого взял, Гришунька, — советовала мать, — под сердце подложишь, а то нутре застудишь.

— Григорий, мотай за сеном. Старуха верное слово сказала.

Вскоре привела Дуняшка баб. Аксинья, в рваной подпоясанной веревкой кофтенке и в синей исподней юбке, выглядела меньше ростом, худее. Она, пересмеиваясь с Дарьей, сняла с головы платок, потуже закрутила в узел волосы и, покрываясь, откинув голову, холодно оглядела Григория. Толстая Малашка подвязывала у порога чулки, хрипела простуженно:

— Мешки взяли? Истинный бог, мы ноне шатанем рыбы.

Вышли на баз. На размякшую землю густо лил дождь, пенил лужи, потоками сползал к Дону.

Григорий шел впереди. Подмывало его беспричинное веселье.

— Гляди, батя, тут канава.

— Эка темень-то!

— Держись, Аксюша, при мне, вместе будем в тюрьме, — хрипло хохочет Малашка.

— Гляди, Григорий, никак, Майданниковых пристань?

— Она и есть.

— Отсель… зачинать… — осиливая хлобыстающий ветер, кричит Пантелей Прокофьевич.

— Не слышно, дяденька! — хрипит Малашка.

— Заброди, с богом… Я от глуби. От глуби, говорю… Малашка, дьявол глухой, куда тянешь? Я пойду от глуби!.. Григорий, Гришка! Аксинья пущай от берега!

У Дона стонущий рев. Ветер на клочья рвет косое полотнище дождя.

Ощупывая ногами дно, Григорий по пояс окунулся в воду. Липкий холод дополз до груди, обручем стянул сердце. В лицо, в накрепко зажмуренные глаза, словно кнутом, стегает волна. Бредень надувается шаром, тянет вглубь. Обутые в шерстяные чулки ноги Григория скользят по песчаному дну. Комол рвется из рук… Глубже, глубже. Уступ. Срываются ноги. Течение порывисто несет к середине, всасывает. Григорий правой рукой с силой гребет к берегу. Черная колышущаяся глубина пугает его, как никогда. Нога радостно наступает на зыбкое дно. В колено стукается какая-то рыба.

— Обходи глубе! — откуда-то из вязкой черни голос отца. Бредень, накренившись, опять ползет в глубину, опять течение рвет из-под ног землю, и Григорий, задирая голову, плывет, отплевывается.

— Аксинья, жива?

— Жива покуда.

— Никак, перестает дождик?

— Маленький перестает, зараз большой тронется.

— Ты потихоньку. Отец услышит — ругаться будет.

— Испужался отца, тоже…

С минуту тянут молча. Вода, как липкое тесто, вяжет каждое движение.

— Гриша, у берега, кубыть, карша. Надоть обвесть.

Страшный толчок далеко отшвыривает Григория. Грохочущий всплеск, будто с яра рухнула в воду глыбища породы.

— А-а-а-а! — где-то у берега визжит Аксинья.

Перепуганный Григорий, вынырнув, плывет на крик.

— Аксинья!

Ветер и текучий шум воды.

— Аксинья! — холодея от страха, кричит Григорий.

— Э-гей!! Гри-го-ри-ий! — издалека приглушенный отцов голос.

Григорий кидает взмахи. Что-то вязкое под ногами, схватил рукой: бредень.

— Гриша, где ты?.. — плачущий Аксиньин голос.

— Чего ж не откликалась-то?.. — сердито орет Григорий, на четвереньках выбираясь на берег.

Присев на корточки, дрожа, разбирают спутанный комом бредень. Из прорехи разорванной тучи вылупливается месяц. За займищем сдержанно поговаривает гром. Лоснится земля невпитанной влагой. Небо, выстиранное дождем, строго и ясно.

Распутывая бредень, Григорий всматривается в Аксинью. Лицо ее медово-бледно, но красные, чуть вывернутые губы уже смеются.

— Как оно меня шибанет на берег, — переводя дух, рассказывает она, — от ума отошла. Спужалась до смерти! Я думала — ты утоп.

Руки их сталкиваются. Аксинья пробует просунуть свою руку в рукав его рубахи.

— Как у тебя тепло-то в рукаве, — жалобно говорит она, — а я замерзла. Колики по телу пошли.

— Вот он, проклятущий сомяга, где саданул!

Григорий раздвигает на середине бредня дыру аршина полтора в поперечнике.

От косы кто-то бежит. Григорий угадывает Дуняшку. Еще издали кричит ей:

— Нитки у тебя?

— Туточка.

Дуняшка, запыхавшись, подбегает.

— Вы чего ж тут сидите? Батянька прислал, чтоб скорей шли к косе. Мы там мешок

стерлядей наловили! — В голосе Дуняшки нескрываемое торжество.

Аксинья, лязгая зубами, зашивает дыру в бредне. Рысью, чтобы согреться, бегут на косу.

Пантелей Прокофьевич крутит цигарку рубчатыми от воды и пухлыми, как у утопленника, пальцами; приплясывая, хвалится:

— Раз забрели — восемь штук, а другой раз… — Он делает передышку, закуривает и молча показывает ногой на мешок.

Аксинья с любопытством заглядывает. В мешке скрежещущий треск: трется живучая стерлядь.

— А вы чего ж отбились?

— Сом бредень просадил.

— Зашили?

— Кое-как, ячейки посцепили…

— Ну дойдем до колена и — домой. Забредай, Гришка, чего ж взноровился?

Григорий переступает одеревеневшими ногами. Аксинья дрожит так, что дрожь ее ощущает Григорий через бредень.

— Не трясись!

— И рада б, да духу не переведу.

— Давай вот что… Давай вылазить, будь она проклята, рыба эта!

Крупный сазан бьет через бредень. Учащая шаг, Григорий загибает бредень, тянет комол, Аксинья, согнувшись, выбегает на берег. По песку шуршит схлынувшая назад вода, трепещет рыба.

— Через займище пойдем?

— Лесом ближе. Эй, вы, там, скоро?

— Идите, догоним. Бредень вот пополоскаем.

Аксинья, морщаясь, выжала юбку, подхватила на плечи мешок с уловом, почти рысью пошла по косе. Григорий нес бредень. Прошли саженей сто, Аксинья заохала:

— Моченьки моей нету! Ноги с пару зашлись.

— Вот прошлогодняя копна, может, погреешься?

— И то. Покуда до дому дотянешь — помереть можно.

Григорий свернул набок шапку копны, вырыл яму. Слежалое сено ударило горячим запахом прели.

— Лезь в середку. Тут — как на печке.

Аксинья, кинув мешок, по шею зарылась в сено.

— То-то благодать!

Подрагивая от холода, Григорий прилег рядом. От мокрых Аксиньиных волос тек нежный, волнующий запах. Она лежала, запрокинув голову, мерно дыша полуоткрытым ртом.

— Волосы у тебя дурнопьяном пахнут. Знаешь, этаким цветком белым… — шепнул, наклоняясь, Григорий.

Она промолчала. Туманен и далек был взгляд ее, устремленный на ущерб стареющего месяца.

Григорий, выпростав из кармана руку, внезапно притянул ее голову к себе. Она резко рванулась, привстала.

— Пусти!

— Помалкивай.

— Пусти, а то зашумлю!

— Погоди, Аксинья…

— Дядя Пантелей!..

— Ай заблудилась? — совсем близко, из зарослей боярышника, отозвался Пантелей Прокофьевич.

Григорий, сомкнув зубы, прыгнул с копны.

— Ты чего шумишь? Ай заблудилась? — подходя, переспросил старик.

Аксинья стояла возле копны, поправляя сбитый на затылок платок, над нею дымился пар.

— Заблудиться-то нет, а вот было-к замерзнула.

— Тю, баба, а вот, гля, копна. Посогрейся.

Аксинья улыбнулась, нагнувшись за мешком.

V

До хутора Сетракова — места лагерного сбора — шестьдесят верст. Петро Мелехов и Астахов Степан ехали на одной бричке. С ними еще трое казаков-хуторян: Федот Бодовсков — молодой калмыковатый и рябой казак, второочередник лейб-гвардии Атаманского полка Хрисанф Токин, по прозвищу Христоня, и батареец Томилин Иван, направлявшийся в Персиановку. В бричку после первой же кормежки запрягли двухвершкового Христониного коня и Степанового вороного [5]. Остальные три лошади, оседланные, шли позади. Правил здоровенный и дурковатый, как большинство атаманцев, Христоня. Колесом согнув спину, сидел он впереди, заслонял в будку свет, пугал лошадей гулким октавистым басом. В бричке, обтянутой новеньким брезентом, лежали, покуривая, Петро Мелехов, Степан и батареей, Томилин. Федот Бодовсков шел позади; видно, не в тягость было ему втыкать в пыльную дорогу кривые свои калмыцкие ноги.

Христонина бричка шла головной. За ней тянулись еще семь или восемь запряжек с привязанными оседланными и не оседланными лошадьми.

Вихрились над дорогой хохот, крики, тягучие песни, конское порсканье, перезвяк порожних стремян.

У Петра в головах сухарный мешок. Лежит Петро и крутит желтый длиннющий ус.

— Степан!

— А?

— …на! Давай служивскую заиграем?

— Жарко дюже. Ссохлось все.

— Кабаков нету на ближних хуторах, не жди!

— Ну, заводи. Да ты ить не мастак. Эх, Гришка ваш дишканит! Потянет, чисто нитка серебряная, не голос. Мы с ним на игрищах драли.

Степан откидывает голову, прокашлявшись, заводит низким звучным голосом:

Эх ты, зоренька-зарница,

Рано на небо взошла…

Томилин по-бабьи прикладывает к щеке ладонь, подхватывает тонким, стенящим подголоском. Улыбаясь, заправив в рот усину, смотрит Петро, как у грудастого батарейца синеют от усилия узелки жил на висках.

Молодая, вот она, бабенка

Поздно по воду пошла…

Степан лежит к Христоне головой, поворачивается, опираясь на руку; тугая красивая шея розовеет.

— Христоня, подмоги!

А мальчишка, он догадался,

Стал коня свово седлать…

Степан переводит на Петра улыбающийся взгляд выпученных глаз, и Петро, вытянув изо рта усину, присоединяет голос.

Христоня, разинув непомерную залохматевшую щетиной пасть, ревет, сотрясая брезентовую крышу будки:

Оседлал коня гнедого —

Стал бабенку догонять…

Христоня кладет на ребро аршинную босую ступню, ожидает, пока Степан начнет вновь. Тот, закрыв глаза — потное лицо в тени, — ласково ведет песню, то снижая голос до шепота, то вскидывая до металлического звона:

Ты позволь, позволь, бабенка,

Коня в речке напоить…

И снова колокольно-набатным гудом давит Христоня голоса. Вливаются в песню голоса и с соседних бричек. Поцокивают колеса на железных ходах, чихают от пыли кони, тягучая и сильная, полой водой, течет над дорогой песня. От высыхающей степной музги, из горелой коричневой куги взлетывает белокрылый чибис. Он с криком летит в лощину; поворачивая голову, смотрит изумрудным глазком на цепь повозок, обтянутых белым, на лошадей, кудрявящих смачную пыль копытами, на шагающих по обочине дороги людей в белых, просмоленных пылью рубахах. Чибис падает в лощине, черной грудью ударяет в подсыхающую, примятую зверем траву — и не видит, что творится на дороге. А по дороге так же громыхают брички, так же нехотя переступают запотевшие под седлами кони; лишь казаки в серых рубахах быстро перебегают от своих бричек к передней, грудятся вокруг нее, стонут в хохоте.

Степан во весь рост стоит на бричке, одной рукой держится за брезентовый верх будки, другой коротко взмахивает, сыплет мельчайшей подмывающей скороговоркой:

Не садися возле меня,

Не садися возле меня,

Люди скажут — любишь меня,

Любишь меня,

Ходишь ко мне,

Любишь меня,

Ходишь ко мне,

А я роду не простого…

Десятки грубых голосов хватают на лету, ухают, стелют на придорожную пыль:

А я роду не простого…

Не простого —

Воровского —

Воровского,

Не простого,

Люблю сына князевского…

Федот Бодовсков свищет; приседая, рвутся из постромок кони; Петро, высовываясь из будки, смеется и машет фуражкой; Степан, сверкая ослепительной усмешкой, озорно поводит плечами; а по дороге бугром движется пыль; Христоня, в распоясанной длиннющей рубахе, патлатый, мокрый от пота, ходит вприсядку, кружится маховым колесом, хмурясь и стоная, делает казачка, и на сером шелковье пыли остаются чудовищные разлапистые следы босых его ног.

VI

Возле лобастого, с желтой песчаной лысиной кургана остановились ночевать.

С запада шла туча. С черного ее крыла сочился дождь. Поили коней в пруду. Над плотиной горбатились под ветром унылые вербы. В воде, покрытой застойной зеленью и чешуей убогих волн, отражаясь, коверкалась молния. Ветер скупо кропил дождевыми каплями, будто милостыню сыпал на черные ладони земли.

Стреноженных лошадей пустили на попас, назначив в караул трех человек. Остальные разводили огни, вешали котлы на дышла бричек.

Христоня кашеварил. Помешивая ложкой в котле, рассказывал сидевшим вокруг казакам:

— …Курган, стал быть, высокий, навроде этого. Я и говорю покойничку бате: «А что, атаман [6] не забастует нас за то, что без всякого, стал быть, дозволенья зачнем курган потрошить?»

— Об чем он тут брешет? — спросил вернувшийся от лошадей Степан.

— Рассказываю, как мы с покойничком батей, царство небесное старику, клад искали.

— Где же вы его искали?

— Это, браток, аж за Фетисовой балкой. Да ты знаешь — Меркулов курган…

— Ну-ну… — Степан присел на корточки, положил на ладонь уголек. Плямкая губами, долго прикуривал, катал его по ладони.

— Ну, вот. Стал быть, батя говорит: «Давай, Христан, раскопаем Меркулов курган». От деда слыхал он, что в нем зарытый клад. А клад, стал быть, не каждому в руки дается. Батя сулил богу: отдашь, мол, клад — церкву прекрасную выстрою. Вот мы порешили и поехали туда. Земля станишная — сумнение от атамана могло только быть. Приезжаем к ночи. Дождались, покель смеркнется, кобылу, стал быть, стреножили, сами с лопатами залезли на макушку. Зачали бузовать прямо с темечка. Вырыли яму аршина в два, земля — чисто каменная, захрясла от давности. Взмок я. Батя все молитвы шепчет, а у меня, братцы, верите, до того в животе бурчит… В летнюю пору, стал быть, харч вам звестный: кислое молоко да квас… Перехватит поперек живот, смерть в глазах — и все! Батя-покойничек, царство ему небесное, и говорит: «Фу, говорит, Христан, и поганец ты! Я молитву прочитываю, а ты не могешь пищу сдерживать, дыхнуть, стал быть, нечем. Иди, говорит, слазь с кургана, а то я тебе голову лопатой срублю. Через тебя, поганца, клад могет в землю уйтить». Я лег под курганом и страдаю животом, взяло на колотье, а батя-покойничек — здоровый был, чертяка! — копает один. И дорылся он до каменной плиты. Кличет меня. Я, стал быть, подовздел ломом, поднял эту плиту… Верите, братцы, ночь месячная была, а под плитой так и блестит…

— Ну, и брешешь ты, Христоня! — не вытерпел Петро, улыбаясь и дергая ус.

— Чего «брешешь»? Пошел ты к тетери-ятери! — Христоня поддернул широченные шаровары и оглядел слушателей. — Нет, стал быть, не брешу! Истинный бог — правда!

— К берегу-то прибивайся!

— Так, братцы, и блестит. — Я — глядь, а это, стал быть, сожженный уголь. Там его было мер сорок. Батя и говорит: «Лезь, Христан, выгребай его». Полез. Кидал, кидал этую страмоту, до самого света хватило. Утром, стал быть, глядь, а он — вот он.

— Кто? — поинтересовался лежавший на попоне Томилин.

— Да атаман, кто же. Едет в пролетке: «Кто дозволил, такие-сякие?» Молчим. Он нас, стал быть, сгреб — и в станицу. Позапрошлый год в Каменскую на суд вызывали, а батя догадался — успел помереть. Отписали бумагой, что в живых его нету.

Христоня снял котел с дымившейся кашей, пошел к повозке за ложками.

— Что ж отец-то? Сулил церкву построить, да так и не построил? — спросил Степан, дождавшись, пока Христоня вернулся с ложками.

— Дурак ты, Степа, что ж он за уголья, стал быть, строил ба?

— Раз сулил — значит, должен.

— В счет угольев не было никакого уговору, а клад…

От хохота дрогнул огонь. Христоня поднял от котла простоватую голову и, не разобрав, в чем дело, покрыл голоса остальных густым гоготом.

VII

Аксинью выдали за Степана семнадцати лет. Взяли ее с хутора Дубровки, с той стороны Дона, с песков.

За год до выдачи осенью пахала она в степи, верст за восемь от хутора. Ночью отец ее, пятидесятилетний старик, связал ей треногой руки и изнасиловал.

— Убью, ежели пикнешь слово, а будешь помалкивать — справлю плюшевую кофту и гетры с калошами. Так и помни: убью, ежели что… — пообещал он ей.

Ночью, в одной изорванной исподнице, прибежала Аксинья в хутор. Валяясь в ногах у матери, давясь рыданиями, рассказывала… Мать и старший брат, атаманец, только что вернувшийся со службы, запрягли в бричку лошадей, посадили с собой Аксинью и поехали туда, к отцу. За восемь верст брат чуть не запалил лошадей. Отца нашли возле стана. Пьяный, спал он на разостланном зипуне, около валялась порожняя бутылка из-под водки. На глазах у Аксиньи брат отцепил от брички барок, ногами поднял спящего отца, что-то коротко спросил у него и ударил окованным барком старика в переносицу. Вдвоем с матерью били его часа полтора. Всегда смирная, престарелая мать исступленно дергала на обеспамятевшем муже волосы, брат старался ногами. Аксинья лежала под бричкой, укутав голову, молча тряслась… Перед светом привезли старика домой. Он жалобно мычал, шарил по горнице глазами, отыскивая спрятавшуюся Аксинью. Из оторванного уха его стекала на подушку кровь. Ввечеру он помер. Людям сказали, что пьяный упал с арбы и убился.

А через год приехали на нарядной бричке сваты за Аксинью. Высокий, крутошеий и статный Степан невесте понравился, на осенний мясоед назначили свадьбу. Подошел такой предзимний, с морозцем и веселым ледозвоном день, окрутили молодых; с той поры и водворилась Аксинья в астаховском доме молодой хозяйкой. Свекровь, высокая, согнутая какой-то жестокой бабьей болезнью старуха, на другой же день после гульбы рано разбудила Аксинью, привела ее на кухню и, бесцельно переставляя рогачи, сказала:

— Вот что, милая моя сношенька, взяли мы тебя не кохаться да не вылеживаться. Иди-ка передои коров, а после становись к печке стряпать. Я — старая, немощь одолевает, а хозяйство ты к рукам бери, за тобой оно ляжет.

В этот же день в амбаре Степан обдуманно и страшно избил молодую жену. Бил в живот, в груди, в спину; бил с таким расчетом, чтобы не видно было людям. С той поры стал он прихватывать на стороне, путался с гулящими жалмерками, уходил чуть не каждую ночь, замкнув Аксинью в амбаре или горенке.

Года полтора не прощал ей обиду: пока не родился ребенок. После этого притих, но на ласку был скуп и по-прежнему редко ночевал дома.

Большое многоскотинное хозяйство затянуло Аксинью работой. Степан работал с ленцой: начесав чуб, уходил к товарищам покурить, перекинуться в картишки, побрехать о хуторских новостях, а скотину убирать приходилось Аксинье, ворочать хозяйством — ей.

Свекровь была плохая помощница. Посуетившись, падала на кровать и, вытянув в нитку блеклую желтень губ, глядя в потолок звереющими от боли глазами, стонала, сжималась в комок. В такие минуты на лице ее, испятнанном черными уродливо крупными родинками, выступал обильный пот, в глазах накапливались и часто, одна за другой, стекали слезы. Аксинья, бросив работу, забивалась где-нибудь в угол и со страхом и жалостью глядела на свекровьино лицо.

Через полтора года старуха умерла. Утром у Аксиньи начались предродовые схватки, а к полудню, за час до появления ребенка, свекровь умерла на ходу, возле дверей старой конюшни. Повитуха, выбежавшая из куреня предупредить пьяного Степана, чтобы не ходил к родильнице, увидела лежащую с поджатыми ногами Аксиньину свекровь.

Аксинья привязалась к мужу после рождения ребенка, но не было у нее к нему чувства, была горькая бабья жалость да привычка. Ребенок умер, не дожив до года. Старая развернулась жизнь. И когда Мелехов Гришка, заигрывая, стал Аксинье поперек пути, с ужасом увидела она, что ее тянет к черному ласковому парню. Он упорно преследовал ее своей настойчивой и ждущей любовью. И это-то упорство и было страшно Аксинье. Она видела, что он не боится Степана, нутром чуяла, что так он от нее не отступится, и, разумом не желая этого, сопротивляясь всеми силами, замечала за собой, что по праздникам и в будни стала тщательней наряжаться, обманывая себя, норовила почаще попадаться ему на глаза. Тепло и приятно ей было, когда черные Гришкины глаза ласкали ее тяжело и исступленно. На заре, просыпаясь доить коров, она улыбалась и, еще не сознавая отчего, вспоминала: «Нынче что-то есть радостное. Что же? Григорий… Гриша…» Пугало это новое, заполнявшее всю ее чувство, и в мыслях шла ощупью, осторожно, как через Дон по мартовскому ноздреватому льду.

Проводив Степана в лагеря, решила с Гришкой видеться как можно реже. После ловли бреднем решение это укрепилось в ней еще прочнее.

VIII

За два дня до троицы хуторские делили луг. На дележ ходил Пантелей Прокофьевич. Пришел оттуда в обед, кряхтя скинул чирики и, смачно почесывая натруженные ходьбой ноги, сказал:

— Досталась нам делянка возле Красного яра. Трава не особо чтоб дюже добрая. Верхний конец до лесу доходит, кой-что — голощечины. Пырейчик проскакивает.

— Когда ж косить? — спросил Григорий.

— С праздников.

— Дарью возьмете, что ль? — нахмурилась старуха.

Пантелей Прокофьевич махнул рукой — отвяжись, мол.

— Понадобится — возьмем. Полудновать-то собирай, что стоишь, раскрылилась!

Старуха загремела заслонкой, выволокла из печи пригретые щи. За столом Пантелей Прокофьевич долго рассказывал о дележке и жуликоватом атамане, чуть было не обмошенничавшем весь сход.

— Он и энтот год смухлевал, — вступилась Дарья, — отбивали улеши, так он подговаривал все Малашку Фролову конаться.

— Стерва давнишняя, — жевал Пантелей Прокофьевич.

— Батяня, а копнить, гресть кто будет? — робко спросила Дуняшка.

— А ты чего будешь делать?

— Одной, батяня, неуправно.

— Мы Аксютку Астахову покличем. Степан надысь просил скосить ему. Надо уважить.

На другой день утром к мелеховскому базу подъехал верхом на подседланном белоногом жеребце Митька Коршунов. Побрызгивал дождь. Хмарь висела над хутором. Митька, перегнувшись в седле, открыл калитку, въехал на баз. Его с крыльца окликнула старуха.

— Ты, забурунный, чего прибег? — спросила она с видимым неудовольствием. Недолюбливала старая отчаянного и драчливого Митьку.

— И чего тебе, Ильинишна, надоть? — привязывая к перилам жеребца, удивился Митька. — Я к Гришке приехал. Он где?

— Под сараем спит. Тебя, что ж, аль паралик вдарил? Пешки, стал быть, не могешь ходить?

— Ты, тетенька, кажной дыре гвоздь! — обиделся Митька. Раскачиваясь, помахивая и щелкая нарядной плеткой по голенищам лакированных сапог, пошел он под навес сарая.

Григорий спал в снятой с передка арбе, Митька, жмуря левый глаз, словно целясь, вытянул Григория плетью.

— Вставай, мужик!

«Мужик» у Митьки было слово самое ругательное. Григорий вскинулся пружиной.

— Ты чего?

— Будя зоревать!

— Не дури, Митрий, покеда не осерчал…

— Вставай, дело есть.

— Ну?

Митька присел на грядушку арбы, обивая с сапога плетью присохшее грязцо, сказал:

— Мне, Гришка, обидно…

— Ну?

— Да как же, — Митька длинно ругнулся, — он не он, — сотник [7], так и задается.

В сердцах он, не разжимая зубов, быстро кидал слова, дрожал ногами. Григорий привстал.

— Какой сотник?

Хватая его за рукав рубахи, Митька уже тише сказал:

— Зараз седлай коня и побегем в займище. Я ему покажу! Я ему так и сказал: «Давай, ваше благородие, опробуем». — «Веди, грит, всех друзьев-товарищев, я вас всех покрою, затем что мать моей кобылы в Петербурге на офицерских скачках призы сымала». Да, по мне, его кобыла и с матерью, — да будь они прокляты! — а я жеребца не дам обскакать!

Григорий наспех оделся. Митька ходил за ним по пятам; заикаясь от злобы, рассказывал:

— Приехал на гости к Мохову, купцу, энтот самый сотник. Погоди, чей он прозвищем? Кубыть, Листницкий. Такой из себя тушистый, сурьезный. Очки носит. Ну, да нехай! Даром что в очках, а жеребца не дамся обогнать!

Посмеиваясь, Григорий оседлал старую, оставленную на племя матку и через гуменные ворота — чтоб не видел отец — выехал в степь. Ехали к займищу под горой. Копыта лошадей, чавкая, жевали грязь. В займище возле высохшего тополя их ожидали конные: сотник Листницкий на поджарой красавице кобылице и человек семь хуторских ребят верхами.

— Откуда скакать? — обратился к Митьке сотник, поправляя пенсне и любуясь могучими грудными мускулами Митькиного жеребца.

— От тополя до Царева пруда.

— Где это Царев пруд? — Сотник близоруко сощурился.

— А вон, ваше благородие, возле леса.

Лошадей построили. Сотник поднял над головою плетку. Погон на его плече вспух бугром.

— Как скажу «три» — пускать! Ну? Раз, два… три!

Первый рванулся сотник, припадая к луке, придерживая рукой фуражку. Он на секунду опередил остальных. Митька с растерянно-бледным лицом привстал на стременах — казалось Григорию, томительно долго опускал на круп жеребца подтянутую над головой плеть.

От тополя да Царева пруда — версты три. На полпути Митькин жеребец, вытягиваясь в стрелку, настиг кобылицу сотника. Григорий скакал нехотя. Отстав с самого начала, он ехал куцым наметом, с любопытством наблюдая за удалявшейся, разбитой на звенья цепкой скакавших.

Возле Царева пруда — наносный от вешней воды песчаный увал. Желтый верблюжий горб его чахло порос остролистым змеиным луком. Григорий видел, как на увал разом вскочили и стекли на ту сторону сотник и Митька, за ними поодиночке скользили остальные. Когда подъехал он к пруду, потные лошади уже стояли кучей, спешившиеся ребята окружали сотника. Митька лоснился сдерживаемой радостью. Торжество сквозило в каждом его движении. Сотник, против ожидания, показался Григорию нимало не сконфуженным: он, прислонясь к дереву, покуривая папироску, говорил, указывая мизинцем на свою, словно выкупанную кобылицу:

— Я на ней сделал пробег в полтораста верст. Вчера только приехал со станции. Будь она посвежей — никогда, Коршунов, не обогнал бы ты меня.

— Могет быть, — великодушничал Митька.

— Резвей его жеребца по всей округе нету, — завидуя, сказал веснушчатый паренек, прискакавший последним.

— Конь добрячий. — Митька дрожащей от пережитого волнения рукой похлопал по шее жеребца и, деревянно улыбаясь, глянул на Григория.

Они вдвоем отделились от остальных, поехали под горою, а не улицей. Сотник попрощался с ними холодновато, сунул два пальца под козырек и отвернулся.

Уже подъезжая по проулку к двору, Григорий увидел шагавшую им навстречу Аксинью. Шла она, ощипывая хворостинку; увидела Гришку — ниже нагнула голову.

— Чего застыдилась, аль мы телешами едем? — крикнул Митька и подмигнул: — Калинушка моя, эх, горьковатенькая!

Григорий, глядя перед собой, почти проехал мимо и вдруг огрел мирно шагавшую кобылу плетью. Та присела на задние ноги — взлягнув, забрызгала Аксинью грязью.

— И-и-и, дьявол дурной!

Круто повернув, наезжая на Аксинью разгоряченной лошадью, Григорий спросил:

— Чего не здороваешься?

— Не стоишь того!

— За это вот и обляпал — не гордись!

— Пусти! — крикнула Аксинья, махая руками перед мордой лошади. — Что ж ты меня конем топчешь?

— Это кобыла, а не конь.

— Все одно пусти!

— За что серчаешь, Аксютка? Неужели за надышнее, что в займище?..

Григорий заглянул ей в глаза. Аксинья хотела что-то сказать, но в уголке черного ее глаза внезапно нависла слезинка; жалко дрогнули губы. Она, судорожно глотнув, шепнула:

— Отвяжись, Григорий… Я не серчаю… Я… — И пошла.

Удивленный Григорий догнал Митьку у ворот.

— Придешь ноне на игрище? — спросил тот.

— Нет.

— Что так? Либо ночевать покликала?

Григорий потер ладонью лоб и не ответил.

IX

От троицы только и осталось по хуторским дворам: сухой чабрец, рассыпанный на полах, пыль мятых листьев да морщиненная, отжившая зелень срубленных дубовых и ясеневых веток, приткнутых возле ворот и крылец.

С троицы начался луговой покос. С самого утра зацвело займище праздничными бабьими юбками, ярким шитвом завесок, красками платков. Выходили на покос всем хутором сразу. Косцы и гребельщицы одевались будто на годовой праздник. Так повелось исстари. От Дона до дальних ольховых зарослей шевелился и вздыхал под косами опустошаемый луг.

Мелеховы припозднились. Выехали на покос, когда уже на лугу была чуть не половина хутора.

— Долго зорюешь, Пантелей Прокофьич! — шумели припотевшие косари.

— Не моя вина, бабья! — усмехался старик и торопил быков плетенным из сырца кнутом.

— Доброе здоровье, односум [8]. Припозднился, браток, припозднился… — Высокий казак в соломенной шляпе качал головой, отбивая у дороги косу.

— Аль трава пересохнет?

— Рысью поедешь — успеешь, а то и пересохнет. Твой улеш в каком месте?

— А под Красным яром.

— Ну погоняй рябых, а то не доедешь ноне.

Позади на арбе сидела Аксинья, закутавшая от солнца платком все лицо. Из узкой, оставленной для глаз щели она смотрела на сидевшего против нее Григория равнодушно и строго. Дарья, тоже укутанная и принаряженная, свесив между ребер арбы ноги, кормила длинной, в прожилках, грудью засыпавшего на руках ребенка. Дуняшка подпрыгивала на грядушке, счастливыми глазами разглядывая луг и встречавшихся по дороге людей. Лицо ее, веселое, тронутое загаром и у переносицы веснушками, словно говорило: «Мне весело и хорошо оттого, что день, подсиненный безоблачным небом, тоже весел и хорош; оттого, что на душе вот такой же синий покой и чистота. Мне радостно, и больше я ничего не хочу». Пантелей Прокофьевич, натягивая на ладонь рукав бязевой рубахи, вытирал набегавший из-под козырька пот. Согнутая спина его, с плотно прилипшей рубахой, темнела мокрыми пятнами. Солнце насквозь пронизывало седой каракуль туч, опускало на далекие серебряные обдонские горы, степь, займище и хутор веер дымчатых преломленных лучей.

День перекипал в зное. Обдерганные ветром тучки ползли вяло, не обгоняя тянувшихся по дороге быков Пантелея Прокофьевича. Сам он тяжело поднимал кнут, помахивая им, словно в нерешительности: ударить по острым бычьим кострецам или нет. Быки, видно, понимая это, не прибавляли шагу, так же медленно, ощупью переставляли клешнятые ноги, мотали хвостами. Пыльно-золотистый с оранжевым отливом слепень кружился над ними.

Луг, скошенный возле хуторских гумен, светлел бледно-зелеными пятнами; там, где еще не сняли травы, ветерок шершавил зеленый с глянцевитой чернью травяной шелк.

— Вон наша делянка. — Пантелей Прокофьевич махнул кнутом.

— От лесу будем зачинать? — спросил Григорий.

— Можно и с этого краю. Тут я глаголь вырубил лопатой.

Григорий отпряг занудившихся быков. Старик, посверкивая серьгой, пошел искать отметину — вырубленный у края глаголь.

— Бери косы! — вскоре крикнул он, махая рукой.

Григорий пошел, уминая траву. От арбы по траве потек за ним колыхающийся след. Пантелей Прокофьевич перекрестился на беленький стручок далекой колокольни, взял косу. Горбатый нос его блистал, как свежелакированный, во впадинах черных щек томилась испарина. Он улыбнулся, разом обнажив в вороной бороде несчетное число белых, частых зубов, и занес косу, поворачивая морщинистую шею вправо. Саженное полукружье смахнутой травы легло под его ногами.

Григорий шел за ним следом, полузакрыв глаза, стелил косой травье. Впереди рассыпанной радугой цвели бабьи завески, но он искал глазами одну, белую с прошитой каймой; оглядывался на Аксинью и, снова приноравливаясь к отцову шагу, махал косой.

Аксинья неотступно была в его мыслях; полузакрыв глаза, мысленно целовал ее, говорил ей откуда-то набредавшие на язык горячие и ласковые слова, потом отбрасывал это, шагал под счет — раз, два, три; память подсовывала отрезки воспоминаний: «Сидели под мокрой копной… в ендове свиристела турчелка… месяц над займищем… и с куста в лужину редкие капли вот так же — раз, два, три… Хорошо, ах, хорошо-то!..»

Возле стана засмеялись. Григорий оглянулся: Аксинья, наклоняясь, что-то говорила лежащей под арбой Дарье, та замахала руками, и снова обе засмеялись. Дуняшка сидела на вие [9], тонюсеньким голоском пела.

«Дойду вон до энтого кустика, косу отобью, — подумал Григорий и почувствовал, как коса прошла по чему-то вязкому. Нагнулся посмотреть: из-под ног с писком заковылял в травку маленький дикий утенок. Около ямки, где было гнездо, валялся другой, перерезанный косой надвое, остальные с чулюканьем рассыпались по траве. Григорий положил на ладонь перерезанного утенка. Изжелта-коричневый, на днях только вылупившийся из яйца, он еще таил в пушке живое тепло. На плоском раскрытом клювике розовенький пузырек кровицы, бисеринка глаза хитро прижмурена, мелкая дрожь горячих еще лапок.

Григорий с внезапным чувством острой жалости глядел на мертвый комочек, лежавший у него на ладони.

— Чего нашел, Гришунька?..

По скошенным рядам, подпрыгивая, бежала Дуняшка. На груди ее метались мелко заплетенные косички. Морщась, Григорий уронил утенка, злобно махнул косой.

Обедали на скорях. Сало и казачья присяга, — откидное кислое молоко, привезенное из дому в сумке, — весь обед.

— Домой ехать не из чего, — сказал за обедом Пантелей Прокофьевич. — Пущай быки пасутся в лесу, а завтра, покель подберет солнце росу, докосим.

После обеда бабы начали гресть. Скошенная трава вяла и сохла, излучая тягучий дурманящий аромат.

Смеркалось, когда бросили косить. Аксинья догребла оставшиеся ряды, пошла к стану варить кашу. Весь день она зло высмеивала Григория, глядела на него ненавидящими глазами, словно мстила за большую, незабываемую обиду. Григорий, хмурый и какой-то полинявший, угнал к Дону — поить — быков. Отец наблюдал за ним и за Аксиньей все время. Неприязненно поглядывая на Григория, сказал:

— Повечеряешь, а после постереги быков. Гляди, в траву не пущай. Зипун мой возьмешь.

Дарья уложила под арбой дитя и с Дуняшкой пошла в лес за хворостом.

Над займищем по черному недоступному небу шел ущербленный месяц. Над огнем

метелицей порошили бабочки. Возле костра на раскинутом ряднище собрали вечерять. В полевом задымленном котле перекипала каша. Дарья подолом исподней юбки вытерла ложки, Крикнула Григорию:

— Иди вечерять!

Григорий в накинутом на плечи зипуне вылез из темноты, подошел к огню.

— Ты чего это такой ненастный? — улыбнулась Дарья.

— К дождю, видно, поясницу ломит, — попробовал Григорий отшутиться.

— Он быков стеречь не хочет, ей-богу. — Дуняшка улыбнулась, подсаживаясь к брату, заговорила с ним, но разговор как-то не плелся.

Пантелей Прокофьевич истово хлебал кашу, хрустел на зубах недоваренным пшеном. Аксинья села, не поднимая глаз, на шутки Дарьи нехотя улыбалась. Испепеляя щеки, сжигал ее беспокойный румянец.

Григорий встал первый, ушел к быкам.

— Гляди, траву чужую быкам не потрави! — вслед ему крикнул отец и поперхнулся кашей, долго трескуче кашлял.

Дуняшка пыжила щеки, надуваясь смехом. Догорал огонь. Тлеющий хворост обволакивал сидевших медовым запахом прижженной листвы.

В полночь Григорий, крадучись, подошел к стану, стал шагах в десяти. Пантелей Прокофьевич сыпал на арбу переливчатый храп. Из-под пепла золотым павлиньим глазком высматривал не залитый с вечера огонь.

От арбы оторвалась серая укутанная фигура и зигзагами медленно двинулась к Григорию. Не доходя два-три шага, остановилась. Аксинья. Она. Гулко и дробно сдвоило у Григория сердце; приседая, шагнул вперед, откинув полу зипуна, прижал к себе послушную, полыхающую жаром. У нее подгибались в коленях ноги, дрожала вся, сотрясаясь, вызванивая зубами. Рывком кинул ее Григорий на руки — так кидает волк к себе на хребтину зарезанную овцу, — путаясь в полах распахнутого зипуна, задыхаясь, пошел.

— Ой, Гри-и-иша… Гри-шень-ка!.. Отец…

— Молчи!..

Вырываясь, дыша в зипуне кислиной овечьей шерсти, давясь горечью раскаяния, Аксинья почти крикнула низким стонущим голосом:

— Пусти, чего уж теперь… Сама пойду!

X

Не лазоревым алым цветом [10], а собачьей бесилой, дурнопьяном придорожным цветет поздняя бабья любовь.

С лугового покоса переродилась Аксинья. Будто кто отметину сделал на ее лице, тавро выжег. Бабы при встрече с ней ехидно ощерялись, качали головами вслед, девки завидовали, а она гордо и высоко несла свою счастливую, но срамную голову.

Скоро про Гришкину связь узнали все. Сначала говорили об этом шепотом, — верили и не верили, — но после того как хуторской пастух Кузька Курносый на заре увидел их возле ветряка, лежавших под неярким светом закатного месяца в невысоком жите, мутной прибойной волной покатилась молва.

Дошло и до ушей Пантелея Прокофьевича. Как-то в воскресенье пошел он к Мохову в лавку. Народу — не дотолпишься. Вошел — будто раздались, заулыбались. Протиснулся к прилавку, где отпускали мануфактуру. Товар ему взялся отпускать сам хозяин, Сергей

Платонович.

— Что-то тебя давненько не видать, Прокофьич?

— Делишки все. Неуправка в хозяйстве.

— Что так? Сыны вон какие, а неуправка.

— Что ж сыны-то: Петра в лагеря проводил, двое с Гришкой и ворочаем.

Сергей Платонович надвое развалил крутую гнедоватую бородку, многозначительно скосил глаза на толпившихся казаков.

— Да, голубчик, ты что же это примолчался-то?

— А что?

— Как что? Сына задумал женить, а сам ни гугу.

— Какого сына?

— Григорий у тебя ведь неженатый.

— Покедова ишо не собирался женить.

— А я слышал, будто в снохи берешь… Степана Астахова Аксинью.

— Я? От живого мужа… Да ты что ж, Платоныч, навроде смеешься? А?

— Какой смех! Слышал от людей.

Пантелей Прокофьевич разгладил на прилавке развернутую штуку материи и, круто повернувшись, захромал к выходу. Он направился прямо домой. Шел, по-бычьи угнув голову, сжимая связку жилистых пальцев в кулак; заметней припадал на хромую ногу. Минуя астаховский двор, глянул через плетень: Аксинья, нарядная, помолодевшая, покачиваясь в бедрах, шла в курень с порожним ведром.

— Эй, погоди-ка!..

Пантелей Прокофьевич чертом попер в калитку. Аксинья стала, поджидая его. Вошли в курень. Чисто выметенный земляной пол присыпан красноватым песком, в переднем углу на лавке вынутые из печи пироги. Из горницы пахнет слежалой одеждой и почему-то — анисовыми яблоками.

Под ноги Пантелею Прокофьевичу подошел было поластиться рябой большеголовый кот. Сгорбил спину и дружески толкнулся о сапог. Пантелей Прокофьевич шваркнул его об лавку и, глядя Аксинье в брови, крикнул:

— Ты что ж это?.. А? Не остыл мужьин след, а ты уж хвост набок! Гришке я кровь спущу за это самое, а Степану твоему пропишу!.. Пущай знает!.. Ишь ты, курва, мало тебя били… Чтоб с нонешнего дня и ноги твоей на моем базу не ступало. Шашлы заводить с парнем, а Степан придет да мне же…

Аксинья, сузив глаза, слушала. И вдруг бесстыдно мотнула подолом, обдала Пантелея Прокофьевича запахом бабьих юбок и грудью пошла на него, кривляясь и скаля зубы.

— Ты что мне, свекор? А? Свекор?.. Ты что меня учишь! Иди свою толстозадую учи! На своем базу распоряжайся!.. Я тебя, дьявола хромого, культяпого, в упор не вижу!.. Иди отсель, не спужаешь!

— Погоди, дура!

— Нечего годить, тебе не родить!.. Ступай, откель пришел! А Гришку твоего, захочу — с костями съем и ответа держать не буду!.. Вот на! Выкуси! Ну, люб мне Гришка. Ну? Вдаришь, что ль?.. Мужу пропишешь?.. Пиши хучь наказному атаману, а Гришка мой! Мой! Мой! Владаю им и буду владать!..

Аксинья напирала на оробевшего Пантелея Прокофьевича грудью (билась она под узкой кофточкой, как стрепет в силке), жгла его полымем черных глаз, сыпала слова — одно другого страшней и бесстыжей. Пантелей Прокофьевич, подрагивая бровями, отступал к выходу, нащупал поставленный в углу костыль и, махая рукой, задом отворил дверь. Аксинья

вытесняла его из сенцев, задыхаясь, выкрикивала, бесновалась:

— За всю жизнь за горькую отлюблю!.. А там хучь убейте! Мой Гришка! Мой!

Пантелей Прокофьевич, что-то булькая себе в бороду, зачикилял к дому.

Гришку он нашел в горнице. Не говоря ни слова, достал его костылем вдоль спины. Григорий, изогнувшись, повис на отцовской руке.

— За что, батя?

— За дело, су-у-у-кин сын!..

— За что?

— Не пакости соседу! Не срами отца! Не таскайся, кобелина! — хрипел Пантелей Прокофьевич, тягая по горнице Григория, силясь вырвать костыль.

— Драться не дам! — глухо сапнул Григорий и, стиснув челюсти, рванул костыль. На колено его и — хряп!..

Пантелей Прокофьевич — сына по шее тугим кулаком.

— На сходе запорю!.. Ах ты чертово семя, прокляяя-а-а-тый сын! — Он сучил ногами, намереваясь еще раз ударить. — На Марфушке-дурочке женю!.. Я те выхолощу!.. Ишь ты!..

На шум прибежала мать.

— Прокофьич, Прокофьич!.. Охолонь трошки!.. Погоди!..

Но старик разошелся не на шутку: поднес раз жене, опрокинул столик со швейной машиной и, навоевавшись, вылетел на баз. Не успел Григорий скинуть рубаху с разорванным в драке рукавом, как дверь крепко хлястнула и на пороге вновь тучей буревой укрепился Пантелей Прокофьевич.

— Женить сукиного сына!.. — Он по-лошадиному стукнул ногой, уперся взглядом в мускулистую спину Григория. — Женю!.. Завтра же поеду сватать! Дожил, что сыном в глаза смеются!

— Дай рубаху-то надеть, после женишь.

— Женю! На дурочке женю!.. — Хлопнул дверью, по крыльцу протарахтели шаги и стихли.

XI

За хутором Сетраковым в степи рядами вытянулись повозки с брезентовыми будками. Невидимо быстро вырос городок, белокрыший и аккуратный, с прямыми улочками и небольшой площадкой в центре, по которой похаживал часовой.

Лагеря зажили обычной для мая месяца, ежегодно однообразной жизнью. По утрам команда казаков, караулившая на попасе лошадей, пригоняла их к лагерям. Начинались чистка, седловка, перекличка, построения. Зычно покрикивал заведующий лагерями штаб-офицер, шумоватый войсковой старшина Попов, горланили, муштруя молодых казаков, обучавшие их урядники. За бугром сходились в атаках, хитро окружали и обходили «противника». Стреляли по мишени из дробовиц. Казаки помоложе охотно состязались в рубке, постарше — отвиливали от занятий.

Люди хрипли от жары и водки, а над длинными шеренгами крытых повозок тек пахучий волнующий ветер, издалека свистели суслики, степь тянула подальше от жилья и дыма выбеленных куреней.

За неделю до выхода из лагерей к Андрею Томилину, родному брату батарейца Ивана, приехала жена. Привезла домашних сдобных бурсаков, всякого угощения и ворох хуторских новостей.

На другой день спозаранку уехала. Повезла от казаков домашним и близким поклоны, наказы. Лишь Степан Астахов ничего не пересылал с ней. Накануне заболел он, лечился водкой и не видел не только жены Томилина, но и всего белого света. На ученье не поехал; по его просьбе фельдшер кинул ему кровь, поставил на грудь дюжину пиявок. Степан в одной исподней рубахе сидел у колеса своей брички, — фуражка с белым чехлом мазалась, вытирая колесную мазь, — оттопырим губу, смотрел, как пиявки, всосавшись в выпуклые полушария его груди, набухали черной кровью.

Возле стоял полковый фельдшер, курил, процеживая сквозь редкие зубы табачный дым.

— Легчает?

— От грудей тянет. Сердцу, кубыть, просторней…

— Пиявки — первое средство!

К ним подошел Томилин. Мигнул.

— Степан, словцо бы сказать хотел.

— Говори.

— Поди на-час [11].

Степан, кряхтя, поднялся, отошел с Томилиным.

— Ну, выкладывай.

— Баба моя приезжала… Ноне уехала.

— А…

— Про твою жененку по хутору толкуют…

— Что?

— Гутарют недобро.

— Ну?

— С Гришкой Мелеховым спуталась… В открытую.

Степан, бледнея, рвал с груди пиявок, давил их ногою. Последнюю раздавил, застегнул воротник рубахи и, словно испугавшись чего-то, снова расстегнул… Белые губы не находили покоя: подрагивая, расползались в нелепую улыбку, ежились, собираясь в синеватый комок… Томилину казалось, что Степан жует что-то твердое, неподатливое на зубы. Постепенно к лицу вернулась краска, прихваченные изнутри зубами, окаменели в недвижности губы. Степан снял фуражку, рукавом размазал по белому чехлу пятно колесной мази, сказал звонко:

— Спасибо за вести.

— Хотел упредить… Ты извиняй… Так, мол, и так дома…

Томилин сожалеюще хлопнул себя по штанине и ушел к нерасседланному коню. Лагеря в гуле голосов. Приехали с рубки казаки. Степан с минуту стоял, разглядывая сосредоточенно и строго черное пятно на фуражке. На сапог ему карабкалась полураздавленная, издыхающая пиявка.

XII

Оставалось полторы недели до прихода казаков из лагерей.

Аксинья неистовствовала в поздней горькой своей любви. Несмотря на угрозы отца, Григорий, таясь, уходил к ней с ночи и возвращался с зарей.

За две недели вымотался он, как лошадь, сделавшая непосильный пробег.

От бессонных ночей коричневая кожа скуластого его лица отливала синевою, из ввалившихся глазниц устало глядели черные, сухие глаза.

Аксинья ходила, не кутая лица платком, траурно чернели глубокие ямы под глазами;

припухшие, слегка вывернутые, жадные губы ее беспокойно и вызывающе смеялись.

Так необычайна и явна была сумасшедшая их связь, так исступленно горели они одним бесстыдным полымем, людей не совестясь и не таясь, худея и чернея в лицах на глазах у соседей, что теперь на них при встречах почему-то стыдились люди смотреть.

Товарищи Григория, раньше трунившие над ним по поводу связи с Аксиньей, теперь молчали, сойдясь, и чувствовали себя в обществе Григория неловко, связанно. Бабы, в душе завидуя, судили Аксинью, злорадствовали в ожидании прихода Степана, изнывали, снедаемые любопытством. На развязке плелись их предположения.

Если б Григорий ходил к жалмерке Аксинье, делая вид, что скрывается от людей, если б жалмерка Аксинья жила с Григорием, блюдя это в относительной тайне, и в то же время не чуралась бы других, то в этом не было бы ничего необычного, хлещущего по глазам. Хутор поговорил бы и перестал. Но они жили, почти не таясь, вязало их что-то большое, не похожее на короткую связь, и поэтому в хуторе решили, что это преступно, безнравственно, и хутор прижух в поганеньком выжиданьице: придет Степан — узелок развяжет.

В горнице над кроватью протянута веревочка. На веревочку нанизаны белые и черные порожние, без ниток, катушки. Висят для красоты. На них ночлежничают мухи, от них же к потолку — пряжа паутины. Григорий лежит на голой прохладной Аксиньиной руке и смотрит в потолок на цепку катушек. Аксинья другой рукой — огрубелыми от работы пальцами — перебирает на запрокинутой голове Григория жесткие, как конский волос, завитки. Аксиньины пальцы пахнут парным коровьим молоком; когда поворачивает Григорий голову, носом втыкаясь Аксинье в подмышку, — хмелем невыбродившим бьет в ноздри острый сладковатый бабий пот.

В горнице, кроме деревянной крашеной кровати с точеными шишками по углам, стоит возле дверей окованный уемистый сундук с Аксиньиным приданым и нарядами. Под передним углом — стол, клеенка с генералом Скобелевым, скачущим на склоненные перед ним махровитые знамена; два стула, вверху — образа в бумажных ярко-убогих ореолах. Сбоку, на стене — засиженные мухами фотографии. Группа казаков — чубатые головы, выпяченные груди с часовыми цепками, оголенные клинки палашей: Степан с товарищами еще с действительной службы. На вешалке висит неприбранный Степанов мундир. Месяц глазастеет в оконную прорезь, недоверчиво щупает две белые урядницкие лычки на погоне мундира.

Аксинья со вздохом целует Григория повыше переносицы на развилке бровей.

— Гриша, колосочек мой…

— Чего тебе?

— Осталося девять ден…

— Ишо не скоро.

— Что я, Гриша, буду делать?

— Я почем знаю.

Аксинья удерживает вздох и снова гладит и разбирает спутанный Гришкин чуб.

— Убьет меня Степан… — не то спрашивает, не то утвердительно говорит она.

Григорий молчит. Ему хочется спать. Он с трудом раздирает липнущие веки, прямо над ним — мерцающая синевою чернь Аксиньиных глаз.

— Придет муж, — небось, бросишь меня? Побоишься?

— Мне что его бояться, ты — жена, ты и боись.

— Зараз, с тобой, я не боюсь, а посередь дня раздумаюсь — и оторопь возьмет…

Григорий зевает, перекатывая голову, говорит:

— Степан придет — это не штука. Батя вон меня женить собирается.

Григорий улыбается, хочет еще что-то сказать, но чувствует: рука Аксиньи под его головой как-то вдруг дрябло мякнет, вдавливается в подушку и, дрогнув, через секунду снова твердеет, принимает первоначальное положение.

— Кого усватали? — приглушенно спрашивает Аксинья.

— Только собирается ехать. Мать гутарила, кубыть, к Коршуновым, за ихнюю Наталью.

— Наталья… Наталья — девка красивая… Дюже красивая. Что ж, женись. Надысь видела ее в церкви… Нарядная была…

Аксинья говорит быстро, но слова расползаются, не доходят до слуха неживые и бесцветные слова.

— Мне ее красоту за голенищу не класть. Я бы на тебе женился.

Аксинья резко выдергивает из-под головы Григория руку, сухими глазами смотрит в окно. По двору — желтая ночная стынь. От сарая — тяжелая тень. Свиристят кузнечики. У Дона гудят водяные быки, угрюмые басовитые звуки ползут через одинарное оконце в горницу.

— Гриша!

— Надумала что?

Аксинья хватает неподатливые, черствые на ласку Гришкины руки, жмет их к груди, к холодным, помертвевшим щекам, кричит стонущим голосом:

— На что ты, проклятый, привязался ко мне? Что я буду делать!.. Гри-и-ишка!.. Душу ты мою вынаешь!.. Сгубилась я… Придет Степан — какой ответ держать стану?.. Кто за меня вступится?..

Григорий молчит. Аксинья скорбно глядит на его красивый хрящеватый нос, на покрытые тенью глаза, на немые губы… И вдруг рвет плотину сдержанности поток чувства: Аксинья бешено целует лицо его, шею, руки, жесткую курчавую черную поросль на груди. В промежутки, задыхаясь, шепчет, и дрожь ее ощущает Григорий:

— Гриша, дружечка моя… родимый… давай уйдем. Милый мой! Кинем все, уйдем. И мужа и все кину, лишь бы ты был… На шахты уйдем, далеко. Кохать тебя буду, жалеть… На Парамоновских рудниках у меня дядя родной в стражниках служит, он нам пособит… Гриша! Хучь словцо урони.

Григорий углом переламывает левую бровь, думает и неожиданно открывает горячие свои, нерусские глаза. Они смеются. Слепят насмешкой.

— Дура ты, Аксинья, дура! Гутаришь, а послухать нечего. Ну, куда я пойду от хозяйства? Опять же, на службу мне на энтот год. Не годится дело… От земли я никуда не тронусь. Тут степь, дыхнуть есть чем, а там? Прошлую зиму ездил я с батей на станцию, так было-к пропал. Паровозы ревут, дух там чижелый от горелого угля. Как народ живет — не знаю, может, они привыкли к этому самому угару… — Григорий сплевывает и еще раз говорит: — Никуда я с хутора не пойду.

За окном темнеет, на месяц наплыло облачко. Меркнет желтая, разлитая по двору стынь, стираются выутюженные тени, и уже не разобрать, что темнеет за плетнем: прошлогодний порубленный хворост ли или прислонившийся к плетню старюка-бурьян.

В горнице тоже густеет темень, блекнут Степановы урядницкие лычки на висящем у окна казачьем мундире, и в серой застойной непрогляди Григорий не видит, как у Аксиньи мелкой дрожью трясутся плечи и на подушке молча подпрыгивает стиснутая ладонями голова.

XIII

С того дня, как приезжала баба Томилина, подурнел Степан с лица. Висли на глаза брови, ложбинка глубокая и черствая косо прорезала лоб. Он мало говорил с товарищами, из-за пустяков вспыхивал и начинал ссору, ни с того ни с сего поругался с вахмистром Плешаковым, на Петра Мелехова почти не глядел. Лопнула вожжина дружбы, раньше соединявшая их. В тяжкой накипевшей злобе своей шел Степан под гору, как лошадь, понесшая седока. Домой возвращались они врагами.

Надо же было приключиться такому случаю, ускорившему развязку неопределенных и враждебных отношений, установившихся между ними за последнее время. Из лагерей поехали по-прежнему впятером. В бричку запрягли Петрова коня и Степанова. Христоня на своем ехал верхом. Андрея Томилина трясла лихорадка, лежал он в будке под шинелью. Федот Бодовсков ленился править, поэтому кучеровал Петро. Степан шел возле брички, плетью сбивая пунцовые головки придорожного татарника. Падал дождь. Густой чернозем смолою крутился на колесах. Небо по-осеннему сизело, запеленатое в тучи. Спустилась ночь. Огней хутора, сколько ни приглядывались, не было видно. Петро щедро сыпал лошадям кнута. И вот тут-то в темноте крикнул Степан:

— Ты что же… Своего коня прижеливаешь, а с моего кнут не сходит?

— Гляди дюжей. Чей не тянет, того и погоняю.

— Как бы я тебя не подпрег. Турки — они тягущи…

Петро бросил вожжи.

— Тебе что надо?

— Сиди уж, не вставай.

— То-то, помолчал бы.

— Ты чего к нему прискипался? — загудел Христоня, подъезжая к Степану.

Тот промолчал. В темноте не видно было его лица. С полчаса ехали молча. Шелестела под колесами грязь. Дремотно вызванивал по брезентовой крыше будки сеянный на сито дождь. Петро, бросив вожжи, курил. Перебирал в уме все те обидные слова, которые он при новой стычке скажет Степану. Его подмывала злоба. Хотелось хлестко выругать этого подлеца Степана, осмеять.

— Посторонись. Дай в будку пролезть. — Степан легонько толкнул Петра, вскочил на подножку.

Тут-то неожиданно дернулась бричка и стала. Оскользаясь по грязи, затопотали лошади, из-под подков брызнули искры. Громыхнул натянутый барок.

— Трррр!.. — крикнул Петро, прыгая с брички.

— Что там такое? — всполошился Степан.

Подсказал Христоня.

— Обломались, черти?

— Засвети огонь.

— Серники у кого?

— Степан, кинь серники!

Впереди, всхрапывая, билась лошадь. Кто-то чиркнул спичкой. Оранжевое колечко света — и опять темь. Дрожащими руками Петро щупал спину упавшей лошади. Дернул под уздцы.

— Но!..

Лошадь, вздохнув, повалилась на бок, хряпнуло дышло. Подбежавший Степан зажег щепоть спичек. Конь его лежал, вскидывая голову. Передняя нога по колено торчала в заваленной сурчине.

Христоня, суетясь, отцепил постромки.

— Ногу ему выручай!

— Отпрягай Петрова коня, ну, живо!

— Стой, про-кля-тый! Трррр!..

— Он брыкается, дьявол. Сторонись!

С трудом подняли Степанова коня на ноги. Измазанный Петро держал его под уздцы, Христоня ползал в грязи на коленях, ощупывая безжизненную поднятую ногу.

— Должно, переломил… — пробасил он.

Федот Бодовсков шлепнул по дрожащей лошадиной спине ладонью.

— А ну, проведи. Может, пойдет?

Петро потянул на себя поводья. Конь прыгнул, не наступая на левую переднюю, и заржал. Томилин, надевая шинель в рукава, горестно топтался около.

— Врюхались!.. Сгубили коня, эх!.

Молчавший все время Степан словно этого и ждал: отпихнув Христоню, кинулся на Петра. Целил в голову, но промахнулся — в плечо попал. Сцепились. Упали в грязь. Треснула на ком-то рубаха. Степан подмял Петра и, придавив коленом голову, гвоздил кулачьями. Христоня растянул их, матерясь.

— За что? — выхаркивая кровь, кричал Петро.

— Правь, гадюка! Бездорожно не езди!..

Петро рванулся из Христониных рук.

— Но-но-но! Балуй у меня! — гудел тот, одной рукой прижимая его к бричке.

В пару к Петрову коню припрягли низкорослого, но тягущого конишку Федота Бодовскова.

— Садись на моего! — приказал Степану Христоня.

Сам полез в будку к Петру.

Уже в полночь приехали на хутор Гниловский. Стали у крайнего куренька. Христоня пошел проситься на ночевку. Не обращая внимания на кобеля, хватавшего его за полы шинели, он проплюхал к окну, открыл ставень, поскреб ногтем о стекло.

— Хозяин!

Шорох дождя и заливистый собачий брех.

— Хозяин! Эй, добрые люди! Пустите, ради Христа, заночевать. А? Служивые, из лагерей. Сколько? Пятеро нас. Ага, ну, спаси Христос. Заезжай! — крикнул он, поворачиваясь к воротам.

Федот ввел во двор лошадей. Споткнулся о свиное корыто, брошенное посреди двора, выругался. Лошадей поставили под навес сарая. Томилин, вызванивая зубами, пошел в хату. В будке остались Петро и Христоня.

На заре собрались ехать. Вышел из хаты Степан, за ним семенила древняя горбатая старушонка. Христоня, запрягавший коней, пожалел ее:

— Эх, бабуня, как тебя согнуло-то! Небось в церкви поклоны класть способно, чудок нагнулась — и вот он, пол.

— Соколик мой, атаманец, мне — поклоны класть, на тебе — собак вешать способно… Всякому свое. — Старуха сурово улыбнулась, удивив Христоню густым рядом несъеденных мелких зубов.

— Ишь ты, какая зубастая, чисто щука. Хучь бы мне на бедность подарила с десяток. Молодой вот, а жевать нечем.

— А я с чем останусь, хороший мой?

— Тебе, бабка, лошадиные вставим. Все одно помирать, а на том свете на зубы не глядят: угодники — они ить не из цыганев.

— Мели, Емеля, — улыбнулся, влезая на бричку, Томилин.

Старуха прошла со Степаном под сарай.

— Какой из них?

— Вороной, — вздохнул Степан.

Старуха положила на землю свой костыль и мужским, уверенно-сильным движением подняла коню испорченную ногу. Скрюченными тонкими пальцами долго щупала коленную чашечку. Конь прижимал уши, ощеряя коричневый навес зубов, приседал от боли на задние ноги.

— Нет, полому, казачок, нету. Оставь, полечу.

— Толк-то будет, бабуня?

— Толк? А кто ж его знает, славный мой… Должно, будет толк.

Степан махнул рукой и пошел к бричке.

— Оставишь ай нет? — щурилась вслед старуха.

— Пущай остается.

— Она его вылечит: оставил об трех ногах — возьмешь кругом без ног. Ветинара с горбом нашел, — хохотал Христоня.

XIV

— …Тоскую по нем, родная бабунюшка. На своих глазыньках сохну. Не успеваю юбку ушивать — что ни день, то шире становится… Пройдет мимо база, а у меня сердце закипает… упала б наземь, следы б его целовала… Может, присушил чем?.. Пособи, бабунюшка! Женить его собираются… Пособи, родная! Что стоит — отдам. Хучь последнюю рубаху сыму, только пособи!

Светлыми, в кружеве морщин, глазами глядит бабка Дроздиха на Аксинью, качает головой под горькие слова рассказа.

— Чей же паренек-то?

— Пантелея Мелехова.

— Турка, что ли?

— Его.

Бабка жует ввалившимся ртом, медлит с ответом.

— Придешь, бабонька, пораньше завтра. Чуть займется зорька, придешь. К Дону пойдем, к воде. Тоску отольем. Сольцы прихвати щепоть из дому… Так-то.

Аксинья кутает желтым полушалком лицо и, сгорбившись, выходит за ворота.

Темная фигура ее рассасывается в ночи. Сухо черкают подошвы чириков. Смолкают и шаги. Где-то на краю хутора дерутся и ревут песни.

С рассветом Аксинья, не спавшая всю ночь, — у Дроздихиного окна.

— Бабушка!

— Кто там?

— Я, бабушка. Вставай.

— Зараз оденусь.

По проулку спускаются к Дону. У пристани, возле мостков, мокнет в воде брошенный передок арбы. Песок у воды леденисто колок. От Дона течет сырая, студеная мгла.

Дроздиха берет костистой рукой Аксиньину руку, тянет ее к воде.

— Соль взяла? Дай сюды. Кстись на восход.

Аксинья крестится. Злобно глядит на счастливую розовость востока.

— Зачерпни воды в пригоршню. Испей, — командует Дроздиха.

Аксинья, измочив рукава кофты, напилась. Бабка черным пауком раскорячилась над ленивой волной, присела на корточки, зашептала:

— Студены ключи, со дна текучие… Плоть горючая… Зверем в сердце… Тоска-лихоманица… И крестом святым… пречистая, пресвятая… Раба божия Григория… — доносилось до слуха Аксиньи.

Дроздиха посыпала солью влажную песчаную россыпь под ногами, сыпанула в воду, остатки — Аксинье за пазуху.

— Плесни через плечо водицей. Скорей!

Аксинья проделала. С тоской и злобой оглядела коричневые щеки Дроздихи.

— Все, что ли?

— Поди, милая, позорюй. Все.

Запыхавшись, прибежала Аксинья домой. На базу мычали коровы. Мелехова Дарья, заспанная и румяная, поводя красивыми дугами бровей, гнала в табун своих коров. Она, улыбаясь, оглядела бежавшую мимо Аксинью.

— Здорово ночевала, соседка!

— Слава богу.

— Гдей-то спозаранку моталась?

— Тут в одно место, по делу.

Зазвонили к утрене. Рассыпчато и ломко падали медноголосые всплески. На проулке щелкал арапником подпасок.

Аксинья, спеша, выгнала коров, понесла в сенцы цедить молоко. Вытерла о завеску руки с засученными по локоть рукавами; думая о чем-то своем, плескала в запенившуюся цедилку молоко.

По улице резко зацокали колеса. Заржали кони. Аксинья поставила цебарку, пошла глянуть в окно.

К калитке, придерживая шашку, шел Степан. Обгоняя друг друга, скакали к площади казаки. Аксинья скомкала в пальцы завеску и села на лавку. По крыльцу шаги… Шаги в сенцах… Шаги у самой двери…

Степан стал на пороге, исхудавший и чужой.

— Ну…

Аксинья, вихляясь всем своим крупным, полным телом, пошла навстречу.

— Бей! — протяжно сказала она и стала боком.

— Ну, Аксинья…

— Не таюсь, — грех на мне. Бей, Степан!

Она, вобрав голову в плечи, сжавшись в комок, защищая руками только живот, стояла к нему лицом. С обезображенного страхом лица глядели глаза в черных кругах, не мигая. Степан качнулся и прошел мимо. Пахнуло запахом мужского пота и полынной дорожной горечью от нестираной рубахи. Он, не скинув фуражки, лег на кровать. Полежал, повел плечом, сбрасывая портупею. Всегда лихо закрученные русые усы его квело свисали вниз. Аксинья, не поворачивая головы, сбоку глядела на него. Редко вздрагивала. Степан положил ноги на спинку кровати. С сапог вязко тянулась закрутевшая грязь. Он смотрел в потолок, перебирал пальцами ременный темляк шашки.

— Ишо не стряпалась?

— Нет…

— Собери-ка что-нибудь пожрать.

Хлебал из чашки молоко, обсасывая усы. Хлеб жевал подолгу, на щеках катались обтянутые розовой кожей желваки. Аксинья стояла у печки. С жарким ужасом глядела на

маленькие хрящеватые уши мужа, ползавшие при еде вверх и вниз.

Степан вылез из-за стола, перекрестился.

— Расскажи, милаха, — коротко попросил он.

Нагнув голову, Аксинья собирала со стола. Молчала.

— Расскажи, как мужа ждала, мужнину честь берегла? Ну?

Страшный удар в голову вырвал из-под ног землю, кинул Аксинью к порогу. Она стукнулась о дверную притолоку спиной, глухо ахнула.

Не только бабу квелую и пустомясую, а и ядреных каршеватых атаманцев умел Степан валить с ног ловким ударом в голову. Страх ли поднял Аксинью, или снесла бабья живучая натура, но она отлежалась, отдышалась, встала на четвереньки.

Закуривал Степан посреди хаты и прозевал, как поднялась Аксинья в дыбки. Кинул на стол кисет, а она уж дверью хлопнула. Погнался.

Аксинья, залитая кровью, ветром неслась к плетню, отделявшему их двор от мелеховского. У плетня Степан настиг ее. Черная рука его ястребом упала ей на голову. Промеж сжатых пальцев набились волосы. Рванул и повалил на землю, в золу — в ту золу, которую Аксинья, истопив печь, изо дня в день сыпала у плетня.

Что из того, что муж, заложив руки за спину, охаживает собственную жену сапогами?.. Шел мимо безрукий Алешка Шамиль, поглядел, поморгал и раздвинул кустастую бороденку улыбкой: очень даже понятно, за что жалует Степан свою законную.

Остановился бы Шамиль поглядеть (на кого ни доведись, все ж таки любопытно ведь) — до смерти убьет или нет, — но совесть не дозволяет. Не баба, как-никак.

Издали на Степана глядеть — казачка человек вытанцовывает. Так и подумал Гришка, увидев из окна горницы, как подпрыгивает Степан. А доглядел — и выскочил из куреня. К плетню бежал на цыпочках, плотно прижав к груди занемевшие кулаки; за ним следом тяжко тупал сапогами Петро.

Через высокий плетень Григорий махнул птицей. С разбегу сзади хлобыстнул занятого Степана. Тот качнулся и, обернувшись, пошел на Гришку медведем.

Братья Мелеховы дрались отчаянно. Клевали Степана, как стервятники падаль. Несколько раз Гришка катился наземь, сбитый Степановой кулачной свинчаткой. Жидковат был против заматеревшего Степана. Но низенький вьюн Петро гнулся под ударами, как камыш под ветром, а на ногах стоял твердо.

Степан, сверкая одним глазом (другой затек опухолью цвета недоспелой сливы), отступал к крыльцу.

Разнял их Христоня, пришедший к Петру за уздечкой.

— Разойдись! — Он махнул клешнятыми руками. — Разойдись, а то к атаману!

Петро бережно выплюнул на ладонь кровь и половину зуба, сказал хрипло:

— Пойдем, Гришка. Мы его в однорядь подсидим…

— Нешто не попадешься ты мне! — грозил с крыльца подсиненный во многих местах Степан.

— Ладно, ладно!

— И без ладного душу с потрохами выну!

— Ты всурьез или шутейно?

Степан быстро сошел с крыльца. Гришка рванулся к нему навстречу, но Христоня, толкая его в калитку, пообещал:

— Только свяжись — измотаю, как цуцика!

С этого дня в калмыцкий узелок завязалась между Мелеховыми и Степаном Астаховым злоба.

Суждено было Григорию Мелехову развязывать этот узелок два года спустя в Восточной Пруссии, под городом Столыпином.

XV

— Петру скажи, чтобы запрягал кобылу и своего коня.

Григорий вышел на баз. Петро выкатывал из-под навеса сарая бричку.

— Батя велит запрягать кобылу и твоего.

— Без него знаем. Пущай заткнется! — направляя дышло, отозвался Петро.

Пантелей Прокофьевич, торжественный, как ктитор у обедни, дохлебывал щи, омывался горячим потом.

Дуняшка шустро оглядела Григория, где-то в тенистом холодке выгнутых ресниц припрятала девичий смешок-улыбку. Ильинична, кургузая и важная, в палевой праздничной шали, тая в углах губ материнскую тревогу, взглянула на Григория и — к старику:

— Будя тебе, Прокофьич, напихиваться. Чисто оголодал ты!

— Поисть не даст. То-то латоха!

В дверь просунул длинные пшенично-желтые усы Петро.

— Пжалте, фаитон подан.

Дуняшка прыснула смехом и закрылась рукавом.

Прошла через кухню Дарья, поиграла тонкими ободьями бровей, оглядывая жениха.

Свахой ехала двоюродная сестра Ильиничны, жох-баба, вдовая тетка Василиса. Она первая угнездилась в бричке, вертя круглой, как речной голыш, головой, посмеиваясь, из-под оборки губ показывая кривые черные зубы.

— Ты, Васенка, там-то не скалься, — предупредил ее Пантелей Прокофьевич, — могешь все дело испакостить через свою пасть… Зубы-то у тебя пьяные посажены в рот: один туда кривится, другой совсем наоборот даже…

— Эх, куманек, не за меня сватают-то. Не я женихом.

— Так-то так, а все ж таки не смеись. Даже уж зубы-то не того… Чернота одна, погано глядеть даже.

Василиса обижалась, а тем часом Петро расхлебенил ворота. Григорий разобрал пахучие ременные вожжи, вскочил на козлы. Пантелей Прокофьевич с Ильиничной — в заду брички рядком, ни дать ни взять — молодые.

— Кнута им ввали! — крикнул Петро, выпуская из рук поводья.

— Играй, черт! — Гришка куснул губу и — кнутом коня, перебиравшего ушами.

Лошади натянули постромки, резко взяли с места.

— Гляди! Зацепишься!.. — взвизгнула Дарья, но бричка круто вильнула и, подпрыгивая на придорожных кочках, затараторила вдоль по улице.

Свешиваясь набок, Григорий горячил кнутом игравшего в упряжке Петрова строевика. Пантелей Прокофьевич ладонью держал бороду, словно опасаясь, что подхватит и унесет ее ветер.

— Кобылу рубани! — ворочая по сторонам глазами, сипел он, наклоняясь к Григорьевой спине.

Ильинична кружевным рукавом кофты вытирала выжатую ветром слезинку, мигая, глядела, как на спине Григория трепещет, надуваясь от ветра горбом, сатиновая синяя рубаха. Встречные казаки сторонились, подолгу глядели вслед. Собаки, выскакивая из дворов, катились под ноги лошадям. Лая не было слышно за гулом заново ошиненных колес.

Григорий не жалел ни кнута, ни лошадей, и через десять минут хутор лег позади, у дороги зелено закружились сады последних дворов. Коршуновский просторный курень. Дощатый забор. Григорий дернул вожжи, и бричка, оборвав железный рассказ на полуслове, стала у крашеных, в мелкой резьбе, ворот.

Григорий остался у лошадей, а Пантелей Прокофьевич захромал к крыльцу. За ним в шелесте юбок поплыли красномаковая Ильинична и Василиса, неумолимо твердо спаявшая губы. Старик спешил, боясь утратить припасенную дорогой смелость. Он споткнулся о высокий порожек, зашиб хромую ногу и, морщась от боли, буйно затопотал по вымытым сходцам.

Вошел он в курень почти вместе с Ильиничной. Ему невыгодно было стоять рядом с женой, была она выше его на добрую четверть, поэтому он ступил от порога шаг вперед, поджав по-кочетиному ногу, и, скинув фуражку, перекрестился на черную, мутного письма икону:

— Здорово живете!

— Слава богу, — ответил, привстав с лавки, хозяин — невысокий конопатый престарелый казак.

— Принимай гостей, Мирон Григорьевич!

— Гостям завсегда рады. Марья, дай людям на что присесть.

Пожилая плоскогрудая хозяйка для виду обмахнула табуреты, подвинула их гостям. Пантелей Прокофьевич сел на краешек, вытирая утиркой взмокший смуглый лоб.

— А мы это к вам по делу, — начал он без обиняков.

В этом месте речи Ильинична и Василиса, подвернув юбки, тоже присели.

— Жалься: по какому такому делу? — улыбнулся хозяин.

Вошел Григорий. Зыркнул по сторонам.

— Здорово ночевали.

— Слава богу, — протяжно ответила хозяйка.

— Слава богу, — подтвердил и хозяин. Сквозь веснушки, устрекавшие его лицо, проступила коричневая краска: тут только догадался он, зачем приехали гости. — Скажи, чтоб коней ихних ввели на баз. Нехай им сена кинут, — обратился он к жене.

Та вышла.

— Дельце к вам по малости имеем… — продолжал Пантелей Прокофьевич. Он ворошил кудрявую смолу бороды, подергивал в волнении серьгу. — У вас — девка невеста, у нас — жених… Не снюхаемся ли, каким случаем? Узнать бы хотелось — будете ли вы ее выдавать зараз, нет ли? А то, может, и породнились бы?

— Кто же ее знает… — Хозяин почесал лысеющую голову. — Не думали, признаться, в нонешний мясоед выдавать. Тут делов пропастишша, а тут-таки и годков не дюже чтоб много. Осьмнадцатая весна только перешла. Так ить, Марья?

— Так будет.

— Теперича самое светок лазоревый, что ж держать, — аль мало перестарков в девках кулюкают? — выступила Василиса, ерзая по табурету (ее колол украденный в сенцах и сунутый под кофту веник: по приметам, сваты, укравшие у невесты веник, не получат отказа).

— За нашу наезжали сваты ишо на провесне. Наша не засидится. Девка — нечего бога-милостивца гневовать — всем взяла: что на полях, что дома…

— Попадется добрый человек, и выдать можно, — протиснулся Пантелей Прокофьевич в бабий трескучий разговор.

— Выдать не вопрос, — чесался хозяин, — выдать в любое время можно.

Пантелей Прокофьевич подумал, что им отказывают, — загорячился.

— Оно самой собой — дело хозяйское… Жених, он навроде старца, где хошь просит. А уж раз вы, к примеру, ищете, может, купецкого звания жениха аль ишо что, то уж, совсем наоборот, звиняйте.

Дело и сорвалось бы: Пантелей Прокофьевич пыхтел и наливался бураковым соком, невестина мать кудахтала, как наседка на тень коршуна, но в нужную минуту ввязалась Василиса. Посыпала мелкой тишайшей скороговоркой, будто солью на обожженное место, и связала разрыв.

— Что уж там, родимые мои! Раз дело такое зашло, значится, надо порешить его порядком и дитю своему на счастье… Хучь бы и Наталья — да таких-то девок по белу свету поискать! Работа варом в руках: что рукодельница! Что хозяйка! И собою, уж вы, люди добрые, сами видите. — Она разводила с приятной округлостью руками, обращаясь к Пантелею Прокофьевичу и надутой Ильиничне. — Он и женишок хучь куда. Гляну, ажник сердце в тоску вдарится, до чего ж на моего покойного Донюшку схож… и семейство ихнее шибко работящее. Прокофьевич-то — кинь по округе — всему свету звестный человек и благодетель… По доброму слову, аль мы детям своим супротивники и лиходеи?

Тек Пантелею Прокофьевичу в уши патокой свашенькин журчливый голосок. Слушал старик Мелехов и думал, восхищаясь: «Эк чешет, дьявол, языкастая! Скажи, как чулок вяжет. Петлюет — успевай разуметь, что и к чему. Иная баба забьет и казака разными словами… Ишь ты, моль в юбке!» — любовался он свахой, пластавшейся в похвалах невесте и невестиной родне, начиная с пятого колена.

— Чего и гутарить, зла мы дитю своему не желаем.

— Про то речь, что выдавать, кубыть, и рано, — миротворил хозяин, лоснясь улыбкой.

— Не рано! Истинный бог, не рано! — уговаривал его Пантелей Прокофьевич.

— Придется, рано ль, поздно ль, расставаться… — всхлипнула хозяйка полупритворно, полуискренне.

— Кличь дочерю, Мирон Григорьевич, поглядим.

— Наталья!

В дверях несмело стала невеста, смуглыми пальцами суетливо перебирая оборку фартука.

— Пройди, пройди! Ишь засовестилась, — подбодрила мать и улыбнулась сквозь слезную муть.

Григорий, сидевший возле тяжелого — в голубых слинялых цветах — сундука, глянул на нее.

Под черной стоячей пылью коклюшкового [12] шарфа смелые серые глаза. На упругой щеке дрожала от смущения и сдержанной улыбки неглубокая розовеющая ямка. Григорий перевел взгляд на руки: большие, раздавленные работой. Под зеленой кофточкой, охватившей плотный сбитень тела, наивно и жалко высовывались, поднимаясь вверх и врозь, небольшие девичье-каменные груди, пуговками торчали остренькие соски.

Григорьевы глаза в минуту обежали всю ее — с головы до высоких красивых ног. Осмотрел, как барышник оглядывает матку-кобылицу перед покупкой, подумал: «Хороша» — и встретился с ее глазами, направленными на него в упор. Бесхитростный, чуть смущенный, правдивый взгляд словно говорил: «Вот я вся, какая есть. Как хочешь, так и суди меня». — «Славная», — ответил Григорий глазами и улыбкой.

— Ну ступай. — Хозяин махнул рукой.

Наталья, прикрывая за собой дверь, глянула на Григория, не скрывая улыбки и любопытства.

— Вот что, Пантелей Прокофьевич, — начал хозяин, переглянувшись с женой, — посоветуйте вы, и мы посоветуем промеж себя, семейно, А потом уж и порешим дело, будем

мы сватами аль не будем.

Сходя с крыльца, Пантелей Прокофьевич сулил:

— К пребудущему воскресенью набегем.

Хозяин, провожавший их до ворот, умышленно промолчал, как будто ничего и не слышал.

XVI

Только после того как узнал от Томилина про Аксинью, понял Степан, вынашивая в душе тоску и ненависть, что, несмотря на плохую жизнь с ней, на ту давнишнюю обиду, любил он ее тяжкой, ненавидящей любовью.

По ночам лежал в повозке, укрывшись шинелью, заломив над головою руки, думал о том, как вернется домой, как встретит его жена, и чувствовал, словно вместо сердца копошится в груди ядовитый тарантул… Лежал, готовя в уме тысячи подробностей расправы, и было такое ощущенье, будто на зубах зернистый и крупный песок. Расплескал злобу в драке с Петром. Домой приехал вялый, потому-то легко отделалась Аксинья.

С того дня прижился в астаховском курене невидимый покойник. Аксинья ходила на цыпочках, говорила шепотом, но в глазах, присыпанный пеплом страха, чуть приметно тлел уголек, оставшийся от зажженного Гришкой пожара.

Вглядываясь в нее, Степан скорее чувствовал это, чем видел. Мучился. По ночам, когда в кухне над камельком засыпало мушиное стадо и Аксинья, дрожа губами, стлала постель, бил ее Степан, зажимая рот черной шершавой ладонью. Выспрашивал бесстыдно подробности о связи с Гришкой. Аксинья металась по твердой, с запахом овчины кровати, трудно дышала. Степан, приморившись истязать мягкое, как закрутевшее тесто, тело, шарил по лицу ее рукою, слез искал. Но щеки Аксиньи были пламенно сухи, двигались под пальцами Степана, сжимаясь и разжимаясь, челюсти.

— Скажешь?

— Нет!

— Убью!

— Убей! Убей, ради Христа… Отмучаюсь… Не житье…

Стиснув зубы, Степан закручивал на жениной груди прохладную от пота тонкую кожу.

Аксинья вздрагивала, стонала.

— Больно, что ль? — веселел Степан.

— Больно.

— А мне, думаешь, не больно было?

Засыпал он поздно. Во сне, сжимаясь, двигал черными, пухлыми в суставах пальцами. Аксинья, приподнявшись на локте, подолгу глядела на красивое, измененное сном лицо мужа. Роняя на подушку голову, что-то шептала.

Гришки она почти не видела. Раз как-то у Дона повстречалась с ним. Григорий пригонял поить быков, поднимался по спуску, помахивая красненькой хворостинкой, глядя под ноги. Аксинья шла ему навстречу. Увидела и почувствовала, как похолодело под руками коромысло и жаром осыпала кровь виски.

После, вспоминая эту встречу, ей стоило немалых усилий, чтобы уверить себя, что это было наяву. Григорий увидел ее, когда она почти поравнялась с ним. На требовательный скрип ведер приподнял голову, дрогнул бровями и глупо улыбнулся. Аксинья шла, глядя через его голову на зеленый, дышащий волнами Дон, еще дальше — на гребень песчаной косы.

Краска выжала из глаз ее слезы.

— Ксюша!

Аксинья прошла несколько шагов и стала, нагнув голову, как под ударом. Григорий, злобно хлестнув хворостиной отставшего мурогого быка, сказал, не поворачивая головы:

— Степан когда выедет жито косить?

— Зараз… запрягает.

— Проводишь — иди в наши подсолнухи, в займище, и я приду.

Поскрипывая ведрами, Аксинья сошла к Дону. У берега желтым пышным кружевом на зеленом подоле волны змеилась пена. Белые чайки-рыболовы с криком носились над Доном.

Серебряным дождем сыпала над поверхностью воды мелочь-рыбешка. С той стороны, за белью песчаной косы, величаво и строго высились седые под ветром вершины старых тополей. Аксинья, черпая воду, уронила ведро. Поднимая левой рукой юбку, забрела по колено. Вода щекотала натертые подвязками икры, и Аксинья в первый раз после приезда Степана засмеялась, тихо и неуверенно.

Оглянулась на Гришку: так же помахивая хворостинкой, будто отгоняя оводов, медленно взбирался он по спуску.

Аксинья ласкала мутным от прихлынувших слез взором его сильные ноги, уверенно попиравшие землю. Широкие Гришкины шаровары, заправленные в белые шерстяные чулки, алели лампасами. На спине его, возле лопатки, трепыхался клочок свежепорванной грязной рубахи, желтел смуглый треугольник оголенного тела. Аксинья целовала глазами этот крохотный, когда-то ей принадлежавший кусочек любимого тела; слезы падали на улыбавшиеся побледневшие губы.

Она поставила на песок ведра и, цепляя дужку зубцом коромысла, увидела на песке след, оставленный остроносым Гришкиным чириком. Воровато огляделась — никого, лишь на дальней пристани купаются ребятишки. Присела на корточки и прикрыла ладонью след, потом вскинула на плечи коромысло и, улыбаясь на себя, заспешила домой.

Над хутором, задернутое кисейной полумглой, шло солнце. Где-то под курчавым табуном белых облачков сияла глубокая, прохладная пастбищная синь, а над хутором, над раскаленными железными крышами, над безлюдьем пыльных улиц, над дворами с желтым, выжженным сухменем травы висел мертвый зной.

Аксинья, плеская из ведер воду на растрескавшуюся землю, покачиваясь, подошла к крыльцу, Степан в широкополой соломенной шляпе запрягал в косилку лошадей. Поправляя шлею на дремавшей в хомуте кобыле, глянул на Аксинью.

— Налей воды в баклагу.

Аксинья вылила в баклагу ведро, обожгла руки о железные склепанные обручи.

— Леду бы надо. Степлится вода, — оказала, глядя на мокрую от пота спину мужа.

— Поди возьми у Мелеховых… Не ходи!.. — крикнул Степан, вспомнив.

Аксинья пошла затворять брошенную настежь калитку. Степан, опустив глаза, ухватил кнут.

— Куда?..

— Калитку прикрыть.

— Вернись, подлюга… сказано — не ходи!

Она торопливо подошла к крыльцу, хотела повесить коромысло, но дрогнувшие руки отказались служить, — коромысло покатилось по порожкам.

Степан кинул на переднее сиденье брезентовый плащ; усаживаясь, расправил вожжи.

— Ворота отвори.

Распахнув ворота, Аксинья осмелилась спросить:

— Когда приедешь?

— К вечеру. Сложился косить с Аникушкой. Харчи ему отнеси. Из кузни придет — поедет на поля.

Мелкие колеса косилки, повизгивая, врезаясь в серый плюш пыли, выбрались за ворота. Аксинья вошла в дом, постояла, прижимая ладони к сердцу, и, накинув платок, побежала к Дону.

«А ну, как вернется? Что тогда?» — опалила мысль. Стала, словно под ногами увидела глубокий яр, поглядела назад и — чуть не рысью под-над Доном к займищу.

Плетни. Огороды. Желтая марь засматривающих солнцу в глаза подсолнухов. Зеленый в бледной цветени картофель. Вот шамилевские бабы, припоздав, допалывают картофельную делянку; согнутые, в розовых рубахах спины, короткие взлеты мотыг, падающих на серую пахоту. Аксинья, не переводя духа, дошла до мелеховского огорода. Оглянулась; скинув хворостинный кляч с устоя, открыла дверцы. По утоптанной стежке дошла до зеленого частокола подсолнечных будыльев. Пригибаясь, забралась в самую гущину, измазала лицо золотистой цветочной пылью; подбирая юбку, присела на расшитую повителью землю.

Прислушалась: тишина до звона в ушах. Где-то вверху одиноко гудит шмель. Полые, в щетинистом пушке будылья подсолнечников молча сосут землю.

С полчаса сидела, мучаясь сомненьем — придет или нет, хотела уж идти, привстала, поправляя под платком волосы, — в это время тягуче заскрипели дверцы. Шаги.

— Аксютка!

— Сюда иди…

— Ага, пришла.

Шелестя листьями, подошел Григорий, сел рядом. Помолчали.

— В чем это у тебя щека?

Аксинья рукавом размазала желтую пахучую пыль.

— Должно, с подсолнуха.

— Ишо вот тут, возле глаза.

Вытерла. Встретились глазами. И, отвечая на Гришкин немой вопрос, заплакала.

— Мочи нету… Пропала я, Гриша.

— Чего ж он?

Аксинья злобно рванула ворот кофты. На вывалившихся розоватых, девически крепких грудях вишнево-синие частые подтеки.

— Не знаешь чего?.. Бьет каждый день!.. Кровь высасывает!.. И ты тоже хорош… Напаскудил, как кобель, и в сторону… Все вы… — Дрожащими пальцами застегивала кнопки и испуганно — не обиделся ли — глядела на отвернувшегося Григория.

— Виноватого ищешь? — перекусывая травяную былку, протянул он.

Спокойный голос его обжег Аксинью.

— Аль ты не виноват? — крикнула запальчиво.

— Сучка не захочет — кобель не вскочит.

Аксинья закрыла лицо ладонями. Крепким, рассчитанным ударом упала обида.

Морщась, Григорий сбоку поглядел на нее. В ложбинке между указательным и средним пальцем просачивалась у нее слеза.

Кривой, запыленный в зарослях подсолнухов луч просвечивал прозрачную капельку, сушил оставленный ею на коже влажный след.

Григорий не переносил слез. Он беспокойно заерзал по земле, ожесточенно стряхнул со штанины коричневого муравья и снова коротко взглянул на Аксинью. Она сидела, не изменив положения, только на тыльной стороне ладони вместо одной уже три слезные дробинки

катились вперегонку.

— Чего кричишь? Обидел? Ксюша! Ну, погоди… Постой, хочу что-то сказать.

Аксинья оторвала от мокрого лица руки.

— Я за советом пришла… За что ж ты?.. И так горько… а ты…

«Лежачего вдарил…» — Григорий побагровел.

— Ксюша… сбрехнул словцо, ну, не обижайся…

— Я не навязываться пришла… Не боись!

В эту минуту она сама верила, что не затем пришла, чтобы навязываться Григорию; но когда бежала над Доном в займище, думала, не отдавая себе ясного отчета: «Отговорю! Нехай не женится. С кем же жизнь свяжу?!» Вспомнила тогда о Степане и норовисто мотнула головой, отгоняя некстати подвернувшуюся мысль.

— Значит, кончилась наша любовь? — спросил Григорий и лег на живот, облокотившись и выплевывая розовые, изжеванные под разговор лепестки повительного цветка.

— Как кончилась? — испугалась Аксинья. — Как же это? — переспросила она, стараясь заглянуть ему в глаза.

Григорий ворочал синими выпуклыми белками, отводил глаза в сторону.

Пахла выветренная, истощенная земля пылью, солнцем. Ветер шуршал, переворачивая зеленые подсолнечные листья. На минуту затуманилось солнце, заслоненное курчавой спиной облака, и на степь, на хутор, на Аксиньину понурую голову, на розовую чашечку цветка повители пала, клубясь и уплывая, дымчатая тень.

Григорий вздохнул — с выхрипом вышел вздох — и лег на спину, прижимая лопатки к горячей земле.

— Вот что, Аксинья, — заговорил он, медленно расстанавливая слова, — муторно так-то, сосет гдей-то в грудях. Я надумал…

Над огородом, повизгивая, поплыл скрип арбы.

— Цоб, лысый! Цобэ! Цобэ!..

Окрик показался Аксинье настолько громким, что она ничком упала на землю. Григорий, приподнимая голову, шепнул:

— Платок сыми. Белеет. Как бы ни увидали.

Аксинья сняла платок. Струившийся между подсолнухами горячий ветер затрепал на шее завитки золотистого пуха. Утихая, повизгивала отъезжавшая арба.

— Я вот что надумал, — начал Григорий и оживился, — что случилось, того ить не вернешь, чего ж тут виноватого искать? Надо как-то дальше проживать…

Аксинья, насторожившись, слушала, ждала, ломала отнятую у муравья былку.

Глянула Григорию в лицо — уловила сухой и тревожный блеск его глаз.

— …Надумал я, давай с тобой прикончим…

Качнулась Аксинья. Скрюченными пальцами вцепилась в жилистую повитель. Раздувая ноздри, ждала конца фразы. Огонь страха и нетерпения жадно лизал ей лицо, сушил во рту слюну. Думала, скажет Григорий: «…прикончим Степана», но он досадливо облизал пересохшие губы (тяжело ворочались они), сказал:

— …прикончим эту историю. А?

Аксинья встала, натыкаясь грудью на желтые болтающиеся головки подсолнечников, пошла к дверцам.

— Аксинья! — придушенно окликнул Григорий.

В ответ тягуче заскрипели дверцы.

XVII

За житом — не успели еще свозить на гумна — подошла и пшеница. На суглинистых местах, на пригорках желтел и сворачивался в трубку подгорающий лист, пересыхал отживший свое стебель.

Урожай, хвалились люди, добрый. Колос ядреный, зерно тяжеловесное, пухлое.

Пантелей Прокофьевич, посоветовавшись с Ильиничной, порешил — если сосватают у Коршуновых, отложить свадьбу до крайнего спаса.

За ответом еще не ездили: тут покос подошел, а тут праздника ждали.

Косить выехали в пятницу. В косилке шла тройка лошадей. Пантелей Прокофьевич подтесывал на арбе люшню, готовил хода к возке хлеба. На покос выехали Петро и Григорий.

Григорий шел, придерживаясь за переднее стульце, на котором сидел брат; хмурился. От нижней челюсти, наискось к скулам, дрожа, перекатывались желваки. Петро знал: это верный признак того, что Григорий кипит и готов на любой безрассудный поступок, но, посмеиваясь в пшеничные свои усы, продолжал дразнить брата:

— Ей-бо, рассказывала!

— Ну и пущай, — урчал Григорий, прикусывая волосок усины.

— «Иду, гутарит, с огорода, слышу: в мелеховских подсолнухах, кубыть, людские голоса».

— Петро, брось!

— Да-а-а… голоса. «Я это, дескать, заглянула через плетень…»

Григорий часто заморгал глазами.

— Перестанешь? Нет?

— Вот чудак, дай досказать-то!

— Гляди, Петро, подеремся, — пригрозил Григорий, отставая.

Петро пошевелил бровями и пересел спиной к лошадям, лицом к Григорию, шагавшему позади.

— «Заглянула, мол, через плетень, а они, любушки, лежат в обнимку». — «Кто?» — спрашиваю, а она: «Да Аксютка Астахова с твоим братом». Я говорю…

Григорий ухватил за держак короткие вилы, лежавшие в задке косилки, кинулся к Петру. Тот, бросив вожжи, прыгнул с сиденья, вильнул к лошадям наперед.

— Тю, проклятый!.. Обесился!.. Тю! Тю! Глянь на него…

Оскалив по-волчьи зубы, Григорий метнул вилы. Петро упал на руки, и вилы, пролетев над ним, на вершок вошли в кремнисто-сухую землю, задрожали, вызванивая.

Потемневший Петро держал под уздцы взволнованных криком лошадей, ругался:

— Убить бы мог, сволочь!

— И убил бы!

— Дурак ты! Черт бешеный! Вот в батину породу выродился, истованный черкесюка!

Григорий выдернул вилы, пошел следом за тронувшейся косилкой.

Петро поманил его пальцем:

— Поди ко мне. Дай-ка вилы.

Передал в левую руку вожжи и взял вилы за выбеленный зубец.

Дернул ничего не ожидавшего Григория держаком вдоль спины.

— С потягом бы надо! — пожалел, оглядывая отпрыгнувшего в сторону Григория.

Через минуту, закуривая, глянули друг другу в глаза и захохотали.

Христонина жена, ехавшая с возом по другой дороге, видела, как Гришка запустил вилами в брата. Она привстала на возу, но не могла разглядеть, что происходило у Мелеховых, — заслоняли косилка и лошади. Не успела въехать в проулок, крикнула соседке:

— Климовна! Надбеги, скажи Пантелею-турку, что ихние ребята возля Татаровского

кургана вилами попоролись. Задрались, а Гришка — ить он же взгальный! — как саданет Петра вилами в бок, а энтот тем часом его… Там кровищи натекло — страсть!

Петро уж охрип орать на нудившихся лошадей и заливисто посвистывал. Григорий, упираясь черной от пыли ногой в перекладину, смахивал с косилки наметанные крыльями валы. Лошади, в кровь иссеченные мухами, крутили хвостами и недружно натягивали постромки.

По степи, до голубенькой каемки горизонта, копошились люди. Стрекотали, чечекали ножи косилок, пятнилась валами скошенного хлеба степь. Передразнивая погонычей, свистели на кургашках сурки.

— Ишо два загона — и закурим! — сквозь свист крыльев и перестук косогона крикнул, оборачиваясь, Петро.

Григорий только кивнул. Обветренные, порепавшиеся губы трудно было разжимать. Он короче перехватил вилы, чтоб легче было метать тяжелые вороха хлеба, порывисто дышал. Мокрая от пота грудь чесалась. Из-под шляпы тек горький пот, попадая в глаза, щипал, как мыло. Остановив лошадей, напились и закурили.

— По шляху кто-то верхи бегет, — глядя из-под ладони, проговорил Петро.

Григорий всмотрелся и изумленно поднял брови.

— Батя, никак.

— Очумел ты! На чем он поскачет, кони в косилке ходют.

— Он.

— Обознался, Гришка!

— Ей-богу, он!

Через минуту ясно стало видно лошадь, стлавшуюся в броском намете, и седока.

— Батя… — Петро в испуганном недоумении затоптался на месте.

— Должно, дома что-нибудь… — высказал Григорий общую мысль.

Пантелей Прокофьевич, не доезжая саженей сто, придержал лошадь, затрусил рысью.

— Пе-ре-по-рю-ю-у-у-у… сукины сыны!.. — завопил он еще издали и размотал над головой ременный арапник.

— Чего он? — окончательно изумился Петро, до половины засовывая в рот пшеничный свой ус.

— Хоронись за косилку! Истинный бог, стебанет кнутом. Покель разберемся, а он выпорет… — посмеиваясь, сказал Григорий и на всякий случай зашел на ту сторону косилки.

Взмыленная лошадь шла по жнивью тряской рысцой. Пантелей Прокофьевич, болтая ногами (ехал он без седла, охлюпкой), потрясал арапником.

— Что вы тут наделали, чертово семя?!

— Косим… — Петро развел руками и опасливо покосился на арапник.

— Кто кого вилами порол? За что дрались?..

Повернувшись к отцу спиной, Григорий шепотом считал разметанные ветром облака.

— Ты что? Какими вилами? Кто дрался?.. — Петро, моргая, глядел на отца снизу вверх, переступая с ноги на ногу.

— Да как же, мать ее курица, прибегла и орет: «Ребята ваши вилами попоролись!» А? Это как?.. — Пантелей Прокофьевич исступленно затряс головой и, бросив повод, соскочил с задыхавшейся лошади. — Я у Семишкина Федьки коня ухватил да и в намет. А?..

— Да кто это говорил?

— Баба!..

— Брешет она, батя! Спала, проклятая, на возу, и привиделось ей такое.

— Баба! — визгливо закричал Пантелей Прокофьевич, измываясь над собственной

бородой. — Климовна-курва! Ах ты бо-ж-же мой!.. А? Запорю сучку!.. — Он затопал ногами, припадая на левую, хромую.

Подрагивая от немого смеха, Григорий глядел под ноги. Петро глаз не спускал с отца, поглаживая потную голову.

Пантелей Прокофьевич напрыгался и притих. Сел на косилку, проехал, скидывая, два загона и, чертыхаясь, влез на лошадь. Выехал на шлях, обогнав два воза с хлебом, запылил в хутор. На борозде остался позабытый мелко витой, с нарядным махром арапник. Петро покрутил его в руках, головой покачал — и к Гришке:

— Было б нам с тобой, парнишша. Ишь это разве арапник? Это, брат, увечье — голову отсечь можно!

XVIII

Коршуновы слыли первыми богачами в хуторе Татарском. Четырнадцать пар быков, косяк лошадей, матки с Провальских заводов, полтора десятка коров, пропасть гулевого скота, гурт в несколько сот овец. Да и так поглядеть есть на что: дом не хуже моховского, о шести комнатах — под железом, ошелеван пластинами. Дворовая служба крыта черепицей, нарядной и новой; сад — десятины полторы с левадой. Чего же еще человеку надо?

Поэтому-то с робостью и затаенной неохотой ехал в первый раз Пантелей Прокофьевич свататься. Коршуновы для своей дочери жениха не такого, как Григорий, могли подыскать. Пантелей Прокофьевич понимал это, боялся отказа, не хотел кланяться своенравному Коршунову; но Ильинична точила его, как ржавь железо. и под конец сломила упрямство старика. Пантелей Прокофьевич согласился и поехал, кляня в душе и Гришку, и Ильиничну, и весь белый свет.

Надо было ехать во второй раз, за ответом: ждали воскресенья, а в это время под крашенной медянкой крышей коршуновского куреня горела глухая междоусобица. После отъезда невеста на материн вопрос ответила:

— Люб мне Гришка, а больше ни за кого не пойду!

— Нашла жениха, дуреха, — урезонивал отец, — только и доброго, что черный, как цыган. Да рази я тебе, моя ягодка, такого женишка сыщу?

— Не нужны мне, батенька, другие… — Наталья краснела и роняла слезы. — Не пойду, пущай и не сватают. А то хучь в Усть-Медведицкий монастырь везите…

— Потаскун, бабник, по жалмеркам бегает, — козырял отец последним доводом, — слава на весь хутор легла.

— Ну и нехай!

— Тебе нехай, а мне и подавно! С моей руки — куль муки, когда такое дело.

Наталья — старшая дочь — была у отца любимицей, оттого не теснил ее выбором. Еще в прошлый мясоед наезжали сваты издалека, с речки Цуцкана, богатые невпроворот староверы-казаки; прибивались и с Хопра сваты и с Чира [13], но женихи Наталье не нравились, и пропадала даром сватовская хлеб-соль.

Мирону Григорьевичу в душе Гришка нравился за казацкую удаль, за любовь к хозяйству и работе. Старик выделил его из толпы станичных парней еще тогда, когда на скачках Гришка за джигитовку снял первый приз; но казалось обидным отдать дочь за жениха небогатого и опороченного дурной славой.

— Работящий паренек и собой с лица красивенький… — нашептывала по ночам ему жена, поглаживая его засеянную веснушками и рыжей щетиной руку, — а Наталья, Григорич,

по нем чисто ссохлась вся… Дюже к сердцу пришелся.

Мирон Григорьевич поворачивался спиной к жениной костлявой холодной груди, сердито бурчал:

— Отвяжись, репей! Выдавай хучь за Пашу-дурачка, мне-то что? Тот-то умом бог обнес! «С лица красивенький»… — косноязычил он. — Что, ты с его морды урожай будешь сымать, что ли?..

— Так уж урожай…

— Да понятно, на что тебе его личность? Был бы он из себя человек. Да мне, признаться, и зазорно трошки выдавать свою дочерю к туркам. Уж были бы люди как люди… — гордился Мирон Григорьевич, подпрыгивая на кровати.

— Работящая семья и при достатке… — нашептывала жена и, придвигаясь к плотной спине мужа, успокаивающе гладила его руку.

— Э, черт, отодвинься, что ли! Чисто тебе места окромя нету. Что ты меня гладишь-то, как стельную корову? А с Натальей как знаешь. Выдавай хучь за стриженую девку!..

— Дитя своего жалеть надо. Бог с ним — не богатством… — сипела Лукинична в заросшее волосами ухо Мирона Григорьевича.

Тот сучил ногами, влипал в стенку и всхрапывал, будто засыпая.

Приезд сватов застал их врасплох. После обедни подкатили те на тарантасе к воротам. Ильинична, наступив на подножку, едва не опрокинула тарантаса, а Пантелей Прокофьевич прыгнул с сиденья молодым петухом; хотя и осушил ноги, но виду не подал и молодецки зачикилял к куреню.

— Вот они! Как черт их принес! — охнул Мирон Григорьевич, выглядывая в окно.

— Светики-кормильцы, я-то как стряпалась, так и не скинула буднюю юбку! — вскудахталась хозяйка.

— Хороша и так! Небось не за тебя сватаются, кому нужна-то, лишай конский!..

— Сроду безобразник, а под старость дюжей свихнулся.

— Но-но, ты у меня помалкивай!

— Рубаху ба чистую надел, кобаржину вон на спине видать, и не совестно? Ишь нечистый дух! — ругалась жена, оглядывая Мирона Григорьевича, пока сваты шли по базу.

— Небось, гляди, угадают и в этой. Рогожку надену, и то не откажутся.

— Доброго здоровья! — спотыкаясь о порог, кукарекнул Пантелей Прокофьевич и, сконфузясь зычного своего голоса, лишний раз перекрестился на образ.

— Здравствуйте, — приветствовал хозяин, чертом оглядывая сватов.

— Погодку дает бог.

— Слава богу, держится.

— Народ хучь трошки подуправится.

— Уж это так.

— Та-а-ак.

— Кгм.

— Вот мы и приехали, значится, Мирон Григорич, с тем чтоб узнать, как вы промеж себя надумали и сойдемся ли сватами али не сойдемся…

— Проходите, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста, — приглашала хозяйка, кланяясь, обметая подолом длинной сборчатой юбки натертый кирпичом пол.

— Не беспокойтесь, пожалуйста.

Ильинична уселась, шелестя поплином подворачиваемого платья. Мирон Григорьевич облокотился о принаряженный новой клеенкой стол, помолчал. От клеенки дурно пахло мокрой резиной и еще чем-то; важно глядели покойники цари и царицы с каемчатых углов, а

на середине красовались августейшие девицы в белых шляпах и обсиженный мухами государь Николай Александрович.

Мирон Григорьевич порвал молчание:

— Что ж… Порешили мы девку отдать. Породнимся, коли сойдемся…

В этом месте речи Ильинична откуда-то из неведомых глубин своей люстриновой, с буфами на рукавах, кофты, как будто из-за спины, выволокла наружу высокий белый хлеб, положила его на стол.

Пантелей Прокофьевич хотел зачем-то перекреститься, но заскорузлые клешнятые пальцы, сложившись в крестное знамение и поднявшись до половины следующего пути, изменили форму: большой черный ногтястый палец против воли хозяина нечаянно просунулся между указательным и средним, и этот бесстыдный узелок пальцев воровато скользнул за оттопыренную полу синего чекменя, а оттуда извлек схваченную за горло красноголовую бутылку.

— Давайте теперь, дорогие вы мои сваточки, помолимся богу, и выпьем, и поговорим про наших деточек и про уговор…

Пантелей Прокофьевич, растроганно моргая, глядел на засеянное конопушками лицо свата и ласково шлепал широкой, как лошадиное копыто, ладонью по дну бутылки.

Через час сваты сидели так тесно, что смолянистые кольца мелеховской бороды щупали прямые рыжие пряди коршуновской. Пантелей Прокофьевич сладко дышал соленым огурцом и уговаривал.

— Дорогой мой сват, — начинал он гудящим шепотом, — дорогой мой сваточек! — сразу повышал голос до крика. — Сват! — ревел он, обнажая черные, притупленные резцы. — Кладка ваша чересчур очень дюже непереносимая для меня! Ты вздумай, дорогой сват, вздумай, как ты меня желаешь обидеть: гетры с калошами — раз, шуба донская — два, две платьи шерстяных — три, платок шелковый — четыре. Ить это разор-ре-нья!..

Пантелей Прокофьевич широко разводил руками, швы на плечах его лейб-казачьего мундира трещали, и пучками поднималась пыль. Мирон Григорьевич, снизив голову, глядел на залитую водкой и огуречным рассолом клеенку. Прочитал вверху завитую затейливым рисунком надпись: «Самодержцы всероссийские». Повел глазами пониже: «Его императорское величество государь император Николай…» Дальше легла картофельная кожура. Всмотрелся в рисунок: лица государя не видно, стоит на нем опорожненная водочная бутылка. Мирон Григорьевич, благоговейно моргая, пытался разглядеть форму богатого, под белым поясом мундира, но мундир был густо заплеван огуречными скользкими семечками. Из круга бесцветно одинаковых дочерей самодовольно глядела императрица в широкополой шляпе. Стало Мирону Григорьевичу обидно до слез. Подумал: «Глядишь зараз дюже гордо, как гусыня из кошелки, а вот придется дочек выдавать замуж — тогда я по-гляжу-у… небось, тогда запрядаешь!»

Под ухом его большим черным шмелем гудел Пантелей Прокофьевич.

Поднял Коршунов на него в мутной слизи глаза, прислушался.

— Нам, чтоб справить для твоей, а теперя оно все одно и моей дочери… для моей и твоей дочери такую кладку… опять же гетры с калошами и шуба донская… нам надо скотиняку с базу согнать и продать.

— Жалко?.. — Мирон Григорьевич стукнул кулаком.

— Не в том случае, что жалко…

— Жалко?

— Погоди, сват…

— А коли жалко, так!..

Мирон Григорьевич повел растопыренной потной рукой по столу, сгреб на пол рюмки.

— Твоей же дочери жить придется и наживать!

— И пу-щай! А кладку клади, иначе не сваты!..

— Скотину с базу сгонять… — Пантелей Прокофьевич крутил головой. Серьга дрожала в ухе, скупо поблескивая.

— Кладка должна быть!.. У ней своего наряду сундуки, а ты мне-е-е уважь, ежели по сердцу она вам пришлась!.. Такая наша казацкая повадка. В старину было, а нам — к старине лепиться…

— Уважу!..

— Уважь.

— Уважу!..

— А наживать — пущай молодые наживают. Мы нажили и живем не хуже людей, мать их черт, нехай и они наживут себе!..

Сваты сплели бороды разномастным плетнем. Пантелей-Прокофьевич заел поцелуй бессочным, вялым огурцом и заплакал от многих, слившихся воедино, чувств.

Свахи, обнявшись, сидели на сундуке, глушили одна другую треском голосов. Ильинична полыхала вишневым румянцем, сваха ее зеленела от водки, как зашибленная морозом лесная груша-зимовка.

— …Дите, таких-то и на свете нет! Была б тебе слухменая и почтительная, уж эта из-под власти не выйдет. Слово, милая свашенька, вспоперек боится сказать.

— И-и-и, моя милушка, — перебивала ее Ильинична, левой рукой подпирая щеку, а правой поддерживая под локоть левую, — до скольких разов гутарила ему, сукиному сыну! В надышнее воскресенье так-то вечером сбирается идтить, табаку в кисет сыпет, а я и говорю: «Ты когда ж ее бросишь, анчибел проклятый? До каких пор такую страму на старости лет принимать? Ить он, Степан, вязы [14] тебе в одночась свернет!..»

Из кухни в горницу через верхнюю дверную щель выглядывал Митька, внизу шушукались две младшие Натальины сестренки.

Наталья сидела в дальней угловой комнате на лежанке, сушила слезы узким рукавом кофточки. Пугала ее новая, стоявшая у порога жизнь, томила неизвестностью.

В горнице доканчивали третью бутылку водки; сводить жениха с невестой порешили на первый спас.

XIX

В коршуновском курене предсвадебная суета. Невесте наспех дошивали кое-что из белья. Наталья вечера просиживала, вывязывая жениху традиционный шарф из козьего дымчатого пуха и пуховые перчатки.

Мать ее Лукинична гнулась до потемок над швейной машиной — помогала портнихе, взятой из станицы.

Митька приезжал с отцом и работниками с поля, — не умываясь и не скидывая с намозоленных ног тяжелых полевых чириков, проходил к Наталье в горницу, подсаживался. Изводить сестру было для него большущим удовольствием:

— Вяжешь? — коротко спрашивал он и подмигивал на пушистые махры шарфа.

— Вяжу, а тебе чего?

— Вяжи-вяжи, дура, а он замест благодарности морду тебе набьет.

— За что?

— За здорово живешь — я Гришку знаю, друзьяки с ним. Это такой кобель — укусит и не скажет за что.

— Не бреши уж! Кубыть, я его не знаю.

— Я-то подюжей знаю. В школу вместе ходили.

Митька тяжело и притворно вздыхал, разглядывая исцарапанные вилами ладони, низко гнул высокую спину.

— Пропадешь ты за ним, Наташка! Сиди лучше в девках. Чего в нем доброго нашла? Ну? Страшон, — конем не наедешь, дурковатый какой-то… Ты приглядись: по-га-ный парень!..

Наталья сердилась, глотала слезы, клонила над шарфом жалкое лицо.

— А главное — сухота у него есть… — безжалостно ехидничал Митька. — Чего же ты кричишь? Глупая ты, Наташка. Откажись! Я зараз заседлаю коня и поеду скажу: мол, не заявляйтесь боле…

Выручал Наталью дед Гришака: входил он в горенку, щупая шишкастым костылем прочность пола и разглаживая желтую коноплю свалявшейся бороды; тыча в Митьку костылем, спрашивал:

— Ты чего, поганец, заявился сюда, ась?

— На провед зашел, дедуня, — оправдывался Митька.

— Проведать? Ась? Я тебе, поганец, велю уйтить отселя. Шагом — арш!

Дед взмахивал костылем и подступал к Митьке, нетвердо переставляя высохшие в былку ноги.

Дед Гришака топтал землю шестьдесят девять лет. Участвовал в турецкой кампании 1877 года, состоял ординарцем при генерале Гурко, попал в немилость и был отослан в полк. За боевые отличия под Плевной и Рошичем имел два Георгия и Георгиевскую медаль и, доживая у сына, пользуясь в хуторе всеобщим уважением за ясный до старости ум, неподкупную честность и хлебосольство, короткие остатки жизни тратил на воспоминания.

Летом с восхода до заката солнца сиживал на завалинке, чертил костылем землю, угнув голову, думал неясными образами, обрывками мыслей, плывущими сквозь мглу забвения тусклыми отсветами воспоминаний…

От потрескавшегося козырька казачьей слинявшей фуражки падала на черные веки закрытых глаз черная тень; от тени морщины щек казались глубже, седая борода отливала сизью. По пальцам, скрещенным над костылем, по кистям рук, по выпуклым черным жилам шла черная, как чернозем в логу, медленная в походе кровь.

Год от году холодела кровь. Жалился дед Гришака Наталье — любимой внучке:

— Шерстяные чулки, а не греют мои ноженьки. Ты мне, чадушка, свяжи крючковые.

— Что ты, дедуня, ить зараз лето! — смеялась Наталья и, подсаживаясь на завалинку, глядела на большое морщеное и желтое ухо деда.

— Дык что ж, моя чадунюшка, хучь оно и лето, а кровь, как земля в глубе, холодная.

Наталья смотрела на сетчатку жил на дедовой руке, вспоминала: во дворе рыли колодец, и она — тогда еще девчонка, — вычерпывая из бадьи влажную глину, делала тяжелых кукол и коров с рассыпчатыми рогами. Она живо восстанавливала в памяти ощущение, испытываемое руками от прикосновения к мертвой, леденистой земле, добытой с пятисаженной глубины, уже со страхом смотрела на дедовы руки в коричневых, глиняного цвета, старческих веснушках.

Казалось ей, что по дедовым рукам течет не веселая алая кровь, а буро-синяя суглинистая земля.

— Боишься помирать, дедуня? — спрашивала она.

Дед Гришака крутил тонкой, в морщинах и сухожильях шеей, словно выпрастывал ее из

стоячего воротника поношенного мундира; шевелил зеленой сединой усов.

— Жду смертыньку, как дорогого гостя. Пора уж… и пожил, и царям послужил, и водки попил на своем веку, — добавлял он, улыбаясь белозубым ртом и дрожа морщинками глаз.

Наталья гладила дедовы руки и отходила, а он, все так же сгорбившись, царапая землю вытертым у ручки костылем, сидел на завалинке в сереньком, заштопанном во многих местах мундире, и молодо и задорно смеялись красные веселые петлицы на тугом стоячем воротнике.

Известие о том, что Наталью сватают, принял он с внешним спокойствием, но в душе горевал и злобился: Наталья за столом подсовывала ему лучший кусок. Наталья стирала его бельишко, штопала, вязала чулки и чинила шаровары и рубахи, — оттого дед Гришака, узнав, и глядел дня два на нее с суровой строгостью.

— Мелеховы — славные казаки. Покойный Прокофий молодецкий был казачок. А внуки как? Ась?

— И внуки ничего, — уклончиво отвечал Мирон Григорьевич.

— Гришка-то непочтительный, поганец. Надысь иду из церкви, встретился со мной и не поздравствовался. Старики ноне не дюже в почете…

— Он ласковый паренек, — вступилась Лукинична за будущего зятя.

— Ась? Ласковый, гутаришь? Ну что ж, давай бог. Абы Наташке по душам был…

В сговоре дед Гришака участия почти не принимал, на минутку выполз из горенки, посидел за столом, с трудом процедил сквозь суженное горло рюмку водки и, согревшись, чувствуя, что пьянеет, ушел.

Два дня молча поглядывал на встревоженно-счастливую Наталью, жевал, двигал пучками белых с прозеленью усов; потом, видно, смягчился.

— Наташка! — окликнул как-то.

Наталья подошла.

— Ты чего же, внучушка, рада, небось? Ась?

— Я и сама не знаю, дедуня, — призналась Наталья.

— Ну-ну… ну-ну… Ишь ты… Ну, Христос с тобой. Дай бог. — И с досадой и горечью упрекнул: — Не дождалась, поганка, пакеда помру, тогда бы и вышла… Без тебя горькая будет мне жизня.

Митька, подслушавший из кухни их разговор, сказал:

— Ты, дед, может, ишо сто годов проживешь, а она будет дожидаться? Штукарь ты добрый.

Дед Гришака покраснел до черноты и удушья. Застучал костылем, ногами:

— Цы-ы-ыц, поганец, сукин сын! Пошел!.. Пошел!.. Ах ты нечистый дух!.. Подслухал, вражина!..

Митька сбежал на баз, посмеиваясь, а дед Гришака долго возмущался, ругал Митьку, и ноги его, обутые в шерстяные короткие чулки, дрожали в коленях.

Две младшие Натальины сестренки: Маришка — подросток лет двенадцати, и Грипка — восьмилетняя пройдоха и баловница — с нетерпением ожидали дня свадьбы.

Сдержанную радость выказывали и работники, постоянно жившие у Коршуновых. Они ждали щедрого от хозяина угощенья и надеялись на пару свободных во время гульбы дней. Один из них, высокий — с колодезный журавль — богучарский украинец с диковинной фамилией Геть-Баба, в полгода раз пил запоем. Пропивал все с себя и заработок. Давно уже подмывало его знакомое чувство сосущей тошноты, но он сдерживался, приурочивая начало запоя к свадьбе.

Второй, мозглявый и смуглый казачок станицы Мигулинской, по имени Михей, жил у

Коршуновых недавно; разоренный пожаром, нанялся в работники и, сдружившись с Гетьком (так сокращенно звали Геть-Бабу), начал время от времени попивать. Был он страстным любителем лошадей; подвыпив, плакал, размазывая слезы по остренькому безбровому лицу, приставал к Мирону Григорьевичу:

— Хозяин! Любушка ты моя! Будешь дочерю выдавать — Михейко в поезжанье допусти. Уж я проеду, так видно будет! Сквозь полымя проскачу и волоска на конях не опалю. У меня самого кони были… Эх!..

Постоянно мрачный и нелюдимый Гетько почему-то привязался к Михею, изводил его одной и той же шуткой.

— Михей, чуешь? Ты якой станицы? — спрашивал его, потирая длинные, по коленные чашечки, руки, и сам же отвечал, меняя голос: «Мигулевский». — А що це ты такой хреновский? — «Та у нас уся порода такая».

Он неизменно и хрипло хохотал над постоянно повторявшейся шуткой, шлепал себя ладонями по длинным, сухим до звона голеням, а Михей ненавидяще оглядывал выбритое Гетьково лицо, кадык, трепетавший на горле, и ругал его «сычом» и «коростой».

Свадьбу назначили в первый мясоед. Оставалось три недели. На успенье приезжал Григорий проведать невесту. Посидел в горенке за круглым столом, полущил семечки и орехи с девками — подругами невесты — и уехал. Наталья его провожала. Под навесом сарая, где кормился у яслей Гришкин конь, подседланный новехоньким нарядным седлом, шмыгнула рукой за пазуху и, краснея, глядя на Григория влюбленными глазами, сунула ему в руку мягкий, таящий тепло девичьих ее грудей матерчатый комочек. Принимая подарок, Григорий ослепил ее белизною своих волчьих зубов, спросил:

— Это что?

— Там увидишь… кисет расшила.

Григорий нерешительно притянул ее к себе, хотел поцеловать, но она с силой уперлась руками ему в грудь, гибко перегнулась назад и со страхом метнула глазами на окна.

— Увидют!

— А нехай!

— Совестно…

— Это по-первам, — пояснил Григорий.

Она держала поводья, Григорий, жмурясь, ловил ногой зазубренное стремя. Он уселся поудобней на подушке седла и поехал с база. Наталья отворила ворота, из-под ладони глядела вслед: Григорий сидел по-калмыцки, слегка свесившись на левый бок, ухарски помахивая плетью.

«Одиннадцать ден осталось», — высчитывала в уме Наталья и вздохнула и засмеялась.

XX

Всходит остролистая зеленая пшеница, растет; через полтора месяца грач хоронится в ней с головой, и не видно; сосет из земли соки, выколосится; потом зацветет, золотая пыль кроет колос; набухнет зерно пахучим и сладким молоком. Выйдет хозяин в степь — глядит, не нарадуется. Откуда ни возьмись, забрел в хлеба табун скота: ископытили, в пахоть затолочили грузные колосья. Там, где валялись, — круговины примятого хлеба… дико и горько глядеть.

Так и с Аксиньей: на вызревшее в золотом цветенье чувство наступил Гришка тяжелым сыромятным чириком. Испепелил, испоганил — и все.

Пусто и одичало, как на забытом затравевшем лебедою и бурьяном гумне, стало на душе

у Аксиньи после того, как пришла с мелеховского огорода, из подсолнухов.

Шла и жевала концы платка, а горло распирал крик. Вошла в сенцы, упала на пол, задохнулась в слезах, в муке, в черной пустоте, хлынувшей в голову… А потом прошло. Где-то на донышке сердца сосало и томилось остренькое.

Встает же хлеб, потравленный скотом. От росы, от солнца поднимается втолоченный в землю стебель; сначала гнется, как человек, надорвавшийся непосильной тяжестью, потом прямится, поднимает голову, и так же светит ему день, и тот же качает ветер…

По ночам, исступленно лаская мужа, думала Аксинья о другом, и плелась в душе ненависть с великой любовью. В мыслях шла баба на новое бесчестье, на прежний позор: решила отнять Гришку у счастливой, ни горя, ни радости любовной не видавшей Натальи Коршуновой. По ночам передумывала вороха мыслей, моргала сухими глазами в темь. На правой руке тяжелела во сне голова Степана, красивая, с курчавым длинным чубом на сторону. Он дышал полуоткрытым ртом, черная рука его, позабытая на жениной груди, шевелила растрескавшимися от работы железными пальцами. Думала Аксинья. Примеряла. Передумывала. Одно лишь решила накрепко: Гришку отнять у всех, залить любовью, владеть им, как раньше.

И на донышке сердца остренькое, похожее на оставленное жало пчелы, точило сукровичную боль.

Это — ночами, а днем топила Аксинья думки в заботах, в суете по хозяйству. Встречала где-либо Гришку и, бледнея, несла мимо красивое, стосковавшееся по нем тело, бесстыдно-зазывно глядела в черную дичь его глаз.

Чувствовал Гришка после встречи с ней сосущую тоску. Без причины злобствовал, срывал зло на Дуняшке, на матери, а чаще всего брал шашку, уходил на задний баз и, омываясь потом, двигая желваками скул, рубил понатыканные в землю толстые хворостины. За неделю нарубил ворох. Пантелей Прокофьевич ругался, сверкал серьгой и желтыми белками глаз:

— Нарубил, дьявол паршивый, на два плетня хватило бы! Ишь чжигит нашелся, мать твоя курица. Вон в хворост поезжай и чжигитуй… Погоди, парень, пойдешь на службу, там нарубишься!.. Там вашего брата скоро объездют…

XXI

За невестой в поезжанье нарядили четыре пароконные подводы. По-праздничному нарядные люди толпились на мелеховском базу возле бричек.

Дружко — Петро — в черном сюртуке и голубых с лампасами шароварах, левый рукав его перевязан двумя белыми платками, под пшеничными усами постоянная твердая усмешка. Он — возле жениха.

— Ты, Гришка, не робей! Голову по-кочетиному держи, что насупонился-то?

Возле бричек бестолковщина, шумок.

— Где же подженишник делся? Пора бы выезжать.

— Кум!

— А?

— Кум, ты на второй бричке поедешь. Слышишь, кум?

— Люльки поприцепили на бричках?

— Небось, не рассыпешься и без люлек. Мягкая!

Дарья — в малиновой шерстяной юбке, гибкая и тонкая, как красноталовая

хворостинка, — поводя подкрашенными дугами бровей, толкала Петра.

— Пора ехать, говори бате. Там заждались теперича.

Пошептавшись с прихромавшим откуда-то отцом, Петро распорядился:

— Рассаживайся! На мою бричку пятеро с женихом. Аникей, ты за кучера.

Разместились. Багровая и торжественная Ильинична отворила ворота. Четыре брички захватили по улице наперегонки.

Петро сидел рядом с Григорием. Против них махала кружевной утиркой Дарья. На ухабах и кочках рвались голоса, затянувшие песню. Красные околыши казачьих фуражек, синие и черные мундиры и сюртуки, рукава в белых перевязах, рассыпанная радуга бабьих шалевых платков, цветные юбки. Кисейные шлейфы пыли за каждой бричкой. Поезжанье.

Аникей, сосед Мелеховых, доводившийся Григорию троюродным братом, правил лошадьми. Свешиваясь, почти падая с козел, он щелкал кнутом, взвизгивал, и запотевшие лошади рвали постромки, вытягиваясь в струну.

— Сыпь им! Сыпь… — орал Петро.

Безусый скопцеватый Аникей подмигивал Григорию, морща голое, бабье лицо тонкой улыбкой, взвизгивал и порол лошадей кнутом.

— Сто-ро-нись!.. — прогремел, обгоняя их, Илья Ожогин, дядя жениха по материнской линии. За его спиной разглядел Григорий счастливое, с подпрыгивающими смуглыми щеками лицо Дуняшки.

— Нет, погоди!.. — крикнул Аникей, вскочив на ноги, и пронзительно свистнул.

Лошади захлестнулись в бешеной скачке.

— Уп-па-па-де-ошь!.. — визжала Дарья, подпрыгивая, обнимая руками лакированные сапоги Аникея.

— Держись!.. — ухал в стороне дядя Илья. Голос его тонул в сплошном стоне колес.

Остальные две брички, доверху набитые цветными воющими кучами людей, скакали по дороге рядом. Лошади в кумачных, голубых, бледно-розовых попонах, в бумажных цветах, в лентах, заплетенных в гривы и челки, в перезвяке громышков, стлались над кочковатой дорогой, роняя шмотья мыла, и попонки над взмыленными, мокрыми спинами хлопали, рябились, полоскаемые ветром.

У коршуновских ворот поезжанье сторожила ватага ребятишек. Увидели пыль на дороге и сыпанули во двор.

— Едут!

— Скачут!

— За-видне-лись!

Встреченного Гетька окружили.

— Шо згуртовались? Геть, вражьи горобци! Зачулюкалы — аж глушно!

— Хохол-мазница, давай с тобой дражниться! Хохол!.. Хохол!.. Дегтярник!.. — верещала детвора, прыгая вокруг мешочных широких шаровар Гетька.

Тот, наклоняя голову, будто в колодец засматривая, оглядывал бесновавшихся ребят и чесал длинный тугой живот, снисходительно улыбался.

Брички с гомоном вкатили во двор. Петро повел Григория на крыльцо, следом потекли приехавшие в поезжанье.

Из сеней в кухню дверь заперта. Петро постучался.

— Господи Иисусе Христе, помилуй нас.

— Аминь, — откликнулись из-за двери.

Петро повторил стук и слова до трех раз, ему глухо откликались.

— Разрешите взойтить?

— Милости просим.

Дверь распахнулась. Свашка — крестная мать Натальи — вдовая красивая баба, встретила Петра поклоном и тонкой малиновой усмешкой.

— Прими, дружко, на доброе здоровие.

Она протянула стакан с мутным, не выстоявшимся квасом. Петро разгладил усы, выпил, крякнул под общий сдержанный смех.

— Ну, свашенька, и угостила!.. Погоди, ягодка моя ежевишная, я тебя не так угощу, еще наплачешься!..

— Извиняйте, пожалуйста, — кланялась свашка, даря Петра отточенной, с лукавцем, улыбкой.

Пока дружко со свашкой состязались в острословии, жениховой родне, согласно уговору, поднесли по три рюмки водки.

Наталью, уже одетую в подвенечное платье и фату, стерегли за столом. Маришка в вытянутой руке держала скалку, Грипка задорно трясла посевкой.

Запотевший, хмельной от водки Петро с поклоном поднес им в рюмке по полтиннику. Сваха мигнула Маришке, та — по столу скалкой:

— Мало! Не продадим невесту!..

Еще раз поднес Петро позванивающую в рюмке щепоть серебряной мелочи.

— Не отдадим! — лютовали сестры, толкая локтями потупившуюся Наталью.

— Чего уж там! И так плочено-переплочено.

— Уступайте, девки, — приказал Мирон Григорьевич и, улыбаясь, протиснулся к столу. Рыжие волосы его, приглаженные топленым коровьим маслом, пахли потом и навозной прелью.

Сидевшие за столом родственники и близкие невесты встали, очищая место.

Петро сунул Григорию в рук конец платка, вспрыгнул на лавку, повел его по-за столом к невесте, сидевшей под образами. Другой конец взяла Наталья потной от смущенья рукой.

За столом чавкали, раздирая вареную курятину руками, вытирая руки о волосы. Аникей грыз куриную кобаргу, по голому подбородку стекал на воротник желтый жир.

Григорий с внутренним сожалением поглядывал на свою и Натальину ложки, связанные платочком, на дымившуюся в обливной чашке лапшу. Ему хотелось есть, неприятно и глухо бурчало в животе.

Дарья угощалась, сидя рядом с дядей Ильей. Тот, общипывая ядреными клыками баранье ребро, наверное, шептал Дарье непристойности, потому что та, суживая глаза, подрагивая бровями, краснела и посмеивалась.

Ели основательно и долго. Запах смолистого мужского пота мешался с едким и пряным бабьим. От слежавшихся в сундуках юбок, сюртуков и шалек пахло нафталином и еще чем-то сладко-тяжелым — так пахнут старушечьи затасканные канунницы.

Григорий искоса поглядывал на Наталью. И тут в первый раз заметил, что верхняя губа у нее пухловата, свисает над нижней козырьком. Заметил еще, что на правой щеке, пониже скулы, лепится коричневая родинка, а на родинке два золотистых волоска, и от этого почему-то стало муторно. Вспомнил Аксиньину точеную шею с курчавыми пушистыми завитками волос, и явилось такое ощущение, будто насыпали ему за ворот рубахи на потную спину колючей сенной трухи. Поежился, с задавленной тоской оглядел чавкающих, хлюпающих, жрущих людей.

Когда выходили из-за стола, кто-то, дыша взваром и сытой окисью пшеничного хлеба, нагнулся над ним, всыпал за голенище сапога горсть пшена: для того, чтобы не сделалось чего с женихом с дурного глаза. Всю обратную дорогу пшено терло ногу, тугой ворот рубахи

душил горло, и Григорий — удрученный свадебными обрядами — в холодной отчаянной злобе шептал про себя ругательства.

XXII

Отдохнувшие у Коршуновых лошади шли, добираясь до мелеховского база, из последних сил. На ременных шлеях, стекая, клубилась пена.

Подвыпившие кучера гнали безжалостно.

Поезжанье встретили старики. Пантелей Прокофьевич, блистая чернью выложенной сединным серебром бороды, держал икону. Ильинична стояла рядом; каменно застыли ее тонкие губы.

Григорий с Натальей подошли под благословенье, засыпанные винным хмелем и зернами пшеницы. Благословляя, уронил Пантелей Прокофьевич слезу и засуетился, нахмурился, жалея, что люди были свидетелями такой его слабости.

Нареченные вошли в дом. Красная от водки, езды и солнцепека Дарья выскочила на крыльцо, обрушилась на бежавшую из стряпки Дуняшку:

— Где Петро?..

— Не видала.

— К попу надо бечь, а он, проклятый, запропал.

Петро, через меру хлебнувший водки, лежал на арбе, снятой с передка, и стонал. Дарья вцепилась в него коршуном.

— Нажра-а-ался, идолюка! К попу надо бечь!.. Вставай!

— Пошла ты! Не признаю! Ты что за начальство? — резонно заметил тот, шаря по земле руками, сгребая в кучу куриный помет и объедья соломы.

Дарья, плача, просунула два пальца, придавила болтавший несуразное язык, помогла облегчиться. Ошалелому от неожиданности, вылила Петру на голову цебарку колодезной воды, досуха вытерла подвернувшейся под руку попоной, проводила к попу.

Через час Григорий стоял в церкви рядом с похорошевшей в сиянии свечей Натальей, давил в руке восковой стержень свечки, скользя по густой стене шепчущегося народа невидящими глазами, повторял в уме одно назойливое слово: «Отгулялся… отгулялся». Сзади покашливал опухший Петро, где-то в толпе мельтешились Дуняшкины глаза, чьи-то как будто знакомые и незнакомые лица; доносились разнобоистый хор голосов и тягучие возгласы дьякона. Безразличие оковало Григория. Он ходил вокруг налоя, наступая гундосому отцу Виссариону на задники стоптанных сапог, останавливался, когда Петро неприметно дергал его за полу сюртука; глядел на струйчатые косички огней и боролся с сонной, овладевшей им одурью.

— Поменяйтесь кольцами, — сказал отец Виссарион, тепловато глянув Григорию в глаза.

Поменялись. «Скоро кончится?» — спросил Григорий глазами, поймав сбоку Петров взгляд. И Петро шевельнул углами губ, гася улыбку: «Скоро». Потом Григорий три раза целовал влажные безвкусные губы жены, в церкви угарно завоняло чадом потушенных свечей, к выходу загоцали выпиравшие в притвор люди.

Держа в своей руке шершавую крупную руку Натальи, Григорий вышел на паперть. Кто-то нахлобучил ему на голову фуражку. Пахнуло полынным теплым ветерком с юга. Из степи тянуло прохладой. Где-то за Доном сине вилась молния, находил дождь, а за белой оградой, сливаясь с гулом голосов, зазывно и нежно позванивали бубенцы на переступавших с ноги на ногу лошадях.

XXIII

Коршуновы приехали уже после того, как жениха с невестой увезли в церковь. Пантелей Прокофьевич до этого выходил за ворота, взглядывался вдоль улицы, но серая дорога, промереженная зарослями игольчатой колючки, была наголо вылизана безлюдьем. Он переводил взгляд за Дон. Там приметно желтел лес, вызревший махорчатый камыш устало гнулся над задонским озерцом, над осокой.

Предосенняя, тоскливая, синяя дрема, сливаясь с сумерками, обволакивала хутор, Дон, меловые отроги, задонские, в лиловой дымке тающие леса, степь. За поворотом на шляху у перекрестка тонко вырисовывалась остроугольная верхушка часовни.

До слуха Пантелея Прокофьевича доплыл чуть слышный строчащий перестук колес и собачий брех. С площади на улицу вырвались две брички. На передней, покачиваясь в люльке, сидели рядом Мирон Григорьевич с Лукиничной, против них — дед Гришака в свежем мундире с Георгиями и медалями. Правил Митька, небрежно сидя на козлах, не показывая озверевшим от скачки сытым вороным лошадям подоткнутого под сиденье кнута. На второй Михей, падая назад, передергивая вожжами, силился перевести скакавших лошадей на рысь. Остренькое безбровое лицо Михея крылось фиолетовым румянцем, из-под треснувшего пополам козырька обильно сыпался пот.

Пантелей Прокофьевич распахнул ворота, и брички одна за другой въехали на баз.

С крыльца гусыней поплыла Ильинична, обметая подолом ошлепки навозной грязи, занесенной на порожки.

— Милости просим, дорогие сваточки! Сделайте честь нашему бедному куреню! — И она гнула дородный стан.

Пантелей Прокофьевич, кособоча голову, широко разводил руками:

— Покорнейше просим, сваточки! Проходите. — Он крикнул, чтоб отпрягли лошадей, и пошел к свату.

Мирон Григорьевич тер ладонью шаровары, счищая пыль. Поздоровавшись, пошли к крыльцу. Дед Гришака, растрясенный небывалой ездой, приотстал.

— Проходите, сваточек, проходите! — упрашивала Ильинична.

— Ничего, благодарствуем… пройдем.

— Заждались вас, проходите. Зараз веник дам, свату мундир почистить. Пыль ноне, ажник дыхнуть нечем.

— Так точно, сушь… Оттого и пыль. Не беспокойтесь, сваха, я вот толечко… — Дед Гришака, кланяясь недогадливой свахе, задом подвигался к сараю и скрылся за крашеным боком веялки.

— Привязалась к старику, дуреха! — накинулся Пантелей Прокофьевич, встречая Ильиничну у крыльца. — Он по своей стариковской надобности, а она… тьфу, господи, да и глупая!..

— Я-то почем знала? — смутилась Ильинична.

— Должна разуметь. Ну, нечего там. Иди проводи сваху.

За накрытыми столами нетрезвый гуд подвыпивших гостей. Сватов усадили в горнице за стол. Вскоре приехали из церкви молодые. Пантелей Прокофьевич, наливая из четверти, прослезился.

— Ну, сваточки, за наших детей. Чтоб оно все по-хорошему, как мы сходились… и чтоб они в счастье и здравии свою жизнь проживали…

Деду Гришаке налили пузатую рюмку и вылили половину в рот, залохматевший прозеленью бороды, половину за стоячий воротник мундира. Пили, чокаясь. Просто пили.

Гомон ярмарочный. Сидевший на самом краю стола дальний родственник Коршуновых, старый атаманец Никифор Коловейдин, поднимая раскляченную руку, ревел:

— Горька!

— Го-оръ-ко-а!.. — подхватывали за столом.

— Ох, горька!.. — отзывалась битком набитая кухня.

Хмурясь, Григорий целовал пресные губы жены, водил по сторонам затравленным взглядом.

Красные лица. Мутные во хмелю, похабные взгляды и улыбки. Рты, смачно жующие, роняющие на расшитые скатерти пьяную слюну. Гульба — одним словом.

Никифор Коловейдин щерил щербатую пасть, поднимал руку.

— Горька!..

На рукаве его голубого атаманского мундира морщились три золотые загогулины — нашивки за сверхсрочную службу.

— Го-орь-ка!

Григорий с ненавистью вглядывался в щербатый рот Коловейдина. У того в порожнюю меж зубами скважину при слове «горько» трубочкой вылезал слизистый багровый язык.

— Целуйтесь, тетери-ятери… — шипел Петро, шевеля косичками намокших в водке усов.

В кухне Дарья, подпившая и румяная, завела песню. Подхватили. Перекинули в горницу:

Вот и речка, вот и мост,

Через речку перевоз…

Плелись голоса, и, обгоняя других, сотрясая стекла окон, грохотал Христоня:

А кто ба нам поднес,

Мы ба вы-пи-и-ли.

А в спальне сплошной бабий визг:

Потерял, растерял

Я свой голосочек…

И в помощь — чей-то старческий, дребезжащий, как обруч на бочке, мужской голосок:

Потерял, ух, растерял, ух,

Я свой голосочек.

Ой, по чужим садам летучи,

Горькую ягоду-калину клюючи.

— Гуляем, люди добрые!..

— Баранинки опробуй.

— Прими лапу-то… муж, вон он, глядит.

— Горь-ка-а-а!..

— Дружко развязный, ишь со свахой как обходится.

— Ну, не-е-ет, ты нас баранинкой не угощай… Я, может, стерлядь им… И буду исть — она жир-на-я.

— Кум Прошка, давай стременную чекалдыкнем.

— Так по зебрам и пошел огонь…

— Семен Гордеевич!

— А?

— Семен Гордеевич!

— Да пошел ты!

В кухне закачался, выгибаясь, пол, затарахтели каблуки, упал стакан; звон его потонул в общем гуле. Григорий глянул через головы сидевших за столом в кухню: под уханье и взвизги

топтались в круговой бабы. Трясли полными задами (худых не было, на каждой по пять-семь юбок), махали кружевными утирками, сучили в пляске локтями.

Требовательно резнула слух трехрядка. Гармонист заиграл казачка с басовыми переливами.

— Круг дайте! Круг!

— Потеснитесь, гостечки! — упрашивал Петро, толкая разопревшие от пляса бабьи животы.

Григорий, оживившись, мигнул Наталье.

— Петро зараз казачка урежет, гляди.

— С кем это он?

— Не видишь? С матерью твоей.

Лукинична уперла руки в боки, в левой — утирка.

— Ходи, ну, а то я!..

Петро, мелко перебирая ногами, прошел до нее, сделал чудеснейшее коленце, вернулся к месту. Лукинична подобрала подол, будто собираясь через лужу шагать, — выбила дробь носком, пошла, под гул одобрения, выбрасывая ноги по-мужски.

Гармонист пустил на нижних ладах мельчайшей дробью, смыла эта дробь Петра с места, и, ухнув, ударился он вприсядку, щелкая ладонями о голенища сапог, закусив углом рта кончик уса. Ноги его трепетали, выделывая неуловимую частуху коленец; на лбу, не успевая за ногами, метался мокрый от пота чуб.

Григорию загородили Петра спины столпившихся у дверей. Он слышал лишь текучий треск кованых каблуков, словно сосновая доска горела, да взвинчивающие крики пьяных гостей.

Под конец плясал Мирон Григорьевич с Ильиничной, плясал деловито и серьезно, — как и все, что он делал.

Пантелей Прокофьевич стоял на табуретке, мотал хромой ногой, чмокал языком. Вместо ног у него плясали губы, не находившие себе покоя, да серьга.

Бились в казачке и завзятые плясуны, и те, которые не умели ног согнуть по-настоящему.

Всем кричали:

— Не подгадь!

— Режь мельче! Ух ты!..

— Ноги легкие, а зад мешается.

— Сыпь, сыпь!

— Наш край побивает.

— Дай взвару, а то я.

— Запалился, стерьва. Пляши, а то бутылкой!

Пьяненький дед Гришака обнимал ширококостную спину соседа по лавке, брунжал по-комариному ему в ухо:

— Какого года присяги?

Сосед его, каршеватый, вроде дуба-перестарка, старик, гудел, отмахиваясь рукой:

— Тридцать девятого, сынок.

— Какого? Ась? — Дед Гришака оттопыривал морщинистую раковину уха.

— Тридцать девятого, сказано тебе.

— Чей же будете? Из каких?

— Вахмистр Баклановского полка Максим Богатырев. Сам рожак с хутора… с хутора Красный Яр.

— Родствие Мелеховым?

— Как?

— Родствие, говорю?

— Ага, дедом довожусь.

— Полка-то Баклановского?

Старик потухшими глазами глядел на деда Гришаку, катая по голым деснам непрожеванный кусок, кивал головой.

— Значится, в кавказской кампании пребывали?

— С самим покойничком Баклановым, царство небесное, служил, Кавказ покоряли… В наш полк шел казак редкостный… Брали гвардейского росту, одначе сутулых… — какие длиннорукие и в плечах тоже — нонешний казак поперек уляжется… Вот, сынок, какие народы были… Их превосходительство, покойник генерал, В ауле Челенджийском в одночась изволили меня плетью…

— А я в турецкой кампании побывал… Ась? Побывал, да. — Дед Гришака прямил ссохшуюся грудь, вызванивая Георгиями.

— Заняли мы этот аул на рассвете, а в полдни играет трубач тревогу…

— Довелось и нам царю белому послужить. Под Рошичем был бой, и наш полк, Двенадцатый Донской казачий, сразился с ихними янычирами…

— Играет это трубач тревогу… — продолжает баклановец; не слушая деда Гришаку.

— Янычиры ихние навроде атаманцев. Да-с. — Дед Гришака горячится, сердясь, машет рукой. — Службу при своем царе несут, и на головах у них белые мешки. Ась? Белые мешки на головах.

— Я и говорю своему полчанину: «Это, Тимоша, отступать будем, тяни ковер со стены, а мы его в торока…»

— Два егория имею! Награжден за боевые геройства!.. Турецкого майора живьем заполонил…

Дед Гришака плачет и стучит сухим кулачком по гулкой и медвежковатой спине деда-баклановца; но тот, макая кусок курятины вместо хрена в вишневый кисель, безжизненно глядит на скатерть, залитую лапшой, шамшит провалившимся ртом:

— Вот, сынок, на какой грех попутал нечистый… — Глаза деда с мертвой настойчивостью глядят на белые морщины скатерти, словно видит он не скатерть, залитую водкой и лапшой, а снеговые слепящие складки Кавказских гор. — До этого сроду не брал чужого… бывало, займем черкесский аул, в саклях имение, а я не завидую… Чужое сиречь от нечистого… А тут поди ж ты… Влез в глаза ковер… с махрами… Вот, думаю, попона коню будет…

— Мы этих разных разностев повидали. Тоже бывали в заморских землях. — Дед Гришака пытается заглянуть соседу в глаза, но глубокие глазницы заросли, как буерак бурьяном, седыми клочьями бровей и бороды; не доберется дед Гришака до глаз, кругом одна щетинистая непролазь волос.

Он пускается на хитрость; он хочет привлечь внимание соседа ударным местом своего рассказа, а поэтому начинает без предварительной подготовки прямо с середины:

— И командует есаул Терсинцев: «Взводными колоннами наметом — арш-арш!»

Дед-баклановец вскидывает голову, как строевой конь при звуке трубы; роняя на стол узловатый кулак, шепчет:

— Пики к бою, шашки вон, баклановцы!.. — Тут голос его внезапно крепчает, мерклые зрачки блестят и загораются белым, загашенным старостью огнем. — Баклановцы-молодцы!.. — ревет он, раскрывая пасть с желтыми нагими деснами. — В атаку… марш-марш!..

И осмысленно и молодо глядит на деда Гришаку и не утирает замызганным рукавом чекменя щекочущих подбородок слез.

Дед Гришака тоже оживляется.

— Подал он нам этакую команду и махнул палашом. Поскакали мы, а янычиры построились вот так-то, — он чертит на скатерти пальцем неровный четырехугольник, — в нас палят. Два раза мы на них ходили — собьют и собьют. Откель ни возьмись, с флангу из лесочка ихняя конница. Наш командир сотни дает команду. Завернули мы правым крылом, перестроились — и на них. Вдарили. Стоптали. Какая конница супротив казаков устоит? То-то и оно. Поскакали они к лесу, воют… Вижу я, скачет попереди меня ихний офицер, на караковом коне. Молодецкий такой офицер, черные усы книзу, оглядывается все на меня и пистолет из чехла вынает. А чехло к седлу приторочено… Стрельнул и не попал. Тут придавил я коня, догоняю его. Хотел срубить, а после раздумал. Человек ить… Правой рукой обхватил его поперек, так он, извольте видеть, так из седла и вылетел. Руку мне искусал, а все ж таки взял я его…

Дед Гришака, торжествуя, глянул на соседа: тот, уронив на грудь огромную угловатую голову, уснул под шум, уютно всхрапывая.

* ЧАСТЬ ВТОРАЯ *

I

Сергей Платонович Мохов издалека ведет свою родословную.

В годы царствования Петра I шла однажды в Азов по Дону государева баржа с сухарями и огнестрельным зельем. Казаки «воровского» городка Чигонаки, угнездившегося в верховьях Дона, неподалеку от устья Хопра, ночью напали на эту баржу, стражу сонную перерезали, сухари и зелье разграбили, а баржу затопили.

По цареву приказу из Воронежа пришли войска, «воровской» тот городок Чигонаки сожгли, казаков, причастных к разбойному на баржу нападению, нещадно в бою разбили, а взятого в плен есаула Якирку и с ним сорок казаков перевешали на плавучих виселицах, и для устрашения низовых волновавшихся станиц были пущены качели те вниз по Дону.

Лет десять спустя на том месте, где раньше дымились курени Чигонацкой станицы, поселились пришлые казаки и те, что уцелели от разгрома. Вновь выросла и опоясалась боевыми валами станица. С той-то поры и пришел в нее из Воронежского указа царев досмотрщик и глаз — мужик Мохов Никишка. Торговал он с рук разной, необходимой в казачьем обиходе рухлядью: черенками для ножей, табаком, кремнями; скупал и продавал краденое и два раза в год ездил в Воронеж, будто за товаром, а на самом деле доносил, что в станице пока-де спокойно и казаки нового злодейства не умышляют.

От этого-то Мохова Никишки и повелся купеческий род Моховых. Крепко поосели они на казачьей земле. Пообсеменились и вросли в станицу, как бурьян-копытник: рви — не вырвешь; свято блюли полуистлевшую грамоту, какой жаловал прадеда воронежский воевода, посылая в бунтовскую станицу. Может, сохранилась бы она и до наших времен, да в большом пожаре, еще при деде Сергея Платоновича, сгорела вместе с деревянной шкатулкой, хранившейся на божнице. Дед разорился, промотал все состояние, играя в карты; снова поднялся было на ноги, но пожар слизал все, и Сергею Платоновичу пришлось начинать сызнова. Похоронив параличного отца, он со щербатого рубля повел дело. Начал скупать по хуторам щетину и пух. Лет пять бедствовал, жулил и прижимал казаков окрестных хуторов на

каждой копейке, а потом как-то сразу вырос из Сережки-шибая в Сергея Платоновича, открыл в станице галантерейную лавчушку, женился на дочке полусумасшедшего попа, взял немалое за ней приданое и открыл мануфактурный магазин. Вовремя начал Сергей Платонович мануфактурное дело. Из левобережных станиц, где бесплодна и жестка песчаная с каменным суглинком земля, на правую сторону Дона по распоряжению войскового правительства стали переселяться казаки целыми хуторами. Выросла и обросла постройками молодая Краснокутская станица; на рубеже с бывшими помещичьими землями, по рекам Чиру, Черной и Фроловке, над степными балками и логами, гранича с украинскими слободами, повылупились новые хутора. За товаром ездили верст за пятьдесят и больше, а тут вот она — лавка со свежими сосновыми полками, туго набитыми пахучим красным товаром. Широко, как трехрядную гармонь, развернул Сергей Платонович дело, помимо красного товара торговал всем, что надо в сельском немудром хозяйстве: кожевенный товар, соль, керосин, галантерея. В последнее время даже сельскохозяйственными машинами снабжал. С Аксайского завода косилки, сеялки, рядовки, плуги, веялки, сортировки чинным порядком стояли возле зеленостворчатой, прохладной в летнюю пору лавки. В чужом гаманце трудно деньгу считать, но, видно, немалую прибыль давала торговля смекалистому Сергею Платоновичу. Через три года открыл он хлебную ссыпку, а на другой год после смерти первой жены взялся за постройку паровой мельницы.

В смуглый кулачок, покрытый редким, глянцевито-черным волосом, крепко зажал он хутор Татарский и окрестные хутора. Что ни двор — то вексель у Сергея Платоновича: зелененькая с оранжевым позументом бумажка — за косилку, за набранную дочери справу (подошло время девку замуж отдавать, а на Парамоновской ссыпке прижимают с ценой на пшеницу. — «Дай в долг, Платонович!»), мало ли за что еще… На мельнице девять человек рабочих; в магазине семеро да дворовой челяди четверо — вот их двадцать ртов, что жуют по купеческой милости. От первой жены у него осталось двое детей: девочка Лиза и мальчик — на два года моложе ее, вялый, золотушный Владимир. Вторая жена — сухая, узконосая Анна Ивановна — оказалась бездетной. Вся запоздалая, невылитая материнская любовь и скопившаяся желчь (вышла она за Сергея Платоновича на закате тридцать четвертого года) вылились на оставшихся детишек. Нервный характер мачехи влиял не по-хорошему на воспитание детей, а отец уделял им внимания не больше, чем конюху Никите или кухарке. Дела и поездки съедали весь досуг: то в Москву, то в Нижний, то в Урюпинскую, то по станичным ярмаркам. Без догляда росли дети. Нечуткая Анна Ивановна не пыталась проникать в тайники детских душ, не до этого было за большим хозяйством, — оттого и выросли брат с сестрой чуждые друг другу, разные по характерам, непохожие на родных. Владимир рос замкнутым, вялым, с исподлобным взглядом и недетской серьезностью. Лиза, вращавшаяся в обществе горничной и кухарки, распутной, виды видавшей бабы, рано глянула на изнанку жизни. Женщины будили в ней нездоровое любопытство, и она — тогда еще угловатый и застенчивый подросток, — предоставленная самой себе, росла, как в лесу куст дикой волчьей ягоды.

Стекали неторопливые годы.

Старое, как водится, старилось; молодое росло зеленями.

И вот как-то за вечерним чаем несказанно удивился Сергей Платонович, глянув на дочь (Елизавета, к тому времени окончившая гимназию, успела выровняться в видную, недурную девушку); глянул, и блюдце с янтарным чаем запрыгало в руках: «На мать-покойницу похожа. Господи, вот сходство!»

— Лизка, а ну, повернись! — Проглядел, что дочь с самого детства разительно напоминала мать.

…Владимир Мохов, гимназист пятого класса, узкий, болезненно-желтый паренек, шел по мельничному двору. Они с сестрой недавно приехали на летние каникулы, и Владимир, как всегда, с приездом пошел на мельницу посмотреть, потолкаться в толпе осыпанных мучной пылью людей, послушать равномерный гул вальцов, шестерен, шелест скользящих ремней. Ему льстил почтительный шепот завозчиков-казаков:

— Хозяйский наследник…

Осторожно обходя кучи бычачьего помета и подводы, рассыпанные по двору, Владимир дошел до калитки и вспомнил, что не был в машинном отделении. Вернулся.

Возле красной нефтяной цистерны, стоявшей около входа в машинное, вальцовщик Тимофей, весовщик, по прозвищу Валет, и помощник вальцовщика, молодой белозубый парень Давыдка, засучив по колено штаны, месили большой круг глины.

— А-а-а, — хозяин!.. — с насмешливым приветом обратился к нему Валет.

— Здравствуйте.

— Здравствуй, Владимир Сергеевич!

— Что это вы?..

— А вот глину месим, — с трудом выпрастывая ноги из вязкой, пахнущей навозом гущи, злобно усмехнулся Давыдка. — Папаша твой жалеет целковый — баб нанять, на нас ездит. Жила у тебя отец! — добавил он, с чавканьем переставляя ноги.

Владимир покраснел. Он чувствовал к вечно улыбающемуся Давыдке, к его пренебрежительному тону, даже к белым зубам непреодолимую неприязнь.

— Как жила?

— Так. Скупой страшно. Из-под себя ест, — просто пояснил Давыдка и улыбнулся.

Валет и Тимофей одобрительно посмеивались. Владимир почувствовал укол обиды. Он холодно оглядел Давыдку.

— Ты, что же… значит, недоволен?

— Залезь-ка, помеси, а тогда узнаешь. Какой же дурак будет доволен? Папашку твоего сюда бы заправить, живот-то стрясло бы!

Раскачиваясь, Давыдка тяжело ходил по кругу, высоко задирал ноги и теперь уже беззлобно и весело улыбался. Предвкушая приятное удовлетворение, Владимир тасовал мысли. Нужный ответ нашелся.

— Хорошо, — с расстановкой сказал он, — я передам папе, что ты недоволен службой.

Он искоса взглянул на лицо Давыдки и поразился произведенным впечатлением: губы Давыдки жалко и принужденно улыбались, лица других нахмурились. С минуту все трое молча месили крутевшую глину. Давыдка наконец оторвал от своих грязных ног глаза и заискивающе-злобно сказал:

— Я ить пошутил, Володя… Ну, шутейно сказал…

— Я передам папе, что ты говорил.

Чувствуя на глазах слезы обиды и за себя, и за отца, и за Давыдкину жалкую улыбку, Владимир прошел мимо цистерны.

— Володя! Владимир Сергеевич!.. — испуганно крикнул Давыдка и вылез из глины, опуская штаны прямо на измазанные по колено ноги.

Владимир остановился. Давыдка подбежал к нему, тяжело дыша:

— Не говорите папаше. Нарочно сказано было… Уж простите меня, дурака… Ей-богу, без умысла!.. Нарочно…

— Ладно. Не скажу!.. — морщась, выкрикнул Владимир и пошел к калитке.

Жалость к Давыдке взяла верх. С чувством облегчения он зашагал около белого частокола. Из кузни, примостившейся в углу мельничного двора, слышался игривый перестук

молотка: раз по железу — глухой и мягкий, два раза — с подскоком — по звенящей наковальне.

— На что трогал? — донесся до слуха уходившего Владимира приглушенный бас Валета. — Не тронь, оно вонять не будет.

«Ишь сволочь, — озлобясь, подумал Владимир, — выражается… Сказать или не сказать?»

Оглянувшись, увидел прежнюю белозубую Давыдкину улыбку и твердо решил: «Скажу!»

На площади возле магазина стояла привязанная к столбу, запряженная в арбу лошадь. С крыши пожарного сарая ребятишки гоняли серую свиристящую тучу воробьев. С террасы гремел звучный баритон студента Боярышкина и еще чей-то голос — надтреснутый, сиповатый.

Владимир взошел на крыльцо, над ним заколыхалась листва дикого винограда, буйно заплетавшая крыльцо и террасу, висевшая с голубой резьбы карниза зелеными пенистыми шапками.

Боярышкин качал обритой фиолетовой головой, говорил, обращаясь к сидевшему около него молодому, но бородатому учителю Баланде:

— Читаю его и, несмотря на то, что я сын казака-хлебороба и ко всем привилегированным классам питаю вполне естественную злобу, тут, представьте, я до чертиков жалею это отмирающее сословие. Я сам чуть не становлюсь дворянином и помещиком, с восторгом всматриваюсь в их идеал женщины, болею за их интересы, — словом, черт знает что! Вот, дорогой, что значит гений! Можно и веру переменить.

Баланда мял кисть шелкового пояса и, иронически улыбаясь, рассматривал на подоле своей рубахи красные, вышитые гарусом узоры. Лиза, развалясь, сидела в кресле. Разговор ее, видимо, нимало не интересовал. Она всегдашними, что-то потерявшими и что-то ищущими глазами скучливо глядела на фиолетовую, в царапинах, голову Боярышкина.

Поклонившись, Владимир прошел мимо, постучался к отцу в кабинет. Сергей Платонович на прохладной кожаной кушетке перелистывал июньскую книжку «Русского богатства». На полу валялся пожелтевший костяной нож.

— Тебе что?

Владимир вобрал голову в плечи, нервно оправил на себе рубашку.

— Я шел с мельницы… — начал он нерешительно, но вспомнил слепящую Давыдкину усмешку и, глядя на круглый отцовский живот, обтянутый чесучовой жилеткой, уже решительно продолжал: — …и слышал, как Давыдка говорил…

Сергей Платонович выслушал внимательно, сказал:

— Уволим. Иди. — И, кряхтя, нагнулся за ножом.

По вечерам у Сергея Платоновича собиралась хуторская интеллигенция: Боярышкин — студент Московского технического училища; тощий, снедаемый огромным самолюбием и туберкулезом учитель Баланда; его сожительница — учительница Марфа Герасимовна — девушка нестареющая и круглая, с постоянно неприлично выглядывающей нижней юбкой; почтмейстер — чудаковатый, заплесневелый, с запахом сургуча и дешевых духов холостяк. Изредка наезжал из своего имения гостивший у отца — помещика и дворянина — молодой сотник Евгений Листницкий. По вечерам пили на террасе чай, тянули никчемные разговоры, и, когда обрывались вялые разговорные нити, кто-либо из гостей заводил дорогой, в инкрустациях хозяйский граммофон.

Изредка, в большие праздники, любил Сергей Платонович пустить пыль в глаза: созывал гостей и угощал дорогими винами, свежей осетровой икрой, ради этого случая выписанной из Батайска, лучшими закусками. В остальное время жил узко. Единственное, в чем не

отказывал себе, — это в книгах. Любил Сергей Платонович читать и до всего доходить собственным цепким, как повитель, умом.

Компаньон его, белокурый, с острой бородкой и потаенными щелками глаз, Емельян Константинович Атепин, заходил редко. Был он женат на бывшей усть-медведицкой монашке, наплодил с ней за пятнадцать лет супружеской жизни восьмерых детей и большую часть времени проводил дома. Из полковых писарей вылез Емельян Константинович в люди, оттуда же принес в семью затхлый душок подхалимства, заискивания. Дети в его присутствии ходили на цыпочках, говорили шепотом. Каждое утро, умывшись, выстраивались в столовой в ряд, под черным висячим гробом громадных стенных часов, мать стояла позади, и едва до спальни долетало сухое покашливанье отца, начинали разноголосо и фальшиво: «Спаси, господи, люди твоя», потом «Отче наш».

Емельян Константинович успевал одеться к концу молитвы, выходил, щуря щелки капустных глаз, по-архирейски вытягивал мясистую голую руку. Дети подходили поочередно и целовали. Емельян Константинович целовал жену в щеку, говорил, нетвердо выговаривая букву «ч»:

— Полицка, заварила цаек?

— Заварила, Емельян Константинович.

— Налей покрепце.

Магазинную бухгалтерию вел он. Пятнил страницы под жирными заголовками «дебет» — «кредит» писарским, в кудряшках, почерком. Читал «Биржевые ведомости», без нужды ущемляя шишкастый нос в золотое пенсне. Со служащими обращался вежливо.

— Иван Петровиц, отпустите целовеку таврицанского ситцику.

Жена звала его Емельяном Константиновичем, дети — папацкой, а приказчики магазина — Цацой.

Два священника — отец Виссарион и благочинный отец Панкратий — дружбы с Сергеем Платоновичем не вели, были у них давнишние счеты. Между собой и то жили неладно. Строптивый кляузник отец Панкратий умело гадил ближним, а вдовый, живший с украинкой-экономкой отец Виссарион, от сифилиса гундосый, от природы приветливый, сторонился и не любил благочинного за непомерную гордыню и кляузный характер.

Все, кроме учителя Баланды, имели в хуторе собственные дома. На площади красовался ошелеванный пластинами, крашенный в синее домище Мохова. Против него на самой пуповине площади раскорячился магазин со сквозными дверями и слинявшей вывеской:

«Торговый дом Мохов С.П. и Атепин Е.К.»

К магазину примыкал низкорослый, длинный, с подвалом, сарай, саженях в двадцати от него — кирпичный перстень церковной ограды и церковь с куполом, похожим на вызревшую зеленую луковицу. По ту сторону церкви — выбеленные, казенно-строгие стены школы и два нарядных дома: голубой, с таким же палисадником — отца Панкратия, и коричневый (чтоб непохож был), с резным забором и широким балконом — отца Виссариона. С угла на угол двухэтажный, несуразный тонкий домик Атепина, за ним почта, соломенные и железные крыши казачьих куреней, покатая спина мельницы с жестяными ржавыми петухами на крыше.

Жили, закрывшись от всего синего мира наружными и внутренними, на болтах, ставнями. С вечера, если не шли в гости, зачековывали болты, спускали с привязи цепных собак, и по немому хутору тарахтела лишь деревянным языком стукотушка ночного сторожа.

II

В конце августа Митька Коршунов случайно встретился возле Дона с дочерью Сергея Платоновича Елизаветой. Он только что приехал из-за Дона и, примыкая к коряге баркас, увидел крашеную легонькую лодку, легко бороздившую течение. Лодка шла из-под горы, направляясь к пристани, на веслах сидел Боярышкин. Голая голова его блестела потом, на лбу и висках вздулись веточки жил.

Митька не сразу узнал Елизавету. На глаза ее падала от соломенной шляпы сизая тень. Загорелыми руками прижимала к груди ворох желтых водяных кувшинок.

— Коршунов! — Она закивала головой, увидев Митьку. — Обманул меня?

— Как так обманул?

— А помнишь, обещался ехать со мной рыбалить?

Боярышкин бросил весла и разогнул спину. Лодка с разлета вылезла носом на землю, с хрустом дробя прибрежный мел.

— Помнишь? — смеялась Лиза, выскакивая из лодки.

— Некогда было. Работа, — оправдывался Митька и с перехваченным дыханием следил за подходившей к нему девушкой.

— Нет! Это невозможно!.. Я, Елизавета Сергеевна, отказываюсь. Вот вам хомут и дуга, а я вам больше не слуга! Подумайте, сколько исколесили по этой проклятой воде. У меня кровавые мозоли от весел. То ли дело материк.

Боярышкин твердо ступил на колючую крошку мела длинной босой ступней, вытер лоб верхом измятой студенческой фуражки. Не отвечая ему, Лиза подошла к Митьке. Тот неумело пожал протянутую ему руку.

— Когда же поедем рыбалить? — спросила, запрокидывая голову, щуря глаза.

— Хучь завтра. Обмолотились, теперича можно.

— Обманешь?

— Ну, нет!

— Рано зайдешь?

— До света!

— Буду ждать.

— Приду, ей-богу, приду!

— Не забыл, в какое окно стучать?

— Найду, — улыбнулся Митька.

— Я, наверное, скоро уеду. Хотелось бы порыбалить.

Митька молча вертел в руке заржавленный ключ от баркаса и смотрел ей в губы.

— Скоро? — спросил Боярышкин, рассматривая на ладони узорную ракушку.

— Сейчас поедем.

Она помолчала и, чему-то улыбаясь, спросила:

— Ведь у вас какая-то свадьба была?

— Сестру выдавали.

— За кого же это? — И, не дожидаясь ответа, улыбнулась непонятно и коротко. — Приходи же! — Снова, как тогда, в первый раз, на террасе моховского дома, улыбка жиганула Митьку крапивным укусом.

Он проводил девушку глазами до лодки. Боярышкин, раскорячившись, сталкивал лодку; Лиза с улыбкой смотрела через его голову на Митьку, игравшего ключом, кивала ему головой.

Отъехав саженей пять, Боярышкин спросил тихо:

— Что это за молодчик?

— Знакомый.

— Друг сердца?

Митька, слышавший их разговор, за скрипом уключин не расслышал ответа. Он видел, как Боярышкин, налегая на весла, откидываясь, засмеялся, но ее лица не видел: она сидела к нему спиной. Сиреневая лента стекала со шляпы на оголенный покат плеча, дрожала от бессильного ветра, таяла, дразнила Митькин затуманенный взгляд.

Митька, редко ходивший рыбалить удочками, никогда не собирался с таким рвением, как в этот вечер. Он наколол кизяков и сварил в огороде пшенную кашу, наскоро перевязал отопревшие завязки крючков.

Михей, глядя на его приготовления, попросил:

— Возьми меня, Митрий. Одному неспособно.

— Управлюсь и один.

Михей вздохнул.

— Давно мы с тобой не ездили. Теперя подержал бы сазаника эдак в полпуда бы.

Митька, морщась от пара, бившего из чугуна с кашей горячим столбом, промолчал. Окончив сборы, пошел в горенку.

Дед Гришака сидел у окна; оседлав нос круглыми в медной оправе очками, читал Евангелие.

— Дедушка! — окликнул Митька, подпирая плечом притолоку.

Дед Гришака лупнул глазами поверх очков.

— Ась.

— Разбуди меня после первых кочетов.

— Куда в такую спозаранку?

— Рыбалить.

Дед, любивший рыбу, для видимости запротивился:

— Отец говорил — конопи молотить завтра. Нечего баглайничать. Ишь, рыбалка!

Митька оттолкнулся от притолоки, схитрил:

— Мне все одно. Хотел бы рыбкой покормить деда, а раз конопи, — значит, не пойду.

— Погоди, куда ж ты? — испугался дед Гришака, стаскивая очки. — Я погутарю с Мироном, пойти уж, что ли. Рыбки посолонцевать неплохо, завтра вокат середа. Разбужу, иди, иди, дурак! Чему скалишься-то?

В полночь дед Гришака, придерживая одной рукой холстинные портки, другой, державшей костыль, щупая дорогу, спустился по порожкам. Проплыл по двору до амбара белой трясучей тенью и концом костыля ткнул сопевшего на полсти Митьку. В амбаре пахло свежеобмолоченным хлебом, мышиным пометом и кислым, застоявшимся, паутинным запахом нежилого помещения.

Митька спал у закрома, на полсти. Раскачался нескоро. Дед Гришака сначала легонько толкал его костылем, шептал:

— Митюшка! Митька!.. Эко, поганец, Митька!

Митька густо сопел, поджимая ноги. Ожесточившись, дед воткнул тупой конец костыля ему в живот, начал сверлить, как буравом. Охнув, Митька схватил костыль и проснулся.

— Сон дурачий! Ить это беда, как спишь! — ругался дед.

— Молчи, молчи, не гуди, — пришептывал Митька спросонок, шаря по полу чирики.

Он дошел до площади. По хутору заголосили вторые петухи. Шел по улице, мимо дома попа Виссариона, слышал, как в курятнике, хлопая крыльями, протодьяконским басом взревел петух и испуганным шепотом заквохтали куры.

На нижней ступеньке магазина дремал сторож, воткнувшись носом в овчинное тепло воротника. Митька подошел к моховскому забору, сложил удочки и кошелку с припасом, — легонько ступая, чтобы не услышали собаки, взошел на крыльцо. Потянул дверную холодную

ручку — заперто. Перелез через перила, подошел к окну. Створки полуприкрыты. Из черной скважины сладко пахнет девичьим, теплым во сне телом и неведомым сладким запахом духов.

— Лизавета Сергеевна!

Митьке показалось, что он сказал очень громко. Выждал. Тишина. «А ну, как ошибся окном? Что, ежели сам спит? Вот врепаюсь!.. Положит из ружья», — думал Митька, сжимая оконную ручку.

— Лизавета Сергеевна, вставай рыбалить.

«Ежели ошибся окном — вот рыбальство будет!..»

— Вставай, что ли! — раздосадованно сказал он и просунул голову в комнату.

— А? Кто? — испуганно и тихо откликнулись из черноты.

— Рыбалить пойдешь? Это я, Коршунов.

— А-а-а, сейчас.

В комнате зашуршало. Сонный теплый голос, казалось, пахнул мятой. Митька видел что-то белое, шелестящее, двигавшееся по комнате.

«Эх, сладко бы с ней позоревать… А то рыбалить… Сиди там, коченей…» — неясно думал он, вдыхая запах спальни.

В окно показалось смеющееся лицо, повязанное белой косынкой.

— Я через окно. Дай мне руку.

— Лезь. — Митька помог.

Опираясь на его руку, она близко взглянула ему в глаза:

— Скоро я?

— Ничего. Успеем.

Пошли к Дону. Она терла розовой ладонью слегка припухшие глаза, говорила:

— Сладко я спала. Надо бы еще поспать. Рано уж очень идем.

— Как раз будет.

Спустились к Дону по первому от площади проулку. За ночь откуда-то прибыла вода, и баркас, примкнутый к лежавшей вчера на сухом коряге, качался, окруженный водой.

— Разуваться надо, — вздохнула Лиза, меряя глазами расстояние до баркаса.

— Давай перенесу? — предложил Митька.

— Неудобно… я лучше разуюсь.

— Удобнее будет.

— Не надо, — замялась в смущении.

Митька левой рукой обнял ее ноги повыше колен и, легко приподняв, зашлепал по воде к баркасу. Она невольно обхватила смуглый твердый столб его шеи, засмеялась воркующе и тихо.

Если б не споткнулся Митька о камень, на котором хуторские бабы шлепали вальками белье, не было бы нечаянного короткого поцелуя. Ахнув, она прижалась к растрескавшимся Митькиным губам, и Митька стал в двух шагах от серой стенки баркаса. Вода заливалась ему в чирики, холодила ноги.

Отомкнув баркас, он с силой толкнул его от коряги, вскочил на ходу. Огребался коротким веслом, стоя. За кормой журчилась, плакала вода. Баркас приподнятым носом мягко резал стремя, направляясь к противоположному берегу. Дребезжали, подпрыгивая, удилища.

— Куда ты правишь? — спросила, оглядываясь назад.

— На энтот бок.

У песчаного обрыва баркас пристал. Не спрашиваясь, Митька поднял ее на руки и понес в кусты прибрежного боярышника. Она кусала ему лицо, царапалась, раза два придушенно

вскрикнула и, чувствуя, что обессиливает, заплакала зло, без слез…

Возвращались часов в девять. Небо кутала желторудая мгла. Плясал по Дону ветер, гриватил волны. Плясал, перелезая через поперечные волны, баркас, и пенистые студеные брызги поднятой с глубин воды обдавали выпитое бледностью лицо Елизаветы, стекали и висли на ресницах и прядях выбившихся из-под косынки волос.

Она устало щурила опустошенные глаза, ломала в пальцах стебелек занесенного в баркас цветка. Митька греб, не глядя на нее, под ногами его валялись небольшой сазан и чебак, с застывшим в смертной судороге ртом и вылупленным, в оранжевом ободке, глазом. На лице Митьки блудила виноватость, довольство скрещивалось с тревогой…

— Я повезу тебя к Семеновой пристани. Оттель тебе ближе, — сказал, поворачивая баркас по течению.

— Хорошо, — шепотом согласилась она.

На берегу безлюдно, припудренные меловой пылью огородные плетни над Доном изнывали, опыленные горячим ветром, поили воздух запахом прижженного хвороста. Тяжелые, обклеванные воробьями шляпки подсолнухов, вызрев до предела, никли к земле, роняли опушенные семечки. Займище изумрудилось наращенной молодой отавой. Вдали взбрыкивали жеребята, и тягучий смех балабонов, привешенных к их шеям, несло к Дону южным горячим ветром.

Митька поднял рыбу, протянул выходившей из баркаса Елизавете.

— Возьми улов-то. На!

Она испуганно взмахнула ресницами, взяла.

— Ну, я пойду.

— Что ж.

Пошла, держа в откинутой руке нанизанную на таловую хворостинку рыбу, жалкая, растерявшая в боярышнике недавнюю самоуверенность и веселость.

— Лизавета!

Она повернулась, тая в изломе бровей досаду и недоуменье.

— Вернись-ка на-час.

И когда подошла поближе, сказал, досадуя на свое смущенье:

— Недоглядели мы с тобой… Эх, юбка-то сзади… пятнышко… махонькое оно…

Она вспыхнула и залилась краской до ключиц.

Митька, помолчав, посоветовал:

— Иди задами.

— Все равно через площадь надо идти. Хотела ведь черную юбку надеть, — прошептала, с тоской и неожиданной ненавистью озирая Митькино лицо.

— Дай листком обзеленю? — просто предложил Митька и удивился выступившим на глазах ее слезам.

…Ветровым шелестом-перешепотом поползла по хутору новость: «Митька Коршунов Сергея Платоновича дочку обгулял!» Гутарили бабы на прогоне зарей, когда прогоняли табун коров, под узенькой, плавающей в серой пыли тенью колодезного журавля, проливая из ведер воду, у Дона на плитняках самородного камня, выколачивая простиранные лохунишки.

— То-то оно без родной матушки.

— Самому-то дохнуть некогда, а мачеха скрозь пальцев поглядывает…

— Надысь сторож Давыдка Беспалый рассказывал: «Гляжу в полночь, а в крайнюю окно гребется человек. Ну, думаю, вор к Платоновичу. Подбегаю, стал быть. — Кто такое есть? Полицевский, сюда! — А это, стал быть, он и есть, Митька».

— Девки ноне, хвитина им в дыхло, пошли…

— Митька мому Микишке расписывал: «Дескать, сватать буду».

— Нехай хоть трошки сопли утрет!

— Приневолил ее, гутарили надысь, ссильничал…

— И-и-и, кума!..

Текли по улицам и проулкам слухи, мазали прежде чистое имя девушки, как свежие ворота густым дегтем…

Пала молва на лысеющую голову Сергея Платоновича и придавила к земле. Двое суток не выходил ни в магазин, ни на мельницу. Прислуга, жившая на низах, появлялась только перед обедом.

На третий день заложили Сергею Платоновичу в беговые дрожки серого в яблоках жеребца, укатил в станицу, важно и недоступно кивая головой встречавшимся казакам. А следом за ним прошуршала из двора блестящая лаком венская коляска. Кучер Емельян, слюнявя прикипевшую к седеющей бороденке гнутую трубочку, разобрал синее шелковье вожжей, и пара вороных, играючись, защелкала по улице. За кручей Емельяновой спины виднелась бледная Елизавета. Легонький чемоданчик держала в руках и невесело улыбалась; махала перчаткой стоявшим у ворот Владимиру и мачехе. Хромавший из лавки Пантелей Прокофьевич поинтересовался, обращаясь к дворовому Никите:

— Куда же отправилась наследница-то?

И тот, снисходя к простой человеческой слабости, ответил:

— В Москву, на ученье, курсы проходить.

На другой день случилось событие, рассказ о котором долго пережевывали и у Дона, и под тенью колодезных журавлей, и на прогоне… Перед сумерками (из степи проплыл уже табун) пришел к Сергею Платоновичу Митька (нарочно припозднился, чтоб не видели люди). Не просто так-таки пришел, а сватать дочь его Елизавету.

До этого виделся он с ней раза четыре, не больше. В последнюю встречу между ними происходил такой разговор:

— Выходи за меня замуж, Лизавета, а?

— Глупость!

— Жалеть буду, кохать буду… Работать у нас есть кому, будешь у окна сидеть, книжки читать.

— Дурак ты.

Митька обиделся и замолчал. Ушел в этот вечер домой рано, а утром заявил изумленному Мирону Григорьевичу:

— Батя, жени.

— Окстись.

— На самом деле, не шутейно говорю.

— Приспичило?

— Чего уж там…

— Какая ж прищемила, не Марфушка-дурочка?

— Засылай сватов к Сергею Платоновичу.

Мирон Григорьевич аккуратно разложил на лавке чеботарный инструмент (чинил он шлеи), хахакнул:

— Ты, сынок, ноне веселый, вижу.

Митька уперся в свое, как бугай в стену; отец вспылил:

— Дурак! У Сергея Платоновича капиталу более ста тысячев; купец, а ты?.. Иди-ка отсель, не придуривайся, а то вот шлеей потяну жениха этого!

— У нас четырнадцать пар быков, именье вон какое, опять же он мужик, а мы казаки.

— Ступай! — коротко приказал Мирон Григорьевич, не любивший долгих разговоров.

Митька встретил сочувствие лишь у деда Гришаки. Тот приковылял к сыну, цокая костылем по полу.

— Мирон!

— Ну?

— Что супротивничаешь? Раз парню пришлась как раз…

— Батя, вы — чистое дите, истинный бог! Уж Митрий глупой, а вы на диковину…

— Цыц! — пристукнул дед Гришака. — Аль мы им не ровня? Он за честь должен принять, что за его дочерю сын казака сватается. Отдаст с руками и с потрохами. Мы люди по всему округу звестные. Не голутьва, а хозяева!.. Да-с!.. Поезжай, Мирошка, нечего там! В приданое мельницу нехай дает. Проси!

Мирон Григорьевич запыхтел и ушел на баз, а Митька порешил дождаться вечера и идти самому — знал: отцово упрямство что вяз на корню: гнуться — гнется, а сломить и не пробуй.

Дошел до парадного, посвистывая, а тут оробел. Потоптался и пошел через двор. На крыльце спросил у горничной, гремевшей накрахмаленным фартуком:

— Сам дома?

— Чай пьют. Подожди.

Сел, подождал, выкурил цигарку и, послюнявив пальцы, затушил, а окурок густо размазал по полу. Сергей Платонович вышел, обметая с жилета крошки сухаря; увидел — и сдвинул брови.

— Пройдите.

Митька первый вошел в прохладный, пахнущий книгами и табаком кабинет, почувствовал, что той смелости, которой зарядился из дому, хватило как раз до порога кабинета.

Сергей Платонович подошел к столу, крутнулся на пискнувших каблуках.

— Ну? — Пальцы за его спиной царапали доску письменного стола.

— Пришел узнать… — Митька нырнул в холодную слизь буравивших его глаз и зябко передернул плечами, — может, отдадите Лизавету?

Отчаяние, злоба, трусость выдавили на растерянном Митькином лице пот, скупой, как росная сырость в засуху.

У Сергея Платоновича дрожала левая бровь и топырилась, выворачивая бордовую изнанку, верхняя губа. Вытягивая шею, он весь клонился вперед.

— Что?.. Что-о-о?.. Мерзавец!.. Пошел!.. К атаману тебя! Ах ты сукин сын! Пас-ку-да!..

Митька, осмелев от чужого крика, следил за приливом сизой крови, напиравшей на щеки Сергея Платоновича.

— Не примите в обиду… Думал вину свою покрыть.

Сергей Платонович закатил набухшие от крови и слез глаза и жмякнул под ноги Митьке чугунную массивную пепельницу. Она рикошетом ударила Митьку в чашечку левой ноги, но он стойко выдержал боль и, рывком распахнув дверь, выкрикивал, скалясь, наглея от обиды и боли:

— Воля ваша, Сергей Платонович, как хотите, а я от души… Кому она такая-то нужна? Вот и думалось славу прикрыть… Ато ить надкушенный кусок кому нужен? Собака и то не исть.

Сергей Платонович, прикладывая к губам скомканный платок, шел за Митькой по пятам. Он загородил дорогу через парадный ход, и Митька сбежал во двор. Тут-то Сергей Платонович только глазом мигнул торчавшему во дворе Емельяну-кучеру. Пока Митька возился с тугим засовом у калитки, вырвались из-за угла сарая четыре выпущенные собаки и,

завидя чужого, распластались в беге по чисто выметенному двору.

Из Нижнего с ярмарки привез Сергей Платонович в 1910 году пару щенят — суку и кобелька. Были они черны, курчавы, зевлороты. Через год вымахали с годовалого телка ростом, сначала рвали на бабах, ходивших мимо моховского двора, юбки, потом научились валить баб на землю и кусать им ляжки, и только тогда, когда загрызли до смерти телку отца Панкратия да пару атепинских кабанков-зимнухов, Сергей Платонович приказал посадить их на цепь. Спускали собак по ночам да раз в год, весною, на случку.

Митька не успел повернуться лицом, как передний, по кличке Баян, кинул ему лапы на плечи и сомкнул пасть, увязив зубы в ватном сюртуке. Рвали, тянули, клубились черным комом. Митька отбивался руками, стараясь не упасть. Мельком видел, как Емельян, развеивая из трубки искры, промелся в кухню, хлопнул крашеной дверью.

На углу крыльца, прислонясь спиной к водосточной трубе, стоял Сергей Платонович, сучил беленькие кулачки, поросшие глянцевитым жестким волосом. Качаясь, выдернул Митька засов и на окровяненных ногах выволок за собой рычащий, жарко воняющий псиной собачий клубище. Баяну он изломал горло — задушил, а от остальных с трудом отбили его проходившие мимо казаки.

III

Наталья пришлась Мелеховым ко двору. Мирон Григорьевич детей школил; не глядя на свое богатство и на то, что помимо них были работники, заставлял работать, приучал к делу. Работящая Наталья вошла свекрам в душу. Ильинична, скрыто недолюбливавшая старшую сноху — нарядницу Дарью, привязалась к Наталье с первых же дней.

— Поспись, поспись, моя чадунюшка! Чего вскочила? — ласково бубнила она, переставляя по кухне дородные ноги. — Иди, позорюй, без тебя управимся.

Наталья, встававшая с зарей, чтоб помочь в стряпне, уходила в горницу досыпать.

Строгий на дому Пантелей Прокофьевич и то говаривал жене:

— Слышь, баба, Наташку не буди. Она и так днем мотает. Сбираются с Гришкой пахать. Дарью, Дарью стегай. С ленцой баба, спорченная… Румянится да брови чернит, мать ее суку.

— Нехай хучь первый годок покохается, — вздыхала Ильинична, вспоминая свою горбатую в работе жизнь.

Григорий малость пообвык в новом своем, женатом положении, пообтерхался и недели через три со страхом и озлоблением осознал в душе, что не вконец порвано с Аксиньей, осталось что-то, как заноза в сердце. И с этой болью ему не скоро расстаться. Крепко приросло то, на что он в жениховском озорстве играючи рукой помахивал, — дескать, загоится, забудется… А оно вот и не забылось и кровоточит при воспоминаниях. Еще перед женитьбой, как-то на току во время молотьбы, спросил Петро:

— Гришка, а как же с Аксюткой?

— А что?

— Небось, жалко кидать?

— Я кину — кто-нибудь подымет, — смеялся тогда Гришка.

— Ну, гляди. — И Петро жевал изжеванный ус. — А то женишься, да не в пору…

— Тело заплывчиво, а дело забывчиво, — отшутился Гришка.

А оно не так сложилось, и по ночам, по обязанности лаская жену, горяча ее молодой своей любовной ретивостью, встречал Гришка с ее стороны холодок, смущенную покорность. Была Наталья до мужниных утех неохоча, при рождении наделила ее мать

равнодушной. медлительной кровью, и Григорий, вспоминая исступленную в любви Аксинью, вздыхал:

— Тебя, Наталья, отец, должно, на крыге зачинал… Дюже леденистая ты.

А Аксинья при встречах смутно улыбалась, темнея зрачками, роняла вязкую тину слов:

— Здорово, Гришенька! Как живешь-любишься с молодой женушкой?

— Живем… — отделывался Григорий неопределенным ответом и норовил поскорее уйти от ласкового Аксиньиного взгляда.

Степан, как видно, примирился с женой. Реже стал бывать в кабаке и на гумне однажды вечером, вея хлеб, в первый раз за время разлада предложил:

— Давай, Ксюша, заиграем песню?

Присели, прислонясь к вороху обмолоченной пыльной пшеницы. Степан завел служивскую. Аксинья грудным полным голосом дишканила. Складно играли, как в первые годы замужней жизни. Тогда, бывало, едут с поля, прикрытые малиновой полою вечерней зари, и Степан, покачиваясь на возу, тянет старинную песню, тягуче тоскливую, как одичавший в безлюдье, заросший подорожником степной шлях. Аксинья, уложив голову на выпуклые полукружья мужниной груди, вторит. Кони тянут скрипучую мажару, качают дышло. Хуторские старики издалека следят за песней:

— Голосистая жена Степану попала.

— Ишь ведут… складно!

— У Степки ж и голосина, чисто колокол!

И деды, провожавшие с завалинок пыльный багрянец заката, переговаривались через улицу:

— Низовскую играют.

— Этую, полчок, в Грузии сложили.

— То-то ее покойник Кирюшка любил!

Григорий по вечерам слышал, как Астаховы играли песни. На молотьбе (ток их соседил со Степановым током) видел Аксинью, по-прежнему уверенную, будто счастливую. Так, по крайней мере, казалось ему.

Степан с Мелеховыми не здоровался. Похаживал с вилами по гумну, шевелил в работе широкими вислыми плечами, изредка кидал жене шутливое словцо, и Аксинья смеялась, играя из-под платка черными глазами. Зеленая юбка ее зыбилась перед закрытыми глазами Григория. Шею его крутила неведомая сила, поворачивая голову в сторону Степанова гумна. Он не замечал, как Наталья, помогая Пантелею Прокофьевичу настилать посад снопов, перехватывала каждый невольный взгляд мужа своим тоскующим, ревнивым взглядом; не видел того, как Петро, гонявший по кругу лошадей, взглядывая на него, курносил лицо неприметной, про себя, ухмылкой.

Под глухой перегуд — стон распятой под каменными катками земли — думал Гришка неясные думки, пытался и не мог поймать увиливавшие от сознания скользкие шматочки мыслей.

С ближних и дальних гумен ползли и таяли в займище звуки молотьбы, крики погонычей, высвист кнутов, татаканье веялочных барабанов. Хутор, зажиревший от урожая, млел под сентябрьским прохладным сугревом, протянувшись над Доном, как бисерная змея поперек дороги. В каждом дворе, обнесенном плетнями, под крышей каждого куреня коловертью кружилась своя, обособленная от остальных, горько-сладкая жизнь: дед Гришака, простыв, страдал зубами; Сергей Платонович, перетирая в ладонях раздвоенную бороду, наедине с собой плакал и скрипел зубами, раздавленный позором; Степан вынянчивал в душе ненависть к Гришке и по ночам во сне скреб железными пальцами лоскутное одеяло; Наталья, убегая в

сарай, падала на кизяки, тряслась, сжималась в комок, оплакивая заплеванное свое счастье; Христоню, пропившего на ярмарке телушку, мучила совесть; томимый ненастным предчувствием и вернувшейся болью, вздыхал Гришка; Аксинья, лаская мужа, слезами заливала негаснущую к нему ненависть.

Уволенный с мельницы Давыдка-вальцовщик целыми ночами просиживал у Валета в саманной завозчицкой, и тот, посверкивая злыми глазами, говорил:

— Не-е-ет, ша-ли-ишь!! Им скоро жилы перережут! На них одной революции мало. Будет им тысяча девятьсот пятый год, тогда поквитаемся! По-кви-та-емся!.. — Он грозил рубцеватым пальцем и плечами поправлял накинутый внапашку пиджак.

А над хутором шли дни, сплетаясь с ночами, текли недели, ползли месяцы, дул ветер, на погоду гудела гора, и, застекленный осенней прозрачно-зеленой лазурью, равнодушно шел к морю Дон.

IV

В конце октября, в воскресенье, — поехал Федот Бодовсков в станицу.

В кошелке отвез на базар четыре пары кормленых уток, продал; в лавке купил жене ситцу в цветочных загогулинах и совсем собрался уезжать (упираясь в обод ногой, затягивал супонь), — в этот момент подошел к нему человек, чужой, не станичный.

— Здравствуйте! — приветствовал он Федота, касаясь смуглыми пальцами полей черной шляпы.

— Здравствуй! — выжидательно процедил Федот, прищуря калмыцкие глаза.

— Вы откуда?

— С хутора, не тутошний.

— А с какого будете хутора?

— С Татарского.

Чужой человек достал из бокового кармана серебряный, с лодочкой на крышке, портсигар; угощая Федота папироской, продолжал расспросы:

— Большой ваш хутор?

— Спасибочки, покурил. Хутор-то наш? Здоровый хутор. Никак, дворов триста.

— Церковь есть?

— А как же, есть.

— Кузнецы есть?

— Ковали, то есть? Есть и ковали.

— А при мельнице слесарная имеется?

Федот взвожжал занудившегося коня, неприязненно оглядел черную шляпу и на крупном белом лице морщины, втыкавшиеся в короткую черную бороду.

— Вам чего надо-то?

— А я в ваш хутор переезжаю жить. Сейчас вот был у станичного атамана. Вы порожняком едете?

— Порожнем.

— Заберете меня? Только я не один, жена со мной да два сундука пудов на восемь.

— Забрать можно.

Сладившись за два целковых, Федот заехал к Фроське-бубличнице, у которой стоял на квартире подрядивший его, усадил щупленькую белобрысую женщину, поставил в задок повозки окованные сундуки.

Выехали из станицы. Федот, причмокивая, помахивал на своего маштака волосяными вожжами, вертел угловатой, с плоским затылком головой: его бороло любопытство. Пассажиры его скромненько сидели позади, молчали. Федот сначала попросил закурить, а потом уже спросил:

— Вы откель же прибываете в наш хутор?

— Из Ростова.

— Тамошний рожак?

— Как вы говорите?

— Спрашиваю: родом откеда?

— А-а, да-да, тамошний, ростовский.

Федот, поднимая бронзовые скулы, вгляделся в далекие заросли степного бурьяна: Гетманский шлях тянулся на изволок, и на гребне, в коричневом бурьянном сухостое, в полверсте от дороги калмыцкий, наметанно-зоркий глаз Федота различил чуть приметно двигавшиеся головки дроф.

— Ружьишка нету, а то б заехали на дудаков. Вот они ходют… — вздохнул, указывая пальцем.

— Не вижу, — сознался пассажир, подслепо моргая.

Федот проводил глазами спускавшихся в балку дроф и повернулся лицом к седокам. Пассажир был среднего роста, худощав, близко поставленные к мясистой переносице глаза светлели хитрецой. Разговаривая, он часто улыбался. Жена его, закутавшись в вязаный платок, дремала. Лица ее Федот не разглядел.

— По какой же надобности едете в наш хутор на жительство?

— Я слесарь, хочу мастерскую открыть. Столярничаю.

Федот недоверчиво оглядел его крупные руки, и пассажир, уловив этот взгляд, добавил:

— К тому же я являюсь агентом от компании «Зингер» по распространению швейных машин.

— Чей же вы будете по прозвищу? — поинтересовался Федот.

— Моя фамилия Штокман.

— Не русский, стало быть?

— Нет, русский. Дед из латышей происходил.

За короткое время Федот узнал, что слесарь Штокман Иосиф Давыдович работал раньше на заводе «Аксай», потом на Кубани где-то, потом в Юго-восточных железнодорожных мастерских. Помимо этого, еще кучу подробностей чужой жизни выпытал любознательный Федот.

Пока доехали до Казенного леса, иссяк разговор. В придорожном родниковом колодце напоил Федот прилетевшего маштака и, осовелый от тряски и езды, начал подремывать. До хутора осталось верст пять.

Федот примотал вожжи; свесил ноги, прилег поудобней.

Вздремнуть ему не удалось.

— Как у вас житье? — спросил Штокман, подпрыгивая и качаясь на сиденье.

— Живем, хлеб жуем.

— А казаки, что же, вообще, довольны жизнью?

— Кто доволен, а кто и нет. На всякого не угодишь.

— Так, так… — соглашался слесарь. И, помолчав, продолжал задавать кривые, что-то таившие за собой вопросы: — Сытно живут, говоришь?

— Живут справно.

— Служба, наверное, обременяет? А?

— Служба-то?.. Привычные мы, только и поживешь, как на действительной.

— Плохо вот то, что справляют все сами казаки.

— Да как же, туды их мать! — оживился Федот и опасливо глянул на отвернувшуюся в сторону женщину. — С этим начальством беда… Выхожу на службу, продал быков — коня справил, а его взяли и забраковали.

— Забраковали? — притворно удивился слесарь.

— Как есть, вчистую. Порченый, говорят, на ноги. Я так, я сяк: «Войдите, говорю, в положение, что у него ноги, как у призового жеребца, но ходит он петушиной рысью… походка у него петушиная». Нет, не признали. Ить это раз-з-зор!..

Разговор оживился, Федот в увлечении соскочил с повозки, охотно стал рассказывать о хуторянах, ругать хуторского атамана за неправильную дележку луга, расхваливая порядки в Польше, где полк его стоял во время отбывания им действительной службы. Слесарь остреньким взглядом узко сведенных глаз бегал по Федоту, шагавшему рядом с повозкой, курил легкий табак из костяного с колечками мундштука и часто улыбался; но косая поперечная морщина, рубцевавшая белый покатый лоб, двигалась медленно и тяжело, словно изнутри толкаемая ходом каких-то скрытых мыслей.

Доехали до хутора перед вечером.

Штокман, по совету Федота, сходил ко вдовой бабе Лукешке Поповой, снял у нее две комнаты под квартиру.

— Кого привез из станицы? — спрашивали у Федота соседки, выждав его у ворот.

— Агента.

— Какого такого агела?

— Дуры, эх, дуры! Агента, сказано вам, — машинами торгует. Красивым так раздает, а дурным, таким, вот, как ты, тетка Марья, за деньги.

— Ты-то, дьявол клешнятый, хорош. Образина твоя калмыцкая!.. На тебя конем не наедешь: испужается.

— Калмык да татарин — первые люди в степе, ты, тетушка, не шути!.. — уходя, отбивался Федот.

Поселился слесарь Штокман у косой и длинноязыкой Лукешки. Ночь не успел заночевать, а по хутору уж бабы языки вывалили.

— Слыхала, кума?

— А что?

— Федотка-калмык немца привез.

— Ну-ну?..

— И вот тебе матерь божья! В шляпе, а по прозвищу Штопол чи Штокал…

— Никак, из полицевских?

— Акцизный, любушка.

— И-и-и, бабоньки, брешут люди. Он, гутарют, булгахтир, все одно как попа Панкратия сынок.

— Пашка, сбегай, голубь, к Лукешке, спроси у ней потихоньку, мол: «Тета, кого к тебе привезли?»

— Шибчей беги, чадунюшка!

На другой день приезжий явился к хуторскому атаману.

Федор Маныцков, носивший атаманскую насеку третий год, долго вертел в руках черный клеенчатый паспорт, потом вертел и разглядывал писарь Егор Жарков. Переглянулись, и атаман, по старой вахмистерской привычке, властно повел рукой:

— Живи.

Приезжий откланялся и ушел. Неделю из дому носу не показывал, жил, как сурок в сурчине. Постукивал топором, мастерскую устраивал в летней завалюхе-стряпке. Охладел к нему бабий ненасытный интерес, лишь ребятишки дни напролет неотступно торчали над плетнями, с беззастенчивым любопытством разглядывая чужого человека.

V

Григорий с женой выехали пахать за три дня до покрова. Пантелей Прокофьевич прихворнул: опираясь на костыль, охая от боли, ломавшей поясницу, вышел проводить пахарей.

— Энти два улеша вспаши, Гришка, что за толокой у Красного лога.

— Ну-ну. А что под Таловым яром деляна, с энтой как? — шепотом спрашивал перевязавший горло, охрипший на рыбальстве Григорий.

— После покрова. Зараз и тут хватит. Полтора круга [15] под Красным, не жадуй.

— Петро не приедет пособить?

— Они с Дашкой на мельницу поедут. Надо ноне смолоть, а то завозно.

Ильинична совала Наталье в кофту мягких бурсаков, шептала:

— Может, Дуняшку бы взяла погонять быков?

— Управимся и двое.

— Ну гляди, ягодка. Христос с тобой.

Изгибая тонкий стан под тяжестью вороха мокрой одежды, Дуняшка прошла через двор к Дону полоскать.

— Наташа, милушка, там в Красном логу воробьиного щавлю — сила, нарви!

— Нарву, нарву.

— Цыц, стрекотуха! — Пантелей Прокофьевич махал костылем.

Три пары быков потянули по дороге перевернутый запашник, чертя затвердевшую от осеннего сухостоя и бездождья черствую землю. Григорий поминутно поправлял жавший шею платок, шел по обочине дороги, кашлял. Наталья шагала рядом с ним, на спине ее колотился мешок с харчами.

В степи за хутором стыла прозрачная тишина. За толокой, за сутулым бугром расчесывали землю плугами, свистали погонычи, а тут — над шляхом — голубая проседь низкорослой полыни, ощипанный овечьими зубами придорожный донник, горюнок, согнутый в богомольном поклоне, да звонкая стеклянная стынь холодеющего неба, перерезанная летающими нитями самоцветной паутины.

Петро с Дарьей, проводив пахарей, собрались на мельницу. Повесив в амбаре грохот, Петро подвеивал пшеницу. Дарья насыпала в мешки и сносила на бричку.

Пантелей Прокофьевич запряг лошадей, заботливо оправил упряжь.

— Скоро, что ль?

— Зараз, — откликнулся из амбара Петро.

На мельнице завозно. Двор густо уставлен подводами. Около весов давка. Петро кинул Дарье вожжи и соскочил с брички.

— На мой ярлык скоро? — спросил у стоявшего за весами Валета.

— Успеешь.

— Какой номер смалывают?

— Тридцать восьмой.

Петро вышел сносить мешки. В это время в весовой заругались. Чей-то охрипший, злой

голос тявкал:

— Ты проспал, а теперь лезешь? Отойди, хохол, а то клюну!

Петро по голосу угадал Якова Подкову. Прислушался. В весовой пухнул, выпирая из дверей, крик.

Четко лязгнул удар, и из дверей вывалился со сбитым на затылок черным картузом немолодой бородатый тавричанин.

— За шо? — крикнул он, хватаясь за щеку.

— Я тебе зоб вырву!..

— Нет, погоди!

— Микихвор, сюда!..

Яков Подкова (на службе ковал коня; взыграв, стукнул тот копытом по лицу Якова, и, проломив нос, разрезав губы, вылегла на лице подкова, овальный шрам зарос, посинел, пятнышками чернели следы острых шипов, от этого и прозвище — Подкова), бравый, плотно сбитый батареец, выбежал из дверей, подсучивая рукава. Сзади его крепко хлобыстнул высокий, в розовой рубахе, тавричанин. Подкова покачнулся, но на ногах устоял.

— Братцы, казаков бьют!..

Из дверей мельницы на двор, заставленный возами, как из рукава, вперемешку посыпались казаки и тавричане, приехавшие целым участком.

Свалка завязалась у главного входа. Хрястнули двери под напором нахлынувших тел. Петро кинул мешок и, крякнув, мелкими шажками затрусил к мельнице. Привстав на возу, Дарья видела, как Петро втесался в середину, валяя подручных; охнула, когда Петра на кулаках донесли до стены и уронили, топча ногами. Из-за угла от машинной, размахивая железным болтом, бежал вприскочку Митька Коршунов.

Тот самый тавричанин, который сзади ударил Подкову, вырвался из кучи, за спиной его подбитым птичьим крылом трепыхался разорванный розовый рукав. Низко пригибаясь, чертя руками землю, тавричанин добежал до первой повозки и легко вывернул оглоблю. Над мельничным двором тягуче и хрипло плыло:

— А-а-а-а-а…

— Гу-у-у-у…

— А-я-я-а-а-а-а-а!..

Хряск. Стук. Стон. Гуд…

Трое братьев Шумилиных прибежали из дому. Безрукий Алексей упал в калитке, запутавшись ногами в брошенных кем-то вожжах; вскочил, запрыгал через сомкнутые дышла повозок, прижимая к животу холостой левый рукав. У брата его Мартина вылезла из белого чулка заправленная штанина; нагнулся, хотел вобрать, но у мельницы всплеснулся вой. Чей-то крик взлетел высоко над покатой крышей мельницы, как взвихренная нитка паутины. Мартин выпрямился и кинулся догонять Алексея.

Дарья смотрела с воза, задыхаясь, ломая пальцы; кругом взвизгивали и выли бабы, беспокойно стригли ушами лошади, взмыкивали, прижимаясь к возам, быки… Мимо проковылял, плямкая губами, бледный Сергей Платонович, под жилеткой круглым яйцом катался живот. Дарья видела, как Митьку Коршунова подкосил оглоблей тавричанин в расшматованной розовой рубахе и сейчас же упал навзничь, выронив расщепленную оглоблю, а на него ступил безрукий Алексей, прислонивший к тавричанскому затылку свой кулак-свинчатку. Перед глазами Дарьи разноцветными лоскутьями мелькали разрозненные сценки побоища; она видела и не удивлялась тому, как Митька Коршунов, стоя на коленях, резнул железным болтом бежавшего мимо Сергея Платоновича; тот вскинул размахавшимися руками и пополз раком в весовую; его топтали ногами, валили навзничь… Дарья истерически

хохотала, ломались в смехе черные дуги ее подкрашенных бровей. Оборвала сумасшедший смех, наткнувшись глазами на Петра, качаясь, выбрался он из колыхавшейся, гудевшей гущи и лег под возом, харкая кровью. Дарья метнулась к нему с криком. А из хутора бежали казаки с кольями, один махал пешней. Побоище принимало чудовищные размеры. Дрались не так, как под пьянку у кабака или в стенках на масленицу. У дверей весовой лежал с проломанной головой молодой тавричанин; разводя ногами, окунал голову в черную спекшуюся кровь, кровяные сосульки волос падали на лицо; как видно, отходил свое по голубой веселой земле…

Тавричан, сгрудившихся овечьим гуртом, оттеснили к завозчицкой. Худым бы кончилось дело, если б старик тавричанин не догадался: вскочив в завозчицкую, он выдернул из печи искрящуюся головню и выбежал из дверей. Бежал к сараю, где хранился отмол, тысяча с лишком пудов хлеба. Из-за плеча его кисеею вился дым, выпархивали тусклые в дневном свете искры.

— Запа-лю-у-ууу! — дико взревел, поднося к камышовой крыше трескучую головню.

Казаки дрогнули и стали. Сухой порывистый ветер дул с востока, относя дым от крыши завозчицкой к куче сгрудившихся тавричан.

Одну добротную искру в сухой слежалый камыш крыши — и дымом схватится хутор…

Гул, глухой и короткий, тронул ряды казаков… Кое-кто задом отходил к мельнице, а тавричанин, махая головней, сея огненные капли из сизого дыма, кричал:

— Спалю!.. Спа-лю-у-ууу! Уходь с двора!..

Синий во многих местах изуродованного своего лица, Яков Подкова — зачинщик драки — первый покинул мельничный двор. За ним стекли казаки, поспешно и скоро.

Тавричане, побросав мешки, запрягли в брички лошадей и, стоя, махая узлами ременных вожжей, полосуя лошадей кнутами, вырвались со двора и загрохотали по улице за хутор.

Безрукий Алексей — посреди двора; мечется по поджарому животу холостой, завязанной в конце рукав рубахи, всегдашней судорогой дергаются глаз и щека.

— На коней, казаки!..

— Догнать!..

— Дале гребня не ускачут!..

Митька Коршунов, кособочась, кинулся было со двора. Заметная суматоха вновь рябью тронула собравшихся у мельницы казаков, но в момент этот от машинной скорыми шагами подошел, никем раньше не примеченный, незнакомый, в черной шляпе человек; строгая толпу лезвиями узко сведенных остреньких глаз, поднял руку:

— Обождите!

— Ты кто такой? — Подкова сдвинул танцующие брови.

— Откель сорвался?

— Узы его!

— Га!..

— Тю-у-у!..

— Постойте, станичники!..

— Куцый кобель тебе станишник!

— Мужик!

— Лапоть дровяной!

— Дай ему, Яш!

— По гляделкам ему!.. По гляделкам!..

Человек улыбнулся смущенно, но без боязни, снял шляпу, жестом беспримерной простоты вытирая лоб, улыбкой обезоружил вконец.

— В чем дело? — Он махнул сложенной вдвое шляпой, указывая на черную, впитанную землей кровь у дверей весовой.

— Хохлов били, — мирно ответил безрукий Алексей и подморгнул щекой и глазом.

— Да за что били?

— За очередь. Не залазь наперед, — пояснил Подкова, выступая вперед, широким взмахом вытирая красную соплю под носом.

— Вложили им память!

— Эх, догнать ба… В степе не зажгешь.

— Сробели мы, а небось не посмел бы?

— Человек — в отчаянности, зажег бы, как пить дать.

— Хохлы, они огромадно сердитые, — усмехнулся Афонька Озеров.

Человек махнул шляпой в его сторону.

— А ты кто?

Тот презрительно цвиркнул через скважину щербатого рта и, проследив за полетом слюнной петли, отставил ногу.

— Я-то казак, а ты не из цыганев?

— Нет. Мы с тобой обое русские.

— Брешешь! — раздельно выговорил Афонька.

— Казаки от русских произошли. Знаешь про это?

— А я тебе говорю — казаки от казаков ведутся.

— В старину от помещиков бежали крепостные, селились на Дону, их-то и прозвали казаками.

— Иди-ка ты, милый человек, своим путем, — сжимая запухшие пальцы в кулак, сдержанно-злобно посоветовал Алексей безрукий и заморгал чаще.

— Сволочь поселилась!.. Ишь поганка, в мужиков захотел переделать!

— Кто это такой? Слышишь, Афанасий?

— Приехал тут какой-то. У Лукешки косой квартирует.

Момент для погони был упущен. Казаки расходились, оживленно обсуждая происшедшую стычку.

Ночью за восемь верст от хутора, в степи, кутаясь в колючий плотный зипун, Григорий тоскливо говорил Наталье:

— Чужая ты какая-то… Ты — как этот месяц: не холодишь и не греешь. Не люблю я тебя, Наташка, ты не гневайся. Не хотел гутарить про это, да нет, видно, так не прожить… И жалко тебя — кубыть, за эти деньки и сроднились, а нету на сердце ничего… Пусто. Вот как зараз в степе…

Наталья глядела вверх на недоступное звездное займище, на тенистое призрачное покрывало плывущей над ними тучи, молчала. Оттуда, с черно-голубой вышней пустоши, серебряными колокольцами кликали за собой припозднившиеся в полете журавли.

Тоскливо, мертвенно пахли отжившие травы. Где-то на бугре мерцала кумачная крапинка разложенного пахарями костра…

Перед светом Григорий проснулся. На зипуне на два вершка лежал снег. В мерцающей девственной голубизне свежего снега томилась степь, и, четкие, синели возле стана следы плутавшего по первопутку зайца.

VI

С давних пор велось так: если по дороге на Миллерово ехал казак один, без товарищей, то стоило ему при встрече с украинцами (слободы их начинались от хутора Нижне-Яблоновского и тянулись вплоть до Миллерова на семьдесят пять верст) не уступить дороги, украинцы избивали его. Оттого ездили на станцию по нескольку подвод вместе и тогда уж, встречаясь в степи, не боялись вступить в перебранку.

— Эй, хохол! Дорогу давай! На казачьей земле живешь, сволочуга, да ишо дорогу уступать не хочешь?

Несладко бывало и украинцам, привозившим к Дону на Парамоновскую ссыпку пшеницу. Тут драки начинались безо всякой причины, просто потому, что «хохол»; а раз «хохол» — надо бить.

Не одно столетье назад заботливая рука посеяла на казачьей земле семена сословной розни, растила и холила их, и семена гнали богатые всходы: в драках лилась на землю кровь казаков и пришельцев — русских, украинцев.

Через две недели после драки на мельнице в хутор приехали становой пристав и следователь.

Штокмана вызвали на допрос первого. Следователь, молодой, из казачьих дворян чиновник, роясь в портфеле, спросил:

— Вы где жили до приезда сюда?

— В Ростове.

— В тысяча девятьсот седьмом году за что отбывали тюремное наказание?

Штокман скользнул глазами по портфелю и косому, в перхоти, пробору на склоненной голове следователя.

— За беспорядки.

— Угу-м… Где вы работали в то время?

— В железнодорожных мастерских.

— Профессия?

— Слесарь.

— Вы не из жидов? Не выкрест?

— Нет. Я думаю…

— Мне неинтересно знать, что вы думаете. В ссылке были?

— Да, был.

Следователь поднял голову от портфеля, пожевал выбритыми, в пупырышках, губами.

— Я вам посоветую уехать отсюда… — И про себя: — Впрочем, я сам постараюсь об этом.

— Почему, господин следователь?

На вопрос вопросом:

— О чем вы имели беседу с местными казаками в день драки на мельнице?

— Собственно…

— А ну, можете быть свободны.

Штокман вышел на террасу моховского дома (у Сергея Платоновича всегда останавливалось начальство, минуя въезжую) и, пожимая плечами, оглянулся на створчатые крашеные двери.

VII

Зима легла не сразу. После покрова стаял выпавший снег, и табуны снова выгнали на

подножный. С неделю тянул южный ветер, теплело, отходила земля, ярко доцветала в степи поздняя мшистая зеленка.

Ростепель держалась до Михайлова дня, потом даванул мороз, вывалил снег; день ото дня холод крепчал, подпало еще на четверть снегу, и на опустевших обдонских огородах, через занесенные по маковки плетни, девичьей прошивной мережкой легли петлистые стежки заячьих следов. Улицы обезлюдели.

Пластался над хутором кизячный дым, возле кучек рассыпанной у дороги золы расхаживали налетевшие к жилью грачи. Сизой, выцветшей лентой закривилась по хутору санная ровень дороги-зимнухи.

На майдане собрался однажды сход: подходили дележ и порубка хвороста. Толпились у крыльца правления в тулупах и шубах, поскрипывали валенками. Холод загнал в правление. За столом, по бокам от атамана и писаря, расселись почетные — в серебряной седине бород — старики, помоложе — с разномастными бородами и безбородые — казаки жались в кураготы, гудели из овчинной теплыни воротников. Писарь крыл бумагу убористыми строками, атаман засматривал ему через плечо, а по нахолодавшей комнате правления приглушенным гудом:

— Сена ноне…

— Во-во… Луговое — корм, а со степи — гольный донник.

— Бывалоча, в старину до рождества в попасе.

— Калмыкам добро!

— Экхе-м…

— У атамана-то волчий ожерелок, ишь голову не повернет.

— Калкан нажрал, боров, дьявол!

— Тю, сват, аль зиму пужаешь? Тулупишше-то…

— Цыган теперича шубу продал.

— На святках ночуют это цыгане в степе, а укрываться нечем, бреднем оделся, забрало до тонкой кишки — проснулся цыган, палец-то в ичейку просунул, и матери: «Ху, маманя, гутарит, то-то на базу и холодишша!..»

— Упаси бог — сколизь зачнется.

— Быков ковать, не иначе.

— Надысь рубил я белотал у Чертовой ендовы, хорош.

— Захар, мотню застегни… Отморозишь — баба с база сгонит.

— Гля, Авдеич, ты, что ль, обчественного бугая правдаешь?

— Отказался. Паранька Мрыхина взялась… Я, дескать, вдова, все веселей. Владай, говорю, в случай приплод…

— Эх-ха-ха-ха!

— Гы-гы-гыыы!

— Господа старики! Как всчет хвороста?.. Тишше!

— В случае, говорю, приплод объявится… кумом, стал быть…

— Тише! Покорнейше просим!

Сход начался. Атаман, поглаживая запотевшую насеку, выкрикивал фамилии раздатчиков, дымился паром, обдирал мизинцем сосульки с бороды. Позади, у хлопающей двери — пар, давка, звучные хлопки сморканий.

— В четверг нельзя назначать порубку! — старался перекричать атамана Иван Томилин и тер пунцовые уши, кособоча голову в синей артиллерийской фуражке.

— Как так?

— Ухи оторвешь, пушкарь!

— Мы ему бычиные пришьем.

— В четверг половина хутора за веном на отвод сбираются. Эк рассудили!..

— С воскресенья поедешь.

— Господа старики!..

— Чего там!

— В добрый час!

— Гу-у-у-у-у!..

— Го-го-го-ооо!..

— Га-а-а-а-а!..

Старик Матвей Кашулин, перегибаясь через шаткий стол, запальчиво взвизгивал, тыкая в сторону Томилина ясеневым гладким костылем:

— Погодишь с сеном!.. Небось!.. Как обчество… Ты сроду поперек становишься. Молодой, дурак, братец ты мой!.. Вот!.. Ишь ты!.. Вот…

— Ты сам до старости ума в соседях занимаешь… — Выпячивая голову из задних рядов, безрукий Алексей частил, примаргивая глазом, судорожно дергал дырявой щекой.

Он шесть лет враждовал со стариком Кашулиным из-за клочка перепаханной земли. Бил его каждую весну, а земли захватил у него Матвей Кашулин с воробьиную четверть, — зажмурившись, переплюнуть можно.

— Замолчь, судорога!

— Жалкую, что далеко — отсель не достану, а то я бы тебя тыкнул, аж красную соплю б уронил!

— Ишь ты, моргун косорукий!..

— Цыцте вы, связались!..

— Вон на баз, там и склещитесь. Право.

— Брось, Алексей, вишь старик наежился, ажник папах на голове шевелится.

— В тигулевку их, какие скандальничают!..

Атаман вплюснул кулак в пискнувший стол.

— Зараз сидельцев позову! Молчать!..

Смолкая, гул прошелся до задних рядов и заглох.

— В четверг, как рассвенется, выезжать на порубку.

— Как вы, господа старики?

— В добрый час!

— Давай бог!

— Ноне стариков не дюже слухают…

— Небось будут слухать. Аль управу не сыщем? Мой Алексашка, как отделял его, было-к в драку кинулся, за грудки хватался. Я его доразу секанул: «Зараз же заявлю атаману и старикам, выпорем…» Посмирнел, слег, как травина под полой водой.

— А ишо, господа старики, получена от станишного атамана распоряжения. — Атаман перевел голос и покрутил головой: стоячий воротник мундира, задирая подбородок, врезался в шею. — В энтую субботу в станицу молодым на присягу. Чтоб к вечеру были у станишного правления.

У крайнего к двери окна Пантелей Прокофьевич, по-журавлиному поджимая хромую ногу, стоял рядом со сватушкой. Мирон Григорьевич в распахнутом тулупе сидел на подоконнике, улыбался в гнедую бороду. На коротких белесых ресницах его пушился иней, коричневые крупные конопины налились от холода кровью, посерели. Около, перемигиваясь, улыбаясь, толпились казаки помоложе, а в середине, сдвинув на плоский лысеющий затылок синеверхую атаманскую, с серебряным перекрестком, папаху, покачивался на носках одногодок Пантелея Прокофьевича — нестареющий, вечно налитой, как яблоко антоновка,

румянцем — Авдеич, по кличке Брех.

Служил Авдеич когда-то в лейб-гвардии Атаманском полку. На службу пошел Синилиным, а вернулся… Брехом.

Он первый из хутора попал в Атаманский полк, и диковинное поделалось с казаком: рос парнем, как и все; водилась за ним с малых лет малая придурь, а со службы пришел — и пошло колесом под гору. С первого же дня, как только вернулся, начал рассказывать диковинные истории про службу свою при царском дворце и про свои необыкновеннейшие в Петербурге приключения. Ошалелые слушатели сначала верили, разинув рты, принимали на совесть, а потом и открылось, что — враль Авдеич, каких хутор с основания своего не видывал; над ним смеялись в открытую, но он не краснел, уличенный в чудовищных своих измышлениях (а может, и краснел, да за всегдашним румянцем не разобрать), и врать не переставал. Под старость вовсе свихнулся. Припрут к стене — обидится, в драку лезет, а молчат, посмеиваются — горит к небывальщине, насмешек не замечает.

Был в хозяйстве — дельный и работящий казак, делал все с рассудком, кое-где и с хитринкой, а когда касался разговор атаманской его службы… тут уж всякий просто руками разводил, приседая на землю от хохота, выворачивавшего нутро.

Авдеич стоял в середине, качался на растоптанных в круглышок валенках; оглядывая толпившихся казаков, говорил веско и басовито:

— Ноне казак совсем отменитый: мелкий казак и никудышний. Соплей любого надвое перешибешь. Так, словом, — и презрительно улыбаясь, придавливал валенком плевок, — мне довелось в станице Вешенской поглядеть на мертвые костяки, вон было казачество — это да!..

— Где же раскопал их, Авдеич? — спросил голощекий Аникушка, толкая локтем соседа.

— Ты, односум, уж не бреши, ради близкого праздника. — Пантелей Прокофьич сморщил горбатый нос и дернул в ухе серьгу. Он не любил пустобреха.

— Я, брат, сроду не брешу, — внушительно сказал Авдеич и с удивлением оглядел Аникушку, дрожавшего, как в лихорадке. — А видал мертвячьи кости, как дом строили моему шурину. Зачали фундамент класть, отрыли могилу. Стал быть, в старину тут у Дона, возле церкви, и кладбище было.

— Что ж костяки-то? — недовольно спросил Пантелей Прокофьевич, собираясь уходить.

— Ручина — во, — Авдеич развел граблястые руки, — голова — ей-богу, не брешу — с польской котел.

— Ты, Авдеич, лучше рассказал бы молодым, как ты в Санкт-Петербурге разбойника споймал, — предложил Мирон Григорьевич и слез с подоконника, запахивая тулуп.

— Что там рассказывать-то, — заскромничал Авдеич.

— Расскажи!

— Просим!

— Сделай честь, Авдеич!

— Оно, видишь, как случилось. — Авдеич откашлялся и достал из шаровар кисет. Всыпав на скрюченную ладонь щепоть табаку, кинул в кисет вывалившиеся оттуда два медяка, обвел слушателей счастливыми глазами. — Из крепости убег зарестованный злодей. Туды-сюды искать — нету. Вся власть с ног сбилась. Пропал вовзят — и шабаш! Ночью призывает меня караульный офицер, прихожу… Да-а-а… «Иди, говорит, в покой ихнего инператорского величества, тебя… сам государь инператор требует». Я, конешно, оробел, вхожу. Стал во фронт, а он, милостивец, ручкой меня по плечу похлопал и говорит: «Вот что, говорит, Иван Авдеич, убег первый для нашей инперии злодей. В землю заройся, а сыщи, иначе и на глаза не являйся!» — «Слушаюсь, ваше инператорское величество», — говорю. Да-

а-а… братцы мои, была мне закрутка… Взял я из царской конюшни тройку первеющих коней и марш-марш. — Авдеич, закуривая, оглядел потупленные головы слушателей, одушевляясь, загремел из висячего облака дыма, закутавшего его лицо: — День скачу, ночь скачу. Аж на третьи сутки под Москвой догнал. В карету его, любушку, и тем следом обратно. Приезжаю в полночь, весь в грязе, и прямо иду к самому. Меня это разные-подобные князья с графьями не пускать, а я иду. Да… Стучусь. «Дозвольте, ваше инператорское величество, взойтить». — «А это кто таков?» — спрашивает. «Это я, говорю, Иван Авдеич Синилин». Поднялась там смятенья, — слышу, сам кричит: «Марея Федоровна, Марея Федоровна! Вставай скорей, ставь самовар, Иван Авдеич приехал!»

Громом лопнул в задних рядах смех. Писарь, читавший объявления о пропавшем и приблудившемся скоте, споткнулся на фразе: «левая нога по щиколотку в чулке». Атаман гусаком вытянул шею, рассматривая колыхавшуюся в хохоте толпу.

Авдеич дернул папаху, — хмурясь, растерянно перебегал глазами с одного на другого.

— Погодите!

— Охо-ха-ха-ха!..

— Ох, сме-е-ертынь-ка!..

— Гык-гкы-гы-ы-ык!..

— Авдеич, кобель лысый, ох-охо!..

— «Ставь само-о-вар. Авдеич приехал!» Ну и ну!

Сход начал расходиться. Тягуче, беспрерывно стонали дощатые промерзшие порожки крыльца. На затоптанном у правления снегу возились, согреваясь в борьбе, Степан Астахов и высокий голенастый казак — хозяин ветряка-голландки.

— Через голову мирошника! — советовали окружавшие их казаки. — Вытряси из него отруби, Степка!

— Ты под силы-то не перехватывай! Догадлив дюже ишь! — горячился, подскакивая по-воробьиному, старик Кашулин и в увлечении не замечал ядреной светлой капли, застенчиво повиснувшей на пипке его сизого носа.

VIII

Пантелей Прокофьевич вернулся со схода и прямо прошел в боковушку, комнату, которую он занимал со старухой. Ильинична эти дни прихварывала. На водянисто-пухлом лице ее виднелись усталость и боль. Она лежала на высоко взбитой перине, привалясь спиной к подушке, поставленной торчмя. На туп знакомых ей шагов повернула голову, с давнишней, прижившейся на ее лице суровостью глянула на мужа, остановила взгляд на мокрых от дыханья завитках бороды, теснивших рот Прокофьевича, на слежалых, влитых в бороду влажных усах, двинула ноздрями, но от старика несло морозом, кислым душком овчины. «Тверезый ноне», — подумала и, довольная, положила на пухлый свой живот чулок со спицами и недовязанной пяткой.

— Что ж порубка?

— В четверг порешили. — Прокофьевич разгладил усы. — В четверг с утра, — повторил он, присаживаясь рядом с кроватью на сундук. — Ну, как? Не легшает все?

На лицо Ильиничны тенью легла замкнутость.

— Так же… Стреляет в суставы, ломит.

— Говорил дуре, не лезь в воду осенью. Раз знаешь за собой беду — не рыпайся! — вскипел Прокофьевич, чертя по полу костылем широкие круги. — Аль мало баб? Будь они

трижды прокляты, твои конопи: помочила, а теперя… Бож-же-жж мой, то-то… Эх!

— Конопям тоже не пропадать. Баб не было: Гришак со своей пахал, Петро с Дарьей где-то ездили.

Старик, дыша на сложенные ладони, нагнулся к кровати:

— Наташка как?

Ильинична оживилась, заговорила с заметной тревогой:

— Что делать — не знаю. Надысь опять кричала. Вышла я на баз, гляжу — дверь амбарную расхлебенил кто-то. Сем-ка пойду притворю, думаю. Взошла, а она у просяного закрома стоит. Я к ней: «Чего ты, чего, касатка?» А она: «Голова что-то болит, маманя». Правды ить не добьешься.

— Может, хворая?

— Нет, пытала… Либо порчу напустили, либо с Гришкою чего…

— Он к этой… случаем, не прибивается опять?

— Что ты, дед! Что ты! — Ильинична испуганно всплеснула руками. — А Степан, аль глупой? Не примечала, нет.

Старик посидел немного и вышел.

Григорий в своей горнице подтачивал напилком крюки на нарезных снастях. Наталья смазывала их свиным растопленным жиром, аккуратно заворачивала каждый в отдельную тряпочку. Пантелей Прокофьевич, похрамывая мимо, пытливо глянул на Наталью. На пожелтевших щеках ее, как на осеннем листке, чахнул неяркий румянец. Она заметно исхудала за этот месяц, в глазах появилось что-то новое, жалкое. Старик остановился в дверях. «Эх, выхолил бабу!» — подумал, еще раз взглянув на склоненную над лавкой гладко причесанную голову Натальи.

Григорий сидел у окна, дергая напилком, на лбу его черной спутанной челкой прыгали волосы.

— Брось к чертовой матери!.. — багровея от приступившего бешенства, крикнул старик и сжал костыль, удерживая руку.

Григорий вздрогнул, недоумевая поднял на отца глаза:

— Хотел вот два конца сточить, батаня.

— Брось, тебе велят! На порубку сбирайся!

— Я зараз.

— Притык в санях ни одной нету, а он — крючья, — уже спокойнее проговорил старик и, потоптавшись около дверей (как видно, еще что-то хотел сказать), вышел. Остаток злобы сорвал на Петре.

Григорий, надевая полушубок, слышал, как отец кричал во дворе:

— Скотина до се непоеная, чего ж ты глядишь такой-сякой?.. А это кто прикладок, что возле плетня, расчал? Кому гутарил, чтоб не трогали крайнего прикладка?.. Потравите, проклятые, самое доброе сено, а к весне в пахоту чем быков будешь правдать?..

В четверг, часа за два до рассвета, Ильинична разбудила Дарью:

— Вставай, пора затоплять.

Дарья в одной рубахе кинулась к печке. В конурке нашарила серники, зажгла огонь.

— Ты поскорей стряпайся, — торопил жену взлохмаченный Петро, закуривая и кашляя.

— Наташку-то жалеют будить, дрыхнет, бессовестная. Что же, я надвое должна разорваться? — бурчала заспанная, сердитая спросонок Дарья.

— Поди разбуди, — советовал Петро.

Наталья встала сама. Накинув кофту, вышла в катух за кизяками.

— Поджожек принеси! — командовала старшая сноха.

— Дуняшку пошли за водой, слышь, Дашка? — с трудом передвигая по кухне ноги, хрипела Ильинична.

В кухне пахло свежими хмелинами, ременной сбруей, теплом человеческих тел. Дарья бегала, шаркая валенками, грохотала чугунами; под розовой рубашкой, с засученными по локоть рукавами, трепыхались маленькие груди. Замужняя жизнь не изжелтила, не высушила ее: высокая, тонкая, гибкая в стану, как красноталовая хворостина, была она похожа на девушку. Вилась в походке, перебирая плечами, на окрики мужа посмеивалась: под тонкой каймой злых губ плотно просвечивали мелкие частые зубы.

— С вечеру надо было кизяков наложить. Они б в печке подсохли, — недовольно бурчала Ильинична.

— Забыла, мамаша. Наша беда, — за всех отвечала Дарья.

Пока отстряпались — рассвело. Пантелей Прокофьевич, обжигаясь жидкой кашей, спешил позавтракать. Хмурый Григорий жевал медленно, гоняя по-над скулами комки желваков. Петро потешался, незаметно для отца передразнивая Дуняшку, завязавшую от зубной боли щеку.

По хутору скрипели полозья. В серой рассветной мари двигались к Дону бычачьи подводы. Григорий с Петром вышли запрягать. На ходу заматывая мягкий шарф — невестин жениху подарок, — Григорий глотал морозный и сухой воздух. Горловой полнозвучный крик уронил, пролетая над двором, ворон. Отчетливо в морозной стыни слышен шелест медленных во взмахах крыльев. Петро проследил за полетом, сказал:

— К теплу, на юг правится.

За розовеющим, веселым, как девичья улыбка, облачком маячил в небе тоненький-тоненький краешек месяца. Из трубы дыбом вставал дым и, безрукий, тянулся к недоступно далекому, золотому, отточенному лезвию ущербного месяца.

Против мелеховского двора Дон не замерз. По краям зеленоватый в снежных переносах крепнул лед, под ним ластилась, пузырилась не захваченная стременем вода, а подальше середины, к левому берегу, где из черноярья били ключи, грозная и манящая чернела полынья в белых снежных заедях; по ней черными конопушками перенырывали оставшиеся на зимовку дикие утки.

Переезд шел от площади.

Пантелей Прокофьевич, не дождавшись сыновей, первый поехал на старых быках. Петро с Григорием, поотстав, выехали следом. У спуска догнали Аникушку. Воткнув в сани топор с новехоньким топорищем, Аникушка, подпоясанный зеленым кушаком, шел рядом с быками. Жена его, мелкорослая, хворая бабенка, правила. Петро еще издали крикнул:

— Сосед, ты, никак, бабу волокешь с собой?

Смешливый Аникушка, приплясывая, подошел к саням.

— Везу, везу. Для сугреву.

— Тепла от ней мало, суха дюже.

— Овсом кормлю, а вот не поправляется.

— Нам в одной деляне хворост? — спросил Григорий, соскочив со своих саней.

— В одной, ежели закурить дашь.

— Ты, Аникей, сроду на чужбинку.

— Ворованное да выпрошенное всего слаже, — подхахакивал Аникушка, морща голое бабье лицо улыбкой.

Поехали вместе. В лесу, завешенном кружевным инеем, строгая бель. Аникушка ехал впереди, щелкая кнутом по нависшим над дорогой веткам. Снег, игольчатый и рыхлый, падал гроздьями, осыпая закутанную Аникушкину жену.

— Не дури, черт! — кричала она, отряхиваясь.

— Ты ее в сугроб носом! — кричал Петро, норовя попасть кнутом быку под пузо, для пущего хода.

На повороте к Бабьим ендовам наткнулись на Степана Астахова. Он гнал распряженных в ярме быков к хутору, размашисто шел, поскрипывая подшитыми валенками. Курчавый обыневший чуб его висел из-под надетой набекрень папахи белой виноградной кистью.

— Эй, Степа, заблудил? — крикнул, равняясь, Аникушка.

— Заблудил, мать его черт!.. Об пенек вдарило сани под раскат — полоз пополам. Пришлось вернуться. — Степан добавил похабное словцо и прошел мимо Петра, нагло щуря из-под длинных ресниц светлые разбойные глаза.

— Сани бросил? — оборачиваясь, крикнул Аникушка.

Степан махнул рукой, щелкнул кнутом, заворачивая направившихся по целине быков, и проводил шагавшего за санями Гришку долгим взглядом. Неподалеку от первой ендовы Григорий увидел брошенные средь дороги сани, около саней стояла Аксинья. Левой рукой придерживая полу донской шубы, она глядела на дорогу, навстречу двигавшимся подводам.

— Отойди, а то стопчу. Ух ты, жена не моя! — заржал Аникушка.

Аксинья, улыбаясь, посторонилась, присела на скособоченные, без полоза сани.

— Вон и твоя с тобой сидит.

— Влепилась, как репей в свинячий хвост, а то бы я тебя подвез.

— Спасибочка.

Петро, равняясь с ней, мельком оглянулся на Григория. Тот шел, неспокойно улыбаясь; тревога и ожидание сквозили в каждом его движении.

— Здорово живешь, соседка, — поздоровался Петро, касаясь рукавицей шапки.

— Слава богу.

— Обломались, никак?

— Обломались, — протяжно сказала Аксинья, не глядя на Петра, и встала, поворачиваясь к подходившему Григорию. — Григорь Пантелевич, сказать бы вам нужно…

Григорий свернул к ней, бросил отъезжавшему Петру:

— Наглядай за моими быками.

— Ну-но, — грязно усмехнулся Петро, заправляя в рот горький от табачного дыма ус.

Они стояли друг против друга, молчком. Аксинья тревожно глядела по сторонам, переводила влажные черные глаза на Григория. Стыд и радость выжигали ей щеки, сушили губы. Она дышала короткими, частыми вздохами.

Сани Аникушки и Петра скрылись за коричневой порослью дубняка. Григорий в упор поглядел Аксинье в глаза, увидел, как вспыхнули они балованным отчаянным огоньком.

— Ну, Гриша, как хошь, жить без тебя моченьки нету, — твердо выговорила она и накрепко сжала губы, ожидая ответа.

Григорий молчал. Тишина обручем сковала лес. Звенело в ушах от стеклянной пустоты. Притертый полозьями глянец дороги, серая ветошь неба, лес немой, смертно сонный… Внезапный клекочущий и близкий крик ворона словно разбудил Григория от недолгой дремы. Он поднял голову, увидел: вороненая, в черной синеве оперенья птица, поджав ноги, в беззвучном полете прощально машет крыльями. Неожиданно для самого себя Григорий сказал:

— Тепло будет. В теплую сторону летит… — И, встрепенувшись, хрипло засмеялся… — Ну… — Он воровски повел низко опущенными зрачками опьяневших глаз и рывком притянул к себе Аксинью.

IX

Вечером у косой Лукешки в половине Штокмана собирался разный люд; приходил Христоня, с мельницы Валет в накинутом на плечи замасленном пиджаке; скалозуб Давыдка, бивший три месяца баклуши; машинист Котляров Иван Алексеевич; изредка наведывался Филька-чеботарь, и постоянным гостем был Мишка Кошевой, еще не ходивший на действительную, молодой казак.

Резались сначала в подкидного дурака, потом как-то незаметно подсунул Штокман книжонку Некрасова. Стали читать вслух — понравилось. Перешли на Никитина, а около рождества предложил Штокман почитать затрепанную, беспереплетную тетрадку. Кошевой, окончивший когда-то церковную школу, читавший вслух, пренебрежительно оглядел промасленную тетрадь.

— Из нее лапши нарезать. Дюже жирная.

Христоня гулко захохотал, ослепительно блеснул улыбкой Давыдка, но Штокман, переждав общий смех, сказал:

— Почитай, Миша. Это про казаков. Интересная.

Кошевой, свесив над столом золотистый чуб, раздельно прочел:

— «Краткая история донского казачества». — И оглядел всех, выжидающе щурясь.

— Читай, — сказал Иван Алексеевич.

Мусолили три вечера. Про Пугачева, про вольное житье, про Стеньку Разина и Кондратия Булавина.

Добрались до последних времен. Доступно и зло безвестный автор высмеивал скудную казачью жизнь, издевался над порядками и управлением, над царской властью и над самим казачеством, нанявшимся к монархам в опричники. Заволновались. Заспорили. Загудел Христоня, подпирая головой потолочную матку. Штокман сидел у дверей, курил из костяного с колечками мундштука, смеялся одними глазами.

— Правильно! Справедливо! — бухал Христоня.

— Не сами виноваты, довели до такой страмы казаков. — Кошевой недоуменно разводил руками и морщил красивое темноглазое лицо.

Был он коренаст, одинаково широк и в плечах и в бедрах, оттого казался квадратным; на чугунно-крепком устое сидела плотная, в кирпичном румянце, шея, и странно выглядела на этой шее красивая в посадке небольшая голова с женским очертанием матовых щек, маленьким упрямым ртом и темными глазами под золотистою глыбой курчавых волос. Машинист Иван Алексеевич, высокий мослаковатый казак, спорил ожесточенно. Всосались и проросли сквозь каждую клетку его костистого тела казачьи традиции. Он вступался за казаков, обрушиваясь на Христоню, сверкая выпуклыми круглыми глазами.

— Ты обмужичился, Христан, не спорь, что там… В тебе казацкой крови — на ведро поганая капля. Мать тебя с воронежским яишником прижила.

— Дурак ты!.. Э, дурак, братец, — басил Христоня. — Я правду отстаиваю.

— Я в Атаманском полку не служил, — ехидничал Иван Алексеевич, — это в Атаманском что ни дядя, то дурак…

— И в армейских попадают такие, что невпроворот.

— Молчи уж, мужик!

— А мужики аль не люди?

— Так они и есть мужики, из лыка деланные, хворостом скляченные.

— Я, брат, как в Петербурге служил — разных видал. Был, стал быть, такой случай, — говорил Христоня, в последнем слове делая ударение на «а». — Несли мы охрану царского

дворца, в покоях часы отбывали и снаружи. Снаружи над стеной верхи ездили: двое туда — двое сюда. Встренутся, спрашивают: «Все спокойно? Нету никаких бунтов?» — «Нету ничего», — и разъезжаются, а чтоб пристать поговорить — и не моги. Тоже и личности подбирали: становют, стал быть, в дверях двоих, так подгоняют, чтоб похожи один на одного были. Черные так черные стоят, а белые, так белые. Не то что волосы, а чтоб и обличьем были схожи. Мне, стал быть, раз цырульник бороду красил из-за этих самых глупостев. Припало в паре стоять с Никифором Мещеряковым, — был такой казачок в нашей сотне Тепикинской станицы, — а он, дьявол, какой-то гнедой масти. Чума его знает, что за виски, кубыть, аж полымем схваченные. Искать-поискать, стал быть, нету такой масти в сотнях; мне сотник Баркин, стал быть, и говорит: «Иди в цырульню, чтоб вмиг подрисовали бороду и вусы». Прихожу, ну, и выкрасили… А как глянул в зеркалу, ажник сердце захолонуло: горю! Чисто горю, и все! Возьму бороду в жменю, кубыть, аж пальцам горячо. Во!..

— Ну, Емеля, понес без колес! Об чем начал гутарить? — перебил Иван Алексеевич.

— Об народе, вот об чем.

— Ну, и рассказывай. А то об бороде своей, на кой она клеп нам спонадобилась.

— Вот я и говорю: припало раз верхи нести караул. Едем так-то с товарищем, а с угла студенты вывернулись. И видимо и невидимо! Увидели нас, как рявкнут: «Га-а-а-а-а-а!» Да ишо раз: «Га-а-а-а!..» Не успели, стал быть, мы вспопашиться, окружили. «Вы чего, казаки, разъезжаете?» Я и говорю: «Несем караул, а ты поводья-то брось, не хватай!» И за шашку. А он и говорит: «Ты, станишник, не сумневайся, я сам Каменской станицы рожак, а тут ученье прохожу в ниверси… ниворситуте», али как там. Тут мы трогаем дале, а один носатый из портмонета вынает десятку и говорит: «Выпейте, казаки, за здоровье моего покойного папаши». Дал нам десятку и достал из сумки патрет: «Вот, гутарит, папашина личность, возьмите на добрую память». Ну, мы взяли, совестно не взять. А студенты отошли и опять: «Га-а-а-а». С тем, стал быть, направились к Невскому прошпекту. Из дворцовых задних ворот сотник с взводом стремят к нам. Подскочил: «Что такое?» — Я, стал быть, говорю: «Студенты отхватили и разговор начали, а мы по уставу хотели их в шашки, а потом, как они ослобонили нас, мы отъехали, стал быть». Сменили нас, мы вахмистру и говорим: «Вот, Лукич, стал быть, заработали мы десять целковых и должны их пропить за упокой души вот этого деда». И показываем патрет. Вахмистр вечером принес водки, и гуляли мы двое суток, а после и объявился подвох: студент этот, стерьва, замест папаши и дал нам патрет заглавного смутьяна немецкого роду. Я-то взял на совесть, над кроватью для памяти повесил, вижу — борода седая на патрете и собою подходимый человек, навроде из купцов, а сотник, стал быть, доглядел и спрашивает: «Откель взял этот патрет, такой-сякой?» — «Так и так», — говорю. Он и зачал костерить, и по скуле, да ишо, стал быть, раз… «Знаешь, орет, что это — атаман ихний Карла…» — вот, запамятовал прозвищу… Э, да как его, дай бог памяти…

— Карл Маркс? — подсказал Штокман, ежась в улыбке.

— Во-во!.. Он самый, Карла Маркс… — обрадовался Христоня. — Ить подвел под монастырь… Иной раз так что к нам в караульную и цесаревич Алексей прибегает со своими наставленниками. Ить могли доглядеть. Что б было?

— А ты все мужиков хвалишь. Ишь как тебя подковали-то, — подсмеивался Иван Алексеевич.

— Зато десятку пропили. Хучь за Карлу за бородатого пили, а пили.

— За него следует выпить, — улыбнулся Штокман и поиграл колечком костяного обкуренного мундштука.

— Что ж он навершил доброго? — спросил Кошевой.

— В другой раз расскажу, а сегодня поздно. — Штокман хлопнул ладонью, выколачивая

из мундштука потухший окурок.

В завалюхе Лукешки-косой после долгого отсева и отбора образовалось ядро человек в десять казаков. Штокман был сердцевиной, упрямо двигался он к одному ему известной цели. Точил, как червь древесину, нехитрые понятия и навыки, внушал к существующему строю отвращение и ненависть. Вначале натыкался на холодную сталь недоверия, но не отходил, а прогрызал…

X

На пологом песчаном левобережье, над Доном, лежит станица Вешенская, старейшая из верховых донских станиц, перенесенная с места разоренной при Петре I Чигонацкой станицы, переименованная в Вешенскую. Вехой была когда-то по большому водному пути Воронеж — Азов.

Против станицы выгибается Дон кобаржиной татарского сагайдака, будто заворачивает вправо, и возле хутора Базки вновь величаво прямится, несет зеленоватые, просвечивающие голубизной воды мимо меловых отрогов правобережных гор, мимо сплошных с правой стороны хуторов, мимо редких с левой стороны станиц до моря, до синего Азовского.

Против Усть-Хоперской роднится с Хопром, против Усть-Медведицкой — с Медведицей, а ниже стекает многоводный, в буйном цвету заселенных хуторов и станиц.

Вешенская — вся в засыпи желтопесков. Невеселая, плешивая без садов станица. На площади — старый, посеревший от времени собор, шесть улиц разложены вдоль по течению Дона. Там, где Дон, выгибаясь, уходит от станицы к Базкам, рукавом в заросли тополей отходит озеро, шириной с Дон в мелководье. В конце озера кончается и станица. На маленькой площади, заросшей иглисто-золотой колючкою, — вторая церковь, зеленые купола, зеленая крыша, — под цвет зеленям разросшихся по ту сторону озера тополей.

А на север за станицей — шафранный разлив песков, чахлая посадка сосняка, ендовы, налитые розовой, от красноглинной почвы, водой. И в песчаном половодье, в далекой россыпи зернистых песков — редкие острова хуторов, левад, рыжеющая щетина талов.

На площади, против старой церкви, в декабрьское воскресенье — черная полутысячная толпа молодых казаков со всех хуторов станицы. В церкви отходила обедня, зазвонили к «Достойно». Старший урядник — бравый престарелый казак с нашивками за сверхсрочную службу — скомандовал «строиться». Гомонившая толпа растеклась и выстроилась в две длинные неровные шеренги. По рядам забегали урядники, выравнивая волнисто-изломанные шеренги.

— Ряды-ы-ы, — затянул урядник и, сделав рукой неопределенный жест, кинул: — Вздвой!..

В ограду прошел атаман, одетый по форме, в новенькой офицерской шинели, в перезвоне шпор, следом за ним — военный пристав.

Григорий Мелехов стоял рядом с Коршуновым Митькой, переговариваясь вполголоса.

— Сапог ногу жмет, терпения нету, — жаловался Митька.

— Терпи, атаманом будешь.

— Зараз поведут.

Словно в подтверждение, старший урядник, пятясь, крутнулся на каблуках.

— На прэ-э-во!

«Гук-гук», — четко сделали пятьсот пар обутых ног.

— Левое плечо вперед, ша-гом арш!

Колонна врезалась в распахнутую калитку церковной ограды, замелькали сдернутые с голов папахи, до самого купола налилась церковь стуком шагов.

Григорий стоял, не вслушиваясь в слова присяги, которую читал священник. Вглядывался в лицо Митьки; тот морщился от боли и переставлял скованную сапогом ногу. Поднятая рука Григория затекала, в уме вразброд шла угарная возня мыслей. Подходил под крест и, целуя обслюнявленное многими ртами влажное серебро, думал об Аксинье, о жене. Как вспышка зигзагистой молнии, перерезало мысли короткое воспоминание: лес, бурые стволы деревьев в белом пышном уборе, как в нарядной серебряной шлее; влажный, горячий блеск черных, из-под пухового платка Аксиньиных глаз…

Вышли на площадь. Вновь построились. Урядник, высморкавшись и незаметно вытирая пальцы о подкладку мундира, начал речь:

— Теперя вы уже не ребяты, а казаки. Присягнули и должны знать за собой, что и к чему. Теперича вы произросли в казаков, и должны вы честь свою соблюдать, отцов-матерей слухать и все такое прочее. Были ребятами — дураковали, небось, на дорогу чурбаки тягали, а после этого должны подумать о дальнеющей службе. Вот через год идтить вам в действительную. — Тут урядник сморкнулся опять, стряхнул с ладони содержимое и, натягивая на руку пышную, из кроличьего пуха, перчатку, закончил: — И должон ваш отец-мать подумакивать об справе. Чтоб коня строевого приобресть, ну и вообче… А теперича с богом, молодцы, по домам!

Григорий с Митькой дождались у моста хуторных ребят, вместе тронулись в дорогу. Шли вдоль берега. Над хутором Базки таял трубный дым, тонко отзванивал колокол. Митька хромал позади всех, опираясь на суковатый выломанный кол.

— Разуйся, — посоветовал один из ребят.

— Ногу обморожу, — приотставая, заколебался Митька.

— В чулке пойдешь.

Митька сел на снег, с усилием стянул с ноги сапог. Пошел, припадая на разутую ногу. На хрушком снегу дороги ясно печатался след вязанного крючком толстого чулка.

— Какой дорогой пойдем? — спросил низенький, чурбаковатый Алексей Бешняк.

— Над Доном, — за всех ответил Григорий.

Шли, переговариваясь, толкая один другого с дороги.

По уговору валяли в сугроб каждого и давили, наваливаясь кучей. Между Базками и Громковским хутором Митька первый увидел перебиравшегося через Дон волка.

— Ребята, бирюк — вон он!. Тю!..

— А-лю-лю-лю-лю-лю!..

— Ух!..

Волк ленивой перевалкой пробежал несколько саженей и стал боком, неподалеку от того берега.

— Узы его!..

— Га!..

— Тю, проклятый!..

— Митрий, это он на тебя дивуется, что ты в чулке идешь.

— Ишь стоит боком, ожерелок не дозволяет.

— Он вязы не скрутит.

— Гля, гля, пошел!..

Серый, как выточенный из самородного камня, стоял зверь, палкой вытянув хвост. Потом торопко скакнул в сторону и затрусил к талам, окаймлявшим берег.

Смеркалось, когда добрались до хутора. Григорий по льду дошел до своего проулка,

поднялся к воротцам. Во дворе стояли брошенные сани; в куче хвороста, наваленного возле плетня, чулгокали воробьи. Тянуло жильем, пригоревшей сажей, парным запахом скотиньего база.

Поднимаясь на крыльцо, Григорий взглянул в окно. Тускло желтила кухню висячая лампа, в просвете стоял Петро, спиной к окну. Григорий обмел сапоги веником, вошел в облаке пара в кухню.

— Вот и я. Ну, здорово живете.

— Скоро ты. Небось, прозяб? — отозвался суетливо и поспешно Петро.

Пантелей Прокофьевич сидел, облокотившись на колени, опустив голову. Дарья гоняла ногой жужжащее колесо прялки. Наталья стояла у стола к Григорию спиной, не поворачиваясь. Кинув по кухне беглый взгляд, Григорий остановил глаза на Петре. По лицу его, беспокойно выжидающему, понял: что-то случилось:

— Присягнул?

— Ага!

Григорий раздевался медленно, выигрывая время, быстро перебирая в уме возможные случайности, виною которых эта тишина и холодноватая встреча.

Из горницы вышла Ильинична, и на ее лице лежала печать некоторого смятения.

«Наталья», — подумал Григорий, садясь на лавку рядом с отцом.

— Собери ему повечерять, — обратилась Ильинична к Дарье, указывая глазами на Григория.

Дарья оборвала прялочную песню, пошла к печке, неуловимо поводя плечами, всем своим тонким небабьим станом. В кухне приглохла тишина. Возле подземки, посапывая, грелись недавно окотившаяся коза с козленком.

Григорий, хлебая щи, изредка вглядывал на Наталью, но лица ее не видел: она сидела к нему боком, низко опустив над вязальными спицами голову. Пантелей Прокофьевич первый не выдержал общего молчания; кашлянул скрипуче и деланно, сказал:

— Наталья вот собирается уходить.

Григорий собирал хлебным катышком крошки, молчал.

— Это через чего? — спросил отец, заметно подрагивая нижней губой (первый признак недалекой вспышки бешенства).

— Не знаю через чего, — Григорий прижмурил глаза и, отодвинув чашку, встал, крестясь.

— А я знаю!.. — повысил голос отец.

— Не шуми, не шуми, — вступилась Ильинична.

— А я знаю через чего!..

— Ну, тут шуму заводить нечего. — Петро подвинулся от окна на середину комнаты. — Тут дело полюбовное: хочет — живет, а не хочет — ступай с богом.

— Я ее не сужу. Хучь и страмно и перед богом грех, а я не сужу: не за ней вина, а вот за этим сукиным сыном!.. — Пантелей Прокофьевич указал на прислонившегося к печке Григория.

— Кому я виноват?

— Ты не знаешь за собой?.. Не знаешь, чертяка?..

— Не знаю.

Пантелей Прокофьевич вскочил, повалив лавку, и подошел к Григорию вплотную. Наталья выронила чулок, тренькнула выскочившая спица; на звук прыгнул с печи котенок, избочив голову, согнутой лапкой толкнул клубок и покатил его к сундуку.

— Я тебе вот что скажу, — начал старик сдержанно и раздельно: — Не будешь с Наташкой жить — иди с базу, куда глаза твои глядят! Вот мой сказ! Иди, куда глаза глядят! —

повторил он обычным спокойным голосом и отошел, поднял лавку.

Дуняшка сидела на кровати, зиркала круглыми, напуганными глазами.

— Я вам, батя, не во гнев скажу, — голос Григория был дребезжаще-глух, — не я женился, а вы меня женили. А за Натальей я не тянусь. Хочет, нехай идет к отцу.

— Иди и ты отсель!

— И уйду.

— И уходи к чертовой матери!..

— Уйду, уйду, не спеши! — Григорий тянул за рукав брошенный на кровати полушубок, раздувая ноздри, дрожа в такой же кипящей злобе, как и отец.

Одна, сдобренная турецкой примесью, текла в них кровь, и до чудного были они схожи в этот момент.

— Куда ты пой-де-ошь? — застонала Ильинична, хватая Григория за руку, но он с силой оттолкнул мать и на лету подхватил упавшую с кровати папаху.

— Нехай идет, кобелина поблудный! Нехай, будь он проклят! Иди, иди, ступай!.. — гремел старик, настежь распахивая двери.

Григорий выскочил в сенцы, и последнее, что он слышал, — Натальин плач в голос.

Морозная крыла хутор ночь. С черного неба падала иглистая пороша, на Дону раскатисто, пушечными выстрелами лопался лед. Григорий выбежал за ворота, задыхаясь. На другом краю хутора разноголосо брехали собаки, прорешеченная желтыми огоньками дымилась тьма.

Бесцельно зашагал Григорий по улице. В окнах Степанова дома алмазно отсвечивала чернота.

— Гриша! — кинулся от ворот тоскующий Натальин вскрик.

«Пропади ты, разнелюбая!» — Григорий скрипнул зубами, ускоряя шаги.

— Гриша, вернись!

В первый переулок направил Григорий пьяные свои шаги, в последний раз услышал придавленный расстоянием горький оклик:

— Гришенька, родимый!..

Быстро пересек площадь, на развилке дорог остановился, перебирая в уме имена знакомых ребят, у кого можно было бы переночевать.

Остановился на Михаиле Кошевом. Жил тот на отшибе, у самой горы; мать, сам Михаил, сестра-девка да двое братишек — вся семья. Вошел во двор, постучался в крохотное окошко саманной хаты.

— Кто такой?

— Михаил дома?

— Дома. А это кто?

— Это я, Григорий Мелехов.

Через минуту, оторванный от первого сладкого сна, Михаил открыл дверь.

— Ты, Гриша?

— Я.

— Чего ты по ночам?

— Пусти в хату-то, там погутарим.

В сенях Григорий схватил Михаила за локоть; злобясь на себя за то, что не хватало нужных слов, прошептал:

— Я у тебя заночую… С своими поругался… У тебя как, тесно?.. Ну, да я где-нибудь.

— Место найдется, проходи. За что вы сцепились?

— Э, брат… потом… Где тут дверь у вас? Не вижу.

Григорию постелили на лавке. Лег, с головой кутаясь полушубком, чтобы не слышать шепота Михайловой матери, спавшей на одной кровати с дочерью.

«Как теперь дома? Уйдет Наташка, нет ли? Ну, по-новому стелется жизнь. Куда прислониться?» И быстро подсказывала догадка: «Покличу завтра Аксинью, уйдем с ней на Кубань, подальше отсель… далеко, далеко…»

Уплывали перед закрытыми глазами Григория степные гребни, хутора, станицы, никогда раньше не виданные, чужие сердцу. А за валами гребней, за серой дорогой — сказкой голубая приветливая сторона и Аксиньина, в позднем, мятежном цвету, любовь на придачу.

Уснул, встревоженный Надвигавшимся неведомым. Перед сном тщетно старался припомнить что-то гнетущее в мыслях, несловленное. Шли в полусне думы гладко и ровно, как баркас по течению, и вдруг натыкались на что-то, будто на мель; муторно становилось, не по себе; ворочался, бился в догадках: «Что же? Что такое поперек дороги?»

А утром проснулся и вспомнил: «Служба! Куда же мы пойдем с Аксюткой! Весной — в лагерь, а осенью на службу… Вот она, зацепа».

Позавтракал и вызвал Михаила в сенцы.

— Сходи, Миша, к Астаховым. Перекажи Аксинье, чтоб, как завечереет, вышла к ветряку.

— А Степан? — замялся было Михаил.

— Придумай, как будто за делом.

— Схожу.

— Иди. Мол, непременно пущай выйдет.

— Ладно уж.

Вечером сидел под ветряком, курил в рукав. За ветряком в сухих кукурузных будыльях, спотыкаясь, сипел ветер. На причаленных крыльях хлопало оборванное полотно. Казалось Григорию, будто над ним кружит, хлопая крыльями, и не может улететь большая птица. Аксинья не шла. На западе в лиловой тусклой позолоте лежал закат, с востока, крепчая, быстрился ветер, надвигалась, перегоняя застрявшую в вербах луну, темень. Рудое, в синих подтеках, трупно темнело над ветряком небо; над хутором — последыши суетного дневного гомона.

Григорий выкурил подряд три цигарки, воткнул в примятый снег последний окурок, огляделся в злобной тоске. Притаявшие проследки от ветряка к хутору дегтярно чернели. От хутора никого не видно. Григорий встал; хрустнув плечами, потянулся и пошел на огонь, зазывно мигавший в оконце Михайловой хаты. Подходил ко двору, насвистывая сквозь зубы, и почти в упор столкнулся с Аксиньей. Бежала, как видно, или торопко шла, запыхалась, и пахло от свежего, нахолодевшего рта то ли ветром, то ли далеким, еле уловимым запахом свежего степного сена.

— Заждался, думал — не придешь.

— Степана насилушки выпроводила…

— Ты меня заморозила, окаянная баба!

— Я горячая, погрею. — Распахнула опушенные полы донской шубы, обвилась вокруг Григория, как хмель вокруг дуба. — Чего кликал?

— Погоди, прими руки… Тут люди ходют.

— С своими, никак, поругался?

— Ушел. Сутки вот у Мишки… Живу, как приблудная собака.

— Как же ты теперича? — Аксинья разжала обнимавшие Григория руки и зябко запахнула полы шубы. — Давай, Гриша, к плетню отойдем. Что же так-то, посередь дороги?

Отошли. Григорий, разметав сугроб, прислонился к промерзлому трескучему плетню спиной.

— Не знаешь, ушла к своим Наталья?

— Не знаю… Уйдет, должно. А то будет тут жить?

Григорий просунул иззябшую руку Аксиньи себе в. рукав; сжимая пальцами узкую ее кисть, спросил:

— Как же будем?

— Я, миленький, не знаю. Как ты, так и я.

— Бросишь Степана?

— И не охну. Хучь зараз.

— Где-нибудь наймемся обое, будем жить.

— Хучь под скотину я с тобой, Гриша… Лишь бы с тобой.

Постояли, греясь общим теплом. Григорий не хотел идти, стоял, повернув голову на ветер, вздрагивая ноздрями, не поднимая смеженных век. Аксинья, уткнувшись лицом ему под мышку, дышала таким родным, пьянящим запахом его пота, и на губах ее, порочно-жадных, скрытая от глаз Григория, дрожала радостная, налитая сбывшимся счастьем улыбка.

— Завтра дойду до Мохова, может, у него наймусь, — проговорил Григорий, перехватывая повыше запотевшую в пальцах кисть Аксиньиной руки.

Аксинья промолчала. Не подняла головы. Недавнюю улыбку с губ ее как ветер слизал, и в расширенных глазах загнанным зверьком томилась тоска и испуг. «Сказать или не сказать?» — думала она, вспомнив про свою беременность. «Надо сказать», — решила было, но сейчас же, дрогнув от испуга, отогнала страшную мысль. Женским своим чутьем угадала, что не время об этом говорить, поняла, что можно навек потерять Григория, и, сомневаясь, от кого из двух зачала ворохнувшегося под сердцем ребенка, слукавила душой: не сказала.

— Чего дрогнула? Озябла? — спросил Григорий, кутая ее полой полушубка.

— Озябла трошки… Идтить надо, Гриша. Придет Степан, кинется, а меня нету.

— Он где пошел?

— Насилушки спровадила к Аникею в карты играть.

Разошлись. На губах Григория остался волнующий запах ее губ, пахнувших то ли зимним ветром, то ли далеким, неуловимым запахом степного, вспрыснутого майским дождем сена.

Аксинья свернула в проулок; пригибаясь, почти побежала. Против чьего-то колодца, там, где скотина взмесила осеннюю грязь, неловко оступилась, скользнув ногой по обмерзшей кочке, и, почувствовав резнувшую боль в животе, схватилась за колья плетня. Боль утихла, а в боку что-то живое, переворачиваясь, стукнуло гневно и сильно, несколько раз подряд.

XI

Наутро Григорий отправился к Мохову в дом. Сергей Платонович пришел из магазина к чаю. Сидел с Атепиным в столовой, оклеенной дорогими, под дуб, обоями, цедил крепкий, бордовый чай. Григорий в передней положил шапку, вошел в столовую.

— Я к вам, Сергей Платонович.

— А, Пантелея Мелехова сынок, кажется.

— Его.

— Тебе чего?

— Хотел просить, не наймете ли в работники?

Григорий повернул голову на скрип двери. Из зала вышел со сложенной вчетверо газетой молодой офицер в зеленом кителе, с погонами сотника. Григорий узнал в нем того офицера, которого обогнал в прошлом году на скачках Митька Коршунов.

Подвигая офицеру стул, Сергей Платонович сказал!

— Что, аль обеднял отец, что сына нанимает?

— Я с ним не живу.

— Отделился?

— Да.

— С радостью взял бы, знаю вашу семью, работящий народ, да места у меня нет.

— В чем дело? — спросил сотник, подсаживаясь к столу и поглядывая на Григория.

— В работники парень нанимается.

— За лошадьми можешь ухаживать? Правишь хорошо дышловой запряжкой? — спросил сотник, мешая ложечкой в стакане.

— Могу. Своих лошадей шесть штук держали.

— Мне нужен кучер. Условия твои?

— Я не дорого прошу…

— В таком случае приходи завтра к отцу в имение. Знаешь, где имение Листницкого Николая Алексеевича?

— Так точно, знаю.

— Отсюда верст двенадцать. Приходи завтра с утра, договоришься там.

Григорий потоптался на месте и, уже держась за дверную ручку, сказал:

— Мне бы на-часок, ваше благородие, сказать вам…

Сотник вышел следом за Григорием в полутемный коридор. Сквозь матовые стекла с террасы скупо сочился розовый свет.

— В чем дело?.

— Я не один… — Григорий густо покраснел. — Со мной баба. Может, и ей место какое выйдет?

— Жена? — спросил сотник, улыбаясь, поднимая розовые от света брови.

— Чужая жена…

— Ах, вон как. Ну что ж, устроим и ее черной стряпухой. А муж ее где?

— Тут, хуторной.

— Ты что же, похитил у мужа жену?

— Сама приблудилась.

— Романтическая история. Ну хорошо, приходи завтра. Можешь быть свободен, братец.

Григорий пришел в Ягодное — имение Листницких — часов в восемь утра. По большому двору, обнесенному кирпичной облупленной оградой, нескладно раскидались дворовые постройки: флигель под черепичной крышей, с черепичной цифрой посредине — 1910 год, людская, баня, конюшня, птичник и коровник, длинный амбар, каретник. Дом большой, старый, огороженный со стороны двора палисадником, ютился в саду. За домом серою стеною стояли оголенные тополя и вербы левады в коричневых шапках покинутых грачиных гнезд.

Григория встретила за двором ватага крымских черных борзых. Старая хромая сука, со слезящимся старушечьим взглядом, первая обнюхала Григория, пошла следом, понурив сухую голову. В людской кухарка ругалась с молоденькой веснушчатой горничной. В табачном дыму, как в мешке, сидел у порога старый губатый человечина. Григория горничная провела в дом. В передней воняло псиной и неподсохшими звериными шкурами. На столе валялся чехол от двустволки и ягдташ с истрепанными зелеными шелковыми махрами.

— Молодой барин зовет к себе. — Из боковых дверей выглянула горничная.

Григорий опасливо оглядел свои грязные сапоги, шагнул в дверь.

На кровати, стоявшей под окном, лежал сотник; на одеяле — коробка с гильзами и

табаком. Начинив папиросу, сотник застегнул ворот белой сорочки, сказал:

— Рано ты. Подожди, сейчас отец придет.

Григорий стал у двери. Через минуту по скрипучему полу передней зашаркали чьи-то шаги. Густой низкий бас спросил в дверную щель:

— Не спишь, Евгении?

— Входите.

Вошел старик в черных кавказских бурках. Григорий глянул на него сбоку, и первое, что ему кинулось в глаза, — это тонкий покривленный нос и белые, под носом желтые от курева, широкие полудуги усов. Старик был саженного роста, плечист и худ. На нем дрябло обвисал длинный верблюжьего сукна сюртук, воротник петлей охватывал коричневую, в морщинах, шею. Близко к переносице сидели выцветшие глаза.

— Вот, папа, кучер, которого я вам рекомендую. Парень из хорошей семьи.

— Чей это? — буркнул старик раскатом гудящего голоса.

— Мелехова.

— Которого Мелехова?

— Пантелея Мелехова сын.

— Прокофия знал, Пантелея тоже знаю. Хромой такой, из черкесов?

— Так точно — хромой. — Григорий тянулся струною.

Он помнил рассказы отца об отставном генерале Листницком — герое русско-турецкой войны.

— Почему нанимаешься? — грохотало сверху.

— Не живу с отцом, ваше превосходительство.

— Какой же из тебя будет казак, ежели ты наймитом таскаешься? Отец, отделяя тебя, разве ничего не дал?

— Так точно, ваше превосходительство, не дал.

— Тогда другое дело. Ты с женой нанимаешься?

Сотник резко скрипнул кроватью. Григорий повел глазами, увидел — сотник моргает, дергает головой.

— Так точно, ваше превосходительство.

— Безо всяких превосходительств. Не люблю! Цена восемь рублей в месяц. Это обоим. Жена будет стряпать на дворовых и сезонных рабочих. Согласен?

— Так точно.

— Чтоб были в имении завтра же. Займешь в людской ту половину, в которой жил прежний кучер.

— Как ваша вчерашняя охота? — спросил сын у старика и опустил на коврик узкие ступни.

— Выгнали из Гремячего лога лисовина, гнали до леса. Старый попался, обманул собак.

— Казбек все хромает?

— У него, как оказалось, вывих. Ты поскорей, Евгений, завтрак стынет.

Старик повернулся к Григорию, щелкнул сухими, костлявыми пальцами.

— Шагом — марш! Завтра к восьми часам чтобы был здесь.

Григорий вышел за ворота. У заднего фасада амбара борзые грелись на подсохшей от снега земле. Старая сука со старушечьим взглядом затрусила к Григорию, обнюхала его сзади и провожала до первой балки, понуро опустив голову, ступая шаг в шаг. Потом вернулась.

XII

Аксинья отстряпалась рано, загребла жар, закутала трубу и, перемыв посуду, выглянула в оконце, глядевшее на баз. Степан стоял возле слег, сложенных костром у плетня к мелеховскому базу. В уголке твердых губ его висела потухшая цигарка; он выбирал из костра подходящую соху. Левый угол сарая завалился, надо было поставить две прочные сохи и прикрыть оставшимся камышом.

С утра на верхушках Аксиньиных скул — румянец, в молодом блеске глаза. Не укрылась перемена от Степана; завтракая, спросил:

— Ты чего?

— А чего я? — Аксинья вспыхнула.

— Блестишь, будто постным маслом намазанная.

— От печи жарко… в голову кинулось. — И, отвернувшись, глазами воровато шмыгнула в окно: не идет ли Мишки Кошевого сестра?

Та пришла только перед сумерками. Вымученная ожиданием, Аксинья встрепенулась:

— Ты ко мне, Машутка?

— Выдь на-час.

Степан перед осколком зеркала, вмазанного в выбеленную грудину печи, зачесывал чуб, гладил куцей расческой из бычачьего рога каштановые усы.

Аксинья опасливо глянула в сторону мужа:

— Ты, никак, куда-то собираешься?

Степан ответил не сразу, положил расческу в карман шаровар, взял из печурки колоду карт и кисет.

— К Аникушке пойду, посижу трошки.

— И когда ты находишься? Искоренили карты: что ни ночь, то им игра. До кочетов просиживают.

— Но, будя, слыхали.

— Опять в очко будешь играть?

— Отвяжись, Аксютка. Вон человек ждет, иди.

Аксинья боком вышла в сенцы. У входа встретила ее улыбкой румяная, в засеве веснушек, Машутка.

— Пришел ить Гришка.

— Ну?

— Пересказывал, чтоб, как затемнеет, шла к нам.

Аксинья, хватая Машуткины руки, теснила ее к двери.

— Тише, тише, любушка. Что ж он, Маша? Может, ишо чего велел сказать?

— Гутарит, чтоб забрала свое, что унесешь.

Аксинья, вся в огне и дрожи, вертела головой, поглядывая на двери, переступая с ноги на ногу.

— Господи, как же я?.. А?.. Так-то скорочко… Ну, что я? Погоди, скажи ему, что я скоро… А где он меня перевстренет?

— Заходи в хату.

— Ох, нет!..

— Ну, ничего, я скажу ему, он выйдет.

Степан надел сюртук, тянулся к висячей лампе, прикуривая.

— Чего она прибегала? — спросил между двумя затяжками.

— Кто?

— Да Машка Кошевых.

— А, это она по своему делу… юбку просила скроить.

Сдувая с цигарки черные хлопья пепла, Степан пошел к двери…

— Ты ложись, не жди!

— Ну-но.

Аксинья припала к замороженному окну, опустилась перед лавкой на колени. По стежке, протоптанной к калитке, заскрипели шаги уходящего Степана. Ветром схватило искорку цигарки и донесло до окна. В оттаявший кружок стекла Аксинья на минуту увидела при свете пламенеющей цигарки полукруг придавившей хрящеватое ухо папахи, смуглую щеку.

В большой шалевый платок лихорадочно кидала из сундука юбки, кофточки, полушалки — девичье свое приданое, — задыхаясь, с растерянными глазами, в последний раз прошлась по кухне и, загасив огонь, выбежала на крыльцо. Из мелеховского дома кто-то вышел на баз проведать скотину. Аксинья дождалась, пока заглохли шаги, накинула на дверной пробой цепку и, прижимая узел, побежала к Дону. Из-под пухового платка выбились пряди волос, щекотали щеки. Дошла задами до двора Кошевых — обессилела, с трудом переставляла зачугуневшие ноги. Григорий ждал ее у ворот. Принял узел и молча первым пошел в степь.

За гумном Аксинья, замедляя шаги, тронула Григория за рукав:

— Погоди чудок.

— Чего годить? Месяц взойдет не скоро, надо поспешать.

— Погоди, Гриша. — Аксинья, сгорбившись, стала.

— Ты чего? — Григорий наклонился к ней.

— Так… живот чтой-то. Чижелое нады подняла. — Облизывая спекшиеся губы, жмурясь от боли до огненных брызг в глазах, Аксинья схватилась за живот. Постояла немного, согнутая и жалкая, и, заправляя под платок пряди волос, тронулась.

— Ну все, пойдем!

— Ты и не спросишь, куда я тебя веду… Может, до первого яра, а там спихну? — улыбнулся в темноту Григорий.

— Все одно уж мне. Доигралась. — Голос Аксиньи звякнул невеселым смехом…

Степан в эту ночь вернулся, как всегда, в полночь. Зашел в конюшню, кинул в ясли наметанное конем под ноги сено, снял недоуздок и поднялся на крыльцо. «Должно, ушла на посиделки», — подумал, скидывая с пробоя цепку. Вошел в кухню, плотно притворил дверь, зажег спичку. Был он в выигрыше (играли на спички), оттого мирен и сонлив. Засветил огонь и, не догадываясь о причине, оглядел в беспорядке разбросанные по кухне вещи. Слегка удивленный, прошел в горницу. Темной пастью чернел раскрытый сундук, на полу лежала старенькая, забытая впопыхах женина кофтенка. Степан рванул с плеч полушубок, кинулся в кухню за огнем. Оглядел горницу — понял. Швырком кинул лампу, не отдавая себе ясного отчета в том, что делает, рванул со стены шашку, сжал эфес до черных отеков в пальцах, — подняв на конце шашки голубенькую, в палевых цветочках, позабытую Аксиньину кофтенку, подкинул ее кверху и на лету, коротким взмахом, разрубил пополам.

Посеревший, дикий, в волчьей своей тоске, подкидывал к потолку голубенькие искромсанные шматочки; повизгивающая отточенная сталь разрубала их на лету.

Потом, оборвав темляк, кинул шашку в угол, ушел в кухню и сел за стол. Избочив голову, долго гладил дрожащими железными пальцами невымытую крышку стола.

XIII

Беда в одиночку сроду не ходит: утром, по недогляду Гетька, племенной бугай Мирона Григорьевича распорол рогом лучшей кобылице-матке шею. Гетько прибежал в курень белый,

растерянный, била его трясучка.

— Беда, хозяин! Бугай, шоб вин сдох, проклятый бугай…

— Чего бугай? Ну? — встревожился Мирон Григорьевич.

— Кобылу спортил… пырнул рогом… я кажу…

Мирон Григорьевич раздетый выскочил на баз. Возле колодца Митька утюжил колом красного пятилетка-бугая. Тот, пригибая к земле морщинистый подгрудок, волоча его по снегу, крутил низко опущенной головой, далеко назад кидая ногою снег, рассевая вокруг спирально скрученного хвоста серебряную пыль. Он не бежал от побоев, лишь глухо взмыкивал, перебирал задними ногами, как перед прыжком.

В горле его ширился, рос клокочущий рев. Митька бил его по морде, по бокам, в хрипе безобразной ругани, не обращая внимания на Михея, который тянул его сзади за ремень.

— Отступись, Митрий!.. Христом-богом прошу!.. Забрухает он тебя!.. Григорич, да чего ж ты глядишь?..

Мирон Григорьевич бежал к колодцу. У плетня, понуро свесив голову, стояла кобылица. Запотевшие у кострецов впадины, черные и глубокие, ходили в дыханье, с шеи на снег и на круглые шишки грудных мускулов текла кровь. Мелкая дрожь волнила светло-гнедую шерсть на спине и боках, сотрясая пахи.

Мирон Григорьевич забежал наперед. На шее, разваленной пополам, дымилась в розовом рана. Глубокий, хоть ладонь суй, длинный порез, обнаженное коленчатое горло в судороге дыханья. Мирон Григорьевич сжал в кулаке челку, потянул вверх опущенную голову кобылицы. Прямо в глаза хозяину направила она мерцающий фиолетовый зрачок, будто спросила: «Что же дальше?» И на немой вопрос крикнул Мирон Григорьевич:

— Митька! Дубовую кору вели обдать. А ну, торопись!

Гетько, сотрясая в беге треугольный на грязной шее кадык, побежал драть с дуба кору. Митька подошел к отцу, оглядываясь на кружившего по двору бугая. Красный, на талой белени снежища, колесил тот по двору, изрыгая прорвавшийся безостановочный рев.

— Держи за чуб! — приказал Митьке отец. — Михей, беги за бечевкой! Скорей, морду побью!..

Бархатную, в редком волосе, верхнюю губу кобылицы закрутили веревкой на закрутке, чтоб не чуяла боли. Подошел дед Гришака. Принесли в расписной чашке желудевого цвета отвар.

— Остуди, — горяч, небось. Слышишь аль нет, Мирон?

— Батя, идите в курени с богом! Простынете тута!

— А я велю остудить. Загубить хочешь матку?

Рану промыли. Мирон Григорьевич зяблыми пальцами вдевал в иглу-цыганку суровинку. Зашивал сам. Искусный лег на рану шов. Не успел Мирон Григорьевич отойти от колодца, из куреня прибежала Лукинична. Порожние сумки ее блеклых щек смяла тревога. Она отозвала мужа в сторону:

— Наталья пришла, Григорич!.. Ах, боже-е ты мой!

— Чего ишо?.. — взъерошился Мирон Григорьевич, бледнея конопинами белесого лица.

— С Григорием… ушел зятек из дому! — Лукинична раскрылилась, как грач перед взлетом, хлопнув руками по подолу, прорвалась на визг: — Страмы на весь хутор!.. Кормилец, господи, что за напастина!.. Ах! Ох!

Наталья в платке и куцей зимней кофтенке стояла посреди кухни. Две слезинки копились у переносицы, не падая. На щеках ее кирпичными плитами лежал румянец.

— Ты чего заявилась? — напустился отец, влезая в кухню. — Муж побил? Не заладили?

— Ушел он, — глотая сухмень рыдания, икнула Наталья и, мягко качнувшись, упала

перед отцом на колени. — Батянюшка, пропала моя жизня!.. Возьми меня оттель! Ушел Гришка с своей присухой!.. Одна я! Батянюшка, я как колесом переехана!.. — часто залопотала Наталья, не договаривая концы слов, снизу моляще взглядывая в рыжую подпалину отцовской бороды.

— Постой, а ну, погоди!..

— Не из чего там жить! Заберите меня!.. — Наталья быстро переползла к сундуку и на ладони кинула дрогнувшую в плаче голову. Платок ее сбился на спину, гладко причесанные черные прямые волосы свисали на бледные уши. Плач в тяжелую минуту — что дождь в майскую засуху; мать прижала к впалому животу Натальину голову, причитая нескладное, бабье, глупое; а Мирон Григорьевич, распалясь — на крыльцо.

— Запрягай в двое саней!.. В дышловые!..

Петух, деловито топтавший у крыльца курицу, — испуганный громким зыком, прыгнул с нее и враскачку заковылял подальше от крыльца, к амбарам, квохча и негодуя.

— Запрягай!.. — Мирон Григорьевич крушил сапогами резные балясины у крыльца и только тогда ушел в курень, оставив безобразно выщербленные перила, когда Гетько на рысях вывел из конюшни пару вороных, на ходу накидывая хомуты.

За Натальиным имуществом поехали Митька с Гетьком. Украинец в рассеянности сшиб санями не успевшего убраться с дороги поросенка, думая про свое: «Мабуть, за цим дилом забудэ хозяин об кобыли?» И радовался, ослаблял вожжи.

«Такий вредный чертяка, як раз забудэ!..» — настигала мысль, и Гетько, хмурясь, кривил губы.

— Прыгай, чортобис!.. Ось я тоби! — и сосредоточенно норовил щелкнуть кнутом вороного под то самое место, где екала селезенка.

XIV

Сотник Евгений Листницкий служил в лейб-гвардии Атаманском полку. На офицерских скачках разбился, переломил в предплечье левую руку. После лазарета взял отпуск и уехал в Ягодное к отцу на полтора месяца.

Старый, давно овдовевший генерал жил в Ягодном одиноко. Жену он потерял в предместье Варшавы в восьмидесятых годах прошлого столетия. Стреляли в казачьего генерала, попали в генеральскую жену и кучера, изрешетили во многих местах коляску, но генерал уцелел. От жены остался двухлетний тогда Евгений. Вскоре после этого генерал подал в отставку, перебрался в Ягодное (земля его — четыре тысячи десятин, — нарезанная еще прадеду за участие в Отечественной войне 1812 года, находилась в Саратовской губернии) и зажил чернотелой, суровой жизнью.

Подросшего Евгения отдал в кадетский корпус, сам занялся хозяйством: развел племенной скот, с императорского завода купил на племя рысистых производителей и, скрещивая их с лучшими матками из Англии и с донского Провальского завода, добился своей породы. Держал на своей казачьей паевой и купленной земле табуны, сеял — чужими руками — хлеб, зимой и осенью охотился с борзыми, изредка, запираясь в белом зале, пил неделями. Точила его злая желудочная болезнь, и по строжайшему запрету врачей не мог он глотать пережеванную пищу; жевал, вытягивал соки, а жевки выплевывал на серебряную тарелочку, которую сбоку, на вытянутых руках, постоянно держал молодой, из мужиков, лакей Вениамин.

Был Вениамин придурковат, смугл, на круглой голове — не волосы, а черный плюш.

Служил у пана Листницкого шесть лет. Вначале, когда припало стоять над генералом с серебряной тарелочкой, не мог без тошноты глядеть, как старик выплевывает серые, измочаленные зубами жевки, потом привык.

В имении из дворни, кроме Вениамина, жили: кухарка Лукерья, одряхлевший конюх Сашка, пастух Тихон, поступивший на должность кучера Григорий и Аксинья. Рыхлая, рябая, толстозадая Лукерья, похожая на желтый ком невсхожего теста, с первого же дня отшила Аксинью от печи.

— Стряпать будешь, когда рабочих на лето наймет пан, а сейчас я сама управлюсь.

На обязанности Аксиньи лежало три раза в неделю мыть в доме полы, кормить гурты птицы и содержать птичий двор в чистоте. Она ретиво взялась за службу, всем стараясь угодить, не исключая и Лукерьи. Григорий большую часть времени проводил в просторной рубленой конюшне вместе с конюхом Сашкой. До сплошных седин дожил старик, но Сашкой так и остался. Никто не баловал его отчеством, а фамилии, наверное, не знал и сам старый Листницкий, у которого жил Сашка больше двадцати лет. В молодости Сашка кучеровал, но под исход жизни, теряя силу и зрение, перешел в конюхи. Низенький, весь в зеленой седине (на руках и то рос седой волос), с носом, расплюснутым еще в детстве ударом чекмаря, вечно улыбался он голубой детской улыбкой, мигая на окружающее простодушными, в красных складках, глазами. Портили его апостольское лицо нос курносый, с веселинкой, да изуродованная стекающим книзу шрамом нижняя губа. Под пьянку в солдатчину (родом Сашка был из богучарских москалей) вместо простой водки хватил он из косухи «царской водки»: огненная струйка и пришила ему нижнюю губу к подбородку. Там, где пролилась эта струйка, остался не зарастающий волосом розовый и веселый косой шрам, будто неведомый зверек лизнул Сашку в бороду, положив след тонюсенького напильчатого языка. Сашка часто баловался водкой, в такие минуты бродил по двору имения — сам хозяин, — шпаклюя ногами, становился против окон панской спальни и хитро крутил пальцем перед веселым своим носом.

— Миколай Лексеич! А Миколай Лексеич! — звал он громко и строго.

Старый пан, если был в эту минуту в спальне, подходил к окну.

— Нажрался, пустяковая твоя душа? — гремел он из окна.

Сашка поддергивал спадавшие портки, подмигивал, шельмовато улыбался. Улыбка вытанцовывалась у него наискось через все лицо: от прижмуренного левого глаза до розового шрама, стекавшего из правого угла рта. Поперечная была улыбка, но приятная.

— Миколай Лексеич, ваше преподобие, я тебя зна-а-аю!.. — И Сашка, приплясывая, грозил торчмя поднятым, тонким и грязным пальцем.

— Поди проспись, — примиряюще улыбался из окна пан, всей обкуренной пятерней закручивая нависшие усы.

— Черт Сашку не ом-манет! — смеялся Сашка, подходя к палисаднику. — Миколай Лексеич, ты… как и я. Мы с тобой как рыба с водой. Рыба на дно, а мы… на гумно. Мы с тобой богатые, во!.. — Сашка, корячась, широко расплескивал руки. — Нас все знают, по всей Донской области. Мы… — голос Сашки становился печален и вкрадчив, — мы с тобой, ваше превосходительство, всем хороши, только вот носы у нас говенные!

— Чем же? — любопытствовал пан, сизея от смеха и шевеля усами и подусниками.

— Через водку, — отчеканивал Сашка, часто моргая и слизывая языком слюну, сползавшую по канальцу розового шрама. — Ты, Миколай Лексеич, не пей. А то вовзят пропадем мы с тобой! Проживем все дотла!..

— Поди вот, похмелись.

Пан кидал в окно двугривенный. Сашка ловил на лету, прятал за подкладку картуза.

— Ну, прощай, генерал, — вздыхал он, уходя.

— А лошадей-то поил? — заранее улыбаясь, спрашивал пан.

— Черт паршивый! Ать сукин сын! — багровея, орал Сашка ломким голосом. Гнев трепал его лихорадкой. — Сашка чтоб лошадей забыл напоить? А? Умру — и то приползу по цебарке кринишной дать, а он, ать, придумал!.. Тоже!..

Сашка уходил, облитый незаслуженной обидой, матерясь и грозя кулаками. Сходило ему все: и пьянка, и панибратское обращение с паном; оттого сходило, что был Сашка незаменимый конюх. Зиму и лето спал он в конюшне, в порожнем станке; никто лучше его не умел обращаться с лошадьми, был он и конюх и коновал: веснами в майском цветении рвал травы, выкапывал в степи, в суходолах и мокрых балках целебные корни. Высоко на стенках конюшни висели сушеные пучки разнолистной травы: яровик — от запала, змеиное око — от укуса гадюки, чернолист — от порчи ног, неприметная белая травка, растущая в левадах у корней верб, — от надрыва, и много других неведомых трав от разных лошадиных недугов и хвори.

В конюшне, в станке, где спал Сашка, зиму и лето паутинной занавесью висел тонкий, липнущий к горлу аромат. На дощатой кровати лежало прикрытое попоной, сбитое камнем сено и весь провонявший конским потом Сашкин зипун. Пожитков, кроме зипуна и дубленого полушубка, у Сашки не было.

Тихон, губатый, здоровенный и дурковатый казак, жил с Лукерьей, втихомолку беспричинно ревновал ее к Сашке. В месяц раз брал он Сашку за пуговицу просаленной рубахи и уводил на зады.

— Дед, ты на мою бабу не заглядывайся!

— Это как сказать… — Сашка многозначительно мигал.

— Отступись, дед! — просил Тихон.

— Я, дружок, рябых люблю. Мне шкалик не подноси, а рябую вынь да положь. Что ни дюжей ряба — дюжей нашего брата, шельма, любит.

— В твои годы, дед, совестно и грех… Эх ты, а ишо лекарь, лошадей пользуешь, святое слово знаешь…

— Я на все руки лекарь, — упорствовал Сашка.

— Отступись, дед! Нельзя так-то.

— Я, брат, эту Лукерью пристигну. Прощайся с ней, шельмой, отобью! Она — как пирог с изюмом. Только изюм-то повыковырянный, оттого будто ряба малость. Люблю таких!

— На вот… а под ноги не попадайся, а то убью, — говорил Тихон, вздыхая и вытягивая из кисета медяки.

Так каждый месяц.

В сонной одури плесневела в Ягодном жизнь. Глухое, вдали от проезжих шляхов, лежало по суходолу имение, с осени глохла связь со станицей и хуторами. Зимой на бугор, упиравшийся в леваду выпуклым песчаным мысом, ночами выходили волчьи выводки, зимовавшие в Черном лесу, выли, пугая лошадей. Тихон шел в леваду стрелять из панской двустволки, а Лукерья, кутая дерюжкой толстый — что печной заслон — зад, замирала, ожидая выстрела, всматриваясь в темноту заплывшими в жирных рябых щеках глазками. В это время представлялся ей дурной, плешивый Тихон красивым и отчаянно храбрым молодцом, и, когда хлопала дверь в людской, впуская дымящийся пар и Тихона, она теснилась на кровати и, воркуя, сладко обнимала назябшего сожителя.

Летом Ягодное допоздна гудело голосами рабочих. Сеял пан десятин сорок разного хлеба, рабочих нанимал убирать. Изредка летом наезжал в имение Евгений, ходил по саду и леваде, скучал. Утрами просиживал возле пруда с удочками. Был он невысок, полногруд.

Носил чуб по-казачьи, зачесывая на правую сторону. Ловко обтягивал его офицерский сюртук.

Григорий в первые дни, как только поселился в имении с Аксиньей, часто бывал у молодого хозяина. В людскую приходил Вениамин; склоняя плюшевую голову, улыбался:

— Иди, Григорий, к молодому пану, велел позвать.

Григорий входил, становился у притолоки. Евгений Николаевич, щеря редкие широкие зубы, указывал рукой на стул:

— Садись.

Григорий садился на краешек.

— Как тебе нравятся наши лошади?

— Добрые кони. Серый дюже хорош.

— Ты его почаще проезжай. Смотри, наметом не гони.

— Мне дед Сашка толковал.

— А Крепыш как?

— Это гнедой-то? Цены не уставлю. Копыто вот защербил, перековать надо.

Молодой пан, щуря пронзительные серые глаза, спрашивал:

— Тебе ведь в лагери в мае идти?

— Так точно.

— Я поговорю с атаманом, не пойдешь.

— Покорнейше благодарю.

Молчали. Сотник, расстегнув воротник мундира, поглаживал женски белую грудь.

— Что ж, ты не боишься, что Аксиньин муж отнимет ее у тебя?

— Он от нее отказался, не отнимет.

— Кто тебе говорил?

— Ездил в станицу за ухналями [16], видал хуторного одного. Гутарит, запил Степан втемную. «Мне, мол, Аксютка и за грош не нужна. Пущай, я себе похлеще сыщу».

— Аксинья — красивая баба, — говорил сотник, задумчиво глядя повыше Григорьевых глаз, блудя улыбкой.

— Баба ничего, — соглашался Григорий и хмурился.

Евгению кончался срок отпуска. Он мог уже свободно, без перевязки носить руку, поднимать, не сгибая в локте.

В последние дни он часто просиживал у Григория, в его половине людской. Аксинья чисто выбелила замшевшую в грязи комнату, отмыла наличники окон, выскребла битым кирпичом полы. Бабьим уютом пахнуло в пустой веселой комнатке. Из подземки дышало жаром. Сотник, накинув синего сукна, романовский полушубок, шел в людскую. Выбирал такое время, когда Григорий был занят с лошадьми. Приходил сначала на кухню, шутил с Лукерьей и, повернувшись, шел в другую половину. Садился у подземки на табуретке, остро сутулил спину, глядел на Аксинью бесстыдным улыбчивым взглядом. Аксинья терялась в его присутствии, дрожали в пальцах спицы, набиравшие петли чулка.

— Как живешь, Аксиньюшка? — спрашивал сотник, наводняя комнатушку синим папиросным дымом.

— Благодарствую.

Аксинья поднимала глаза и, встречаясь с прозрачным взглядом сотника, молчаливо говорившим о его желании, вспыхивала румянцем. Ей было досадно и неприятно глядеть в оголенные светлые глаза Евгения Николаевича. Она невпопад отвечала на разные пустяковые вопросы, норовила поскорее уйти.

— Пойду. Надо уткам зерна всыпать.

— Посиди. Успеешь, — улыбался сотник и дрожал ногами в плотно обтягивающих рейтузах.

Он подолгу расспрашивал Аксинью про ее прежнее житье, играл низкими нотками такого же, как и у отца, голоса, похабничал светлыми, как родниковая вода, глазами.

Управившись, Григорий приходил в людскую. Сотник гасил в глазах недавние огни, угощал его папиросой, уходил.

— Чего он сидел? — глухо, не глядя на Аксинью, спрашивал Григорий.

— А я почем знаю? — Аксинья, вспоминая взгляд сотника, деланно смеялась. — Пришел, сел вот туточка, гля-ка, Гришенька, вот так-то, — она показывала, как сидел сотник, похоже горбатила спину, — и сидит и сидит, ажник тошно, а коленка вострая-превострая.

— Примолвила, что ль, его? — Григорий зло щурился.

— Нужен он мне!

— То-то гляди, а то я его в одночась спихну с крыльца.

Аксинья, улыбаясь, глядела на Григория и не могла понять, серьезно он говорит или шутит.

XV

На четвертой неделе поста сдала зима. На Дону бахромой легли окраинцы, ноздревато припух, поседел подтаявший сверху лед. Вечерами глухо гудела гора, по стариковским приметам — к морозу, а на самом деле — вплотную подходила оттепель. По утрам легкие ледозвонили заморозки, а к полудню земля отходила и пахло мартом, примороженной корой вишневых деревьев, прелой соломой.

Мирон Григорьевич исподволь готовился к пахоте, пополневшими днями возился под навесом сарая, тесал зубья к боронам, вместе с Гетьком делал два новых колесных стана. Дед Гришака говел на четвертой неделе. Приходил из церкви почерневший от холода, жаловался снохе:

— Заморил поп, никудышный служака, да-с, служит, как яишник с возом едет. Это беда!

— Вы бы, батя, на страстной неделе говели, все потеплеет к тому времени.

— Ты мне Наташку покличь. Пущай она чулки потолще свяжет, а в таких-то голопятых и серый бирюк с пару зайдется.

Наталья жила у отца, «как хохол на отживе»: ей все казалось, что Григорий вернется к ней, сердцем ждала, не вслушиваясь в трезвый нашепот разума; исходила ночами в жгучей тоске, крушилась, растоптанная нежданной, незаслуженной обидой. А к этому прибавилось другое, и Наталья с холодным страхом шла к концу, ночами металась в своей девичьей горенке, как подстреленный чибис по ендовной куге. С первых дней по-иному стал поглядывать на нее Митька, а однажды, прихватив Наталью в сенцах, прямо спросил:

— Скучаешь по Гришке?

— А что тебе?

— Тоску твою хочу разогнать…

Наталья взглянула ему в глаза и ужаснулась в душе своей догадке. Играл Митька зелеными кошачьими глазами, маслено блестел в темноте сеней разрезами зрачков. Наталья, хлопнув дверью, вскочила в боковушку к деду Гришаке и долго стояла, прислушиваясь к тревожному трепету сердца. На другой день после этого Митька подошел к ней на базу. Он метал скотине сено, и на прямых его волосах, на папахе шпанского меха висели зеленые травяные былки. Наталья отгоняла от свиного корыта увивавшихся собак.

— Ты не мордуйся, Наташка…

— Я бате зашумлю! — крикнула Наталья, закрываясь от него руками.

— Тю, сдурела!

— Уйди, проклятый!..

— Ну, чего шумишь?

— Уйди, Митька! Зараз пойду и расскажу бате!.. Какими ты глазами на меня глядишь? И-и-и, бессовестный!.. Как тебя земля держит!

— А вот держит и не гнется. — Митька в подтверждение топнул сапогами и подпер бока.

— Не лезь ко мне, Митрий!

— Зараз я и не лезу, а ночью приду. Ей-богу, приду.

Наталья ушла с база, содрогаясь. Вечером постелила себе на сундуке, положила с собой младшую сестренку. Ночь проворочалась, горячечными глазами вклиниваясь в темноту. Шороха ждала, чтобы крикнуть на весь дом, но тишина нарушалась только сапом спящего рядом, за стенкой, деда Гришаки да редкими всхрапами разметавшейся под боком сестры.

Отравленная бабьим неусыпным горем, разматывалась пряжа дней.

Митька, не изживший давнего своего позора со сватовством, ходил хмурый и злой. По вечерам уходил на игрища и редко приходил домой рано, все больше заря выкидывала. Путался с гулящими жалмерками, ходил к Степану играть в очко. Мирон Григорьевич до поры до-времени молчал, приглядывался.

Как-то перед пасхой Наталья встретила около моховского магазина Пантелея Прокофьевича. Он окликнул ее первый:

— Погоди-ка на-часок.

Наталья остановилась. Затосковала, глянув на горбоносое, смутно напоминавшее Григория лицо свекра.

— Ты чего ж к старикам не заглянешь? — смущенно обегая ее глазами, заговорил старик, словно сам был виноват перед Натальей. — Баба там по тебе соскучилась: что да чего ты там… Ну, как живешь-можешь?

Наталья оправилась от безотчетного смущения.

— Спасибочко… — и, запнувшись (хотела назвать батей), смутившись, докончила: — Пантелей Прокофьевич.

— Что ж не наведаешься к нам?

— По хозяйству… работаю.

— Гришка наш, эх!.. — Старик горько закрутил головой. — Подковал он нас, стервец… Как ладно зажили было-к…

— Что ж, батя… — высоким, рвущимся голосом зазвенела Наталья, — не судьба, видать.

Пантелей Прокофьевич растерянно засуетился, глянув в глаза Натальи, налитые слезами. Губы ее сводило, усилие держало слезы.

— Прощай, милушка!.. Ты не горюй по нем, по сукинову сыну, он ногтя твоего не стоит. Он, может, вернется. Повидать бы мне его, уж я доберусь!

Наталья пошла, вобрав голову в плечи, как побитая. Пантелей Прокофьевич долго топтался на одном месте, будто сразу хотел перейти на рысь. Наталья, заворачивая за угол, оглянулась: свекор хромал по площади, с силой налегая на костыль.

XVI

У Штокмана стали собираться реже. Подходила весна. Хуторцы готовились к весенней

работе; лишь с мельницы приходили Валет с Давыдкой и машинист Иван Алексеевич. В страстной четверг перед вечером собрались в мастерской. Штокман сидел на верстаке, подчищая напилком сделанное из серебряного полтинника кольцо. В окно ложилась вязанка лучей закатного солнца. Розовый, с желтизной, лежал на полу пыльный квадрат. Иван Алексеевич крутил в руках клещи-кусачки.

— Надысь был у хозяина, ходил толковать о поршне. Надо в Миллерово везть, там дадут ему рахунку [17], а мы что же можем поделать? Трещина образовалась вот какая, — неизвестно кому показал Иван Алексеевич на мизинце размер трещины.

— Там ведь завод, кажется, есть? — спросил Штокман, двигая напилком, сея вокруг пальца тончайшую серебряную пыль.

— Мартеновский. Мне припало в прошлом году побывать.

— Много рабочих?

— До черта. Сотни четыре.

— Ну, как они? — Штокман, работая, встряхивал головой, и слова падали раздельно, как у заики.

— Им-то житье. Это тебе не пролетарии, а так… навоз…

— Почему же это? — поинтересовался Валет, сидя рядом со Штокманом, скрестив под коленями куценькие, обрубковатые пальцы.

Давыдка-вальцовщик, седой от мучной пыли, набившейся в волосы, ходил по мастерской, разбрызгивая чириками шуршащую пену стружек, с улыбкой прислушиваясь к сухому пахучему шелесту. Казалось ему, что идет он по буераку, занесенному багряным листопадом, листья мягко уминаются, а под ними — юная упругость сырой буерачной земли.

— А потому это, что все они зажиточные. Каждый имеет свой домик, свою бабу со всяким удовольствием. А тут к тому ишо половина из них баптисты. Сам хозяин — проповедник у них, ну, и рука руку моет, а на обеих грязи мотыгой не соскребешь.

— Иван Алексеевич, какие это баптисты? — остановился Давыдка, уловив незнакомое слово.

— Баптисты-то? По-своему в бога веруют. Навроде полипонов [18].

— Каждый дурак по-своему с ума сходит, — добавил Валет.

— Ну, так вот, прихожу я к Сергею Платоновичу, — продолжал Иван Алексеевич начатый рассказ, — у него Атепин-Цаца сидит. «Погоди, говорит, в прихожей». Сел, дожидаюсь. Сквозь дверей слышу разговор ихний. Сам расписывает Атепину: мол, очень скоро должна произойтить война с немцами, вычитал из книжки, а Цаца, знаешь, как он гутарит? «Конецно, гутарит, я с вами не согласный насцет войны».

Иван Алексеевич так похоже передразнил Атепина, что Давыдка, округлив рот, пустил короткий смешок, но, глянув на язвительную мину Валета, смолк.

— «Война с Россией не могет быть, потому цто Германия правдается нашим хлебом», — продолжал Иван Алексеевич пересказ слышанного разговора. — Тут вступается, ишо один, по голосу не опознал, а после оказался пана Листницкого сын, офицер. «Война, дескать, будет промеж Германией и Францией за виноградные поля, а мы тут ни при чем».

— Ты, Осип Давыдович, как думаешь? — обратился Иван Алексеевич к Штокману.

— Я предсказывать не умею, — уклончиво ответил тот, на вытянутой руке сосредоточенно рассматривая отделанное кольцо.

— Задерутся они — быть и нам там. Хошь не хошь, а придется, за волосы притянут, — рассуждал Валет.

— Тут, ребятки, какое дело… — заговорил Штокман, мягко освобождая кусачки из пальцев Ивана Алексеевича.

Говорил он серьезно, как видно собираясь основательно растолковать. Валет удобнее подхватил сползавшие с верстака ноги, на лице Давыдки округлились губы, не прикрывая влажной, кипени плотных зубов, Штокман с присущей ему яркостью, сжато, в твердых фразах обрисовал борьбу капиталистических государств за рынки и колонии, В конце его, возмущенно перебил Иван Алексеевич:

— Погоди, а, мы-то тут, при чем?

— У тебя и у других таких же головы будут болеть с чужого похмелья, — улыбнулся Штокман.

— Ты не будь, дитем, — язвил. Валет, — старая поговорка: «Паны дерутся, а у холопов чубы трясутся».

— У-у-гу-м… — Ивад Алексеевич насупился, дробя какую-то, громоздкую, неподатливую глыбу мыслей.

— Листницкий этот чего прибивается к Моховым? Не за дочерью его топчет? — спросил Давыдка.

— Там уже коршуновский потомок топтался… — злословит Валет.

— Слышишь, Иван Алексеевич? Офицер чего там нюхает?

Иван Алексеевич встрепенулся, словно кнутом его под коленки жиганули.

— А? Что гутаришь?

— Задремал, дядя!.. Про Листницкого разговор.

— На станцию едет. Да, ишо новостишка: оттель выхожу, на крыльце — кто бы вы думали? Гришка Мелехов. Стоит с кнутиком. Спрашиваю: «Ты чего тут, Григорий?» — «Листницкого пана везу на Миллеровскую».

— Он у них в кучерах, — вступился Давыдка.

— С панского стола объедки схватывает.

— Ты, Валет, как цепной кобель, любого обрешешь.

Разговор на минуту смолк. Иван Алексеевич поднялся идти.

— Ты не к стоянию спешишь? — съехидничал напоследок Валет.

— Мне каждый день стояние.

Штокман проводил всегдашних гостей; замкнув мастерскую, пошел в дом.

В ночь под пасху небо затянуло черногрудыми тучами, накрапывал дождь. Отсыревшая темнота давила хутор. На Дону, уже в сумерках, с протяжным, перекатистым стоном хрястнул лед, и первая с шорохом вылезла из воды, сжатая массивом поломанного льда, крыга. Лед разом взломало на протяжении четырех верст, до первого от хутора колена. Пошел стор. Под мерные удары церковного колокола на Дону, сотрясая берега, крушились, сталкиваясь, ледяные поля. У колена, там, где Дон, избочившись, заворачивает влево, образовался затор. Гул и скрежет налезающих крыг доносило до хутора. В церковной ограде, испещренной блестками талых лужиц, гуртовались парни. Из церкви через распахнутые двери на паперть, с паперти в ограду сползали гулкие звуки чтения, в решетчатых окнах праздничный и отрадный переливался свет, а в ограде парни щупали повизгивавших тихонько девок, целовались, вполголоса рассказывали похабные истории.

В церковной караулке толпились казаки, приехавшие к светлому богослужений с ближних и дальних хуторов. Сморенные усталью и духотой, висевшей в караулке, люди спали на лавках и у подоконников, на полу.

На поломанных порожках курили, переговаривались о погоде и озимых.

— Ваши хуторные как на поля выедут?

— На фоминой тронутся, должно.

— То-то добришша, у вас ить там песчаная степь.

— Супесь, по энту сторону лога — солончаки.

— Теперича земля напитается.

— Прошлый год мы пахали — земля как хрящ, до бесконца краю клеклая.

— Дунька, ты где? — тоненьким голосом пищало внизу у крыльца караулки.

А у церковной калитки чей-то сиплый грубый голое бубнил:

— Нашли где целоваться, ах вы… Брысь отседа, пакостники! Приспичило вам!

— Тебе пары нету? Иди нашу сучку целуй, — резонил из темноты молодой ломкий голос.

— Су-у-учку? А вот я тебе…

Вязкий топот перебирающих в беге ног, порсканье и шелест девичьих юбок.

С крыши стеклянная звень падающей капели; и снова тот же медленный, тягучий, как черноземная грязь, голос:

— Запашник, надысь торговал у Прохора, давал ему двенадцать целковых — угинается. Энтот не продешевит…

На Дону — плавный шелест, шорох, хруст. Будто внизу за хутором идет принаряженная, мощная, ростом с тополь, баба, шелестя невиданно большим подолом.

В полночь, когда закрутела кисельная чернота, к ограде верхом на незаседланном коне подъехал Митька Коршунов. Слез, привязал к гриве повод уздечки, хлопнул горячившуюся лошадь ладонью. Постоял, прислушиваясь к чавканью копыт, и, оправляя пояс, пошел в ограду. На паперти снял папаху, согнул в поклоне подбритую неровною скобкой голову; расталкивая баб, протискался к алтарю. По левую сторону черным табуном густились казаки, по правую цвела пестрая смесь бабьих нарядов. Митька разыскал глазами стоявшего в первом ряду отца, подошел к нему. Перехватил у локтя руку Мирона Григорьевича, поднимавшуюся в крестном знамении, шепнул в заволосатевшее ухо:

— Батя, выдь на-час.

Пробираясь сквозь сплошную завесу различных запахов, Митька дрожал ноздрями: валили с ног чад горячего воска, дух разопревших в поту бабьих тел, могильная вонь слежалых нарядов (тех, которые вынимаются из-под испода сундуков только на рождество да на пасху), разило мокрой обувной кожей, нафталином, выделениями говельщицких изголодавшихся желудков.

На паперти Митька, грудью прижимаясь к отцову плечу, сказал:

— Наталья помирает!

XVII

Григорий вернулся из Миллерова, куда отвозил Евгения, в вербное воскресенье. Оттепель съела снег; дорога испортилась в каких-нибудь два дня.

В Ольховом Рогу, украинской слободе, в двадцати пяти верстах от станции, переправляясь через речку, едва не утопил лошадей. В слободу приехал перед вечером. За прошедшую ночь лед поломало, пронесло, и речка, пополняемая коричневыми потоками талой воды, пухла, пенилась, подступая к улочкам.

Постоялый двор, где останавливались кормить лошадей по дороге на станцию, был на той стороне. За ночь могло еще больше прибыть воды, и Григорий решил переправиться.

Подъехал к тому месту, где сутки назад переезжал по льду; вышедшая из берегов речка гнала по раздвинувшемуся руслу грязные воды, легко кружила на середине отрезок плетня и половинку колесного обода. На оголенном от снега песке виднелись притертые санными

полозьями свежие следы. Григорий остановил потных, со шмотьями мыла между ног, лошадей и соскочил с саней рассмотреть следы. Подреза прорезали тонкие полоски. У воды след слегка заворачивал влево, тонул в воде. Григорий смерил расстояние взглядом: двадцать саженей — самое большее. Подошел к лошадям проверить запряжку. В это время из крайнего двора вышел, направляясь к Григорию, пожилой, в лисьем треухе украинец.

— Ездют тут? — спросил Григорий, махая вожжами на коричневый перекипающий поток.

— Та издють. Ноне утром проихалы.

— Глубоко?

— Ни. В сани, мабуть, зальется.

Григорий подобрал вожжи и, готовя кнут, толкнул лошадей коротким повелительным «но!»… Лошади, храпя и нюхая воду, пошли нехотя.

— Но! — Григорий свистнул кнутом, привставая на козлах.

Гнедой широкозадый конь, левый в запряжке, мотнул головой — была не была! — и рывком натянул постромки. Григорий искоса глянул под ноги: вода клехтала у грядушки саней. Лошадям сначала по колено, потом сразу по грудь. Григорий хотел повернуть обратно, по лошади сорвались и, всхрапнув, поплыли. Задок саней занесло, поворачивая лошадей головами на течение. Через спины их перекатами шла вода, сани колыхало и стремительно тянуло назад.

— А-я-яй!.. А-а-яй!.. — горланил, бегая по берегу, украинец и зачем-то махал сдернутым с головы лисьим треухом.

Григорий в диком остервенении, не переставая, улюлюкал, понукал лошадей. Вода курчавилась за оседавшими санями мелкими воронками. Сани резко стукнуло о торчавшую из воды сваю (след унесенного моста) и перевернуло с диковинной ловкостью. Охнув, Григорий окунулся с головой, но вожжей не выпустил. Его тянуло за полы полушубка, за ноги, влекло с мягкой настойчивостью, переворачивая возле колыхавшихся саней. Он успел ухватиться левой рукой за полоз, бросил вожжи, задыхаясь, стал перехватываться руками, добираясь до барка. Он уже схватил было пальцами окованный конец барка — в этот миг Гнедой, сопротивлявшийся течению, с силой ударил его задней ногой в колено. Захлебываясь, Григорий перекинулся руками и уцепился за постромку. Его отрывало от лошадей, разжимало пальцы с удвоенной силой. Весь в огненных колючках холода, он дотянулся до головы Гнедого, и прямо в расширенные зрачки Григория вонзила лошадь бешеный, налитый смертельным ужасом взгляд своих кровянистых глаз.

Несколько раз упускал Григорий ослизлые ремни поводьев; заплывал, хватал, но поводья выскальзывали из пальцев; как-то схватил — и внезапно черкнул ногами землю.

— Но-о-о!!! — Вытягиваясь до предела, метнулся вперед и упал на пенистой отмели, сбитый с ног лошадиной грудью.

Лошади, подмяв его, вихрем вырвали из воды сани; обессиленные, в дымящейся дрожи мокрых спин, стали в нескольких шагах.

Не чувствуя боли, Григорий вскочил на ноги; холод облепил его, будто нестерпимо горячим тестом. Григорий дрожал больше, чем лошади, чувствовал, что на ногах он так же слаб сейчас, как грудной ребенок. Опамятовался и, перевернув сани на полозья, согревая лошадей, пустил их наметом. В улицу влетел, как в атаке, — в первые же раскрытые ворота направил лошадей, не замедляя бега.

Хозяин попался радушный. К лошадям послал сына, а сам помог Григорию раздеться и тоном, не допускавшим никаких возражений, приказал жене:

— Затопляй печь!

Григорий отлежался на печи, в хозяйских штанах, пока высушилась одежда; повечеряв постными щами, лег спать.

Выехал он ни свет ни заря. Лежал впереди путь в сто тридцать пять верст, и дорога была каждая минута. Грозила степная весенняя распутица; в каждом ярке и каждой балке — шумные потоки снеговой воды.

Черная оголенная дорога резала лошадей. По заморозку-утреннику дотянул до тавричанского участка, лежавшего в четырех верстах от дороги, и стал на развилке. Дымились потные лошади, позади лежал сверкающий на земле след полозьев. Григорий бросил в участке сани, подвязал лошадям хвосты, поехал верхом, ведя вторую лошадь в поводу. Утром в вербное воскресенье добрался до Ягодного.

Старый пан выслушал подробный рассказ о дороге, пошел глянуть на лошадей. Сашка водил их по двору, сердито поглядывая на их глубоко ввалившиеся бока.

— Как лошади? — спросил пан, подходя.

— Само собой понятно, — буркнул Сашка, не останавливаясь, сотрясая седую прозелень круглой бороды.

— Не перегнал?

— Нету. Гнедой грудь потер хомутом. Пустяковина.

— Отдыхай. — Пан повел рукою в сторону дожидавшегося Григория.

Тот пошел в людскую, но отдохнуть пришлось только ночь. На следующий день утром пришел Вениамин в новой сатиновой голубой рубахе, в жирке всегдашней улыбки.

— Григорий, к пану. Сейчас же!

Генерал шлепал по залу в валеных туфлях. Григорий раз кашлянул, переминаясь с ноги на ногу у дверей зала, в другой — пан поднял голову.

— Тебе чего?

— Вениамин покликал.

— Ах да. Иди седлай жеребца и Крепыша. Скажи, чтоб Лукерья не выносила собакам. На охоту!

Григорий повернулся идти. Пан вернул его окликом:

— Слышишь? Поедешь со мной.

Аксинья сунула в карман Григорьева полушубка пресную пышку, пришептывая:

— Поисть не даст, вражина!.. Мордуют его черти. Ты б, Гриша, хучь шарф повязал.

Григорий подвел к палисаднику оседланных лошадей, свистом созвал собак. Пан вышел в поддевке синего сукна, подпоясанной наборным ремнем. За плечом висела никелевая с пробковыми стенками фляга; свисая с руки, гадюкой волочился позади витой арапник.

Держа поводья, Григорий наблюдал за стариком и удивился легкости, с какой тот метнул на седло свое костистое старое тело.

— За мной держи, — коротко приказал генерал, рукой в перчатке ласково разбирая поводья.

Под Григорием взыграл и пошел боком, по-кочетиному неся голову, четырехлеток жеребец. Он был не кован на задние и, попадая на гладкий ледок, оскользался, приседая, наддавал на все ноги. В сутуловатой, но надежной посадке баюкался на широкой спине Крепыша старый пан.

— Мы куда? — равняясь, спросил Григорий.

— К Ольшанскому буераку, — густым басом отозвался пан.

Лошади шли дружно. Жеребец просил поводьев, по-лебединому изгибая короткую шею, косил выпуклым глазом на седока, норовил укусить за колено. Поднялись на изволок, и пан пустил Крепыша машистой рысью. Собаки бежали позади Григория, раскинувшись короткой

цепкой. Черная старая сука бежала, касаясь горбатой мордой кончика лошадиного хвоста. Жеребец приседал, горячась, хотел лягнуть назойливую суку, но та приотставала, тоскующим старушечьим взглядом ловила взгляд оглядывавшегося Григория.

До Ольшанского буерака добрались в полчаса. Пан поехал по буерачной хребтине, лохматой от коричневого старюки-бурьяна. Григорий спустился, осторожно вглядываясь в промытое, изъязвленное провалами днище буерака. Изредка поглядывал на пана. Сквозь стальную сизь голого и редкого ольшаника видна была четкая, как нарисованная, фигура старика. Припадая к луке, он привстал на стременах, и на спине его сине морщинилась перетянутая казачьим поясом поддевка. Собаки шли по холмистому изволоку, держались кучей. Переезжая крутую промоину, Григорий свесился с седла.

«Закурить бы. Зараз пущу повод и достану кисет», — подумал он, снимая перчатку, шурша в кармане бумагой.

— Трави!.. — ружейным выстрелом гукнул за буерачной хребтиной крик.

Григорий вздернул голову; на острогорбый гребень выскочил пан и, высоко подняв арапник, пустил Крепыша карьером.

— Трави!

Пересекая хлюпкое, заросшее кугой и камышаткой днище буерака, скользя и пригибаясь к земле, быстро бежал грязно-бурый, клочковатый в пахах, невылинявший волк. Перепрыгнув ложок, он стал и, живо повернувшись боком, увидел собак. Они шли на него лавой, охватывая подковой, отрезая от леса, начинавшегося в конце буерака.

Пружинисто покачиваясь, волк выскочил на кургашек — давнишнюю сурчину, — шибко пошел к лесу. Почти навстречу ему скупыми бросками двигалась старая сука, сзади доспевал седой высокий кобель Ястреб — один из лучших и самый злой в гоньбе.

Волк на минуту замялся, словно в нерешительности. Григорий, поднимаясь из буерака, кругообразно поводя поводьями, на минуту потерял его из виду, а когда выскочил на бугор — волк мельтешился далеко-далеко; по черной ряднине степи, сливаясь с землей, плыли в бурьянах черные собаки, а дальше сбоку, полосуя Крепыша рукоятью арапника, обскакивал крутой яр старый пан. Волк перебивал к соседнему буераку, близко наседали, охватывали собаки, и почти над клочьями волчьих пахов висел, отсюда казавшийся Григорию белесым лоскутком, седой кобель Ястреб.

— Тра-а-ави-и-и!.. — доплеснулся до Григория крик.

Он выпустил жеребца во весь мах, тщетно стараясь разглядеть, что происходило впереди: глаза застилало слезами, уши забивал режущий свист рассекаемого ветра. Охота захватила Григория. Припадая к шее жеребца, он вихрился в буйной скачке. Пока доскакал до буерака — ни волка, ни собак не было. Через минуту его догнал пан. Осадив Крепыша на всем скаку, крикнул:

— Куда пошел?

— В буерак, должно.

— Обскакивай слева!.. Гони!..

Пан всадил каблуки в бока пляшущей на дыбах лошади, поскакал направо. Григорий, спускаясь в ложбину, натянул поводья; гикнув, вылетел на ту сторону. Версты полторы торопил взопревшего жеребца плетью и криком. Вязкая, непросохшая земля налипала на копыта, ошметками осыпало лицо. Длинный буерак, излучисто вившийся по бугру, повернул вправо, разветвился на три отножины. Григорий пересек поперечную отножину и помчался по пологому склону, завидев вдали черную цепку собак, гнавших волка по степи. Зверя, как видно, отбили от сердцевины буерака, особенно густо заросшей дубом и ольхами. Там, где сердцевина кололась на три отножины и буерак покато стекал тремя черно-сизыми рукавами,

волк вышел на чистое и, выгадав с сотню саженей, шибко шел под гору в суходол, сплошь залохматевший одичалой давнишней зарослью бурьяна и сухого татарника.

Привставая на стременах, Григорий следил за ним, вытирал рукавом слезы, застилавшие нахлестанные ветром глаза. Мельком взглянув влево, он узнал свою землю. Жирным косым квадратом лежала деляна, та, что осенью пахал он с Натальей. Григорий нарочно направил жеребца через пахоту, и за те небольшие минуты, в которые жеребец, спотыкаясь и качаясь, пересекал пахоту, в сердце Григория остывал охвативший его охотничий пыл. Уже равнодушно понукал Григорий тяжело сопевшего жеребца и, проследив за паном — не оглядывается ли, — перешел на куцый намет.

Вдали, у Красного лога, виднелся пустой стан пахарей. В стороне, на свежей, отливавшей бархатом пахоте ползли три пары быков, тащивших плуг.

«Наши хуторные. Чья это земля?.. Да, никак, Аникушкина». Григорий скользил прищуренными глазами, узнавая быков и ходившего за плугом человека.

— Взя-а-аать!..

Григорий увидел, как двое казаков, бросив плуг, бежали наперерез волку, норовившему прорваться к логу. Один — рослый, в казачьей краснооколой фуражке, со спущенным под подбородок ремешком, — махал выдернутой из ярма железной занозой. И тут-то неожиданно волк сел, опустив зад в глубокую борозду. Седой кобель Ястреб с разлета перемахнул через него и упал, поджимая передние ноги; старая сука, пытаясь остановиться, чертила задом бугристую пахоту, не удержавшись, напоролась на волка. Тот резко мотнул головой, сука пластом зарикошетила в сторону. Черный громадный клуб насевших на волка собак, качаясь, проплыл по пахоте несколько саженей и покатился шаром. Григорий подскакал на полминуты раньше пана, прыгнул с седла, упал на колени, относя за спину руку с охотничьим ножом.

— Вон он!.. Исподний!.. В глотку!.. — запыхавшимся знакомым голосом крикнул подбежавший казак с занозой. Он, сопя, прилег рядом с Григорием и, оттягивая кожу на шее, вгрызавшегося в волчье брюхо кобеля, пятерней стреножил волка. Под вздыбленной, двигающейся под рукой жесткой шерстью Григорий нащупал трубку горла, коротко дернул ножом.

— Собак!.. Со-о-обак!.. Гони!.. — парально хрипел посиневший пан, падая с седла на мякоть пахоты.

Григорий с трудом отогнал собак, оглянулся на пана.

Поодаль в стороне стоял Степан Астахов в фуражке с приспущенным на подбородок лакированным ремешком. Он вертел в руках железную занозу, дрожал посеревшей нижней челюстью и бровями.

— Ты откуда, молодец? — обратился к нему пан. — С какого хутора?

— С Татарского, — переждав время, отозвался Степан и сделал шаг в сторону Григория.

— Чей?

— Астахов.

— Вот что, любезный, ты когда едешь домой?

— Ноне к ночи.

— Привези нам эту тушку. — Пан указал ногой на волка, в агонии редко клацавшего зубами, поднимавшего кверху выпрямленную заднюю ногу с бурым свалявшимся клоком шерсти на лодыжке. — Что стоит — заплачу, — посулил пан и, вытирая шарфом пот с багрового лица, отошел в сторону, скособочился, снимая с плеча узкий, прикрепленный к фляге ремешок.

Григорий пошел к жеребцу. Ставя ногу в стремя, оглянулся. Степан, объятый неуемной дрожью, шел к нему, поводя шеей, плотно прижав к груди тяжелые крупные руки.

XVIII

У соседки Коршуновых Пелагеи в ночь под субботу на страстной неделе собрались бабы на посиделки. Гаврила Майданников — муж Пелагеи — писал из Лодзи, сулился прийти в отпуск к пасхе. Пелагея выбелила стены и прибрала в хате еще в понедельник, а с четверга ждала, выглядывала за ворота, подолгу стояла у плетня, простоволосая и худая, с лицом, покрытым плитами матежин; прикрыв глаза ладонью, всматривалась — не едет ли, случаем? Ходила она на сносях, но законно: в прошлом году летом приезжал Гаврила из полка, привез жене польского ситцу, прогостил недолго: четыре ночи переспал с женой, а на пятые сутки напился, ругался по-польски и по-немецки и, плача, распевал давнишнюю казачью песню о Польше, сложенную еще в 1831 году. С ним за столом сидели приятели и братья, пришедшие проводить служивого, глотали водку до обеда, подпевали:

Говорили про Польшу, что богатая,
А мы разузнали — голь проклятая.
У этой у Польши корчемка стоит,
Корчма польская, королевская.
У этой корчемки три их молодца пьют.
Пруссак, да поляк, да млад донской казак.
Пруссак водку пьет — монеты кладет,
Поляк водку пьет — червонцы кладет.
Казак водку пьет — ничего не кладет,
Он по корчме ходит — шпорами гремит,
Шпорами гремит — шинкарку манит:
«Шинкарочка-душечка, поедем со мной,
Поедем со мной к нам на тихий Дон.
У нас на Дону да не по-вашему живут:
Не ткут, не прядут, не сеют, не жнут,
Не сеют, не жнут, да чисто ходют».

А с обеда распрощался Гаврила с семьей и уехал. С того дня и стала Пелагея на подол рубахи поглядывать.

Наталье Коршуновой так объяснила она причину беременности:

— Перед тем как прийтить Гаврюше, видала я, милушка, сон. Кубыть, иду я по займищу, а попереди меня наша старая корова, какую мы летось на спас продали; идет она, а из сиськов молоко дорогу вилюжит… «Господи, думаю, как же это я ее так доила?» После этого приходит ко мне бабка Дроздиха за хмелинами, а я ей и расскажи сон, а она: «Отнеси, грит, на коровий баз кусочек воску, отломи от свечки, скатай в шарик и отнеси, в коровий свежий помет закопай, а то беда под окном караулит». Кинулась я, а свечки-то нету, была одна — ребята покатали, тарантулов из норь выманували, что ли. Тут пришел Гаврюша — вот она и беда. До этого три года рубахи сымала, а теперича ишь… — сокрушалась Пелагея, тыча пальцем в свой вздувшийся живот.

Ожидая мужа, Пелагея горюнилась, скучала без людей, поэтому в пятницу созвала баб-соседок время разделить. Пришла Наталья с недовязанным крючковым чулком (заходила весна — сильнее зябнул дед Гришака), она была оживлена, чаще, чем нужно, смеялась чужим шуткам: просто ей не хотелось, чтоб видели бабы, что борет ее тоска по мужу. Пелагея, свесив с печки босые, в фиолетовых прожилках ноги подтрунивала над молодой занозистой бабенкой Фросей.

— Как же ты, Фроська, казака своего избила?

— Не знаешь как? По спине, по голове, по чем пришлось.

— Я не про то: как у вас завелось-то?

— Так и завелось, — нехотя отвечала та.

— Ты б своего прихватила с чужой, аль смолчала бы? — медленно расставляя слова, спросила длинная жердястая баба — сноха Кашулина Матвея.

— Расскажи, Фросинья.

— Ничего уж!.. Нашли о чем гутарить…

— Не кобенься, тут все свои.

Фрося, выплевывая в руку подсолнечную лузгу, улыбнулась:

— Я давно за ним примечала, а тут переказывают мне: мол, твой на мельнице с задонской жалмеркой мирошничает… Я — туда, они возля просорушки.

— Что ж, Наталья, про мужа не слыхать? — перебила кашулинская сноха, обращаясь к Наталье.

— В Ягодном он… — тихо ответила та.

— Думаешь жить с ним, нет ли?

— Она, может, и думала б, да он об ней не понимает, — вмешалась хозяйка.

Наталья почувствовала, как горячая до слез кровь плеснулась ей в лицо. Она склонила над чулком голову, исподлобья глянула на баб и, видя, что на нее все смотрят, сознавая, что краски стыда не скрыть от них, намеренно, но неловко, так, что это заметили все, уронила с колен клубок и нагнулась, шаря пальцами по холодному полу.

— Наплюй на него, бабонька. Была б шея, а ярмо будет, — с нескрываемым сожалением посоветовала одна.

Деланное оживление Натальи потухло искрой на ветру. Бабы перекинулись в разговоре на последние сплетни, на пересуды. Наталья вязала молча. С трудом высидев до конца, она ушла, унося в душе неоформленное решение. Стыд за свое неопределенное положение (она все не верила, что Григорий ушел навсегда, и, прощая, ждала его) толкнул ее на следующий поступок: решила послать тайком от домашних в Ягодное к Григорию, чтобы узнать, совсем ли ушел он и не одумался ли. Пришла она от Пелагеи поздно. В горенке сидел дед Гришака, читал затрепанное, закапанное воском, в кожаном переплете Евангелие. Мирон Григорьевич в кухне довязывал крыло к вентерю, слушал рассказ Михея о каком-то давнишнем убийстве. Мать Натальи, уложив детей, спала на печке, уставив в дверь черные подошвы ног. Наталья разделась, бесцельно прошлась по комнатам. В зале, в углу, отгороженном доскою, — ворох оставленного на посев конопляного семени и мышиный писк.

Она на минуту задержалась в дедовой горнице. Постояла возле угольного столика, тупо глядя на стопку церковных книг, сложенных под образами.

— Дедуня, у тебя бумага есть?

— Какая бумага? — Дед поверх очков собрал густую связку морщин.

— На какой пишут.

Дед Гришака порылся в Псалтыре и вынул смятый, провонявший затхлым канунным медом и ладаном лист.

— А карандаш?

— У отца спроси. Иди, касатка, не мешайся.

Карандашный огрызок добыла Наталья у отца. Села за стол, мучительно передумывая давно продуманное, вызывавшее на сердце тупую ноющую боль.

Утром она, посулив Гетьку водки, снарядила его в Ягодное с письмом:

«Григорий Пантелевич!

Пропиши мне, как мне жить, и навовсе или нет потерянная моя жизня? Ты ушел из дому и

не сказал мне ни одного словца. Я тебя ничем не оскорбила, и я ждала, что ты мне развяжешь руки и скажешь, что ты ушел навовсе, а ты отроился от хутора и молчишь, как мертвый.

Думала, сгоряча ты ушел, и ждала, что возвернешься, но я разлучать вас не хочу. Пущай лучше одна я в землю затоптанная, чем двое. Пожалей напоследок и пропиши. Узнаю — буду одно думать, а то я стою посередь дороги.

Ты, Гриша, не серчай на меня, ради Христа.

Наталья».

Хмурый, в предчувствии близкого запоя, Гетько увел на гумно лошадь; украдкой от Мирона Григорьевича обротав ее, поскакал охлюпкой [19]. Сидел он на лошади присущей неказакам неловкой посадкой, болтал на рыси рваными локтями и, провожаемый назойливыми криками игравших на «проулке казачат, ехал шибкой рысью.

— Хохол-мазница!

— Хохол!.. Хохол!..

— Упадешь!..

— Кобель на плетне!.. — вслед ему кричали ребятишки.

Вернулся с ответом он к вечеру. Привез синий клочок оберточной сахарной бумаги; вынимая его из-за пазухи, подмигнул Наталье:

— Дорога невозможна, моя донюшка! Така тряска, шо Гетько уси пэчонки поотбывав!

Наталья прочла и посерела. В четыре приема вошло в сердце зубчато-острое…

Четыре расплывшихся слова на бумажке: «Живи одна. Мелехов Григорий».

Торопясь, словно не надеясь на свои силы, она ушла со двора, легла на кровать. Лукинична на ночь затапливала печь, чтоб пораньше отстряпаться и ко времени выпечь куличи.

— Наташка, иди пособи мне! — звала она дочь.

— Голова болит, маманя. Я чудок полежу.

Лукинична высунулась в дверь:

— Ты бы рассольцу? А? Доразу очунеешься.

Наталья сухим языком коснулась холодных губ, промолчала.

До вечера лежала она, с головой укрывшись теплым пуховым платком. Легкий озноб сотрясал ее согнутое калачиком тело. Мирон Григорьевич с дедом Гришакой уже собрались идти в церковь, когда она встала и вышла на кухню. На висках ее, у гладко причесанных черных волос, глянцевител пот, масленой нездоровой поволокой подернулись глаза.

Мирон Григорьевич, застегивая на ширинке широких шаровар длинный ряд пуговиц, скосился на дочь.

— Приспичило тебя, дочушка, хворать. Пойдем к светлой заутрене.

— Идите, я после приду.

— К шапошному разбору?

— Нет, я вот оденусь… Мне одеться, и я пойду.

Казаки ушли. В курене остались Лукинична и Наталья. Вялая, она переходила от сундука к кровати, невидящими глазами оглядывала взвороченный в сундуке ворох нарядов, мучительно что-то обдумывала, шепча губами. Лукинична подумала, что Наталья колеблется в выборе наряда, и с материнским великодушием предложила:

— Надевай, милая, мою синюю юбку. Она тебе теперича как раз будет.

К пасхе Наталье не шили обновы, и Лукинична, вспомнив, как дочь, еще в девках, любила по праздникам надевать ее синюю, узкую в подоле юбку, сама навязалась со своим добром, думая, что Наталья загоревалась над выбором.

— Наденешь, что ль? Я достану.

— Нет. Я в этой пойду. — Наталья бережно вытащила свою зеленую юбку и вдруг вспомнила, что в этой юбке была она, когда Григорий женихом приезжал ее проведать, под прохладным навесом сарая в первый раз пристыдил ее летучим поцелуем, и затряслась в приступившем рыдании, грудью навалилась на поднятую ребром крышку сундука.

— Наталья! Ты чего?.. — Мать всплеснула руками.

Наталья задушила просившийся наружу крик; осилив себя, засмеялась скрипучим деревянным смехом.

— Чтой-то нашло на меня… ноне.

— Ох, Наташка, примечаю я…

— И чего вы, маманя, примечаете? — с неожиданной злобой крикнула Наталья, комкая в пальцах зеленую юбку.

— Не сдобруешь ты, гляжу… замуж надо.

— Будя!.. Побыла!..

Наталья пошла в свою горницу одеваться, вскоре снова пришла на кухню уже одетая, тонкая по-девичьи, иссиня-бледная, в прозрачной синеве невеселого румянца.

— Иди одна, я ишо не управилась, — сказала мать.

Сунув за обшлаг рукава утирку, Наталья вышла на крыльцо. От Дона нес ветер шорох плывущего льда и пресный живительный запах талой сырости. Придерживая левой рукой подол юбки, обходя перламутровую синь раскинутых по улице лужиц, Наталья дошла до церкви. Дорогой пыталась она вернуть себе прежнее уравновешенное состояние духа, думала о празднике, обо всем отрывочно и туманно, но мысль упрямо возвращалась к синему клочку оберточной бумаги, спрятанной на груди, к Григорию и к той счастливой, которая теперь над ней снисходительно смеется и, быть может, даже жалеет…

Она вошла в ограду. Ей загородили дорогу парни. Обходя их, Наталья услышала:

— Чья это? Ты угадал?

— Да это Наташка Коршунова.

— У ней, гутарют, кила. От этого ее и муж бросил.

— Брешешь! Она с свекром, с Пантелеем хромым, спуталась.

— Вон что-о-о! Стал быть, Гришка через это и убег из дому?

— А то через чего ж? Она и зараз…

Наталья, спотыкаясь о неровную стилку камней, дошла до паперти. Вслед ей вполголоса камнем пустили грязное, позорное слово. Под хихиканье стоявших на паперти девок Наталья прошла в другую калитку и, пьяно раскачиваясь, побежала домой. Перевела дух у ворот своего база, вошла, путаясь ногами в подоле, кусая распухшие, искусанные в кровь губы. В сиреневой кочующей над двором темноте чернела приоткрытая дверь сарая. В одно злое усилие собрала Наталья оставшийся комочек сил, добежала до дверей, торопясь шагнула через порог. В сарае — сухая прохлада, запах ременной упряжи и слежалой соломы. Наталья ощупью, без мысли, без чувства, в черной тоске, когтившей ее заполненную позором и отчаянием душу, добралась до угла. Взяла в руки держак косы, сняла с него косу (движения ее были медлительно-уверенны, точны) и, запрокинув голову, с силой и опалившей ее радостной решимостью резнула острием по горлу. От дикой горячей боли упала, как от удара, и, чувствуя, смутно понимая, что недоделала начатого, — встала на четвереньки, потом на колени; торопясь (ее пугала заливавшая грудь кровь), обрывая дрожащими пальцами кнопки, зачем-то расстегнула кофточку. Одной рукой отвела тугую неподатливую грудь, другой направила острие косы. На коленях доползла до стены, уперла в нее тупой конец, тот, который надевается на держак, и, заломив над запрокинутой головой руки, грудью твердо подалась вперед, вперед… Ясно слышала, ощущала противный капустный

хруст разрезаемого тела; нарастающая волна острой боли полымем прошлась по груди до горла, звенящими иглами воткнулась в уши…

В курене скрипнула дверь. Лукинична, щупая ногой порожек, спускалась с крыльца. С колокольни размеренные сыпались удары. На Дону с немолчным скрежетом ходили на дыбах саженные крыги. Радостный, полноводный, освобожденный Дон нес к Азовскому морю ледяную свою неволю.

XIX

Степан подошел к Григорию и, ухватившись за стремя, плотно прижался к потному боку жеребца.

— Ну, здорово, Григорий!

— Слава богу.

— Что ж ты думаешь? А?

— Чего мне думать-то?

— Сманул чужую жену и… пользуешься?

— Пусти стремя.

— Ты не боись… Я бить не буду.

— Я не боюсь, ты брось это! — румянея в скулах, повысил Григорий голос.

— Нынче я драться с тобой не буду, не хочу… Но ты, Гришка, помни мое слово: рано аль поздно убью!

— Слепой сказал: «Посмотрим».

— Ты крепко попомни это. Обидел ты меня!.. Выхолостил мою жизню, как боровка… Видишь вон, — Степан протянул руки черными ладонями вверх, — пашу, а сам не знаю на что. Аль мне одному много надо? Я бы походя и так прозимовал. А только скука меня убивает… Крепко ты меня обидел, Григорий!..

— Ты мне не жалься, не пойму. Сытый голодного не разумеет.

— Это-то так, — согласился Степан, снизу вверх глядя Григорию в лицо, и вдруг улыбнулся простой ребячьей улыбкой, расщепляя углы глаз на множество тонких морщинок. — Жалкую я об одном, парень… дюже жалкую… Помнишь, в позапрошлом годе на маслену дрались мы в стенках?

— Это когда?

— Да в энтот раз, как постовала убили. Холостые с женатыми дрались, помнишь? Помнишь, как я за тобой гнал? Жидковат ты был, куга зеленая супротив меня. Я пожалел тебя, а ежели б вдарил на бегу — надвое пересек бы! Ты бег шибко, напружинился весь: ежели б вдарить с потягом по боку — не жил бы ты на свете!

— Не горюй, ишо как-нибудь цокнемся.

Степан потер лоб рукой, что-то вспоминая.

Пан, ведя Крепыша в поводу, крикнул Григорию:

— Трогай!

Все так же держась рукой за стремя, Степан пошел рядом с жеребцом. Григорий сторожил каждое его движение. Он сверху видел русые обвисшие усы Степана, густую щетину давно не бритой бороды. На подбородке Степана висел лакированный, во многих местах потрескавшийся ремешок фуражки. Лицо его, серое от грязи, с косыми полосами — следами стекавшего пота, — было смутно и незнакомо. Глядя на него, Григорий словно с горы на далекую, задернутую дождевой марью степь глядел. Серая усталь, пустота

испепеляли Степаново лицо. Он, не прощаясь, отстал. Григорий ехал шагом.

— Погоди-ка. А как же… Аксютка как?

Григорий, плетью сбивая с подошвы сапога приставший комочек грязи, ответил:

— Ничего.

Он, приостановив жеребца, оглянулся. Степан стоял, широко расставив ноги, перекусывая оскаленными зубами бурьянную былку. Григорию стало его безотчетно жаль, но чувство ревности оттеснило жалость; поворачиваясь на скрипящей подушке седла, крикнул:

— Она об тебе не сохнет, не горюй!

— На самом деле?

Григорий хлестнул жеребца плетью между ушей и поскакал, не отвечая.

XX

На шестом месяце, когда скрывать беременность было уже нельзя, Аксинья призналась Григорию. Она скрывала, боясь, что Григорий не поверит в то, что его ребенка носит она под сердцем, желтела от подступавшей временами тоски и боязни, чего-то выжидала.

И в первые месяцы ее тошнило от мясного, но Григорий не замечал, а если и замечал, то, не догадываясь о причине, не придавал особого значения.

Разговор происходил вечером. Волнуясь, Аксинья сказала и жадно искала в лице Григория перемены, но он, отвернувшись к окну, досадливо покашливал.

— Что ж ты молчала раньше?

— Я робела, Гриша… думала, что ты бросишь…

Барабаня пальцами по спинке кровати, Григорий спросил:

— Скоро?

— На спасы, думается…

— Степанов?

— Твой.

— Ой ли?

— Подсчитай сам… С порубки это…

— Ты не бреши, Ксюшка! Хучь бы и от Степана, куда ж теперь денешься? Я по совести спрашиваю.

Роняя злые слезы, Аксинья сидела на лавке, давилась горячим шепотом:

— С ним сколько годов жила — и ничего!.. Сам подумай!.. Я не хворая баба была… Стал быть, от тебя понесла, а ты…

Григорий об этом больше не заговаривал. В его отношения к Аксинье вплелась новая прядка настороженной отчужденности и легкой насмешливой жалости. Аксинья замкнулась в себе, не напрашивалась на ласку. Она подурнела за лето, но статной фигуры ее почти не портила беременность: общая полнота скрадывала округлившийся живот, а исхудавшее лицо по-новому красили тепло похорошевшие глаза. Она легко управлялась с работой черной кухарки. В этот год рабочих было меньше, меньше было и стряпни.

Капризной стариковской привязанностью присох к Аксинье дед Сашка. Может быть, потому, что относилась она к нему с дочерней заботливостью: перестирывала его бельишко, латала рубахи, баловала за столом куском помягче, послаже, и дед Сашка, управившись с лошадьми, приносил на кухню воды, мял картошку, варившуюся для свиней, услуживал всячески и, приплясывая, разводил руками, обнажая голые десны:

— Ты меня пожалела, а я в долгу не останусь! Я тебе, Аксиньюшка, хоть из души

скляночку выну. Ить я без бабьего догляду пропадал! Вша источила! Ты, что понадобится, говори.

Григорий, избавившись от лагерного сбора по ходатайству Евгения Николаевича, работал на покосе, изредка возил старого пана в станицу, остальное время ходил с ним на охоту за стрепетами или ездил с нагоном на дудаков. Легкая, сытая жизнь его портила. Он обленился, растолстел, выглядел старше своих лет. Одно беспокоило его — предстоящая служба. Не было ни коня, ни справы, а на отца плоха была надежда. Получая за себя и Аксинью жалованье, Григорий скупился, отказывая себе даже в табаке, надеялся на сколоченные деньги, не кланяясь отцу, купить коня. Обещался и пан помочь. Предположения Григория, что отец ничего не даст, вскоре подтвердились. В конце июня приехал Петро проведать брата, в разговоре упомянул, что отец гневается на него по-прежнему и как-то заявил, что не будет справлять строевого коня: пусть, дескать, идет в местную команду.

— Ну, это он пущай не балуется. Пойду на службу на своем, — Григорий подчеркнул это слово, — коне.

— Откель возьмешь? Выпляшешь? — пожевывая ус, улыбнулся Петро.

— Не выпляшу, так выпрошу, а то и украду.

— Молодец!

— На жалованье куплю, — уже серьезно пояснил Григорий.

Петро посидел на крылечке, расспросил о работе, харчах, жалованье; на все придакивая, жевал обгрызенный окомелок усины и, выведав, сказал Григорию на прощанье:

— Шел бы ты домой жить, хвост-то ломать нечего. Думаешь, угоняешься за Длинным рублем?

— Я за ним не гонюсь.

— Думаешь с своей жить? — свернул Петро разговор.

— С какой своей?

— С этой.

— Покеда думаю, а что?

— Так, с интересу попытал.

Григорий пошел его проводить. Спросил напоследок:

— Как там, дома?

Петро, отвязывая от перил крыльца лошадь, усмехнулся:

— У тебя домов, как у зайца теремов. Ничего, живем помаленечку. Мать — она об тебе скучает. А сенов ноне наскребли, три прикладка свершили.

Волнуясь, Григорий разглядывал старую корноухую кобылицу, на которой приехал Петро.

— Не жеребилась?

— Нет, брат, яловая оказалась. Гнедая, энта, какую у Христони выменяли, ожеребилась.

— Что привела?

— Жеребца, брат. Там жеребец — цены нету! Высокий на ногах, бабки правильные и в грудях хорош. Добрячий конь будет.

Григорий вздохнул:

— Скучаю по хутору, Петро. По Дону соскучился, тут воды текучей не увидишь. Тошное место!

— Приезжай проведать, — кряхтел Петро, наваливаясь животом на острю хребтину лошади и занося правую ногу.

— Как-нибудь.

— Ну, прощай!

— Путь добрый!

Петро уже выехал со двора; вспомнив, закричал стоявшему на крыльце Григорию:

— Наталья-то… Забыл… беда какая…

Ветер, коршуном круживший над двором, не донес до Григория конца фразы; Петра с лошадью спеленала шелковая пыль, и Григорий, не расслышав, махнул рукой, пошел к конюшне.

Сухостойное было лето. Редко падали дожди, и хлеб вызрел рано. Только что управились с житом — подошел ячмень, желтел кулигами, ник чупрынистыми колосьями. Четверо пришлых рабочих, нанявшихся поденно, и Григорий выехали косить.

Аксинья отстряпалась рано, упросила Григория взять ее с собой.

— Сидела бы дома, нужда, что ль, несет? — отговаривал Григорий, но Аксинья стояла на своем и, наскоро покрывшись, выбежала за ворота, догоняя повозку с рабочими.

То, чего ждала Аксинья с тоской и радостным нетерпением, то, чего смутно побаивался Григорий, — случилось на покосе. Аксинья гребла и, почувствовав некоторые признаки, бросила грабли, легла под копной. Схватки начались вскоре. Закусив почерневший язык, Аксинья лежала плашмя. Мимо нее, объезжая круг, покрикивали с косилки на лошадей рабочие. Один молодой, с подгнившим носом и частыми складками на желтом, как из дерева выструганном, лице, проезжая, кидал Аксинье:

— Эй, ты, аль припекло в неподходящее место? Вставай, а то растаешь!

Сменившись с косилки, Григорий подошел к ней:

— Ты чего?..

Аксинья, кривя непослушные губы, хрипло сказала:

— Схватывает.

— Говорил — не езди, чертова сволочь! Ну, что теперя делать?

— Не ру-гай-ся, Гриша… Ох!.. Ох!.. Гриша, за-пря-ги! Домой бы… Ну, как я тут? Тут ить казаки… — застонала Аксинья, перехваченная железным обручем боли.

Григорий побежал за пасшейся в логу лошадью. Пока запряг и подъехал — Аксинья отползла в сторону, стала на четвереньки, воткнув голову в ворох пыльного ячменя, выплевывая изжеванные от муки, колючие колосья. Она распухшими чужими глазами непонимающе уставилась в подбежавшего Григория и, застонав, въелась зубами в скомканную завеску, чтобы рабочие не слышали ее безобразного животного крика.

Григорий уложил ее на поводку, погнал лошадь к имению.

— Ой, не гони!.. Ой, смерть!.. Тря-а-а-а-аоко!.. — кричала Аксинья огрубевшим голосом, катая по днищу повозки всклокоченную голову.

Молча порол Григорий лошадь кнутом, кружил над головой вожжи, не оглядываясь назад, откуда валом полз хриплый рвущийся вой.

Аксинья, стиснув ладонями щеки, дико поводя широко раскрытыми сумасшедшими глазами; подпрыгивала на повозке, метавшейся от края к краю по кочковатой, ненаезженной дороге. Лошадь шла наметом; перед глазами Григория плавно взметывалась дуга, прикрывая концом нависшее в небе ослепительно белое, граненое, как кристалл, облако. Аксинья на минуту оборвала сплошной, поднявшийся до визга вой. Тарахтели колеса, в задке повозки глухо колотилась о доски безвольная Аксиньина голова. Григорий не сразу воспринял наставшую тишину, опомнившись, глянул назад: Аксинья с искаженным, обезображенным лицом лежала, плотно прижав щеку к боковине повозки, зевая, как рыба, выброшенная на берег. Со лба ее в запавшие глазницы ручьями тек пот. Григорий приподнял ей голову, подложил свою смятую фуражку. Скосив глаза, Аксинья твердо сказала:

— Я, Гриша, помираю. Ну… вот и все!

Он дрогнул. Внезапный холодок дошел до пальцев на потных ногах. Григорий,

потрясенный, искал слов бодрости, ласки и не нашел; с губ, сведенных черствой судорогой, сорвалось:

— Брешешь, дура!.. — Мотнул головой и, нагибаясь, переламываясь надвое, сжал подвернувшуюся неловко Аксиньину ногу. — Аксютка, горлинка моя!..

Боль, на минуту отпустившая Аксинью, вернулась удесятеренно сильная. Чувствуя, как в опустившемся животе что-то рвется, Аксинья, выгибаясь дугой, пронизывала Григория невыразимо страшным нарастающим криком. Безумея, Григорий гнал лошадь.

За грохотом колес он едва услышал тягуче-тонкое:

— Гри-и-ша!

Он натянул вожжи, повернул голову: подплывшая кровью Аксинья лежала, раскидав руки; под юбкой ворохнулось живое, пискнувшее… Ошалевший Григорий соскочил на землю и путанно, как стреноженный, шагнул к задку повозки. Вглядываясь в пышущий жаром рот Аксиньи, скорее догадался, чем разобрал:

— Пу-по-вину пер-гры-зи… за-вя-жи ниткой… от руба-хи…

Григорий прыгающими пальцами выдернул из рукава своей бязевой рубахи пучок ниток, зажадурясь до боли в глазах, перегрыз пуповину и надежно завязал кровоточащий отросток нитками.

XXI

К просторному суходолу наростом прилипло имение Листницкого — Ягодное. Меняясь, дул ветер то с юга, то с севера; плыло в синеватой белизне неба солнце; наступая на подол лету, листопадом шуршала осень, зима наваливалась морозами, снегами, а Ягодное так же корежилось в одубелой скуке, и дни, отгородившие имение от остального мира, проходили, похожие, как близнецы.

По двору так же ковыляли черные утки-шептуны с красными очкастыми ободками вокруг глаз, бисерным дождем рассыпались цесарки, на крыше конюшни утробным кошачьим голосом мяукали крикливо оперенные павлины. Любил старый генерал всяческую птицу, даже подстреленного журавля держал, и в ноябре дергал тот струны человеческих сердец медноголосым тоскующим криком, заслышав невнятный призыв вольных в отлете журавлей. Но лететь не мог, мертво висело перебитое в сгибе крыло, а генерал, глядя из окошка, как журавль, нагнув голову, подпрыгивает, рвется от земли, — смеялся, разевая длинный, под седым навесом усов, рот, и басовитый смех плавал, колыхался в пустом белом зале.

Вениамин так же высоко носил плюшевую голову, дрожал студенистыми ляжками и целыми днями в передней на сундуке до одури играл в дурака сам с собою. Так же ревновал Тихон рябую свою любовницу к Сашке, рабочим, Григорию, к пану и даже к журавлю, которому уделяла Лукерья избыток переливавшейся через края вдовьей нежности. Дед Сашка время от времени напивался и шел под окна выпрашивать у пана двугривенные.

За все время случилось лишь два события, встряхнувших заплесневелую в сонной одури жизнь: Аксиньины роды да пропажа племенного гусака. К девочке, которую родила Аксинья, скоро привыкли, а от гусака нашли за левадой в ярке перья (видно, лиса пошкодила) — и успокоились.

Просыпаясь по утрам, пан звал Вениамина:

— Видел что-нибудь во сне?

— А как же, такой чудесный сон.

— Рассказывай, — коротко приказывал пан, окручивая папироску.

И Вениамин рассказывал. Если сон был неинтересный или страшный, пан сердился:

— Э, дурак, скотина! Дураку и сны дурацкие снятся.

Приловчился Вениамин выдумывать сны веселые и занимательные. Одно тяготило его: надо было изобретать, и вот за несколько дней начинал он придумывать веселые сны, сидя на сундуке и шлепая по коврику картами, пухлыми и сальными, как щеки игрока. Тупо влипал глазами в одну точку, измышлял и до того дошел, что в действительности совсем перестал сны видеть. Просыпался, тужился, припоминая, но позади была чернота — гладко, как стесано, и черно, не то что сна — лица ни одного не видел.

Выдыхался Вениамин в нехитрых своих выдумках, а пан сердился, изловив рассказчика в повторах:

— Ты мне, пакость этакая, и в четверг этот сон про лошадь рассказывал. Что же ты, черт тебя побери?..

— Обратно видал, Николай Алексеевич! Истинный Христос, в другой раз вижу, — не теряясь, врал Вениамин.

В декабре Григория с сидельцем вызвали в Вешенскую, в станичное правление. Получил сто рублей на коня и извещение, что на второй день рождества выезжать в слободу Маньково на сборный участок.

Григорий вернулся из станицы растерянный: подходило рождество, а у него ничего не было готово. На деньги, выданные казной, и на свои сбережения купил на хуторе Обрывском коня за сто сорок рублей. Покупать ходил с дедом Сашкой, сторговали коня подходящего: шестилеток, масти гнедой, вислозадый; был у него один потаенный изъян. Дед Сашка, теребя бороду, сказал:

— Дешевше не найдешь, а начальство недоглядит. Хисту [20] у них не хватит.

Оттуда Григорий ехал на купленном коне верхом, пробовал шаг и рысь. А за неделю до рождества явился в Ягодное сам Пантелей Прокофьевич. Кобылу, запряженную в кошевки, не въезжая во двор, привязал к плетню, захромал к людской, обдирая сосульки с бороды, лежавшей на воротнике тулупа черным бруском. Григорий растерялся, увидев в окно отца:

— Вот так ну!.. Отец!..

Аксинья зачем-то кинулась к люльке, кутая ребенка.

Пантелей Прокофьевич влез в комнату, напустив холоду; снял треух и перекрестился на образ, обводя стены медлительным взглядом.

— Здорово живете!

— Здравствуй, батя, — вставая с лавки, отозвался на приветствие Григорий и, шагнув, стал посередине комнаты.

Пантелей Прокофьевич сунул Григорию мерзлую руку, сел на край лавки, запахивая полу тулупа, обходя взглядом Аксинью, пристывшую у люльки.

— Собираешься на службу?

— А то как же?

Пантелей Прокофьевич замолчал, оглядывая Григория испытующе и долго.

— Раздевайся, батя, назяб ить, небось?

— Ничего. Терпится.

— Самовар поставим.

— Спасибочка. — Соскабливая ногтем с тулупа давнишнее пятнышко грязи, сказал: — Там привез тебе справу: два шинеля, седло, шаровары. Возьми… Все там.

Григорий без шапки вышел и взял с саней два мешка.

— Когда выступать? — полюбопытствовал Пантелей Прокофьевич, вставая.

— На второй день рождества. Что ж, батя, едешь?

— Поспешаю пораньше возвернуться.

Он простился с Григорием и, так же обходя взглядом Аксинью, пошел к двери. Уже держась за щеколду, стрельнул глазами в люльку, сказал:

— Мать поклон велела передать, хворает ногами. — И, помолчав, натужно, словно тяжелое поднимая: — Поеду, тебя провожу до Маньковой. Ты готовься.

Вышел, окуная руки в тепло вязаных рукавиц. Бледная от пережитого унижения Аксинья молчала. Григорий ходил, искоса поглядывая на нее, норовя наступать на одну скрипучую половицу.

На первый день рождества Григорий возил Листницкого в Вешенскую.

Пан отстоял обедню, позавтракал у своей двоюродной сестры, помещицы, велел запрягать.

Григорий, не успевший дохлебать миску жирных, со свининой, щей, встал, пошел в конюшню.

В легких городских санках ходил серый, в яблоках, орловский рысак Шибай. Повиснув на поводе, Григорий вывел его из конюшни, торопясь запряг.

Ветер перевеивал хрушкий, колючий снег, по двору текла, шипя, серебристая поземка. За палисадником — на деревьях нежный бахромчатый иней. Ветер стряхивал его и, падая, рассыпаясь, отливал он на солнце радужными, сказочно богатыми сочетаниями красок. На крыше дома, около задымленной трубы, из которой косо струился дым, зябкие чечекали галки. Они слетели, вспуганные скрипом шагов, покружились над домом сизыми хлопьями и полетели на запад, к церкви, четко синея на фиолетовом утреннем небе.

— Скажи, что подано! — крикнул Григорий выбежавшей на крыльцо дворовой девке.

Вышел пан, окуная усы в воротник енотовой шубы. Григорий укутал ему ноги, пристегнул волчью, обшитую бархатом полсть.

— Поогрей его. — Пан указал глазами на рысака.

Запрокидываясь с козел, удерживая в натянутых руках тугую дрожь вожжей, Григорий опасливо косился на раскаты, помнил, как по первопутку пан за неловкий толчок сунул ему в затылок крепкий не по-стариковски кулак. Спустились к мосту, и тут, по Дону, Григорий ослабил вожжи, растирая перчаткой охваченные ветровым огнем щеки.

До Ягодного долетели в два часа. Пан всю дорогу молчал, изредка стучал согнутым пальцем Григорию в спину: «Останови-и», — и делал папироску, поворачиваясь к ветру спиной.

Уже спускаясь с горы в имение, опросил:

— Рано завтра?

Григорий повернулся боком, с трудом разодрал иззябшие губы.

— Рлано, — получилось у него вместо «рано». Затвердевший от холода язык будто распух; цепляясь за подковку зубов, выговаривал нетвердо.

— Деньги все получил?

— Так точно.

— За жену не беспокойся, будет жить. Служи исправно. Дед твой молодецкий был казак. Чтоб и ты, — голос пана зазвучал глуше (Листницкий спрятал от ветра лицо в воротник), — чтоб и ты держал себя достойно своего деда и отца. Ведь это отец получил на императорском смотру первый приз за джигитовку?

— Так точно: отец.

— Ну, то-то, — строго, будто грозя, закончил пан и совсем спрятал в шубу лицо.

Григорий с рук на руки передал рысака деду Сашке, пошел в людскую.

— Отец твой приехал! — крикнул тот ему вслед, накидывая на рысака попону.

Пантелей Прокофьевич сидел за столом, доедая студень. «Под хмельком», — определил Григорий, окидывая взглядом размякшее отцово лицо.

— Приехал, служивый?

— Замерз весь, — хлопая руками, ответил Григорий и — к Аксинье: — Развяжи башлык, руки не владеют.

— Тебе попало, ветер-то в пику, — двигая при еде ушами и бородой, мурчал отец.

На этот раз он был гораздо ласковее. Аксинье коротко, по-хозяйски, приказал:

— Отрежь ишо хлебца, не скупись.

Встав из-за стола и отправляясь к двери курить, будто невзначай раза два качнул люльку; просунул под положок бороду, осведомился:

— Казак?

— Девка, — за Григория отозвалась Аксинья и, уловив недовольство, проплывшее по лицу и застрявшее в бороде старика, торопясь, добавила: — Такая уж писаная, вся в Гришу.

Пантелей Прокофьевич деловито оглядел чернявую головку, торчавшую из вороха тряпья, и не без гордости удостоверил:

— Наших кровей… Эк-гм… Ишь ты!..

— Ты на чем приехал, батя? — спросил Григорий.

— В дышлах, на обыденке да на Петровом.

— Ехал бы на одной, моего бы припрягли.

— Не к чему, пущай порожнем идет. А конь справный.

— Видал?

— Чудок поглядел.

Говорили о разных нестоящих вещах, волнуемые одним общим. Аксинья не вмешивалась в разговор, сидела на кровати, как в воду опущенная. Каменно набухшие груди распирали ей створки кофты. Она заметно потолстела после родов, обрела новую, уверенно-счастливую осанку.

Легли спать поздно. Прижимаясь к Григорию, Аксинья мочила ему рубаху рассолом слез и молоком, стекавшим из невысосанных грудей.

— Помру с тоски… Как я одна буду.

— Небось, — таким же шепотом отзывался Григорий.

— Ночи длинные… дите не спит… Иссохну об тебе… Вздумай, Гриша, — четыре года!

— В старину двадцать пять лет служили, гутарют.

— На что мне старина…

— Ну, будя!

— Будь она проклята, служба твоя, разлучница!

— Приду в отпуск.

— В отпуск, — эхом стонала Аксинья, всхлипывая и сморкаясь в рубаху, — покеда придешь, в Дону воды много стекет…

— Не скули… Как дождь осенью, так и ты: одно да добро.

— Тебя б в мою шкуру!

Уснул Григорий перед светом. Аксинья покормила дитя и, облокотившись, не мигая, вглядывалась в мутно черневшие линии Григорьева лица, прощалась. Вспоминалась ей та ночь, когда она уговаривала его в своей горнице идти на Кубань; так же только месяц был да двор за окном белел, затопленный лунным половодьем.

Так же было, а Григорий сейчас и тот и не тот. Легла за плечи длинная, протоптанная днями стежка…

Григорий повернулся на бок, сказал внятно:

— На хуторе Ольшанском… — И смолк.

Аксинья пробовала уснуть, но мысли разметывали сон, как ветер копну сена. Она до света продумала об этой бессвязной фразе, подыскивая к ней отгадку… Пантелей Прокофьевич проснулся, лишь чуть запенился на обыневших окнах свет.

— Григорий, вставай, светает!

Аксинья, привстав на колени, надела юбку; вздыхая, долго искала спички.

Пока позавтракали и уложились — рассвело. Синими переливами играл утренний свет. Четко, как врезанный в снег, зубчатился плетень, и, прикрывая нежную сиреневую дымку неба, темнела крыша конюшни.

Пантелей Прокофьевич отправился запрягать. Григорий оторвал от себя исступленно целовавшую его Аксинью, пошел проститься с дедом Сашкой и остальными.

Закутав ребенка, Аксинья вышла провожать.

Григорий коснулся губами влажного лобика дочери, подошел к коню.

— Садись в сани! — крикнул отец, трогая лошадей.

— Не, верхом я.

Григорий с рассчитанной медлительностью затягивал подпруги, садился на коня и разбирал поводья. Аксинья, касаясь пальцами его ноги, часто повторяла:

— Гриша, погоди… что-то хотела сказать… — И морщилась, вспоминая, растерянная, дрожащая.

— Ну, прощай! Дите гляди… Поеду, а то батя вон где уж…

— Погоди, родимый!.. — Аксинья левой рукой хватала холодное стремя, правой прижимая завернутого в полу ребенка, и глядела ненасытно, и не было свободной руки, чтобы утереть слезы, падавшие из широко открытых немигающих глаз.

На крыльцо вышел Вениамин.

— Григорий, пан зовет.

Григорий выругался, взмахнул плетью и поскакал со двора. Аксинья бежала за ним следом, застревая в сугробах, засыпавших двор, и неловко вскидывая обутыми в валенки ногами.

На гребне Григорий догнал отца. Крепясь, оглянулся. Аксинья стояла у ворот, прижимая к груди закутанного в полу ребенка, ветер трепал, кружил на плечах ее концы красного шалевого платка.

Григорий поравнялся с санями. Поехали шагом. Пантелей Прокофьевич повернулся спиной к лошади, спросил:

— Значится, не думаешь с женой жить?

— Давнишний сказ… отгутарили…

— Не думаешь, стал быть?

— Стал быть, так.

— Не слыхал, что она руки на себя накладывала?

— Слыхал.

— От кого?

— В станицу пана возил, хуторных припало повидать.

— А бог?

— Что ж, батя, на самом-то деле… что с возу упало, то пропало.

— Ты мне чертовую не расписывай! Я с тобой подобру гутарю, — озлобляясь, зачастил Пантелей Прокофьевич.

— У меня вон дите; об чем гутарить? Теперича уж не прилепишься.

— Ты гляди… не чужого вскармливаешь?

Григорий побледнел: тронул отец незарубцованную болячку. Все время после рождения ребенка Григорий мучительно вынашивал в себе, таясь перед Аксиньей, перед самим собой, подозрение. По ночам, когда спала Аксинья, он часто подходил к люльке, всматривался, выискивая в розово-смуглом лице ребенка свое, и отходил такой же неуверенный, как и раньше. Темно-русый, почти черный был и Степан, — как узнать, чью кровь гоняет сердце по голубеющей сетке жил, просвечивающей под кожей ребенка? Временами ему казалось, что дочь похожа на него, иногда до боли напоминала она Степана. К ней ничего не чувствовал Григорий, разве только неприязнь за те минуты, которые пережил, когда вез корчившуюся в родах Аксинью со степи. Раз как-то (Аксинья стряпала на кухне) вынул дочь из люльки и, сменяя мокрую пеленку, почувствовал острое, щиплющее волнение. Воровато нагнулся, пожал зубами красный оттопыренный палец на ноге.

Отец безжалостно кольнул в больное, и Григорий, сложив на луке ладони, глухо ответил:

— Чей бы ни был, а дитя не брошу.

Пантелей Прокофьевич, не поворачиваясь, махнул на лошадей кнутом.

— Наталья спортилась с того разу… Голову криво держит, будто параликом зашибленная. Жилу нужную перерезала, вот шею-то кособочит.

Он помолчал. Скрипели полозья, кромсая снег; щелкал подковами, засекаясь, Григорьев конь.

— Что ж она, как? — спросил Григорий, с особенным вниманием выковыривая из конской гривы обопревший репей.

— Очунелась, никак. Семь месяцев лежала. На троицу вовзят доходила. Поп Панкратий соборовал… А после отошла. С тем поднялась, поднялась и пошла. Косу-то пырнула под сердце, а рука дрогнула, мимо взяла, а то б концы…

— Трогай под горку. — Григорий махнул плетью и, опережая отца, брызгая в сани снежными, из-под копыт, ошлепками, зарысил, привстав на стременах.

— Наталью мы возьмем! — кричал, догоняя его, Пантелей Прокофьевич. — Не хочет баба у своих жить. Надысь видал ее, кликал, чтоб шла к нам.

Григорий не отвечал. До первого хутора ехали молча, и больше разговора об этом Пантелей Прокофьевич не заводил.

За день сделали верст семьдесят. На другие сутки (в домах уже зажгли огни) приехали в слободу Маньково.

— А в каком квартале вешенские? — спросил Пантелей Прокофьевич у первого встречного.

— Держи по большой улице.

На квартире, в которую попали, стояло пять призывников с провожавшими их отцами.

— С каких хуторов? — осведомился Пантелей Прокофьевич, заводя лошадей под навес сарая.

— С Чиру, — густо ответили из темноты.

— А с хутора?

— С Каргина есть, с Наполова, с Лиховидова, а вы откель?

— С Кукуя, — засмеялся Григорий, расседлывая коня и щупая вспотевшую под седлом конскую спину.

Наутро станичный атаман Вешенской станицы Дударев привел вешенцев на врачебную комиссию. Григорий увидел хуторных ребят-одногодков; Митька Коршунов на высоком светло-гнедом коне, подседланном новехоньким щегольским седлом, с богатым нагрудником и наборной уздечкой, еще утром проскакал к колодцу и, завидев Григория,

стоявшего у ворот своей квартиры, прожег мимо, не здороваясь, придерживая левой рукой надетую набекрень фуражку.

В холодной комнате волостного правления раздевались по очереди. Мимо сновали военные писаря и помощник пристава, в коротких лакированных сапожках частил мимо адъютант окружного атамана; перстень его с черным камнем и розовые припухшие белки красивых черных глаз сильнее оттеняли белизну кожи и аксельбантов. Из комнаты просачивались разговор врачей, отрывистые замечания.

— Шестьдесят девять:

— Павел Иванович, дайте чернильный карандаш, — близко, у двери, хрипел похмельный голос.

— Объем груди…

— Да, да, явно выраженная наследственность.

— Сифилис, запишите.

— Что ты рукой-то закрываешься? Не девка.

— Сложен-то как…

— …хуторе рассадник этой болезни. Необходимы особые меры. Я уже рапортовал его превосходительству.

— Павел Иванович, посмотрите на сего субъекта. Сложен-то каково?

— Мда-а-а…

Григорий раздевался рядом с высоким рыжеватым парнем с хутора Чукаринского. Из дверей вышел писарь, морщиня на спине гимнастерку, четко сказал:

— Панфилов Севастьян, Мелехов Григорий.

— Скорей! — испуганно шепнул сосед Григория, краснея и выворачивая чулок.

Григорий вошел, неся на спине сыпкие мурашки. Его смуглое тело отливало цветом томленого дуба. Он конфузился, глядя на свои ноги, густо поросшие черным волосом. В углу на весах стоял голый угловатый парень. Кто-то, по виду фельдшер, передвинув мерку, крикнул:

— Четыре, десять. Слезай.

Унизительная процедура осмотра волновала Григория. Седой, в белом, доктор ослушал его трубкой, другой, помоложе, отдирал веки и смотрел на язык, третий — в роговых очках — вертелся позади, потирая руки с засученными по локоть рукавами.

— На весы.

Григорий ступил на рубчатую холодную платформу.

— Пять, шесть с половиной, — щелкнув металлической навеской, определил весовщик.

— Что за черт, не особенно высокий… — замурлыкал седой доктор, за руку поворачивая Григория кругом.

— Уди-ви-тельно! — заикаясь, поперхнулся другой, помоложе.

— Сколько? — изумленно спросил один из сидевших за столом.

— Пять пудов, шесть с половиной фунтов, — не опуская вздернутых бровей, ответил седой доктор.

— В гвардию? — спросил окружной военный пристав, наклоняясь черной прилизанной головой к соседу за столом.

— Рожа бандитская… Очень дик.

— Послушай, повернись! Что это у тебя на спине? — крикнул офицер с погонами полковника, нетерпеливо стуча пальцем по столу.

Седой доктор бормотал непонятное, а Григорий, поворачиваясь к столу спиной, ответил, с трудом удерживая дрожь, рябью покрывшую все тело:

— С весны простыл. Чирьяки это.

К концу обмера чины, посоветовавшись за столом, решили:

— В армию.

— В Двенадцатый полк, Мелехов. Слышишь?

Григория отпустили. Направляясь к двери, он услышал брезгливый шепот:

— Нель-зя-а-а. Вообразите, увидит государь такую рожу, что тогда? У него одни глаза…

— Переродок! С Востока, наверное.

— Притом тело нечисто, чирьи…

Хуторные, ожидавшие очереди, окружили Григория.

— Ну как, Гришка?

— Куда?

— В Атаманский, небось?

— Сколько заважил на весах?

Чикиляя на одной ноге, Григорий просунул ногу в штанину, ответил сквозь зубы:

— Отвяжитесь, какого черта надо? Куда? В Двенадцатый полк.

— Коршунов Дмитрий, Каргин Иван. — Писарь высунул голову.

На ходу застегивая полушубок, Григорий обежал с крыльца.

Ростепель дышала теплым ветром, парилась оголенная местами дорога. Через улицу пробегали клохчущие куры, в лужине, покрытой косой плывущей рябью, шлепали гуси. Лапы их розовели в воде, оранжево-красные, похожие на зажженные морозом осенние листья.

Через день начался осмотр лошадей. По площади засновали офицеры; развевая полами шинелей, прошли ветеринарный врач и фельдшер с кономером. Вдоль ограды длинно выстроились разномастные лошади. К поставленному среди площади столику, где писарь записывал результаты осмотра и обмера, оскользаясь, пробежал от весов вешенский станичный атаман Дударев, прошел военный пристав, что-то объясняя молодому сотнику, сердито дрыгая ногами.

Григорий, по счету сто восьмой, подвел коня к весам. Обмерили все участки на конском теле, взвесили его, и не успел конь сойти с платформы, — ветеринарный врач снова, с привычной властностью, взял его за верхнюю губу, осмотрел рот; сильно надавливая, ощупал грудные мышцы и, как паук, перебирая цепкими пальцами, перекинулся к ногам.

Он сжимал коленные суставы, стукал по связкам сухожилий, жал кость над щетками…

Долго выслушивал и выщупывал насторожившегося коня и отошел, развевая полами белого халата, сея вокруг терпкий запах карболовой кислоты.

Коня забраковали. Не оправдалась надежда деда Сашки, и у дошлого врача хватило «хисту» найти тот потаенный изъян, о котором говорил дед Сашка.

Взволнованный Григорий посоветовался с отцом и через полчаса, между очередью, ввел на весы Петрова коня. Врач пропустил его, почти не осматривая.

Тут же неподалеку выбрал Григорий место посуше и, расстелив попону, выложил на нее свое снаряжение; Пантелей Прокофьевич держал позади коня, переговариваясь с другим стариком, тоже провожавшим сына.

Мимо них в бледно-серой шинели и серебристой каракулевой папахе прошел высокий седой генерал. Он слегка заносил вперед левую ногу, помахивая рукой, затянутой в белую перчатку.

— Вон окружной атаман, — шепнул Пантелей Прокофьевич, толкая сзади Григория.

— Генерал, видно?

— Генерал-майор Макеев. Строгий дуром!

Позади атамана толпой шли приехавшие из полков и батарей офицеры. Один подъесаул,

широкий в плечах и бедрах, в артиллерийской форме, громко говорил товарищу, высокому красавцу офицеру из лейб-гвардии Атаманского полка:

— …Что за черт! Эстонская деревушка, народ преимущественно белесый, и таким резким контрастом эта девушка, да ведь не одна! Мы строим различные предположения и вот узнаем, что лет двадцать назад… — Офицеры шли мимо, удаляясь от места, где Григорий раскладывал на попоне свою казацкую справу, и он, за ветром, с трудом расслышал покрытые смехом офицеров последние слова артиллериста-подъесаула: — …оказывается, стояла в этой деревушке сотня вашего Атаманского полка.

Писарь пробежал, застегивая дрожащими, измазанными в химических чернилах пальцами пуговицы сюртука, вслед ему помощник окружного пристава, распаляясь, кричал:

— В трех экземплярах, оказано тебе! Закатаю!

Григорий с любопытством всматривался в незнакомые лица офицеров и чиновников. На нем остановил скучающие влажные глаза шагавший мимо адъютант и отвернулся, повстречавшись с внимательным взглядом; догоняя его, почти рысью, шел старый сотник, чем-то взволнованный, кусающий желтыми зубами верхнюю губу. Григорий заметил, как над рыжей бровью сотника трепетал, трогая веко, живчик.

Под ногами Григория лежала ненадеванная попона, на ней порядком разложены седло с окованным, крашенным в зеленое ленчиком, с саквами и задними сумами, две шинели, двое шаровар, мундир, две пары сапог, белье, фунт и пятьдесят четыре золотника сухарей, банка консервов, крупа и прочая, в полагаемом для всадника количестве, снедь.

В раскрытых сумах виднелся круг — на четыре ноги — подков, ухнали, завернутые в промасленную тряпку, шитвянка с двумя иголками и нитками, полотенце.

В последний раз оглядел Григорий свои пожитки, присел на корточки и вытер рукавом измазанные края вьючных пряжек. От конца площади медленно тянулась вдоль ряда выстроившихся около попон казаков комиссия. Офицеры и атаман внимательно рассматривали казачье снаряжение, приседали, подбирая полы светлых шинелей, рылись в сумках, разглядывали шитвянки, на руку прикидывали вес сумок с сухарями.

— Гля, ребята, вон энтот длинный, — говорил парень, стоявший рядом с Григорием, указывая пальцем на окружного военного пристава, — копает, как кобель хориную норю.

— Ишь, ишь, чертило!.. Суму выворачивает!

— Должно, непорядок, а то б не стал требушить.

— Чтой-то он, никак, ухнали считает?..

— Во кобель!

Разговоры постепенно смолкли, комиссия подходила ближе, до Григория оставалось несколько человек. Окружной атаман в левой руке нес перчатку, правой помахивал, не сгибая ее в локте. Григорий подтянулся, позади покашливал отец. Ветер нес по площади запах конской мочи и подтаявшего снега. Невеселое, как с похмелья, посматривало солнце.

Группа офицеров задержалась около казака, стоявшего рядом с Григорием, и по одному перешла к нему.

— Фамилия, имя?

— Мелехов Григорий.

Пристав за хлястик приподнял шинель, понюхал подкладку, бегло пересчитал застежки; другой офицер, с погонами хорунжего, мял в пальцах добротное сукно шаровар; третий, нагибаясь так, что ветер на спину ему запрокидывал полы шинели, шарил по сумам. Пристав мизинцем и большим пальцем осторожно, точно к горячему, прикоснулся к тряпке с ухналями, шлепая губами, считал.

— Почему двадцать три ухналя? Это что такое? — Он сердито дернул угол тряпки.

— Никак нет, ваше высокоблагородие, двадцать четыре.

— Что я, слепой?

Григорий суетливо отвернул заломившийся угол, прикрывший двадцать четвертый ухналь, пальцы его, шероховатые и черные, слегка прикоснулись к белым, сахарным пальцам пристава. Тот дернул руку, словно накололся, потер ее о боковину серой шинели; брезгливо морщась, надел перчатку.

Григорий заметил это; выпрямившись, зло улыбнулся. Взгляды их столкнулись, и пристав, краснея верхушками щек, поднял голос:

— Кэк смэтришь! Кэк смэтришь, казак? — Щека его, с присохшим у скулы бритвенным порезом, зарумянела сверху донизу. — Почему вьючные пряжки не в порядке? Это еще что такое? Казак ты или мужицкий лапоть?.. Где отец?

Пантелей Прокофьевич дернул коня за повод, сделал шаг вперед, щелкнул хромой ногой.

— Службу не знаешь?.. — насыпался на него пристав, злой с утра по случаю проигрыша в преферанс.

Подошел окружной атаман, и пристав стих. Окружной ткнул носком сапога в подушку седла, — икнув, перешел к следующему. Эшелонный офицер того полка, в который попал Григорий, вежливенько перерыл все — до содержимого шитвянки, и отошел последним, пятясь, закуривая на ветру.

Через день поезд, вышедший со станции Чертково, пер состав красных вагонов, груженных казаками, лошадьми и фуражом, на Лиски — Воронеж.

В одном из них, привалившись к дощатой кормушке, стоял Григорий. Мимо раздвинутых дверок вагона скользила чужая равнинная земля, вдали каруселила голубая и нежная прядка леса.

Лошади хрустели сеном, переступали, чуя зыбкую опору под ногами.

Пахло в вагоне степной полынью, конским потом, вешней ростепелью, и, далекая, маячила на горизонте прядка леса, голубая, задумчивая и недоступная, как вечерняя неяркая звезда.

* ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ *

I

В марте 1914 года в ростепельный веселый день пришла Наталья к свекру. Пантелей Прокофьевич заплетал пушистым сизым хворостом разломанный бугаем плетень. С крыши капало, серебрились сосульки, дегтярными полосками чернели на карнизе следы стекавшей когда-то воды.

Ласковым телком притулялось к оттаявшему бугру рыжее потеплевшее солнце, и земля набухала, на меловых мысах, залысинами стекавших с обдонского бугра, малахитом зеленела ранняя трава.

Наталья, изменившаяся и худая, подошла сзади к свекру, наклонила изуродованную, покривленную шею:

— Здорово живете, батя.

— Натальюшка! Здорово, милая, здорово! — засуетился Пантелей Прокофьевич. Хворостина, выпавшая из рук его, свилась и выпрямилась. — Ты чего ж это глаз не кажешь? Ну, пойдем в курень, погоди, мать-то тебе возрадуется.

— Я, батя, пришла… — Наталья неопределенно повела рукой и отвернулась. — Коль не

прогоните, останусь навовсе у вас…

— Что ты, что ты, любушка! Аль ты нам чужая? Григорий вон прописал в письме… Он, девка, об тебе наказывал справиться.

Пошли в курень. Пантелей Прокофьевич хромал, суетливо и обрадованно.

Ильинична, обнимая Наталью, уронила частую цепку слез, шепнула, сморкаясь в завеску:

— Дитя б надоть тебе… Оно б его присушило. Ну, садись. Сем-ка я блинчиков достану?

— Спаси Христос, маманя. Я вот… пришла…

Дуняшка, вся в зареве румянца, вскочила с надворья в кухню и с разбегу обхватила Натальины колени.

— Бесстыжая! Забыла про нас!..

— Сбесилась, кобыла! — крикнул притворно-строго на нее отец.

— Большая-то ты какая… — роняла Наталья, разжимая Дуняшкины руки и заглядывая ей в лицо.

Заговорили разом все, перебивая друг друга и замолкая. Ильинична, подпирая щеку ладонью, горюнилась, с болью вглядываясь в непохожую на прежнюю Наталью.

— Совсем к нам? — допытывалась Дуняшка, теребя Натальины руки.

— Кто его знает…

— Чего ж там, родная жена да гдей-то будет жить! Оставайся! — решила Ильинична и угощала сноху, двигая по столу глиняную чашку, набитую блинцами.

Пришла Наталья к свекрам после долгих колебаний. Отец ее не пускал, покрикивал и стыдил, разубеждая, но ей неловко было после выздоровления глядеть на своих и чувствовать себя в родной когда-то семье почти чужой. Попытка на самоубийство отдалила ее от родных. Пантелей Прокофьевич сманивал ее все время после того, как проводил Григория на службу. Он твердо решил взять ее в дом и примирить с Григорием.

С того дня Наталья осталась у Мелеховых. Дарья внешне ничем не проявляла своего недовольства; Петро был приветлив и родствен, а косые редкие взгляды Дарьи искупались горячей Дуняшкиной привязанностью к Наталье и отечески-любовным отношением стариков.

На другой же день, как только Наталья перебралась к свекрам, Пантелей Прокофьевич под свой указ заставил Дуняшку писать Григорию письмо.

«Здравствуй, дорогой сын наш Григорий Пантелеевич! Шлем мы тебе нижайший поклон и от всего родительского сердца, с матерью твоей Василисой Ильинишной, родительское благословение. Кланяется тебе брат Петр Пантелеевич с супругой Дарьей Матвеевной и желает тебе здравия и благополучия; ишо кланяется тебе сестра Евдокея и все домашние. Письмо твое, пущенное от февраля пятого числа, мы получили и сердечно благодарим за него.

А если, ты прописал, конь засекается, то заливай ему свиным нутряным салом, ты знаешь, и на задок не подковывай, коли нету склизости, или, сказать, гололедицы. Жена твоя Наталья Мироновна проживает у нас и находится в здравии и благополучии.

Сушеной вишни мать тебе посылает и пару шерстяных чулок, а ишо сала и разного гостинцу. Мы все живы и здоровы, а дите у Дарьи померло, о чем сообщаем. Надысь крыли с Петром сараи, и он тебе велит коня блюсть и сохранять. Коровы потелились; старая кобыла починает, отбила вымя, и видно, как жеребенок у ней в пузе стукает. Покрыл ее с станишной конюшни жеребец по кличке Донец, и на пятой неделе поста ждем. Мы рады об твоей службе и что начальство одобряет тебя. Ты служи, как и полагается. За царем служба не пропадет. А Наталья теперича будет у нас проживать, и ты об этом подумай. А ишо беда: на масленую зарезал зверь трех овец. Ну, бывай здоров и богом хранимый. Про жену не забывай, мой тебе

приказ. Она ласковая баба и в законе с тобой. Ты борозду не ломай и отца слухай.

Твой родитель, старший урядник Пантелей Мелехов».

Полк Григория стоял в четырех верстах от русско-австрийской границы, в местечке Радзивиллово. Григорий писал домой изредка. На сообщение о том, что Наталья пришла к отцу, ответил сдержанно, просил передать ей поклон; содержание писем его было уклончиво и мутно. Пантелей Прокофьевич заставлял Дуняшку или Петра перечитывать их по нескольку раз, вдумываясь в затаенную меж строк неведомую Григорьеву мысль. Перед пасхой он в письме прямо поставил вопрос о том, будет ли Григорий по возвращении со службы жить с женой или по-прежнему с Аксиньей.

Григорий ответ задержал. После троицы получили от него короткое письмо. Дуняшка читала быстро, глотая концы слов, и Пантелей Прокофьевич с трудом поспевал улавливать смысл, откидывая бесчисленные поклоны и расспросы. В конце письма Григорий касался вопроса о Наталье:

«…Вы просили, чтоб я прописал, буду я аль нет жить с Натальей, но я вам, батя, скажу, что отрезанную краюху не прилепишь. И чем я Наталью теперь примолвлю, как у меня, сами знаете, дите? А сулить я ничего не могу, и мне об этом муторно гутарить. Нады поймали на границе одного с контрабандой, и нам довелось его повидать, объясняет, что вскорости будет с австрийцами война и царь ихний будто приезжал к границе, осматривал, откель зачинать войну и какие земли себе захапать. Как зачнется война, может, и я живой не буду, загодя нечего решать».

Наталья работала у свекра и жила, взращивая бессознательную надежду на возвращение мужа, опираясь на нее надломленным духом. Она ничего не писала Григорию, но не было в семье человека, кто бы с такой тоской и болью ожидал от него письма.

Обычным, нерушимым порядком шла в хуторе жизнь: возвратились отслужившие сроки казаки, по будням серенькая работа неприметно сжирала время, по воскресеньям с утра валили в церковь семейными табунами; шли казаки в мундирах и праздничных шароварах; длинными шуршащими подолами разноцветных юбок мели пыль бабы, туго затянутые в расписные кофточки с буфами на морщиненных рукавах.

А на квадрате площади дыбились задранные оглобли повозок, визжали лошади, сновал разный народ; около пожарного сарая болгары-огородники торговали овощной снедью, разложенной на длинных ряднах, позади них кучились оравами ребятишки, глазея на распряженных верблюдов, надменно оглядывавших базарную площадь, и толпы народа, перекипавшие краснооколыми фуражками и цветастой россыпью бабьих платков. Верблюды пенно перетирали бурьянную жвачку, отдыхая от постоянной работы на чигаре, и в зеленоватой сонной полуде застывали их глаза.

По вечерам в топотном звоне стонали улицы, игрища всплескивались в песнях, в пляске под гармошку, и лишь поздней ночью догорали в теплой сухмени последние на окраинах песни.

Наталья на игрища не ходила, с радостью выслушивала бесхитростные Дуняшкины рассказы. Невидя выровнялась Дуняшка в статную и по-своему красивую девку. Рано вызрела, как яблоко-скороспелка. В этом Году, отрешая от ушедшего отрочества, приняли ее старшие подруги в девичий свой круг. Вышла Дуняшка в отца: приземистая собой, смуглая.

Пятнадцатая весна минула, не округлив тонкой угловатой ее фигуры. Была в ней смесь, жалкая и наивная, детства и расцветающей юности, крепли и заметно выпирали под кофтенкой небольшие, с кулак, груди, раздавалась в плечах; а в длинных чуть косых разрезах глаз все те же застенчивые и озорные искрились черные, в синеве белков миндалины. Приходя с игрищ, она Наталье одной рассказывала немудрые свои секреты.

— Наташа, светочка, что-то хочу рассказать…

— Ну, расскажи.

— Мишка Кошевой вчерась целый вечер со мной просидел на дубах возле гамазинов.

— Чего же ты скраснелась?

— И ничуть!

— Глянь в зеркало — чисто полымя.

— Ну, погоди! Ты ж пристыдила…

— Рассказывай, я не буду.

Дуняшка смуглыми ладонями растирала полыхавшие щеки, прижимая пальцы к вискам, вызванивала молодым беспричинным смехом:

— «Ты, гутарит, как цветок лазоревый!..»

— Ну-ну? — подбадривала Наталья, радуясь чужой радости и забывая о своей растоптанной и минувшей.

— А я ему: «Не бреши, Мишка!» А он божится. — Дуняшка бубенцами рассыпала смех по горнице, мотала головой, и черные, туго заплетенные косички ящерицами скользили по плечам ее и по спине.

— Чего ж он ишо плел?

— Утирку, мол, дай на память.

— Дала?

— Нет, говорю, не дам. Поди у своей крали попроси. Он ить с Ерофеевой снохой… Она жалмерка, гуляет.

— Ты подальше от него.

— Я и так далеко. — Дуняшка, осиливая пробивающуюся улыбку, рассказывала: — С игрищ идем домой, трое нас, девок; и догоняет нас пьяный дед Михей. «Поцелуйте, шумит; хороши мои, по семаку [21] отвалю». Как кинется на нас, а Нюрка его хворостиной через лоб. Насилу убегли!

Сухое тлело лето. Против хутора мелел Дон, и там, где раньше быстрилось шальное стремя, образовался брод, на тот берег переходили быки, не замочив спины. Ночами в хутор сползала с гребня густая текучая духота, ветер насыщал воздух пряным запахом прижженных трав. На отводе горели сухостойные бурьяны, и сладкая марь невидимым пологом висела над Обдоньем. Ночами густели за Доном тучи, лопались сухо и раскатисто громовые удары, но не падал на землю, пышущую горячечным жаром, дождь, вхолостую палила молния, ломая небо на остроугольные голубые краюхи.

По ночам на колокольне ревел сыч. Зыбкие и страшные висели над хутором крики, а сыч с колокольни перелетал на кладбище, ископыченное телятами, стонал над бурыми затравевшими могилами.

— Худому быть, — пророчили старики, заслышав с кладбища сычиные выголоски.

— Война пристигнет.

— Перед турецкой кампанией накликал так вот.

— Может, опять холера?

— Добра не жди, с церкви к мертвецам слетает.

— Ох, милостивец, Микола-угодник…

Шумилин Мартин, брат безрукого Алексея, две ночи караулил проклятую птицу под кладбищенской оградой, но сыч — невидимый и таинственный — бесшумно пролетал над ним, садился на крест в другом конце кладбища, сея над сонным хутором тревожные клики. Мартин непристойно ругался, стреляя в черное обвислое пузо проплывающей тучи, и уходил. Жил он тут же под боком. Жена его, пугливая хворая баба, плодовитая, как крольчиха, —

рожавшая каждый год, — встречала мужа упреками:

— Дурак, истованный дурак! Чего он тебе, вражина, мешает, что ли? А как бог накажет? Хожу вот на последях, а ну как не разрожусь через тебя, чертяку?

— Цыц, ты! Небось, разродишься! Расходилась, как бондарский конь. А чего он тут, проклятый, в тоску вгоняет? Беду, дьявол, кличет. Случись война — заберут, а ты их вон сколько нащенила. — Мартин махал в угол, где на полсти плелись мышиные писки и храп спавших вповалку детей.

Мелехов Пантелей, беседуя на майдане со стариками, веско доказывал:

— Пишет Григорий наш, что астрицкий царь наезжал на границу и отдал приказ, чтоб всю свою войску согнать в одну месту и идтить на Москву и Петербург.

Старики вспоминали минувшие войны, делились предположениями:

— Не бывать войне, по урожаю видать.

— Урожай тут ни при чем.

— Студенты мутят, небось.

— Мы об этом последние узнаем.

— Как в японскую войну.

— А коня сыну-то справил?

— Чего там загодя…

— Брехни это!

— А с кем война-то?

— С турками из-за моря. Море никак не разделют.

— И чего там мудреного? Разбили на улеши, вот как мы траву, и дели!

Разговор замазывался шуткой, и старики расходились.

Караулил людей луговой скоротечный покос, доцветало за Доном разнотравье, невровень степному, квелое и недуховитое. Одна земля, а соки разные высасывает трава; за бугром в степи клеклый чернозем что хрящ: табун прометется — копытного следа не увидишь; тверда земля, и растет по ней трава сильная, духовитая, лошади по пузо; а возле Дона и за Доном мочливая, рыхлая почва гонит травы безрадостные и никудышные, брезгает ими и скотина в иной год.

Отбивали косы по хутору, выстругивали грабельники, бабы квасы томили косарям на утеху, а тут приспел случай, колыхнувший хутор от края до другого: приехал становой пристав со следователем и с чернозубым мозглявеньким офицером в форме, досель невиданной; вытребовали атамана, согнали понятых и прямиком направились к Лукешке косой.

Следователь нес в руке парусиновую фуражку с форменным значком. Шли вдоль плетней левой стороной улицы, на стежке лежали солнечные пятна, и следователь, наступая на них запыленными ботинками, расспрашивал атамана, по-петушиному забегавшего вперед:

— Приезжий Штокман дома?

— Так точно, ваше благородие.

— Чем он занимается?

— Известно, мастеровщина… стругает себе.

— Ничего не замечал за ним?

— Никак нет.

Пристав на ходу давил пальцами угнездившийся меж бровей прыщ; отдувался, испревая в суконном мундире. Чернозубый офицерик ковырял в зубах соломинкой, морщил обмяклые в красноте складки у глаз.

— Кто у него бывает? — допытывался следователь, отводя рукой забегавшего наперед

атамана.

— Бывают, так точно. Иной раз в карты поигрывают.

— Кто же?

— С мельницы больше, рабочие.

— А кто именно?

— Машинист, весовщик, вальцовщик Давыдка и кое-кто из наших казаков учащивает.

Следователь остановился, поджидая отставшего офицера, фуражкой вытер пот на переносице. Он что-то сказал офицеру, вертя в пальцах пуговицу его мундира, и помахал атаману пальцем. Тот подбежал на носках, удерживая дыхание. На шее его вздулись и дрожали перепутанные жилы.

— Возьми двух сидельцев и пойди их арестуй. Гони в правление, а мы сейчас придем. Понятно?

Атаман вытянулся, свисая верхней частью туловища так, что на стоячий воротник мундира синим шнуром легла самая крупная жила, и, мыкнув, зашагал обратно.

Штокман в исподней рубахе, расстегнутой у ворота, сидел спиной к двери, выпиливая ручной пилкой на фанере кривой узор.

— Потрудитесь встать. Вы арестованы.

— В чем дело?

— Вы две комнаты занимаете?

— Да.

— Мы у вас произведем обыск. — Офицер, зацепившись шпорой о коврик у порога, прошел к столику и, щурясь, взял первую попавшуюся книгу.

— Позвольте ключи от этого сундука.

— Чему я обязан, господин следователь?..

— Мы успеем с вами поговорить. Понятой, ну-ка!

Из второй комнаты выглянула жена Штокмана, оставив дверь неприкрытой. Следователь, за ним писарь прошли туда.

— Это что такое? — тихо спросил офицер, держа на отлете книгу в желтом переплете.

— Книга. — Штокман пожал плечами.

— Остроты прибереги для более подходящего случая. Я тебя попрошу отвечать на вопросы иным порядком!

Штокман прислонился к печке, давя кривую улыбку. Пристав заглянул офицеру через плечо и перевел глаза на Штокмана.

— Изучаете?

— Интересуюсь, — сухо ответил Штокман, маленькой расческой разделив черную бороду на две равные половины.

— Та-а-ак-с.

Офицер перелистал страницы и бросил книгу на стол; бегло проглядел вторую; отложив ее в сторону и прочитав обложку третьей, повернулся к Штокману лицом:

— Где у тебя еще хранится подобная литература?

Штокман прищурил левый глаз, словно целясь:

— Все, что имеется, тут.

— Врешь! — четко кинул офицер, помахивая книгой.

— Я требую…

— Ищите!

Пристав, придерживая рукой шашку, подошел к сундуку, где рылся в белье и одежде рябоватый, как видно напуганный происходящим, казак-сиделец.

— Я требую вежливого обращения, — договорил Штокман, целясь прищуренным глазом офицеру в переносицу.

— Помолчите, любезный.

В половине, которую занимал Штокман с женой, перекопали все, что можно было перекопать. Обыск произвели и в мастерской. Усердствовавший пристав даже стены остукал согнутым пальцем.

Штокмана довели в правление. Шел он впереди сидельца, посреди улицы, заложив руку за борт старенького пиджака; другой помахивал, словно отряхивая прилипшую к пальцам грязь; остальные шли вдоль плетней по стежке, испещренной солнечными крапинами. Следователь так же наступал на них ботинками, обзелененными лебедой, только фуражку не в руке нес, а надежно нахлобучил на бледные хрящи ушей.

Допрашивали Штокмана последним. В передней жались охраняемые сидельцем уже допрошенные: Иван Алексеевич, не успевший вымыть измазанных мазутом рук, неловко улыбающийся Давыдка, Валет в накинутом на плечи пиджаке и Кошевой Михаил.

Следователь, роясь в розовой папке, спросил у Штокмана, стоявшего по ту сторону стола:

— Почему вы скрыли, когда я вас допрашивал по поводу убийства на мельнице, что вы член РСДРП?

Штокман молча смотрел выше следовательской головы.

— Это установлено. Вы за свою работу понесете должное, — взвинченный молчанием, кидал следователь.

— Прошу вас начинать допрос, — скучающе уронил Штокман и, косясь на свободный табурет, попросил разрешения сесть.

Следователь промолчал; шелестя бумагой, глянул исподлобья на спокойно усаживавшегося Штокмана:

— Когда вы сюда прибыли?

— В прошлом году.

— По заданию своей организации?

— Без всяких заданий.

— С какого времени вы состоите членом вашей партии?

— О чем речь?

— Я спрашиваю, — следователь подчеркнул «я», — с какого времени вы состоите членом РСДРП?

— Я думаю, что…

— Мне абсолютно неинтересно знать, что вы думаете. Отвечайте на вопрос. Запирательство бесполезно, даже вредно. — Следователь отделил одну бумажку и придавил ее к столу указательным пальцем. — Вот справка из Ростова, подтверждающая вашу принадлежность к означенной партии.

Штокман узко сведенными глазами скользнул по беленькому клочку бумаги, на минуту задержал на нем взгляд и, поглаживая руками колено, твердо ответил:

— С тысяча девятьсот седьмого года.

— Так. Вы отрицаете то, что вы посланы сюда вашей партией?

— Да.

— В таком случае, зачем вы сюда приехали?

— Здесь ощущалась нужда в слесарной работе.

— Почему вы избрали именно этот район?

— По этой же причине.

— Имеете ли вы или имели за это время связь с вашей организацией?

— Нет.

— Знают они, что вы поехали сюда?

— Наверное.

Следователь чинил перламутровым перочинным ножичком карандаш, топыря губы; не смотрел на Штокмана.

— Имеете ли вы с кем из своих переписку?

— Нет.

— А то письмо, которое было обнаружено при обыске?

— Это письмо товарища, не имеющего, пожалуй, никакого отношения ни к какой революционной организации.

— Получали ли вы какие-либо директивы из Ростова?

— Нет.

— С какой целью собирались у вас рабочие мельницы?

Штокман передернул плечами, словно удивляясь нелепости вопроса.

— Просто собирались зимними вечерами… Просто время коротали. Играли в карты…

— Читали запрещенные законом книги, — подсказал следователь.

— Нет. Все они малограмотные.

— Однако машинист мельницы и все остальные этого факта не отрицают.

— Это неправда.

— Мне кажется, вы просто не имеете элементарного понятия… — Штокман в этом месте улыбнулся, и следователь, роняя разговорную нить, докончил со сдержанной злобой: — Просто не имеете здравого рассудка! Вы запираетесь в ущерб самому себе. Вполне понятно, что вы посланы сюда вашей партией, чтобы вести разлагающую работу среди казаков, чтобы вырвать их из рук правительства. Я не понимаю: к чему тут игра втемную? Все равно это не может умалить вашей вины…

— Это ваши догадки. Разрешите закурить? Благодарю вас. Это догадки, притом ни на чем не основанные.

— Позвольте, читали вы рабочим, посещавшим вас, вот эту книжонку? — Следователь положил ладонь на небольшую книгу, прикрывая заглавие. Вверху черная на белом углилась надпись: «Плеханов».

— Мы читали стихи, — вздохнул Штокман и затянулся папироской, накрепко сжимая промеж пальцев костяной с колечками мундштук…

На другой день, хилым и пасмурным утром, выехал из хутора запряженный парой почтовый тарантас. В задке, кутая бороду в засаленный куцый воротник пальто, сидел, подремывая, Штокман. По бокам его жались вооруженные шашками сидельцы. Один из них, рябой и курчавый, крепко сжимал локоть Штокмана узловатыми грязными пальцами, косясь на него испуганными белесыми глазами, левой рукой придерживая облезлые ножны шашки.

Тарантас бойко пылил по улице. За двором Мелехова Пантелея, прислонясь к гуменному плетню, ждала их укутанная в платок маленькая женщина.

Тарантас пропылил мимо, и женщина, сжимая на груди руки, кинулась следом:

— Ося!.. Осип Давыдыч! Ох, как же?!

Штокман хотел помахать ей рукой, но рябой сиделец, подпрыгнув, склещил на его руке грязные пальцы, дичалым хриплым голосом крикнул:

— Сиди! Зарублю!..

В первый раз за свою простую жизнь видел он человека, который против самого царя шел.

II

Где-то позади, в сером слизистом тумане осталась длинная дорога от Маньково-Калитвенской слободы до местечка Радзивиллово. Пытался Григорий вспомнить оставшийся позади путь, но ничего связного не выходило; красные станционные постройки, татакающие под шатким полом колеса вагонов, запах конских испражнений и сена, бесконечные нити рельсов, стекавшие из-под паровоза, дым, мимоходом заглядывавший в дверки вагонов, усатая рожа жандарма на перроне не то в Воронеже, не то в Киеве…

На полустанке, где сгружались, толпились офицеры и какие-то в серых свитках бритые люди, разговаривавшие на чужом, непонятном языке. Лошадей долго выводили из вагонов по подмостям, помощник эшелонного скомандовал седловку, повел триста с лишним казаков к ветеринарному лазарету. Длинная процедура с осмотром лошадей. Разбивка по сотням. Снующие вахмистры и урядники. В первую сотню отбирали светло-гнедых лошадей; во вторую — серых и буланых; в третью — темно-гнедых; Григория отбили в четвертую, где подбирались лошади золотистой масти и просто гнедой; в пятую — светло-рыжей и в шестую — вороной. Вахмистры разбили казаков повзводно и повели к сотням, разбросанным по имениям и местечкам.

Бравый лупоглазый вахмистр Каргин с нашивками за сверхсрочную службу, проезжая мимо Григория, спросил:

— Какой станицы?

— Вешенской.

— Куцый? [22]

Григорий, под сдержанный смешок казаков-иностаничников, молча проглотил оскорбление.

Дорога вывела на шоссе. Донские кони, в первый раз увидевшие шоссейную дорогу, ступили на нее, постригивая ушами и храпя, как на речку, затянутую льдом, потом, освоились и пошли, сухо выщелкивая свежими, непотертыми подковами. Искромсанная лезвиями чахлых лесков, лежала чужая, польская, земля. Парился хмурый теплый день, и солнце, тоже как будто не донское, бродило где-то за кисейной занавесью сплошных туч.

Имение Радзивиллово находилось в четырех верстах от полустанка. Казаков на полпути обогнал шибко прорысивший эшелонный с ординарцем. До имения доехали в полчаса.

— Это что за хутор? — спросил у вахмистра казачок Митякинской станицы, указывая на купу оголенных макушек сада.

— Хутор? Ты про хутора забывай, стригун митякинский! Это тебе не Область войска Донского.

— А что это, дяденька?

— Какой я тебе дяденька? Ать нашелся племяш! Это, братец ты мой, имение княгини Урусовой. Тут, самое, наше четвертая сотня помещается.

Тоскуя и выглаживая конскую шею, Григорий давил ногами стремена, глядел на аккуратный двухэтажный дом, на деревянный забор, на чудного вида дворовые постройки. Ехали мимо сада, и нагие деревья одинаковым языком шептались с ветром, так же, как и там, в покинутой далекой Донщине.

Нудная и одуряющая потекла жизнь. Молодые казаки, оторванные от работы, томились первое время, отводя душу в разговорах, перепадавших в свободные часы. Сотня поселилась в больших, крытых черепицей флигелях; спали на нарах, раскинутых возле окон. По ночам далеким пастушьим рожком брунжала отставшая от рамы, заклеивавшая щель бумага, и Григорий, прислушиваясь в многоголосом храпе к ее звону, чувствовал, как исходит весь

каменной горючей тоской. Тонкое вибрирующее брунжанье щипцами хватало где-то под сердцем; в такие минуты беспредельно хотелось Григорию встать, пройти в конюшню, заседлать Гнедого и гнать его, роняя пенное мыло на глухую землю, до самого дома.

В пять часов побудка на уборку лошадей, чистка. За куценькие полчаса, пока выкармливали лошадей на коновязях овсом, перекидывались короткими фразами.

— Погано тут, ребяты!

— Мочи нету!

— А вахмистр — вот сука-то! Копыты коню промывать заставляет.

— Теперя дома блины трескают, масленая…

— Девку бы зараз пошшупал, эх!

— Я, братушки, ноне во сне видал, будто косим мы с батей сено в лугу, а миру кругом высыпало, как ромашки за гумнами, — говорил, сияя ласковыми телячьими глазами, смирный Прохор Зыков. — Косим мы это, трава так и полегает… Ажник дух во мне играет!..

Жена теперича скажет: «Что-то мой Миколушка делает?»

— Ого-го-го! Она, брат, небось, со свекром в голопузика играет.

— Ну, уж ты…

— Да ни в жисть не стерпит любая баба, чтоб без мужа на стороне не хлебнуть.

— Об чем вы горюете? Кубыть, корчажка с молоком, приедем со службы — и нам достанется.

На всю сотню весельчак и похабник, бессовестный и нагловатый Егорка Жарков встревал в разговор, подмигивая и грязно улыбаясь:

— Дело известное: твой батя снохе не спустит. Кобелина добрый. Так же вот было раз… — Он играл глазами, оглядывая слушателей. — Повадился один такой-то к снохе, покою не дает, а муж мешается. Он ить что придумал? Ночью вышел на баз и растворил нарошно ворота, скотина вся и ходит по базу. Он и говорит сыну: «Ты, такой-сакой, чего ж так дверцы прикрывал? Гля: скотина вся вышла, поди загони!» Он-то думал, дескать, сын выйдет, а он тем часом к снохе прилабунится, а сын заленился. «Поди, — шепчет жене, — загони». Энта и пошла. Вот он лежит, слухает, а отец сполз с пригрубка и на коленях к кровати гребется. Сын-то, не будь дурак, скалку взял с лавки и ждет. Вот это отец подполз к кровати и только рукой лапнул, а сын его скалом кы-ы-ык потянет через лысину. «Тпрусь, шумит, проклятый! Повадился дерюжку жевать!..» А у них телок в куренях ночевал и все подойдет, да и жует одежду. Сын-то навроде как на телка, а сам батяню резанул и лежит, помалкивает… Старик-то дополз до пригрубка, лежит, шишку обминает, а она взыграла с гусиное яйцо. Вот лежал, лежал и говорит: «Иван, а Иван?» — «Чего ты, батя?» — «Ты кого ж это вдарил?» — «Да телка», — говорит. А старик ему со слезьми: «Какой же, грит, из тебя, к чертовой матери, хозяин будет, ежели ты так скотину бьешь?»

— А здоров ты брехать.

— На цепь тебя, рябого.

— Что за базар? Разойдись! — орал вахмистр, подходя, и казаки расходились к лошадям, посмеиваясь и перебрасываясь шутками. После чая выходили на строевые занятия. Урядники выколачивали домашнюю закваску.

— Пузо-то подбери, эй ты, требуха свиная!

— Равнение, на-пра-во, ша-агом…

— Взвод, стой!

— Арш!

— Эй, левофланговый, как стоишь, мать твою?..

Господа офицеры стояли в стороне и, наблюдая, как гоняют по широкому задворью

казаков, курили, иногда вмешиваясь в распоряжения урядников.

Глядя на вылощенных, подтянутых офицеров в нарядных бледно-серых шинелях и красиво подогнанных мундирах, Григорий чувствовал между собой и ими неперелазную невидимую стену; там аккуратно пульсировала своя, не по-казачьи нарядная, иная жизнь, без грязи, без вшей, без страха перед вахмистрами, частенько употреблявшими зубобой.

На Григория, да и на всех молодых казаков, тяжкое впечатление произвел случай, происшедший на третий день после приезда в имение. Учились в конном строю; лошадь Прохора Зыкова, парня с телячье-ласковыми глазами, которому часто снились сны о далекой, манившей его станице, норовистая и взгальная, при проездке лягнула вахмистерского коня. Удар был не силен и слегка лишь просек кожу на стегне левой ноги. Вахмистр наотмашь хлестнул Прохора плетью по лицу, наезжая на него конем, крикнул:

— Ты чего глядишь?.. Чего глядишь? Я тебе, с-с-сукиному сыну! Ты у меня продневалишь суток трое…

Сотенный командир, что-то приказывавший взводному офицеру, видел эту сценку и отвернулся, теребя темляк шашки, скучающе и длинно зевая. Прохор рукавом шинели вытер со вздувшейся щеки полосу проступившей крови, задрожал губами.

Выравнивая в строю лошадь, Григорий глядел на офицеров, но те разговаривали, словно ничего не случилось. Суток пять спустя Григорий на водопое уронил в колодец цебарку, вахмистр налетел на него коршуном, занес руку.

— Не трожь!.. — глухо кинул Григорий, глядя в рябившую под срубом воду.

— Что? Лезь, гад, вынимай! Морду искровеню!..

— Выну, а ты не трожь! — не поднимая головы, медленно растягивал слова Григорий.

Если б у колодца были казаки — по-иному обошлось бы дело: вахмистр, несомненно, избил бы Григория, но коноводы были у ограды и не могли слышать разговора. Вахмистр, подступая к Григорию, оглядывался на них, хрипел, выкатывая хищные, обессмысленные гневом глаза:

— Ты мне что? Ты как гутаришь с начальством?

— Ты, Семен Егоров, не насыпайся!

— Грозишь?.. Да я тебя в мокрое!..

— Вот что, — Григорий оторвал от сруба голову, — ежели когда ты вдаришь меня — все одно убью! Понял?

Вахмистр изумленно зевал квадратным сазаньим ртом, не находил ответа. Момент для расправы был упущен. Посеревшее, известкового цвета лицо Григория не сулило ничего доброго, и вахмистр растерялся. Он пошел от колодца, оскользаясь по грязи, взметанной у желоба, по которому сливали воду в долбленые корыта, и, уже отойдя, сказал, обернувшись, размахивая кулаком, как кувалдой:

— Сотенному доложу! Вот я сотенному отрапортую!

Но сотенному почему-то так и не сказал, а на Григория недели две гнал гонку, придирался к каждой пустяковине, вне очереди посылал в караулы и избегал встречаться глазами.

Нудный, однообразный распорядок дня выматывал живое. До вечера, пока трубач не проиграет зорю, мотались на занятиях в пешем и конном строю, убирали, чистили и выкармливали на коновязях лошадей, зубрили бестолковщину «словесности» и лишь в десять часов, после проверки и назначения на караулы, становились на молитву, и вахмистр, обводя построенную шеренгу круглыми оловяшками глаз, заводил отроду сиповатым голосом «Отче наш».

С утра начиналась та же волынка, и шли дни разные и в то же время похожие, как

близнецы.

На все имение, кроме старой жены управляющего, была одна женщина, на которую засматривалась вся сотня, не исключая и офицеров, — молоденькая, смазливая горничная управляющего — полька Франя. Она часто бегала из дома в кухню, где властвовал старый безбровый повар.

Сотня, разбитая на марширующие взводы, со вздохами и подмигиванием следила за шелестом серой Франиной юбки. Чувствуя на себе постоянные взгляды казаков и офицеров, Франя словно обмаслилась в потоках похоти, излучаемых тремястами глаз, и, вызывающе подрагивая бедрами, рысила из дома в кухню, из кухни в дом, улыбаясь взводам поочередно, господам офицерам в отдельности. Ее внимания добивались все, но, по слухам, преуспевал лишь курчавый и густо волосатый сотник.

Уже перед весной случилось это. В этот день Григорий дневалил на конюшне. Он чаще бывал в одном конце конюшни, где не ладили офицерские кони, попавшие в общество кобылы. Был обеденный перерыв. Григорий только что отходил плетью белоногого есаульского коня и заглянул в станок к своему Гнедому. Конь мокро хрустел сеном, косил на хозяина розовый глаз, поджимая заднюю, ушибленную на рубке ногу. Поправляя на нем недоуздок, Григорий услышал топот и приглушенный крик в темном углу конюшни. Он пошел мимо станков, слегка изумленный необычным шумом. Глаза ему залепила вязкая темнота, неожиданно хлынувшая в проход. Хлопнула дверь конюшни, и чей-то сдержанный голос шепотом крикнул:

— Скорей, ребята!

Григорий прибавил шагу.

— Кто такой?

На него наткнулся ощупью пробиравшийся к дверям урядник Попов.

— Ты, Григорий? — шепнул он, лапая плечи Григория.

— Погоди. Что тут такое?..

Урядник подребезжал виноватым смешком, схватил Григория за рукав:

— Тут… Постой, куда ты?

Григорий вырвал руку, распахнул дверь. На обезлюдевшем дворе ходила пестрая, с подрезанным хвостом курица и, не зная того, что назавтра помышляет повар приготовить из нее суп пану управляющему, походя копалась в навозе и клохтала в раздумье, где бы положить яйцо.

Свет, плеснувшийся Григорию в глаза, на секунду ослепил его, Григорий заслонил глаза ладонью и повернулся, заслышав усилившийся шум в темном углу конюшни. Касаясь рукой стенки, пошел туда; на стенке и на яслях против дверей выплясывал солнечный зайчик. Григорий шел, хмурясь от света, обжегшего зрачки. Ему навстречу попался Жарков — балагур. Он шел, на ходу застегивая ширинку спадавших шаровар, мотая головой.

— Ты чего?.. Что вы тут?..

— Иди скорей! — шепнул Жарков, дыша в лицо Григорию свонявшимся запахом грязного рта, — там… там чудо!.. Франю там затянули ребята… Расстелили… — Жарков хахакнул и, обрезав смех, глухо стукнулся спиной о рубленую стену конюшни, откинутый Григорием. Григорий бежал на шум возни, в расширенных, освоившихся с темнотой глазах его белел страх. В углу, там, где лежали попоны, густо толпились казаки — весь первый взвод. Григорий, молча раскидывая казаков, протискался вперед. На полу, бессовестно и страшно раскидав белевшие в темноте ноги, не шевелясь, лежала Франя, с головой укутанная попонами, в юбке, разорванной и взбитой выше груди. Один из казаков, не глядя на товарищей, криво улыбаясь, отошел к стене, уступая место очередному. Григорий рванулся

назад и побежал к дверям.

— Ва-а-ахмистр!..

Его догнали у самых дверей, валя назад, зажали ему ладонью рот. Григорий от ворота до края разорвал на одном гимнастерку, успел ударить другого ногой в живот, но его подмяли, так же, как Фране, замотали голову попоной, связали руки и молча, чтобы не узнал по голосу, понесли и кинули в порожние ясли. Давясь вонючей шерстью попоны, Григорий пробовал кричать, бил ногами в перегородку. Он слышал перешепоты там, в углу, скрип дверей, пропускавших входивших и уходивших казаков. Минут через двадцать его развязали. На выходе стояли вахмистр и двое казаков из другого взвода.

— Ты помалкивай! — сказал вахмистр, часто мигая и глядя вбок.

— Дуру не трепи, а то… ухи отрежем, — улыбнулся Дубок — казак чужого взвода.

Григорий видел, как двое подняли серый сверток — Франю (у нее, выпирая под юбкой острыми углами, неподвижно висели ноги) и, взобравшись на ясли, выкинули в пролом стены, где отдиралась плохо прибитая пластина. Стена выходила в сад. Над каждым станком коптилось вверху грязное крохотное окошко. Казаки застучали, взбираясь на перегородки, чтобы посмотреть, что будет делать упавшая у пролома Франя; некоторые спеша выходили из конюшни. Звериное любопытство толкнуло и Григория. Уцепившись за перекладину, он подтянулся на руках к окошку и, найдя ногами опору, заглянул вниз. Десятки глаз глядели из прокопченных окошек на лежавшую под стеной. Она лежала на спине, ножницами сводя и разводя ноги, скребла пальцами талый у стены снежок. Лица ее Григорий не видел, но слышал затаенный сап казаков, торчавших у окошек, и хруст, приятный и мягкий, сена.

Она лежала долго, потом встала на четвереньки. У нее дрожали, подламываясь, руки. Григорий ясно видел это. Качаясь, поднялась на ноги и, растрепанная, чужая и незнакомая, обвела окошки долгим-долгим взглядом.

И пошла, цепляясь одной рукой за кустики жимолости, другой опираясь о стену и отталкиваясь…

Григорий прыгнул с перегородки, растирая ладонью горло; он задыхался.

У дверей ему кто-то, он даже не помнил кто, деловито и ясно сказал:

— Вякнешь кому — истинный Христос, убьем! Ну?

На занятиях взводный офицер, увидев оторванную пуговицу на шинели Григория, спросил:

— Кто тебя тягал? Это еще что за мода?

Григорий глянул на кружок, вдавленный в сукне оторванной пуговицей; пронизанный воспоминанием, в первый раз за длинный отрезок времени чуть-чуть не заплакал.

III

Над степью — желтый солнечный зной. Желтой пылью дымятся нескошенные вызревшие заливы пшеницы. К частям косилки не притронуться рукой. Вверх не поднять головы. Иссиня-желтая наволока неба накалена жаром. Там, где кончается пшеница, — шафранная цветень донника.

Хутор скочевал в степь. Косили жито. Выматывали в косилках лошадей, задыхались в духоте, в пряной пыли, в хрипе, в жаре… Ветер, наплывавший от Дона редкими волнами, подбирал полы пыли; марью, как чадрой, кутал колючее солнце.

Петро, метавший с косилки, выпил с утра половину двухведерной баклаги. Пил теплую противную воду, и через минуту ссыхалось во рту, мокли рубаха и портки, текло с лица,

шкварился в ушах немолчный трельчатый звон, репьем застревало в горле слово. Дарья, укутав платком лицо, расстегнув прореху рубашки, копнила. В ложбинке меж побуревших грудей копился серый зернистый пот. Лошадей, запряженных в косилку, гоняла Наталья. У нее свекловицей рдели опаленные щеки, глаза слезились. Пантелей Прокофьевич ходил по рядам, как искупанный. Мокрая, непросыхающая рубаха жгла тело. Казалось, что не борода стекает у него с лица на грудь, а черная растаявшая колесная мазь.

— Взмылился, Прокофич? — крикнул с воза, проезжая мимо, Христоня.

— Мокро! — Прокофьевич махнул рукой и захромал, растирая подолом рубахи скопившуюся на животе влагу.

— Петро, — крикнула Дарья, — ох, кончай!

— Погоди, загон проедем.

— Перегодим жару. Я брошу!

Наталья остановила лошадей, задыхаясь, будто она тянула косилку, а не лошади. К ним шла Дарья, медленно переставляла по жнивью черные, потертые чириками ноги.

— Петюшка, тут ить пруд недалеко.

— Ну, уж недалеко, версты три!

— Искупаться бы.

— Покель дойдешь оттель… — вздохнула Наталья.

— И черт-те чего идтить. Коней выпрягем, и верхи!

Петро опасливо поглядел на отца, вершившего копну, махнул рукой:

— Выпрягайте, бабы!

Дарья отцепила постромки и лихо вскочила на кобылу. Наталья, ежа в улыбке растрескавшиеся губы, подвела коня к косилке, примащивалась сесть с косилочного стула.

— Давай ногу, — услужил Петро, подсаживая ее.

Поехали. Дарья с оголенными коленями и сбитым на затылок платком поскакала вперед. Она по-казацки сидела на лошади, и Петро не утерпел, чтобы не крикнуть ей вслед:

— Эй гляди, потрешь!

— Небось! — отмахнулась Дарья.

Пересекая летник, Петро глянул влево. Далеко по серой спине шляха от хутора быстро двигался меняющий очертания пыльный комок.

— Верхи какой-то бегет. — Петро сощурился.

— Шибко! Ты гля, как пылит! — удивилась Наталья.

— Что бы такое? Дашка! — крикнул Петро рысившей впереди жене. — Погоди, вон конного поглядим.

Комочек упал в лощину, выбрался оттуда увеличенный до размеров муравья.

Сквозь пыль просвечивала фигура верхового. Минут через пять стало видно отчетливей. Петро всматривался, положив на поля соломенной рабочей шляпы грязную ладонь.

— Так недолго и лошадь запалить, наметом идет.

Он, нахмурившись, снял с полей шляпы руку, некое смятение коснулось его лица и застыло на развилке приподнятых бровей.

Теперь уже ясно виден был верховой. Он шел броским наметом, левой рукой придерживал фуражку, в правой вяло вился запыленный красный флажок.

Он проскакал мимо съехавшего со шляха Петра так близко, что слышен был гулкий хрип коня, вдыхавшего в легкие раскаленный воздух, крикнул, оскалив квадратный серо-каменный рот:

— Сполох!

На след, оставленный в пыли подковой его коня, упала желтоватая пена. Петро проводил

глазами конного. Одно осталось у него в памяти: тяжкий хрип полузагнанного коня и, когда глянул вслед ему, — мокрый, отливающий стальным блеском круп.

Не осознав еще окончательно подступившего несчастья, Петро тупо оглядел трепещущую в пыли пену, степь, сползающую к хутору волнистым скатом. Со всех концов по желтым скошенным кулигам хлеба скакали к хутору казаки. По степи, до самого желтеющего в дымчатой непрогляди бугра, вздували комочки пыли всадники, а там, где, выбравшись на шлях, скакали они толпою, тянулся к хутору серый хвостище пыли. Казаки, числившиеся на военной службе, бросали работу, выпрягали из косилок лошадей, мчались в хутор. Петро видел, как Христоня выпряг из арбы своего гвардейца-коня и ударился наметом, раскорячивая длинные ноги, оглядываясь на Петра.

— Что же это? — охнула Наталья, испуганно пялясь на Петра, и взгляд ее — взгляд зайца под прицелом — встряхнул Петра.

Он подскакал к стану; прыгнув на ходу с лошади, натянул скинутые в разгаре работы шаровары и, махнув отцу рукой, растаял в таком же облачке пыли, как и те, что серыми текучими веснушками расцветили истлевавшую в зное степь.

IV

На площади серая густела толпа. В рядах — лошади, казачья справа, мундиры с разными номерами погонов. На голову выше армейцев-казаков, как гуси голландские среди мелкорослой домашней птицы, похаживали в голубых фуражках атаманцы.

Кабак закрыт. Военный пристав хмур и озабочен. У плетней по улицам — празднично одетые бабы. Одно слово в разноликой толпе: «мобилизация». Пьяные, разгоряченные лица. Тревога передается лошадям — визг и драка, гневное ржанье. Над площадью — низко повисшая пыль, на площади — порожние бутылки казенки, бумажки дешевых конфет.

Петро вел в поводу заседланного коня. Около ограды здоровенный черный атаманец, застегивая необъятные синие шаровары, щерит рот в белозубой улыбке, возле него серенькой перепелкой чечекает низкорослая казачка — жена ли, любушка ли.

— Я тебе за эту курву чертей всыплю! — обещает казачка.

Она пьяна, в распатлаченных космах — подсолнуховая лузга, развязаны концы расписного полушалка. Атаманец, затягивая пояс, приседает, улыбается: под морщеным морем шаровар годовалый телок пройдет — не зацепится.

— Не наскакивай, Машка.

— Кобель проклятый! Бабник!

— Ну так что ж?

— Гляделки твои бесстыжие!

А рядом вахмистр в рыжей оправе бороды спорит с батарейцем:

— Ничего не будет! Постоим сутки — и восвояси.

— А ну как война?

— Тю, мил друг! Супротив нас какая держава на ногах устоит?

Рядом бессвязно скачущий разговор; немолодой красивый казак горячится:

— Нам до них дела нету. Они пущай воюют, а у нас хлеба не убратые!

— Это беда-а-а! Гля, миру согнали, а ить ноне день — год кормит.

— Потравят копны скотиной.

— У нас уж ячмень зачали косить.

— Астрицкого царя, стал быть, стукнули?

— Наследника.

— Станишник, какого полка?

— Эй, односум, забогател, мать твою черт!

— Га, Стешка, ты откель?

— Атаман гутарил, дескать, на всякий случай согнали.

— Ну, казацтво, держися!

— Ишо б годок погодить им, вышел бы я из третьей очереди.

— А ты, дед, зачем? Аль не отломал службу?

— Как зачнут народ крошить — и до дедов доберутся.

— Монопольку закрыли!

— Эх, ты, свистюля! У Марфутки хучь бочонок можно купить.

Комиссия начала осмотр. В правление трое казаков провели пьяного окровавленного казака. Откидываясь назад, он рвал на себе рубаху, закатывая калмыцкие глаза, хрипел:

— Я их, мужиков, в крровь! Знай донского казака!

Кругом, сторонясь, одобрительно посмеивались, сочувствовали:

— Крой их!

— За что его сбатовали?

— Мужика какого-то изватлал!

— Их следовает!

— Мы им ишо врежем.

— Я, браток, в тысячу девятьсот пятом годе на усмирении был. То-то смеху!

— Война будет — нас опять на усмиренья будут гонять.

— Будя! Пущай вольных нанимают. Полиция пущай, а нам, кубыть, и совестно.

У прилавка моховского магазина — давка, толкотня. К хозяевам пристал подвыпивший Томилин Иван. Его увещевал, разводя руками, сам Сергей Платонович: компаньон его Емельян Константинович Цаца пятился к дверям.

— Ну, цто это такое… Цестное слово, это бесцинство! Мальцик, сбегай к атаману!

Томилин, вытирая о шаровары потные ладони, грудью пер на нахмуренного Сергея Платоновича:

— Прижал с векселем, гад, а теперя робеешь? То-то! И морду побью, ищи с меня! Заграбил наши казацкие права. Эх ты, сучье вымя! Гад!

Хуторской атаман лил масло радостных слов толпившимся вокруг него казакам:

— Война? Нет, не будет. Их благородие военный пристав говорили, что это для наглядности. Могете быть спокойными.

— Добришша! Как возвернусь домой, зараз же на поля.

— Да ить дело стоит!

— Скажи на милость, что начальство думает? У меня ить более ста десятин посеву.

— Тимошка! Перекажи нашим, мол, завтра вернемся.

— Никак, афишку читают? Айда туда.

Площадь гомонила допоздна.

Через четыре дня красные составы увозили казаков с полками и батареями к русско-австрийской границе.

Война…

В приклетях у кормушек — конский сап и смачный запах навоза. В вагонах — те же разговоры, песни, чаще всего:

Всколыхнулся, взволновался Православный тихий Дон.

И послушно отозвался На призыв монарха он.

На станциях — любопытствующе-благоговейные взгляды, щупающие казачий лампас на шароварах; лица, еще не смывшие рабочего густого загара.

Война!..

Газеты, захлебывающиеся воем…

На станциях казачьим эшелонам женщины махали платочками, улыбались, бросали папиросы и сладости. Лишь под Воронежем в вагон, где парился с остальными тридцатью казаками Петро Мелехов, заглянул пьяненький старичок железнодорожник, спросил, поводя тоненьким носиком:

— Едете?

— Садись с нами, дед, — за всех ответил один.

— Милая ты моя… говядинка! — И долго укоризненно качал головой.

V

В последних числах июня полк выступил на маневры. По распоряжению штаба дивизии полк походным порядком прошел до города Ровно. В окрестностях его развертывались две пехотные дивизии и части конной. Четвертая сотня стала постоем в деревне Владиславке.

Недели через две, когда сотня, измученная длительным маневрированием, расположилась в местечке Заборонь, из штаба полка прискакал сотенный командир, подъесаул Полковников. Григорий с казаками своего взвода отлеживался в палатке. Он видел, как по узкому руслу улицы на взмыленном коне проскакал подъесаул.

Во дворе зашевелились казаки.

— Либо опять выступать? — высказал предположение Прохор Зыков и выжидающе прислушался.

Взводный урядник воткнул в подкладку фуражки иглу (он зашивал прохудившиеся шаровары).

— Не иначе, выступать.

— Не дадут и отдохнуть, черти!

— Вахмистр гутарил, что бригадный командир наедет.

«Та-та-та — три-три-та-ти-та!..» — кинул трубач тревогу.

Казаки повскакали.

— Куда кисет запропастил? — заметался Прохор.

— Се-е-длать!

— Пропади он, твой кисет! — на бегу крикнул Григорий.

Во двор вбежал вахмистр. Придерживая рукой шашку, затрусил к коновязям. Лошадей оседлали в положенный по уставу срок. Григорий рвал приколы палатки; ему успел шепнуть урядник:

— Война, парень!

— Брешешь?

— И во тебе бог, вахмистр сообчил!

Сорвали палатки. На улице строилась сотня.

Командир сотни на разгоряченном коне вертелся перед строем.

— Взводными колоннами!.. — повис над рядами его зычный голос.

Зацокотали копыта лошадей. Сотня на рысях вышла из местечка на тракт. От деревни Кустень переменным аллюром шли к полустанку первая и пятая сотни.

День спустя полк выгрузился на станции Вербы в тридцати пяти верста-х от границы. За

станционными березками занималась заря. Погожее обещалось быть утро. На путях погромыхивал паровоз. Блестели отлакированные росой рельсы. По подмостям, храпя, сходили из вагонов лошади. За водокачкой — перекличка голосов, басовитая команда.

Казаки четвертой сотни в поводу выводили лошадей за переезд. В сиреневой рыхлой темноте вязкие плавали голоса. Мутно синели лица, контуры лошадей рассасывались в невиди.

— Какая сотня?

— А ты чей такой приблудился?

— Я тебе дам, подлец! Как с офицером раз-го-вари-вашь?

— Виноват, ваше благородие!.. Обознался.

— Проезжай, проезжай!

— Чего разлопоушился-то? Паровоз вон идет, двигай.

— Вахмистр, где у тебя третий взвод?

— Со-оотня-а, подтянись!

А в колонне тихо, вполголоса:

— Подтянулись, едрена-матрена, две ночи не спамши.

— Семка, дай потянуть, с вечеру не курил.

— Жеребца потяни…

— Чембур перегрыз, дьяволюка.

— А мой на передок расковался.

Четвертой сотне перегородила дорогу свернувшая в сторону другая сотня.

В синеватой белеси неба четко вырезались, как нарисованные тушью, силуэты всадников. Шли по четыре в ряд. Колыхались пики, похожие на оголенные подсолнечные будылья. Изредка звякнет стремя, скрипнет седло.

— Эй, братушки, вы куда ж это?

— К куме на крестины.

— Га-га-га-га!

— Молчать! Что за разговоры!

Прохор Зыков, ладонью обнимая окованную луку седла, всматривался в лицо Григория, говорил шепотом:

— Ты, Мелехов, не робеешь?

— А чего робеть-то?..

— Как же, ныне, может, в бой пойдем.

— И пущай.

— А я вот робею, — сознался Прохор и нервно перебирал пальцами скользкие от росы поводья. — Всею ночь в вагоне не спал: нету сну, хучь убей.

Голова сотни качнулась и поползла, движение передалось третьему взводу, мерно пошли лошади, колыхнулись и поплыли приторoченные к ногам пики.

Пустив поводья, Григорий дремал. Ему казалось: не конь упруго переступает передними ногами, покачивая его в седле, а он сам идет куда-то по теплой черной дороге, и идти необычайно легко, подмывающе радостно.

Прохор что-то говорил над ухом, голос его мешался с хрустом седла, копытным стуком, не нарушая обволакивающей бездумной дремы.

Шли по проселку. Баюкающая звенела в ушах тишина. Вдоль дороги дымились в росе вызревшие овсы. Кони тянулись к низким метелкам, вырывая из рук казаков поводья. Ласковый свет заползал Григорию под набухшие от бессонницы веки; Григорий поднимал голову и слышал все тот же однообразный, как скрип арбы, голос Прохора.

Пробудил его внезапно приплывший из-за далекого овсяного поля густой перекатистый гул.

— Стреляют! — почти крикнул Прохор.

Страх налил мутью его телячьи глаза. Григорий поднял голову: перед ним двигалась в такт с конской спиной серая шинель взводного урядника, сбоку млело поле с нескошенными делянами жита, с жаворонком, плясавшим на уровне телеграфного столба. Сотня оживилась, густой орудийный стон прошел по ней электрическим током. Подъесаул Полковников, подхлестнутый стрельбой, повел сотню рысью. За узлом проселочных дорог, сходившихся у брошенной корчмы, стали попадаться подводы беженцев. Мимо сотни промчался эскадрон нарядных драгун. Ротмистр с русыми баками, на рыжем кровном коне, иронически оглядел казаков и дал коню шпоры. В ложбинке, болотистой и топкой, застряла гаубичная батарея. Ездовые мордовали лошадей, около суетилась прислуга. Рослый рябой батареец нес от корчмы охапку досок, оторванных, наверное, от забора.

Сотня обогнала пехотный полк. Солдаты со скатанными шинелями шли быстро, солнце отсвечивало в их начищенных котелках и стекало с жал штыков. Ефрейтор последней роты, маленький, но бедовый, кинул в Григория комком грязи:

— Лови, в австрийцев кинешь!

— Не дури, кобылка. — Григорий на лету рассек плетью комок грязи.

— Казачки, везите им от нас поклоны!

— Сами свидетесь!

В головной колонне наяривали похабную песню; толстозадый, похожий на бабу солдат шел сбочь колонны задом, щелкая ладонями по куцым голенищам. Офицеры посмеивались. Острый душок недалекой опасности сближал их с солдатами, делал снисходительней.

От корчмы до деревни Горовищук гусеницами ползли пехотные части, обозы, батареи, лазареты. Чувствовалось смертное дыхание близких боев.

У деревни Берестечко четвертую сотню обогнал командир полка Каледин. С ним рядом ехал войсковой старшина. Григорий, провожая глазами статную фигуру полковника, слышал, как войсковой старшина, волнуясь, говорил ему:

— На трехверстке, Василий Максимович, не обозначена эта деревушка. Мы можем попасть в неловкое положение.

Ответа полковника Григорий не слышал. Догоняя их, проскакал адъютант. Конь его улегал на левую заднюю. Григорий машинально определил добротность адъютантского коня.

Вдали под покатым склоном поля показались халупы деревушки. Полк шел переменным аллюром, и лошади заметно припотели. Григорий ладонью щупал потемневшую шею своего Гнедого, посматривал по сторонам. За деревушкой, зелеными остриями вонзаясь в синеющий купол неба, виднелись вершины леса. За лесом пухнул орудийный гул; теперь он потрясал слух всадников, заставляя настораживаться лошадей, в промежутки частили ружейные залпы. Далекие таяли за лесом дымки шрапнельных разрывов, ружейные залпы отплывали куда-то правее леса, то замирая, то усиливаясь.

Григорий остро воспринимал каждый звук, нервы его все более взвинчивались. Прохор Зыков ерзал в седле, болтал не умолкая:

— Григорий, стреляют, — похоже, как ребята палкой по частоколу. Верно ить?

— Молчи ты, балабон!

Сотня подтянулась к деревушке. Во дворах кишат солдаты; в хатах — суетня: хозяева собираются выезжать. Всюду на лицах жителей лежала печать смятения и растерянности. В одном дворе Григорий, проезжая, видел: солдаты развели огонь под крышей сарая, а хозяин — высокий седой белорус, — раздавленный гнетом внезапного несчастья, ходил мимо, не

обращая внимания. Григорий видел, как семья его бросала на телегу подушки в красных наволочках, разную рухлядь, а хозяин заботливо нес сломанный обод колеса, никому не нужный, пролежавший на погребице, быть может, десяток лет.

Григорий дивился бестолковости баб, тащивших в телеги цветочные горшки, иконы и оставлявших в хатах вещи необходимые и ценные. По улице метелицей стлался выпущенный кем-то из перины пух. Воняло пригорелой сажей и погребным затхлым душком. На выезде попался им бежавший навстречу еврей. Тонкая, словно разрезанная шашкой, щель его рта раззявлена криком:

— Господин козак! Господин козак! Ах, бож-ж-же ж мой!

Маленький круглоголовый казак ехал рыском, помахивал плетью, не обращая на крик внимания.

— Стой! — крикнул казаку подъесаул из второй сотни.

Казак пригнулся к луке и нырнул в проулок.

— Стой, мерзавец! Какого полка?

Круглая голова казака припала к конской шее. Он, как на скачках, повел коня бешеным наметом, у высокого забора поднял его на дыбы и ловко перемахнул на ту сторону.

— Тут девятый полк, ваше благородие. Не иначе, с ихнего полка, — рапортовал подъесаулу вахмистр.

— Черт с ним. — Подъесаул поморщился и — обращаясь к еврею, припавшему к стремени: — Что он у тебя взял?

— Господин офицер… часы, господин офицер!.. — Еврей, поворачивая к подъехавшим офицерам красивое лицо, часто моргал глазами.

Подъесаул, отводя ногой стремя, тронулся вперед.

— Немцы придут, все равно заберут, — улыбаясь в усы, отъезжая, проговорил он.

Еврей растерянно стоял посреди улицы. По лицу его блуждала судорога.

— Дорогу, пане жидове! — строго крикнул командир сотни и замахнулся плетью.

Четвертая сотня прошла мимо него в дробной стукотени копыт, в скрипе седел. Казаки насмешливо косились на растерянного еврея, переговаривались:

— Наш брат жив не будет, чтоб не слямзить.

— К казаку всяка вещь прилипает.

— Пущай плохо не кладет.

— А ловкач энтот…

— Ишь махнул через забор, как борзой кобель!

Вахмистр Каргин приотстал от сотни и под смех, прокатившийся по рядам казаков, опустил пику.

— Беги, а то заколю!..

Еврей испуганно зевнул и побежал. Вахмистр догнал его, сзади рубанул плетью. Григорий видел, как еврей споткнулся и, закрывая лицо ладонями, повернулся к вахмистру. Сквозь тонкие пальцы его цевкой брызнула кровь.

— За что?.. — рыдающим голосом крикнул он.

Вахмистр, масля в улыбке круглые, как казенные пуговицы, коршунячьи, глаза, ответил, отъезжая:

— Не ходи босой, дурак!

За деревней в лощине, поросшей желтыми кувшинками и осокой, саперы доканчивали просторный мосток. Неподалеку стоял, гудя и сотрясаясь, автомобиль. Около него суетился шофер. На сиденье, откинувшись, полулежал толстый седой генерал, с бородкой-эспаньолкой и вислыми сумками щек. Возле, держа под козырек, стояли командир 12-го полка полковник

Каледин и командир саперного батальона. Генерал, турсуча рукой ремень полевой сумки, гневно выкрикивал, адресуясь к саперному офицеру:

— Вам приказано еще вчера закончить работу. Молчать! О подвозе строительного материала вы должны были озаботиться раньше. Молчать! — гремел генерал, несмотря на то что офицер, замкнув рот, только дрожал губами. — А теперь как мне проехать на ту сторону?.. Я вас спрашиваю, капитан, к-а-ак мне проехать?

Сидевший по левую сторону от него молодой черноусый генерал жег спички, закуривая сигару, улыбаясь. Саперный капитан, изгибаясь, на что-то указывал в сторону. Сотня прошла мимо, у моста спустилась в лощину. Буро-черная грязь выше колен забирала ноги лошадей, сверху с моста сыпались на казаков белые перья сосновых щепок.

В полдень проехали границу. Кони прыгали через поваленный полосатый пограничный столб. Орудийный гул погромыхивал справа. Вдали краснели черепичные крыши фольварка. Солнце разило землю отвесно падающими лучами. Оседала горькая тучная пыль. Командир полка отдал приказ выслать головной дозор. Из четвертой сотни выехал третий взвод со взводным офицером, сотником Семеновым. Позади в сером мареве пыли остался расчлененный на сотни полк. Отряд в двадцать с лишним казаков поскакал, минуя фольварк, по изморщиненной зачерствелыми колеями дороге.

Сотник отвел разъезд версты на три и остановился, сверяясь с картой. Казаки съехались кучей покурить. Григорий слез было ослабить подпруги, но вахмистр блеснул на него глазами:

— Я тебе чертей всыплю!.. На конь!

Сотник закурил, долго протирал вынутый из чехла бинокль. Перед ними, тронутая полуденным зноем, лежала равнина. Справа зубчатилась каемка леса, в нее вонзалось отточенное жало дороги. Версты за полторы от них виднелась деревушка, возле нее изрезанный глинистый крутояр речки и стеклянная прохлада воды. Сотник долго смотрел в бинокль, щупая глазами омертвелые в безлюдье улицы, но там было пусто, как на кладбище. Манила зазывно голубеющая стежка воды.

— Надо полагать — Королевка? — Сотник указал на деревушку глазами.

Вахмистр подъехал к нему молча. Выражение его лица без слов говорило: «Вам лучше знать. Наше дело маленькое».

— Проедем туда, — нерешительно сказал сотник, пряча бинокль и морщась, как от зубной боли.

— Не напоремся на них, ваше благородие?

— Мы осторожно. Ну, трогаем.

Прохор Зыков — поближе к Григорию. Лошади их шли рядом. В опустелую улицу въехали с опаской. Каждое окно сулило расправу, каждая распахнутая дверь сарая вызывала при взгляде на нее чувство одиночества и противную дрожь вдоль спинного хребта. Магнитом притягивало взгляды к заборам и канавам. Въехали хищниками, — так в глубокую зимнюю ночь появляются около жилья волки, — но улицы пустовали. Одуряющая висела тишина. Из раскрытого окна одного дома послышался наивный бой стенных часов, звук их лопался выстрелами, и Григорий заметил, как сотник, ехавший впереди, дрогнул, судорожно лапнул кобуру револьвера.

В деревне не было ни одной души. Разъезд вброд переехал речушку, вода подходила лошадям по пузо, они охотно шли в воду и пили на ходу, взнузданные, понукаемые всадниками. Григорий жадно всматривался во взмученную воду; близкая и недоступная, она тянула к себе непреодолимо. Если б можно было, он соскочил бы с седла, лег, не раздеваясь, под дремотный перешепот струй так, чтобы холодом и ознобом охватило спину и мокрую от

пота грудь.

За деревней с холма виден был город: квадраты кварталов, кирпичные здания, разлив садов, шпили костелов.

Сотник въехал на впалую вершину холма, приставил к глазам бинокль.

— Вон они! — крикнул, шевеля пальцами левой руки.

Вахмистр, за ним казаки по одному въезжали на выжженную солнцем вершину, всматривались. По улицам, крохотные отсюда, сновали люди, прудили переулки обозы, мельтешились конные. Григорий, щуря глаза, глядел из-под ладони; он различал даже серую, чужую окраску мундиров. Возле города бурели свежевырытые логова окопов, над ними кишели люди.

— Сколько их… — изумленно протянул Прохор.

Остальные молчали, зажатые в кулаке одного чувства. Григорий прислушивался к учащенному бою сердца (будто кто-то маленький, но тяжелый, там, в левой стороне груди, делал бег на месте) и сознавал, что владеет им совсем иное чувство при взгляде на этих чужих людей, чем то, которое испытывал он на маневрах, видя «противника».

Сотник делал в полевой книжке какие-то отметки карандашом. Вахмистр согнал с холма казаков, спешил их, поднялся к сотнику. Тот поманил Григория пальцем:

— Мелехов!

— Я.

Григорий поднялся на холм, разминая затекшие ноги. Сотник подал ему сложенную вчетверо бумажку.

— У тебя лошадь добрей остальных. К командиру полка наметом.

Григорий спрятал в грудной карман бумагу, сошел к лошади, спуская на подбородок ремень фуражки.

Сотник глядел ему вслед, выждал, пока Григорий сел на коня, и кинул взгляд на решетку ручных часов.

Полк подтягивался к Королевке, когда Григорий прискакал с донесением.

Полковник Каледин отдал распоряжение адъютанту, и тот запылил к первой сотне.

Четвертая сотня текла по Королевке и быстро, как на ученье, развернулась за околицей. От холма подскакал с казаками третьего взвода сотник Семенов.

Сотня выравнивала подкову построения. Кони мотали головами: жалил слепень; позвякивали уздечки. В полуденной тиши глухо гудел топот первой сотни, проходившей последние дворы деревни.

Подъесаул Полковников на переплясывающем статном коне выскакал перед строй; туго подбирая поводья, продел руку в темляк. Григорий, задерживая дыхание, ждал команды. На левом фланге мягко грохотала первая сотня, разворачиваясь, готовясь.

Подъесаул вырвал из ножен шашку, клинок блекло сверкнул голубизной.

— Со-о-от-ня-а-а-а-а! — Шашка накренилась вправо, влево и упала вперед, задержавшись в воздухе повыше торчмя поднятых ушей коня. «Рассыпаться лавой, и вперед», — в уме перевел Григорий немую команду. — Пики к бою, шашки вон, в атаку марш-марш! — обрезал есаул команду и выпустил коня.

Глухо охнула земля, распятая под множеством копыт. Григорий едва успел опустить пику (он попал в первый ряд), как конь, захваченный хлынувшим потоком лошадей, рванулся и понес, забирая вовсю. Впереди рябил на сером фоне поля подъесаул Полковников. Неудержно летел навстречу черный клин пахоты. Первая сотня взвыла трясучим колеблющимся криком, крик перенесло к четвертой сотне. Лошади в комок сжимали ноги и пластались, кидая назад сажени. Сквозь режущий свист в ушах Григорий услышал хлопки далеких еще выстрелов.

Первая цвинькнула где-то высоко пуля, тягучий свист ее забороздил стеклянную хмарь неба. Григорий до боли прижимал к боку горячее древко пики, ладонь потела, словно смазанная слизистой жидкостью. Свист перелетавших пуль заставлял его клонить голову к мокрой шее коня, в ноздри ему бил острый запах конского пота. Как сквозь запотевшие стекла бинокля, видел бурую гряду окопов, серых людей, бежавших к городу. Пулемет без передышки стлал над головами казаков веером разбегающийся визг пуль; они рвали впереди и под ногами лошадей ватные хлопья пыли.

В середине грудной клетки Григория словно одубело то, что до атаки суетливо гоняло кровь, он не чувствовал ничего, кроме звона в ушах и боли в пальцах левой ноги.

Выхолощенная страхом мысль путала в голове тяжелый, застывающий клубок.

Первым упал с коня хорунжий Ляховский. На него наскакал Прохор.

Оглянувшись, Григорий запечатлел в памяти кусочек виденного: конь Прохора, прыгнув через распластанного на земле хорунжего, ощерил зубы и упал, подогнув шею. Прохор слетел с него, выбитый из седла толчком. Резцом, как алмазом на стекле, вырезала память Григория и удержала надолго розовые десны Прохорова коня с ощеренными плитами зубов, Прохора, упавшего плашмя, растоптанного копытами скакавшего сзади казака. Григорий не слышал крика, но понял по лицу Прохора, прижатому к земле с перекошенным ртом и вылезшими из орбит телячьими глазами, что крикнул тот нечеловечески дико. Падали еще. Казаки падали и кони. Сквозь пленку слез, надутых ветром, Григорий глядел перед собой на серую киповень бежавших от окопов австрийцев.

Сотня, рванувшаяся от деревни стройной лавой, рассыпалась, дробясь и ломаясь. Передние, в том числе Григорий, подскакивали к окопам, остальные топотали где-то сзади.

Высокий белобровый австриец, с надвинутым на глаза кепи, хмурясь, почти в упор выстрелил в Григория с колена. Огонь свинца опалил щеку. Григорий повел пикой, натягивая изо всей силы поводья… Удар настолько был силен, что пика, пронизав вскочившего на ноги австрийца, до половины древка вошла в него. Григорий не успел, нанеся удар, выдернуть ее и, под тяжестью оседавшего тела, ронял, чувствуя на ней трепет и судороги, видя, как австриец, весь переломившись назад (виднелся лишь острый небритый клин подбородка), перебирает, царапает скрюченными пальцами древко. Разжав пальцы, Григорий въелся занемевшей рукой в эфес шашки.

Австрийцы бежали в улицы предместья. Над серыми сгустками их мундиров дыбились казачьи кони.

В первую минуту, после того как выронил пику, Григорий, сам не зная для чего, повернул коня. Ему на глаза попался скакавший мимо него оскаленный вахмистр. Григорий шашкой плашмя ударил коня. Тот, заломив шею, понес его по улице.

Вдоль железной решетки сада, качаясь, обеспамятев, бежал австриец без винтовки, с кепи, зажатым в кулаке. Григорий видел нависший сзади затылок австрийца, мокрую у шеи строчку воротника. Он догнал его, Распаленный безумием, творившимся кругом, занес шашку. Австриец бежал вдоль решетки, Григорию не с руки было рубить, он, перевесившись с седла, косо держа шашку, опустил ее на висок австрийца. Тот без крика прижал к ране ладони и разом повернулся к решетке спиною. Не удержав коня, Григорий проскакал; повернув, ехал рысью. Квадратное, удлиненное страхом лицо австрийца чугунно чернело. Он по швам держал руки, часто шевелил пепельными губами. С виска его упавшая наосклиэь шашка стесала кожу; кожа висела над щекой красным лоскутом. На мундир кривым ручьем падала кровь.

Григорий встретился с австрийцем взглядом. На него мертво глядели залитые смертным ужасом глаза. Австриец медленно сгибал колени, в горле у него гудел булькающий хрип.

Жмурясь, Григорий махнул шашкой. Удар с длинным потягом развалил череп надвое. Австриец упал, топыря руки, словно поскользнувшись; глухо стукнули о камень мостовой половинки черепной коробки. Конь прыгнул, всхрапнув, вынес Григория на середину улицы.

По улицам перестукивали редеющие выстрелы. Мимо Григория вспененная лошадь протащила мертвого казака. Нога его застряла в стремени, и лошадь несла, мотая избитое оголенное тело по камням.

Григорий видел только красную струю лампаса да изорванную зеленую гимнастерку, сбившуюся комом выше головы.

Муть свинцом налила темя. Григорий слез с коня и замотал головой. Мимо него скакали казаки подоспевшей третьей сотни. Пронесли на шинели раненого, на рысях прогнали толпу пленных австрийцев. Они бежали скученным серым стадом, и безрадостно-дико звучал стук их окованных ботинок. Лица их слились в глазах Григория в студенистое, глиняного цвета пятно. Он бросил поводья и, сам не зная для чего, подошел к зарубленному им австрийскому солдату. Тот лежал там же, у игривой тесьмы решетчатой ограды, вытянув грязную коричневую ладонь, как за подаянием. Григорий глянул ему в лицо. Оно показалось ему маленьким, чуть ли не детским, несмотря на вислые усы и измученный — страданием ли, прежним ли безрадостным житьем, — покривленный суровый рот.

— Эй, ты! — крикнул, проезжая посредине улицы, незнакомый казачий офицер.

Григорий глянул на его белую, покрытую пылью кокарду и, спотыкаясь, пошел к коню. Путано-тяжел был шаг его, будто нес за плечами непосильную кладь; гнусь и недоумение комкали душу. Он взял в руки стремя и долго не мог поднять затяжелевшую ногу.

VI

Казаки-второочередники с хутора Татарского и окрестных хуторов на второй день после выступления из дому ночевали на хуторе Ея. Казаки с нижнего конца хутора держались от верховцев особняком. Поэтому Петро Мелехов, Аникушка, Христоня, Степан Астахов, Томилин Иван и остальные стали на одной квартире. Хозяин — высокий дряхлый дед, участник турецкой войны — завел с ними разговор. Казаки уже легли спать, расстелив в кухне и горнице полсти, курили остатний перед сном раз.

— На войну, стал быть, служивые?

— На войну, дедушка.

— Должно, не похожая на турецкую выйдет война? Теперь ить вон какая оружия пошла.

— Одинаково. Один черт! Как в турецкую народ переводили, так и в эту придется, — озлобляясь неизвестно на кого, буркнул Томилин.

— Ты, милок, сепетишь-то без толку. Другая война будет.

— Оно конечно, — лениво, с зевотцей, подтвердил Христоня, о ноготь гася цигарку.

— Повоюем, — зевнул Петро Мелехов и, перекрестив рот, накрылся шинелью.

— Я вас, сынки, вот об чем прошу. Дюже прошу, и вы слово мое попомните, — заговорил дед.

Петро отвернул полу шинели, прислушался.

— Помните одно: хочешь живым быть, из смертного боя целым выйтить — надо человечью правду блюсть.

— Какую? — спросил Степан Астахов, лежавший с краю. Он улыбнулся недоверчиво. Он стал улыбаться с той поры, когда услышал про войну. Она его манила, и общее смятение, чужая боль утишали его собственную.

— А вот какую: чужого на войне не бери — раз. Женщин упаси бог трогать, и ишо молитву такую надо знать.

Казаки заворочались, заговорили все сразу:

— Тут хучь бы свое не уронить, а то чужое.

— А баб как нельзя трогать? Дуриком — это я понимаю — невозможно, а по доброму слову?

— Рази ж утерпишь?

— То-то и оно!

— А молитва, какая она?

Дед сурово насталил глаза, ответил всем сразу:

— Женщин никак нельзя трогать. Вовсе никак! Не утерпишь — голову потеряешь али рану получишь, после спопашишься, да поздно. Молитву скажу. Всю турецкую войну пробыл, смерть за плечми, как переметная сума, висела, и жив остался через эту молитву.

Он пошел в горницу, порылся под божницей и принес клеклый, побуревший от старости лист бумаги.

— Вот. Вставайте, поспешите. Завтра, небось, до кочетов ить тронетесь?

Дед ладонью разгладил на столе хрустящий лист и отошел. Первым поднялся Аникушка. На голом, бабьем лице его трепетали неровные тени от огня, колеблемого ветром, проникавшим в оконную щель. Сидели и списывали все, кроме Степана. Аникушка, списавший ранее остальных, скомкал вырванный из тетради листок, привязал его на гайтан, повыше креста. Степан, качая ногой, трунил над ним:

— Вшам приют устроил. В гайтане им неспособно водиться, так ты им бумажный курень приспособил. Во!

— Ты, молодец, не веруешь, так молчи! — строго перебил его дед. — Ты людям не препятствуй и над верой не насмехайся. Совестно так-то и грех!

Степан замолчал, улыбаясь; сглаживая неловкость, Аникушка спросил у деда:

— Там, в молитве, про рогатину есть и про стрелу. Это к чему?

— Молитва при набеге — это ишо не в наши времена сложенная. Деду моему, покойнику, от его деда досталась. А там, может, ишо раньше была она. В старину-то с рогатинами воевать шли да с сагайдаками.

Списывали молитвы на выбор, кому какая приглянется.

МОЛИТВА ОТ РУЖЬЯ

Господи, благослови. Лежит камень бел на горе, что конь. В камень нейдет вода, так бы и в меня, раба божия, и в товарищей моих, и в коня моего не шла стрела и пулька. Как молот отпрядывает от ковалда, так и от меня пулька отпрядывала бы; как жернова вертятся, так не приходила бы ко мне стрела, вертелась бы. Солнце и месяц светлы бывают, так и я, раб божий, ими укреплен. За горой замок, замкнут тот замок, ключи в море брошу под бел-горюч камень Алтор, не видный ни колдуну, ни колдунице, ни чернецу, ни чернице. Из океан-моря вода не бежит, и желтый песок не пересчитать, так и меня, раба божия, ничем не взять. Во имя отца, и сына, и святого духа. Аминь.

МОЛИТВА ОТ БОЯ

Есть море-океан, на том море-океане есть бедный камень Алтор, на том камне Алторе есть муж каменный тридевять колен. Раба божьего и товарищей моих каменной одеждой одень от востока до запада, от земли до небес; от вострой сабли и меча, от копья булатна и рогатины, от дротика каленого и некаленого, от ножа, топора и пушечного боя; от свинцовых пулек и от метких оружий; от всех стрел, перенных пером орловым, и лебединым, и гусиным, и журавлиным, и деркуновым, и вороновым; от турецких боев, от крымских и

австрийских, нагонского супостата, татарского и литовского, немецкого, и шилинского, и калмыцкого. Святые отцы и небесные силы, соблюдите меня, раба божьего. Аминь.

МОЛИТВА ПРИ НАБЕГЕ

Пречистая владычица святая богородица и господь наш Иисус Христос. Благослови, господи, набеги идучи раба божьего и товарищей моих, кои со мною есть, облаком обволоки, небесным, святым, каменным твоим градом огради. Святой Дмитрий Солунский, ущити меня, раба божьего, и товарищей моих на все четыре стороны: лихим людям не стрелять, ни рогаткою колоть и ни бердышем сечи, ни колоти, ни обухом прибита, ни топором рубити, ни саблями сечи, ни колоти, ни ножом не колоти и не резати ни старому и ни малому, и ни смуглому, и ни черному; ни еретику, ни колдуну и ни всякому чародею. Все теперь предо мною, рабом божьим, посироченным и судимым. На море на океане на острове Буяне стоит столб железный. На том столбе муж железный, подпершися посохом железным, и заколевает он железу, булату и синему олову, свинцу и всякому стрельцу: «Пойди ты, железо, во свою матерь-землю от раба божья и товарищей моих и коня моего мимо. Стрела древоколкова в лес, а перо во свою матерь-птицу, а клей в рыбу». Защити меня, раба божья, золотым щитом от сечи и от пули, от пушечного боя, ядра, и рогатины, и ножа. Будет тело мое крепче панциря. Аминь.

Увезли казаки под нательными рубахами списанные молитвы. Крепили их к гайтанам, к материнским благословениям, к узелкам со щепотью родимой земли, но смерть пятнила и тех, кто возил с собою молитвы.

Трупами истлевали на полях Галиции и Восточной Пруссии, в Карпатах и Румынии — всюду, где полыхали зарева войны и ложился копытный след казачьих коней.

VII

Обычно из верховских станиц Донецкого округа — Еланской, Вешенской, Мигулинской и Казанской — брали казаков в 11-й — 12-й армейские казачьи полки и в лейб-гвардии Атаманский.

В 1914 году часть призванных на действительную военную службу казаков Вешенской станицы влили почему-то в 3-й Донской казачий имени Ермака Тимофеевича полк, состоявший сплошь из казаков Усть-Медведицкого округа. В числе остальных попал в 3-й полк и Митька Коршунов.

Вместе с некоторыми частями 3-й кавалерийской дивизии полк стоял в Вильно. В июне сотни выступили из города на лунки [23].

Теплился пасмурный летний день. Текучие облака табунились на небе, застили солнце. Полк шел походным порядком. Ревел оркестр. Господа офицеры в летних защитных фуражках и легких кителях ехали толпой. Над ними голубел папиросный дымок.

По сторонам от проселка мужики и нарядные бабы косили траву, смотрели из-под ладоней на колонны казаков.

Лошади заметно потели. В промежножьях копилась желтоватая пена, и легкий ветерок, тянувший с юго-востока, не сушил пота, а еще больше усугублял парную духоту.

На полпути, неподалеку от какой-то деревушки, к пятой сотне приблудился жеребенок-стригун. Он вылетел из-за околицы, увидел плотную массу лошадей и, игогокнув, поскакал наперерез. Хвост его, еще не утративший ребяческой пушистости, относило на сторону, из-под точеных раковинок копыт вспрядывала серыми пузырями пыль и оседала на притолоченной зеленке. Он подскакал к головному взводу, дурашливо ткнулся мордой в пах

вахмистрову коню. Конь вскинул задок, но ударить не решился, пожалел, видно.

— Брысь, дурак! — Вахмистр замахнулся плетью.

Казаки засмеялись, обрадованные домашним, милым видом жеребенка. Тут случилось непредвиденное: жеребенок нахально протиснулся между взводными рядами, и взвод раскололся, утратил стройную, компактную до этого форму. Лошади, понукаемые казаками, топтались в нерешительности. Теснимый ими жеребенок шел боком и норовил укусить ближнего к нему коня.

Подлетел командир сотни.

— Это что тут такое?

В том месте, где затесался несуразный стригун, бочились и всхрапывали кони, казаки, улыбаясь, хлестали его плетьми, кишмя кишел расстроенный взвод, а сзади напирали остальные, и рядом с дорогой скакал от хвоста сотни разъяренный взводный офицер.

— Что такое? — громыхнул командир сотни, направляя коня в середину гущины.

— Жеребенок вот…

— Влез промеж нас…

— Не выгонишь дьяволенка!..

— Да ты его плетью! Чего жалеешь?

Казаки виновато улыбались, натягивали поводья, удерживая разгоряченных лошадей.

— Вахмистр! Господин сотник, что это за черт? Приведите свой взвод в порядок, этого еще недоставало!..

Командир сотни отскакал в сторону. Лошадь его оступилась и сорвалась задними ногами в придорожную канаву. Он дал ей шпоры и выскочил на ту стороны канавы, на вал, заросший лебедой и желтопенной ромашкой. Вдали остановилась группа офицеров. Войсковой старшина, запрокинув голову, тянул из фляжки, и рука его отечески ласково лежала на нарядной окованной луке.

Вахмистр разбил взвод, сквернословя, выгнал жеребенка за дорогу. Взвод сомкнулся. Полтораста пар глаз глядели, как вахмистр, привстав на стременах, рысил за жеребенком, а тот то останавливался, прислоняясь грязным от присохшей коры помета боком к вахмистерскому трехвершковому коню, то снова улепетывал, настобурчив хвост, и вахмистр никак не мог достать его плетью по спине, а все попадал по метелке хвоста. Хвост опускался, сбитый плетью, и через секунду опять его лихо относило ветром.

Смеялась вся сотня. Смеялись офицеры. Даже на угрюмом лице есаула появилось кривое подобие улыбки.

В третьем ряду головного взвода ехал Митька Коршунов с Иванковым Михаилом, казаком с хутора Каргина Вешенской станицы, и усть-хоперцем Козьмой Крючковым. Мордатый, широкий в плечах Иванков молчал, Крючков, по прозвищу «Верблюд», чуть рябоватый, сутулый казак, придирался к Митьке. Крючков был «старый» казак, то есть дослуживавший последний год действительной, и по неписаным законам полка имел право, как и всякий «старый» казак, гонять молодых, вымуштровывать, за всякую пустяковину ввалить пряжек. Было установлено так: провинившемуся казаку призыва 1913 года — тринадцать пряжек, 1914 года — четырнадцать. Вахмистры и офицеры поощряли такой порядок, считая, что этим внедряется в казака понятие о почитании старших не только по чину, но и по возрасту.

Крючков, недавно получивший нашивку приказного [24], сидел в седле сутулясь, по-птичьи горбатя вислые плечи. Он щурился на серое грудастое облако, спрашивал у Митьки, подражая голосом домовитому командиру сотни есаулу Попову:

— Э… скэжи мне, Кэршунов, как звэть нашего кэмэндира сэтни?

Митька, не раз пробовавший пряжек за свою строптивость и непокорный характер, натянул на лицо почтительное выражение.

— Есаул Попов, господин старый казак!

— Кэк?

— Есаул Попов, господин старый казак!

— Я не прэ это спрэшиваю. Ты мне скэжи, как его кличут прэмэж нэс, кэзэков?

Иванков опасливо подмигнул Митьке и вывернул в улыбке трегубый рот. Митька оглянулся и увидел подъезжавшего сзади есаула Попова.

— Ну? Этвечай!

— Есаул Попов звать их, господин старый казак.

— Четырнэдцэть пряжек. Гэвэри, гад!

— Не знаю, господин старый казак!

— А вот приедем на лунки, — заговорил Крючков подлинным голосом, — я тебе всыплю! Отвечай, когда спрашивают!

— Не знаю.

— Что ж ты, сволочуга, не знаешь, как его дражнют?

Митька слышал позади осторожный воровской шаг есаульского коня, молчал.

— Ну? — Крючков зло щурился.

Позади в рядах сдержанно захохотали. Не поняв, над чем смеются, относя этот смех на свой счет, Крючков вспыхнул:

— Коршунов, ты гляди! Приедем — полсотни пряжек вварю!

Митька повел плечами, решился:

— Черногуз!

— Ну, то-то и оно.

— Крю-ю-уч-ков! — окликнули сзади.

Господин старый казак дрогнул на седле и вытянулся в жилу.

— Ты чтэ ж это, мерзэвэц, здесь выдумываешь? — заговорил есаул Попов, равняя свою лошадь с лошадью Крючкова. — Ты чему ж это учишь мэлодого кэзэка, а?

Крючков моргал прижмуренными глазами. Щеки его заливала гуща бордового румянца. Сзади похохатывали.

— Я кэго в прошлом гэду учил? Об чью мэрду этот нэготь слэмал?.. — Есаул поднес к носу Крючкова длинный заостренный ноготь мизинца и пошевелил усами. — Чтэб я бэльше этого не слэшал! Пэнимэешь, брэтец ты мой?

— Так точно, ваше благородие, понимаю!

Есаул, помедлив, отъехал, придержал коня, пропуская сотню. Четвертая и пятая сотни двинулись рысью.

— Сэтня, рысь вэзьми!..

Крючков, поправляя погонный ремень, оглянулся на отставшего есаула и, выравнивая пику, взбалмошно махнул головой.

— Вот, с этим Черногузом! Откель он взялся?

Весь потный от смеха, Иванков рассказывал:

— Он давешь едет позади нас. Он все слыхал. Кубыть, учуял, про что речь идет.

— Ты б хоть мигнул, дура.

— А мне-то нужно.

— Не нужно? Ага, четырнадцать пряжек по голой!

Сотни разбились по окрестным помещичьим усадьбам. Днем косили помещикам клевер и луговую траву, ночью на отведенных участках пасли стреноженных лошадей, при дымке

костров поигрывали в карты, рассказывали сказки, дурили.

Шестая сотня батрачила у крупного польского помещика Шнейдера. Офицеры жили во флигеле, играли в карты, пьянствовали, скопом ухаживали за дочкой управляющего. Казаки разбили стан в трех верстах от усадьбы. По утрам приезжал к ним на беговых дрожках пан управляющий. Толстый, почтенный шляхтич вставал с дрожек, разминая затекшие жирные ноги, и неизменно приветствовал «козаков» помахиваньем белого, с лакированным козырьком, картуза.

— Иди с нами косить, пан!

— Жир иди растряси трошки!

— Бери косу, а то паралик захлестнет!.. — кричали из белорубашечных шеренг казаков.

Пан очень хладнокровно улыбался, вытирая каемчатым платком закатную розовость лысины, и шел с вахмистром отводить новые участки покосной травы.

В полдень приезжала кухня. Казаки умывались, шли за едой.

Ели молча, зато уж в послеобеденный получасовой отдых наверстывались разговоры.

— Трава тут поганая. Супротив нашей степовой не выйдет.

— Пырею почти нету.

— Наши в Донщине теперь уж откосились.

— Скоро и мы прикончим. Вчерась рождение месяца, дождь обмывать будет.

— Скупой поляк. За труды хучь бы по бутылке на гаврика пожаловал.

— Ого-го-го! Он за бутылку в алтаре…

— Во, братушки, что б это обозначало: чем богаче — тем скупее?

— Это у царя спроси.

— А дочерю помещикову кто видал?

— А что?

— Мя-а-асис-тая девка!

— Баранинка?

— Во-во…

— С сырцом ба ее хрумкнул…

— Правда ай нет, гутарют, что за нее из царского роду сваталися?

— Простому рази такой шматок достанется?

— Ребя, надысь слыхал брехню, будто высочайшая смотра нам будет.

— Коту делать нечего, так он…

— Ну, ты брось, Тарас!

— Дай, дымнуть, а?

— Чужбинник, дьявол, с длинной рукой — под церкву!

— Гля, служивые, у Федотки и плям хорош, а куру нету.

— Одна пепла осталась.

— Тю, брат, разуй гляделки, там огню, как у доброй бабы!

Лежали на животах. Курили. До красноты жгли оголенные спины. В сторонке человек пять старых казаков допытывались у одного из молодых:

— Ты какой станицы?

— Еланской.

— Из козлов, значится?

— Так точно.

— А на чем у вас там соль возют?

Неподалеку на попонке лежал Крючков Козьма, скучал, наматывал на палец жидкую поросль усов.

— На конях.

— А ишо на чем?

— На быках.

— Ну, а тарань с Крыму везут на чем? Знаешь, такие быки есть, с кочками на спине, колючки жрут: как их звать-то?

— Верблюды.

— Огхо-хо-ха-ха!..

Крючков лениво подымался, шел к проштрафившемуся, по-верблюжьи сутулясь, вытягивая кадыкастую шафранно-смуглую шею, на ходу снимал пояс.

— Ложись!

А вечерами в опаловой июньской темени в поле у огня:

Поехал казак на чужбину далеку
На добром своем коне вороном,
Свою он краину навеки покинул…

Убивается серебряный тенорок, и басы стелют бархатную густую печаль:

Ему не вернуться в отеческий дом.

Тенор берет ступенчатую высоту, хватает за самое оголенное:

Напрасно казачка его молодая
Все утро и вечер на север смотрит.
Все ждет она, поджидает — с далекого края
Когда же ее милый казак-душа прилетит.

И многие голоса хлопочут над песней. Оттого и густа она и хмельна, как полесская брага:

А там, за горами, где вьются метели,
Зимою морозы лютые трещат,
Где сдвинулись грозно и сосны и ели,
Казачьи кости под снегом лежат.

Рассказывают голоса нехитрую повесть казачьей жизни, и тенор-подголосок трепещет жаворонком над апрельской талой землей:

Казак, умирая, просил и молил
Насыпать курган ему большой в головах.

Вместе с ним тоскуют басы:

Пущай на том на кургане калина родная
Растет и красуется в ярких цветах.

У другого огня — реже народу и песня иная:

Ах, с моря буйного да с Азовского
Корабли на Дон плывут.
Возвертается домой
Атаман молодой.

У третьего, поодаль, огня, покашливая от дыма, вяжет сотенный краснобай замысловатые петли сказки. Слушают с неослабным вниманием, изредка лишь, когда герой рассказа особенно ловко выворачивается из каверз, подстроенных ему москалями и нечистой силой, в полосе огня мелькнет чья-нибудь ладонь, шлепнет по голенищу сапога, продымленный, перхающий голос воскликнет восхищенно:

— Ах, язви-разъязви, вот здорово!

И снова — текучий, бесперебойный голос рассказчика…

…Через неделю, после того как полк пришел на лунки, есаул Попов позвал сотенного

коваля и вахмистра.

— Как кони? — к вахмистру.

— Ничего, ваше благородие, очень приятно даже. Желобки на спинах посравняли. Поправляются.

Есаул в стрелку ссучил черный ус (отсюда и прозвище — Черногуз), сказал:

— Прикэз от кэмэндира пэлка пэлудить стремена и удила. Будет вэсэчайший смэтр пэлку. Чтэбы все было с блэскэм: чтэ седлецо, чтэ все эстэльное. Чтэбы на кэзэков было любо, мило-дэрэго глянуть. Кэгда, брэтец ты мой, будет гэтово?

Вахмистр глянул на коваля. Коваль глянул на вахмистра. Оба глянули на есаула:

Вахмистр сказал:

— Либо что к воскресенью, ваше благородие? — И почтительно тронул пальцем собственный заплесневелый в табачной зелени ус.

— Смэтри у меня! — грозно предупредил есаул.

С тем и ушли вахмистр с ковалем.

С этого дня начались приготовления к высочайшему смотру. Иванков Михаил, сын каргинского коваля, — сам знающий коваль, — помогал лудить стремена и удила, остальные сверх нормы скребли коней, чистили уздечки, терли битым кирпичом трензеля и металлические части конского убора.

Через неделю полк блестел свеженьким двугривенным. Лоснилось глянцем все, от конских копыт до лиц казаков. В субботу командир полка полковник Греков смотрел полк и благодарил господ офицеров и казаков за ретивую подготовку и бравый вид.

Разматывалась голубая пряжа июльских дней. Добрели от сытых кормов казачьи кони, лишь казаки сумятились, червоточили их догадки: ни слуху ни духу про высочайший смотр… Неделя шла в коловертных разговорах, гоньбе, подготовке. Бревном по голове приказ — выступать в Вильно.

К вечеру были там. По сотням второй приказ: убирать в цейхгауз сундуки с казачьим добром и приготовиться к возможному выступлению.

— Ваше благородие, к чему ба это? — изнывали казаки, выпытывая у взводных офицеров истину.

Офицеры плечиками вздергивали. Сами за правду алтын бы заплатили.

— Не знаю.

— Маневры в присутствии государя будут?

— Неизвестно пока.

Вот офицерские ответы казакам на усладу. Девятнадцатого июля вестовой полкового командира перед вечером успел шепнуть приятелю, казаку шестой сотни Мрыхину, дневалившему на конюшне:

— Война, дядя!

— Брешешь?!

— Истинный бог. А ты цыц!

Наутро полк выстроили дивизионным порядком. Окна казарм тускло поблескивали пыльным разбрызгом стекол. Полк в конном строю ждал командира.

Перед шестой сотней — на подбористом коне есаул Попов. Левой рукой в белой перчатке натягивает поводья. Конь бочит голову, изогнув колосистую шею, чешет морду о связку грудных мускулов.

Полковник вывернулся из-за угла казарменного корпуса, боком поставил лошадь перед строй. Адъютант достал платок, изящно топыря холеный мизинец, но высморкаться не успел. В напряженную тишину полковник кинул:

— Казаки!.. — и властно загреб к себе общее внимание.

«Вот оно», — подумал каждый. Пружинилось нетерпеливое волнение. Митька Коршунов досадливо толкнул каблуком своего коня, переступавшего с ноги на ногу. Рядом с ним в строю в крепкой посадке обмер Иванков, слушал, зевласто раскрыв трегубый рот с исчернью неровных зубов. За ним жмурился, горбатясь, Крючков, еще дальше — по-лошадиному стриг хрящами ушей Лапин, за ним виднелся рубчато выбритый кадык Щеголькова.

— …Германия нам объявила войну.

По выровненным рядам — шелест, будто по полю вызревшего чернобылого ячменя прошлась, гуляя, ветровая волна. Вскриком резнуло слух конское ржанье. Округленные глаза и квадратная чернота раскрытых ртов — в сторону первой сотни: там, на левом фланге, заржал конь.

Полковник говорил еще. Расстанавливая в необходимом порядке слова, пытался подпалить чувство национальной гордости, но перед глазами тысячи казаков — не шелк чужих знамен, шурша, клонился к ногам, а свое буднее, кровное, разметавшись, кликало, голосило: жены, дети, любушки, неубранные хлеба, осиротелые хутора, станицы…

«Через два часа погрузка в эшелоны». Единственное, что ворвалось в память каждому.

Толпившиеся неподалеку жены офицеров плакали в платочки, к казарме ватагами разъезжались казаки. Сотник Хопров почти на руках нес свою белокурую беременную польку-жену.

К вокзалу полк шел с песнями. Заглушили оркестр, и на полпути он конфузливо умолк. Офицерские жены ехали на извозчиках, по тротуарам пенилась цветная толпа, щебнистую пыль сеяли конские копыта, и, насмехаясь над своим и чужим горем, дергая левым плечом так, что лихорадочно ежился синий погон, кидал песенник-запевала охальные слова похабной казачьей:

Девица красная, щуку я поймала…

Сотня, нарочно сливая слова, под аккомпанемент свежекованых лошадиных копыт, несла к вокзалу, к красным вагонным куреням лишенько свое — песню:

Щуку я, щуку я, щуку я поймала.

Девица красная, уху я варила.

Уху я, уху я, уху я варила.

От хвоста сотни, весь багровый от смеха и смущения, скакал к песенникам полковой адъютант. Запевала, наотлет занося, бросал поводья, цинично подмигивал в густые на тротуарах толпы провожавших казаков женщин, и по жженой бронзе его щек к черным усикам стекал горький полынный настой, а не пот.

Девица красная сваху я кормила…

Сваху я, сваху я, сваху я кормила…

На путях предостерегающе трезво ревел, набирая пары, паровоз.

Эшелоны… Эшелоны… Эшелоны… Эшелоны несчетно!

По артериям страны, по железным путям, к западной границе гонит взбаламученная Россия серошинельную кровь.

VIII

В местечке Торжок полк разбили по сотням. Шестая сотня, на основании приказа штаба дивизии, была послана в распоряжение Третьего армейского пехотного корпуса и, пройдя походным порядком до местечка Пеликалие, выставила посты.

Граница еще охранялась нашими пограничными частями. Подтягивались пехотные части и артиллерия. К вечеру двадцать четвертого июля в местечко прибыли батальон 108-го Глебовского полка и батарея. В близлежащем фольварке Александровском находился пост из девяти казаков под начальством взводного урядника.

В ночь на двадцать седьмое есаул Попов вызвал к себе вахмистра и казака Астахова.

Астахов вернулся к взводу уже затемно. Митька Коршунов только что привел с водопоя коня.

— Это ты, Астахов? — окликнул он.

— Я. А Крючков с ребятами где?

— Там, в халупе.

Астахов, большой, грузноватый и черный казак, подслепо жмурясь, вошел в халупу. За столом у лампы-коптюшки Щегольков сшивал дратвой порванный чембур. Крючков, заложив руки за спину, стоял у печи, подмигивал Иванкову, указывая на оплывшего в водянке хозяина-поляка, лежавшего на кровати. Они только что пересмеялись, и у Иванкова еще дергал розовые щеки смешок.

— Завтра, ребята, чуть свет выезжать на пост.

— Куда? — спросил Щегольков и, заглядевшись, уронил не всученную в дратву щетинку.

— В местечко Любов.

— Кто поедет? — спросил Митька Коршунов, входя и ставя у порога цебарку.

— Поедут со мной Щегольков, Крючков, Рвачев, Попов и ты, Иванков.

— А я, Павлыч?

— Ты, Митрий, останешься.

— Ну и черт с вами!

Крючков оторвался от печки; с хрустом потягиваясь, спросил у хозяина:

— Сколько до Любови до этой верст кладут?

— Четыре мили.

— Тут близко, — сказал Астахов и, присаживаясь на лавку, снял сапог. — А где тут портянку высушить?

Выехали на заре. У колодца на выезде босая девка черпала бадьей воду. Крючков приостановил коня.

— Дай напиться, любушка!

Девка, придерживая рукой холстинную юбку, прошлепала по луже розовыми ногами; улыбаясь серыми, в густой опуши ресниц, глазами, подала бадью. Крючков пил, рука его, державшая на весу тяжелую бадью, дрожала от напряжения; на красную лампасину шлепали, дробясь и стекая, капли.

— Спаси Христос, сероглазая!

— Богу Иисусу.

Она приняла бадью и отошла, оглядываясь, улыбаясь.

— Ты чего скалишься, поедем со мной! — Крючков посунулся на седле, словно место уступал.

— Трогай! — крикнул, отъезжая, Астахов.

Рвачев насмешливо скосился на Крючкова:

— Загляделся?

— У ней ноги красные, как у гулюшки, — засмеялся Крючков, и все, как по команде, оглянулись.

Девка нагнулась над срубом, выставив туго обтянутый раздвоенный зад, раскорячив красноикрые полные ноги.

— Жениться ба… — вздохнул Попов.

— Дай я те плеткой оженю разок, — предложил Астахов.

— Плеткой что…

— Жеребцуешь?

— Выложить его придется!

— Мы ему перекрут, как бугаю, сделаем.

Пересмеиваясь, казаки пошли рысью. С ближнего холма завиднелось раскинутое в ложбине и по изволоку местечко Любов. За спинами из-за холма вставало солнце. В стороне над чашечкой телеграфного столба надсаживался жаворонок.

Астахов — как только что окончивший учебную команду — был назначен начальником поста. Он выбрал место стоянки в последнем дворе, стоявшем на отшибе, в сторону границы. Хозяин — бритый кривоногий поляк в белой войлочной шляпе — отвел казаков в стодол, указал, где поставить лошадей. За стодолом, за реденьким пряслом зеленела деляна клевера. Взгорье горбилось до ближнего леса, дальше белесились хлеба, перерезанные дорогой, и опять зеленые глянцевые ломти клевера. За стодолом у канавки дежурили поочередно, с биноклем. Остальные лежали в прохладном стодоле. Пахло там слежавшимся хлебом, пылью мякины, мышиным пометом и сладким плесневелым душком земляной ржавчины.

Иванков, примостившись в темном углу у плуга, спал до вечера. Его разбудили на закате солнца. Крючков, в щепоть захватив кожу у него на шее, оттягивал ее, приговаривая:

— Разъелся на казенных харчах, нажрал калкан, ишь! Вставай, ляда, иди немцев карауль!

— Не дури, Козьма!

— Вставай.

— Ну, брось! Ну, не дури… я зараз встану.

Он поднялся, опухший, красный. Покрутил котельчатой короткошеей головой, надежно приделанной к широким плечам, чмыкая носом (простыл, лежа на сырой земле), перевязал патронташ и волоком потянул за собой к выходу винтовку. Сменил Щеголькова и, приладив бинокль, долго глядел на северо-запад, к лесу.

Там бугрился под ветром белесый размет хлебов, на зеленый мысок ольхового леса низвергался рудой поток закатного солнца. За местечком в речушке (лежала она голубой нарядной дугой) кричали купающиеся ребятишки. Женский контральтовый голос звал: «Стасю! Ста-а-асю! идзь до мне!» Щегольков свернул покурить, сказал, уходя:

— Закат вон как погорел. К ветру.

— К ветру, — согласился Иванков.

Ночью кони стояли расседланные. В местечке гасли огни и шумок. На следующий день утром Крючков вызвал Иванкова из стодола.

— Пойдем в местечко.

— Чего?

— Пожрем чего-нибудь, выпьем.

— Навряд, — усомнился Иванков.

— Я тебе говорю. Я спрашивал хозяина. Вон в энтой халупе, видишь, вон сарай черепичный? — Крючков указал черным ногтястым пальцем. — Там у шинкаря пиво есть, пойдем?

Пошли. Их окликнул выглянувший из дверей стодола Астахов.

— Вы куда?

Крючков, чином старший Астахова, отмахнулся.

— Зараз придем.

— Вернитесь, ребята!

— Не гавкай!

Старый, пейсатый, с вывернутым веком еврей встретил казаков поклонами.

— Пиво есть?

— Уже нет, господин козак.

— Мы за деньги.

— Езус-Мария, да разве я… Ах, господин козак, верьте честному еврею, нет пива!

— Брешешь ты, жид!

— Та, пан козак! Я уже говорю.

— Ты вот чего… — досадливо перебил Крючков и полез в карман шаровар за потертым кошельком. — Ты дай нам, а то ругаться зачну!

Еврей мизинцем прижал к ладони монету, опустил вывернутое трубочкой веко и пошел в сени.

Спустя минуту принес влажную, с ячменной шелухой на стенках бутылку водки.

— А говорил — нету. Эх ты, папаша!

— Я говорил — пива нету.

— Закусить-то дай чего-нибудь.

Крючков шлепком высадил пробку, налил чашку вровень с выщербленными краями.

Вышли полупьяные. Крючков приплясывал и грозил кулаком в окна, зиявшие черными провалами глаз.

В стодоле зевал Астахов. За стенкой мокро хрустели сеном кони.

Вечером уехал с донесением Попов. День разменяли в безделье.

Вечер. Ночь. Над местечком в выси — желтый месяц.

Изредка в саду за домом упадет с яблони вызревший плод. Слышен мокрый шлепок. Около полуночи Иванков услышал конский топот по улице местечка. Вылез из канавы, вглядываясь, но на месяц легло облако; ничего не видно за серой непроглядью.

Он растолкал спавшего у входа в стодол Крючкова.

— Козьма, конные идут! Встань-ка!

— Откуда?

— По местечку.

Вышли. По улице, саженях в пятидесяти, хрушко чечекал копытный говор.

— Побегем в сад. Оттель слышнее.

Мимо дома — рысью в садок. Залегли под плетнем. Глухой говор. Звяк стремени. Скрип седел. Ближе. Видны смутные очертания всадников.

Едут по четыре в ряд.

— Кто едет?

— А тебе кого надо? — откликнулся тенорок из передних рядов.

— Кто едет? Стрелять буду! — Крючков клацнул затвором.

— Тррр, — остановил лошадь один и подъехал к плетню. — Это пограничный отряд. Пост, что ли?

— Пост.

— Какого полка?

— Третьего казачьего.

— С кем это ты там, Тришин? — спросили из темноты.

Подъехавший отозвался:

— Это казачий пост, ваше благородие.

К плетню подъехал еще один.

— Здорово, казаки!

— Здравствуйте, — не сразу откликнулся Иванков.

— Давно вы тут?

— Со вчерашнего дня.

Второй подъехавший зажег спичку, закуривая, и Крючков увидел офицера в форме пограничника.

— Наш пограничный полк сняли с границы, — заговорил офицер, пыхая папироской. — Имейте в виду, что вы теперь — лобовые. Противник завтра, пожалуй, продвинется сюда.

— Вы куда же едете, ваше благородие? — спросил Крючков, не снимая пальца со спуска.

— Мы должны в двух верстах отсюда присоединиться к нашему эскадрону. Ну, трогай, ребята! Всего хорошего, казачки!

— Час добрый.

Ветер сорвал с месяца завесу тучи, и на местечко, на купы садов, на шишкастую верхушку стодола, на отряд, выезжавший на взгорье, потек желтый мертвенный свет.

Утром уехал с донесением в сотню Рвачев. Астахов переговорил с хозяином, и тот, за небольшую плату, разрешил скосить лошадям клевера. С ночи лошади стояли оседланные. Казаков пугало то, что они остались лицом к лицу с противником. Раньше, когда знали, что впереди пограничная стража, не было этого чувства оторванности и одиночества; тем сильнее сказалось оно после известия о том, что граница обнажена.

Хозяйская пашня была неподалеку от стодола. Астахов назначил косить Иванкова и Щеголькова. Хозяин, под белым лопухом войлочной шляпы, повел их к своей деляне. Щегольков косил, Иванков сгребал влажную тяжелую траву и увязывал ее в фуражирки. В это время Астахов, наблюдавший в бинокль за дорогой, манившей к границе, увидел бежавшего по полю с юго-западной стороны мальчишку. Тот бурым неслинявшим зайцем катился с пригорка и еще издали что-то кричал, махая длинными рукавами пиджака. Подбежал и, глотая воздух, поводя округленными глазами, крикнул:

— Козак, козак, пшишел герман! Герман пшишел оттонд.

Он протянул хоботок длинного рукава, и Астахов, припавший к биноклю, увидел в окружье стекол далекую густую группу конных. Не отдирая от глаз бинокля, зыкнул:

— Крючков!

Тот выскочил из косых дверей стодола, оглядываясь.

— Беги, ребят кличь! Немцы! Немецкий разъезд!

Он слышал топот бежавшего Крючкова и теперь уже ясно видел в бинокль плывущую за рыжеватой полосой травы кучку всадников.

Он различал даже гнедую масть их лошадей и темно-синюю окраску мундиров. Их было больше двадцати человек. Ехали они, тесно скучившись, в беспорядке; ехали с юго-западной стороны, в то время как наблюдатель ждал их с северо-запада. Они пересекли дорогу и пошли наискось по гребню над котловиной, в которой разметалось местечко Любов.

Высунув из морщиненных губ кутец прикушенного языка, сопя от напряжения, Иванков затягивал в фуражирку ворох травья. Рядом с ним, посасывая трубочку, стоял колченогий хозяин-поляк. Он сунул руки за пояс, из-под полей шляпы, насупясь, оглядывал косившего Щеголькова.

— Рази это коса? — ругался тот, злобно взмахивая игрушечно-маленькой косой. — Косишь ей?

— Косю, — ответил поляк, заплетая языком за обгрызенный мундштук, и выпростал один палец из-за пояса.

— Этой твоей косой у бабы на причинном месте косить!

— Угу-м, — согласился поляк.

Иванков прыснул. Он хотел что-то сказать, но, оглянувшись, увидел бежавшего по пашне Крючкова. Тот бежал, приподняв рукой шашку, вихляя ногами по кочковатой пахоте.

— Бросайте!

— Чего ишо? — спросил Щегольков, втыкая косу острием в землю.

— Немцы!

Иванков выронил фуражирку. Хозяин, пригибаясь, почти цепляя руками землю, словно над ним взыкали пули, побежал к дому.

Только что добрались до стодола и, запыхавшись, вскочили на коней, — увидели роту русских солдат, втекавшую со стороны Пеликалие в местечко. Казаки поскакали навстречу. Астахов доложил командиру роты, что по бугру, огибая местечко, идет немецкий разъезд. Капитан строго оглядел носки своих сапог, присыпанные пыльным инеем, спросил:

— Сколько их?

— Больше двадцати человек.

— Езжайте им наперерез, а мы отсюда их обстреляем. — Он повернулся к роте, скомандовал построение и быстрым маршем повел солдат.

Когда казаки выскочили на бугор, немцы, уже опередив их, шли рысью, пересекая дорогу на Пеликалие. Впереди выделялся офицер на светло-рыжем куцехвостом коне.

— Вдогон! Мы их нагоним на второй пост! — скомандовал Астахов.

Приставший к ним в местечке конный пограничник отстал.

— Ты чего же? Отломил, брат? — оборачиваясь, крикнул Астахов.

Пограничник махнул рукой, шагом стал съезжать в местечко. Казаки шли шибкой рысью. Даже невооруженным глазом ясно стало видно синюю форму немецких драгун. Они ехали куцей рысью по направлению на второй пост, стоявший в фольварке верстах в трех от местечка, и оглядывались на казаков. Расстояние, разделявшее их, заметно сокращалось.

— Обстреляем! — хрипнул Астахов, прыгая с седла.

Стоя, намотав на руки поводья, дали залп. Лошадь Иванкова стала в дыбки, повалила хозяина. Падая, он видел, как один из немцев валился с лошади: вначале лениво клонился на бок и вдруг, кинув руками, упал. Немцы, не останавливаясь, не вынимая из чехлов карабинов, поскакали, переходя в намет. Рассыпались реже. Ветер крутил матерчатые флюгерки на их пиках. Астахов первым вскочил на коня. Налегли на плети. Немецкий разъезд под острым углом повернул влево, и казаки, преследуя их, проскакали саженях в сорока от упавшего немца. Дальше шла холмистая местность, изрезанная неглубокими ложбинами, изморщиненная зубчатыми ярками. Как только немцы поднимались из ложбины на ту сторону, — казаки спешивались и выпускали им вслед по обойме. Против второго поста свалили еще одного.

— Упал! — крикнул Крючков, занося ногу в стремя.

— Из фольварка зараз наши!.. Тут второй пост… — бормотнул Астахов, загоняя обкуренным желтым пальцем в магазинную коробку новую обойму.

Немцы перешли на ровную рысь. Проезжая, поглядывали на фольварк. Но двор был пустынен, черепичные крыши построек ненасытно лизало солнце. Астахов выстрелил с коня. Чуть приотставший задний немец мотнул головой и дал лошади шпоры.

Уже после выяснилось: казаки ушли со второго поста этой ночью, узнав, что телеграфные провода в полуверсте от фольварка перерезаны.

— На первый пост погоним! — крикнул, поворачиваясь к остальным, Астахов.

И тут только Иванков заметил, что у Астахова шелушится нос, тонкая шкурка висит на ноздрине.

— Чего они не обороняются? — тоскливо спросил он, поправляя за спиной винтовку.

— Погоди ишо… — кинул Щегольков, дыша, как сапная лошадь.

Немцы спустились в первую ложбину не оглядываясь. По ту сторону чернела пахота, с этой стороны щетинился бурьянок и редкий кустарник. Астахов остановил коня, сдвинул фуражку, вытер тыльной стороной ладони зернистый пот. Оглядел остальных; сплюнув комок слюны, сказал:

— Иванков, езжай к котловине, глянь, где они.

Иванков, кирпично-красный, с мокрой-от пота спиной, жадно облизал зачерствелые губы, поехал.

— Курнуть бы, — шепотом сказал Крючков, отгоняя плетью овода.

Иванков ехал шагом, приподнимаясь на стременах, заглядывая в низ котловины. Сначала он увидел колышущиеся кончики пик, потом внезапно показались немцы, повернувшие лошадей, шедшие из-под склона котловины в атаку. Впереди, картинно подняв палаш, скакал офицер. За момент, когда поворачивал коня, Иванков запечатлел в памяти безусое нахмуренное лицо офицера, статную его посадку. Градом по сердцу — топот немецких коней. Спиной до боли ощутил Иванков щиплющий холодок смерти. Он крутнул коня и молча поскакал назад.

Астахов не успел сложить кисет, сунул его мимо кармана.

Крючков, увидев за спиной Иванкова немцев, поскакал первый. Правофланговые немцы шли Иванкову наперерез. Настигали его с диковинной быстротой. Он хлестал коня плетью, оглядывался. Кривые судороги сводили ему посеревшее лицо, выдавливали из орбит глаза. Впереди, припав к луке, скакал Астахов. За Крючковым и Щегольковым вихрилась бурая пыль.

«Вот! Вот! Догонит!» — стыла мысль, и Иванков не думал об обороне; сжимая в комок свое большое полное тело, головой касался холки коня.

Его догнал рослый рыжеватый немец. Пикой пырнул его в спину. Острие, пронизав ременный пояс, наискось на полвершка вошло в тело.

— Братцы, вертайтесь!.. — обезумев, крикнул Иванков и выдернул из ножен шашку. Он отвел второй удар, направленный ему в бок, и, привстав, рубнул по спине скакавшего с левой стороны немца. Его окружили. Рослый немецкий конь грудью ударился о бок его коня, чуть не сшиб с ног, и близко, в упор, увидел Иванков страшную муть чужого лица.

Первый подскакал Астахов. Его оттерли в сторону. Он отмахивался шашкой, вьюном вертелся в седле, оскаленный, изменившийся в лице, как мертвец. Иванкова концом палаша полоснули по шее. С левой стороны над ним вырос драгун, и блекло в глазах метнулся на взлете разящий палаш. Иванков подставил шашку: сталь о сталь брызгнула визгом. Сзади пикой поддели ему погонный ремень, настойчиво срывали его с плеча. За вскинутой головой коня маячило потное, разгоряченное лицо веснушчатого немолодого немца. Дрожа отвисшей челюстью, немец бестолково ширял палашом, норовя попасть Иванкову в грудь. Палаш не доставал, и немец, кинув его, рвал из пристроченного к седлу желтого чехла карабин, не спуская с Иванкова часто мигающих, напуганных коричневых глаз. Он не успел вытащить карабин, через лошадь его достал пикой Крючков, и немец, разрывая на груди темно-синий мундир, запрокидываясь назад, испуганно-удивленно ахнул.

— Майн готт!

В стороне человек восемь драгун окружили Крючкова. Его хотели взять живьем, но он, подняв на дыбы коня, вихляясь всем телом, отбивался шашкой до тех пор, пока ее не выбили. Выхватив у ближнего немца пику, он развернул ее, как на ученье.

Отхлынувшие немцы щепили ее палашами. Возле небольшого клина суглинистой

невеселой пахоты грудились, перекипали, колыхаясь в схватке, как под ветром. Озверев от страха, казаки и немцы кололи и рубили по чем попало: по спинам, по рукам, по лошадям и оружию… Обеспамятевшие от смертного ужаса лошади налетали и бестолково сшибались. Овладев собой, Иванков несколько раз пытался поразить наседавшего на него длиннолицего белесого драгуна в голову, но шашка падала на стальные боковые пластинки каски, соскальзывала.

Астахов прорвал кольцо и выскочил, истекая кровью. За ним погнался немецкий офицер. Почти в упор убил его Астахов выстрелом, сорвав с плеча винтовку. Это и послужило переломным моментом в схватке. Немцы, все израненные нелепыми ударами, потеряв офицера, рассыпались, отошли. Их не преследовали. По ним не стреляли вслед. Казаки поскакали напрямки к местечку Пеликалие, к сотне; немцы, подняв упавшего с седла раненого товарища, уходили к границе.

Отскакав с полверсты, Иванков зашатался.

— Я все… Я падаю! — Он остановил коня, но Астахов дернул поводья.

— Ходу!

Крючков размазывал по лицу кровь, щупал грудь. На гимнастерке рдяно мокрели пятна.

От фольварка, где находился второй пост, разбились надвое.

— Направо ехать, — сказал Астахов, указывая на сказочно зеленевшее за двором болото в ольшанике.

— Нет, налево! — упрямился Крючков.

Разъехались. Астахов с Иванковым приехали в местечко позже. У околицы их ждали казаки своей сотни.

Иванков кинул поводья, прыгнул о седла и, закачавшись, упал. Из закаменевшей руки его с трудом вынули шашку.

Спустя час почти вся сотня выехала на место, где был убит германский офицер. Казаки сняли с него обувь, одежду и оружие, толпились, рассматривая молодое, нахмуренное, уже пожелтевшее лицо убитого. Усть-хоперец Тарасов успел снять с убитого часы с серебряной решеткой и тут же продал их взводному уряднику. В бумажнике нашли немного денег, письмо, локон белокурых волос в конверте и фотографию девушки с надменным улыбающимся ртом.

IX

Из этого после сделали подвиг. Крючков, любимец командира сотни, по его реляции получил Георгия. Товарищи его остались в тени. Героя отослали в штаб дивизии, где он слонялся до конца войны, получив остальные три креста за то, что из Петрограда и Москвы на него приезжали смотреть влиятельные дамы и господа офицеры. Дамы ахали, дамы угощали донского казака дорогими папиросами и сладостями, а он вначале порол их тысячным матом, а после, под благотворным влиянием штабных подхалимов в офицерских погонах, сделал из этого доходную профессию: рассказывал о «подвиге», сгущая краски до черноты, врал без зазрения совести, и дамы восторгались, с восхищением смотрели на рябоватое раэбойницкое лицо казака-героя. Всем было хорошо и приятно.

Приезжал в Ставку царь, и Крючкова возили ему на показ. Рыжеватый сонный император осмотрел Крючкова, как лошадь, поморгал кислыми сумчатыми веками, потрепал его по плечу.

— Молодец казак! — и, повернувшись к свите: — Дайте мне сельтерской воды.

Чубатая голова Крючкова не сходила со страниц газет и журналов. Были папиросы с портретом Крючкова. Нижегородское купечество поднесло ему золотое оружие.

Мундир, снятый с германского офицера, убитого Астаховым, прикрепили к фанерной широкой доске, и генерал фон Ренненкампф, посадив в автомобиль Иванкова и адъютанта с этой доской, ездил перед строем уходивших на передовые позиции войск, произносил зажигательно-казенные речи.

А было так: столкнулись на поле смерти люди, еще не успевшие наломать рук на уничтожении себе подобных, в объявшем их животном ужасе натыкались, сшибались, наносили слепые удары, уродовали себя и лошадей и разбежались, вспугнутые выстрелом, убившим человека, разъехались, нравственно искалеченные.

Это назвали подвигом.

X

Фронт еще не улегся многоверстной неподатливой гадюкой. На границе вспыхивали кавалерийские стычки и бои. В первые дни после объявления войны германское командование выпустило щупальца — сильные кавалерийские разъезды, которые тревожили наши части, скользя мимо постов, выведывая расположение и численность войсковых частей. Перед фронтом 8-й армии Брусилова шла 12-я кавалерийская дивизия под командой генерала Каледина. Левее, перевалив австрийскую границу, продвигалась 11-я кавалерийская дивизия. Части ее, с боем забрав Лешнюв и Броды, топтались на месте, — к австрийцам подвалило подкрепление, и венгерская кавалерия с наскоку шла на нашу конницу, тревожа ее и тесня к Бродам.

Григорий Мелехов после боя под городом Лешнювом тяжело переламывал в себе нудную нутряную боль. Он заметно исхудал, сдал в весе, часто в походах и на отдыхе, во сне и в дреме чудился ему австриец, тот, которого срубил у решетки. Необычно часто переживал он во сне ту первую схватку, и даже во сне, отягощенный воспоминаниями, ощущал он конвульсию своей правой руки, зажавшей древко пики: просыпаясь и очнувшись, гнал от себя он, заслонял ладонью до боли зажмуренные глаза.

Вызревшие хлеба топтала конница, на полях легли следы острошипых подков, будто град пробарабанил по всей Галиции. Тяжелые солдатские сапоги трамбовали дороги, щебнили шоссе, взмешивали августовскую грязь.

Там, где шли бои, хмурое лицо земли оспой взрыли снаряды: ржавели в ней, тоскуя по человеческой крови, осколки чугуна и стали. По ночам за горизонтом тянулись к небу рукастые алые зарева, зарницами полыхали деревни, местечки, городки. В августе, когда вызревают плоды и доспевают хлеба, небо неулыбчиво серело, редкие погожие дни томили парной жарой.

К исходу клонился август. В садах жирно желтел лист, от черенка наливался предсмертным багрянцем, и издали похоже было, что деревья — в рваных ранах и кровоточат рудой древесной кровью.

Григорий с интересом наблюдал за изменениями, происходившими с товарищами по сотне. Прохор Зыков, только что вернувшийся из лазарета, с рубцеватым следом кованого копыта на щеке, еще таил в углах губ боль и недоумение, чаще моргал ласковыми телячьими глазами; Егорка Жарков при всяком случае ругался тяжкими непристойными ругательствами, похабничал больше, чем раньше, и клял все на свете; однохуторянин Григория Емельян Грошев, серьезный и деловитый казак, весь как-то обуглился, почернел, нелепо похахакивал,

смех его был непроизволен, угрюм. Перемены вершились на каждом лице, каждый по-своему вынашивал в себе и растил семена, посеянные войной.

Полк, выведенный с линии боев, стоял на трехдневном отдыхе, пополняемый прибывшим с Дона подкреплением. Сотня только что собралась идти на купание к помещичьему пруду, когда со станции, расположенной в трех верстах от имения, выехал крупный отряд конницы.

Пока казаки четвертой сотни дошли до плотины, отряд, выехавший со станции, спустился под изволок, и теперь ясно стало видно, что конница — казаки. Прохор Зыков, выгибаясь, снимал на плотине гимнастерку; выпростав голову, вгляделся.

— Наши, донские.

Григорий, жмурясь, глядел на колонну, сползавшую в имение.

— Маршевые пошли.

— К нам, небось, пополнение.

— Должно, вторую очередь подбирают.

— Гля-кось, ребята? Да ить это Степан Астахов? Вон, в третьем ряду! — воскликнул Грошев и коротко, скрипуче хахакнул.

— Подбирают и ихнего брата.

— А вон Аникушка!

— Гришка! Мелехов! Брат, вот он. Угадал?

— Угадал.

— Магарыч с тебя, шатун, я первый угадал.

Собрав на скулах рытвинки морщин, Григорий вглядывался, стараясь узнать под Петром коня. «Нового купили», — подумал и перевел взгляд на лицо брата, странно измененное давностью последнего свидания, загорелое, с подрезанными усами пшеничного цвета и обожженными солнцем серебристыми бровями. Григорий пошел ему навстречу, сняв фуражку, помахивая рукой, как на ученье. За ним с плотины хлынули полураздетые казаки, обминая ломкую поросль пустоствoлого купыря и застарелый лопушатник.

Маршевая сотня шла, огибая сад, в имение, где расположился полк. Вел ее есаул, пожилой и плотный, со свежевыбритой головой, с деревянно твердыми загибами властного бритого рта.

«Хрипатый, должно, и злой», — подумал Григорий, улыбаясь брату и оглядывая мельком крепко подогнанную фигуру есаула, горбоносого коня под ним, калмыцкой, видно, породы.

— Сотня! — звякнул есаул чистым наставленным голосом. — Взводными колоннами, левое плечо вперед, марш!

— Здорово, братуха! — крикнул Григорий, улыбаясь Петру, радостно волнуясь.

— Слава богу. К вам вот. Ну, как?

— Ничего.

— Живой?

— Покуда.

— Поклон от наших.

— Как там они?

— Здравствуют.

Петро, опираясь ладонью о круп плотного бледно-рыжей масти коня, всем корпусом поворачивался назад, скользил улыбчивыми глазами по Григорию, отъезжал дальше — его заслоняли пропыленные спины других, знакомых и незнакомых.

— Здорово, Мелехов! Поклон от хутора.

— И ты к нам? — скалился Григорий, узнав Мишку Кошевого по золотой глыбе чуба.

— К вам. Мы как куры на просо.

— Наклюешься! Скорей тебе наклюют.

— Но-но!

От плотины в одной рубахе чикилял на одной ноге Егорка Жарков. Он кособочился, растопыривая, рогатил шаровары: норовил попасть ногой в болтающуюся штанину.

— Здорово, станишники!

— Тю-у-у! Да ить это Жарков Егорка.

— Эй ты, жеребец, аль стреножили?

— Как мать там?

— Живая.

— Поклон шлет, а гостинцу не взял — так чижало.

Егорка с необычно серьезным лицом выслушал ответ и сел голым задом на траву, скрывая расстроенное лицо, не попадая дрожащей ногой в штанину.

За крашенной в голубое оградой стояли полураздетые казаки; с той стороны по дороге, засаженной каштанами, стекала во двор сотня — пополнение с Дона.

— Станица, здорово!

— Да никак ты, сват Александр?

— Он самый.

— Андреян! Андреян! Чертило вислоухий, не угадаешь?

— Поклон от жены, эй, служба!

— Спаси Христос.

— А где тут Борис Белов?

— В какой сотне был?

— В четвертой, никак.

— А откель он сам?

— С Затона Вешенской станицы.

— На что он тебе сдался? — ввязывался в летучий разговор третий.

— Стал быть, нужен. Письмо везу.

— Его, брат, надысь под Райбродами убили.

— Да ну?..

— Ей-бо! На моих глазах. Под левую сиську пуля вдарила.

— Кто тут из вас с Черной речки?

— Нету, проезжай.

Сотня вобрала хвост и строем стала посредине двора. Плотина загустела вернувшимися к купанию казаками.

Немного погодя подошли только что приехавшие из маршевой сотни. Григорий присел рядом с братом. Глина на плотине тяжко пахла сырью. По краю зеленой травой зацветала густая вода. Григорий бил в рубцах и складках рубахи вшей, рассказывал:

— Я, Петро, уморился душой. Я зараз будто недобитый какой… Будто под мельничными жерновами побывал, перемяли они меня и выплюнули. — Голос у него жалующийся, надтреснутый, и борозда (ее только что, с чувством внутреннего страха, заметил Петро) темнела, стекая наискось через лоб, незнакомая, пугающая какой-то переменой, отчужденностью.

— Как оно? — спросил Петро, стягивая рубаху, обнажая белое тело с ровно надрезанной полосой загара на шее.

— А вот видишь как, — заторопился Григорий, и голос окреп в злобе, — людей стравили, и не попадайся! Хуже бирюков стал народ. Злоба кругом. Мне зараз думается, ежели

человека мне укусить — он бешеный сделается.

— Тебе-то приходилось… убивать?

— Приходилось!.. — почти крикнул Григорий и скомкал и кинул под ноги рубаху. Потом долго мял пальцами горло, словно пропихивал застрявшее слово, смотрел в сторону.

— Говори, — приказал Петро, избегая и боясь встретиться с братом глазами.

— Меня совесть убивает. Я под Лешнювом заколол одного пикой. Сгоряча… Иначе нельзя было… А зачем я энтого срубил?

— Ну?

— Вот и ну, срубил зря человека и хвораю через него, гада, душой. По ночам снится, сволочь. Аль я виноват?

— Ты не обмялся ишо. Погоди, оно придет в чоку.

— Ваша сотня — маршевая? — спросил Григорий.

— Зачем? Нет, мы в Двадцать седьмом полку.

— А я думал — нам подмога.

— Нашу сотню к какой-то пехотной дивизии пристегивают, это мы ее догоняем, а с нами маршевая шла, молодых к вам пригнали.

— Так. Ну, давай искупаемся.

Григорий, торопясь, снял шаровары, отошел на гребень плотины, коричневый, сутулостройный, на взгляд Петра постаревший за время разлуки. Вытягивая руки, он головой вниз кинулся в воду; тяжелая зелень воды сомкнулась над ним и разошлась плеском. Он плыл к группе гоготавших посередине казаков, ласково шлепая ладонями по воде, лениво двигая плечами.

Петро долго снимал нательный крест и молитву, зашитую в материнское благословение. Гайтан сунул под рубаху, вошел в воду с опасливой брезгливостью, помочил грудь, плечи, охнув, нырнул и поплыл, догоняя Григория; отделившись, они плыли вместе к тому берегу, песчаному, заросшему кустарником.

Движение холодило, успокаивало, и Григорий, кидая взмахи, говорил сдержанно, без недавней страсти:

— Вша меня заела. С тоски. Я бы дома теперя побывал: так и полетел бы, кабы крылья были. Хучь одним глазком глянул ты. Ну, как там?

— Наталья у нас.

— А?

— Живет.

— Отец-мать как?

— Ничего. А Наталья все тебя ждет. Она думку держит, что ты к ней возвернешься.

Григорий фыркал и молча сплевывал попавшую в рот воду. Поворачивая голову, Петро норовил глянуть ему в глаза.

— Ты в письмах хучь поклоны ей посылай. Тобой баба и дышит.

— Что ж она… разорванное хочет связать?

— Да ить как сказать… Человек своей надеждой живет. Славная бабочка. Строгая. Себя дюже блюдет. Чтоб баловство какое аль ишо чего — нету за ней этого.

— Замуж бы выходила.

— Чудное ты гутаришь!

— Ничего не чудное. Так оно должно быть.

— Дело ваше. Я в него не вступаюсь.

— А Дуняшка?

— Невеста, брат! Там за этот год так вымахала, что не опознаешь.

— Ну? — повеселев, удивился Григорий.

— Истинный бог. Выдадут замуж, а нам и усы в водку омакнуть не придется. Убьют ишо, сволочи!

— Чего хитрого!

Они вылезли на песок и легли рядом, облокотившись, греясь под суровеющим солнцем. Мимо плыл, до половины высовываясь из воды, Мишка Кошевой.

— Лезь, Гришка, в воду!

— Полежу, погоди.

Зарывая в сыпкий песок жучка, Григорий спросил:

— Про Аксинью что слыхать?

— Перед тем как объявили войну, видал ее в хуторе.

— Чего она туда забилась?

— Приезжала к мужу имение забирать.

Григорий кашлянул и похоронил жучка, надвинув ребром ладони ворох песку.

— Не гутарил с ней?

— Поздравствовался только. Она гладкая из себя, веселая. Видать, легко живется на панских харчах.

— Что ж Степан?

— Отдал ее огарки. Ничего обошелся. Но ты его берегись. Остерегайся. Мне переказывали казаки, дескать, пьяный Степан грозился: как первый бой — даст тебе пулю.

— Ага.

— Он тебе не простит.

— Знаю.

— Коня себе справил, — перевел Петро разговор.

— Продали быков?

— Лысых. За сто восемьдесят. Купил за полтораста. Конь куда тебе. На Цуцкане купили.

— Хлеба как?

— Добрые. Не довелось вот убрать. Захватили.

Разговор перекинулся на хозяйство, утрачивая напряженность. Григорий жадно впитывал в себя домашние новости. Жил эти минуты ими, похожий на прежнего норовистого и простого парня.

— Ну, давай охолонемся и одеваться, — предложил Петро, обметая с влажного живота песок, подрагивая. Кожа на спине его и руках поднялась пупырышками.

Шли от пруда толпой. У забора, отделявшего сад от двора имения, догнал их Астахов Степан. Он на ходу расчесывал костяной расческой свалявшийся чуб, заправляя его под козырек; поравнялся с Григорием.

— Здорово, приятель!

— Здравствуй. — Григорий приотстал, встречая его чуть смущенным, с виноватцей взглядом.

— Не забыл обо мне?

— Почти что.

— А я вот тебя помню, — насмешливо улыбнулся Степан и прошел не останавливаясь, обнял за плечо шагавшего впереди казака в урядницких погонах.

Затемно из штаба дивизии получили телефонограмму с приказанием выступить на позицию. Полк смотался в каких-нибудь четверть часа; пополненный людьми, с песнями пошел заслонять прорыв, продырявленный мадьярской кавалерией.

При прощании Петро сунул брату в руки сложенный вчетверо листок бумаги.

— Что это? — спросил Григорий.

— Молитву тебе списал. Ты возьми…

— Помогает?

— Не смейся, Григорий.

— Я не смеюсь.

— Ну, прощай, брат. Бывай здоров. Ты не вылетывай вперед других, а то горячих смерть метит! Берегись там! — кричал Петро.

— А молитва?

Петро махнул рукой.

До одиннадцати шли, не блюдя никакой предосторожности. Потом вахмистры разнесли по сотням приказ идти с возможной тишиной, курение прекратить.

Над дальней грядкой леса взметнулись окрашенные лиловым дымом ракеты.

XI

Небольшая в сафьяновом, цвета под дуб, переплете записная книжка. Углы потерты и заломлены: долго носил хозяин в кармане. Листки исписаны узловатым косым почерком…

«…С некоторого времени явилась вот эта потребность общения с бумагой. Хочу вести подобие институтского „дневника“. Прежде всего о ней: в феврале, не помню какого числа, меня познакомил с ней ее земляк, студент Боярышкин. Я столкнулся с ними у входа в синематограф. Боярышкин, знакомя нас, говорил: „Это станичница, вешенская. Ты, Тимофей, люби ее и жалуй. Лиза — отменная девушка“. Помню, я что-то изрек нечленораздельное и подержал в руке ее мягкую потную ладонь. Так началось мое знакомство с Елизаветой Моховой. Что она испорченная девушка, я понял с первого взгляда: у таких женщин глаза говорят больше, чем следует. Она на меня произвела, признаюсь, невыгодное впечатление: прежде всего эта теплая мокрая ладонь. Я никогда не встречал, чтобы у людей так потели руки; потом — глаза, в сущности очень красивые глаза, с этаким ореховым оттенком, но в то же время неприятные.

Друг Вася, я сознательно ровняю слог, прибегаю даже к образности, с тем чтобы в свое время, когда сей «дневник» попадет к тебе в Семипалатинск (есть такая мысль: по окончании любовной интриги, которую завел я с Елизаветой Моховой, переслать тебе его. Пожалуй, чтение этого документа доставит тебе немалое удовольствие), ты имел бы точное представление о происходившем. Буду описывать в хронологическом порядке. Так вот, познакомился я с ней, и втроем пошли мы смотреть какую-то сентиментальную чушь. Боярышкин молчал (у него ломил «кутний», как он выразился, зуб), а я очень туго вел разговор. Мы оказались земляками, т. е. соседями по станицам, и, перебрав общие воспоминания о красоте степных пейзажей и пр. и пр., умолкли. Я, если можно так выразиться, непринужденно молчал, она не испытывала ни малейшего неудобства от того, что изжевали мы разговорчик. Я узнал от нее, что она медичка второго курса, а по происхождению купчиха, и очень любит крепкий чай и асмоловский табак. Как видишь, очень убогие сведения для познания девы с ореховыми глазами. При прощании (мы провожали ее до трамвайной остановки) она просила заходить к ней. Адрес я записал. Думаю заглянуть 28 апреля.

29 апреля

Был сегодня у нее, угощала чаем с халвой. В сущности — любопытная девка. Острый язык, в меру умна, вот только арцыбашевщиной от нее попахивает, ощутимо даже на

расстоянии. Пришел от нее поздно. Набивал папиросы и думал о вещах, не имеющих абсолютно никакого отношения к ней, — в частности, о деньгах. Костюм мой изношен до дикости, а «капитала» нет. В общем — хреновина.

1 мая

Ознаменован сей день событием. В Сокольниках во время очень безобидного времяпровождения напоролись на историю: полиция и отряд казаков, человек в двадцать, рассеивали рабочую маевку. Один пьяный ударил лошадь казака палкой, а тот пустил в ход плеть. (Принято почему-то называть плеть нагайкой, а ведь у нее собственное славное имя, к чему же?..) Я подошел и ввязался. Обуревали меня самые благородные чувства, по совести говорю. Ввязался и сказал казаку, что он чапура, и кое-что из иного-прочего. Тот было замахнулся и на меня плетью, но я с достаточной твердостью сказал, что я сам казак Каменской станицы и так могу его помести, что чертям станет тошно. Казак попался добродушный, молодой: служба, видно, не замордовала еще. Ответил, что он из станицы Усть-Хоперской и биток по кулачкам. Мы разошлись мирно. Если б он что-либо предпринял в отношении меня, была бы драка и еще кое-что похуже для моей персоны. Мое вмешательство объясняется тем, что в нашей компании была Елизавета, а меня в ее присутствии подмывает этакое мальчишеское желание «подвига». На собственных глазах превращаюсь в петуха и чувствую, как под фуражкой вырастает незримый красный гребень… Ведь вот до чего допер!

3 мая

Запойное настроение. Ко всему прочему, нет денег. На развилках, попросту говоря, ниже мотни, безнадежно порвались брюки, репнули; как переспелый задонский арбуз. Надежда на то, что шов будет держаться, — призрачна. С таким Же успехом можно сшить и арбуз. Приходил Володька Стрежнев. Завтра иду на лекции.

7 мая

Получил от отца деньги. Поругивает в письме, а мне ни крохотки не стыдно. Знал бы батя, что у сына подгнили нравственные стропила… Купил костюм. На галстук даже извозчики обращают внимание. Брился в парикмахерской на Тверской. Вышел оттуда свежим, галантерейным приказчиком. На углу Садово-Триумфальной мне улыбнулся городовой. Этакий плутишка! Ведь есть что-то общее у меня с ним в этом виде! А три месяца назад? Впрочем, не стоит ворошить белье истории… Видел Елизавету случайно, в окне трамвая. Помахала перчаткой и улыбнулась. Каков я?

8 мая

«Любви все возрасты покорны». Так и представляется мне рот Татьяниного муженька, раззявленный, как пушечное дуло. Мне с галереи непреодолимо хотелось плюнуть в рот ему. А когда в уме встает эта фраза, особенно конец: «По-коо-о-р-ны-ы-ы…» — челюсти мне судорожно сводит зевота, нервная, по всей вероятности.

Но дело-то в том, что я в своем возрасте влюблен. Пишу эти строки, а волосы дыбом… Был у Елизаветы. Очень выспренно и издалека начал. Делала вид, что не понимает, и пыталась свести разговор на другие рельсы. Не рано ли? Э, черт, костюм этот дело попутал!.. Погляжусь в зеркало — неотразим: дай, думаю, выскажусь. У меня как-то здравый расчет преобладает над всем остальным. Если не объясниться сейчас, то через два месяца будет уже поздно; брюки износятся и обопреют в таком месте, что никакое объяснение будет немыслимо. Пишу и сам собой восторгаюсь: до чего ярко сочетались во мне все лучшие чувства лучших людей нашей эпохи. Тут вам и нежно-пылкая страсть, и «глас рассудка твердый». Винегрет добродетелей помимо остальных достоинств.

Я так и не кончил предварительной подготовки с ней. Помешала хозяйка квартиры, которая вызвала ее в коридор и, я слышал, попросила у нее взаймы денег. Она отказала, в то

время как деньги у нее были. Я это достоверно знал, и я представил себе ее лицо, когда она правдивым голосом отказывала, и глаза ее ореховые и вполне искренние. Охота говорить о любви у меня исчезла.

13 мая

Я основательно влюблен. Это не подлежит никакому сомнению. Все признаки налицо. Завтра объяснюсь. Роли своей я так и не уяснил пока.

14 мая

Дело обернулось неожиданнейшим образом. Был дождь, тепленький такой, приятный. Мы шли по Моховой, плиты тротуара резал косой ветер. Я говорил, а она шла молча, потупив голову, словно раздумывая. Со шляпки на щеку ее стекали дождевые струйки, и она была прекрасна. Приведу наш разговор:

— Елизавета Сергеевна, я изложил вам то, что я чувствую. Слово за вами.

— Я сомневаюсь в подлинности ваших чувств.

Я глупейшим образом пожал плечами и сморозил, что готов принять присягу, или что-то в этом роде.

Она сказала:

— Слушайте, вы заговорили языком тургеневских героев. Вы бы попроще.

— Проще некуда. Я вас люблю.

— И что же?

— За вами слово.

— Вы хотите ответного признания?

— Я хочу ответа.

— Видите ли, Тимофей Иванович… Что я вам могу сказать? Вы мне чуточку нравитесь… Высокий вы очень.

— Я еще подрасту, — пообещал я.

— Но мы так мало знакомы, общность…

— Съедим вместе пуд соли и плотней узнаем друг друга.

Она розовой ладонью вытерла мокрые щеки и сказала:

— Что ж, давайте сойдемся. Поживем — увидим. Только дайте мне срок, чтобы я могла покончить с моей бывшей привязанностью.

— Кто он? — поинтересовался я.

— Вы его не знаете. Доктор один, венеролог.

— Когда вы освободитесь?

— Я надеюсь, к пятнице.

— Мы будем вместе жить? То есть в одной квартире?

— Да, пожалуй, это будет удобней. Вы переберетесь ко мне.

— Почему?

— У меня очень удобная комната. Чисто, и хозяйка симпатичная особа.

Я не возражал. На углу Тверской мы расстались. Мы поцеловались к великому изумлению какой-то дамы.

Что день грядущий мне готовит?

22 мая

Переживаю медовые дни. «Медовое» настроение омрачено было сегодня тем, что Лиза сказала мне, чтобы я переменил белье. Действительно, белье мое — изношенный кошмар. Но деньги, деньги… Тратим мои, их не так-то много. Придется поискать работы.

24 мая

Сегодня решил купить себе на белье, но Лиза ввела меня в непредвиденный расход. Ей до

зарезу захотелось пообедать в хорошем ресторане и купить себе шелковые чулки. Пообедали и купили, но я в отчаянии: ухнуло мое белье!

27 мая

Она меня истощает. Я опустошен физически и напоминаю голый подсолнечный стебель. Это не баба, а огонь с дымом!

2 июня

Мы проснулись сегодня в девять. Проклятая привычка шевелить пальцами ног привела к следующим результатам: она открыла одеяло и долго рассматривала мою ступню. Она так резюмировала свои наблюдения:

— У тебя не нога, а лошадиное копыто! Хуже! И потом эти волосы на пальцах, фи! — Она лихорадочно-брезгливо передернула плечами и, укрывшись одеялом, отвернулась к стене.

Я был сконфужен. Поджал ноги и тронул ее плечо.

— Лиза!

— Оставьте меня!

— Лиза, это ни на что не похоже. Не могу же я изменить форму своей ноги, ведь делалась она не по заказу, а что касается растительности, то волос — дурак, он всюду растет. Тебе, как медичке, надо бы знать законы естественного развития.

Она повернулась ко мне лицом. Ореховые глаза приняли злой шоколадный оттенок.

— Сегодня же извольте купить присыпанье от пота: у вас трупный запах от ног!

Я резонно заметил, что у нее постоянно мокрые ладони. Она промолчала, а на мою душу, выражаясь высоким «штилем», упала облачная тень… Тут не в ногах дело и не в шерсти…

4 июня

Сегодня мы катались в лодке по Москве-реке. Вспоминали Донщинку. Елизавета ведет себя недостойно: все время она злословит на мой счет, иногда очень грубо. Отвечать ей тем же — значит пойти на разрыв, а этого мне не хочется. Я, несмотря на все, привязываюсь к ней все больше. Она просто избалованная женщина. Боюсь, что моего воздействия будет недостаточно, чтобы в корне перетрясти ее характер. Милая, взбалмошная девочка. Притом девочка, видавшая такие виды, о которых я знал лишь понаслышке. На обратном пути она затащила меня в аптекарский магазин и, улыбаясь, купила тальку и еще какой-то чертовщины.

— Это тебе присыпать от пота.

Я кланялся очень галантно и благодарил.

Смешно, но так.

7 июня

Очень уж убогий у нее умственный пожиток. В остальном-то она любого научит.

Каждый день перед сном мою ноги горячей водой, обливаю одеколоном и присыпаю какой-то сволочью.

16 июня

С каждым днем она становится нетерпимей. С нею был вчера нервный припадок. С такою тяжело ужиться.

18 июня

Ничего общего! Мы говорим на разных языках. Связующее начало — кровать. Выхолощенная жизнь.

Сегодня утром брала она у меня из кармана деньги, перед тем как идти в булочную, и напала на эту книжонку. Вытащила.

— Что это у тебя?

Меня осыпало жаром. Что, если откроет одну-две страницы? Я ответил и сам удивился

натуральности своего голоса:

— Книжка для арифметических исчислений.

Она равнодушно сунула ее обратно в карман и ушла. Надо быть осторожней. Остроты с глазу на глаз тогда хороши, когда их не читает чужой.

Васе-другу — источник развлечения.

21 июня

Я поражаюсь Елизавете. Ей 21 год. Когда она успела так разложиться? Что у нее за семья, как она воспитывалась, кто приложил руку к ее развитию? Вот вопросы, которые меня крайне интересуют. Она дьявольски хороша. Она гордится совершенством форм своего тела. Культ самопочитания, — остального не существует. Пробовал несколько раз говорить с ней по-серьезному… Легче старовера убедить в несуществовании бога, чем ее перевоспитать.

Жизнь совместная становится немыслимой и глупой. Однако я медлю с разрывом. Признаюсь, она мне, несмотря на все это, нравится. Вросла в меня.

24 июня

А ларчик просто открывался. Мы по душам говорили сегодня, и она сказала, что я ее физически не удовлетворяю. Разрыв еще не оформлен, на днях наверное.

26 июня

Жеребца бы ей со станичной конюшни.

Жеребца!

28 июня

Мне тяжело с ней расставаться. Она меня опутала, как тина. Ездили сегодня на Воробьевы горы. Она сидела в номере у окошка, и солнце сквозь резьбу карниза стремительно падало на ее локон. Волосы цвета червонного золота. Вот тебе и поэзии шматок!

4 июля

Работа покинута мною. Я покинут Елизаветой. Пили сегодня со Стрежневым пиво. Вчера пили водку. Расстались с Елизаветой, как и полагается культурным людям, корректно. Безо всяких и без некоторых. Сегодня видел ее на Дмитровке с молодым человеком в жоккейских сапожках. Сдержанно ответила на мой поклон. На этом пора уж и кончить записки — иссяк родник.

30 июля

Приходится совершенно неожиданно взяться за перо. Война. Взрыв скотского энтузиазма. От каждого котелка, как от червивой собаки, за версту воняет патриотизмом. Ребята возмущены, а я обрадован. Меня сжирает тоска по… «утерянном рае». Вчера очень скоромно видел во сне Елизавету. Она оставила тоскующий след. Рассеяться бы.

1 августа

Шумиха приелась. Вернулось давнишнее, тоска. Сосу ее, как ребенок соску.

3 августа

Выход! Иду на войну. Глупо? Очень. Постыдно?

Полно же, мне ведь некуда деть себя. Хоть крупицу иных ощущений. А ведь этой пресыщенности не было два года назад. Старею, что ли?

7 августа

Пишу в вагоне. Только сейчас выехал из Воронежа. Завтра слезать в Каменской. Решил твердо: иду за «веру, царя и отечество».

12 августа

Мне устроили торжественные проводы. Атаман подвыпил и двигал зажигательную речь. После я ему сказал шепотом: «Дурак вы, Андрей Карпович!» Он изумился и обиделся до зелени на щеках. Прошипел язвительно: «Я тоже образованный. Вы не из тех, каких мы в

тысяча девятьсот пятом году пороли плетьми?» Я ответил, что, к моему сожалению, «не из тех». Отец плакал и лез целоваться, а нос в соплях. Бедный милый отец! Тебя бы в мою шкуру. Я ему в шутку предложил идти со мной на фронт, и он испуганно воскликнул: «Что ты, а хозяйство?» Завтра выезжаю на станцию.

13 августа

Неубранные кое-где хлеба. Жирные на кургашках сурки. Разительно похожи на тех немцев на дешевой литографии, которых Козьма Крючков нанизывает на пику. Жил-был, здравствовал, изучал математику и прочие точные науки и никогда не думал, что стану таким «шовинистом». Уж в полку я с казаками погутарю.

22 августа

На какой-то станции видел первую партию пленных. Статный австрийский офицер со спортсменской выправкой шел под конвоем на вокзал. Ему улыбнулись две барышни, гулявшие по перрону. Он на ходу очень ловко раскланялся и послал им воздушный поцелуй.

Даже в плену чисто выбрит, галантен, желтые краги лоснятся. Я проводил его взглядом: красивый молодой парень, милое товарищеское лицо. Столкнись с таким — и рука шашку не поднимет.

24 августа

Беженцы, беженцы, беженцы… Все пути заняты составами с беженцами и солдатами.

Прошел первый санитарный поезд. На остановке из вагона выскочил молодой солдат. Повязка на лице. Разговорились. Ранило картечью. Доволен ужасно, что едва ли придется служить, поврежден глаз. Смеется.

27 августа

Я в своем полку. Командир полка очень славный старичок. Казак из низовских. Тут уже попахивает кровицей. По слухам, послезавтра на позицию. Мой 3-й взвод третьей сотни — из казаков Константиновской станицы. Серые ребята. Один только балагур и песенник.

28 августа

Выступаем. Сегодня особенно погромыхивает там. Впечатление такое, как будто находит гроза и рушится далекий гром. Я даже принюхался: не пахнет ли дождем? Но небо — сатиновое, чистенькое.

Конь мой вчера захромал, ушиб ногу о колесо походной кухни. Все ново, необычно, и не знаю, за что взяться, о чем писать.

30 августа

Вчера не было времени записать. Сейчас пишу на седле. Качает, и буквы ползут из-под карандаша несуразно чудовищные. Едем трое с фуражирками за травой.

Сейчас ребята увязывают, а я лежу на животе и «фиксирую» с запозданием вчерашнее. Вчера вахмистр Толоконников послал нас шестерых в рекогносцировку (он презрительно величает меня «студентом»: «Эй, ты, студент, подкова у коня отрывается, а ты и не видишь?»). Проехали какое-то полусожженное местечко. Жарко. Лошади и мы мокрые. Плохо, что казакам приходится и летом носить суконные шаровары. За местечком в канаве увидел первого убитого. Немец. Ноги по колено в канаве, сам лежит на спине. Одна рука подвернута под спину, а в другой зажата винтовочная обойма. Винтовки около нет. Впечатление ужаснейшее. Восстанавливаю в памяти пережитое, и холодок идет по плечам… У него была такая поза, словно он сидел, свесив ноги в канаву, а потом лег, отдыхая. Серый мундир, каска. Видна кожаная подкладка лепестками, как в папиросах для того, чтобы не просыпался табак. Я так был оглушен этим первым переживанием, что не помню его лица. Видел лишь желтых крупных муравьев, ползавших по желтому лбу и остекленевшим прищуренным глазам. Казаки, проезжая, крестились. Я смотрел на пятнышко крови с правой

стороны мундира. Пуля ударила его в правый бок навылет. Проезжая, заметил, что с левой стороны, там, где она вышла, — пятно и подтек крови на земле гораздо больше и мундир вырван хлопьями.

Я проехал мимо, содрогаясь. Так вот оно что…

Старший урядник, Трундалей по прозвищу, пытался поднять наше упавшее настроение, рассказывал похабный анекдот, а у самого губы дрожали…

В полуверсте от местечка — стены какого-то сожженного завода, кирпичные стены с задымленными черными верхушками. Мы побоялись ехать прямо по дороге, так как она лежала мимо этого пепелища, решили его околесить. Поехали в сторону, и в это время оттуда в нас начали стрелять. Звук первого выстрела, как это ни стыдно, едва не вышиб меня из седла. Я вцепился в луку и инстинктивно нагнулся, дернул поводья. Мы скакали к местечку мимо той канавы с убитым немцем, опомнились только тогда, когда местечко осталось позади. Потом вернулись. Спешились. Лошадей оставили с двумя коноводами, а сами четверо пошли на край местечка к той канаве. Мы, пригибаясь, шли по этой канаве. Я еще издали увидел ноги убитого немца в коротких желтоватых сапогах, остро согнутые в коленях. Я шел мимо него, затаив дыхание, как мимо спящего, словно боялся разбудить. Под ним влажно зеленела примятая трава…

Мы залегли в канаве, и через несколько минут из-за развалин сожженного завода гуськом выехали девять человек немецких улан… Я угадал их по форме. Офицер, отделяясь, что-то крикнул резким гортанным голосом, и их отрядик поскакал по направлению на нас. Ребята кричат, чтоб я помог им траву увязать. Иду.

30 августа

Мне хочется досказать, как я в первый раз стрелял в человека. Когда немецкие уланы поскакали на нас (как сейчас перед глазами встают их зеленовато-серые мундиры, окраски ящерицы-медянки, лоснящиеся раструбы киверов, пики, колыхающиеся, с флажками).

Под уланами были караковые лошади. Я зачем-то перевел взгляд на насыпь канавы и увидел небольшого изумрудного жука. Он вырос на моих глазах и принял чудовищные размеры. Исполином полз он, качая травяные былки, к локтю моему, упертому в высохшую крупчатую глину насыпи, вскарабкался по рукаву моей защитной гимнастерки и быстро сполз на винтовку, с винтовки на ремень. Я проследил за его путешествием и услышал срывающийся голос урядника Трундалея: «Стреляйте, что ж вы?»

Я установил тверже локоть, зажмурил левый глаз, почувствовал, что сердце мое пухнет, становится таким же огромным, как тот изумрудный жук. В прорези прицельной рамы на фоне серовато-зеленого мундира дрожала мушка. Рядом со мной выстрелил Трундалей. Я нажал спуск и услышал стонущий полет моей пули. По всей вероятности, я снизил прицел, пуля рикошетом срывала с кочек дымки пыли. Первый по человеку выстрел. Я выпустил обойму, не целясь, не видя ничего перед собой. В последний раз двинул затвором, щелкнул, позабыв, что патронов нет; и только тогда глянул на немцев. Они так же стройно скакали назад. Позади всех офицер. Их было девять, и я видел караковый круп офицерского коня и металлическую пластинку верха уланского кивера.

2 сентября

У Толстого в «Войне и мире» есть место, где он говорит о черте между двумя неприятельскими войсками — черте неизвестности, как бы отделяющей живых от мертвых. Эскадрон, в котором служил Николай Ростов, идет в атаку, и Ростов мысленно определяет эту черту. Мне особенно ярко вспомнилось сегодня это место романа потому, что сегодня на заре мы атаковали немецких гусар… С утра их части, превосходно подкрепленные артиллерией, теснили нашу пехоту. Я видел, как наши солдаты — кажется, 241-й и 273-й

пехотные полки — бежали панически. Они были буквально деморализованы в результате неудачного наступления, когда два полка без артиллерийской поддержки пошли в наступление и были сбиты огнем противника и уничтожены чуть не на треть всего состава. Нашу пехоту преследовали немецкие гусары. Тут-то и был введен в дело наш стоявший на лесной просеке в резерве полк. Вот как помнится мне это дело. Мы вышли из деревни Тышвичи в 3-м часу утра. Густела предрассветная тьма. Остро пахло сосновой хвоей и овсяными хлебами. Полк шел, разбитый на сотни. С проселка свернули влево и пошли по хлебам. Лошади шли, пофыркивая, копытами сбивая сочную росу с овсов.

Прохладно даже в шинели. Полк долго таскали по полю, и уже через час из штаба полка прискакал офицер, отдал распоряжение командиру. Наш старик недовольным, голосом передал команду, и полк под прямым углом свернул к лесу. Мы во взводных колоннах жались на узкой просеке. Где-то левее нас шел бой. Действовали немецкие батареи, судя по звукам, в большом количестве. Звуки выстрелов колебались; казалось, что выше нас горит эта пахучая сосновая хвоя. Мы были слушателями до восхода солнца. Потом продрожало «ура», вялое, жалкое такое, бессочное; и — тишина, пронизанная чистой работой пулеметов. В эту минуту так бестолково толпились мысли: единственное, что я представлял в эту минуту до режущей боли отчетливо и ясно, — это многоликое лицо нашей пехоты, идущей в наступление цепями.

Я видел мешковатые серые фигуры в блинчатых защитных фуражках, в грубых, ниже колен, солдатских сапогах, топчущие осеннюю землю, и слышал отчетливый хриповатый смешок немецких пулеметов, перерабатывающих этих живых потных людей в трупы. Два полка были сметены и бежали, бросая оружие. На плечах их шел полк немецких гусар. Мы очутились у них с фланга, на расстоянии 300 или меньше сажен. Команда. Строимся моментально. Слышу единственное холодное, сдерживающее, как удила: «марш-марш!» — и летим. Уши моего коня прижаты так плотно, что кажется, рукой их не оторвать. Оглядываюсь — позади командир полка и два офицера. Вот она, черта, разделяющая живых и мертвых. Вот оно, великое безумие!

Гусары мнут свои изломанные ряды и поворачивают назад. На моих глазах сотник Чернецов зарубил немецкого гусара. Видел, как один казак шестой сотни, догоняя немца, осумасшедшев, рубил его лошадь по крупу. От взлетывающей шашки лоскутьями отскакивала кожа… Нет, это немыслимо. Этому названья нет! После того как вернулись, видел лицо Чернецова — сосредоточенно, сдержанно-весело, — за преферансом сидит, а не в седле; после убийства человека. Далеко пойдет сотник Чернецов. Способный!

4 сентября

Мы на отдыхе. К фронту стягивается 4-я дивизия 2-го корпуса. Стоим в местечке Кобылино. Сегодня утром через местечко форсированным маршем прошли части 11-й кавалерийской дивизии и уральские казаки. На западе идут бои. Беспрерывный гуд. После обеда ходил к лазарету. При мне подошел транспорт раненых. Санитары, разгружая одну четырехколку, посмеиваются. Подхожу. Рябой высокий солдат, охая и улыбаясь, слезает при помощи санитара. «Вот, казачок, — говорит он, адресуясь ко мне, — сыпанули мне горохом в задницу. Четыре картечи получил». Санитар спрашивает: «Сзади разорвался снаряд-то?» — «Какой там сзади, я сам задом наступал». Из халупы вышла сестра милосердия. Я глянул на нее, и дрожь заставила прислониться к повозке. Сходство с Елизаветой необычайное. Те же глаза, овал лица, нос, волосы. Даже голос похож. Или это мне так кажется? Теперь я, пожалуй, в любой буду находить сходство с нею.

5 сентября

Сутки кормили лошадей на коновязях, а сейчас опять туда. Физически я разбит. Трубач

играет седловку. Вот в кого в данный момент я с наслаждением выстрелил бы!..»

Григория Мелехова командир сотни послал для связи со штабом полка. Проезжая место недавних боев, Григорий увидел у самого шоссе убитого казака. Тот лежал, прижав белокурую голову к выщербленному лошадиными копытами щебню шоссе. Григорий слез и, зажимая нос (от мертвого разило густо-сладким трупным запахом), обыскал его. В кармане шаровар нашел эту книжку, огрызок химического карандаша и кошелек. Снял патронташ и мельком оглядел бледное, влажное, уже начавшее разлагаться, лицо. На висках и у переносья оно мокро, бархатисто чернело, на лбу в косой морщине мертвого сосредоточенного раздумья темнела пыль.

Григорий накрыл лицо убитого батистовым, найденным в кармане хозяина платком и поехал в штаб, изредка оглядываясь. Книжку передал в штабе писарям, и те, скопом перечитывая ее, посмеялись над чужой коротенькой жизнью и ее земными страстями.

XII

11-я кавалерийская дивизия после занятия Лешнюва с боем прошла через Станиславчик, Радзивиллов, Броды и 15 августа развернулась возле города Каменка-Струмилово. Позади шла армия, сосредоточивались на важных стратегических участках пехотные части, копились на узлах штабы и обозы. От Балтики смертельным жгутом растягивался фронт. В штабах разрабатывались планы широкого наступления, над картами корпели генералы, мчались, развозя боевые приказы, ординарцы, сотни тысяч солдат шли на смерть.

Разведки доносили, что к городу стягиваются крупные кавалерийские силы противника. В перелесках возле дорог вспыхивали стычки, казачьи разъезды входили в соприкосновение с неприятельскими разведками.

Мелехов Григорий все дни похода, после того как расстался с братом, пытался и не мог найти в душе точку опоры, чтобы остановиться в болезненных раздумьях и вернуть себе прежнее ровное настроение. С последней маршевой сотней влили в полк третьеочередников. Один из них, казак станицы Казанской, Алексей Урюпин попал в один взвод с Григорием. Был Урюпин высок, сутуловат, с выдающейся нижней челюстью и калмыцкими косицами усов; веселые, бесстрашные глаза его вечно смеялись; несмотря на возраст, светил он лысиной, лишь по бокам оголенного шишкасто-выпуклого черепа кустились редкие русые волосы. С первого же дня дали казаки ему прозвище Чубатый.

Под Бродами после боя полк отдыхал сутки. Григорий стоял с Чубатым в одной халупе. Они разговорились.

— Ты, Мелехов, какой-то линялый.

— Как линялый? — Григорий нахмурился.

— Квелый, вроде хворый, — пояснил Чубатый.

Они кормили на коновязи лошадей, курили, прислонясь к обомшелому ветхому заборчику. По улице по четыре в ряд шли гусары, под заборами валялись неубранные трупы (вытесняя австрийцев, дрались на улицах предместья), чадный дымок сочился из-под развалин сожженной синагоги. Великое разрушение и мерзостную пустоту являл город в этот предвечерний пышно расшитый красками час.

— Здоровый я. — Григорий, не глядя на Чубатого, сплюнул.

— Брешешь! Вижу.

— Чего видишь?

— Робеешь, сопатый? Смерти боишься?

— Глупой ты, — презрительно сказал Григорий и, щурясь, осмотрел ногти.

— Скажи: убил ты человека? — чеканил, испытующе вглядываясь в лицо Григория, Чубатый.

— Убил. Ну?

— Стенить душа?

— Сте-нить? — усмехнулся Григорий.

Чубатый выдернул из ножен шашку.

— Хочешь, голову срублю?

— Потом?

— Убью и не вздохну — нет во мне жалости! — Глаза Чубатого смеялись, но Григорий по голосу, по хищному трепету ноздрей понял, что говорит он серьезно.

— Дикой ты и чудак, — сказал Григорий, внимательно осматривая лицо Чубатого.

— У тебя сердце жидкое. А баклановский удар знаешь? Гляди!

Чубатый выбрал росшую в палисаднике престарелую березку, пошел прямо на нее, сутулясь, целясь глазами. Его длинные, жилистые, непомерно широкие в кисти руки висели неподвижно.

— Гляди!

Он медленно заносил шашку и, приседая, вдруг со страшной силой кинул косой взмах. Березка, срезанная на два аршина от корня, падала, цепляя ветвями голые рамы окон, царапая стену дома.

— Видал? Учись. Бакланов-атаман был, слыхал? Шашка у него была — на стоке ртуть залитая, поднимать тяжело ее, а рубанет — коня пополам. Вот!

Григорий долго не мог усвоить сложной техники удара.

— Сильный ты, а рубить дурак. Вот как надо, — учил Чубатый, и шашка его в косом полете разила цель с чудовищной силой.

— Человека руби смело. Мягкий он, человек, как тесто, — поучал Чубатый, смеясь глазами. — Ты не думай, как и что. Ты — казак, твое дело — рубить, не спрашивая. В бою убить врага — святое дело. За каждого убитого скащивает тебе бог один грех, тоже как и за змею. Животную без потребы нельзя губить — телка, скажем, или ишо что, — а человека унистожай. Поганый он, человек… Нечисть, смердит на земле, живет вроде гриба-поганки.

На возражения Григория он поморщился и упрямо умолк.

Григорий с удивлением замечал, что Чубатого беспричинно боятся все лошади. Когда подходил он к коновязи, кони пряли ушами, сбивались в одну кучу, будто зверь шел к ним, а не человек. Под Станиславчиком сотня, наступая по лесистой и топкой местности, вынуждена была спешиться. Коноводы брали лошадей и отъезжали в лощинку, под прикрытие. Чубатому досталось коноводить, но он отказался наотрез.

— Урюпин, ты чего, сучье вымя, выколашиваешься? Почему не берешь коней? — налетел на него взводный урядник.

— Они меня боятся. Ей-богу! — уверял тот, тая постоянный смешок в глазах.

Он никогда не был коноводом. Со своим конем обращался ласково, холил его заботой, но всегда замечал Григорий: как только хозяин подходил к коню, по привычке не шевеля прижатыми к бедрам руками, — по спине коня волною шла дрожь: конь беспокоился.

— Ты скажи, угодник, чего от тебя кони полохаются? — спросил как-то Григорий.

— Кто их знает. — Чубатый пожал плечами. — Я их жалею.

— Пьяных по духу угадывают, боятся, а ты тверезый.

— Во мне сердце твердое, они чуют.

— Волчиное в тебе сердце, а может, и никакого нету, камушек заместо него заложенный.

— Могет быть, — охотно соглашался Чубатый.

Под городом Каменка-Струмилово третий взвод целиком со взводным офицером выехал в рекогносцировку: накануне чех-перебежчик сообщил командованию о дислокации австрийских частей и предполагаемом контрнаступлении по линии Гороши — Ставинцкий; требовалось постоянное наблюдение за дорогой, по которой предполагалось передвижение частей противника; с этой целью взводный офицер оставил на опушке леса четырех казаков со взводным урядником, а с остальными поехал к видневшимся за взгорьем черепичным крышам какого-то выселка.

На опушке, возле старой остроконечной часовни со ржавым распятием, остались Григорий Мелехов, урядник, казаки из молодых — Силантьев, Чубатый и Мишка Кошевой.

— Спешивайся, ребята, — приказал урядник. — Кошевой, отведи коней вон за энти сосны, ну да, вон за энти, какие погуще.

Казаки лежали под сломленной засохшей сосной, курили: урядник глаз не отрывал от бинокля. Шагах в десяти от них волнилось неубранное, растерявшее зерно жито. Выхолощенные ветром колосья горбились и скорбно шуршали. Полчаса пролежали казаки, перебрасываясь ленивыми фразами. Где-то правее города неумолчно колыхался орудийный гул. Григорий подполз к хлебам и, выбирая полные колосья, обминая их, жевал черствое, перестоявшееся зерно.

— Никак, австрийцы! — вполголоса воскликнул урядник.

— Где? — встрепенулся Силантьев.

— Вон, из леса. Правей гляди!

Кучка всадников выехала из-за дальнего перелеска. Остановившись, они разглядывали поле с далеко выпяченными мысами леса, потом тронулись по направлению на казаков.

— Мелехов! — позвал урядник.

Григорий ползком добрался до сосны.

— Подпустим ближе и вдарим залпом. Готовь винтовки, ребята! — лихорадочно шептал урядник.

Всадники, забирая вправо, двигались шагом. Четверо лежали под сосной молча, тая дыхание.

— …аухт, капраль! — донесло ветром молодой звучный голос.

Григорий приподнял голову: шесть венгерских гусар, в красивых, расшитых шнурами куртках, ехали кучкой. Передний, на вороном крупном коне, держал на руке карабин и негромко басовито смеялся.

— Крой! — шепнул урядник.

«Гу-гу-гак!» — гукнул залп.

«Ака-ка-ка — ка-ак!» — залаяло позади эхо.

— Чего вы? — испуганно крикнул из-за сосен Кошевой — и по лошадям: — Тррр, проклятый! Взбесился! Тю, черт! — Голос его прозвучал отрезвляюще громко.

По хлебам скакали, разбившись, цепкой, гусары. Один из них, тот, который ехал передним на сытом вороном коне, стрелял вверх. Последний, отставший, припадая к шее лошади, оглядывался, держал левой рукой кепи.

Чубатый вскочил первый и побежал, путаясь ногами в житах, держа наперевес винтовку. Саженях в Ста взбрыкивала и сучила ногами упавшая лошадь, около нее без кепи стоял венгерский гусар, потирая ушибленное при падении колено. Он что-то крикнул еще издали и поднял руки, оглядываясь на скакавших вдали товарищей.

Все это произошло так быстро, что Григорий опомнился только тогда, когда Чубатый подвел пленника к сосне.

— Сымай, вояка! — крикнул он, грубо рванув к себе палаш.

Пленник растерянно улыбнулся, засуетился. Он с готовностью стал снимать ремень, но руки его заметно дрожали, ему никак не удавалось отстегнуть пряжку. Григорий осторожно помог ему, и гусар — молодой, рослый, пухлощекий парень, с крохотной бородавкой, прилепившейся на уголке бритой верхней губы, — благодарно ему улыбаясь, закивал головой. Он словно обрадовался, что его избавили от оружия, пошарил в карманах, оглядывая казаков, достал кожаный кисет и залопотал что-то, жестами предлагая покурить.

— Угощает, — улыбнулся урядник, а сам уж щупал в кармане бумажку.

— Закуривай на чужбяк, — хохотнул Силантьев.

Казаки свернули цигарки, закурили. Черный трубочный табак крепко ударил в головы.

— Винтовка его где? — с жадностью затягиваясь, спросил урядник.

— Вот она. — Чубатый показал из-за спины простроченный желтый ремень.

— Надо его в сотню. В штабе небось нуждаются в «языке». Кто погонит, ребяты? — спросил урядник, перхая и обводя казаков посоловелыми глазами.

— Я провожу, — вызвался Чубатый.

— Ну, гони.

Пленный, видимо, понял, заулыбался кривой, жалкой улыбкой; пересиливая себя, он суетился, вывернул карманы и совал казакам помятый влажный шоколад.

— Русин их… русин… нихт австриц! — Он коверкал слова, смешно жестикулировал и все совал казакам пахучий мятый шоколад.

— Оружие есть окромя? — спросил его урядник. — Да ты не лопочи, не поймем все одно. Ливорверт есть? Бах-бах есть? — Урядник нажал мнимый спуск.

Пленный яростно замотал головой.

— Не есть! Не есть!

Он охотно дал себя обыскать, пухлые щеки его дрожали.

Из разорванных на колене рейтуз стекала кровь, виднелась на розовом теле ссадина. Он прикладывал к ней носовой платок, морщился, чмокал губами, безумолчно говорил… Кепи его осталось возле убитой лошади, он просил позволения сходить взять одеяло, кепи и записную книжку, в ней ведь фотография его родных. Урядник тщетно силился его понять и безнадежно махнул рукой:

— Гони.

Чубатый взял у Кошевого своего коня, сел, поправляя винтовочный ремень, указал рукой:

— Иди, служивый, тоже вояка, едрена-матрена!

Поощренный его улыбкой, пленный улыбнулся и, шагая рядом с лошадью, даже с заискивающей фамильярностью хлопнул ладонью по сухой голени Чубатого. Тот сурово откинул его руку, натянул поводья, пропуская его вперед.

— Иди, черт! Шутки шутишь?

Пленный виновато заторопился, пошел уже серьезный, часто оглядываясь на оставшихся казаков. Белесые его вихры задорно торчали на макушке. Таким он и остался в памяти Григория — накинутая внапашку расшивная гусарская куртка, белесые, торчмя поднятые вихры и уверенная, бравая походка.

— Мелехов, поди его коня расседлай, — приказал урядник и с сожалением плюнул на остаток цигарки, уже припекавшей пальцы.

Григорий снял с убитой лошади седло, зачем-то поднял лежавшее неподалеку кепи. Он понюхал подкладку, ощутил пряный запах дешевого мыла и пота. Нес седло и бережно держал в левой руке гусарское кепи. Казаки, сидя на корточках у сосны, копались в сумках, рассматривая невиданной формы седло.

— Табачок хорош у него, надо бы ишо на цигарку попросить, — пожалел Силантьев.

— Да, что верно, то верно, хорош табак.

— Будто ажник сладкий, так маслом по глотке и идет… — Урядник вздохнул при воспоминании и проглотил слюну.

Спустя несколько минут из-за сосны показалась голова лошади. Чубатый ехал обратно.

— Ну?.. — испуганно вскочил урядник — Упустил?

Помахивая плетью. Чубатый подъехал, спешился, потянулся, разминая плечи.

— Куда дел австрийца? — допытывался, подступая, урядник.

— Чего лезешь? — огрызнулся Чубатый. — Побег он… Думал убечь…

— Упустил?

— Выехали на просеку, он и ахнул… Срубил я его.

— Брешешь ты! — крикнул Григорий. — Зря убил!

— Ты чего шумишь? Тебе какое дело? — Чубатый поднял на Григория ледяные глаза.

— Ка-а-ак? — Григорий медленно привстал, шарил вокруг себя подпрыгивающими руками.

— Не лезь, куда не надо! Понял, а? Не лезь! — строго повторил Чубатый.

Рванув за ремень винтовку, Григорий стремительно вскинул ее к плечу.

Палец его прыгал, не попадая на спуск, странно косилось побуревшее лицо.

— Но-нно! — угрожающе вскрикнул урядник, подбегая к Григорию.

Толчок опередил выстрел, и пуля, сбивая хвою с сосен, запела тягуче-тонко.

— Что ж это! — ахнул Кошевой.

Силантьев как сидел с открытым ртом, так и остался.

Урядник, пихая Григория в грудь, вырвал у него винтовку, лишь Чубатый не изменил положения: он все так же стоял, отставив ногу, держался левой рукой за поясок.

— Стреляй ишо.

— Убью!.. — рванулся к нему Григорий.

— Да вы что?.. Как это? Под суд, под расстрел хочете? Клади оружие!.. — заорал урядник и, отпихнув Григория, стал между ними, распятьем расклячив руки.

— Брешешь, не убьешь!.. — сдержанно смеялся Чубатый, подрыгивая отставленной ногой.

На обратном пути, уже в сумерках, Григорий первый заметил на просеке труп зарубленного. Подскакал, опережая остальных, удерживая всхрапывающего коня, всмотрелся: на курчавом мху, далеко откинув вывернутую руку, плашмя, зарывшись лицом в мох, лежал зарубленный. На траве тускло, осенним листом желтела ладонь. Ужасающий удар, нанесенный, по всей вероятности, сзади, расклинил пленного надвое, от плеча наискось до пояса.

— Полохнул он его… — глухо проговорил урядник, проезжая, испуганно косясь на белесые вихры убитого, никло торчавшие на покривленной голове.

Казаки ехали молча до места стоянки сотни. Сгущались сумерки. Черную перистую тучу гнал с запада ветерок. Откуда-то с болота подползал пресный запах мочажинника, ржавой сырости, гнилья; гукала выпь. Дремная тишина прерывалась звяком конской сбруи, случайным стуком шашки о стремя, хрустом хвои под копытами лошадей. Над просекой меркли на стволах сосен темно-рудые следы ушедшего солнца. Чубатый часто курил. Тлеющий огонек освещал его толстые, с выпуклыми черными ногтями пальцы, крепко сжимавшие цигарку.

Туча наплывала над лесом, подчеркивая, сгущая кинутые на землю линялые, непередаваемо-грустные краски вечера.

XIII

Операция по захвату города началась рано утром. Пехотные части, имея на флангах и в резерве кавалерию, должны были повести наступление от леса с рассветом. Где-то произошла путаница: два полка пехоты не пришли вовремя; 211-й стрелковый полк получил распоряжение переброситься на левый фланг; во время обходного движения, предпринятого другим полком, его обстреляла своя же батарея; творилось несуразное, губительная путаница коверкала планы, и наступление грозило окончиться если не разгромом наступающих, то, во всяком случае, неудачей. Пока перетасовывалась пехота и выручали артиллеристы упряжки и орудия, по чьему-то распоряжению направленные ночью в болото, 11-я дивизия пошла в наступление. Лесистая и болотистая местность не позволяла атаковать противника широким фронтом, на некоторых участках эскадронам нашей кавалерии приходилось идти в атаку повзводно. Четвертая и пятая сотни 12-го полка были отведены в резерв, остальные уже втянулись в волну наступления, и до оставшихся донесло через четверть часа гул и трясучий рвущийся вой:

— «Ррр-а-а-а-а — р-а-а-а-а — ррр-а-а-а!..»

— Тронулись наши!

— Пошли.

— Пулемет-то частит.

— Наших, должно, выкашивает…

— Замолчали, а?

— Добираются, значит.

— Зараз и мы любовнику потянем, — отрывочно переговаривались казаки.

Сотни стояли на лесной поляне. Крутые сосны жали глаз. Мимо, чуть не на рысях, прошла рота солдат. Молодецки затянутый фельдфебель приотстал; пропуская последние ряды, крикнул хрипато:

— Не мни ряды!

Рота протопотала, звякая манерками, и скрылась за ольховой зарослью.

Совсем издалека, из-за лесистого увала, удаляясь, опять приплыл ослабевший перекатистый крик: «Ра-аа — а-урр-ррра-а-а!.. Аа-а!..» — и сразу, как обрезанный, крик смолк. Густая, нудная нависла тишина.

— Вот когда добрались!

— Ломают один одного… Секутся!

Все напряженно вслушивались, но тишина стояла непроницаемая. На правом фланге громила наступающих австрийская артиллерия и частой строчкой прошивали слух пулеметы.

Мелехов Григорий оглядывал взвод. Казаки нервничали, кони беспокоились, будто овод жалил. Чубатый, повесив на луку фуражку, вытирал сизую потную лысину, рядом с Григорием жадно напивался махорочным дымом Мишка Кошевой. Все предметы вокруг были отчетливо и преувеличенно реальны, — так бывает, когда не спишь всю ночь.

Сотни простояли в резерве часа три. Стрельба утихала и нарастала с новой силой. Над ними прострекотал и дал несколько кругов чей-то аэроплан. Он кружился на недоступной высоте и полетел на восток, забирая все выше; под ним в голубом плесе вспыхнули молочные дымки шрапнельных разрывов: били из зенитки.

Резерв ввели в дело к полудню. Уже искурен был весь запас махорки и люди изныли в ожидании, когда прискакал ординарец-гусар. Сейчас же командир четвертой сотни вывел сотню на просеку и повел куда-то в сторону. (Григорию казалось, что едут они назад.) Минут двадцать ехали по чаще, смяв построение. К ним все ближе подползали звуки боя; где-то

неподалеку, сзади, беглым огнем садила батарея; над ними с клекотом и скрежетом, одолевая сопротивление воздуха, проносились снаряды. Сотня, расчлененная блужданием по лесу, в беспорядке высыпала на чистое. В полуверсте от них на опушке венгерские гусары рубили прислугу русской батареи.

— Сотня, стройся!

Не успели разомкнуть строй:

— Сотня, шашки вон, в атаку марш-э-марш!

Голубой ливень клинков. Сотня, увеличивая рысь, перешла в намет.

Возле запряжки крайнего орудия суетилось человек шесть венгерских гусар. Один из них тянул под уздцы взноровившихся лошадей; второй бил их палашом, остальные, спешенные, пытались стронуть орудие, помогали, вцепившись в спины колес. В стороне на куцехвостой шоколадной масти кобылице гарцевал офицер. Он отдавал приказание. Венгерцы увидели казаков и, бросив оружие, поскакали.

«Вот так, вот так, вот так!» — мысленно отсчитывал Григорий конские броски. Нога его на секунду потеряла стремя, и он, чувствуя свое неустойчивое положение в седле, ловил стремя с внутренним страхом; свесившись, поймал, вдел носок и, подняв глаза, увидел орудийную запряжку шестерней, на передней — обнявшего руками конскую шею зарубленного ездового, в заплавленной кровью и мозгами рубахе. Копыта коня опустились на хрустнувшее под ними тело убитого номерного. Возле опрокинутого зарядного ящика лежало еще двое, третий навзничь распластался на лафете. Опередив Григория, скакал Силантьев. Его почти в упор застрелил венгерский офицер на куцехвостой кобылице. Подпрыгнув на седле, Силантьев падал, ловил, обнимал руками голубую даль… Григорий дернул поводья, норовя зайти с подручной стороны, чтобы удобней было рубить; офицер, заметив его маневр, выстрелил из-под руки. Он расстрелял в Григория револьверную обойму и выхватил палаш. Три сокрушительных удара он, как видно искусный фехтовальщик, отразил играючи. Григорий, кривя рот, настиг его в четвертый раз, привстал на стременах (лошади их скакали почти рядом, и Григорий видел пепельно-серую, тугую, бритую щеку венгерца и номерную нашивку на воротнике мундира), он обманул бдительность венгерца ложным взмахом и, изменив направление удара, пырнул концом шашки, второй удар нанес в шею, где кончается позвоночный столб. Венгерец, роняя руку с палашом и поводья, выпрямился, выгнул грудь, как от укуса, слег на луку седла. Чувствуя чудовищное облегчение, Григорий рубанул его по голове. Он видел, как шашка по стоки въелась в кость выше уха.

Страшный удар в голову сзади вырвал у Григория сознание. Он ощутил во рту горячий рассол крови и понял, что падает, — откуда-то сбоку, кружась, стремительно неслась на него одетая жнивьем земля.

Жесткий толчок при падении на секунду вернул его к действительности. Он открыл глаза; омывая, их залила кровь. Топот возле уха и тяжкий дух лошади: «хап, хап, хап!» В последний раз открыл Григорий глаза, увидел раздутые розовые ноздри лошади, чей-то пронизавший стремя сапог. «Все», — змейкой скользнула облегчающая мысль. Гул и черная пустота.

XIV

В первых числах августа сотник Евгений Листницкий решил перевестись из лейб-гвардии Атаманского полка в какой-либо казачий армейский полк. Он подал рапорт и через

три недели выхлопотал себе назначение в один из полков, находившихся в действующей армии. Оформив назначение, он перед отъездом из Петрограда известил отца о принятом решении коротким письмом:

«Папа, я хлопотал о переводе меня из Атаманского полка в армию. Сегодня я получил назначение и уезжаю в распоряжение командира 2-го корпуса. Вас, по всей вероятности, удивит принятое мною решение, но я объясняю его следующим образом: меня тяготила та обстановка, в которой приходилось вращаться. Парады, встречи, караулы — вся эта дворцовая служба набила мне оскомину. Приелось все это до тошноты, хочется живого дела и… если хотите — подвига. Надо полагать, что во мне сказывается славная кровь Листницких, тех, которые, начиная с Отечественной войны, вплетали лавры в венок русского оружия. Еду на фронт. Прошу вашего благословения. На той неделе я видел императора перед отъездом в Ставку. Я обожествляю этого человека. Я стоял во внутреннем карауле во дворце. Он шел с Родзянко и, проходя мимо меня, улыбнулся, указывая на меня глазами, сказал по-английски: „Вот моя славная гвардия. Ею в свое время я побью карту Вильгельма“. Я обожаю его, как институтка. Мне не стыдно признаться вам в этом, даже несмотря на то, что мне перевалило за 28. Меня глубоко волнуют те дворцовые сплетни, которые паутиной кутают светлое имя монарха. Я им не верю и не могу верить. На днях я едва не застрелил есаула Громова за то, что он в моем присутствии осмелился непочтительно отозваться об ее императорском величестве. Это гнусно, и я ему сказал, что только люди, в жилах которых течет холопская кровь, могут унизиться до грязной сплетни. Этот инцидент произошел в присутствии нескольких офицеров. Меня охватил пароксизм бешенства, я вытащил револьвер и хотел истратить одну пулю на хама, но меня обезоружили товарищи. С каждым днем мне все тяжелее было пребывать в этой клоаке. В гвардейских полках — в офицерстве, в частности, — нет того подлинного патриотизма, страшно сказать — нет даже любви к династии. Это не дворянство, а сброд. Этим, в сущности, и объясняется мой разрыв с полком. Я не могу общаться с людьми, которых не уважаю. Ну, кажется, все. Простите за некоторую несвязность, спешу, надо увязать чемодан и ехать к коменданту. Будьте здоровы, папа. Из армии пришлю подробное письмо.

Ваш Евгений».

Поезд на Варшаву отходил в восемь часов вечера. Листницкий на извозчике доехал до вокзала. Позади в сизовато-голубом мерцании огней лег Петроград. На вокзале тесно и шумно. Преобладают военные. Носильщик уложил чемодан Листницкого и, получив мелочь, пожелал их благородию счастливого пути. Листницкий снял портупею и шинель, развязал ремни, постелил на скамье цветастое шелковое кавказское одеяло. Внизу, у окна, разложив на столике домашнюю снедь, закусывал худой, с лицом аскета, священник. Отряхивая с волокнистой бороды хлебные крошки, он угощал сидевшую против него смуглую москлявенькую девушку в форме гимназистки.

— Отпробуйте-ко. А?

— Благодарю вас.

— Полноте стесняться, вам, при вашей комплекции, надо больше кушать.

— Спасибо.

— Ну вот ватрушечки испробуйте. Может быть, вы, господин офицер, отведаете?

Листницкий свесил голову.

— Вы мне?

— Да, да. — Священник буравил его угрюмыми глазами и улыбался одними тонкими глазами под невеселой порослью волокнистых, в проталинках усов.

— Спасибо. Не хочу.

— Напрасно. Входящее в уста не оскверняет. Вы не в армию?

— Да.

— Помогай вам бог.

Листницкий сквозь пленку дремы ощущал будто издалека добиравшийся до слуха густой голос священника, и мнилось уже, что это не священник говорит жалующимся басом, а есаул Громов.

— …Семья, знаете ли, бедный приход. Вот и еду в полковые духовники. Русский народ не может без веры. И год от году, знаете ли, вера крепнет. Есть, конечно, такие, что отходят, но это из интеллигенции, а мужик за бога крепко держится. Да… Вот так-то… — вздохнул бас, и опять поток слов, уже не проникающих в сознание.

Листницкий засыпал. Последнее, что ощутил наяву, — запас свежей краски дощатого в мелкую полоску потолка и окрик за окном:

— Багажная принимала, а мне дела нет!

«Что багажная принимала?» — ворохнулось сознание, и ниточка незаметно оборвалась. Освежающий после двух бессонных ночей, навалился сон. Проснулся Листницкий, когда поезд оторвал уже от Петрограда верст сорок пространства. Ритмично татакали колеса, вагон качался, волнуемый рывками паровоза, где-то в соседнем купе вполголоса пели, лиловые косые тени бросал фонарь.

Полк, в который получил назначение сотник Листницкий, понес крупный урон в последних боях, был выведен из сферы боев и спешно ремонтировался конским составом, пополнялся людьми.

Штаб полка находился в большой торговой деревне Березняги. Листницкий вышел из вагона на каком-то безымянном полустанке. Там же выгрузился походный лазарет. Справившись у доктора, куда направляется лазарет, Листницкий узнал, что он перебрасывается с Юго-Западного фронта на этот участок и сейчас же тронется по маршруту Березняги — Ивановка — Крышовинское. Большой багровый доктор очень нелюбезно отзывался о своем непосредственном начальстве, громил штабных из дивизии и, лохматя бороду, поблескивая из-под золотого пенсне злыми глазами, изливал свою желчную горечь перед случайным собеседником.

— Вы меня можете подвезти до Березнягов? — перебил его на полуслове Листницкий.

— Садитесь, сотник, на двуколку. Поезжайте, — согласился доктор и, фамильярно покручивая пуговицу на шинели сотника, ища сочувствия, грохотал сдержанным басом: — Ведь вы подумайте, сотник: протряслись двести верст в скотских вагонах для того, чтобы слоняться тут без дела, в то время как на том участке, откуда мой лазарет перебросили, два дня шли кровопролитнейшие бои, осталась масса раненых, которым срочно нужна была наша помощь. — Доктор со злым сладострастием повторил: «кровопролитнейшие бои», налегая на «р», прирыкивая.

— Чем объяснить эту несуразицу? — из вежливости поинтересовался сотник.

— Чем? — Доктор иронически вспялил поверх пенсне брови, рыкнул: — Безалаберщиной, бестолковщиной, глупостью начальствующего состава, вот чем! Сидят там мерзавцы и путают. Нет распорядительности, просто нет здравого ума. Помните Вересаева «Записки врача»? Вот-с! Повторяем в квадрате-с.

Листницкий откозырял, направился к транспорту, вслед ему каркал сердитый доктор:

— Проиграем войну, сотник! Японцам проиграли и не поумнели. Шапками закидаем, так что уж там… — и пошел по путям, перешагивая лужицы, задернутые нефтяными радужными блестками, сокрушенно мотая головой.

Смеркалось, когда лазарет подъехал к Березнягам. Желтую щетину жнивья перебирал

ветер. На западе корячились, громоздясь, тучи. Вверху фиолетово чернели, чуть ниже утрачивали чудовищную свою окраску и, меняя тона, лили на тусклую ряднину неба нежно-сиреневые дымчатые отсветы; в средине вся эта бесформенная громада, набитая как крыги в ледоход на заторе, рассачивалась, и в пролом неослабно струился апельсинного цвета поток закатных лучей. Он расходился брызжущим веером, преломляясь и пылясь, вонзался отвесно, а ниже пролома неописуемо сплетался в вакханальный спектр красок.

У придорожной канавы лежала пристреленная рыжая лошадь. Задняя нога ее, дико задранная кверху, блестела полустертой подковой. Листницкий, подпрыгивая на двуколке, разглядывал лошадиный труп. Ехавший с ним санитар пояснил, сплевывая на вздувшийся живот лошади:

— Зерна обожралась… объелась, — поправил он, взглянув на сотника; хотел еще раз сплюнуть, но слюну проглотил из вежливости, вытер губы рукавом гимнастерки. — Издохла — а убрать не надо… У германцев, у тех не по-нашему.

— А ты почем знаешь? — беспричинно злобно спросил Листницкий и в этот момент так же беспричинно и остро возненавидел равнодушное, с оттенком превосходства и презрения, лицо санитара. Оно было серовато, скучно, как сентябрьское поле в жнивье; ничем не отличалось от тысячи других мужицко-солдатских лиц, тех, которые встречал и догонял сотник на пути от Петрограда к фронту. Все они казались какими-то вылинявшими, тупое застыло в серых, голубых, зеленоватых и иных глазах, и крепко напоминали хожалые, давнишнего чекана медные монеты.

— Я в Германии три года до войны прожил, — не спеша ответил санитар. В оттенке его голоса прозвучало то же превосходство и презрение, которое уловил сотник во взгляде. — Я в Кенисберге на сигарной фабрике работал, — скучающе ронял санитар, погоняя маштака узлом ременной вожжи.

— Помолчи-ка! — строго сказал Листницкий и повернулся, оглядывая голову лошади с упавшей на глаза челкой и обнаженным, обветревшим на солнце навесом зубов.

Нога ее, задранная кверху, была согнута в коленном сгибе, копыто чуть растрескалось от ухналей, но раковина плотно светлела сизым глянцем, и сотник по ноге, по тонкой точеной бабке определил, что лошадь была молодая и хорошей породы.

Двуколка, подпрыгивая по кочковатому проселку, отъезжала дальше. Меркли краски на западной концевине неба, рассасывал ветер тучи. Нога мертвой лошади чернела сзади безголовой часовней. Листницкий все смотрел на нее, и вдруг на лошадь круговиной упал снопик лучей, и нога с плотно прилегшей рыжей шерстью неотразимо зацвела, как некая чудесная безлистая ветвь, окрашенная апельсинным цветом.

Уже на въезде в Березняги лазарет встретился с транспортом раненых.

Пожилой бритый белорус — хозяин первой подводы — шел около лошади, намотав на руку веревочные вожжи. На повозке, облокотившись, лежал казак без фуражки, с забинтованной головой. Он, устало закрыв глаза, жевал хлеб и выплевывал черную пережеванную кашицу. С ним рядом лежал плашмя солдат. На ягодицах у него топорщились безобразно изорванные, покоробленные от спекшейся крови штаны. Солдат, не поднимая головы, дико ругался. Листницкий ужаснулся, вслушиваясь в интонацию голоса: так истово молятся крепко верующие. На второй повозке внакат лежало человек шесть солдат. Один из них, лихорадочно веселый, рассказывал, щуря воспаленные, горячечные глаза:

— …будто приезжал посол от ихого инператора и делал предлог заключать мир. Главное — верный человек; в надеже я — он не сбрешет.

— Навряд, — сомневался второй, качая круглой головой со следами давнишней золотухи.

— Подожди, Филипп, могет быть, что и правда, приезжал, — мягким волжским говорком отзывался третий, сидевший к встречным спиной.

На пятой подводе краснели околыши казачьих фуражек. Трое казаков удобно разместились на широком возу, молча глядели на Листницкого, и на их запыленных суровых лицах не было и тени той почтительности, которую видишь в строю.

— Здорово, станичники! — приветствовал их сотник.

— Здравия желаем, — вяло ответил ближайший к подводчику, красивый серебряноусый и бровястый казак.

— Какого полка? — спросил Листницкий, пытаясь разглядеть номер на синем погоне казака.

— Двенадцатого.

— Где сейчас ваш полк?

— Не могем знать.

— Ну, где вас ранило?

— Под деревней тут… недалеко.

Казаки о чем-то пошептались, и один из них, придерживая здоровой рукой раненую, завязанную холстинным лоскутом, соскочил с повозки.

— Ваше благородие, погодите чудок. — Он бережно нес простреленную, тронутую воспалением руку, шел по дороге, улыбаясь Листницкому и увалисто переставляя босые ноги.

— Вы не Вешенской станицы? Не Листницкий?

— Да-да.

— То-то мы угадали. Ваше благородие, не будет ли закурить? Угостите, Христа ради, помираем без табаку!

Он держался за крашеный бок двуколки, шел рядом, Листницкий достал портсигар.

— Вы б нам уважили с десяточек. Нас ить трое, — просительно улыбнулся казак.

Листницкий высыпал ему на коричневую объемистую ладонь весь запас папирос, спросил:

— Много в полку раненых?

— Десятка два.

— Потери большие?

— Много побито. Зажгите, ваш благородие, огоньку. Благодарствуйте. — Казак, прикуривая, отстал, крикнул вдогон: — С Татарского хутора, что возля вашего имения, троих ноне убило. Попятнили казаков.

Он махнул рукой и пошел догонять свою подводу. Ветер ворошил на нем неподпоясанную защитную гимнастерку.

Командир полка, в который получил назначение сотник Листницкий, стоял в Березнягах на квартире у священника. Сотник распрощался на площади с врачом, гостеприимно предоставившим ему место на санитарной двуколке, и пошел, на ходу отряхивая мундир от пыли, расспрашивая встречных о местопребывании штаба полка. Навстречу ему пламенно-рыжий бородач фельдфебель вел солдата в караул. Он козырнул сотнику, не теряя ноги, ответил на вопрос и указал дом. В помещении штаба было затишно, как и во всяком штабе, находящемся далеко от передовых позиций. Писари никли над большим столом, у трубки полевого телефона пересмеивался с невидимым собеседником престарелый есаул. На окнах просторной хаты брунжали мухи, и по-комариному ныли далекие телефонные звонки. Вестовой провел сотника к командиру полка на квартиру. В передней недружелюбно встретил его высокий, с треугольным шрамом на подбородке, чем-то расстроенный полковник.

— Я командир полка, — ответил он на вопрос и, выслушав о том, что сотник честь имеет явиться в его распоряжение, молча, движением руки пригласил его в комнату. Уж закрывая дверь за собой, он поправил волосы жестом беспредельной усталости, сказал мягким монотонным голосом: — Мне вчера передали об этом из штаба бригады. Прошу садиться.

Он расспрашивал Листницкого о прежней службе, о столичных новостях, о дороге; и за все время короткого их разговора ни разу не поднял на собеседника отягощенных какой-то большою усталостью глаз.

«Надо полагать, что задалось ему на фронте. Вид у него смертельно усталый», — соболезнующе подумал сотник, разглядывая высокий умный лоб полковника. Но тот, словно разубеждая его, эфесом шашки почесал переносье, сказал:

— Подите, сотник, познакомьтесь с офицерами, я, знаете ли, не спал три ночи. В этой глухомани нам, кроме карт и пьянства, нечего делать.

Листницкий, козыряя, таил в усмешке жесткое презренье. Он ушел, неприязненно вспоминая встречу, иронизируя над тем уважением, которое невольно внушили ему усталый вид и шрам на широком подбородке полковника.

XV

Дивизия получила задание форсировать реку Стырь и около Ловишчей выйти противнику в тыл.

Листницкий за несколько дней сжился с офицерским составом полка; его быстро втянула боевая обстановка, вытравляя прижившиеся в душе уют и мирную дрему.

Операция по форсированию реки была выполнена дивизией блестяще. Дивизия ударила в левый фланг значительной группы войск противника и вышла в тыл. Под Ловишчами австрийцы при содействии мадьярской кавалерии пытались перейти в контрнаступление, но казачьи батареи смели их шрапнелью, развернутые мадьярские эскадроны отступали в беспорядке, уничтожаемые фланговым пулеметным огнем, преследуемые казаками.

Листницкий с полком ходил в контратаку, дивизион их наседал на отступавшего неприятеля. Третий взвод, которым командовал Листницкий, потерял одного казака убитым и четырех ранеными. С внешним спокойствием сотник проехал мимо Лощенова, старался не слушать его хриплого низкого голоса. Лощенов — молодой горбоносый казак Краснокутской станицы — лежал, придавленный навалившимся на него убитым конем. Он был ранен в предплечье, лежал тихо, скалясь, просил проезжавших мимо казаков:

— Братушки, не покиньте! Ослобоните, братушки…

Низкий, иссеченный мукой голос звучал тускло, но не было в мятущихся сердцах проезжавших казаков сострадания, а если и было, то воля, не давая ему просачиваться, мяла и давила неослабно. Взвод пять минут ехал шагом, давая передышку хрипевшим от скачки лошадям. В полуверсте от них уходили расстроенный эскадроны мадьяр. Между их красивыми, в опушке, куртками мережились сине-серые мундиры пехотинцев. По гребню сползал австрийский обоз, над ним прощально взмахивали молочные дымки шрапнелей. Откуда-то слева по обозу беглым огнем садила батарея. Гулкие раскаты стлались по полю, находя в ближнем лесу многоголосые отклики.

Войсковой старшина Сафронов, ведший дивизион, скомандовал «рысью», и три сотни, рассыпаясь, вытягиваясь, пошли тяжкой трусцой. Лошади под всадниками качались, желто-розовыми цветами падала с них пена.

Эту ночь ночевали в маленькой деревушке.

Двенадцать человек офицеров полка теснились в одной халупе. Разбитые усталостью, голодные легли спать. Около полуночи приехала полевая кухня. Хорунжий Чубов принес котелок щей, жирный их аромат разбудил офицеров, и через четверть часа опухшие со сна офицеры ели жадно, без разговоров, наверстывали за два потерянных в боях дня. После позднего обеда исчез сон. Офицеры, отягощенные едой, лежали на бурках, на соломе, курили.

Подъесаул Калмыков, маленький круглый офицер, носивший не только в имени, но и на лице признаки монгольской расы, говорил, резко жестикулируя:

— Эта война не для меня. Я опоздал родиться столетия на четыре. Знаешь, Петр, — говорил он, обращаясь к сотнику Терсинцеву, произнося слово «Петр» с подчеркнутым «е» вместе «е», — я не доживу до конца этой войны.

— Брось хиромантию, — басовито хрипнул тот из-под бурки.

— Никакой хиромантии. Это конец предопределенный. У меня атавизм, и я, ей-богу, тут лишний. Когда мы сегодня шли под огнем, я дрожал от бешенства. Не выношу, когда не вижу противника. Это гадкое чувство равносильно страху. Тебя разят на расстоянии несколько верст, а ты едешь на коне, как дудак по степи под охотничьим прицелом.

— Я смотрел в Купалке австрийскую гаубицу. Кто из вас видел, господа? — спросил есаул Атаманчуков, слизывая с рыжих, подстриженных по-английски усов крошки мясных консервов.

— Замечательно! Прицельная камера, весь механизм — верх совершенства, — восторженно заметил хорунжий Чубов, успевший опорожнить второй котелок щей.

— Я видел, но о своих впечатлениях умалчиваю. Профан в артиллерии. По-моему, пушка как пушка, — зевластая.

— Завидую тем, кто в свое время воевал первобытным способом, — продолжал Калмыков, теперь уже обращаясь к Листницкому. — В честном бою врубиться в противника и шашкой разделить человека надвое — вот это я понимаю, а то черт знает что!

— В будущих войнах роль кавалерии сведется к нулю.

— Вернее, ее самой не будет существовать.

— Ну, это-то положим!

— Вне всякого сомнения.

— Слушай, Терсинцев, нельзя же человека заменить машиной. Это крайность.

— Я не про человека говорю, а про лошадь. Мотоцикл или автомобиль ее заменит.

— Воображаю, автомобильный эскадрон.

— Глупость! — загорячился Калмыков. — Конь еще послужит армиям. Абсурдная фантазия! Что будет через двести — триста лет, мы не знаем, а сейчас, во всяком случае, конница…

— Что ты будешь делать, Дмитрий Донской, когда траншеи опояшут фронт? А? Ну-ка, отвечай!

— Прорыв, налет, рейд в глубокий тыл противника — вот работа кавалерии.

— Ерунда.

— Ну, там посмотрим, господа.

— Давайте спать.

— Слушайте, оставьте споры, пора и честь знать, ведь остальные спать хотят.

Возгоревшийся спор угасал. Кто-то под буркой храпел и высвистывал. Листницкий, не принимавший участия в разговоре, лежал на спине, вдыхая пряный запах постеленной ржаной соломы. Калмыков, крестясь, лег с ним рядом.

— Вы поговорите, сотник, с вольноопределяющимся Бунчуком. Он в вашем взводе.

Интересный парень!

— Чем? — спросил Листницкий, поворачиваясь к Калмыкову спиной.

— Обрусевший казак. Жил в Москве. Простой рабочий, но натасканный по этим разным вопросам. Бедовый человек и превосходный пулеметчик.

— Давайте спать, — предложил Листницкий.

— Пожалуй, — думая о чем-то своем, согласился Калмыков и, шевеля пальцами ног, виновато поморщился. — Вы, сотник, извините, это у меня от ног такой запах… Знаете ли, третью неделю не разуваюсь, карпетки истлели от пота… Такая мерзость, знаете. Надо у казаков портянки добыть.

— Пожалуйста, — окунаясь в сон, промямлил Листницкий.

Листницкий забыл о разговоре с Калмыковым, но на другой день случай столкнул его с вольноопределяющимся Бунчуком. На рассвете командир сотни приказал ему выехать в рекогносцировку и, если представится возможным, связаться с пехотным полком, продолжавшим наступление на левом фланге. Листницкий, в рассветной полутьме блуждая по двору, усыпанному спавшими казаками, разыскал взводного урядника.

— Наряди со мной пять человек казаков в разъезд. Скажи, чтоб приготовили мне коня. Побыстрей.

Через пять минут к порогу халупы подошел невысокий казак.

— Ваше благородие, — обратился он к сотнику, насыпавшему в портсигар папирос, — урядник не назначает меня в разъезд потому, что не моя очередь. Разрешите вы мне поехать?

— Выслуживаешься? Чем проштрафился? — спросил сотник, силясь разглядеть в серенькой темноте лицо казака.

— Я ничем не проштрафился.

— Что ж, поезжай… — решил Листницкий и встал.

— Эй, ты! — крикнул он вслед уходившему казаку. — Вернись!

Тот подошел.

— Скажи уряднику…

— Моя фамилия Бунчук, — перебил его казак.

— Вольноопределяющийся?

— Так точно.

— Скажите уряднику, — овладевая собой после минутного смущения, поправился Листницкий, — чтобы он… Ну, да ладно, идите, я сам скажу.

Темнота поредела. Разъезд выехал за деревушку и, минуя посты и сторожевое охранение, взял направление на отмеченную по карте деревню.

Отъехав с полверсты, сотник перевел лошадь на шаг.

— Вольноопределяющийся Бунчук!

— Я.

— Потрудитесь подъехать.

Бунчук поравнял своего незавидного коня с чистокровным донцом сотника.

— Вы какой станицы? — спросил Листницкий, разглядывая профиль вольноопределяющегося.

— Новочеркасской.

— Можно узнать причину, понудившую вас идти вольноопределяющимся?

— Пожалуйста, — протяжно и чуть насмешливо ответил Бунчук и поглядел на сотника жесткими зеленоватыми глазами. Неморгающий взгляд их был тверд, неломок. — Меня интересует военное искусство. Хочу постигнуть.

— Для этого есть военные школы.

— Да, есть.

— В чем же дело?

— Сначала хочу на практике пробовать. Теория приложится.

— Ваша профессия до войны?

— Рабочий.

— Где вы работали?

— В Петербурге, Ростове-на-Дону, в Туле на оружейном… Я хочу просить о переводе меня в пулеметную команду.

— Вы знакомы с пулеметом?

— Знаю системы Шоша, Бертье, Мадсена, Максима, Гочкиса, Бергмана, Виккерса, Льюиса, Шварцлозе.

— Ого! Я поговорю с командиром полка.

— Пожалуйста.

Сотник еще раз оглядел невысокую плотную фигуру Бунчука. Напоминал тот обдонское дерево караич: ничего особенного, бросающегося в глаза в нем не было, — все было обычно, лишь твердо загнутые челюсти да глаза, ломающие встречный взгляд, выделяли его из гущи остальных лиц.

Улыбался он редко, излучинами губ, глаза от улыбки не мягчели, неприступно сохраняли неяркий свой блеск. И весь он был скуп на краски, холодно-сдержан, — караич, крутое, железной твердости дерево, выросшее на серой супеси неприветливой обдонской земли…

Некоторое время они ехали молча. Широкие ладони Бунчука лежали на облупленной зеленой луке седла. Листницкий достал папироску и, прикуривая от спички Бунчука, почувствовал от руки его сладкий смолистый запах конского пота. Коричневые волосы на тыльной стороне ладоней лежали густо, как лошадиная шерсть. Листницкому невольно хотелось их погладить. Глотая терпкий дым, он проговорил:

— От этого леса вы и еще один казак поедете по тому проселку влево. Видите?

— Да.

— Если на расстоянии полверсты не нападете на нашу пехоту, вернетесь.

— Слушаюсь.

Поехали рысью. Подруженьки-березки стояли на отшибе у леска тесной кучей. За ними томила глаза нерадостная прожелтень низкорослой сосны, курчавилось редкое мелколесье, кустарник, помятый скакавшими через него австрийскими обозами. Справа, издалека, давил землю артиллерийский гром, здесь же, у березок, было несказанно тихо. Земля впитывала богатую росу, розовели травы, все яркоцветные, наливные в предосеннем, кричащем о скорой смерти цвету. Листницкий остановился возле березок, рассматривая в бинокль взгорье, сугорбившееся за лесом. К нему на медную головку шашки села, расправляя крылышки, пчела.

— Глупая, — сожалеюще и тихо сказал Бунчук, осуждая пчелиный промах.

— Что? — Листницкий оторвался от бинокля.

Бунчук глазами указал ему на пчелу, и Листницкий улыбнулся.

— Горек будет ее мед, как вы думаете?

Ответил ему не Бунчук. Откуда-то из-за дальней купы сосен пулемет взлохматил тишину пронзительным сорочьим чечеканьем, разбрызг воющих пуль пронизал березки, на гриву сотникова коня, кружась и колеблясь, упала ссеченная пулей ветка.

Они скакали к деревушке, понукая лошадей криками, плетьми. Вслед им без единой передыши кончал австрийский пулемет ленту.

После Листницкому неоднократно приходилось встречаться с вольноопределяющимся

Бунчуком, и всегда он поражался той непреклонной воле, которая светлела в жестких глазах Бунчука, дивился и не мог разгадать, что хранилось за неуловимой скрытностью, висевшей тучевой тенью на лице такого простого с виду человека. Бунчук и говорил как-то недосказанно, с улыбкой, зажатой в твердом углу губ, будто шел, обходя одному ему известную правду по кривой, извилистой стежке. Его перевели в пулеметную команду. Недели через полторы (полк стал на суточный отдых) Листницкий по дороге к командиру сотни догнал Бунчука. Тот шел мимо сожженного сарая, игриво помахивая кистью левой руки.

— А-а, вольноопределяющийся!

Бунчук повернул голову и, козыряя, посторонился.

— Куда вы идете? — спросил Листницкий.

— К начальнику команды.

— Нам по пути, кажется?

— Кажется, да.

Они шли по улице разрушенной деревни некоторое время молча. Во дворах, около редких уцелевших стодолов, суетились люди, проезжали верховые, прямо посреди улицы дымилась полевая кухня с длинным хвостом дожидавшихся в очереди казаков; сверху точилась промозглая мелкая сырость.

— Ну как, изучаете войну? — косо глянув на шагавшего чуть позади Бунчука, спросил Листницкий.

— Да… пожалуй, изучаю.

— Что вы думаете делать после войны? — почему-то спросил Листницкий, глядя на волосатые руки вольноопределяющегося.

— Кто-то посеянное будет собирать, а я… погляжу. — Бунчук сощурил глаза.

— Как вас понять?

— Знаете, сотник (еще пронзительнее сощурился тот), поговорку: «Сеющий ветер пожнет бурю»? Так вот.

— А вы бы без аллегорий, яснее.

— И так ясно. Прощайте, сотник, мне налево.

Бунчук приложил волосатые пальцы к козырьку казачьей фуражки, свернул влево.

Пожимая плечами, сотник долго провожал его взглядом.

«Что он, оригинальничает или просто человек с чудинкой?» — раздраженно думал Листницкий, шагая в опрятную землянку командира сотни.

XVI

Вместе со второй очередью ушла и третья. Станицы, хутора на Дону обезлюдели, будто на покос, на страду вышла вся Донщина.

На границах горькая разгоралась в тот год страда: лапала смерть работников, и не одна уж простоволосая казачка отпрощалась, отголосила по мертвому: «И, родимый ты мо-о-о-ой!.. И на кого ж ты меня покинул?..»

Ложились родимые головами на все четыре стороны, лили рудую казачью кровь и, мертвоглазые, беспробудные, истлевали под артиллерийскую панихиду в Австрии, в Польше, в Пруссии… Знать, не доносил восточный ветер до них плача жен и матерей.

Цвет казачий покинул курени и гибнул там в смерти, во вшах, в ужасе.

В погожий сентябрьский день летала над хутором Татарским молочно-радужная

паутина, тонкая такая, хлопчатая. По-вдовьему усмехалось обескровленное солнце, строгая девственная синева неба была отталкивающе чиста, горделива. За Доном, тронутый желтизной, горюнился лес, блекло отсвечивал тополь, дуб ронял редкие узорчато-резные листья, лишь ольха крикливо зеленела, радовала живучестью своей стремительный сорочий глаз.

В этот день Пантелей Прокофьевич Мелехов получил письмо из действующей армии. Письмо принесла с почты Дуняшка. Почтмейстер, вручая его, кланялся, тряс плешиной, униженно разводил руками:

— Вы, ради бога, простите меня, письмо-то я распечатал. Так и скажите папаше: мол, Фирс Сидорович письмо, так и так, мол, вскрыл. Очень, мол, ему было интересно про войну узнать, как там и что… Уж вы простите и папаше Пантелею Прокофьевичу так и доложите.

Против обыкновения, он был растерян и вышел проводить Дуняшку, не замечая того, что нос его измазан чернилами.

— Уж вы там того, не взыщите, упаси бог… я ведь по знакомству… — несвязно бормотал он вслед Дуняшке, кланялся, и в этом почувствовала она что-то предостерегающее, как толчок.

Домой вернулась взволнованная, долго не могла достать из-за пазухи письмо.

— Скорей, ты!.. — прикрикнул Пантелей Прокофьевич, гладя дрожащую бороду.

Дуняшка, доставая конверт, торопливо говорила:

— Почтмейстер сказал, что прочитал письмо из антиресу и чтоб вы, батя, на него не обижались.

— Черт с ним! От Гришки? — напряженно спросил старик, дыша с сапом в лицо Дуняшке. — От Григория, никак? От Петра, что ли?

— Батяня, нет… рука чужая на письме.

— Читай ты, не томи! — закричала Ильинична, тяжело подкатываясь к лавке (у нее пухли ноги, ходила она, редко их переставляя, ровно на колесиках катилась).

Запыхавшись, прибежала с надворья Наталья, стала у печи, сдавив руками грудь, скособочив изуродованную шрамом шею. На губах ее трепетно, солнечным зайчиком дрожала улыбка, она ждала поклона от Гриши и хоть легкого, хоть вскользь, упоминания о ней — в награду за ее собачью привязанность, за верность.

— Дарья-то где? — шепнула старуха.

— Цыцте, — зыкнул Пантелей Прокофьевич (бешенство округлило его глаза) и — к Дуняшке: — Читай!

— «Уведомляю Вас…» — начала Дуняшка и, сползая с лавки, дрожа, крикнула дурным голосом: — Батя! Батянюшка!.. Ой, ма-а-ама! Гриша наш!.. Ох! Ох! Гришу… убили!

Путаясь в листьях чахлой герани, билась на окне полосатая оса, жужжала. На дворе мирно квохтала курица, через распахнутую дверь слышался далекий детский бубенчиковый смех.

На лице Натальи комчалась судорога, а углы губ еще не успели стереть недавней трепетной улыбки.

Поднимаясь, парально дергая головой, с исступленным недоумением смотрел Пантелей Прокофьевич на ползавшую в корчах Дуняшку.

«Уведомляю Вас, что сын Ваш, казак 12-го Донского казачьего полка, Григорий Пантелеевич Мелехов в ночь на 16 сентября с.г. убит в бою под городом Каменка-Струмилово. Сын Ваш пал смертью храбрых, пусть это послужит Вам утешением в невознаградимой потере. Оставшееся имущество будет передано родному брату его Петру Мелехову. Конь остался при полке.

Командир четвертой сотни подъесаул Полковников. Действующая армия. 18 сентября 1914 г.»

После получения известия о смерти Григория Пантелей Прокофьевич опустился как-то сразу. Он старел день ото дня на глазах у близких. Тяжелая развязка настигала его неотвратимо; слабела память, и мутился рассудок. Он ходил по куреню сутулый, чугунно-почерневший; горячечный масленый блеск глаз выдавал его душевную сумятицу.

Письмо от командира сотни сам он положил под божницу и несколько раз за день выходил в сенцы, манил Дуняшку пальцем.

— Выдь-ка ко мне.

Та выходила.

— Принеси письмо об Григорию. Читай! — приказывал он, опасливо поглядывая на дверь горницы, за которой томилась в неумолчной тоске Ильинична. — Ты потише читай, вроде как про себя, — он хитро подмигивал, весь корежась, указывая глазами на дверь, — потише читай, а то мать… беда.

Дуняшка, глотая слезы, прочитывала первую фразу, и Пантелей Прокофьевич, обычно сидевший на корточках, поднимал торчмя широкую, что лошадиное копыто, черную ладонь.

— Стой! Дальше знаю… Отнеси, положь под божничку… Ты потише, а то мать наша… — Опять он отвратительно подмигивал и весь кривился, как древесная кора, сжираемая огнем.

Седел он круговинами, ослепительно белая седина быстро испятнала голову, нитями разметалась в бороде. Он стал прожорлив, ел много и неряшливо.

На девятый день после панихиды пригласили попа Виссариона и родных на поминки по убиенном воине Григории.

Пантелей Прокофьевич ел быстро и жадно, на бороде его звеньями лежала лапша. Ильинична, со страхом приглядывавшаяся к нему в эти последние дни, заплакала.

— Отец! Чтой-то ты?..

— А чего? — засуетился старик, поднимая от обливной чашки мутные глаза.

Ильинична махнула рукой и отвернулась, комкая у глаз расшитый утиральник.

— Едите вы, батенька, будто три дня не емши! — со злобой сказала Дарья и блеснула глазами.

— Ем? А ну, так… так… так… я не буду, — смутился Пантелей Прокофьевич. Он растерянно оглядел сидевших за столом и, пожевав губами, замолк, на вопросы не отвечал, хмурился.

— Мужайся, Прокофьевич. Чтой-то ты так уж отчаялся? — после поминок бодрил его поп Виссарион. — Смерть его святая, не гневи бога, старик. Сын за царя и отечество терновый венец принял, а ты… Грех, Пантелей Прокофьевич, грех тебе… Бог не простит!

— Я и то, батюшка… я и то мужаюсь. «Смертью храбрых убитый», — командир-то пишет.

Поцеловав руку священника, старик припал к дверному косяку и в первый раз за все время после известия о смерти сына заплакал, бурно содрогаясь.

С этого дня переломил себя и духовно оправился.

Каждый по-своему зализывал рану.

Наталья, услышав от Дуняшки о смерти Григория, выбежала на баз. «Руки наложу! Все теперь мне! Скорей!» — гнала ее, огнем хлестала мысль. Наталья билась в руках у Дарьи и с радостным облегчением принимала беспамятство, лишь бы отдалить тот момент, когда вернется сознание и властно напомнит о случившемся. Неделю провела в дурном забытьи и вернулась в мир реального иная, притихшая, изглоданная черной немочью… Незримый

покойник ютился в мелеховском курене, и живые пили его васильковый трупный запах.

XVII

Мелеховы на двенадцатый день после известия о смерти Григория получили от Петра два письма сразу. Дуняшка еще на почте прочитала их и — то неслась к дому, как былка, захваченная вихрем, то, качаясь, прислонялась к плетням. Немало переполоху наделала она по хутору и неописуемое волнение внесла в дом.

— Живой Гриша!.. Живой наш родненький!.. — рыдающим голосом вопила она еще издали. — Петро пишет!.. Раненый Гриша, а не убитый!.. Живой, живой!..

«Здравствуйте, дорогие родители,

— писал Петро в письме, помеченном 20 сентября. —

Сообщаю вам, что наш Гришка чудок не отдал богу душу, а сейчас, слава богу, находится живой и здоровый, чего и вам мы желаем от господа бога, здравия и благополучия. Под городом Каменка-Струмиловом был ихний полк в бою, и в атаке видали казаки из его взвода, что срубил его палашом венгерский гусар и Григорий упал с коня, а дальше ничего не было нам известно, и, как я ни пытал у них, ничего не могли они рассказать. После уж узнал я от Мишки Кошевого, — приезжал Мишка в наш полк для связи, — что пролежал Григорий до ночи, а ночью очухался и пополоз. И пополоз он, по звездам дорогу означая, и напал на раненого нашего офицера. Был этот офицер раненый — подполковник драгуновского полка, и ранило его снарядом в живот и в ноги. Григорий взял его и тянул волоком на себе шесть верст. А за это вышла ему награда — Георгиевский крест, и в младшие урядники произвели Гришку. Вот так! Ранение у Гришки пустяковое, скобленул его неприятель палашом в голову, кожу стесал; а упал он с коня и омроком его вдарило. Зараз он в строю — говорил Мишка. Вы извиняйте, что так написано. Пишу на седле и дюже качает».

В следующем письме просил Петро прислать ему сушеной вишни «с родимых донских своих садов» и просил не забывать, писать чаще; там же ругал он Григория за то, что, по словам казаков, плохо Гришка присматривает за конем, — а ему, Петру, обидно, так как конь Гнедой — его, Петра, собственный и кровный; просил отца написать от себя Григорию.

«Я ему доводил до ума через казаков, что если он не будет ухаживать за конем, как за своим добром, то встренемся, и я ему морду в кровь побью, хотя он и крестовый кавалер теперь»,

— писал Петро, а затем следовали бесчисленные поклоны, и сквозь мятые, подмоченные дождем строки письма ощутимо дышала горькая грусть. Не сладко, видно, и Петру вливалась служба.

Жалко было глядеть на Пантелея Прокофьевича, ошпаренного радостью. Он, сграбастав оба письма, ходил с ними по хутору, ловил грамотных и заставлял читать, — нет, не для себя, а радостью поздней хвастал старик перед всем хутором.

— Ага! Вишь, как Гришка-то мой? А? — Он поднимал торчмя копытистую ладонь, когда читающий, спотыкаясь, по складам, доходил до того места, где Петро описывал подвиг Григория, на себе протащившего шесть верст раненого подполковника.

— Первый крест изо всего хутора имеет, — гордился старик и, ревниво отбирая письма, хоронил их в подкладку мятой фуражки, шел дальше в поисках другого грамотного.

Сам Сергей Платонович, увидя его из окошка лавки, вышел, снимая картуз.

— Зайди-ка, Прокофьевич.

Он жал старику руку своей мясистой белой рукой, говорил:

— Ну, поздравляю, поздравляю… Кхм… Таким сыном гордиться надо, а вы его отпоминали. Читал про его подвиг в газетах.

— И в газетах прописано? — давился Пантелей Прокофьевич сухой спазмой.

— Есть сообщение, читал, читал.

Сергей Платонович сам достал с полки три четверти лучшего турецкого табаку, не вешая насыпал в кулек дорогих конфет; передавая все это Пантелею Прокофьевичу, сказал:

— Будешь Григорию Пантелеевичу посылать посылку — перешли от меня поклон и вот это.

— Бож-ж-же мой! Честь-то Гришке какая!.. Весь хутор об нем гутарит… Дожил я… — шептал старик, сходя со ступенек моховского магазина. Он высморкался, рукавом чекменька раздавил щекотавшую щеку слезу, подумал: «Старею, видно. Слабый на слезу стал… Эх, Пантелей, Пантелей, куда жизню размытарил-то? Кремнем раньше был, с баржи мешки по восьми пудов таскал, а теперя? Подкосил меня Гришка трошки…»

Он хромал по улице, прижимая к груди кулек с конфетами, и опять мысль его, как чибис над болотом, вилась вокруг Григория, набредали на память слова из Петрова письма. Тут-то и повстречался ему сват Коршунов. Он первый окликнул Пантелея Прокофьевича:

— Эй, сват, постой-ка!

Они не виделись со дня объявления войны. С тех пор как ушел Григорий из дому, установились меж ними отношения не то что враждебные, а холодно-натянутые. Мирон Григорьевич злился на Наталью за то, что она унижается перед Григорием, ждет от него милостыни. И его, Мирона Григорьевича, заставляет переживать подобное же унижение.

— Сука поблудная, — в семейном кругу ругал он Наталью, — жила бы дома у отца, а то ишь пошла к свекрам, слаже ей хлеб там. Через нее, дуру, и отцу приходится страму принимать, перед людями глазами моргать.

Мирон Григорьевич подошел к свату вплотную, сунул конопатую руку, согнутую лодочкой.

— Здорово живешь, сваток!

— Слава богу, сват.

— Ты, никак, с покупкой?

Пантелей Прокофьевич, топыря правую свободную руку, отрицательно покачал головой.

— Это, сват, герою нашему подарки. Сергей Платонович, благодетель, про его геройство вычитал в газетах и дарит ему конфетов и легкого табаку. «Пошли, грит, своему герою от меня поклон и подарки, пущай он и в будущие времена так же отличается». Ажник слеза его прошибла, понимаешь, сват? — безудержно хвастал Пантелей Прокофьевич и пристально глядел в лицо свата, стараясь угадать произведенное впечатление.

Под белесыми веками свата копились световые тени, они-то и делали его опущенный взгляд насмешливо улыбающимся.

— Та-а-ак, — крякнул Коршунов и направился через улицу к плетню.

Пантелей Прокофьевич поспешал за ним, разворачивая кулек пальцами, объятыми злобной дрожью.

— Вот скушай конфетку, медовая!.. — ехидно потчевал он свата. — Кушай, пожалуйста, от зятя угощаю… Жизня твоя не сладкая; может, знаешь, а сын-то не то заслужит такую честь, не то нет…

— Ты мою жизню не трожь. Я сам об ней знаю.

— Опробуй, сделай честь! — с преувеличенным радушием кланялся Пантелей Прокофьевич, забегая вперед свата. Скрюченные пальцы его свежевали конфету, обдирая серебристую тонкую обертку.

— Мы к сладкому не привычные. — И Мирон Григорьевич отводил руку свата. — Не привычные мы, зубы у нас от чужих гостинцев крошутся. А тебе, сват, не пристало милостыню на сына собирать ходить. Нужда есть — ко мне пришел бы. Зятю уж я дал бы… Наташка-то ваш ить хлеб исть. Можно б дать на бедность твою.

— Милостыню в нашем роду ишо никто не собирал, не бреши, сват, дубовым языком! Хвальбы у тебя много, сват!.. Дюже много!.. Может, через то, что богато живешь, и дочь к нам ушла?

— Погоди! — властно кинул Мирон Григорьевич. — Ругаться не из чего нам. Я не ругаться пришел, усмирись, сват. Пойдем потолкуем, дело есть.

— Не об чем нам толковать.

— Значит, есть об чем. Пойдем.

Мирон Григорьевич схватил свата за рукав чекменя и свернул в проулок. Минуя дворы, они вышли в степь.

— Об чем дело? — спросил Пантелей Прокофьевич, трезвея от схлынувшей злобы.

Он косо поглядел на белесое веснушчатое лицо Коршунова. Тот, подвернув длинные полы сюртука, сел на насыпь канавы, достал старенький, с бахромчатыми краями кисет.

— Вот видишь, Прокофьич, ты невесть с чего наскочил на меня, как драчливый кочет, а так по-свойски-то нехорошо. Нехорошо как будто, а? Я хочу узнать, — начал он уже иным, твердым, грубоватым тоном, — долго аль нет твой сын будет измываться над Натальей? Ты мне скажи!

— Об этом у него пытай.

— Мне нечего у него пытать, ты своему куреню голова, — с тобой я и разговор имею.

Пантелей Прокофьевич давил в горсти очищенную конфету. Шоколадная вязкая жижа ползла у него меж пальцев. Он вытер ладонь о коричневую крошкую глину насыпи; молча стал закуривать. Свернул бумажку, всыпал из четвертки щепоть турецкого табаку и протянул пачку свату. Мирон Григорьевич взял не колеблясь, тоже свернул цигарку за счет щедротного моховского подарка. Закурили. Над ними белопенной пышной грудью висело облако, и к нему, в немыслимую высоту, стремилась от земли нежнейшая, волнуемая ветром нитка паутины.

День стекал к исходу. Мирная, неописуемо сладкая баюкалась осенняя тишь. Небо, уже утратившее свой летний полновесный блеск, тускло голубело. Над канавой сорили пышный багрянец бог весть откуда занесенные листья яблони. За волнистой хребтиной горы скрывалась разветвленная дорога, — тщетно она манила людей шагать туда, за изумрудную, неясную, как сон, нитку горизонта, в неизведанные пространства, — люди, прикованные к жилью, к будням своим, изнывали в работе, рвали на молотьбе силы, и дорога — безлюдный тоскующий след — текла, перерезая горизонт, в невидь. По ней, пороша пылью, топтался ветер.

— Слабый табак, как трава, — выпуская нетающее облачко дыма, сказал Мирон Григорьевич.

— Слабоват, а… приятный, — согласился Пантелей Прокофьевич.

— Отвечай мне, сват, — расслабленным голосом попросил Коршунов и затушил цигарку.

— Григорий об этом ничего не пишет. Он зараз раненый.

— Слыхал я…

— Что дальше будет — не знаю. Могет быть, и взаправду убьют. Это как?

— Как же так, сват?.. — Мирон Григорьевич растерянно и жалко заморгал. — Живет она — ни девка, ни баба, ни честная вдова, ить это страмно так-то. Знатье б, что оно такое случится, я б вас, сватов этих, и на порог не пустил, а то как же?.. Эх, сват, сват… Каждому

своего дитя жалко… Кровь-то — она позывает…

— Чем я пособлю?.. — со сдержанным бешенством начал наступление Пантелей Прокофьевич. — Ты мне скажи толком. Я-то аль рад тому, что сын с базу ушел? Мне-то аль от этого прибыло? Ить вот какие народы!

— Ты ему напиши, — глухо диктовал Мирон Григорьевич, и в такт его словам шуршала глина, стекая из-под ладони в канаву коричневыми игрушечными ручейками, — пущай он раз и навсегда скажет.

— Дите у него от энтой…

— И от этой будет дите! — крикнул, багровея, Коршунов. — Разве можно так над живым человеком? А?.. Раз смерти себя предавала и теперь калека… и ее топтать в могилу? А? Сердце-то, сердце-то… — на придушенный шепот перешел Мирон Григорьевич, одной рукой царапая себе грудь, другой притягивая свата за полу, — аль у него волчиное?

Пантелей Прокофьевич сопел, отворачивался в сторону.

— …баба высохла по нем, иной окромя нету ей жизни. Живет же у тебя в холопках!..

— Она нам лучше родной! Замолчи ты! — крикнул Пантелей Прокофьевич и встал.

Разошлись они в разные стороны, не прощаясь.

XVIII

Выметываясь из русла, разбивается жизнь на множество рукавов. Трудно предопределить, по какому устремит она свой вероломный и лукавый ход. Там, где нынче мельчает жизнь, как речка на перекате, мельчает настолько, что видно поганенькую ее россыпь, — завтра идет она полноводная, богатая…

Как-то внезапно созрело у Натальи решение сходить в Ягодное к Аксинье — вымолить, упросить ее вернуть Григория. Ей почему-то казалось, что от Аксиньи зависит все, и упроси она ее — снова вернется Григорий и былое счастье. Она не задумывалась над тем, осуществимо ли это и как примет Аксинья ее странную просьбу. Толкаемая подсознательным чувством, она стремилась скорей претворить внезапное свое решение в жизнь. На исходе месяца Мелеховы получили от Григория письмо. После поклонов отцу и матери он слал поклон и нижайшее почтение Наталье Мироновне. Какая бы неведомая причина ни побудила его на это, но для Натальи это было толчком: в первое же воскресенье она собралась идти в Ягодное.

— Куда ты, Наташа? — спросила Дуняшка, глядя, как Наталья перед осколком зеркала внимательно и строго рассматривает свое лицо.

— Своих пойду проведаю, — солгала та и покраснела, впервые поняв, что идет на великое унижение, на большую нравственную пытку.

— Ты, Наталья, хоть бы сроду раз со мной на игрища пошла, — охорашиваясь, попросила Дарья. — Пойдешь, что ли, вечером?

— Не знаю, навряд.

— Эх ты, черничка! [25] Только и нашего, пока мужьев нету, — озорничала, подмигивая, Дарья и, гибкая, переламывалась надвое, рассматривала перед зеркалом расшивной подол новой бледно-голубой юбки.

Со времени отъезда Петра Дарья резко изменилась: отсутствие мужа заметно отзывалось на ней. Некое беспокойство сквозило в ее глазах, движениях, походке. Она тщательнее наряжалась по воскресеньям, с игрищ приходила поздно, злая, темнея зрачками, жаловалась Наталье:

— Беда, ей-богу!.. Забрали казаков подходящих, остались в хуторе одни ребята да старики.

— Тебе-то чего?

— Как так чего? — дивилась та. — На игрищах не с кем и побаловаться. Хучь бы на мельницу припало одной ехать, а то с свекром дюже не разойдешься…

Она с циничной откровенностью расспрашивала Наталью:

— Как же ты, милушка, без казака так долго терпишь?

— Будет тебе, бессовестная! — Наталья обливалась густым румянцем.

— И не хочется тебе?

— А тебе, видно, хочется?

— Хочется, бабонька! — хохотала Дарья, розовея и дрожа крутыми дугами бровей. — Чего уж грех таить… Я б сейчас и старика какого-нибудь раскачала, ей-богу! Ты вздумай, ить два месяца, как Петра нету.

— Ты, Дарья, беды наживешь…

— Будя тебе, почетная старушка! Знаем мы таких тихонюшек. Ты, небось, не признаешься.

— Мне и признаваться не в чем.

Дарья смешливо косилась на нее, кусая губы мелкими злыми зубами, рассказывала:

— Надысь на игрищах подсел ко мне Тимошка Маныцков, атаманов сынок. Сидит потный весь. Вижу, боится начинать… Потом руку мне потихоньку под мышки провздел, а рука дрожит. Я притерпелась, молчу, а самою злость берет, хучь бы парень-то был, а то так… сопля! Ему годов шешнадцать, не больше, — видишь, каких забирает… Молчу, сижу, он лапал, лапал и шепчет: «Пойдем к нам на гумно!..» Эх, как я его!..

Дарья весело хохотала, на лице ее трепетали брови, брызжущий смех лучили прищуренные глаза.

— Уж я его и выбанила! Как вскочу: «Ах ты, такой-сякой! Щенчишка желторотый! Да ты могешь мне такое вякать? Ты давно перестал по ночам под себя мочиться?» Уж я ему и прочитала!

С Натальей у них установились отношения простые и дружественные. Та неприязнь, которую вначале питала Дарья к младшей снохе, стерлась, и бабы, разные по характерам, во всем не похожие одна на другую, сошлись, жили ладно.

Наталья оделась и пошла из горницы.

В сенцах ее догнала Дарья.

— Ты не отопрешь нынче дверь?

— Я дома у своих, должно, заночую.

Дарья, раздумывая, почесала гребешком переносицу, тряхнула головой.

— Ну, иди. Не хотела Дуняшку об этом просить, — видно, придется.

Наталья сказала Ильиничне о том, что идет к своим, и вышла на улицу. От площади ехали подводы с базара, шли из церкви люди. Наталья прошла два переулка и свернула влево. На гору поднималась спеша. На перевале оглянулась назад: внизу лежал залитый солнечным половодьем хутор, белели выбеленные домики, на покатой крыше мельницы, отражаясь, искрились солнечные лучи, расплавленной рудой блестела жесть.

XIX

Война и из Ягодного повыдергала людей. Ушли Вениамин и Тихон, после них стало еще

глуше, тише, скучнее. Вместо Вениамина прислуживала старому генералу Аксинья; толстозадая, не худеющая Лукерья приняла на себя работу черной кухарки и птичницы. Дед Сашка совмещал обязанности конюха с охраной сада, лишь кучер был новый — степенный, престарелый казак Никитич.

В этом году пан уменьшил посев, поставил на ремонт около двадцати лошадей; остались лишь рысистой породы, да тройка донских, обслуживавших нужды хозяйства. Пан время коротал на охоте, с Никитичем заезжали на дудаков и изредка баламутили округу охотой с борзыми.

От Григория Аксинья нечасто получала коротенькие письма, извещавшие о том, что он пока жив-де и здоров, службу ломает. Крепился ли он или не хотел в письмах выказывать своей слабости, но ни разу не обронил он слова о том, что тяжело ему, скучно. Письма дышали холодком, будто писал он их по принуждению, лишь в последнем письме обмолвился фразой: «…все время в строю, и уж как будто и надоело воевать, возить за собой в переметных сумах смерть». В каждом письме он справлялся о дочери, просил писать о ней: «…пиши, как моя Танюшка растет и какая она собой стала? Недавно видал ее во сне большой и в красном платье».

Аксинья с виду стойко переносила разлуку. Вся любовь ее к Гришке перекинулась на дочь, и особенно после того, как убедилась Аксинья в том, что подлинно от Гришки понесла она ребенка. Доказательства являла жизнь неопровержимые: темно-русые волосы девочки вывалялись, новые росли черные и курчавые; меняли цвет и глаза, чернея, удлиняясь в разрезе. С каждым днем девочка все разительнее запохаживалась на отца, даже улыбка отсвечивала мелеховским, Гришкиным, звероватым. Теперь без сомнения узнавала Аксинья в ребенке отца и от этого прикипала к нему жгучим чувством, — не было уж так, как раньше, когда подходила она к люльке и отшатывалась, найдя в сонном личике девочки какой-нибудь отдаленный намек, беглое сходство с ненавистными линиями Степанова лица.

Цедились дни, и после каждого оседала в душе Аксиньи терпкая горечь. Тревога за жизнь любимого сверлила мозг, не покидала ее днями, наведывалась и ночью, и тогда то, что копилось в душе, взнузданное до времени волей, — рвало плотины: ночь, всю дотла, билась Аксинья в немом крике, в слезах кусая руки, чтобы не разбудить ребенка, утишить крик и нравственную боль убить физической. В пеленки выплакивала излишки слез, думая в детской своей наивности: «Гришкино дите, он сердцем должен почуять, как тоскую об нем».

После таких ночей вставала она, как избитая: ломило все тело, настойчиво, неутомимо стучали в висках серебряные молоточки, в опущенных, когда-то отрочески пухлых углах рта ложилась мужалая горесть. Старили Аксинью горючие ночи…

В воскресенье как-то подала она пану завтрак и вышла на крыльцо. К воротам подошла женщина. Горели под белым платком такие страшно знакомые глаза… Женщина нажала щеколду и вошла во двор. Аксинья побледнела, угадав Наталью, медленно двинулась навстречу. Они сошлись на середине двора. На чириках Натальи лежал густой слой дорожной пыли. Она остановилась, безжизненно уронив большие рабочие руки, сапно дыша, пыталась и не могла выпрямить изуродованную шею; оттого казалось, что смотрит она куда-то в сторону.

— Я к тебе, Аксинья… — сказала она, облизывая обветрившиеся губы сухим языком.

Аксинья быстро оглядела окна дома и молча пошла в людскую, в свою половину. Наталья шла позади. Слух ее болезненно скоблило шорохом Аксиньиного платья.

«От жары, должно быть, в ушах больно», — выцарапалась из вороха мыслей одна.

Дверь, пропустив Наталью, притворила Аксинья. Притворив, стала посредине комнаты, сунула руки за белый передник. Игру вела она.

— Ты чего пришла? — вкрадчиво, почти шепотом спросила она.

— Мне бы напиться… — проговорила Наталья и обвела комнату тяжелым, негнущимся взглядом.

Аксинья ждала. Наталья заговорила, трудно поднимая голос:

— Ты отбила у меня мужа… Отдай мне Григория!.. Ты… мне жизню сломила… Видишь, я какая…

— Мужа тебе? — Аксинья стиснула зубы, и слова — дождевые капли на камень — точились скупо. — Мужа тебе? У кого ты просишь? Зачем ты пришла?.. Поздно ты надумала выпрашивать!.. Поздно!..

Качнувшись всем телом, Аксинья подошла вплотную, едко засмеялась.

Она глумилась, вглядываясь в лицо врага. Вот она — законная брошенная жена — стоит перед ней приниженная, раздавленная горем; вот та, по милости которой исходила Аксинья слезами, расставаясь с Григорием, несла в сердце кровяную боль, и в то время, когда она, Аксинья, томилась в смертной тоске, вот эта ласкала Григория и, наверное, смеялась над нею, неудачливой оставленной любовницей.

— И ты пришла просить, чтоб я его бросила? — задыхалась Аксинья. — Ах ты гадюка подколодная!.. Ты первая отняла у меня Гришку! Ты, а не я… Ты знала, что он жил со мной, зачем замуж шла? Я вернула свое, он мой. У меня дите от него, а ты…

Она с бурной ненавистью глядела в глаза Натальи и, беспорядочно взмахивая руками, сыпала перекипевший шлак слов:

— Мой Гришка — и никому не отдам!.. Мой! Мой! Слышишь ты? Мой!.. Ступай, сука бессовестная, ты ему не жена. Ты у дитя отца хочешь взять? Ого! чего ж ты раньше не шла? Ну, чего не шла?

Наталья боком подошла к лавке и села, роняя голову на руки, ладонями закрывая лицо.

— Ты своего мужа бросила… Не шуми так…

— Кроме Гришки, нету у меня мужа. Никого нету во всем свете!..

Аксинья, чувствуя, как мечется в ней безысходная злоба, глядела на прядь прямых черных волос, упавших из-под платка на руку Натальи.

— Ты-то нужна ему? Глянь, шею-то у тебя покривило! И ты думаешь, он позавидует на тебя? Здоровую бросил, а на калеку позавидует? Не видать тебе Гришки! Вот мой сказ! Ступай!

Аксинья лютовала, защищая свое гнездо, за все прежнее разила теперь. Она видела, что Наталья, несмотря на слегка покривленную шею, так же хороша, как и раньше, — щеки ее и рот свежи, не измяты временем, а у нее, Аксиньи, не по вине ли этой Натальи раньше времени сплелась под глазами паутинка морщин?

— Ты думаешь, я надеялась, что выпрошу? — Наталья подняла пьяные от муки глаза.

— Зачем же ты шла? — дыхом спросила Аксинья.

— Тоска меня пихнула.

Разбуженная голосами, проснулась на кровати и заплакала, приподнимаясь, Аксиньина дочь. Мать взяла ребенка на руки, села, отвернувшись к окну. Вся содрогаясь, Наталья глядела на ребенка. Сухая спазма захлестнула ей горло. На нее с осмысленным любопытством глядели с лица ребенка глаза Григория.

Она вышла на крыльцо, рыдая и качаясь. Провожать ее Аксинья не пошла.

Спустя минуту вошел дед Сашка.

— Что это за баба была? — спросил он, видимо догадываясь.

— Так, хуторная одна.

Наталья отошла от имения версты три, прилегла под кустом дикого терна. Лежала, ни о

чем не думая, раздавленная неизъяснимой тоской… Перед глазами ее неотступно маячили на лице ребенка угрюмоватые черные глаза Григория.

XX

Ярко, до слепящей боли, вспомнилась Григорию та ночь. Он очнулся перед рассветом, повел руками, натыкаясь на колючее жнивье, и застонал от садной боли, заполнившей голову. С усилием приподнял руку, дотянул ее до лба, щупая черствый, свалявшийся в загустелой крови чуб. Тронул мякотную рану пальцем, будто горячий уголь прислонил. Заскрипел протяжно зубами и лег на спину. Над ним на дереве стеклянным звоном тоскливо шелестели опаленные ранним заморозком листья. Черные контуры ветвей отчетливо вырисовывались на густо-синем фоне неба, сквозь них светлели звезды. Григорий смотрел, не мигая, широко открытыми глазами; ему казалось, это — не звезды, а полные голубовато-желтые неведомые плоды висят на черенках листьев.

Осознав случившееся с ним, чувствуя неотвратимо подступающий ужас, он полз на четвереньках, скрипя зубами. Боль играла с ним, валила его навзничь… Ему казалось, что ползет он неизмеримо долго; насилуя себя, оглянулся — шагах в пятидесяти чернело дерево, под которым холодел он в беспамятстве. Один раз он перелез через труп убитого, опираясь локтями о ввалившийся жесткий его живот. От потери крови мутила тошнота, и он плакал, как ребенок, грыз пресную в росе траву, чтобы не потерять сознание. Возле опрокинутого зарядного ящика встал, долго стоял, качаясь, потом пошел. К нему прибыли силы, шагал тверже и уже в состоянии был угадывать направление на восток: путеводила Большая Медведица.

У опушки леса его остановило глухое предупреждение:

— Не подходи, застрелю!

Щелкнул револьверный барабан. Григорий вгляделся по направлению звука: у сосны полулежал человек.

— Ты кто такой? — спросил Григорий, прислушиваясь к собственному голосу, как к чужому.

— Русский? Бог мой!.. Иди! — Человек у сосны сполз на землю.

Григорий подошел.

— Нагнись.

— Не могу.

— Почему?

— Упаду и не встану, в голову меня скобленуло…

— Ты какой части?

— Двенадцатого Донского полка.

— Помоги мне, казак…

— Упаду я, ваше благородие (Григорий разглядел на шинели офицерские погоны).

— Руку хоть дай.

Григорий помог офицеру подняться. Они пошли. Но с каждым шагом все тяжелее обвисал на руке Григория раненый офицер. Поднимаясь из лощинки, он цепко ухватил Григория за рукав гимнастерки, сказал, редко клацая зубами:

— Брось меня, казак… У меня ведь сквозная рана… в живот.

Под пенсне его тусклее блестели глаза, и хрипло всасывал воздух раскрытый рот. Офицер потерял сознание. Григорий тащил его на себе, падая, поднимаясь и вновь падая. Два раза

бросал свою ношу и оба раза возвращался, поднимал и брел, как в сонной яви.

В одиннадцать часов утра их подобрала команда связи и доставила на перевязочный пункт.

Через день Григорий тайком ушел с перевязочного пункта. Дорогой сорвал с головы повязку, шагал, облегченно помахивая бинтом с бархатно-рдяными пятнами.

— Откуда ты? — несказанно удивился сотенный командир.

— Вернулся в строй, ваше благородие.

Выйдя от сотника, Григорий увидел взводного урядника.

— Конь мой… Гнедой где?

— Он, братуха, целый. Мы поймали его там же, как только проводили австрийцев. Ты-то как? Мы ить тебя царством небесным поминали.

— Поспешили, — усмехнулся Григорий.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

За спасение жизни командира 9-го драгунского полка полковника Густава Грозберга казак 12-го Донского казачьего полка Мелехов Григорий производится в приказные и представляется к Георгиевскому кресту 4-й степени.

Сотня постояла в городе Каменка-Струмилово двое суток, в ночь собиралась к выступлению. Григорий разыскал квартиру казаков своего взвода, пошел проведать коня.

В сумах не оказалось пары белья, полотенца.

— На глазах украли, Григорий, — виновато признался Кошевой Мишка, на попечении которого находился конь. — Пехоты нагнали в этот двор видимо-невидимо, пехота украла.

— Черт с ними, пущай пользуются. Мне бы вот голову перевязать, бинт промок.

— Возьми мое полотенце.

В сарай, где происходил этот разговор, вошел Чубатый. Он протянул Григорию руку, словно между ними ничего и не было.

— А, Мелехов! Ты живой, стуцырь?

— Наполовинку.

— Лоб-то в крове, утрись.

— Утрусь, успею.

— Дай гляну, как тебя примолвили.

Чубатый силком нагнул голову Григория, хмыкнул носом.

— На что давался волосья простригать? Ишь суродовали как!.. Доктора тебя выпользуют до черта, дай-ка я залечу.

Не спрашивая согласия, он достал из пантронташа патрон, вывернул пулю и на черную ладонь высыпал порох.

— Добудь, Михаиле, паутины.

Кошевой концом шашки достал со сруба хлопчатый ком паутины, подал. Острием этой же шашки Чубатый вырыл комочек земли и, смешав его с паутиной и порохом, долго жевал. Густой массой он плотно замазал кровоточащую рану на голове Григория, улыбнулся:

— Через трое суток сымет, как рукой. Вишь за тобой уход несу, а ты… было-к застрелил.

— За уход спасибо, а убил бы тебя — одним грехом на душе меньше бы стало.

— Какой ты простой, парень.

— Какой уж есть. Что там на голове у меня?

— В четверть зарубка. Это тебе на память.

— Не забуду.

— И хотел бы, да не забудешь; палаши австрийцы не точат, тупым тебя секанул, теперь на всю жизнь пухлый рубец будет.

— Счастье твое, Григорий, наосклизь взяло, а то б зарыли в чужой земле, — улыбнулся Кошевой.

— Куда же я фуражку дену?

Григорий растерянно вертел в руках фуражку с разрубленным, окровяненным верхом.

— Кинь, ее собаки съедят.

— Ребята, хлебово принесли, налетай! — крикнули из дверей дома.

Казаки вышли из сарая. Вслед Григорию, кося вывернутым глазом, заржал Гнедой.

— Он об тебе скучал, Григорий! — Кошевой кивнул на коня. — Я диву дался: корм не жрет и так это потихоньку игогокает.

— Я как лез оттуда, его все кликал, — отворачиваясь, глухо говорил Григорий, — думал — он не уйдет от меня, а поймать его трудно, не дается он чужим.

— Верно, мы его насилу взяли. Арканом накинули.

— Конь добрый, братов конь, Петра. — Григорий отворачивался, прятал растроганные глаза.

Они вошли в дом. В передней комнате на полу, на снятом с кровати пружинном матрасе, храпел Егор Жарков. Неописуемый беспорядок молчаливо говорил о том, что хозяева бросили дом спешно. Осколки битой посуды, изорванные бумаги, книги, залитые медом клочки суконной материи, детские игрушки, старая обувь, рассыпанная мука — все это в ужасающем беспорядке валялось на полу, вопило о разгроме.

Расчистив место, здесь же обедали Грошев Емельян и Прохор Зыков. У Зыкова при виде Григория выкатились телячье-ласковые глаза.

— Гри-ишка! Откель ты взялся?

— С того света.

— Ты ему, сбегай, принеси щей. Чего глаза на лоб вылупил? — крикнул Чубатый.

— Зараз. Кухня тут вот, в проулке.

Прохор, прожевывая кусок, мотнулся во двор.

На его место устало присел Григорий.

— Я уже не помню, когда ел, — улыбнулся он виновато.

По городу двигалась части 3-го корпуса. Узкие улицы забивались пехотой, прудились бесчисленными обозами, кавалерийскими частями, на перекрестках спирались заторы, сквозь закрытые двери проникал гул движения. Вскоре явился Прохор с котелком щей и торбой гречневой каши.

— Кашу куда выпорожнить?

— А вот кастрюля с ручкой. — Грошев подвинул от окна ночную посудину, не зная ее назначения.

— Она воняет, кастрюля твоя. — Прохор сморщился.

— Ничего. Вали кулем, после разберем.

Прохор развернул торбу, густая добротная каша дымилась паром, по бокам ее янтарной каймой выступило масло. Ели с разговорцем. Слюнявя сальное пятно на своем линялом лампасе, Прохор рассказывал:

— Тут рядом с нашим двором стоит батарея конногорного дивизиона, маштаков выкармливают. Ферверкер [26] ихний в газете читал, что союзники немцев, что называется, — вдрызг.

— Не захватил ты, Мелехов, утром мы ить благодарность получили, — мурчал Чубатый, двигая набитым кашей ртом.

— От кого?

— Начальник дивизии генерал-лейтенант фон Дивид смотр нам делал и благодарность

превозносил за то, что венгерских гусаров сбили и выручили свою батарею. Ить они пушки за малым не укатили. «Молодцы казаки, говорит, царь и отечество про вас не забудут».

— Вот как!

На улице сухо чмокнул выстрел, другой, раскатисто брызнула пулеметная дробь.

— Вы-хо-ди-и! — гаркнули у ворот.

Побросав ложки, казаки выскочили на двор. Над ними низко и плавно кружил аэроплан. Мощный рокот его звучал угрожающе.

— Падай под плетни! Бомбы зараз начнет ссланивать, рядом ить батарея! — крикнул Чубатый.

— Егорку разбудите! Убьет его на мягком матрасе!

— Винтовки давай!

Чубатый, тщательно целясь, стрелял прямо с крыльца.

По улице бежали, зачем-то пригибаясь, солдаты. В соседнем дворе слышались лошадиный визг и резкая команда. Расстреляв обойму, Григорий глянул через забор: там суетились номера, закатывая орудия под навес сарая. Жмурясь от колючей синевы неба, Григорий глянул на рокочущую снижающуюся птицу; оттуда в этот миг стремительно сорвалось что-то и резко сверкнуло в полосе солнечного луча. Потрясающий грохот встряхнул домик и припавших к крыльцу казаков; на соседнем дворе предсмертным визгом захлебнулась лошадь. Острый серный запах гари принесло из-за забора.

— Хоронись! — крикнул Чубатый, сбегая с крыльца.

Григорий прыгнул за ним следом, упал под забором. Крыло аэроплана сверкнуло какой-то алюминиевой частью, он поворачивался, плавно занося хвост. С улицы стреляли пачками, грохали залпами, сеяли беспорядочной частухой выстрелов. Григорий только что вложил обойму, как еще более потрясающий взрыв швырнул его на сажень от забора. Глыба земли жмякнула ему в голову, запорошив глаза, придавила тяжестью…

Его поднял на ноги Чубатый. Острая боль в левом глазу не давала Григорию возможности глядеть; с трудом раскрыв правый, увидел: половина дома разрушена; красным уродливым месивом лежали кирпичи, над ними курилась розовая пыль. Из-под исковерканного крыльца полз на руках Егор Жарков. Все лицо его — сплошной крик, по щекам из вывалившихся глаз — кровяные слезы. Он полз, вобрав голову в плечи, кричал будто не разжимая трупно почерневших губ:

— А-и-и-и-и! А-и-и-и! А-и-и-и-и!..

За ним на тоненьком лоскутке кожи, на опаленной штанине поперек волочилась оторванная у бедра нога, второй не было. Он полз, медленно переставляя руки, тонкий, почти детский стенящий крик сверлился изо рта. Он оборвал крик и лег боком, плотно прижимая лицо к неласковой, сырой, загаженной конским пометом и осколками кирпича земле. К нему никто не подходил.

— Берите ж его! — крикнул Григорий, не отрывая ладони от левого глаза.

Во двор набежали пехотинцы, возле ворот остановилась двуколка телефонистов.

— Езжай, что стали! — крикнул на них скакавший мимо офицер. — Эка звери, хамье!..

Откуда-то пришлепали старик в черном длинном сюртуке и две женщины. Толпа окружила Жаркова. Протиснувшись, Григорий увидел, что тот еще дышит, всхлипывая и крупно дрожа. На мертвенно пожелтевшем лбу его выступил ядреный зернистый пот.

— Берите! Что же вы… люди вы али черти?

— Чего лаешься? — огрызнулся высокий пехотинец. — Берите, берите, а куда брать-то? Видишь, доходит.

— Обое ноги оторвало.

— Кровишши-то!..

— Санитары где?

— Какие уж тут санитары…

— А он ишо в памяти.

Чубатый сзади тронул плечо Григория; тот оглянулся.

— Не вороши его, — сказал Чубатый шепотом, — зайди с этой стороны, глянь.

Он перешел на другую сторону, не выпуская из пальцев рукава Григорьевой гимнастерки, растолкал ближних. Григорий глянул и, сгорбившись, пошел в ворота. Под животом Жаркова дымились, отливая нежно-розовым и голубым, выпущенные кишки. Конец этого перевитого клубка был вывалян в песке и помете, шевелился, увеличиваясь в объеме. Рука умирающего лежала боком, будто сгребая…

— Накройте ему лицо, — предложил кто-то.

Жарков вдруг оперся на руки и, закинув голову так, что затылок бился меж скрюченных лопаток, крикнул хрипатым нечеловеческим голосом:

— Братцы, предайте смерти! Братцы!.. Братцы!.. Что ж вы гляди-те-е?.. Аха-ха-а-а-а-а!.. Братцы… предайте смерти!..

XXI

Вагон мягко покачивает, перестук колес убаюкивающе сонлив, от фонаря до половины лавки желтая вязь света. Так хорошо вытянуться во весь рост и лежать разутым, дав волю ногам, две недели парившимся в сапогах, не чувствовать за собой никаких обязанностей, знать, что жизни твоей не грозит опасность и смерть так далека. Особенно приятно вслушиваться в разнобоистый говор колес: ведь с каждым оборотом, с каждым рывком паровоза — все дальше фронт. И Григорий лежал, вслушиваясь, шевеля пальцами босых ног, всем телом радуясь свежему, только нынче надетому белью. Он испытывал такое ощущение, будто скинул с себя грязную оболочку и входил в иную жизнь незапятнанно чистым.

Тихую, умиротворенную радость нарушала боль, звеневшая в левом глазу. Она временами затихала и внезапно возвращалась, жгла глаз огнем, выжимала пол повязкой невольные слезы. В госпитале, в Каменке-Струмилове молоденький еврей-врач осмотрел Григорию глаз, что-то написал на клочке бумаги.

— Вас придется отправить в тыл. С глазом серьезная неприятность.

— Кривой буду?

— Ну, что вы, — ласково улыбнулся доктор, уловив в вопросе неприкрытый испуг, — необходимо лечение, быть может, придется сделать операцию. Мы вас отправим в глубокий тыл, в Петроград, например, или в Москву.

— Спасибочка.

— Вы не трусьте, глаз будет цел. — Доктор похлопал его по плечу и, сунув в руки клочок бумаги, легонько вытолкал Григория в коридор. Засучивал рукава, готовясь к операции.

После долгих мытарств Григорий попал в санитарный поезд. Сутки лежал, наслаждаясь покоем. Старенький мелкорослый паровозишко, напрягаясь из последних сил, тянул многовагонный состав. Близилась Москва.

Приехали ночью. Тяжелораненых выносили на носилках; те, кто мог ходить без посторонней помощи, вышли после записи на перрон. Врач, сопровождавший поезд, вызвав по списку Григория и указывая сестре милосердия на него, сказал:

— Глазная лечебница доктора Снегирева! Колпачный переулок.

— Ваши пожитки с вами? — спросила сестра.

— Какие у казака пожитки? Сумка вот да шинель.

— Пойдемте.

Она пошла, поправляя под наколкой прическу, шурша платьем. Неуверенно шагая, Григорий направился за ней. Поехали на извозчике. Гул большого засыпающего города, звонки трамваев, голубой переливчатый блеск электричества подействовали на Григория подавляюще. Он сидел, откинувшись на спинку пролетки, жадно осматривая многолюдные, несмотря на ночь, улицы, и так странно было ему ощущать рядом с собой волнующее тепло женского тела. В Москве чувствовалась осень: на деревьях бульваров при свете фонарей блеклой желтизной отсвечивали листья, ночь дышала знобкой прохладой, мокро лоснились плиты тротуаров, и звезды на погожем небосклоне были ярки и холодны по-осеннему. Из центра выехали в безлюдный проулок. Цокали по камням копыта, качался на высоких козлах извозчик, принаряженный в синий, наподобие поповского армяк; махал на вислоухую клячу концами вожжей. Где-то на окраинах трубили паровозы. «Может, какой в Донщину сейчас пойдет?» — подумал Григорий и поник под частыми уколами тоски.

— Вы не дремлете? — спросила сестра.

— Нет.

— Скоро приедем.

— Чего изволите? — Извозчик повернулся.

— Погоняй!

За железной тесьмой ограды маслено блеснула вода пруда, мелькнули перильчатые мостки с привязанной к ним лодкой. Повеяло сыростью.

«Воду и то в неволю взяли, за железной решеткой, а Дон…» — неясно думал Григорий. Под резиновыми шинами пролетки зашуршали листья.

Около трехэтажного дома извозчик остановился. Поправляя шинель, Григорий соскочил.

— Дайте мне руку. — Сестра нагнулась.

Григорий забрал в ладонь ее мягкую маленькую ручку, помог сойти.

— Потом солдатским от вас разит, — тихонько засмеялась прифранченная сестра и, подойдя к подъезду, позвонила.

— Вам бы, сестрица, там побывать, от вас, может, и ишо чем-нибудь завоняло, — с тихой злобой сказал Григорий.

Дверь отворил швейцар. По нарядной с золочеными перилами лестнице поднялись на второй этаж; сестра позвонила еще раз. Их впустила женщина в белом халате. Григорий присел у круглого столика, сестра что-то вполголоса говорила женщине в белом, та записывала.

Из дверей палат, расположенных по обе стороны длинного неширокого коридора, выглядывали головы в разноцветных очках.

— Снимайте шинель, — предложила женщина в халате.

Служитель, тоже в белом, принял из рук Григория шинель, повел его в ванную.

— Снимайте все с себя.

— Зачем?

— Вымыться надо.

Пока Григорий раздевался и, пораженный, рассматривал помещение и матовые стекла окон, служитель наполнил ванну водой, смерил температуру, предложил садиться.

— Корыто-то не по мне… — конфузился Григорий, занося смугло-черную волосатую ногу.

Прислуживающий помог ему тщательно вымыться, подал простыню, белье, ночные

туфли и серый с поясом халат.

— А моя одежа? — удивился Григорий.

— Будете ходить в этом. Вашу одежду вернут вам тогда, когда будете выписываться из больницы.

В передней, проходя мимо большого стенного зеркала, Григорий не узнал себя: высокий, чернолицый, остроскулый, с плитами жаркого румянца на щеках, в халате, с повязкой, въедавшейся в шапку черных волос, он отдаленно лишь походил на того, прежнего, Григория. У него отросли усы, курчавилась пушистая бородка.

«Помолодел я за это время», — криво усмехнулся Григорий.

— Шестая палата, третья дверь направо, — указал служитель.

Священник в халате и синих очках при входе Григория в большую белую комнату привстал.

— Новый сосед? Очень приятно, не так скучно будет. Я из Зарайска, — общительно заявил он, придвигая Григорию стул.

Спустя несколько минут вошла полная фельдшерица с большим некрасивым лицом.

— Мелехов, пойдемте, посмотрим ваш глаз, — сказала она низким грудным голосом и посторонилась, пропуская Григория в коридор.

XXII

На Юго-Западном фронте в районе Шевеля командование армии решило грандиозной кавалерийской атакой прорвать фронт противника и кинуть в тыл ему большой кавалерийский отряд, которому надлежало совершить рейд вдоль фронта, разрушая по пути коммуникационные линии, дезорганизуя части противника внезапными налетами. На успешное осуществление этого плана командование возлагало большие надежды; небывалое количество конницы было стянуто к указанному району; в числе остальных кавалерийских полков был переброшен на этот участок и казачий полк, в котором служил сотник Листницкий. Атака должна была произойти 28 августа, но по случаю дождя ее отложили на 29-е.

С утра на огромном плацдарме выстроилась дивизия, готовясь к атаке.

Верстах в восьми на правом фланге пехота вела демонстративное наступление, привлекая на себя огонь противника; в ложном направлении передвигались части одной кавалерийской дивизии.

Впереди, насколько обнимал глаз, не было видно неприятеля. В версте от своей сотни Листницкий видел черные брошенные логова окопов, за ними бугрились жита и сизел предрассветный, взбитый ветерком туман.

Случилось так, что неприятельское командование или узнало о готовящейся атаке, или предугадало ее, но в ночь на 29-е неприятельские войска покинули окопы и отошли верст на шесть, оставив засады с пулеметами, которые и тревожили на всем участке противостоящую им нашу пехоту.

Где-то вверху, за кучевыми облаками, светило восходящее солнце, а долину всю заливал желто-сливочный туман. Была подана команда к атаке, полки пошли. Многие тысячи конских копыт стлали глухой, напоминающий подземный, гул. Листницкий, удерживая своего кровного коня, не давал ему срываться на галоп. Расстояние версты в полторы легло позади. К ровному строю атакующих приближалась полоса хлебов. Высокое, выше пояса, жито, все перевитое цепкой повителью и травой, до крайности затрудняло бег лошадей. Впереди все

так же зыбилась русая холка жита, позади лежало оно поваленное, растоптанное копытами. На четвертой версте лошади стали спотыкаться, заметно потеть, — противника все не было, Листницкий оглянулся на сотенного командира: на лице есаула — глухое отчаяние…

Шерсть верст немыслимо трудной скачки вырвали из лошадей силы, некоторые под всадниками падали, самые выносливые качались, добирая из последних сил. Здесь-то секанули австрийские пулеметы, размеренно закхакали залпы… Убийственный огонь выкосил передние ряды. Первыми дрогнули и повернули обратно уланы, смялся казачий полк; их, захлестнувшихся в паническом бегстве, поливали, как из пульверизаторов, пулеметным дождем, расстреливали из орудий. Небывалая по размерам атака из-за преступной небрежности высшего командования окончилась полным разгромом. Некоторые полки потеряли половину людского и конского состава; из полка Листницкого выбыло около четырехсот убитыми и ранеными рядовых и шестнадцать офицеров.

Под Листницким убили коня, сам он получил две раны: в голову и ногу. Вахмистр Чеботарев, соскочив с коня, схватил Листницкого, взвалил на седло, ускакал.

Начальник штаба дивизии, полковник генерального штаба Головачев сделал несколько моментальных снимков атаки и после показал их офицерам. Раненый сотник Червяков первый ударил его кулаком в лицо и зарыдал. Подбежавшие казаки растерзали Головачева, долго глумились над трупом и бросили его в придорожную канаву, в нечистоты. Так окончилась эта блестящая бесславием атака.

Из варшавского госпиталя Листницкий сообщил отцу о том, что по излечении приедет к нему в Ягодное использовать отпуск. Старик, получив письмо, заперся в своем кабинете, вышел оттуда на следующий день туча тучей. Он велел Никитину заложить рысака в дрожки, позавтракал и укатил в Вешенскую. Сыну перевел телеграфом четыреста рублей денег, послал короткое письмо:

«Мне остается радоваться, что ты, мой милый мальчик, окрестился огнем. Благородный удел быть там, а не при дворце. Ты слишком честен и неглуп для того, чтобы мог со спокойной совестью пресмыкаться. Этой черты не было ни у кого из нашей фамилии. За это еще твой дед попал в опалу и доживал в Ягодном, не надеясь и не ожидая милости венценосца. Будь здоров, Женя, выздоравливай. Ты у меня один на этом свете, помни. Тетя кланяется тебе, она здравствует, а о себе мне нечего писать, ты знаешь, как я живу. Что ж это творится там, на фронте? Неужто нет людей с рассудком? Не верю я газетной информации: лжива она насквозь, знаю по примеру прошлых лет. Неужто, Евгений, проиграем кампанию?

С великим нетерпением жду тебя домой!»

Подлинно нечего было писать старому Листницкому о своей жизни, волочилась она, по-старому однообразная, неизменная, лишь рабочие руки поднялись в цене да ощущался недостаток в спиртном. Пан пил чаще, стал раздражительней, придирчивей. Как-то вызвал в неурочный час Аксинью, сказал:

— Ты неисправно несешь службу. Почему вчера завтрак был подан холодным? Почему стакан с кофе нечисто вымыт? Если это будет повторяться, то я тебя, — слышишь ты? — то я тебя уволю. Не терплю нерях! — Пан резко махнул рукой. — Слышишь? Не терплю!

Аксинья крепко сжимала губы и вдруг заплакала.

— Николай Алексеевич! Девочка у меня хворает. Вы ослобоните меня пока… От нее отойти нельзя.

— Что с ней?

— Глотошная ее душит…

— Скарлатина? Почему не сказала, дура? Эка, черт тебя задери, шалаву! Беги, скажи Никитичу, чтоб запрягал, в станицу, за фельдшером. Живо!

Аксинья выбежала рысью, вслед бомбардировал ее старик гулкими басовыми раскатами:

— Дура баба! Дура баба! Дура!

Утром Никитич привез фельдшера. Тот осмотрел обеспамятевшую, объятую жаром девочку, не отвечая на вопросы Аксиньи, пошел и дом к пану. Листницкий принял его в передней стоя, не подавая руки.

— Что с девчонкой? — спросил, отвечая на приветствие небрежным кивком.

— Скарлатина, ваше превосходительство.

— Выздоровеет? Можно надеяться?

— Едва ли. Умрет девочка… Возраст поимейте в виду.

— Дурак! — Пан побагровел. — Чему тебя учили? Лечи!

Хлопнув дверью перед носом напуганного фельдшера, зашагал по залу.

Постучавшись, вошла Аксинья.

— Фельдшер просит лошадей ему до станицы.

Старик с живостью повернулся на каблуках.

— Скажи ему, что он болван! Скажи ему, что он не уедет отсюда до тех пор, пока не вылечит мне девчонку! Во флигеле отведи ему комнату, корми его! — закричал старик, потрясая костистым кулаком. — Пои его, корми, как на убой, а у-е-хать… не уедет! — Оборвав, подошел к окну, побарабанил пальцами и, подойдя к увеличенной фотографии сына, снятого на руках у няни, отступил два шага и долго смотрел щурясь, словно не узнавая.

В первый же день, как только болезнь свалила девочку с ног, Аксинье вспомнилась горькая Натальина фраза: «Отольются тебе мои слезы…» — и она решила, что это ее бог наказывает за то, что тогда глумилась над Натальей.

Подавленная страхом за жизнь ребенка, она теряла рассудок, бестолково металась, работа валилась из ее рук.

«Неужели отнимет?» — неотступно билась горячечная мысль, и, не веря, всей силой не желая верить, Аксинья неистово молилась, просила у бога последнюю милость — сохранить жизнь ребенка.

«Господи, прости!.. Не отнимай! Пожалей, господи, смилуйся!»

Болезнь душила маленькую жизнь. Девочка лежала пластом, из припухшего горлышка полз трудный, прерывистый хрип. Станичный фельдшер, поместившись во флигеле, приходил раза четыре в день, вечерами подолгу стоял на крыльце людской, покуривая, глядя на холодную россыпь осенних звезд.

Ночи навылет простаивала Аксинья на коленях у кровати. Булькающий хрип полосовал ее сердце.

— М-а-ма… — шелестели маленькие спекшиеся губы.

— Зернышко мое, дочушка! — приглушенно звенела мать. — Цветочек мой, не уходи, Танюшка! Глянь, моя красотушка, открой глазки. Опомнись же! Гулюшка моя черноглазая… За что же, господи?..

Девочка изредка поднимала воспаленные веки, налитые кровью дурной, глазенки устремляли текучий, неуловимый взгляд. Жадно ловила мать этот взгляд. Он уходил, казалось, внутрь себя, тоскующий, примиренный.

Умерла она на руках у матери. В последний раз, всхлипывая, зевнул посиневший ротик, и тельце вытянула судорога; запрокидываясь, катилась с Аксиньиной руки потная головка, прижмуренный, с мертвым зрачком, смотрел удивленно угрюмоватый мелеховский глазок.

Возле пруда, под старым разлапистым тополем вырыл дед Сашка крохотную могилку, под мышкой отнес туда гробик, с несвойственной ему торопливостью зарыл и долго терпеливо ждал, пока поднимется Аксинья с суглинистого холмика. Не дождался,

высморкался, как арапником хлопнул, — пошел в конюшню… С сеновала достал флакон одеколона, неполный пузырек денатурированного спирта, смешал в бутылке и, болтая, любуясь на цвет, сказал:

— Помянем. Царство небесное дитю. Душа ангельская преставилась.

Он выпил, ошалело затряс головой, закусывая раздавленным помидором, и, растроганно глядя на бутылку, сказал:

— Не забудь ты меня, дорогая, а я тебя не забуду!.. — и заплакал.

Через три недели Евгений «Листницкий прислал телеграмму, извещая о том, что получил отпуск и выехал домой. На станцию выслали за ним тройку лошадей, вся дворня встала на ноги: резали индеек, гусей, дед Сашка свежевал барана, приготовления делались словно перед большим съездом гостей.

Накануне в слободу Каменку выслана была подстава. Молодой хозяин приехал ночью. Моросил изморосный дождь, фонари кидали на лужи мерклые дорожки света. У крыльца, позванивая бубенчиками, остановились лошади. Из крытой коляски вышел взволнованный, улыбающийся Евгений. Кинув на руки деду Сашке теплый плащ, он, заметно прихрамывая, поднялся по крыльцу. Из зала, роняя мебель, торопливо шаркал старый пан.

Аксинья подала ужин в столовую и пошла звать к столу. Заглянув в замочную скважину, увидела: старик, припав к сыну, целует его в плечо; шея его, в старчески дряблых складках, мелко трясется. Подождав несколько минут, Аксинья заглянула вновь: Евгений в распахнутом защитном мундире стоял на коленях перед большой раскинутой на полу картой.

Старый пан, выдувая из трубки лохматые кольца дыма, стукал костяшками пальцев по ручке кресла, гудел возмущенно:

— Алексеев? Не может быть! Я не поверю.

Евгений что-то тихо и долго говорил, убеждал, водил по карте пальцем, в ответ ему старик сдержанно басил:

— Верховный в данном случае не прав. Узкая ограниченность! Да помилуй, Евгений, вот тебе аналогичный пример из русско-японской кампании. Позволь!.. Позволь, позволь!

Аксинья постучала.

— Что, уже подано? Сейчас.

Старик вышел оживленный, веселый, совсем по-молодому блистали его глаза. Вдвоем с сыном они выпили бутылку вина, вчера только вырытую из земли. На позеленевшей, обомшелой наклейке еще сохранилась выцветшая дата — 1879 год.

Прислуживая и глядя на веселые лица, Аксинья сильнее ощущала свое одиночество. Терзала ее невыплаканная тоска. Первые дни после смерти девочки она хотела и не могла плакать. Рос в горле крик, но слез не было, и оттого каменная горечь давила вдвойне. Она много спала (искала отдыха в сонном забытьи); но и во сне настигал ее призрачный зов ребенка. Ей то казалось, что дочь ее спит рядом с ней, и она отодвигалась, шарила по постели рукой, то слышался невнятный шепот: «Мама, пить».

— Кровиночка моя… — шептала Аксинья холодеющими губами.

Даже в гнетущей яви мерещилось ей иногда, что вот у колен ее жмется ребенок, и она ловила себя на том, что тянется рукой приласкать курчавую головку.

На третий день после приезда Евгений допоздна просидел у деда Сашки в конюшне, слушая бесхитростные его рассказы о былой привольной на Дону жизни, о старине. Он вышел оттуда в девятом часу; на дворе полоскался ветер, слякотно чавкала под ногами грязь. Мен; туч казаковал молодой желтоусый месяц. При свете его Евгений глянул на часы, направился в людскую. У крыльца он закурил, на минуту стал, раздумывая, и, тряхнув плечами, решительно ступил на крыльцо. Осторожно нажал щеколду, дверь, скрипнув,

отворилась. Он вошел в Аксиньину половину, чиркнул спичкой.

— Ктой-то? — спросила Аксинья, натягивая на себя одеяло.

— Это я.

— Я сейчас оденусь.

— Ничего. Я на минутку.

Евгений, сбросив шинель, сел на край кровати.

— У тебя умерла дочушка…

— Умерла, — эхом откликнулась Аксинья.

— Ты очень изменилась. Еще бы, я понимаю, что значит потерять ребенка. Но мне думается, что ты напрасно изводишь себя, к жизни ее не вернешь, а ты еще в достаточной степени молода, чтобы иметь детей. Не надо так! Бери себя в руки, смирись… В конце концов, не все потеряно со смертью ребенка, у тебя еще — подумай! — вся жизнь впереди.

Евгений, сжав руку Аксиньи, гладил ее с ласковой властностью, говорил, играя низкими нотками голоса. Он перешел на шепот и, слыша, как Аксинья вся сотрясается в заглушенном плаче и плач переходит в рыдание, стал целовать ее мокрые от слез щеки, глаза…

Падко бабье сердце на жалость, на ласку. Отягощенная отчаянием Аксинья, не помня себя, отдалась ему со всей бурной, давно забытой страстностью. А когда схлынула небывало опустошительная, помрачающая волна бесстыдного наслаждения, она очнулась, резко вскрикнула, теряя разум, выбежала полуголая, в одной рубахе, на крыльцо. Следом за ней, бросив дверь открытой, торопливо вышел Евгений. Он на ходу надел шинель, шел торопливо и, когда, запыхавшись, поднялся на террасу дома, засмеялся радостно, довольно. Его подмывало бодрящее веселье. Уже лежа в постели, потирая пухлую, мягкую грудь, подумал: «С точки зрения честного человека — это подло, безнравственно. Григорий… Я обворовал ближнего, но ведь там, на фронте, я рисковал жизнью. Могло же так случиться, чти пуля взяла бы правее и продырявила мне голову? Теперь я истлевал бы, моим телом нажирались бы черви… Надо с жадностью жить каждый миг. Мне все можно!» Он на минуту ужаснулся своим мыслям, но воображение вновь вылепило страшную картину атаки и того момента, когда он поднялся с убитого коня и упал, срезанный пулями. Уже засыпая, успокоение решил: «Завтра об этом, а сейчас спать, спать…»

На следующий день утром, оставшись в столовой наедине с Аксиньей, он подошел к ней, виновато улыбаясь, но она, прижавшись к стене, вытягивая руки, опалила его яростным шепотом:

— Не подходи, проклятый!..

Свои неписаные законы диктует людям жизнь. Через три дня ночью Евгений вновь пришел в половину Аксиньи, и Аксинья его не оттолкнула.

XXIII

К глазной лечебнице доктора Снегирева примыкал маленький садик.

Таких неуютных стриженых садов много по окраинным переулкам Москвы, в них не отдыхает глаз от каменной тяжелой скуки города, и еще резче и больней вспоминается при взгляде на них дикое приволье леса. В больничном садике хозяйничала осень: крыла дорожки оранжевой бронзой листьев, утренними заморозками мяла цветы и водянистой зеленью наливала на газонах траву. В погожие дни по дорожкам гуляли больные, вслушиваясь в переливы церковных звонов богомольной Москвы. В ненастье (а в том году оно преобладало) слонялись из палаты в палату, лежали на койках, отмалчиваясь, прискучившие и

самим себе и друг другу.

В лечебнице преобладали гражданские больные, раненые помещались в одной палате; было их пять человек: Ян Варейкис, высокий русый латыш с окладистой подстриженной бородой и голубыми глазами; Иван Врублевский, двадцативосьмилетний красавец драгун, уроженец Владимирской губернии; сибирский стрелок Косых, вертлявый желтый солдатишко Бурдин и Мелехов Григорий. В конце сентября привезли еще одного. Во время вечернего чая продолжительно затрепетал звонок. Григорий выглянул в коридор. В переднюю вошли трое: сестра милосердия и человек в черкеске, третьего они поддерживали под руки. Он, наверное, только что прибыл с вокзала: об этом свидетельствовала его грязная солдатская гимнастерка с кровяными бурыми следами на груди. Ему вечером же сделали операцию. После недолгих приготовлений (в палаты доносился шум — кипятили инструменты) в операционную провели новоприбывшего. Спустя несколько минут оттуда послышалась приглушенная песня: пока раненому удаляли остаток глаза, выбитого осколком, он, усыпленный хлороформом, пел и невнятно ругался. После операции его принесли в палату к раненым. Через сутки тяжкая одурь хлороформа вышла из мозгов, и он рассказал, что был ранен под Вербергом на германском фронте, фамилия его Гаранжа, был пулеметчиком, родом сам из Черниговской губернии. За несколько дней он особенно близко сошелся с Григорием; койки их стояли рядом, и они уже после вечернего обхода шепотом подолгу разговаривали.

— Ну, козак, як дила?

— Как сажа бела.

— Глаз, що ж вин?

— Хожу на уколы.

— Скилько зробилы?

— Восемнадцать.

— Больно чи ни?

— Нет, сладко.

— А ты попроси, шоб воны геть його выризалы.

— Не всем кривым быть.

— Це так.

Желчный, язвительный сосед Григория был недоволен всем: ругал власть, войну, участь свою, больничный стол, повара, докторов — все, что попадало на острый его язык.

— За шо мы с тобой, хлопче, воювалы?

— За что все, за то и мы.

— Та ты толком окажи мэни, толком.

— Отвяжись!

— Га! Дуркан ты. Це дило треба разжуваты. За буржуив мы воевалы, чуешь? Що ж це таке — буржуй? Птыця така у коноплях живе.

Он разъяснял Григорию непонятные слова, пересыпал свою речь ругательным забористым перцем.

— Не тарахти! Не понимаю хохлачьего твоего языка, — перебивал его Григорий.

— Ось тоби! Що ж ты, москаль, не понимаешь?

— Реже гутарь.

— Я ж, мий ридненький, и то балакаю нэ густо. Ты кажешь — за царя, а шо ж воно такое — царь? Царь — пьянюга, царица — курва, паньским грошам от войны прибавка, а нам на шею… удавка. Чуешь? Ось! Хвабрыкант горилку пье, солдат вошку бье, тяжко обоим. Хвабрыкант с барышом, а рабочий нагишом, так воно порядком и пластуется. Служи, козак, служи! Ще один хрэст заробишь, гарный, дубовый… — Говорил по-украински, но в редкие

минуты, когда волновался, переходил на русский язык и, уснащая его ругательствами, изъяснялся чисто.

Изо дня в день внедрял он в ум Григория досель неизвестные тому истины, разоблачал подлинные причины возникновения войны, едко высмеивал самодержавную власть. Григорий пробовал возражать, но Гаранжа забивал его в тупик простыми, убийственно простыми вопросами, и Григорий вынужден был соглашаться.

Самое страшное в этом было то, что сам он в душе чувствовал правоту Гаранжи и был бессилен противопоставить ему возражения, не было их и нельзя было найти. С ужасом Григорий сознавал, что умный и злой украинец постепенно, неуклонно разрушает все его прежние понятия о царе, родине, о его казачьем воинском долге.

В течение месяца после прихода Гаранжи прахом задымились все те устои, на которых покоилось сознание. Подгнили эти устои, ржавью подточила их чудовищная нелепица войны, и нужен был только толчок. Толчок был дан, проснулась мысль, она изнуряла, придавливала простой, бесхитростный ум Григория. Он метался, искал выхода, разрешения этой непосильной для его разума задачи и с удовлетворением находил его в ответах Гаранжи.

Поздней ночью однажды Григорий встал с постели и разбудил Гаранжу. Подсел к нему на кровать. В окно сквозь приспущенную штору тек зеленоватый свет сентябрьского месяца. Щеки проснувшегося Гаранжи темнели супесными рытвинами, влажно блестели черные впадины глазниц. Он зевал, зябко кутал ноги в одеяло.

— Шо нэ спышь?

— Сну нету. Сон от меня уходит. Ты мне объясни вот что, война одним на пользу, другим в разор…

— Ну? Ахха-а-а… — зевнул Гаранжа.

— Погоди! — зашептал Григорий, опаляемый гневом. — Ты говоришь, что на потребу богатым нас гонят на смерть, а как же народ? Аль он не понимает? Неужели нету таких, чтоб могли рассказать? Вышел бы и сказал: «Братцы, вот за что вы гибнете в кровях».

— Як це так, вышел? Ты шо, сказывся? А ну, побачив бы я, як ты вышел. Мы ось с тобой шепчемся, як гуси у камыши, а гавкни ризко — и пид пулю. Черная глухота у народи. Война его побудить. Из хмары писля грому дощ буде…

— Что же делать? Говори, гад! Ты мне сердце разворошил.

— А шо тоби сердце каже?

— Не пойму, — признался Григорий.

— Хто мэнэ с кручи пихае, того я пихну. Трэба, нэ лякаясь, повернуть винтовки. Трэба у того загнать пулю, кто посылае людей у пэкло. Ты знай, — Гаранжа приподнялся и, скрипнув зубами, вытянул руки, — поднимется вэлыка хвыля, вона усэ снэсэ!

— По-твоему, что ж… все вверх ногами надо поставить?

— Га! Власть треба, як грязные портки, скынуть. Треба с панив овчину драть, треба им губы рвать, бо гарно воны народ помордувалы.

— А при новой власти войну куда денешь? Так же будут клочиться, — не мы, так дети наши. Войне чем укорот дашь? Как ее уничтожить, раз извеку воюют?

— Вирно, война испокон веку иде, и до той годыны вона нэ пэрэвэдэться, пока будэ на свити дурноедьска власть. От! А як була б у кажном государстви власть робоча, тоди б не воювалы. То и трэба зробыть. А цэ будэ, в дубову домовыну их мать!.. Будэ! И у германцив, и у хранцузив — у всих заступэ власть робоча и хлеборобська. За шо ж мы тоди будемо брухаться? Граныци — геть! Чорну злобу — геть! Одна по всьому свиту будэ червона жизнь. Эх! — Гаранжа вздохнул и, покусывая кончики усов, блистая единственным глазом, мечтательно улыбнулся. — Я б, Грыцько, кровь свою руду по капли выцидыв бы, шоб дожить

до такого… Полымя мэни сердцевину лиже…

Они проговорили до рассвета. В серых сумерках забылся Григорий беспокойным сном.

Утром его разбудили голоса и плач. Иван Врублевский, лежа на кровати вниз лицом, всхлипывал, сморкался; вокруг него стояли фельдшерица, Ян Варейкис и Косых.

— Чего он хлюпает? — высунув голову из-под одеяла, хрипнул Бурдин.

— Глаз разбил. Начал из стакана вынать и кокнул его об пол, — скорее с злорадством, чем с сожалением, ответил Косых.

Какой-то обрусевший немец, торговец искусственными глазами, движимый патриотическими побуждениями, выдавал свой товар солдатам бесплатно. Накануне Врублевскому подобрали и вставили стеклянный глаз, тончайшей работы, такой же голубой и красивый, как и настоящий. Настолько художественно он был сделан, что даже при внимательном изучении нельзя было отличить подлинный глаз от искусственного. Врублевский радовался и смеялся, как ребенок.

— Приду домой, — говорил он, по-владимирски окая, — любую девку обману. Женюсь, а потом признаюсь, что глаз-то стеклянный.

— Омманет, язви его! — хохотал Бурдин, постоянно напевавший о Дуне и таракане, который прогрыз Дуне сарафан.

И вот несчастная случайность — и красавец парень вернется в родную деревню кривым уродом.

— Новый дадут, не реви, — утешал Григорий.

Врублевский поднял опухшее от слез лицо с красной мокрой дыркой вместо глаза.

— Не дадут. Глаз — он триста рублей стоит. Не дадут.

— Глаз был так глаз! Каждая жилка на ем прорисована, — восторгался Косых.

После утреннего чая Врублевский поехал с фельдшерицей в магазин к немцу, и тот вновь подобрал глаз.

— Немцы-то, они лучше русских! — неистовствовал в восторге Врублевский. — У русского купца — хрен выпросишь, а этот и слова не сказал.

Минул сентябрь. Время скупо отсчитывало дни. Тянулись они нескончаемо длинные, набитые мертвящей скукой. По утрам в девять пили чай. Каждому больному на тарелочке подавали два чахлых прозрачных ломтика французской булки и кусочек сливочного масла, величиной с мизинец, после обеда больные расходились голодные. Вечером пили чай, для разнообразия запивая его холодной водой. Состав больных менялся. Из «военной палаты» (так окрестили больные палату, где лежали раненые солдаты) первым выписался сибиряк Косых, за ним последовал латыш Варейкис. В последних числах октября выписали Григория.

Красивый, с подстриженной бородкой, хозяин больницы доктор Снегирев на испытании признал зрение Григория удовлетворительным. В темной комнате Григорию показывали на известном расстоянии освещенные большие буквы и цифры. Его выписали и направили в госпиталь на Тверской, так как залеченная рана на голове неожиданно открылась, и появилось легкое нагноение. Прощаясь с Гаранжой, Григорий спросил:

— Увидимся ли?

— Гора с горой нэ сходыться…

— Ну, хохол, спасибо, что глаза мне открыл. Теперь я зрячий и… злой!

— У полк прийдэшь — побалакай на цэй счет с козакамы.

— Ладно.

— Як шо доведэться буваты у Черниговщини, в слободе Гороховки, — спрашивай коваля Андрия Гаранжу, рад буду тэбэ бачиты. Прощувай, хлопче!

Они обнялись. Надолго сохранила память Григория образ украинца с суровым

единственным глазом и ласковыми линиями рта на супесных щеках.

В госпитале Григорий провалялся недели полторы. Он вынашивал в душе неоформленные решения, бродила в нем желчь гаранжевского учения. С соседями по палате он говорил мало, некое тревожное смятение сквозило в каждом его движении. «Беспокойный», — так охарактеризовал его при приеме заведующий госпиталем, бегло осматривая нерусское лицо Григория.

Первые дни Григория лихорадило, лежал он на койке, вслушиваясь в неумолчные звоны в ушах.

В это время и произошел такой инцидент.

Проездом из Воронежа госпиталь высочайше соизволила посетить особа императорской фамилии. Уведомленные об этом с утра лица врачебного персонала госпиталя заметались, как мыши в горящем амбаре. Раненых приодели: беспокоя их, внеочередно сменили постельное белье, младший врач даже пытался учить, как отвечать особе и как держать себя в разговоре с оной. Тревога передалась и раненым: некоторые заранее стали говорить шепотом. В полдень у подъезда вякнул автомобильный рожок, и в сопровождении должного количества свиты в настежь распахнутые двери госпиталя вошла особа. (Один из раненых, весельчак и балагур, уверял после товарищей, что к моменту приезда именитых посетителей госпитальный флаг с красным крестом вдруг буйно затрепыхался, несмотря на то что погода стояла на редкость ясная и безветренная, а на противоположной стороне, на вывеске парикмахерского заведения элегантный завитой мужчина сделал нечто похожее на коленопреклоненное движение или реверанс.) Начался обход палат. Особа задавала приличествующие ее положению и обстановке нелепые вопросы; раненые, по совету младшего врача, вылупив глаза больше той меры, которой учили их в строю, отвечали: «Точно так, ваше императорское величество» и «Никак нет» с приложением этого же титула. Комментарии к ответам давал заведующий госпиталем, причем вился он, как уж, ущемленный вилами, и даже издалека на него было жалко смотреть. Царственная особа, переходя от койки к койке, раздавала иконки. Толпа блестящих мундиров и густая волна дорогих духов надвигалась на Григория. Он стоял возле своей койки небритый, худой, с воспаленными глазами; мелкая дрожь острых коричневых скул выдавала его волнение.

«Вот они, на чью радость нас выгнали из родных куреней и кинули на смерть. Ах, гадюки! Проклятые! Дурноеды! Вот они, самые едучие вши на нашей хребтине!.. Не за эту ли… топтали мы конями чужие хлеба и убивали чужих людей? А полз я по жнивью и кричал? А страх? Оторвали от семьи, морили в казарме…» — клубился в голове его кипящий ком мыслей. Псиная злоба поводила его губы. «Сытые какие все, аж блестят. Туда б вас, трижды проклятых! На коней, под винтовку, вшами вас засыпать, гнилым хлебом, мясом червивым кормить!..»

Григорий низал глазами лощеных офицеров свиты и останавливал мерклый взгляд на сумчатых щеках члена императорской фамилии.

— Донской казак, георгиевский кавалер, — изгибаясь, указал на него заведующий, и таким тоном было это сказано, словно он сам заслужил этот крест.

— Какой станицы? — спросила особа, держа наготове иконку.

— Вешенской, наше императорское высочество.

— За что имеешь крест?

В светлых пустых глазах особы тлела скука, пресыщенность. Рыжеватая левая бровь заученно приподнималась — это делало лицо особы более выразительным. Григорий на мгновение ощутил холодок и покалывание в груди; такое чувство являлось в первый момент атаки. Губы его неудержимо кривились, прыгали.

— Я бы… Мне бы по надобности сходить… по надобности, ваше императорское… по малой нужде… — Григорий качнулся, словно переломленный, указывая широким жестом под кровать.

Левая бровь особы стала дыбом, рука с иконкой застыла на полпути. Особа, недоуменно свесив брюзглую губу, повернулась к сопутствовавшему ей седому генералу с фразой на английском языке. Еле заметное замешательство тронуло свиту: высокий офицер с аксельбантами рукой, затянутой в белоснежную перчатку, коснулся глаз; второй потупил голову, третий с вопросом глянул в лицо четвертому… Седой генерал, почтительно улыбаясь, на английском языке что-то доложил их императорскому высочеству, и особа соизволила милостиво сунуть в руки Григорию иконку и даже одарить его высшей милостью: коснуться рукой его плеча.

После отъезда высоких гостей Григорий упал на койку. Зарывшись головой в подушку, вздрагивая плечами, лежал несколько минут; нельзя было понять — плакал он или смеялся, но встал с сухими, проясневшими глазами. Его сейчас же вызвал в кабинет заведующий госпиталем.

— Ты, каналья!.. — начал он, комкая в пальцах бороду цвета линялой заячьей шкурки.

— Я тебе не каналья, гад! — не владея нижней отвисшей челюстью, шагая к доктору, сказал Григорий. — На фронте вас нету! — И, осилив себя, уже сдержанней: — Отправьте меня домой!

Доктор, пятясь от него, зашел за письменный стол, сказал мягче:

— Отправим. Убирайся к черту!

Григорий вышел, дрожа улыбкой, со взбешенными глазами.

За его чудовищную, непростительную выходку в присутствии высокой особы администрация госпиталя лишила его питания на трое суток. Кормили его товарищи по палате и сердобольный, страдавший от грыжи повар.

XXIV

В ночь на 4 ноября Григорий Мелехов пришел в Нижне-Яблоновский, первый от станции казачий хутор Вешенского юрта. До имения Ягодного оставалось несколько десятков верст. Григорий, будоража собак, шагал мимо редких дворов; за приречными вербами молодые ребячьи голоса вели песню:

А из-за леса блестят копия мечей.
Едет сотня казаков-усачей.
Попереди офицер молодой,
Ведет сотню казаков за собой.

Сильный, чеканно-чистый тенор заводил:

За мной, братцы, не робей, не робей!

Дружные, спевшиеся голоса лихо подхватывали:

На завалы поспешай поскорей,
А кто первый до завалов добежит,
Тому честь и крест, и слава надлежит.

Неизъяснимо родным, теплым повеяло на Григория от знакомых слов давнишней казачьей и им не раз игранной песни. Щиплющий холодок покалывал глаза, теснил грудь. Жадно вдыхая горький кизячный дым, выползавший из труб куреней, Григорий проходил хутор, — вслед ему неслось:

На завалах мы стояли, как стена.

Пуля сыпалась, летела, как пчела.

А и что это за донские казаки —

Они рубят и сажают на штыки.

«Давно играл я, парнем, а теперь высох мой голос и песни жизнь обрезала. Иду вот к чужой жене на побывку, без угла, без жилья, как волк буерачный…» — думал Григорий, шагая с равномерной усталостью, горько смеясь над своей диковинно сложившейся жизнью. Из хутора поднялся на косой бугор, оглянулся: в просвете окна последнего куреня желтел огонь висячей лампы, у окна за прялкой сидела пожилая казачка.

Сойдя с дороги, Григорий пошел по влажно хрупкой, скованной морозцем траве. Он решил переночевать на первом хуторе по Чиру, чтобы на следующий день засветло добраться до Ягодного. Уже за полночь пришел на хутор Грачев, в крайнем дворе заночевал и вышел, чуть только поредели лиловые утренние сумерки.

Ночью он был в Ягодном. Неслышно перепрыгнул через забор, шел мимо конюшни — оттуда звучал гулкий кашель деда Сашки. Григорий остановился, окликнул:

— Дед Сашка, спишь?

— Погоди, кто такое? Голос опознаю… Кто это?

Дед Сашка, накинув зипун, вышел во двор.

— Отцы-святители! Гришка! Откуда тя холера взяла? Вот так гость!

Они обнялись. Дед Сашка, снизу засматривая в глаза Григория, сказал:

— Зайди, покурим.

— Нет, завтра уж. Пойду.

— Зайди, тебе говорят.

Григорий нехотя повиновался. Он присел на дощатую кровать, ждал, пока дед Сашка откашляется.

— Ну, дидко, живешь? Землю топчешь?

— Топчу помаленечку. Я — как ружье кремневое, мне износу не будет.

— Аксинья?

— Что ж Аксинья… Аксинья слава богу.

Дед натужно закашлял. Григорий догадался, что кашель его притворен, скрывает смущение.

— Танюшку где похоронили?

— В саду под тополем.

— Так, рассказывай.

— Кашель меня, Гриша, замучил…

— Ну!

— Все живы-здоровы. Пан вот попивает… Пьет, глупый человек, без рассудку.

— Аксинья как?

— Аксинья? Она в горничных теперь.

— Я знаю.

— Ты бы покурить свернул? А? Закуривай, у меня табачок первый сорт.

— Не хочу. Да ты говори, а то уйду. Я чую, — Григорий тяжело повернулся, дощатая кровать под ним хряпнула, — чую, что ты, слово какое-то как камень за пазухой держишь. Бей, что ли.

— И вдарю!

— Бей.

— Вдарю. Силов я не набрал молчать, и мне, Гриша, молчать прискорбно.

— Рассказывай же, — попросил Григорий, с каменной тяжестью ласково опуская ладонь на дедово плечо. Сгорбившись, ждал.

— Змею ты грел! — вдруг резким фальцетом выкрикнул дед Сашка, нелепо топыря руки. — Гадюку прикормил! Она с Евгением свалялась! Каков голос? [27]

На подбородок деда по канальцу розового шрама сползла бусинка клейкой слюны. Дед смахнул ее, ладонь вытер о суровые холщовые подштанники.

— Верно говоришь?

— Сам видел. Кажну ночь к ней таскается. Иди, он, должно, и сейчас у ней.

— Ну что ж… — Григорий хрустнул мослаками пальцев и долго сидел, сгорбившись, выправляя мускул щеки, сведенный судорогой. В ушах его раздольными бубенцами разливались звоны.

— Баба — кошка: кто погладил — к тому и ластится. А ты не верь, веры не давай! — сказал дед Сашка.

Он свернул Григорию цигарку, зажег и сунул в руки.

— Покури.

Григорий два раза затянулся и затушил в пальцах цигарку. Вышел молча. У окна людской остановился, глубоко и часто дышал, несколько раз подымал руку постучать, но рука падала, как перебитая. Первый раз стукнул сдержанно, согнутым пальцем, потом, не владея собой, привалился к стене и бил кулаками в раму яростно, долго. Рама вопила дребезжащим звоном стекла, шаталась, в ней рябился синий ночной свет.

Мелькнуло удлиненное страхом лицо Аксиньи. Она открыла дверь и вскрикнула. Григорий обнимал ее здесь же в сенцах, заглядывая в глаза.

— Стучал ты как, а я уснула… Не ждала… Любимый мой!

— Озяб я.

Аксинья чувствовала, как в крупной дрожи сотрясается все большое тело Григория, а руки его пламенно горячи. Она проявляла чрезмерную суетливость, зажгла лампу, бегала по комнате, накинув на выхоленные матовые плечи пуховый платок, разводила на загнетке огонь.

— Не ждала… Давно не писал… Думала, не придешь ты… Ты получил от меня последнюю письмо? Хотела тебе гостинцев послать, а потом думаю, погожу, — может, от него письмо получу…

Она изредка взглядывала на Григория. На красных губах ее не таяла замерзшая улыбка.

Григорий сидел на лавке, не скидывая шинели. Небритые щеки его пылали, на опущенные глаза падала из-под башлыка густая тень. Он начал было развязывать башлык, но вдруг засуетился, достал кисет, искал в карманах бумагу. С необъятной тоской он бегло осмотрел лицо Аксиньи.

Она чертовски похорошела за время его отсутствия.

Что-то новое, властное появилось в посадке красивой головы, лишь пушистые крупные кольца волос были те же да глаза… Губительная, огневая ее красота не принадлежала ему. Еще бы, ведь она любовница панского сына.

— Ты… не похожа на горнишную, на экономку скорее.

Она метнула пугливый взгляд, принужденно засмеялась.

Волоча за собой сумку, Григорий пошел к двери.

— Ты куда?

— Покурить выйду.

— Яишня сжарилась, погоди.

— Я зараз.

На крыльце Григорий достал со дна солдатского подсумка бережно завернутый в клейменую чистую рубаху расписной платок. Его купил он в Житомире у торговца-еврея за два рубля и хранил как зеницу ока, вынимал на походе и любовался его переливчатой радугой цветов, предвкушал то восхищение, которое охватит Аксинью, когда он, вернувшись домой, развернет перед ней узорчатую ткань. Жалкий подарок! Григорию ли соперничать в подарках с сыном богатейшего в верховьях Дона помещика? Поборов подступившее сухое рыдание, Григорий разорвал платок на мелкие части, сунул под крыльцо. Сумку швырнул на лавку, вошел в комнату.

— Садись, я разую тебя, Гриша.

Белыми, отвыкшими от работы руками Аксинья стащила с Григория тяжелые солдатские сапоги и, припав к его коленям, долго беззвучно рыдала. Григорий дал ей выплакаться, спросил?

— Чего ж ты кричишь? Аль не рада мне?

Уснул он скоро.

Аксинья раздетая вышла на крыльцо и под холодным пронизывающим ветром, под похоронный вой сиверки простояла на крыльце, обняв мокрый столб, не меняя положения до рассвета.

Утром Григорий надел шинель, пошел в дом. Старый пан стоял у крыльца, одетый в меховую куртку и пожелтевшую каракулевую папаху.

— Вот он, георгиевский кавалер. Однако ты возмужа-а-ал, брат!

Он козырнул Григорию и протянул руку.

— Надолго прибыл?

— На две недели, ваше превосходительство.

— Дочь-то похоронили. Жаль, жаль…

Григорий промолчал. На крыльцо, натягивая перчатки, выходил Евгений.

— Григорий? Ты откуда?

У Григория темнело в глазах, но он улыбался.

— Из Москвы, в отпуск…

— Вот как. У тебя ранение в глаз?

— Так точно.

— Я слышал. Каким он молодцом стал, а, папа? — Сотник кивнул головой на Григория, повернулся лицом к конюшне. — Никитич, лошадей!

Степенный Никитич кончил запряжку и, неприязненно косясь на Григория, подвел к крыльцу старого серого рысака. Под колесами легонькой пролетки хрупко шуршала, сдавливаясь, сшитая ледком земля.

— Ваше благородие, дозвольте вас прокатить по старой памяти? — обратился Григорий к Евгению, заискивающе улыбаясь.

«Не догадывается, бедняк», — удовлетворенно улыбнулся тот и блеснул из-под пенсне глазами.

— Что ж, сделай милость, поедем.

— Ты что же это, не успел приехать и бросаешь молодую жену? Не соскучился разве? — Старый пан милостиво улыбнулся.

Григорий засмеялся.

— Жена не медведь, в лес не уйдет.

Он сел на козлы; подоткнув под сиденье кнут, расправил вожжи.

— Эх, и прокачу ж я вас, Евгений Николаевич!

— Прокати, на чай получишь.

— Премного вами довольны. И так спасибо, что Аксинью мою… кормите… кусок ей… даете.

Голос Григория рвался, и у сотника шевельнулось нехорошее подозрение. «Неужели знает? Ну, глупости! Откуда! Не может быть!..» Он откинулся на спинку сиденья, закурил папиросу.

— Возвращайтесь поскорей! — крикнул вслед им старый пан.

Из-под колес рванулась иглистая морозная пыль.

Григорий рвал вожжами губы рысаку и довел бег его до предельной резвости. Они за четверть часа перевалили через бугор. В первой же ложбинке Григорий соскочил с козел и выдернул из-под сиденья кнут.

— Ты что?.. — Сотник нахмурился.

— А вот… что!

Григорий коротко взмахнул кнутом, со страшной силой ударил сотника по лицу. Перехватив кнут, он бил кнутовищем по лицу, по рукам, не давая сотнику опомниться. Осколок разбитого пенсне врезался тому выше брови. На глаза падали кровяные струйки. Сотник вначале закрывал лицо руками, но удары учащались. Он вскочил с лицом, обезображенным подтеками и яростью, пробовал защищаться, но Григорий, отступая, ударом в кисть парализовал ему правую руку.

— За Аксинью! За меня! За Аксинью! Ишо тебе за Аксинью! За меня!

Кнут свистал. Мягко шлепали удары. Потом кулаками свалил на жесткий кочкарник дороги и катал по земле, бил зверски, окованными каблуками солдатских сапог. Обессилев, сел в пролетку, гикнул и, губя рысачьи силы, перевел коня на намет. Пролетку бросил около ворот, комкая кнут, путаясь в полах распахнутой шинели, бежал в людскую.

Аксинья на гром откинутой двери оглянулась.

— Гадина!.. Сука!..

Взвизгнув, кнут плотно обвил ее лицо.

Задыхаясь, Григорий выбежал во двор; не отвечая на вопросы деда Сашки, пошел из имения. Версты через полторы его догнала Аксинья.

Она бурно дышала и шла рядом молча, изредка трогая рукой Григория.

На развилке дорог, возле бурой степной часовни, сказала чужим, далеким голосом:

— Гриша, прости!

Григорий оскалил зубы, горбясь, поднял воротник шинели.

Где-то позади у часовни осталась Аксинья. Григорий не оглянулся ни разу, не видел протянутых к нему Аксиньиных рук.

На спуске с горы в хутор Татарский он, недоумевая, увидел в руках своих кнут, бросил его, крупно зашагал по проулку. К окошкам липли лица, изумленные его появлением, низко кланялись узнававшие его встречные бабы.

У ворот своего база сухощавая черноглазая красавица девка с разбегу с визгом кинулась ему на шею, забилась на груди. Стиснув ладонями ее щеки, Григорий приподнял ей голову и узнал Дуняшку.

С крыльца хромал Пантелей Прокофьевич, в курене в голос заплакала мать. Григорий левой рукой обнимал отца, правую целовала Дуняшка.

Знакомый до боли скрип порожков — и Григорий на крыльце. Постаревшая мать подбежала с живостью девочки, вымочила слезами петлицы шинели и, неотрывно обнимая сына, лепетала что-то свое, несвязное, не передаваемое словами, а в сенцах — цепляясь за дверь, чтобы не упасть, стояла побледневшая Наталья, мучительно улыбаясь, падала, срезанная беглым растерянным взглядом Григория…

Ночью Пантелей Прокофьевич, толкая в бок Ильиничну, шептал:

— Глянь потихоньку: вместе легли али нет?

— Я постелила им на кровати.

— А ты глянь, глянь!

Ильинична глянула сквозь дверную щель в горницу, вернулась.

— Вместе.

— Ну, слава богу! Слава богу! — закрестился старик, приподнимаясь на локте, всхлипывая.

* КНИГА ВТОРАЯ *

* ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ *

I

Тысяча девятьсот шестнадцатый год. Октябрь. Ночь. Дождь и ветер. Полесье. Окопы над болотом, поросшим ольхой. Впереди проволочные заграждения. В окопах холодная слякоть. Меркло блестит мокрый щит наблюдателя. В землянках редкие огни. У входа в одну из офицерских землянок на минуту задержался приземистый офицер; скользя мокрыми пальцами по застежкам, он торопливо расстегнул шинель, стряхнул с воротника воду, наскоро вытер сапоги о втоптанный в грязь пучок соломы и только тогда толкнул дверь и, пригибаясь, вошел в землянку.

Желтый стяг света, падавшего от маленькой керосиновой лампы, маслено блеснул в лицо пошедшему. С дощатой кровати приподнялся офицер в распахнутой тужурке, провел рукою по всклокоченным седеющим волосам, зевнул:

— Дождь?

— Идет, — ответил гость и, раздевшись, повесил на гвоздь у входа шинель и обмякшую от влаги фуражку. — У вас тепло. Надышали.

— Мы недавно протопили. Скверно то, что выступает подпочвенная вода. Дождь, черти б его нюхали, выживает нас… а? Как вы думаете. Бунчук?

Потирая руки, Бунчук сгорбился, сел около печурки на корточки:

— Настил положите. В нашей землянке — красота: босым можно ходить. Где же Листницкий?

— Спит.

— Давно?

— Вернулся с обхода и лег.

— Будить пора?

— Валяйте. В шахматы поиграем.

Бунчук указательным пальцем смахнул с широких и густых бровей дождевую сырость, — не поднимая головы, тихонько окликнул:

— Евгений Николаевич!

— Спит, — вздохнул седоватый офицер.

— Евгений Николаевич!

— Ну? — Листницкий приподнялся на локте.

— В шахматы сыграем?

Листницкий свесил ноги, долго растирал розовой мягкой подушечкой ладони пухлую грудь.

К концу первой партии пришли офицеры пятой сотни — есаул Калмыков и сотник Чубов.

— Новость! — еще с порога крикнул Калмыков, — Полк, по всей вероятности, снимут.

— Откуда это? — недоверчиво улыбнулся седоватый подъесаул Меркулов.

— Не веришь, дядя Петя?

— Признаться, нет.

— По телефону передал командир батареи. Откуда он знает? Как же, ведь он вчера только из штаба дивизии.

— В баньке попариться не плохо бы.

Чубов, блаженно улыбаясь, сделал вид, будто хлещет себя по ягодицам веником. Меркулов засмеялся:

— В нашей землянке остается котел лишь поставить: воды хоть отбавляй.

— Мокро, мокро, хозяева, — брюзжал Калмыков, оглядывая бревенчатые стены и хлюпкий земляной пол.

— Болото под боком.

— Благодарите всевышнего, что сидите у болота, как у Христа за пазухой, — вмешался в разговор Бунчук. — На чистом наступают, а мы тут за неделю по обойме расстреливаем.

— Лучше наступать, чем гнить здесь заживо.

— Не для того держат казаков, дядя Петя, чтобы уничтожать их в атаках. Ты лицемерно наивничаешь.

— Для чего же, по-твоему?

— Правительство в нужный момент попытается, по старой привычке, опереться на плечо казака.

— Ересь несешь. — Калмыков махнул рукой.

— Как это — ересь?

— А так.

— Оставь, Калмыков! Истину нечего опровергать.

— Какая уж там истина…

— Да ведь это же общеизвестно. Что ты притворяешься?

— Внимание, гас-па-да афицеры! — крикнул Чубов и, театрально раскланиваясь, указал на Бунчука: — Хорунжий Бунчук сейчас начнет вещать по социал-демократическому соннику.

— Петрушку валяете? — ломая глазами взгляд Чубова, усмехнулся Бунчук. — А впрочем, продолжайте — у всякого свое призванье. Я говорю, что мы не видим войны со средины прошлого года. С той поры, как только началась позиционная война, казачьи полки порассовали по укромным местам и держат под спудом до поры до времени.

— А потом? — спросил Листницкий, убирая шахматы.

— А потом, когда на фронте начнутся волнения, — а это неизбежно: война начинает солдатам надоедать, о чем свидетельствует увеличение числа дезертиров, — тогда подавлять мятежи, усмирять кинут казаков. Правительство держит казачье войско, как камень на палке. В нужный момент этим камнем оно попытается проломить череп революции.

— Увлекаешься, милейший мой! Предположения твои довольно-таки шатки. Прежде всего, нельзя предрешить ход событий. Откуда ты знаешь о будущих волнениях и прочем? А если мы предположим такую вещь: союзники разбивают немцев, война завершается блистательным концом, — тогда какую роль ты отводишь казачеству? — возразил Листницкий.

Бунчук скупо улыбнулся.

— Что-то не похоже на конец, а тем более блистательный.

— Кампанию затянули…

— И еще туже затянут, — пообещал Бунчук.

— Ты когда из отпуска? — спросил Калмыков.

— Позавчера.

Бунчук, округляя рот, вытолкнул языком клубочек дыма, бросил окурок.

— Где побывал?

— В Петрограде.

— Ну, каково там? Гремит столица? Э, черт, чего бы не дал, чтобы пожить там хоть недельку.

— Отрадного мало, — взвешивая слова, заговорил Бунчук. — Не хватает хлеба. В рабочих районах голод, недовольство, глухой протест.

— Благополучно мы не вылезем из этой войны. Как вы думаете, господа? — Меркулов вопрошающе оглядел всех.

— Русско-японская война породила революцию тысяча девятьсот пятого года, — эта война завершится новой революцией. И не только революцией, но и гражданской войной.

Листницкий, слушая Бунчука, сделал неопределенный жест, словно пытаясь прервать хорунжего на полуфразе, потом встал и зашагал по землянке, хмурясь. Он заговорил со сдержанной злобой:

— Меня удивляет то обстоятельство, что в среде нашего офицерства есть такие вот, — жест в сторону ссутулившегося Бунчука, — субъекты. Удивляет — потому, что до сих пор мне не ясно его отношения к родине, к войне… Однажды в разговоре он выразился очень туманно, но все же достаточно ясно для того, чтобы понять, что он стоит за наше поражение в этой войне. Так я тебя понял. Бунчук?

— Я — за поражение.

— Но почему? По-моему, каких бы ты ни был политических взглядов, но желать поражения своей родине — это… национальная измена. Это — бесчестье для всякого порядочного человека!

— Помните, думская фракция большевиков агитировала против правительства, тем самым содействуя поражению? — вмешался Меркулов.

— Ты разделяешь, Бунчук, их точку зрения? — задал вопрос Листницкий.

— Если я высказываюсь за поражение, то, следовательно, разделяю, и было бы смешно мне, члену РСДРП, большевику, не разделять точки зрения своей партийной фракции. Гораздо больше меня удивляет, Евгений Николаевич, что ты, человек интеллигентный, политически безграмотен…

— Я прежде всего преданный монарху солдат. Меня коробит один вид «товарищей социалистов».

«Ты прежде всего болван, а потом уж самодовольный солдафон», — подумал Бунчук и загасил улыбку.

— Нет бога, кроме аллаха…

— В военной среде была исключительная обстановка, — словно извиняясь, вставил Меркулов, — мы все как-то в стороне стояли от политики, наша хата с краю.

Есаул Калмыков сидел, обминая вислые усы, остро поблескивая горячими монгольскими глазами. Чубов лежал на кровати и, вслушиваясь в голоса разговаривающих, рассматривал прибитый к стене, пожелтевший от табачного дыма рисунок Меркулова: полуголая женщина, с лицом Магдалины, томительно и порочно улыбаясь, смотрит на свою обнаженную грудь. Двумя пальцами левой руки она оттягивает коричневый сосок, мизинец настороженно отставлен, под опущенными веками тень и теплый свет зрачков. Чуть вздернутое плечо ее удерживает сползающую рубашку, во впадинах ключиц — мягкий пух света. Столько непринужденного изящества и подлинной правды было в позе женщины, так непередаваемо красочны были тусклые тона, что Чубов, непроизвольно улыбаясь, залюбовался мастерским рисунком, и разговор, достигая слуха, уже не проникал в его сознание.

— Вот хорошо-то! — отрываясь от рисунка, воскликнул он, и очень некстати, потому что Бунчук только что кончил фразой:

— …царизм будет уничтожен, можете быть уверены!

Сворачивая папиросу, едва улыбаясь, Листницкий посматривал то на Бунчука, то на Чубова.

— Бунчук! — окликнул Калмыков. — Подождите, Листницкий!.. Бунчук, слышите?.. Ну хорошо, допустим что эта война превратится в гражданскую войну… потом что? Ну свергнете вы монархию… какое же, по-вашему, должно быть правление? Власть-то какая?

— Власть пролетариата.

— Парламент, что ли?

— Мелко! — улыбнулся Бунчук.

— Что же именно?

— Должна быть рабочая диктатура.

— Вон ка-ак!.. А интеллигенции, крестьянству какая же роль?

— Крестьянство пойдет за нами, часть мыслящей интеллигенции тоже, а остальных… а с остальными мы вот что сделаем… — Бунчук быстрым жестом скрутил в тугой жгут какую-то бумагу, бывшую у него в руках, потряс ею, процедил сквозь зубы: — Вот что сделаем!

— Высоко вы летаете… — усмехнулся Листницкий.

— Высоко и сядем, — докончил Бунчук.

— Соломки надо заранее постелить…

— За каким же чертом вы добровольно отправились на фронт и даже выслужились до офицерского чина? Как это совместить с вашими воззрениями? Уди-витель-но! Человек против войны… хе-хе… против уничтожения своих этих… классовых братьев — и вдруг… хорунжий!

Калмыков, шлепнув ладонями по голенищам сапог, искренне расхохотался.

— Сколько вы немецких рабочих извели со своей пулеметной командой? — спросил Листницкий.

Бунчук вынул из бокового кармана шинели большой сверток бумаг, долго рылся в нем, стоя спиной к Листницкому, и, подойдя к столу, разгладил широкой жилистой ладонью пожелтевший от старости газетный лист.

— Сколько немецких рабочих я перестрелял, — это… вопрос. Ушел-то я добровольно потому, что все равно и так взяли бы. Думаю, что те знания, которые достал тут, в окопах, пригодятся в будущем… в будущем. Вот тут сказано… И он прочел слова Ленина:

— «Возьмем современное войско. Вот — один из хороших образчиков организации. И хороша эта организация только потому, что она — *гибка*, умея вместе с тем миллионам людей давать *единую волю*. Сегодня эти миллионы сидят у себя по домам, в разных концах страны. Завтра приказ о мобилизации — и они собрались в назначенные пункты. Сегодня они лежат в траншеях, лежат иногда месяцами. Завтра они в другом порядке идут на штурм. Сегодня они проявляют чудеса, прячась от пуль и от шрапнели. Завтра они проявляют чудеса в открытом бою. Сегодня их передовые отряды кладут мины под землей, завтра они передвигаются на десятки верст по указаниям летчиков над землей. Вот это называется организацией, когда во имя одной цели, одушевленные одной волей, миллионы людей меняют форму своего общения и своего действия, меняют место и приемы деятельности, меняют орудия и оружия сообразно изменяющимся обстоятельствам и запросам борьбы.

То же самое относится к борьбе рабочего класса против буржуазии. Сегодня нет налицо революционной ситуации…»

— А что такое «ситуация»? — перебил Чубов.

Бунчук пошевелился, как только что оторванный от сна, и, пытаясь понять вопрос, тер суставом большого пальца шишкастый лоб.

— Я спрашиваю, что значит слово «ситуация»?

— Понимать — я понимаю, а вот объяснить дельно не умею… — Бунчук улыбнулся ясной, простой, ребяческой улыбкой; странно было видеть ее на крупном угрюмом лице,

будто по осеннему, тоскливому от дождей полю прожег, взбрыкивая и играя, светло-серый сосунок-зайчишка. — Ситуация — это положение, обстановка, что ли, — в этом роде. Так я говорю?

Листницкий неопределенно мотнул головой:

— Читай дальше.

— «Сегодня нет налицо революционной ситуации, нет условий для брожения в массах, для повышения их активности, сегодня тебе дают в руки избирательный бюллетень — бери его, умей организоваться для того, чтобы бить им своих врагов, а не для того, чтобы проводить в парламент на теплые местечки людей, цепляющихся за кресло из боязни тюрьмы. Завтра у тебя отняли избирательный бюллетень, тебе дали в руки ружье и великолепную, по последнему слову машинной техники оборудованную скорострельную пушку, — бери эти орудия смерти и разрушения, не слушай сентиментальных нытиков, боящихся войны; на свете еще слишком много осталось такого, что *должно* быть уничтожено огнем и железом для освобождения рабочего класса, и, если в массах нарастает злоба и отчаяние, если налицо революционная ситуация, готовься создать новые организации и пустить *в ход* столь полезные орудия смерти и разрушения *против своего* правительства и *своей* буржуазии…»

Бунчук еще не кончил читать, как в землянку, постучавшись, вошел вахмистр пятой сотни.

— Ваш благородье, — обратился он к Калмыкову, — из штаба полка ординарец.

Калмыков и Чубов, одевшись, ушли. Меркулов, насвистывая, сел рисовать. Листницкий все так же ходил по землянке, пощипывая усики, что-то обдумывая. Вскоре, распрощавшись, ушел и Бунчук. Он пробирался по залитому грязью ходу сообщения, придерживая левой рукой воротник, правой запахивая полы шинели. Ветер струею бил по узкому канальцу хода; цепляясь за уступы, свистал и кружился. Чему-то смутно улыбался шагавший в темноте Бунчук. Он добрался до своей землянки, вновь весь пропитанный дождевой сыростью и запахом изопревшей ольховой листвы. Начальник пулеметной команды спал. На смуглом черноусом лице его синели следы, оставленные бессонницей (три ночи резался в карты). Бунчук порылся в своем оставшемся от прежних времен солдатском мешке, возле дверей сжег кучку бумаг, сунул в карманы шаровар две банки консервов и несколько горстей револьверных патронов, вышел. В распахнутую на секунду дверь ворвался ветер, разметал серый пепел, оставшийся от сожженных у порога бумаг, потушил чадившую лампочку.

После ухода Бунчука Листницкий минут пять ходил молча, потом подошел к столу. Меркулов, косо наклонив голову, рисовал. Тонко очиненный карандаш стлал дымчатые тени. Лицо Бунчука, перерезанное обычной для него скупой, словно вынужденной, улыбкой смотрело с белого квадрата бумаги.

— Сильная морда, — отводя руки с рисунком, сказал Меркулов и поднял на Листницкого глаза.

— Ну, как? — спросил тот.

— Черт его знает! — догадываясь о существе вопроса, ответил Меркулов. — Парень он странный, теперь объяснился, и многое стало ясным, а раньше я не знал, как его расшифровать. Знаешь, ведь он огромным успехом пользуется у казаков, в особенности у пулеметчиков. Ты не замечал этого?

— Да, — как-то неопределенно ответил Листницкий.

— Пулеметчики — все поголовно большевики. Он их сумел настроить. Я поразился, что он раскрыл нынче свои карты. Для чего? Назло говорил, ей-богу! Знает, что взглядов этих из нас никто не может разделять, а для чего-то разоткровенничался. Ведь он не из горячих. Опасный тип.

Рассуждая о странном поведении Бунчука, Меркулов отложил рисунок, стал раздеваться. Сырые чулки повесил на печурку, завел часы и, выкурив папироску, лег. Вскоре уснул. Листницкий сел на табурет, на котором за четверть часа до этого сидел Меркулов, на обратной стороне рисунка, ломая остро очиненное жало карандаша, размашисто написал:

«Ваше Высокоблагородие!

Те предположения, которые сообщал я Вам ранее, сегодня полностью подтвердились. Хорунжий Бунчук в сегодняшней беседе с офицерами нашего полка (присутствовали, помимо меня, пятой сотни есаул Калмыков, сотник Чубов, третьей сотни подъесаул Меркулов), с целями, которые, признаюсь, мне не совсем понятны, разъяснил те задачи, которые выполняет он, согласно своим политическим убеждениям и, наверное, по заданию партийной власти. При нем был сверток бумаг запретного характера. Так, например, он читал отрывки из своего партийного органа «Коммунист», издающегося в Женеве. Хорунжий Бунчук, несомненно, ведет подпольную работу в нашем полку (есть предположения, что поэтому он и поступил в полк вольноопределяющимся), пулеметчики были прямым объектом его агитации. Они разложены. Вредное влияние его сказывается на моральном состоянии полка — были случаи отказа от выполнения боевых задач, о чем я своевременно уведомлял ООШД [28] и т. д.

Хорунжий Бунчук на днях возвратился из отпуска (был в Петрограде), в изобилии снабженный разрушительной литературой; теперь он с большей интенсивностью попытается развернуть работу.

Резюмируя все вышеизложенное, прихожу к выводам: а) виновность хорунжего Бунчука установлена (гг. офицеры, присутствовавшие при разговоре с ним, могут под присягой подтвердить сообщаемое мною); б) теперь же необходимо, в целях пресечения его революционной деятельности, арестовать его и предать военно-полевому суду; в) срочно надо перетрясти пулеметную команду, изъять особо опасных, а остальных или отправить в тыл, или распылить по полкам.

Прошу не забывать о моем искреннем стремлении служить на пользу родине и Монарху. Копию данного письма направляю С.Т.Корп.

Есаул Евг. Листницкий.

20 октября 1916 г.

участок N 7».

Наутро Листницкий отправил с вестовым в штаб дивизии донесение, позавтракал, вышел из землянки. За осклизлой стеной бруствера над болотом качался туман, хлопья его висели, словно пригвожденные к колючкам проволочных заграждений. На дне траншей на полвершка стояла жидкая грязь. Из бойниц выползали коричневые ручейки. Казаки, в мокрых, измазанных шинелях, кипятили на щитах котелки с чаем, курили, сидя на корточках, прислонив к стене винтовки.

— Сколько раз говорено, чтобы на щитах не смели разводить огня! Что вы, сволочи, не понимаете? — злобно крикнул Листницкий, доходя до первой группы сидевших вокруг дымного огонька казаков.

Двое нехотя встали, остальные продолжали сидеть, подобрав полы шинели, покуривая. Смуглый бородатый казак, с серебряной серьгой, болтавшейся в морщеной мочке уха, ответил, подсовывая под котелок пучок мелкого хвороста:

— Душой рады бы без щита обойтиться, да как его, ваше благородие, разведешь, огонек-то? Гля, сколь тут воды! Чуть не на четверть.

— Сейчас же вынь щит!

— Что же нам, значится, голодными сидеть?! Та-а-ак… — хмурясь и глядя в сторону, сказал широколицый рябой казак.

— Я тебе поговорю… Снимай щит! — Листницкий носком сапога выбросил из-под котелка горевший хворост.

Бородатый казак с серьгой, смущенно и озлобленно улыбаясь, выплеснул из котелка горячую воду, шепнул:

— Попили чайку, ребяты…

Казаки молча провожали глазами уходившего по линии есаула. Во влажном взгляде бородатого дрожали огненные светлячки.

— Обидел, сука!

— Э-э-эх!.. — протяжно вздохнул один, вскидывая на плечо ремень винтовки.

На участке четвертого взвода Листницкого догнал Меркулов. Он подошел, запыхавшись, поскрипывая новенькой кожаной тужуркой, от него резко пахло махорочным перегаром. Отозвав Листницкого в сторону, дыхнул скороговоркой:

— Слышал новость? Бунчук-то этой ночью дезертировал.

— Бунчук? Что-о-о?

— Дезертировал… Понимаешь? Игнатьич, начальник пулеметной команды, — ведь он в одной землянке с Бунчуком, — говорит, что он не приходил от нас. Значит, как вышел от нас, так и махнул… Вот оно что.

Листницкий долго протирал пенсне, щурился.

— Ты как будто взволнован? — Меркулов испытующе посмотрел на него.

— Я? Ты что, в уме? Отчего бы это я был взволнован? Просто ты огорошил меня неожиданностью.

II

На другой день утром смущенный вахмистр вошел в землянку Листницкого; помявшись, сообщил:

— Нынче утром казаки, ваше благородие, нашли в окопах вот эти бумажонки. Неловко так-то… Я вот и пришел доложить вам. А то как бы какого греха не нажить…

— Какие бумажонки? — приподнимаясь с койки, спросил Листницкий.

Вахмистр подал скомканные в кулаке листки. На четвертке дешевой бумаги четко рябили размноженные пишущей машинкой слова. Листницкий прочитал залпом:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Товарищи солдаты!

Два года длится проклятая война. Два года вы изнываете в траншеях, защищая чуждые вам интересы. Два года льется кровь рабочих и крестьян всех наций. Сотни тысяч убитых и искалеченных, сотни тысяч сирот и вдов — вот результаты этой бойни. За что вы воюете? Чьи интересы вы защищаете? Царское правительство поставило под огонь миллионы солдат, для того чтобы захватить новые земли и угнетать население этих земель так, как угнетаются порабощенные Польша и другие национальности. Мировые промышленники не поделят рынки, где они могли бы сбывать продукцию своих фабрик и заводов; не поделят барыши — раздел производится вооруженной силой, — и вы, темные люди, в борьбе за их интересы идете на смерть, убиваете таких же тружеников, как и вы сами.

Довольно пролито братской крови! Опомнитесь, трудящиеся! Враг ваш не австрийский и немецкий солдат, такой же обманутый, как и вы, а собственный царь, собственный промышленник и помещик. Против них поверните ваши винтовки. Братайтесь с немецкими и австрийскими солдатами. Через проволочные заграждения, которыми, как зверей, отделили

вас друг от друга, протяните друг другу руки. Вы братья по труду, на руках ваших еще не зажили следы кровавых мозолей труда, делить вам нечего. Долой самодержавие! Долой империалистическую войну! Да здравствует нерушимое единство трудящихся всего мира!

Последние строки Листницкий прочитал задыхаясь. «Вот оно. Начинается!» — подумал он, охваченный ненавистью и сдавленной тяжестью надвинувшихся предчувствий. Созвонившись по телефону с командиром полка, Листницкий сообщил о случившемся.

— Что прикажете сделать, ваше превосходительство? — спросил под конец.

Сквозь комариное нытье и далекие звонки телефона из трубки сгустками падали слова генерала:

— Сейчас же с вахмистром и взводными офицерами произвести обыск. Поголовный, не исключая и самих офицеров. Сегодня запрошу штаб дивизии, когда они думают сменить полк. Потороплю их. Если при обыске что-либо обнаружите — сообщите немедленно.

— Я полагаю, что это — работа пулеметчиков.

— Да? Сейчас же прикажу Игнатьичу обыскать своих казаков. Всего доброго.

«Собрав в свою землянку взводных офицеров, Листницкий сообщил им о приказе командира полка.

— Что за безобразие! — возмутился Меркулов. — Что же, мы друг друга будем обыскивать?

— Вас первого, Листницкий! — крикнул молодой безусый сотник Раздорцев.

— Давайте жребий метнем.

— По алфавиту.

— Господа, шутки в сторону, — строго перебил Листницкий. — Старик наш, конечно, пересолил: офицеры в нашем полку — как жена Цезаря [29]. Был один лишь — хорунжий Бунчук, да и тот дезертировал, а вот казаков надо пощупать. Позовите вахмистра.

Пришел вахмистр — немолодой уже казак, георгиевский кавалер трех степеней. Покашливая, он оглядел офицеров.

— Кто у тебя в сотне из подозрительных? Кто, думаешь, мог бы разбросать эти воззвания? — обратился к нему Листницкий.

— Нету таких, ваш бла'родие, — уверенно ответил вахмистр.

— Однако ведь воззвание на участке нашей сотни? Кто из чужих был в траншеях?

— Никого чужих не было. Из иных сотен не было.

— Пойдемте стричь всех подряд. — Меркулов махнул рукой, направляясь к выходу.

Обыск начался. Лица казаков выражали разнородные чувства: одни хмурились, недоумевая, другие испуганно поглядывали на офицеров, рывшихся в скудных казачьих пожитках, третьи посмеивались. Молодцеватый урядник, разведчик, спросил:

— Да вы скажите, что ищете? Ежели покража какая — может, кто у кого видал.

Обыск не дал никаких результатов. У одного лишь казака первого взвода нашли в кармане шинели скомканный листок воззвания.

— Читал? — спросил Меркулов, с комическим испугом бросая вынутый листок.

— На курево поднял, — не поднимая опущенных глаз, улыбнулся казак.

— Ты чему улыбаешься? — запальчиво крикнул Листницкий, багровея, подступая к казаку; под пенсне его нервно помигивали короткие золотистые ресницы.

Лицо казака сразу стало серьезным, улыбку — как ветер стряхнул.

— Помилуйте, ваше благородие! Да я почти что неграмотный! Читаю вовсе тупо. А поднял затем, что бумаги на завертку нету, табак есть, а бумажка вышла, вот и поднял.

Казак говорил обиженно-громким голосом, в нотках его звучало озлобление.

Плюнув, Листницкий отошел. За ним потянулись офицеры.

Через день полк сняли с позиции и отвели в тыл верст за десять. Из пулеметной команды двоих арестовали и предали военно-полевому суду, остальных — часть отправили в запасные полки, часть разбросали по полкам 2-й казачьей дивизии. За несколько дней отдыха полк привел себя в относительный порядок. Казаки вымылись, вычистились, побрились тщательно — не так, как в окопах, где зачастую освобождались от растительности на щеках простым, но болезненным способом: волосы поджигались спичкой, и едва лишь огонь, слизывая щетину, добирался до кожи, — по щеке проводили заранее смоченным полотенцем. Способ этот именовался «свинячим».

— Тебя по-свинячьи обрить али как? — спрашивал какой-нибудь взводный парикмахер у клиента.

Полк отдыхал. Казаки наружно стали щеголеватей, веселей, но Листницкий, да и все офицеры знали, что веселость эта — как погожий день в ноябре: нынче есть, а завтра нет. Стоило заикнуться о выступлении на позиции, как сразу менялось выражение лиц и под опущенными веками растекались недовольство, угрюмая неприязнь. Чувствовалась смертельная усталость, надорванность, и усталость-то эта рождала моральную неустойчивость. Листницкий великолепно знал, как страшен бывает человек, когда в таком состоянии рвется к какой-либо цели.

В 1915 году на его глазах рота солдат пять раз ходила в атаку, неся небывалый урон и получая повторные приказы: «Атаку возобновить». Остатки роты самовольно снялись со своего участка и пошли в тыл. Листницкий с сотней получил приказ задержать их, и, когда он, рассыпав сотню цепью, попытался прекратить движение, в них начали стрелять. От роты осталось не больше шестидесяти человек, и он видел, с какой безумно-отчаянной храбростью защищались эти люди от казаков, никли под сабельными ударами, умирали, а лезли напролом, на гибель, уничтожение, решив, что все равно, где принимать смерть.

Грозным напоминанием вставал в памяти этот случай, и Листницкий с волнением и по-новому всматривался в лица казаков, думал: «Неужели и эти когда-нибудь вот так же повернут и пойдут, и ничто, кроме смерти, не в силах будет их удержать?» И, сталкиваясь с усталыми, озлобленными взглядами, честно решал: «Пойдут!»

Коренным образом изменились казаки по сравнению с прошлыми годами. Даже песни — и те были новые, рожденные войной, окрашенные черной безотрадностью. Вечерами, проходя мимо просторного заводского сарая, где селилась сотня, Листницкий чаще всего слышал одну песню, тоскливую, несказанно грустную. Пели ее всегда в три-четыре голоса. Над густыми басами, взлетывая, трепетал редкой чистоты и силы тенор подголоска:

Ой, да разродимая моя сторонка,
Не увижу больше я тебя.
Не увижу, голос не услышу
На утренней зорьке в саду соловья.
А ты, разродимая моя мамаша,
Не печалься дюже обо мне.
Ведь не все же, моя дорогая,
Умирают на войне.

Листницкий, останавливаясь, прислушивался и чувствовал, что и его властно трогает бесхитростная грусть песни. Какая-то тугая струна натягивалась в учащающем удары сердце, низкий тембр подголоска дергал эту струну, заставлял ее больно дрожать. Листницкий стоял где-нибудь неподалеку от сарая, вглядывался в осеннюю хмарь вечера и ощущал, что глаза его увлажняются слезой, остро и сладко режет веки:

Еду, еду по чистому полю,

Сердце чувствует во мне,
Ой, да сердце чует, оно предвещает —
Не вернуться молодцу домой.

Басы еще не обрывали последних слов, и подголосок уже взметывался над ними, и звуки, трепеща, как крылья белогрудого стрепета в полете, торопясь, звали за собой, рассказывали:

Просвистела пуля свинцовая,
Поразила грудь она мою.
Я упал коню своему на шею,
Ему гриву черну кровью обливал…

За время стоянки на отдыхе единственный раз услышал Листницкий подмывающие, бодрящие слова старинной казачьей песни. Совершая обычную вечернюю прогулку, он шел мимо сарая. До него донеслись полухмельные голоса и хохот. Листницкий догадался, что каптенармус, ездивший в местечко Незвиску за продуктами, привез оттуда самогонки и угостил казаков. Подвыпившие житной водки казаки о чем-то спорили, смеялись. Возвращаясь с прогулки, Листницкий еще издали услышал мощные раскаты песни и дикий, пронзительный, но складный присвист:

На войне кто не бывал,
Тот и страху не видал.
День мы мокнем, ночь дрожим,
Всею ноченьку не спим.

«Фи-ю-ю-ю-ю-ю-ю! Фи-ю-ю-ю-ю-ю-ю! Фю-ю-ю!» — сплошной вибрирушей струей тек, спирально вился высвист, и, покрывая его, гремело, самое малое, голосов тридцать:

В чистом поле страх и горе
Каждый день, каждый час.

Какой-то озорник, видно из молодых, оглушительно и коротко высвистывая, бил по деревянному настилу пола вприсядку. Четко раздавались удары каблуков, заглушаемые песней:

Море Черное шумит,
В кораблях огонь горит.
Огонь тушим,
Турок душим,
Слава донским казакам!

Листницкий шел, непроизвольно улыбаясь, норовя шагать в такт голосам. «Быть может, в пехотных частях не так резко ощущается эта тяга домой, — думал он. Но рассудок подсовывал холодные возражения: — А в пехоте разве иные люди? Несомненно, казаки болезненней реагируют на вынужденное сидение в окопах — по роду службы привыкли к постоянному движению. А тут в течение двух лет приходится отсиживаться или топтаться на месте в бесплодных попытках наступления. Армия слаба, как никогда. Нужны сильная рука, крупный успех, движение вперед — это встряхнуло бы. Хотя история знает такие примеры, когда в эпоху затяжных войн самые устойчивые и дисциплинированные войска расшатывались морально. Суворов — и тот испытал на себе… Но казаки будут держаться. Если и уйдут, то последними. Все же это — маленькая обособленная нация, по традиции воинственная, а не то что какой-либо фабричный или мужицкий сброд».

Словно желая разубедить его, в сарае чей-то надтреснутый ломкий голос затянул «Калинушку». Голоса подхватили, и Листницкий, уходя, слышал все ту же тоску, перелитую в песнь:

Офицер молодой богу молится.

Молодой казак домой просится:
— Ой, да офицер молодой,
Отпусти меня домой,
Отпусти меня домой
К отцу.
К отцу, матери родной,
К отцу, Матери родной
Да к жененке молодой.

Через три дня, после того как бежал с фронта, вечером Бунчук вошел в большое торговое местечко, лежавшее в прифронтовой полосе. В домах уже зажгли огни. Морозец затянул лужи тонкой коркой льда, и шаги редких прохожих слышались еще издали. Бунчук шел, чутко вслушиваясь, обходя освещенные улицы, пробираясь по безлюдным проулкам. При входе в местечко он едва не наткнулся на патруль и теперь шел с волчьей торопкостью, прижимаясь к заборам, не вынимая правой руки из кармана невероятно измазанной шинели: день лежал, зарывшись в стодоле в мякину.

В местечке находилась база корпуса, стояли какие-то части, была опасность нарваться на патруль, поэтому-то волосатые пальцы Бунчука и грели неотрывно рубчатую рукоять нагана в кармане шинели.

На противоположном краю местечка Бунчук долго ходил по пустому переулку, засматривая в ворота, изучающе разглядывая форму каждого бедного домишка. Минут через двадцать подошел к угловому неказистому домику, заглянул в щель ставни и, улыбнувшись, решительно вошел в калитку. На стук отворила ему пожилая, в платке, женщина.

— Борис Иванович у вас на квартире? — спросил Бунчук.

— Да. Проходите, пожалуйста.

Бунчук боком протиснулся мимо нее. Услышал позади холодный лязг щеколды. В низенькой комнате, освещенной крохотной лампенкой, за столом сидел немолодой в военной форме человек. Жмурясь, он вгляделся и встал, со сдержанной радостью протягивая Бунчуку руки.

— Откуда?

— С фронта.

— Ну?

— Видишь вот… — улыбнулся Бунчук и, тронув концом пальца солдатский ремень человека в военном, невнятно сказал: — Комната есть?

— Да, да. Проходи сюда вот.

Он ввел Бунчука в еще меньшую комнату: не зажигая огня, усадил его на стул и, притворив дверь в соседнюю комнату, задернув окно занавеской, сказал:

— Ты совсем?

— Совсем.

— Как там?

— Все готово.

— Надежные ребята?

— О да.

— Я думаю, ты сейчас разденешься, а потом мы поговорим. Давай твою шинель. Я сейчас принесу умыться.

Пока Бунчук умывался над позеленевшим медным тазом, человек в военном, поглаживая остриженные ежиком волосы, говорил устало и тихо:

— Сейчас они неизмеримо сильнее нас. Наше дело — расти, расширять свое влияние,

работать не покладая рук над разъяснением истинных причин войны. И мы растем — можешь быть уверен в этом. И то, что отходит от них, неизбежно приходит к нам. Взрослый человек по сравнению с мальчиком, безусловно, сильнее, но когда этот взрослый стареет, становится дряхлым, то этот же хлопец уберет его. А в этом случае мы видим не только старческую дряхлость, но и прогрессирующий паралич всего организма.

Бунчук кончил умывание и, растирая лицо черствым холстинным полотенцем, сказал:

— Я перед уходом высказал офицерикам свои взгляды… Знаешь, смешно так вышло… После моего ухода пулеметчиков, несомненно, будут трясти, может быть, кто-либо из ребят под суд пойдет, но раз доказательств нет, какой разговор? Я надеюсь, что их рассеют по разным частям, а нам это на руку: пусть оплодотворяют почву… Ах, какие ребятки там есть! Кремневой породы.

— Я получил от Степана записку. Просит прислать парня, знающего в военном деле. Ты поедешь к нему. Но вот как с документами? Удастся ли?

— Какая работа у него? — спросил Бунчук и поднялся на цыпочки, вешая на гвоздь полотенце.

— Инструктировать ребят. А ты все не растешь? — улыбнулся хозяин.

— Незачем, — отмахнулся Бунчук. — Особенно при теперешнем моем положении. Мне надо быть с гороховый стручок ростом, чтобы не так заметно было.

Они проговорили до серой зорьки. А через день Бунчук, переодетый и подкрашенный до неузнаваемости, с документами на имя солдата 441-го Оршанского полка Николая Ухватова, получившего чистую отставку по случаю ранения в грудь, вышел из местечка, направляясь на станцию.

III

На Владимиро-Волынском и Ковельском направлениях, в районе действий Особой армии (армия была по счету тринадцатой, но так как 13 — цифра несчастливая, а суеверием страдали и большие генералы, то армию наименовали «Особой»), в последних числах сентября началась подготовка к наступлению. Неподалеку от деревни Свинюхи командованием был избран плацдарм, удобный для развертывания наступления, и артиллерийская подготовка началась.

Небывалое количество артиллерии было стянуто к указанному месту. Сотни тысяч разнокалиберных снарядов в течение девяти дней месили пространство, занятое двумя линиями немецких окопов. В первый же день, как только начался интенсивный обстрел, немцы покинули первую линию окопов, оставив одних наблюдателей. Через несколько дней они бросили и вторую линию, перейдя на третью.

На десятый день части Туркестанского корпуса, стрелки, пошли в наступление. Наступали французским способом — волнами. Шестнадцать волн выплеснули русские окопы. Колыхаясь, редея, закипая у безобразных комьев смявшейся колючей проволоки, накатывались серые волны людского прибоя. А с немецкой стороны, оттуда, из-за обугленных пней сизого ольшаника, из-за песчаных сгорбленных увалов, рвало, трясло, взметывало и полыхало густым беспрерывным гулом, трескучим пожаром выстрелов:

Гуууу… Гуууу… Гук! Гак! Буууу-м!

Изредка прорывался залп отдельной батареи и снова полз, подступал, полонил многоверстную округу:

Гуууу… Гуууу… Гуууу…

Трррраа-ррраа-та-та-та-та! — безумно спешили немецкие пулеметы.

На пространстве с версту в поперечнике на супесной изуродованной земле вихрем рвались черные столбы разрывов, и волны наступающих дробились, вскипали, брызгами рассыпались от воронок и все ползли, ползли…

Все чаще месили землю черные вспышки разрывов, гуще поливал наступающих косой, резучий визг шрапнели, жестче хлестал приникающий к земле пулеметный огонь. Били, не подпуская к проволочным заграждениям. И не подпустили. Из шестнадцати волн докатились три последних, а от изуродованных проволочных заграждений, поднявших к небу опаленные укрепы на скрученной проволоке, словно разбившись о них, стекали обратно ручейками, каплями…

Девять с лишним тысяч жизней выплеснули в тот день на супесную невеселую землю неподалеку от деревни Свинюхи.

Через два часа наступление возобновилось сызнова. Пошли части 2-й и 3-й дивизий Туркестанского стрелкового корпуса. Левее по щелям стягивались к первой линии окопов части 53-й пехотной дивизии и 307-я Сибирская стрелковая бригада, на правом фланге туркестанцев шли батальоны 3-й гренадерской дивизии.

Командир 30-го армейского корпуса Особой армии, генерал-лейтенант Гаврилов получил из штабарма приказ перебросить в район Свинюхи две дивизии. Ночью были сняты с позиций 320-й Чембарский, 319-й Бугульминский и 318-й Черноярский полки 80-й дивизии. Их заменили латышскими стрелками и только что прибывшими ополченцами. Полки сняли ночью, но, несмотря на это, один из полков был еще с вечера демонстративно двинут в противоположную сторону и, только сделав переход в двенадцать верст по линии фронта, получил приказ повернуть в обратную сторону. Полки шли в одном направлении, но разными дорогами. Левее маршрута 80-й дивизии передвигались 283-й Павлоградский и 284-й Венгровский полки 71-й дивизии. По пятам за ними шел полк уральских казаков и 44-й пластунский.

318-й Черноярский полк до переброски стоял у реки Стоход, в районе местечка Сокаль, неподалеку от фольварка Рудка-Меринское. Наутро, после первого же перехода, полк разместили в лесу, в брошенных землянках, и четыре дня обучали французскому способу наступления; вместо батальонов в цепи шли полуроты, бомбометчики учились с наивозможнейшей быстротой резать проволочные заграждения, вновь проходили курс метания ручных гранат. Потом опять тронули полк. В течение трех дней шли по лесам, по прогалинам, по одичалым проселкам, исполосованным следами орудийных колес. Хлопчатый редкий туман, движимый ветром, плыл, цепляясь за верхушки сосен, тек над прогалинами и, как коршун над падалью, кружился меж ольхами над сизой прозеленью парных болот. С неба сочилась дождевая мгла. Люди шли промокшие, озлобленные. Через три дня остановились неподалеку от района наступления — в деревнях Большие и Малые Порек. Отдыхали, готовясь к смертной дороге, сутки.

В это время вместе со штабом 80-й дивизии передвигалась к месту близких боев и особая казачья сотня. В сотню влили казаков-третьеочередников с хутора Татарского. Второй взвод сплошь состоял из хуторцев: два брата безрукого Алексея Шамиля — Мартин и Прохор, бывший машинист моховской паровой мельницы Иван Алексеевич, щербатый Афонька Озеров, бывший хуторской атаман Маныцков, колченогий чубатый сосед Шамилей — Евлантий Калинин, нескладно длинный казачина Борщев, короткошеий и медвежковатый Захар Королев, веселая сердцевина всей сотни Гаврила Лиховидов — казак на редкость зверского вида, известный тем, что постоянно и безропотно сносил побои семидесятилетней старухи матери и жены — бабы неказистой, но вольного нрава; и многие другие были во

втором взводе и остальных взводах сотни. Часть казаков была ординарцами при штабе дивизии, но 2 октября их сменили уланы, и сотня, по распоряжению начдива генерала Китченко, была послана на позиции.

Ранним утром 3 октября сотня вошла в деревню Малые Порек. Оттуда в этот момент выступал первый батальон 318-го Черноярского полка. Солдаты, выбегая из покинутых, полуразрушенных халуп, строились тут же на улице. Около головного возвода топтался смуглый молоденький прапорщик. Он развертывал, вынимая из планшетки, шоколад (мокрые ярко-розовые губы его по краям были измазаны шоколадом), ходил вдоль колонны, и захлюстанная длинная шинель с присохшей к подолу грязью болталась меж ног, как овечий курдюк. Казаки шли левой стороной улицы. В одном из рядов второго взвода, крайним справа, шагал машинист Иван Алексеевич. Он тщательно смотрел под ноги, норовя переступать колдобины лужиц. Его окрикнули со стороны солдат, и он повернул голову, заскользил глазами по пехотным рядам.

— Иван Алексеевич! Друг милый!..

Оторвавшись от взвода, к нему утиной рысью бежал маленький солдатишка. На бегу он откидывал назад винтовку, но ремень сползал, и приклад глухо вызванивал по манерке.

— Не угадаешь? Забыл?

В подбежавшем солдатишке, заросшем до скул ежистой дымчато-серой щетиной, Иван Алексеевич с трудом опознал Валета:

— Откуда ты, шкалик?..

— А вот… Служу.

— Да ты в каком полку?

— В Триста восемнадцатом Черноярском. Не чаял… не чаял, что со своими встречусь.

Иван Алексеевич, не выпуская из жесткой ладони маленькой грязной руки Валета, радостно и взволнованно улыбался. Валет, поспешая за его крупным шагом, перебивал на рысь, снизу вверх засматривал Ивану Алексеевичу в глаза, и взгляд его узко посаженных злых глазок был небывало мягок, влажен:

— В наступление идем… Видишь…

— Мы сами туда.

— Ну, как ты, Иван Алексеевич?

— Эх, об чем речь-то!

— Вот и я так. С четырнадцатого не вылазию из окопов. Ни угла, ни семьи не было, а вот за кого-то пришлось натдуваться… Кобыла — за делом, а жеребенок — так.

— Штокмана-то помнишь? Ягодка — наш Осип Давыдович! Он бы теперь нам все разложил. Человек-то… а? Каков был… а?

— Он бы расшифровал! — в восторге закричал Валет, потрясая кулачком и морща в улыбке крохотную ежиную мордочку. — Помню об нем! Я об нем более отца понимаю. Отец-то мне дешево стоил… И не слыхать об нем? Нету слуха?

— В Сибири он, — вздохнул Алексеевич. — Отсиживает.

— Как? — переспросил Валет, синичкой подпрыгивая рядом с большим своим спутником, наставляя острый хрящ уха.

— Сидит в тюрьме. А может, и помер теперь.

Валет некоторое время шел молча, поглядывая то назад, где строилась рота, то на крутой подбородок Ивана Алексеевича, на глубокую круглую ямку, приходившуюся как раз под срединой нижней губы.

— Прощай! — сказал он, высвобождая руку из холодных ладоней Ивана Алексеевича. — Должно, не свидимся.

Тот снял левой рукой фуражку и нагнулся, обнимая сухонькие плечи Валета. Поцеловались крепко, прощаясь словно навсегда, и Валет отстал. Он вдруг суетливо втянул голову в плечи, так что над серым воротником солдатской шинели торчали лишь смуглорозовые острые хрящи ушей, пошел, горбатясь и спотыкаясь на ровном.

Иван Алексеевич выступил из рядов, окликнул с дрожью в голосе:

— Эй, браток, кровинушка родимая! Ты ить злой был… помнишь? Крепкий был… а?

Валет повернул постаревшее от слез лицо, крикнул и застучал кулаком по смуглой реброватой груди, видневшейся из-под распахнутой шинели и разорванного ворота рубахи:

— Был! Был твердым, а теперь помяли!.. Укатали сивку!..

Он еще что-то кричал, но сотня свернула на следующую улицу, и Иван Алексеевич потерял его из виду.

— Ить это Валет? — спросил его шагавший позади Прохор Шамиль.

— Человек это, — глухо ответил Иван Алексеевич, дрожа губами, пестая на плече женушку-винтовку.

На выходе из деревни стали попадаться раненые, вначале единицами, потом группами в несколько человек, а дальше — густыми толпами. Несколько повозок, до отказа набитых тяжелоранеными, еле передвигались. Клячи, тащившие их, были худы до ужаса. Острые хребтины их были освежеваны беспрестанными ударами кнутов, обнажали розовые в красных крапинках кости с прилипшими кое-где волосками шерсти. Лошади тащили четырехколки, хрипя и налегая так, что запененные морды едва не касались грязи. Иногда какая-нибудь кобылка останавливалась, немощно раздувая ввалившиеся остроребрые бока, понуря большую от худобы голову. Удар кнута силком толкал ее с места, и она, качнувшись сначала в одну сторону, потом в другую, срывалась и шла. Цепляясь со всех сторон за грядушки повозок, тянулись около раненые.

— Какой части? — спросил сотенный командир, выбрав лицо подобродушней.

— Туркестанского корпуса, Третьей дивизии.

— Сегодня ранен?

Солдат отвернулся, не отвечая. Сотня, свернув с дороги, шла к лесу, видневшемуся в полуверсте. Позади тяжким пехотным шагом чавкали выбравшиеся из деревни роты 318-го Черноярского. Вдали, на вылинявшем от дождей хмарном небе, желто-серым недвижным пятном висел немецкий привязной аэростат.

— Гляньте, станишники, какая чуда висит!

— Колбасятина.

— Он оттель зирит, проклятущий, как войска передвигаются.

— А ты думал — зря выперся на такую вышину?

— Ох, далеко он!

— Да то близко? Снарядом — и то небось не докинешь.

В лесу казаков нагнала первая рота черноярцев. До вечера жались под мокрыми соснами, за воротники текло, по спинам гуляла дрожь: огонь запретили разводить, да и трудно было развести его на дожде. Уже перед сумерками ввели в щель. Неглубокий, чуть выше человеческого роста, ров был залит на полчетверти водой. Пахло илом, прелой хвоей и пресным бархатисто-мягким запахом дождя. Казаки, подобрав полы шинелей, сидели на корточках, курили, расплетали серую рвущуюся нить разговоров. Второй взвод, разделив выданный перед уходом паек махорки, жался на повороте, окружив взводного урядника. Тот сидел на брошенной кем-то катушке проволоки, рассказывал об убитом в прошлый понедельник генерале Копыловском, в бригаде которого служил еще в мирное время. Он не докончил рассказа, так как взводный офицер крикнул: «В ружье!» — и казаки повскакали;

обжигая пальцы, жадно докуривали цигарки. Из щелей сотня вновь вылезла в сосновый темнеющий лес. Шли, подбадривая друг друга шутками. Кто-то насвистывал.

На небольшой прогалине наткнулись на длинную стежку трупов. Они лежали внакат, плечом к плечу, в различных позах, зачастую непристойных и страшных. Тут же похаживал солдат с винтовкой и противогазовой маской, привешенной сбоку у пояса. Около трупов была густо взмешена влажная земля, виднелись следы многих ног, глубокие шрамы на траве, оставленные колесами повозки. Сотня шла в нескольких шагах от трупов. От них уже тек тяжкий, сладковатый запах мертвечины. Командир сотни остановил казаков и со взводными офицерами подошел к солдату. Они о чем-то говорили. В это время казаки, изломав ряды, надвинулись ближе к трупам, снимая фуражки, рассматривая убитых с тем чувством скрытого трепетного страха и звериного любопытства, которое испытывает всякий живой к тайне мертвого. Все убитые были офицеры. Казаки насчитали их сорок семь человек. Большинство из них были молодые, судя по виду — в возрасте от 20 до 25 лет, лишь крайний справа, с погонами штабс-капитана, был пожилой. Над его широко раскрытым ртом, таившим немые отзвуки последнего крика, понуро висели густые черные усы, на выбеленном смертью лице хмурились в смелом размете широкие брови. Некоторые из убитых были в изватланных грязью кожаных тужурках, остальные — в шинелях. На двух или трех не было фуражек. Казаки особенно долго смотрели на красивую и после смерти фигуру одного поручика. Он лежал на спине, левая рука его была плотно прижата к груди, в правой, кинутой в сторону, навсегда застыла рукоять нагана. Наган, видимо, пытались вынуть, — желтая широкая кисть руки белела царапинами, но, знать, плотно вкипела сталь, — не расстаться. Белокурая курчавая голова, со сбитой фуражкой, словно ласкаясь, никла щекой к земле, а оранжевые, тронутые синевой губы скорбно. недоуменно кривились. Сосед его справа лежал вниз лицом, на спине горбом бугрилась шинель с оторванным хлястиком, обнажая сильные напружиненные мускулами ноги в брюках цвета хаки и коротких хромовых сапогах, с покривленными на сторону каблуками. На нем не было фуражки, не было верхушки черепа, чисто срезанной осколком снаряда; в порожней черепной коробке, обрамленной мокрыми сосульками волос, светлая розовая вода — дождь налил. За ним в распахнутой тужурке и изорванной гимнастерке лежал плотный, невысокий, без лица; на обнаженной груди косо лежала нижняя челюсть, а ниже волос белела узкая полоска лба с опаленной, скатавшейся в трубочку кожей, в середине между челюстью и верхушкой лба — обрывки костей, черно-красная жидкая кашица. Дальше — небрежно собранные в кучу куски конечностей, шмотья шинели, истрощенная мятая нога на месте головы; а еще дальше — совсем мальчишка, с пухлыми губами и отроческим овалом лица; по груди резанула пулеметная струя, в четырех местах продырявлена шинель, из отверстий торчат опаленные хлопья.

— Этот… этот в смертный час кого кликал? Матерю? — заикаясь, клацая зубами, спросил Иван Алексеевич и, круто повернувшись, пошел как слепой.

Казаки отходили поспешно, крестясь и не оглядываясь. И после долго берегли молчание, пробираясь по узким прогалинам, спеша уйти от воспоминаний виденного. Возле густой цепи пустых, покинутых кем-то землянок сотню остановили. Офицеры вместе с ординарцем, прискакавшим из штаба Черноярского полка, вошли в одну из землянок; тут только щербатый Афонька Озеров, лапая руку Ивана Алексеевича, шепотом сказал:

— Этот, парнишка… последний, гляди, небось, за всю жисть бабу не целовал… И зарезали, это как?

— Это где же их так наворочали? — вмешался Захар Королев.

— В наступление шли. Солдат, какой охранял мертвяков, гутарил, — помолчав, ответил Борщев.

Казаки стояли «вольно». Над лесом замыкалась темь. Ветер торопил тучи и, раздирая их, оголял лиловые угольки далеких звезд.

В это время в землянке, где собрались офицеры сотни, командир, отпустив ординарца, вскрыл пакет и при свете свечного огарка, ознакомившись с содержанием, прочитал:

«На рассвете 3 октября немцы, употребив удушливые газы, отравили три батальона 256-го полка и заняли первую линию наших окопов. Приказываю вам продвинуться до второй линии окопов и, завязав связь с первым батальоном 318-го Черноярского полка, занять участок второй линии, с тем чтобы этой же ночью выбить противника из первой линии. На правом фланге у вас будут две роты второго батальона и батальон Фанагорийского полка 3-й гренадерской дивизии.»

Обсудив положение и выкурив по папиросе, офицеры вышли. Сотня тронулась.

Пока казаки отдыхали возле землянок, первый батальон черноярцев опередил их и подошел к мосту через Стоход. Мост охранялся сильной пулеметной заставой одного из гренадерских полков. Фельдфебель выяснил командиру батальона обстановку, и батальон, перейдя мост, разделился: две роты пошли вправо, одна — влево, последняя, с командиром батальона, осталась в резерве. Роты шли, рассыпавшись в цепь. Жидкий лес был изрытвлен. Солдаты шли, осторожно щупая почву ногами, иногда какой-нибудь падал, вполголоса тихо матерился. В крайней с правого фланга роте шестым от конца шел Валет. После команды «изготовься!» он поставил спуск винтовки на боевой взвод, шел, вытягивая ее вперед, царапая жалом штыка кустарник и стволы сосен. Мимо него вдоль цепи прошли двое офицеров; они, сдерживая голоса, разговаривали. Сочный, спелый баритон командира роты жаловался:

— У меня открылась давнишняя рана. Черт бы брал этот пенек! Понимаете, Иван Иванович, в этой темноте я набрел на пень и ударился ногой. В результате — рана открылась, и я не могу идти, придется вернуться. — Баритон ротного на минуту умолк и, отдаляясь, зазвучал еще тише: — Вы возьмите на себя командование первой полуротой. Богданов возьмет вторую, а я того… честное слово, не могу. Я вынужден вернуться.

В ответ хрипло залаял тенорок прапорщика Беликова:

— Удивительно! Как только в бой, так у вас открываются старые раны.

— Я попрошу вас молчать, господин прапорщик! — повысил голос ротный.

— Оставьте, пожалуйста! Можете возвращаться!

Прислушиваясь к своим и чужим шагам, Валет услышал позади торопливый треск, понял: ротный уходит назад. А через минуту Беликов, переходя с фельдфебелем на левое крыло роты, бормотал:

— …Прохвосты, чуют! Как только серьезное дело, они заболевают или у них открываются старые раны. А ты, новоиспеченный, изволь вести полуроту… Мерзавцы! Я бы таких… солдаты…

Голоса внезапно смолкли, и Валет слышал лишь влажный хлюп собственных шагов да трельчатый звон в ушах.

— Эй, землячок! — Кто-то слева засипел шепотом.

— Ну?

— Идешь?

— И-иду, — ответил Валет, падая и задом сползая в налитую водой воронку.

— Темно-то… — слышалось слева.

Минуту шли, невидимые друг другу, и неожиданно у самого уха Валета тот же сипящий голос проговорил:

— Пойдем рядом! Не так страшно…

Опять молчали, переставляя по влажной земле набухшие сапоги. Ущербленный пятнистый месяц вдруг выплеснулся из-за гребня тучи, несколько секунд, блестя желтой чешуей, нырял, как карась, в текучих тучевых волнах и, выбравшись на чистое, полил вниз сумеречный свет; фосфорически блеснули мокрые иглы сосен — казалось, сильнее при свете запахла хвоя, жестче дохнула холодом мокрая земля. Валет глянул на соседа. Тот внезапно остановился, мотнул головой, как от удара, разжал губы.

— Гляди! — выдохнул он.

В трех шагах от них у сосны, широко расставив ноги, стоял человек.

— Че-ло-век, — сказал или только подумал сказать Валет.

— Кто таков? — вдруг вскидывая к плечу винтовку, крикнул шедший рядом с Валетом солдат. — Ктой-та? Стреляю!..

Стоявший под сосной молчал. Голова его, как шляпка подсолнуха, висела, склонившись набок.

— Он спит! — заскрипел смехом Валет и, сотрясаясь, бодря себя насильственным смехом, шагнул вперед.

Они подошли к стоявшему. Валет, вытянув шею, глядел. Товарищ его тронул прикладом недвижимую серую фигуру.

— Эй, ты, пензинска-а-ай! Спишь? Земляк!.. — насмешливо говорил он. — Чудила-а-а, ты что же?.. — Голос осекся. — Мертвец! — крикнул он, отступая.

Валет, клацнув зубами, отпрыгнул, и на то место, где секунду назад стояли его ноги, спиленным деревом упал стоявший под сосной человек. Они перевернули его лицом вверх и тут только догадались, что под сосной нашел себе последний приют этот отравленный газами, бежавший от смерти, которую нес в своих легких, солдат одного из трех батальонов 256-го пехотного полка. Рослый, широкоплечий парень, он лежал, вольно откинув голову, с лицом, измазанным при падении клейкой грязью, с изъеденными газом, разжиженными глазами; из стиснутых зубов его черным глянцевитым бруском торчал пухлый, мясистый язык.

— Пойдем. Пойдем, ради бога! Пусть себе лежит, — шептал товарищ, дергая Валета за руку.

Они пошли и сейчас же наткнулись на второй труп. Мертвые стали попадаться чаще. В нескольких местах отравленные лежали копешками, иные застыли, сидя на, корточках, некоторые стояли на четвереньках — будто паслись, а один, у самого хода сообщения, ведущего во вторую линию окопов, лежал, скрючившись калачиком, засунув в рот искусанную от муки руку.

Валет и солдат, приставший к нему, бегом догнали ушедшую вперед цепь; опередив ее, шли рядом. Они вместе спрыгнули в темную щель окопов, зигзагами уходившую в темноту, разошлись в разные стороны.

— Надо пошарить по землянкам. Жратва, может, осталась, — нерешительно предложил Валету его товарищ.

— Пойдем.

— Ты — вправо, я — влево. Пока наши подойдут, мы проверим.

Валет чиркнул спичкой, шагнул в раскрытую дверь первой землянки, вылетел оттуда, будто кинутый пружиной: в землянке крест-накрест лежали два трупа. Он в безрезультатных поисках пролез три землянки, пинком растворил дверь четвертой и едва не упал от чужого металлического оклика:

— Wer ist das? [30] Осыпанный огненным жаром. Валет молча отскочил назад.

— Das bist du Otto? Weshalb bist du so spat gekommen? [31] — спросил немец, шагнув из

землянки и ленивым движением плеча поправляя накинутую внапашку шинель.

— Руки! Руки подыми! Сдавайся! — хрипло крикнул Валет и присел, как по команде «к бою!».

Изумленный до немоты, немец медленно вытягивал руки, поворачивался боком, завороженными глазами глядя на остро сверкающее жало направленного на него штыка. Шинель упала у него с плеч, под мышками морщился рябью однобортный серо-зеленый мундир, поднятые большие рабочие руки тряслись, и пальцы шевелились, словно перебирая невидимые клавиши. Валет стоял, не меняя положения, оглядывая высокую, плотную фигуру немца, металлические пуговицы мундира, короткие сшивные по бокам сапоги, бескозырку, надетую чуть набок. Потом он как-то сразу изменил положение, качнулся, как вытряхиваемый из своей нескладной шинели; издал странный горловой звук — не то кашель, не то всхлип; шагнул к немцу.

— Беги! — сказал он пустым ломким голосом. — Беги, немец! У меня к тебе злобы нет. Стрелять не буду.

Он прислонил к стене окопа винтовку, потянулся, приподнимаясь на цыпочки, достал правую руку немца. Уверенные движения его покоряли пленного; тот опустил руку, чутко вслушиваясь в диковинные интонации чужого голоса.

Валет, не колеблясь, сунул ему свою черствую, изрубцованную двадцатилетним трудом руку, пожал холодные, безвольные пальцы немца и поднял ладонь; на нее, маленькую и желтую, испятненную коричневыми бугорками давнишних мозолей, упали сиреневые лепестки ущербленного месяца.

— Я — рабочий, — говорил Валет, дрожа как от озноба. — За что я тебя буду убивать? Беги! — И он легонько толкал немца правой рукой в плечо, указывая на черную вязь леса. — Беги, дурной, а то наши скоро…

Немец все смотрел на откинутую руку Валета, смотрел, остро напрягаясь, чуть наклонившись вперед, разгадывая за непонятными словами их затаенный смысл. Так длилось секунду-другую; глаза его встретились с глазами Валета, и взгляд немца вдруг дрогнул радостной улыбкой. Отступив шаг назад, немец широким жестом выбросил вперед руки, крепко стиснул руки Валета, затряс их, сверкая взволнованной улыбкой, нагибаясь и засматривая Валету в глаза:

— Du entlasst mich?.. O, jetzt hab ich verstanden! Du bis-t ein russischer Arbeiter? Soziel-Demokrat, wie ich? So? O! O! Das ist wie im Traum… Mein Bruder, wie kann ich vergessen? Ich finde keine Worte. Nur du bist ein wunderbarer wagender Junge… Ich… [32]

Во вскипающем потоке чуждых по языку слов Валет уловил одно знакомое, вопрошающее — «социал-демократ?».

— Ну да, я — социал-демократ. А ты беги… Прощай, браток. Лапу-то дай!

Чутьем понявшие друг друга, они смотрели друг другу в глаза, — высокий статный баварец и маленький русский солдат. Баварец шепнул:

— In den zukunftigen Klassenkampfen werden wir in denselben Schutzengraben sein, nicht wahr, Genosse? [33] — и большим серым зверем вспрыгнул на бруствер.

По лесу зачмокали шаги подходившей цепи. Впереди двигалась команда чешских разведчиков со своим офицером. Они чуть не застрелили вылезавшего из землянки солдата, который шарил там в поисках съестного.

— Свой! Не видишь… в рот те, в душу!.. — испуганно вскрикнул тот, увидя направленный на него черный глазок винтовочного дула.

— Свои тута, — повторил он, прижимая к груди, как ребенка, черную буханку хлеба.

Унтер, опознав Валета, перепрыгнул через окоп, с усердием толкнул Валета в спину

прикладом:

— Изуродую! Кровь из носу! Ты где был?

Валет шел, размякший, обессилевший, даже удар не произвел на него должного воздействия. Качнувшись, он поразил унтера несвойственным ему добродушным ответом:

— Вперед шел. А ты не дерись.

— А ты не болтайся собачьим хвостом! То он отстанет, то вперед уходит. Службу не знаешь? Первый год, что ли? — Помолчав, спросил: — Табачок есть?

— Помятый только.

— Тряхни.

Унтер закурил, отошел к концу взвода.

Уже перед рассветом чехи-разведчики в упор напоролись на немецкий наблюдательный пост. Немцы раскололи тишину залпом. С ровными промежутками дали еще два залпа. Над окопами взвилась красная ракета, зазвучали голоса, не успели затухнуть в воздухе багряные искры ракеты, как со стороны немцев начался артиллерийский обстрел.

— Бум! бум! — и, догоняя первые гулкие удары, еще два: бум! бум!

Кле-кле-кле-кле-ввзи-и-и! — заквохтали с нарастающей силой снаряды, как буравом выстреливая воздух, со скрежетом проносясь над головами солдат первой полуроты; мгновение тишины — и далеко, возле переправы через Стоход, облегчающий гул разрывов: бах!.. бах!..

Цепь, шедшая в сорока саженях позади чехов-разведчиков, после первого же залпа залегла. Ракета вскинула алое зарево; при свете его Валет видел, как солдаты муравьями ползали меж кустов и деревьев, уже не брезгая грязной землей, а прижимаясь к ней, ища защиты. Люди копошились у каждой рытвинки, никли за каждой крохотной складкой земли, совали головы в каждую ямку. И все же, когда майским ливнем буйно брызнул и затопотал по лесу стрекочущий пулеметный огонь, — не выдержали: ползли назад, до предела втягивая головы в плечи, гусеницами влипали в землю, передвигались, не сгибая ни рук, ни ног, ползли по-змеиному, влача за собою по грязи след… Некоторые вскакивали и бежали. По лесу, осекая хвою, щепя сосны, с гадючьим шипом зарываясь в землю, скакали и, чмокая, рвались разрывные пули.

Семнадцати человек недосчитались в первой полуроте, когда вернулись ко второй линии окопов. Неподалеку перестраивались казаки особой сотни. Они шли правее первой полуроты, шли осторожно и, возможно, застали бы немцев врасплох, предварительно сняв часовых, но, когда по чехам-разведчикам дали залп, немцы встревожились на всем участке. Бесцельно стреляя, убили двух казаков, одного ранили. Казаки принесли с собой раненого и убитых — выстраиваясь, переговаривались:

— Похоронить надо своих.

— Без нас похоронят.

— Тут об живых надо думать, а мертвякам мало надо.

Из штаба полка через полчаса был получен приказ: «После артиллерийской подготовки приказываю батальону, совместно с особой казачьей сотней, атаковать противника и выбить его из первой линии окопов».

Жиденькая подготовка длилась до двенадцати дня. Казаки и солдаты, выставив посты, отдыхали в землянках. В полдень пошли в атаку. Левее, на главном участке, громыхала канонада — там наступали вновь.

На самом конце правого фланга были забайкальские казаки, левее — Черноярский полк с особой казачьей сотней, за ними — Фанагорийский гренадерский полк, дальше — Чембарский, Бугульминский, 208-й пехотный, 211-й пехотный, Павлоградский, Венгровский;

полки 53-й дивизии развивали наступление в центре; весь левый фланг охватывала 2-я Туркестанская стрелковая дивизия. Гремело на всем участке — русские наступали повсюду.

Сотня шла негустой цепью. Левое крыло ее смыкалось с правым черноярцев. Едва показался хребет бруствера, немцы открыли ураганный огонь. Сотня перебегала без крика; залегали, опорожняли магазинные коробки винтовок и вновь бежали. Окончательно легли в пятидесяти шагах от окопов. Стреляли, не подымая голов. Немцы выбросили по всей линии окопов рогатки с сетчатой проволокой. Две гранаты, кинутые Афонькой Озеровым, разорвались, отскочив от сетки. Он чуть приподнялся, хотел метнуть третью, но пуля вошла ему ниже левого плеча, вышла у крестца. Иван Алексеевич, лежавший неподалеку, видел, как Афонька мелко засучил ногами и затих. Убили Прохора Шамиля — брата безрукого Алешки; третьим лег бывший атаман Маныцков, и сейчас же подцепила пуля колченогого чубатого соседа Шамилей — Евлантия Калинина.

Из второго взвода за полчаса выбыло восемь человек. Убили есаула — командира сотни, двух взводных офицеров, и сотня без команды отползла назад. Очутившись вне действия огня, казаки стеклись кучкой, недосчитались половины людей. Отошли и черноярцы. В первом батальоне урон был еще значительней, но, не глядя на это, из штаба полка — приказ: «Атаку немедленно возобновить, во что бы то ни стало выбить противника из первой линии окопов. От успехов восстановления исходного положения зависит конечный успех операции по всей линии».

Сотня рассыпалась реденькой цепью. Пошли опять. Под сокрушительным огнем немцев залегли в ста шагах от окопов. Опять стали таять части, и обезумевшие люди врастали в землю, лежали, не поднимая головы, не двигаясь, опоенные ужасом смерти.

Перед вечером вторая полурота черноярцев дрогнула и побежала. Крик «обошли!» донесло до казаков. Поднялись, катились назад, ломая кустарник, падая, теряя оружие. Выбежав на безопасное место, Иван Алексеевич упал под сломленной снарядом сосной, отдышался и тут увидел подходившего к нему Гаврилу Лиховидова. Шел тот, пьяно кидая ногами, уронив глаза, что-то хватал в воздухе рукой, другой словно смахивал с лица невидимую паутину. При нем не было ни винтовки, ни шашки, над глазами низко свисали прямые, мокрые от пота темно-русые волосы. Околесив прогалину, он подошел к Ивану Алексеевичу. Стал, вонзив косой, неуловимо плывущий взгляд в землю. Ноги его в коленях мелко дрожали, подгибались, и Ивану Алексеевичу казалось, что Лиховидов приседает будто для того, чтобы взлететь.

— Вот… видишь как… — начал Иван Алексеевич, пытаясь что-то сказать, но лицо Лиховидова пронизала судорога.

— Стой! — вскричал тот и присел на корточки, топыря пальцы, испуганно оглядываясь. — Слухай! Я зараз песню заиграю. Прилетела господня пташка к сове, гутарит:

Скажи, моя совушка,
Скажи, Купреяновна,
Кто ж тебя больше,
Кто ж тебя старше?
Вот орел — государь.
Вот и коршун — майор,
Вот и лунь — есаул,
И витютени — удальцы,
А голуби — атаманцы,
Клиндухи — линейцы,
Скворцы — калмыки,

Галки — цыганки,
Сороки — дворянки,
Сера уточка — пехота,
А казарки — молдаванки…

— Погоди! — Иван Алексеевич побледнел. — Лиховидов, да чтой-то ты?.. Ты захворал? А?

— Не мешай! — Он побагровел и, вновь вытягивая голубые губы в бессмысленную улыбку, тем же жутким речитативом продолжал:

А казарки — молдаванки,
Дудаки — дураки,
Кваки — забияки,
Вот грачи — антилерия,
Вороны — волохи,
Рыбники — скрыпники…

Иван Алексеевич вскочил:

— Пойдем, пойдем к своим, а то немцы заберут нас! Слышишь?

Вырывая руку, торопясь, роняя с губ теплую слюну, Лиховидов продолжал выкрикивать:

Соловушки — музыканты,
Касатушки — великанты,
Чернопуз — голопуз,
Синичка — сборщик,
Воробей — десятник…

И, неожиданно оборвав голос, запел тягуче-хрипло. Не песня, а волчий нарастающий вой рвался из его оскаленного рта. На острых клыковатых зубах переливалась перламутром слюна. Иван Алексеевич с ужасом смотрел в безумно-раскосые глаза недавнего товарища, на голову его с плотно прилегшими волосами и восковым слепком ушей. Уже с каким-то ожесточением Лиховидов выл:

Вот гремит слава трубой.
Мы за Дунаем-рекой
Турк-салтана победили,
Християн освободили.
Мы по горочкам летали
Наподобье саранчи.
Из берданочков стреляли
Все донские казачки.
Как курей, ваших индюшек,
Перведем всех до пера.
А детей ваших, марушек
Заберем всех во плена.

— Мартин! Мартин, поди ко мне! — закричал Иван Алексеевич, увидя ковылявшего по прогалине Мартина Шамиля.

Тот, опираясь на винтовку, подошел.

— Помоги мне его отвесть. Видишь? — Иван Алексеевич указал глазами на сумасшедшего. — Дошел до краю. Кровь в голову кинулась.

Шамиль перевязал раненую ногу рукавом, оторванным от исподней рубахи; не глядя на Лиховидова, взял его под руку с одной стороны, Иван Алексеевич — с другой, пошли:

Мы по горочкам летали

Наподобье саранчи…

— уже тише вскрикивал Лиховидов. Шамиль, болезненно морщась, упрашивал его:

— Брось ты шуметь! Брось, ради Христа. Ты теперь отлетался вовзят. Брось!

Как курей, ваших индюшек,

Перведем всех до пера…

Сумасшедший вырывался из рук казаков, петь не переставал и лишь изредка стискивал ладонями виски, скрипел зубами и, дрожа отвисшей челюстью, кособочил голову, опаленную горячим дыханием безумия.

IV

Верст на сорок ниже по Стоходу шли бои. Две недели неумолчно стонал сплошной орудийный гул, по ночам далекое фиолетовое небо кромсали отсветы прожекторных лучей, они сияли радужно-тусклыми зарницами, перемигивались, заражали необъяснимой тревогой тех, кто отсюда наблюдал за вспышками и заревами войны.

На участке, болотистом и диком, разместился 12-й казачий полк. Днем изредка постреливали по перебегавшим в неглубоких окопах австрийцам, ночью, защищенные болотом, спали или играли в карты; одни часовые наблюдали за оранжевыми жуткими всплесками света там, где шли бои.

В одну из морозных ночей, когда далекие отсветы особенно ярко мережили небо, Григорий Мелехов вышел из землянки, по ходу сообщения пробрался в лес, торчавший позади окопов седой щетиной на черном черепе невысокого холма, и прилег на просторной духовитой земле. В землянке было накурено, смрадно, бурый табачный дым бахромчатой скатертью висел над столиком, за которым человек восемь казаков резались в карты, а в лесу, на вершине холма, наплывает ветерок, тихий, как от крыльев пролетающей невидимой птицы; неизъяснимо грустный запах излучают умерщвленные заморозками травы. Над лесом, уродливо остриженным снарядами, копится темнота, дотлевает на небе дымный костер Стожаров, Большая Медведица лежит сбоку от Млечного Пути, как опрокинутая повозка с косо вздыбленным дышлом, лишь на севере ровным мерцающим светом истекает Полярная звезда.

Григорий, щурясь, глядел на нее, и от ледяного света звезды, неяркого, но остро коловшего глаза, под ресницами выступали такие же холодные слезы.

Лежа здесь, на холме, он почему-то вспомнил ту ночь, когда с хутора Нижне-Яблоновского шел в Ягодное к Аксинье; с режущей болью вспомнил и ее. Память вылепила неясные, стертые временем бесконечно дорогие и чуждые линии лица. С внезапно забившимся сердцем он попытался восстановить его таким, каким видел в последний раз, искаженным от боли, с багровым следом кнута на щеке, но память упорно подсовывала другое лицо, чуть склоненное набок, победно улыбающееся. Вот она поворачивает голову, озорно и любовно, из-под низу разит взглядом огнисто-черных глаз, что-то несказанно-ласковое, горячее шепчут порочно-жадные красные губы, и медленно отводит взгляд, отворачивается, на смуглой шее два крупных пушистых завитка… их так любил целовать он когда-то…

Григорий вздрагивает. Ему кажется, что он на секунду ощутил дурнопьяный, тончайший аромат Аксиньиных волос; он, весь изогнувшись, раздувает ноздри, но… нет! это волнующий запах слежалой листвы. Меркнет, расплывается овал Аксиньиного лица. Григорий закрывает глаза, кладет ладони на шероховатую землю и долго, не мигая, глядит, как за

поломанной сосной на окраине неба голубой нарядной бабочкой трепещет в недвижимом полете Полярная звезда.

Отдельные куски несвязанных воспоминаний затемняли образ Аксиньи. Он вспомнил те недели, которые провел на хуторе Татарском, в семье, после разрыва с Аксиньей; по ночам — жадные, опустошающие ласки Натальи, словно старавшейся вознаградить за свою прежнюю девическую холодность; днями — внимательное, почти заискивающее отношение семьи, почет, с каким встречали хуторные первого георгиевского кавалера. Григорий всюду, даже в семье, ловил боковые, изумленно-почтительные взгляды — его разглядывали так, как будто не верили, что он — тот самый Григорий, некогда своевольный и веселый парень. С ним, как с равным, беседовали на майдане старики, при встрече на его поклон снимали шапки, девки и бабы с нескрываемым восхищением разглядывали бравую, чуть сутуловатую фигуру в шинели с приколотым на полосатой ленточке крестом. Он видел, что Пантелей Прокофьевич явно гордился им, шагая рядом в церковь или на плац. И весь этот сложный тонкий яр лести, почтительности, восхищения постепенно губил, вытравляя из сознания семена той правды, которую посеял в нем Гаранжа. Пришел с фронта Григорий одним человеком, а ушел другим. Свое, казачье, всосанное с материнским молоком, кохаемое на протяжении всей жизни, взяло верх над большой человеческой правдой.

— Я знал, Гришка, — подвыпив, на прощанье говорил Пантелей Прокофьевич и, волнуясь, гладил серебряные с чернью волосы, — знал давно, что из тебя добрый казак выйдет. Год от рождения тебе сравнялся, и по давнишнему казачьему обычаю вынес я тебя на баз — помнишь, старуха? — и посадил верхом на коня. А ты, сукин сын, цап его за гриву ручонками!.. Тогда ишо смекнул я, что должон из тебя толк выйтить. И вышел.

Добрым казаком ушел на фронт Григорий; не мирясь в душе с бессмыслицей войны, он честно берег свою казачью славу…

Тысяча девятьсот пятнадцатый год. Май. Под деревней Ольховчик по ярко-зеленой ряднине луга наступает в пешем строю 13-й немецкий Железный полк. Цикадами звенят пулеметы. Тяжеловесно стрекочет станковый пулемет залегшей над речкой русской роты. 12-й казачий полк принимает бой. Григорий перебегает в цепи вместе с казаками своей сотни и, оглядываясь, видит расплавленный диск солнца на полуденном небе и другой такой же в речной заводи, опушенной желтобарашковой лозой. За речкой, за тополями скрываются коноводы, а впереди — немецкая цепь, желтый глянец медных орлов на касках. Ветер шевелит сизый, полынный, дымок выстрелов.

Григорий не спеша стреляет, целится тщательно и между двумя выстрелами, прислушиваясь к команде взводного, выкрикивающего прицел, успевает осторожно ссадить выползшую на рукав его гимнастерки рябую божью коровку. Потом атака… Григорий окованным прикладом валит с ног высокого немецкого лейтенанта, берет в плен трех немецких солдат и, стреляя над их головами вверх, заставляет их рысью бежать к речке.

Под Равой-Русской со взводом казаков в июле 1915 года отбивает казачью батарею, захваченную австрийцами. Там же во время боя заходит в тыл противника, открывает огонь из ручного пулемета, обращая наступление австрийцев в бегство.

Пройдя Баянец, в стычке берет в плен толстого австрийского офицера. Как барана, вскидывает его поперек седла, скачет, все время ощущая противный запах человеческого кала, исходивший от офицера, и дрожь полного, мокрого от страха тела.

И особенно выпукло вспомнил Григорий, лежа на черной плешине холма, случай, столкнувший его с лютым врагом — Степаном Астаховым. Это было, когда 12-й полк сняли с фронта и кинули в Восточную Пруссию. Казачьи кони копытили аккуратные немецкие поля, казаки жгли немецкие жилища. По пути, пройденному ими, стлался рудный дым и дотлевали

обугленные развалины стен и черепичные потрескавшиеся крыши. Под городом Столыпином полк шел в наступление вместе с 27-м Донским казачьим полком. Григорий мельком видел похудевшего брата, чисто выбритого Степана и других казаков-однохуторянцев. В бою полки понесли поражение. Немцы окружили их, и когда двенадцать сотен, одна за другой, устремились в атаку с целью прорвать сомкнувшееся вражеское кольцо, Григорий увидел, как Степан спрыгнул с убитого под ним вороного коня и закружился волчком. Григорий, обожженный внезапной и радостной решимостью, с трудом удержал коня и, когда последняя сотня, едва не растоптав Степана, промчалась мимо, подскакал к нему, крикнул:

— Хватайся за стремя!

Степан сжал ремень стремени в руке, с полверсты бежал рядом с конем Григория.

— Не скачи шибко! Не скачи, ради Исуса Христа! — просил он, задыхаясь.

Прорыв они миновали благополучно. До леса, где спешивались вырвавшиеся сотни, оставалось не больше ста саженей, но тут пуля хлестнула Степана по ноге, и он, оторвавшись от стремени, упал навзничь. Ветер сорвал с Григория фуражку, кинул на глаза чуб. Григорий отбросил волосы, оглянулся. Степан, хромая, подбежал к кусту, швырнул в него казачью фуражку, сел, торопливо стягивая алевшие лампасами шаровары. Из-под бугра перебегали звенья немецкой цепи, и Григорий понял: хочет Степан жить — для того рвет с себя казачьи шаровары, чтобы сойти за солдата — казаков не брали тогда немцы в плен… Подчиняясь сердцу, Григорий крутнул коня и подскакал к кусту, на ходу спрыгнув:

— Садись!..

Не забыть Григорию короткого взмаха Степановых глаз. Помог Степану сесть в седло, сам бежал, держась за стремя, рядом с облитым потом конем.

Цьюююуу… — цедила горячий свист пуля и, вылетая из слуха, рвала свист: юууть!

Над головой Григория, над меловым лицом Степана, по бокам — этот нижущий, сверлящий высвист: цьюююууть, цьюуу-уть, а сзади — хлопки выстрелов, как треск перезревших стручков акации:

— Пук-пак! Пук-пак! Та-тах-ах-ах!

В лесу Степан слез с седла, кривясь от боли, кинул поводья, захромал в сторону. Через голенище левого сапога текла кровь, и при каждом шаге, когда наступал на раненую ногу, — из-под отставшей подошвы била вишнево-красная тонкая струя. Степан прислонился к стволу разлапистого дуба, поманил Григория пальцем. Тот подошел.

— Полон сапог натекло крови, — сказал Степан.

Григорий молчал, глядел в сторону.

— Гришка… как шли мы нынче в наступление… Слышишь, Григорий? — заговорил Степан, ища ввалившимися глазами глаза Григория. — Как шли, я сзади до трех раз в тебя стрелял… Не привел бог убить.

Они столкнулись глазами. Из запавших глазниц нестерпимо блестел остро отточенный взгляд Степана. Степан говорил, почти не разжимая стиснутых зубов:

— Ты меня от смерти отвел… Спасибо… А за Аксинью не могу простить. Душа не налегает… Ты меня не неволь, Григорий…

— Я не неволю, — ответил тогда Григорий.

Они разошлись по-прежнему непримиренные…

И еще… В мае полк, вместе с остальными частями брусиловской армии, прорвал у Луцка фронт, каруселил в тылу, бил и сам принимал удары. Под Львовом Григорий самовольно увлек сотню в атаку, отбил австрийскую гаубичную батарею вместе с прислугой. Через месяц ночью как-то плыл через Буг за «языком». Сбил с ног стоявшего на посту часового, и он, здоровый, коренастый немец, долго кружил повисшего на нем полуголого Григория,

порывался кричать и никак не хотел, чтобы его связали.

Улыбаясь, вспомнил Григорий этот случай.

Мало ли таких дней рассорило время по полям недавних и давнишних боев? Крепко берег Григорий казачью честь, ловил случай выказать беззаветную храбрость, рисковал, сумасбродничал, ходил переодетым в тыл к австрийцам, снимал без крови заставы, джигитовал казак и чувствовал, что ушла безвозвратно та боль по человеку, которая давила его в первые дни войны. Огрубело сердце, зачерствело, будто солончак в засуху, и как солончак не впитывает воду, так и сердце Григория не впитывало жалости. С холодным презрением играл он чужой и своей жизнью; оттого прослыл храбрым — четыре Георгиевских креста и четыре медали выслужил. На редких парадах стоял у полкового знамени, овеянного пороховым дымом многих войн; но знал, что больше не засмеяться ему, как прежде; знал, что ввалились у него глаза и остро торчат скулы; знал, что трудно ему, целуя ребенка, открыто глянуть в ясные глаза; знал Григорий, какой ценой заплатил за полный бант крестов и производства.

Он лежал на холме, подвернув под бок полу шинели, опираясь на локоть левой руки. Память услужливо воскрешала пережитое, и в скупые отрывочные воспоминания войны тонкой голубой прядью вплетался какой-нибудь далекий случай из детства. На минуту Григории с любовью и грустью останавливал на нем мысленный взгляд, потом снова переходил к недавнему. В австрийских окопах кто-то мастерски играл на мандолине. Тоненькие, колеблемые ветром звуки спешили оттуда, перебираясь через Стоход, легко семенили над землей, многократно политой людской кровью. В зените пламенней горели звезды, плотнела темь, и уже горбатился над болотом полуночный туман. Григорий выкурил две цигарки подряд, с грубоватой лаской погладил ремень винтовки, опираясь на пальцы левой руки, приподнялся с гостеприимной земли; побрел к окопам.

В землянке все еще играли в карты. Григорий упал на нары, хотел еще блуждать в воспоминаниях по исхоженным, заросшим давностью тропам, но сон опьянил его; он уснул в той неловкой позе, которую принял лежа, и во сне видел бескрайнюю выжженную суховеем степь, розовато-лиловые заросли бессмертника, меж чубатым сиреневым чабрецом следы некованых конских копыт… Степь была пустынна, ужасающе тиха. Он, Григорий, шел по твердой супесной почве, но шагов своих не слышал, и от этого подступал страх… Проснувшись и приподняв голову, с косыми рубцами на щеках от неловкого сна, Григорий долго жевал губами, как лошадь, на минуту ощутившая и утратившая необыкновенный аромат какой-то травки. После спал непросыпно, без снов.

На другой день Григорий встал с необъяснимой сосущей тоской.

— Ты чего постный ныне? Станицу во сне видал? — спросил его Чубатый.

— Угадал. Степь приснилась. Так замутило на душе… Дома побывал бы. Осточертела царева службица.

Чубатый снисходительно посмеивался. Он жил все время в одной землянке с Григорием, относился к нему с тем уважением, какое сильный зверь испытывает к столь же сильному; со времени первой ссоры, в 1914 году, между ними не было стычек, и влияние Чубатого явно сказывалось на характере и психике Григория. Мировоззрение Чубатого сильно изменила война. Он туго, но неуклонно катился к отрицанию войны, подолгу говорил об изменниках-генералах и германцах, засевших в царском дворце. Раз как-то обмолвился фразой: «Добра не жди, коль сама царица германских кровей. В подходимый раз она нас за один чох могет продать…»

Однажды Григорий высказал ему суть гаранжевского учения, но Чубатый отнесся к этому неодобрительно:

— Песня-то хорошая, да голос хриповат, — говорил он, насмешливо улыбаясь, шлепая себя по сизой лысине. — Об этом Мишка Кошевой, как кочет с плетня, трубит. Толку-то нету от этих революций, баловство одно. Ты пойми то, что нам, казакам, нужна своя власть, а не иная. Нам нужен твердый царь, наподобие Миколая Миколаича [34], а с мужиками нам не по дороге — гусь свинье не товарищ. Мужики землю норовят оттягать, рабочий жалованье себе желает прибавить — а нам чего дадут! Земли у нас — ого! А окромя чего надо? То-то и ба, что пустая торба. Царек-то у нас хреновый — нечего греха таить. Папаша ихний был потверже, а этот достукается, что взыграет, как в пятом годе, революция, и к едрене-Матрене пойдет все колесом с горы. Нам это не на руку. Коль, не дай бог, прогонят царя, то и до нас доберутся. Тут старую злобу прикинут, а тут земли наши зачнут мужикам нарезать. Ухи надо востро держать…

— Ты всегда одним боком думаешь, — хмурился Григорий.

— Пустое гутаришь. Ты молодой ишо, необъезженный. А вот погоди, умылят тебя дюжей, тогда узнаешь, на чьей делянке правда.

На этом обычно разговоры кончались. Григорий умолкал, а Чубатый старался заговорить о чем-либо постороннем.

В тот день случай втянул Григория в неприятную историю. В полдень, как всегда, с той стороны холма остановилась подъехавшая полевая кухня. К ней по ходам сообщения, обгоняя друг друга, заторопились казаки. Для третьего взвода за пищей ходил Мишка Кошевой. На длинной палке он принес снизку дымящихся котелков и, едва лишь вошел в землянку, крикнул:

— Так нельзя, братушки! Что ж это, аль мы собаки?

— Ты об чем? — спросил Чубатый.

— Дохлиной нас кормят! — возмущенно крикнул Кошевой.

Он кивком откинул назад золотистый чуб, похожий на заплетенную гроздь дикого хмеля, и, ставя на нары котелки, кося на Чубатого глазом, предложил:

— Понюхай, чем щи воняют.

Чубатый, нагнувшись над своим котелком, ворочал ноздрями, кривился, и, невольно подражая ему, так же двигал ноздрями, морщил тусклое лицо Кошевой.

— Вонючее мясо, — решил Чубатый.

Он брезгливо отставил котелок, глянул на Григория.

Тот рывком поднялся с нар, сгорбатил и без того вислый нос над щами, откинулся назад и ленивым движением ноги сбил передний котелок на землю.

— На что так-то? — нерешительно проговорил Чубатый.

— А ты не видишь — на что? Глянь. Аль ты подслепый? Это что? — указал Григорий на расползавшуюся под ногами мутную жижу.

— О-о-о-о!.. Черви!.. Мама стара… А я не видал!.. Вот так обед. Это не щи, а лапша… Замест потрохов — с червями.

На полу, возле сукровично-красного куска мяса, в кружочках жировых пятен, лежали, вяло распластавшись, вывари вшиеся, белые пухло-коленчатые черви.

— Один, другой, третий, четвертый… — почему-то шепотом считал Кошевой.

С минуту молчали. Григорий плевал сквозь зубы. Кошевой обнажил шашку, сказал:

— Зараз арестуем эти щи и — к сотенному.

— Во! Дельно! — одобрил Чубатый.

Он засуетился, отвинчивая штык, говорил:

— Мы будем гнать щи, а ты, Гришка, должен следом идтить. Сотенному отрапортуешь.

На штыке Чубатый и Мишка Кошевой несли полный котелок щей, шашки держали

наголо. Позади сопровождал их Григорий, а за ним сплошной серо-зеленой волной двигались по зигзагам траншей выбежавшие из землянок казаки.

— Что такое?

— Тревога?

— Может, насчет мира что?

— Какой там… мира тебе захотелось, а сухаря не хочешь?

— Щи червивые арестовали!

У офицерской землянки Чубатый с Кошевым остановились. Григорий, пригибаясь, придерживая левой рукой фуражку, шагнул в «лисью нору».

— Не напирай! — зло оскалился Чубатый, оглядываясь на толкнувшего его казака.

Сотенный командир вышел, застегивая шинель, недоумевающе и чуть встревоженно оглядываясь на Григория, выходившего из землянки последним.

— В чем дело, братцы? — Командир заскользил глазами по головам казаков.

Григорий зашел ему наперед, ответил в общей тишине:

— Арестованного пригнали.

— Какого арестованного?

— А вот… — Григорий указал на котелок щей, стоявших у ног Чубатого. — Вот арестованный… Понюхайте, чем ваших казаков кормят.

У него неровным треугольником изломалась бровь и, мелко подрожав, выпрямилась. Сотенный пытливо следил за выражением Григорьева лица; хмурясь, перевел взгляд на котелок.

— Падлом зачали кормить! — запальчиво крикнул Мишка Кошевой.

— Каптера сменить!

— Гадюка!..

— Зажрался, дьявол!

— Он из бычиных почек щи лопает…

— А тут с червями! — подхватили ближние.

Сотенный, выждав, пока улегся гул голосов, сказал резко:

— Ти-ш-ше! Молчать теперь! Все сказано. Каптенармуса сегодня же сменяю. Назначу комиссию для того, чтобы обследовать его действия. Если недоброкачественное мясо…

— К суду его! — громыхнуло сзади.

Голос сотенного захлестнуло новым валом вскриков.

Каптенармуса сменять пришлось в дороге. Через несколько часов после того, как взбунтовавшиеся казаки арестовали и пригнали к сотенному щи, штаб 12-го полка получил приказ сняться с позиций и по приложенному к приказу маршруту походным порядком двигаться в Румынию. Ночью казаков сменили сибирские стрелки. В местечке Рынвичи полк разобрал лошадей и наутро форсированным маршем пошел в Румынию.

На помощь румынам, терпевшим поражение за поражением, перебрасывались крупные войсковые соединения. Это видно было уже по одному тому, что в первый же день похода квартирьеры, высланные перед вечером в деревню, где по маршрутному расписанию была указана ночевка, вернулись ни с чем: деревня была до отказа забита пехотой и артиллерией, тоже передвигавшейся к румынской границе. Полк вынужден был сделать лишние восемь верст, чтобы обеспечиться квартирами.

Шли семнадцать дней. Лошади отощали от бескормицы. В разоренной войной прифронтовой полосе не было кормов; жители или бежали внутрь России, или скрывались в лесах; раскрытые халупы пасмурно чернели нагими стенами, редко на обезлюдевшей улице встречали казаки хмурого напуганного жителя, да и тот, завидя вооруженных, спешил

скрыться. Казаки, разбитые непрестанным походом, назябшиеся и злые за себя, за лошадей, за все, что приходилось терпеть, раскрывали соломенные крыши построек; в деревнях, уцелевших от разгрома, не стеснялись воровать скудный кормишко, и никакими угрозами со стороны командного состава нельзя было удержать их от произвола и воровства.

Уже неподалеку от румынской территории, в какой-то зажиточной деревушке, Чубатый ухитрился выкрасть из амбара с меру ячменя. Хозяин поймал его с поличным, но Чубатый избил смирного, престарелого бессарабца, а ячмень унес-таки коню. Взводный офицер застал его у коновязи. Чубатый навесил торбу коню, ходил, оглаживая дрожащими руками его запавшие мослаковатые бока, как человеку, засматривал ему в глаза.

— Урюпин! Отдай ячмень, сукин сын! Тебя же, мерзавца, расстреляют за это!..

Чубатый глянул на офицера задымленным косым взглядом и, хлопнув под ноги фуражку, в первый раз за свою бытность в полку разразился истошным криком:

— Судите! Расстреляйте! Убей меня тут, а ячмень не отдам!.. Что, мой конь с голоду должен сдыхать? А? Не дам ячмень! Зерна одного не дам!

Он хватался то за голову, то за гриву жадно жевавшего коня, то за шашку…

Офицер постоял молча, поглядел на чудовищно оголенные конские кострецы и, кивнув головой, сказал:

— Что ж ты горячему-то даешь зерно?

В голосе его явственно сквозило смущение.

— Не, он остыл уж, — почти шепотом ответил Чубатый, собирая на ладонь упавшие из торбы зерна и вновь ссыпая их туда же.

В первых числах ноября полк был уже на позициях. Над Трансильванскими горами вились ветры, в ущельях бугрился морозный туман, крепко пахли сосновые леса, опаленные заморозками, и на первом чистом снегу в горах чаще попадались на глаза людям следы зверей: волки, лоси, дикие козы, вспугнутые войной, покинувшие дикие урочища, уходили в глубь страны.

7 ноября 42-й полк штурмовал высоту «320». Накануне окопы занимали австрийцы, а в день штурма утром сменили их саксонцы, только что переброшенные с французского фронта. Казаки в пешем строю шли по каменистым, слегка запорошенным снегом склонам. Из-под ног осыпалась мерзлая крошка камня, курилась мелкая снежная пыль. Григорий шел рядом с Чубатым и виновато, небывало застенчиво улыбаясь, говорил ему:

— Я чтой-то ноне робею… Будто в первый раз иду наступать.

— Да ну?.. — дивился Чубатый.

Он нес свою отерханную винтовку, держа ее за ремень; обсасывал с усов ледяные сосульки.

Казаки двигались в гору неровными цепями, шли без выстрела. Гребни вражеских окопов угрожающе молчали. Там, за увалом, у немцев, лейтенант-саксонец, с красным от ветра лицом и облупившимся носом, откидываясь всем корпусом назад, улыбаясь, кричал задорно солдатам:

— Kameraden! Wir haben die Blaumantel oft genug gedroschen! Da wollen wir's auch diesen einpfeffern, was es heipt mit uns'n Huhnchen zu rupfen! Ausharren! Schiept noch nicht. [35]

Шли в штурм казачьи сотни. Сыпалась из-под ног рыхлая каменистая порода. Подтыкая концы порыжелого башлыка, Григорий нервно улыбался. Впавшие щеки его, усеянные черным жнивьем давно не бритой бороды, и вислый нос отливали желтой синевой, из-под заиневших бровей тускло, как осколки антрацита, светили глаза. Обычное спокойствие покинуло его. Ломая в себе внезапно вернувшееся проклятое чувство боязни, он говорил Чубатому, щуря неверный взгляд на седой, притрушенный снежком гребень окопов:

— Молчат. Подпущают поближе. А я боюсь, и не совестно мне… Что ежли зараз повернуться и — назад?

— Чего ты галдишь ноне? — раздраженно допытывался Чубатый. — Тут, милый, как в картежной игре: не веришь себе — голову снимут. Ты из лица пожелтел, Гришка… Ты либо хворый, либо… кокнут нынче тебя. Гля-ка! Видал?

Над окопами на секунду встал во весь рост и вновь упал немец в короткой шинели и острошипой каске.

Левее Григория красивый светло-русый казак Еланской станицы на ходу то снимал с правой руки перчатку, то надевал опять. Он повторял это движение беспрерывно, торопливо шагая, трудно сгибая ноги в коленях и преувеличенно громко покашливая. «Будто один ночью идет… насильно кашляет, — веселит себя», — подумал про него Григорий. За этим казаком виднелась веснушчатая щека урядника Максаева, дальше шагал Емельян Грошев, твердо выставив винтовку с завернутым на сторону жалом штыка. Григорий вспомнил, что Емельян несколько дней назад на походе украл у румына мешок кукурузы, взломав вот этим штыком замок у чулана. Почти рядом с Максаевым шел Кошевой Мишка. Он жадно курил, часто сморкался, вытирая пальцы о наружную сторону левой полы шинели.

— Пить хочу, — говорил Максаев.

— Мне, Емельян, сапоги тесные. Нету через них ходу, — жаловался Мишка Кошевой.

Грошев прервал его озлобленно:

— Не об сапогах тут речь! Держись, зараз из пулемета немец полосканет.

После первого же залпа, сбитый с ног пулей, Григорий, охнув, упал. Он хотел было перевязать раненую руку, потянулся к подсумку, где лежал бинт, но ощущение горячей крови, шибко плескавшей от локтя внутри рукава, обессилило его. Он лег плашмя и, пряча за камень затяжелевшую голову, лизнул разом пересохшим языком пушистый завиток снега. Он жадно хватал дрожащими губами рассыпчатую снежную пыль, с небывалым страхом и дрожью вслушиваясь в сухое и резкое пощелкивание пуль и во всеобъемлющий грохот выстрелов. Приподняв голову, увидел, как казаки его сотни бежали под гору, скользя, падая, бесцельно стреляя назад и вверх. Ничем не объяснимый и не оправдываемый страх поставил его на ноги и также заставил бежать вниз, туда, к острозубчатой прошве соснового леса, откуда полк развивал наступление. Григорий опередил Грошева Емельяна, увлекавшего за собой раненого взводного офицера. Грошев бегом сводил того по крутому склону; сотник пьяно путал ногами и, редко припадая к плечу Грошева, блевал черными сгустками крови. Сотни лавиной катились к лесу. На серых скатах остались серые комочки убитых; раненые, которых не успели захватить, сползали сами. Вслед резали их пулеметы.

У-у-у-ка-ка-ка-ка! — рвался хлопьями сплошной поток выстрелов.

Григорий, опираясь на руку Мишки Кошевого, входил в лес. На пологой площадке у леса рикошетили пули. На левом фланге у немцев дробно стукотел пулемет. Казалось, будто по первому ломкому льду скачет, вызванивая, камень, пущенный сильной рукой.

У-у-у-у-ка-ка-ка-ка-ка!..

— Насыпали нам! — словно радуясь, выкрикнул Чубатый. Прислоняясь к рыжему стволу сосны, он лениво постреливал по перебегавшим над окопами немцам.

— Дураков учить надо! Учить! — вырывая у Григория руку, задыхаясь, закричал Кошевой. — Сука народ! Хуже! Кровью весь изойдет, тогда поймет, за что его по голове гвоздют!

— Ты к чему это? — Чубатый сощурился.

— Умный сам поймет, а дураку… дураку что? Ему силком не вдолбишь.

— Ты об присяге помнишь? Ты присягал аль нет? — привязывался Чубатый.

Кошевой, не отвечая, припал на колени, трясущимися руками сгребал с земли снег, глотал его с жадностью, мелко дрожа, кашляя.

V

Сбочь хутора Татарского, по небу, изморщенному седой облачной рябью, колесило осеннее солнце. Там, вверху, тихий ветерок лишь слегка подталкивал тучи, сплавляя их на запад, а над хутором, над темно-зеленой равниной Дона, над голыми лесами бил он мощными струями, гнул вершины верб и тополей, взрыхлял Дон, гнал по улицам табуны рыжих листьев. На Христонином гумне взлохматился плохо свершенный скирд пшеничной соломы, ветер, вгрызаясь, подрыл ему вершину, свалил тонкую жердь и вдруг, подхватив золотое беремя соломы, как на навильнике, понес его над базом, завертел над улицей и, щедро посыпав пустую дорогу, кинул ощетиненный ворох на крышу куреня Степана Астахова. Христонина жена, простоволосая, выскочила на баз, зажимая коленками юбку, поглядела, как ветер хозяйничает на гумне, и опять ушла в сенцы.

Третий год войны заметно сказывался на хозяйстве хутора. Те дворы, где не осталось казаков, щерились раскрытыми сараями, обветшалыми базами, постепенное разрушение оставляло на них свои неприглядные следы. Христонина жена хозяйствовала с девятилетним сынишкой; Аникушкина баба совсем не хозяйствовала, а по жалмерскому своему положению усиленно ухаживала за собой; румянилась, наводила красоту и за недостатком взрослых казаков принимала ребятишек лет по четырнадцати и больше, о чем красноречиво свидетельствовали дощатые ворота, в свое время обильно измазанные дегтем и досель хранившие бурые обличающие следы. Курень Степана Астахова пустовал, окна перед уходом забил хозяин досками, крыша местами ввалилась, поросла лопушатником, на дверях ржавел замок, а в раскрытые ворота база, непролазно заросшего бурьяном и лебедой, заходила в любое время поблудная скотина, ища приюта от жары или непогоды. У Томилина Ивана падала на улицу стена хаты, держала ее врытая в землю рогатая подпорка, видно, мстила лихому артиллеристу судьба за те немецкие и русские домики, которые разрушил он, будучи наводчиком.

И так по всем улицам и переулкам хутора. В нижнем конце лишь у Пантелея Прокофьевича по-настоящему выглядел баз: все исправно, целостно. Но и то не во всем. На крыше амбара попадали от ветхости жестяные петухи, скособочился амбар, некоторую бесхозяйственность мог приметить опытный глаз. Не до всего доходили руки старика, посев уменьшился, а про остальное уж и говорить нечего; лишь семья мелеховская не уменьшилась числом: на замену Петру и Григорию, таскавшимся по фронтам, в начале осени прошлого года родила Наталья двойню. Ухитрилась угодить свекрам, родив мальчика и девочку. Беременность Наталья переносила болезненно, иногда целыми днями нельзя было ходить из-за мучительных болей в ногах, двигалась, приволакивая ногу, морщась, но боль терпела стойко, — на смуглом, похудевшем и счастливом лице никогда она не отражалась. В минуты, когда особенно сводило ноги, на висках бисером проступал пот; лишь по этому догадывалась Ильинична; качая головой, ругалась:

— Ляжь ты, окаян-на-я! Что ты себя мордуешь?

В ясный сентябрьский день Наталья, почувствовав приближение родов, вышла на улицу.

— Ты куда это? — спросила свекровь.

— В займище. Проведаю коров.

Наталья торопливо вышла на хутор, оглядываясь, стоная, придерживая руками низ

живота, забралась в густую заросль дикого терна и легла. Уже стемнело, когда она задами пробралась домой. В холщовой завеске принесла двойнят.

— Милушка моя! Проклятая! Что ж ты это?.. Где ж ты была? — заголосила Ильинична.

— Я от стыда ушла… Батю не смела… Я чистая, маманя, и их искупала… Возьмите… — бледнея, оправдывалась Наталья.

Дуняшка кинулась за бабкой-повитухой. Дарья суетилась, застилая решето, а Ильинична, смеясь и плача, выкрикивала:

— Дашка! Брось ты решето! Котята они, что ли, что ты их в решето?.. Господи, да двое их! Ой господи, парнишка один!.. Натальюшка!.. Да постелите ей!..

Пантелей Прокофьевич, услышав на базу о том, что сноха разрешилась двойней, вначале руками развел, потом обрадованно, потурсучив бороду, заплакал и ни с того ни с сего накричал на подоспевшую бабку-повитуху:

— Брешешь, канунница! — Он тряс перед носом старухи когтистым пальцем. — Брешешь! Ишо не зараз переведется мелеховская порода! Казака с девкой подарила сноха. Вот сноха — так сноха! Господи, бож-же мой! За такую-то милость чем я ей, душеньке, отхвитаю?

Урожайный был тот год: корова отелила двойню, к Михайлову дню овцы окотили по двойне, козы… Пантелей Прокофьевич, дивясь такому случаю, сам с собой рассуждал:

«Счастливый ноне год, накладистый! Кругом двоится. Теперича приплоду у нас… ого-го!»

Наталья кормила детей грудью до года. В сентябре отняла их, но не оправилась до глубокой осени; на похудевшем лице молочно блестели зубы да теплым, парным блеском светились, от худобы казавшиеся чрезмерно большими, глаза. Всю жизнь вбивала в детей, стала неряшливей к себе, все время, свободное от работы по домашности, тратила на них: мыла, стирала, вязала, штопала и часто, примостившись боком к кровати, свесив ногу, брала из люльки двойнят и, движением плеч высвобождая из просторной рубахи туго налитые, большие бело-желтые, как дыни, груди, кормила сразу двоих.

— Они тебя и так вытянули всю. Часто дюже кормишь! — И Ильинична шлепала полные, в складках, ножонки внучат.

— Корми! Не жалей молока! Тебе его не на каймак сбирать, — с ревнивой грубоватостью вступался Пантелей Прокофьевич.

В эти годы шла жизнь на сбыв — как полная вода в Дону. Скучные, томились дни и, чередуясь, проходили неприметно, в постоянной толчее, в работе, в нуждишках, в малых радостях и большой неусыпной тревоге за тех, кто был на войне. От Петра и Григория приходили из действующей армии редкие письма в конвертах, измусоленных и запятнанных почтовыми штемпелями. Последнее письмо Григория побывало в чьих-то руках: половина письма была аккуратно затушевана фиолетовыми чернилами, а на полях серой бумаги стоял непонятный чернильный значок. Петро писал чаще Григория и в письмах, адресованных Дарье, грозил ей и просил бросать баловство, — видно, слухи о вольном житье жены доходили и до него. Григорий вместе с письмами пересылал домой деньги — жалованье и «крестовые», сулил в отпуск прийти, но что-то не шел. Дороги братьев растекались врозь: гнула Григория война, высасывала с лица румянец, красила его желчью, не чаял конца войны дождаться, а Петро быстро и гладко шел в гору, получил под осень шестнадцатого года вахмистра, заработал, подлизываясь к командиру сотни, два креста и уже поговаривал в письмах о том, что бьется над тем, чтобы послали его подучиться в офицерскую школу. Летом с Аникушкой, приходившим в отпуск, прислал домой немецкую каску, шинель и свою фотографическую карточку. С серого куска картона самодовольно глядело постаревшее лицо

его, торчмя стояли закрученные белесые усы, под курносым носом знакомой улыбкой щерились твердые губы. Сама жизнь улыбалась Петру, а война радовала, потому что открывала перспективы необыкновенные: ему ли, простому казаку, с мальства крутившему хвосты быкам, было думать об офицерстве и иной сладкой жизни… С одного лишь края являла Петрова жизнь неприглядную щербатину: ходили по хутору дурные про жену слухи. Степан Астахов был в отпуске осенью этого года и, вернувшись в полк, бахвалился перед всей сотней о том, что славно пожил он с Петровой жалмеркой. Не верил Петро, слушая рассказы товарищей; темнея лицом, улыбался, говорил:

— Брешет Степка! Это он за Гришку мне солит.

Но однажды, случайно ли или нарочно, выходя из окопной землянки, обронил Степан вышитую утирку; следом за ним шел Петро, поднял кружевную, искусно расшитую утирку и узнал в ней рукоделье жены. Вновь в калмыцкий узелок завязалась злоба меж Петром и Степаном. Случай стерег Петро, смерть стерегла Степана — лежать бы ему на берегу Западной Двины с Петровой отметиной на черепе. Но вскоре так случилось, что пошел Степан охотником снимать немецкую заставу и не вернулся. Рассказывали казаки, ходившие с ним, будто услыхал немецкий часовой, что режут они проволочные заграждения, кинул гранату; успели казаки прорваться к нему, кулаком сшиб с ног Степан немца-часового, а подчасок выстрелил, и упал Степан. Казаки закололи подчаска, обеспамятевшего немца, сбитого Степановой кулачной свинчаткой, уволокли, а Степана подняли было, хотели унести, но тяжел оказался казак — пришлось бросить. Просил раненый Степан: «Братцы! Не дайте пропасть! Братцы! Что ж вы меня бросаете?..» Но брызнула тут по проволоке пулеметная струя, и уползли казаки. «Станишники! Братцы!» — кричал вслед Степан, да где уж там — своя рубашка, а не чужая к телу липнет. После того как услышал Петро про Степана, полегчало, словно ссадную болячку сурчиным жиром смазали, но все же решил: «Пойду в отпуск — кровь из Дашки выну! Я не Степан, так не спущу…» — подумал было убить ее, но сейчас же отверг эту мысль: «Убей гадюку, а через нее вся жизнь спортится. В тюрьме сгниешь, все труды пропадут, всего лишишься…» Просто решил избить, но так, чтобы на всю жизнь отбило у бабы охоту хвост трепать: «Глаз выбью ей, змее, — черт на нее тогда позавидует». Так придумал Петро, отсиживаясь в окопах, неподалеку от крутоглинистого берега Западной Двины.

Мяла деревья и травы осень, жгли их утренники, холодела земля, чернели, удлиняясь, осенние ночи. В окопах отбывали казаки наряды, стреляли по неприятелю, ругались с вахмистрами за теплое обмундирование, впроголодь ели, но не выходила ни у кого из головы далекая от неласковой польской земли Донщина.

А Дарья Мелехова в эту осень наверстывала за всю голодную безмужнюю жизнь. На первый день покрова Пантелей Прокофьевич проснулся, как и всегда, раньше всех; вышел на баз и за голову ухватился: ворота, снятые с петель чьими-то озорными руками и отнесенные на середину улицы, лежали поперек дороги. Это был позор. Ворота старик сейчас же водворил на место, а после завтрака позвал Дарью в летнюю стряпку. О чем он с ней говорил — неизвестно, но Дуняшка видела, как спустя несколько минут Дарья выскочила из стряпки со сбитым на плечи платком, растрепанная и в слезах. Проходя мимо Дуняшки, она ежила плечи, крутые черные дуги бровей дрожали на ее заплаканном и злом лице.

— Подожди, проклятый!.. Я тебе припомню! — цедила она сквозь вспухшие губы.

Кофточка на спине ее была разорвана, виднелся на белом теле багрово-синий свежий подтек. Дарья, вильнув подолом, взбежала на крыльцо куреня, скрылась в сенях, а из стряпки прохромал Пантелей Прокофьевич, злой как черт. Он на ходу складывал вчетверо новые ременные вожжи.

Дуняшка услышала сиповатый отцов голос:

— …Тебе, сучке, не так надо бы ввалить!.. Потаскуха!..

Порядок в курене был водворен. Несколько дней Дарья ходила тише воды ниже травы, по вечерам раньше всех ложилась спать, на сочувственные взгляды Натальи холодно улыбалась, вздергивая плечом и бровью: «Ничего, дескать, посмотрим», — а на четвертый день и произошел этот случай, о котором знали лишь Дарья да Пантелей Прокофьевич. Дарья после торжествующе посмеивалась, а старик целую неделю ходил смущенный, растерянный, будто нашкодивший кот; старухе он не сказал о случившемся, и даже на исповеди утаил от отца Виссариона и случай этот, и греховные свои мысли после него.

Дело было так. Вскоре после покрова Пантелей Прокофьевич, уверовавший в окончательное исправление Дарьи, говорил Ильиничне:

— Ты Дашку не милуй! Нехай побольше работы несет. За делами некогда будет блудить-то, а то она — гладкая кобыла… У ней только что на уме — игрища да улица.

С этой целью он заставил Дарью вычистить гумно, прибрать на заднем базу старые дрова, вместе с ней чистил мякинник. Уже перед вечером надумал перенести веялку из сарая в мякинник, позвал сноху:

— Дарья?

— Чего, батя? — откликнулась та из мякинника.

— Иди, веялку перенесем.

Оправляя платок, отряхиваясь от мякинной трухи, насыпавшейся за воротник кофты, Дарья вышла из дверей мякинника и через гуменные воротца пошла к сараю. Пантелей Прокофьевич, одетый в ватную расхожую куртку и рваные шаровары, хромал впереди нее. На базу было пусто. Дуняшка с матерью пряли осенней чески шерсть, Наталья ставила тесто. За хутором рдяно догорала заря, звонили к вечерне. В прозрачном небе, в зените стояло малиновое недвижное облачко, за Доном на голых ветках седоватых тополей черными горелыми хлопьями висели грачи. В ломкой пустозвучной тишине вечера был четок и выверенно-строг каждый звук. Со скотиньего база тек тонкий запах парного навоза и сена. Пантелей Прокофьевич, покряхтывая, внес с Дарьей в мякинник вылинявшую рыже-красную веялку, установил ее в углу, сдвинул граблями ссыпавшуюся из вороха мякину и собрался выходить.

— Батя! — низким, пришептывающим голосом окликнула его Дарья.

Он шагнул за веялку; ничего не подозревая, спросил:

— Чего тут?

Дарья в распахнутой кофте стояла лицом к нему; закинув за голову руки, поправляла волосы. На нее из щели в стене мякинника падал кровяной закатный луч.

— Тут вот, батя, что-то… Подойди-ка, глянь, — говорила она, перегибаясь набок и воровски, из-за плеча свекра, поглядывая на распахнутую дверь.

Старик подошел к ней вплотную. Дарья вдруг вскинула руки и, охватив шею свекра, скрестив пальцы, пятилась, увлекая его за собой, шепча:

— Вот тут, батя… Тут… мягко…

— Ты чегой-то? — испуганно спрашивал Пантелей Прокофьевич.

Вертя головой, он попытался освободить шею от Дарьиных рук, но она притягивала его голову к своему лицу все сильнее, дышала в бороду ему горячим ртом, смеясь, что-то шепча.

— Пусти, стерва! — Старик рванулся и вплотную ощутил тугой живот снохи.

Она, прижавшись к нему, упала на спину, повалила его на себя.

— Черт! Сдурела!.. Пусти!

— Не хочешь? — задыхаясь, спросила Дарья и, разжав руки, толкнула свекра в грудь. —

Не хочешь?.. Аль, может, не могешь?.. Так ты меня не суди!.. Так-то!

Вскочив на ноги, она торопливо оправила юбку, обмела со спины мякинные ости и в упор выкрикнула ошалевшему Пантелею Прокофьевичу:

— Ты за что меня надысь побил? Что ж, аль я старуха? Ты-то молодой не таковский был? Мужа — его вот год нету!.. А мне, что ж, с кобелем, что ли? Шиш тебе, хромой! Вот на, выкуси!

Дарья сделала непристойное движение и, играя бровями, пошла к дверям. У дверей она еще раз внимательно оглядела себя, стряхнула с кофты и платка пыль, сказала, не глядя на свекра:

— Мне без этого нельзя… Мне казак нужен, а не хочешь — я найду себе, а ты помалкивай!

Она виляющей быстрой походкой дошла до гуменных ворот, скрылась, не оглянувшись, а Пантелей Прокофьевич все стоял у рыжего бока веялки, жевал бороду и недоуменно и виновато оглядывал мякинник и концы своих латаных чириков. «Неужели на ее стороне правда? Может, мне надо бы было с нею грех принять?» — оглушенный происшедшим, растерянно думал он в этот миг.

VI

В ноябре в обним жали морозы. Ранний перепадал снежок. На колене против верхнего конца хутора Татарского стал Дон. По хрупкому сизому льду перебирались редкие пешеходы на ту сторону, а ниже одни лишь окраинцы подернулись пузырчатым ледком, на середине бугрилось стремя, смыкались и трясли седыми вихрами зеленые валы. На яме, против Черного яра, в дрямах [36], на одиннадцатисаженной глубине давно уже стали на зимовку сомы, в головах у них — одетые слизью сазаны, одна быль моталась по Дону да на перемыках шарахался судак, гоняясь за калинкой. На хрящу легла стерлядь. Ждали рыбаки морозов поядреней, покрепче, — чтобы по первому льду пошарить цапками, полапать красную рыбу.

В ноябре получили Мелеховы письмо от Григория. Писал из Кувински, из Румынии, о том, что ранен был в первом же бою, пуля раздробила ему кость левой руки, поэтому отправляют его на излечение в свой округ, в станицу Каменскую. Следом за письмом проведала мелеховский курень другая беда; года полтора назад подошла Пантелею Прокофьевичу нужда в деньгах, взял у Мохова Сергея Платоновича сто рублей серебром под запродажное письмо. Летом в этом году вызвали старика в магазин, и Атепин-Цаца, ущемив нос в золотое пенсне, глядя поверх стекол на мелеховскую бороду, заявил:

— Цто же ты, Пантелей Прокофьиц, будешь платить или как?

Оглядел Пантелей Прокофьевич пустующие полки и глянцевитый от старости прилавок, помялся:

— Погоди, Емельян Констентиныч, обернусь трошки — заплачу.

На том кончился разговор. Обернуться старику не пришлось — урожай не указал, а из гулевой скотины нечего было продавать. И вот тебе, как снег на темя, — приехал судебный пристав, прислал за неплательщиком — и в два оборота:

— Вынь да положь сто целковых.

На въезжей, в комнате пристава, на столе длинная бумага, на ней читай — не перечь:

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ

По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 1916 года октября дня, я. Донецкого округа Мировой судья 7-го участка, слушал гражданское дело по иску мещанина Сергея

Мохова с урядника Пантелеймона Мелехова 100 руб. по запродажному письму, и, руководствуясь ст. ст. 81, 100, 129, 133, 145, Уст. Гр. Суд., заочно определил:

Взыскать с ответчика, урядника Пантелеймона Прокофьева Мелехова, в пользу истца, мещанина Сергея Платоновича Мохова, сто рублей по запродажному письму от 21 июня 1915 года, а также три рубля судебных и за ведение дела издержек. Решение не окончательное; объявить как заочное.

Решение это, на основании 3 пункт. 156 ст. Устава Граждан. Судопр., подлежит немедленному исполнению, как вошедшее в законную силу. Донецк. Окр. Мировой судья 7-го участка, по указу Его Императорского Величества, приказал: всем местам и лицам, до коих сие может относиться, исполнить в точности настоящее решение, а властям местным, полицейским и военным оказывать исполняющему решение приставу надлежащее по закону содействие без малейшего отлагательства.

Пантелей Прокофьевич, выслушав пристава, попросил разрешения сходить домой, пообещав сегодня же внести деньги. Со въезжей он прямо направился к свату Коршунову. На площади повстречался с безруким Алешкой Шамилем.

— Хромаешь, Прокофьич? — приветствовал его Шамиль.

— Помаленечку.

— Далеко ли бог несет?

— К свату. Дельце есть.

— О! А у них, брат, радость. Не слыхал? Сынок Мирона Григорича с фронта пришел. Митька ихний пришел, гутарют.

— В самом деле?

— Слыхал такую брехню, — мигая щекой и глазом, доставая кисет и подходя к Пантелею Прокофьевичу, говорил Шамиль. — Давай закурим, дядя! Бумажка моя, табачок твой.

Закуривая, Пантелей Прокофьевич колебался — идти или нет; в конце концов решил пойти и, попрощавшись с безруким, захромал дальше.

— Митька-то тоже с крестом! Норовит твоих сынов догнать. У нас теперь по хутору кавалеров этих — как воробьев в хворосте! — горланил вслед ему Шамиль.

Пантелей Прокофьевич не спеша вышел в конец хутора; поглядывая на окна коршуновского куреня, подошел к калитке. Встретил его там сват. Веснушчатое лицо старика Коршунова словно вымыла радость, казался он и чище и не таким уж конопатым.

— Прослыхал про нашу радость? — ручкаясь со сватом, спрашивал Мирон Григорьевич.

— Дорогой от Алешки Шамиля узнал. Я к тебе, сваток, по другому делу…

— Погоди, какие дела! Пойдем в куреня — служивого встренешь. Мы, признаться, на радостях трошки подпили… У моей бабы блюлась бутылка царской про свят случай.

— Ты мне не рассказывай, — шевеля ноздрями горбатого носа, улыбнулся Пантелей Прокофьевич, — я ишо издаля почуял!

Мирон Григорьевич распахнул дверь, пропуская свата вперед. Тот шагнул через порог и сразу уперся взглядом в Митьку, сидевшего за столом в переднем углу.

— Вот он, наш служивый! — плача, воскликнул дед Гришака и припал к плечу вставшего Митьки.

— Ну с прибытием, казачок!

Пантелей Прокофьевич, подержав длинную ладонь Митьки, отступил шаг назад, дивясь и оглядывая его.

— Чего смотрите, сват? — улыбаясь, хрипловато пробасил Митька.

— Гляжу — и диву даюсь: провожали вас на службу с Гришкой — ребятами были, а теперь ишь… казак, прямо хучь в Атаманский!

Лукинична, заплаканными глазами глядя на Митьку, наливала в рюмку водку и, не видя, лила через край.

— Ты, короста! Такую добро через льешь! — прикрикнул на нее Мирон Григорьевич.

— С радостью вас, а тебя, Митрий Мироныч, с счастливым прибытием!

Пантелей Прокофьевич поворочал по сторонам синеватыми белками и, не дыша, дрожа ресницами, выцедил пузатую рюмку. Медленно вытирая ладонью губы и усы, он стрельнул глазами на дно рюмки, — запрокинув голову, стряхнул в раззявленный чернозубый рот сиротинку-каплю и только тогда перевел дух, закусывая огурцом, блаженно и долго щурясь. Сваха поднесла ему вторую, и старик как-то сразу смешно опьянел. Митька следил за ним, улыбаясь. Кошачьи зрачки его то суживались в зеленые, как осокой прорезанные, щелки, то ширились, темнели. Изменился он за эти годы неузнаваемо. Почти ничего не осталось в этом здоровенном черноусом казачине от того тонкого, стройного Митьки, которого три года назад провожали на службу. Он значительно вырос, раздался в плечах, ссутулился и пополнел, весил, наверное, никак не меньше пяти пудов, огрубев лицом и голосом, выглядел старше своих лет. Одни глаза были те же — волнующие и беспокойные; в них-то и тонула мать, смеясь и плача, изредка трогая морщеной, блеклой ладонью прямые коротко остриженные волосы сына и белый его узкий лоб.

— Кавалером пришел? — пьяно улыбаясь, спрашивал Пантелей Прокофьевич.

— Кто теперь из казаков крестов не имеет? — нахмурился Митька. — Крючкову вон три креста навесили за то, что при штабе огинается.

— Он, сваточек, гордый у нас, — спешил дед Гришака. — Он, поганец, весь в меня, в деда. Он не могет спину гнуть.

— Кресты, кубыть, не за это им вешают, — насупился было Пантелей Прокофьевич, но Мирон Григорьевич увлек его в горницу; усаживая на сундук, спросил:

— Наталья с внуками как? Живы-здоровы? Ну, слава богу! Ты, сват, никак, сказал, что по делу зашел? Какое у тебя завелось дело? Говори, а то ишо выпьем — и захмелеешь.

— Денег дай. Дай ради бога! Выручи, а то бедствую с этими… деньгами.

Пантелей Прокофьевич просил с размашистой униженностью. Сват перебил его:

— Сколько?

— Сто бумажек.

— Каких? Бумажки-то — они разные бывают.

— Сто целковых.

— Так и говори.

Мирон Григорьевич, порывшись в сундуке, достал засаленный платок, развязал его; шелестя хрусткой бумагой, отсчитал десять «красненьких».

— Спасибо, сваток… отвел от беды!

— Ну, о чем гутарить. Свои люди — сочтемся!

Митька пробыл дома пять дней; ночи проводил у Аникушкиной жены, сжалившись над горькой бабьей нуждой и над самой над ней, безотказной и простенькой бабенкой. Днями бродил по родне, по гостям. Высокий, одетый в одну легонькую защитную тужурку, попирал раскачкой хуторские улицы, сдвинув фуражку набекрень, хвастая крепостью своей на холод. Как-то перед вечером заглянул и к Мелеховым. Принес с собой в жарко натопленную кухню запах мороза и незабываемый едкий дух солдатчины. Посидел, поговорил о войне и хуторских новостях, пощурил на Дарью зеленые, камышовые глаза и собрался уходить. Дарья, глаз не сводившая со служивого, качнулась, как пламя свечки, когда Митька, уходя, хлопнул дверью, туго поджимая губы, накинула было платок, но Ильинична спросила:

— Ты куда, Дашка?

— До ветру… по нужде.

— Пойдем вместе.

Пантелей Прокофьевич сидел, не поднимая опущенной головы, будто и не слышал разговора. Мимо него прошла к дверям Дарья, тая под опущенными веками лисий блеск; за ней, кряхтя, увалисто катилась свекровь. Митька, покашливая, скрипел сапогами у калитки, курил в горсть. На звяк щеколды он шагнул было к крыльцу.

— Это ты, Митрий? Либо заблудился на чужом базу? — ехидно окликнула его Ильинична. — Так уж калитку-то за собой засовом запри, а то ветер хлопать будет ночью… Ветер-то ишь какой…

— Ничего не заблудился… Запру… — помолчав, досадливо сказал Митька и, кашлянув, прямо через улицу потянул к Аникушкиному базу.

Жил Митька птичьей, бездумной жизнью: жив нынче — хорошо, а назавтра — само дело укажет. Служил он с прохладцей и, несмотря на то, что бесстрашное сердце гоняло его кровь, не особенно искал возможности выслужиться — зато послужной список Митьки являл некоторое неблагополучие: был хозяин его два раза судим — по обвинению в изнасиловании русско-подданной польки и в грабеже, за три года войны подвергался бесчисленным наказаниям и взыскам; однажды военно-полевой суд чуть не прилепил ему даже расстрела, но как-то умел Митька выкручиваться из бед, и, хотя и был в полку на последнем счету, — любили его казаки за веселый улыбчивый нрав, за похабные песни (на них был Митька мастер не из последних), за товарищество и простоту, а офицеры — за разбойную лихость. Улыбаясь, топтал Митька землю легкими волчьими ногами, было много в нем от звериной этой породы: в походке увалистой — шаг в шаг, в манере глядеть исподлобья зелеными зрачкастыми глазами; даже в повороте головы — никогда не вертел Митька контуженой шеей — поворачивался всем корпусом, коли надо было оглянуться. Весь скрученный из тугих мускулов, на широком костяке, был он легок и скуп в движениях, терпким запахом здоровья и силы веяло от него — так пахнет поднятый лемехами чернозем в логу. Была для Митьки несложна и пряма жизнь, тянулась она пахотной бороздой, и он шел по ней полноправным хозяином. Так же примитивно просты и несложны были его мысли: голоден — можно и должно украсть, хотя бы и у товарища, и крал, когда был голоден; износились сапоги — проще простого разуть пленного немца; проштрафился, надо искупить вину — и Митька искупал — ходил в разведку, приносил снятых им полузадушенных немецких часовых, охотником шел на рискованнейшие предприятия. В 1915 году попался в плен, был избит и изранен тесаками, а ночью, изломав до корней ногти, продрал крышу сарая и бежал, захватив на память обозную упряжь. Поэтому-то многое и сходило Митьке.

На шестые сутки отвез Мирон Григорьевич сына на Миллерово, проводил его до вагона, послушал, как, удаляясь, тарахтят звенья зеленых коробок, и долго ковырял кнутовищем насыпанный у платформы шлак, не поднимая опущенных, посоловевших глаз. Плакала по сыну Лукинична, кряхтел дед Гришака, трубил в горнице, сморкаясь в ладонь, вытирая ее о замасленную полу чекменька. Плакала и Аникушкина жалмерка, вспоминая большое, горячее на ласки тело Митьки и мучаясь от триппера, которым наделил ее служивый.

Время заплетало дни, как ветер конскую гриву. Перед рождеством внезапно наступила оттепель; сутки шел дождь, с обдонской горы по ерикам, шалая, неслась вода; на обнажившихся от снега мысах зазеленели прошлогодняя травка и мшистые плитняки мела; на Дону заедями пенились окраинцы, лед, трупно синея, вздувался. Невыразимо сладкий запах излучал оголенный чернозем. По Гетманскому шляху, по прошлогодним колеям пузырилась вода. Свежими обвалами зияли глинистые за хутором яры. Южный ветер нес с Чира томленые запахи травного тлена, и в полдни на горизонте уже маячили, как весной, голубые,

нежнейшие тени. По хутору около бугров высыпанной у плетней золы стояли рябые лужины. На гумнах оттаивала у скирдов земля, колола нос прохожего приторная сладость подопревшей соломы. Днями по карнизам куреней с соломенных сосульчатых крыш стекала дегтярная вода, надрывно чечекали на плетнях сороки, и, обуреваемый преждевременным томлением весны, ревел зимовавший на базу у Мирона Григорьевича общественный бугай. Он раскидывал рогами плетни, терся о дубовую изъеденную червоточиной соху, мотал шелковистым подгрудком, копытил на базу рыхлый, напитанный талой водой снег.

На второй день рождества взломало Дон. С мощным хрустом и скрежетом шел посредине стор. На берег, как сонные чудовищные рыбы, вылезали льдины. За Доном, понукаемые южным волнующим ветром, стремились в недвижном зыбком беге тополя.

Шшшшшуууууу… — плыл оттуда сиповатый, приглушенный гул.

Но к ночи загудела гора, взголчились на площади вороны, мимо мелеховского куреня прокатила Христонина свинья с клочком сена в пасти, и Пантелей Прокофьевич решил: «Прищемило весну, завтра саданет мороз». Ночью ветер повернул с востока, легонький морозец кристальным ледком латал изорванные оттепелью лужицы. К утру дул уже московский ветер, тяжко давил мороз. Вновь водворилась зима. Лишь посредине Дона, напоминая об оттепели, большими белыми листьями плыли шматки льдин да на бугре морозно дымилась обнаженная земля.

Вскоре после рождества Пантелею Прокофьевичу на станичном сходе сообщил писарь о том, что видел в Каменской Григория и что тот просил уведомить родных о скором своем приезде.

VII

Маленькими смуглыми руками, покрытыми редким глянцем волоса, щупал Сергей Платонович Мохов жизнь со всех сторон. Иногда и она с ним заигрывала, иногда висела, как камень на шее утопленника. Многое перевидал Сергей Платонович на своем веку, в разных бывал передрягах. Давненько, когда работал еще по ссыпке, пришлось ему за гроши скупить у казаков хлеб, а потом вывезти за хутор и ссыпать в Дурной яр четыре тысячи пудов сгоревшейся пшеницы. Помнил и 1905 год — и в него осенней ночухой разрядил кто-то из хуторских дробинок. Богател Мохов и проживался, под конец сколотил шестьдесят тысяч, положил их в Волго-Камский банк, но дальним нюхом чуял, что неотвратимо подходит время великого потрясения. Ждал Сергей Платонович черных дней и не ошибся: в январе семнадцатого года учитель Баланда, исподволь умиравший от туберкулеза, жаловался ему:

— Революция на носу, а тут изволь издыхать от глупейшей и сентиментальнейшей болезни. Обидно, Сергей Платонович!.. Обидно, что не придется поглядеть, как роспотрошат ваши капиталы и вас вспугнут из теплого гнездышка.

— Что же тут обидного?

— А как же? Все же, знаете, приятно будет видеть, как все пойдет прахом.

— Нет уж, милый мой! Умри ты нынче, я завтра! — тайно злобясь, говорил Сергей Платонович.

В январе еще блуждали по хуторам и станицам отголоски столичных разговоров о Распутине и царской фамилии, а в начале марта, как стрепета сетью, накрыла Сергея Платоновича весть о низвержении самодержавия. Казаки отнеслись к известию о перевороте со сдержанной тревогой и выжиданием. В этот день у закрытой моховской лавки толпились до вечера старики и казаки помоложе. Хуторский атаман Кирюшка Солдатов (преемник

убитого Маныцкова), большой рыжеусый и чуть раскосый казак, был подавлен, в разговоре, оживленно закипевшем у лавки, участия почти не принимал, ползал косыми глазами по казакам, изредка вставляя растерянное восклицание:

— Наворошили делов!.. Ну и ну!.. Как теперича жить!..

Сергей Платонович, увидев из окна толпу у лавки, решил пойти потолковать со стариками. Надел енотку и, опираясь на коричневую трость со скромными серебряными инициалами, вышел на парадное крыльцо. От лавки сочился гомон.

— Ну, Платоныч, ты человек грамотный, расскажи нам, темным, что теперь и как будет? — спросил Матвей Кашулин, напуганно улыбаясь, собирая у зябкого носа косые складки.

На поклон Сергея Платоновича старики почтительно снимали шапки, расступались, давая место в кругу.

— Без царя будем жить… — помялся Сергей Платонович.

Старики заговорили все сразу:

— Как же без царя-то?

— Отцы наши и деды при царях жили, а теперя не нужен царь?

— Голову сними — небось ноги без нее жить не будут.

— Какая же власть заступит?

— Да ты не мнись, Платоныч! Гутарь с нами по чистой… Чего ты опасаешься?

— Он, может, и сам не знает, — улыбнулся Авдеич Брех, и от улыбки ямки на розовых щеках его стали глубже.

Сергей Платонович тупо оглядел свои старые резиновые боты, сказал, с болью выплевывая слова:

— Государственная дума будет править. Республика будет у нас.

— Достукались, мать те черт!

— Мы как служили при покойничке Александре Втором… — начал было Авдеич, но суровый старик Богатырев строго перебил его:

— Слыхали! Не об этом тут речь.

— Казакам, значит, концы приходют?

— Мы тут забастовки работаем, а немец тем часом и до Санкт-Петербурга доберется.

— Раз равенство — значит, с мужиками нас поравнять хочут…

— Гляди, небось и до земельки доберутся?..

Сергей Платонович, насильно улыбаясь, оглядел расстроенные лица стариков, на душе у него стало сумеречно и гадко. Он привычным жестом раздвоил гнедоватую бороду, заговорил, злобясь неизвестно на кого:

— Вот, старики, до чего довели Россию… Сравняют вас с мужиками, лишат вас привилегий, да еще и старые обиды припомнят. Тяжелые наступают времена… В зависимости от того, в какие руки попадет власть, а то и до окончательной гибели доведут.

— Живы будем — посмотрим! — Богатырев покачал головою и из-под клочкастых хлопьев бровей глянул на Сергея Платоновича недоверчиво. — Ты, Платоныч, свою линию гнешь, а нам, могет быть, что и полегчает от этого?..

— Чем же это вам полегчает? — язвительно спросил Сергей Платонович.

— Войну новая власть, может, кончит… Могет ить быть такое? Ась?

Сергей Платонович махнул рукой и постаревшей походкой заковылял к своему голубому нарядному крыльцу. Он шел, разбросанно думая о деньгах, о мельнице и ухудшающейся торговле, вспомнил, что Елизавета теперь в Москве, а Владимир должен вскоре приехать из Новочеркасска. Тупой укол тревоги за детей не нарушил мятущейся бессвязицы мыслей. Так

дошел он до крыльца, чувствуя, как за этот день сразу потускнела жизнь и даже сам он словно внутренне вылинял от ноющих мыслей. Кислым вкусом ржавчины во рту вызвало приток слюны. Оглянувшись на стариков у лавки, Сергей Платонович плюнул через резные перила крыльца, зашаркал по террасе в комнаты. Анна Ивановна встретила мужа в столовой, скользнула по лицу его привычно равнодушным взглядом пустоцветных глаз, спросила:

— Перед чаем закусишь?

— Да нет же! Какая там закуска?! — брезгливо отмахнулся Сергей Платонович.

Раздеваясь, он все чувствовал вкус ржавчины во рту и безрадостную пустоту в голове.

— От Лизы письмо.

Анна Ивановна прошла в спальню снующей иноходью (так всегда ходила она с первого дня замужества, придавленная большим хозяйством), вынесла надорванный конверт.

«Пустая и, кажется, недалекая девка», — в первый раз подумал так о дочери Сергей Платонович, морща нос от запаха духов, исходившего от плотного конверта. Старик невнимательно прочел письмо, почему-то остановился на слове «настроние» и долго думал, доискиваясь в нем непонятного смысла. В конце письма Елизавета просила выслать денег. Сергей Платонович, все еще ощущая ноющую пустоту в голове, прочел последние строки. Ему неожиданно захотелось тихо заплакать. Дыбом вставшая жизнь являла в этот миг ему порожнее свое нутро.

«Чужая она мне, — подумал он про дочь. — И я ей чужой. Родственные чувства испытывает — поскольку нужны деньги… Грязная девка, имеет любовников… а маленькая была белокурой и родной. Боже мой! Как меняется все!.. До старости остался дураком, верил в какую-то хорошую в будущем жизнь, а на самом деле одинок, как часовня… Нечисто наживал — да чисто и не наживешь! — жулил, жался, а теперь вот революция, и завтра мои холуи могут вытряхнуть меня из дома… Все под такую мать!.. А дети? Владимир глуп… Да и что толку? Все равно, пожалуй…»

По какой-то нелепой связи вспомнился давнишний случай на мельнице: завозчик-казак заскандалил по поводу большого отмола и отказался платить; он, Сергей Платонович, в это время был в машинном отделении, вышел на шум и, узнав в чем дело, приказал весовщику и мирошникам не отдавать сработанной муки. Маленький, невзрачный казачишка тянул мешок за гузырь к себе, мирошник, плотный, грудастый Завар, — к себе. Так случилось, что казачишка толкнул мирошника, тот, развернувшись, ударил его в висок большим, косо сжатым кулаком. Казачишка упал, потом вскочил на ноги, покачиваясь; на левом виске его кровянилась ссадина. Он вдруг шагнул к Сергею Платоновичу, выдохнул стенящим шепотом:

— Возьми муку! Жри! — и вышел, дрожа плечами.

Безо всякой видимой связи вспомнился Сергею Платоновичу этот случай и последствия его: жена казачишки приходила с просьбой возвратить муку; насильно выдавливая слезы, ища сочувствия у завозчиков, голосила:

— Что ж это такое, люди добрые? Какие это права? Отдай муку!

— Иди, тетка, иди подобру, а то волосья выщипаю! — посмеивался Завар.

Было неприятно и досадно смотреть, как весовщик Валет, такой же слабосильный и мелкорослый, как и тот казачишка, полез на Завара в драку и после, жестоко избитый им, приходил просить расчет. Все это быстролетно мелькнуло в уме Сергея Платоновича, пока он сворачивал прочитанное письмо, глядя перед собой невидящими глазами.

День этот оставил под исход садную дурную боль. Сергей Платонович спал ночью плохо, ворочался, одолеваемый бестолковыми мыслями и неосознанными желаниями; уснул за полночь, а утром, прослышав, что в Ягодное приехал с фронта к отцу Евгений Листницкий, решил съездить туда, чтобы поговорить, выяснить подлинное положение и

снять с души горькую накипь тревожных предчувствий. Емельян, посасывая трубку, запряг в городские сани маштака, повез хозяина в Ягодное.

Над хутором оранжевым абрикосом вызревало солнце, под ним тлели, дымясь, облака. Резкий морозный воздух был насыщен сочным плодовым запахом. Под копытами маштака хрустел подорожный ледок, пар сносился ветром от конских ноздрей назад, инеем оседал на гриве. Сергей Платонович, умиротворенный быстрой ездой и холодом, подремывал, качался, терся спиной о коверчатый задок саней. А в хуторе на площади чернела тулупами толпа казаков, овечьим порядком кучились бабы, запахнув донские шубы, опушенные бурым поречьем [37].

В середине толпы учитель Баланда, с платком у позеленевшего рта и с красной лентой в петличке полушубка, горячечно блестя глазами, говорил:

— …Видите, наступил конец проклятому самодержавию! Теперь ваших сынов не пошлют усмирять плетями рабочих, кончилась ваша позорная служба царю-кровососу. Учредительное собрание будет хозяином новой, свободной России. Оно сумеет построить иную, так сказать, светлую жизнь!

Сзади, за сборки полушубка, дергала сожительница, шептала умоляюще:

— Митя, оставь! Пойми, что вредно тебе, нельзя! Кровь ведь опять будет идти… Митя!

Казаки слушали Баланду, смущенно потупясь, покряхтывая, тая улыбки. Речь ему так и не дали докончить. Сочувственный голос из передних рядов произнес басовито:

— Жизня-то, как видать, светлая будет, да вот ты, сердяга, не дотянешь. Шел бы себе домой, а то на базу-то свежо…

Баланда скомкал недоговоренную фразу и, увядший, вышел из толпы.

В Ягодное приехал Сергей Платонович в полдень. Емельян за уздцы подвел маштака к плетеным яслям возле конюшни и, пока хозяин вылезал из саней и, откинув полу тулупа, доставал носовой платок, успел разнуздать лошадь, накинуть попону. У крыльца Сергея Платоновича встретил высокий, седоватый, в рыжих подпалинах борзой кобель. Он встал навстречу чужому, потягиваясь на длинных жилистых ногах, зевая; за ним с такой же ленцой поднялись и остальные собаки, черными узлами лежавшие возле крыльца.

«Черт, сколько их!..» — Сергей Платонович поглядывал опасливо, пятясь задом по сходцам.

В сухой, светлой передней тяжело воняло псиной, уксусом. Над сундуком, на широком размете оленьих рогов, висели каракулевая офицерская папаха, башлык с серебряной кистью и бурка. Сергей Платонович глянул туда; на миг ему показалось, что кто-то мохнатый, черный стоит на сундуке, недоумевающе вздернув плечи. Из боковой комнаты вышла полная черноглазая женщина. Она внимательно оглядела раздевавшегося Сергея Платоновича, спросила, не меняя серьезного выражения на смугловато-красивом лице:

— Вы к Николаю Алексеевичу? Я сейчас доложу.

Она вошла в зал не постучавшись, плотно прикрыв за собою дверь. В этой располневшей черноглазой красавице бабе Сергей Платонович с трудом признал Астахову Аксинью. Она сразу узнала его, плотнее сжала вишневые губы, пошла, держась неестественно прямо, чуть шевеля матовыми оголенными локтями. Через минуту следом за ней вышел сам старый Листницкий. Он, в меру приветливо улыбаясь, снисходительно пробасил:

— А! Степенство! Какими судьбами? Прошу… — посторонился, движением руки приглашая гостя в зал.

Сергей Платонович раскланялся с давно усвоенной им в отношении больших людей почтительностью; шагнул в зал. Навстречу ему, щурясь из-под пенсне, шел Евгений Листницкий:

— Это превосходно, милейший Сергей Платонович! Здравствуйте. Что ж это, как будто бы стареете? А?

— Ну, полно, Евгений Николаевич! Я еще думаю вас пережить. Как вы-то? В целости и сохранности?

Евгений, улыбаясь, поблескивая золотыми коронками зубов, под руку увлекал гостя к креслу. Они сели за небольшим столиком, перебрасываясь незначительными фразами, разыскивая в лицах друг у друга те изменения, которые произошли со времени последней встречи. Распорядившись подать чай, вошел пан. Большая гнутая трубка в зубах его дымилась. Он остановился у кресла Сергея Платоновича, спросил, положив на стол старчески костлявую, длинную ладонь:

— Как у вас на хуторе? Слышали… хорошие вести-то?

Сергей Платонович снизу вверх глянул на выбритые висячие складки на подбородке и шее генерала, вздохнул:

— Как не слышать!..

— С какой роковой предопределенностью шло к этому… — Генерал, дрогнув кадыком, глотнул дым. — Я предвидел это еще в начале войны. Что же… династия была обречена. Мне сейчас вспомнился Мережковский… помнишь, Евгений? — «Петр и Алексей». Там после пытки царевич Алексей говорит отцу: «Кровь моя падет на потомков твоих…»

— Ведь у нас ничего толкового нет, — волнуясь, заговорил Платонович; поерзав в кресле, он закурил, продолжал: — Газет не получаем уже неделю. Слухи самые невероятные, растерянность. Беда, ей-богу! Я, услыша, что Евгений Николаевич приехал в отпуск, решил съездить сюда к вам, расспросить, что там творится, чего нужно ожидать.

Евгений, уже без улыбки на опрятно выбритом белесом лице, рассказывал:

— Грозные события… Солдаты буквально все разложены, воевать не желают — устали. Собственно, в этом году уже не стало солдат в общепринятом смысле этого слова. Солдаты превратились в банды преступников, разнузданных и диких. Вот папа, например… он не может себе этого представить. Он не может представить, до какой степени разложения дошла наша армия… Самовольно уходят с позиций, грабят и убивают жителей, убивают офицеров, мародерствуют… Невыполнение боевого приказа — теперь обычная вещь.

— Рыба с головы гниет, — вместе с дымом вытолкнул старый Листницкий фразу.

— Я бы не сказал этого. — Евгений поморщился, жиловатое веко у него подергал нервчик. — Я бы не сказал… Снизу гниет армия, разлагаемая большевиками. Даже казачьи части, особенно те, которые близко соприкасались с пехотой, неустойчивы морально. Сильнейшая усталость и тяга к родным куреням… А тут большевики…

— Чего они хотят? — не вытерпел Сергей Платонович.

— О!.. — Листницкий усмехнулся. — Они хотят… это хуже холерных бацилл! Хуже в том отношении, что легче прилипает к человеку и внедряется в самые толщи солдатских масс. Я говорю про идею. Тут уже никакими карантинами не спасешься. Среди большевиков есть, несомненно, талантливые люди, с некоторыми мне приходилось общаться, есть просто фанатики, но преобладающее большинство — разнузданные, безнравственные субъекты. Тех не интересует сущность большевистского учения, а лишь возможность пограбить, уйти с фронта. Они хотят прежде всего захватить власть в свои руки, на любых условиях кончить, как они выражаются, «империалистическую» войну, хотя бы даже путем сепаратного мира, — земли передать крестьянам, фабрики — рабочим. Разумеется, это столь же утопично, сколь и глупо, но подобным примитивом достигается расположение солдат.

Листницкий говорил, сдерживая глухую злобу. В пальцах его ходил слоновой кости мундштук. Сергей Платонович слушал, наклонившись вперед, словно собираясь вскочить на

ноги. Старый Листницкий расхаживал по залу, чмыкая черными мохнатыми бурками, покусывая зелено-сединный ус.

Евгений рассказал о том, как еще до переворота он вынужден был бежать из полка, опасаясь мести казаков; о происходивших в Петрограде событиях, свидетелем которых был.

Разговор на минуту заглох. Старый Листницкий, глядя в переносицу Сергея Платоновича, спросил:

— Что же, купишь серого, того, которого смотрел осенью, — сынка «Боярыни»?

— До этого ли теперь, Николай Алексеевич? — Мохов жалко сморщился и махнул безнадежно рукой.

В людской в это время Емельян, отогревшись, пил чай, красным платком вытирал пот с бураковых щек, рассказывал о хуторе и новостях. Аксинья стояла у кровати, грудью навалясь на резную спинку, кутаясь в пуховый платок.

— Небось, наш курень уж развалился? — спрашивала она.

— Нет, зачем же развалился — стоит!. Чего ему сделается, — мучительно растягивая слова, отвечал Емельян.

— Соседи-то наши, Мелеховы, как живут?

— Живут помаленечку.

— Петро не приходил в отпуск?

— Вроде не приходил.

— А Григорий?.. Гришка ихний?

— Гришка приходил после рождества. Баба его двойню энтот год родила… А Григорий… — как же — приходил по ранению.

— Раненый был?

— А то как же? Ранили в руку. Его всего испятнили, как кобеля в драке: то ли крестов на нем больше, то ли рубцов.

— Какой же он, Гришка? — давясь сухой спазмой, спрашивала Аксинья и покашливала, выправляя секущийся голос.

— Такой же… горбоносый да черный. Турка туркой, как и полагается.

— Я не про то… Постарел аль нет?

— А чума его знает: может, и постарел трошки. Жена двойню родила — значит, не дюже постарел.

— Холодно здесь… — подрожав плечами, сказала Аксинья и вышла.

Наливая восьмую чашку, Емельян проводил Аксинью глазами, медленно, как слепой ноги, переставляя слова, сказал:

— Гнида гадкая, вонючая, какая ни на есть хуже. Давно ли в чириках по хутору бегала, а теперя уж не скажет «тут», а «здеся»… Вредные мне такие бабы. Я бы их, стерьвов… Выползень змеиный! Туда же… «холодно здеся»… Возгря [38] кобылья! Пра!

Обиженный, он не допил восьмой чашки, вылез, перекрестился, ушел, независимо поглядывая вокруг и сознательно грязня сапогами натертый пол.

Всю обратную дорогу он был угрюм, как и хозяин. Злобу, вызванную Аксиньей, вымещал на маштаке, нахлестывая кончиком кнута по местам маштаковой стыдливости и язвительно величая его «хлынцем» и «чикиляем». До самого хутора Емельян, против обыкновения, не перекинулся с хозяином ни одним словом. Напуганную тишину хранил и Сергей Платонович.

VIII

Первую бригаду одной из пехотных дивизий, находившуюся в резерве Юго-Западного фронта, с приданным к ней 27-м Донским казачьим полком, перед Февральским переворотом сняли с фронта с целью переброски в окрестности столицы на подавление начавшихся беспорядков. Бригаду отвели в тыл, снабдили новым зимним обмундированием, сутки превосходно кормили, на другой день, погрузив в вагоны, отправили, но события опередили двигавшиеся к Минску полки: в день отправки уже передавались настойчивые слухи, что император в Ставке главнокомандующего подписал акт об отречении от престола.

Бригаду с полпути вернули обратно. На станции Разгон 27-й полк получил приказ выгрузиться из вагонов. Пути были забиты составами. На платформе сновали солдаты с красными бантами на шинелях, с добротно сделанными новыми винтовками русского образца, но английского происхождения. Многие из солдат были возбуждены, опасливо поглядывали на строившихся посотенно казаков.

Пасмурный иссякал день. С крыш станционных построек журчалась вода, лужи на путях, покрытые нефтяными блестками, отражали серую мякотную овчину неба. Рев маневрировавших паровозов звучал приглушенно, рыхло. За пакгаузом полк в конном строю встречал командира бригады. Мокрые по щетки ноги лошадей дымились паром. Вороны безбоязненно садились позади строя, гребли и клевали оранжевые яблоки конского помета.

Командир бригады на вороном трехвершковом коне, в сопровождении командира полка, подъехал к казакам. Натянув поводья, оглядел сотни. Заговорил, словно отталкивая обнаженной рукой свои неуверенные, глухие слова:

— Станичники! Волею народа, царствовавший доныне император Николай Второй… э-э-э… низложен. Власть перешла к Временному комитету Государственной думы. Армия и вы в том числе должны спокойно перенести это… э-э-э… известие… Дело казаков защищать свою Родину от посягательств внешних и… э-э-э… так сказать, внешних врагов. Мы будем в стороне от начавшейся смуты, предоставим гражданскому населению избирать пути к организации нового правительства. Мы должны быть в стороне! Война и политика для армии несовместимы… В дни таких вот потрясений… э-э-э… всех основ мы должны быть тверды, как… — Бригадный, старый и бездарный служака-генерал, не привыкший держать речи, замялся, копаясь в сравнениях; на маслянистом лице его в мучительной немоте двигались брови; сотни терпеливо ждали: — Э-э-э… как сталь. Ваш казачий воинский долг призывает вас подчиняться своим начальникам. Мы будем биться с врагом так же доблестно, как и раньше, а там… — косой плывущий жест назад, — пусть Государственная дума решает судьбу страны. Кончим войну, тогда и мы примем участие во внутренней жизни, а пока нам… э-э-э… нельзя. Армию мы не можем отдать… В армии не должно быть политики!

Здесь же на станции спустя несколько дней присягали Временному правительству, ходили на митинги, собираясь большими земляческими группами, держась обособленно от солдат, наводнявших станцию. После подолгу обсуждали слышанные речи; вспоминая, прощупывали недоверчиво каждое сомнительное слово. У всех почему-то сложилось убеждение: если свобода — значит, конец войне, и с этим прочно укоренившимся убеждением трудно стало бороться офицерам, утверждавшим, что воевать Россия обязана до конца.

Растерянность, после переворота охватившая верхушки армии, отражалась на низах; про существование застрявшей на полпути бригады штаб дивизии словно забыл. Бригада, выгрузившись, доедала выданное на восемь суток довольствие, солдаты толпами уходили в близлежащие деревушки, на базаре откуда-то появился в продаже спирт, и уже не в диковинку было видеть в те дни пьяных нижних чинов и офицеров.

Вырванные переброской из обычного круга обязанностей, казаки томились в теплушках,

ждали отправки на Дон (слух о том, что второочередников будут распускать по домам, держался весьма упорно), небрежно ухаживали за лошадьми, дни насквозь толкались на базарной площади, торговали запасенными с позиций ходкими предметами продажи: немецкими одеялами, штыками, пилами, шинелями, кожаными ранцами, табаком…

Приказ о возвращении на фронт встречен был открытым ропотом. Вторая сотня отказалась было ехать, казаки не разрешили прицепить к составу паровоз, но командир полка пригрозил разоружением, и волнение пошло на убыль, улеглось. Эшелоны потянулись к фронту.

— Это что же, братушки? Свобода — свобода, а касаемо войны — опять, значится, кровь проливать?

— Старый прижим начинается!

— На какой же ляд царя-то уволили?

— Нам что при нем было хорошо, что и зараз подходяще…

— Шаровары одни, только мотней назад.

— Во-во!

— Это до каких же пор будет?..

— Третий год с винтовки не слазишь! — шли в вагонах разговоры.

На какой-то узловой станции казаки, как сговорившись, высыпали из вагонов и, не слушая увещаний и угроз командира полка, открыли митинг. Тщетно меж серого сплава казачьих шинелей метались комендант и престарелый начальник станции, упрашивая казаков разойтись по вагонам и освободить пути. Казаки с неослабным вниманием слушали речь урядника третьей сотни. После него говорил небольшой статный казачок Манжулов. Из его побелевшего, злобно искривленного рта с трудом выметывались злые слова:

— Станишники! Нельзя так-то! Нас опять же под конфуз подвели. Обман хочут исделать! Раз превзошла революция и всему народу дадена свобода — значится, должны войну прикончить, затем что народ и мы войну не хотим! Аккуратно я гутарю? По-правильному?

— Правильно!

— Под хвост кобыле!

— Осточертела всем!

— Шаровары вон не держутся… какая война?!

— Не жжжа-лла-ем!..

— По домам!

— Отчаливай паровоз! Федот, давай-ка!

— Станишники! Погодите! Станишники! Братцы! Черти, в рот вас, в печенку, в душу!.. Братцы! — надрывался Манжулов, стараясь перекричать тысячу глоток. — Погодите! Паровоз не волнуйте! Он нам без надобности, а только что обман… Пущай нам их высокоблагородие командир полка документ объявит: на самом деле нас требуют на фронт али это по ихней капрызности?..

Полк только после того погрузился в вагоны, когда взволнованный, не владеющий собой командир полка, дрожа губами, вслух прочитал полученную им из штадива телеграмму о вызове полка на фронт.

В одной теплушке ехали шесть человек татарцев — хуторян, служивших в 27-м полку: Петро Мелехов, родной дядя Мишки Кошевого Николай Кошевой, Аникушка, Федот Бодовсков, Меркулов — цыгановатый с чернокудрявой бородой и с шалыми светло-коричневыми глазами, и Максимка Грязнов, сосед Коршуновых, беспутный и веселый казак, по всему станичному юрту стяжавший до войны черную славу бесстрашного конокрада. «Меркулову уж куда ни подошло бы коней уводить — на цыгана похож и все такое… а вот не

ворует. А ты, Максим, конский хвост увидишь — и то в жар тебя шибает!» — постоянно смеялись над Грязновым казаки. Максимка краснел, жмурил голубой, как льняной цветок, глаз, пакостно отшучивался: «С Меркуловой матерью цыган ночевал, а моя, небось, позавидовала, а то б рази я… да упаси и не приведи!..»

В теплушке ходил сквозной ветер; лошади стояли у наскоро сбитых кормушек под попонами; среди вагона — на бугорке мерзлой земли — чадили сырые дрова, едучий дым тянуло в дверную щель. Казаки сидели на седлах вокруг огня, сушили взвонявшиеся от пота и сырости портянки. Федот Бодовсков грел у огня босые гнутые ноги. На калмыцком, углоскулом лице его блудила довольная улыбка. Грязнов наскоро прихватывал дратвой отпоровшуюся подметку, продымленным осипшим голосом говорил, обращаясь неизвестно к кому:

— …Маленьким был, зимой, бывалочка, заберусь на печку, а бабка моя (ей в те годы за сто перевалило!) ощупкой ищет у меня в голове вшу, гутарит: «Ягодка, мой Максимушка! В старину не так-то народ жил — крепко жил, по правилам, и никаких на него не было напастей. А ты, чадунюшка, доживешь до такой поры-времени, что увидишь, как землю всю опутают проволокой, и будут летать по синю небушку птицы с железными носами, будут людей клевать, как грач арбуз клюет… И будет мор на людях, глад, и восстанет брат на брата и сын на отца… Останется народу, как от пожара травы». Что ж, — помолчав, продолжал Максим, — и на самом деле сбылось; телеграф выдумали — вот тебе и проволока! А железная птица — еропланы. Мало они нашего брата подолбили? И голод будет. Мои вон спротив энтих годов в половину хлеба сеют, да и каждый хозяин так. По станицам стар да мал остались, а хлоп неурожай — вот и «глад» вам.

— А брат на брата — это как вроде брехня? — спросил Петро Мелехов, поправляя огонь.

— Погоди, и этого народ достигнет.

— Власть не установют и забрухаются, — вмешался Федот Бодовсков.

— Ишо усмирять чертей придется.

— Ты сначала с германцем расхлебай, — засмеялся Кошевой.

— Что ж, повоюем ишо…

Аникушка, деланным испугом морща голощекое, бабье лицо, воскликнул:

— Царица наша лохмоногая, до каких же пор все «повоюем»?

— До тех пор, покеда ты, скопец, шерстью обрастешь, — поддел его Кошевой.

Сидевшие у огня дружно засмеялись. Петро поперхнулся дымом и, кашляя, глядя на Аникушку глазами, полными слез, тыкал в его сторону пальцем.

— Волос — он дурак… — смущенно бормотал Аникушка, — он и где не надо растет… Зря ты, Кошевой, ногами болтаешь…

— Нет, уж хватит! Хлебнули через край! — вспыхнул неожиданно Грязнов. — Мы тут бедствуем, во вшах погибаем, а семьи наши там нужду принимают, да ить как? — режь — кровь не потекет.

— Ты чего взбугрился? — насмешливо, пожевывая пшеничный ус, спросил Петро.

— Известно чего… — за Грязнова ответил Меркулов и надежно захоронил улыбку в курчавой, цыганской бороде. — Известно, нудится казак… тоскует… Иной раз пастух выгонит табун на зеленку: покеда солнце росу подбирает, — скотинка ничего, кормится, а как станет солнце в дуб, заюжит овод, зачнет скотину сечь, — вот тут… — Меркулов шельмовато стрельнул глазами в казаков, продолжал, повернувшись к Петру: — Тут-то, господин вахмистр, и нападает на скотину бзык. Ну да ты знаешь! Не из суцких [39], небось! Сам быкам хвосты крутил… Обнаковенно, какая-нибудь телка задерет хвост на спину, мыкнет — да как учешет! А за ней весь табун. Пастух бегет: «Ая-яй!.. ая-яй!..» Только где ж

там?! Метется табун лавой, не хуже как мы под Незвиской на немцев лавой ходили. Где ж там, рази удержишь?

— Ты к чему это загинаешь-то?

Меркулов ответил не сразу. Намотав на палец завиток смолистой бороды, дернул его ожесточенно, заговорил уже деловито и без улыбки:

— Третий год воюем… так? Третий год, как нас в окопы загнали. За что и чего — никто не разумеет… К тому и гутарю, что вскорости какой-нибудь Грязнов али Мелехов бзыкнет с фронта, а за ним полк, а за полком армия… Будя!

— Вон ты куда…

— Туда самое! Не слепой, вижу: на волоске все держится. Тут только шумнуть: «Брысь!» — и полезет все, как старый зипун с плеч. На третьем году и нам солнце в дуб стало.

— Ты бы полегше! — посоветовал Бодовсков. — А то Петро… он ить вахмистр…

— Я товарищев, кубыть, не трогал, — вспыхнул Петро.

— Не серчай! Шутейно оказал. — Бодовсков смутился, поворочал узловатыми пальцами босых ног и встал, пошлепал к кормушке.

На углу, у цибиков прессованного сена, вполголоса разговаривали казаки других хуторов. Из них лишь двое были с хутора Каргинского — Фадеев и Каргин, остальные восемь — разных хуторов и станиц.

Спустя немного они запели. Заводил чирский казак Алимов. Он начал было плясовую, но кто-то шлепнул его по спине, простуженно рявкнул:

— Отставить!..

— Эй вы, сироты, полезьте к огню! — пригласил Кошевой. В костер кинули щепки (остатки разломанного на полустанке забора). При огне веселее подняли песню:

Конь боевой с походным вьюком
У церкви ржет, когой-то ждет.
В ограде бабка плачет с внуком.
Жена-молодка слезы льет.
А из дверей святого храма
Казак в доспехах боевых идет,
Жена коня ему подводит,
Племянник пику подает…

В соседнем вагоне двухрядка, хрипя мехами, резала казачка. По дощатому полу безжалостно цокотали каблуки казенных сапог, кто-то дурным голосом вякал, голосил:

Эх вы, горьки хлопоты,
Тесны царски хомуты!
Каэаченькам выи [40] труть —
Ни вздохнуть, ни воздохнуть.
Пугачев по Дону кличет,
По низовьям голи зычет!
«Атаманы, казаки!..»

Второй, заливая голос первого, верещал несуразно тонкой скороговоркой:

Царю верой-правдой служим,
По своим жалмеркам тужим.
Баб найдем — тужить не будем.
А царю… полудим.
Ой, сыпь! Ой, жги!..
У-ух! Ух! Ух! Ха!

Ха-ха-хи-хо-ху-ха-ха!

Казаки давно уже оборвали песню и вслушивались в бесшабашный гомон, разраставшийся в соседнем вагоне, перемигивались, сочувственно улыбаясь. Петро Мелехов не выдержал и захохотал:

— Эк дьяволы их размывают!

У Меркулова в коричневых, крапленных желтой искрой глазах замигали веселые светлячки; он вскочил на ноги, улавливая такт, носком сапога посыпал мельчайшее просо дроби и, вдруг топнув, легко, пружинисто, кругло пошел на присядку. Плясали все по очереди — грелись движением. В соседнем вагоне давно уже затихли двухрядные голоса, там уже хрипло и крупно ругались. А тут бились в пляске, беспокоили лошадей и кончили, только когда вломавшийся в раж Аникушка, во время одного необычайнейшего по замысловатости колена, упал задом на огонь. Аникушку с хохотом подняли, при свете свечного огарка долго оглядывали новехонькие шаровары, насмерть сожженные сзади, и края припаленной ватной теплушки.

— Скинь шаровары-то! — сожалея, советовал Меркулов.

— Ты, цыган, сдурел? А в чем же я?

Меркулов порылся в саквах, достал холщовую бабью исподницу. Огонь раздули вновь. Меркулов держал рубаху за узкие плечики; откидываясь назад, стоная от хохота, говорил:

— Вот!.. Ох! Ох! Украл я ее на станции, с забора… На портянки блюл… Ох! Пороть не бу-у-уду… Бери!

Силком обряжая ругавшегося Аникушку, ржали так смачно и густо, что из дверей соседних вагонов повысунулись головы любопытных, в ночной темноте орали завистливые голоса:

— Чего вы там?

— Жеребцы проклятые!

— Чего зашлись-то?

— Железку нашли, дурочкины сполюбовники?

На следующей остановке притянули из переднего вагона гармониста, из других вагонов битком набились казаки, сломали кормушки, толпились, прижимая лошадей к стене. В крохотном кругу выхаживал Аникушка. Белая рубаха, со здоровенной, как видно, бабищи, была ему длинна, путалась в ногах, но рев и хохот поощряли — плясал он до изнеможения.

А над намокшей в крови Беларусью скорбно слезились звезды. Провалом зияла, дымясь и уплывая, ночная небесная чернь. Ветер стлался над землей, напитанной горькими запахами листа-падалицы, суглинистой мочливой ржавчины, мартовского снега…

IX

Через сутки полк был уже неподалеку от фронта. На узловой станции эшелоны остановили. Вахмистры разнесли приказ: «Выгружаться!» Торопливо сводили казаки лошадей по подмостям, седлали, бегали в вагоны за позабытыми второпях вещами, выкидывали прямо на мокрый песчаник путей растрепанные цибики сена, суетились.

Мелехова Петра позвал ординарец командира полка:

— Иди на вокзал, командир кличет.

Петро, поправив ремень на шинели, неспешно пошел к платформе.

— Аникей, пригляди за моим конем, — попросил он топтавшегося у лошадей Аникушку.

Тот молча поглядел ему вслед, на будничном, хмуром Аникушкином лице озабоченность

сливалась с обычной скукой. Петро шагал, глядя на свои сапоги, забрызганные охровой глинистой грязью, и раздумывая: зачем бы это он понадобился командиру полка? Внимание его привлекла небольшая толпа, собравшаяся в конце платформы у бака с кипятком. Он подошел, еще издали вслушиваясь в разговор. Человек двадцать солдат окружили рослого рыжеватого казака, стоявшего спиной к баку в неловкой, затравленной позе. Петро, вытянув голову, поглядел на смутно знакомое забородатевшее лицо рыжеватого казака-атаманца, на цифру 52 на синем урядницком погоне; решил, что где-то и когда-то видел этого человека.

— Как же это ты ухитрился? А еще гайку тебе нашивали… — злорадно допытывался у рыжеватого казака вольноопределяющийся с веснушчатым умным лицом.

— Что такое? — полюбопытствовал Петро, тронув плечо стоявшего к нему спиной ополченца.

Тот повернул голову, ответил нехотя:

— Дизиртира пымали… Из ваших казаков.

Петро, усиленно напрягая память, пытался вспомнить, — где он видел это широкое рыжеусое и рыжебровое лицо атаманца. Не отвечая на назойливые вопросы вольноопределяющегося, атаманец редкими глотками тянул кипяток из медной кружки, сделанной из гильзы снаряда, прикусывая черным размоченным в воде сухарем. Далеко расставленные выпуклые глаза его щурились; прожевывая и глотая, он шевелил бровями, глядел вниз и по сторонам. Рядом с ним, придерживая за штык винтовку, стоял конвоировавший его пожилой коренастый солдат. Атаманец-дезертир допил из кружки, повел усталыми глазами по лицам бесцеремонно разглядывавших его солдат, и в голубых, по-детски простых глазах его неожиданно вспыхнуло ожесточение. Торопливо глотнув, он облизал губы, крикнул грубым негнущимся басом:

— Диковина вам? Пожрать не даете, сволочи! Что вы, людей не видали, что ль?

Солдаты засмеялись, а Петро, едва лишь услышал голос дезертира, сразу, как это всегда бывает, с поразительной отчетливостью вспомнил, что атаманец этот — с хутора Рубежина, Еланской станицы, по фамилии Фомин, и что у него еще до войны на еланской годовой ярмарке торговали Петро с отцом трехлетка-бычка.

— Фомин! Яков! — окликнул он, протискиваясь к атаманцу.

Тот неловким, растерянным движением сунул на бак кружку; прожевывая, глядя на Петра смущенными улыбающимися глазами, сказал:

— Не признаю, браток…

— С Рубежина ты?

— Оттель. А ты либо еланский?

— Я-то вешенский, а тебя помню. С батей лет пять назад бычка у тебя торговали.

Фомин, улыбаясь все той же растерянной, ребячьей улыбкой, как видно, силился вспомнить.

— Нет, заметило… не упомню тебя, — с видимым сожалением сказал он.

— Ты в Пятьдесят втором был?

— В Пятьдесят втором.

— Убег, стал быть? Как же это ты, братец?

В это время Фомин, сняв папаху, доставал оттуда потрепанный кисет. Сутулясь, он медленно сунул папаху под мышку, оторвал косой угол бумажки и только тогда прижал Петра строгим, влажно мерцающим взглядом.

— Невтерпеж, братушка… — сказал невнятно.

Взгляд этот кольнул Петра. Петро крякнул, вобрал в рот желтоватый ус.

— Ну, землячки, кончайте разговоры, а то через вас как бы мне не попало, — вздохнул,

вскидывая винтовку, коренастый солдат-конвоир. — Иди-ка, папаша!

Фомин, торопясь, сунул в подсумок кружку, попрощался с Петром, глядя в сторону, и зашагал в комендантскую увалистой, медвежковатой роскачью.

На вокзале, в буфете бывшего первого класса, за столиком гнулись командир полка и два сотенных командира.

— Ты, Мелехов, заставляешь себя ждать. — Полковник поморгал устало злобными глазами.

Петро выслушал известие о том, что сотня его поступает в распоряжение штаба дивизии и что необходимо усиленно присматривать за казаками, сообщая о всякой замеченной перемене в их настроении командиру сотни. Он, не сморгнув, глядел в глаза полковника, слушал внимательно, но в памяти неотступно, цепко, как приклеенные, держались мерцающий влажный взгляд Фомина и тихое: «Невтерпеж, братушка…»

Он вышел из парного теплого вокзала, направился к сотне. Здесь же, на станции, стоял полковой обоз второго разряда. Подходя к своей теплушке, Петро увидел обозных казаков и сотенного коваля. При взгляде на коваля у Петра выветрились из памяти Фомин и разговор с ним, он ускорил шаги с целью переговорить относительно перековки коня (в этот миг Петром уже владели будничные заботы и тревоги), но из-за красного угла вагона выступила женщина, нарядно покрытая белым пуховым шарфом, одетая не так, как одеваются в этих краях. Странно знакомый склад фигуры заставил Петра внимательней вглядеться в женщину. Она вдруг повернулась к нему лицом, заспешила навстречу, неуловимо поводя плечами, тонким, не бабьим станом. И еще, не различая лица, по этой вьющейся легкой походке Петро угадал жену. Колкий приятный холодок докатился до сердца. Радость была тем сильней, чем неожиданней. Нарочно укоротив шаг, чтобы наблюдавшие за ним обозные не подумали, что он особенно уж рад, Петро шел навстречу. Он степенно обнял жену, поцеловал ее три раза, хотел что-то спросить, но глубокое внутреннее волнение пробилось наружу — мелко задрожали губы и словно отнялся язык.

— Не ждал… — заикаясь, выговорил он наконец.

— Голубок мой! То-то ты да переменился!.. — Дарья всплеснула руками. — Ты как будто чужой… Видишь, приехала проведать… Наши не пускали: «Куда тебя понесет?!» Нет, думаю, поеду, проведаю родимого… — тарахтела она, прижимаясь к мужу, заглядывая в глаза ему увлажненными глазами.

А у вагонов толпились казаки; глядя на них, покрякивали, перемигивались, нудились.

— Подвалило счастье Петру…

— Моя волчиха не приедет, отроилась.

— Там у ней без Нестора десятеро!

— Мелехов хучь бы своему взводу на ночушку бабу пожертвовал… На бедность на нашу… Кх-м!..

— Пойдемте, ребята! Кровью изойдешь, глядючи, как она к нему липнет!

В этот момент Петр не помнил, что собирался бить жену смертным боем — ласкал ее на людях, гладил большим обкуренным пальцем писаные дуги ее бровей, радовался. Дарья тоже забыла, что только две ночи назад спала она в вагоне с драгунским ветеринарным фельдшером, вместе с ней ехавшим из Харькова в полк. У фельдшера были необычайно пушистые и черные усы, но ведь все это было две ночи назад, а сейчас она со слезами искренней радости обнимала мужа, смотрела на него правдивыми ясными глазами.

X

По возвращении из отпуска есаул Евгений Листницкий получил назначение в 14-й Донской казачий полк. В свой полк, в котором служил раньше и из которого ему пришлось еще до Февральского переворота так позорно бежать, он не явился, а прямо заехал в штаб дивизии, и начальник штаба, молодой генерал с громкой донской дворянско-казачьей фамилией, легко устроил ему перевод.

— Я знаю, есаул, — говорил он Листницкому, уединяясь с ним в своей комнате, — что вам трудно будет работать в старой обстановке, потому что казаки настроены против вас, ваше имя для них одиозно, и, разумеется, будет благоразумней, если вы поедете в Четырнадцатый полк. Там исключительно славный подбор офицеров, да и казаки потверже, посерее — большинство из южных станиц Усть-Медведицкого округа. Там вам лучше будет. Ведь вы, кажется, сын Николая Алексеевича Листницкого? — помолчав, спросил генерал и, получив утвердительный ответ, продолжал: — Со своей стороны могу заверить, что мы ценим офицеров таких, как вы. В наше время даже среди офицерского состава большинство двурушников. Ничего нет легче, как переменить веру, а то и двум богам молиться… — горько закончил начштаба.

Листницкий с радостью принял перевод. В этот же день он выехал в Двинск, где находился 14-й полк, а через сутки уже представился командиру полка, полковнику Быкадорову, и с удовлетворением осознал правдивость слов начштаба дивизии: офицеры в большинстве — монархисты; казаки, на треть разбавленные старообрядцами Усть-Хоперской, Кумылженской, Глазуновской и других станиц, были настроены отнюдь не революционно, на верность Временному правительству присягали неохотно, в событиях, кипевших вокруг, не разбирались, да и не хотели разбираться — в полковой и сотенные комитеты прошли казаки подхалимистые и смирные… С радостью вздохнул Листницкий в новой обстановке.

Среди офицеров он встретил двух сослуживцев по Атаманскому полку, державшихся обособленно; остальные были на редкость сплочены, единодушно, открыто поговаривали о восстановлении династии.

Полк около двух месяцев простоял в Двинске, собранный в единый кулак и отдохнувший, подтянутый. До этого сотни, прикрепленные к пешим дивизиям, бродили по фронту от Риги до Двинска, но в апреле чья-то заботливая рука слила все сотни — полк был наготове. Казаки, опекаемые суровым офицерским надзором, выходили на ученье, выкармливая лошадей, жили размеренной улиточной жизнью, оставаясь без всякого воздействия извне.

Среди них были смутные предположения об истинном предназначении полка, но офицеры говорили, не таясь, что в недалеком будущем полк в чьих-нибудь надежных руках еще покрутит колесо истории.

Близкий дыбился фронт. Армии дышали смертной лихорадкой, не хватало боевых припасов, продовольствия; армии многоруко тянулись к призрачному слову «мир»; армии по-разному встречали временного правителя республики Керенского и, понукаемые его истерическими криками, спотыкались в июньском наступлении; в армиях вызревший гнев плавился и вскипал, как вода в роднике, выметываемая глубинными ключами…

А в Двинске жили казаки мирно, тихо: желудки лошадей переваривали овес и макуху, память казаков заращивала тяготы, перенесенные на фронте; офицеры аккуратно посещали офицерское собрание, недурно столовались, горячо спорили о судьбах России…

Так до первых чисел июля. Третьего — приказ: «Не медля ни минуты — выступать». Эшелоны полка потянулись в Петроград. Седьмого июля копыта казачьих коней уже цокали по одетым в торцовую чешую улицам столицы.

Полк расквартировали на Невском. Под сотню Листницкого отвели пустовавшее

торговое помещение. Казаков ждали с нетерпением и радостью, — об этом красноречиво свидетельствовала та заботливость столичных властей, с какой были заранее оборудованы предназначавшиеся для казаков помещения. Заново окрашенные стены блестели известкой, глянцем лоснились начисто вымытые полы, от сосновых свежих нар — смолистые запахи; почти уютно было в светлом, опрятном полуподвале. Листницкий, морщась под пенсне, внимательно осмотрел помещение, походил под слепящими белизной стенами, решил, что лучшего, в смысле удобств, не остается и желать. Удовлетворенный осмотром, он, в сопровождении маленького, изящно одетого представителя городского управления, на долю которого выпало встречать казаков, направился к выходу во двор, но тут произошел неприятный казус: держась за дверную скобу, он увидел на стене мастерски выцарапанный каким-то острым предметом рисунок, — оскаленную собачью голову и метлу. Видно, кто-то из рабочих, трудившихся над оборудованием помещения, знал, для кого оно предназначалось…

— Что это? — подрожав бровями, спросил Листницкий у сопровождавшего его представителя.

Тот обежал рисунок расторопно-мышастыми глазами, страшно засопел. Кровь так густо кинулась ему в лицо, что даже крахмальный воротничок сорочки словно порозовел на нем…

— Простите, господин офицер… злоумышленная рука…

— Надеюсь, без вашего ведома изобразили здесь эмблему опричнины?

— Что вы? Что вы?! Помилуйте!.. Большевистский фортель… Какой-то негодяй осмелился!.. Я сейчас же прикажу вновь выбелить стену. Черт знает что!.. Простите… такое нелепое происшествие… Смею вас уверить, мне совестно за чужую подлость…

Листницкому стало искренне жаль униженного, смущенного гражданина. Он, смягчив неумолимо-холодный взгляд, сдержанно сказал:

— Небольшой просчет художника — казаки ведь не знают русской истории. Но из этого еще не следует, что подобное отношение к себе мы можем поощрять…

Представитель твердым холеным ногтем выскребал в известке рисунок, пачкал дорогое английское пальто мельчайшей оседавшей на нем белой пылью, тянулся на цыпочках перед стеной; Листницкий, протирая пенсне, улыбался, но горькая, желчная грусть томилась в нем в этот миг.

«Вот как встречают нас и вот что кроется за внешней, показной стороной!.. Но неужели для всей России мы являемся в образе опричнины?» — думал он, шагая по двору к конюшням и невнимательно, безразлично вслушиваясь в слова спешившего за ним представителя.

В глубокий, просторный колодец двора отвесно падали солнечные лучи. Из окон многоэтажных домов жильцы, свесившись, разглядывали казаков, заполнивших весь двор, — сотня размещала в конюшне лошадей. Освободившиеся казаки кучками стояли и сидели на корточках у стен, в холодке.

— Что же не идете, ребята, в помещение? — спросил Листницкий.

— Успеется, господин есаул.

— Надоисть ишо и там.

— Коней вот расстановим — тогда уж.

Листницкий осмотрел склад, предназначенный под конюшни, строго, стараясь вернуть себе прежнюю неприязнь к сопровождавшему его представителю, сказал:

— Войдите в соглашение с кем требуется и договоритесь вот о чем: нам необходимо прорубить еще одну дверь. Ведь не можем мы иметь на сто двадцать лошадей три двери. Этак в случае тревоги нам понадобится полчаса для того, чтобы вывести лошадей… Странно! Неужели это обстоятельство нельзя было учесть в свое время? Я вынужден буду

доложить об этом командиру полка.

Получив немедленное заверение, что не одна, а две двери будут сегодня же пробиты, Листницкий распрощался с представителем; сухо поблагодарив его за хлопоты, отдал распоряжение о назначении дневальных и пошел на второй этаж, во временную квартиру, отведенную офицерам сотни. На ходу расстегивая китель, вытирая под козырьком пот, он по черной лестнице поднялся к себе, радостно ощутив сыроватую прохладу комнат. В квартире, за исключением подъесаула Атарщикова, не было никого.

— Где же остальные? — спросил Листницкий, падая на брезентовую койку и тяжело отваливая ноги в запыленных сапогах.

— На улице. Рассматривают Петроград.

— А ты что же?

— Ну, знаешь ли, не стоит. Не успели ввалиться — и уже сразу в город. Я вот почитываю о том, что происходило здесь несколько дней назад. Занятно!

Листницкий лежал молча, чувствуя, как на спине его приятно холодеет мокрая от пота рубашка, ему лень было встать и умыться, — сказывалась нажитая за дорогу усталость. Пересилив себя, он встал, позвал вестового. Переменив белье, долго умывался, довольно фыркал, тер лохматым полотенцем полную, с серым налетом загара, шею.

— Умойся, Ваня, — посоветовал он Атарщикову, — гору с плеч скинешь… Ну, так что в газетах?

— Пожалуй, в самом деле умыться. Неплохо — говоришь?.. А в газетах что? Описание выступлений большевиков, правительственные мероприятия… Почитай!

Повеселевший после умывания Листницкий взялся было за газету, но его пригласили к командиру полка. Нехотя поднявшись, он надел новый китель, пахнущий мылом, неприлично помятый за дорогу, прицепил шашку и вышел на проспект. Перейдя на другую сторону, повернулся, разглядывая дом, где расположилась сотня. С внешней стороны, по типу, дом ничем не отличается от остальных: пятиэтажный, облицованный дымчатым ноздреватым камнем, стоял он в ровном строю таких же домов. Закуривая, Листницкий медленно тронулся по тротуару. Густая толпа пенилась мужскими соломенными шляпами, котелками, кепками, изысканно-простыми и нарядными шляпками женщин. В общем потоке изредка мелькала зеленым демократическим пятном фуражка военного и исчезала, поглощенная переливами разноцветных красок.

Со взморья волной шел бодрящий свежий ветерок, но, разбиваясь о крутые громады строений, растекался жидкими неровными струями. По стальному, с сиреневым оттенком, неяркому небу правились на юг тучи. Молочно-белые гребни их зубчатились рельефно и остро. Над городом висела парная преддождевая духота. Пахло нагретым асфальтом, перегаром бензина, близким морем, волнующим невнятным запахом дамских духов и еще какой-то разнородной неделимой смесью запахов, присущей всякому многолюдному городу.

Листницкий, покуривая, медленно шел правой стороной тротуара, изредка ловил на себе боковые почтительные взгляды встречных. Вначале он испытывал некоторое стеснение за свой помятый китель и несвежую фуражку, но потом решил, что фронтовику, пожалуй, и нечего стыдиться своей внешности, а тем более ему, только сегодня покинувшему вагон.

На тротуарах ленивые оливково-желтые лежали теневые пятна от парусиновых тентов, натянутых над входами в магазины и кафе. Ветер, раскачивая, трепал выжженную парусину, пятна на тротуарах шевелились, рвались из-под шаркающих ног людей. Несмотря на послеобеденный час, проспект кишел людьми. Листницкий, отвыкший за годы войны от города, с радостным удовлетворением впитывал в себя разноголосый гул, перевитый смехом, автомобильными гудками, криком газетчиков, и, чувствуя себя в этой толпе прилично

одетых, сытых людей своим, близким, все же думал:

«Какие все вы сейчас довольные, радостные, счастливые — все: и купцы, и биржевые маклеры, и чиновники разных рангов, и помещики, и люди голубой крови! А что с вами было три-четыре дня назад? Как выглядели вы, когда чернь и солдатня расплавленной рудой текли вот по этому проспекту, по улицам? По совести, и рад я вам и не рад. И благополучию вашему не знаю, как радоваться…»

Он попробовал проанализировать свое раздвоенное чувство, найти истоки его и без труда решил: потому он так мыслит и чувствует, что война и то, что пришлось пережить там, отдалили его от этого скопища сытых, довольных.

«Ведь вот этот молодой, упитанный, — думал он, встречаясь глазами с полным, краснощеким и безусым мужчиной, — почему он не на фронте? Наверно, сын заводчика или какого-нибудь торгового зубра, уклонился, подлец, от службы — начхать ему на родину, — и „работает на оборону“, жиреет, с удобствами любит женщин…»

«Но с кем же ты-то в конце концов? — задал он сам себе вопрос и, улыбаясь, решил: — Ну конечно же, вот с этими! В них частичка самого меня, а я частичка их среды… Все, что есть хорошего и дурного в них, есть в той или иной мере и у меня. Может быть, у меня немного тоньше кожа, чем у этого вот упитанного боровка, может быть, поэтому я болезненней реагирую на все, и наверняка поэтому я — честно на войне, а не „работаю на оборону“, и именно поэтому тогда зимой, в Могилеве, когда я увидел в автомобиле свергнутого императора, уезжавшего из Ставки, и его скорбные губы, и потрясающее, непередаваемое положение руки, беспомощно лежавшей на колене, я упал на снег и рыдал, как мальчишка… Ведь вот я по-честному не приемлю революцию, не могу принять! И сердце и разум противятся… Жизнь положу за старое, отдам ее, не колеблясь, без позы, просто, по-солдатски. А многие ли на это пойдут?»

Бледнея, с глубочайшей волнующей яркостью воскресил он в памяти февральский богатый красками исход дня, губернаторский дом в Могилеве, чугунную запотевшую от мороза ограду и снег по ту сторону ее, испещренный червонными бликами низкого, покрытого морозно-дымчатым флером, солнца. За покатым свалом Днепра небо крашено лазурью, киноварью, ржавой позолотой, каждый штрих на горизонте так неосязаемо воздушен, что больно касаться взглядом. У выезда небольшая толпа из чинов Ставки, военных, штатских… Выезжающий крытый автомобиль. За стеклом, кажется, Фредерикс [41] и царь, откинувшийся на спинку сиденья. Осунувшееся лицо его с каким-то фиолетовым оттенком. По бледному лбу косой черный полукруг папахи, формы казачьей конвойной стражи.

Листницкий почти бежал мимо изумленно оглядывавшихся на него людей. В глазах его падала от края черной папахи царская рука, отдававшая честь, в ушах звенели бесшумный ход отъезжающей машины и унизительное безмолвие толпы, молчанием провожавшей последнего императора…

По лестнице дома, где помещался штаб полка, Листницкий поднимался медленно. У него еще дрожали щеки и кровянисто слезились припухшие заплаканные глаза. На площадке второго этажа он выкурил подряд две папиросы, протирая пенсне, через две ступеньки взбежал на третий этаж.

Командир полка отметил на карте Петрограда район, в котором сотня Листницкого должна была нести охрану правительственных учреждений, перечислил учреждения, с мельчайшими деталями сообщил о том, какие и в какое время надо ставить и сменять караулы, в заключение сказал:

— В Зимний дворец Керенскому.

— Ни слова о Керенском!.. — заливаясь смертельной бледностью, громко прошептал Листницкий.

— Евгений Николаевич, надо брать себя в руки…

— Полковник, я вас прошу!

— Но, милый мой…

— Я прошу!

— Нервы у вас…

— Разъезды к Путиловскому сейчас прикажете выслать? — тяжело дыша, спросил Листницкий.

Полковник, кусая губы, улыбаясь, пожал плечами, ответил:

— Сейчас же! И непременно со взводным офицером.

Листницкий вышел из штаба нравственно опустошенный, раздавленный воспоминаниями пережитого и разговором с командиром полка. Почти у самого дома увидел казачий разъезд стоявшего в Петрограде 4-го Донского полка. На уздечке светло-рыжего офицерского коня, завядшие, понуро висели живые цветы. На белоусом лице офицера сквозила улыбка.

— Да здравствуют спасители родины!.. — крикнул, сходя с тротуара и размахивая шляпой, какой-то экзальтированный пожилой господин.

Офицер любезно приложил ладонь к козырьку. Разъезд тронулся рысью. Листницкий посмотрел на взволнованное мокрогубое лицо приветствовавшего казаков господина, на его тщательно повязанный цветастый галстук и, морщась, ссутулившись, шмыгнул в подъезд своего дома.

XI

Назначение генерала Корнилова главнокомандующим Юго-Западного фронта встречено было офицерским составом 14-го полка с большим сочувствием. О нем говорили с любовью и уважением, как о человеке, обладающем железным характером и, несомненно, могущем вывести страну из тупика, в который завело ее Временное правительство.

Особенно горячо встретил это назначение Листницкий. Он через младших офицеров сотен и близких к нему казаков пытался узнать, как относятся к этому казаки, но полученные сведения его не порадовали. Молчали казаки или отделывались апатичными ответами:

— Нам все одно…

— Какой он, кто его знает…

— Кабы он насчет замиренья постарался, тогда, конешно…

— Нам от его повышенья легше не будет, небось!

Через несколько дней среди офицеров, общавшихся с более широкими кругами гражданского населения и военных, передавались упорные слухи, что будто бы Корнилов жмет на Временное правительство, требуя восстановления смертной казни на фронте и проведения многих решительных мероприятий, от которых зависит участь армии и исход войны. Говорили о том, что Керенский боится Корнилова и, наверное, приложит все усилия к тому, чтобы заменить его на должности главнокомандующего фронта более податливым генералом. Назывались известные в военной среде имена генералов.

19 июля всех поразило правительственное сообщение о назначении Корнилова верховным главнокомандующим. Вскоре же подъесаул Атарщиков, имевший обширные знакомства в Главном комитете Офицерского союза, рассказывал, ссылаясь на вполне

достоверные источники, что Корнилов в записке, приготовленной для доклада Временному правительству, настаивал на необходимости следующих главнейших мероприятий: введения на всей территории страны в отношении тыловых войск и населения юрисдикции военно-полевых судов, с применением смертной казни; восстановления дисциплинарной власти военных начальников; введения в узкие рамки деятельности комитетов в воинских частях и т. д.

В этот же день вечером Листницкий в разговоре с офицерами своей сотни и других сотен остро и прямо поставил вопрос: с кем они идут?

— Господа офицеры! — говорил он со сдержанным волнением. — Мы живем дружной семьей. Мы знаем, что представляет каждый из нас, но до сей поры многие больные вопросы между нами остались невырешенными. И вот именно теперь, когда отчетливо намечаются перспективы расхождения верховного с правительством, нам необходимо ребром поставить вопрос: с кем и за кого мы? Давайте же поговорим по-товарищески, не кривя душой.

Подъесаул Атарщиков ответил первый:

— Я за генерала Корнилова готов и свою и чужую кровь цедить! Это кристальной честности человек, и только он один в состоянии поставить Россию на ноги. Смотрите, что он делает в армии! Ведь только благодаря ему отчасти развязали руки военачальникам, а было сплошное засилье комитетов, братанье, дезертирство. Какой может быть разговор? Всякий порядочный человек за Корнилова!

Тонконогий, непомерно грудастый и широкоплечий Атарщиков говорил запальчиво. Видно, трогал его за живое поднятый вопрос. Кончив, он оглядел группировавшихся у стола офицеров, выжидательно постукал по портсигару мундштуком папиросы. На нижнем веке его правого глаза коричневой выпуклой горошиной сидела родинка. Она мешала верхнему веку плотно прикрывать глаз, и от этого при первом взгляде на Атарщикова создавалось впечатление, будто глаза его тронуты постоянной снисходительно выжидающей усмешкой.

— Если выбирать между большевиками, Керенским и Корниловым, то, разумеется, мы за Корнилова.

— Нам трудно судить, чего хочет Корнилов: только ли восстановления порядка в России или восстановления еще чего-нибудь…

— Это не ответ на принципиальный вопрос!

— Нет, ответ!

— А если и ответ, то неумный, во всяком случае.

— А чего вы боитесь, сотник? Восстановления монархии?

— Я не боюсь этого, а, напротив, желаю.

— Так в чем же дело?

— Господа! — твердым, обветрившим голосом заговорил Долгов, недавний вахмистр, получивший за боевые отличия хорунжего. — О чем вы спорите? А вы степенно скажите, что нам, казакам, надо держаться за генерала Корнилова, как дитю за материн подол. Это без всяких лукавствий, напрямик! Оторвемся от него — пропадем! Расея навозом нас загребет. Тут уж дело ясное: куда он — туда и мы.

— Вот это — да!

Атарщиков с восхищением хлопнул Долгова по плечу и смеющимися глазами уставился на Листницкого. Тот, улыбаясь, волнуясь, разглаживал на коленях складки брюк.

— Так как же, господа офицеры, атаманы? — приподнятым голосом воскликнул Атарщиков. — За Корнилова мы?..

— Ну конечно!

— Долгов сразу разрубил гордиев узел.

— Все офицерство за него!

— Мы не хотим быть исключением.

— Дорогому Лавру Георгиевичу, казаку и герою — ура!

Смеясь и чокаясь, офицеры пили чаи. Разговор, утративший недавнюю напряженность, вертелся вокруг событий последних дней.

— Мы-то гужом за верховного, а вот казаки мнутся… — нерешительно сказал Долгов.

— Как это «мнутся»? — спросил Листницкий.

— А так. Мнутся — и шабаш… Им, сукиным сынам, по домам к бабам охота… Жизня-то нетеплая остобрыдла…

— Наше дело — увлечь за собой казаков! — Сотник Чернокутов брякнул кулаком по столу. — Увлечь! На то мы и носим офицерские погоны!

— Казакам надо терпеливо разъяснять, с кем им по пути.

Листницкий постучал ложечкой о стакан; собрав внимание офицеров, раздельно сказал:

— Прошу запомнить, господа, что наша работа сейчас должна сводиться вот именно, как сказал Атарщиков, к разъяснению казакам истинного положения вещей. Казака надо вырвать из-под влияния комитетов. Тут нужна ломка характеров, примерно такая же, если не большая, которую большинству из нас пришлось пережить после Февральского переворота. В прежнее время — допустим, в шестнадцатом году — я мог избить казака, рискуя тем, что в бою он мне пустит в затылок пулю, а после февраля пришлось свернуться, потому что, если бы я ударил какого-нибудь дурака, — меня убили бы здесь же, в окопах, не дожидаясь удобного момента. Теперь совсем иное дело. Мы должны, — Листницкий подчеркнул это слово, — сродниться с казаком! От этого зависит все. Вы знаете, что творится сейчас в Первом и Четвертом полках?

— Кошмар!

— Вот именно — кошмар! — продолжал Листницкий. — Офицеры отгораживались от казаков прежней стеной, и в результате казаки все поголовно подпали под влияние большевиков и сами на девяносто процентов стали большевиками. Ведь ясно, что грозных событий нам не миновать… Дни третьего и пятого июля — только суровое предостережение всем беспечным. Или нам за Корнилова придется драться с войсками революционной демократии, или большевики, накопив силы и расширив свое влияние, качнут еще одной революцией. У них передышка, концентрация сил, а у нас — расхлябанность… Да разве же можно так?! Вот будущей-то перетряске и пригодится надежный казак…

— Мы без казаков, конешно, ноль без палочки, — вздохнул Долгов.

— Верно, Листницкий!

— Очень даже верно.

— Россия одной ногой в могиле…

— Ты думаешь, мы этого не понимаем? Понимаем, но иногда бессильны что-либо сделать. «Приказ № 1» [42] и «Окопная правда» [43] сеют свои семена.

— А мы любуемся на всходы вместо того, чтобы вытоптать их и выжечь дотла! — крикнул Атарщиков.

— Нет, не любуемся, — мы бессильны!

— Врете, хорунжий! Мы просто нерадивы!

— Неправда!

— Докажите!

— Тише, господа!

— «Правду» разгромили… Керенский задним умом умен…

— Что это… базар, что ли? Нельзя же!

Поднявшийся гул бестолковых выкриков понемногу утих. Командир одной из сотен, с чрезвычайным интересом вслушивавшийся в слова Листницкого, попросил внимания:

— Я предлагаю дать возможность есаулу Листницкому докончить.

— Просим!

Листницкий, потирая кулаками острые углы колен, продолжал:

— Я говорю, что тогда, то есть в будущих боях, в гражданской войне, — я только сейчас понял, что она неизбежна, — и понадобится верный казак. Надо биться и отвоевать его у комитетов, тяготеющих к большевикам. В этом кровная необходимость! Ведь в случае новых потрясений казаки Первого и Четвертого полков перестреляют своих офицеров…

— Ясно!

— Церемониться не будут!

— …И на их опыте, — очень горьком, к слову сказать, — должны мы учиться. Казаков Первого и Четвертого полков — хотя, впрочем, какие они теперь казаки? — в будущем придется вешать через одного, а то и просто свалить всех… Сорную траву из поля вон! Так давайте же удержим своих казаков от ошибок, за которые им придется впоследствии нести расплату.

После Листницкого взял слово тот самый командир сотни, который слушал его с таким исключительным вниманием. Старый кадровый офицер, служивший в полку девять лет, получивший за войну четыре ранения, он говорил о том, что в прежнее время тяжело было служить. Казачьи офицеры были на задворках, держались в черном теле, движение по службе было слабым, и для преобладающей части офицерских кадров чин войскового старшины был последним; этим обстоятельством, по его словам, и объяснялась инертность казачьих верхушек в момент низвержения самодержавия. Но, несмотря на это, говорил он, надо всемерно поддерживать Корнилова, прочнее связавшись с ним через Совет союза казачьих войск и Главный комитет Офицерского союза.

— Пусть Корнилов будет диктатором — для казачьих войск это спасение. При нем мы, может быть, будем даже лучше жить, чем при царе.

Время утекло далеко за полночь. Над головой простая, белесая, в распатлаченных космах облаков стояла ночь. Из окна виден был темный шпиль адмиралтейской башни и желтый половодный разлив огней.

Офицеры проговорили до рассвета. Решено было в неделю три раза проводить с казаками беседы на политические темы, взводным офицерам было вменено в обязанность ежедневно заниматься со взводами гимнастикой и читкой, для того, чтобы заполнить свободное время и вырвать умы казаков из разлагающей атмосферы политики.

Перед уходом пели «Всколыхнулся, взволновался православный тихий Дон», допивали десятый самовар, под звон стаканов шутливые произносились тосты. И уже совсем перед концом Атарщиков, пошептавшись с Долговым, крикнул:

— Сейчас, в виде десерта, угостим мы вас старинной казачьей. А ну, потише! Да окошко бы открыть, а то уж больно накурено.

Два голоса — обветренный, ломкий бас Долгова и мягкий, необычайно приятный тенор Атарщикова — вначале сшибались, путались, у каждого был свой темп песни, но потом голоса буйно сплелись, звучали покоряюще красиво:

…Но и горд наш Дон, тихий Дон, наш батюшка —

Басурманину он не кланялся, у Москвы, как жить, не спрашивался.

А с Туретчиной — ох, да по потылице шашкой острою век здоровался…

А из года в год степь донская, наша матушка,

За пречистую мать богородицу, да за веру свою православную,

Да за вольный Дон, что волной шумит, в бой звала со супостатами…

Атарщиков, скрестив на коленях пальцы, на высоких тонах вел песню, за все время ни разу не сбился, несмотря на то что, варьируя, он далеко оставлял за собой напористый бас Долгова; с виду был необычайно суров, и лишь под конец Листницкий заметил, как через коричневый кургашек родинки на глазу сбежала у него холодно сверкавшая слезинка.

После того как офицеры чужих сотен разошлись, а оставшиеся улеглись спать, Атарщиков подсел на койку Листницкого, теребя голубые вылинявшие подтяжки на выпуклом заслоне груди, зашептал:

— Ты понимаешь, Евгений… Я до чертиков люблю Дон, весь этот старый, веками складывавшийся уклад казачьей жизни. Люблю казаков своих, казачек — все люблю! От запаха степного полынка мне хочется плакать… И вот еще, когда цветет подсолнух и над Доном пахнет смоченными дождем виноградниками, — так глубоко и больно люблю… ты поймешь… А вот теперь думаю: не околпачиваем ли мы вот этих самых казаков? На эту ли стежку хотим мы их завернуть?..

— О чем ты? — настороженно спросил Листницкий.

Из-под воротника белой сорочки Атарщикова наивно, по-юношески трогательно смуглела шея. Над коричневой родинкой тяжко висел ободок века, в профиле виден был увлажненный свет одного полузакрытого глаза.

— Я думаю: надо ли казакам это?

— А что же, в таком случае, им надо?

— Не знаю… Но почему они так стихийно отходят от нас? Революция словно разделила нас на овец и козлищ, наши интересы как будто расходятся.

— Видишь ли, — осторожно начал Листницкий, — тут сказывается разница в восприятии событий. За нами больше культуры, мы можем критически оценивать тот или иной факт, а у них все примитивней, проще. Большевики вдалбливают им в головы, что надо войну кончать — вернее, превращать ее в гражданскую. Они натравливают казаков на нас, а так как казаки устали, в них больше животного, нет того нравственного крепкого сознания долга и ответственности перед родиной, что есть у нас, то, вполне понятно, это находит благоприятную почву. Ведь что такое для них родина? Понятие, во всяком случае, абстрактное: «Область войска Донского от фронта далеко, и немец туда не дойдет» — так рассуждают они. В этом-то вся и беда. Нужно правильно растолковать им, какие последствия влечет за собой превращение этой войны в войну гражданскую.

Листницкий говорил, подсознательно чувствуя, что слова его не доходят до цели и что Атарщиков сейчас закроет перед ним створки своей душевной раковины.

Так и произошло: Атарщиков что-то промычал невнятное, долго сидел молча, и Листницкий хотя и пытался, но не мог разобраться, в каких потемках бродят сейчас мысли умолкшего сослуживца.

«Надо бы дать ему высказаться до конца…» — с сожалением подумал он.

Атарщиков пожелал спокойной ночи, так и ушел, не сказав больше ни слова. На минуту потянулся к искреннему разговору, приподнял краешек той черной завесы неведомого, которой каждый укрывается от других, и вновь опустил ее.

Неразгаданность чужого, сокровенного досадно волновала Листницкого. Он покурил, полежал немного, напряженно глядя в серую ватную темень, и неожиданно вспомнил Аксинью, дни отпуска, заполненные до краев ею. Уснул, примиренный думами и случайными, отрывочными воспоминаниями о женщинах, чьи пути скрещивались когда-то с его путями.

XII

В сотне Листницкого был казак Букановской станицы Лагутин Иван. По первым выборам он прошел в члены полкового Военно-революционного комитета, до прихода полка в Петроград ничем особым себя не проявлял, но в последних числах июля взводный офицер сообщил Листницкому, что Лагутин бывает в военной секции Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, связан, наверное, с Советом, так как замечалось, что ведет он частые беседы с казаками своего взвода и влияет на них с отрицательной стороны. В сотне два раза были случаи отказа от назначения в караулы и разъезды. Взводный офицер приписывал эти случаи воздействию на казаков Лагутина.

Листницкий решил, что ему необходимо как-нибудь поближе узнать Лагутина, прощупать его. Вызвать казака на откровенный разговор было бы глупо и неосторожно, поэтому Листницкий решил выжидать. Случай представился скоро. В конце июля третий взвод по наряду должен был ночью нести охрану улиц, прилегающих к Путиловскому заводу.

— Я поеду с казаками, — предупредил взводного офицера Листницкий. — Передайте, чтобы мне оседлали вороного.

Листницкий имел двух лошадей — «на всякий случай», как говорил он. Одевшись при помощи вестового, он спустился во двор. Взвод был на конях. В мглистой, вышитой огнями темноте проехали несколько улиц. Листницкий нарочно отстал, окликнул сзади Лагутина. Тот подъехал, поворачивая свою невзрачную лошаденку, сбоку выжидающе поглядел на есаула.

— Что нового у вас в комитете? — спросил Листницкий.

— Ничего нету.

— Ты какой станицы, Лагутин?

— Букановской.

— Хутора.

— Митякина.

Теперь лошади их шли рядом. Листницкий при свете фонарей искоса посматривал на бородатое лицо казака. У Лагутина из-под фуражки виднелись гладкие зачесы волос, на пухлых щеках неровная куделилась бородка, умные с хитринкой глаза сидели глубоко, прикрытые выпуклыми надбровными дугами.

«Простой с виду, постный, — а что у него за душой? Наверное, ненавидит меня, как и все, что связано со старым режимом, с „палкой капрала“…» — подумал Листницкий, и почему-то захотелось узнать о прошлом Лагутина.

— Семейный?

— Так точно. Жена и двое детишков.

— А хозяйство?

— Какое у нас хозяйство? — насмешливо, с ноткой сожаления сказал Лагутин. — Живем ни шатко ни валко. Бык на казака, а казак на быка — так всю жисть и крутимся… Земля-то у нас песчаная, — подумав, сурово добавил он.

Листницкий когда-то ехал на станцию Серебрякове через Букановскую. Он живо вспомнил эту глухую, улегшуюся на отшибе от большого шляха станицу, с юга прикрытую ровнехоньким неокидным лугом, опоясанную капризными извивами Хопра. Тогда еще с гребня, от Еланской грани, верст за двенадцать, увидел он зеленое марево садов в низине, белый обглоданный мосол высокой колокольни.

— Супесь у нас, — вздохнул Лагутин.

— Домой, наверное, хочется, а?

— Как же, господин есаул! Конешно, гребтится поскорей возвернуться. Нуждишки немало приняли за войну.

— Едва ли, брат, скоро придется вернуться…

— Придется.

— Войну-то не кончили ведь?

— Скоро прикончут. По домам скоро, — упрямо настаивал Лагутин.

— Еще между собой придется воевать. Ты как думаешь?

Лагутин, не поднимая от луки опущенных глаз, помолчав, спросил:

— С кем воевать-то?

— Мало ли с кем… Хотя бы с большевиками.

И опять надолго замолчал Лагутин, словно задремал под четкий плясовой звяк копыт. Ехали молча минуты три. Лагутин, медленно расстанавливая слова, сказал:

— Нам с ними нечего делить.

— А землю?

— Земли на всех хватит.

— Ты знаешь, к чему стремятся большевики?

— Трошки припадало слыхать…

— Так что же, по-твоему, делать, если большевики будут идти на нас с целью захвата наших земель, с целью порабощения казаков? С германцами ведь ты воевал, защищал Россию?

— Германец — дело другое.

— А большевики?

— Что ж, господин есаул, — видимо решившись, заговорил Лагутин, поднимая глаза, настойчиво разыскивая взгляд Листницкого: — Большевики последнюю землишку у меня не возьмут. У меня в аккурат один пай, им моя земля без надобности… А вот, к примеру, — вы не обижайтесь только! — у вашего папаши десять тыщев десятин.

— Не десять, а четыре.

— Ну все одно, хучь и четыре, — рази мал кусок? Какой же это порядок, можно сказать? А кинь по России — таких, как ваш папаша, очень даже много. И так рассудите, господин есаул, что каждый рот куска просит. И вы желаете кушать, и другие всякие люди тоже желают исть. Это ить один цыган приучал кобылу не исть — дескать, приобыкнет без корму. А она, сердешная, привыкала, привыкала, да на десятые сутки взяла да издохла… Порядки-то кривые были при царе, для бедного народа вовсе суковатые… Вашему папаше отрезали вон, как краюху пирога, четыре тыщи, а ить он не в два горла исть, а так же, как и мы, простые люди, в одно. Конешно, обидно за народ! Большевики — они верно нацеливаются, а вы говорите — воевать…

Листницкий слушал его с затаенным волнением. К концу он уже понимал, что бессилен противопоставить какой-либо веский аргумент, чувствовал, что несложными, убийственно-простыми доводами припер его казак к стене, и оттого, что заворошилось наглухо упрятанное сознание собственной неправоты, Листницкий растерялся, озлился:

— Ты чего же — большевик?

— Прозвище тут ни при чем… — насмешливо и протяжно ответил Лагутин. — Дело не в прозвище, а в правде. Народу правда нужна, а ее все хоронют, закапывают. Гутарют, что она давно уж покойница.

— Вот чем начиняют тебя большевики из Совдепа… Оказывается, недаром ты с ними якшаешься?

— Эх, господин есаул, нас, терпеливых, сама жизня начинила, а большевики только фитиль подожгут…

— Ты эти присказки брось! Балагурить тут нечего! — уже сердито заговорил Листницкий. — Ответь мне: ты вот говорил о земле моего отца, вообще о помещичьей земле,

но ведь это — собственность. Если у тебя две рубахи, а у меня нет ни одной — что же, по-твоему, я должен отбирать у тебя?

Листницкий не видел, но по голосу Лагутина догадался, что тот улыбается.

— Я сам отдам лишнюю рубаху. И отдавал на фронте не лишнюю, а последнюю, шинель на голом теле носил, а вот землицей что-то никто не прошибется…

— Да ты что — землей не сыт? Не хватает тебе? — повысил Листницкий голос.

В ответ, взволнованно задыхаясь, почти крикнул побелевший Лагутин:

— А ты думаешь, я об себе душою болею? В Польше были — там как люди живут? Видал аль нет? А кругом нас мужики как живут?.. Я-то видал! Сердце кровью закипает!.. Что ж, думаешь, мне их не жалко, что ль? Я, может быть, об этом, об поляке, изболелся весь, на его горькую землю интересуясь.

Листницкий хотел сказать что-то едкое, но от серых лобастых корпусов Путиловского завода — пронзительный крик «держи!». Грохотом пробарабанил конский топот, резнул слух выстрел. Взмахнув плетью, Листницкий пустил коня наметом.

Они с Лагутиным одновременно подскакали ко взводу, сгрудившемуся возле перекрестка. Казаки, звеня шашками, спешивались, в середине бился схваченный ими человек.

— Что? Что такое? — загремел Листницкий, врезываясь конем в толпу.

— Гад какой-то камнем…

— Шибнул — и побег.

— Дай, ему, Аржанов!

— Ишь ты сволочь! В шиб-прошиб играешь?

Взводный урядник Аржанов, свесившись с седла, держал за шиворот небольшого, одетого в черную распоясанную рубаху, человека. Трое спешившихся казаков крутили ему руки.

— Ты кто такой? — не владея собой, крикнул Листницкий.

Пойманный поднял голову, на мутно-белом лице, покривясь, плотно сомкнулись безмолвные губы.

— Ты кто? — повторил Листницкий вопрос. — Камнями швыряешься, мерзавец? Ну? Молчишь? Аржанов…

Аржанов прыгнул с седла, — выпустив из рук воротник пойманного, с маху ударил того по лицу.

— Дайте ему! — круто поворачивая коня, приказал Листницкий.

Трое или четверо спешенных казаков, валяя связанного человека, замахали плетьми. Лагутин — с седла долой, к Листницкому.

— Господин есаул!.. Что ж вы это?.. Господин есаул! — Он ухватил колено есаула дрожащими цепкими пальцами, кричал: — Нельзя так!.. Человек ить! Что вы делаете?

Листницкий трогал коня поводьями, молчал. Рванувшись к казакам, Лагутин обхватил Аржанова поперек, спотыкаясь, путаясь в шашке ногами, пытался его оттащить. Тот, сопротивляясь, бормотал:

— Ты не гори дюже! Не гори! Он будет каменьями шибаться, а ему молчи?.. Пусти!.. Пусти, тебе добром говорят!..

Один из казаков, изогнувшись, смахнул с себя винтовку, бил прикладом по мягко похрустывавшему телу поваленного человека. Спустя минуту низкий, животно-дикий крик пополз над мостовой.

А потом несколько секунд молчания — и тот же голос, но уже ломкий по-молодому, захлебывающийся, исшматованный болью, между выхрипами после ударов замыкался короткими выкриками:

— Сволочи!.. Контрреволюционеры!.. Бейте! О-ох!.. А-а-а-а-а!..

Гак! гак! гак! — хряпали вперемежку удары.

Лагутин подбежал к Листницкому; плотно прижимаясь к его колену, царапая ногтями крыло седла, задохнулся:

— Смилуйся!

— Отойди!

— Есаул!.. Листницкий!.. Слышишь? Ответишь!

— Плевать я на тебя хотел! — засипел Листницкий и тронул коня на Лагутина.

— Братцы! — крикнул тот, подбежав к стоявшим в стороне казакам. — Я член полкового ревкома… Я вам приказываю: ослобоните человека от смерти!.. ответ… ответ будете держать!.. Не старое время!..

Безрассудная слепящая ненависть густо обволокла Листницкого. Плетью коня меж ушей — и на Лагутина. Тыча в лицо ему вороненый, провонявший ружейным маслом ствол нагана, прорвался на визг:

— Замолчи-и-и, предатель! Большевик! Застрелю!

Величайшим усилием воли оторвал палец от револьверного спуска, вскинув коня на дыбы, ускакал.

Несколько минут спустя тронулись следом за ним три казака. Среди лошадей Аржанова и Лапина волочился, не переставляя ног, человек в мокрой, плотно прилипшей к телу рубахе. Поддерживаемый под руки казаками, он тихо покачивался, чертил ногами булыжник. Между высоко вздернутыми острыми плечами его болталась, свешиваясь назад, белея торчмя поднятым подбородком, окровяненная, разбитая в мякоть голова. Поодаль двигался третий казак. На углу освещенного переулка он увидел извозчика; привстав на стременах, зарысил к нему. Что-то коротко сказав, выразительно пощелкал по голенищу сапога плетью, и извозчик с послушной торопливостью поехал к остановившимся среди улицы Аржанову и Лапину.

На другой день Листницкий проснулся с сознанием совершенной им вчера большой непоправимой ошибки. Покусывая губы, он вспомнил сцену избиения человека, бросившего в казаков камнем, и то, что после разыгралось между ним и Лагутиным. Поморщился. Раздумчиво покашлял. Одеваясь, думал, что Лагутина трогать пока не надо, во избежание обострения отношений с полковым комитетом, а лучше выждать время, когда в памяти казаков, бывших при этом, выутюжится вчерашняя стычка с Лагутиным, и тогда потихоньку убрать его с дороги.

«Что называется, сроднился с казаком…» — горько иронизировал над собой Листницкий и все последующие дни находился под нехорошим впечатлением происшедшего.

Уже в первых числах августа, в погожий солнечный день, Листницкий пошел однажды с Атарщиковым по городу. Между ними, после разговора, происходившего в день собрания офицеров, не было ничего, что могло бы разрешить создавшуюся тогда недоговоренность. Атарщиков был замкнут, вынашивал невысказанные размышления, на повторные попытки Листницкого вызвать его на откровенность наглухо запахивал ту непроницаемую завесу, которую привычно носит большинство людей, отгораживая ею от чужих глаз подлинный свой облик. Листницкому всегда казалось, что, общаясь с другими людьми, человек хранит под внешним обликом еще какой-то иной, который порою так и остается неуясненным. Он твердо верил, что если с любого человека соскоблить верхний покров, то вышелушится подлинная, нагая, не прикрашенная никакой ложью сердцевина. И поэтому ему всегда болезненно хотелось узнать, что кроется за грубой, суровой, бесстрашной, нахальной, благополучной, веселой внешностью разных людей. В данном случае, думая об Атарщикове, он догадывался лишь об одном — что тот мучительно ищет выхода из создавшихся

противоречий, увязывает казачье с большевистским. Это предположение понудило его прекратить попытки к сближению с Атарщиковым, держаться отчужденней.

Они шли по Невскому, изредка перекидываясь незначительными фразами.

— Зайдем перекусить чего-нибудь? — предложил Листницкий, указывая глазами на двери ресторана.

— Пожалуй, — согласился Атарщиков.

Они вошли и остановились, оглядываясь с некоторой беспомощностью: все столики были заняты, Атарщиков уже повернулся было уходить, но от столика у окна поднялся внимательно глядевший на них брюзглый, хорошо одетый господин, сидевший в обществе двух дам, подошел, вежливо приподнимая котелок.

— Прошу прощения! Не угодно ли занять наш столик? Мы уходим. — Он улыбался, обнажая редкий ряд обкуренных зубов, движением руки приглашая пройти. — Я рад услужить господам офицерам. Вы — наша гордость.

Дамы, сидевшие за столиком, встали. Одна, высокая и черная, поправляла прическу, другая, помоложе, ожидала, играя зонтиком.

Офицеры поблагодарили господина, любезно предоставившего им возможность воспользоваться столиком, прошли к окну. Сквозь опущенную штору желтыми иглами втыкались в скатерть истрощенные лучи. Запахи кушаний глушили волнующе-тонкий аромат расставленных по столикам живых цветов.

Листницкий заказал ботвинью со льдом, в ожидании задумчиво ощипывал выдернутую из вазы желто-рдяную настурцию. Атарщиков вытирал платком потный лоб, устало опущенные глаза его, часто моргая, следили за солнечным зайчиком, трепетавшим на ножке соседнего столика.

Они еще не кончили закусывать, когда в ресторан, шумно разговаривая, вошли два офицера.

Передний, отыскивая глазами свободный столик, повернул к Листницкому покрытое ровным бурым загаром лицо. В косых черных глазах его сверкнула радость.

— Листницкий! Ты ли это?.. — направляясь к нему, уверенно, без тени стеснения крикнул офицер.

Под черными усами его кипенно сверкнули зубы. Листницкий угадал есаула Калмыкова, следом за ним подошел Чубов. Они обменялись крепким рукопожатием. Познакомив бывших сослуживцев с Атарщиковым, Листницкий спросил:

— Какими судьбами сюда?

Калмыков, покручивая усы, кивнул головой назад, кося глазами по сторонам, сказал:

— Командированы. После расскажу. Ты о себе повествуй. Как живется в Четырнадцатом полку?

…Вышли они вместе. Калмыков и Листницкий отстали, свернули в первый переулок и через полчаса, миновав шумную часть города, шли, вполголоса разговаривая, опасливо поглядывая вокруг.

— Наш Третий корпус находится в резерве Румынского фронта, — оживленно рассказывал Калмыков. — Недели полторы назад получаю от командира полка предписание: сдав сотню, совместно с сотником Чубовым отправляться в распоряжение штаба дивизии. Чудесно. Сдаю. Приезжаем в штаб дивизии. Полковник М., из оперативного отделения, — ты его знаешь, — конфиденциально мне сообщает, что я немедленно должен выехать к генералу Крымову. Едем с Чубовым в корпус. Крымов принимает меня, а так как он знает, кого из офицеров к нему посылают, то прямо заявляет следующее: «У власти люди, сознательно ведущие страну к гибельному концу, — необходима смена правительственной верхушки,

быть может, даже замена Временного правительства военной диктатурой». Назвал Корнилова как вероятного кандидата, потом предложил мне отправиться в Петроград, в распоряжение Главного комитета Офицерского союза. Теперь здесь сгруппировано несколько сот надежных офицеров. Ты понимаешь, в чем заключается наша роль? Главный комитет Офицерского союза работает в контакте с нашим Советом союза казачьих войск, на узловых станциях и в дивизиях организует ударные батальоны. Все, что в недалеком будущем пригодится…

— Во что же выльется? Как ты думаешь?

— Вот тебе раз! Неужели, живя здесь, вы не уяснили обстановку? Несомненно, будет правительственный переворот, у власти станет Корнилов. Армия ведь за него горой. У нас там думают так: две равнозначащих — это Корнилов и большевики. Керенский между двумя жерновами, — не тот, так другой его сотрет. Пусть себе спит пока на постели Алисы [44]. Он — калиф на час. — Калмыков, помолчав и раздумчиво играя темляком шашки, сказал: — Мы, в сущности, — пешки на шахматном поле, а пешки ведь не знают, куда пошлет их рука игрока… Я, например, не представляю всего, что творится в Ставке. Знаю, что между генералитетом — Корниловым, Лукомским, Романовским, Крымовым, Деникиным, Калединым, Эрдели и многими другими — есть какая-то таинственная связь, договоренность…

— Но армия… пойдет ли вся армия за Корниловым? — спросил Листницкий, все убыстряя шаги.

— Солдатня, конечно, не пойдет. Мы поведем ее.

— Ты знаешь, что Керенский под давлением левых хочет сместить верховного?

— Не посмеет! Завтра же поставят его на колени. Главный комитет Офицерского союза довольно категорически высказал ему свой взгляд на это.

— Вчера к нему от Совета союза казачьих войск были делегированы представители, — улыбаясь, говорил Листницкий. — Они заявили, что казачество не допускает и мысли о смещении Корнилова. И ты знаешь, что он ответил: «Это — инсинуации. Ничего подобного Временное правительство и не думает предпринимать». Успокаивает общественность и в то же время, как проститутка, улыбается исполкому Совдепа.

Калмыков на ходу достал полевую офицерскую книжку, прочитал вслух:

— «Совещание общественных деятелей приветствует вас, верховного вождя русской армии. Совещание заявляет, что всякие покушения на подрыв вашего авторитета в армии и России считает преступными, и присоединяет свой голос к голосу офицеров, георгиевских кавалеров и казаков. В грозный час тяжелых испытаний вся мыслящая Россия смотрит на вас с надеждой и верою. Да поможет вам бог в вашем великом подвиге на воссоздание могучей армии и спасения России! Родзянко». Ясно, кажется? Не может быть и речи о смещении Корнилова… Да, кстати, ты видел вчера его приезд?

— Я только ночью приехал из Царского Села.

Калмыков улыбнулся, разом оголив ровный навес зубов и розовые здоровые десны. Узкие глаза его сморщились, излучив от углов несчетное множество паутинно тонких морщин.

— Классически! Охрана — эскадрон текинцев. Пулеметы на автомобилях. Все это к Зимнему дворцу. Довольно недвусмысленное предупреждение… кха-кха-кха. Видел бы ты эти рожи в косматых папахах. О, на них стоит посмотреть! Своеобразное производят впечатление.

Поколесив по Московско-Нарвскому району, офицеры расстались.

— Нам, Женя, надо не терять друг друга из виду, — говорил на прощание Калмыков. — Лихое наступает время. Держись за землю, а то упадешь!

Вслед уходившему Листницкому крикнул он, став вполоборота:

— Забыл тебе сказать. Меркулова нашего помнишь? Художника-то?

— Ну?

— Убили в мае.

— Не может быть!

— Да ведь как убили, — нечаянно. Глупее смерти и быть не может. В руках у разведчика разорвалась граната, самому ему по локти оторвало руки, а от Меркулова нашли мы лишь часть внутренностей да раздробленный цейс [45]. Три года щадила смерть…

Калмыков еще что-то кричал, но поднявшийся ветер взвихрил серую пыль, нес лишь безголосые концы слов. Листницкий махнул рукой, пошел, изредка оглядываясь.

XIII

6 августа начальник штаба верховного главнокомандующего генерал Лукомский, через первого генерал-квартирмейстера Ставки генерала Романовского, получил распоряжение о сосредоточении в районе Невель — Н.-Сокольники — Великие Луки 3-го конного корпуса с Туземной дивизией.

— Почему в данном районе? Ведь части эти в резерве Румынского фронта? — спросил озадаченный Лукомский.

— Не знаю, Александр Сергеевич. Передаю вам точно приказание верховного.

— Когда вы его получили?

— Вчера. В одиннадцать часов ночи верховный вызвал меня и приказал доложить вам об этом сегодня утром.

Романовский, ступая на носки, походил у окна и, остановившись перед занявшей полстены в кабинете Лукомского стратегической картой Средней Европы, сказал, стоя спиной к нему, с преувеличенным вниманием разглядывая карту:

— Вы объяснитесь… Он сейчас у себя.

Лукомский взял со стола бумаги, отодвинул кресло, пошел той подчеркнуто твердой походкой, какой ходят все полнеющие пожилые военные. В дверях, пропуская вперед себя Романовского, сказал, очевидно, следя за ходом собственных мыслей:

— Правильно. Да.

От Корнилова только что вышел незнакомый Лукомскому высокий голенастый полковник. Он почтительно уступил дорогу, пошел по коридору, заметно прихрамывая, смешно и страшно дергая контуженым плечом.

Корнилов, чуть наклонившись вперед, опираясь о стол косо поставленными ладонями, говорил стоявшему против него пожилому офицеру.

— …надо было ожидать. Вы меня поняли? Прошу известить немедленно по прибытии в Псков. Можете идти.

Выждав, пока за офицером закрылась дверь, Корнилов молодым, упругим движением опустился в кресло; подвигая Лукомскому второе, спросил:

— Вы получили от Романовского мое распоряжение о переброске Третьего корпуса?

— Да. Я пришел поговорить по этому поводу. Почему вами избран указанный район сосредоточения для корпуса?

Лукомский внимательно смотрел на смуглое лицо Корнилова. Оно было непроницаемо, азиатски бесстрастно; по щекам, от носа к черствому рту, закрытому негустыми вислыми усами, привычно-знакомые кривые ниспадали морщины. Жесткое, строгое выражение лица нарушала лишь косичка волос, как-то по-ребячески спускавшаяся на лоб.

Облокотившись, придерживая маленькой, сухой ладонью подбородок, Корнилов сощурил монгольские с ярким блеском глаза, ответил, касаясь рукой колена Лукомского:

— Я хочу сосредоточить конницу не специально за Северным фронтом, а в таком районе, откуда в случае надобности легко было бы ее перебросить на Северный или Западный фронты. По-моему, выбранный район наиболее удовлетворяет этому требованию. Вы мыслите иначе? Что?

Лукомский неопределенно пожал плечами:

— Опасаться за Западный фронт нет никаких оснований. Лучше сосредоточить конницу в районе Пскова.

— Пскова? — переспросил Корнилов, всем корпусом наклоняясь вперед, и, поморщась, чуть ощерив тонкую выцветшую губу, отрицательно качнул головой: — Нет! Район Пскова неудобен.

Усталым, старческим движением Лукомский положил на ручки кресла ладони; осторожно выбирая слова, сказал:

— Лавр Георгиевич, я сейчас же отдам необходимые распоряжения, но у меня создалось впечатление, что вы чего-то не договариваете… Выбранный вами район для сосредоточения конницы очень хорош на случай, если б ее надо было бросить на Петроград или Москву, но Северный фронт подобное размещение конницы не обеспечивает уже по одному тому, что ее трудно будет перебрасывать. Если я не ошибаюсь и вы действительно чего-то не договариваете, то прошу — или отпустите меня на фронт, или полностью скажите мне ваши предположения. Начальник штаба может оставаться на своем месте лишь при полном доверии со стороны начальника.

Корнилов, склонив голову, напряженно вслушивался и все же своим острым глазом успел заметить, как холодное с виду лицо Лукомского волнение испятнило еле видным, скупым румянцем. Подумав несколько секунд, он ответил:

— Вы правы. У меня есть некоторые соображения, относительно которых я с вами еще не говорил… Прошу отдать распоряжение о перемещении конницы и срочно вызовите сюда командира Третьего корпуса генерала Крымова, а мы с вами подробно переговорим после возвращения из Петрограда. От вас, Александр Сергеевич, поверьте, я ничего не хочу скрывать, — подчеркнул Корнилов последнюю фразу и с живостью повернулся на стук в дверь: — Войдите.

Вошли помощник комиссара при Ставке фон Визин, с ним низкорослый белесый генерал. Лукомский поднялся; уходя, слышал, как на вопрос фон Визина Корнилов резко сказал:

— Сейчас у меня нет времени пересматривать дело генерала Миллера. Что?.. Да, я уезжаю.

Вернувшись от Корнилова, Лукомский долго стоял у окна. Поглаживая седеющий клин бородки, задумчиво глядел, как в саду ветер зализывает густые вихры каштанов и волною гонит просвечивающую на солнце горбатую траву.

Через час штаб 3-го конного корпуса получил приказание от наштаверха [46] изготовиться к перемещению. В этот же день шифрованной телеграммой командир корпуса, генерал Крымов, в свое время, по желанию Корнилова, отказавшийся от назначения на должность командующего 11-й армией, срочно вызывался в Ставку.

9 августа Корнилов, под охраной эскадрона текинцев, специальным поездом выехал в Петроград.

На другой день в Ставке передавались слухи о смещении и даже аресте верховного, но 11-го утром Корнилов вернулся в Могилев.

Сейчас же по приезде он пригласил к себе Лукомского. Перечитав телеграммы и сводки,

он заботливо поправил безукоризненно белый манжет, сочно оттенявший оливковую узкую кисть руки, коснулся воротника. В этих торопливо скользящих движениях сказывалось необычайное для него волнение.

— Сейчас мы можем докончить прерванный тогда разговор, — сказал он негромко. — Я хочу вернуться к тем соображениям, которые понудили меня передвигать Третий корпус к Петрограду и относительно которых я с вами еще не говорил. Вы знаете, что третьего августа, когда я был в Петрограде на заседании правительства, Керенский и Савинков предупредили меня, чтобы я не касался особо важных вопросов обороны, так как, по их словам, среди министров есть люди ненадежные. Я, верховный главнокомандующий, отчитываясь перед правительством, не могу говорить об оперативных планах, ибо нет гарантий, что сказанное не будет через несколько дней известно германскому командованию! И это — правительство? Да разве я могу после этого верить, что оно спасет страну? — Корнилов быстрыми твердыми шагами дошел до двери, запер ее на ключ и, вернувшись, взволнованно, расхаживая перед столом, сказал: — Горько и обидно, что какие-то слизняки правят страной. Безволие, слабохарактерность, неумение, нерешительность, зачастую простая подлость — вот что руководит действиями этого, с позволения сказать, «правительства». При благосклонном участии таких господ, как Чернов и другие, большевики сметут Керенского… Вот, Александр Сергеевич, в каком положении находится Россия. Руководствуясь известными вам принципами, я хочу оградить родину от новых потрясений. Третий конный корпус я передвигаю, главным образом, для того, чтобы к концу августа стянуть его к Петрограду, и если большевики выступят, то расправиться с предателями родины как следует. Непосредственное руководство операцией передаю генералу Крымову. Я убежден, что в случае необходимости он не задумается перевешать весь Совет рабочих и солдатских депутатов. Временное правительство… Ну, да мы еще посмотрим… Я ничего не ищу. Спасти Россию… спасти во что бы то ни стало, любой ценой!..

Корнилов оборвал шаги; остановившись против Лукомского, резко спросил:

— Разделяете вы мое убеждение, что только подобным мероприятием можно обеспечить будущее страны и армии? Пойдете ли вы со мной до конца?

Крепко, растроганно пожимая сухую, горячую руку Корнилова, Лукомский привстал:

— Вполне разделяю ваш взгляд! Пойду до конца. Надо обдумать, взвесить — и ударить. Поручите мне, Лавр Георгиевич.

— План разработан мною. Детали разработают полковник Лебедев и капитан Роженко. Ведь вы, Александр Сергеевич, завалены работой. Доверьтесь мне, у нас еще будет время обсудить все и, если явится необходимость, внести соответствующие изменения.

Эти дни Ставка жила лихорадочной жизнью. Ежедневно в губернаторский дом в Могилеве с предложением услуг являлись с фронтов из различных частей, в пропыленных защитных гимнастерках, загорелые и обветренные офицеры, приезжали щеголеватые представители Союза офицеров и Совета союза казачьих войск, шли гонцы с Дона от Каледина — наказного атамана Области войска Донского. Наезжали штатские, разные «визитеры». Было немало стервятников, дальним нюхом чуявших запах большой крови и предугадывавших, чья твердая рука вскроет стране вены, и слетавшихся в Могилев с надеждой, что и им удастся урвать кус, если Корнилов захватит власть. Имена Завойко — бывшего корниловского ординарца, богатого помещика, крупного спекулянта, и Аладьина, заядлого монархиста, назывались в Ставке, как имена людей, имеющих самое близкое отношение к верховному. В военной среде шли слухи, что Корнилов попал в авантюрное окружение. И в то же время в широких кругах офицерства, кадетов и монархистов господствовало убеждение, что Корнилов — надежное знамя восстановления старой,

упавшей в феврале, России. И под это знамя стекались отовсюду страстно желавшие реставрации.

13 августа Корнилов выехал в Москву на Государственное совещание.

Теплый, чуть облачный день. Небо словно отлито из голубоватого алюминия. В зените поярчатая, в сиреневой опушке, туча. Из тучи на поля, на стрекочущий по рельсам поезд, на сказочно оперенный увяданием лес, на далекие акварельно-чистого рисунка контуры берез, на всю одетую вдовьим цветом предосеннюю землю — косой преломленный в отсветах радуги благодатный дождь.

Поезд мечет назад пространство. За поездом рудым шлейфом дым. У открытого окна вагона маленький в защитном мундире с Георгиями генерал. Сузив косые углисто-черные глаза, он высовывает в окно голову, и парные капли дождя щедро мочат его покрытое давнишним загаром лицо и черные вислые усы; ветер шевелит, зачесывает назад по-ребячески спадающую на лоб прядку волос.

XIV

За день до приезда Корнилова в Москву есаул Листницкий прибыл туда с поручением особой важности от Совета союза казачьих войск. Передав в штаб находившегося в Москве казачьего полка пакет, он узнал, что назавтра ожидается Корнилов.

В полдень Листницкий был на Александровском вокзале. В зале ожидания и буфетах первого и второго классов — крутое месиво встречающих; военные преобладают. На перроне строится почетный караул от Александровского военного училища, у виадука — московский женский батальон смерти. Около трех часов пополудни — поезд. Разом стих разговор. Зычный, взвихрившийся всплеск оркестра и шаркающий топот множества ног. Взбугрившаяся толпа подхватила, понесла, кинула Листницкого на перрон. Выбравшись из свалки, он увидел: у вагона главнокомандующего строятся в две шеренги текинцы. Блещущая лаком стена вагона рябит, отражая их ярко-красные халаты. Корнилов, вышедший в сопровождении нескольких военных. начал обход почетного караула, депутаций от Союза георгиевских кавалеров, Союза офицеров армии и флота, Совета союза казачьих войск.

Из числа лиц, представлявшихся верховному, Листницкий узнал донского атамана Каледина и генерала Зайончковского, остальных называли по именам окружавшие его офицеры:

— Кисляков — товарищ министра путей сообщения.

— Городской голова Руднев.

— Князь Трубецкой — начальник дипломатической канцелярии в Ставке.

— Член Государственного совета Мусин-Пушкин.

— Французский военный атташе полковник Кайо.

— Князь Голицын.

— Князь Мансырьев… — звучали подобострастно почтительные голоса.

Листницкий видел, как приближавшегося к нему Корнилова осыпали цветами изысканно одетые дамы, густо стоявшие вдоль платформы. Один розовый цветок повис, зацепившись венчиком за аксельбанты на мундире Корнилова. Корнилов стряхнул его чуть смущенным, нерешительным движением. Бородатый старик уралец, заикаясь, начал приветственное слово от имени двенадцати казачьих войск. Дослушать Листницкому не удалось — его оттеснили к стене, едва не порвали ремень шашки. После речи члена Государственной думы Родичева Корнилов вновь тронулся, густо облепленный толпой. Офицеры, взявшись за руки,

образовали предохранительную цепь, но их разметали. К Корнилову тянулись десятки рук. Какая-то полная растрепанная дама семенила сбоку от него, стараясь прижаться губами к рукаву светло-зеленого мундира. У выхода под оглушительный грохот приветственных криков Корнилова подняли на руки, понесли. Сильным движением плеча Листницкий оттер в сторону какого-то сановитого господина, успел схватиться за мелькнувший перед его глазами лакированный сапог Корнилова. Ловко перехватив ногу, он положил ее на плечо и, не чувствуя ее невесомой тяжести, задыхаясь от волнения, стараясь только сохранить равновесие и ритм шага, двинулся, медленно влекомый толпой, оглушенный ревом и пролитой медью оркестра. У выхода наскоро оправил складки рубашки, в давке выбившейся из-под пояса. По ступенькам — на площадь. Впереди толпа, зеленые шпалеры войск, казачья сотня в конном строю. Приложив ладонь к козырьку фуражки, моргая увлажненными глазами, он пытался, но не мог унять неудержную дрожь губ. Смутно помнил, как клацали фотографические аппараты, бесновалась толпа, шли церемониальным маршем юнкера и стоял, пропуская их перед собой, стройный, подтянутый, маленький, с лицом монгола генерал.

Спустя день Листницкий выехал в Петроград. Устроившись на верхней полке, он расстелил шинель, курил, думая о Корнилове:

«С риском для жизни бежал из плена, словно знал, что будет так необходим родине. Какое лицо! Как высеченное из самородного камня — ничего лишнего, обыденного… Такой же и характер. Для него, наверное, все ясно, рассчитано. Наступит удобный момент — и поведет нас. Странно, я даже не знаю, кто он — монархист? Конституционная монархия… Вот если б каждый был так уверен в себе, как он».

Примерно в этот же час в Москве, в кулуарах Большого театра, во время перерыва в заседании членов Московского государственного совещания, два генерала — один щуплый, с лицом монгола, другой плотный, с крепким посадом квадратной стриженной ежиком головы, с залысинами на гладко причесанных чуть седеющих висках и плотно прижатыми хрящами ушей, — уединившись, расхаживали по короткому отрезку паркета, вполголоса разговаривали:

— Этот пункт декларации предусматривает упразднение комитетов в воинских частях?

— Да.

— Единый фронт, сплоченность, безусловно, необходимы. Без проведения в жизнь указанных мною мероприятий нет спасения. Армия органически не способна драться. Такая армия не только победы не даст, но и не сумеет выдержать сколько-нибудь значительного натиска. Части растлены большевистской пропагандой. А здесь, в тылу? Вы видите, как рабочие реагируют на всякую попытку найти меры к их обузданию? — забастовки и демонстрации. Члены совещания должны идти пешком… Позор! Милитаризация тыла, установление суровой карающей руки, беспощадное истребление всех большевиков, этих носителей маразма, — вот ближайшие наши задачи. Могу я заручиться и в дальнейшем вашей поддержкой, Алексей Максимович?

— Я безоговорочно с вами.

— Я был уверен в этом. Благодарю. Вы видите, когда нужно действовать решительно и твердо, правительство ограничивается полумерами и звонкими фразами — что-де «железом и кровью подавим попытки тех, кто, как в июльские дни, посягнет на народную власть». Нет, мы привыкли сначала делать, а потом говорить. Они поступают наоборот. Что же… будет время — пожнут плоды своей политики полумер. Но я не желаю участвовать в этой бесчестной игре! Я был и остаюсь сторонником открытого боя, блудословие не в моем характере.

Маленький генерал, остановившись против собеседника, покрутил металлическую пуговицу на его темно-защитном френче, сказал, слегка заикаясь от волнения:

— Сняли намордник, а теперь сами трусят своей революционной демократии, просят двинуть с фронта к столице надежные воинские части и в то же время, в угоду этой демократии, боятся предпринимать что-либо реальное. Шаг вперед, шаг назад… Только при полной консолидации наших сил, сильнейшим моральным прессом мы сможем выжать из правительства уступку, а нет — тогда посмотрим! Я не задумываюсь обнажить фронт — пусть их вразумляют немцы!

— Мы говорили с Дутовым. Казачество окажет вам, Лавр Георгиевич, всемерную поддержку. Нам остается согласовать вопрос о совместных действиях в дальнейшем.

— После заседания я жду вас и остальных у себя. Настроение на Дону у вас?

Плотный генерал, прижимая к груди четырехугольный выбритый до глянца подбородок, угрюмым, исподлобным взглядом глядел перед собой. Под его широкими усами дрогнули углы губ, когда он отвечал:

— Нет у меня прежней веры в казака… И сейчас вообще трудно судить о настроениях. Необходим компромисс: казачеству надо кое-чем поступиться для того, чтобы удержать за собой иногородних. Некоторые мероприятия в этом направлении мы предпринимаем, но за успех поручиться нельзя. Боюсь, что на стыке интересов казачества и иногородних и может произойти разрыв… Земля… вокруг этой оси вертятся сейчас мысли и тех и других.

— Вам надо иметь под рукой надежные казачьи части, чтобы обеспечить себя от всяких случайностей изнутри. По возвращении в Ставку я поговорю с Лукомским, и мы, наверное, изыщем возможность отправить с фронта на Дон несколько полков.

— Буду вам очень признателен.

— Итак, сегодня мы согласуем вопрос о наших совместных действиях в будущем. Я горячо верю в благополучное завершение задуманного, но счастье вероломно, генерал… Если оно, вопреки всему, станет ко мне спиной, — могу я рассчитывать, что на Дону у вас я найду приют?

— Не только приют, но и защиту. Казаки ведь исстари славятся гостеприимством и хлебосольством. — В первый раз за все время разговора улыбнулся Каледин, смягчив хмурую усталь исподлобного взгляда.

Час спустя Каледин, донской атаман, выступал перед затихшей аудиторией с «Декларацией двенадцати казачьих войск».

По Дону, по Кубани, по Тереку, по Уралу, по Уссури, по казачьим землям от грани до грани, от станичного юрта до другого черной паутиной раскинулись с того дня нити большого заговора.

XV

В версте от развалин местечка, стертого орудийным огнем июньских боев, возле леса причудливо вилюжились зигзаги окопов. Участок у самой опушки занимала казачья особая сотня.

Позади, за зеленой непролазью ольшаника и березового молодняка, ржавело торфяное болото, когда-то, еще до войны, тронутое разработками; весело, красной ягодой, цвел шиповник. Правее, за выпятившимся лесным мысом, тянулось разбитое снарядами шоссе, напоминая о неисхоженных еще путях, а у опушки рос чахлый, ощелканный пулями бурьянок, сугорбились обугленные пни, желтел бурой глиной бруствер, далеко в стороны по голому

полю отходили морщины окопов. Позади даже болото, изрытвленное рябью разработок, даже разрушенное шоссе пахли жизнью, кинутым трудом, у опушки же безрадостную и горькую картину являла человеческому глазу земля.

В этот день Иван Алексеевич, в прошлом машинист моховской вальцовки, уходил в близлежащее местечко, где стоял обоз первого разряда, и вернулся только перед вечером. Пробираясь к себе в землянку, он столкнулся с Захаром Королевым. Цепляясь шашкой за уступы мешков, набитых землей, бестолково махая руками, Захар почти бежал. Иван Алексеевич посторонился, уступая дорогу, но Захар схватил его за пуговицу гимнастерки, зашептал, ворочая нездорово-желтыми белками:

— Слыхал? Пехота справа уходит! Может, фронт бросают?

Застывшая недвижным потоком, словно выплавленная из черного чугуна, борода Захара была в чудовищном беспорядке, глаза глядели с голодной тоскливой жадностью.

— Как, то есть, бросают?

— Уходют, а как — я не знаю.

— Может, их сменяют? Пойдем к взводному, узнаем.

Захар повернулся и пошел к землянке взводного, скользя ногами по осклизлой, влажной земле.

Через час сотня, смененная пехотой, шла к местечку. Наутро разобрали у коноводов лошадей, форсированным маршем двинулись в тыл.

Мелкий накрапывал дождь. Понурые горбились березы. Дорога вклинилась в лес, и лошади, почуяв сырость и вянущий, острый и тоскливый запах прошлогодней листвы, зафыркали, пошли веселей. Розовыми бусами мокрела на кустах волчья ягода, омытые дождем, пенистые шапки девичьей кашки неотразимо сияли белизной. Ядрено-тяжеловесные капли отряхал ветер с деревьев на всадников. Шинели и фуражки чернели пятнышками, будто иссеченные дробью. Тающий дымок махорки плыл над взводными рядами.

— Захватили-и — и прут черт те куда.

— Аль не обрыдло в окопах?

— А в самом деле, куда нас гонют?

— Переформировка какая-нибудь.

— Что-то не похоже.

— Эх, станица, покурим — все горе забудем!

— Я свое горе в саквах вожу…

— Господин есаул, дозвольте песню заиграть?

— Дозволил, что ль?.. Заводи, Архип!

Кто-то в передних рядах, откашлявшись, завел:

Ехали казАченки да со службы домой,

На плечах погоники, на грудях кресты.

Отсыревшие голоса вяло потянули песню и замолкли. Захар Королев, ехавший в одном ряду с Иваном Алексеевичем, приподнялся на стременах, закричал насмешливо:

— Эй вы, старцы слепые! Рази же так по-нашему играют? Вам под церквой с кружкой побираться, «Лазаря» играть. Песельники…

— А ну, заведи!

— Шея у него короткая, голосу негде помещаться.

— Нахвалился, а теперя хвост на сторону?

Королев зажал в кулаке черный слиток завшивевшей бороды, на минуту закрыл глаза и, отчаянно махнув поводьями, кинул первые слова:

Ой, да возвеселитесь, храбрые донцы-казаки…

Сотня, словно разбуженная его напевным вскриком, рявкнула:

Честь и славою своей!

— и понесла над мокрым лесом, над просекой-дорогой:

Ой, да покажите всем друзьям пример,

Как мы из ружей бьем своих врагов!

Бьем, не портим боевой порядок.

Только слушаем один да приказ.

И что нам прикажут отцы-командиры,

Мы туда идем — рубим, колем, бьем!

Весь переход шли с песнями, радуясь, что вырвались из «волчьего кладбища». К вечеру погрузились в вагоны. Эшелон потянулся к Пскову. И только через три перегона узнали, что сотня, совместно с другими частями 3-го конного корпуса, направляется на Петроград для подавления начинающихся беспорядков. После этого разговоры приутихли. Долго баюкалась в красных вагонах дремотная тишина.

— Из огня да в полымю! — высказал долговязый Борщев общую для большинства мысль.

Иван Алексеевич — с февраля бессменный председатель сотенного комитета — на первой же остановке пошел к командиру сотни.

— Казаки волнуются, господин есаул.

Есаул долго глядел на глубокую яму на подбородке Ивана Алексеевича, сказал, улыбаясь:

— Я сам, милый мой, волнуюсь.

— Куда нас отправляют?

— В Петроград.

— Усмирять?

— А ты думал — способствовать беспорядкам?

— Мы ни того, ни другого не хотим.

— А нас, в аккурат, и не спрашивают.

— Казаки…

— Что «казаки»? — уже озлобленно перебил его командир сотни. — Я сам знаю, что казаки думают. Мне-то приятна эта миссия? Возьми вот, прочитай в сотне. На следующей станции я побеседую с казаками.

Командир подал свернутую телеграмму и, морщась, с видимым отвращением стал жевать покрытые крупками жира куски мясных консервов.

Иван Алексеевич вернулся в свой вагон. В руке, словно горящую головню, нес телеграмму.

— Созовите казаков из других вагонов.

Поезд уже тронулся, а в вагон все прыгали казаки. Набралось человек тридцать.

— Телеграмму командир получил. Зараз читал.

— Ну-кась, что там написано? Давай!

— Читай, не бреши!

— Замиренье?

— Цыцте!

В застойной тишине Иван Алексеевич вслух прочитал воззвание верховного главнокомандующего Корнилова. Потом листок с перевранными телеграфом словами пошел по потным рукам.

«Я, верховный главнокомандующий Корнилов, перед лицом всего народа объявляю, что долг солдата, самоотверженность гражданина свободной России и беззаветная любовь к

родине заставила меня в эти тяжелые минуты бытия отечества не подчиниться приказанию Временного правительства и оставить за собой верховное командование армией и флотом. Поддерживаемый в этом решении всеми главнокомандующими фронтами, я заявляю всему русскому народу, что предпочитаю смерть устранению меня от должности верховного главнокомандующего. Истинный сын народа русского всегда погибает на своем посту и несет в жертву родине самое большое, что имеет, — свою жизнь.

В эти поистине ужасные минуты существования отечества, когда подступы к обеим столицам почти открыты для победоносного движения торжествующего врага, Временное правительство, забыв великий вопрос самого независимого существования страны, кидает в народ призрачный страх контрреволюции, которую оно само своим неуменьем к управлению, своей слабостью во власти, своей нерешительностью в действиях вызывает к скорейшему воплощению.

Не мне, кровному сыну своего народа, всю жизнь свою на глазах всех отдавшему на беззаветное служение ему, — не стоять на страже великих свобод великого будущего своего народа. Но ныне будущее это — в слабых, безвольных руках. Надменный враг посредством подкупа и предательства распоряжается у нас, как у себя дома, несет гибель не только свободе, но и существованию народа русского. Очнитесь, люди русские, и вглядитесь в бездонную пропасть, куда стремительно идет наша родина!

Избегая всяких потрясений, предупреждая какое-либо пролитие русской крови, междуусобной брани и забывая все обиды и оскорбления, я перед лицом всего народа обращаюсь к Временному правительству и говорю: приезжайте ко мне в Ставку, где свобода ваша и безопасность обеспечены моим честным словом, и совместно со мной выработайте и образуйте такой состав народной обороны, который, обеспечивая свободу, вел бы народ русский к великому будущему, достойному могучего свободного народа.

Генерал Корнилов.»

На следующей станции эшелон задержали. Ожидая отправки, казаки собрались возле вагонов, обсуждая телеграмму Корнилова и только что прочитанную командиром сотни телеграмму Керенского, объявлявшего Корнилова изменником и контрреволюционером. Казаки растерянно переговаривались. Командир сотни и взводные офицеры были в замешательстве.

— Все перепуталось в голове, — жаловался Мартин Шамиль. — Чума их разберет, кто из них виноватый!

— Сами мордуются и войска мордуют.

— Начальство с жиру бесится.

— Каждый старшим хочет быть.

— Паны дерутся, у казаков чубы трясутся.

— Идет все коловертью… Беда!

Группа казаков подошла к Ивану Алексеевичу, потребовала:

— Иди к командиру, узнавай, что делать.

Толпой пошли к сотенному. Офицеры, собравшись в своем вагоне, о чем-то совещались. Иван Алексеевич вошел в вагон:

— Господин командир, казаки допытываются, что теперь делать.

— Я сейчас выйду.

Сотня ждала, собравшись у крайнего вагона. Командир смешался с толпой казаков; пробравшись на середину, поднял руку:

— Мы подчиняемся не Керенскому, а верховному главнокомандующему и своему непосредственному начальству. Правильно? Поэтому мы должны беспрекословно исполнять

приказ своего начальства и ехать к Петрограду. В крайнем случае мы можем, доехав до станции Дно, выяснить положение у командира Первой Донской дивизии, — там видно будеть. Я прошу казаков не волноваться. Такое уж время мы переживаем.

Сотенный еще долго говорил о воинском долге, родине, революции, успокаивал казаков, уклончиво отвечал на вопросы. Своей цели он достиг; к составу тем временем прицепили паровоз (казаки не знали, что два офицера их сотни добились ускоренной отправки, угрожая оружием начальнику станции), и казаки разошлись по вагонам.

Сутки тащился эшелон, приближаясь к станции Дно. Ночью его вновь задержали, пропуская эшелоны уссурийцев и Дагестанского полка. Казачий состав перевели на запасный путь. Мимо, в опаловой ночной темноте, поблескивая огнями, пробегали вагоны Дагестанского полка. Слышался удаляющийся гортанный говор, стоп зурны, чуждые мелодии песен.

Уже в полночь отправили сотню. Малосильный паровоз долго стоял у водокачки, от топки падал на землю искрящийся свет огней. Машинист, попыхивая цигаркой, поглядывал в окошко, словно чего-то ожидал. Один из казаков ближнего к паровозу вагона высунулся в дверь, крикнул:

— Эй, Гаврила, крути, а то зараз стрелять будем!

Машинист выплюнул цигарку, помолчал, видимо следя за дугообразным ее полетом; сказал покашливая:

— Всех не перестреляете, — и отошел от окна.

Спустя несколько минут паровоз рванул вагоны, лязгнули буфера, зацокали копыта лошадей, потерявших от толчка равновесие. Состав поплыл мимо водокачки, мимо редких квадратиков освещенных окон и темных, за полотном, березовых куп. Казаки, задав лошадям корм, спали, редко кто бодрствовал, покуривая у полуоткрытых дверей, глядя на величавое небо, думая о своем.

Иван Алексеевич лежал рядом с Королевым, глядел в дверную щель на текучую звездную россыпь. За минувший день, обдумав все, твердо решил он всячески противодействовать дальнейшему продвижению сотни на Петроград; лежа, размышлял, каким образом склонить назад к своему решению, как на них подействовать.

Еще до воззвания Корнилова он ясно сознавал, что казакам с Корниловым не одну стежку топтать, чутье подсказывало, что и Керенского защищать не с руки; поворочал мозгами, решил: не допустить сотню до Петрограда, а если и придется с кем цокнуться, так с Корниловым, но не за Керенского, не за его власть, а за ту, которая станет после него. Что после Керенского будет желанная, подлинно своя власть, — в этом он был больше чем уверен. Еще летом пришлось ему побывать в Петрограде, в военной секции исполкома, куда посылала его сотня за советом по поводу возникшего с командиром сотни конфликта; поглядев работу исполкома, переговорив с несколькими товарищами-большевиками, подумал: «Обрастет этот костяк нашим рабочим мясом, — вот это будет власть! Умри, Иван, а держись за нее, держись, как дите за материну сиську!»

В эту ночь, лежа на попоне, чаще, чем обычно, вспоминал с большой, не изведанной доселе горячей любовью человека, под руководством которого прощупал жесткую свою дорогу. Думая о том, что должен был назавтра говорить казакам, вспомнил и слова Штокмана о казаках, их он повторял часто, будто гвоздь по самую шляпку вбивал: «Казачество консервативно по своему существу. Когда ты будешь убеждать казака в правоте большевистских идей, — не забывай этого обстоятельства, действуй осторожно, вдумчиво, умей приспособляться к обстановке. Вначале к тебе будут относиться с таким же предубеждением, с каким и ты и Мишка Кошевой относились вначале ко мне, но пусть это

тебя не смущает. Долби упорно — конечный успех за нами».

Иван Алексеевич рассчитывал, что, убеждая казаков не идти с Корниловым, он встретит со стороны некоторых возражения, но утром, когда в своем вагоне осторожно заговорил о том, что надо потребовать возвращения на фронт, а не идти на Петроград драться со своими же, казаки охотно согласились и с большой готовностью решили отказаться от дальнейшего следования на Петроград. Захар Королев и казак Чернышевской станицы Турилин были ближайшими сообщниками Ивана Алексеевича. Весь день они, перебираясь из вагона в вагон, говорили с казаками, а к вечеру, на каком-то полустанке, когда поезд замедлил ход, в вагон, где был Иван Алексеевич, вскочил урядник третьего взвода Пшеничников.

— На первой же станции сотня сгружается! — взволнованно крикнул он, обращаясь к Ивану Алексеевичу. — Какой ты председатель комитета, ежели не знаешь, что казаки хотят? Будет из нас дурачка валять! Не поедем дальше!.. Офицерья на нас удавку вешают, а ты ни в дудочку, ни в сопелочку. Для этого мы тебя выбирали? Ну, чего скалишься-то?

— Давно бы так, — улыбаясь, проговорил Иван Алексеевич.

На остановке он первый выскочил из вагона. В сопровождении Турилина прошел к начальнику станций.

— Поезд наш дальше не отправляй. Сгружаться тут зачнем.

— Как это так? — растерянно спросил начальник станции. — У меня распоряжение… путевка…

— Замкнись! — сурово перебил его Турилин.

Они разыскали станционный комитет, председателю, плотному рыжеватому телеграфисту, объяснили, в чем дело, и через несколько минут машинист охотно повел состав в тупик.

Спешно подмостив сходни, казаки начали выводить из вагонов лошадей. Иван Алексеевич стоял у паровоза, расставив длинные ноги, вытирая пот с улыбающегося смуглого лица. К нему подбежал бледный командир сотни:

— Что ты делаешь?.. Ты знаешь, что…

— Знаю! — оборвал его Иван Алексеевич. — А ты, господин есаул, не шуми. — И, бледнея, двигая ноздрями, четко сказал: — Отшумелся, парень! Теперь мы на тебя с прибором кладем. Так-то!

— Верховный Корнилов… — побагровев, заикнулся было есаул, но Иван Алексеевич, глядя на свои растоптанные сапоги, глубоко ушедшие в рыхлый песок, облегченно махнув рукой, посоветовал:

— Повесь его на шею замест креста, а нам он без надобности.

Есаул повернулся на каблуках, побежал к своему вагону.

Час спустя сотня без единого офицера, но в полном боевом порядке выступила со станции, направляясь на юго-запад. В головном взводе рядом с пулеметчиками ехали принявший командование сотней Иван Алексеевич и помощник его, низенький Турилин.

С трудом ориентируясь по отобранной у бывшего командира карте, сотня дошла до деревни Горелое, стала на ночевку. Общим советом было решено идти на фронт, в случае попыток задержания — сражаться.

Стреножив лошадей и выставив сторожевое охранение, казаки улеглись позоревать. Огней не разводили. Чувствовалось, что у большинства настроение подавленное, улеглись без обычных разговоров и шуток, скрытно тая друг от друга мысли.

«Что, ежели одумаются и пойдут с повинной?» — не без тревоги подумал Иван Алексеевич, умащиваясь под шинелью.

Словно подслушав его мысль, подошел Турилин:

— Спишь, Иван?

— Пока нет.

Турилин присел у него в ногах, посвечивая огоньком цигарки, сказал шепотом:

— Казаки-то мутятся… Нашкодили, а зараз побаиваются. Заварили мы кашку… не густо, ты как думаешь?

— Там видно будет, — спокойно ответил Иван Алексеевич. — Ты-то не боишься?

Турилин, почесывая под фуражкой затылок, криво усмехнулся:

— По правде сказать, робею… Начинали — не робел, а зараз оторопь берет.

— Жидок оказался на расплату.

— Да ить что, Иван, его сила.

Они долго молчали. В деревне гасли огни. Откуда-то из безбрежных заливов болотистой, покрытой ивняком луговины несся утиный крик.

— Материка крячет, — задумчиво проговорил Турилин и снова замолк.

Мягкая, ночная, ласковая тишина паслась на лугу. Роса обминала траву. Смешанные запахи мочажинника, изопревшей куги, болотистой почвы, намокшей в росе травы нес к казачьему стану ветерок. Изредка — звяк конской треноги, брызжущее фырканье да тяжелый туп и кряхтенье валяющейся лошади. Потом опять сонная тишина, далекий-далекий, чуть слышный хрипатый зов дикого селезня и ответный — поближе — кряк утки. Стремительный строчащий пересвист невидимых в темени крыльев. Ночь. Безмолвие. Туманная луговая сырость. На западе у подножья неба — всхожая густо-лиловая опара туч. А посредине, над древней псковской землей, неусыпным напоминанием, широким углящимся шляхом вычеканен Млечный Путь.

На рассвете сотня выступила в поход. Прошли деревню Горелое, вслед им долго смотрели бабы и ребятишки, выгонявшие коров. Поднялись на кирпично-красный, окрашенный восходом бугор. Турилин, оглянувшись, тронул ногой стремя Ивана Алексеевича:

— Оглянись, верховые сзади бегут…

Три всадника, окутанные здоровым батистом пыли, миновав деревню, стлались в намете.

— Со-о-отня, стой! — скомандовал Иван Алексеевич.

Казаки с привычной быстротой построились серым квадратом. Всадники, не доезжая с полверсты, перешли на рысь. Один из них, казачий офицер, вынул носовой платок, помахал им над головой. Казаки не сводили глаз с подъезжавших. Офицер, одетый в защитный мундир, ехал передним, двое остальных, в черкесках, держались немного поодаль.

— По какому делу? — выезжая навстречу, спросил Иван Алексеевич.

— На переговоры, — прикладывая руку к козырьку, ответил офицер. — Кто из вас принял сотню?

— Я.

— Я уполномочен от Первой Донской казачьей дивизии, а это — представители Туземной дивизии, — офицер указал глазами на горцев и, туго натягивая поводья, погладил рукой мокрую глянцевую шею взмыленного коня. — Если желаете вести переговоры, прикажите сотне спешиться. Я имею передать устное распоряжение начальника дивизии генерал-майора Грекова.

Казаки спешились. Сошли с коней и приехавшие представители. Нырнув в толпу казаков, они выплыли на середине. Сотня расступилась, очистив небольшой круг.

Первым заговорил казачий офицер:

— Станичники! Мы приехали для того, чтобы уговорить вас одуматься и предотвратить тяжелые последствия вашего поступка. Вчера штаб дивизии узнал о том, что вы, поддавшись

чьим-то преступным уговорам, самовольно покинули вагоны, и сегодня направил нас передать вам распоряжение о немедленном возвращении на станцию Дно. Войска Туземной дивизии и остальные кавалерийские части вчера заняли Петроград — сегодня получена телеграмма. Наш авангард вступил в столицу, занял все правительственные учреждения, банки, телеграф, телефонные станции и все важные пункты. Временное правительство бежало и считается низложенным. Одумайтесь, станичники! Ведь вы идете на гибель! В том случае, если вы не подчинитесь распоряжению командира дивизии, против вас будут направлены вооруженные силы. Ваш поступок расценивается как измена, как невыполнение боевого задания. Вы можете только беспрекословным подчинением предотвратить пролитие братской крови.

Когда подъехали представители, Иван Алексеевич, учитывая настроение казаков, понял, что избежать переговоров нельзя, так как отказ от переговоров неминуемо должен был вызвать обратные результаты. Подумав, он отдал распоряжение сотне спешиться, сам, неприметно мигнув Турилину, протиснулся поближе к представителям. Во время речи офицера видел, как, потупив головы, нахмурясь, слушают казаки; некоторые перешептывались. Захар Королев криво улыбался, черная борода его плавилась по рубахе застывшим чугунным потоком; Борщев играл плеткой, косился в сторону; Пшеничников, округлив раззявленный рот, смотрел в глаза говорившему офицеру; Мартин Шамиль грязной рукой елозил по щекам, часто мигал; за ним желтело дурковатое лицо Багрова; пулеметчик Красников выжидательно щурился; Турилин сапно дышал; веснушчатый Обнизов, сдвинув на затылок фуражку, мотал чубатой головой, словно бык, почуявший на шее ярмо; весь второй взвод стоял, не поднимая голов, как на молитве; слитная толпа молчала, люди жарко и тяжко дышали, по лицам зыбью текла растерянность.

Иван Алексеевич понял, что в настроении казаков назрел переломный момент: еще несколько минут — и краснобаю-офицеру удастся повернуть сотню на свой лад. Во что бы то ни стало требовалось разрушить впечатление, произведенное словами офицера, поколебать невысказанное, но уже сложившееся в умах казаков решение. Он поднял руку, обвел толпу расширенными, странно побелевшими глазами.

— Братцы! Погодите трошки! — и, обращаясь к офицеру: — Телеграмма при вас?

— Какая телеграмма? — изумился офицер.

— Об том, что Петроград взяли.

— Телеграмма?.. Нет. При чем тут телеграмма?

— Ага! Нет!.. — единой грудью облегчающе вздохнула сотня.

И многие подняли головы, с надеждой устремили глаза на Ивана Алексеевича, а он, повысив сиповатый голос, уже насмешливо, уверенно и зло кричал, властно греб к себе внимание:

— Нету, говоришь? А мы тебе поверим? На мякине хочешь подсидеть?

— Об-ман! — гулом вздохнула сотня.

— Телеграмма не мне адресована! Станичники! — Офицер убеждающе прижимал к груди руки.

Но его уже не слушали. Иван Алексеевич, почуяв, что симпатии и доверие сотни вновь перекинулись к нему, резал, как алмазом по стеклу:

— А хучь бы и взяли — нам с вами не по дороге! Мы не желаем воевать со своими. Против народа мы не пойдем! Стравить хотите? Нет! Перевелись на белом свете дураки! Генеральскую власть на ноги ставить не хотим. Так-то!

Казаки дружно загомонили, толпа качнулась, расплескалась криками:

— Вот это да!

— В разрез вогнал!

— Правильна-а-а!..

— Гнать их, этих благородий, взашей!

— Сваты приехали, тоже…

— В Петрограде вон три полка казачьих, а что-то они сомневаются против народа выходить.

— Слышь, Иван! Налаживай их по чем попало мешалкой! Нехай уезжают!

Иван Алексеевич глянул на представителей: казачий офицер, поджав губы, терпеливо выжидал; позади него плечо к плечу стояли горцы — статный молодой офицер-ингуш, скрестив на нарядной черкеске руки, поблескивал из-под черной кубанки косыми миндалинами глаз, другой — пожилой рыжий осетин — стоял, небрежно отставив ногу, положив ладонь на головку гнутой шашки, он насмешливыми, щупающими глазами оглядывал казаков. Иван Алексеевич только что хотел прервать переговоры, но его опередил казачий офицер; пошептавшись с офицером-ингушом, он зычно крикнул:

— Донцы! Разрешите сказать слово представителю Дикой дивизии?

Не дожидаясь согласия, ингуш, мягко ступая сапогами без каблуков, вышел на середину круга, нервно поправил узенький наборный ремешок.

— Братья-казаки! Зачим такой балшой шум? Надо говорить без ожистачения. Вы нэ хотите генерала Корнилова? Вы хотите войны? Пожалуйста! Мы будем воивать. Ни страшна! Зовсим ни страшна! Сегодня же мы вас разыдавим. Два полка горцев идут за нашим спином. Ва! Какой может быть шум, зачим шум? — Вначале он говорил с видимым спокойствием, но под конец уже с повышенной страстностью кидал горячие фразы; в гортанную ломаную речь его вплетались слова родного языка. — Вас смущает вот этот казак, он — балшевик, а вы идете за ним! Ва! Что я нэ вижу! Арэстуйте его! Абэзаружти его!

Смелым жестом указывал он на Ивана Алексеевича и метался по тесному кругу, побледневший, страстно жестикулирующий, с лицом, облитым коричневым румянцем. Товарищ его, пожилой рыжий осетин, хранил ледяное спокойствие; казачий офицер теребил изношенный темляк шашки. Казаки вновь приумолкли, вновь замешательство взволновало их ряды. Иван Алексеевич глядел неотрывно на ингуша-офицера, на зверино-белый оскал его зубов, на косую серую полоску пота, перерезавшую левый висок, с тоской думал, что напрасно упустил момент, когда можно было словом одним кончить переговоры и увести казаков. Положение выручил Турилин. Он прыгнул на середину круга, отчаянно взмахнул руками, обрывая на вороте рубахи пуговицы, захрипел, задергался, пенясь бешеной слюной:

— Гады ползучие!.. Черти!.. Сволочи!.. Вас уговаривают как б…, а вы ухи развесили!.. Офицерья вам свою нужду навязывают!.. Что вы делаете? Что-о-о вы делаете?! Их рубить надо, а вы их слухаете?.. Головы им сплеч, кровину из них спустить. Покеда вы тут муздыкаетесь, — нас окружут!.. Из пулеметов посекут… Под пулеметом не замитингуешь!.. Вам нарошно очки втирают, покеда ихнее войско подойдет… А-а-а-а-э-эх, вы, казаки! Юбошники вы!

— На конь!.. — громовым голосом рявкнул Иван Алексеевич.

Крик его лопнул над толпой шрапнельным разрывом. Казаки кинулись к лошадям. Через минуту рассеянная сотня уже строилась во взводные колонны.

— Послушайте! Станичники! — метался казачий офицер.

Иван Алексеевич сдернул с плеча винтовку; твердо уложив пухло-суставчатый палец на спуске, вонзая в губы заигравшегося коня удила, крикнул:

— Кончились переговоры! Теперь ежели доведется гутарить с вами, так уж будем вот этим языком. — И он выразительно потряс винтовкой.

Взвод за взводом выехали на дорогу. Оглядываясь, казаки видели, как представители, сев на коней, о чем-то совещаются. Ингуш, сузив глаза, что-то горячо доказывал, часто поднимал руку; шелковая подкладка отвернутого обшлага на рукаве его черкески снежно белела.

Иван Алексеевич, глянув в последний раз, увидел эту ослепительно сверкающую полоску шелка, и перед глазами его почему-то встала взлохмаченная ветром-суховеем грудь Дона, зеленые гривастые волны и косо накренившееся, чертящее концом верхушку волны белое крыло чайки-рыболова.

XVI

Уже 29 августа из телеграмм, получаемых от Крымова, Корнилову стало ясно, что дело вооруженного переворота погибло.

В два пополудни в Ставку прибыл от Крымова офицер-ординарец. Корнилов долго беседовал с ним, после вызвал Романовского; нервно комкая какую-то бумагу, сказал:

— Рушится все! Нашу карту побьют… Крымов не сможет вовремя стянуть корпус к Петрограду, момент будет упущен. То, что казалось так легко осуществимо, встречает тысячи препятствий… Исход предрешен в отрицательную сторону… Вот… посмотрите-ка, как эшелонировались войска! — Он протянул Романовскому карту с отметками последнего местопребывания эшелонов корпуса и Туземной дивизии; судорога зигзагом прошлась по его энергическому, измятому бессонницей лицу. — Вся эта железнодорожная сволочь вставляет нам палки в колеса. Они не думают о том, что в случае удачи я прикажу вешать десятого из них. Ознакомьтесь с донесением Крымова.

Пока Романовский читал, поглаживая большой ладонью свое одутловатое масленое лицо, Корнилов бегло написал:

Новочеркасск войсковому атаману Алексею Максимовичу Каледину.

Сущность Вашей телеграммы Временному правительству доведена до моего сведения. Истощив терпение в бесплодной борьбе с изменниками и предателями, славное казачество, видя неминуемую гибель родины, с оружием в руках отстоит жизнь и свободу страны, которая росла и ширилась его трудами и кровью. Наши отношения остаются в течение некоторого времени стесненными. Прошу Вас действовать в согласованности со мной — так, как Вам подскажет любовь к родине и честь казака.

658, 29.8.17.

Генерал Корнилов.

— Передайте немедленно эту телеграмму, — дописав, попросил он Романовского.

— Прикажете послать вторичную телеграмму князю Багратиону о том, чтобы дальнейшее следование производилось походным порядком?

— Да, да.

Романовский, помолчав, раздумчиво проговорил:

— По-моему, Лавр Георгиевич, пока у нас нет еще оснований быть пессимистически настроенными. Вы неудачно предвосхищаете ход событий…

Корнилов, суетливо выкидывая руку, пытался поймать порхавшую над ним крохотную лиловую бабочку. Пальцы его сжимались, на лице было слегка напряженное, ожидающее выражение. Бабочка, колеблемая рывками воздуха, спускаясь, планировала крыльями, стремилась к открытому окну. Корнилову все же удалось поймать ее, и он облегчающе задышал, откинулся на спинку кресла.

Романовский ждал ответа на свою реплику, но Корнилов, задумчиво и хмуро улыбаясь,

стал рассказывать:

— Сегодня я видел сон. Будто я — бригадный командир одной из стрелковых дивизий, веду наступление в Карпатах. Вместе со штабом приезжаем на какую-то ферму. Встречает нас пожилой, нарядно одетый русин. Он потчует меня молоком и, снимая войлочную белую шляпу, говорит на чистейшем немецком языке: «Кушай, генерал! Это молоко необычайно целебного свойства». Я будто бы пью и не удивляюсь тому, что русин фамильярно хлопает меня по плечу. Потом мы шли в горах, и уж как будто бы не в Карпатах, а где-то в Афганистане, по какой-то козьей тропе… Да, вот именно козьей тропкой: камни и коричневый щебень сыпались из-под ног, а внизу за ущельем виднелся роскошный южный, облитый белым солнцем ландшафт…

Легкий сквозняк шевелил на столе бумаги, тек между распахнутыми створками окна. Затуманенный и далекий взгляд Корнилова бродил где-то за Днепром, по ложбинистым увалам, искромсанным бронзовой прожелтенью луговин.

Романовский проследил за его взглядом и сам, неприметно вздохнув, перевел глаза на слюдяной глянец застекленного безветрием Днепра, на дымчатые поля, покрытые нежнейшей предосенней ретушью.

XVII

Кинутые на Петроград части 3-го конного корпуса и Туземной дивизии эшелонировались на огромном протяжении восьми железных дорог: Ревель, Везенберг, Нарва, Ямбург, Гатчина, Сомрино, Вырица, Чудово, Гдов, Новгород, Дно, Псков, Луга и все остальные промежуточные, станции и разъезды были забиты медленно передвигавшимися, застревавшими эшелонами. Полки находились вне всякого морального воздействия старшего командного состава, расчлененные сотни теряли меж собой связь. Путаница усугублялась тем, что корпус с приданной ему Туземной дивизией на походе разворачивался в армию; требовались известное перемещение и сборка разбросанных частей, перегруппировка эшелонов. Все это создавало неразбериху, бестолковые, зачастую несогласованные распоряжения, накаляло и без того напряженно-нервную атмосферу.

Встречая на своем пути противодействие рабочих и служащих железнодорожников, преодолевая препятствия, эшелоны корниловской армии тихо стекали к Петрограду, копились на узлах, вновь рассасывались.

В красных клетушках вагонов, у расседланных полуголодных лошадей, толпились полуголодные донские, уссурийские, оренбургские, нерчинские и амурские казаки, ингуши, черкесы, кабардинцы, осетины, дагестанцы. Эшелоны, ожидая отправки, часами простаивали на станциях, всадники густо высыпали из вагонов, саранчой забивали вокзалы, толпились на путях, пожирали все съедобное, что оставалось от проходивших ранее эшелонов, под сурдинку воровали у жителей, грабили продовольственные склады.

Желтые и красные лампасы казаков, щеголеватые куртки драгун, черкески горцев… Никогда не видела скупая на цвета северная природа такого богатого сочетания красок.

29 августа около Павловска 3-я бригада Туземной дивизии, под командой князя Гагарина, уже вошла в соприкосновение с противником. Наткнувшись на разобранный путь, Ингушский и Черкесский полки, шедшие в голове дивизии, выгрузились и походным порядком пошли по направлению на Царское Село. Разъезды ингушей проникли до станции Сомрино. Полки замедленным темпом развивали наступление, теснили гвардейцев, выжидая, пока подтянутся остальные части дивизии. А те в Дно ожидали отправки. Некоторые не доехали еще и до

этой станции.

Командир Туземной дивизии, князь Багратион, находился в имении неподалеку от станции, ожидая сосредоточения остальных частей, не рискуя идти походным порядком до Вырицы.

28-го он получил из штаба Северного фронта копию следующей телеграммы:

«Прошу комкору 3 и начальникам дивизий 1-й Донской, Уссурийской и кавказской Туземной передать приказание главковерха, что если вследствие каких-либо непредвиденных обстоятельств встретится затруднение к следованию эшелонов по железной дороге, то главковерх приказал дивизиям дальнейшее движение производить походным порядком.

27 августа 1917 года. N 6411, Романовский.»

Около 9 часов утра Багратион по телеграфу уведомил Корнилова о том, что в 6 часов 40 минут утра получил через начальника штаба Петроградского округа, полковника Багратуни, приказание Керенского вернуть все эшелоны обратно и что эшелоны дивизии задержаны по пути от разъезда Гачки до станции Оредеж, так как железная дорога, согласно распоряжению Временного правительства, не дает жезлов. Но несмотря на то, что полученная им резолюция Корнилова гласила:

«Князю Багратиону. Продолжать движение по железной дороге. Если по железной дороге не представится возможным, походным порядком до Луги, где поступить в полное подчинение генералу Крымову», —

Багратион все же не решился идти походным порядком и отдал распоряжение о погрузке в вагоны штаба корпуса.

Полк, в котором когда-то служил Евгений Листницкий, совместно с остальными полками, входившими в состав 1-й Донской казачьей дивизии, перебрасывался на Петроград по линии Ревель — Везенберг — Нарва. 28-го в пять пополудни эшелон из двух сотен полка прибыл в Нарву. Командир эшелона узнал, что в ночь выехать нельзя: между Нарвой и Ямбургом испорчен путь, часть железнодорожного батальона послана туда экстренным поездом, к утру, если успеют восстановить путь, эшелон будет отправлен. Волей-неволей эшелонному пришлось согласиться. Чертыхаясь, он влез в свой вагон, поделился новостью с офицерами, засел пить чай.

Ночь пришла пасмурная. С залива дул сырой, пронизывающий ветер. На путях, в вагонах глухо переговаривались казаки да копытили деревянные полы лошади, обеспокоенные паровозными гудками. В хвосте эшелона молодой казачий голос пел, жаловался в темноте неведомо кому:

Прощай ты, город и местечко,
Прощай, родимый хуторок!
Прощай ты, девка молодая,
Ой, да прощай, лазоревый цветок!
Бывало, от зари до зорьки
Лежал у милки да на руке,
А и эх, теперя от зари до зорьки
Стою с винтовкою в руке…

Из-за серой махины пакгауза вышел человек. Постоял, прислушиваясь к песне, оглядел пути, отмеченные желтыми запятыми огней, уверенно пошел к эшелону. Шаги его мягко звучали на шпалах, глохли, когда ступал и шел по утрамбованному суглинку. Он миновал крайний вагон, его окликнул, оборвав песню, стоявший у дверей казак:

— Кто таков?

— А тебе кого? — нехотя отозвался, уходя.

— Чего шляешься по ночам? Мы вас, жуликов, шлепаем! Присматриваешь, что плохо лежит?

Не отвечая, человек прошел до середины состава, спросил, просовывая голову в дверную щель вагона:

— Какая сотня?

— Арестантская, — хахакнули из темноты.

— Делом спрашиваю — какая?

— Вторая.

— А четвертый взвод где?

— Шестой от головы вагон.

У шестого от паровоза вагона курили трое казаков. Один сидел на корточках, двое стояли около. Они молча смотрели на подходившего к ним человека.

— Здорово живете, станичники!

— Слава богу, — ответил один, всматриваясь в лицо подошедшего.

— Никита Дугин живой? Тут он?

— А вот я, — певческим тенорком отозвался сидевший на корточках и встал, каблуком задавил цигарку. — Не опознаю тебя. Чей ты? Откель? — Он вытянул бородатое лицо, стараясь разглядеть незнакомого человека в шинели и помятой солдатской фуражке, и вдруг изумленно крякнул: — Илья! Бунчук? Любезный мой, откель тебя лихоманец вытряхнул?

Подержав в шершавой ладони волосатую руку Бунчука, нагибаясь к нему, негромко сказал:

— Это свои ребята, ты их не боись. Откель ты очутился тут? Говори же, еж тебя наколи!

Бунчук за руку поздоровался с остальными казаками, ответил надломленным, чугунно-глухим голосом:

— Приехал из Питера, насилу разыскал вас. Дело есть. Надо потолковать. Я, брат, рад видеть тебя живым и здоровым.

Он улыбался, на сером квадрате его большого лобастого лица белели зубы, тепло, сдержанно и весело поблескивали глаза.

— Потолковать? — пел тенорок бородатого. — Ты хучь и офицер, а нашим кумпанством, значит, не гребуешь? Ну спасибо, Илюша, спаси Христос, а то мы ласковое слово и ощупкой не пробовали… — В голосе его подрагивали нотки добродушного, беззлобного смеха.

Бунчук так же приветливо отшутился:

— Будет, будет тебе воду мутить! Ты все играешься! Шутки шутишь, а у самого борода ниже пупка.

— Бороду мы могем в любой час побрить, а вот ты скажи, что там в Питере? Бунты зачались?

— Пойдем-ка в вагон, — обещающе предложил Бунчук.

Они влезли в вагон. Дугин кого-то расталкивал ногами, вполголоса говорил:

— Вставайте, ребятежь! Человек нужный прибыл к нам в гости. Ну, поторапливайтесь, служивые, поскореича!

Казаки покряхтывали, вставали. Чьи-то большие, провонявшие табаком и конским потом ладони, бережно касаясь, ощупали в темноте лицо присевшего на седло Бунчука; густой мазутный бас спросил:

— Бунчук?

— Я. А это ты, Чикамасов?

— Я, я. Здорово, дружок!

— Здравствуй.

— Зараз сбегаю, ребят третьего взвода покличу.

— Ну-ну!.. Мотай.

Третий взвод пришел почти целиком, лишь двое остались при лошадях. Казаки подходили к Бунчуку, совали черствые краюхи ладоней, наклоняясь, вглядывались при свете фонаря в его большое, угрюмоватое лицо, называли то Бунчуком, то Ильей Митричем, то Илюшей, но во всех голосах одним тоном звучал товарищеский, теплый привет.

В вагоне стало душно. На дощатых стенах танцевали световые блики, качались и увеличивались в размерах безобразные тени, жирным лампадным светом дымился фонарь.

Бунчука заботливо усадили к свету. Передние сидели на корточках, остальные, стоя, обручем сомкнулись вокруг. Тенористый Дугин откашлялся.

— Письмо твою, Илья Митрич, мы надысь получили, одначе нам хотится послушать от тебя и чтоб ты посоветовал нам, как в дальнейшем быть. Ить двигают нас к Питеру — что ты поделаешь?

— Видишь, какое дело, Митрич, — заговорил стоявший у самых дверей казак с серьгой в морщеной мочке уха, тот самый казак, которого обидел некогда Листницкий, не разрешив кипятить чай на окопном щите, — тут к нам подбиваются разные агитаторы, отговаривают — мол, не ходите на Петроград, мол, воевать нам промеж себя не из чего, и разное подобное гутарют. Мы слухать — слухаем, а веры им дюже не даем. Чужой народ. Может, они нас под монастырь надворничать ведут, — кто их знает? Откажись, а Корнилов черкесов направит — и вот опять кроворазлитие выйдет. А вот ты — наш, казак, и мы тебе веры больше даем и очень даже благодарственны, что письмишки нам из Питера писал и газеты опять же… тут, признаться, бумагой бедствовали, а газеты получим…

— Чего мелешь, чего брешешь, дурья голова? — возмущенно перебил один. — Ты — неграмотный, так думаешь — и всем темно, как тебе? Как будто мы на курево газеты потребляли! Вперед, Илья Митрич, мы их от головы до хвоста перечитаем, бывалоча.

— Набрехал, дьявол грызной!

— «На курево» — рубанул тоже!

— С дуру, как с дубу!

— Братушки! Я не в том понятии сказал, — оправдывался казак с серьгой. — Конешно, спервоначалу мы газеты читали…

— Вы самое читали?

— Мне грамоту не привелось узнать… к тому говорю, что вообче читали, а потом уж на курево…

Бунчук, скупо улыбаясь, сидел на седле, посматривал на казаков; ему неудобно было говорить сидя, он привстал и, поворачиваясь к фонарю спиной, медленно, натужно заговорил:

— В Петрограде вам делать нечего. Никаких бунтов там нет. Знаете вы, для чего вас туда посылают? Чтобы свергнуть Временное правительство… Вот! Кто вас ведет? — царский генерал Корнилов. Для чего ему надо спихнуть Керенского? Чтобы самому сесть на это место. Смотрите, станичники! Деревянное ярмо с вас хочут скинуть, а уж ежели наденут, так наденут стальное! Из двух бед надо выбирать беду, какая поменьше. Не так ли? Вот и рассудите сами: при царе в зубы вас били, вашими руками на войне жар загребали. Загребают и при Керенском, но в зубы не бьют. Но совсем по-другому будет после Керенского, когда власть перейдет к большевикам. Большевики войны не хотят. Будь власть в их руках — сейчас же был бы мир. Я не за Керенского, черт ему брат, — все они одним миром мазаны! — Бунчук улыбнулся и, вытирая рукавом пот со лба, продолжал: — Но я зову вас не проливать кровь рабочих. Если будет Корнилов, то в рабочей крови по колено станет бродить Россия,

при нем труднее будет вырвать власть и передать ее в руки трудящегося народа.

— Погоди трошки, Илья Митрич! — сказал, выходя из задних рядов, небольшой казак, такой же коренастый, как и Бунчук; он откашлялся, потер длинные руки, похожие на обмытые водой корни дуба-перестарка, и, глядя на Бунчука улыбающимися светло-зелеными, клейкими, как молодые листочки, глазами, спросил: — Ты вот про ярмо гутарил… А большевики, как заграбают власть, какую ярмо на нас наденут?

— Ты что же, сам на себя будешь ярмо надевать?

— Как это — сам?

— А так. Ведь при большевиках кто будет у власти? Ты будешь, если выберут, или Дугин, или вот этот дядя. Выборная власть, Совет. Понял?

— А сверху кто?

— Опять же кого выберут. Выберут тебя — и ты будешь сверху.

— Ой ли? А не брешешь ты, Митрич?

Казаки засмеялись, заговорили все сразу, даже часовой, стоявший у двери, отошел на минуту, вмешался в разговор.

— А всчет землишки они как?

— Не заберут у нас?

— Войну-то прикончут? Или, может, зараз тольки сулятся, чтоб за них руки подымали?

— Ты нам все по совести рассказывай!

— Мы тут в потемках блукаем.

— Чужим-то верить опасно. Брехни много…

— Вчерась матросик какой-то об Керенском плакал, а мы его за волосья да из вагона.

— «Вы, шумит, кондры!..» Чудак!

— Мы этих слов не понимаем, с чем их едят.

Бунчук, поворачиваясь во все стороны, щупал глазами казаков, ждал, пока угомонятся. У него исчезла бывшая вначале неуверенность в успехе своего предприятия, и он, завладев настроением казаков, уже твердо знал, что во что бы то ни стало задержит эшелон в Нарве. Днем раньше, когда, явившись в Петроградский районный комитет партии, он предложил себя в качестве агитатора для работы среди подходивших к Петрограду частей 1-й Донской дивизии, был уверен в успехе, но добрался до Нарвы — и уверенность в нем поколебалась. Он знал, что какими-то иными словами надо говорить с казаками, со страхом чувствовал, что, пожалуй, и не найдет общего языка, потому что, вернувшись девять месяцев назад в рабочую гущу, вновь кровно сросся с ней — выступая, привык, что его чувствуют и понимают с полуслова, а тут, с земляками, требовались иной, полузабытый, черноземный язык, ящериная изворотливость, какая-то большая сила убеждения — чтобы не только опалить, но и зажечь, чтобы уничтожить напластовавшийся веками страх ослушания, раздавить косность, внушить чувство своей правоты и повести за собой.

Вначале, когда заговорил, собственным слухом ловил в голосе своем спотыкающуюся неуверенность, наигранность, будто со стороны вслушивался в свои бессочные слова, ужасался неубедительности приводимых доводов, мучительно шарил в голове, разыскивал какие-то большие, тяжелые глыбы слов, чтобы ломать ими, крушить… И вместо этого с неизъяснимой горечью ощущал, как мыльными пузырями срываются с его губ легковесные фразы, а в голове путаются выхолощенные, скользкие мысли. Он стоял, обжигаясь потом, тяжко дыша. Говорил, просверливаемый навылет одной мыслью: «Мне доверили такое большое дело — и вот я его поганю собственными руками… Слова не свяжу… Да что же это со мной? Другой на моем месте сказал бы и убедил в тысячу раз лучше… О, черт, какая же я бездарь!»

Казак с зелеными клейкими глазами, спросивший о ярме, выбил из состояния дурного полузабытья; разговор, поднявшийся после этого, дал Бунчуку возможность встряхнуться, оправиться, и потом, дивясь самому себе, чувствуя необычайный прилив сил и богатейший подбор ярких, отточенных, режущих слов, он загорелся и, тая под внешним спокойствием прихлынувшее возбуждение, уже веско и зло разил ехидные вопросы, вел разговор, как всадник, усмиривший досель необъезженного, запененного в скачке коня.

— А ну, скажи: чем плохое Учредительное собрание?

— Ленина-то вашего немцы привезли… нет? А откель же он взялся… с вербы?

— Митрич, ты своей охотой приехал аль подослали тебя?

— Войсковые земли кому отойдут?

— А чем нам при царе плохо жилось?

— Меньшевики ить тоже за народ?

— У-нас Войсковой круг, власть народная — на что нам Советы? — спрашивали казаки.

Разошлись за полночь. Порешили собраться на следующее утро обеими сотнями на митинг. Бунчук остался ночевать в вагоне. Чикамасов предложил ему ложиться с, ним. Крестясь на сон грядущий, укладываясь, предупредил:

— Ты, Илья Митрич, может, без опаски ложишься, так ты извиняй… У нас, дружок, вошки водются. Коли наберешься — не обижайся. С тоски такую ядреную вшу развели, что прямо беда! Каждая с холмогорскую телку ростом. — Помолчав, тихонько спросил: — Илья Митрич, а из каких народов Ленин будет? Словом, где он родился и произрастал?

— Ленин-то? Русский.

— Хо?!

— Верно, русский.

— Нет, браток! Ты, видать, плохо об нем знаешь, — с оттенком собственного превосходства пробасил Чикамасов. — Знаешь, каких он кровей? Наших. Сам он из донских казаков, родом из Сальского округа, станицы Великокняжеской, — понял? Служил батарейцем, гутарют. И личность у него подходящая — как у низовских казаков: скулья здоровые и опять же глаза.

— Откуда ты слышал?

— Гутарили промеж собой казаки, довелось слыхать.

— Нет, Чикамасов! Он — русский, Симбирской губернии рожак.

— Нет, не поверю. А очень даже просто не поверю. Пугач из казаков? А Степан Разин? А Ермак Тимофеевич? То-то и оно! Все, какие беднеюшчий народ на царей подымали, — все из казаков. А ты вот говоришь — Симбирской губернии. Даже обидно, Митрич, слухать такое…

Улыбаясь, Бунчук спросил:

— Так говорят, что — казак?

— Он и есть казак, только зараз не объявляется. Я, как на личность глазами кину, — доразу опознаю. — Чикамасов закурил и, дыша в лицо Бунчуку густым махорочным запахом, задумчиво кашлянул. — Диву я даюсь, и мы тут до драки спорили: ежели он, Владимир Ильгич, — нашинский казак, батареец, то откель он мог такую огромную науку почерпнуть? Гутарют, будто спервоначалу войны попал он к немцам в плен, обучался там, а потом все науки прошел да как начал ихних рабочих бунтовать да ученым очки вставлять, — они и перепужались до смерти. «Иди, говорят, лобастый, восвоясы. Христос с тобой, а то ты нам таких делов напутляешь, что и в жисть не расхлебать!» — и проводили его в Россию, забоялись, как бы он рабочих не настропалил. Ого! Он, брат, зубец! — не без хвастливости произнес Чикамасов последнюю фразу и радостно засмеялся в темноту: — Ты, Митрич, не видал его? Нет? Жалко. Гутарют, у него башка агромадная. — Покашлял, выпустил через

ноздрину рыжий сноп дыма и, докуривая цигарку, продолжал: — Во каких бабы побольше бы родили. Зубец, пра! Он ишо не одному царю перекрут сделает… — И вздохнул: — Нет, Митрич, ты не спорий со мной: Ильгич-то — казак… Чего уж там тень наводить! В Симбирской губернии таких и на кореню не бывает.

Бунчук промолчал, долго лежал, улыбаясь, не закрывая глаз.

Уснул не скоро, — его и в самом деле густо обсыпали вши, расползлись под рубахой огневой, нудной чесоткой; рядом вздыхал и скреб тело Чикамасов, отпугивала дремоту чья-то фыркающая беспокойная лошадь. Он совсем уже было заснул, но неполадившие лошади подрались, затопали, зло взвизжались.

— Балуй, дьявол!.. Тр-р-р! Тр-р-р, проклятый!.. — заспанным тенорком вскричал вскочивший Дугин и чемто тяжелым ударил ближнюю лошадь.

Бунчук, одолеваемый вшами, поворочался, перевернулся на другой бок и, с досадой сознавая, что сон ушел надолго, стал думать о завтрашнем митинге. Пытался представить себе — во что выльется противодействие офицеров, усмехнулся: «Сбегут, наверное, если казаки дружно запротестуют, а впрочем, черт их знает! На всякий случай договорюсь с гарнизонным комитетом». Как-то непроизвольно вспомнил эпизод из войны, атаку в октябре 1915 года, а затем память, словно обрадовавшись, что направили ее на знакомую, утоптанную тропу, настойчиво и злорадно стала подсовывать обрезки воспоминаний: лица, безобразные позы убитых русских и немецких солдат, разноголосую речь, бескрасочные, стертые временем куски виденных когда-то пейзажей, невысказанные, почему-то сохранившиеся мысли, внутренне еле ощутимые отзвуки канонады, знакомый стук пулемета и шорох ленты, бравурную мелодию, красивый до боли, чуть блеклый рисунок рта любимой когда-то женщины и опять клочки войны: убитые, осевшие холмики братских могил…

Бунчук засуетился; приподнявшись, сел, вслух сказал или только подумал: «До смерти буду носить вот эти воспоминания, и не я один, а все, кто уцелеет. Искалечили, надругались над жизнью!.. Проклятые! Проклятые!.. Вы и смертью не покроете свою вину!..»

И еще вспомнил двенадцатилетнюю Лушу, дочь убитого на войне петроградского рабочего-металлиста, приятеля, с которым некогда вместе работали в Туле. Вечером шел по бульвару. Она — этот угловатый, щуплый подросток — сидела на крайней скамье, ухарски раскинув тоненькие ноги, покуривая. На увядшем лице ее — усталые глаза, горечь в углах накрашенных, удлиненных преждевременной зрелостью губ. «Не узнаете, дяденька?» — хрипло спросила она, улыбаясь с профессиональной заученностью, и встала, совсем по-детски беспомощно и горько заплакала, сгорбясь, прижимаясь головой к локтю Бунчука.

Он чуть не задохнулся от хлынувшей в него ядовитой, как газ, ненависти; бледнея, заскрипел зубами, застонал. После долго растирал волосатую грудь, дрожал губами; ему казалось, что ненависть скипелась в груди горячим комком шлака, — тлея, мешает дышать и причиняет эту боль в левой стороне под сердцем.

Он не уснул до утра. А с рассветом, пожелтевший, угрюмый больше, чем всегда, пошел в комитет железнодорожников, договорился, что казачий эшелон из Нарвы не выпустят, и через час вышел на поиски членов гарнизонного комитета.

Вернулся к составу в восьмом часу. Шел, всем телом ощущая утреннюю тепловатую прохладу, смутно радуясь и вероятному успеху своей поездки, и солнцу, перелезавшему через ржавую крышу пакгауза, и музыкальному, певучему тембру доносившегося откуда-то женского голоса. Перед зарей отзвенел дождь, буйный, проливной и короткий. Песчаная земля на путях была размыта, извилюжена следами крохотных ручейков, пресно пахла дождем и еще хранила на своей поверхности, там, где втыкались дождевые капли, густой засев чуть подсохших крохотных ямочек — будто оспа изрябила ее.

Обходя состав, навстречу Бунчуку шел офицер в шинели и высоких обляпанных грязью сапогах. Бунчук узнал есаула Калмыкова, чуть замедлил шаг, выжидая. Они сошлись. Калмыков остановился, холодно блеснул косыми черными глазами:

— Хорунжий Бунчук? Ты на свободе? Прости, руки я тебе не подам…

Он туго сжал губы, сунул руки в карманы шинели.

— Я не собираюсь протягивать тебе руку… ты поспешил, — насмешливо отозвался Бунчук.

— Ты что же, спасаешь здесь шкуру? Или… приехал из Петрограда? Не от душки ли Керенского?

— Это что — допрос?

— Законное любопытство к судьбе некогда дезертировавшего сослуживца.

Бунчук, затая усмешку, пожал плечами:

— Могу тебя успокоить: я приехал сюда не от Керенского.

— Но ведь вы же сейчас, перед лицом надвигающейся опасности, трогательно единитесь. Итак, все же, кто ты? Погон нет, шинель солдатская… — Калмыков, шевеля ноздрями, презрительно и сожалеюще оглядел сутуловатую фигуру Бунчука. — Политический коммивояжер? Угадал? — не дожидаясь ответа, повернулся, размашисто зашагал.

У своего вагона Бунчука встретил Дугин.

— Чего же ты? Митинг уже начался.

— Как начался?

— А так. Наш сотенный есаул Калмыков в отлучке был, а нынче прикатил из Питера на паровозе, созвал казаков. Зараз только пошел их уговаривать.

Бунчук задержался, выспрашивая о том, с какого времени был откомандирован в Петроград Калмыков. Со слов Дугина узнал, что тот отсутствовал почти месяц.

«Один из тех душителей революции, которых Корнилов посылал в Питер под предлогом изучения бомбометания. Значит, надежный корниловец. Ну ладно», — отрывочно подумал он, направляясь вместе с Дугиным к месту митинга.

За пакгаузом — серо-зеленый частокол казачьих гимнастерок и шинелей. В средине, окруженный офицерами на опрокинутом бочонке, стоял Калмыков, резко, раздельно кричал:

— …довести до победного конца! Нам доверяют — и мы оправдаем это доверие! Сейчас я прочту телеграмму генерала Корнилова к казакам.

Он с излишней торопливостью вытащил из бокового кармана френча помятый листок, пошептался с эшелонным.

Бунчук и Дугин подошли, смешались с казаками.

— «Казаки, дорогие станичники!

— выразительно и не без подъема читал Калмыков. —

Не на костях ли ваших предков расширялись и росли пределы государства Российского? Не вашей ли могучей доблестью, не вашими ли подвигами, жертвами и геройством была сильна великая Россия? Вы, вольные, свободные сыны тихого Дона, красавицы Кубани, буйного Терека, залетные могучие орлы уральских, оренбургских, астраханских, семиреченских и сибирских степей и гор и далеких Забайкалья, Амура и Уссури, всегда стояли на страже чести и славы ваших знамен, и русская земля полна сказаниями о подвигах ваших отцов и дедов. Ныне настал час, когда вы должны прийти на помощь родине. Я обвиняю Временное правительство в нерешительности действий, в неумении и неспособности управлять, в допущении немцев к полному хозяйничанию внутри страны, о чем свидетельствует взрыв в Казани, где взорвалось около миллиона снарядов и погибло 12 000

пулеметов. Более того. Я обвиняю некоторых членов правительства в прямом предательстве родины и тому привожу доказательства: когда я был на заседании Временного правительства в Зимнем дворце, 3 августа, министр Керенский и Савинков указали мне, что нельзя всего говорить, так как среди министров есть люди неверные. Ясно, что такое правительство ведет страну к гибели, что такому правительству верить нельзя и вместе с ним не может быть спасения несчастной России. Поэтому, когда вчера Временное правительство, в угоду врагам, потребовало от меня оставления должности верховного главнокомандующего, я, как казак, по долгу совести и чести, вынужден был отказаться от исполнения этого требования, предпочитая смерть на поле брани позору и предательству родины. Казаки, рыцари земли русской! Вы обещали встать вместе со мной на спасенье родины, когда я найду это нужным. Час пробил — родина накануне смерти! Я не подчиняюсь распоряжениям Временного правительства и ради спасения свободной России иду против него и против тех безответственных советников его, которые продают родину. Поддержите, казаки, честь и славу беспримерно доблестного казачества, и этим вы спасете родину и свободу, завоеванную революцией. Слушайтесь же и исполняйте мои приказания! Идите же за мной!

28 августа 1917 года.

Верховный главнокомандующий генерал Корнилов».

Калмыков помолчал; свертывая листок, выкрикнул:

— Агенты большевиков и Керенского препятствуют продвижению наших частей по железной дороге. Получено приказание верховного главнокомандующего: в том случае, если не представится возможным совершать переброску по железной дороге, то идти на Петроград походным порядком. Сегодня же мы выступаем. Приготовьтесь к выгрузке!

Бунчук, грубовато работая локтями, прорвался на средину; не подходя к кругу офицеров, зычно, по-митинговому крикнул:

— Товарищи казаки! Я послан к вам петроградскими рабочими и солдатами. Вас ведут на братоубийственную войну, на разгром революции. Если вам хочется идти против народа, если вам хочется восстановить монархию — идите!.. Но петроградские рабочие и солдаты надеются, что вы не будете каинами. Они шлют вам пламенный братский привет и хотят видеть вас не врагами, а союзниками…

Договорить ему не дали. Поднялся неуемный шум, буря выкриков словно сорвала Калмыкова с бочонка. Наклонившись, он быстрыми шагами шел к Бунчуку; не дойдя нескольких шагов, крутнулся на каблуках:

— Казаки! Хорунжий Бунчук в прошлом году дезертировал с фронта — вы это знаете. Что же, неужели мы будем слушать этого труса и предателя?

Командир шестой сотни, войсковой старшина Сукин, смял голос Калмыкова басистым раскатом:

— Арестовать его, подлеца! Мы кровь проливали, а он спасался по тылам!.. Берите его!

— Погодим бра-ать!

— Пущай говорит!

— На чужой роток нечего накидывать платок. Пущай выясняет свою направлению.

— Арестовать!

— Дезертиров нам не надо!

— Говори, Бунчук!

— Митрич! Рубани-ка их до сурепки!

— До-ло-о-ой!..

— Цыц, сучье вымя!

— Крой их! Крой их, Бунчук! Ты им вспоперек! Вспоперек!

На бочонок вскочил высокий, без фуражки, с наголо остриженной головой казак, член полкового ревкома. Он горячо призывал казаков не подчиняться душителю революции генералу Корнилову, говорил о гибельности войны с народом, закончил речь, обращаясь к Бунчуку:

— А вы, товарищ, не думайте, что мы вас, как и господа офицеры, презираем. Мы вам рады и уважаем как представителя народа, и ишо за то уважаем, что, бывши вы офицером, не притесняли казаков, а были с нами вроде как по-братски. Грубого слова от вас мы не слыхали, но не думайте, что мы, необразованные люди, не понимаем обхожденья — ласковое слово и скотина понимает, не то что человек. Земно вам кланяемся и просим передать питерским рабочим и солдатам, что на них руку мы не подымем!

Будто в литавры ахнули: грохот одобрительных криков достиг последней степени напряжения и, медленно спадая, утих.

Вновь на бочонке качнулся, переламываясь статным торсом, Калмыков. О славе и чести седого Дона, об исторической миссии казачества, о совместно пролитой офицерами и казаками крови говорил он, задыхаясь, мертвенно бледнея.

Калмыкова сменил плотный белобрысый казак. Злобную речь его, направленную против Бунчука, прервали, оратора стянули за руки. На бочонок вспрыгнул Чикамасов. Будто раскалывая полено, махнул руками, гаркнул:

— Не пойдем! Не будем сгружаться! В телеграмме прописано, будто казаки сулились помогать Корнилову, а кто нас спросил? Не сулились мы ему! Офицерья из казачьего союзного Совета сулились! Греков хвостом намотал — пущай он и помогает!..

Все чаще сменялись выступавшие. Бунчук стоял, угнув лобастую голову, земляным румянцем чернело его лицо, на шее и висках во вздувшихся венах стремительно колотился пульс. Сгущалась наэлектризованная атмосфера. Чувствовалось, что еще немного — и каким-нибудь безрассудным поступком, кровью разрядится напряженность.

Со станции толпой пришли солдаты гарнизона, и офицеры покинули митинг.

Через полчаса запыхавшийся Дугин подбежал к Бунчуку:

— Митрич, что делать?.. Калмыков что-то удумал. Сгружают зараз пулеметы, гонца верховного куда-то послали.

— Пойдем туда. Собери человек двадцать казаков! Живо!

У вагона эшелонного Калмыков и три офицера навьючивали на лошадей пулеметы. Бунчук подошел первый, оглянулся на казаков и, сунув в карман шинели руку, выхватил новенький, заботливо вычищенный офицерский наган.

— Калмыков, ты арестован! Руки!..

Калмыков прыгнул от лошади, избочился, лапнул кобуру, но вытащить револьвер не успел: выше головы его цвинькнула пуля; опережая звук выстрела, глухо недобрым голосом крикнул Бунчук:

— Руки!..

Курок его нагана, обнажая клювик бойка, медленно поднялся до половины. Калмыков следил за ним сузившимися глазами, трудно поднимал руки, пощелкивал пальцами.

Офицеры неохотно сдали оружие.

— И шашки прикажете снять? — почтительно спросил молодой хорунжий-пулеметчик.

— Да.

Казаки развьючили лошадей, внесли пулеметы в вагон.

— К этим приставить часовых, — обратился Бунчук к Дугину. — Чикамасов арестует остальных и доставит их сюда. Слышишь, Чикамасов? А Калмыкова мы с тобой поведем в ревком гарнизона. Есаул Калмыков, изволь идти вперед.

— Ловко! Ловко! — восхищенно сказал один из офицеров, прыгая в вагон и провожая, глазами удалявшихся Бунчука, Дугина и Калмыкова.

— Господа! Стыдно, господа! Мы вели себя, как дети! Никто не сообразил вовремя шлепнуть этого подлеца! Когда он направил на Калмыкова револьвер, тут бы ему раз — и готово бы! — Войсковой старшина Сукин с возмущением оглядел офицеров, долго доставал прыгающими пальцами папироску из портсигара.

— Ведь их целый взвод… перестреляли бы, — виновато заметил хорунжий-пулеметчик.

Офицеры молча курили, изредка переглядывались. Быстрота совершившегося их ошеломила.

Калмыков, покусывая кончик черного уса, некоторое время шел молча. Левая скуластая щека его горела, как от пощечины. Встречавшиеся жители смотрели изумленно, останавливались, шептались. Над Нарвой линяло предвечернее пасмурное небо. По путям червонными слитками лежали опавшие листья берез — август растерял, уходя. Через зеленый купол церкви перелетывали галки. Где-то за станцией, за сумеречными полями, дыша холодком, уже легла ночь, а от Нарвы на Псков, на Лугу небесной целиной, бездорожьем все еще шли загрунтованные свинцовыми белилами вечера рваные облака; переходя невидимую границу, теснила сумерки ночь.

Подле станции Калмыков круто повернулся, плюнул в лицо Бунчука:

— Под-лец!..

Бунчук, уклонившись от плевка, взмахом поднял брови, долго сжимал левой рукой кисть правой, порывавшейся скользнуть в карман.

— Иди!.. — насилу выговорил он.

Калмыков пошел, безобразно ругаясь, выплевывая грязные сгустки слов.

— Ты предатель! Изменник! Ты поплатишься за это! — выкрикивал он, часто останавливаясь, наступая на Бунчука.

— Иди! Прошу… — всякий раз уговаривал тот.

И Калмыков, сжимая кулаки, снова срывался с места, шел толчками, как запаленная лошадь. Они подошли к водокачке. Скрипя зубами, Калмыков кричал:

— Вы не партия, а банда гнусных подонков общества! Кто вами руководит? — немецкий главный штаб! Больше-ви-ки… х-х-ха! Ублюдки! Вашу партию, сброд этот, покупают как б… Хамы! Хамы!.. Продали родину!.. Я бы всех вас на одной перекладине… О-о-о! Время придет!.. Ваш этот Ленин не за тридцать немецких марок продал Россию?! Хапнул миллиончик — и скрылся… каторжанин!..

— Становись к стенке! — протяжно, заикаясь, крикнул Бунчук.

Дугин испуганно затомашился:

— Илья Митрич, погоди! Чегой-то ты? Посто-ой!..

Бунчук с обезображенным яростью, почерневшим лицом подскочил к Калмыкову, крепко ударил его в висок. Топча ногами слетевшую с головы Калмыкова фуражку, он тащил его к кирпичной темной стене водокачки.

— Станови-ись!

— Ты что?! Ты!.. Не смей!.. Не смей бить!.. — рычал Калмыков, сопротивляясь.

Глухо ударившись спиной о стену водокачки, он выпрямился, понял:

— Убить хочешь?

Изогнувшись, торопился Бунчук, рвал револьвер, курком зацепившийся за подкладку кармана.

Калмыков шагнул вперед, быстро застегивая шинель на все пуговицы:

— Стреляй, сукин сын! Стреляй! Смотри, как умеют умирать русские офицеры… Я и

перед сме-е…

Пуля вошла ему в рот. За водокачкой, взбираясь на ступенчатую высоту, взвилось хрипатое эхо. Споткнувшись на втором шагу, Калмыков левой рукой обхватил голову, упал. Выгнулся крутой дугой, сплюнул на грудь черные от крови зубы, сладко почмокал языком. Едва лишь спина его, выпрямляясь, коснулась влажного щебня, Бунчук выстрелил еще раз. Калмыков дернулся, поворачиваясь на бок, как засыпающая птица подвернул голову под плечо, коротко всхлипнул.

На первом перекрестке Дугин догнал Бунчука:

— Митрич… Что же ты, Митрич?.. За что ты его?

Бунчук сжал плечи Дугина; вонзая ему наставленный, неломкий взгляд, сказал странно спокойным потухшим голосом:

— Они нас или мы их!.. Середки нету. На кровь — кровью. Кто кого… Понял? Таких, как Калмыков, надо уничтожать, давить, как гадюк. И тех, кто слюнявится жалостью к таким, стрелять надо… понял? Чего слюни развесил? Сожмись! Злым будь! Калмыков, если бы его власть была, стрелял бы в нас, папироски изо рта не вынимая, а ты… Эх, мокрогубый!

У Дугина долго тряслась голова, пощелкивали зубы и как-то нелепо путались большие, в порыжелых сапогах, ноги.

По безлюдному руслу улочки шли молча. Бунчук изредка поглядывал назад. Над ними в темноте низко пенились, устремляясь на восток, черные облака. В просвет, с крохотного клочка августовского неба, зеленым раскосым оком глядел ущербленный, омытый вчерашним дождем, месяц. На ближнем перекрестке стояли, прижимаясь друг к дружке, солдат и женщина в белом накинутом на плечи платке. Солдат обнимал женщину, притягивая ее к себе, что-то шептал, а она, упираясь ему в грудь руками, откидывала голову, бормотала захлебывающимся голосом: «Не верю! Не верю», — и приглушенно, молодо смеялась.

XVIII

31 августа в Петрограде застрелился вызванный туда Керенским генерал Крымов.

С повинной потекли в Зимний дворец делегации и командиры частей крымовской армии. Люди, недавно шедшие на Временное правительство войной, теперь любезно расшаркивались перед Керенским, уверяя его в своих верноподданнических чувствах.

Разбитая морально, крымовская армия еще агонизировала: части по инерции катились к Петрограду, но движение это уже утратило всякий смысл, ибо подходил к концу корниловский путч, гасла взметнувшаяся бенгальским огнем вспышка реакции, и временный правитель республики, — правда, растерявший за эти дни мясистость одутловых щек, — по-наполеоновски дрыгая затянутыми в краги икрами, уже говорил на очередном заседании правительства о «полной политической стабилизации».

За день до самоубийства Крымова генерал Алексеев получил назначение на должность главковерха. Корректный и щепетильный Алексеев, понимая всю неприглядную двусмысленность своего положения, вначале категорически отказался, но потом принял назначение, руководясь единственно желанием облегчить участь Корнилова и тех, кто был так или иначе замешан в организации антиправительственного мятежа.

С пути он по прямому проводу снесся со Ставкой, пытаясь уяснить отношение Корнилова к его назначению и приезду. Нудные переговоры длились с перерывом до поздней ночи.

В тот же день у Корнилова происходило совещание чинов штаба и лиц, Корнилову

близких. На поставленный им вопрос о целесообразности дальнейшей борьбы с Временным правительством большинство присутствующих на совещании высказывалось за продолжение борьбы.

— Прошу вас высказаться, Александр Сергеевич, — обратился Корнилов к Лукомскому, молчавшему на протяжении всего совещания.

Тот в сдержанных, но решительных выражениях возражал против продолжения междоусобной брани.

— Капитулировать? — спросил, резко прерывая его, Корнилов.

Лукомский пожал плечами:

— Выводы напрашиваются сами собой.

Разговоры длились еще в течение получаса. Корнилов молчал, видимо, огромным усилием воли удерживая самообладание. Совещание вскоре распустил, а через час вызвал к себе Лукомского.

— Вы правы, Александр Сергеевич! — Хрустнул пальцами и, глядя куда-то в сторону угасшими, седыми, словно осыпанными пеплом глазами, устало сказал: — Дальнейшее сопротивление было бы и глупо и преступно.

Долго барабанил пальцами, вслушивался во что-то — быть может, в мышиную суетню собственных мыслей; помолчав, спросил:

— Когда приедет Михаил Васильевич?

— Завтра.

1 сентября приехал Алексеев. Вечером этого же дня по приказанию Временного правительства он арестовал Корнилова, Лукомского и Романовского. Перед отправкой арестованных в гостиницу «Метрополь», где они должны были содержаться под стражей, Алексеев с глазу на глаз о чем-то в течение двадцати минут беседовал с Корниловым; вышел из его комнаты глубоко потрясенный, почти не владеющий собой. Романовский, пытавшийся пройти к Корнилову, был остановлен его женой:

— Простите! Лавр Георгиевич просил никого к нему не допускать.

Романовский бегло взглянул на ее расстроенное лицо и отошел, взволнованно помаргивая, чернея верхушками щек.

В Бердичеве на другой же день были арестованы главнокомандующий Юго-Западным фронтом генерал Деникин, его начштаба — генерал Марков, генерал Ванновский и командующий Особой армией генерал Эрдели.

В Быхове в женской гимназии бесславно закончилось ущемленное историей корниловское движение. Закончилось, породив новое: где же, как не там, возникли зачатки планов будущей гражданской войны и наступления на революцию развернутым фронтом?

XIX

В последних числах октября, рано утром, есаул Листницкий получил распоряжение от командира полка — с сотней в пешем строю явиться на Дворцовую площадь.

Отдав распоряжение вахмистру, Листницкий торопливо оделся.

Офицеры встали, зевая, поругиваясь.

— В чем дело?

— В большевиках!

— Господа, кто брал у меня патроны?

— Куда выступать?

— Вы слышите: стреляют?

— Какой черт стреляют? У вас галлюцинация слуха!

Офицеры вышли во двор. Сотня перестраивалась во взводные колонны. Листницкий быстрым маршем вывел казаков со двора. Невский пустовал. Где-то действительно постукивали одиночные выстрелы. По Дворцовой площади разъезжал броневик, патрулировали юнкера. Улицы берегли пустынную тишину. У ворот Зимнего казаков встретил наряд юнкеров и казачьи офицеры четвертой сотни. Один из них, командир сотни, отозвал Листницкого в сторону:

— Вся сотня с вами?

— Да. А что?

— Вторая, пятая и шестая не пошли, отказались, но пулеметная команда с нами. Как казаки?

Листницкий коротко махнул рукой:

— Горе. А Первый и Четвертый полки?

— Нет их. Те не пойдут. Вы знаете, что сегодня ожидается выступление большевиков? Черт знает что творится! — и тоскливо вздохнул: — Махнуть бы на Дон от всей этой каши…

Листницкий ввел сотню во двор. Казаки, составив винтовки в козлы, разбрелись по просторному, как плац, двору. Офицеры собрались в дальнем флигеле. Курили. Переговаривались.

Через час пришли полк юнкеров и женский батальон. Юнкера разместились в вестибюле дворца, втащили туда пулеметы. Ударницы [47] толпились во дворе. Слонявшиеся казаки подходили к ним, грязно подшучивали. Одну, кургузую, одетую в куцую шинель, урядник Аржанов шлепнул по спине:

— Тебе бы, тетка, детей родить, а ты на мущинском деле.

— Рожай сам! — огрызнулась басовитая неприветливая «тетка».

— Любушки мои! И вы с нами? — приставал к ударницам старовер и бабник Тюковнов.

— Драть их, хлюстанок!

— Вояки раскоряченные.

— Сидели б по домам! Ишь, нужда вынесла!

— Двухстволки мирского образца!

— Спереду — солдат, а сзади — не то поп, не то черт его знает что… Даже плюнуть охота!

— Эй ты, ударная! Подбери-ка сиделку, а то ложем ахну!

Казаки гоготали, веселели, глядя на женщин. Но к полудню веселое настроение исчезло. Ударницы, разбившись на взводы, несли с площади сосновые толстые брусья, баррикадировали ворота. Распоряжалась ими дородная, мужского покроя баба, с георгиевской медалью на хорошо подогнанной шинели. По площади чаще стал проезжать броневик; юнкера откуда-то внесли во дворец ручные ящики с патронами и пулеметными лентами:

— Ну, станишники, держись!

— Выходит, что будем сражаться?

— А ты думал — как? Ударницев лапать тебя привели сюда?

Около Лагутина группировались земляки — букановцы и слащевцы. Они о чем-то совещались, переходили с места на место. Офицеры куда-то исчезли. Во дворе, кроме казаков и ударниц, не было никого. Почти у самых ворот стояли брошенные пулеметчиками пулеметы, щиты их мокро тускнели.

К вечеру посыпалась изморось. Казаки заволновались.

— Что же это за порядки: завели — и держут на базу без продовольствия?!

— Надо Листницкого найтить.

— Ищи-свищи! Он во дворце, а юнкера нашего брата туда не допущают.

— Надо за кухней посылать человека — пущай везут.

За кухней снарядили двух казаков.

— Валяйте без винтовок, а то посымают, — посоветовал Лагутин.

Кухню ждали часа два. Ни кухни, ни гонцов не было. Как оказалось, кухню, выезжавшую со двора, вернули солдаты-семеновцы. Перед сумерками ударницы, скопившиеся возле ворот, рассыпались густой цепью; лежа под брусьями, начали постреливать куда-то через площадь. Казаки участия в стрельбе не принимали, курили, нудились. Лагутин собрал сотню возле стены и, опасливо поглядывая на окна дворца, заговорил:

— Вот что, станишники! Нам тут делать нечего. Надо уходить, а то без вины пострадаем. Зачнут дворец обстреливать, а мы тут при чем? Офицеров — и след простыл… что ж мы, аль проклятые, что должны тут погибать? Айда домой, нечего тут стены обтирать! А Временное правительство… да на кой оно нам ляд приснилось! Как вы, станишники?

— Выйди с базу, а красногвардейцы и зачнут из пулеметов полоскать.

— Головы посымают!

— Не должно быть…

— Нет уж, будем сидеть до конца.

— Тогда разбирайся!

— Наше дело телячье — поел да в закут.

— Кому как, а наш взвод уходит!

— И мы пойдем!

— К большакам людей направить — пущай они нас не трогают, а мы их не тронем.

Подошли казаки первой и четвертой сотен. Советовались недолго. Три казака, от каждой сотни по одному, вышли из ворот, а через час вернулись в сопровождении трех матросов. Матросы, перепрыгнув через брусья, наваленные у ворот, шагали по двору с деланно развязным видом: подошли к казакам, поздоровались. Один из них, молодой черноусый красавец, в распахнутом бушлате и сдвинутой на затылок шапке, протиснулся в серединку казачьей толпы:

— Товарищи казаки! Мы, представители революционного Балтийского флота, пришли затем, чтобы предложить вам покинуть Зимний дворец. Вам нечего защищать чужое вам буржуазное правительство. Пусть его защищают буржуазные сынки, юнкера. Ни один солдат не встал на защиту Временного правительства, и ваши братья — казаки Первого и Четвертого полков — присоединились к нам. Кто желает идти с нами — отходи влево!

— Погоди, браток! — Вперед выступил бравый урядник первой сотни. — Пойтить — мы с нашим удовольствием… а как нас красногвардейцы на распыл пустят?

— Товарищи! Именем Петроградского Военно-революционного комитета мы обещаем вам полную безопасность. Никто вас не тронет.

Рядом с черноусым матросом стал другой, коренастый и рябоватый. Он оглядел казаков, поворачивая толстую бычью шею, ударил себя по обтянутой форменкой выпуклой груди:

— Мы вас будем сопровождать! Нечего, братишки, сомневаться, мы вам не враги, и петроградские пролетарии вам не враги, а враги вот эти… — Он ткнул отставленным большим пальцем в сторону дворца и улыбнулся, оголив плотные зубы.

Казаки мялись в нерешительности, женщины-ударницы подходили, слушали, поглядывали на казаков и вновь шли к воротам.

— Эй вы, бабы! Пойдемте с нами? — крикнул бородатый казачина.

Ответа не дождался.

— Разбирай винтовки — и ходу! — решительно сказал Лагутин.

Казаки дружно расхватали винтовки, построились.

— Пулеметы брать, что ли? — спросил черноусого матроса казак-пулеметчик.

— Берите. Кадетам их не оставлять.

Перед уходом казаков появились в полном составе офицеры сотен. Стояли тесной кучей, глаз не сводили с моряков. Сотни, построившись, тронулись. Впереди пулеметная команда везла пулеметы. Колесики мелко поскрипывали, тарахтели по мокрым камням. Матрос в бушлате шел рядом с головным взводом первой сотни. Высокий белобрысый казак Федосеевской станицы держал его за рукав, виновато-растроганно говорил:

— Милый мой, аль нам охота против народа? Сдуру заплюхались сюда, а кабы знали, да рази же мы б пошли? — и сокрушенно мотал чубатой головой; — Верь слову — не пошли бы! Ей-бо!

Четвертая сотня шла последней. У ворот, где густо столпился весь женский батальон, — заминка. Здоровенный казак, взобравшись на брусья, убеждающе и значительно трясет ногтястым черным пальцем:

— Вы, стрелки, слухайте сюда! Вот мы зараз уходим, а вы, по своей бабьей глупости, остаетесь. Ну, так вот, чтоб без дуростев! Ежели в спину зачнете нам стрелять — вернемся и перерубим всех на мелкое крошево. Толково гутарю? Ну, то-то. Прощевайте покуда.

Он соскакивает с брусьев, рысью догоняет своих, время от времени поглядывает назад.

Казаки доходят почти до середины площади. Оглянувшись, один взволнованно говорит:

— Гля, ребята. Офицер нам вдогон!

Многие на ходу поворачивают головы, смотрят. По площади бежит, придерживая шашку, высокий офицер.

Он машет рукой.

— Это — Атарщиков, третьей сотни.

— Какой?

— Высокий, ишо родинка у него на глазу.

— Надумал уходить с нами.

— Он славный парнюга.

Атарщиков быстро настигает сотню, издали видно, как на лице его дрожит улыбка. Казаки машут руками, смеются:

— Нажми, господин сотник!

— Шибче!

От дворцовых ворот — сухой одинокий щелчок выстрела. Атарщиков широко взмахивает руками и, запрокидываясь, падает на спину, мелко сучит ногами, бьется о мостовую, пытается встать. Сотни, как по команде, разворачиваются лицом к дворцу. Около повернувшихся пулеметов — на коленях номера. Шорох лент. Но возле дворцовых ворот, за сосновыми брусьями — ни души. Ударниц и офицеров, минуту назад толпившихся там, выстрел будто слизал. Сотни опять торопливо строятся, идут, уже ускоряя шаг. Двое казаков последнего взвода возвращаются от места, где упал Атарщиков. Громко, чтобы слышала вся сотня, один кричит:

— Кусануло его под левую лопатку. Готов!

Шаг в ногу звучит гремуче и четко. Матрос в бушлате командует:

— Левое плечо вперед… арш!

Сотни, извиваясь, сворачивают. Молчанием провожает их притихший сугорбленный

дворец.

XX

Теплилась осень. Перепадали дожди. Над Быховом редко показывалось обескровленное солнце. В октябре начался отлет дикой птицы. Даже ночами звенел над прохладной, черной землей журавлиный горько волнующий зов. Спешили перелетные станицы, уходя от близких заморозков, от знобких в вышине северных ветров.

Быховские заключенные, арестованные по делу Корнилова, ждали суда полтора месяца. За это время жизнь их в тюрьме как-то отстоялась и приняла если не совсем обычные, то все же своеобразно-твердые формы. По утрам, после завтрака, генералы шли на прогулку; возвращаясь, разбирали почту, принимали навещавших их родных и знакомых, обедали, после «мертвого» часа порознь занимались в своих комнатах, вечерами обычно собирались у Корнилова, подолгу беседовали и совещались.

В женской гимназии, преобразованной в тюрьму, жили все же не без комфорта.

Наружную охрану несли солдаты Георгиевского батальона, внутреннюю — текинцы. Но охрана эта если до некоторой степени и стесняла свободу заключенных, то взамен являла весьма существенное преимущество: была построена так, что в любой момент арестованные могли, при желании, легко и безопасно бежать. За все время пребывания в быховской тюрьме они беспрепятственно сносились с внешним миром, давили на буржуазную общественность, требуя ускорения следствия и суда, заметали следы мятежа, прощупывали настроения офицерства и, на худой конец, готовились к побегу.

Корнилов, озабоченный удержанием возле себя преданных ему текинцев, снесся с Калединым, и тот, по его настоянию, спешно отправил в Туркестан голодавшим семьям текинцев несколько вагонов хлеба. За помощью для семей офицеров — участников корниловского выступления — Корнилов обратился с письмом весьма резкого содержания к крупным банкирам Москвы и Петрограда; те не замедлили выслать несколько десятков тысяч рублей, опасаясь невыгодных для себя разоблачений. С Калединым у Корнилова до ноября не прерывалась деятельная переписка. В пространном письме, отправленном Каледину в середине октября, он запрашивал о положении на Дону и о том, как отнесутся казаки к его приезду туда. Каледин прислал положительный ответ.

Октябрьский переворот колыхнул почву под ногами быховских заключенных. На другой же день во все стороны полетели гонцы, и уже через неделю отголоском чьей-то тревоги за участь заключенных прозвучало письмо Каледина, адресованное генералу Духонину, самочинно объявившему себя главнокомандующим, в котором он настоятельно просил Корнилова и остальных арестованных на поруки. С такой же просьбой обращались в Ставку Совет союза казачьих войск и Главный комитет Союза офицеров армии и флота. Духонин медлил.

1 ноября Корнилов отправил ему письмо. Пометки Духонина на полях письма — яркое свидетельство того, как бессильна была Ставка, к тому времени фактически уже утратившая всякую власть над армией, доживавшая в прострации последние дни.

Милостивый Государь, Николай Николаевич!

Вас судьба поставила в такое положение, что от Вас зависит ход событий, принявших гибельное для страны направление, главным образом благодаря нерешительности и попустительству старшего командного состава. Для Вас наступает минута, когда люди должны или дерзать, или уходить, иначе на них ляжет ответственность за гибель страны и

позор за окончательный развал армии.

По тем неполным, отрывочным сведениям, которые доходят до меня, положение тяжелое, но еще не безвыходное. Но оно станет таковым, если Вы допустите, что Ставка будет захвачена большевиками, или же добровольно признаете их власть.

Имеющихся в Вашем распоряжении Георгиевского батальона; наполовину распропагандированного, и слабого Текинского полка далеко не достаточно.

Предвидя дальнейший ход событий, я думаю. Вам необходимо безотлагательно принять такие меры, которые, прочно обеспечивая Ставку, дали бы благоприятную обстановку для организации дальнейшей борьбы с надвигающейся анархией.

Таковыми мерами я считаю:

1. Немедленный перевод в Могилев одного из Чешских полков и Польского уланского полка.

Пометка Духонина: Ставка не считает их вполне надежными. Эти части одни из первых пошли на перемирие с большевиками.

2. Занятие Орши, Смоленска, Жлобина и Гомеля частями Польского корпуса, усилив дивизии последнего артиллерией за счет казачьих батарей фронта.

Пометка. Для занятия Орши и Смоленска сосредоточена 2-я Кубанская дивизия и бригада астраханских казаков. Полк 1-й Польской дивизии, из Быкова нежелательно брать для безопасности арестованных. Части 1-й дивизии имеют слабые кадры и потому не представляют реальной силы. Корпус определенно держится того, чтобы не вмешиваться во внутренние дела России.

3. Сосредоточение на линии Орша — Могилев — Жлобин всех частей Чешско-Словацкого корпуса, Корниловского полка, под предлогом перевозки их на Петроград и Москву, и одной-двух казачьих дивизий из числа наиболее крепких.

Пометка. Казаки заняли непримиримую позицию — не воевать с большевиками.

4. Сосредоточение в том же районе всех английских и бельгийских броневых машин, с заменой прислуги их исключительно офицерами.

5. Сосредоточение в Могилеве и в одном из ближайших к нему пунктов, под надежной охраной, запаса винтовок, патронов, пулеметов, автоматических ружей и ручных гранат для раздачи их офицерам и волонтерам, которые обязательно будут собираться в указанном районе.

Пометка. Это может вызвать эксцессы.

6. Установление прочной связи и точного соглашения с атаманами Донского, Терского и Кубанского войск и с комитетами польским и чехословацким. Казаки определенно высказались за восстановление порядка в стране, для поляков же и чехов вопрос восстановления порядка в России — вопрос их собственного существования.

С каждым днем все тревожнее приходили вести. В Быхове нарастало беспокойство. Между Могилевом и Быховом сновали автомобили доброжелателей Корнилова, требовавших у Духонина освобождения заключенных. Казачий совет прибегал даже к скрытым угрозам.

Духонин, подавленный тяжестью надвигавшихся событий, колебался. 18 ноября он отдал распоряжение об отправке заключенных на Дон, но сейчас же отменил его.

На другой день утром к главному подъезду быховской гимназии-тюрьмы подкатил густо забрызганный грязью автомобиль. Шофер с подобострастной предупредительностью распахнул дверцу, и из автомобиля вышел немолодой складный офицер. Он предъявил караульному офицеру документы на имя полковника генштаба Кусонского:

— Я из Ставки. Имею личное поручение к арестованному генералу Корнилову. Где я могу видеть коменданта?

Комендант — подполковник Текинского полка Эргардт — немедленно провел приехавшего к Корнилову. Кусонский, представившись, подчеркнуто, с чуть заметной аффектацией доложил:

— Через четыре часа Могилев будет сдан Ставкой без боя. Генерал Духонин приказал вам передать, что всем заключенным необходимо сейчас же покинуть Быхов.

Расспросив Кусонского о положении в Могилеве, Корнилов пригласил подполковника Эргардта. Тяжело опираясь пальцами левой руки о край стола, сказал:

— Немедленно освободите генералов. Текинцам изготовиться к выступлению к двенадцати часам ночи. Я иду с полком.

Весь день в походной кузне хрипели, задыхаясь, мехи, рдяно горел раскаленный уголь, звенели молотки, у станков зло визжали кони. Текинцы на полный круг ковали лошадей, чинили сбрую, чистили винтовки, готовились.

Днем генералы поодиночке покинули место заключения. А в волчью, глухую полночь, когда маленький провинциальный городишко, затушив огни, спал беспросыпно крепко, со двора быховской гимназии, по три в ряд, стали выезжать всадники. Вороненые силуэты их рельефно, как вылепленные, маячили на фоне стального неба. Всадники, похожие на нахохленных черных птиц, ехали, надвинув высокие папахи, зябко горбились в седлах, кутали в башлыки маслено-смуглые лица. В середине полковой колонны, рядом с командиром полка, полковником Кюгельгеном, на высоком поджаром коне сутуло качался Корнилов. Он морщился от холодного, плутавшего по быховским улочкам ветра, щурил узенькие прорези глаз на морозное вызвездившееся небо.

Воркующий чокот свежекованых конских копыт несся по улицам и заглох на окраине.

XXI

Полк отступал вторые сутки. Медленно, с боями, но отступал. По возвышенным грунтовым дорогам тянулись обозы русской и румынской армий. Объединенные австро-германские части охватывали отступавших, глубоким фланговым обходом пытались сомкнуть кольцо.

К вечеру стало известно, что 12-му полку и соседней с ним румынской бригаде грозит окружение. Противник на закате солнца выбил румын из деревни Ховинески и уже продвинулся до высот «480», что граничат с Голшским перевалом.

Ночью 12-й полк, подкрепленный батареей конно-горного дивизиона, получил приказ занять позиции в низовьях Голшской долины. Полк, выставив сторожевое охранение, приготовился к встречному бою.

В эту ночь Мишка Кошевой и хуторянин его, чурбаковатый Алексей Бешняк, были в секрете. Таились в ярке возле покинутого обвалившегося колодца, вдыхая разреженный морозом воздух. По облачному мохнатому небу изредка протекала припозднившаяся стайка диких гусей, сторожкими криками отмечавшая свое направление. Кошевой, с досадой вспоминая, что курить нельзя, тихо шелестел:

— Чудная жизнь, Алексей!.. Ходют люди ощупкой, как слепые, сходются и расходются, иной раз топчут один одного… Поживешь вот так, возле смерти, и диковинно становится, на что вся эта мура? По-моему, страшней людской середки ничего на свете нету, ничем ты ее до дна не просветишь… Вот я зараз лежу с тобой, а не знаю, об чем ты думаешь, и сроду не узнаю, и какая у тебя сзади легла жизня — не знаю, а ты обо мне не знаешь… Может, я тебя зараз убить хочу, а ты вот мне сухарь даешь, ничего не подозреваешь… Люди про себя мало

знают. Был я летом в госпитале. Рядом со мной солдат лежал, московский родом. Так он все дивовался, пытал, как казаки живут, что да чего. Они думают — у казака одна плетка, думают — дикой казак и замест души у него бутылошная склянка, а ить мы такие же люди: и баб так же любим, и девок милуем, своему горю плачем, чужой радости не радуемся… Ты как, Алешка? Я, парень, жадный до жизни стал — как вспомню, сколько на свете красивых баб, аж сердце защемит! Вздумаю, что мне их всех сроду не придется облюбить — и кричать хочу с тоски! Такой я нежный до баб стал, что каждую бы до болятки миловал… Крыл бы и летучую и катучую, лишь бы красивая была… А то тоже с большого ума приладили жизню: всучут одну тебе до смерти — и мусоль ее, нешто не надоисть? Ишо воевать вздумали, и так…

— Мало тебя в спину кололи, бугай идолов! — беззлобно поругивался Бешняк.

Кошевой, запрокинувшись на спину, молчал, долго глядел в вышнюю пустошь и, мечтательно улыбаясь, волнующе-нежно ласкал руками нахолодавшую, неприступно-равнодушную землю.

За час до смены взяли их немцы. Бешняк, успевший выстрелить, присел, скрежеща зубами, сгибаясь в смертном поклоне: немецкий ножевой штык искромсал ему внутренности, распорол мочевой пузырь и туго дрогнул, воткнувшись в позвоночник. Кошевого положили прикладом. С полверсты его тащил на себе плотный ландштурмист. Мишка очнулся, почувствовал, что захлебывается кровью, передохнул и, собравшись с силами, без особого труда сорвался со спины немца. По нему ударили залпом, но ночь и кустарник выручили — бежал.

После того как отступление приостановилось и русско-румынские части вышли из мешка, 12-й полк был снят с позиции, брошен в тыл, левее своего участка на несколько верст. Был объявлен приказ по полку: нести заградительную службу, выставлять дозоры на дорогах, следить, чтобы в тыл не уходили дезертиры, задерживать их, не стесняясь применением оружия, и под конвоем направлять в штаб дивизии.

Мишка Кошевой в числе первых попал в наряд. Он и еще трое казаков с утра вышли из деревушки и, по указанию вахмистра, расположились в конце кукурузного поля, неподалеку от дороги. Дорога, обегая перелесок, скрывалась в холмистой исполосованной квадратами пахоты равнине. Казаки наблюдали поочередно. После полудня заметили группу, человек в десять, солдат, подвигавшуюся по направлению на них. Солдаты шли, имея явное намерение обойти видневшуюся под изволоком деревушку. Поравнявшись с перелеском, они остановились, закурили — очевидно, совещаясь, — потом пошли, круто изменив направление, под прямым углом свернув влево.

— Шумнуть им? — поднимаясь из зарослей кукурузных будыльев, спросил у остальных Кошевой.

— Стрельни вверх.

— Эй, вы! Стойте!

Солдаты, находившиеся от казаков на расстоянии нескольких десятков саженей, заслыша крик, на минуту остановились и вновь, словно нехотя, тронулись вперед.

— Сто-о-ой! — крикнул один из казаков, раз за разом выпуская вверх обойму.

С винтовками наперевес казаки догнали медленно шагавших солдат.

— Черта ли не стоите? Какой части? Куда идете? Документы! — подбежав, крикнул урядник Колычев, начальник поста.

Солдаты остановились. Трое неспешно сняли винтовки.

Задний нагнулся, шматком телефонной проволоки перевязывая оторванную подошву сапога. Все они были невероятно оборванны, грязны. На полах шинелей щетинились

коричневые кожушки череды, — видно, валялись эту ночь в лесу, в зарослях. На двух были летние фуражки, на остальных грязно-серые вязаной смушки папахи, с расстегнутыми отворотами и болтающимися мотузками завязок. Последний — как видно, вожак, — высокий и по-стариковски сутулый, дрожа дряблыми сумками щек, закричал злым гундосым голосом:

— Вам чего? Мы вас трогаем? Чего вы привязываетесь-то!

— Документы! — напуская на себя строгость, перебил его урядник.

Голубоглазый солдат, красный, как свежеобожженный кирпич, достал из-за пояса бутылочную гранату, помахивая ею перед носом урядника, оглядываясь на товарищей, зачастил ярославской скороговоркой:

— Вот, малый, те документ! Вот! Это тебе на весь год мандат! Береги жизнь, а то как ахну — печенки-селезенки не соберешь; Понял? Понял, что ли? Понял?..

— Ты не балуй, — толкая его в грудь, хмурился урядник. — Не балуй и не стращай нас, мы и так пужаные. А раз вы дезертиры, — поворачивай в штаб. Там таких супцов до рук прибирают.

Переглянувшись, солдаты сняли винтовки. Один из них, темноусый и испитой, по виду шахтер, шепнул, переводя отчаянные глаза с Кошевого на остальных казаков:

— Вот как возьмем вас в штыки!.. А ну, прочь! Отойди! Ей-богу, сейчас первому пулю всажу!..

Голубоглазый солдат кружил над головой гранату; высокий, сутулый, шедший впереди, царапнул ржавым жалом штыка сукно урядницкой шинели; похожий на шахтера матерился и замахивался на Мишку Кошевого прикладом, а у того палец дрожал на спуске и прыгало прижатое к боку локтем ложе винтовки; один из казаков, ухватив небольшого солдатишку за отвороты шинели, возил его на вытянутой руке и боязливо оглядывался на остальных, опасаясь удара сзади.

Шуршали на кукурузных будыльях сохлые листья. За холмистой равниной переливами синели отроги гор. Около деревушки по пажитям бродили рыжие коровы. Ветер клубил за перелеском морозную пыль. Сонлив и мирен был тусклый октябрьский день; благостным покоем, тишиной веяло от забрызганного скупым солнцем пейзажа. А неподалеку от дороги в бестолковой злобе топтались люди, готовились кровью своей травить сытую от дождей, обсемененную, тучную землю.

Страсти улеглись немного, и, пошумев, солдаты и казаки стали разговаривать мирнее:

— Мы трое суток как с позиций снялись! Мы не по тылам ходили! А вы бегете, совестно! Товарищей кидаете! Кто же фронт держать будет? Эх вы, люди!.. У меня вон у самого товарища под боком закололи — в секрете с ним были, а ты говоришь, что мы войны не нюхали. Понюхай ты ее так, как мы нюхали! — озлобленно говорил Кошевой.

— Чего там распотякивать! — перебил его один из казаков. — Идем в штаб — и безо всяких!

— Ослобоните дорогу, казаки! А то, видит бог, стрелять будем! — убеждал солдат шахтерского обличья.

Урядник сокрушенно разводил руками:

— Не могем мы исделать этого, браток! Нас побьете — все одно уйтить вам не придется: вон в деревне наша сотня стоит…

Высокий сутулый солдат то грозил, то уговаривал, то начинал униженно просить. Под конец он, суетясь, достал из грязного подсумка бутылку, оплетенную соломой, и, заискивающе мигая Кошевому, зашептал:

— Мы вам, казачки, и деньжонок прикинем, и вот… водка немецкая… еще чего-нибудь соберем… Отпустите, ради Христа… Дома детишки, сам понимаешь… Измотались все,

тоской изошли… До каких же пор?.. Господи!.. Неужели не отпустите? — Он торопливо достал из голенища кисет, вытряхнул из него две помятые керенки, настойчиво стал совать их в руки Кошевого. — Бери, бери! Фу, божа мой!.. Да ты не сомневайся… мы перебьемся и так!.. Деньга — это ничего… без нее можно… Бери! Еще соберем…

Опаленный стыдом, Кошевой отошел от него, пряча за спину руки, мотая головой. Кровь с силой кинулась ему в лицо, выжала из глаз слезы: «Через Вешняка озлел… Что ж это я… сам против войны, а людей держу, какие же права имею?.. Мать честная, вот так набороздил! Этакая я псюрня!»

Он подошел к уряднику и отвел его в сторону; не глядя в глаза, сказал:

— Давай их пустим! Ты как, Колычев? Давай, ей-богу!..

Урядник, тоже блудя взглядом, будто совершал в этот миг что-то постыдное, проговорил:

— Пущай идут… Черта ли с ними делать? Мы сами скоро вокат на такой дистанции будем… Чего уж греха таить!

И, повернувшись к солдатам, крикнул негодующе:

— Подлюги! С вами, как с добрыми, со всей увежливостью, а вы нам денег? Да что, у нас своих мало, что ль? — и побагровел. — Хорони кошельки, а то в штаб попру!..

Казаки отошли в сторону. Поглядывая на далекие пустые улочки деревушки, Кошевой крикнул уходившим солдатам:

— Эй, кобылка! Куда ж вы на чистое претесь? Вон лесок, переднюйте в нем, а ночью дальше! А то ить на другой пост нарветесь — заберут!

Солдаты поглядели по сторонам, пожались в нерешительности и, как волки, гуськом, грязно-серой цепкой потянулись в залохматевшую осинником ложбинку.

В первых числах ноября стали доходить до казаков разноречивые слухи о перевороте в Петрограде. Штабные ординарцы, обычно осведомленные лучше всех, утверждали, что Временное правительство бежало в Америку, а Керенского поймали матросы, остригли наголо и, вымазав в дегте, как гулящую девку, два дня водили по улицам Петрограда.

Позже, когда было получено официальное сообщение о свержении Временного правительства и переходе власти в руки рабочих и крестьян, казаки настороженно притихли. Многие радовались, ожидая прекращения войны, но тревогу вселяли глухие отголоски слухов о том, что 3-й конный корпус вместе с Керенским и генералом Красновым идет на Петроград, а с юга подпирает Каледин, успевший заблаговременно стянуть на Дон казачьи полки.

Фронт рушился. Если в октябре солдаты уходили разрозненными, неорганизованными кучками, то в конце ноября с позиций снимались роты, батальоны, полки; иные уходили налегке, но большей частью забирали полковое имущество, разбивали склады, постреливали офицеров, попутно грабили и раскованной, буйной, половодной лавиной катились на родину.

В сложившейся обстановке было бессмысленно назначение 12-го полка задерживать дезертиров, и полк — после того как его вновь кинули на позиции, тщетно пытаясь затыкать те дыры и прорехи, которые образовывала пехота, бросавшая свои участки, — в декабре снялся с позиций, походным порядком дошел до ближайшей станции и, погрузив все полковое имущество, пулеметы, запасы патронов, лошадей, тронулся внутрь перекипавшей в боях России…

Через Украину двигались эшелоны 12-го полка на Дон. Неподалеку от Знаменки полк пытались разоружить красногвардейцы. Переговоры длились полчаса. Кошевой и еще пятеро казаков, председатели сотенных ревкомов, просили пропустить их с оружием.

— Зачем вам оружие? — допытывались члены станционного Совета депутатов.

— Своих буржуев и генералов бить! Каледину хвост ломать! — за всех отвечал Кошевой.

— Оружие наше, войсковое, не дадим! — волновались казаки.

Эшелоны пропустили. В Кременчуге вновь пытались обезоружить. Согласились пропустить, лишь когда казаки-пулеметчики, установив у открытых дверей вагонов пулеметы, взяли под прицел станцию, а одна из сотен, рассыпавшись цепью, легла за полотном. Под Екатеринославом не помогла и перестрелка с красногвардейским отрядом, — полк все же частично обезоружили: взяли пулеметы, более сотни ящиков патронов, аппараты полевого телефона и несколько катушек проволоки. На предложение арестовать офицеров казаки ответили отказом. За всю дорогу потеряли лишь одного офицера — полкового адъютанта Чирковского, которого приговорили к смерти сами казаки, а привели в исполнение приговор Чубатый и какой-то красногвардеец-матрос.

Перед вечером 17 декабря на станции Синельникове казаки вытащили адъютанта из вагона.

— Этот самый предавал казаков? — весело спросил вооруженный маузером и японской винтовкой щербатый матрос-черноморец.

— Ты думал — мы обознались? Нет, мы не промахнулись, его вытянули! — задыхаясь, говорил Чубатый.

Адъютант, молодой подъесаул, затравленно озирался, гладил волосы потной ладонью и не чувствовал ни холода, жегшего лицо, ни боли от удара прикладом. Чубатый и матрос немного отвели его от вагона.

— Через таких вот чертей и бунтуются люди, и революция взыграла через таких… У-у-у, ты, коханый мой, не трясись, а то осыпешься, — пришептывал Чубатый и, сняв фуражку, перекрестился. — Держись, господин подъесаул!

— Приготовился? — играя маузером и шалой белозубой улыбкой, спросил Чубатого матрос.

— Го-тов!

Чубатый еще раз перекрестился, искоса глянул, как матрос, отставив ногу, поднимает маузер и сосредоточенно жмурит глаз, — и, сурово улыбаясь, выстрелил первый.

Под Чаплином полк случайно ввязался в бой, происходивший между анархистами и украинцами, потерял трех казаков убитыми и насилу прорвался, с большим трудом прочистив путь, занятый эшелонами какой-то стрелковой дивизии.

Через трое суток головной эшелон полка уже выгружался на станции Миллерово.

Остальные застряли в Луганске.

Полк в половинном составе (остальные разъехались по домам еще со станции) пришел в хутор Каргин. На другой день с торгов продавали трофеи: приведенных с фронта отбитых у австрийцев лошадей, делили денежные суммы полка, обмундирование.

Кошевой и остальные казаки с хутора Татарского выехали домой вечером. Поднялись на гору. Внизу, над белесым ледяным извивом Чира, красивейший в верховьях Дона, лежал хутор Каргин. Из трубы паровой мельницы рассыпчатыми мячиками выскакивал дым; на площади чернели толпы народа; звонили к вечерне. За Каргинским бугром чуть виднелись макушки верб хутора Климовского, за ними, за полынной сизью оснеженного горизонта, искрился и багряно сиял дымный, распластавшийся вполнеба закат.

Восемнадцать всадников миновали курган, подпиравший три обыневшие дикие яблоньки, и свежей рысью, поскрипывая подушками седел, пошли на северо-восток. Морозная, воровски таилась за гребнем ночь. Казаки, кутаясь в башлыки, временами переходили на полевой намет. Резко, звучно до боли щелкали подковы. На юг текла из-под конских копыт накатанная дорога; по бокам леденистая пленка снега, прибитого недавней ростепелью, держалась, цепляясь за травяные былки, при свете месяца блестела и

переливалась меловым текучим огнем.

Казаки молча торопили коней. Стекала на юг дорога. Кружился на востоке в Дубовеньком буераке лес. Мелькали сбочь конских ног филейные [48] петли заячьих следов. Над степью наборным казачьим поясом-чеканом лежал нарядно перепоясавший небо Млечный Путь.

* ЧАСТЬ ПЯТАЯ *

I

Глубокой осенью 1917 года стали возвращаться с фронта казаки. Пришел постаревший Христоня с тремя казаками, служившими с ним в 52-м полку. Вернулись уволенные по чистой, по-прежнему голощекий Аникушка, батарейцы Томилин Иван и Яков Подкова, за ними — Мартин Шамиль, Иван Алексеевич, Захар Королев, нескладно длинный Борщев; в декабре неожиданно заявился Митька Коршунов, спустя неделю — целая партия казаков, бывших в 12-м полку: Мишка Кошевой, Прохор Зыков, сын старика Кашулина — Андрей Кашулин, Епифан Максаев, Синилин Егор.

На красивейшем буланом коне, взятом у австрийского офицера, приехал прямо из Воронежа отбившийся от своего полка калмыковатый Федот Бодовсков и после долго рассказывал, как пробирался он через взбаламученные революцией деревни Воронежской губернии и уходил из-под носа красногвардейских отрядов, полагаясь на резвость своего коня.

Следом за ним явились уже из Каменской бежавшие из обольшевиченного 27-го полка Меркулов, Петро Мелехов и Николай Кошевой. Они-то и принесли в хутор известие, что Григорий Мелехов, служивший в последнее время во 2-м запасном полку, подался на сторону большевиков, остался в Каменской. Там же, в 27-м полку, прижился бесшабашный, в прошлом — конокрад Максимка Грязнов, привлеченный к большевикам новизною наступивших смутных времен и возможностями привольно пожить. Говорили про Максимку, что обзавелся он конем невиданной уродливости и столь же невиданной лютой резвости; говорили, что у Максимкина коня через всю спину протянулся природный серебряной шерсти ремень, а сам конь невысок, но длинен и масти прямо-таки бычино-красной. Про Григория мало говорили, — не хотели говорить, зная, что разбились у него с хуторными пути, а сойдутся ли вновь — не видно.

Курени, куда вернулись казаки хозяевами или жданными гостями, полнились радостью. Радость-то эта резче, безжалостней подчеркивала глухую прижившуюся тоску тех, кто навсегда потерял родных и близких. Многих недосчитывались казаков — растеряли их на полях Галиции, Буковины, Восточной Пруссии, Прикарпатья, Румынии, трупами легли они и истлели под орудийную панихиду, и теперь позаросли бурьяном высокие холмы братских могил, придавило их дождями, позамело сыпучим снегом. И сколько ни будут простоволосые казачки выбегать на проулки и глядеть из-под ладоней, — не дождаться милых сердцу! Сколько ни будет из опухших и выцветших глаз ручьиться слез — не замыть тоски! Сколько ни голосить в дни годовщины и поминок — не донесет восточный ветер криков их до Галиции и Восточной Пруссии, до осевших холмиков братских могил!..

Травой зарастают могилы, — давностью зарастает боль. Ветер зализал следы ушедших, — время залижет и кровяную боль, и память тех, кто не дождался родимых и не дождется, потому что коротка человеческая жизнь и не много всем нам суждено истоптать

травы…

Билась головой о жесткую землю жена Прохора Шамиля, грызла земляной пол зубами, наглядевшись, как ласкает вернувшийся брат покойного мужа, Мартин Шамиль, свою беременную жену, нянчит детей и раздает им подарки. Билась баба и ползала в корчах по земле, а около в овечью кучу гуртились детишки, выли, глядя на мать захлебнувшимися в страхе глазами.

Рви, родимая, на себе ворот последней рубахи! Рви жидкие от безрадостной тяжкой жизни волосы, кусай свои в кровь искусанные губы, ломай изуродованные работой руки и бейся на земле у порога пустого куреня! Нет у твоего куреня хозяина, нет у тебя мужа, у детишек твоих — отца, и помни, что никто не приласкает ни тебя, ни твоих сирот, никто не избавит тебя от непосильной работы и нищеты, никто не прижмет к груди твою голову ночью, когда упадешь ты, раздавленная усталью, и никто не скажет тебе, как когда-то говорил он: «Не горюй, Аниська! Проживем!» Не будет у тебя мужа, потому что высушили и издурнили тебя работа, нужда, дети; не будет у твоих полуголых, сопливых детей отца; сама будешь пахать, боронить, задыхаясь от непосильного напряжения, скидывать с косилки, метать на воз, поднимать на тройчатках тяжелые вороха пшеницы и чувствовать, как рвется что-то внизу живота, а потом будешь корчиться, накрывшись лохунами, и исходить кровью.

Перебирая старое бельишко Алексея Бешняка, плакала мать, точила горькие скупые слезы, принюхивалась, но лишь последняя рубаха, привезенная Мишкой Кошевым, таила в складках запах сыновнего пота, и, припадая к ней головой, качалась старуха, жалостно причитала, узорила клейменую бязевую грязную рубаху слезами.

Осиротели семьи Маныцкова, Афоньки Озерова, Евлантия Калинина, Лиховидова, Ермакова и других казаков.

Лишь по одному Степану Астахову никто не плакал — некому было. Пустовал его забитый дом, полуразрушенный и мрачный даже в летнюю пору. Аксинья жила в Ягодном, по-прежнему в хуторе о ней слышали мало, а она в хутор не заглядывала — не тянуло, знать.

Казаки верховых станиц Донецкого округа шли домой земляческими валками. В хутора Вешенской станицы в декабре почти полностью вернулись фронтовики.

Через хутор Татарский день и ночь тянулись конные, человек по десять — сорок, направляясь на левую сторону Дона.

— Откуда, служивые? — выходя, спрашивали старики.

— С Черной речки.

— С Зимовного.

— С Дубовки.

— С Решетовского.

— Дударевские.

— Гороховские.

— Алимовские, — звучали ответы.

— Навоевались, что ль? — ехидно пытали старики.

Иные фронтовики, совестливые и смирные, улыбались:

— Хватит, отцы! Навоевались.

— Нуждишки приняли, гребемся домой.

А те, которые поотчаянней, позлей, матерно ругались, советовали:

— Пойди-ка ты, старый, потрепи хвост!

— Чего допытываешься? Какого тебе надо?

— Вас тут много, шептунов!

В конце зимы под Новочеркасском уже завязывались зачатки гражданской войны, а в

верховьях Дона, в хуторах и станицах, кладбищенская покоилась тишина. В куренях лишь шла скрытая, иногда прорывавшаяся наружу, семейная междоусобица: старики не ладили с фронтовиками.

О войне, закипавшей под стольным градом Области войска Донского, знали лишь понаслышке; смутно разбираясь в возникавших политических течениях, выжидали событий, прислушивались.

До января и на хуторе Татарском жили тихо. Вернувшиеся с фронта казаки отдыхали возле жен, отъедались, не чуяли, что у порогов куреней караулят их горшие беды и тяготы, чем те, которые приходилось переносить на пережитой войне.

II

Мелехов Григорий в январе 1917 года был произведен за боевые отличия в хорунжие, назначен во 2-й запасной полк взводным офицером.

В сентябре он, после того как перенес воспаление легких, получил отпуск; прожил дома полтора месяца, оправился после болезни, прошел окружную врачебную комиссию и вновь был послан в полк. После Октябрьского переворота получил назначение на должность командира сотни. К этому времени можно приурочить и тот перелом в его настроениях, который произошел с ним вследствие происходивших вокруг событий и отчасти под влиянием знакомства с одним из офицеров полка — сотником Ефимом Извариным.

С Извариным Григорий познакомился в первый день приезда из отпуска, после постоянно сталкивался с ним на службе и вне службы и незаметно для самого себя подпадал под его влияние.

Ефим Изварин был сыном зажиточного казака Гундоровской станицы, образование получил в Новочеркасском юнкерском училище, по окончании его отправился на фронт в 10-й Донской казачий полк, прослужил в нем около года, получил, как он говаривал, «офицерский Георгий на грудь и четырнадцать осколков ручной гранаты во все подобающие и неподобающие места» и попал для завершения недолгой своей служебной карьеры во 2-й запасной.

Человек недюжинных способностей, несомненно одаренный, образованный значительно выше той нормы, которой обычно не перерастало казачье офицерство, Изварин был заядлым казаком-автономистом. Февральская революция встряхнула его, дала возможность развернуться, и он, связавшись с казачьими кругами самостийного толка, умело повел агитацию за полную автономию Области войска Донского, за установление того порядка правления, который существовал на Дону еще до порабощения казачества самодержавием. Он превосходно знал историю, носил горячую голову, умом был ясен и трезв; покоряюще красиво рисовал будущую привольную жизнь на родимом Дону — когда править будет державный Круг, когда не будет в пределах области ни одного русака и казачество, имея на своих правительственных границах пограничные посты, будет как с равными, не ломая шапок, говорить с Украиной и Великороссией и вести с ними торговлю и мену. Кружил Изварин головы простодушным казакам и малообразованному офицерству. Под его влияние подпал и Григорий. Вначале происходили у них горячие споры, но полуграмотный Григорий был безоружен по сравнению со своим противником, и Изварин легко разбивал его в словесных боях. Спорили обычно где-либо в углу казармы, причем сочувствие слушателей клонилось всегда на сторону Изварина. Он импонировал казакам своими рассуждениями, вычерчивая картину будущей независимой жизни, — трогал наиболее сокровенное, лелеемое

большей частью зажиточного низового казачества.

— Как же мы без России будем жить, ежели у нас, окромя пшеницы, ничего нету? — спрашивал Григорий.

Изварин терпеливо разъяснял:

— Я не мыслю самостоятельного и обособленного существования одной Донской области. На основах федерации, то есть объединения, мы будем жить совместно с Кубанью, Тереком и горцами Кавказа. Кавказ богат минералами, там мы найдем все.

— А каменный уголь?

— У нас под рукой Донецкий бассейн.

— Но ить он принадлежит России!

— Кому он принадлежит и на чьей территории находится — это еще вопрос спорный. Но даже в том случае, если Донецкий бассейн отойдет России, мы очень мало теряем. Наш федеративный Союз будет базироваться не на промышленности. По характеру мы — край аграрный, а раз так, то для того, чтобы насытить нашу небольшую промышленность углем, мы будем закупать его в России. И не только уголь, но и многое другое нам придется покупать у России: лес, изделия металлической промышленности и прочее, а взамен будем снабжать их высокосортной пшеницей, нефтью.

— А какая нам выгода отделяться?

— Прямая. Прежде всего избавимся от политической опеки, восстановим свои уничтоженные русскими царями порядки, выселим всех пришлых иногородних. В течение десяти лет, путем ввоза из-за границы машин, так поднимем свое хозяйство, что обогатимся в десять раз. Земля эта — наша, кровью наших предков полита, костями их удобрена, а мы, покоренные Россией, защищали четыреста лет ее интересы и не думали о себе. У нас есть выходы к морю. У нас будет сильнейшая и боеспособнейшая армия, и не только Украина, но Россия не осмелится посягнуть на нашу независимость!

Среднего роста, статный, широкоплечий Изварин был типичным казаком: желтоватые, цвета недозрелого овса, вьющиеся волосы, лицо смуглое, лоб покатый, белый, загар тронул только щеки и гранью лег на уровень белесых бровей. Говорил он высоким послушным тенором, в разговоре имел привычку остро ломать левую бровь и как-то по-своему поводить небольшим горбатым носом; от этого казалось, что он всегда к чему-то принюхивается. Энергическая походка, самоуверенность в осанке и в открытом взгляде карих глаз отличали его от остальных офицеров полка. Казаки относились к нему с явным уважением, пожалуй, даже с большим, чем к командиру полка.

Изварин подолгу беседовал с Григорием, и тот, чувствуя, как вновь зыбится под его ногами недавно устойчивая почва, переживал примерно то же, что когда-то переживал в Москве, сойдясь в глазной лечебнице Снегирева с Гаранжой.

Вскоре после Октябрьского переворота у них с Извариным происходил следующий разговор.

Обуреваемый противоречиями, Григорий осторожно расспрашивал о большевиках:

— А вот скажи, Ефим Иванович, большевики, по-твоему, как они — правильно али нет рассуждают?

Углом избочив бровь, смешливо морща нос, Изварин кхакал:

— Рассуждают? Кха-кха… Ты, милый мой, будто новорожденный… У большевиков своя программа, свои перспективы и чаяния. Большевики правы со своей точки зрения, а мы со своей. Партия большевиков, знаешь, как именуется? Нет? Ну, как же ты не знаешь? Российская социал-демократическая *рабочая* партия! Понял? Рабо-чая! Сейчас они заигрывают и с крестьянами и с казаками, но основное у них — рабочий класс. Ему они несут

освобождение, крестьянству — новое, быть может, худшее порабощение. В жизни не бывает так, чтобы всем равно жилось. Большевики возьмут верх — рабочим будет хорошо, остальным плохо. Монархия вернется — помещикам и прочим будет хорошо, остальным плохо. Нам не нужно ни тех, ни других. Нам необходимо *свое*, и прежде всего избавление от всех опекунов — будь то Корнилов, или Керенский, или Ленин. Обойдемся на своем поле и без этих фигур. Избавь, боже, от друзей, а с врагами мы сами управимся.

— Но большинство казаков за большевиков тянут… знаешь?

— Гриша, ты, дружок, пойми вот что — это основное: *сейчас* казаку и крестьянину с большевиками по пути. Знаешь почему?

— Ну?

— Потому… — Изварин крутил носом, округляя его, смеялся: — Потому, что большевики стоят за мир, за немедленный мир, а казакам война вот где сейчас сидит!

Он звонко шлепал себя по тугой смуглой шее и, выравнивая изумленно вздыбленную бровь, кричал:

— Поэтому казаки пахнут большевизмом и шагают с большевиками в ногу. Но-о-о, как толь-ко кон-чит-ся вой-на и большевики протянут к казачьим владениям руки, пути казачества и большевиков разойдутся! Это обоснованно и исторически неизбежно. Между сегодняшним укладом казачьей жизни и социализмом — конечным завершением большевистской революции — непереходимая пропасть…

— Я говорю… — глухо бурчал Григорий, — что ничего я не понимаю… Мне трудно в этом разобраться… Блукаю я, как в метель в степи…

— Ты этим не отделаешься! Жизнь заставит разобраться, и не только заставит, но и силком толкнет тебя на какую-нибудь сторону.

Разговор этот происходил в последних числах октября. А в ноябре Григорий случайно столкнулся с другим казаком, сыгравшим в истории революции на Дону немалую роль, — столкнулся Григорий с Федором Подтелковым, и после недолгих колебаний вновь перевесила в его душе прежняя правда.

В этот день изморосный дождь сеялся с полудня. Перед вечером прояснело, и Григорий решил пойти на квартиру к станичнику, подхорунжему 28-го полка Дроздову. Четверть часа спустя он уже вытирал о подстилку сапоги, стучался в дверь квартиры Дроздова. В комнате, заставленной тщедушными фикусами и потертой мебелью, кроме хозяина, сидел на складной офицерской койке, спиной к окну, здоровый, плотный казак с погонами вахмистра гвардейской батареи. Ссутулив спину, он широко расставил ноги в черных суконных шароварах, разложил на круглых широких коленях такие же широкие рыжеволосые руки. Гимнастерка туго облегала его бока, морщинилась под мышками, чуть не лопалась на широченной выпуклой груди. На скрип двери он повернул короткую полнокровную шею, холодно оглядел Григория и захоронил под припухлыми веками, в узких глазницах, прохладный свет зрачков.

— Обзнакомьтеся. Это, Гриша, почти сосед наш, усть-хоперский, Подтелков.

Григорий и Подтелков молча пожали друг другу руки. Садясь, Григорий улыбнулся хозяину:

— Я наследил тебе — не будешь ругать?

— Не, не бойсь. Хозяйка затрет… Чай будешь пить?

Хозяин, мелкорослый, подвижной, как вьюн, щелкнул самовар обкуренным охровым ногтем, посожалел:

— Холодный придется пить.

— Я не хочу. Не беспокойся.

Григорий предложил Подтелкову папиросу. Тот долго пытался ухватить белую, плотно вжатую в ряд трубочку своими крупными красными пальцами; багровея от смущения, досадливо оказал:

— Не ухвачу никак… Ишь ты, проклятая!

Он наконец-то выкатил на крышку портсигара папиросу, поднял на Григория прижмуренные в улыбке, от этого еще более узкие, глаза. Григорию понравилась его непринужденность, спросил:

— С каких хуторов?

— Я сам рожак с Крутовского, — охотно заговорил Подтелков. — Там произрастал, а жил последнее время в Усть-Калиновском. Крутовской-то вы знаете — слыхал, небось? Он тут почти рядом с Еланской гранью. Плешаковский хутор знаешь? Ну, а за ним выходит Матвеев, а рядом уж нашей станицы Тюковновский хутор, а дальше и наши хутора, с каких я родом: Верхний и Нижний Крутовский.

Все время в разговоре он называл Григория то на «ты», то на «вы», говорил свободно и раз даже, освоившись, тронул тяжелой рукой плечо Григория. На большом, чуть рябоватом выбритом лице его светлели заботливо закрученные усы, смоченные волосы были приглажены расческой, возле мелких ушей взбиты, с левой стороны чуть курчавились начесом. Он производил бы приятное впечатление, если бы не крупный приподнятый нос да глаза. На первый взгляд, не было в них ничего необычного, но, присмотревшись, Григорий почти ощутил их свинцовую тяжесть. Маленькие, похожие на картечь, они светлели из узких прорезей, как из бойниц, приземляли встречный взгляд, влеплялись в одно место с тяжелым упорством.

Григорий с любопытством присматривался к нему, отметил одну характерную черту: Подтелков почти не мигал, — разговаривая, он упирал в собеседника свой невеселый взгляд, говорил, переводя глаза с предмета на предмет, причем куценькие, обожженные солнцем ресницы его все время были приспущены и недвижны. Изредка лишь он опускал пухлые веки и снова рывком поднимал их, нацеливаясь картечинами глаз, обегая ими все окружающее.

— Вот любопытно, братцы, — заговорил Григорий, обращаясь к хозяину и Подтелкову. — Кончится война — и по-новому заживем. На Украине Рада правит, у нас — Войсковой круг.

— Атаман Каледин, — вполголоса поправил Подтелков.

— Все равно. Какая разница?

— Разницы-то нету, — согласился Подтелков.

— России-матушке мы теперя низко кланялись, — продолжал Григорий пересказ речей Изварина, желая выведать, как отнесутся к этому Дроздов и этот здоровила из гвардейской батареи. — Своя власть, свои порядки. Хохлов с казачьей земли долой, протянем границы — и не подходи! Будем жить, как в старину наши прадеды жили. Я думаю, революция нам на руку. Ты как, Дроздов?

Хозяин заюлил улыбкой, резвыми телодвижениями.

— Конешно, лучше будет! Мужики нашу силу переняли, житья за ними нету. Чтой-то за черт — наказные атаманья все какие-то немцы: фон Тяубе, да фон Граббе, да разные подобные! Земли все этим штаб-офицерам резали… Теперь хучь воздохнем.

— А Россия с этим помирится? — ни к кому не обращаясь, тихо спросил Подтелков.

— Небось, помирится, — уверил Григорий.

— И будет одно и то же… Тех же щей, да пожиже влей.

— Как это так?

— А точно так. — Подтелков проворней заворочал картечинами глаз, кинул лобовой

грузный взгляд на Григория. — Так же над народом, какой трудящийся, будут атаманья измываться. Тянись перед всяким их благородием, а он тебя будет сланивать по сусалам. Тоже… Прекрасная живуха… камень на шею — да с яру!

Григорий встал. Отмеряя по тесной горенке шаги, несколько раз касался расставленных колен Подтелкова; остановившись против него, спросил:

— А как же?

— До конца.

— До какого?

— Чтоб раз начали — значит, борозди до последнего. Раз долой царя и контрреволюцию — надо стараться, чтоб власть к народу перешла. А это — басни, детишкам утеха. В старину прижали нас цари, и теперь не цари, так другие-прочие придавют, аж запишшим!..

— Как же, Подтелков, по-твоему?

И опять забегали, разыскивая простор в тесной горенке, тяжелые на подъем глаза-картечины.

— Народную власть… выборную. Под генеральскую лапу ляжешь — опять война, а нам это лишнее. Кабы такая власть кругом, по всему свету, установилась: чтобы народ не притесняли, не травили на войне! А то что ж?! Худые шаровары хучь наизнанку выверни — все одно те же дыры. — Гулко похлопав ладонями по коленям, Подтелков зло улыбнулся, раздел мелкие несчетно-плотные зубы. — Нам от старины подальше, а то в такую упряжку запрягут, что хуже царской обозначится.

— А править нами кто будет?

— Сами! — оживился Подтелков. — Заберем свою власть — вот и правило. Лишь бы подпруги нам зараз чудок отпустили, а скинуть Калединых сумеемся!

Остановившись у запотевшего окна, Григорий долго глядел на улицу, ка детишек, игравших в какую-то замысловатую игру, на мокрые крыши противоположных домов, на бледно-серые ветви нагого осокоря в палисаднике и не слышал, о чем спорили Дроздов с Подтелковым; мучительно старался разобраться в сумятице мыслей, продумать что-то, решить.

Минут десять стоял он, молча вычерчивая на стекле вензеля. За окном, над крышей низенького дома, предзимнее, увядшее, тлело на закате солнце: словно ребром поставленное на ржавый гребень крыши, оно мокро багровело, казалось, что оно вот-вот сорвется, покатится по ту или эту сторону крыши. От городского сада, прибитые дождем, шершавые катились листья, и, налетая с Украины, с Луганска, гайдамачил над станицей час от часу крепчавший ветер.

III

Новочеркасск стал центром притяжения для всех бежавших от большевистской революции. Стекались в низовья Дона большие генералы, бывшие вершители судеб развалившейся русской армии, надеясь на опору реакционных донцов, мысля с этого плацдарма развернуть и повести наступление на Советскую Россию.

2 ноября в Новочеркасск прибыл в сопровождении ротмистра Шапрона генерал Алексеев. Переговорив с Калединым, он принялся за организацию добровольческих отрядов. Бежавшие с севера офицеры, юнкера. ударники, учащиеся, деклассированные элементы из солдатских частей, наиболее активные контрреволюционеры из казаков и просто люди, искавшие острых приключений и повышенных окладов, хотя бы и «керенками», — составили костяк будущей

Добровольческой армии.

В последних числах ноября прибыли генералы Деникин, Лукомский, Марков, Эрдели. К этому времени отряды Алексеева уже насчитывали более тысячи штыков.

6 декабря в Новочеркасске появился Корнилов, покинувший в дороге свой конвой текинцев и переодетым добравшийся до донских границ.

Каледин, успевший к этому времени стянуть на Дон почти все казачьи полки, бывшие на румынском и австро-германском фронтах, расположил их по железнодорожной магистрали Новочеркасск — Чертково — Ростов — Тихорецкая. Но казаки, уставшие от трехлетней войны, вернувшиеся с фронта революционно настроенные, не изъявляли особой охоты драться с большевиками. В составах полков оставалась чуть ли не треть нормального числа всадников. Наиболее сохранившиеся полки — 27-й, 44-й и 2-й запасной — находились в станице Каменской. Туда же в свое время были отправлены из Петрограда лейб-гвардии Атаманский и лейб-гвардии Казачий полки. Пришедшие с фронта полки 58-й, 52-й, 43-й, 28-й, 12-й, 29-й, 35-й, 10-й, 39-й, 23-й, 8-й и 14-й и батареи 6-я, 32-я, 28-я, 12-я и 13-я были расквартированы в Черткове, Миллерове, Лихой, Глубокой, Звереве, а также в районе рудников. Полки из казаков Хоперского и Усть-Медведицкого округов прибывали на станции Филонове, Урюпинская, Себряково, некоторое время стояли там, потом рассасывались.

Властно тянули к себе родные курени, и не было такой силы, что могла бы удержать казаков от стихийного влечения домой. Из донских полков лишь 1-й, 4-й и 14-й были в Петрограде, да и те задержались там ненадолго.

Некоторые особенно ненадежные части Каледин пытался расформировать или изолировать путем окружения наиболее устойчивыми частями.

В конце ноября, когда он в первый раз попытался двинуть на революционный Ростов фронтовые части, казаки, подойдя к Аксайской, отказались идти в наступление, вернулись обратно.

Широко развернувшаяся организация по сколачиванию «лоскутных» отрядов дала свои результаты: 27 ноября Каледин уже был в состоянии оперировать стойкими добровольческими отрядами, заимствуя силы и у Алексеева, собравшего к тому времени несколько батальонов.

2 декабря Ростов был с бою занят добровольческими частями. С приездом Корнилова туда перенесен был центр организации Добровольческой армии. Каледин остался один. «Казачьи части раскидал он по границам области, двинул к Царицыну и на грань Саратовской губернии, но для актуальных, требовавших скорейшего разрешения задач употреблял лишь офицерско-партизанские отряды; на них только могла опереться изо дня в день ветшавшая, немощная войсковая власть.

Для усмирения донецких шахтеров были кинуты свеженавербованные отряды. В Макеевском районе подвизался есаул Чернецов, там же находились и части регулярного 58-го казачьего полка. В Новочеркасске наскоро формировались отряды Семилетова, Грекова, различные дружины; на севере, в Хоперском округе, сколачивался из офицеров и партизан так называемый «отряд Стеньки Разина». Но с трех сторон уже подходили к области колонны красногвардейцев. В Харькове, Воронеже накапливались силы для удара. Висели над Доном тучи, сгущались, чернели. Орудийный гром первых боев уже несли ветры с Украины.

IV

Изжелта-белые, грудастые, как струги, тихо проплывали над Новочеркасском облака. В

вышней заоблачной синеве, прямо над сияющим куполом собора, недвижно висел седой курчавый каракуль перистой тучи, длинный хвост ее волнами снижался и розово серебрился где-то над станицей Кривянской.

Неяркое вставало солнце, но окна атаманского дворца, отражая его, жгуче светились. На домах блестели покаты железных крыш, сырость вчерашнего дождя хранил на себе бронзовый Ермак, протянувший на север сибирскую корону.

По Крещенскому спуску поднимался взвод пеших казаков. На штыках их винтовок играло солнце. Граненой тишины утра, нарушаемой редкими пешеходами да дребезжаньем извозчичьей пролетки, почти не колебал четкий, чуть слышный шаг казаков.

В это утро с московским поездом приехал в Новочеркасск Илья Бунчук. Он последним вышел из вагона, одергивая на себе полы демисезонного старенького пальто, чувствуя себя в штатском неуверенно и непривычно.

На платформе прохаживались жандарм и две молоденькие, чему-то смеявшиеся девушки. Бунчук пошел в город; дешевый, изрядно потертый чемодан нес под мышкой. За всю дорогу, до самой окраины улицы, почти не попадались люди. Спустя полчаса Бунчук, наискось пересекший город, остановился у небольшого полуразрушенного домика. Давным-давно не ремонтированный домик этот выглядел жалко. Время наложило на него свою лапу, и под тяжестью ее ввалилась крыша, покривились стены, расхлябанно обвисли ставни, парально перекосились окна. Бунчук, открывая калитку, взволнованно обежал глазами дом и тесный дворик, спеша, зашагал к крыльцу.

В тесном коридорчике половину места занимал заваленный разной рухлядью сундук. В темноте Бунчук стукнулся коленом об угол его, — не чувствуя боли, рванул дверь. В передней низкой комнатке никого не было. Он прошел во вторую и, не найдя и там никого, стал на пороге. От страшно знакомого запаха, присущего только этому дому, у него закружилась голова. Взглядом охватил всю обстановку: тяжелый застав икон в переднем углу горницы, кровать, столик, пятнистое от старости зеркальце над ним, фотографии, несколько дряхлых венских стульев, швейную машину, тусклый от давнишнего употребления самовар на лежанке. С внезапно и остро застучавшим сердцем, — через рот, как при удушье, вдыхая воздух, Бунчук повернулся и, кинув чемодан, оглядел кухню; так же приветливо зеленела окрашенная фуксином лобастая печь, из-за голубенькой ситцевой занавески выглядывал старый пегий кот; в глазах его светилось осмысленное, почти человеческое любопытство, — видно, редки были посетители. На столе беспорядочно стояла немытая посуда, около, на табуретке, лежал клубок пряденой шерсти, поблескивали вязальные спицы, пронизавшие с четырех углов недоконченный паголенок чулка.

Ничто не изменилось здесь за восемь лет. Словно вчера отсюда ушел Бунчук. Он выбежал на крыльцо. Из дверей сарая, стоявшего в конце двора, вышла сгорбленная, согнутая прожитым и пережитым старуха. «Мама!.. Да неужели?.. Она ли?..» Дрожа губами, Бунчук рванулся ей навстречу. Он сорвал с головы шапку, смял в кулаке.

— Вам кого надо? Кого вам? — встревоженно спрашивала старушка, прикладывая ладонь к выцветшим бровям, не двигаясь.

— Мама!.. — глухо прорвалось у Бунчука. — Что же ты — не узнаешь?..

Спотыкаясь, он шел к ней, видел, как мать качнулась от его крика, словно от удара, — хотела, видно, бежать, но силы изменили, и она пошла толчками, будто преодолевая сопротивление ветра. Бунчук подхватил ее уже падающую, целуя маленькое сморщенное лицо, потускневшие от испуга и безумной радости глаза, моргал беспомощно и часто.

— Илюша!.. Илюшенька!.. Сыночек! Не угадала… Господи, откуда ты взялся?.. — шептала старушка, пытаясь выпрямиться и стать на ослабевшие ноги.

Они вошли в дом. И тут только, после пережитых минут глубокого волнения, Бунчука вновь стало тяготить пальто с чужого плеча — оно стесняло, давило под мышками, путало каждое движение. Он с облегчением сбросил его, присел к столу.

— Не думала живого повидать!.. Сколько годков не видались. Родименький мой! Как же мне тебя угадать, коли ты вон как вырос, постарел!

— Ну, ты как живешь, мама? — улыбаясь, расспрашивал Бунчук.

Путано рассказывая, она суетилась: собирала на стол, сыпала в самовар уголья и, размазывая по заплаканному лицу слезы и угольную черноту, не раз подбегала к сыну, гладила его руки, тряслась, прижимаясь к его плечу. Она нагрела воды, сама вымыла ему голову, достала откуда-то со дна сундука пожелтевшее от старости чистое белье, накормила родного гостя — и до полуночи сидела, глаз не сводила с сына, расспрашивала, горестно кивала головой.

На соседней колокольне пробило два часа, когда Бунчук улегся спать. Он уснул сразу и, засыпая, забыл настоящее: представлялось ему, что он, маленький разбойный ученик ремесленного училища, набегавшись, улегся, окунается в сон, а из кухни вот-вот откроет мать дверь, спросит строго: «Илюша, уроки-то выучил к завтрему?!» Так и уснул с застывшей напряженно-радостной улыбкой.

До зари несколько раз подходила к нему мать, поправляла одеяло, подушку, целовала его большой лоб с приспущенной наискось русой прядью, неслышно уходила.

Через день Бунчук уехал. Утром пришел к нему товарищ в солдатской шинели и новехонькой защитной фуражке, что-то вполголоса сказал ему, и Бунчук засуетился, быстро собрал чемодан, кинул сверху пару выстиранного матерью белья, — болезненно морщась, натянул пальто. Попрощался с матерью комкано, наспех, обещал через месяц быть.

— Куда едешь-то, Илюша?

— В Ростов, мама, в Ростов. Скоро приеду… Ты… ты, мама, не горюй! — бодрил он старуху.

Она, торопясь, сняла с себя нательный маленький крест, — целуя сына, крестя его, надела на шею. Заправляла гайтан за воротник, а пальцы прыгали, кололи холодком.

— Носи, Илюша. Это — святого Николая Мирликийского. Защити и спаси, святой угодник-милостивец, укрой и оборони… Один он у меня… — шептала, прижимаясь к кресту горячечными глазами.

Порывисто обнимая сына, не сдержалась, углы губ дрогнули, горько поползли вниз. На волосатую руку Бунчука, как в весенний дождь, упала одна теплая капелька, другая. Бунчук рознял на своей шее руки матери, хмурясь, вырвался на крыльцо.

Народу на вокзале в Ростове — рог с рогом. Пол по щиколотки засыпан окурками, подсолнечной лузгой. На вокзальной площади солдаты гарнизона торгуют казенным обмундированием, табаком, краденными вещами. Разноплеменная толпа, обычная для большинства южных приморских городов, медленно движется, гудит.

— Ас-с-смоловские, ас-с-смоловские рассыпные! — голосит мальчишка-папиросник.

— Дешево продам, господин-гражданин… — заговорщицки зашептал в самое ухо Бунчука какой-то подозрительного вида восточный человек и подмигнул на распухшую полу своей шинели.

— Семечки каленые, жареные! А вот семечки! — разноголосо верещат девицы и бабы, торгующие у входа.

Пробиваясь сквозь толпу, громко разговаривая, хохоча, прошло человек шесть матросов-черноморцев. На них праздничная форма, ленты, золото пуговиц, широкий клеш, захлюстанный в грязи. Перед ними почтительно расступались.

Бунчук шел, медленно буравя толпу.

— Золотая?! Черта с два! Самоварное твое золото… Что, я не вижу, что ли? — насмешливо говорил щуплый солдат искровой команды [49].

В ответ ему негодующе гудел продавец, размахивая сомнительно массивной золотой цепкой:

— Что ты видишь?.. Золото! Червонное, коли хочешь знать, у мирового судьи добыто… А ну, иди к черту, рвань! Тебе пробу подавай… а этого не хочешь?

— Флот не пойдет… что там глупости пороть! — слышалось рядом.

— А чего не пойдет?

— В газетах в этих…

— Пацан, неси сюда!

— Мы за пятый номер [50] голосили. Иначе нельзя, не с руки…

— Мамалыга! Вкусная мамалыга! Прикажите!

— Эшелонный обещал, мол, завтра тронемся.

Бунчук разыскал здание комитета партии, по лестнице поднялся на второй этаж. Вооруженный японской винтовкой с привинченным ножевым штыком, ему преградил путь рабочий-красногвардеец.

— Вам кого, товарищ?

— Мне товарища Абрамсона. Он здесь?

— Третья комната налево.

Невысокий, носатый жуково-черный человек, заложив пальцы левой руки за борт сюртука, правой методически взмахивая, напирал на собеседника — пожилого железнодорожника:

— Так нельзя! И это не есть организация! При подобных приемах агитации вы будете иметь обратные результаты!

Железнодорожник что-то хотел говорить, оправдываться, судя по смущенно-виноватому выражению его лица, но человек с жуково-черной головой не давал ему рта раскрыть; находясь, видимо, в степени крайнего раздражения, он выкрикивал, не желая слушать собеседника и избегая его взгляда:

— Сейчас же отстраните от работы Митченко! Мы не можем безучастно смотреть на происходящее у вас. Верхоцкий будет отвечать перед революционным судом! Он арестован? Да?.. Я буду настаивать, чтобы его расстреляли! — жестко докончил он и повернулся к Бунчуку разгоряченным лицом; еще не окончательно овладев собой, резко спросил: — Вам что?

— Вы Абрамсон?

— Да.

Бунчук подал ему документы и письмо от одного из ответственнейших петроградских товарищей, присел около, на подоконнике.

Абрамсон внимательно перечитал письмо, хмуро улыбнувшись (ему неловко было за свой резкий окрик), попросил:

— Обождите несколько, сейчас мы с вами поговорим.

Он отпустил взопревшего железнодорожника, вышел, через минуту привел с собой рослого бритого военного, с голубым проследком рубленой раны вдоль нижней челюсти, с выправкой кадрового офицера.

— Это член нашего Военно-революционного комитета. Познакомьтесь. Вы, товарищ… простите, я забыл вашу фамилию.

— Бунчук.

— …товарищ Бунчук… вы, кажется, по специальности пулеметчик?

— Да.

— Это нам и требуется! — улыбнулся военный.

Шрам его на всем протяжении, от кончика уха до подбородка, порозовел от улыбки.

— Вы сможете в возможно короткий срок организовать нам пулеметную команду из рабочих-красногвардейцев? — спросил Абрамсон.

— Постараюсь. Дело во времени.

— Ну, а сколько вам необходимо времени? Неделю, две, три? — наклоняясь к Бунчуку, спрашивал военный и просто, выжидающе улыбался.

— Несколько дней.

— Отлично.

Абрамсон тер лоб, сказал с заметной ноткой раздражения:

— Части гарнизона крайне деморализованы, они не имеют реальной ценности. У нас, товарищ Бунчук, как и везде, полагаю, надежда на рабочих. Моряки — да, а солдаты… Поэтому, понимаете, и хотелось бы иметь своих пулеметчиков. — Он подергал синие кольца бороды, спросил озабоченно: — Вы как в смысле материального обеспечения? Ну, мы это устроим. Обедали вы сегодня? Ну конечно, нет!

«Сколько же тебе пришлось голодать, браток, что ты с одного взгляда отличаешь сытого от голодного, и сколько пережил ты горя либо ужаса, прежде чем у тебя появился вот этот седой клок?» — с растроганной ласковостью подумал Бунчук, глядя на жуковую голову Абрамсона, белевшую справа ослепительно ярким пятном седины. И уже шагая с провожатым на квартиру Абрамсона, Бунчук все думал о нем: «Вот это парень, вот это большевик! Есть злой упор, и в то же время сохранилось хорошее, человеческое. Он не задумается подмахнуть смертный приговор какому-нибудь саботажнику Верхоцкому и в то же время умеет беречь товарища и заботиться о нем».

Весь под теплым впечатлением встречи с Абрамсоном, он дошел до его квартиры, где-то в конце Таганрогского, отдохнул в маленькой, заваленной книгами комнатке, пообедал, предъявил записку Абрамсона квартирной хозяйке, прилег на кровать. Уснул и не помнил как.

V

В течение четырех дней с утра до вечера Бунчук занимался с рабочими, присланными в его распоряжение комитетом партии. Их было шестнадцать. Люди самых разнообразных профессий, возрастов и даже национальностей. Двое грузчиков, полтавский украинец Хвылычко и обрусевший грек Михалиди, наборщик Степанов, восемь металлистов, забойщик с Парамоновского рудника Зеленков, тщедушный пекарь-армянин Геворкяна, квалифицированный слесарь из русских немцев Иоганн Ребиндер, двое рабочих депо, и семнадцатую путевку принесла женщина в ватной солдатской теплушке, в больших, не по ноге, сапогах.

Принимая от нее закрытый пакет, не догадываясь о цели ее прихода, Бунчук спросил:

— Вы на обратном пути можете зайти в штаб?

Она улыбнулась, растерянным движением поправляя широкую прядь волос, выбившуюся из-под платка, несмело сказала:

— Я направлена к вам… — и, преодолевая минутное смущение, запнулась, — в пулеметчики.

Бунчук густо покраснел.

— Что они там — с ума спятили? Женский батальон у меня, что ли?.. Вы простите, но для вас это неподходящее дело: работа тяжелая, необходимо наличие мужской силы… Ведь это что же?.. Нет, я не могу вас принять!

Он, нахмурясь, вскрыл пакет, бегло пробежал путевку, где суховато было сказано, что в его распоряжение направляется член партии товарищ Анна Погудко, и несколько раз перечитал приложенную к путевке записку Абрамсона.

«Дорогой тов. Бунчук!

Посылаем к Вам хорошего товарища Анну Погудко. Мы уступили ее горячим настояниям и, посылая ее, надеемся, что Вы сделаете из нее боевого пулеметчика. Я знаю эту девушку. Горячо рекомендуя ее Вам, прошу об одном: она — ценный работник, но горяча, немного экзальтированна (еще не перебродила молодость), удерживайте ее от безрассудных поступков, берегите.

Цементирующим составом, ядром у Вас, несомненно, эти восемь человек металлистов; из них обращаю внимание на т. Богового. Очень дельный и преданный революции товарищ. Ваш пулеметный отряд по составу — интернационален — это хорошо: будет боеспособней.

Ускорьте обучение. Есть сведения, будто бы Каледин собирается в поход на нас.

С тов. приветом С.Абрамсон».

Бунчук глянул на стоявшую перед ним девушку (дело происходило в подвальном помещении, в одном из домов на Московской улице, где производилось обучение). Скупой свет тушевал ее лицо, делал черты его невнятными.

— Ну что же? — неласково сказал он. — Если это ваше собственное пожелание… и Абрамсон вот просит… Оставайтесь.

Зевлоротого «максима» густо облепляли со всех сторон, гроздьями висели над ним, опираясь на спины передних, следили жадно-любопытствующими глазами, как под умелыми руками Бунчука споро распадался он на части. Бунчук вновь собирал его четкими, рассчитанно-медленными движениями, объяснял устройство и назначение отдельных частей, учил способам обращения, показывал правила наводки, прицела, объяснял меры деривации [51] по траектории, предельную досягаемость в полете пули. Учил, как располагаться во время боя, чтобы не подвергаться поражению под обстрелом противника; сам ложился под щит с обтрескавшейся защитной краской, говорил о преимущественном выборе места, о расположении ящиков с лентами.

Все усваивали легко, за исключением пекаря Геворкянца. У того все не клеилось: сколько ни показывал ему Бунчук правила разборки — никак не мог запомнить, путал, терялся, шептал смущенно:

— Зачем не получается? Ах, что я… виноватый… надо вот этого сюда. Опять не виходит!.. — вскрикивал он отчаянно. — Зачем?

— Вот тебе и «зачем»! — передразнивал его смуглолицый, с синими крапинками пороха на лбу и щеках, Боговой. — Потому не получается, что бестолковый ты. Вот как надо! — наказывал он, уверенно вкладывая часть в принадлежащее ей место. — Я вон с детства интерес имел к военному делу, — под общий хохот тыкал пальцем в свои синие конопины по лицу, — пушку делал, ее разорвало, — пришлось пострадать. Зато вот теперь способности проявляю.

Он и действительно легче и быстрее всех усвоил пулеметное дело. Отставал один Геворкяна. Чаще всего слышался его плачущий, раздосадованный голос:

— Опять не так! Зачем? — не знаю!

— Какой ишек, ка-а-акой ишек! На вся Нахичевань один такой! — возмущался злой грек Михалиди.

— На редкость бестолков! — соглашался сдержанный Ребиндер.

— Оце тоби нэ бублыки месить, — фыркал Хвылычко, и все беззлобно посмеивались.

Один Степанов, румянея, раздраженно кричал:

— Надо товарищу показывать, а не зубы скалить!

Его поддерживал Крутогоров, большой, рукастый, глаза навыкат, пожилой рабочий депо.

— Смеетесь, колотушники, а дело стоит! Товарищ Бунчук, уйми свою кунсткамеру или гони их к чертям! Революция в опасности, а им — смешки! — басил он, размахивая кувалдистым кулаком.

С острой любознательностью вникала во все Анна Погудко. Она назойливо приставала к Бунчуку, хватала его за рукава неуклюжего демисезона, неотступно торчала около пулемета.

— А если вода замерзнет в кожухе — тогда что? А при большом ветре какое отклонение? А это как, товарищ Бунчук? — осаждала она вопросами и выжидающе поднимала на Бунчука большие с неверным и теплым блеском черные глаза.

В ее присутствии чувствовал он себя как-то неловко; словно отплачивая за эту неловкость, относился к ней с повышенной требовательностью, был подчеркнуто холоден, но что-то волнующее, необычное испытывал, когда по утрам, исправно, ровно в семь, входила она в подвал, зябко засунув руки в рукава зеленой теплушки, шаркая подошвами больших солдатских сапог. Она была немного ниже его ростом, полна той тугой полнотой, которая присуща всем здоровым, физического труда девушкам, — может быть, немного сутула и, пожалуй, даже некрасива, если б не большие сильные глаза, диковинно красившие всю ее.

За четыре дня он даже не разглядел ее толком. В подвале было полутемно, да и неудобно и некогда было рассматривать ее лицо. На пятый день вечером они вышли вместе. Она шла впереди; поднявшись на последнюю ступеньку, повернулась к нему с каким-то вопросом, и Бунчук внутренне ахнул, глянув на нее при вечерном свете. Она, привычным жестом оправляя волосы, ждала ответа, чуть откинув голову, скосив в его сторону глаза. Но Бунчук прослушал; медленно всходил он по ступенькам, стиснутый сладостно-болезненным чувством. У нее от напряжения (неловко было управляться с волосами, не скинув платка) чуть шевелились просвеченные низким солнцем розовые ноздри. Линии рта были мужественны и в то же время — детски нежны. На приподнятой верхней губе темнел крохотный пушок, четче оттеняя неяркую белизну кожи.

Бунчук нагнул голову, будто под ударом, — сказал с пафосной шутливостью:

— Анна Погудко… пулеметчик номер второй, ты хороша, как чье-то счастье!

— Глупости! — сказала она уверенно и улыбнулась. — Глупости, товарищ Бунчук!.. Я спрашиваю, во сколько мы пойдем на стрельбище?

От улыбки стала как-то проще, доступней, земней. Бунчук остановился с ней рядом; ошалело глядя в конец улицы, где застряло солнце, затопляя все багровым половодьем, ответил тихо:

— На стрельбище? Завтра. Куда тебе идти? Где ты живешь?

Она назвала какой-то окраинный переулок. Пошли вместе. На перекрестке догнал их Беговой:

— Бунчук, слушай! Как же завтра соберемся?

Дорогой пояснил Бунчук, что собираться за Тихой рощей, туда Крутогоров и Хвылычко привезут на извозчике пулемет; сбор в восемь утра. Ботовой прошел с ними два квартала, распрощался. Бунчук и Анна Погудко шли несколько минут молча. Она спросила, скользнув боковым взглядом:

— Вы — казак?

— Да.
— Офицер в прошлом?
— Ну, какой я офицер!
— Откуда вы родом?
— Новочеркасский.
— Давно в Ростове?
— Несколько дней.
— А до этого?
— В Петрограде был.
— С какого года в партии?
— С тысяча девятьсот тринадцатого.
— А семья у вас где?
— В Новочеркасске, — скороговоркой буркнул он и просяще протянул руку. — Подожди, дай мне спросить: ты — уроженка Ростова?
— Нет, я родилась в Екатеринославщине, но последнее время жила здесь.
— Теперь я буду спрашивать… Украинка?
Она секунду колебалась, ответила твердо:
— Нет.
— Еврейка?
— Да. А что? Разве меня выдает язык?
— Нет.
— А почему догадался, что я — еврейка?
Он, стараясь попасть в ногу, уменьшая шаг, ответил:
— Ухо, форма уха и глаза. А так в тебе мало от твоей нации… — Подумав, добавил: — Это хорошо, что ты у нас.
— Почему? — заинтересовалась она.
— Видишь ли: за евреями упрочилась слава, и я знаю, что многие рабочие так думают, — я ведь сам рабочий, — вскользь заметил он, — что евреи только направляют, а сами под огонь не идут. Это ошибочно, и ты вот блестящим образом опровергаешь это ошибочное мнение. Ты училась?
— Да, я окончила в прошлом году гимназию. А у вас какое образование? Я потому это спрашиваю, что разговор изобличает ваше нерабочее происхождение.
— Я много читал.
Шли медленно. Она нарочно кружила по переулкам и, коротко рассказав о себе, продолжала расспрашивать его о корниловском выступлении, о настроении питерских рабочих, об Октябрьском перевороте.
Где-то на набережной мокро хлопнули винтовочные выстрелы, отрывисто просек тишину пулемет. Анна не преминула спросить:
— Какой системы?
— Льюис.
— Какая часть ленты израсходована?
Бунчук не ответил, любуясь на оранжевое, посыпанное изумрудной изморозью щупальце прожектора, рукасто тянувшееся от стоявшего на якоре тральщика к вершине вечернего, погоревшего в закате неба.
Проходив часа три по безлюдному городу, они расстались у ворот дома, где жила Анна.
Бунчук возвращался домой, согретый неосознанной внутренней удовлетворенностью. «Хороший товарищ, умная девушка! Хорошо так поговорили с ней — и вот тепло на душе.

Огрубел за это время, а дружеское общение с людьми необходимо, иначе зачерствеешь, как солдатский сухарь…» — думал он, обманывая самого себя и сам сознавая, что обманывает.

Абрамсон, только что пришедший с заседания Военно-революционного комитета, стал расспрашивать о подготовке пулеметчиков; между прочим спросил и об Анне Погудко:

— Как она? Если неподходящая, — мы ее можем направить на другую работу, заменить.

— Нет, что ты! — испугался Бунчук. — Очень способная девушка!

Он испытывал почти непреодолимое желание говорить о ней и сдержался лишь благодаря большому усилию воли.

VI

25 ноября в полдень к Ростову были стянуты из Новочеркасска войска Каледина. Началось наступление. Вдоль линии железной дороги, по обе стороны насыпи, шли жидкие цепи офицерского алексеевского отряда. На правом фланге погуще двигались серые фигуры юнкеров. Добровольцы отряда генерала Попова обтекали красноглинистый ярок на левом фланге. Некоторые, издали казавшиеся крохотными серыми комочками, прыгали в яр, перебираясь на эту сторону, подтягивались, останавливались, вновь текли.

В красногвардейской цепи, рассыпавшейся на окраинах Нахичевани, сказывалось суетливое беспокойство. Рабочие, многие в первый раз взявшие винтовки, испытывали боязнь, переползали, пачкая свои черные пальто осенней грязью; иные поднимали головы, рассматривали далекие, уменьшенные пространством фигуры белых.

Около пулемета в цепи Бунчук, привстав на колени, глядел в бинокль. Накануне он променял свой несуразный демисезон на шинель, чувствовал себя в ней привычно, спокойно.

Огонь открыли без команды. Не выдержали напряженной тишины. Едва лишь жиганул первый выстрел, Бунчук выругался, крикнул, вставая во весь рост:

— Пре-кра-тить!..

Крик его захлестнула дробная стукотуха выстрелов, и Бунчук махнул рукой; стараясь перекричать стрельбу, скомандовал Боговому: «Огонь!» Тот припал к замку улыбающимся, но землистым лицом, положил пальцы на ручки затыльника. Знакомая строчка пулемета пронизала слух Бунчука. Минуту вглядывался в направлении залегшей цепи противника, стараясь определить попадание, потом, вскочив, побежал вдоль цепи к остальным пулеметам:

— Огонь!

— Даем!.. Го-го-го-го! — гремел Хвылычко, поворачивая к нему напуганное и счастливое лицо.

Около третьего от центра пулемета были ребята не совсем надежные. Бунчук бежал к ним. На полпути он, пригнувшись, поглядел в бинокль: в запотевших окружьях стекол виднелись шевелившиеся серые комочки. Оттуда ударили четким, сколоченным залпом. Бунчук упал и уже лежа определил, что прицел третьего пулемета не верен.

— Ниже! Черти!.. — кричал он, извиваясь, переползая вдоль цепи.

Пули тянули над ним близкий смертный высвист. Правильно, как на ученье, стреляли алексеевцы.

У пулемета, нелепо высоко задравшего нос, пластами лежали номера: наводчик грек Михалиди, взяв несуразно высокий прицел, жарил без передышки, растрачивая запас лент; около него квохтал перепуганный, позеленевший Степанов; позади, воткнув голову в землю, сгорбясь, как черепаха, чуть приподнявшись на вытянутых ногах, корячился

железнодорожник, друг Крутогорова.

Оттолкнув Михалиди, Бунчук долго щурился, примеривая прицел, а когда рубанул и, содрогаясь, размеренно зататакал под его руками пулемет, — сказались результаты: перебиравшаяся перебежкой кучка юнкеров сыпанула с пригорка назад, потеряла одного на суглинистой плешине.

Бунчук вернулся к своему пулемету. Бледный Боговой (ярче синели пороховые пятна на его щеках) лежал на боку, выхаркивая ругательства, перевязывал раненую в мякоть ногу.

— Стреляй, в закон-мать!.. — Становясь на четвереньки, орал лежавший рядом огнисто-рыжий красногвардеец. — Стреляй! Не видишь, что наступают?!

Цепи офицерского отряда парадной перебежкой текли вдоль насыпи.

Богового заменил Ребиндер. Умело, экономно, не горячась, повел стрельбу.

А с левого фланга заячьими скачками вскидывался Геворкянц, падал от каждой пролетавшей над ним пули, — охая, прыгал к Бунчуку.

— Не виходит!.. Не стреляет!..

Бунчук, почти не прикрываясь, бегом скользил вдоль изломисто легшей цепи.

Еще издали увидел: Анна на коленях стоит возле пулемета, из-под ладони, отводя нависающую прядь волос, смотрит на вражескую цепь.

— Ложись!.. — чернея от страха за нее, наливаясь кровью, крикнул Бунчук. — Ложись, тебе говорят!..

Она глянула в его сторону — и осталась так же стоять. С губ Бунчука просилось тяжелое, как камень, ругательство. Он добежал до нее, с силой пригнул к земле.

За щитом сопел Крутогоров.

— Заело! Не идет! — дрожа, прошептал он Бунчуку и, ища глазами Геворкянца, поперхнулся криком: — Сбежал, проклятый! Ихтизавр твой допотопный сбежал… Он мне душу разодрал своими стонами!.. Работать не дает!..

Геворкянц подполз, извиваясь по-змеиному. На черной щетине его небритой бороды засохла грязь. Крутогоров секунду смотрел на него, повернув бычью потную шею, — завопил, покрывая гром стрельбы:

— Ленты куда задевал?.. Ископаемый!.. Бунчук! Бунчук! Убери его — я его уничтожу!..

Бунчук копался над пулеметом. Пуля с силой цокнула в щит — и он отвернул руки, как от горячего.

Наладив, сам повел стрельбу. Заставил лечь перебегавших бесстрашно алексеевцев и отполз, разыскивая глазами прикрытие.

Цепи противника подвигались ближе. В бинокль видно было, как добровольцы шли — винтовки на ремнях, редко ложась. Огонь их стал жестче. В красногвардейской цепи у троих уже, подползая, взяли товарищи винтовки и патроны, — мертвым оружие не надобно… На глазах Анны и Бунчука, лежавшего рядом с пулеметом Крутогорова, в цепи сразила пуля молоденького парнишку-красногвардейца. Он долго бился и хрипел, колотил землю ногами в обмотках и под конец, опираясь на разбросанные руки, привстал, покряхтел, ткнулся лицом, в последний раз выдохнув воздух. Бунчук смотрел сбоку на Анну. Из огромных, расширенных глаз девушки сочился текучий ужас. Она, не мигая, глядела на ноги убитого парня в солдатских, измочаленных временем обмотках, не слышала, как Крутогоров в упор кричал ей:

— Ленту!.. Ленту!.. Давай!.. Девка, давай ленту!

Глубоким фланговым охватом калединцы оттеснили красногвардейскую цепь. По улицам предместья Нахичевани мелькали черные пальто и шинели отступавших красногвардейцев. Крайний с правого фланга пулемет попал в руки белых. Грека Михалиди в упор застрелил какой-то портупей-юнкер, второго номерного искололи штыками, как учебное чучело; из

номерных уцелел один лишь наборщик Степанов.

Отступление приостановилось, когда с тральщиков полетели первые снаряды.

— В цепь!.. За мной!.. — крикнул, выбегая вперед, знакомый Бунчуку член ревкома.

Качнулась и, ломаясь, пошла в наступление красногвардейская цепь. Мимо Бунчука и жавшихся к нему Крутогорова, Анны и Геворкянца прошли трое — почти рядом. Один курил, другой на ходу стукал по колену затвором винтовки, третий сосредоточенно разглядывал измазанные полы своего пальто. На лице его, в кончиках усов, путалась виноватая усмешка — словно не на смерть шел он, а возвращался с товарищеской пирушки домой и, глядя на измазанное пальто, определял степень наказания, которому подвергнет его сварливая жинка.

— Вот они! — крикнул Крутогоров, указывая на дальнюю изгородь и копошившихся за ней серых человечков.

— Устанавливай! — Бунчук по-медвежьи крутнул пулемет.

Бодрый говор пулемета заставил Анну заткнуть уши. Она присела, увидела, как за изгородью стихло движение, а через минуту оттуда размеренно забились залпы, и, высверливая невидимые дыры в хмарной парусине неба, потекли над головами пули.

Колотилась барабанная дробь пачечной стрельбы, сухо выгорали змеившиеся у пулеметов ленты. Одиночные выстрелы лопались полнозвучно и зрело. Давил скрежещущий, перемешанный с визгом вой пролетавших через головы снарядов, посылаемых черноморцами с тральщиков. Анна видела: один из красногвардейцев, рослый, в мерлушковой шапке, с усами, подстриженными по-английски, встречая и невольным поклоном провожая каждый пролетавший снаряд, кричал:

— Сыпь, Семен, подсыпай, Семен! Сыпь им гуще!

Снаряды в самом деле ложились гуще. Моряки, пристрелявшись, вели комбинированный огонь. Отдельные кучки медленно отходивших калединцев покрывались частыми очередями шрапнели. Один из снарядов орудия, бившего на поражение, разорвался среди отступавшей неприятельской цепи. Бурый столб разрыва разметал людей, над воронкой, опадая, рассасывался дым. Анна бросила бинокль, ахнула, грязными ладонями закрыла опаленные ужасом глаза — она видела в близком окружье стекол смерчевый вихрь разрыва и чужую гибель. Горло ее перехватила прогорклая спазма.

— Что? — крикнул Бунчук, наклоняясь к ней.

Она стиснула зубы, расширенные зрачки ее помутились:

— Не могу…

— Мужайся! Ты… Анна, слышишь? Слышишь?.. Нель-зя так!.. Нель-зя!.. — стучался ей в ухо властным окриком.

На правом фланге, на подступах небольшой возвышенности, в балке накапливалась пехота противника. Бунчук заметил это: перебежав с пулеметом на более удобное место, взял возвышенность и балку под обстрел.

«Та-та-та-та-та!.. Та-та-та-та-та-так!» — неровно, обрывисто работал пулемет Ребиндера.

Шагах в двадцати кто-то, охриплый, сердитый, кричал:

— Носилки!.. Нет носилок?.. Носилки!..

— Прице-е-ел… — тягуче пел голос взводного из фронтовых солдат, — восемнадцать… Взвод, пли!

К вечеру над суровой землей, снижаясь, завертелись первые снежинки. Через час мокрый, липкий снег притрусил поле и суглинисто-черные комочки убитых, никло полегших везде, где, наступая и отходя, топтались цепи сражавшихся.

К вечеру отошли калединцы.

В ту мутно белевшую молодым снегом ночь Бунчук был в пулеметной заставе.

Крутогоров, накинув на голову где-то добытую богатую попону, ел мокрое волокнистое мясо, плевал, ругался вполголоса. Геворкянц здесь же, в воротах окраинного двора, грел над цигаркой синие, сведенные холодом пальцы, а Бунчук сидел на цинковом патронном ящике, кутая в полу шинели зябко дрожавшую Анну, отрывал от глаз ее плотно прижатые влажные ладони, изредка целовал их. Непривычные, туго сходили с губ слова нежности:

— Ну, как же это так?.. Ты ведь твердая была… Аня, послушай, возьми себя в руки!.. Аня!.. Милая… дружище!.. К этому привыкнешь… Если гордость не позволяет тебе уйти, то будь иной. А на убитых нельзя так смотреть… Проходи мимо, и все! Не давай мыслям воли, взнуздывай их. Вот видишь: хотя ты и говорила, а женское одолевает тебя.

Анна молчала. Пахли ладони ее осенней землей и теплом женщины.

Перепадающий снежок крыл небо тусклой, ласковой поволокой. Хмельная дрема стыла над двором, над близким полем, над притаившимся городом.

VII

Шесть дней под Ростовом и в самом Ростове шли бои.

Дрались на улицах и перекрестках. Два раза красногвардейцы сдавали Ростовский вокзал и оба раза выбивали оттуда противника. За шесть дней не было пленных ни с той, ни с другой стороны.

Перед вечером 26 ноября Бунчук, проходя с Анной мимо товарной станции, увидел, как двое красногвардейцев пристреливают офицера, взятого в плен; отвернувшейся Анне сказал чуть вызывающе:

— Вот это мудро! Убивать их надо, истреблять без пощады! Они нам пощады не дадут, да мы в ней и не нуждаемся, и их нечего миловать. К черту! Сгребать с земли эту нечисть! И вообще — без сантиментов, раз дело идет об участи революции. Правы они, эти рабочие!

На третий день он заболел. Сутки держался на ногах, ощущая постоянную нарастающую тошноту, слабость во всем теле, — чугунным звоном и непреодолимой тяжестью наливалась голова.

Растрепанные красногвардейские отрядики уходили из города на рассвете 2 декабря. Бунчук шел за повозкой с пулеметом и ранеными, поддерживаемый Анной и Крутогоровым. Он с величайшим трудом нес свое обмякшее, бессильное тело, как во сне переставлял железно-неподатливые ноги, встречал далекий призывно-встревоженный взгляд Анны, и словно издалека слух его воспринимал ее слова:

— Сядь на повозку, Илья. Слышишь? Ты понимаешь меня, Илюша? Прошу тебя, присядь, ведь ты болен!

Но Бунчук не понимал ее слов, не понимал и того, что, надломив, борет и уже одолел его тиф. Где-то снаружи бились, не проникая в сознание, чужие и странно знакомые голоса, где-то, удаленные расстоянием, горели исступленным, тревожным огнем черные глаза Анны — чудовищно раскачиваясь, клубилась борода Крутогорова.

Бунчук хватался за голову, прижимал к пылающему, багровому лицу свои широкие ладони. Ему казалось, что из глаз его сочится кровь, а весь мир, безбрежный, неустойчивый, отгороженный от него какой-то невидимой занавесью, дыбится, рвется из-под ног. Бредовое воображение его лепило невероятные образы. Он часто останавливался, сопротивлялся Крутогорову, хотевшему усадить его на повозку.

— Не надо! Подожди! Ты кто такой?.. А где Анна?.. Дай мне земли комочек… А этих уничтожай — под пулемет по моей команде! Наводка прямая!.. Постой! Горячо!.. — хрипел

он, выдергивая из рук Анны свою руку.

Его силой уложили на повозку. Минуту он еще ощущал резкую смесь каких-то разнородных запахов, со страхом пытался вернуть сознание, переламывал себя — и не переломил. Замкнулась над ним черная, набухшая беззвучием пустота. Лишь где-то в вышине углисто горел какой-то опаловый, окрашенный голубизною клочок да скрещивались зигзаги и петли червонных молний.

VIII

С крыш падали пожелтевшие от соломы сосульки, разбивались со стеклянным звоном. В хуторе лужинами и проталинами цвела оттепель; по улицам, принюхиваясь, бродили невылинявшие коровы. По весеннему чулюкали воробьи, копошась в кучах сваленного на базах хвороста. На площади Мартин Шамиль гонялся за сбежавшим с база сытым рыжим конем. Конь, круто поднимая мочалистый донской хвост, трепля по ветру нерасчесанную гриву, взбрыкивал, далеко кидал с копыт комья талого снега, делал круги по площади, останавливался у церковной ограды, нюхал кирпич; подпускал хозяина, косил фиолетовый глаз на уздечку в его руках и вновь вытягивал спину в бешеном намете.

Пасмурными теплыми днями баловал землю январь. Казаки, глядя на Дон, ждали преждевременного разлива. Мирон Григорьевич в этот день долго стоял на заднем базу, глядел на взбухший снегом луг, на ледяную сизо-зелень Дона, думал: «Гляди, накупает и в нынешнем году, как в прошлом. Снегов-то, снегов навалило! Небось, тяжело под ними землице — не воздохнет!»

Митька в одной защитной гимнастерке чистил коровий баз. Белая папаха чудом держалась на его затылке. Мокрые от пота, прямые волосы падали на лоб. Митька отводил их тылом грязной, провонявшей навозом ладони. У ворот база лежали сбитые в кучу мерзлые слитки скотиньего помета, по ним топтался пушистый козел. Овцы жались к плетню. Ярка, переросшая мать, пыталась сосать ее, мать гнала ее ударами головы. В стороне, кольцерогий черный, чесался о соху валух.

У амбара с желтой, окрашенной глиной дверью валялся на сугреве брудастый желтобровый кобель. Снаружи под навесом, на стенах амбара висели вентери; на них глядел дед Гришака, опираясь на костыль, — видно, думал о близкой весне и починке рыболовных снастей.

Мирон Григорьевич прошел на гумно, хозяйским глазом обмерял прикладки сена, начал было подгребать граблями раздерганную козами просяную солому, но до слуха его дошли чужие голоса. Он кинул на скирд грабли, пошел на баз.

Митька, отстранив ногу, вертел папироску, богато расшитый любушкой кисет держал меж двух пальцев. Около него стояли Христоня и Иван Алексеевич. Со дна голубой атаманской фуражки Христоня доставал замусоленную курительную бумажку. Иван Алексеевич, прислонясь к плетеным воротцам база, распахнув шинель, шарил в карманах ватных солдатских штанов. На глянцево выбритом лице, с глубокой, черневшей на подбородке дыркой, тенилась досада: видимо, забыл что-то.

— Здорово ночевал, Мирон Григорьевич! — поздоровался Христоня.

— Слава богу, служивые!

— Иди под общий кур.

— Спаси Христос. Недавно покурил.

Поручкавшись с казаками, Мирон Григорьевич снял красноверхий треух, погладил

торчмя стоявшие белесые волосы и улыбнулся:

— Из чего доброго пожаловали, братцы-атаманцы?

Христоня сверху вниз поглядел на него, ответил не сразу: сначала долго слюнил бумажку, елозил по ней большим, шершавым, как у быка, языком и, уже скрутив, пробасил:

— К Митрию, стал быть, дельце есть.

Мимо прошаркал дед Гришака. Ободья вентерей нес держа на отлет. Иван Алексеевич и Христоня, здороваясь с ним, сняли шапки. Дед Гришака отнес к крыльцу вентери, вернулся.

— Вы чего же это, вояки, дома сидите? Пригрелись возля баб? — обратился он к казакам.

— А что? — спросил Христоня.

— Ты, Христошка, замолчь! Кубыть, и не знаешь?

— Ей-богу, не знаю! — забожился Христоня. — Вот те крест, деданя, не знаю!

— Человек надысь ехал с Воронежа, купец, знакомец Сергея Платоныча Мохова, али сродствие ему какое доводится, — не знаю. Ну, так вот, ехал и гутарит, что на Чертковой стоит чужая войска — болшаки эти самые. Русь на нас войной идет, а вы — по домам? И ты, поганец… слышишь, Митька? Ты-то чего молчишь? Чего вы думаете?

— А ничего мы не думаем, — улыбнулся Иван Алексеевич.

— То-то и беда, что ничего не думаете! — горячился дед Гришака. — Вас, как куропатей, в осилки возьмут! Вот заполонят вас мужики, набьют вам сопелки…

Мирон Григорьевич сдержанно улыбался; Христоня, проводя по щекам рукой, шуршал щетиной давно не бритой бороды; Иван Алексеевич, покуривая, глядел на Митьку, а у того в торчевых кошачьих зрачках толпились огоньки, и нельзя было понять — смеются зеленые его глаза или дымятся несытой злобой.

Поговорив немного, Иван Алексеевич и Христоня попрощались, отозвали к калитке Митьку.

— Ты почему вчера не пришел на собрание? — строго спросил Иван Алексеевич.

— Время не указало.

— А к Мелеховым было время ходить?

Митька кивком головы кинул на лоб папаху, сказал, скрытно злобясь:

— Не пришел — и все тут. Об чем будем гутарить?

— Были все хуторные фронтовики, Петро Мелехов не был. Ты знаешь… решили делегатов посылать от хутора в Каменскую. Там десятого января съезд фронтовиков. Жребий трясли, досталось нам троим ехать: мне, Христану вот и тебе.

— Я не поеду, — решительно заявил Митька.

— Ты что? — Христоня нахмурился и взял его за пуговицу гимнастерки. — Отбиваешься от своих? Не с руки?

— Он с Мелеховым Петькой… — Иван Алексеевич тронул рукав Христониной шинели, сказал, заметно бледнея: — Ну, пойдем. Тут, видно, делать нам нечего… Не поедешь, Митрий?

— Нет… Сказал «нет» — значит, нет.

— Прощевай! — Христоня скособочил голову.

— Час добрый!

Митька, отводя взгляд, протянул ему горячую руку, пошел к куреню.

— Гад! — вполголоса сказал Иван Алексеевич и коротко подрожал ноздрями. — Гад! — звонче повторил он, глядя в широкую спину уходившего Митьки.

Дорогой, заходя попутно, уведомили кое-кого из фронтовиков, что Коршунов отказался ехать и что завтра они вдвоем выезжают на съезд.

8 января с рассветом Христоня и Иван Алексеевич выехали из хутора. Вез их по

собственной охоте Яков Подкова. Пара добрых коней в дышловой запряжке быстренько миновала хутор, выбралась на бугор. Оттепель оголила дорогу. Местами, где слез снег, полозья липли к земле, сани двигались толчками, лошади налетали, натягивая постромки.

Казаки шли позади саней. Подкова, красный от легкого утренника, шагал, с хрустом дробя сапогами звонистый ледок. На лице его полыхал румянец, лишь овальный шрам трупно синел.

Сбоку от дороги, по зернистому осевшему снегу, поднимался в гору Христоня, хватая легкими воздух, задыхаясь, потому что пришлось в 1916 году понюхать под Дубно немецких удушливых газов.

На бугре широко гуляли ветры. Было холодней. Казаки молчали. Иван Алексеевич кутал лицо воротником тулупа. Дальний приближался лесок. Дорога, прокалывая его, выходила на курганистый гребень. В лесу ручьисто журчился ветер. На стволах сохатых дубов золотою прозеленью узорились чешуйчатые плиты ржавчины. Где-то далеко стрекотала сорока. Она пролетела над дорогой, косо избочив хвост. Ветер сносил ее, и в стремительном полете летела она, накренившись, мелькая рябым опереньем.

Подкова, молчавший от самого хутора, повернулся к Ивану Алексеевичу, сказал раздельно (наверное, давно заготовив в уме эту фразу):

— На съезде постарайтесь, чтобы было без войны дело. Охотников не найдется.

— Понятно, — согласился Христоня, завистливо глядя на вольный полет сороки, и в мыслях сравнил бездумно-счастливую птичью жизнь с людской.

В Каменскую они приехали к вечеру 10 января. По улицам большой станицы шли к центру толпы казаков. Чувствовалось заметное оживление. Разыскав квартиру Мелехова Григория, Иван Алексеевич и Христоня узнали, что его дома нет. Хозяйка, дородная белобрысая женщина, сказала, что квартирант ушел на съезд.

— Где он, этот самый, стал быть, съезд? — спросил Христоня.

— Наверное, в окружном управлении или на почте, — ответила хозяйка, равнодушно захлопывая дверь перед носом Христони.

Съезд был в полном разгаре. Большая многооконная комната едва вместила делегатов. Казаки толпились на лестнице, в коридорах, в соседних комнатах.

— Держи за мной, — закряхтел Христоня, работая локтями. В узкую щель, образовавшуюся за ним, устремился Иван Алексеевич. Почти у самого входа в комнату, где происходил съезд, Христоню остановил один из казаков, — судя по выговору, низовской.

— Ты бы потише толкался, чебак! — язвительно сказал он.

— Пусти, что ль!

— Постоишь и тут! Видишь — некуда!

— Пусти, комарь, а то — к ногтю. Раздавлю, стал быть! — пообещал Христоня и, легко приподняв, передвинул мелкорослого казака, шагнул вперед.

— Ай да ведмедишше!

— Здоров, атаманец!

— Трясило добрый! На нем бы четырехдюймовые возить!

— Как он его посунул-то!

Казаки, стоявшие тесным гуртом, заулыбались, с невольным почтением разглядывая Христоню, бывшего на голову выше всех.

Григория нашли у задней стены. Сидя на корточках, он курил, беседовал с каким-то казаком — делегатом 35-го полка. Он увидел хуторян — и вислые воронено-черные усы его дрогнули в улыбке:

— Тю… каким вас ветром занесло? Здорово, Иван Алексеевич! Здорово живешь, дядя

Христан!

— Здорова, да, стал быть, не дюже семенна, — посмеивался Христоня, забирая в свою полуаршинную ладонь всю руку Григория.

— Как там наши?

— Слава богу. Поклон прислали. Отец наказывал, чтоб приехал проведать.

— Петро как?

— Петро… — Иван Алексеевич неловко улыбнулся. — Петро с нашим братом не якшается.

— Знаю. Ну, а Наталья? Детишки? Припадало видеть?

— Все здоровы, кланялись. Батюшка-то обиду держит…

Христоня, поводя головой, разглядывал сидевший за столом президиум. Ему и сзади было видней всех. Григорий продолжал расспрашивать, пользуясь небольшим перерывом в заседании. Рассказывая про хутор, хуторские новости, Иван Алексеевич кратко передал о собрании фронтовиков, пославших его с Христоней сюда. Он начал было разузнавать, что и как происходит в Каменской, но в это время кто-то из сидевших за столом объявил:

— Зараз, станишники, скажет делегат от рабочих шахтеров. Просьба — слухать со вниманием, а также порядок блюсть.

Среднего роста человек поправил зачесанные вверх русые волосы, заговорил. Сразу, как обрубленный, смолк пчелиный гул голосов.

С первых же слов его горячей, прожженной страстью речи Григорий и остальные почувствовали силу чужого убеждения. Он говорил о предательской политике Каледина, толкающего казачество на борьбу с рабочим классом и крестьянством России, об общности интересов казаков и рабочих, о целях, которые преследуют большевики, ведя борьбу с казачьей контрреволюцией.

— Мы протягиваем братскую руку трудовому казачеству и надеемся, что в борьбе с белогвардейской бандой мы найдем верных союзников в лице фронтового казачества. На фронтах царской войны рабочие и казаки вместе лили кровь, и в войне со слетками буржуазии, пригретыми Калединым, мы должны быть вместе — и будем вместе! Рука с рукой мы пойдем в бой против тех, кто порабощал трудящихся в течение целых столетий! — гремел его трубный голос.

— С-с-сукин сын! язви его в почки!.. — восторженно шептал Христоня и так стискивал локоть Григория, что Григорий морщился.

Иван Алексеевич слушал, чуть приоткрыв рот, от напряжения часто мигал, бормотал:

— Верно! Вот это верно!

После делегата говорил, раскачиваясь, как ясень под ветром, какой-то высокий шахтер. Встал он, выпрямился, будто складной, оглядел многоглазую толпу и долго выжидал, пока утихнет гомон. Был шахтер этот вроде баржевого каната: узловат, надежно крепок, сух, отсвечивал зеленым — будто прокупорошенный. В порах лица его крохотными, несмываемыми точками чернела угольная пыль, и таким же угольным блеском томились соловые, обесцвеченные вечными потемками и черными пластами земляной утробы глаза. Он встряхнул короткими волосами, взмахом стиснутых в кулачья рук как кайло всадил.

— Кто на фронте ввел смертную казнь для солдат? Корнилов! Кто с Калединым душит нас? Он! — И зачастил, захлестнулся криком: — Казаки! Братцы! Братцы! Братцы! К кому же вы пристанете? Каледину охота есть, чтоб мы кровью братской опились! Нет! Нет! Не будет ихнего дела! Задавим, в бога, в потемки мать! Гидров этих в море спрудим!

— С-с-сукин сын… — Христоня, раздирая рот улыбкой, всплеснул руками и не выдержал, загоготал: — Вер-на-а!.. Дай им взвару!

— Заткнись! Христан, что ты? Выкинут тебя! — испугался Иван Алексеевич.

Лагутин — букановский казак и первый председатель казачьего отдела при ВЦИКе второго созыва — жег казаков кровяными, нескладными, но бравшими за живое словами. Говорил председательствовавший Подтелков, его сменил красивый, с усами, подстриженными по-английски, Щаденко.

— Кто это? — вытягивая граблястую руку, допытывался у Григория Христоня.

— Щаденко. Командир у большевиков.

— А это?

— Мандельштам.

— Откель?

— С Москвы.

— А эти кто такие? — указывал Христоня на группу делегатов воронежского съезда.

— Помолчи хучь трошки, Христан.

— Господи божа, да ить, стал быть, любопытственно!.. Ты мне скажи: вон энтот, что рядом с Подтелковым сидит, длинный такой, он — кто?

— Кривошлыков, еланский, с хутора Горбатова. За ним наши — Кудинов, Донецков.

— Ишо разок спытаю… А вон энтот… да нет!.. вон крайний, с чубом?

— Елисеев… не знаю, какой станицы.

Христоня, удовлетворенный, замолкал, слушал нового оратора с прежним неослабным вниманием и первый покрывал сотни голосов своим густым октавистым «верна-а-а!..».

После Стехина, одного из казаков-большевиков, выступил делегат 44-го полка. Он долго давился вымученными, шершавыми фразами; скажет слово, как тавро поставит в воздухе, — и молчит, шмурыгает носом; но казаки слушали его с большим сочувствием, изредка лишь прерывали криками одобрения. То, что говорил он, видимо, находило среди них живой отклик.

— Братцы! Надо нашему съезду так подойти к этому сурьезному делу, чтоб не было народу обидно и чтоб покончилось оно все тихо-благо! — тянул он, как заика. — Я к тому говорю, чтоб обойтиться нам без кровавой войны. И так три года с половиной мурели в окопах, а ежели, к тому сказать, ишо доведется воевать, то казаки уморились…

— Правильна-а-а!..

— Совершенно верно!

— Не хотим войны!..

— Надо договориться и с большевиками, и с Войсковым кругом!

— Миром надо, а не абы как… Нечего шароваться!

Подтелков громил кулаками стол — и рев смолкал. Вновь, потрагивая сибирьковую бородку, тянул делегат 44-го полка:

— Надо нам послать своих от съезда депутатов в Новочеркасск и добром попросить, чтобы добровольцы и разные партизаны уходили отсель. А большевикам у нас то же самое делать нечего. Мы со врагами рабочего народа сами сладим. Чужой помочи нам покеда что не требуется, а как потребуется, — мы их тады попросим оказать нам помочь.

— Не к делу этакая речь!

— Верна-а-а!

— Погоди, погоди! Что «верна»? А ну как они нас прижмут на склизком, а тогда — проси помочи. Нет, пока поспеют каныши, так у бабушки не будет и души.

— Свою власть надо исделать.

— Курочка в гнезде, а яичко ишо… просто бог! То-то народ глупой!

После делегата 44-го полка сыпал призывно-горячие слова Лагутин. Его прерывали

криками. Поступило предложение устроить перерыв на десять минут, но сейчас же, как только восстановилась тишина, Подтелков кинул в жарко согретую толпу:

— Братья-казаки! Покуда мы тут совещаемся, а враги трудового народа не дремлют. Мы все хотим, чтобы и волки были сытые, и овцы целые, а Каледин — он не так думает. Нами перехвачен его приказ об аресте всех участников вот этого съезда. Сейчас этот приказ будет прочитан вслух.

По толпам делегатов зыбью прошлось волнение после того, как бы оглашен приказ Каледина об аресте членов съезда. Вздыбился шум, в сто крат больший, чем на любом станичном майдане.

— Дело делать, а не разговорами заниматься!

— Тиш-ш-ше!.. Чш-ш-ш!..

— Чего там «тише»! Круши!..

— Лобов! Лобов!.. Скажи им словцо!..

— Погоди трошки!..

— Каледин — он не дурак!

Григорий молча вслушивался, глядел на заходившие враскачку головы и руки делегатов и не утерпел, — приподнимаясь на цыпочки, загорланил:

— Да замолчите же черти!.. Базар вам тут? Дайте вон Подтелкову слово сказать!..

Иван Алексеевич сцепился спорить с одним из делегатов 8-го полка.

Христоня рычал, отбиваясь от нападавшего на него полчанина:

— Тут на карауле надо, стал быть, находиться! Ты мне… да чего ты брешешь!.. Маланья! Эх ты, друг-дружок! Курюк у нас тонок — самим управиться!

Громыханье голосов улеглось (так выбившийся из сил ветер ложится на волну пшеницы и клонит ее долу), в недозревшую тишину всверлился девичье-тонкий голос Кривошлыкова:

— Долой Каледина! Да здравствует казачий Военно-революционный комитет!

Толпа застонала. В тяжелый, хлещущий по ушам жгут скрутились слитные раскатистые крики одобрения. Кривошлыков остался стоять с поднятой рукой. Пальцы на ней, как листья на черенках, меленько дрожали. Едва лишь, немея, простерся оглушительный рев, — так же тонко, заливисто и голосисто, как на травле волка, Кривошлыков крикнул:

— Предлагаю избрать из своей среды казачий Военно-революционный комитет! Ему поручить вести борьбу с Калединым и органи…

— Га-а-а-а-а!.. — снарядным взрывом лопнул крик. Осколками посыпались с потолка куски отвалившейся штукатурки.

Начались выборы членов ревкома. Незначительная часть казаков, руководимая выступавшим делегатом 44-го полка и другими, продолжала настаивать на мирном улаживании конфликта с войсковым правительством, но большинство присутствовавших на съезде уже не поддерживало их; казаки взбугрились, выслушав приказ Каледина об их аресте, — настаивали на активном противодействии Новочеркасску.

Григорий не дождался конца выборов — его срочно вытребовали в штаб полка. Уходя, попросил Христоню и Ивана Алексеевича:

— Как кончится, — идите домой ко мне. Любопытно — кто пройдет в члены.

Иван Алексеевич вернулся ночью.

— Подтелков — председателем, Кривошлыков — секретарем! — с порога заявил он.

— Члены?

— Там и Лагутин Иван и Головачев, Минаев, Кудинов, ишо какие-то.

— А Христан где же? — спросил Григорий.

— Он с казаками направился каменские власти арестовывать. Распалился казак, плюнь на

него — зашипит. Беда!

Христоня вернулся на рассвете. Долго сопел, разуваясь, бурчал что-то вполголоса. Григорий зажег лампу, — увидел на побуревшем лице его кровь и огнестрельную царапину выше лба.

— Кто это тебя?.. Перевязать? Я зараз… погоди, вот бинт найду, — вскочил с кровати, разыскал марлю и бинт.

— Загоится, как на собаке, — урчал Христоня. — Это меня, стал быть, воинский начальник скобленул с нагана. Пришли к нему, как гости, с парадного, а он зачал обороняться. Ишо одного казака ранил. Хотел душу с него, стал быть, вынуть: поглядеть, какая она из себя, офицерская душа, — казаки не свелели, а то бы его пошшупал… Уж пошшупал бы до болятки!

IX

Съезд фронтового казачества в станице Каменской объявил о переходе власти в руки Военно-революционного комитета. Узнав об этом, Ленин сказал по радио: на Дону сорок шесть казачьих полков объявила себя правительством и воюют с Калединым.

Казаки-фронтовики послали в Петроград, на Всероссийский съезд Советов своих делегатов. В Смольном их принял Ленин.

— Сотрите с лица земного врагов народа, выгоните Каледина из Новочеркасска… — призывал казаков Всероссийский съезд Советов.

На другой день после съезда в Каменской в станицу прибыл, по приказу Каледина, 10-й Донской казачий полк, — арестовать всех участников съезда и обезоружить наиболее революционные казачьи части.

На станции в это время был митинг. Огромнейшая толпа казаков бурлила, по-разному реагируя на речь оратора.

Поднявшийся на трибуну Подтелков говорил:

— Отцы и братья, я ни в какую партию не записан и не большевик. Я стремлюсь только к одному: к справедливости, к счастью, братскому союзу всех трудящихся, так, чтобы не было никакого гнета, чтобы не было кулаков, буржуев и богачей, чтобы всем свободно и привольно жилось… Большевики этого добиваются и за это борются. Большевики — это рабочие, такие же трудящиеся, как и мы, казаки. Только рабочие-большевики сознательнее нашего: нас в темноте держали, а они в городах лучше нашего научились жизнь понимать. Выходит, значит, что и я большевик, хотя в партию большевиков и не записан.

Полк, выгрузившись, примкнул к митингу. Отборно рослые, вылощенные гундоровцы, наполовину составлявшие кадры полка, смешались с казаками других полков. В настроении их сейчас же произошел резкий перелом. На приказ командира полка о выполнении распоряжения Каледина казаки ответили отказом. Среди них началось брожение, как следствие усиленной агитации, которую развернули сторонники большевиков.

А в это время Каменскую трепала прифронтовая лихорадка: наскоро сбитые отряды казаков высылались на занятие и закрепление взятых станций, часто отходили эшелоны, отправлявшиеся по направлению Звереве — Лихая. В частях шли перевыборы командного состава. Под сурдинку уезжали из Каменской казаки, не желавшие войны. С запозданием явились делегаты от хуторов и станиц. На улицах замечалось небывало оживленное движение.

13 января в Каменскую прибыла для переговоров делегация от белого донского

правительства, в составе председателя Войскового круга Агеева, членов Круга: Светозарова, Уланова, Карева, Бажелова и войскового старшины Кушнарева.

У вокзала встретила их густая толпа народа. Охрана из казаков лейб-гвардии Атаманского полка проводила прибывших до здания почтово-телеграфной конторы. Всю ночь происходило заседание членов Военно-революционного комитета совместно с прибывшей делегацией правительства.

От Военно-революционного комитета присутствовали семнадцать человек. Подтелков первый, отвечая на речь Агеева, обвинявшего Военно-революционный комитет в измене Дону и соглашении с большевиками, дал ему резкую отповедь. После выступали Кривошлыков, Лагутин. Речь войскового старшины Кушнарева неоднократно прерывалась криками сгрудившихся в коридоре казаков. Один из пулеметчиков от имени революционных казаков требовал ареста делегации.

Совещание не привело ни к каким результатам. Уже около двух часов ночи, когда стало ясно, что соглашение не может быть достигнуто, было принято предложение члена Войскового круга Карева о приезде в Новочеркасск делегации от Военно-революционного комитета для окончательного вырешения вопросов о власти.

Следом за уехавшей делегацией донского правительства в Новочеркасск отправились и представители Военно-революционного комитета во главе с Подтелковым. По общему выбору были делегированы: Подтелков, Кудинов, Кривошлыков, Лагутин, Скачков, Головачев и Минаев. Заложниками остались арестованные в Каменской офицеры Атаманского полка.

X

За окном вагона рябила метель. Над полуразрушенным частоколом щитов виднелись прилизанные ветром, затвердевшие сугробы. Изломистые крыши их были причудливо исчерчены следами птичьих ног.

На север уходили полустанки, телеграфные столбы и вся бескрайняя, жуткая в снежном своем однообразии степь.

Подтелков, в новой кожаной тужурке, сидел у окна. Против него, облокотясь на столик, смотрел в окно узкоплечий, сухой, как подросток, Кривошлыков. В детски ясных глазах его дневали тревога и ожидание. Лагутин расческой гладил небогатую русую бороденку. Здоровый казачина Минаев грел над трубой парового отопления руки, ерзал по лавке.

Головачев со Скачковым о чем-то тихо беседовали, лежа на верхних полках.

В вагоне было в меру накурено, прохладно. Члены делегации чувствовали себя, отправляясь в Новочеркасск, не совсем уверенно. Разговоры не вязались. Нудная кисла тишина. Проехали Лихую, Подтелков высказал общую мысль:

— Не будет дела. Не столкуемся.

— Зряшняя поездка, — поддержал его Лагутин.

Снова долго молчали. Подтелков размеренно шевелил кистью руки, словно челнок пропускал сквозь сетные ячейки. Изредка он поглядывал на неяркий отлив своей кожаной тужурки, любуясь ею.

Близился Новочеркасск. Поглядев по карте на Дон, разбежисто уходивший от города, Минаев стал тихо рассказывать:

— Бывало, отслужут казаки в Атаманском полку сроки — снаряжают их к отправке по домам. Грузят сундуки, именье свое, коней. Эшелон идет, и вот под Воронежем, где первый

раз приходится переезжать через Дон, машинист, какой ведет поезд, дает тихий ход, — самый что ни на есть тихий… он уже знает, в чем дело. Только что поезд выберется на мост, — батюшки мои!.. что тут начинается! Казаки прямо бесются: «Дон! Дон наш! Тихий Дон! Отец родимый, кормилец! Ур-р-ра-а-а-а!» — и в окны кидают, с моста прямо в воду, через железный переплет, фуражки, шинеля старые, шаровары, наволоки, рубахи, разную мелочь. Дарят Дону, возвертаясь со службы. Бывалоча, глянешь, — а по воде голубые атаманские фуражки, как лебедя али цветки, плывут… Издавна такой обычай повелся.

Замедляя ход, поезд остановился. Казаки повставали. Кривошлыков, застегивая ремень на шинели, криво улыбнулся:

— Ну вот и приехали восвояси!

— Что-то не несут хлеб-соль! — попробовал пошутить Скачков.

В дверь без стука вошел высокий, бравый есаул. Он оглядел членов делегации щупающими, злыми глазами, с нарочитой грубоватостью сказал:

— Мне поручено сопровождать вас. Потрудитесь-ка, господа большевики, поскорее покинуть вагон. Я не ручаюсь за толпу и… за вашу сохранность.

Он дольше, чем на всех, задержал глаза на Подтелкове, вернее — на его офицерской тужурке; уже с подчеркнутой враждебностью скомандовал:

— Выходите из вагона, живо!

— Вот они, мерзавцы, предатели казачества! — крикнул с облитого толпой перрона какой-то длинноусый офицер.

Подтелков побледнел, глянул на Кривошлыкова чуть растерянным, косящим взглядом. Тот выходил следом за Подтелковым, улыбаясь, шепнул:

— «Мы слышим звуки одобренья не в сладком рокоте хвалы, а в диких криках озлобленья…» Слышишь, Федор?

И Подтелков, хотя и не расслышал последних слов, все же улыбнулся.

Их сопровождал сильный офицерский наряд. До самого областного правления бесновалась провожавшая их, жаждавшая самосудной расправы, толпа. Бесчинствовали, оскорбляя делегатов, не только офицеры и юнкера, но и какие-то казаки, и прилично одетые женщины, и учащиеся.

— Какое вы допущаете безобразие! — обратился к одному из сопровождавших их офицеров возмущенный Лагутин.

Тот смерил его ненавидящими глазами, прошептал:

— Благодари бога, что живой останешься… Моя бы власть — я бы тебе, хамлюга… у-у-у, падаль!

Его остановил упрекающий взглядом другой, помоложе.

— Ну и переплет! — улучил момент шепнуть Головачеву Скачков.

— Будто на смертную казнь ведут.

Зал областного правления не вмещал собравшегося народа. Пока прибывшие делегаты рассаживались по одну сторону стола, следуя указаниям какого-то распорядительного сотника, — подошли члены правительства.

Твердым, во всю ступню, волчьим шагом прошел чуть сутулый Каледин, сопутствуемый Богаевским. Он отодвинул свой стул, уселся, спокойным движением положил на стол защитную фуражку, белевшую офицерской кокардой, пригладил волосы и, застегивая пальцами левой руки пуговицу на боковом большом кармане френча, немного перегнулся в сторону Богаевского, что-то говорившего ему. Каждое движение его было налито твердой медлительной уверенностью, зрелой силой; обычно так держат себя люди, побывшие у власти, выработавшие на протяжении ряда лет особую, отличную от других осанку, манеру

носить голову, походку. У него с Подтелковым было много тождественного. Зато Богаевский, проигрывавший в соседстве с представительным Калединым, казался и невзрачней его, и взволнованней предстоящими переговорами.

Богаевский что-то говорил, невнятно шевеля губами, закрытыми русым карнизом висячих усов, поблескивал из-под пенсне острыми, косо поставленными глазами. Нервозность сказывалась в том, как он поправлял воротничок, скользящими, поверхностными движениями касался энергического подбородка, шевелил бровями, раскрылившимися на широких надглазницах.

От Каледина, сидевшего в центре, по обе стороны рассаживались члены войскового правительства. Некоторые из них приезжали в Каменскую: Карев, Светозаров, Уланов, Агеев; немного поодаль сели Елатонцев, Мельников, Боссе, Шошников, Поляков.

Подтелков слышал, как Митрофан Богаевский вполголоса что-то сказал Каледину.

Тот коротко прищурился на Подтелкова, занимавшего место против него, сказал:

— Я думаю, можно начать.

Улыбнувшись, Подтелков внятно сообщил о целях приезда делегации. Кривошлыков протянул через стол заготовленный ультиматум Военно-революционного комитета, но Каледин, отстраняя бумагу движением белой ладони, твердо сказал:

— Нет смысла терять время на ознакомление каждого члена правительства в отдельности с этим документом. Потрудитесь прочитать вслух ваш ультиматум. После будем обсуждать.

— Читай, — приказал Подтелков.

Держался он с достоинством, но, видимо, как и все члены делегации, чувствовал себя не совсем уверенно. Кривошлыков встал. Девичье-звонкий и в то же время неяркий голос его поплыл над забитым людьми залом:

— «Вся власть в Области войска Донского над войсковыми частями в ведении военных операций от сего 10 января 1918 года переходит от войскового атамана к Донскому казачьему Военно-революционному комитету.

Все отряды, которые действуют против революционных войск, отзываются 15 января сего года и разоружаются, равно как и добровольческие дружины, юнкерские училища и школы прапорщиков. Все участники этих организаций, не жившие на Дону, высылаются из предела Донской области в места их жительства.

Примечание. Оружие, снаряжение и обмундирование должно быть сдано комиссару Военно-революционного комитета. Пропуск на выезд из Новочеркасска выдается комиссаром Военно-революционного комитета.

Город Новочеркасск должны занять казачьи полки по назначению Военно-революционного комитета.

Члены Войскового круга объявляются неправомочными с 15 сего января.

Вся полиция, поставленная войсковым правительством, из рудников и заводов Донской области отзывается.

Объявляется по всей Донской области, станицам и хуторам о добровольном сложении войсковым правительством своих полномочий, во избежание кровопролития, я о медленной передаче власти областному казачьему Военно-революционному комитету впредь до образования в области постоянной трудовой власти всего населения».

Едва умолк голос Кривошлыкова, Каледин громко спросил:

— Какие части вас уполномочили?

Подтелков переглянулся с Кривошлыковым, начал словно про себя считать:

— Лейб-гвардии Атаманский полк, лейб-гвардии Казачий, шестая батарея, Сорок

четвертый полк, тридцать вторая батарея, четырнадцатая отдельная сотня… — перечисляя, он придавливал пальцы на левой руке; в зале зашушукались, пополз ехидный смешок, и Подтелков, нахмурясь, положил на стол рыжеволосые руки, повысил голос: — Двадцать восьмой полк, двадцать восьмая батарея, двенадцатая батарея, Двенадцатый полк…

— Двадцать девятый полк, — тихо подсказал Лагутин.

— …Двадцать девятый полк, — продолжал Подтелков уже уверенней и громче, — тринадцатая батарея, каменская местная команда, Десятый полк, Двадцать седьмой полк, второй пеший батальон. Второй запасной полк, Восьмой полк, Четырнадцатый полк.

После малозначащих вопросов и краткого обмена мнениями Каледин спросил, грудью наваливаясь на край стола, упирая взгляд в Подтелкова:

— Признаете ли вы власть Совета Народных Комиссаров?

Допив стакан воды, Подтелков поставил на тарелку графин, вытер рукавом усы, ответил уклончиво:

— Это может сказать лишь весь народ.

Вступился Кривошлыков, опасаясь, как бы простоватый Подтелков не сболтнул лишнего:

— Казаки не терпят такого органа, в который входят представители «Партии народной свободы» [52]. Мы — казаки, и управление у нас должно быть наше, казачье.

— Как понимать вас, когда во главе Совета стоят Нахамкесы и им подобные?

— Им доверила Россия, — доверяем и мы!

— Будете ли иметь с ними сношения?

— Да!

Подтелков одобрительно хмыкнул, поддержал:

— Мы не считаемся с лицами — считаемся с идеей.

Один из членов войскового правительства простодушно спросил:

— На пользу ли народа работает Совет Народных Комиссаров?

В его сторону пополз щупающий взгляд Подтелкова. Улыбнувшись, Подтелков потянулся к графину, налил и жадно выпил. Одолевала его жажда, будто большой огонь внутри заливал он прозрачной водой.

Каледин мелко барабанил пальцами, пытливо расспрашивал:

— Что общего у вас с большевиками?

— Мы хотим ввести у себя в Донской области казачье самоуправление.

— Да, но вам, вероятно, известно, что на четвертое февраля созывается Войсковой круг. Члены будут переизбраны. Согласны ли вы на взаимный контроль?

— Нет! — Подтелков поднял уроненный взгляд, твердо ответил: — Ежели вас будет меньшинство, — мы вам диктуем свою волю.

— Но ведь это насилие!

— Да.

Митрофан Богаевский, переводя взгляд с Подтелкова на Кривошлыкова, спросил:

— Признаете ли вы Войсковой круг?

— Постольку-поскольку… — Подтелков пожал широченными плечами. — Областной Военно-революционный комитет созовет съезд представителей от населения. Он будет работать под контролем всех воинских частей. Ежели съезд нас не удовлетворит, мы его не признаем.

— Кто же будет судьей? — Каледин поднял брови.

— Народ! — Подтелков гордо откинул голову; скрипя кожей тужурки, привалился к спинке резного стула.

После короткого перерыва заговорил Каледин. В зале утих шум, в установившейся тишине четко зазвучал низкий, осенне-тусклый тембр атаманского голоса:

— Правительство не может сложить своих полномочий по требованию областного Военно-революционного комитета. Настоящее правительство было избрано всем населением Дона, и только оно, а не отдельные части, может требовать от нас сложения полномочий. Под воздействием преступной агитации большевиков, стремящихся навязать области свои порядки, вы требуете передачи вам власти. Вы слепое орудие в руках большевиков. Вы исполняете волю немецких наемников, не осознав той колоссальной ответственности, которую берете на себя перед всем казачеством. Советую одуматься, ибо неслыханные бедствия несете вы родному краю, вступив на путь распри с правительством, отражающим волю всего населения. Я не держусь за власть. Соберется Большой войсковой круг — и он будет вершить судьбами края, но до его созыва я должен остаться на своем посту. В последний раз советую одуматься.

После него говорили члены правительства казачьей и иногородней части. Длинную речь, перевитую слащавыми увещаниями, опрокинул на головы членов ревкома эсер Боссе.

Выкриком перебил его Лагутин:

— Наше требование — передайте власть Военно-революционному комитету! Ждать нечего, ежели войсковое правительство стоит за мирное разрешение вопроса…

Богаевский улыбнулся:

— Значит?..

— …Надо объявить во всеобщее сведение о том, что власть перешла к ревкому. Ждать две с половиной недели, покуда соберется ваш Круг, нельзя! Народ и так ужасно наполнился гневом.

Долго мямлил Карев, и искал неосуществимого компромисса Светозаров.

Подтелков слушал их с раздражением. Он бегло оглядел лица своих, заметил, что Лагутин хмурится и бледнеет, Кривошлыков глаз не поднимает от стола, Головачев нетерпеливо порывается что-то сказать. Выждав время, Кривошлыков тихо шепнул: «Скажи!»

Подтелков словно ждал этого. Отодвинув стул, он заговорил натужно, заикаясь от волнения, ища какие-то большие, сокрушающие слова убеждения:

— Не так вы говорите! Ежели б войсковому правительству верили, — я с удовольствием отказался бы от своих требований… но ведь народ не верит! Не мы, а вы зачинаете гражданскую войну! Зачем вы приютили на казачьей земле разных беглых генералов? Через это большевики и идут войной на наш тихий Дон. Не покорюсь я вам! Не позволю! Пущай через мой труп пройдут. Мы вас фактами закидаем! Не верю я, чтоб войсковое правительство спасло Дон! Какие меры применяются к тем частям, которые не желают вам подчиняться?.. Ага, то-то и оно. Зачем напущаете на шахтеров ваших добровольцев? Этим зло вокруг заводите! Скажите мне: кто порукой за то, что войсковое правительство отсторонит гражданскую войну?.. Нечем вам крыть. А народ и фронтовые казаки за нас стоят!

В зале ветровым шелестом пополз смех; раздались негодующие возгласы по адресу Подтелкова. Он повернул в ту сторону разгоряченно-багровое лицо, выкрикнул, уже не тая горклой злобы:

— Смеетесь зараз, а посля плакать будете! — и повернулся к Каледину, брызнул в него картечинами-глазами: — Мы требуем передать власть нам, представителям трудового народа, и удаления всех буржуев и Добровольческой армии!.. А ваше правительство тоже должно уйти!

Каледин устало нагнул голову:

— Я из Новочеркасска никуда не собираюсь уходить и не уйду.

После небольшого перерыва заседание возобновилось горячей речью Мельникова:

— Красногвардейские отряды рвутся на Дон, чтобы уничтожить казачество! Они загубили Россию своими безумными порядками и хотят загубить и нашу область! История не знает таких примеров, чтобы страной управляла разумно и на пользу народу кучка самозванцев и проходимцев. Россия очнется — и выкинет этих Отрепьевых! А вы, ослепленные чужим безумием, хотите вырвать из наших рук власть, чтобы открыть большевикам ворота! Нет!

— Передайте власть ревкому — и Красная гвардия прекратит наступление… — вставил Подтелков.

С разрешения Каледина из публики выступил подъесаул Шеин, георгиевский кавалер всех четырех степеней, из рядовых казаков дослужившийся до чина подъесаула. Он оправил складки гимнастерки, будто перед смотром, — сразу взял в намет.

— Чего там, станишники, слушать их! — кричал он высоким командным голосом, рубя рукой, как палашом. — Нам с большевиками не по пути! Только изменники Дону и казачеству могут говорить о сдаче власти Советам и звать казаков идти с большевиками! — И уже прямо указывая на Подтелкова, обращаясь непосредственно к нему, он изгибался, кричал: — Неужели вы думаете. Подтелков, что за вами, за недоучкой и безграмотным казаком, пойдет Дон? Если пойдут, — так кучка оголтелых казаков, какие от дома отбились! Но они, брат, очнутся — и тебя же повесют!

В зале задвигались головы, как шляпки подсолнухов, расталкиваемые ветром; набряк стон одобряющих голосов. Шеин сел. Его прочувствованно хлопал сзади по плечу какой-то высокий, в сборчатом полушубке, офицер, с погонами войскового старшины. Возле столпились офицеры. Истерический женский голос растроганно чечекал:

— Спасибо, Шеин! Спасибо!

— Браво, есаул Шеин! Брависсимо! — гимназическим петушиным баском кукарекал кто-то из завсегдатаев галерки, сразу даря подъесаула Шеина лишним чином.

Краснобаи, баяны донского правительства еще долго улещали казаков — членов народившегося в Каменской ревкома. В зале было накурено, сизо, душно. За окнами вершило дневной поход солнце. Морозные ельчатые веточки липли к стеклам окон. Сидевшие на подоконниках слышали вечерний благовест и сквозь вой ветра — паровозные осиплые гудки.

Лагутин не выдержал; прерывая одного из войсковых ораторов, обратился к Каледину:

— Решайте дело, пора кончать!

Его вполголоса осадил Богаевский:

— Не волнуйтесь, Лагутин! Вот вода. Семейным и предрасположенным к параличу вредно волноваться. А потом вообще не рекомендуется прерывать ораторов, — здесь ведь не какой-нибудь Совдеп.

Колкостью ответил ему и Лагутин, но внимание всех вновь прихлынуло к Каледину. Так же уверенно вел он политическую игру, как и вначале, и так же натыкался на простую, зипунную броню подтелковских ответов.

— Вы говорили, что если мы передадим вам власть, то большевики прекратят свое наступление на Дон. Но так думаете вы. А как поступят большевики, пришедшие на Дон, нам неизвестно.

— Комитет уверен, что большевики подтвердят сказанное мною. Спробуйте: передайте нам власть, выживите с Дона «добровольцев» — и вот увидите: кончат большевики войну!

Спустя немного, Каледин привстал. Ответ его был заготовлен заранее: Чернецов уже получил приказание сосредоточить отряд для наступления на станцию Лихая. Но, выигрывая время, Каледин закончил совещание ходом на оттяжку:

— Донское правительство обсудит предложение ревкома и в письменной форме даст ответ к десяти часам утра назавтра.

XI

Ответ донского правительства, врученный утром на следующий день делегации ревкома, гласил следующее:

«Войсковое правительство Войска Донского, обсудив требования Военно-революционного казачьего комитета, представленные депутацией комитета от имени Атаманского, лейб-казачьего, 44-го, 28-го, 29-го, частей 10-й, 27-й, 23-й, 8-й, 2-го запасного и 43-го полков, 14-й отдельной сотни, 6-й гвардейской, 32-й, 28-й, 12-й и 13-й батарей, 2-го пешего батальона и каменской местной команды, — объявляет, что правительство является представителем всего казачьего населения области. Избранное населением правительство не имеет права сложить своих полномочий до созыва нового Войскового круга.

Войсковое правительство Войска Донского признало необходимым распустить прежний состав Круга и произвести перевыборы депутатов как от станиц, так и от войсковых частей. Круг в своем новом составе, свободно избранный (при полной свободе агитации) всем казачьим населением на основе прямого, равного и тайного голосования, соберется в городе Новочеркасске 4 февраля ст. ст. сего года, одновременно со съездом всего неказачьего населения. Только Круг, законный орган, восстановленный революцией, представляющий казачье население области, имеет право сместить войсковое правительство и избрать новое. Этот Круг вместе с тем обсудит вопрос и об управлении войсковыми частями, и о том, быть или не быть отрядам и добровольческим дружинам, защищающим власть. Что касается формирования и деятельности Добровольческой армии, то объединенное правительство уже раньше приняло решение взять их под контроль правительства при участии областного военного комитета.

По вопросу об отозвании из горнозаводского района якобы поставленной войсковым правительством полиции правительство заявляет, что вопрос о полиции будет поставлен на разрешение Круга 4 февраля.

Правительство заявляет, что в устройстве местной жизни может принимать участие лишь местное население, а потому оно считает, выполняя волю Круга, необходимым всеми мерами бороться против проникновения в область вооруженных большевистских отрядов, стремящихся навязать области свои порядки. Жизнь свою должно устроить само население — и только оно одно.

Правительство не желает гражданской войны, оно всеми мерами стремится покончить дело мирным путем, для чего предлагает Военно-революционному комитету принять участие в депутации к большевистским отрядам.

Правительство полагает, что если посторонние области отряды не будут идти в пределы области, — гражданской войны и не будет, так как правительство только защищает донской край, никаких наступательных действий не предпринимает, остальной России своей воли не навязывает, а потому и не желает, чтобы и Дону кто-нибудь посторонний навязывал свою волю.

Правительство обеспечивает полную свободу выборов в станицах и войсковых частях, и каждый гражданин сможет развить свою агитацию и отстаивать свою точку зрения на назначенных выборах в Войсковой круг.

Для обследования нужд казаков во всех дивизиях должны быть теперь же назначены

комиссии из представителей частей.

Войсковое правительство Войска Донского предлагает всем частям, пославшим своих депутатов в Военно-революционный комитет, возвратиться к своей нормальной работе по защите донского края.

Войсковое правительство не допускает и мысли, чтобы свои донские части выступили против правительства и тем начали междоусобную войну на тихом Дону.

Военно-революционный комитет должен быть распущен избравшими его частями, и все части, взамен этого, должны послать своих представителей в существующий областной военный комитет, объединяющий все войсковые части области.

Войсковое правительство требует, чтобы все арестованные Военно-революционным комитетом были немедленно освобождены, а администрация, с целью восстановления нормальной жизни в области, должна быть возвращена к исполнению своих обязанностей.

Являясь представителем только незначительного числа казачьих частей, Военно-революционный комитет не имеет права предъявлять требования от имени всех частей, а тем более — от имени всего казачества.

Войсковое правительство считает совершенно недопустимым сношения комитета с Советом Народных Комиссаров и пользование его денежной поддержкой, так как это означало бы распространение влияния Совета Народных Комиссаров на Донскую область, а между тем казачий Круг и съезд неказачьего населения всей области признали власть Советов неприемлемой, так же как и Украина, Сибирь, Кавказ и все без исключения казачьи войска.

Председатель войскового правительства, товарищ Войскового атамана М.Богаевский Старшины Войска Донского:

Елатонцев, Поляков, Мельников»

В составе делегации, отправленной донским правительством к Таганрогу для переговоров с представителями Советской власти, поехали и члены Каменского ревкома — Лагутин и Скачков. Подтелков и остальные были задержаны на время в Новочеркасске, а тем часом отряд Чернецова в несколько сот штыков, при тяжелой батарее на площадках и двух легких орудиях, отчаянным набегом занял станции Звереве и Лихая и, оставив там заслон из одной роты при двух орудиях, основными силами повел наступление на Каменскую. Сломив сопротивление революционных казачьих частей под полустанком Северный Донец, Чернецов 17 января занял Каменскую. Но уже через несколько часов было получено известие, что красногвардейские отряды Саблина выбили из Зверева, а затем и из Лихой оставшийся там заслон чернецовцев. Чернецов устремился туда. Коротким лобовым ударом он опрокинул 3-й Московский отряд, изрядно потрепал в бою Харьковский отряд и отбросил панически отступавших красногвардейцев в исходное положение.

После того как положение в направлении Лихой было восстановлено, Чернецов, перехвативший инициативу, вернулся в Каменскую. Из Новочеркасска к нему 19 января подошло подкрепление. На следующий день Чернецов решил наступать на Глубокую.

На военном совете решено было, по предложению сотника Линькова, взять Глубокую, предприняв обходное движение. Чернецов опасался наступать по линии железной дороги, так как боялся встретить в этом направлении настойчивое сопротивление частей Каменского ревкома и подошедших к ним из Черткова красногвардейских отрядов.

Ночью началось глубокое обходное движение. Колонну вел сам Чернецов.

Уже перед рассветом подошли к Глубокой. Четко сделали перестроения, рассыпались в цепь. Отдавая последние распоряжения, Чернецов слез с коня и, разминая затекшие ноги, сипло приказал командиру одной из рот:

— Без церемоний, есаул. Вы меня поняли?

Он поскрипел сапогами по твердому насту, сдвинул набок седую каракулевую папаху, растирая перчаткой розовое ухо. Под светлыми отчаянными глазами его синели круги от бессонницы. Губы зябко морщились. На коротко подстриженных усах теплился пушок инея.

Согревшись, он вскочил на коня, оправил складки защитного офицерского полушубка и, снимая с луки поводья, тронул лысого рыжеватого донца, уверенно и твердо улыбнулся:

— Начнем!

XII

Перед съездом фронтового казачества в Каменской бежал из полка подъесаул Изварин. Накануне он был у Григория, говорил, отдаленно намекая на свой уход:

— В создавшейся обстановке трудно служить в полку. Казаки мечутся между двумя крайностями — большевики и прежний монархический строй. Правительство Каледина никто не хочет поддерживать, отчасти даже потому, что он носится со своим паритетом, как дурак с писаной торбой. А нам необходим твердый, волевой человек, который сумел бы поставить иногородних на надлежащее им место… Но я считаю, что лучше в настоящий момент поддержать Каледина, чтобы не проиграть окончательно. — Помолчав, закуривая, спросил: — Ты… кажется, принял красную веру?

— Почти, — согласился Григорий.

— Искренне или, как Голубов, делаешь ставку на популярность среди казаков?

— Мне популярность не нужна. Сам ищу выхода.

— Ты уперся в стену, а не выход нашел.

— Поглядим…

— Боюсь, что встретимся мы, Григорий, врагами.

— На бранном поле друзей не угадывают, Ефим Иваныч, — улыбнулся Григорий.

Изварин посидел немного и ушел, а наутро исчез — как в воду канул.

В день съезда пришел к Григорию казак-атаманец с хутора Лебяжьего Вешенской станицы. Григорий чистил и смазывал ружейным маслом наган. Атаманец посидел немного и уже перед уходом сказал будто между делом, в то время как пришел исключительно из-за этого (он знал, что у Григория отбил бабу Листницкий, бывший офицер Атаманского полка, и, случайно увидев его на вокзале, зашел предупредить):

— Григорь Пантелеевич, а я ить нынче видал на станции твоего друзьяка.

— Какого?

— Листницкого. Знаешь его?

— Когда видал? — с живостью спросил Григорий.

— С час назад.

Григорий сел. Давняя обида взяла сердце волкодавьей хваткой. Он не ощущал с былой силой злобы к врагу, но знал, что, если встретится с ним теперь, в условиях начавшейся гражданской войны, — быть между ними крови. Нежданно услышав про Листницкого, понял, что не заросла давностью старая ранка: тронь неосторожным словом — закровоточит. За давнее сладко отомстил бы Григорий — за то, что по вине проклятого человека выцвела жизнь и осталась на месте прежней полнокровной большой радости сосущая голодная тоска, линялая выцветень.

Помолчав немного, чувствуя, как сходит с лица негустая краска, спросил:

— Сюда приехал, не знаешь?

— Навряд. Должно, в Черкасск правится.

— А-а-а…

Атаманец поговорил о съезде, о полковых новостях и ушел. Все последующие дни Григорий, как ни старался загасить тлевшую в душе боль, — не мог. Ходил как одурманенный, уже чаще, чем обычно, вспоминал Аксинью, и горечь плавилась во рту, каменело сердце. Думал о Наталье, детишках, но радость от этого приходила зазубренная временем, изжитая давностью. Сердце жило у Аксиньи, к ней потянуло по-прежнему тяжело и властно.

Из Каменской, когда надавил Чернецов, пришлось отступать спешно. Разрозненные отряды Донревкома, наполовину распыленные казачьи сотни, беспорядочно грузились на поезда, уходили походным порядком, бросая все несподручное, тяжелое. Ощутимо сказалось отсутствие организованности, твердого человека, который собрал бы и распределил все эти, в сущности значительные, силы.

Из числа выборных командиров выделился вынырнувший откуда-то за последние дни войсковой старшина Голубов. Он принял командование наиболее боевым 27-м казачьим полком и сразу, с жестоковатинкой, поставил дело. Казаки подчинялись ему беспрекословно, видя в нем то, чего не хватало полку: умение сколотить состав, распределить обязанности, вести. Это он, Голубов, толстый, пухлощекий, наглоглазый офицер, размахивая шашкой, кричал на станции на казаков, медливших с погрузкой:

— Вы что? В постукалочку играете?! Распротак вашу мать!.. Гру-зи!.. Именем революции приказываю немедленно подчиниться!.. Что-о-о?.. Кто это демагог? Застрелю, подлец!.. Молчать!.. Саботажникам и скрытым контрреволюционерам я не товарищ!

И казаки подчинялись. По старинке многим даже нравилось это — не успели отвыкнуть от старого. А в прежние времена, что ни дер — то лучший в глазах казаков командир. Про таких, как Голубов, говаривали: «Этот по вине шкуру спустит, а по милости другую нашьет».

Части Донревкома отхлынули и наводнили Глубокую. Командование всеми силами, по существу, перешло к Голубову. Он в течение неполных двух дней скомпоновал раздерганные части, принял надлежащие меры к закреплению за собой Глубокой. Мелехов Григорий командовал, по настоянию его, дивизионом из двух сотен 2-го запасного полка и одной сотни атаманцев.

В сумерках 20 января Григорий вышел из своей квартиры проверить выставленные за линией заставы атаманцев — и у самых ворот столкнулся с Подтелковым. Тот узнал его.

— Ты, Мелехов?

— Я.

— Куда это ты?

— Заставы поглядеть. Давно из Черкасска? Ну как?

Подтелков нахмурился.

— С заклятыми врагами народа не столкуешься миром. Видал, — какой номер отчубучили? Переговоры… а сами Чернецова наузыкали. Каледин — какая гада?! Ну, мне особо некогда — я это в штаб поспешаю.

Он наскоро попрощался с Григорием, крупно зашагал к центру.

Еще до избрания его председателем ревкома он заметно переменился в отношении к Григорию и остальным знакомым казакам, в голосе его уже тянули сквозняком нотки превосходства и некоторого высокомерия. Хмелем била власть в голову простого от природы казака.

Григорий поднял воротник шинели, пошел, убыстряя шаг. Ночь обещала быть морозной. Ветерок тянул с киргизской стороны. Небо яснело. Заметно подмораживало. Сыпко хрустел снег. Месяц всходил тихо и кособоко, как инвалид по лестнице. За домами сумеречной

лиловой синью курилась степь. Был тот предночной час, когда стираются очертания, линии, краски, расстояние; когда еще дневной свет путается, неразрывно сцепившись, с ночным, и все кажется нереальным, сказочным, зыбким; и даже запахи в этот час, утрачивая резкость, имеют свои особые, затушеванные оттенки.

Проверив заставы, Григорий вернулся на квартиру. Хозяин, железнодорожный служащий, щербатый и жулик лицом, поставил самовар, присел к столу:

— Наступать будете?

— Неизвестно.

— Или их думаете дожидаться?

— Видно будет.

— Совершенно правильно. Наступать-то вам, думается, не с чем — тогда, конечно, лучше ждать. Обороняться выгоднее. Я сам германскую войну в саперах отломал, в тактической стратегии знал и вкус и толк… Силенок-то маловато.

— Хватит, — уклонялся Григорий от тяготившего его разговора.

Но хозяин назойливо допытывался, вертелся около стола, почесывая под суконной жилеткой тощий, как у тарани, живот:

— Артиллерии-то много? Пушечек, пушечек?

— Служил, а службы не знаешь! — с холодным бешенством сказал Григорий и так ворохнул глазами, что хозяина, будто обмороком, кинуло в сторону. — Служил, а не знаешь!.. Какое ты имеешь право расспрашивать меня о численности наших войск и о наших планах? Вот отведу тебя на допрос…

— Господ… офицер! Голу… голуб!.. — целиком глотая концы слов, давился побелевший хозяин, чернел щербатинами в полузатворенном рту. — По глу… по глупости! Простите!..

За чаем Григорий как-то случайно поднял на него взгляд, заметил, как резко, будто при молнии, моргнули у того глаза, — а когда приобнажили их ресницы, выражение было иное, ласковое и почти обожающее. Семья хозяина — жена и две взрослые дочери переговаривались шепотом. Григорий не допил второй чашки, ушел в свою комнату.

Вскоре пришли откуда-то шесть казаков четвертой сотни 2-го запасного, стоявшие на квартире вместе с Григорием. Они шумно пили чай, переговаривались, смеялись. Григорий, уже засыпая, слышал обрывки их разговора. Один рассказывал (Григорий узнал по голосу взводного Бахмачева, казака Луганской станицы), остальные изредка вставляли замечания.

— При мне дело было. Приходят трое шахтеров Горловского района, с рудника номер одиннадцать, говорят, мол, так и так, такая у нас собралась гарнизация, и есть нуждишка в оружии — сделитесь чем можете. А ревкомовец… Да ить я сам слыхал! — повысил он голос, отвечая на чью-то невнятную реплику. — Говорит: «Обращайтесь, товарищи, к Саблину, а у нас ничего нету». Как это ничего нету? А я знаю, что лишние винтовки были. Тут не в том дело… Ревность проявилась, что ввязываются мужики.

— И правильно! — заговорил другой. — Дай им справу, а они — не то будут воевать, не то нет. А коснись дело земли — руки протянут.

— Знаем мы эту шерсть! — басил третий.

Бахмачев раздумчиво позвенел чайной ложкой о стакан; стукая ею в такт своим словам, раздельно сказал:

— Нет, не годится такое дело. Большевики для всего народа идут на уступки, а мы — хреновые большевики. Лишь бы Каледина спихнуть, а там прижмем…

— Да ить, милый человек! — убеждающе восклицал чей-то ломкий, почти мальчишеский альт: — Пойми, что нам давать не из чего! Удобной земли на пай падает полторы десятины, а энта — суглинок, балки, толока. Чего давать-то?

— С тебя и не берут, а есть такие, что богаты землей.

— А войсковая земля?

— Покорнейше благодарим! Свою отдай, а у дяди выпрашивай?.. Ишь ты, рассудил!

— Войсковая самим понадобится.

— Что и гутарить.

— Жадность заела!

— Какая там жадность!

— Может, припадет своих казаков верховских переселить. Знаем мы иховы земли — желтопески одни.

— То-то и оно!

— Не нам кроить, не нам и шить.

— Тут без водки не разберешься.

— Эх, ребята! Надысь громили тут винный склад. Один утоп в спирту, захлебнулся.

— А зараз бы выпил. Так, чтоб по ребрам прошлась.

Григорий в полусне слышал, как казаки стелили на полу, зевали, чесались, тянули те же разговоры о земле, о переделах.

Перед рассветом под окном бацнул выстрел. Казаки повскакивали. Натягивая гимнастерку, Григорий не попадал в рукава. На бегу обулся, схватил шинель. За окном лузгой сыпались выстрелы. Протарабанила подвода. Кто-то заливисто и испуганно кричал возле дверей:

— В ружье!.. В ружье!..

Чернецовские цепи, оттесняя заставы, входили в Глубокую. В серой хмарной темноте метались всадники. Бежали, дробно топоча сапогами, пехотинцы. На перекрестной улице устанавливали пулемет. Цепкой протянулись поперек человек тридцать казаков. Еще одно звено перебегало переулок. Клацали затворы, засылая патроны. В следующем квартале повышенно-звучный командный голос чеканил:

— Третья сотня, живо! Кто там ломает строй?.. Смирно! Пулеметчики — на правый фланг! Готово? Со-отня…

Прогромыхал батарейный взвод. Лошади шли галопом. Ездовые размахивали плетьми. Лязг зарядных ящиков, гром колес, дребезжание лафетов смешивались с распухавшей на окраине стрельбой. Разом где-то поблизости ревнули пулеметы. На соседнем углу, зацепившись за врытый у палисадника стоян, опрокинулась скакавшая неведомо куда полевая кухня.

— Дьявол слепой!.. Не видишь?! Повылазило тебе? — надсадно ревел оттуда чей-то насмерть перепуганный голос.

Григорий с трудом собрал сотню, рысью повел ее на край станицы. Оттуда уже густо валили отступавшие казаки.

— Куда?.. — Григорий схватил переднего за винтовку.

— Пу-у-сти!.. — рванулся казак. — Пусти, сволочь!.. Чего хватаешь? Не видишь — отступают?..

— Сила его!..

— Прет дуром…

— Куда нам?.. В какой край — Миллерская? — звучали запыхавшиеся голоса.

Григорий попробовал на окраине, возле какого-то длинного сарая, развернуть свою сотню в цепь, но новая толпа бежавших смела их. Казаки сотни Григория, перемешавшись с бежавшими, сыпанули назад — в улицы.

— Стой!.. Не бегай… Стреляю!.. — дрожа от бешенства, орал Григорий.

Его не слушались. Струя пулеметного огня секанула вдоль улицы; казаки на секунду кучками припали к земле, подползли поближе к стенам и устремились в поперечные улицы.

— Теперь не совладаешь, Мелехов! — крикнул, пробегая мимо него и близко заглядывая в глаза, взводный Бахмачев.

Григорий пошел следом, скрипя зубами, размахивая винтовкой.

Паника, охватившая части, завершилась беспорядочным бегством из Глубокой. Отступили, оставив чуть ли не всю материальную часть отряда. Лишь с рассветом удалось собрать сотни и кинуть их в контрнаступление.

Багровый, вспотевший Голубов, в распахнутом полушубке, перебегал вдоль двинувшихся цепей своего 27-го полка, металлическим накаленным голосом кричал:

— Шагу дай!.. Не ложись!.. Марш, марш!..

14-я батарея выехала на позицию, снималась с передков; старший офицер батареи, стоя на зарядном ящике, глядел в бинокль.

Бой начался в шестом часу. Смешанные цепи казаков и красногвардейцев из Воронежского отряда Петрова хлынули густо, окаймили снежный фон черной мережкой фигур.

С восхода тянул знобкий ветер. Под заголенной ветром тучей показался кровоточащий край зари.

Григорий отвел половину атаманской сотни на прикрытие 14-й батареи, с остальными пошел в наступление.

Первый пристрельный снаряд лег далеко впереди цепи чернецовцев. Взлохмаченный оранжево-синий флаг разрыва выкинулся вверх. Сочно луснул второй выстрел. Пристрелку повели поорудийно.

«Взи-взи-взи!..» — удаляясь, понесся снаряд.

Секунда напряженной тишины, подчеркнутой ружейными залпами, — и далекий звучный «ох» разрыва. После перелета снаряды очередями стали ложиться вблизи цепи. Жмурясь от ветра, Григорий с чувством удовлетворения подумал: «Нащупали!»

На правом фланге шли сотни 44-го полка. Голубов вел свой полк в центре. Григорий был влево от него. За ним, замыкая левый фланг, шли красногвардейские отряды. К сотням Григория было придано три пулемета. Командир их, небольшой красногвардеец, с сумрачным лицом и густоволосатыми широкими руками, искусно вел стрельбу, парализуя наступательные маневры противника. Он все время находился около пулемета, двигавшегося с цепью атаманцев. При нем была плотная, одетая в шинель женщина-красногвардеец. Григорий, проходя вдоль цепи, злобно подумал: «Юбочник! На позиции идет — и то с бабой не расстается. С такими навоюешь!.. Детей бы уж заодно забрал с периной и со всеми огарками!..» Начальник пулеметной команды подошел к Григорию, поправил на груди шнур нагана.

— Вы командуете этим отрядом?

— Да, я!

— Я поведу заградительный огонь на участке атаманской полусотни. Вы видите — нам не дают хода.

— Валяйте, — согласился Григорий и повернулся на крик от замолкшего пулемета.

Бородатый здоровый пулеметчик свирепо кричал:

— Бунчук!.. Расплавим машинку!.. Разве можно так?

Возле него на коленях стояла женщина в шинели. Черные глаза ее, горевшие под пуховым платком, напомнили Григорию Аксинью, и он секунду, затосковав глазами, смотрел на нее не моргая, удерживая дыхание.

В полдень к Григорию прискакал от Голубова ординарец с запиской. На неровно оторванном листке полевой книжки корячились размашистые буквы.

«Приказываю вам именем Донского ревкома с двумя вверенными вашему командованию сотнями сняться с позиции и спешным аллюром идти в обхват правого фланга противника, имея направление на участок, что виден отсюда, немного левее ветряка, по балке… Маскируйте движение (несколько неразборчивых слов)… Ударить с фланга, как только мы перейдем в решительный натиск.

Голубов»

Григорий отвел и посадил на коней две сотни, отошел назад, стараясь, чтобы противник не определил его направления.

Двадцать верст дали круга. Лошади шли, проваливаясь в глубоком снегу. Балка, по которой двигались в обход, была засыпана снегом. Местами доходил он лошадям до брюха. Григорий, прислушиваясь к вспышкам орудийного гула, тревожно посматривал на часы, снятые с руки убитого в Румынии германского офицера, — боялся опоздать. Он сверялся по компасу с направлением — и все же уклонился немного больше, чем следовало, влево. По широкой отножине выбрались на чистое. Лошади дымились паром, мокрели в пахах. Скомандовав спешиться, Григорий первый выскочил на бугор. Кони остались в балке с коноводами. За Григорием полезли по пологому склону казаки. Он оглянулся, увидел за собой более сотни спешенных, редко рассыпавшихся по снежному склону балки бойцов и почувствовал себя уверенней, сильнее. В бою всегда сильно владело им, как и каждым, табунное чувство. Взглядом охватив обстановку, Григорий понял, что опоздал, не учтя тяжелой дороги, по меньшей мере на полчаса.

Голубов смелым стратегическим ходом почти отрезал чернецовцам путь к отступлению, с боков выставил заслоны и фронтальным ударом шел на полузамкнутого противника. Грохали батарейные залпы. Рокотали винтовочные выстрелы, будто по железной сковороде катилась дробь; крыла шрапнель измятые цепи чернецовцев, густо ложились снаряды.

— В це-е-епь!..

Григорий со своими сотнями ударил с фланга. Пошли было, как на учебную стрельбу, — не ложась, но какой-то ловкач чернецовец, работавший на «максимке», так здорово полоснул по цепи, что казаки с большой охотой легли, трех потеряв из строя.

В третьем часу пополудни приласкалась к Григорию пуля. Раскаленный комочек свинца, одетый никелевой оболочкой, прожег мясную ткань в ноге выше колена. Григорий, ощупав горячий удар и знакомую тошноту от потери крови, скрипнул зубами. Выполз из цепи, сгоряча вскочил, резко мотнул головой, контуженной пулей. Боль в ноге усугублялась тем, что пуля не вышла. Была она на излете, когда щелкнула Григория, и, пробив шинель, шаровары и кожу, осталась остывать в пучке мускулов. Горячая плещущаяся резь мешала двигаться. Лежа, Григорий вспомнил наступление 12-го полка в Трансильванских горах, в Румынии, когда получил ранение в руку. В глазах его ярко восстановилась сцена той атаки: Чубатый, смятое гневом лицо Мишки Кошевого, Емельян Грошев, сбегающий под гору, волоча раненого сотника.

Командование сотнями принял офицер Любишкин Павел, помощник Григория. По его приказу двое казаков отвели Григория к коноводам. Казаки, подсаживая Григория на коня, участливо советовали:

— Перевяжите рану-то.

— Бинт есть?

Григорий уже сел в седло, но, подумав, слез и, спустив шаровары, морщась от озноба, заливавшего потную спину, живот и ноги, торопясь, перевязал опаленную кровоточащую

ранку, сделанную словно надрезом перочинного ножа.

В сопровождении своего ординарца он поехал тем же кружным путем к месту, откуда начали контрнаступление. Глядел на густой засев в снегу лошадиных следов, на знакомые очертания балки, по которой несколько часов назад вел свои сотни. Его клонило в сон, и уже почему-то далеким и ненужным казалось то, что происходило на бугре.

А там суетливо и разбросанно пылились винтовочные выстрелы, гремела тяжелая батарея противника, выручавшая своих, да изредка порыкивающие пулеметы строчили пунктиром, словно подводя невидимую черту для итогов боя.

Версты три Григорий ехал по балке. Лошади застревали.

— Правь на чистое… — буркнул Григорий ординарцу, выезжая на сугробистый вал балки.

Вдали по полю, как присевшие грачи, редко чернели фигуры убитых. На самом лезвии горизонта скакала, казавшаяся отсюда крохотной, лошадь без всадника.

Григорий видел, как основное ядро чернецовцев, потрепанное и поредевшее, вырвавшись из боя, сворачиваясь, отходит в Глубокую. Он пустил своего Гнедого наметом. Вдали виднелись разрозненные кучки казаков. Подскакав к первой из них, Григорий увидел Голубова. Голубов сидел, отвалясь на седле. Полушубок, опушенный в бортах пожелтевшим каракулем, был на нем расстегнут, папаха сдвинута набок, лоб увлажнен потом. Покручивая вахмистерские, торчмя поднятые усы, Голубов хрипато крикнул:

— Мелехов, молодец! Да ты ранен, никак? Черт возьми! Кость цела? — и, не дожидаясь ответа, заулыбался: — Наголову! Наголову разнесли!.. Офицерский отряд так распылили, что не собрать. Набилось им в хвост!

Григорий попросил покурить. По всему полю стекались казаки и красногвардейцы. От далеко черневшей впереди толпы рысил верховой казак.

— Сорок человек взяли, Голубов!.. — крикнул он издали. — Сорок офицеров и самого Чернецова.

— Врешь?! — Голубов испуганно крутнулся в седле и поскакал, нещадно рубя плетью высокого белоногого коня.

Григорий, выждав немного, рысью поехал за ним.

Густую толпу взятых в плен офицеров сопровождал, кольцом охвативший их, конвой в тридцать казаков — 44-го полка и одной из сотен 27-го. Впереди всех шел Чернецов. Убегая от преследования, он сбросил полушубок и теперь шел в одной легонькой кожаной куртке. Погон на левом плече его был оборван. На лице возле левого глаза кровянилась свежая ссадина. Он шел быстро, не сбиваясь с ноги. Папаха, надетая набекрень, придавала ему вид беспечный и молодецкий. И тени испуга не было на его розовом лице: он, видимо, не брился несколько дней — русая поросль золотилась на щеках и подбородке. Чернецов сурово и быстро оглядывал подбегавших к нему казаков; горькая, ненавидящая складка тенилась между бровей. Он на ходу зажег спичку, закурил, стиснув папиросу углом розовых твердых губ.

В большинстве офицеры были молодые, лишь у нескольких инеем белела седина. Один, раненный в ногу, приотставал, его толкал прикладом в спину маленький большеголовый и рябой казачок. Почти рядом с Чернецовым шел высокий бравый есаул. Двое под руку (один — хорунжий, другой — сотник) шли, улыбаясь; за ними, без шапки, курчавый и широкоплечий, шел юнкер. На одном была внапашку накинута солдатская шинель с погонами, вшитыми насмерть. Еще один шел без шапки, надвинув на черные женски красивые глаза красный офицерский башлык; ветер заносил концы башлыка ему на плечи.

Голубов ехал позади.

Приотставая, он закричал казакам:

— Слушай сюда!.. За сохранность пленных вы отвечаете по всем строгостям военно-революционного времени! Чтобы доставили в штаб в целости!

Он подозвал одного из конных казаков, набросал, сидя на седле, записку: свернув ее, передал казаку:

— Скачи! Отдай это Подтелкову.

Обращаясь к Григорию, спросил:

— Ты туда поедешь, Мелехов?

Получив утвердительный ответ, Голубов поравнялся с Григорием, сказал:

— Скажи Подтелкову, что Чернецова я беру на поруки! Понял?.. Ну, так и передай. Езжай.

Григорий, опередив толпу пленных, прискакал в штаб ревкома, стоявший в поле неподалеку от какого-то хутора. Возле широкой тавричанской тачанки, с обмерзлыми колесами и пулеметом, покрытым зеленым чехлом, ходил Подтелков. Тут же, постукивая каблуками, топтались штабные, вестовые, несколько офицеров и казаки-ординарцы. Минаев только недавно, как и Подтелков, вернулся из цепи. Сидя на козлах, он кусал белый, замерзший хлеб, с хрустом жевал.

— Подтелков! — Григорий отъехал в сторону. — Сейчас пригонют пленных. Ты читал записку Голубова?

Подтелков с силой махнул плетью; уронив низко опустившиеся зрачки, набрякая кровью, крикнул:

— Плевать мне на Голубова!.. Мало ли ему чего захочется! На поруки ему Чернецова, этого разбойника и контрреволюционера?.. Не дам!.. Расстрелять их всех — и баста!

— Голубов сказал, что берет его на поруки.

— Не дам!.. Сказано: не дам! Ну, и все! Революционным судом его судить и без промедления наказать. Чтоб и другим неповадно было!.. Ты знаешь, — уже спокойней проговорил он, остро вглядываясь в приближавшуюся толпу пленных, — знаешь, сколько он крови на белый свет выпустил? Море!.. Сколько он шахтеров перевел?.. — и опять, закипая бешенством, свирепо выкатил глаза: — Не дам!..

— Тут орать нечего! — повысил и Григорий голос: у него дрожало все внутри, бешенство Подтелкова словно привилось и ему. — Вас тут много судей! Ты вот туда пойди! — дрожа ноздрями, указал он назад… — А над пленными вас много распорядителей!

Подтелков отошел, комкая в руках плеть. Издали крикнул:

— Я был там! Не думай, что на тачанке спасался. А ты, Мелехов, помолчи возьми-ка!.. Понял?.. Ты с кем гутаришь?.. Так-то!.. Офицерские замашки убирай! Ревком судит, а не всякая…

Григорий тронул к нему коня, прыгнул, забыв про рану, с седла и, простреленный болью, упал навзничь… Из раны, обжигая, захлюпала кровь. Поднялся он без посторонней помощи, кое-как доковылял до тачанки, привалился боком к задней рессоре.

Подошли пленные. Часть пеших конвойных смешалась с ординарцами и казаками, бывшими в охране штаба. Казаки еще не остыли от боя, разгоряченно и зло блестели глазами, перекидывались замечаниями о подробностях и исходе боя.

Подтелков, тяжело ступая по проваливающемуся снегу, подошел к пленным. Стоявший впереди всех Чернецов глядел на него, презрительно щуря лукавые отчаянные глаза; вольно отставив левую ногу, покачивая ею, давил белой подковкой верхних зубов прихваченную изнутри розовую губу. Подтелков подошел к нему в упор. Он весь дрожал, немигающие глаза его ползали по изрытвленному снегу, поднявшись, скрестились с бесстрашным, презирающим взглядом Чернецова и обломили его тяжестью ненависти.

— Попался… гад! — клокочущим низким голосом сказал Подтелков и ступил шаг назад;

щеки его сабельным ударом располосовала кривая улыбка.

— Изменник казачества! Под-лец! Предатель! — сквозь стиснутые зубы зазвенел Чернецов.

Подтелков мотал головой, словно уклоняясь от пощечин, — чернел в скулах, раскрытым ртом хлипко всасывал воздух.

Последующее разыгралось с изумительной быстротой. Оскаленный, побледневший Чернецов, прижимая к груди кулаки, весь наклонясь вперед, шел на Подтелкова. С губ его, сведенных судорогой, соскакивали невнятные, перемешанные с матерной руганью слова. Что он говорил — слышал один медленно пятившийся Подтелков.

— Придется тебе… ты знаешь? — резко поднял Чернецов голос.

Слова эти были услышаны и пленными офицерами, и конвоем, и штабными.

— Но-о-о-о… — как задушенный, захрипел Подтелков, кидая руку на эфес шашки.

Сразу стало тихо. Отчетливо заскрипел снег под сапогами Минаева, Кривошлыкова и еще нескольких человек, кинувшихся к Подтелкову. Но он опередил их; всем корпусом поворачиваясь вправо, приседая, вырвал из ножен шашку и, выпадом рванувшись вперед, со страшной силой рубнул Чернецова по голове.

Григорий видел, как Чернецов, дрогнув, поднял над головой левую руку, успел заслониться от удара; видел, как углом сломалась перерубленная кисть и шашка беззвучно обрушилась на откинутую голову Чернецова. Сначала свалилась папаха, а потом, будто переломленный в стебле колос, медленно падал Чернецов, со странно перекосившимся ртом и мучительно зажмуренными, сморщенными, как от молнии, глазами.

Подтелков рубнул его еще раз, отошел постаревшей грузной походкой, на ходу вытирая покатые долы шашки, червоневшие кровью.

Ткнувшись о тачанку, он повернулся к конвойным, закричал выдохшимся, лающим голосом:

— Руби-и-и их… такую мать!! Всех!.. Нету пленных… в кровину, в сердце!!

Лихорадочно застукали выстрелы. Офицеры, сталкиваясь, кинулись врассыпную. Поручик с красивейшими женскими глазами, в красном офицерском башлыке, побежал, ухватясь руками за голову. Пуля заставила его высоко, словно через барьер, прыгнуть. Он упал — и уже не поднялся. Высокого, бравого есаула рубили двое. Он хватался за лезвия шашек, с разрезанных ладоней его лилась на рукава кровь; он кричал, как ребенок, — упал на колени, на спину, перекатывал по снегу голову; на лице виднелись одни залитые кровью глаза да черный рот, просверленный сплошным криком. По лицу полосовали его взлетающие шашки, по черному рту, а он все еще кричал тонким от ужаса и боли голосом. Раскорячившись над ним, казак, в шинели с оторванным хлястиком, прикончил его выстрелом. Курчавый юнкер чуть не прорвался через цепь — его настиг и ударом в затылок убил какой-то атаманец. Этот же атаманец вогнал пулю промеж лопаток сотнику, бежавшему в раскрылатившейся от ветра шинели. Сотник присел и до тех пор скреб пальцами грудь, пока не умер. Седоватого подъесаула убили на месте; расставаясь с жизнью, выбил он ногами в снегу глубокую яму и еще бы бил, как добрый конь на привязи, если бы не докончили его сжалившиеся казаки.

Григорий в первый момент, как только началась расправа, оторвался от тачанки — не сводя с Подтелкова налитых мутью глаз, хромая, быстро заковылял к нему. Сзади его поперек схватил Минаев, — ломая, выворачивая руки, отнял наган, заглядывая в глаза померкшими глазами, задыхаясь, спросил:

— А ты думал — как?

XIII

Слепяще-яркий снеговой хребет бугра, облитый глазурью солнца и синью безоблачного дня, белел, сахарно искрился. Под ним пестрым лоскутным одеялом лежала слобода Ольховый Рог. Влево синела Свинюха, вправо туманными пятнами пластались хуторки и немецкие колонии, за изгибом голубела Терновская. На востоке за слободой корячился и полз вверх пологий, изрытый балками меньший размером бугор. На нем частоколом торчали телеграфные столбы, уходившие на Кашары.

День был на редкость ясный, морозный. Около солнца радужные дымились столбы. Ветер гнул с севера. В степи сипела поземка. Но снеговые просторы, обнятые горизонтом, были светлы, лишь на востоке, под самым острием горизонта, задернутая лиловой марью, курилась степь.

Пантелей Прокофьевич, везший Григория из Миллерова, решил в Ольховом Рогу не останавливаться, а тянуть до Кашар и там заночевать. Он выехал из дому по телеграмме Григория, к вечеру 28 января приехал в Миллерово. Григорий ожидал его на постоялом дворе. Наутро они выехали и около одиннадцати часов проезжали уже Ольховый Рог.

После того как был ранен в бою под Глубокой, Григорий провалялся в походном лазарете в Миллерове неделю; слегка подлечив ногу, решил поехать домой. Коня привели ему станичные казаки. Ехал Григорий со смешанным чувством недовольства и радости: недовольства — потому, что покидал свою часть в самый разгар борьбы за власть на Дону, а радость испытывал при одной мысли, что увидит домашних, хутор; сам от себя таил желание повидать Аксинью, но были и о ней думки.

С отцом они встретились как-то отчужденно. Пантелей Прокофьевич (нажужжал ему в уши Петро) хмуро присматривался к Григорию — в его коротких, бивших наосклизь взглядах густели недовольство, выжидающая тревога. На станции вечером он долго расспрашивал Григория о событиях, полыхавших в области; ответы сына, видимо, его не удовлетворяли. Он жевал поседевшую бороду, глядел на свои подшитые кожей валенки, чмыкал носом. В спор вступил неохотно, но разгорелся, защищая Каледина, — в горячую минуту по-прежнему прицыкнул на Григория и даже хромой ногой затопотал.

— Ты мне не толкуй! Был у нас по осени Каледин в хуторе! Сбор был на майдане, он на стол влез, гутарил со стариками и предсказал, как по Библии, что придут мужики, война будет, и ежели будем мы туды-суды шататься — заберут все и зачнут заселять область. Он ишо в то время знал, что будет война. Что ж вы, сукины сыны, думаете? Аль он меньше вашего знает? Ученый такой генерал, армию водил — и меньше твоего знает? В Каменской-то позасели вот такие, как ты, пустобрехи необразованные — и мутят народ. Подтелков твой — из каких? Вахмистр?.. Ого! Одних со мной чинов. Вот это так!.. Дожи-ли… Дальше некуда!

Григорий неохотно спорил с ним. Знал, еще не видя отца, какого тот толка. А тут новое всучилось: не мог ни простить, ни забыть Григорий гибель Чернецова и бессудный расстрел пленных офицеров.

Лошади в дышловой запряжке легко несли сани-кошелку. Позади, привязанный чембуром, рысил оседланный Григорьев конь. Знакомые с детства разворачивались в дороге слободы и хутора: Кашары, Поповка, Каменка, Нижне-Яблоновский, Грачев, Ясеновка. Всю дорогу до самого хутора Григорий как-то несвязно и бестолково думал о недавнем, пытался хоть вехами наметить будущее, но мысль доходила до отдыха дома и дальше напарывалась на тупик. «Приеду, поотдохну трошки, залечу ранку, а там… — думал он и мысленно махал рукой, — там видно будет. Само дело покажет…»

Ломала и его усталость, нажитая на войне. Хотелось отвернуться от всего бурлившего ненавистью, враждебного и непонятного мира. Там, позади, все было путано, противоречиво. Трудно нащупывалась верная тропа; как в топкой гати, забилась под ногами

почва, тропа дробилась, и не было уверенности — по той ли, по которой надо, идет. Тянуло к большевикам — шел, других вел за собой, а потом брало раздумье, холодел сердцем. «Неужто прав Изварин? К кому же прислониться?» Об этом невнятно думал Григорий, привалясь к задку кошелки. Но, когда представлял себе, как будет к весне готовить бороны, арбы, плесть из краснотала ясли, а когда разденется и обсохнет земля, — выедет в степь: держась наскучавшимися по работе руками за чапиги; пойдет за плугом, ощущая его живое биение и толчки; представляя себе, как будет вдыхать сладкий дух молодой травы и поднятого лемехами чернозема, еще не утратившего пресного аромата снеговой сырости, — теплело на душе. Хотелось убирать скотину, метать сено, дышать увядшим запахом донника, пырея, пряным душком навоза. Мира и тишины хотелось, — поэтому-то застенчивую радость и берег в суровых глазах Григорий, глядя вокруг: на лошадей, на крутую, обтянутую тулупом спину отца. Все напоминало ему полузабытую прежнюю жизнь: и запах овчин от тулупа, и домашний вид нечищеных лошадей, и какой-нибудь петух в слободе, горланящий с погребицы. Сладка и густа, как хмелины, казалась ему в это время жизнь тут, в глушине.

На другой день перед вечером подъехали к хутору. Григорий с бугра кинул взгляд за Дон; вон Бабьи ендовы, опушенные собольим мехом камыша: вон сухой тополь, а переезд через Дон уже не тут, где был раньше. Хутор, знакомые квадраты кварталов, церковь, площадь… Кровь кинулась Григорию в голову, когда напал глазами на свой курень. Воспоминания наводнили его. С база поднятый колодезный журавль словно кликал, вытянув вверх серую вербовую руку.

— Не щипет глаза? — улыбнулся Пантелей Прокофьевич, оглядываясь, и Григорий, не лукавя и не кривя душой, сознался:

— Щипет… да ишо как!..

— Что значит — родина! — удовлетворенно вздохнул Пантелей Прокофьевич.

Он правил на средину хутора. Лошади резво бежали с горы, сани шли под раскат, виляя из стороны в сторону. Григорий отгадал отцовский замысел, но все же спросил:

— Ты чего ж правишь в хутор? Держи к своему проулку.

Пантелей Прокофьевич, поворачиваясь и ухмыляясь в заиндевевшую бороду, мигнул:

— Сыновей на войну провожал рядовыми казаками, а выслужились в офицерья. Что ж, аль мне не гордо прокатить сына по хутору? Пущай глядят и завидуют. А у меня, брат, сердце маслом обливается!

На главной улице он сдержанно крикнул на лошадей, — свешиваясь набок, поиграл махорчатым кнутом, и лошади, чуя близкий дом (словно и не лег позади путь в сто сорок верст!), пошли свежо, шибко. Встречавшиеся казаки кланялись, с базов и из окон куреней из-под ладоней глядели бабы; через улицу, кудахтая, перекати-полем катились куры. Все шло гладко, как по-писаному. Проехали площадь. Конь Григория покосил глазом на чью-то привязанную к моховскому забору лошадь, заржал и высоко понес голову. Завиднелись конец хутора, крыша астаховского куреня… Но тут-то, на первом перекрестке, случилось неладное: поросенок, бежавший через улицу, замешкался, попал под копыта лошадей, хрюкнул и откатился раздавленный, повизгивая, норовя приподнять переломленный хребет.

— Ах, черти тебя поднесли!.. — выругался Пантелей Прокофьевич, успев стегнуть кнутом раздавленного поросенка.

На беду принадлежал он Анютке, вдове Афоньки Озерова, — бабе злой и не в меру длинноязыкой. Она не замедлила выскочить на баз; накидывая платок, посыпала такими отборными ругательствами, что Пантелей Прокофьевич даже лошадей попридержал, повернулся назад:

— Замолчи, дура! Чего орешь! Заплатим за твоего шелудивого!..

— Нечистый дух!.. Чертяка!.. Сам ты шелудивый, кобель хромой!.. Вот к атаману тебя зараз!.. — горланила она, махая руками. — Я тебя, узду твою мать, научу, как сиротскую животину давить!..

Заело Пантелея Прокофьевича, крикнул, багровея:

— Халява!

— Турка проклятый!.. — с живостью отозвалась Озерова.

— Сука, сто чертов твоей матери! — повысил басок Пантелей Прокофьевич.

Но Анютка Озерова за словом в карман сроду не лазила.

— Чужбинник! Б… старый! Воряга! Борону чужую украл!.. По жалмеркам бегаешь!.. — зачастила она сорочьим голосом.

— Вот я тебя кнутом, псюрня!.. Заткни зевало!

Но тут Анютка такое загнула, что даже Пантелей Прокофьевич, — человек, поживший и повидавший на своем веку, — зарозовел от смущения и сразу взмок потом.

— Трогай!.. Чего связался? — сердито сказал Григорий, видя, что понемногу на улицу выходит народ и со вниманием прислушивается к случайному обмену мнениями между старым Мелеховым и честной вдовой Озеровой.

— Ну и язык… с вожжину длиной! — Пантелей Прокофьевич сокрушенно плюнул и так погнал лошадей, словно намеревался раздавить самое Анютку.

Уже проехав квартал, он не без боязни оглянулся:

— Плюется и костерит почем зря!.. Ишь ты, вражина… Чтоб ты лопнула поперек, чертяка толстая! — с вожделением сказал он. — Тебя бы вместе с твоим поросем стоптать. Попадись вот такой хлюстанке на язык — одни мослы останутся.

Мимо рванулись голубые ставни куреня. Петро, без папахи, в распоясанной гимнастерке, растворял ворота. С крыльца мелькнули беленький платок и смеющееся, блестящее черными глазами лицо Дуняшки.

Целуя брата, Петро мельком заглянул ему в глаза:

— Здоровый?

— Рану получил.

— Где?

— Под Глубокой.

— Нужда заставила там огинаться! Давно бы шел домой.

Он тепло и дружески потряс Григория, с рук на руки передал Дуняше. Обнимая крутые, вызревшие плечи сестры, Григорий поцеловал ее в губы и глаза, сказал, отступая, дивясь:

— Да ты, Дуняха, черт тебя знает!.. Ишо какая девка вышла, а я-то думал — дурненькая будет, никудышненькая.

— Ну уж ты, братушка!.. — Дуняшка увернулась от щипка и, сияя таким же, как у Григория, белозубым оскалом улыбки, отошла.

Ильинична несла на руках детей; ее бегом опередила Наталья. Расцвела и похорошела она диковинно. Гладко причесанные черные блестящие волосы, собранные позади в тяжелый узел, оттеняли ее радостно зарумянившееся лицо. Она прижалась к Григорию, несколько раз быстро невпопад коснулась губами его щек, усов и, вырывая из рук Ильиничны сына, протягивала его Григорию.

— Сын-то какой — погляди! — звенела с горделивой радостью.

— Дай мне *моего* сына поглядеть! — Ильинична взволнованно отстранила ее.

Мать нагнула голову Григория, поцеловала его в лоб и, мимолетно гладя грубой рукой его лицо, заплакала от волнения и радости.

— А дочь-то, Гри-и-иша!.. Ну, возьми же!..

Наталья посадила на другую руку Григория закутанную в платок девочку, и он, растерявшись, не знал, на кого ему глядеть: то ли на Наталью, то ли на мать, то ли на детишек. Насупленный, угрюмоглазый сынишка вылит был в мелеховскую породу: тот же удлиненный разрез черных, чуть строгих глаз, размашистый рисунок бровей, синие выпуклые белки и смуглая кожа. Он совал в рот грязный кулачишко, — избочившись, неприступно и упорно глядел на отца. У дочери Григорий видел только крохотные внимательные и такие же черные глазенки — лицо ее кутал платок.

Держа их обоих на руках, он двинулся было к крыльцу, но боль пронизала ногу.

— Возьми-ка их, Наташа… — Григорий виновато, в одну сторону рта, усмехнулся. — А то я на порожки не влезу…

Посреди кухни, поправляя волосы, стояла Дарья. Улыбаясь, она развязно подошла к Григорию, закрыла смеющиеся глаза, прижимаясь влажными теплыми губами к его губам.

— Табаком-то прет! — И смешливо поиграла полукружьями подведенных, как нарисованных тушью, бровей.

— Ну, дай ишо разок погляжу на тебя! Ах ты, мой чадунюшка, сыночек!

Григорий улыбался, щекочущее волнение хватало его за сердце, когда он прижимался к материнскому плечу.

Во дворе Пантелей Прокофьевич распрягал лошадей, хромал вокруг саней, алея красным кушаком и верхом треуха. Петро уже отвел в конюшню Григорьева коня, нес в сенцы седло и что-то говорил, поворачиваясь на ходу к Дуняшке, снимавшей с саней бочонок с керосином.

Григорий разделся, повесил на спинку кровати тулуп и шинель, причесал волосы. Присев на лавку, он позвал сынишку:

— Поди-ка ко мне, Мишатка. Ну чего ж ты — не угадаешь меня?

Не вынимая изо рта кулака, тот подошел бочком, несмело остановился возле стола. На него любовно и гордо глядела от печки мать. Она что-то шепнула на ухо девочке, спустила ее с рук, тихонько толкнула:

— Иди же!

Григорий сгреб их обоих; рассадив на коленях, спросил:

— Не угадаете меня, орехи лесные? И ты, Полюшка, не угадаешь папаньку?

— Ты не папанька, — прошептал мальчуган (в обществе сестры он чувствовал себя смелее).

— А кто же я?

— Ты — чужой казак.

— Вот так голос!.. [53] — Григорий захохотал. — А папанька где ж у тебя?

— Он у нас на службе, — убеждающе, склоняя голову, сказала девочка (она была побойчей).

— Так его, чадунюшки! Пущай свой баз знает. А то он идей-то лытает по целому году, а его узнавай! — с поддельной суровостью вставила Ильинична и улыбнулась на улыбку Григория. — От тебя и баба твоя скоро откажется. Мы уж за нее хотели зятя примать.

— Ты что же это, Наталья? А? — шутливо обратился Григорий к жене.

Она зарделась, преодолевая смущение перед своими, подошла к Григорию, села около, бескрайне счастливыми глазами долго обводила всего его, гладила горячей черствой рукой его сухую коричневую руку.

— Дарья, на стол собирай!

— У него своя жена есть, — засмеялась та и все той же вьющейся, легкой походкой направилась к печке.

По-прежнему была она тонка, нарядна. Сухую, красивую ногу ее туго охватывал

фиолетовый шерстяной чулок, аккуратный чирик сидел на ноге, как вточенный; малиновая сборчатая юбка была туго затянута, безукоризненной белизной блистала расшитая завеска. Григорий перевел взгляд на жену — и в ее внешности заметил некоторую перемену. Она приоделась к его приезду; сатиновая голубая кофточка, с узким кружевным в кисти рукавом, облегала ее ладный стан, бугрилась на мягкой большой груди; синяя юбка, с расшитым морщиненным подолом, внизу была широка, вверху — в обхват. Григорий сбоку оглядел ее полные, как выточенные, ноги, волнующе-тугой обтянутый живот и широкий, как у кормленой кобылицы зад, — подумал: «Казачку из всех баб угадаешь. В одеже — привычка, чтоб все на виду было; хочешь — гляди, а хочешь — нет. А у мужичек зад с передом не разберешь, — как в мешке ходит…»

Ильинична перехватила его взгляд, сказала с нарочитой хвастливостью:

— Вот у нас как офицерские жены ходют! Ишо и городским нос утрут!

— Чего вы там, маманя, гутарите! — перебила ее Дарья. — Куда уж нам до городских! Сережка вон сломалась, да и той грош цена! — докончила она с горестью.

Григорий положил руку на широкую, рабочую спину жены, в первый раз подумал: «Красивая баба, в глаза шибается… Как же она жила без меня? Небось, завидовали на нее казаки, да и она, может, на кого-нибудь позавидовала. А что, ежли жалмеркой принимала?» От этой неожиданной мысли у него екнуло сердце, стало пакостно на душе. Он испытующе поглядел в ее розовое, лоснившееся и благоухавшее огуречной помадой лицо. Наталья вспыхнула под его внимательным взглядом, — осилив смущение, шепнула:

— Ты чего так глядишь? Скучился, что ли?

— Ну, а как же!

Григорий отогнал негожие мысли, но что-то враждебное, неосознанное шевельнулось в эту минуту к жене.

Кряхтя, влез в дверь Пантелей Прокофьевич. Он помолился на образа, крякнул:

— Ну, ишо раз здорово живете!

— Слава богу, старик… Замерз? А мы ждали: щи горячие, прямо с пылу, — суетилась Ильинична, гремя ложками.

Развязывая на шее красный платок, Пантелей Прокофьевич постукивал обмерзшими подшитыми валенками. Стянул тулуп, содрал намерзшие на усах и бороде сосульки и, подсаживаясь к Григорию, сказал:

— Замерз, а в хуторе обогрелся… Переехали поросенка у Анютки…

— У какой? — оживленно спросила Дарья и перестала кромсать высокий белый хлеб.

— У Озеровой. Как она выскочит, подлюка, как понесет! И такой, и сякой, и жулик, и борону у кого-то украл. Какую борону? Черти ее знают!

Пантелей Прокофьевич подробно перечислил все прозвища, которыми наделяла его Анютка, — не сказал лишь о том, что упрекнула его в молодом грехе, по части жалмерок. Григорий усмехнулся, садясь за стол. И Пантелей Прокофьевич, желая оправдаться в его глазах, горячо докончил:

— Такую ересь перла, что и в рот взять нечего! Хотел уже вернуться, кнутом ее перепоясать, да Григорий был, а с ним все как-то вроде неспособно.

Петро отворил дверь, и Дуняшка на кушаке ввела красного, с лысиной, телка.

— К масленой блины с каймаком будем исть! — весело крикнул Петро, пихая телка ногой.

После обеда Григорий развязал мешок, стал оделять семью гостинцами.

— Это тебе, маманя… — Он протянул теплый шалевый платок.

Ильинична приняла подарок, хмурясь и розовея по-молодому.

Накинула его на плечи, да так повернулась перед зеркалом и повела плечами, что даже Пантелей Прокофьевич вознегодовал:

— Карга старая, а туда же — перед зеркалой! Тьфу!..

— Это тебе, папаша… — скороговоркой буркнул Григорий, на глазах у всех разворачивая новую казачью фуражку, с высоко вздернутым верхом и пламенно-красным околышем.

— Ну, спаси Христос! А я фуражкой бедствовал. В лавках нонешний год их не было… Абы в чем лето проходил… В церкву ажник страмно идтить в старой. Ее, эту старую, уж на чучелу впору надевать, а я носил… — говорил он сердитым голосом, озираясь, словно боясь, что кто-нибудь подойдет и отнимет сыновний подарок.

Сунулся примерить было к зеркалу, но взглядом стерегла его Ильинична. Старик перенял ее взгляд, круто вильнул, захромал к самовару. Перед ним и примерял, надевая фуражку набекрень.

— Ты чего ж это, дрючок старый? — напустилась Ильинична.

Но Пантелей Прокофьевич отбрехался:

— Господи! Ну и глупая ты! Ить самовар, а не зеркала? То-то и оно.

Жену наделил Григорий шерстяным отрезом на юбку; детям роздал фунт медовых пряников; Дарье — серебряные с камешками серьги; Дуняшке — на кофточку; Петру — папирос и фунт табаку.

Пока бабы тараторили, рассматривая подарки, Пантелей Прокофьевич пиковым королем прошелся по кухне и даже грудь выгнул:

— Вот он, казачок лейб-гвардии Казачьего полка! Призы сымал! На инператорском смотру первый захватил! Седло и всю амуницию! Ух ты!..

Петро, покусывая пшеничный ус, любовался отцом, Григорий посмеивался. Закурили, и Пантелей Прокофьевич, опасливо поглядев на окна, сказал:

— Покеда не подошли разная родня и соседи… расскажи вот Петру, что там делается.

Григорий махнул рукой:

— Дерутся.

— Большевики где зараз? — спросил Петро, усаживаясь поудобней.

— С трех сторон: с Тихорецкой, с Таганрога, с Воронежа.

— Ну, а ревком ваш что думает? Зачем их допущает на наши земли? Христоня с Иваном Алексеевичем приехали, брехали разное, но я им не верю. Не так что-то там…

— Ревком — он бессильный. Бегут казаки по домам.

— Через это, значит, и прислоняется он к Советам?

— Конешно, через это.

Петро помолчал; вновь закуривая, открыто глянул на брата:

— Ты какой же стороны держишься?

— Я за Советскую власть.

— Дурак! — порохом пыхнул Пантелей Прокофьевич. — Петро, хучь ты втолкуй ему!

Петро улыбнулся, похлопал Григория по плечу:

— Горячий он у нас — как необъезженный конь. Рази ж ему втолкуешь, батя?

— Мне нечего втолковывать! — загорячился Григорий. — Я сам не слепой… Фронтовики что у вас гутарют?

— Да что нам эти фронтовики! Аль ты этого дуролома Христана не знаешь! Чего он может понимать? Народ заблудился весь, не знает, куда ему податься… Горе одно! — Петро закусил ус. — Гляди вот, что к весне будет — не соберешь… Поиграли и мы в большевиков на фронте, а теперь пора за ум браться. «Мы ничего чужого не хотим и наше не берите» — вот как должны сказать казаки всем, кто нахрапом лезет к нам. А в Каменской у вас грязно дело.

Покумились с большевиками — они и уставляют свои порядки.

— Ты, Гришка, подумай. Парень ты не глупой. Ты должен уразуметь, что казак — он как был казак, так казаком и останется. Вонючая Русь у нас не должна править. А ты знаешь, что иногородние зараз гутарют! Всю землю разделить на души. Это как?

— Иногородним коренным, какие в Донской области живут издавна, дадим землю.

— А шиша им! Вот им выкусить!.. — Пантелей Прокофьевич сложил дулю; дергая большим когтястым пальцем, долго водил вокруг Григорьева горбатого носа.

По крыльцу загромыхали шаги. Застонали схваченные морозом порожки. Вошли Аникушка, Христоня, Томилин Иван в несуразно высокой заячьего меха папахе.

— Здорово, служивый! Пантелей Прокофич, магарыч станови! — гаркнул Христоня.

От его крика испуганно мыкнул задремавший у теплой печки телок. Он, оскользаясь, вскочил на свои еще шаткие ноги, круглыми агатовыми глазами глядя на пришедших, и, наверное, от испуга, зацедил на пол тоненькую струйку. Дуняша перебила ему охоту, легонько стукнув по спине; вытерев лужу, подставила поганый чугунок.

— Телка испужал, горластый! — досадливо сказала Ильинична.

Григорий пожал казакам руки, пригласил садиться. Вскоре пришли еще казаки с этого края хутора. Под разговор накурили так, что лампа замигала и надсадно закашлял телок.

— Лихоманка вас забери! — ругалась Ильинична, уже в полночь выпроваживая гостей. — Вон на баз ступайте, там и дымите, трубокуры! Идите, идите! Служивый наш ишо не отдыхал с дороги. Ступайте с богом.

XIV

Наутро Григорий проснулся позже всех. Разбудило его громкое, как весной, чулюканье воробьев под застрехами крыши и за наличниками окон. В щелях ставней пылилась золотая россыпь солнечных лучей. Звонили к обедне. Григорий вспомнил, что сегодня — воскресенье. Натальи не было рядом с ним, но перина еще хранила тепло ее тела. Она, очевидно, встала недавно.

— Наташа! — позвал Григорий.

Вошла Дуняшка.

— Тебе чего, братушка?

— Открой окошки и покличь Наталью. Она что делает?

— Стряпает с маманей, зараз придет.

Наталья вошла, зажмурилась от темноты.

— Проснулся?

От рук ее пахло свежим тестом. Григорий лежа обнял ее, вспомнил ночь — засмеялся.

— Проспала?

— Ага! Уморила… ноченька. — Она улыбнулась, краснея, пряча на волосатой груди Григория голову.

Помогла Григорию перебинтовать рану, достала из сундука праздничные шаровары, спросила:

— Мундир с крестами наденешь?

— Ну его! — Григорий испуганно отмахнулся.

Но Наталья упрашивала неотступно:

— Надень! Батяня будет довольный. Чего же ты, задаром их заслуживал, чтобы они по сундукам валялись?

Уступая ее настояниям, Григорий согласился. Он встал, взял у Петра бритву, побрился, вымыл лицо и шею.

— Затылок-то брил? — спросил Петро.

— Ох, черт, забыл!

— Ну, садись, побрею.

Холодный помазок обжег шею. Григорий видел в зеркало, как Петро, по-детски высунув на сторону язык, водит бритвой.

— Шея-то потоньшела у тебя, как у быка после пахоты, — улыбнулся он.

— Небось, на казенных харчах не разглажеешь.

Григорий надел мундир с погонами хорунжего, с густым завесом крестов и, когда погляделся в запотевшее зеркало, — почти не узнал себя: высокий, сухощавый, цыгановато-черный офицер глядел на него двойником.

— Ты как полковник! — восторженно заметил Петро, без зависти любуясь братом.

Слова эти, помимо воли Григория, доставили ему удовольствие. Он вышел в кухню. Любующимся взглядом пристыла к нему Дарья. Дуняшка ахнула:

— Фу, какой ты пышный!..

Ильинична и тут не удержалась от слез. Вытирая их грязной завеской, ответила на подтрунивание Дуняшки:

— Народи ты себе таких, чечекалка! По крайней мере, два сыночка — и обое в люди вышли!

Наталья не сводила с мужа влюбленных, горячих и затуманенных глаз.

Григорий, накинув внапашку шинель, вышел на баз. Ему трудно было спускаться с крыльца — мешала раненая нога. «Без костыля не обойдусь», — подумал он, придерживаясь за перила.

Пулю вырезали ему в Миллерове, ранку затянуло коричневым струпом, он-то, стягивая кожу, и препятствовал вольно сгибаться ноге.

На завалинке грелся кот. Возле крыльца на солнцепеке снег вытаял — мокрела лужица. Григорий внимательно и обрадованно оглядывал баз. Тут же около, крыльца стоял столб, с колесом, укрепленным наверху. С детства помнил Григорий это колесо, устроенное для бабьих нужд: на него, не сходя с крыльца, ставили на ночь молоко в корчажках, днем сушилась на нем посуда, выжаривались на солнце горшки. Некоторые перемены на базу бросались в глаза: дверь амбара была выкрашена взамен слинявшей краски желтой глиной, сарай заново покрыт еще не побуревшей житной соломой; костер поднятых дыбом слег казался меньше — должно быть, израсходовали часть на поправку городьбы. Насыпной горб погреба сизел золой; на ней, зябко поджав ногу, стоял черный, как ворон, петух в окружении десятка оставленных на племя пестроцветных кур. Под сараем спасался от зимней непогоды сельскохозяйственный инвентарь: ребристо торчали остовы арб, горела какая-то металлическая часть косилки, посыпанная через трещину в крыше сеевом солнечного света. Около конюшни, на навозном сугреве, сидели гуси. Чубатый голландский гусак высокомерно скосился на хромавшего мимо Григория.

Оглядев все хозяйство, Григорий вернулся в курень.

В кухне сладко пахло топленым коровьим маслом, горячим припеком хлебов. Дуняшка на узорчатой тарелке обмывала моченые яблоки. Глянув на них, Григорий, оживляясь, спросил:

— Арбузы соленые есть?

— Полезь достань, Наталья! — откликнулась Ильинична.

Пришел из церкви Пантелей Прокофьевич. Просфорку с вынутой частицей разломил на

девять частей — по числу членов семьи, роздал за столом. Сели завтракать. Петро, тоже принарядившийся, даже усы подмасливший чем-то, сидел рядом с Григорием. Против них на краешке табуретки мостилась Дарья. Столб солнечных лучей валился ей на розовое, намазанное жировкой лицо. Она щурила глаза, недовольно снижала блестящие на солнце черные ободья бровей. Наталья кормила детей печеной тыквой: улыбаясь, изредка поглядывала на Григория. Дуняшка сидела рядом с отцом. Ильинична расположилась на краю, поближе к печке.

Ели, как всегда по праздникам, сытно и много. Щи с бараниной сменила лапша, потом — вареная баранина, курятина, холодец из бараньих ножек, жареная картошка, пшенная с коровьим маслом каша, кулага, блинцы с каймаком, соленый арбуз. Григорий, сгрузившийся едой, встал тяжело, пьяно перекрестился; отдуваясь прилег на кровать. Пантелей Прокофьевич еще управлялся с кашей: плотно притолочив ее ложкой, он сделал посредине углубление (так называемый колодец), налил в него янтарное масло и аккуратно черпал ложкой пропитанную маслом кашу. Петро, крепко любивший детишек, кормил Мишатку; балуясь, мазал ему кислым молоком щеки и нос.

— Дядя, не дури!

— А что?

— На что мажешь?

— А что?

— Я маманьке скажу!

— А что?

У Мишатки гневно сверкали мелеховские угрюмоватые глазенки, дрожали в них слезы обиды, вытирая кулаком нос, он кричал, отчаявшись уговорить добром:

— Не мажься!.. Глупой!.. Дурак!

Петро довольно хохотал и снова потчевал племянника: ложку — в рот, другую — на нос.

— Чисто маленький… связался, — бурчала Ильинична.

Дуняшка, подсев к Григорию, рассказывала:

— Петро — ить он дурастной, завсегда выдумывает. Надысь вышел с Мишаткой на баз, — он и захотел за большой, спрашивает: «Дядяня, можно возле крыльца?» А Петро: «Нет, нельзя. Отойди трошки». Мишатка чудок отбег: «Тут?» — «Нет, нет. Беги вон к амбару». От амбара проводил его к конюшне, от конюшни — к гумну. Гонял-гонял, покеда он в штанишки прямо… Наталья же и ругалась!

— Дай, я сам буду! — почтовым бубенчиком звенел Мишатка.

Смешливо шевеля усами, Петро не соглашался!

— Нет уж, парень! Я буду тебя кормить.

— Я сам!

— У нас сам с самой в хлеву сидят — видал? Бабка их помоями кормит.

С улыбкой прислушиваясь к их разговору, Григорий сворачивал курить. Подошел Пантелей Прокофьевич:

— Думаю ноне в Вешки поехать.

— Чего туда?

Пантелей Прокофьевич густо отрыгнул кулагой, пригладил бороду:

— Делишки там есть к шорнику — два хомута поправлял.

— Обыденки съездишь?

— А то чего ж? К вечеру возвернусь.

Отдохнув, он запряг в розвальни старую, ослепшую в этот год кобылицу, поехал. Дорога лежала лугом. Два часа спустя был он в Вешенской. Заехал на почту, забрал хомуты и завернул

к давнишнему знакомцу и куму, жившему у новой церкви. Хозяин, большой хлебосол, усадил его обедать.

— На почте был? — спросил он, наливая что-то в рюмку.

— Был, — протяжно ответил Пантелей Прокофьевич, зорко и удивленно поглядывая на графинчик, нюхая воздух, как собака звериный след.

— Новья ничего не слыхал?

— Новья? Ничего, кубыть, не слыхал. А что?

— Каледин, Алексей Максимович-то, приказал долго жить.

— Да что ты?!

Пантелей Прокофьевич заметно позеленел, забыл про подозрительный графин и запах, отвалился на спинку стула. Хозяин, хмуро моргая, говорил:

— По телеграфу передали, что надысь застрелился в Новочеркасском. Один был на всю область стоющий генерал. Кавалер был, армией командовал. А какой души был человек! Уж этот казачество в обиду не дал бы.

— Погоди, кум! Как же теперича? — растерянно спрашивал Пантелей Прокофьевич, отодвигая рюмку.

— Бог его знает. Чижолое время наступает. Небось, от хорошей жизни не будет человек в самого себя пулять.

— Через чего ж он решился?

— Кум — казак кряжистый, как старовер, — зло махнул рукой:

— Откачнулись от него фронтовики, в область большевиков напущали, — вот и ушел атаман. Найдутся аль нет такие-то? Кто нас оборонит? В Каменской какой-то рывком образовался, казаки в нем фронтовые… И у нас… слыхал, небось? Приказ от них пришел: чтоб атаманьев долой и чтоб эти выбрать, рывкомы. То-то мужичье головы пополняло! Все эти плотничишки, ковали, хапуги разные, — ить их в Вешках как мошкары в лугу!

Долго молчал Пантелей Прокофьевич, повесив седую голову; а когда поднял ее — строг и жесток был взгляд.

— Чего это у тебя в графине?

— Спирток. С Кавказа привез племянник.

— Ну, давай, кум, помянем Каледина, покойного атамана. Царство ему небесное!

Выпили. Дочь хозяина, высокая веснушчатая девка, подала закусить. Пантелей Прокофьевич сначала поглядывал на кобылу, понуро стоявшую возле хозяйских саней, но кум его уверил:

— Не беспокойся об лошади. Велю напоить и корму дать.

И Пантелей Прокофьевич за горячим разговором и за графином вскоре забыл и про лошадь, и про все на свете. Он несвязно рассказывал о Григории, спорил о чем-то с захмелевшим кумом, спорил и после не помнил о чем. Встрепенулся уже вечером. Не глядя на упрашивания остаться ночевать, решил ехать. Кобылу запряг ему хозяйский сын, сесть в сани помог кум. Он надумал проводить гостя; рядом легли они в розвальнях, обнялись. Сани у них зацепились в воротах, потом цеплялись за каждый угол, пока не выехали на луг. Тут кум заплакал и добровольно упал с саней. Долго стоял раком, ругался, не в состоянии подняться на ноги. Пантелей Прокофьевич погнал кобылу рысью, не видел, как провожающий его кум ползет по снегу на четвереньках, тычась носом в снег, счастливо хохочет и просит хрипком:

— Не щекоти!.. Не щекоти, по-жа-лу-ста!

Несколько раз огретая кнутом, кобыла Пантелея Прокофьевича шла шибкой, но неуверенной, слепой рысью. Вскоре хозяин ее, одолеваемый хмельной дремотой, привалился к стенке саней головой, замолк. Вожжи случайно оказались под ним, и кобыла, не

управляемая и беспомощная, сошла на тихий шаг. На первом же свилке она сбилась на дорогу к хутору Малый Громченок, пошла по ней. Через несколько минут потеряла и эту дорогу. Шла уже целиной, бездорожьем, стряла в глубоком у леса снегу; храпя, спускалась в ложбинки. Сани зацепились за куст — и она стала. Толчок на секунду пробудил старика. Пантелей Прокофьевич приподнял голову, крикнул сипло:

— Но, дьявол!.. — и улегся снова.

Кобыла благополучно миновала лес, удачно спустилась на Дон и по ветру, доносившему с востока запах кизячного дыма, направилась к хутору Семеновскому.

В полуверсте от хутора, с левой стороны Дона, есть прорва, в нее веснами на сбыве устремляется полая вода. Около прорвы из супесного берега бьют ключи — лед там не смерзается всю зиму, теплится зеленым широким полудужьем полынья, и дорога по Дону опасливо обегает ее, делает крутой скачок в сторону. Весною, когда через прорву могучим потоком уходит обратно в Дон сбывающая вода, в этом месте крутит коловерть, ревет вода, сплетая разнобоистые струи, вымывая дно; и все лето на многосаженной глубине держатся сазаны, прибиваясь к близкому от прорвы дряму, наваленному с берега.

К полынье, к левому ее краю, и направляла мелеховская кобыла слепой свой шаг. Оставалось саженей двадцать, когда Пантелей Прокофьевич заворочался, чуть приоткрыл глаз. С черного неба глядели желто-зеленые невызревшие черешни звезд. «Ночь…» — туманно сообразил Пантелей Прокофьевич, ожесточенно дернул вожжи:

— Но, но-о!.. Вот я тебя, хреновина старая!

Кобыла затрусила рысью. Запах недалекой воды ударил ей в ноздри. Она торчмя поставила уши, чуть покосила в сторону хозяина слепым недоумевающим глазом. До слуха ее вдруг доплыл плеск смыкающейся волны. Дико всхрапнув, крутнулась в сторону, попятилась. Под ногами ее мягко хрупнул источенный из-под испода лед, отвалился оснеженной краюхой. Кобыла захрапела смертным напуганным храпом. Изо всей силы она упиралась задними ногами, но передние уже проваливались — были в воде, под переступавшими задними ломалось крошево льда. Ухнув, лед с плеском раздался. Полынья глотнула кобылицу, и она судорожно дернула задней ногой, стукнула по оглобле. В этот же миг Пантелей Прокофьевич, услышавший неладное, прыгнул с саней, откатился назад. Он видел, как сани, увлекаемые тяжестью кобылы, поднялись дыбом, обнажив блеснувшие при звездном свете полозья, — скользнули в черно-зеленую глубину, и вода, перемешанная с кусками льда, мягко зашипела, чуть не доплеснулась до него волной. Задом, с невероятной быстротой отполз Пантелей Прокофьевич и только тогда твердо вскочил на ноги, ревнул:

— Ка-ра-у-у-ул, люди добрые!.. У-то-па-а-а-ем!..

Хмель у него — словно клином вышибло. Он подбежал к полынье. Остро блестел свежеотломленный лед. Ветер и стремя гоняли по широкому черному кругу полыньи куски льда, волны трясли зелеными вихрами, шелестели. Тишина кругом стояла мертвая. В дальнем хуторе желтили темноту огни. Исступленно горели и дрожали на плюшевом небе зернистые, как свежеперевеянные, звезды. Ветерок пушил поземкой, она сипела, мучнистой пылью летела в черное хайло полыньи. А полынья чуть дымилась паром и так же радушно и жутко чернела.

Пантелей Прокофьевич понял, что кричать теперь глупо и бесполезно. Он огляделся, сообразил, куда попал пьяным невзначаем, и затрясся от злости на самого себя, на случившееся. В руках его остался кнут, с ним он успел соскочить. Матерясь, он долго хлестал себя через спину, но было не больно — защищала дубленая шуба, а раздеваться ради этого казалось бессмысленно. Выдернул из бороды щепоть волос и, перечислив в уме пропавшие покупки, стоимость кобылы, саней и хомутов, яростно выругался, еще ближе подошел к

полынье.

— Черт слепая!.. — дрожливым, стенящим голосом сказал он, обращаясь к утонувшей кобыле. — Курва! Сама утопла и меня было-к утопила! Куда ж тебя занесла нечистая сила?! Черти тебя там будут запрягать и ездить, а погонять им нечем!.. Нате ж вам и кнут!.. — Он отчаянно размахнулся, кинул на середку полыньи вишневое кнутовище.

Оно, блюкнув, торчмя воткнулось в воду, ушло вглубь.

XV

После того как калединцы потрепали революционные казачьи части, Донской ревком, вынужденный перебраться в Миллерово, отправил на имя руководителя боевыми операциями против Каледина и контрреволюционной Украинской рады декларацию следующего содержания:

Харьков. 19 января 1918 года. Из Луганска, N 449, 18 ч. 20 м. — Донской казачий Военно-революционный комитет просит вас передать в Петроград Совету Народных Комиссаров следующую резолюцию Донской области.

Казачий Военно-революционный комитет на основании постановления фронтового съезда в станице Каменской постановил:

1. Признать центральную государственную власть Российской Советской Республики, Центральный Исполнительный Комитет съезда Советов казачьих, крестьянских, солдатских и рабочих депутатов и выделенный им Совет Народных Комиссаров.

2. Создать краевую власть Донской области из съезда Советов казачьих, крестьянских и рабочих депутатов.

Примечание: Земельный вопрос Донской области разрешается тем же областным съездом.

После получения этой декларации на помощь войскам ревкома двинулись красногвардейские отряды, при помощи которых и был разгромлен карательный отряд Чернецова и восстановлено положение. Инициатива перешла в руки ревкома. После взятия Зверева, Лихой красногвардейские отряды Саблина и Петрова, подкрепленные казачьими частями ревкома, развивают наступление и теснят противника к Новочеркасску.

На правом фланге, в направлении Таганрога, Сиверс [54], понесший под Неклиновкой поражение от добровольческого отряда полковника Кутепова, оказался в Амвросиевке, потеряв одно орудие, двадцать четыре пулемета и броневик. Но в Таганроге, в день поражения и отхода Сиверса, полыхнуло восстание на Балтийском заводе. Рабочие выбили из города юнкеров. Сиверс оправился, перешел в наступление, — развивая его, оттеснил добровольцев до Таганрога.

Успех явно клонился на сторону советских войск. С трех сторон замыкали они Добровольческую армию и остатки калединских «лоскутных» отрядов. 28 января Корнилов прислал Каледину телеграмму, извещавшую о том, что Добровольческая армия покидает Ростов и уходит на Кубань.

29-го, в девять часов утра, в атаманском дворце было созвано экстренное совещание членов донского правительства. Каледин пришел из своей квартиры позже всех. Он тяжело присел к столу, подвинул к себе бумаги. Верхушки щек его пожелтели от бессонницы, под выцветшими угрюмыми глазами лежали синие тени; словно тлен тронул и изжелтил его похудевшее лицо. Медленно прочитал он телеграмму Корнилова, сводки от командиров частей, противостоящих на севере от Новочеркасска натиску красногвардейцев. Тщательно

утюжа кипку телеграмм широкой белой ладонью, не поднимая опухших, затененных синью век, глухо сказал:

— Добровольческая армия уходит. Для защиты области и Новочеркасска осталось сто сорок семь штыков…

Живчик подергал у него веко левого глаза, судорога наплыла от угла сжатых губ; повысив голос, он продолжал:

— Положение наше безнадежно. Население не только нас не поддерживает, но настроено к нам враждебно. Сил у нас нет, и сопротивление бесполезно. Я не хочу лишних жертв, лишнего кровопролития. Предлагаю сложить свои полномочия и передать власть в другие руки. Свои полномочия войскового атамана я с себя слагаю.

Митрофан Богаевский, глядевший в широкий пролет окна, поправил пенсне, не поворачивая головы, сказал:

— Я тоже слагаю с себя свои полномочия.

— Правительство в целом, разумеется, тоже слагает полномочия. Встает вопрос — кому же мы передадим власть?

— Городской думе, — сухо ответил Каледин.

— Надо это оформить, — нерешительно заметил член правительства Карев.

Минуту тяжело и неловко молчали. Матовый свет январского пасмурного утра томился за вспотевшими окнами. Город, завуалированный туманом и инеем, дремно молчал. Слух не прощупывал обычного пульса жизни. Орудийный гул (отголоски боев, шедших где-то под станцией Сулин) мертвил движение, висел над городом глухой невысказанной угрозой.

За окнами сухо и четко кричали перелетавшие вороны. Они кружились над белой колокольней, как над падалью. На Соборной площади лиловый и свежий лежал снег. По нему редкий проходил пешеход да изредка проезжали извозчичьи сани, оставляя за собой темные нити проследка.

Изломав стылую тишину, Богаевский предложил составить акт о передаче власти городской думе.

— Надо бы совместно с ними собраться для передачи.

— В какое время удобней всего?

— Позднее, часа в четыре.

Члены правительства, словно обрадовавшись, что склепанная молчанием тишина распалась, начали обсуждать вопрос о передаче власти, о времени собрания. Каледин молчал, тихо и размеренно постукивал по столу выпуклыми ногтями. Под обвисшими бровями тускло, слюдяным блеском, туманились глаза. Безмерная усталь, отвращение, надрыв делали взгляд его отталкивающим и тяжелым.

Один из членов правительства, возражая кому-то, говорил нудно и долго, Каледин прервал его с тихим озлоблением:

— Господа, короче говорите! Время не ждет. Ведь от болтовни Россия погибла. Объявляю перерыв на полчаса. Обсудите и… потом поскорее надо кончить это.

Он ушел в свою квартиру. Члены правительства, разбившись на кучки, тихо разговаривали. Кто-то сказал о том, что Каледин плохо выглядит. Богаевский стоял у окна, до слуха его дошла фраза, произнесенная полушепотом:

— Для такого человека, как Алексей Максимович, самоубийство — единственный приемлемый выход.

Богаевский вздрогнул, быстрыми шагами направился в квартиру Каледина. Вскоре он вернулся в сопровождении атамана.

Решено было собраться в четыре часа совместно с городской думой для передачи ей

власти и акта. Каледин встал, за ним поднялись остальные. Прощаясь с одним из матерых членов правительства, Каледин следил глазами за Яновым, о чем-то шептавшимся с Каревым.

— В чем дело? — спросил он.

Янов подошел немного смущенный:

— Члены правительства — неказачья часть — просят о выдаче им денег на проезд.

Каледин сморщился, кинул жестко:

— Денег у меня нет… Надоело!

Стали расходиться. Богаевский, слышавший этот разговор, отозвал Янова в сторону:

— Пойдемте ко мне. Скажите Светозарову, чтобы он подождал в вестибюле.

Они вышли следом за быстро шагавшим ссутулившимся Калединым. У себя в комнате Богаевский вручил Янову пачку денег.

— Здесь четырнадцать тысяч. Передайте тем.

Светозаров, ожидавший Янова в вестибюле, принял деньги, поблагодарил и, распрощавшись, направился к выходу. Янов, принимая из рук швейцара шинель, услыша шум на лестнице, оглянулся. По лестнице прыжками спускался адъютант Каледина — Молдавский.

— Доктора! Скорее!!

Швырнув шинель, Янов кинулся к нему. Дежурный адъютант и ординарцы, толпившиеся в вестибюле, окружили сбежавшего вниз Молдавского.

— В чем дело?! — крикнул, бледнея, Янов.

— Алексей Максимович застрелился! — Молдавский зарыдал, грудью упал на перила лестницы.

Выбежал Богаевский; губы его дрожали, как от страшного холода, — он заикался.

— Что? Что?

По лестнице, толпой, опережая друг друга, бросились наверх. Гулко и дроботно звучали шаги бежавших. Богаевский, хлебая раскрытым ртом воздух, хрипло дышал. Он первый с громом откинул дверь, через переднюю пробежав в кабинет. Дверь из кабинета в маленькую комнату была широко распахнута. Оттуда полз и курился прогорклый сизый дымок, запах сожженного пороха.

— Ох! ох! А-а-а-ха-ха!.. Але-о-оша!.. Родно-о-оой… — слышался неузнаваемо-страшный, раздавленный голос жены Каледина.

Богаевский, как при удушье, разрывая на себе ворот сорочки, вбежал туда. У окна, вцепившись в тусклую золоченую ручку, горбатился Карев. На спине его под сюртуком судорожно сходились и расходились лопатки, он крупно, редко дрожал. Глухое, воюще-звериное рыдание взрослого чуть не выбило из-под ног Богаевского почву.

На походной офицерской койке, сложив на груди руки, вытянувшись, лежал на спине Каледин. Голова его была слегка повернута набок, к стене; белая наволочка подушки оттеняла синеватый влажный лоб и прижатую к ней щеку. Глаза сонно полузакрыты, углы сурового рта страдальчески искривлены. У ног его билась упавшая на колени жена. Вязкий одичавший голос ее был режуще остр. На койке лежал кольт. Мимо него извилисто стекала по сорочке тонкая и веселая чернорудая струйка.

Возле койки на спинке стула аккуратно повешен френч, на столике — часы-браслет.

Криво качнувшись, Богаевский упал на колени, ухом припал к теплой и мягкой груди. Пахло крепким, как уксус, мужским потом. Сердце Каледина не билось. Богаевский — вся жизнь его в этот момент ушла в слух, — несказанно жадно прислушивался, но слышал только четкое тиканье лежавших на столике ручных часов, хриплый, захлебывающийся голос жены мертвого уже атамана да через окно — обрекающее, надсадное и звучное карканье ворон.

XVI

Черные глаза Анны, блещущие слезами и улыбкой, увидел Бунчук, как только в первый раз открыл глаза.

Три недели был он в бредовом беспамятстве. Три недели странствовал в ином, неосязаемом и фантастическом мире. Сознание вернулось к нему вечером двадцать четвертого декабря. Он долго смотрел на Анну серьезным затуманенным взглядом, пытался восстановить в памяти все, что было связано с ней; это удалось ему лишь отчасти — память была туга, неподатлива, многое пока еще хоронила где-то в глубине.

— Дай мне пить… — по-прежнему издалека донесся до слуха собственный его голос, и от этого стало весело; Бунчук улыбнулся.

Анна стремительно пошла к нему; она вся светилась скупой, сдержанной улыбкой.

— Пей из моей руки. — Она отстранила вяло тянувшуюся к кружке руку Бунчука.

Дрожа от усилий поднять голову, напился и устало отвалился на подушку. Долго смотрел в сторону, хотел что-то сказать, но слабость осилила — задремал.

И опять, как и в первый раз, проснувшись, увидел прежде всего устремленные на него встревоженные глаза Анны, потом шафранный свет лампы, белый круг от нее на дощатом некрашеном потолке.

— Аня, поди ко мне.

Она подошла, взяла его за руку. Он ответил слабым пожатием.

— Как ты себя чувствуешь?

— Язык чужой, голова чужая, ноги тоже, а самому будто двести лет, — тщательно выговаривал он каждое слово. Помолчав, спросил: — Тиф у меня?

— Тиф.

Повел глазами по комнате, невнятно сказал:

— Где это?

Она поняла вопрос, улыбнулась:

— В Царицыне мы.

— А ты… как же?

— Я одна осталась с тобой. — И, словно оправдываясь или стараясь отвести какую-то невысказанную им мысль, заспешила: — Тебя нельзя было бросить у посторонних. Меня просил Абрамсон и товарищи из бюро, чтобы берегла тебя… Вот видишь, пришлось неожиданно ходить за тобой.

Он поблагодарил взглядом, слабым движением руки.

— Крутогоров?

— Уехал через Воронеж в Луганск.

— Геворкяна?

— Тот… видишь ли… он умер от тифа.

— О!..

Помолчали, словно чтя память покойного.

— Я боялась за тебя. Ты ведь был очень плох, — тихо сказала она.

— А Беговой?

— Всех потеряла из виду. Некоторые уехали в Каменскую. Но, послушай, тебе не вредно говорить? И потом, не хочешь ли молока?

Бунчук отрицательно качнул головой; с трудом владея языком, продолжал расспрашивать:

— Абрамсон?

— Уехал в Воронеж неделю назад.

Он неловко ворохнулся — закружилась голова, больно хлынула к глазам кровь. Почувствовав на лбу прохладную ладонь, открыл глаза. Его мучил один вопрос: он был без сознания — кто же выполнял за ним грязный уход? Неужели она? Румянец чуть окрасил его щеки; спросил:

— Ты одна ухаживала за мной?

— Да, одна.

Он отвернулся к стене, прошептал:

— Стыдно им… Мерзавцы! Бросили на твое попечение…

Осложнение после тифа сказывалось на слухе: Бунчук плохо слышал. Врач, присланный Царицынским комитетом партии, сказал Анне, что к лечению можно будет приступить только после того, как больной окончательно оправится. Бунчук выздоравливал медленно. Аппетит был у него чудовищный, но Анна строго придерживалась диеты. На этой почве происходили у них столкновения.

— Дай мне еще молока, — просил Бунчук.

— Больше нельзя.

— Я прошу — дай! Что ты меня, голодом хочешь уморить?

— Илья, ты же знаешь, что больше меры я не могу дать тебе еды.

Он обиженно замолкал, отворачивался к стенке, вздыхал, подолгу не разговаривал. Страдая от жалости к нему, она выдерживала характер. Спустя некоторое время он, нахмуренный, и от этого еще более жалкий, поворачивался, просил умоляюще:

— Нельзя ли соленой капусты? Ну, пожалуйста, Аня, родная!.. Ты мне уважь… Вредно?.. Докторские басни!

Натыкаясь на решительный отказ, он иногда обижал ее резким словом:

— Ты не имеешь права так издеваться надо мной! Я сам позову хозяйку и спрошу у нее! Ты бессердечная и отвратительная женщина!.. Право, я начинаю тебя ненавидеть.

— Это лучшая расплата за то, что я перенесла, будучи твоей нянькой, — не выдерживала и Анна.

— Я тебя не просил оставаться возле меня! Бесчестно попрекать меня этим. Ты пользуешься своим преимуществом. Ну, да ладно… Не давай мне ничего! Пусть я издохну… Велика жалость!

У нее дрожали губы, но она сдерживалась, замолкала; потворствуя ему, терпеливо сносила все.

Раз только после одной, особенно резкой перебранки, когда она отказала ему в лишней порции пирожков, Бунчук отвернулся, и она, со сжавшимся в комочек сердцем, заметила на его глазах блестки слез.

— Да ты просто ребенок! — воскликнула она.

Побежав на кухню, принесла полную тарелку пирожков.

— Ешь, ешь, Илюша, милый! Ну, полно, не сердись же! На вот этот, поджаренный! — И дрожащими руками совала в его руки пирожок.

Бунчук, глубоко страдая, попробовал отказываться, но не выдержал; вытирая слезы, сел и взял пирожок. По исхудавшему лицу его, густо обросшему курчавой мягкой бородой, скользнула виноватая улыбка, сказал, выпрашивая глазами прощение:

— Я хуже ребенка… Ты видишь: я чуть не заплакал…

Она глядела на его странно тонкую шею, на впалую бестелесную грудь, видневшуюся в распахнутый ворот рубашки, на костистые руки; волнуемая глубокой, не испытанной раньше любовью и жалостью, в первый раз просто и нежно поцеловала его сухой желтый лоб.

Только через две недели был он в состоянии без посторонней помощи передвигаться по комнате. Высохшие в былку ноги подламывались; он заново учился ходить.

— Смотри, Анна, иду! — пытался пройтись независимо и быстро, но ноги не выдерживали тяжести тела, рвался из-под ступней пол.

Вынужденный прислониться к первой попавшейся опоре. Бунчук широко, как старик, улыбался, кожа на прозрачных щеках его туго натягивалась, морщинилась. Он смеялся старчески дребезжащим смешком и, обессилев от напряжения и смеха, снова падал на койку.

Квартира их была неподалеку от пристани. Из окна виднелся снеговой размет Волги, леса за ней — широким серым полудужьем, мягкие волнистые очертания дальних полей. Анна подолгу простаивала около окна, думая о своей диковинной, круто переломившейся жизни. Болезнь Бунчука странно сроднила их.

Вначале, когда после долгой, мучительной дороги приехала с ним в Царицын, было тяжко, горько до слез. В первый раз пришлось ей так близко и так оголенно взглянуть на изнанку общения с любимым. Стиснув зубы, меняла на нем белье, вычесывала из горячей головы паразитов, переворачивала каменно-тяжелое тело и, содрогаясь, с отвращением смотрела украдкой на его голое исхудавшее тело мужчины — на оболочку, под которой чуть теплилась дорогая жизнь. Внутренне все вставало в ней на дыбы, противилось, но грязь наружного не пятнила хранившегося глубоко и надежно чувства. Под его властный указ научилась преодолевать боль и недоумение. И преодолела. Под конец было лишь сострадание да бился, просачиваясь наружу, глубинный родник любви.

Раз как-то Бунчук сказал:

— Я тебе противен после всего этого… правда?

— Это было испытание.

— Чему? Выдержке?

— Нет, чувству.

Бунчук отвернулся и долго не мог унять дрожь губ. Больше разговоров на эту тему у них не было. Лишними и бесцветными были бы слова.

В середине января они выехали из Царицына в Воронеж.

XVII

Шестнадцатого января вечером Бунчук и Анна приехали в Воронеж. Пробыли там два дня и выехали на Миллерово, так как в день отъезда были получены вести, что туда перебрались Донской ревком и верные ему части, вынужденные под давлением калединцев очистить Каменскую.

В Миллерове было суетно и людно. Бунчук задержался там на несколько часов и со следующим поездом выехал в Глубокую. На другой день он принял пулеметную команду, а утром следующего дня был уже в бою с чернецовским отрядом.

После того как Чернецова разбили, им неожиданно пришлось расстаться. Прибежала Анна утром из штаба оживленная и чуть опечаленная.

— Ты знаешь — здесь Абрамсон. Он очень хочет повидать тебя. А потом еще новость — сегодня я уезжаю.

— Куда?! — удивился Бунчук.

— Абрамсон, я и еще несколько товарищей едем в Луганск на агитационную работу.

— Ты бросаешь отряд? — холодновато спросил Бунчук.

Она засмеялась, прижимаясь к нему раскрасневшимся лицом.

— Признайся: тебя печалит не то, что бросаю отряд, а то, что тебя бросаю? Но ведь это на время. Я уверена, что на той работе я принесу больше пользы, чем около тебя. Агитация, пожалуй, больше в моей специальности, чем пулеметное дело… — и шаловливо повела глазом, — изученное хотя бы под руководством такого опытного командира, как Бунчук.

Вскоре пришел Абрамсон. Он по-прежнему был кипуч, деятелен, непоседлив, так же сверкал белым пятном седины на жуковой, как осмоленной, голове. Бунчук искренне обрадовался.

— Поднялся на ноги? Оч-чень хорошо! Анну мы забираем. — И догадливо-намекающе сощурился: — Ты не возражаешь? Не возражаешь? Да-да… Да-да, оччень хорошо! Я оттого задаю такой вопрос, что вы, вероятно, сжились в Царицыне.

— Не скрываю, что мне жаль с ней расставаться. — Бунчук хмуро и натянуто улыбнулся.

— Жаль?! Уже и этого много… Анна, ты слышишь?

Он походил по комнате, на ходу поднял из-за сундука запыленный томик Гарина-Михайловского и, встрепенувшись, начал прощаться.

— Ты скоро, Анна?

— Иди. Я сейчас, — ответила та из-за перегородки.

Переменив белье, она вышла. На ней была подпоясанная ремнем защитная солдатская гимнастерка с карманами, чуть оттопыренными грудью, и та же черная юбка, местами заштопанная, но чистая безукоризненно. Тяжелые, недавно вымытые волосы пушились, выбивались из узла. Она надела шинель; затягивая пояс, спросила (недавнее оживление ее исчезло, и голос был тускл, просящ):

— Ты будешь участвовать в наступлении сегодня?

— Ну, конечно! Ведь не буду же я сидеть сложа руки.

— Я прошу тебя… Послушай, будь осторожен! Ты сделаешь это ради меня? Да? Я оставлю тебе лишнюю пару шерстяных чулок. Не простудись, старайся не промочить ног. Из Луганска я напишу тебе.

У нее как-то сразу выцвели глаза; прощаясь, призналась:

— Вот видишь, мне очень больно уходить от тебя. Вначале, когда Абрамсон предложил ехать в Луганск, я оживилась, а сейчас чувствую, что без тебя там будет пустынно. Лишнее доказательство, что чувство сейчас излишне — оно вяжет… Ну, как бы то ни было, прощай!..

Прощались сдержанно-холодно, но Бунчук понял это так, как и надо было понять: она боялась растерять запас решимости.

Он вышел проводить. Анна пошла, суетливо поводя плечами, не оглядываясь. Ему хотелось окликнуть ее, но он заметил, прощаясь, в ее чуть косящем, затуманенном взгляде чрезмерный и влажный блеск; насилуя волю, крикнул с поддельной бодростью:

— Надеюсь, увидимся в Ростове! Будь здорова, Аня!

Анна оглянулась, ускорила шаг.

После ее ухода Бунчук со страшной силой почувствовал одиночество. Он вернулся с улицы в комнату, но сейчас же выскочил оттуда, как обожженный… Там каждый предмет еще дышал ее присутствием, каждая вещь хранила ее запах: и забытый носовой платок, и солдатский подсумок, и медная кружка — все, к чему прикасались ее руки.

Бунчук до вечера прослонялся по станции, испытывая небывалое беспокойство и такое ощущение, словно отрезали у него что-то и он никак не освоится в новом своем положении. Растерянно присматривался он к лицам незнакомых красногвардейцев и казаков, некоторых узнавал, многие узнавали его.

В одном месте его остановил казак, сослуживец по германской войне. Он затащил Бунчука к себе на квартиру, пригласил принять участие в игре. За столом дулись в «очко»

красногвардейцы из отряда Петрова и недавно прибывшие матросы-мокроусовцы. Одетые табачным дымом, они звонко буцали картами, шуршали керенскими деньгами, ругались, бесшабашно кричали. Бунчука потянуло на воздух, вышел.

Выручило его то, что через час пришлось идти в наступление.

XVIII

После смерти Каледина Новочеркасская станица вручила власть походному атаману Войска Донского генералу Назарову. 29 января съехавшимися на Круг делегатами он был избран войсковым наказным атаманом. На Круг собралась незначительная часть делегатов, преимущественно представители низовских станиц южных округов. Круг именовался Малым. Назаров, заручившись поддержкой Круга, объявил мобилизацию от восемнадцати до пятидесяти лет, но казаки неохотно брались за оружие, несмотря на угрозы и высылку в станицы вооруженных отрядов для производства мобилизации.

В день начала работ Малого круга в Новочеркасск с румынского фронта походным порядком пришел 6-й Донской казачий генерала Краснощекова полк, под командой войскового старшины Тацина. Полк от самого Екатеринослава шел с боями, прорывая большевистское кольцо. Его трепали под Пятихаткой, Межевой, Матвеевым Курганом и во многих местах, но, несмотря на это, он прибыл почти в полном составе, при всех офицерах.

Полку была устроена торжественная встреча. После молебствия на Соборной площади Назаров благодарил казаков за то, что сохранили дисциплину, блестящий порядок и с оружием пришли на защиту Дона.

Вскоре полк был отправлен на фронт, под станцию Сулин, а через два дня пришли в Новочеркасск черные вести: полк под влиянием большевистской агитации самовольно ушел с позиций и отказался защищать войсковое правительство.

Работа Круга шла вяло. Предрешенность исхода борьбы с большевиками чувствовалась всеми. Во время заседаний Назаров — этот энергичный, кипучий генерал — сидел, опершись на руку, закрыв ладонью лоб, словно мучительно о чем-то думая.

Рушились трухой последние надежды. Красная гвардия подступила к Новочеркасску и Ростову. Уже погромыхивало под Тихорецкой. Слухи шли, что движется из Царицына к Ростову красный командир хорунжий Автономов.

Ленин приказал Южному фронту 23 февраля [55] взять Ростов.

Утром двадцать второго в Ростов вошел отряд капитана Чернова, теснимый Сиверсом и с тыла обстреливаемый казаками Гниловской станицы.

Крохотная оставалась перемычка, и Корнилов, понявший, что оставаться в Ростове небезопасно, отдал приказ об уходе на станицу Ольгинскую. Весь день по вокзалу и офицерским патрулям постреливали с Темерника рабочие. Перед вечером из Ростова выступила густая колонна корниловских войск. Она протянулась через Дон жирной черной гадюкой — извиваясь, поползла на Аксай. По обрыхлевшему мокрому снегу грузно шли куценькие роты. Мелькали гимназические шинели со светлыми пуговицами, зеленоватые — реалистов, но в массе преобладали солдатско-офицерские. Взводы вели полковники и капитаны. В рядах были юнкера и офицеры, начиная с прапорщиков, кончая полковниками. За многочисленными подводами обоза шли беженцы — пожилые, солидные люди, в городских пальто, в калошах. Женщины семенили около подвод, застревая в глубоком снегу, вихляясь на высоких каблуках.

В одной из рот Корниловского полка шел есаул Евгений Листницкий. В ряду с ним —

подтянутый строевой офицер, штабс-капитан Старобельский, поручик Суворовского Фанагорийского гренадерского полка Бочагов и подполковник Ловичев — престарелый, беззубый, боевой офицер, весь, как матерый лисовин, покрытый рыжей проседью.

Накапливались сумерки. Морозило. От устья Дона, солоноватый и влажный, подпирал ветер. Листницкий привычно, не теряя ноги, месил растолченный снег, вглядывался в лица обгонявших роту людей. Сбоку от дороги прошли командир Корниловского полка капитан Неженцев и бывший командир Преображенского гвардейского полка полковник Кутепов, в распахнутой шинели и сбитой на крутой затылок фуражке.

— Господин командир! — окликнул Неженцева подполковник Ловичев, ловко перехватывая винтовку.

Кутепов повернул широколобое, бычье лицо с широко посаженными черными глазами и подстриженной лопатистой бородкой; из-за его плеча выглянул на окрик Неженцев.

— Прикажите первой роте прибавить шаг! Ведь этак и замерзнуть не мудрено. Мы промочили ноги, а такой шаг на походе…

— Безобразие! — затрубил горластый и шумоватый Старобельский.

Неженцев, не отвечая, прошел мимо. Он о чем-то спорил с Кутеповым. Немного спустя опередил их Алексеев. Кучер гнал сытых вороных, с подвязанными хвостами лошадей; из-под копыт брызгали кругом снежные ошлепки. Красный от ветра Алексеев, с белыми приподнятыми усами и торчевыми, такими же белыми бровями, по самые уши натянул фуражку, сидел, бочком привалясь к спинке коляски, зябко придерживая левой рукой воротник. Офицеры улыбками проводили его знакомое всем лицо.

На взрыхленной множеством ног дороге кое-где просачивались желтые лужи. Идти было тяжело — ноги разъезжались, сырость проникала в сапоги Листницкий, шагая, прислушивался к разговору впереди. Какой-то баритонистый офицер, в меховой куртке и простой казачьей папахе, говорил:

— Вы видели, поручик? Председатель Государственной думы Родзянко, старик — и идет пешком.

— Россия всходит на Голгофу…

Кашляя и с хрипом отхаркивая мокроту, кто-то пробовал иронизировать:

— Голгофа… с той лишь разницей, что вместо кремнистого пути — снег, притом мокрый, плюс чертовский холодище.

— Не знаете, господа, где ночевка?

— В Екатеринодаре.

— В Пруссии мы однажды такой вот поход ломали…

— Как-то нас приветит Кубань?.. Что?.. Разумеется, там иное дело.

— У вас есть курить? — спросил у Листницкого поручик Головачев.

Он снял грубую варежку, взял папиросу, поблагодарил и, высморкавшись по-солдатски, вытер пальцы о полу шинели.

— Усваиваете демократические манеры, поручик?.. — тонко улыбнулся подполковник Ловичев.

— Поневоле усвоишь… Вы-то… или дюжиной носовых платков запаслись?

Ловичев не ответил. На красносединных усах его висели зеленоватые сосульки. Он изредка шморгал носом, морщился от холода, проникавшего сквозь подбитую ветром шинель.

«Цвет России», — думал Листницкий, с острой жалостью оглядывая ряды и голову колонны, ломано изогнувшейся по дороге.

Проскакало несколько всадников, среди них — на высоком донце Корнилов. Его светло-

зеленый полушубок, с косыми карманами по бокам, и белая папаха долго маячили над рядами. Густым рыкающим «ура» провожали его офицерские батальоны.

— Все бы это ничего, да вот семья… — Ловичев по-стариковски покряхтел, сбоку заглянул в глаза Листницкого, как бы ища сочувствия. — Семья осталась у меня в Смоленске… — повторил он. — Жена и дочушка — девушка. На рождество исполнилось ей семнадцать лет… Каково это, есаул?

— Да-а-а…

— Вы тоже семейный? Из Новочеркасска?

— Нет, я Донецкого округа. У меня отец остался.

— Не знаю, что с ними… Как они там без меня, — продолжал Ловичев.

Его с раздражением перебил Старобельский:

— У всех семьи остались. Не понимаю: чего вы хнычете, подполковник? Уди-ви-тельный народ! Не успели выйти из Ростова…

— Старобельский! Петр Петрович! Вы были в бою под Таганрогом? — крикнул кто-то сзади, через ряд.

Старобельский повернулся раздраженным лицом, пасмурно улыбнулся:

— А… Владимир Георгиевич, вы какими судьбами в наш взвод? Перевелся? С кем не поладил? Ага… ну, это понятно… Вы спрашиваете про Таганрог? Да, был… а что? Совершенно верно… убили его.

Листницкий, невнимательно прислушиваясь к разговору, вспоминал свой отъезд из Ягодного, отца, Аксинью. Его душила внезапно задымившаяся на сердце тоска. Он вяло переставлял ноги, смотрел на колыхавшиеся впереди стволы винтовок с привинченными штыками, на головы в папахах, фуражках и башлыках, раскачивавшиеся в ритм шагу, думал:

«Такой вот, как у меня, заряд ненависти и беспредельной злобы несет сейчас каждый из этих пяти тысяч, подвергнутых остракизму. Выбросили, сволочи, из России — и здесь думают растоптать. Посмотрим!.. Корнилов выведет нас к Москве!»

В эту минуту он вспомнил приезд Корнилова в Москву и с радостью перешел на воспоминания того дня.

Где-то недалеко, позади, наверное в хвосте роты, шла батарея. Пофыркивали лошади, громыхали барки, даже запах конского пота доносило оттуда. Листницкий сразу почувствовал этот знакомый волнующий запах, повернул голову, передний ездовой, молодой прапорщик, посмотрел на него и улыбнулся, как знакомому.

К 11 марта Добровольческая армия была сосредоточена в районе станицы Ольгинской. Корнилов медлил с выступлением, ожидая приезда в Ольгинскую походного атамана Войска Донского генерала Попова, ушедшего из Новочеркасска в задонские степи со своим отрядом, насчитывавшим около 1600 сабель, при 5 орудиях и 40 пулеметах.

Утром 13-го Попов, сопутствуемый своим начальником штаба полковником Сидориным и несколькими казачьими офицерами конвоя, прискакал в Ольгинскую.

На плацу, возле дома, занятого Корниловым, он осадил коня; придерживаясь за луку, тяжело перенес через седло ногу. Его поддержал подскочивший вестовой — молодой черночубый казак со смуглым лицом и острыми, как у чибиса, глазами. Попов кинул ему поводья, степенным шагом пошел к крыльцу. Сидорин и офицеры, спешившись, последовали за ним. Вестовые через калитку ввели во двор коней. Пока один из вестовых, пожилой, колченогий, навешивал торбы, другой, черночубый, похожий на чибиса, уже завязал знакомство с хозяйской работницей. Он что-то сморозил ей; работница — румяная девка, в кокетливо повязанном платке и глубоких калошах, насунутых на босые ноги, — смеясь и оскальзаясь, прошлепала мимо него по луже к сараю.

Осанистый, пожилой Попов вошел в дом. В передней сдал на руки расторопному вестовому шинель, повесил на вешалку плеть, долго и звучно сморкался. Вестовой проводил его и Сидорина, на ходу приглаживавшего волосы, в зал.

Созванные на совещание генералы были в сборе. Корнилов сидел за столом, облокотившись на разостланную карту; по правую руку от него белел сединой сухонький и пряменький, свежевыбритый Алексеев. Деникин, поблескивая умными колючими глазами, о чем-то говорил с Романовским. Лукомский, отдаленно похожий на Деникина, медленно ходил по комнате, щипал бородку. Марков стоял у окна во двор, наблюдая, как вестовые казаки похаживают около коней и пересмеиваются с девкой-работницей.

Поздоровавшись, прибывшие подошли к столу. Алексеев задал несколько малозначащих вопросов о дороге и эвакуации Новочеркасска. Вошел Кутепов, с ним несколько строевых офицеров, приглашенных Корниловым на совещание.

Глядя в упор на Попова, усаживавшегося со спокойной уверенностью, Корнилов спросил:

— Скажите, генерал, численность вашего отряда?

— Полторы тысячи сабель, батарея, сорок пулеметов с прислугой.

— Обстоятельства, понудившие Добровольческую армию уйти из Ростова, вам известны. Вчера у нас был совет. Принято решение идти на Кубань, имея направление на Екатеринодар, в окрестностях которого действуют добровольческие отряды. Мы двинемся этим маршрутом… — Корнилов провел по карте неочиненным концом карандаша, заговорил торопливей: — По пути увлекая кубанское казачество, дробя те малочисленные, неорганизованные и небоеспособные красногвардейские отряды, которые попытаются воспрепятствовать нашему движению. — Он глянул на сощуренный, отведенный взгляд Попова, докончил: — Мы предлагаем вам присоединиться с вашим отрядом к Добровольческой армии и совместно с нами идти на Екатеринодар. Дробить силы — не в наших интересах.

— Я не могу этого сделать! — решительно и круто заявил Попов.

Алексеев чуть склонился в его сторону:

— Почему, разрешите спросить?

— Потому, что я не могу покинуть территорию Донской области и идти куда-то на Кубань. Прикрываясь с севера Доном, мы в районе зимовников переждем события. На активные действия противника нельзя рассчитывать ввиду того, что не сегодня-завтра начнется оттепель — переправить через Дон не только артиллерию, но и конницу будет невозможно, а из района зимовников, весьма обеспеченного фуражом и хлебом, мы в любое время и в любом направлении можем развить партизанские действия.

Попов с веской уверенностью приводил доводы, отклоняющие предложение Корнилова. Он передохнул и, видя, что Корнилов хочет что-то сказать, упрямо мотнул головой:

— Позвольте докончить… Помимо этого есть еще один сугубой важности фактор, и мы, командование, его учитываем: это — настроение наших казаков. — Он вытянул мясистую белую руку с золотым кольцом, всосавшимся в мякоть указательного пальца; чуть повысив голос, оглядывая всех, продолжал: — В том случае, если мы повернем на Кубань, явится опасность распадения отряда. Казаки могут не пойти. Не надо забывать того обстоятельства, что постоянный и наиболее крепкий контингент моего отряда — казаки, а они вовсе не так устойчивы морально, как… хотя бы ваши части. Они просто несознательны. Не пойдут — и все. А рисковать потерей всего отряда я не могу, — отчеканил Попов и вновь перебил Корнилова: — Прошу прощенья, я высказал вам наше решение и смею уверить вас, что изменить его мы не в состоянии. Разумеется, дробить силы не в наших интересах, но из

создавшегося положения есть один выход. Я полагаю, что, исходя из соображений, высказанных сейчас мною, Добровольческой армии было бы благоразумней идти не на Кубань — настроения кубанского казачества вселяют в меня немалые тревоги, — а вместе с донским отрядом — в задонские степи. Там она оправится, пользуясь передышкой, к весне пополнится новыми кадрами волонтеров из России…

— Нет! — воскликнул Корнилов, вчера еще склонявшийся к тому, чтобы идти в задонские степи и упорно оспаривавший противоположное мнение Алексеева. — Нет смысла идти в зимовники. Нас около шести тысяч человек…

— Если вопрос о продовольствии, то смею вас уверить, ваше высокопревосходительство, район зимовников не оставляет желать лучшего. Притом там вы можете взять у частных коннозаводчиков лошадей и посадить часть армии на коней. У вас будут новые шансы при ведении полевой маневренной войны. Конница вам необходима, а Добровольческая армия ею не богата.

Корнилов, в этот день особенно предупредительный к Алексееву, посмотрел на него. Он, по всей вероятности, колебался в выборе направления, искал поддержки у чужого авторитета. Алексеева выслушали с большим вниманием. Старый генерал, привыкший кратко, исчерпывающе-ясно разрешать задачи, в нескольких спрессованных фразах высказался в пользу похода на Екатеринодар.

— В данном направлении нам легче всего прорвать большевистское кольцо и соединиться с отрядом, действующим под Екатеринодаром, — закончил он.

— А если это не удастся, Михаил Васильевич? — осторожно спросил Лукомский.

Алексеев пожевал губами, повел рукою по карте.

— Даже если предположить неудачу, то у нас останется возможность дойти до Кавказских гор и распылить армию.

Его поддержал Романовский. Несколько горячих слов сказал Марков. Тяжеловесным аргументом Алексеева будто бы и нечего было противопоставить, но слово взял Лукомский, выровнял весы.

— Я поддерживаю предложение генерала Попова, — заявил он, неспешно подбирая слова. — Поход на Кубань сопряжен с большими трудностями, учесть которые отсюда не представляется возможным. Прежде всего нам придется два раза пересекать железную дорогу…

По направлению его пальца к карте потянулись взгляды всех участников совещания. Лукомский напористо продолжал:

— Большевики не преминут встретить нас должным образом — они поведут бронированные поезда. У нас тяжелый обоз и масса раненых; оставить их мы не можем. Все это будет чрезвычайно обременять армию и препятствовать скорейшему ее продвижению. Затем мне непонятно, откуда создалась уверенность, что кубанское казачество настроено к нам дружелюбно? На примере донского казачества, тоже якобы тяготившегося властью большевиков, мы должны с архиосторожностью и с крупной дозой здорового скептицизма относиться к подобным слухам. Кубанцы болеют той же большевистской трахомой, которую занесли из прежней российской армии… Они могут быть враждебно настроенными. В заключение должен повторить, что мое мнение — идти на восток, в степи, и оттуда, накопив силы, грозить большевикам.

Поддерживаемый большинством своих генералов, Корнилов решил идти западнее Великокняжеской, пополнить на походе нестроевую часть армии конским составом и уже оттуда повернуть на Кубань. Распустив совещание, он перекинулся несколькими фразами с Поповым, — холодно попрощавшись с ним, вышел в свою комнату. За ним прошел Алексеев.

Начштаба донского отряда полковник Сидорин, звякая шпорами, вышел на крыльцо, сочно, обрадованно крикнул вестовым:

— Лошадей!

К крыльцу, придерживая шашку, ступая через лужи, подошел молодой светлоусый казачий сотник. Он остановился у нижней ступеньки, спросил шепотом:

— Что же, господин полковник?

— Неплохо! — с приподнятой бодростью вполголоса ответил Сидорин. — Наш отказался идти на Кубань. Сейчас выезжаем. Вы готовы, Изварин?

— Да, лошадей ведут.

Вестовые, посадившись, вели лошадей. Черночубый, похожий на чибиса, поглядывал на своего товарища.

— Хороша, что ль? — спрашивал он, прыская.

Пожилой сдержанно ухмылялся.

— Как конский лишай.

— А так, случаем, позвала бы?

— Оставь, дурак! Ноне ить великий пост.

Изварин, бывший сослуживец Григория Мелехова, вскочил на своего вислозадого, с лысиной во весь лоб, белоноздрого коня, приказал вестовым:

— Выезжайте на улицу.

Попов и Сидорин, прощаясь с кем-то из генералов, сошли с крыльца. Один из вестовых придержал коня, помог генеральской ноге найти стремя. Попов, помахивая казачьей неказистой плетью, тронул коня ходкой рысью, за ним зарысили, привстав на стременах и чуть валясь вперед, вестовые-казаки, Сидорин и офицеры.

В станице Мечетинской, куда прибыла Добровольческая армия через два перехода, Корнилов получил дополнительные сведения о районе зимовников. Сведения были отрицательного характера. Созвав командиров строевых частей, Корнилов объявил о принятом решении идти на Кубань.

К Попову был послан ординарец с вторичным предложением присоединиться. Ординарец-офицер догнал армию под участком Старо-Ивановским. Ответ, привезенный им от Попова, был тот же: Попов вежливо и холодно отказывался принять предложение, писал, что решение его не может быть изменено и что он остается пока в Сальском округе.

XIX

С отрядом Голубова, двинувшимся кружным путем для захвата Новочеркасска, выехал и Бунчук. Двадцать третьего февраля они выбрались из Шахтной, прошли станицу Раздорскую, к ночи были уже в Мелиховской. На следующий день с рассветом выехали из станицы.

Голубов вел отряд быстрым маршем. Впереди виднелась его коренастая фигура; плеть нетерпеливо падала на конский круп. Ночью прошли Бессергеневскую, дали чуть отдохнуть лошадям, и вновь в серой беззвездной ночи замаячили всадники, захрустел под копытами мерзлый ледок грунтовой дороги.

Возле Кривянской сбились с дороги, но сейчас же напали на свою. Забрезжила зорька, когда въезжали в Кривянскую. Станица была еще безлюдна. Возле площадки, у колодца, старик казак рубил в корыте лед. Голубов подъехал к нему, отряд остановился.

— Здорово, старик.

Казак медленно донес руку в варежке до папахи, ответил неприязненно:

— Здравствуйте.

— А что, дедушка, ушли ваши станичные казаки в Новочеркасск? Мобилизация была у вас?

Старик спешно поднял топор, пошел в ворота, не отвечая.

— Трогай! — отъезжая и ругаясь, крикнул Голубов.

В этот день Малый войсковой круг собирался эвакуироваться в станицу Константиновскую. Новый походный атаман Войска Донского, генерал Попов, уже вывел из Новочеркасска вооруженные силы, перевез войсковые ценности. Утром получены были сведения, что Голубов из Мелиховской идет по направлению на Бессергеневскую. Круг послал для переговоров с Голубовым об условиях сдачи Новочеркасска есаула Сиволобова. Следом за ним, не встретив сопротивления, в Новочеркасск ворвались конники Голубова. Сам Голубов, на взмыленном мокром коне, в сопровождении густой кучи казаков, галопом, подскакал к зданию Круга. Около подъезда толпилось несколько зевак, стоял вестовой, ожидая с оседланной лошадью Назарова.

Бунчук спрыгнул с коня, схватил ручной пулемет. Вместе с Голубовым и с толпой остальных казаков вбежал в здание Круга. На хляск распахнутой двери из просторного зала повернулись головы делегатов, густо забелели лица.

— Вста-а-ать! — напряженно, будто на смотру, скомандовал Голубов и, окруженный казаками, спотыкаясь от спешки, пошел к столу президиума.

Члены Круга, громыхая стульями, встали на властный окрик, один Назаров остался сидеть.

— Как вы смеете прерывать заседание Круга? — зазвенел его гневный голос.

— Вы арестованы! Молчать! — Голубов, багровея, подбежал к Назарову, рванул с плеча его генеральской тужурки погон, прорвался на хриплый визг: — Встать, тебе говорят! Бери его!.. Ты!.. Я кому говорю?! Золотопогонник!..

Бунчук в дверях устанавливал пулемет. Члены Круга толпились овечьей отарой. Мимо Бунчука казаки потащили Назарова, позеленевшего от страха председателя Круга Волошинова и еще несколько человек.

Гремя шашкой, следом шел бурый, в пятнах румянца, Голубов. Его за рукав схватил какой-то член Круга:

— Господин полковник, ваша милость, куда же нам?

— Мы свободны? — из-за его плеча высунулась скользкая, юркая голова другого.

— Идите к черту! — крикнул, отмахиваясь, Голубов и, уже поравнявшись с Бунчуком, повернулся к членам Круга, топнул ногой: — Ступайте к… мне не до вас! Ну!..

Его хриплый, обветренный голос долго еще перекатами ходил по залу.

Бунчук переночевал у матери, а на другой день, как только в Новочеркасске стало известно о взятии Сиверсом Ростова, отпросился у Голубова и наутро выехал туда верхом.

Два дня работал в штабе у Сиверса, который знал его, еще будучи редактором «Окопной правды», — наведывался в ревком — ни Абрамсона, ни Анны там не было. При штабе Сиверса организовался Революционный трибунал, творивший крутой суд и расправу над захваченными белогвардейцами. Бунчук день проработал, обслуживая нужды суда, участвуя в облавах, а на следующий, уже не надеясь, забежал в ревком — и еще с лестницы услышал знакомый голос Анны. Кровь кинулась ему в сердце, когда он, замедляя шаг, вошел во вторую комнату, откуда слышались чьи-то голоса и смех Анны.

В комнате, где в прежнее время помещалась комендантская, лохматился табачный дым. В углу за небольшим дамским столиком писал что-то человек в шинели без пуговиц, с развязанными наушниками солдатской папашки, кругом него толпились солдаты и штатские

в полушубках и пальто. Они, разбившись на кучки, курили, разговаривали. У окна спиной к двери стояла Анна, на подоконнике, скрещенными пальцами поддерживая колено своей согнутой ноги, сидел Абрамсон, рядом с ним, склонив голову набок, стоял высокий, латышской складки красногвардеец. Он отводил папиросу, топыря мизинец, и что-то рассказывал — по-видимому, смешное: откидываясь, сочно смеялась Анна, морщился от улыбки Абрамсон, ближние прислушивались, улыбаясь, а на крупном лице красногвардейца, в каждой, как топором вырубленной, черте жило и теплилось умное, острое и немножко злое.

Бунчук положил руку на плечо Анны:

— Здравствуй, Аня!

Она оглянулась. Краска залила ее лицо, хлынула по шее до ключиц, выжала из глаз слезы.

— Откуда ты? Абрамсон, посмотри! Вот он — как новый гривенник, а ты о нем беспокоился, — залепетала она, не поднимая глаз, и, не в силах овладеть смущением, отошла к двери.

Бунчук пожал горячую руку Абрамсона, перекинулся с ним несколькими фразами и, чувствуя на лице своем глупую, беспредельно счастливую улыбку, не отвечая на какой-то вопрос Абрамсона (он даже не понял смысла вопроса), пошел к Анне. Она оправилась, встретила его немного злой за свое смущение улыбкой.

— Ну, здравствуй еще раз. Как ты? Здоров? Когда приехал? Из Новочеркасска? Ты был в отряде Голубова? Вон как… Ну и что же?

Бунчук отвечал на вопросы, не сводя с нее неломкого, тяжеловесного взгляда. Ответный взгляд ее подламывался, скользил в сторону.

— Давай на минутку выйдем на улицу, — предложила Анна.

Их окликнул Абрамсон:

— Вы скоро придете? У меня к тебе, товарищ Бунчук, есть дело. Мы думаем использовать тебя на одной работе.

— Я приду через час.

На улице Анна прямо и мягко глянула в глаза Бунчуку, досадливо помахала рукой:

— Илья, Илья, как я нехорошо смутилась… Как девчонка! Это объясняется, во-первых, неожиданностью, во-вторых, нашим половинчатым положением. В сущности, кто мы с тобой? Идиллические «жених и невеста»? Знаешь, в Луганске у меня как-то Абрамсон спрашивает: «Ты живешь с Бунчуком?» Я опровергла, но он весьма наблюдательный парень и не мог не видеть того, что бросалось в глаза. Он ничего не сказал, но по глазам я видела — не верит.

— Рассказывай же про себя — что и как ты?

— О, мы там качнули дело! Сколотили целый отряд в двести одиннадцать штыков. Вели организационную и политическую работу… да разве все это расскажешь в двух словах? Я еще не могу опомниться от твоего появления. Где ты… ночуешь где? — прерывая разговор, спросила она.

— Тут… у товарища.

Бунчук замялся, сказав неправду: эти ночи проводил он в помещении штаба Сиверса.

— Ты сегодня же перейдешь к нам. Помнишь, где я живу? Ты провожал меня когда-то.

— Найду. Но… не стесню я твою семью?

— Оставь, никого ты не стеснишь и вообще об этом не говори.

Вечером Бунчук, забрав свои пожитки, умещавшиеся в просторной солдатской сумке, пришел в тот окраинный переулок, где жила Анна. На пороге небольшого кирпичного флигеля его встретила старуха. Лицо ее неясно напоминало Анну: тот же иссиня-черный блеск глаз, тот же с горбинкой нос, только кожа морщинистая и землистая, да провалившийся

рот пугает старостью.

— Вы — Бунчук? — спросила она.

— Да.

— Прошу вас, проходите. Дочь говорила мне о вас.

Она проводила Бунчука в маленькую комнату, указала, куда положить вещи, ревматически сведенным пальцем повела вокруг:

— Здесь вы уже будете жить. Койка эта вашей милости.

Она говорила с заметным еврейским акцентом. Кроме нее, в доме был небольшой подросток — девочка, тщедушная и такая же, как Анна, глубокоглазая.

Анна пришла спустя немного. Она внесла с собою шум и оживление.

— У нас никого не было? Бунчук не приходил?

Мать ответила ей что-то на родном языке, и Анна твердой скользящей походкой подошла к двери:

— К тебе можно?

— Да, да.

Бунчук, поднявшись со стула, пошел ей навстречу.

— Ну, как? Устроился?

Она довольным, смеющимся взглядом оглядела его, спросила:

— Ты что-нибудь ел? Пойдем туда.

За рукав гимнастерки ввела его в первую комнату, сказала:

— Это, мама, мой товарищ, — и улыбнулась. — Вы его не обижайте.

— Ну что ты, разве можно такое?.. Он — наш гость.

Ночью по Ростову стручками вызревшей акации лопались выстрелы. Изредка горланил пулемет, потом все стихало. И ночь, величавая, черная февральская ночь, вновь тишиной повивала улицы. Бунчук и Анна долго сидели в его строго опрятной комнатке.

— Здесь мы с сестренкой жили, — говорила Анна. — Видишь, как у нас скромно — как у монашек. Ни дешевых картин, ни фотографий, ничего такого, что бы приличествовало мне по положению гимназистки.

— Чем вы жили? — в разговоре спросил Бунчук.

И Анна не без внутренней гордости ответила:

— Я работала на Асмоловской фабрике и давала уроки.

— А теперь?

— Мама шьет. Им вдвоем мало надо.

Бунчук рассказывал подробности взятия Новочеркасска, боев под Зверевом и Каменской. Анна делилась впечатлениями о работе в Луганске и Таганроге.

В одиннадцать, как только мать потушила у себя огонь, Анна ушла.

XX

В марте Бунчук был послан на работу в Революционный трибунал при Донском ревкоме. Высокий, тусклоглазый, испитой от работы и бессонных ночей, председатель отвел его к окну своей комнаты, сказал, поглаживая ручные часы (он спешил на заседание):

— С какого года в партии? Ага, дельно. Так вот, ты будешь у нас комендантом. Прошлую ночь мы отправили в «штаб Духонина» своего коменданта… за взятку. Был форменный садист, безобразник, сволочь — таких нам не надо. Эта работа грязная, но нужно и в ней сохранить целеньким сознание своей ответственности перед партией, и ты только

пойми меня, как надо… — нажал он на эту фразу, — человечность сохранить. Мы по необходимости физически уничтожаем контрреволюционеров, но делать из этого цирк нельзя. Ты понимаешь меня? Ну, и хорошо. Иди, принимай дела.

В эту же ночь Бунчук с командой красногвардейцев в шестнадцать человек расстрелял в полночь за городом, на третьей версте, пятерых, приговоренных к расстрелу. Из них было двое казаков Гниловской станицы, остальные — жители Ростова.

Почти ежедневно в полночь вывозили за город на грузовом автомобиле приговоренных, наспех рыли им ямы, причем в работе участвовали и смертники, и часть красногвардейцев. Бунчук строил красногвардейцев, ронял чугунно-глухие слова:

— По врагам революции… — и взмахивал наганом, — пли!..

За неделю он высох и почернел, словно землей подернулся. Провалами зияли глаза, нервно мигающие веки не прикрывали их тоскующего блеска. Анна видела его лишь по ночам. Она работала в ревкоме, приходила домой поздно, но всегда дожидалась, когда знакомым отрывистым стуком в окно известит он о своем приходе.

Однажды Бунчук вернулся, как и всегда, за полночь. Анна открыла ему дверь, спросила:

— Ужинать будешь?

Бунчук не ответил: пьяно шатаясь, прошел в свою комнату и, как был в шинели, сапогах и шапке, повалился на кровать… Анна подошла к нему, заглянула в лицо: глаза его были липко зажмурены, на оскаленных плотных зубах искрилась слюна, редкие, вывалявшиеся от тифа волосы лежали на лбу мокрой прядью.

Она присела рядом. Жалость и боль когтили ее сердце. Спросила шепотом:

— Тебе тяжело, Илья?

Он стиснул ее руку, заскрипел зубами, отвернулся к стене. Так и уснул, не сказав ни слова, а во сне что-то невнятно и жалобно бормотал, силился вскочить. Она с ужасом заметила и содрогнулась от безотчетного страха: он спал с полузакрытыми, заведенными вверх глазами, из-под век воспаленно блестела желтизна выпуклых белков.

— Уйди оттуда! — просила его наутро. — Иди лучше на фронт! Ты ни на что не похож, Илья! Сгибнешь ты на этой работе.

— Замолчи!.. — крикнул он, моргая побелевшими от бешенства глазами.

— Не кричи. Я обидела тебя?

Бунчук потух как-то сразу, словно криком выплеснул скопившееся в груди бешенство. Устало рассматривая свои ладони, сказал:

— Истреблять человеческую пакость — грязное дело. Расстреливать, видишь ли, вредно для здоровья и души… Ишь ты… — в первый раз в присутствии Анны он безобразно выругался. — На грязную работу идут либо дураки и звери, либо фанатики. Так, что ли? Всем хочется ходить в цветущем саду, но ведь — черт их побери! — прежде чем садить цветики и деревца, надо грязь счистить! Удобрить надо! Руки надо измазать! — повышал он голос, несмотря на то что Анна, отвернувшись, молчала. — Грязь надо уничтожить, а этим делом брезгают!.. — уже кричал Бунчук, грохая кулаком по столу, часто мигая налитыми кровью глазами.

В комнату заглянула мать Анны, и он, опомнившись, заговорил тише:

— Я не уйду с этой работы! Тут я вижу, ощутимо чувствую, что приношу пользу! Сгребаю нечисть! Удобряю землю, чтоб тучней была! Плодовитей! Когда-нибудь по ней будут ходить счастливые люди… Может, сын мой будет ходить, какого нет… — Он засмеялся скрипуче и невесело. — Сколько я расстрелял этих гадов… клещей… Клещ — это насекомое такое, в тело въедается… С десяток вот этими руками убил… — Бунчук вытянул вперед сжатые, черноволосые, как у коршуна когтистые, руки; роняя их на колени, шепотом

сказал: — И вообще к черту! Гореть так, чтобы искры летели, а чадить нечего… Только я, правда, устал… Еще немного, и уйду на фронт… ты права…

Анна, молча слушавшая его, тихо сказала:

— Уходи на фронт или на иную работу… Уходи, Илья, иначе ты… свихнешься.

Бунчук повернулся к ней спиной, побарабанил в окно.

— Нет, я крепок… Ты не думай, что есть люди из железа. Все мы из одного материала литы… В жизни нет таких, которые не боятся на войне, и таких, кто бы, убивая людей, не носил… не был нравственно исцарапанным. Но не о тех, с погониками, болит сердце… Те — сознательные люди, как и мы с тобой. А вот вчера пришлось в числе девяти расстреливать трех казаков… тружеников… Одного начал развязывать… — Голос Бунчука становился глуше, невнятней, словно отходил он все дальше и дальше: — Тронул его руку, а она, как подошва… черствая… Проросла сплошными мозолями… Черная ладонь, порепалась… вся в ссадинах… в буграх… Ну я пойду, — резко оборвал он рассказ и незаметно для Анны потер горло, затянутое, как волосяным арканом, жесткой спазмой.

Он обулся, выпил стакан молока, пошел. В коридоре его догнала Анна. Долго держала его тяжелую руку в своих руках, потом прижала ее к пылающей щеке и выбежала во двор.

Теплело. С Азова в гирла Дона стучалась весна. В конце марта в Ростов начали прибывать теснимые гайдамаками и немцами украинские красногвардейские отряды. По городу начались убийства, грабежи, бесчинные реквизиции. Некоторые, окончательно разложившиеся отряды ревкому пришлось разоружать. Дело не обходилось без столкновений и перестрелок. Под Новочеркасском пошевеливались казаки. В марте, как почки на тополях, набухали в станицах противоречия между казаками и иногородними, кое-где погромыхивали восстания, открывались контрреволюционные заговоры. А Ростов жил стремительной полнокровной жизнью, вечерами по Большой Садовой расхаживали толпы солдат, матросов, рабочих. Митинговали, лущили семечки, поплевывали в стекавшие вдоль тротуаров ручейки, забавлялись с бабами. Так же, как и раньше, работали, ели, пили, спали, умирали, рожали, любились, ненавидели, дышали солоноватым с моря ветерком, жили, одолеваемые большими страстями и малыми страстишками. К Ростову в упор подходили обсемененные грозой дни. Пахло обтаявшим черноземом, кровью близких боев пахло.

В один из таких политых солнцем, пригожих дней Бунчук вернулся домой раньше обычного и удивился, застав Анну дома.

— Ведь ты же поздно всегда приходишь, а сегодня почему так?

— Я не совсем здорова.

Она прошла за ним в его комнату. Бунчук разделся, с дрожащей радостной улыбкой сказал:

— Аня, с сегодняшнего дня я не работаю в трибунале.

— Да что ты? Куда же тебя?

— В ревком. С Кривошлыковым сегодня говорил. Он обещает послать меня куда-нибудь в округ.

Поужинали они вместе. Бунчук лег спать. Взволнованный, он долго не мог уснуть, курил, ворочался на жестковатом тюфяке, радостно вздыхал. С большим удовлетворением уходил он из трибунала, так как чувствовал, что еще немного — и не выдержит, надломится. Он докуривал четвертую папиросу, когда ему послышался легкий скрип двери. Приподняв голову, увидел Анну. Босая, в одной рубашке, скользнула она через порог, тихонько подошла к его койке. Через щель в ставне на оголенный овал ее плеча падал сумеречный зеленый свет месяца. Она нагнулась, теплую ладонь положила Бунчуку на губы.

— Подвинься. Молчи…

Легла рядом, нетерпеливо отвела со лба тяжелую, как кисть винограда, прядь волос, блеснула задымленным синеватым огоньком глаз, грубовато, вымученно прошептала:

— Не сегодня-завтра я могу лишиться тебя… Я хочу тебя любить со всей силой! — и содрогнулась от собственной решимости: — Ну, скорей!

Бунчук целовал ее и с ужасом, с великим, захлестнувшим все его сознание, стыдом чувствовал, что он бессилен.

У него тряслась голова, мучительно пылали щеки. Высвободившись, Анна гневно оттолкнула его, с отвращением и брезгливостью спросила, задохнулась презирающим шепотом:

— Ты… ты бессилен? Или ты… болен?.. О-о-о, как это мерзко!.. Оставь меня!

Бунчук сжал ее пальцы так, что они слабо хрустнули, в расширенные, смутно черневшие, враждебные глаза врезал свой взгляд, спросил, заикаясь, парально дергая головой:

— За что? За что судишь? Да, выгорел дотла!.. Даже на это не способен сейчас… Не болен… пойми, пойми! Опустошен я… А-а-а-а…

Он глухо замычал, вскочил с койки, закурил. Долго, будто избитый, сутулился у окна.

Анна встала, молча обняла его и спокойно, как мать, поцеловала в лоб.

А через неделю Анна, пряча под его рукой свое зажженное огневым румянцем лицо, призналась:

— …Думала, израсходовался раньше… Не знала, что до дна вычерпала тебя работа.

И после этого Бунчук долго ощущал на себе не только ласку любимой, но и ее теплую, налитую вровень с краями материнскую заботливость.

В провинцию его не послали. По настоянию Подтелкова он остался в Ростове. В это время Донской ревком перекипал в работе, готовился к областному съезду Советов, к схватке с ожившей за Доном контрреволюцией.

XXI

За приречными вербами разноголосо гомонили лягушки. За бугром валилось через порог солнце. По хутору Сетракову рассасывалась предвечерняя прохлада. От домов на сухую дорогу падали огромные косые тени. Из степи пропылил табун. С выгона, перебрехиваясь новостишками, погоняя коров хворостинами, шли казачки. По проулкам босые и уже загоревшие казачата козлоковали в чехарде. Старики степенно сидели на завалинках.

Хутор отсеялся. Лишь кое-где досевали просо и подсолнухи.

Возле одного из крайних дворов сидели на сваленных дубах казаки. Хозяин куреня, рябой батареец, рассказывал о каком-то случае из германской войны. Собеседники — старик сосед и зять его, молодой кучерявый казачок, — молча слушали. С крыльца сошла хозяйка, высокая, красивая и дородная, что боярыня, казачка. Рукава розовой, вобранной в юбку рубахи на ней были засучены, оголяя смуглые точеные руки. Она несла цебарку; широко и вольно, свойственной лишь казачкам, щеголеватой походкой прошла на коровий баз. Волосы ее, повязанные белым подсиненным платком, растрепались (она только что наложила в печку кизяков, приготовляя на завтра затоп), надетые на босые ноги чирики шлепали, мягко приминали буйно разросшуюся по базу молодь зеленых пышаток.

До слуха сидевших на дубах казаков дошел звонкий бег молочной струи по стенкам цебарки. Хозяйка подоила коров, прошла в курень; чуть изгибаясь, в левой руке, согнутой по-лебединому, несла полную цебарку молока.

— Сема, ты б пошел телка поискать! — певуче крикнула она с порожков.

— А Митяшка где ж? — отозвался хозяин.

— Холера его знает, убег.

Хозяин неторопливо поднялся, пошел к углу. Старик с зятем тоже направились было домой. С угла хозяин окликнул:

— Гля-кось, Дорофей Гаврилыч! Поди сюда!

Старик и зять его подошли к казаку. Он молча указал в степь. По шляху багровым шаром катилась пыль, за ней двигались ряды пехоты, обоз, конные.

— Войско, никак? — Дед изумленно прижмурился и положил на белые брови ладонь.

— Что б такое, что за люди? — встревожился хозяин.

Из ворот вышла его жена, уже в накинутой на плечи кофтенке. Она глянула в степь, растерянно ахнула:

— Чтой-то за люди? Исусе Христе, сколько их много!

— Недобрые, видать, люди…

Старик затоптался на месте и пошел к своему двору, зятю сердито крикнул:

— Ступай на баз, нечего глядеть!

К концу проулка бежали ребятишки и бабы, кучками шли казаки. В степи, в версте от хутора, тянулась по шляху колонна; до дворов доплескивало ветром невнятный гул голосов, конское ржание, перегуд колес.

— Это не казаки… Не нашенские люди, — сказала казачка мужу.

Тот повел плечом.

— Конешное дело, не казаки. Кабы не немцы были?! Нет, русские… Гля, красный лоскут у них!.. Ага, вот оно что…

Подошел высокий атаманец-казак. Его, как видно, трепала лихорадка: был он песочно-желт — как в желтухе валялся, одет в шубу и валенки. Он приподнял косматую папаху, сказал:

— Вишь, хорухвь ихняя какая?.. Большевики.

— Они.

От колонны отделилось несколько всадников. Они в намет поскакали к хутору. Казаки, переглянувшись, молча стали расходиться, девки и ребятишки брызнули врассыпную. Через пять минут проулок вымер. Конные кучей вскакали в проулок, — горяча лошадей, подъехали к дубам, на которых четверть часа назад сидели казаки. Хозяин-казак стоял возле ворот. Передний из всадников, по виду — старший, на караковом коне, в кубанке и с огромным красным шелковым бантом на защитной, опоясанной боевыми ремнями, рубахе, подъехал к воротам:

— Здорово, хозяин! Отчиняй ворота.

Батареей, побелел рябинами лица, снял фуражку:

— А вы что за люди?

— Отчиняй ворота!.. — крикнул солдат в кубанке.

Караковый конь, кося злым глазом, гоняя в запененном рту мундштуки, ударил передней ногой в плетень. Казак открыл калитку, и всадники один за другим въехали на баз.

Тот, который был в кубанке, ловко прыгнул с коня, вывернутыми ногами споро зашагал к крыльцу. Пока остальные слезали с лошадей, он, усевшись на крыльце, успел достать портсигар. Закуривая, предложил хозяину. Тот отказался.

— Не куришь?

— Спасибочка.

— У вас тут не старовиры?

— Не, православные… А вы кто такие будете? — хмуро допытывался казак.

— Мы-то? Красногвардейцы Второй Социалистической армии.

Остальные, спешившись, шли к крыльцу, лошадей вели в поводу, привязывали их к перилам. Один — верзила со свалявшимся, как лошадиная грива, чубом, цепляясь за шашку ногами, пошел на овечий баз. Он по-хозяйски распахнул воротца, нырнул, пригибаясь, под переруб сарая, вывел оттуда, держа за рога, большого, с тяжелым курдюком барана-валуха.

— Петриченко, поди помоги! — крикнул он резким фальцетом.

К нему рысью побежал солдатик в куцей австрийской шинели. Хозяин-казак гладил бороду, оглядывался, ровно на чужом базу. Он ничего не говорил и только тогда, крякнув, пошел на крыльцо, когда валух, с перерезанным шашкой горлом, засучил тонкими ногами.

За хозяином следом пошли в курень солдат в кубанке и еще двое: один — китаец, другой — русский, похожий на камчадала.

— Ты не обижайся, хозяин! — переступая порог, игриво крикнул кубанец. — Мы широко заплотим!

Он похлопал себя по карману штанов, отрывисто похохотал и круто оборвал смех, упершись глазами в хозяйку. Она, стиснув зубы, стояла у печи, глядела на него испуганными глазами.

Кубанец повернулся к китайцу, тревожно бегая глазами, сказал:

— Ты, ходя, мала-мала иди с дядей, с оцим дядькой, — он указал пальцем на хозяина. — Иди с ним — он сена коням даст… Отпусти-ка поди. Чуешь? Мы широко плотим! У Красной гвардии грабежу нету. Иди, хозяин, ну? — В голосе кубанца звякнули металлические нотки.

Казак в сопровождении китайца и другого, оглядываясь, пошел из хаты. Едва лишь спустился с крыльца, — услышал плачущий голос жены. Он вбежал в сени, рванул дверь. Легонький крючок выскочил из пробоя. Кубанец, схватив выше локтя голую руку дородной хозяйки, тянул ее в полутемную горницу. Казачка сопротивлялась, пихала его в грудь. Он хотел было обхватить поперек, приподнять и нести ее, но в это время дверь распахнулась. Казак широко шагнул, собой заслонил жену. Голос его был вязок и тих:

— Ты пришел в мой курень гостем… на что обижаешь бабу? Ты что же?.. Оставь! Я твоего оружия не боюсь! Бери, что тебе надо, грабь, но бабу не моги поганить! Через меня перейдешь рази… А ты, Нюрка… — он, шевеля ноздрями, повернулся к жене, — ступай отсель к дяде Дорофею. Делать тут нечего!

Кубанец, поправляя боевые ремни на рубахе, криво улыбался:

— Сердит ты, хозяин… Уж и пошуткувать нельзя… Я на всю роту шутник… ты не знаешь?.. Я это нарочно. Дай, думаю, посадовлю бабу, а она злякалась… А сена ты отпустил? Нема сена? А у соседей е?

Он вышел, насвистывая, с силой махая плеткой. Вскоре к хутору подошел весь отряд. В нем насчитывалось около восьмисот штыков и сабель. Красногвардейцы расположились ночевать за хутором. Командир отряда, по-видимому, не хотел ночевать в хуторе, не надеясь на своих разноплеменных и разнузданных солдат.

Тираспольский отряд 2-й Социалистической армии, потрепанный в боях с гайдамаками и шагавшими через Украину немцами, с боем прорвался на Дон, выгрузился из вагонов на станции Шептуховка, а так как впереди уже были немцы, то, с целью пробиться на север, в Воронежскую губернию, походным порядком пошел через юрт Мигулинской станицы. Разложившиеся под влиянием уголовных элементов, обильно наводнивших собою отряд, красногвардейцы бесчинствовали по дороге. В ночь под 17 апреля, расположившись на ночевку под хутором Сетраковом, они, несмотря на угрозы и запрещения командного состава, толпами пошли в хутор, начали резать овец, на краю хутора изнасиловали двух казачек, открыли беспричинную стрельбу на площади, ранили одного из своих. Ночью заставы перепились (спирт везли на каждой повозке обоза). А в это время трое верховых

казаков, высланных из хутора, уже поднимали в окрестных хуторах сполох.

Ночью в потемках седлали казаки коней, снаряжались, наскоро сколачивали отряды из фронтовиков и стариков и под руководством живших на хуторах офицеров, а то и вахмистров, стягивались к Сетракову, окружали красногвардейский отряд, копились в балках и за буграми. Из Мигулинской, с Колодезного, с Богомолова двигались в ночи полусотни. Поднялись верхнечинцы, наполовцы, калиновцы, ейцы, колодезянцы.

Дотлевали на небе Стожары. На заре с гиком со всех сторон опрокинулись на красногвардейцев конные казачьи лавы. Пулемет потрещал — и смолк, вспыхнула — и угасла беспорядочная, шалая стрельба, тихо заплескалась рубка.

Через час завершено было дело: отряд разгромлен дотла, более двухсот человек порублено и пострелено, около пятисот взято в плен. Две четырехорудийные батареи, двадцать шесть пулеметов, тысяча винтовок, большой запас боевого снаряжения попали в руки казаков.

День спустя уж цвели по всему округу красные флажки скакавших по шляхам и проселкам нарочных. Станицы и хутора гудели. Свергали Советы и наспех выбирали атаманов. К Мигулинской с запозданием шли сотни Казанской и Вешенской станиц.

В двадцатых числах апреля верховые станицы Донецкого округа откололись. Был образован свой округ, наименованный Верхнедонским. Окружным центром избрана Вешенская, многолюдная, вторая в области, после Михайловской, по величине и многочисленности хуторов станицы. Наскоро выкраивались из прежних хуторов новые станицы. Образовались Шумилинская, Каргинская, Боковская станицы. И Верхнедонской округ, оттягавший себе двенадцать станиц и одну украинскую волость, зажил обособленной от центра жизнью. В состав Верхнедонского округа вошли станицы, бывшие Донецкого округа: Казанская, Мигулинская, Шумилинская, Вешенская, Еланская, Каргинская, Боковская и Пономаревская волость; бывшие Усть-Медведицкого: Усть-Хоперская, Краснокутская; и Хоперского округа: Букановская, Слащевская, Федосеевская. Окружным атаманом дружно избран был казак Еланской станицы, генерал, окончивший военную академию, Захар Акимович Алферов. Про Алферова говорили, что он из захудалых казачьих офицеришек выбился в люди лишь благодаря своей жене — бабе энергичной и умной; говорили, что она тянула бездарного супруга за уши и до тех пор не давала ему дыхнуть, пока он, три раза срезавшись, на четвертый все же выдержал экзамен в академию.

Но в эти дни про Алферова если и говорили, то очень мало. Иное занимало умы.

XXII

Полая вода только что начала сбывать. На лугу, около огородных плетней, оголилась бурая, илистая земля, каймой лежал наплав: оставшиеся от разлива обломки сухого камыша, ветки куга, прошлогодние листья, прибитый волною дрям. Вербы затопленного обдонского леса чуть приметно зеленели, с ветвей кисточками свисали сережки. На тополях вот-вот готовы были развернуться почки, у самых дворов хутора клонились к воде побеги окруженного разливом краснотала. Желтые пушистые, как неоперенные утята, почки его ныряли в волнах, раскачиваемые ветром.

На зорях к огородам подплывали в поисках корма дикие гуси, казарки, стаи уток. В тубе [56] зорями кагакали медноголосые гагары. Да и в полдень видно было, как по взлохмаченному ветром простору Дона пестает и нянчит волна белопузых чирков.

Много было в этот год перелетной птицы. Казаки-вентерщики, пробираясь на баркасах к

снастям, на заре, когда винно-красный восход кровавит воду, видели не раз и лебедей, отдыхавших где-либо в защищенном лесом плесе. Но вовсе чудной показалась в хуторе привезенная Христоней и дедом Матвеем Кашулиным новость; ездили они в Казенный лес выбрать по паре дубков на хозяйственные нужды и, пробираясь по чаще, вспугнули из буерака дикую козу с подростком-козленком. Желто-бурая худая коза выскочила из поросшего татарником и тернами буерака, несколько секунд смотрела с пригорка на порубщиков, напряженно перебирала тоненькими, точеными ногами, возле нее жался потомок, и, услышав Христонин изумленный вздох, так махнула по молодому дубняку, что лишь мигнули в глазах казаков сине-сизые глянцевые раковины копыт да верблюжьего цвета куцый хвост.

— Что это за штука? — роняя топор, спросил Матвей Кашулин.

С ничем не объяснимым восторгом Христоня рявкнул на весь завороженно-молчаливый лес:

— Коза, стал быть! Дикая коза, растуды ее милость! Мы их повидали в Карпатах!

— Значит, война ее, горемыку, загнала в наши степя?

Христоне ничего не оставалось, кроме как согласиться.

— Не иначе. А ты видел, дед, козленка-то! Язви его… Ну с-с-сукин сын, да и хорош же! Чисто дите, стал быть!

Всю обратную дорогу они разговаривали о невиданной в области дичи. Дед Матвей под конец усомнился:

— А ну, как не коза?

— Коза. Ей-бо, коза, и больше ничего!

— А может… А ежели коза — зачем рогов нету?

— А на что они тебе понадобились, рога?

— Не об том, что мне. Спрашиваю, ежели она козиного роду… почему не при форме? Видал ты коз безрогих? То-то и оно. Может, овца какая дикая?..

— Ты, дед Матвей, стал быть, ум выжил! — обиделся Христоня. — Поди вон к Мелеховым, погляди. У ихнего Гришки плетка из козлиной ноги. Признаешь али нет?

Пришлось-таки деду Матвею идти в этот день к Мелеховым. Держак плетки Григория и в самом деле был искусно обтянут кожей ножки дикой козы; даже крохотное копытце на конце сохранилось в целости и было столь же искусно украшено медной подковкой.

На шестой неделе поста, в среду, Мишка Кошевой рано утром выехал проверить стоявшие возле леса вентери. Он вышел из дому на рассвете. Зябко съежившаяся от утренника земля подернулась ледком, грязцо закрутело. Мишка, в ватной куртке, в чириках, с заправленными в белые чулки шароварами, шел, сдвинув на затылок фуражку, дыша наспиртованным морозом воздухом, запахом пресной сырости от воды. Длинное весло нес на плече. Отомкнув баркас, шибко поехал опором, стоя, с силой налегая на весло.

Вентери свои проверил скоро, выбрал из последнего рыбу, опустил, оправил вентерные крылья и, тихонько отъехав, решил закурить. Заря чуть занималась. Сумеречно-зеленоватое небо на востоке из-под исподу будто обрызгано было кровицей. Кровица рассасывалась, стекала над горизонтом, золотисто ржавела. Мишка проследил за медлительным полетом гагары, закурил. Дымок, тая и цепляясь за кусты, заклубился в сторону. Оглядев улов — три веретенки, сазана фунтов на восемь, кучу белой рыбы, — подумал:

«Придется часть продать. Лукешка косая возьмет, на сушеные груши обменяю; все мать взвару когда наварит».

Покуривая, поехал к пристани. У огородных плетней, где примыкал он баркас, сидел человек.

«Кто бы это?» — подумал Мишка, разгоняя баркас, ловко управляя веслом.

У плетня на корточках сидел Валет.

Он курил огромную из газетной бумаги цигарку.

Хориные, с остринкой, глазки его сонно светились, на щеках серела дымчатая щетина.

— Ты чего? — крикнул Мишка.

Крик его круглым мячом гулко покатился по воде.

— Подъезжай.

— За рыбой, что ли?

— На кой она мне!

Валет трескуче закашлялся, харкнул залпом и нехотя встал. Большая не по росту шинель висела на нем, как кафтан на бахчевном чучеле. Висячими полями фуражка прикрывала острые хрящи ушей. Он недавно заявился в хутор, сопутствуемый «порочной» славой красногвардейца. Казаки расспрашивали, где был после демобилизации, но Валет отвечал уклончиво, сводил на нет опасные разговоры. Ивану Алексеевичу да Мишке Кошевому признался, что четыре месяца отмахал в красногвардейском отряде на Украине, побывал в плену у гайдамаков, бежал, попал к Сиверсу, погулял с ним вокруг Ростова и сам себе написал отпуск на поправку и ремонт.

Валет снял фуражку, пригладил ежистые волосенки; оглядываясь, подходя к баркасу, засипел:

— Худые дела… худые… Кончай рыбку удить! А то удим-удим, да и про все забудем…

— Какие твои новости — выкладывай.

Мишка пожал его костлявую ручонку своей провонявшей рыбьей слизью рукой, тепло улыбнулся. Давняя их паровала дружба.

— Под Мигулинской вчера Красную гвардию разбили. Началась, брат, клочка… Шерсть летит!..

— Какую? Откуда в Мигулинской?

— Шли через станицу, казаки дали им чистоты… пленных вон какую кучу в Каргин пригнали! Там военно-полевой суд уже наворачивает. Нынче у нас мобилизация. Гляди, вот с утра ахнут в колокол.

Кошевой примкнул баркас, ссыпал в торбу рыбу, пошел, отмеряя веслом большие сажени. Валет жеребенком семенил возле, забегал наперед, запахивая полы шинели, широко кидая руками.

— Мне Иван Алексеев сказал. Он меня только что сменил с дежурства, мельница-то всю ночь пыхтела, завозно. Ну, а он слыхал от самого. К Сергею-то Платонычу из Вешек офицер чей-то прискакал.

— Что теперь? — По лицу Мишки, возмужалому и вылинявшему за годы войны, скользнула растерянность; он сбоку глянул на Валета, переспросил:

— Как теперь?

— Надо подаваться из хутора.

— Куда?

— В Каменскую.

— А там казаки.

— Левее.

— Куда?

— На Обливы.

— Как пройдешь?

— Захочешь — пройдешь! А нет — оставайся, черт тебя во все места нюхай! — окрысился вдруг Валет. — «Как да куда», да я-то почем знаю? Прикрутит — сам найдешь

лазейку! Носом сыщешь!

— Ты не горячись. На горячих, знаешь, куда ездют? Иван-то что гутарит?

— Ивана твоего пока раскачаешь…

— Ты не шуми… баба вон глядит.

Они опасливо покосились на молоденькую бабенку, сноху Авдеича Бреха, выгонявшую с база коров. На первом же перекрестке Мишка повернул назад.

— Ты куда? — удивился Валет.

Не оборачиваясь, Кошевой бормотнул:

— Вентери поеду сыму.

— На что?

— Не пропадать же им.

— Значит, ахнем? — обрадовался Валет.

Мишка махнул веслом, сказал издали:

— Иди к Ивану Алексееву, а я вентери отнесу домой и зараз приду.

Иван Алексеевич успел уже уведомить близких казаков. Сынишка его сбегал к Мелеховым, привел Григория. Христоня пришел сам, словно учуял беду. Вскоре вернулся Кошевой, и совет начался. Говорили все сразу, спеша, с минуты на минуту ждали полошного звона.

— Уходить сейчас же! Нынче же сматывать удочки! — возбуждающе горячился Валет.

— Ты нам, стал быть, резон дай — чего мы пойдем? — спрашивал Христоня.

— Как чего? Начнется мобилизация, думаешь — зацепишься?

— Не пойду — и все.

— Поведут!

— Не доразу. Я им не бычок на оборочке!

Иван Алексеевич, выславший из хаты свою раскосую жену, сердито буркнул:

— Взять — возьмут… Валет правильно гутарит. Только куда идти? Вот загвоздка.

— Я уж говорил ему, — вздохнул Мишка Кошевой.

— Да что ж вы, аль мне всех больше надо? Один уйду! Не нужны нюхари! «Как, да чего, да к чему?..» Вот замылют вас, да еще в тюрьме за большевизму насидитесь!.. Шутки шутите? Время, вишь, какое… Тут все к черту пойдет!..

Григорий Мелехов, сосредоточенно, с каким-то тихим озлоблением вертевший в руках выдернутый из стены ржавый гвоздик, холодно обрезал Валета:

— Ты не сепети! Твое дело другое: ни спереду, ни сзаду — снялся да пошел. А нам надо толком обдумать. У меня вон баба да двое детишек… Я нанюхался пороху не с твое! — Он померцал черными, озлевшими вдруг глазами и, хищно оголяя плотные клыкастые зубы, крикнул: — Тебе можно языком трепать… Как был ты Валет, так и остался им! У тебя, кроме пиджака, ничего нету…

— Ты что рот раззявил! Офицерство свое кажешь? Не ори! Плевать мне на тебя! — выкрикнул Валет.

Ежиная мордочка его побелела от злости, остро и дичало зашныряли узко сведенные злые глазенки, даже дымчатая шерсть на ней как будто зашевелилась.

Григорий сорвал на нем злость за свой нарушенный покой, за то волнение, которое пережил, услышав от Ивана Алексеевича о вторжении в округ красногвардейских отрядов. Выкрик Валета взбесил его окончательно. Он вскочил, как ушибленный, подойдя в упор к ерзавшему на табурете Валету, с трудом удерживая руку, зудевшую желанием ударить, сказал:

— Замолчи, гаденыш! Сопля паршивая! Огрызок человечий! Чего ты командуешь? Ступай, кой тебя… держит! Валяй, чтоб тобой и не воняло тут! Ну-ну, не говори, а то как

отхожу тебя на прощанье…

— Брось, Григорий! Не дело! — вступился Кошевой, отводя от сморщенного носа Валета Григорьев кулак.

— Казацкие замашки бросать бы надо… И не совестно?.. Совестно, Мелехов! Стыдно!

Валет встал; неловко покашливая, пошел к двери. У порога он не выдержал, — повернувшись, кольнул улыбавшегося зло Григория:

— Еще в Красной гвардии был… Жандармерия!.. Таких мы на распыл пущали!

Не стерпел и Григорий, — выталкивая Валета в сенцы, наступая ему на задники стоптанных солдатских сапог, недобрым голосом пообещал:

— Ступай! Ноги повыдергаю!

— Ни к чему это? Ну что, чисто как ребятишки!

Иван Алексеевич неодобрительно покачал головой, скосился неприязненно на Григория.

Мишка молча покусывал губы, — видно, сдерживал просившееся наружу резкое слово.

— А он что не свое на себя берет? Что он расходился? — оправдывался Григорий не без смущения; Христоня глядел на него сочувственно, и под взглядом его Григорий улыбнулся простой, ребяческой улыбкой. — Чудок не избил его… Там и бить-то… раз хлопнуть — и мокро.

— Ну, как вы? Надо дело делать.

Иван Алексеевич занудился под пристальным взглядом задавшего вопрос Мишки Кошевого, ответил натужно:

— Что ж, Михаил?.. Григорий — он отчасти прав: как это сняться да и лететь? У нас — семьи… Да ты погоди!.. — заторопился он, уловив нетерпеливое Мишкино движение. — Может, ничего и не будет… почем знать? Разбили отряд под Сетраковом, а остальные не сунутся… А мы погодим трошки. Там видно будет. К слову сказать, и у меня баба с дитем, и обносились, и муки нету… как же так — сгребся да ушел? А они при чем останутся?..

Мишка раздраженно шевельнул бровью, в земляной пол всадил взгляд.

— Не думаете уходить?

— Я думаю погодить с этим. Уйти завсегда не поздно… вы — как, Григорий Пантелеев, и ты, Христан?..

— Стал быть, так… повременим.

Григорий, встретив неожиданную поддержку со стороны Ивана Алексеевича и Христони, оживился:

— Ну, конешно, я про то и говорю. За это и с Валетом поругался. Что это, лозу рубить, что ль? Раз, два — и готово?.. Надо подумать… подумать, говорю…

«Дон-дон-дон-дон!» — сорвалось с колокольни и залило площадь, улицы, проулки; над бурой гладью полой воды, над непросохшими меловыми мысами горы звон пошел перекатом, в лесу рассыпался на мелкие, как чечевица, осколки, — стеня, замер. И еще раз — уже безостановочно и тревожно: «дон-дон-дон-дон!»

— Вон-на, кличут! — Христоня часто заморгал. — Я зараз на баркас. На энтот бок, в лес. Потель меня и видали!

— Ну так как же? — Кошевой тяжело, по-стариковски встал.

— Не пойдем зараз, — за всех ответил Григорий.

Кошевой еще раз шевельнул бровью, отвел со лба тяжелый, вытканный из курчавых завитков золотистый чуб.

— Прощевайте… Расходются, видно, наши тропки!

Иван Алексеевич улыбнулся извиняюще:

— Молодой ты, Мишатка, горячий… Думаешь, не сойдутся! Сой-дут-ся! Будь в

надежде!..

Попрощавшись, Кошевой вышел. Через двор махнул на соседнее гумно. У канавы жался Валет. Он словно знал, что Мишка пойдет сюда; поднимаясь ему навстречу, спросил:

— Ну?

— Отказались.

— Я еще раньше знал. Слабяки… А Гришка… подлец он, твой товарищ! Он самого себя раз в год любит. Обидел он меня, сволочь! Рад, что сильнее… Винтореза при мне не было — убил бы… — сказал он хлипким голосом.

Мишка, шагая рядом с ним, глянул на его ежистую, вздыбленную щетину, подумал: «А ить убил бы, хорек!»

Они шли быстро, каждый звяк колокола хлестал их кнутовым ударом.

— Зайдем ко мне, харчей возьмем — и айда! Пешки пойдем, коня брошу. Ты ничего не будешь брать?

— Все на мне. — Валет скривился. — Хором не нажил, именья — тоже… Жалованье вот за полмесяца не получил. Ну, да пущай пузан наш, Сергей Платоныч, наживается. Он аж затрясется от радости, что расчета не взял.

Звонить перестали. Утренняя, не стряхнувшая дремы, сонливая тишина ничем не нарушалась. У дороги в золе копались куры, возле плетней ходили разъевшиеся на зеленке телята. Мишка оглянулся назад: к площади на майдан спешили казаки. Некоторые выходили из дворов, на ходу застегивая сюртуки и мундиры. По площади прожег верховой. У школы толпился народ, белели бабьи платки и юбки, густо чернели казачьи спины.

Баба с ведрами остановилась, не желая переходить дорогу; сказала сердито:

— Идите, что ль, а то дорогу перейду!

Мишка поздоровался с ней, и она, блеснув из-под разлатых бровей улыбкой, спросила:

— Казаки на майдан, а вы — оттеля? Чего же не идешь туда, Михаила?

— Дома дело есть.

Подошли к проулку. Завиднелась крыша Мишкиной хатенки, раскачиваемая ветром скворечня с привязанной к ней сухой вишневой веткой. На бугре слабосильно взмахивал ветряк, на переплете крыльев полоскалась оторванная ветром парусина; хлопала жесть остроконечной крыши.

Неярко, но тепло светило солнце. От Дона дул свежий ветерок. На углу, во дворе Архипа Богатырева — большого, староверской складки старика, служившего когда-то в гвардейской батарее, — бабы обмазывали глиной и белили к пасхе большой круглый курень. Одна из них месила глину с навозом. Ходила по кругу, высоко подобрав юбку, с трудом переставляя белые, полные в икрах ноги с красными полосками на коже — следами подвязок. Кончиками пальцев она держала приподнятую юбку, матерчатые подвязки были взбиты выше колен, туго врезались в тело.

Была она большая щеголиха и, несмотря на то что солнце стояло еще низко, лицо закутала платком. Остальные, две молоденькие бабенки — сноха Архипа, забравшись по лестницам под самую камышовую крышу, крытую нарядно, под корешок, — белили. Мочалковые щетки ходили в их засученных по локоть руках, на закутанные по самые глаза лица сыпались белые брызги. Бабы пели дружными, спевшимися голосами. Старшая сноха, вдовая Марья, открыто бегавшая к Мишке Кошевому, веснушчатая, но ладная казачка, заводила низким, славившимся на весь хутор, почти мужским по силе и густоте голосом:

…Да никто ж так не страдает…

Остальные подхватывали и вместе с ней в три голоса искусно пряли эту бабью, горькую, наивно-жалующуюся песню:

…Как мой милый на войне.

Сам он пушку заряжает,

Сам думает обо мне…

Мишка и Валет шли возле плетня, вслушиваясь в песню, перерезанную заливистым конским ржанием, доносившимся с луга:

…Как пришло письмо, да с печатью,

Что милый мой убит.

Ой, убит, убит мой миленочек,

Под кустиком лежит…

Оглядываясь, поблескивая из-под платка серыми теплыми глазами, Марья смотрела на проходившего Мишку и, улыбаясь, светлея забрызганным белыми пятнами лицом, вела низким любовно-грудным голосом:

…А и кудри его, кудри русы,

Их ветер разметал.

А и глазки его, глазки кари,

Черный ворон выклевал.

Мишка ласково, как и всегда в обращении с женщинами, улыбнулся ей; водворке [57] Пелагее, месившей глину, сказал:

— Подбери выше, а то через плетень не видно!

Та прижмурилась:

— Захочешь, так увидишь.

Марья, подбоченясь, стояла на лестнице, оглядываясь по сторонам, спросила протяжно:

— Где ходил, милатА?

— Рыбалил.

— Не ходи далеко, пойдем в амбар, позорюем.

— Вот он тебе свекор, бесстыжая!

Марья щелкнула языком и, захохотав, махнула на Мишку смоченной щеткой. Белые капли осыпали его куртку и фуражку.

— Ты б нам хучь Валета ссудобил. Все помог бы курень прибрать! — крикнула вслед младшая сноха, выравнивая в улыбке сахарную блесну зубов.

Марья что-то сказала вполголоса, бабы грохнули смехом.

— Распутная сучка! — Валет нахмурился, убыстряя шаг, но Мишка, томительно и нежно улыбаясь, поправил его:

— Не распутная, а веселая. Уйду — останется любушка. «Ты прости-прощай, сухота моя!» — проговорил он словами песни, входя в калитку своего база.

XXIII

После ухода Кошевого казаки сидели некоторое время молча. Над хутором шатался набатный гуд, мелко дребезжали оконца хаты. Иван Алексеевич смотрел в окно. От сарая падала на землю рыхлая утренняя тень. На барашковой мураве сединой лежала роса. Небо даже через стекло емко и сине лазурилось. Иван Алексеевич поглядел на свесившего патлатую голову Христоню.

— Может, на этом и кончится дело? Разбили мигулинцы, а больше не сунутся…

— Нет уж… — Григорий весь передернулся, — почин сделали — теперь держи! Ну что ж, пойдем на майдан?

Иван Алексеевич потянулся к фуражке; разрешая свое сомнение, спросил:

— А что, ребяты, не заржавели мы и в самом деле? Михаил — он хучь и горяч, а парень дельный… попрекнул он нас.

Ему никто не ответил. Молча вышли, направились к площади.

Раздумчиво глядя под ноги, шел Иван Алексеевич. Он маялся тем, что скривил душой и не так сделал, как ему подсказывало сознание. Правота была на стороне Валета и Кошевого: нужно было уходить, а не мяться. Те оправдания, которые мысленно подсовывал он себе, были ненадежны, и чей-то рассудочный насмешливый голос, звучавший внутри, давил их, как конское копыто — корочку ледка на луже. Единственное, что решил Иван Алексеевич твердо, — при первой же стычке перебежать к большевикам. Решение это выспело в нем, пока шли к майдану, но ни Григорию, ни Христоне Иван Алексеевич не сказал о нем, смутно понимая, что они переживают что-то иное, и в глубине сознания уже опасаясь их. Вместе, втроем, они отвергли предложение Валета, не пошли, ссылаясь на семьи, в то время как каждый из них знал, что ссылки эти не убедительны и не могут служить оправданием. Теперь они, каждый порознь, по-своему чувствовали неловкость друг перед другом, словно совершили пакостное, постыдное дело. Шли молча; против моховского дома Иван Алексеевич, не выдержавший тошного молчания, казня самого себя и других, сказал:

— Нечего греха таить: с фронта пришли большевиками, а зараз в кусты лезем! Кто бы за нас воевал, а мы с бабами…

— Я-то воевал, пущай другие спробуют, — отворачиваясь, проронил Григорий.

— Что ж они… разбойничают, а мы, стал быть, должны к ним идти? Что это за Красная гвардия? Баб сильничают, чужое грабят. Тут оглядеться надо. Слепой, стал быть, всегда об углы бьется.

— А ты видал это, Христан? — ожесточенно спросил Иван Алексеевич.

— Люди гутарют.

— А-а, люди…

— Ну, будя! Нас тут ишо не слыхали.

Майдан пышно цвел казачьими лампасами, фуражками, изредка островком чернела лохматая папаха. Собрался весь хутор. Баб не было. Одни старики да казаки фронтового возраста и помоложе. Впереди, опираясь на костыли, стояли самые старые: почетные судьи, члены церковного совета, попечители школ, ктитор. Григорий повел глазами, разыскал отцову посеребренную с чернью бороду. Старик Мелехов стоял рядом со сватом Мироном Григорьевичем. Впереди них, в сером парадном мундире с регалиями, слег на шишкастый костыль дед Гришака. Рядом со сватом — румяный, как яблочко, Авдеич Брех, Матвей Кашулин, Архип Богатырев, вырядившийся в казачью фуражку Атепин-Цаца; дальше сплошным полукруглым частоколом — знакомые лица: бородатый Егор Синилин, Яков Подкова, Андрей Кашулин, Николай Кошевой, длинновязый Борщев, Аникушка, Мартин Шамиль, голенастый мельник Громов, Яков Коловейдин, Меркулов, Федот Бодовсков, Иван Томилин, Епифан Максаев, Захар Королев, сын Авдеича Бреха — Антип, курносый, мелкорослый казачишка. Брата Петра Григорий, переходя майдан, увидел на противоположной стороне круга. Петро, в рубашке с оранжево-черными георгиевскими ленточками, зубоскалил с безруким Алешкой Шамилем. Слева от него зеленели глаза Митьки Коршунова. Тот прикуривал от цигарки Прохора Зыкова. Прохор помогал, выкатывая телячьи глаза, плямкал губами — раздувал огонек. Позади толпились молодые казаки; в середине круга, у шаткого столика, всеми четырьмя ножками врезавшегося в податливую, непросохшую землю, сидел председатель хуторского ревкома Назар и рядом с ним, опираясь рукою о крышку стола, стоял незнакомый Григорию сотник в защитной фуражке с кокардой,

в куртке с погонами и узеньких галифе цвета хаки. Председатель ревкома что-то смущенно говорил ему, сотник слушал, чуть нагнувшись, склонив к председательской бороде большое оттопыренное ухо. Майдан, как пчельник, полнился тихим шумом. Казаки переговаривались, шутили, но лица у всех были напряженные. Кто-то не выдержал ожидания, крикнул молодо:

— Начинайте! Чего ждать? Все почти собрались!

Офицер непринужденно выпрямился, снял фуражку и просто, как среди семьи, заговорил:

— Господа старики и вы, братья фронтовые казаки! Вы слышали, что произошло на хуторе Сетракове?

— Чей это? Откедова? — забасил Христоня.

— Вешенский, с Черной речки, Солдатов, что ли… — ответил кто-то.

— В Сетраков, — продолжал сотник, — на днях пришел отряд Красной гвардии. Германцы заняли Украину и, подвигаясь к Области Войска Донского, отбросили их от железной дороги. Они и направились через мигулинский юрт. Заняв хутор, начали грабить имущество казаков, насиловать казачек, производить незаконные аресты и так далее. Когда в окружающих хуторах стало известно о случившемся, казаки с оружием в руках напали на грабителей. Отряд был наполовину уничтожен, наполовину забран в плен. Мигулинцам достались богатейшие трофеи. Мигулинская и Казанская станицы сбросили с себя иго большевицкой власти. Казаки от мала до велика поднялись на защиту тихого Дона. В Вешенской ревком разогнан, избран станичный атаман, в большинстве хуторов — то же.

В этом месте сотниковой речи старики сдержанно загомонили.

— Повсюду сформированы отряды. Вам бы тоже надо сформировать из фронтовиков отряд, чтобы оградить станицу от нового нашествия диких разбойничьих полчищ. Мы должны восстановить свое управление! Красной власти нам не надо — один разврат она несет, а не свободу! Ведь не позволим же мы, чтобы мужики обесчещивали наших жен и сестер, чтобы глумились они над нашей православной верой, надругивались над святыми храмами, грабили наше имущество и достояние… не так ли, господа старики?

Майдан крякнул от дружного «верна-а-а!». Сотник начал читать отпечатанное на шапирографе воззвание. Председатель выбрался из-за стола, позабыв какие-то бумаги. Толпа слушала, не проронив ни одного слова. Позади вяло переговаривались фронтовики.

Григорий, как только офицер начал читать, вышел из толпы; направляясь домой, неспешно пошел к углу дома отца Виссариона. Мирон Григорьевич доглядел его уход, Пантелея Прокофьевича — локтем в бок.

— Твой-то меньшой, гляди, пошел!

Пантелей Прокофьевич выхромал из курагота, просяще и повелительно окликнул:

— Григорий!

Тот повернулся боком, стал, не оглядываясь.

— Вернись, сынок!

— Чего уходишь! Ворочайся! — загремели голоса, и стена лиц повернулась к Григорию.

— Офицера заслужил тоже!

— Нос нечего воротить!

— Он сам в них был!

— Тоже казачьей кровушки попился…

— Краснопуз!

Выкрики долетели до слуха Григория. Стиснув зубы, он слушал, видимо, боролся сам с собой; казалось, еще минута — и пойдет без оглядки.

Пантелей Прокофьевич и Петро облегченно вздохнули, когда Григорий качнулся, пошел на толпу, не поднимая глаз.

Старики разошлись вовсю. С диковинной быстротой был тут же избран атаманом Мирон Григорьевич Коршунов. Серея конопинами белесого лица, он вышел на середину, конфузливо принял из рук прежнего атамана символ власти — медноголовую атаманскую насеку. До этого он ни разу не ходил в атаманах; когда выбирали его — ломался, отказывался, ссылаясь на незаслуженность такой чести и на свою малограмотность. Но старики встретили его подмывающими криками:

— Бери насеку! Не супротивничай, Григории!

— Ты у нас в хуторе первый хозяин.

— Не проживешь хуторское добро!

— Гляди, хуторские паи не пропей, как Семен!

— Но-но… этот пропьет!

— С базу есть чего взять!

— Слупим, как с овечки!..

Так необычны были стремительные выборы и вся полубоевая обстановка, что Мирон Григорьевич согласился без особых упрашиваний. Выбирали не так, как прежде. Бывало, приезжал станичный атаман, созывались десятидворные, кандидаты баллотировались, а тут — так-таки, по-простому, сплеча: «Кто за Коршунова — прошу отойти вправо». Толпа вся хлынула вправо, лишь чеботарь Зиновий, имевший на Коршунова зуб, остался стоять на месте один, как горелый пень в займище.

Не успел вспотевший Мирон Григорьевич глазом мигнуть — ему уж всучили в руки насеку, заревели издали и под самым ухом:

— Магарыч станови!

— Все шары накатили тебе!

— Обмывать надо!

— Качать атамана!

Но сотник, прерывая крики, умело направил сход на деловое решение вопросов. Он поставил вопрос о выборе командира отряда и, наверное, наслышанный в Вешенской о Григории, льстя ему, польстил и хутору:

— Желательно бы иметь командира — офицера! С тем и дело в случае боя будет успешней, и урона меньше будет. А на вашем хуторе героев — хоть отбавляй. Я не могу навязывать вам, станичники, свою волю, но со своей стороны порекомендую вам хорунжего Мелехова.

— Какого?

— Два их у нас.

Офицер, скользя по толпе глазами, остановился на видневшейся позади склоненной голове Григория, — улыбаясь, крикнул:

— Григория Мелехова!.. Как вы, станичники?

— В добрый час!

— Покорнейше просим!

— Григорий Пантелевич! Ядрена-голень!

— Выходи середь круга! Выходи!

— Старики хочут поглядеть на тебя!

Подталкиваемый сзади, Григорий, багровея, вышел на середину круга, затравленно оглянулся.

— Веди наших сынов! — Матвей Кашулин стукнул костылем и размашисто закрестился. — Веди и руководствуй ими, чтоб они у тебя, как гуси у доброго гусака, в шайке сохранялись. Как энтот караулит своих племяков и оберегает от хищного зверя и человека,

так и ты оберегай! Сумей ишо четыре креста заслужить, давай тебе бог!

— Пантелей Прокофич, сын у тебя!..

— Голова у него золотая! Мозговит, сукин кот!

— Черт хромой, станови хучь четверть!

— Га-га-га-га!.. Об-мо-е-е-ем!..

— Господа старики! Тише! Может, назначим две али три переписи безо всяких охотов? Охотники не то пойдут, не то нет…

— Три года!

— Пять!

— Охотников набирать!

— Сам ступай, какой тебя… держит?

К сотнику, о чем-то говорившему с новым атаманом, подошли четверо стариков с верхнего конца хутора. Один из них, мелкий беззубый старичонка, по уличному прозвищу «Сморчок», был известен тем, что всю жизнь сутяжничал. Он так часто ездил в суд, что единственная белая кобыла, которая была у него в хозяйстве, настолько изучила туда дорогу, что, стоило пьяному ее хозяину упасть в повозку и крикнуть свиристящим дискантом: «В суд!» — кобыла сама направлялась по дороге на станицу… Сморчок, стягивая шапчонку, подошел к сотнику. Остальные старики, из них один — крепкий хозяин, уважаемый всеми, Герасим Болдырев, остановились возле. Сморчок, помимо всех прочих достоинств отличавшийся краснобайством, первый затронул сотника:

— Ваше благородие!

— Что вам, господа старики? — Сотник любезно изогнулся, наставляя большое, с мясистой мочкой ухо.

— Ваше благородие, вы, значит, не дюже наслышаны об нашем хуторном, коего вы определили нам в командиры. А мы вот, старики, обжалуем это ваше решение, и мы правомочны на это. Отвод ему даем!

— Какой отвод! В чем дело?

— А в том, что как мы могем ему доверять, ежели он сам был в Красной гвардии, служил у них командиром и только два месяца назад как вернулся оттель по ранению.

Сотник порозовел. Уши его будто припухли от прилива крови.

— Да не может быть! Я не слышал про это… Мне никто ничего не говорил на этот счет…

— Верно, был в большевиках, — сурово подтвердил Герасим Болдырев. — Не доверяем мы ему!

— Сменить его! Казаки вон молодые что гутарют? «Он, гутарют, нас в первом же бою предаст!»

— Господа старики! — крикнул сотник, приподнимаясь на цыпочки; он обращался к старикам, хитро минуя фронтовиков. — Господа старики! В отрядные мы выбрали хорунжего Григория Мелехова, но не встречается ли к этому препятствий? Мне заявили сейчас, что он зимою сам был в Красной гвардии. Можете ли вы ему доверить своих сынов и внуков? И вы, братья фронтовики, со спокойным ли сердцем пойдете за таким отрядным?

Казаки ошалело молчали. Крик вырос сразу; из отдельных восклицаний и возгласов нельзя было понять ни одного слова. Потом уже, когда, поорав, умолкли, на середину круга вышел клочкобровый старик Богатырев, снял перед сбором шапку, огляделся.

— Я так думаю своим глупым разумом, что Григорию Пантелевичу не дадим мы этую должность. Был за ним такой грех — слыхали мы все про это. Пущай он наперед заслужит веру, покроет свою вину, а после видать будет. Вояка из него — добрый, знаем… но ить за

мгой и солнышка не видно: не видим мы его заслугу — глаза нам застит его служба в большевиках!..

— Рядовым его! — запальчиво кинул молодой Андрей Кашулин.

— Петра Мелехова командиром!

— Нехай Гришка в табуне походит!

— Выбрали б на свою голову!

— Да я и не нуждаюсь! На кой черт вы мне сдались! — кричал сзади Григорий, краснея от напряжения; взмахнув рукой, повторил: — Я и сам не возьмусь! На черта вы мне понадобились! — сунул руки в глубокие карманы шаровар; ссутулясь, журавлиным шагом потянул домой.

А вслед ему:

— Но-но! Не дюже!..

— Поганка вонючая! Руль свой горбатый задрал!

— Ого-го!

— Вот как турецкие кровя им распоряжаются!

— Не смолчит, небось! Офицерам на позициях не молчал. А то, чтоб тут…

— Вернись!..

— Га-га-га-га!..

— Узы его! Га! Тю! Ул-лю-лю-лю!..

— Да чего вы зад перед ним заносите? Своим судом его!

Поуспокоились не сразу. Кто-то кого-то в пылу споров толкнул, у кого-то кровь из носа вышибли, кто-то из молодых неожиданно разбогател шишкой под глазом. После всеобщего замирения приступили к выборам отрядного. Провели Петра Мелехова — и он аж поалел от гордости. Но тут-то и напоролся сотник, как ретивый конь на чересчур высокий барьер, на непредвиденное препятствие: дошла очередь записываться в охотники, а охотников-то и не оказалось. Фронтовики, сдержанно относившиеся ко всему происходившему, мялись, не хотели записываться, отшучивались:

— Ты чего ж, Аникей, не пишешься?

И Аникушка бормотал:

— Молодой я ишо… Вусов вон нету…

— Ты шутки не шути! Ты что — на смех нас подымаешь? — вопил у него под ухом старик Кашулин.

Аникей отмахивался, словно от комариного брунжанья:

— Своего Андрюшку поди запиши.

— Записал!

— Прохор Зыков! — выкрикивали у стола.

— Я!

— Записывать?

— Не знаю…

— Записали!

Митька Коршунов с серьезным лицом подошел к столу, отрывисто приказал:

— Пиши меня.

— Ну, ишо кто поимеет охоту?.. Бодовсков Федот… ты?

— Грызь у меня, господа старики!.. — невнятно шептал Федот, скромно потупив раскосые, калмыцкие глаза.

Фронтовики открыто гоготали, брались за бока, щедрые на шутку отмачивали:

— Бабу свою возьми… на случай вылезет грызь — вправит.

— Ах-ха-ха-ха!.. — покатывались позади, кашляя и блестя зубами и маслеными от смеха глазами.

А с другого конца синичкой перелетела новая шутка:

— Мы тебя в кашевары! Сделаешь борщ поганый — до тех пор будем в тебя лить, покеда с другого конца грызь вылезет.

— Резко не побегешь — самое с такими отступать.

Старики негодовали, ругались:

— Будя! Будя! Ишь какая им веселость!

— Нашли время дурь вылаживать!

— Совестно, ребяты! — резонил один. — А бог! То-то! Бог — он не спустит. Там помирают люди, а вы… а бог?

— Томилин Иван. — Сотник, поворачиваясь, огляделся.

— Я артиллерист, — отозвался Томилин.

— Записываешься? Нам и артиллеристы нужны.

— Пиши… э-эх!

Захар Королев, Аникушка, с ними еще несколько человек подняли батарейца на смех:

— Мы тебе из вербы пушку выдолбим!

— Тыквами будешь заряжать, картошка замест картечи!

С шутками и смехом записалось шестьдесят казаков. Последним объявился Христоня. Он подошел к столу, сказал с расстановочкой:

— Намулюй, стал быть, меня. Только наперед говорю, что драться не буду.

— Зачем же тогда записываться? — раздраженно спросил сотник.

— Погляжу, господин офицер. Поглядеть хочу.

— Пишите его. — Сотник пожал плечами.

С майдана расходились чуть ли не в полдень. Решено было на другой же день отправляться на поддержку мигулинцев.

Наутро на площади из шестидесяти добровольцев собралось только около сорока. Петро, щеголевато одетый в шинель и высокие сапоги, оглядел казаков. На многих синели заново нашитые погоны с номерами прежних полков, иные красовались без погонов. Седла пухли походными вьюками, в тороках и сумах — харчи, бельишко, запасенные с фронта патроны. Винтовки — не у всех, холодное оружие — у большинства.

На площади собрались провожать служивых бабы, девки, детишки, старики. Петро, гарцуя на отстоявшемся коне, построил свою полусотню, оглядел разномастных лошадей, всадников, одетых кто в шинели, кто в мундиры, кто в брезентовые дождевые плащи, скомандовал трогаться. Отрядик шагом поднялся на гору, казаки хмуро оглядывались на хутор, в заднем ряду кто-то выстрелил. На бугре Петро надел перчатки, расправил пшеничные усы и, поворачивая коня так, что он, часто переступая, пошел боком, крикнул, улыбаясь, придерживая левой рукой фуражку:

— Со-о-тня, слушай мою команду!.. Рысью марш!..

Казаки, стоя на стременах, махнули плетьми, зарысили. Ветер бил в лица, трепал конские хвосты и гривы, сулил дождик. Начались разговоры, шутки. Под Христоней споткнулся вороной трехвершковый конь. Хозяин огрел его плетюганом, выругался: конь, сколесив шею, перебил на намет, вышел из ряда.

Веселое настроение не покидало казаков до самой станицы Каргинской. Шли с полным убеждением, что никакой войны не будет, что мигулинское дело — случайный налет большевиков на казачью территорию.

XXIV

В Каргинскую приехали перед вечером. В станице уже не было фронтовиков — ушли на Мигулинскую. Петро, спешив свой отряд на площади, возле магазина купца Левочкина, пошел к станичному атаману на квартиру. Его встретил рослый, могучего сложения смуглолицый офицер. Одет он был в длинную просторную рубаху, без погонов, подпоясанную кавказским ремешком, казачьи шаровары с лампасами, заправленные в белые шерстяные чулки. В углу тонких губ висела трубка. Коричневые, с искрой глаза глядели вывихнуто, исподлобно. Он стоял на крыльце, покуривая, глядя на подходившего Петра. Вся массивная фигура его, выпуклые чугунно крепкие валы мышц под рубашкой на груди и руках изобличали в нем присутствие недюжинной силы.

— Вы — станичный атаман?

Офицер выдохнул из-под никлых усов ворох дыма, пробаритонил:

— Да, я станичный атаман. С кем имею честь говорить?

Петро назвался. Пожимая его руку, атаман чуть наклонил голову:

— Лиховидов Федор Дмитриевич.

Федор Лиховидов, казак хутора Гусыно-Лиховидовского, был человеком далеко не заурядным. Он учился в юнкерском, по окончании его надолго исчез. Через несколько лет внезапно появился в хуторе, с разрешения высших властей начал вербовать добровольцев из отслуживших действительную казаков. В районе теперешней Каргинской станицы набрал сотню отчаянных сорвиголов, увел за собой в Персию. Со своим отрядом пробыл там год, составляя личную охрану шаха. В дни персидской революции, спасаясь с шахом, бежал, растерял отряд и так же внезапно появился в Каргине; привел с собой часть казаков, трех чистокровных арабских, с конюшни шаха, скакунов, привез богатую добычу: дорогие ковры, редчайшие украшения, шелка самых пышных цветов. Он прогулял месяц, вытряс из карманов шаровар немало золотых персидских монет, скакал по хуторам на снежно-белом, красивейшем, тонконогом коне, по-лебединому носившем голову, въезжал на нем по порожкам магазина Левочкина, покупал что-нибудь, расплачивался, не слезая с седла, и выезжал в сквозную дверь. Исчез Федор Лиховидов так же неожиданно, как и приехал. Вместе с ним скрылся его неразлучный спутник — вестовой, гусыновский казак, плясун Пантелюшка; исчезли и лошади, и все, что вывезено было из Персии.

Полгода спустя объявился Лиховидов в Албании. Оттуда, из Дураццо, приходили в Каргин на имя знакомых его почтовые карточки с голубыми нагорными видами Албании, со старинными штемпелями. Потом переехал он в Италию, изъездил Балканы, был в Румынии, на западе Европы, перенесло его чуть ли не в Испанию. Дымкой таинственности покрывалось имя Федора Дмитриевича. Самые различные толки и предположения ходили о нем по хуторам. Знали лишь одно — что был он близок к монархическим кругам, водил знакомство в Питере с большими сановниками, был в Союзе русского народа [58] на видном счету, но о том, какие миссии выполнял он за границей, никто ничего не знал.

Уже вернувшись из-за границы, Федор Лиховидов укоренился в Пензе, при тамошнем генерал-губернаторе. В Каргине знакомые видели его фотографию и после долго покачивали головами, растерянно чмокали языками: «Ну и ну!..», «В гору лезет Федор Дмитриевич!», «С какими людьми дело водит, а?» А на фотографии Федор Дмитриевич, с улыбкой на своем горбоносом смуглом лице серба, под ручку поддерживает губернаторшу, усаживающуюся в ландо. Сам губернатор ему ласково, как родному, улыбается, широкоспинный кучер в вытянутых руках еле удерживает вожжи, лошади вот-вот готовы рвануть и нести, закусив удила. Одна рука Федора Дмитриевича галантно тянется к косматой папахе, другая, как чашу,

держит губернаторшин локоток.

После нескольких лет исчезновения, уже в конце 1917 года, всплыл Федор Лиховидов в Каргине, обосновался там — как будто бы надолго. Привез с собой жену, не то украинку, не то польку, и ребенка; поселился на площади в небольшом, о четырех комнатах домике, зиму прожил, вынашивая какие-то неведомые планы. Всю зиму (а зима была крепка не по-донскому!) стояли у него настежь открытыми окна — закалял себя и семью, вызывая изумление у казаков.

Весною 1918 года, после дела под Сетраковом, его выбрали в атаманы. Вот тут-то и развернулись во всю ширь необъятные способности Федора Лиховидова. В столь жесткие руки попала станица, что неделю спустя даже старики головами покачивали. Так вышколил он казаков, что на станичном сходе после речи его (говорил Лиховидов ладно; не только силой, но и умом не обнесла его природа) ревут старики, как табун сплошь из бугаев: «В добрый час, ваше благородие! Покорнейше просим!», «Верна!»

Круто атаманил новый атаман; едва лишь прослыхали в Каргинской о бое под Сетраковом, как на другой же день туда полностью направились все фронтовики станицы. Иногородние (в поселении станицы составлявшие треть жителей) вначале не хотели было идти, другие солдаты-фронтовики запротестовали, но Лиховидов настоял на сходе, старики подписали предложенное им постановление о выселении всех «мужиков», не принимавших участия в защите Дона. И на другой же день десятки подвод, набитых солдатами, с гармошками и песнями, потянулись к Наполову, Чернецкой слободке. Из иногородних лишь несколько молодых солдат, предводительствуемые Василием Стороженко, служившим в 1-м пулеметном полку, бежали к красногвардейцам.

Атаман еще по походке узнал в Петре офицера — выходца из нижних чинов. Он не пригласил Петра в комнату, говорил с оттенком добродушной фамильярности:

— Нет, милейший, делать вам в Мигулинской нечего. Без вас управились — вчера вечером получили телеграмму. Поезжайте-ка обратно да ждите приказа. Казаков хорошенько качните! Такой большой хутор — и дал сорок бойцов?! Вы им, мерзавцам, накрутите холки! Ведь вопрос-то об их шкурах! Будьте здоровы, всего доброго!

Он пошел в дом, с неожиданной легкостью неся свое могучее тело, шаркая подошвами простых чириков. Петро направился к площади, к казакам. Его осыпали вопросами:

— Ну, как?

— Что там?

— Пойдем на Мигулин?

Петро, не скрывая своей обрадованности, усмехнулся:

— Домой! Обошлись без нас.

Казаки улыбались, — толпясь, пошли к привязанным у забора коням. Христоня даже вздохнул, будто гору с плеч скидывая, хлопнул по плечу Томилина:

— Домой, стал быть, пушкарь!

— То-то бабы теперь по нас наскучили.

— Зараз тронемся.

Посоветовавшись, решили не ночевать, ехать сейчас же. Уже в беспорядке, кучей выехали за станицу. Если в Каргинскую шли неохотно, редко перебивая на рысь, то оттуда придавили коней, неслись вовсю. Местами скакали наметом; глухо роптала под копытами зачерствевшая от бездорожья земля. Где-то за Доном, за дальними гребнями бугров, лазоревая крошилась молния.

В хутор приехали в полночь. Спускаясь с горы, выстрелил Аникушка из своей австрийской винтовки, громыхнули залпом, извещая о возвращении. В ответ по хутору

забрехали собаки, и, чуя близкий дом, дрожа, с выхрипом проржал чей-то конь. По хутору рассыпались в разные стороны.

Мартин Шамиль, прощаясь с Петром, облегченно крякнул:

— Навоевались. То-то добро!

Петро улыбнулся в темноту, поехал к своему базу.

Коня вышел убрать Пантелей Прокофьевич. Расседлал его, завел в конюшню. В курень пошли вместе с Петром.

— Отставили поход?

— Ага.

— Ну и слава богу! Хучь бы и век не слыхать.

Жаркая со сна, встала Дарья. Собрала мужу вечерять. Из горницы вышел полуодетый Григорий; почесывая черноволосую грудь, насмешливо пожмурился на брата:

— Победили, что ль?

— Останки борща вот побеждаю.

— Ну, это куда ни шло. Борщ-то мы одолеем, особенно ежели мне навалиться в подмогу…

До пасхи о войне было ни слуху ни духу, а в страстную субботу прискакал из Вешенской нарочный, взмыленного коня бросил у коршуновских ворот, гремя по порожкам шашкой, взбежал на крыльцо.

— Какие вести? — с порога встретил его Мирон Григорьевич.

— Мне атамана. Вы будете?

— Мы.

— Снаряжайте казаков зараз же. Через Наголинскую волость идет Подтелков с красногвардией. Вот приказ. — И вместе с пакетом вывернул запотевшую подкладку фуражки.

Дед Гришака шел на разговор, запрягая нос в очки; с база прибежал Митька. Приказ от окружного атамана читали вместе. Нарочный, прислонясь к резным перилам, растирал рукавом по обветревшему лицу полосы пыли.

На первый день пасхи, разговевшись, выехали казаки из хутора. Приказ генерала Алферова был строг, грозил лишением казачьего звания, поэтому шло на Подтелкова уже не сорок человек, как в первый раз, а сто восемь, в числе которых были и старики, объятые желанием брухнуться с красными. Вместе с сыном ехал зяблоносый Матвей Кашулин. На никудышной кобыленке красовался в передних рядах Авдеич Брех, всю дорогу потешавший казаков диковиннейшими своими небылицами; ехал старик Максаев и еще несколько седобородых… Молодые ехали поневоле, старые — по ретивой охоте.

Григорий Мелехов, накинув на фуражку капюшон дождевого плаща, ехал в заднем ряду. С обволоченного хмарью неба сеялся дождь. Над степью, покрытой нарядной зеленкой, катились тучи. Высоко, под самым тучевым гребнем, плыл орел. Редко взмахивая крыльями, простирая их, он ловил ветер и, подхватываемый воздушным стременем, кренясь, тускло блистая коричневым отливом, летел на восток, удаляясь, мельчая в размерах.

Степь мокро зеленела. Местами лишь кулигами выделялся прошлогодний чернобыл, багровый жабрей, да на гряде бугра отсвечивали сторожевые курганы.

Спускаясь с горы в Каргинскую, казаки повстречали подростка-казачонка, гнавшего на попас быков. Шел он, оскользаясь босыми ногами, помахивая кнутом. Увидев всадников, приостановился, внимательно рассматривая их и забрызганных грязью, с подвязанными хвостами лошадей.

— Ты чей? — спросил его Иван Томилин.

— Каргин, — бойко ответил парнишка, улыбаясь из-под накинутой на голову курточки.

— Ушли ваши казаки?

— Пошли. Красногвардию пошли выбивать. А у вас не будет ли табачку на цигарку? А, дяденька?

— Табачку тебе? — Григорий придержал коня.

Казачок подошел к нему. Засученные шаровары его были мокры, лампасы ало лоснились. Он смело глядел в лицо Григорию, выручавшему из кармана кисет, говорил ловким тенористым голосом:

— Вот тут зараз, как зачнете спущаться, увидите битых. Вчерась пленных краснюков погнали в Вешки наши казаки и поклали их… Я, дяденька, стерег скотину вон возле Песчаного кургана, видал оттель, как они их рубили. Ой, да и страшно же! Как зачали шашками махать, они как взревелись, как побегли… После ходил, глядел… У одного плечо обрубили, двошит часто, и видно, как сердце в середке под кровями бьется, а печенки синие-синие… Страшно! — повторил он, дивясь про себя, что казаки не пугаются его рассказа, так, по крайней мере, заключил он, оглядывая бесстрастные и холодные лица Григория, Христони и Томилина.

Закурив, он погладил мокрую шею Григорьева коня, сказал: «Спасибочко», — и побежал к быкам.

Около дороги, в неглубоком, промытом вешней водой яру, чуть присыпанные суглинком, лежали трупы изрубленных красногвардейцев. Виднелось смугло-синее, как из олова, лицо с запекшейся на губах кровью, чернела босая нога в синей ватной штанине.

— Тошно им прибрать… Сволочи! — глухо зашептал Христоня и вдруг, секанув плетью своего коня, обгоняя Григория, поскакал под гору.

— Ну, завиднелась и на донской земле кровица, — подергивая щекой, улыбнулся Томилин.

XXV

Номерным у Бунчука был казак с хутора Татарского Максимка Грязнов. Коня потерял он в бою с кутеповским отрядом, с той поры безудержно запил, пристрастился к картежной игре. Когда убили под ним коня — того самого, который бычачьей был масти, с серебряным ремнем вдоль спины, — вынес на себе Максимка седло, пер его четыре версты и, видя, что живым не уйти от яро наседавших белых, сорвал богатый нагрудник, взял уздечку и самовольно ушел из боя. Объявился он уже в Ростове, вскорости проиграл в «очко» серебряную шашку, взятую у зарубленного им есаула, проиграл оставшуюся на руках конскую справу, шаровары, шевровые сапоги и нагишом пришел в команду к Бунчуку. Тот его приодел, примолвил. Может, и исправился бы Максимка, да в бою, начавшемся на подступах к Ростову, колупнула ему пуля голову, вытек на рубаху голубой Максимкин глаз, забила ключом кровь из разверзнутой, как консервная банка, черепной коробки. Будто и не было на белом свете вешенского казака Грязнова — конокрада в прошлом и горького пьянюги в недавнем вчера.

Поглядел Бунчук, как корежила агония Максимкино тело, и заботливо вытер с пулеметного ствола кровь. брызнувшую из дырявой Максимкиной головы.

Сейчас же пришлось отступать. Потащил Бунчук пулемет. Остался Максимка холодеть на жаркой земле, выставил на солнце смуглоспинное тело с задранной на голову рубахой (умирая, все тянул на голову рубаху, мучился).

Взвод красногвардейцев, сплошь из солдат, возвращавшихся с турецкого фронта,

укрепился на первом же перекрестке. Гололобый солдат, в полуистлевшей зимней папахе, помог Бунчуку установить пулемет, остальные устроили поперек улочки нечто вроде баррикады.

— Приходи видаться! — улыбнулся один бородач, поглядывая на близкое за бугорком полудужье горизонта.

— Теперь мы им сыпанем!

— Ломай, Самара! — крикнули одному дюжему парню, отдиравшему доски от забора.

— Вон они! Метутся сюда! — крикнул гололобый, взобравшись на крышу водочного склада.

Анна прилегла рядом с Бунчуком. Красногвардейцы густо залегли за временным укреплением.

В это время справа, по соседнему переулку, человек девять красногвардейцев, как куропатки по меже, промчались за стену углового дома. Один успел крикнуть:

— Скачут! Тикайте!

На перекрестке вмиг стало пустынно и тихо, а минуту спустя, опережая вихрь пыли, вывернулся верховой казак с белой перевязью на фуражке, с прижатым к боку карабином. Он с такой силой крутил коня, что тот присел на задние ноги. Бунчук успел выстрелить из нагана. Казак, прилипая к конской шее, умчался назад. Солдаты, бывшие около пулемета, топтались в нерешительности, двое перебежали вдоль забора, залегли у ворот.

Было видно, что сейчас дрогнут и побегут. Напряженное до предела молчание, растерянные взгляды не сулили устойчивости… А из последующего осязаемо и ярко запомнился Бунчуку один момент. Анна в сбитой на затылок повязке, растрепанная и неузнаваемая от волнения, обескровившего ее лицо, вскочила и — винтовку наперевес, — оглядываясь, указывая рукой на дом, за которым скрылся казак, таким же неузнаваемым ломким голосом крикнула: «За мной!» — и побежала неверной, спотыкающейся рысью.

Бунчук привстал. Рот его исковеркало невнятным криком. Выхватил винтовку у ближнего солдата, — чувствуя в ногах страшную дрожь, побежал за Анной, задыхаясь, чернея от великого и бессильного напряжения кричать, звать, вернуть. Позади слышал дых нескольких человек, топотавших следом, и всем своим существом чувствовал что-то страшное, непоправимое, приближение какой-то чудовищной развязки. В этот миг он уже понял, что поступок ее не в силах увлечь остальных, бессмыслен, безрассуден, обречен.

Неподалеку от угла в упор напоролся на подскакавших казаков. Разрозненный с их стороны залп. Посвист пуль. Жалкий заячий вскрик Анны. И она, оседающая на землю, с вытянутой рукой и безумными глазами. Он не видел, как казаки повернули обратно, не видел, как солдаты из тех восемнадцати, что были около его пулемета, гнали их, зажженные Анниным порывом. Она, одна она была в его глазах, билась у его ног. Не чуя рук, повернул ее на бок, чтобы взять и куда-то нести, увидел кровяной подтек в левом боку и клочья синей кофточки, хлюпко болтавшейся вокруг раны, — понял, что рана от разрывной пули, понял — смерть Анне, и смерть увидел в ее обволоченных мутью глазах.

Кто-то оттолкнул его. Анну перенесли в ближний двор, положили в холодке под навесом сарая.

Гололобый солдат совал в рану хлопья ваты и отшвыривал их прочь, набухавшие и черневшие от крови. Овладев собой, Бунчук расстегнул на Анне ворот кофточки, порвал на себе исподнюю рубашку и, прижимая комья полотна к ране, видел, как пузырилась кровь, пропуская в отверстие воздух, видел, как сине белело лицо Анны и черный рот ее дрожал в муках. Губы хватали воздух, а легкие задыхались: воздух шел через рот и рану. Бунчук разрезал на ней рубашку, бесстыдно оголил покрытое смертной испариной тело. Рану кое-как заткнули

тампоном. Через несколько минут к Анне вернулось сознание. Провалившиеся глаза глянули из черных подтечных кругов на Илью и прикрылись дрожащими ресницами.

— Воды! Жарко! — крикнула она и заметалась, заплакала: — Жить! Илья-а-а-а!.. Милый!.. Аааа!

Распухшими губами Бунчук припал к ее пылающим щекам, лил из кружки воду на грудь. Вода до краев заполняла впадины ключиц, пересыхала моментально. Смертный жар изжигал Анну. Сколько ни лил Бунчук на грудь ее воды — металась Анна, рвалась из рук.

— Жарко… Огонь!

Обессилев, понемногу холодея, сказала внятно:

— Илья, зачем же? Ну вот видишь, как все просто… Чудак ты!.. Страшно просто… Илья… Милый, ты маме как-нибудь… Ты знаешь… — Она полуоткрыла суженные, как во время смеха, глаза и, пытаясь осилить боль и ужас, заговорила невнятно, будто давясь чем-то: — Сначала ощущение… Толчок и ожог… Сейчас горит все… Чувствую — умру… — И сморщилась, увидев горький отрицающий взмах его руки. — Оставь! Ах, как тяжко дышать!..

В перерыве говорила часто и много, словно старалась высказать все тяготившее ее. С безграничным ужасом заметил Бунчук, что лицо ее светлеет, становится прозрачней, желтей у висков. Перевел взгляд на руки, безжизненно кинутые вдоль тела, увидел — ногти, как зреющий чернослив, наливаются розовой синевой.

— Воды… На грудь… Жарко!

Бунчук бросился в дом за водой. Возвращаясь, не слышал под навесом сарая хрипов Анны. Низкое солнце светило на сведенный последней судорогой рот, на прижатую к ране еще теплую воскового слепка ладонь. Медленно сжимая ее плечи, он приподнял ее, минуту смотрел на заострившийся нос с потемневшими крохотными веснушками у переносья, ловил под разлатыми черными бровями стынувший блеск зрачков. Беспомощно запрокинутая голова свисала все ниже, на тонкой девичьей шее в синей жилке отсчитывал последние удары пульс.

Бунчук прижался губами к черному полусмеженному веку, позвал:

— Друг! Аня! — выпрямился и, круто повернувшись, пошел неестественно прямо, не шевеля прижатыми к бедрам руками.

XXVI

Эти дни он жил, как в тифозном бреду. Ходил, делал что-то, ел, спал, но все это словно в полусне, одуряющем и дурманном. Ошалелыми припухлыми глазами непонимающе глядел на разостланный вокруг него мир, знакомых не узнавал, глядел, как сильно пьяный или только что оправившийся от изнурительной болезни. Со дня смерти Анны чувства в нем временно атрофировались: ничего не хотелось, ни о чем не думалось.

— Ешь, Бунчук! — предлагали товарищи, и он ел, тяжко и лениво двигая челюстями, тупо уставясь в одну точку.

За ним наблюдали, поговаривали об отправке в госпиталь.

— Ты болен? — спросил его на другой день один из пулеметчиков.

— Нет.

— А чего ж ты? Тоскуешь?

— Нет.

— Ну, давай закурим. Ее, браток, теперь не воротишь. Не трать на это дело пороху.

Приходило время спать — ему говорили:

— Ложись спать. Пора.

Ложился.

В этом состоянии временного ухода из действительности пробыл он четыре дня. На пятый повстречал его на улице Кривошлыков, схватил за рукав.

— Ага, вот и ты, а я тебя ищу. — Кривошлыков не знал о случившемся с Бунчуком и, дружески похлопывая его по плечу, тревожно улыбнулся: — Ты чего такой? Не выпил? Ты слышал, что отправляется экспедиция в северные округа? Как же, комиссия пяти выбрана. Федор ведет. Только на северных казаков и надежда. Иначе заремизят. Плохо! Ты поедешь? Нам агитаторы нужны. Поедешь, что ли?

— Да, — коротко ответил Бунчук.

— Ну и хорошо. Завтра выступаем. Зайди к деду Орлову, он у нас звездочетом.

В прежнем состоянии полнейшей духовной прострации Бунчук приготовился к выступлению и на следующий день, 1 мая, выехал вместе с экспедицией.

К тому времени обстоятельства для Донского советского правительства складывались явно угрожающим образом. С Украины надвигались немецкие оккупационные войска, низовые станицы и округа были сплошь захлестнуты контрреволюционным мятежом.

По зимовникам бродил генерал Попов, грозя оттуда Новочеркасску. Происходивший 10-13 апреля в Ростове областной съезд Советов неоднократно прерывался, так как восставшие черкасцы подходили к Ростову и занимали предместья. Лишь на севере, в Хоперском и Усть-Медведицком округах, теплились очаги революции, и к их-то теплу невольно и тянулись Подтелков и остальные, разуверившиеся в поддержке низовского казачества. Мобилизация сорвалась, и Подтелков, недавно избранный председателем донского Совнаркома, по инициативе Лагутина решил отправиться на север, чтобы мобилизовать там три-четыре полка фронтовиков и кинуть их на немцев и низовскую контрреволюцию.

Создали чрезвычайную мобилизационную комиссию пяти, во главе с Подтелковым. 29 апреля из казначейства взяли десять миллионов рублей золотом и николаевскими для нужд мобилизации, наспех сгребли отряд для охраны денежного ящика, преимущественно из казаков бывшей каменской местной команды, забрали несколько человек казаков-агитаторов, и 1 мая, уже под обстрелом немецких аэропланов, экспедиция тронулась по направлению на Каменскую.

Пути были забиты эшелонами отступавших с Украины красногвардейцев. Казаки-повстанцы рвали мосты, устраивали крушения. Ежедневно под линий Новочеркасск — Каменская по утрам появлялись немецкие аэропланы, кружились коршунячьей семьей, снижались; коротко стрекотали пулеметы, из эшелонов высыпали красногвардейцы; дробно грохотали выстрелы, над станциями запах шлака смешивался с прогорклым запахом войны, уничтожения. Аэропланы взмывали в немыслимую высоту, а стрелки еще долго опорожняли патронные цинки, и сапоги ходивших мимо состава тонули по щиколотку в пустых гильзах. Ими покрыт был песок, как буерак дубовой золотой листвою в ноябре.

Безмерное разрушение сказывалось на всем: по откосам углились сожженные и разломанные вагоны, на телеграфных столбах сахарно белели стаканы, перевитые оборванными проводами. Многие дома были разрушены, щиты вдоль линии сметены, будто ураганом…

Экспедиция пять дней пробивалась по направлению на Миллерово. На шестой утром Подтелков созвал членов комиссии в свой вагон.

— Так ехать нету могуты! Давайте кинем все наши пожитки и пойдем походным порядком.

— Ты что? — воскликнул изумленный Лагутин. — Пока дотилипаешь походным

порядком до Усть-Медведицы, белые через нас пройдут.

— Далековато, — замялся и Мрыхин.

Кривошлыков, только недавно нагнавший экспедицию, молчал, кутался в шинель с выцветшими петлицами. Его трепала лихорадка, от хины звенело в ушах, голова, начиненная болью, пылала. Он не принимал участия в обсуждении, сидел, сгорбясь, на мешке с сахаром. Глаза его были затянуты лихорадочной пленкой.

— Кривошлыков! — окликнул его Подтелков, не поднимая от карты глаз.

— Что тебе?

— Не слышишь, о чем гутарим? Походом идтить надо, иначе перегонит нас, пропадем. Ты как? Ты больше нас ученый, говори.

— Походом бы можно, — с расстановочкой заговорил Кривошлыков, но вдруг ляскнул совсем по-волчьи зубами, мелко затрясся, охваченный пароксизмом лихорадки. — Можно бы, если б меньше багажу.

Около дверей Подтелков развернул карту области. Мрыхин держал углы. Карта под ветром, налетевшим с пасмурного запада, трепыхалась, с шорохом рвалась из рук.

— Вот как пойдем, вот, гляди! — Обкуренный палец Подтелкова наискось проехался по карте. — Видишь масштаб? Полтораста верст, двести от силы. Ну!

— А ить верно, чума ее дери! — согласился Лагутин.

— Ты, Михаил, как?

Кривошлыков досадливо пожал плечами:

— Я не возражаю.

— Зараз пойду казакам скажу, чтоб выгружались. Нечего время терять.

Мрыхин выжидающе оглядел всех и, не встретив возражений, выпрыгнул из вагона.

Эшелон, с которым ехала подтелковская экспедиция, в это хмурое, дождливое утро стоял неподалеку от Белой Калитвы. Бунчук лежал в своем вагоне, с головой укрывшись шинелью. Казаки здесь же кипятили чай, хохотали, подшучивали друг над другом.

Ванька Болдырев — мигулинский казак, балагур и насмешник — подсмеивался над товарищем-пулеметчиком.

— Ты, Игнат, какой губернии? — хрипел его сиплый, прожженный табаком голос.

— Тамбовской, — мяконьким баском отзывался смирный Игнат.

— И, небось, морщанский?

— Нет, шацкий.

— А-а-а-а… шацкие — ребята хватские: в драке семеро на одного не боятся лезть. Это не в вашей деревне к престолу телушку огурцом зарезали?

— Будя, будя тебе!

— Ах да, я забыл, этот случай не у вас произошел. У вас, никак, церковь блинами конопатили, а посля на горохе ее хотели под гору перекатить. Было такое дело?

Чайник вскипел, и это на время избавило Игната от шуток Болдырева. Но едва лишь сели за завтрак, Ванька начал снова:

— Игнат, что-то свинину плохо ешь? Не любишь?

— Нет, ничего.

— На вот тебе свиную гузку. Скусная!

Лопнул смех. Кто-то поперхнулся и долго трескуче кашлял. Завозились. Загрохотали сапогами, а через минуту — запыхавшийся и сердитый голос Игната:

— Жри сам, черт! Что ты лезешь со своей гузкой?

— Она не моя, свиная.

— Один черт, поганая!

Равнодушный, с сипотцой болдыревский голос тянет:

— Пога-на-я? Да ты в уме? Ее на пасху святили. Скажи уж, что боишься оскоромиться…

Станичник Болдырева, красивый светло-русый казак, георгиевский кавалер всех четырех степеней, урезонивает:

— Брось, Иван! Наживешь с мужиком беды. Сожрет гузку, и приспичит ему кабана. А где его тут раздостанешь?

Бунчук лежал, смежив глаза. Разговор не доходил до его слуха, и он переживал недавнее с прежней, даже будто бы усилившейся болью. В мутной наволочи закрытых глаз кружилась перед ним степь, покрытая снегом, с бурыми хребтами дальних лесов на горизонте; он как бы ощущал холодный ветер и рядом с собой видел Анну, черные глаза ее, мужественные и нежные линии милого рта, крохотные веснушки у переносья, вдумчивую складку на лбу… Он не слышал слов, срывавшихся с ее губ: они были невнятны, перебивались чьей-то чужой речью, смехом, но по блеску зрачков, по трепету выгнутых ресниц догадывался, о чем она говорит… И вот иная Анна: иссиня-желтая, с полосами застывших слез на щеках, с заострившимся носом и жутко-мучительной складкой губ.

Он нагибается, целует черные провалы стынущих глаз… Бунчук застонал, ладонью зажал себе рот, чтобы удержать рыдание. Анна не покидала его ни на минуту. Образ ее не выветривался и не тускнел от времени. Лицо ее, фигура, походка, жесты, мимика, размах бровей — все это, воссоединяясь по частям, составляло ее цельную, живую. Он вспоминал ее речи, овеянные сентиментальным романтизмом, все то, что пережил с ней. И от этой живости воссоздания муки его удесятерялись.

Его разбудили, услышав приказ о выгрузке. Он встал, равнодушно собрался, вышел. Потом помогал выгружать вещи. С таким же безразличием сел на подводу, поехал.

Моросил дождь. Мокрела низкорослая трава вдоль дороги.

Степь. Вольный разгул ветров по гребням и балкам. Далекие и близкие хутора, выселки. Позади дымки паровозов, красные квадраты станционных построек. Сорок с лишним подвод, нанятых в Белой Калитве, тянулись по дороге. Лошади шли медленно. Суглинисто-черноземная почва, размякшая от дождя, затрудняла движение. Грязь цеплялась на колеса, наматывалась черными ватными хлопьями. Впереди и позади толпами шли шахтеры Белокалитвенского района. На восток уходили от казачьего произвола. Тащили за собой семьи, утлый скарб.

Возле разъезда Грачи их нагнали и растрепанные отряды красногвардейцев Романовского и Щаденко. Лица бойцов были землисты, измучены боями, бессонницей и лишениями. К Подтелкову подошел Щаденко. Красивое лицо его, с подстриженными по-английски усами и тонким хрящеватым носом, было испито. Бунчук проходил мимо, слышал, как Щаденко — брови в кучу — говорил зло и устало:

— Та что ты мне говоришь? Чи я не знаю своих ребят? Плохи дела, а тут немцы, будь они прокляты! Когда теперь соберешь?

После разговора с ним Подтелков, нахмуренный и как будто слегка растерявшийся, догнал свою бричку, что-то взволнованно стал говорить привставшему Кривошлыкову. Наблюдая за ними. Бунчук видел: Кривошлыков, опираясь на локоть, рубнул рукой воздух, выпалил несколько фраз залпом, и Подтелков повеселел, прыгнул на тачанку, боковина ее хрястнула, удержав на себе шестипудового батарейца; кучер — кнута лошадям, грязь — ошметками в сторону.

— Гони! — крикнул Подтелков, щурясь, распахивая навстречу ветру кожаную куртку.

XXVII

Несколько дней экспедиция шла в глубь Донецкого округа, прорываясь к Краснокутской станице. Население украинских слобод встречало отряд с неизменным радушием: с охотой продавали съестные припасы, корм для лошадей, давали приют, но едва лишь поднимался вопрос о найме лошадей до Краснокутской — украинцы мялись, чесали затылки и отказывались наотрез.

— Хорошие деньги платим, чего ж ты нос воротишь? — допытывался Подтелков у одного из украинцев.

— Та шо ж, а мэни своя жизнь нэ дэшевше грошей стоить.

— На что нам твоя жизнь, ты нам коней с бричкой найми.

— Ни, нэ можу.

— Почему не могешь?

— Та вы ж до казакив йидэтэ?

— Ну так что же?

— Може, зробиться яке лыхо або ще шо. Чи мэни своей худобы нэ жалко? Загублють коней, шо мэни тоди робыть! Ни, дядько, выдчепысь, нэ пойду!

Чем ближе подвигались к Краснокутскому юрту, тем тревожней становились Подтелков и остальные. Чувствовалась перемена и в настроении населения: если в первых слободах встречали с радостным гостеприимством, то в последующих — к экспедиции относились с явным недоброжелательством и настороженностью. Неохотно продавали продукты, увиливали от вопросов. Подводы экспедиции уже не окружала, как прежде, цветистым поясом слободская молодежь. Угрюмо, неприязненно посматривали из окон, спешили уйти.

— Крещеные вы тут али нет? — с возмущением допытывались казаки из экспедиции. — Что вы, как сычи на крупу, на нас глядите?

А в одной из слобод Наголинской волости Ванька Болдырев, доведенный до отчаяния холодным приемом, бил на площади шапку оземь, — озираясь, как бы не подошел кто из старших, кричал хрипато:

— Люди вы али черти? Что ж вы молчите, такую вашу мать? За ваши права кровь проливаешь, а они в упор тебя не видют! Довольно совестно такую мораль распушать? Теперь, товарищи, равенство — ни казаков, ни хохлов нету, и никакого черта лопушиться. Чтоб зараз же несли курей и яиц, за все николаевскими плотим!

Человек шесть украинцев, слушавших, как разоряется Болдырев, стояли понуро, словно лошади в плуге.

На горячую речь его не откликнулись ни одним словом.

— Как были вы хохлы, так вы, растреклятые, ими и остались! Чтоб вы полопались, черти, на мелкие куски! Холеры на вас нету, буржуи вислопузые! — Болдырев еще раз ахнул оземь свою приношенную шапку, побагровел от бесконечного презрения: — У вас снегу средь зимы не выпросишь!

— Не лайся! — только и сказали ему украинцы, расходясь в разные стороны.

В этой же слободе у одного из казаков-красногвардейцев пожилая украинка допытывалась:

— Чи правда, шо вы усэ будэтэ грабыть и усих чоловиков ризать?

И казак, глазом не мигнув, отвечал:

— Правда. Всех-то не всех, а стариков будем резать.

— Ой, боже ж мий! Та на шо ж воны вам нужни?

— А мы их с кашей едим: баранина теперь травяная, не сладкая, а деда подвалишь в котел, и какой из него навар получается…

— Та то вы, мабуть, шуткуетэ?

— Брешет он, тетка! Дуру трепает! — вступил в разговор Мрыхин.

И один на один жестоко отчитал шутника:

— Ты понимай, как шутить и с кем шутить! За такие шутки как бы тебе Подтелков ряшку не побил! Ты чего смуту разводишь? А она и в сам-деле понесет, что стариков режем.

Подтелков укорачивал стоянки и ночевки. Сжигаемый беспокойством, он стремился вперед. Накануне вступления в порт Краснокутской станицы он долго разговаривал с Лагутиным, делился мыслями:

— Нам, Иван, далеко идтить не след. Вот достигнем Усть-Хоперской станицы, зачнем ворочать дела! Объявим набор, жалованья рублей по сотне кинем, но чтоб шли с конями и со справой, нечего народными денежками сорить. Из Усть-Хопра так и гребанемся вверх: через твою Букановскую, Слащевскую, Федосеевскую, Кумылженскую, Глазуновскую, Скуришенскую. Пока до Михайловки дойдем — дивизия! Наберем?

— Набрать — наберем, коли там все мирно.

— Ты уж думаешь, и там началось?

— А почем знать? — Лагутин гладил скудную бороденку, тонким жалующимся голосом говорил: — Припозднились мы… Боюсь я, Федя, что не успеем. Офицерье свое дело там делает. Поспешать надо бы.

— И так спешим. А ты не боись! Нам бояться нельзя. — Подтелков суровел глазами. — Людей за собой ведем, как можно бояться? Успеем! Прорвемся! Через две недели буду бить и белых и германцев! Аж черти их возьмут, как попрем с донской земли! — И, помолчав, жадно выкурив папироску, высказал затаенную мысль: — Опоздаем — погибли и мы, и Советская власть на Дону. Ох, не опоздать бы! Ежели попереди нас докатится туда офицерское восстание — все!

На другой день к вечеру экспедиция вступила на земли Краснокутской станицы. Не доезжая хутора Алексеевского, Подтелков, ехавший с Лагутиным и Кривошлыковым на одной из передних подвод, увидел ходивший в степи табун.

— Давай расспросим пастуха, — предложил он Лагутину.

— Идите, — поддержал Кривошлыков.

Лагутин и Подтелков, соскочив, пошли к табуну. Толока, выжженная солнцем, лоснилась бурой травой. Трава была низкоросла, ископычена, лишь у дороги желтым мелкокустьем цвела сурепка да шелестел пушистыми метелками ядреный овсюг. Разминая в ладони головку престарелой полыни, вдыхая острую горечь ее запаха, Подтелков подошел к пастуху:

— Здорово живешь, отец!

— Слава богу.

— Пасешь?

— Пасу.

Старик, насупясь, глядел из-под кустистых седых бровей, покачивал чакушкой.

— Ну, как живете? — задал Подтелков обычный вопрос.

— Ничего, божьей помочью.

— Что новостей у вас тут?

— Ничего не слыхать. А вы что за люди?

— Служивые, домой идем.

— Откель же вы?

— Усть-хоперские.

— Этот самый Подтелкин не с вами?

— С нами.

Пастух, видимо испугавшись, заметно побледнел.

— Ты чего оробел, дед?

— Как же, кормильцы, гутарют, что вы всех православных режете.

— Брехня! Кто это распущает такие слухи?

— Позавчера атаман на сходе гутарил. Слухом пользовался, не то бумагу казенную получил, что идет Подтелкин с калмыками, режут вчистую всех.

— У вас уж атаманы? — Лагутин мельком глянул на Подтелкова.

Тот желтыми клыками впился в травяную былку.

— Надысь выбрали атамана. Совет прикрыли.

Лагутин хотел еще что-то спросить, но в стороне здоровенный лысый бык прыгнул на корову, подмял ее.

— Обломит, окаянный! — ахнул пастух и с неожиданной для его возраста резвостью пустился к табуну, выкрикивая на бегу: — Настенкина коровенка!.. Обломит!.. Куда!.. Куда-а-а, лысый!..

Подтелков, широко кидая руками, зашагал к тачанке. Хозяйственный Лагутин остановился, беспокойно глядел на тщедушную коровенку, пригнутую быком до земли, невольно думал в этот миг: «А ить обломит, сломал, никак! Ах ты нечистый дух!»

Только убедившись в том, что коровенка вынесла из-под быка хребет свой в целости, — пошел к подводам. «Что будем делать? Неужели уж и за Доном атаманья?» — мысленно задал он себе вопрос. Но внимание его вновь на минуту отвлек стоявший у дороги племенной красавец бугай. Бугай нюхал большую, широкую в оснастке черную корову, поводил лобастой головой. Подгрудок его свисал до колен, длинный корпус, могучий и плотный, был вытянут, как струна. Низкие ноги стояками врывались в мягкую землю, и, нехотя любуясь породистым бугаем, лаская глазами его красную с подпалинами шерсть, Лагутин сквозь рой встревоженных мыслей вынес с вздохом одну: «Нам бы в станицу такого. А то мелковаты бугайки у нас». Эта мысль зацепилась походя, мельком. Подходя к тачанке, всматриваясь в невеселые лица казаков, Лагутин обдумывал маршрут, по которому придется им теперь идти.

Вытрепанный лихорадкой Кривошлыков — мечтатель и поэт — говорил Подтелкову:

— Мы уходим от контрреволюционной волны, норовим ее опередить, а она хлобыстает уже через нас. Ее, видно, не обгонишь. Шибко идет, как прибой на низменном месте.

Из членов комиссии, казалось, только Подтелков учитывал всю сложность создавшейся обстановки. Он сидел, клонясь вперед, ежеминутно кричал кучеру:

— Гони!

На задних подводах запели и смолкли. Оттуда, покрывая говор колес, раскатами бил смех, звучали выкрики.

Сведения, сообщенные пастухом, подтвердились. По дороге встретился экспедиции казак-фронтовик, ехавший с женой на хутор Свечников. Он был в погонах и с кокардой. Подтелков расспросил его и еще более почернел.

Миновали хутор Алексеевский. Накрапывал дождь. Небо хмурилось. Лишь на востоке, из прорыва в туче виднелся ультрамариновый, политый косым солнцем клочок неба.

Едва лишь с бугра стали съезжать в тавричанский участок Рубашкин, оттуда на противоположную сторону побежали люди, вскачь помчалось несколько подвод.

— Бегут. Нас боятся… — растерянно проговорил Лагутин, оглядывая остальных.

Подтелков крикнул:

— Верните их! Да шумните ж им, черти!

Казаки повскакивали на подводах, замахали шапками. Кто-то зычно закричал:

— Э-гей!.. Куда вы? Погодите!..

Подводы экспедиции рысью съезжали в участок. На широкой обезлюдевшей улице

кружился ветер. В одном из дворов старая украинка с криком кидала в бричку подушки. Муж ее, босой и без шапки, держал под уздцы лошадей.

В Рубашкином узнали, что квартирьер, высланный Подтелковым, захвачен в плен казачьим разъездом и уведен за бугор. Казаки были, видимо, недалеко. После короткого совещания решено было идти обратно. Подтелков, настаивавший вначале на продвижении вперед, заколебался.

Кривошлыков молчал, его вновь начинал трясти приступ лихорадки.

— Может, пойдем дальше? — спросил Подтелков у присутствовавшего на совещании Бунчука.

Тот равнодушно пожал плечами. Ему было решительно все равно — вперед идти или назад, лишь бы двигаться, лишь бы уходить от следовавшей за ним по пятам тоски. Подтелков, расхаживая возле тачанки, заговорил о преимуществе движения на Усть-Медведицу. Но его резко оборвал один из казаков-агитаторов:

— Ты с ума сошел! Куда ты поведешь нас? К контрреволюционерам? Ты, брат, не балуйся! Назад пойдем! Погибать нам неохота! Энто что? Ты видишь? — он указал на бугор.

Все оглянулись: на небольшом кургашке четкие рисовались фигуры трех верховых.

— Разъезд ихний! — воскликнул Лагутин.

— А вон еще!

По бугру замаячили конные. Они съезжались группами, разъезжались, исчезали за бугром и вновь показывались. Подтелков отдал приказ трогаться обратно. Проехали хутор Алексеевский. И там население, очевидно предупрежденное казаками, завидев приближение подвод экспедиции, стало прятаться и разбегаться.

Смеркалось. Назойливый, мелкий, холодный цедился дождь. Люди промокли и издрогли. Шли возле подвод, держа винтовки наизготове. Дорога, огибая изволок, спустилась в лощину, текла по ней, виляя и выползая на бугор. На гребнях появлялись и скрывались казачьи разъезды. Они провожали экспедицию, взвинчивая и без того нервное настроение.

Возле одной из поперечных балок, пересекавших лощину, Подтелков прыгнул с подводы, коротко кинул остальным: «Изготовься!» Сдвинув на своем кавалерийском карабине предохранитель, пошел рядом с подводой. В балке — задержанная плотиной — голубела вешняя вода. Ил около прудка был испятнан следами подходившего к водопою скота. На горбе осыпавшейся плотины росли бурьянок и повитель, внизу у воды чахла осока, шуршал под дождем остролистый лещук. Подтелков ждал казачьей засады в этом месте, но высланная вперед разведка никого не обнаружила.

— Федор, ты сейчас не жди, — зашептал Кривошлыков, подозвав Подтелкова к подводе. — Сейчас они не нападут. Ночью нападут.

— Я сам так думаю.

XXVIII

На западе густели тучи. Темнело. Где-то далеко-далеко, в полосе Обдонья, вилась молния, крылом недобитой птицы трепыхалась оранжевая зарница. В той стороне блекло светилось зарево, принакрытое черной полою тучи. Степь, как чаша, до краев налитая тишиной, таила в складках балок грустные отсветы дня. Чем-то напоминал этот вечер осеннюю пору. Даже травы, еще не давшие цвета, излучали непередаваемый запах тлена.

К многочисленным невнятным ароматам намокшей травы принюхивался, шагая, Подтелков. Изредка он останавливался, счищая с каблуков комья приставшей грязи,

выпрямляясь, тяжко и устало нес свое грузное тело, скрипел мокрой кожей распахнутой куртки.

В хутор Калашников, Поляково-Наголинской волости, приехали уже ночью. Казаки команды, покинув подводы, разбрелись по хатам на ночевку. Взволнованный Подтелков отдал распоряжение расставить пикеты, но казаки собирались неохотно. Трое отказались идти.

— Судить их товарищеским судом! За невыполнение боевого приказа — расстрелять! — горячился Кривошлыков.

Издерганный тревогой, Подтелков горько махнул рукой:

— Разложились дорогой. Обороняться не будут. Пропали мы, Мишатка!..

Лагутин кое-как собрал несколько человек, выслал за хутор дозоры.

— Не спать, ребятки! Иначе накроют нас! — обходя хаты, убеждал Подтелков наиболее близких ему казаков.

Он всю ночь просидел за столом, свесив на руки голову, тяжело и хрипло вздыхая. Перед рассветом чуть забылся сном, уронив на стол большую голову, но его сейчас же разбудил пришедший из соседнего двора Роберт Фрашенбрудер. Начали собираться к выступлению. Уже рассвело. Подтелков вышел из хаты. Хозяйка, доившая корову, повстречалась ему в сенях.

— А на бугре конные ездют, — равнодушно сказала она.

— Где?

— А вон за хутором.

Подтелков выскочил на двор: на бугре, за белым пологом тумана, висевшего над хутором и вербами левад, виднелись многочисленные отряды казаков. Они передвигались рысью и куцым наметом, окружая хутор, туго стягивая кольцо.

Вскоре во двор, где остановился Подтелков, к его тачанке стали стекаться казаки команды.

Пришел мигулинец Василий Мирошников — плотный чубатый казак. Он отозвал Подтелкова в сторону, потупясь, сказал:

— Вот что, товарищ Подтелков… Приезжали зараз делегаты от них, — он махнул рукой в сторону бугра, — велели передать тебе, чтоб сейчас же мы сложили оружие и сдались. Иначе они идут в наступление.

— Ты!.. Сукин сын!.. Ты что мне говоришь? — Подтелков схватил Мирошникова за отвороты шинели, швырнул его от себя и подбежал к тачанке; винтовку — за ствол, хриплым огрубевшим голосом — к казакам: — Сдаться?.. Какие могут быть разговоры с контрреволюцией? Мы с ними боремся! За мною! В цепь!

Высыпали из двора. Кучкой побежали на край хутора. У последних дворов догнал задыхавшегося Подтелкова член комиссии Мрыхин.

— Какой позор, Подтелков! Со своими же братьями и мы будем проливать кровь? Оставь! Столкуемся и так!

Видя, что лишь незначительная часть команды следует за ним, трезвым рассудком учитывая неизбежность поражения в случае схватки. Подтелков молча выкинул из винтовки затвор и вяло махнул фуражкой:

— Отставить, ребята! Назад — в хутор…

Вернулись. Собрались всем отрядом в трех смежных дворах. Вскоре в хуторе появились казаки. С бугра спустился отряд в сорок всадников.

Подтелков, по приглашению милютинских стариков, отправился за хутор договориться об условиях сдачи. Основные силы противника, обложившего хутор, не покидали позиций. На прогоне Бунчук догнал Подтелкова, остановил его:

— Сдаемся?

— Сила солому ломит… Что?.. Ну, что сделаешь?

— Погибнуть захотел? — Бунчука всего передернуло.

Высоким беззвучным глухим голосом он закричал, не обращая внимания на стариков, сопровождавших Подтелкова:

— Скажи, что орудия мы не сдадим!.. — Он круто повернулся и, размахивая зажатым в кулаке наганом, пошел обратно.

Вернувшись, попробовал было убедить казаков прорваться и с боем идти к железной дороге, но большинство было настроено явно примиренчески. Одни отворачивались от Бунчука, другие враждебно заявляли:

— Иди воюй, Аника, а мы с родными братьями сражаться не будем!

— Мы им и без оружия доверимся.

— Святая пасха — а мы будем кровь лить?

Бунчук подошел к своей бричке, стоявшей возле амбара, кинул под нее шинель, лег, не выпуская из ладони рубчатой револьверной рукоятки. Вначале он подумал было бежать, но ему претили уход тайком, дезертирство, и, мысленно махнув рукой, он стал ожидать возвращения Подтелкова.

Тот вернулся часа через три. Огромная толпа чужих казаков проникла с ним в хутор. Некоторые ехали верхом, другие вели лошадей в поводу, остальные шли просто пешком, напирая на Подтелкова и подъесаула Спиридонова — бывшего сослуживца его по батарее, теперь возглавлявшего сборный отряд по поимке подтелковской экспедиции. Подтелков высоко нес голову, шагал прямо и старательно, будто выпивший лишнее. Спиридонов что-то говорил ему, тонко и ехидно улыбаясь. А за ним ехал верховой казак, прижимая к груди небрежно выструганное древко просторного белого флага.

Улицы и дворы, где сбились подводы экспедиции, запрудились подошедшими казаками. Гомон вырос сразу. Многие из пришедших были сослуживцы казаков подтелковской команды. Зазвучали обрадованные восклицания, смех.

— Тю, однокашник. Тебя каким ветром занесло?

— Ну, здорово, здорово, Прохор!

— Слава богу.

— Чудок мы с тобой бой не учинили. А помнишь, как подо Львовом за австрийцами гоняли?

— Кум, Данило! Кум! Христос воскресе!

— Воистину воскресе! — слышался звучный чмок поцелуя: двое казаков, разглаживая усы, глядели друг на друга, улыбались, хлопали один одного по плечу.

Рядом другой разговор:

— Нам и разговеться не пришлось…

— Да ить вы же большевики, какое вам разговенье?

— Ну-к что ж, большевики большевиками, а в бога веруем.

— Хо! Брешешь?

— Истинный бог!

— А крест носишь?

— А вот он. — И здоровый широколицый красногвардеец-казак, топыря губы, расстегивал ворот гимнастерки, доставал висевший на бронзово-волосатой груди позеленевший медный крест.

Старики с вилами и топорами из отрядов по поимке «бунтовщика Подтелкова» изумленно переглядывались:

— А гутарили, будто вы отреклись от веры Христовой.

— Вроде вы уж сатане передались…

— Слухи были, будто грабите вы церкви и попов унистожаете.

— Брехня! — уверенно опровергал широколицый красногвардеец. — Брехню вам всучивают. Я перед тем как из Ростова выйтить, в церкву ходил и причастие принимал.

— Ска-а-ажи на милость! — Какой-то мозглявенький старичишка, вооруженный пикой с отпиленным наполовину древком, обрадованно хлопал руками.

Оживленный говор гудел по улице и дворам. Но через полчаса несколько казаков, из них один вахмистр Боковской станицы, расталкивая сбитые в плотный массив толпы, пошли по улице.

— Кто из отряда Подтелкова — собирайтесь на перекличку! — выкрикивали они.

Подъесаул Спиридонов, в защитной рубахе и защитных погонах, снял фуражку с офицерской кокардой, белевшей как отколотый кусочек рафинада, крикнул, поворачиваясь во все стороны:

— Все, кто из отряда Подтелкова, отходи налево к плетню! Остальные — направо! Мы, ваши братья фронтовики, вместе с вашей делегацией порешили, что вы должны сдать нам все оружие, ибо население боится вас с оружием. Складывайте винтовки и остальное вооружение на ваши повозки, будем его охранять совместно. Ваш отряд мы направим в Краснокутскую, и там в Совете вы получите ваше оружие сполна.

Среди казаков-красногвардейцев — глухое волнение. Выкрики из двора. Кричит казак Кумшатской станицы Коротков:

— Не сдадим!

Глухой буревой гул по улице, по дворам, набитым людьми.

Пришлые казаки хлынули в правую сторону, и посреди улицы, толпой разрозненной и разбитой, остались красногвардейцы из отряда Подтелкова. Кривошлыков в накинутой внапашку шинели затравленно оглядывался. Лагутин кривил губы. Поднялся недоуменный говор.

Бунчук, твердо решивший не сдавать оружия, держа винтовку наперевес, быстро подошел к Подтелкову.

— Оружия не сдадим! Слышишь ты?!

— Теперь поздно… — прошептал Подтелков, судорожно комкая в руках отрядный список.

Список этот перешел в руки Спиридонова. Тот, бегло прочитав его, спросил:

— Тут сто двадцать восемь человек… Где остальные?

— Отстали дорогой.

— Ах, вон как… Ну ладно. Прикажи, чтобы сносили оружие.

Подтелков первый отцепил наган с кобурою; передавая оружие, сказал невнятно:

— Шашка и винтовка в тачанке.

Началось разоружение. Красногвардейцы вяло сносили оружие, револьверы кидали через плетни, прятали, расходясь по дворам.

— Всех, кто не сдаст оружие, будем обыскивать! — крикнул Спиридонов, весело и широко осклабившись.

Часть красногвардейцев, предводительствуемая Бунчуком, отказалась от сдачи винтовок; их обезоружили силком.

Тревоги наделал пулеметчик, ускакавший из хутора с пулеметным замком. Воспользовавшись суматохой, спряталось несколько человек. Но сейчас же Спиридонов выделил конвой, окружил всех оставшихся с Подтелковым, обыскал, попробовал сделать

перекличку. Пленные отвечали неохотно, некоторые покрикивали:

— Чего тут проверять, все тут!

— Гоните нас в Краснокутскую!

— Товарищи! Кончайте дело!

Опечатав и под усиленной охраной отправив денежный ящик в Каргинскую, Спиридонов построил пленных, скомандовал, сразу изменив тон и обращение:

— Ряды вздвой! На-ле-е-во! Правое плечо вперед, шагом марш! Молчать!

Ропот прокатился по рядам красногвардейцев. Пошли недружно, тихо, спустя немного смешали ряды и уже шли толпой.

Подтелков, под конец упрашивавший своих сдавать оружие, вероятно, еще надеялся на какой-то счастливый исход. Но как только пленных выгнали за хутор, конвоировавшие их казаки начали теснить крайних лошадьми. Бунчука, шагавшего слева, старик казак, с пламенно рыжей бородой и почерневшей от старости серьгой в ухе, без причины ударил плетью. Конец ее располосовал Бунчуку щеку. Бунчук повернулся, сжав кулаки, однако вторичный, еще более сильный удар заставил его шарахнуться в глубь толпы. Он невольно сделал это, подтолкнутый животным инстинктом самосохранения, и, стиснутый телами густо шагавших товарищей, в первый раз после смерти Анны сморщил губы нервной усмешкой, дивясь про себя тому, как живуче и цепко в каждом желание жить.

Пленных начали избивать. Старики, озверевшие при виде безоружных врагов, гнали на них лошадей, свешивались с седел, били плетями, тупяками шашек. Невольно каждый из подвергавшихся побоям норовил протиснуться в середину; поднялись давка, крик.

Высокий бравый красногвардеец, из низовских, крикнул, потрясая поднятыми руками:

— Убивать — так убивайте сразу!.. Что вы измываетесь?

— Где же ваше слово? — зазвенел Кривошлыков.

Старики притихли. На вопрос одного из пленных: «Куда вы нас гоните?» — конвоир, молодой фронтовик, видимо сочувствовавший большевикам, ответил вполголоса:

— Приказ был — на хутор Пономарев. Вы не робейте, братки! Худого вам ничего не сделаем.

Пригнали на хутор Пономарев.

Спиридонов с двумя казаками стал в дверях тесной лавчушки; пропуская по одному, спрашивал:

— Имя, фамилия? Откуда родом? — ответы записывал в замусоленную полевую книжку.

Дошла очередь до Бунчука.

— Фамилия? — Спиридонов приставил жало карандаша к бумаге, мельком глянул в пасмурное лобастое лицо красногвардейца и, видя, как ежатся губы того, готовя плевок, вихнулся всем телом в сторону, крикнул: — Проходи, сволочь! Издохнешь и без фамилии!

Зараженный примером Бунчука, не ответил и тамбовец Игнат. Еще кто-то третий захотел умереть неузнанным, молча шагнув через порог…

Спиридонов сам навесил замок. Приставил караул.

Пока возле лавки шел дележ продуктов и оружия, взятых с подвод экспедиции, в одном из соседних домов заседал организованный наспех военно-полевой суд из представителей хуторов, участвовавших в поимке Подтелкова.

Председательствовал коренастый желтобровый есаул, уроженец Боковской станицы, Василий Попов. Он сидел за столом под завешенным рушниками зеркалом, широко разложив локти, сдвинув фуражку на плоский затылок. Масленые добродушно-строгие глаза его испытующе ползали по лицам казаков — членов суда. Обсуждалась мера наказания.

— Что же мы с ними сделаем, господа старики? — повторил Попов вопрос.

Наклоняясь, он что-то шепнул сидевшему рядом с ним подъесаулу Сенину. Тот утвердительно, поспешно кивнул головой. У Попова зрачки сузились, стерлись в углах глаз веселые лучики, и глаза, иные, блестящие похолодевшим суровым блеском, чуть прикрылись негустыми ресницами.

— Что мы сделаем с теми предателями родного края, которые шли грабить наши курени и уничтожать казачество?

Февралев, старик старообрядец Милютинской станицы, вскочил, как подкинутый пружиной.

— Расстрелять! Всех! — Он по-оглашенному затряс головой; оглядывая всех изуверским косящим взглядом, давясь слюной, закричал: — Нету им, христопродавцам, милости! Жиды какие из них есть — убить!.. Убить!.. Распять их!.. В огне их!..

Редкая волокнистая бороденка его тряслась, седые с красной подпалиной волосы растрепались. Он сел, задыхаясь, кирпично-бурый, мокрогубый.

— На поселение отправить. Али нет?.. — нерешительно предложил один из членов суда, Дьяченко.

— Пострелять!

— К смертной казни!

— Поддерживаю ихнее мнение!

— Казнить всех при народе!

— Сорную траву из поля вон!

— К смерти их!

— Расстрелять, конечно! О чем еще говорить? — возмутился Спиридонов.

С каждым выкриком углы рта есаула Попова, грубея в очертаниях, утрачивая недавнее добродушие сытого, довольного собой и окружающим человека, сползали вниз, каменели черствыми извивами.

— Расстрелять!.. Пиши!.. — приказал он секретарю, заглядывая ему через плечо.

— А Подтелкова с Кривошлыковым… врагов этих — тоже расстрелять?.. Мало им! — запальчиво крикнул плотный престарелый казак, сидевший у окна, неустанно подкручивавший фитиль угасавшей лампы.

— Их, как главарей, — повесить! — коротко ответил Попов и повторил, обращаясь к секретарю: — Пиши: «Постановление. Мы, нижеподписавшиеся…»

Секретарь — тоже Попов, дальний родственник есаула, склонив белобрысую, гладко причесанную голову, заскрипел пером.

— Гасу, должно, не хватит… — вздохнул кто-то сожалеюще.

Лампа помигивала. Фитиль чадил. В тишине звенела запаутиненная на потолке муха, скребло бумагу перо, да кто-то из членов суда сапно и тяжело дышал.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1918 года 27 апреля (10 мая) выборные от хуторов

Каргинской, Боковской и Краснокутской станицы

От Василевского …….. Максаев Степан

«Боковского …… Кружилин Николай

«Фомина …… Кумов Федор

«Верхне-Яблоновского …… Кухтин Александр

«Нижне-Дуленского ……. Синев Лев

«Ильинского …….. Волоцков Семен

«Коньковского …….. Попов Михаил

«Верхне-Дуленского …….. Родин Яков

«Савостьянова ……. Фролов Алекс.
«станицы Милютинской ……. Февралев Максим
«Николаева ……. Грошев Михаил
«станицы Краснокутской …….. Еланкин Илья
«хут. Пономарева ……. Дьяченко Иван
««Евлантьева …… Кривов Николай
««Малахова …….. Емельянов Лука
«Ново-Земцева ……. Коновалов Матвей
«Попова …….. Попов Михаил
«Астахова ……. Щегольков Василий
«Орлова ……. Чекунов Федор
«Климо-Федоровского ……. Чукарин Федор

под председательством В.С.Попова

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Всех грабителей и обманщиков трудового народа, поименованных в списке ниже, всего в числе 80 человек, подвергнуть смертной казни через расстреляние, причем для двух из них — Подтелкова и Кривошлыкова, как главарей этой партии, — смерть применить через повешение.

2. Казака хутора Михайловского Антона Калитвенцова за недостаточностью улик оправдать.

3. Бежавших из отряда Подтелкова и арестованных в Краснокутской станице: Константина Мельникова, Гаврила Мельникова, Василия Мельникова, Аксенова и Вершинина подвергнуть наказанию по пункту первому сего постановления (смертная казнь).

4. Наказание привести в исполнение завтра, 28 апреля (11 мая), в 6 час. утра.

5. В караул для наблюдения за арестованными назначить подъесаула Сенина, в распоряжение которого к 11 часам вечера сегодня выслать по два вооруженных винтовками казака; ответственность за неисполнение сего пункта возлагается на членов суда; наказание привести в исполнение караулу от каждого хутора; выслать на место расстрела по пять казаков.

Подлинное подписали

Председатель воен. отдела В.С.Попов

Секретарь А.Ф.Попов

СПИСОК членов отряда Подтелкова, приговоренных 27 апреля ст. ст. 1918 г. военно-полевым судом к смертной казни

NN Станицы …….. Имя и фамилия …….. Приговор

1 Усть-Хоперской ….. Федор Подтелков …… Повешен
2 Еланской …….. Михаил Кривошлыков …… «
3 Казанской ……. Аврам Какурин …….. Расстрелян
4 Букановской …….. Иван Лагутин …… «
5 Нижегородской г. … Алексей Ив. Орлов …….. «
6 Нижегородской …… Ефим Мих. Вахтель …….. «
7 Усть-Быстрянской … Григорий Фетисов …….. «
8 Мигулинской …….. Гаврил Ткачев …….. «
9 Мигулинской …….. Павел Агафонов ……. «
10 Михайловской …… Александр Бубнов …….. «
11 Луганской …… Калинин …….. «
12 Мигулинской ……. Константин Мрыхин ……. «

13 Мигулинской ……. Андрей Коновалов …….. «
14 Полтавской г. ….. Константин Кирста ……. «
15 Котовской …… Павел Позняков ……. «
16 Мигулинской ……. Иван Болдырев …….. «
17 Мигулинской ……. Тимофей Колычев …… «
18 Филим.-Челб. …… Дмитрий Володаров ……. «
19 Чернышевской …… Георгий Карпушин …….. «
20 Филим.-Челб. …… Илья Калмыков …….. «
21 Мигулинской ……. Савелий Рыбников …….. «
22 Мигулинской ……. Поликарп Гуров ……. «
23 Мигулинской ……. Игнат Земляков ……. «
24 Мигулинской ……. Иван Кравцов …… «
25 Ростов …… Никифор Фроловский …… «
26 Ростов …… Александр Коновалов ….. «
27 Мигулинской ……. Петр Вихлянцев ……. «
28 Клецкой …….. Иван Зотов …….. «
29 Мигулинской ……. Евдоким Бабкин ……. «
30 Михайловской …… Петр Свинцов …… «
31 Добринской …….. Илларион Челобитчиков … «
32 Казанской …… Климентий Дронов …….. «
33 Иловлинской ……. Иван Авилов ……. «
34 Казанской …… Матвей Сакматов …… «
35 Нижне-Курмоярской. Георгий Пупков ……. «
36 Терновской …….. Михаил Февралев …… «
37 Херсонской г. ….. Василий Пантелеймонов … «
38 Казанской …… Порфирий Любухин …….. «
39 Клецкой …….. Дмитрий Шамов …….. «
40 Филоновской ……. Сафон Шаронов …….. «
41 Мигулинской ……. Иван Губарев …… «
42 Мигулинской ……. Федор Абакумов ……. «
43 Луганской …… Кузьма Горшков ……. «
44 Гундоровской …… Иван Изварин …… «
45 Гундоровской …… Мирон Калиновцев …….. «
46 Михайловской …… Иван Фарафонов ……. «
47 Котовской …… Сергей Горбунов …… «
48 Нижне-Чирской ….. Петр Алаев …….. «
49 Мигулинской ……. Прокопий Орлов ……. «
50 Луганской …… Никита Шеин ……. «
51 Ст. механик РПТК … Александр Ясенский …… «
52 Ростов …… Михаил Поляков ……. «
53 Раздорской …….. Дмитрий Рогачев …… «
54 Ростов …… Роберт Фрашенбрудер ….. «
55 Ростов …… Иван Силендер …….. «
56 Самарской г. …… Константин Ефимов ……. «
57 Чернышевской …… Михаил Овчинников ……. «
58 Самарской г. …… Иван Пикалов …… «
59 Иловлинской ……. Михаил Корецков …… «

60 Кумшатской …….. Иван Коротков …….. «
61 Ростов …… Петр Бирюков …… «
62 Раздорской н/м …. Иван Кабаков ……»
63 Луковской …… Тихон Молитвинов …….. «
64 Мигулинской ……. Андрей Швецов ……..»
65 Мигулинской ……. Степан Аникин …….. «
66 Кременской …….. Кузьма Дычкин …….. «
67 Баклановской …… Петр Кабанов …… «
68 Михайловской …… Сергей Селиванов …….. «
69 Ростов …… Артем Иванченко …… «
70 Мигулинской ……. Николай Коновалов ……. «
71 Михайловской …… Дмитрий Коновалов ……. «
72 Краснокутской ….. Петр Лысиков …… «
73 Мигулинской ……. Василий Мирошников …… «
74 Мигулинской ……. Иван Волохов …… «
75 Мигулинской ……. Яков Гордеев …… «

Трое из них не заявили о личности.

Секретарь, кончив переписывать список осужденных, поставил в конце постановления раскоряченное двоеточие, сунул перо в руку ближнему:

— Распишись!

Представитель хутора Ново-Земцева Коновалов, в парадном кителе серонемецкого сукна с красными лацканами на воротнике, виновато улыбаясь, слег над листом. Толстые, мозолистые, воронено-черные пальцы, не сгибаясь, держали ученическую обгрызенную ручку.

— Грамотный-то я не дюже… — говорил он, старательно выводя заглавное «К».

Следом за ним расписался Родин, так же неуверенно водя ручкой, потея и хмурясь от напряжения. Еще один, предварительно потряхивая ручкой, беря разбег, расписался и убрал высунутый во время писания язык. Попов размашисто, с росчерком начертал свою фамилию, встал, вытирая влажное лицо платком.

— Список приложить надо, — позевывая, сказал он.

— Каледин на том свете спасибо нам скажет, — молодо улыбнулся Сенин, наблюдая за тем, как секретарь прижимает к выбеленной стене увлажненный чернилами лист.

На шутку что-то никто не ответил. Молчком покинули хату.

— Господи Исусе… — выходя, вздохнул кто-то в темных сенцах.

XXIX

В ночь эту, обрызганную молочным светом бледно-желтых звезд, в лавчушке, набитой людьми до отказа, почти не было сна. Короткие гасли разговоры. Духота и тревога душили людей.

С вечера попросился один из красногвардейцев на двор:

— Отвори, товарищ! До ветру хочу, по нужде надо сходить!..

Он стоял в выпущенной из шаровар бязевой исподней рубахе, вспатлаченный, босой, стоял и, прижимаясь почерневшим лицом к замочной скважине, повторял:

— Отвори же, товарищ!

— Бирюк тебе товарищ, — отозвался наконец кто-то из караульных.

— Отвори, товарищ! До ветру хочу, по нужде надо сходить!..

Караульный поставил винтовку, послушал, как в темноте посвистывают крыльями дикие утки, перелетавшие на ночную кормежку, и, раскурив цигарку, прижался губами к скважине:

— Мочись под себя, сердяга. За ночь шароваров не износишь, а на зорьке и в мокрых в царство небесное пустят…

— Все нам!.. — отчаянно сказал красногвардеец, отходя от двери.

Сидели плечо к плечу. В углу Подтелков, опорожнив карманы, нарвал груду денег, пришептывая, матерно ругаясь. Покончив с деньгами, разулся и, трогая плечо Кривошлыкова, лежавшего рядом, заговорил:

— Ясно — нас обманули. Обманули, в господа мать!.. Обидно, Михаиле! Мальчонкой был, бывало, за Дон на охоту пойдешь с отцовой флинтой [59], идешь по лесу, а он — зеленым шатром… К музге пройдешь — утки сидят. Промажу, бывало, и так мне обидно, хучь криком кричи. И вот зараз обидно — промаху дал: вышли б с Ростова на трое суток раньше — значит, не припало б тут смерть примать. Кверху ногами бы поставили всю контру!

Мученически скаля зубы, улыбаясь в темноту, Кривошлыков говорил:

— Черт с ними, пускай убивают! И помирать пока не страшно… «Боюсь одного я, что в мире ином — Друг друга уж мы не узнаем…» Будем там с тобой, Федя, встречаться чужие один одному… Страшно!..

— Брось! — обидчиво гудел Подтелков, кладя на плечи соседа свои большие горячие ладони: — Не в этом дело…

Лагутин рассказывал кому-то про родной хутор, про то, как дед дразнил его «Клинком» за длинную голову, и про то, как порол его кнутом этот самый дед, захватив на чужой бахче.

Разные низались в ту ночь разговоры, бессвязные и обрывчатые.

Бунчук устроился у самых дверей, жадно ловил губами ветерок, сквозивший в дверную щель. Тасуя прожитое, он мельком вспомнил о матери и, пронизанный горячим уколом, с усилием отогнал мысль о ней, перешел в воспоминаниях к Анне, к недавним дням… Это доставило большое умиротворенно-счастливое облегчение. Меньше всего пугали его думы о смерти. Он не ощущал, как бывало, невнятной дрожи вдоль позвоночного столба, сосущей тоски при мысли о том, что у него отнимут жизнь. Он готовился к смерти, как к невеселому отдыху после горького и страдного пути, когда усталость так велика, так ноет тело, что волновать уже ничто не в состоянии.

Неподалеку от него и весело и грустно говорили о женщинах, о любви, о больших и малых радостях, что вплетала в сердце каждая каждому.

Говорили о семьях, о родных, о близких… Говорили о том, что хлеба хороши: грач в пшенице уже схоронится — и не видно. Жалковали по водке и по воле, ругали Подтелкова. Но уже сон покрывал многих черным крылом — измученные физически и нравственно, засыпали лежа, сидя, стоя.

Уже на заре один какой-то, то ли наяву, то ли во сне, расплакался навзрыд; страшно, как плачут взрослые грубые люди, с детства позабывшие соленый привкус слез. И сейчас же лопнула дремная тишина, закричали в несколько голосов:

— Замолчи, проклятый!

— Баба!

— Зуб вырву — за-мол-чи!..

— Слезу пустил, семьянин!..

— Тут спят люди, а он… совесть потерял!

Тот, кто заплакал, хлюпая носом, сморкаясь, притих.

Совсем установилась было тишина. В разных углах светлели цигарки, но люди молчали.

Пахло мужским потом, скученными здоровыми телами, папиросным дымом и пресным бражным запахом выпавшей за ночь росы.

В хуторе протрубил зорю петух. Послышались шаги, звяк железа.

— Кто идет? — негромко спросил один из караульных.

Кашлянув, ему ответил издалека молодой охотливый голос:

— Свои. Могилу подтелковским идем рыть.

В лавчушке разом все зашевелилось.

XXX

Отряд татарских казаков под командой хорунжего Петра Мелехова прибыл в хутор Пономарев 11 мая на рассвете.

По хутору сновали казаки-чирцы, вели на водопой коней, толпами шли на край хутора. Петро остановил отряд в центре хутора, приказал спешиться. К ним подошло несколько человек.

— Откуда, станишники? — спросил один.

— С Татарского.

— Припоздали вы трошки… Поймали без вас Подтелкова.

— Где же они? Не угнали отсюдова?

— А вон… — Казак махнул рукой на покатую крышу лавчушки, рассмеялся: — Сидят, как куры в курятнике.

Христоня, Григорий Мелехов и еще несколько человек подошли поближе.

— Куда ж их, стал быть, направляют? — поинтересовался Христоня.

— К покойникам.

— Как так?.. Что ты брешешь? — Григорий схватил казака за полу шинели.

— Сбреши лучше, ваше благородие! — дерзко ответил казак и легонько освободился от Григорьевых цепких пальцев. — Вон, гляди, им уже рели построили. — Он указал на виселицу, устроенную между двух чахлых верб.

— Разводи коней по дворам! — скомандовал Петро.

Тучи обложили небо. Позванивал редкий дождь. На край хутора густо валили казаки и бабы. Население Пономарева, оповещенное о назначенной на шесть часов казни, шло охотно, как на редкое веселое зрелище. Казачки вырядились, будто на праздник, многие вели с собой детей. Толпа окружила выгон, теснилась около виселицы и длинной — до двух аршин глубиной — ямы. Ребятишки топтались по сырому суглинку насыпи, накиданной с одной стороны ямы; казаки, сходясь, оживленно обсуждали предстоящую казнь; бабы горестно шушукались.

Заспанный и серьезный, пришел есаул Попов. Он курил, жевал папиросу, ощеряя твердые зубы; казакам караульной команды хрипло приказал:

— Отгоните народ от ямы! Спиридонову передайте, чтобы вел первую партию! — глянул на часы и отошел в сторону, наблюдая, как, теснимая караульными, толпа народа пятится от места казни, окружает его слитным цветистым полукругом.

Спиридонов с нарядом казаков быстро шел к лавчушке. По пути встретился ему Петро Мелехов.

— От вашего хутора есть охотники?

— Какие охотники?

— Приводить в исполнение приговор.

— Нету и не будет! — резко ответил Петро, обходя преградившего дорогу Спиридонова.

Но охотники нашлись: Митька Коршунов, приглаживая ладонью выбившиеся из-под козырька прямые волосы, увалисто подошел к Петру, сказал, мерцая камышовой зеленью прижмуренных глаз:

— Я стрельну… Зачем говоришь — «нет». Я согласен. — И улыбчиво потупил глаза: — Патронов мне дай. У меня одна обойма.

Он, бледный Андрей Кашулин, с лицом, скованным сильнейшим злым напряжением, и калмыковатый Федот Бодовсков вызвались охотниками.

По сбитой плечо к плечу огромной толпе загуляли шепот и сдержанный гул, когда от лавки тронулась первая партия приговоренных, окруженная конвоировавшими их казаками.

Впереди шел Подтелков, босой, в широких галифе черного сукна и распахнутой кожаной куртке. Он уверенно ставил в грязь большие белые ноги, оскользался, чуть вытягивал левую руку, соблюдая равновесие. Рядом еле волочился смертно-бледный Кривошлыков. У него сухо блестели глаза, рот страдальчески дергался. Поправляя накинутую внапашку шинель, Кривошлыков так ежил плечи, будто ему было страшно холодно. Их почему-то не раздели, но остальные шли в одном белье. Лагутин семенил рядом с тяжеловесным на шаг Бунчуком. Оба они были босы. У Лагутина порванные исподники оголили желтокожую голень, поросшую редким волосом. Он шел, стыдливо придерживая порванную штанину, дрожа губами. Бунчук посматривал через головы конвоиров в серую запеленатую тучами даль. Трезвые холодные глаза его выжидающе, напряженно мигали, широкая ладонь ползала под распахнутым воротником сорочки, гладя поросшую дремучим волосом грудь. Казалось, ждал он чего-то несбыточного и отрадного… Некоторые хранили на лицах подобие внешнего безразличия: седой большевик Орлов — тот задорно махал руками, поплевывал под ноги казаков, зато у двух или трех было столько глухой тоски в глазах, такой беспредельный ужас в искаженных лицах, что даже конвойные отводили от них глаза и отворачивались, повстречавшись случайным взглядом.

Идут быстро. Подтелков поддерживает поскользнувшегося Кривошлыкова. Приближается белеющая платками в красно-синем разливе фуражек толпа. Исподлобья поглядывая на нее, Подтелков громко, безобразно ругается и вдруг спрашивает, поймав сбоку взгляд Лагутина:

— Ты что?

— Поседел ты за эти деньки… Ишь песик-то тебе как покропило…

— Небось поседеешь, — трудно вздыхает Подтелков; вытирая пот на узком лбу, повторяет: — Небось поседеешь от такой приятности… Бирюк и то в неволе седеет, а ить я — человек.

Больше они не говорят ни слова. Толпа придвигается вплотную. Виден справа желтоглинный продолговатый шов могилы. Спиридонов командует:

— Стой!

И сейчас же Подтелков делает шаг вперед, устало обводит глазами передние ряды народа: все больше седые и с проседью бороды. Фронтовики где-то позади — совесть точит. Подтелков чуть шевелит обвислыми усами, говорит глухо, но внятно:

— Старики! Позвольте нам с Кривошлыковым поглядеть, как наши товарищи будут смерть принимать. Нас повесите опосля, а зараз хотелось бы нам поглядеть на своих друзьев-товарищей, поддержать, которые духом слабы.

Так тихо, что слышно, как стукотит о фуражки дождь…

Есаул Попов, где-то позади, улыбается, желтея обкуренным карнизом зубов; он не возражает; старики несогласно, вразброд выкрикивают:

— Дозволяем!

— Нехай побудут!

— Отведите их от ямы!

Кривошлыков и Подтелков шагают в толпу, перед ними раздаются, стелют улочку. Они становятся неподалеку, сжатые со всех сторон людьми, ощупываемые сотнями жадных глаз: смотрят, как неумело строят казаки поставленных затылками к яме красногвардейцев. Подтелкову видно хорошо, Кривошлыков же вытягивает тонкую небритую шею, приподнимается на цыпочках.

Крайним слева стоит Бунчук. Он чуть сутулится, дышит тяжело, не поднимая приземленного взгляда. За ним, натягивая подол рубахи на порванную штанину, гнется Лагутин, третий — тамбовец Игнат, следующий — Ванька Болдырев, изменившийся до неузнаваемости, постаревший по меньшей мере на двадцать лет. Подтелков пытается разглядеть пятого: с трудом узнает казака станицы Казанской Матвея Сакматова, делившего с ним все невзгоды и радости с самой Каменской. Еще двое подходят к яме, поворачиваются к ней спиной. Петро Лысиков вызывающе и нагло смеется, выкрикивает матерные ругательства, грозит притихшей толпе скрюченным грязным кулаком. Корецков молчит. Последнего несли на руках. Он запрокидывался, чертил землю безжизненно висящими ногами и, цепляясь за волочивших его казаков, мотая залитым слезами лицом, вырывался, хрипел:

— Пустите, братцы! Пустите, ради господа бога! Братцы! Милые! Братушки!.. Что вы делаете?! Я на германской четыре креста заслужил!.. У меня детишки!.. Господи, неповинный я!.. Ой, да за что же вы?..

Рослый казак-атаманец ударил его коленом в грудь, кинул к яме. Тут только Подтелков узнал сопротивлявшегося и ужаснулся: это был один из наиболее бесстрашных красногвардейцев, мигулинский казак 1910 года присяги, георгиевский кавалер всех четырех степеней, красивый светлоусый парень. Его подняли на ноги, но он упал опять; ползал в ногах казаков, прижимаясь спекшимися губами к их сапогам, к сапогам, которые били его по лицу, хрипел задушенно и страшно:

— Не убивайте! Поимейте жалость!.. У меня трое детишков… девочка есть… родимые мои, братцы!..

Он обнял колени атаманца, но тот рванулся, отскочил, с размаху ударил его подкованным каблуком в ухо. Из другого уха цевкой стрельнула кровь, потекла за белый воротник.

— Станови его! — яростно закричал Спиридонов.

Кое-как подняли, поставили, отбежали прочь. В противоположном ряду охотники взяли винтовки наизготовку. Толпа ахнула и замерла. Дурным голосом визгнула какая-то баба…

Бунчуку хотелось еще и еще раз глянуть на серую дымку неба, на грустную землю, по которой мыкался он двадцать девять лет. Подняв глаза, увидел в пятнадцати шагах сомкнутый строй казаков: один, большой, с прищуренными зелеными глазами, с челкой, упавшей из-под козырька на белый узкий лоб, клонясь вперед, плотно сжимая губы, целил ему — Бунчуку — прямо в грудь. Еще до выстрела слух Бунчука полоснуло заливистым вскриком; повернул голову: молодая веснушчатая бабенка, выскочив из толпы, бежит к хутору, одной рукой прижимая к груди ребенка, другой — закрывая ему глаза.

После разнобоистого залпа, когда восемь стоявших у ямы попадали вразвалку, стрелявшие подбежали к яме.

Митька Коршунов, увидев, что подстреленный им красногвардеец, подпрыгивая, грызет зубами свое плечо, выстрелил в него еще раз, шепнул Андрею Кашулину:

— Глянь вот на этого черта — плечо себе до крови надкусил и помер, как волчуга, молчком.

Десять приговоренных, подталкиваемые прикладами, подошли к яме…

После второго залпа в голос заревели бабы и побежали, выбиваясь из толпы, сшибаясь, таща за руки детишек. Начали расходиться и казаки. Отвратительнейшая картина уничтожения, крики и хрипы умирающих, рев тех, кто дожидался очереди, — все это безмерно жуткое, потрясающее зрелище разогнало людей. Остались лишь фронтовики, вдоволь видевшие смерть, да старики из наиболее остервенелых.

Приводили новые партии босых и раздетых красногвардейцев, менялись охотники, брызгали залпы, сухо потрескивали одиночные выстрелы. Раненых добивали. Первый настил трупов в перерыве спеша засыпали землей.

Подтелков и Кривошлыков подходили к тем, кто дожидался очереди, пытались ободрить, но слова не имели былого значения — иное владело в этот миг людьми, чья жизнь минуту спустя должна была оборваться, как надломленный черенок древесного листа.

Григорий Мелехов, протискиваясь сквозь раздерганную толпу, пошел в хутор и лицом к лицу столкнулся с Подтелковым. Тот, отступая, прищурился:

— И ты тут, Мелехов?

Синеватая бледность облила щеки Григория, он остановился:

— Тут. Как видишь…

— Вижу… — вкось улыбнулся Подтелков, с вспыхнувшей ненавистью глядя на его побелевшее лицо. — Что же, расстреливаешь братов? Обернулся?.. Вон ты какой… — Он, близко придвинувшись к Григорию, шепнул: — И нашим и вашим служишь? Кто больше даст? Эх ты!..

Григорий поймал его за рукав, спросил, задыхаясь:

— Под Глубокой бой помнишь? Помнишь, как офицеров стреляли… По твоему приказу стреляли! А? Теперича тебе отрыгивается! Ну, не тужи! Не одному тебе чужие шкуры дубить! Отходился ты, председатель донского Совнаркома! Ты, поганка, казаков жидам продал! Понятно? Ишо сказать?

Христоня, обнимая, отвел в сторону взбесившегося Григория.

— Пойдем, стал быть, к коням. Ходу! Нам с тобой тут делать нечего. Господи божа, что делается с людьми!..

Они пошли, потом остановились, заслышав голос Подтелкова. Облепленный фронтовиками и стариками, он высоким страстным голосом выкрикивал:

— Темные вы… слепые! Слепцы вы! Заманули вас офицерья, заставили кровных братов убивать! Вы думаете, ежли нас побьете, так этим кончится? Нет! Нынче ваш верх, а завтра уж вас будут расстреливать! Советская власть установится по всей России. Вот попомните мои слова! Зря кровь вы чужую льете! Глупые вы люди!

— Мы и с энтими этак управимся! — выскочил какой-то старик.

— Всех, дед, не перестреляете, — улыбнулся Подтелков. — Всю Россию на виселицу не вздернешь. Береги свою голову! Всхомянетесь вы после, да поздно будет!

— Ты нам не грози!

— Я не грожу. Я вам дорогу указываю.

— Ты сам, Подтелков, слепой! Москва тебе очи залепила!

Григорий, не дослушав, пошел, почти побежал к двору, где, привязанный, слыша стрельбу, томился его конь. Подтянув подпруги, Григорий и Христоня наметом выехали из хутора, — не оглядываясь, перевалили через бугор.

А в Пономареве все еще пыхали дымками выстрелы: вешенские, каргинские, боковские, краснокутские, милютинские казаки расстреливали казанских, мигулинских, раздорских, кумшатских, баклановских казаков…

Яму набили доверху. Присыпали землей. Притоптали ногами. Двое офицеров, в черных масках, взяли Подтелкова и Кривошлыкова, подвели к виселице.

Подтелков мужественно, гордо подняв голову, взобрался на табурет, расстегнул на смуглой толстой шее воротник сорочки и сам, не дрогнув ни одним мускулом, надел на шею намыленную петлю. Кривошлыкова подвели, один из офицеров помог ему подняться на табурет, он же накинул петлю.

— Дозвольте перед смертью последнее слово сказать, — попросил Подтелков.

— Говори!

— Просим! — закричали фронтовики.

Подтелков повел рукой по поредевшей толпе:

— Глядите, сколько мало осталось, кто желал бы глядеть на нашу смерть. Совесть убивает! Мы за трудовой народ, за его интересы дрались с генеральской псюрней, не щадя живота, и теперь вот гибнем от вашей руки! Но мы вас не клянем!.. Вы — горько обманутые! Заступит революционная власть, и вы поймете, на чьей стороне была правда. Лучших сынов тихого Дона поклали вы вот в эту яму…

Поднялся возрастающий говор, голос Подтелкова зазвучал невнятней. Воспользовавшись этим, один из офицеров ловким ударом выбил из-под ног Подтелкова табурет. Все большое грузное тело Подтелкова, вихнувшись, рванулось вниз, и ноги достали земли. Петля, захлестнувшая горло, душила, заставляла тянуться вверх. Он приподнялся на цыпочки — упираясь в сырую притолоченную землю большими пальцами босых ног, хлебнул воздуха и, обводя вылезшими из орбит глазами притихшую толпу, негромко сказал:

— Ишо не научились вешать. Кабы мне пришлось, уж ты бы, Спиридонов, не достал земли…

Изо рта его обильно пошла слюна. Офицеры в масках и ближние казаки затомашились, с трудом подняли на табурет обессилевшее тяжелое тело.

Кривошлыкову не дали окончить речь: табурет вылетел из-под ног, стукнулся в брошенную кем-то лопату. Сухой, мускулистый Кривошлыков долго раскачивался, то сжимаясь в комок так, что согнутые колени касались подбородка, то вновь вытягиваясь в судороге… Он еще жил в конвульсиях, еще ворочал черным, упавшим на сторону языком, когда из-под ног Подтелкова вторично вырвали табурет. Вновь грузно рванулось вниз тело, лопнул на плече шов кожаной куртки, и опять кончики пальцев достали земли. Толпа казаков глухо охнула. Некоторые, крестясь, стали расходиться. Столь велика была наступившая растерянность, что с минуту все стояли, как завороженные, не без страха глядя на чугуневшее лицо Подтелкова.

Но он был безмолвен, горло засмыкнула петля. Он только поводил глазами, из которых ручьями падали слезы, да кривя рот, пытаясь облегчить страдания, весь мучительно и страшно тянулся вверх.

Кто-то догадался: лопатой начал подрывать землю. Спеша рвал из-под ног Подтелкова комочки земли, и с каждым взмахом все прямее обвисало тело, все больше удлинялась шея и запрокидывалась на спину чуть курчавая голова. Веревка едва выдерживала шестипудовую тяжесть; потрескивая у перекладины, она тихо качалась, и, повинуясь ее ритмичному ходу, раскачивался Подтелков, поворачиваясь во все стороны, словно показывая убийцам свое багрово-черное лицо и грудь, залитую горячими потоками слюны и слез.

XXXI

Мишка Кошевой и Валет только на вторую ночь вышли из Каргинской. Туман пенился в степи, клубился в балках, ник в падинах, лизал отроги Яров. Опушенные им, светлели курганы. Кричали в молодой траве перепела. Да в небесной вышине плавал месяц, как полнозрелый цветок кувшинки в заросшем осокой и лещуком пруду.

Шли до зари. Выцвели уже Стожары. Пала роса. Близился хутор Нижне-Яблоновский. И вот тут-то, в трех верстах от хутора, на гребне догнали их казаки. Шесть всадников шли за ними, топча следы. Кинулись было Мишка с Валетом в сторону, но трава низка, месяц светел… Попались… Погнали их обратно. Саженей сто двигались молча. Потом выстрел… Валет, путая ногами, пошел боком, боком, как лошадь, испугавшаяся своей тени. И не упал, а как-то прилег, неловко, лицом в сизый куст полынка.

Минут пять шел Мишка, не чуя тела, звон колыхался в ушах, на сухом вязли ноги. Потом спросил:

— Чего же не стреляете, сукины дети? Чего томите?

— Иди, иди. Помалкивай! — ласково сказал один из казаков. — Мужика убили, а тебя прижалели. Ты в Двенадцатом в германскую был?

— В Двенадцатом.

— Ишо послужишь в Двенадцатом. Парень ты молодой. Заблудился трошки, ну, да это не беда. Вылечим!

«Лечил» Мишку через три дня военно-полевой суд в станице Каргинской. Было у суда в те дни две меры наказания: расстрел и розги. Приговоренных к расстрелу ночью выгоняли за станицу, за Песчаный курган, а тех, кого надеялись исправить, розгами наказывали публично на площади.

В воскресенье с утра, как только поставили среди площади скамью, начал сходиться народ. Забили всю площадь, полно набралось на прилавках, на сложенных у сараев пластинах, на крышах домов, лавок. Первого выпороли Александрова — сына грачевского попа. Рьяным слыл большевиком, по делу — расстрелять бы, но отец — хороший поп, всеми уважаемый, решили на суде всыпать поповскому сыну десятка два розог. С Александрова спустили штаны, разложили голоштанного на лавке, один казак сел на ноги (руки связали под лавкой), двое с пучками таловых хворостин стали по бокам. Всыпали. Встал Александров, отряхнулся и, собирая штаны, раскланялся на все четыре стороны. Уж больно рад был человек, что не расстреляли, поэтому раскланялся и поблагодарил:

— Спасибо, господа старики!

— Носи на здоровье! — ответил кто-то.

И такой дружный гогот пошел по площади, что даже арестованные, сидевшие тут же неподалеку, в сарае, заулыбались.

Всыпали и Мишке по приговору двадцать горячих. Но еще горячее боли был стыд. Вся станица — и стар и мал — смотрела. Подобрал Мишка шаровары и, чуть не плача, сказал поровшему его казаку:

— Непорядки!

— А чем?

— Голова думала, а ж… отвечает. Срамота на всю жисть.

— Ничего, стыд не дым, глаза не выест, — утешал казак, — и, желая сделать приятное наказанному, сказал: — А крепок ты, паренек: раза два рубанул я тебя неплохо, хотелось, чтоб крикнул ты… гляжу: нет, не добьешься от этого крику. Надысь одного секли — обмарался голубок. Значит, кишка у него тонка.

На другой же день согласно приговору, отправили Мишку на фронт.

Валета через двое суток прибрали: двое яблоновских казаков, посланных хуторским

атаманом, вырыли неглубокую могилу, долго сидели, свесив в нее ноги, покуривая.

— Твердая тут на отводе земля, — сказал один.

— Железо прямо-таки! Сроду ить не пахалась, захрясла от давних времен.

— Да… в хорошей земле придется парню лежать, на вышине… Ветры тут, сушь, солнце… Не скоро испортится.

Они поглядели на прижавшегося к траве Валета, встали.

— Разуем?

— А то чего ж, на нем сапоги ишо добрые.

Положили в могилу по-христиански: головой на запад; присыпали густым черноземом.

— Притопчем? — спросил казак помоложе, когда могила сровнялась с краями.

— Не надо, пущай так, — вздохнул другой. — Затрубят ангелы на Страшный суд — все он проворней на ноги встанет…

Через полмесяца зарос махонький холмик подорожником и молодой полынью, заколосился на нем овсюг, пышным цветом выжелтилась сбоку сурепка, махорчатыми кистками повис любушка-донник, запахло чабрецом, молочаем и медвянкой. Вскоре приехал с ближнего хутора какой-то старик, вырыл в головах могилы ямку, поставил на свежеоструганном дубовом устое часовню. Под треугольным навесом ее в темноте теплился скорбный лик божьей матери, внизу на карнизе навеса мохнатилась черная вязь славянского письма:

В годину смуты и разврата Не осудите, братья, брата.

Старик уехал, а в степи осталась часовня горюнить глаза прохожих и проезжих извечно унылым видом, будить в сердцах невнятную тоску.

И еще — в мае бились возле часовни стрепета, выбили в голубом полынке точок, примяли возле зеленый разлив зреющего пырея: бились за самку, за право на жизнь, на любовь, на размножение. А спустя немного тут же возле часовни, под кочкой, под лохматым покровом старюки-полыни, положила самка стрепета девять дымчато-синих крапленых яиц и села на них, грея их теплом своего тела, защищая глянцево оперенным крылом.

* КНИГА ТРЕТЬЯ *

Как ты, батюшка, славный тихий Дон,
Ты кормилец наш, Дон Иванович,
Про тебя лежит слава добрая,
Слава добрая, речь хорошая,
Как, бывало, ты все быстер бежишь,
Ты быстер бежишь, все чистехонек,
А теперь ты, Дон, все мутен течешь,
Помутился весь сверху донизу.
Речь возговорит славный тихий Дон:
«Уж как-то мне все мутну не быть,
Распустил я своих ясных соколов,
Ясных соколов — донских казаков,
Размываются без них мои круты бережки,
Высыпаются без них косы желтым песком».

Старинная казачья песня

* ЧАСТЬ ШЕСТАЯ *

I

В апреле 1918 года на Дону завершился великий раздел: казаки-фронтовики северных округов — Хоперского, Усть-Медведицкого и частично Верхнедонского — пошли с отступавшими частями красноармейцев; казаки низовских округов гнали их и теснили к границам области.

Хоперцы ушли с красными почти поголовно, усть-медведицкие — наполовину, верхнедонцы — лишь в незначительном числе.

Только в 1918 году история окончательно разделила верховцев с низовцами. Но начало раздела намечалось еще сотни лет назад, когда менее зажиточные казаки северных округов, не имевшие ни тучных земель Приазовья, ни виноградников, ни богатых охотничьих и рыбных промыслов, временами откалывались от Черкасска, чинили самовольные набеги на великоросские земли и служили надежнейшим оплотом всем бунтарям, начиная с Разина и кончая Секачом.

Даже в позднейшие времена, когда все Войско глухо волновалось, придавленное державной десницей, верховские казаки поднимались открыто и, руководимые своими атаманами, трясли царевы устои: бились с коронными войсками, грабили на Дону караваны, переметывались на Волгу и подбивали на бунт сломленное Запорожье.

К концу апреля Дон на две трети был оставлен красными. После того как явственно наметилась необходимость создания областной власти, руководящими чинами боевых групп, сражавшихся на юге, было предложено созвать Круг. На 28 апреля в Новочеркасске назначен был сбор членов Временного донского правительства и делегатов от станиц и войсковых частей.

На хуторе Татарском была получена от вешенского станичного атамана бумага, извещавшая о том, что в станице Вешенской 22-го сего месяца состоится станичный сбор для

выборов делегатов на Войсковой круг.

Мирон Григорьевич Коршунов прочитал на сходе бумагу. Хутор послал в Вешенскую его, деда Богатырева и Пантелея Прокофьевича.

На станичном сборе в числе остальных делегатов на Круг избрали и Пантелея Прокофьевича. Из Вешенской возвратился он в тот же день, а на другой решил вместе со сватом ехать в Миллерово, чтобы загодя попасть в Новочеркасск (Мирону Григорьевичу нужно было приобрести в Миллерове керосину, мыла и еще кое-чего по хозяйству, да, кстати, хотел и подработать, закупив Мохову для мельницы сит и баббиту).

Выехали на зорьке. Бричку легко несли вороные Мирона Григорьевича. Сваты рядком сидели в расписной цветастой люльке. Выбрались на бугор, разговорились; в Миллерове стояли немцы, поэтому-то Мирон Григорьевич и спросил не без опаски:

— А что, сваток, не забастуют нас германцы? Лихой народ, в рот им дышлину!

— Нет, — уверил Пантелей Прокофьевич. — Матвей Кашулин надысь был там, гутарил — робеют немцы… Опасаются казаков трогать.

— Ишь ты! — Мирон Григорьевич усмехнулся в лисью рыжевень бороды и поиграл вишневым кнутовищем; он, видно, успокоившись, перевел разговор: — Какую же власть установить, как думаешь?

— Атамана посодим. Своего! Казака!

— Давай бог! Выбирайте лучше! Шшупайте генералов, как цыган лошадей. Чтоб без браку был.

— Выберем. Умными головами ишо не обеднел Дон.

— Так, так сваток… Их и дураков не сеют — сами родятся. — Мирон Григорьевич сощурился, грусть легла на его веснушчатое лицо. — Я своего Митьку думал в люди вывесть, хотел, чтоб на офицера учился, а он и приходской не кончил, убег на вторую зиму.

На минуту умолкли, думая о сыновьях, ушедших куда-то вслед большевикам. Бричку лихорадило по кочковатой дороге; правый вороной засекался, щелкая нестертой подковой; качалась люлька, и, как рыбы на нересте, терлись бок о бок тесно сидевшие сваты.

— Гдей-то наши казаки? — вздохнул Пантелей Прокофьевич.

— Пошли по Хопру. Федотка Калмык вернулся из Кумылженской, конь у него загубился. Гутарил, кубыть, держут шлях на Тишанскую станицу.

Опять замолчали. Спины холодил ветерок. Позади, за Доном, на розовом костре зари величаво и безмолвно сгорали леса, луговины, озера, плешины полян. Краюхой желтого сотового меда лежало песчаное взгорье, верблюжьи горбы бурунов скупо отсвечивали бронзой.

Весна шла недружно. Аквамариновая прозелень лесов уже сменилась богатым густо-зеленым опереньем, зацветала степь, сошла полая вода, оставив в займище бесчисленное множество озер-блесток, а в ярах под крутыми склонами еще жался к суглинку изъеденный ростепелью снег, белел вызывающе ярко.

На вторые сутки к вечеру приехали в Миллерово, заночевали у знакомого украинца, жившего под бурым боком элеватора. Утром, позавтракав, Мирон Григорьевич запряг лошадей, поехал к магазинам. Беспрепятственно миновал железнодорожный переезд и тут первый раз в жизни увидел немцев. Трое ландштурмистов шли ему наперерез. Один из них, мелкорослый, заросший по уши курчавой каштановой бородой, позывно махнул рукой.

Мирон Григорьевич натянул вожжи, беспокойно и выжидающе жуя губами. Немцы подошли. Рослый упитанный пруссак, искрясь белозубой улыбкой, сказал товарищу:

— Вот самый доподлинный казак! Смотри, он даже в казачьей форме! Его сыновья, по всей вероятности, дрались с нами. Давайте его живьем отправим в Берлин. Это будет

прелюбопытнейший экспонат!

— Нам нужны его лошади, а он пусть идет к черту! — без улыбки ответил клешнятый, с каштановой бородой.

Он опасливо околесил лошадей, подошел к бричке.

— Слезай, старик. Нам необходимы твои лошади — перевезти вот с этой мельницы к вокзалу партию муки. Ну же, слезай, тебе говорят! За лошадьми придешь к коменданту. — Немец указал глазами на мельницу и жестом, не допускавшим сомнений в назначении его, пригласил Мирона Григорьевича сойти.

Двое остальных пошли к мельнице, оглядываясь, смеясь. Мирон Григорьевич оделся иссера-желтым румянцем. Намотав на грядушку люльки вожжи, он молодо прыгнул с брички, зашел наперед лошадям.

«Свата нет, — мельком подумал он и похолодел. — Заберут коней! Эх, врюхался! Черт понес!»

Немец, плотно сжав губы, взял Мирона Григорьевича за рукав, указал знаком, чтобы шел к мельнице.

— Оставь! — Мирон Григорьевич потянулся вперед и побледнел заметней. — Не трожь чистыми руками! Не дам коней.

По голосу его немец догадался о смысле ответа. У него вдруг хищно ощерился рот, оголив иссиня-чистые зубы, — зрачки угрожающе расширились, голос залязгал властно и крикливо. Немец взялся за ремень, висевший на плече винтовки, и в этот миг Мирон Григорьевич вспомнил молодость: бойцовским ударом, почти не размахиваясь, ахнул его по скуле. От удара у того с хряском мотнулась голова и лопнул на подбородке ремень каски. Упал немец плашмя и, пытаясь подняться, выронил изо рта бордовый комок сгустелой крови. Мирон Григорьевич ударил еще раз, уже по затылку, зиркнул по сторонам и, нагнувшись, рывком выхватил винтовку. В этот момент мысль его работала быстро и невероятно четко. Поворачивая лошадей, он уже знал, что в спину ему немец не выстрелит, и боялся лишь, как бы не увидели из-за железнодорожного забора или с путей часовые.

Даже на скачках не ходили вороные таким бешеным наметом! Даже на свадьбах не доставалось так колесам брички! «Господи, унеси! Ослобони, господи! Во имя отца!..» — мысленно шептал Мирон Григорьевич, не снимая с конских спин кнута. Природная жадность чуть не погубила его: хотел заехать на квартиру за оставленной полстью; но разум осилил — повернул в сторону. Двадцать верст до слободы Ореховой летел он, как после сам говорил, шибче, чем пророк Илья на своей колеснице. В Ореховой заскочил к знакомому украинцу и, ни жив ни мертв, рассказал хозяину о происшествии, попросил укрыть его и лошадей. Украинец укрыть — укрыл, но предупредил:

— Я сховаю, но як будуть дуже пытать, то я, Григорич, укажу, бо мэни ж расчету нэма! Хатыну спалють, тай и на мэнэ наденуть шворку.

— Уж ты укрой, родимый! Да я тебя отблагодарю, чем хошь! Только от смерти отведи, схорони где-нибудь — овец пригоню гурт! Десятка первеющих овец не пожалею! — упрашивал и сулил Мирон Григорьевич, закатывая бричку под навес сарая.

Пуще смерти боялся он погони. Простоял во дворе у украинца до вечера и смылся, едва смеркалось. Всю дорогу от Ореховой скакал по-оглашенному, с лошадей по обе стороны сыпалось мыло, бричка тарахтела так, что на колесах спицы сливались, и опомнился лишь под хутором Нижне-Яблоновским. Не доезжая его, из-под сиденья достал отбитую винтовку, поглядел на ремень, исписанный изнутри чернильным карандашом, облегченно крякнул:

— А что — догнали, чертовы сыны? Мелко вы плавали!

Овец украинцу так и не пригнал. Осенью побывал проездом, на выжидающий взгляд

хозяина ответил:

— Овечки-то у нас попередохли. Плохо насчет овечков… А вот груш с собственного саду привез тебе по доброй памяти! — Высыпал из брички меры две избитых за дорогу груш, сказал, отводя шельмовские глаза в сторону: — Груши у нас хороши-расхороши… улежалые… — И распрощался.

В то время, когда Мирон Григорьевич скакал из Миллерова, сват его торчал на вокзале. Молодой немецкий офицер написал пропуск, через переводчика расспросил Пантелея Прокофьевича и, закуривая дешевую сигару, покровительственно сказал:

— Поезжайте, только помните, что вам необходима разумная власть. Выбирайте президента, царя, кого угодно, лишь при условии, что этот человек не будет лишен государственного разума и сумеет вести лояльную по отношению к нашему государству политику.

Пантелей Прокофьевич посматривал на немца довольно недружелюбно. Он не был склонен вести разговоры и, получив пропуск, сейчас же пошел покупать билет.

В Новочеркасске поразило его обилие молодых офицеров: они толпами расхаживали по улицам, сидели в ресторанах, гуляли с барышнями, сновали около атаманского дворца и здания судебных установлении, где должен был открыться Круг.

В общежитии для делегатов Пантелей Прокофьевич встретил нескольких станичников, одного знакомого из Еланской станицы. Среди делегатов преобладали казаки, офицеров было немного, и всего лишь несколько десятков — представителей станичной интеллигенции. Шли неуверенные толки о выборе областной власти. Ясно намечалось одно: выбрать должны атамана. Назывались популярные имена казачьих генералов, обсуждались кандидатуры.

Вечером в день приезда, после чая, Пантелей Прокофьевич присел было в своей комнате пожевать домашних харчишек. Он разложил звено вяленого сазана, отрезал хлеба. К нему подсели двое мигулинцев, подошли еще несколько человек. Разговор начался с положения на фронте, постепенно перешел к выборам власти.

— Лучше покойного Каледина — царство ему небесное! — не сыскать, — вздохнул сивобородый шумилинец.

— Почти что, — согласился еланский.

Один из присутствовавших при разговоре, подъесаул, делегат Бессертеневской станицы, не без горячности заговорил:

— Как это нет подходящего человека? Что вы, господа? А генерал Краснов?

— Какой это Краснов?

— Как, то есть, какой? И не стыдно спрашивать, господа? Знаменитый генерал, командир Третьего конного корпуса, умница, георгиевский кавалер, талантливый полководец!

Восторженная, захлебывающаяся речь подъесаула взбеленила делегата, представителя одной из фронтовых частей:

— А я вам говорю фактично: знаем мы его таланты! Никудышный генерал! В германскую войну отличался неплохо. Так и захряс бы в бригадных, кабы не революция!

— Как же это вы, голубчик, говорите, не зная генерала Краснова? И потом, как вы вообще смеете отзываться подобным образом о всеми уважаемом генерале? Вы, по всей вероятности, забыли, что вы рядовой казак?

Подъесаул уничтожающе цедил ледяные слова, и казак растерялся, оробел, тушуясь, забормотал:

— Я, ваше благородие, говорю, как сам служил под ихним начальством… Он на астрицком фронте наш полк на колючие заграждения посадил! Потому и считаем мы его

никудышным… А там кто его знает… Может, совсем навыворот…

— А за что ему Георгия дали? Дурак! — Пантелей Прокофьевич подавился сазаньей» костью; откашлявшись, напал на фронтовика: — Понабрались дурацкого духу, всех поносите, все вам нехороши… Ишь какую моду взяли! Поменьше б гутарили — не было б такой заварухи. А то ума много нажили. Пустобрехи!

Черкасня, низовцы горой стояли за Краснова. Старикам был по душе генерал — георгиевский кавалер; многие служили с ним в японскую войну. Офицеров прельщало прошлое Краснова: гвардеец, светский, блестяще образованный генерал, бывший при дворе и в свите его императорского величества. Либеральную интеллигенцию удовлетворяло то обстоятельство, что Краснов не только генерал, человек строя и военной муштровки, но как-никак и писатель, чьи рассказы из быта офицерства с удовольствием читались в свое время в приложениях к «Ниве»; а раз писатель, — значит, все же культурный человек.

По общежитию за Краснова ярая шла агитация. Перед именем его блекли имена прочих генералов. Об Африкане Богаевском офицеры — приверженцы Краснова — шепотком передавали слухи, будто у Богаевского с Деникиным одна чашка-ложка, и если выбрать Богаевского атаманом, то, как только похерят большевиков и вступят в Москву, — капут всем казачьим привилегиям и автономии.

Были противники и у Краснова. Один делегат-учитель без успеха пытался опорочить генеральское имя. Бродил учитель по комнатам делегатов, ядовито, по-комариному звенел в заволосатевшие уши казаков:

— Краснов-то? И генерал паршивый, и писатель ни к черту! Шаркун придворный, подлиза! Человек, который хочет, так сказать, и национальный капитал приобрести, и демократическую невинность сохранить. Вот поглядите, продаст он Дон первому же покупателю, на обчин! Мелкий человек. Политик из него равен нулю. Агеева надо выбирать! Тот — совсем иное дело.

Но учитель успехом не пользовался. И когда 1 мая, на третий день открытия Круга, раздались голоса:

— Пригласить генерала Краснова!

— Милости…

— Покорнейше…

— Просим!

— Нашу гордость!

— Нехай придет, расскажет нам про жизню! — Весь обширный зал заволновался.

Офицеры басисто захлопали в ладоши, и, глядя на них, неумело, негромко стали постукивать и казаки. От черных, выдубленных работой рук их звук получался сухой, трескучий, можно сказать — даже неприятный, глубоко противоположный той мягкой музыке аплодисментов, которую производили холеные подушечки ладоней барышень и дам, офицеров и учащихся, заполнивших галерею и коридоры.

А когда на сцену по-парадному молодецки вышагал высокий, стройный, несмотря на годы, красавец генерал, в мундире, с густым засевом крестов и медалей, с эполетами и прочими знаками генеральского отличия, — зал покрылся рябью хлопков, ревом. Хлопки выросли в овацию. Буря восторга гуляла по рядам делегатов. В этом генерале, с растроганным и взволнованным лицом, стоявшем в картинной позе, многие увидели тусклое отражение былой мощи империи.

Пантелей Прокофьевич прослезился и долго сморкался в красную, вынутую из фуражки утирку. «Вот это — генерал! Сразу видать, что человек! Как сам инператор, ажник подходимей на вид. Вроде аж шибается на покойного Александра!» — думал он, умиленно

разглядывая стоявшего у рампы Краснова.

Круг — названный «Кругом спасения Дона» — заседал неспешно. По предложению председателя Круга, есаула Янова, было принято постановление о ношении погонов и всех знаков отличия, присвоенных военному званию. Краснов выступил с блестящей, мастерски построенной речью. Он прочувствованно говорил о «России, поруганной большевиками», о ее «былой мощи», о судьбах Дона. Обрисовав настоящее положение, коротко коснулся немецкой оккупации и вызвал шумное одобрение, когда, кончая речь, с пафосом заговорил о самостоятельном существовании Донской области после поражения большевиков:

— Державный Войсковой круг будет править Донской областью! Казачество, освобожденное революцией, восстановит весь прекрасный старинный уклад казачьей жизни, и мы, как в старину наши предки, скажем полнозвучным, окрепшим голосом: «Здравствуй, белый царь, в кременной Москве, а мы, казаки, на тихом Дону!»

3 мая на вечернем заседании ста семью голосами против тридцати и при десяти воздержавшихся войсковым атаманом был избран генерал-майор Краснов. Он не принял атаманского пернача из рук войскового есаула, поставив условия: утвердить основные законы, предложенные им Кругу, и снабдить его неограниченной полнотой атаманской власти.

— Страна наша накануне гибели! Лишь при условии полнейшего доверия к атаману я возьму пернач. События требуют работать с уверенностью и отрадным сознанием исполняемого долга, когда знаешь, что Круг — верховный выразитель воли Дона — тебе доверяет, когда, в противовес большевистской распущенности и анархии, будут установлены твердые правовые нормы.

Законы, предложенные Красновым, представляли собою наспех перелицованные, слегка реставрированные законы прежней империи. Как же Кругу было не принять их? Приняли с радостью. Все, даже неудачно переделанный флаг, напоминало прежнее: синяя, красная и желтая продольные полосы (казаки, иногородние, калмыки), и лишь правительственный герб, в угоду казачьему духу, претерпел радикальное изменение: взамен хищного двуглавого орла, распростершего крылья и расправившего когти, изображен был нагой казак в папахе, при шашке, ружье и амуниции, сидящий верхом на винной бочке.

Один из подхалимистых простаков-делегатов задал подобострастный вопрос:

— Может, их превосходительство что-нибудь предложит изменить либо переделать в принятых за основу законах?

Краснов, милостиво улыбаясь, разрешил себе побаловаться шуткой. Он обещающе оглядел членов Круга и голосом человека, избалованного всеобщим вниманием, ответил:

— Могу. Статьи сорок восьмую, сорок девятую и пятидесятую — о флаге, гербе и гимне. Вы можете предложить мне любой флаг — кроме красного, любой герб — кроме еврейской пятиконечной звезды или иного масонского знака, и любой гимн — кроме «Интернационала».

Смеясь, Круг утвердил законы. И после долго из уст в уста переходила атаманская шутка.

5 мая Круг был распущен. Отзвучали последние речи. Командующий Южной группой, полковник Денисов, правая рука Краснова, сулил в самом скором времени вытравить большевистскую крамолу. Члены Круга разъезжались успокоенные, обрадованные и удачным выбором атамана, и сводками с фронта.

Глубоко взволнованный, начиненный взрывчатой радостью, ехал из донской столицы Пантелей Прокофьевич. Он был неколебимо убежден, что пернач попал в надежные руки, что вскоре разобьют большевиков и сыны вернутся к хозяйству. Старик сидел у окна вагона, облокотившись на столик; в ушах еще полоскались прощальные звуки донского гимна, до самого дна сознания просачивались живительные слова, и казалось, что и в самом деле по-

настоящему «всколыхнулся, взволновался православный тихий Дон».

Но, отъехав несколько верст от Новочеркасска, Пантелей Прокофьевич увидел из окна аванпосты баварской конницы. Группа конных немцев двигалась по обочине железнодорожного полотна навстречу поезду. Всадники спокойно сутулились в седлах, упитанные ширококрупые лошади мотали куце обрезанными хвостами, лоснились под ярким солнцем. Клонясь вперед, страдальчески избочив бровь, глядел Пантелей Прокофьевич, как копыта немецких коней победно, с переплясом попирают казачью землю, и долго после понуро горбатился, сопел, повернувшись к окну широкой спиной.

II

С Дона через Украину катились красные составы вагонов, увозя в Германию пшеничную муку, яйца, масло, быков. На площадках стояли немцы в бескозырках, в сине-серых форменных куртках, с привинченными к винтовкам штыками.

Добротные, желтой кожи, немецкие сапоги с окованными по износ каблуками трамбовали донские шляхи, баварская конница поила лошадей в Дону… А на границе с Украиной молодые казаки, только что обученные в Персиановке, под Новочеркасском, призванные под знамена, дрались с петлюровцами. Почти половина заново сколоченного 12-го Донского казачьего полка легла под Старобельском, завоевывая области лишний куй украинской территории.

На севере станица Усть-Медведицкая гуляла из рун в руки: занимал отряд казаков-красноармейцев, стекшихся с хуторов Глазуновской, Ново-Александровской, Кумылженской, Скуришенской и других станиц, а через час выбивал его отряд белых партизан офицера Алексеева, и по улицам мелькали шинели гимназистов, реалистов, семинаристов, составлявших кадры отряда.

На север из станицы в станицу перекатами валили верхнедонские казаки. Красные уходили к границам Саратовской губернии. Почти весь Хоперский округ был оставлен ими. К концу лета Донская армия, сбитая из казаков всех возрастов, способных носить оружие, стала на границах. Реорганизованная по пути, пополненная прибывшими из Новочеркасска офицерами, армия обретала подобие подлинной армии: малочисленные, выставленные станицами, дружины сливались; восстанавливались прежние регулярные полки с прежним, уцелевшим от германской войны, составом; полки сбивались в дивизии; в штабах хорунжих заменили матерые полковники; исподволь менялся и начальствующий состав.

К концу лета боевые единицы, скомпонованные из сотен мигулинских, мешковских, казанских и шумилинских казаков, по приказу генерал-майора Алферова перешли донскую границу и, заняв Донецкое — первую на рубеже слободу Воронежской губернии, повели осаду уездного города Богучара.

Уже четверо суток сотня татарских казаков под командой Петра Мелехова шла через хутора и станицы на север Усть-Медведицкого округа. Где-то правее их спешно, не принимая боя, отступали к линии железной дороги красные. За все время татарцы не видели противника. Переходы делали небольшие. Петро, да и все казаки, не сговариваясь, решили, что к смерти спешить нет расчета, в переход оставляли за собой не больше трех десятков верст.

На пятые сутки вступили в станицу Кумылженскую. Через Хопер переправлялись на хуторе Дундуковом. На лугу кисейной занавесью висела мошка. Тонкий вибрирующий звон ее возрастал неумолчно. Мириады ее слепо кружились, кишели, лезли в уши, глаза всадникам и

лошадям. Лошади нудились, чихали, казаки отмахивались руками, беспрестанно чадили табаком-самосадом.

— Вот забава, будь она проклята! — крякнул Христоня, вытирая рукавом слезившийся глаз.

— Вскочила, что ль? — улыбнулся Григорий.

— Глаз щипет. Стал быть, она ядовитая, дьявол!

Христоня, отдирая красное веко, провел по глазному яблоку шершавым пальцем; оттопырив губу, долго тер глаз тыльной стороной ладони.

Григорий ехал рядом. Они держались вместе со дня выступления. Прибивался к ним еще Аникушка, растолстевший за последнее время и от этого еще более запохожившийся на бабу.

Отряд насчитывал неполную сотню. У Петра помощником был вахмистр Латышев, вышедший на хутор Татарский в зятья. Григорий командовал взводом. У него почти все казаки были с нижнего конца хутора: Христоня, Аникушка, Федот Бодовсков, Мартин Шамиль, Иван Томилин, жердястый Борщев и медвежковатый увалень Захар Королев, Прохор Зыков, цыганская родня — Меркулов, Епифан Максаев, Егор Синилин и еще полтора десятка молодых ребят-одногодков.

Вторым взводом командовал Николай Кошевой, третьим — Яков Коловейдин и четвертым — Митька Коршунов, после казни Подтелкова спешно произведенный генералом Алферовым в старшие урядники.

Сотня грела коней степной рысью. Дорога обегала залитые водой музги, ныряла в лощинки, поросшие молодой кугой и талами, вилюжилась по лугу.

В задних рядах басисто хохотал Яков Подкова, тенорком подголашивал ему Андрюшка Кашулин, тоже получивший урядницкие лычки, заработавший их на крови подтелковских сподвижников.

Петро Мелехов ехал с Латышевым сбочь рядов. Они о чем-то тихо разговаривали. Латышев играл свежим темляком шашки. Петро левой рукой гладил коня, чесал ему промеж ушей. На пухлощеком лице Латышева грелась улыбка, обкуренные, с подточенными коронками зубы изжелта чернели из-под небогатых усов.

Позади всех, на прихрамывающей пегой кобыленке трусил Антип Авдеевич, сын Бреха, прозванный казаками Антипом Бреховичем.

Кое-кто из казаков разговаривал, некоторые, изломав ряды, ехали по пятеро в ряд, остальные внимательно рассматривали незнакомую местность, луг, изъязвленный оспяной рябью озер, зеленую изгородь тополей и верб. По снаряжению видно было, что шли казаки в дальний путь: сумы седел раздуты от клажи, вьюки набиты, в тороках у каждого заботливо увязана шинель. Да и по сбруе можно было судить: каждый ремешок испетлян дратвой, все прошито, подогнано, починено. Если месяц назад верилось, что войны не будет, то теперь шли с покорным безотрадным сознанием: крови не избежать. «Нынче носишь шкуру, а завтра, может, вороны будут ее в чистом поле дубить», — думал каждый.

Проехали хутор Крепцы. Крытые камышом редкие курени замигали справа. Аникушка достал из кармана шаровар бурсак, откусил половину, хищно оголив мелкие резцы, и суетливо, как заяц, задвигал челюстями, прожевывая.

Христоня скосился на него:

— Оголодал?

— А то что ж… Женушка напекла.

— А и жрать ты здоров! Чрево у тебя, стало быть, как у борова. — Он повернулся к Григорию и каким-то сердитым и жалующимся голосом продолжал: — Жрет, нечистый дух, неподобно! Куда он столько пихает? Приглядываюсь к нему эти дни, и вроде ажник страшно:

сам, стал быть, небольшой, а уж лопает, как на пропасть.

— Свое ем, стараюсь. К вечеру съешь барана, а утром захочешь рано. Мы всякий фрукт потребляем, нам все полезно, что в рот полезло.

Аникушка похохатывал и мигал Григорию на досадливо плевавшего Христоню.

— Петро Пантелеев, ночевку где делаешь? Вишь, коняшки-то поподбились! — крикнул Томилин.

Его поддержал Меркулов:

— Ночевать пора. Солнце садится.

Петро махнул плетью:

— Заночуем в Ключах. А может, и до Кумылги потянем.

В черную курчавую бородку улыбнулся Меркулов, шепнул Томилину:

— Выслуживается перед Алферовым, сука! Спешит…

Кто-то, подстригая Меркулова, из озорства окорнал ему бороду, сделал из пышной бороды бороденку, застругал ее кривым клином. Выглядел Меркулов по-новому, смешно, — это и служило поводом к постоянным шуткам. Томилин не удержался и тут!

— А ты не выслуживаешься?

— Чем это?

— Бороду под генерала подстриг. Небось, думаешь, как обрезал под генерала, так тебе сразу дивизию дадут? А шиша не хочешь?

— Дурак, черт! Ты ему всурьез, а он гнет.

За смехом и разговорами въехали в хутор Ключи. Высланный вперед квартирьером Андрюшка Кашулин встретил сотню у крайнего двора.

— Наш взвод — за мною! Первому — вот три двора, второму — по левой стороне, третьему — вон энтот двор, где колодезь и ишо четыре сподряд.

Петро подъехал к нему:

— Ничего не слыхал? Спрашивал?

— Ими тут и не воняет. А вот медов, парень, тут до черта. У одной старухи триста колодок. Ночью обязательно какой-нибудь расколем!

— Но-но, не дури! А то я расколю! — Петро нахмурился, тронул коня плетью.

Разместились. Убрали коней. Стемнело. Хозяева дали казакам повечерять. У дворов, на ольхах прошлогодней порубки расселись служивые и хуторные казаки. Поговорили о том и сем и разошлись спать.

Наутро выехали из хутора. Почти под самой Кумылженской сотню нагнал нарочный. Петро вскрыл пакет, долго читал его, покачиваясь в седле, натужно, как тяжесть, держа в вытянутой руке лист бумаги. К нему подъехал Григорий:

— Приказ?

— Ага!

— Чего пишут?

— Дела… Сотню велят сдать. Всех моих одногодков отзывают, формируют в Казанке Двадцать восьмой полк. Батарейцев — тоже и пулеметчиков.

— А остальным куда ж?

— А вот тут прописано: «В Арженовской поступить в распоряжение командира Двадцать второго полка. Двигаться безотлагательно», Ишь ты! «Безотлагательно»!

Подъехал Латышев, взял из рук Петра приказ. Он читал, шевеля толстыми тугими губами, косо изогнув бровь.

— Трогай! — крикнул Петро.

Сотня рванулась, пошла шагом. Казаки, оглядываясь, внимательно посматривали на

Петра, ждали, что скажет. Приказ объявил Петро в Кумылженской. Казаки старших годов засуетились, собираясь в обратную дорогу. Решили передневать в станице, а на зорьке другого дня трогаться в разные стороны. Петро, весь день искавший случая поговорить с братом, пришел к нему на квартиру.

— Пойдем на плац.

Григорий молча вышел за ворота. Их догнал было Митька Коршунов, но Петро холодно попросил его:

— Уйди, Митрий. Хочу с братом погутарить.

— Эт-то можно. — Митька понимающе улыбнулся, отстал.

Григорий, искоса наблюдавший за Петром, видел, что тот хочет говорить о чем-то серьезном. Отводя это разгаданное намерение, он заговорил с напускной оживленностью.

— Чудно все-таки: отъехали от дома сто верст, а народ уж другой. Гутарят не так, как у нас, и постройка другого порядка, вроде как у полипонов. Видишь, вот ворота накрыты тесовой крышей, как часовня. У нас таких нету. И вот, — он указал на ближний богатый курень, — завалинка тоже обметана тесом: чтоб дерево не гнило, так, что ли?

— Оставь. — Петро сморщился. — Не об этом ты гутаришь… Погоди, давай станем к плетню. Люди глядят.

На них любопытствующе поглядывали шедшие с плаца бабы и казаки. Старик в синей распоясанной рубахе и в казачьей фуражке с розовым от старости околышем приостановился:

— Днюете?

— Хотим передневать.

— Овсянец коням есть?

— Есть трошки, — отозвался Петро.

— А то зайдите ко мне, всыплю мерки две.

— Спаси Христос, дедушка!

— Богу святому… Заходи. Вон мой курень, зеленой жестью крытый.

— Ты об чем хочешь толковать? — нетерпеливо, хмурясь, спросил Григорий.

— Обо всем. — Петро как-то виновато и вымученно улыбнулся, закусил углом рта пшеничный ус. — Время, Гришатка, такое, что, может, и не свидимся…

Неосознанная враждебность к брату, ужалившая было Григория, внезапно исчезла, раздавленная жалкой Петровой улыбкой и давнишним, с детства оставшимся обращением «Гришатка». Петро ласково глядел на брата, все так же длительно и нехорошо улыбаясь. Движением губ он стер улыбку — огрубел лицом, сказал:

— Ты гляди, как народ разделили, гады! Будто с плугом проехались: один — в одну сторону, другой — в другую, как под лемешом. Чертова жизня, и время страшное! Один другого уж не угадывает… Вот ты, — круто перевел он разговор, — ты вот — брат мне родной, а я тебя не пойму, ей-богу! Чую, что ты уходишь как-то от меня… Правду говорю? — И сам себе ответил: — Правду. Мутишься ты… Боюсь, переметнешься ты к красным… Ты, Гришатка, досе себе не нашел.

— А ты нашел? — спросил Григорий, глядя, как за невидимой чертой Хопра, за меловой горою садится солнце, горит закат и обожженными черными хлопьями несутся оттуда облака.

— Нашел. Я на свою борозду попал. С нее меня не спихнешь! Я, Гришка, шататься, как ты, не буду.

— Хо? — обозленную выжал Григорий улыбку.

— Не буду!.. — Петро сердито потурсучил ус, часто замигал, будто ослепленный. — Меня к красным арканом не притянешь. Казачество против них, и я против. Суперечить не

хочу, не буду! Да ить как сказать… Незачем мне к ним, не по дороге!

— Бросай этот разговор, — устало попросил Григорий.

Он первый пошел к своей квартире, старательно печатая шаг, шевеля сутулым плечом.

У ворот Петро, приотставая, спросил:

— Ты скажи, я знать буду… скажи, Гришка, не переметнешься ты к ним?

— Навряд… Не знаю.

Григорий ответил вяло, неохотно, Петро вздохнул, но расспрашивать перестал. Ушел он взволнованный, осунувшийся. И ему и Григорию было донельзя ясно: стежки, прежде сплетавшие их, поросли непролазью пережитого, к сердцу не пройти. Так над буераком по кособокому склону скользит, вьется гладкая, выстриженная козьими копытами тропка и вдруг где-нибудь на повороте, нырнув на днище, кончится, как обрезанная, — нет дальше пути, стеной лопушится бурьян, топырясь неприветливым тупиком.

…На следующий день Петро увел назад, в Вешенскую, половину сотни. Оставшийся молодняк под командой Григория двинулся на Арженовскую.

С утра нещадно пекло солнце. В буром мареве кипятилась степь. Позади голубели лиловые отроги прихоперских гор, шафранным разливом лежали пески. Под всадниками шагом качались потные лошади. Лица казаков побурели, выцвели от солнца. Подушки седел, стремена, металлические части уздечек накалились так, что рукой не тронуть. В лесу и то не осталось прохлады — парная висела духота, и крепко пахло дождем.

Густая тоска полонила Григория. Весь день он покачивался в седле, несвязно думая о будущем; как горошины стеклянного мониста, перебирал в уме Петровы слова, горько нудился. Терпкий бражный привкус полыни жег губы, дорога дымилась зноем. Навзничь под солнцем лежала золотисто-бурая степь. По ней шарили сухие ветры, мяли шершавую траву, сучили пески и пыль.

К вечеру прозрачная мгла затянула солнце. Небо вылиняло, посерело. На западе грузные появились облака. Они стояли недвижно, прикасаясь обвислыми концами к невнятной, тонко выпряденной нити горизонта. Потом, гонимые ветром, грозно поплыли, раздражающе низко волоча бурые хвосты, сахарно белея округлыми вершинами.

Отряд вторично пересек речку Кумылгу, втиснулся под купол тополевого леса. Листья под ветром рябили мол очно-голубой изнанкой, согласно басовито шелестели. Где-то по ту сторону Хопра из ярко-белого подола тучи сыпался и сек землю косой дождь с градом, перепоясанный цветастым кушаком радуги.

Ночевали на хуторе, небольшом и пустынном. Григорий убрал коня, пошел на пасеку. Хозяин, престарелый курчавый казак, выбирая из бороды засетившихся пчел, встревоженно говорил Григорию:

— Вот эту колодку надысь купил. Перевозил сюда, и детва отчегой-то вся померла. Видишь, тянут пчелы. — Остановившись около долбленого улья, он указал на летку; пчелы беспрестанно вытаскивали на лазок трупики детвы, слетали с ними, глухо жужжа.

Хозяин жалостливо щурил рыжие глаза, огорченно чмокал губами. Ходил он порывисто, резко и угловато размахивая руками. Чересчур подвижной, груботелый, с обрывчатыми спешащими движениями, он вызывал какое-то беспокойство и казался лишним на пчельнике, где размеренно и слаженно огромнейший коллектив пчел вел медлительную мудрую работу. Григорий присматривался к нему с легким чувством недоброжелательства. Чувство это непроизвольно порождал состряпанный из порывов пожилой, широкоплечий казак, говоривший скрипуче и быстро:

— Нонешний год взятка хороша. Чебор цвел здорово, несли с него. Рамошные — способней ульи. Завожу вот…

Григорий пил чай с густым, тянким, как клей, медом. Мед сладко пахнул чабрецом, троицей, луговым цветом. Чай разливала дочь хозяина — высокая красивая жалмерка. Муж ее ушел с красными, поэтому хозяин был угодлив, смирен. Он не замечал, как дочь его из-под ресниц быстро поглядывала на Григория, сжимая тонкие неяркие губы. Она тянулась рукой к чайнику, и Григорий видел смолисто-черные курчеватые волосы под мышкой. Он не раз встречал ее щупающий, любознательный взгляд, и даже показалось ему, что, столкнувшись с ним взглядом, порозовела в скулах молодая казачка и согрела в углах губ припрятанную усмешку.

— Я вам в горнице постелю, — после чая сказала она Григорию, проходя с подушкой и полстью мимо и обжигая его откровенным голодным взглядом. Взбивая подушку, будто между прочим сказала невнятно и быстро: — Я под сараем ляжу… Душно в куренях, блохи кусают…

Григорий, скинув одни сапоги, пошел к ней под сарай, как только услышал храп хозяина. Она уступила ему место рядом с собой на снятой с передка арбе и, натягивая на себя овчинную шубу, касаясь Григория ногами, притихла. Губы у нее были сухи, жестки, пахли луком и незахватанным запахом свежести. На ее тонкой и смуглой руке Григорий прозоревал до рассвета. Она с силой всю ночь прижимала его к себе, ненасытно ласкала и со смешками, с шутками в кровь искусала ему губы и оставила на шее, груди и плечах лиловые пятна поцелуев-укусов и крохотные следы своих мелких зверушечьих зубов. После третьих кочетов Григорий собрался было перекочевать в горницу, но она его удержала.

— Пусти, любушка, пусти, моя ягодка! — упрашивал Григорий, улыбаясь в черный поникший ус, мягко пытаясь освободиться.

— Полежи ишо чудок… Полежи!

— Да ить увидют! Гля, скоро рассвенет!

— Ну и нехай!

— А отец?

— Батяня знает.

— Как знает? — Григорий удивленно подрожал бровью.

— А так…

— Вот так голос! Откель же он знает?

— Он, видишь… он вчерась мне сказал: дескать, ежели будет офицер приставать, переспи с ним, примолви его, а то за Гераську коней заберут либо ишо чего… Муж-то, Герасим мой, с красными…

— Во-он-он как! — Григорий насмешливо улыбнулся, но в душе был обижен.

Неприятное чувство рассеяла она же. Любовно касаясь мышц на руке Григория, она вздрогнула:

— Мой-то разлюбезный не такой, как ты…

— А какой же он? — заинтересовался Григорий, потрезвелыми глазами глядя на бледнеющую вершину неба.

— Никудышный… квелый… — Она доверчиво потянулась к Григорию, в голосе ее зазвучали сухие слезы. — Я с ним безо всякой сладости жила. Негож он по бабьему делу…

Чужая, детски наивная душа открывалась перед Григорием просто, как открывается, впитывая росу, цветок. Это пьянило, будило легкую жалость. Григорий, жалея, ласково гладил растрепанные волосы своей случайной подруги, закрывал усталые глаза.

Сквозь камышовую крышу навеса сочился гаснущий свет месяца. Сорвалась и стремительно скатилась к горизонту падучая звезда. В пруду на пепельном небе фосфорический стынущий след. В пруду закрякала матерка, с любовной сипотцой отозвался

селезень.

Григорий ушел в горницу, легко неся опорожненное, налитое сладостным звоном устали тело. Он уснул, ощущая на губах солонцеватый запах ее губ, бережно храня в памяти охочее на ласку тело казачки и запах его — сложный запах чабрецового меда, пота и тепла.

Через два часа его разбудили казаки. Прохор Зыков оседлал ему коня, вывел за ворота. Григорий попрощался с хозяином, твердо выдержав его задымленный враждебностью взгляд, — кивнул головой проходившей в курень хозяйской дочери. Она наклонила голову, тепля в углах тонких, неярко окрашенных губ улыбку и невнятную горечь сожаления.

По проулку ехал Григорий, оглядываясь. Проулок полудугой огибал двор, где он ночевал, и он видел, как пригретая им казачка смотрела через плетни ему вслед, поворачивая голову, щитком выставив над глазами узкую загорелую ладонь. Григорий с неожиданно ворохнувшейся тоской оглядывался, пытался представить себе выражение ее лица, всю ее — и не мог. Он видел только, что голова казачки в белом платке тихо поворачивается, следя глазами за ним. Так поворачивается шляпка подсолнечника, наблюдавшего за медлительным кружным походом солнца.

Этапным порядком гнали Кошевого Михаила из Вешенский на фронт. Дошел он до Федосеевской станицы, там его станичный атаман задержал на день и под конвоем отправил обратно в Вешенскую.

— Почему отсылаете назад? — спросил Михаил станичного писаря.

— Получено распоряжение из Вешек, — неохотно ответил тот.

Оказалось, что Мишкина мать, ползая на коленях на хуторском сборе, упросила стариков, и те написали от общества приговор с просьбой Михаила Кошевого как единственного кормильца в семье назначить в атарщики. К вешенскому станичному атаману с приговором ездил сам Мирон Григорьевич. Упросил.

В станичном правлении атаман накричал на Мишку, стоявшего перед ним во фронт, потом сбавил тон, сердито закончил:

— Большевикам мы не доверяем защиту Дона! Отправляйся на отвод, послужишь атарщиком, а там видно будет. Смотри у меня, сукин сын! Мать твою жалко, а то бы… Ступай!

По раскаленным улицам Мишка шел уже без конвоира. Скатка резала плечо. Натруженные за полтораста верст ходьбы ноги отказывались служить. Он едва дотянул к ночи до хутора, а на другой день, оплаканный и обласканный матерью, уехал на отвод, увозя в памяти постаревшее лицо матери и впервые замеченную им пряжу седин на ее голове.

К югу от станицы Каргинской, на двадцать восемь верст в длину и шесть в ширину, разлеглась целинная, извеку не паханная заповедная степь. Кус земли во многие тысячи десятин был отведен под попас станичных жеребцов, потому и назван — отводом. Ежегодно на егорьев день из Вешенской, из зимних конюшен, выводили атарщики отстоявшихся за зиму жеребцов, гнали их на отвод. На станичные деньги была выстроена посреди отвода конюшня с летними открытыми станками на восемнадцать жеребцов, с рубленой казармой около для атарщиков, смотрителя и ветеринарного фельдшера. Казаки Вешенского юрта пригоняли маток-кобылиц, фельдшер со смотрителем следили при приеме маток, чтоб ростом каждая была не меньше двух аршин и возрастом не моложе четырех лет. Здоровых отбивали в косяки штук по сорок. Каждый жеребец уводил свой косяк в степь, ревниво соблюдая кобылиц.

Мишка ехал на единственной в его хозяйстве кобыле. Мать, провожая его, утирая завеской слезы, говорила:

— Огуляется, может, кобылка-то… Ты уж блюди ее, не заезживай. Ишо одну лошадь — край надо!

В полдень за парным маревом, струившимся поверх ложбины, увидел Мишка железную крышу казармы, изгородь, серую от непогоды тесовую крышу конюшни. Он заторопил кобылу: выправившись на гребень, отчетливо увидел постройки и молочный разлив травы за ними. Далеко-далеко на востоке гнедым пятном темнел косяк лошадей, бежавших к пруду; в стороне от них рысил верховой атарщик — игрушечный человек, приклеенный к игрушечному коньку.

Въехав во двор, Мишка спешился, привязал поводья к крыльцу, вошел в дом. В просторном коридоре ему повстречался один из атарщиков, невысокий веснушчатый казак.

— Кого надо? — недружелюбно спросил он, оглядывая Мишку с ног до головы.

— Мне бы до смотрителя.

— Струкова? Нету, весь вышел. Сазонов, помочник ихний, тут. Вторая дверь с левой руки… А на что понадобился? Ты откель?

— В атарщики к вам.

— Пихают абы кого…

Бормоча, он пошел к выходу. Веревочный аркан, перекинутый через плечо, волочился за ним по полу. Открыв дверь и стоя к Мишке спиной, атарщик махнул плетью, уже миролюбиво сказал:

— У нас, братушка, служба чижелая. Иной раз по двое суток с коня не слазишь.

Мишка глядел на его нераспрямленную спину и резко выгнутые ноги. В просвете двери каждая линия нескладной фигуры казака вырисовывалась рельефно и остро. Колесом изогнутые ноги атарщика развеселили Мишку. «Будто он сорок лет верхом на бочонке сидел», — подумал, усмехаясь про себя, разыскивая глазами дверную ручку.

Сазонов принял нового атарщика величественно и равнодушно.

Вскоре приехал откуда-то и сам смотритель, здоровенный казачина, вахмистр Атаманского полка Афанасий Струков. Он приказал зачислить Кошевого на довольствие, вместе с ним вышел на крыльцо, накаленное белым застойным зноем.

— Неуков учить умеешь? Объезживал?

— Не доводилось, — чистосердечно признался Мишка и сразу заметил, как посоловевшее от жары лицо смотрителя оживилось, струей прошло по нему недовольство.

Почесывая потную спину, выгибая могучие лопатки, смотритель тупо глядел Мишке меж глаз:

— Арканом могешь накидывать?

— Могу.

— А коней жалеешь?

— Жалею.

— Они — как люди, немые только. Жалей, — приказал он и, беспричинно свирепея, крикнул; — Жалеть, а не то что — арапником!

Лицо его на минуту стало и осмысленным и живым, но сейчас же оживление исчезло, твердой корой тупого равнодушия поросла каждая черта.

— Женатый?

— Никак нет.

— Вот и дурак! Женился бы, — обрадованно подхватил смотритель.

Он выжидающе помолчал, с минуту глядел на распахнутую грудину степи, потом, зевая, пошел в дом. Больше за месяц службы в атарщиках Мишка не слышал от него ни единого слова.

Всего на отводе было пятьдесят пять жеребцов. На каждого атарщика приходилось по два, по три косяка. Мишке поручили большой косяк, водимый могучим старым жеребцом

Бахарем, и еще один, поменьше, насчитывавший около двадцати маток, с жеребцом по кличке Банальный. Смотритель призвал атарщика Солдатова Илью, одного из самых расторопных и бесстрашных, поручил ему:

— Вот новый атарщик, Кошевой Михаил с Татарского хутора. Укажи ему косяки Банального и Бахаря, аркан ему дай. Жить будет в вашей будке. Указывай ему. Ступайте.

Солдатов молча закурил, кивнул Мишке:

— Пойдем.

На крыльце спросил, указывая глазами на сомлевшую под солнцем Мишкину кобыленку:

— Твоя животина?

— Моя.

— Сжеребая?

— Нету.

— С Бахарем случи. Он у нас Королевского завода, полумесок с англичанином. Ай да и резвен!.. Ну садись.

Ехали рядом. Лошади по колено брели в траве. Казарма и конюшня остались далеко позади. Впереди, повитая нежнейшим голубым куревом, величественно безмолвствовала степь. В зените, за прядью опаловых облачков, томилось солнце. От жаркой травы стлался тягучий густой аромат. Справа, за туманной очерченной впадиной лога, жемчужно-улыбчиво белела полоска Жирова пруда. А кругом — насколько хватал глаз — зеленый необъятный простор, дрожащие струи марева, полуденным зноем скованная древняя степь и на горизонте — недосягаем и сказочен — сизый грудастый курган.

Травы от корня зеленели густо и темно, вершинки просвечивали на солнце, отливали медянкой. Лохматился невызревший султанистый ковыль, круговинами шла по нему вихрастая имурка, пырей жадно стремился к солнцу, вытягивая обзерненную головку. Местами слепо и цепко прижимался к земле низкорослый железняк, изредка промереженный шалфеем, и вновь половодьем расстилался взявший засилье ковыль, сменяясь разноцветьем: овсюгом, желтой сурепкой, молочаем, чингиской — травой суровой, однолюбой, вытеснявшей с занятой площади все остальные травы.

Казаки ехали молча. Мишка испытывал давно не веданное им чувство покорной умиротворенности. Степь давила его тишиной, мудрым величием. Спутник его просто спал в седле, клонясь к конской гриве, сложив на луке веснушчатые руки словно перед принятием причастия.

Из-под ног взвился стрепет, потянул над балкой, искрясь на солнце белым пером. Приминая травы, с юга поплыл ветерок, с утра, может быть, бороздивший Азовское море.

Через полчаса наехали на косяк, пасшийся возле Осинового пруда. Солдатов проснулся, потягиваясь в седле, лениво сказал:

— Ломакина Пантелюшки косяк. Чтой-то его не видно.

— Как жеребца кличут? — спросил Мишка, любуясь светло-рыжим длинным донцом.

— Фразер. Злой, проклятый! Ишь вылупился как! Повел!

Жеребец двинулся в сторону, и за ним, табунясь, пошли кобылицы.

Мишка принял отведенные ему косяки и сложил свои пожитки в полевой будке. До него в будке жили трое: Солдатов, Ломакин и наемный косячник — немолодой молчаливый казак Туроверов. Солдатов числился у них старшим. Он охотно ввел Мишку в курс обязанностей, на другой же день рассказал ему про характеры и повадки жеребцов и, тонко улыбаясь, посоветовал:

— По праву должон ты службу на своей коняке несть, но ежели на ней изо дня в день мотаться — поставишь на постав. А ты пусти ее в косяк, чужую заседлай и меняй их почаще.

На Мишкиных глазах он отбил от косяка одну матку и, расскакавшись, привычно и ловко накинул на нее аркан. Оседлал ее Мишкиным седлом, подвел, дрожащую, приседающую на задние ноги, к нему.

— Садись. Она, видно, неука, черт! Садись же! — крикнул он сердито, правой рукой с силой натягивая поводья, левой сжимая кобылицын раздувающийся храп. — Ты с ними помягче. Это на конюшне зыкнешь на жеребца: «К одной!» — он и жмется к одной стороне станка, а тут не балуйся! Бахаря особливо опасайся, близко не подъезжай, зашибет, — говорил он, держась за стремя и любовно лапая переступавшую с ноги на ногу кобылку за тугое атласно-черное вымя.

III

Неделю отдыхал Мишка, целые дни проводя в седле. Степь его покоряла, властно принуждала жить первобытной, растительной жизнью. Косяк ходил где-нибудь неподалеку. Мишка или сидя дремал в седле, или, валяясь на траве, бездумно следил, как, пасомые ветром, странствуют по небу косяки опушенных изморозной белью туч. Вначале такое состояние отрешенности его удовлетворяло. Жизнь на отводе, вдали от людей, ему даже нравилась. Но к концу недели, когда он уже освоился в новом положении, проснулся невнятный страх. «Там люди свою и чужую судьбу решают, а я кобылок пасу. Как же так? Уходить надо, а то засосет», — трезвея, думал он. Но в сознании сочился и другой, ленивый нашепот: «Пускай там воюют, там смерть, а тут — приволье, трава да небо. Там злоба, а тут мир. Тебе-то что за дело до остальных?..» Мысли стали ревниво точить покорную Мишкину успокоенность. Это погнало его к людям, и он уже чаще, нежели в первые дни, искал встреч с Солдатовым, гулявшим со своими косяками в районе Дударова пруда, пытался сблизиться с ним.

Солдатов тягот одиночества, видимо, не чувствовал. Он редко ночевал в будке и почти всегда — с косяком или возле пруда. Жил он звериной жизнью, сам промышлял себе пищу и делал это необычайно искусно, словно всю жизнь только этим и занимался. Однажды увидел Мишка, как он плел лесу из конского волоса. Заинтересовавшись, спросил:

— На что плетешь?

— На рыбу.

— А где она?

— В пруду. Караси.

— За глиста ловишь?

— За хлеб и за глиста.

— Варишь?

— Подвялю и ем. На вот, — радушно угостил он, вынимая из кармана шаровар вяленого карася.

Как-то, следуя за косяком, напал Мишка на пойманного в силок стрепета. Возле стояло мастерски сделанное чучело стрепета и лежали искусно скрытые в траве силки, привязанные к колышку. Стрепета Солдатов в этот же вечер изжарил в земле, предварительно засыпав ее раскаленными угольями. Он пригласил вечерять и Мишку. Раздирая пахучее мясо, попросил:

— В другой раз не сымай, а то мне дело попортишь.

— Ты как попал сюда? — спросил Мишка.

— Кормилец я.

Солдатов помолчал и вдруг спросил:

— Слухай, а правду брешут ребяты, что ты из красных?

Кошевой, не ожидавший такого вопроса, смутился:

— Нет… Ну, как сказать… Ну да, уходил я к ним… Поймали.

— Зачем уходил? Чего искал? — суровея глазами, тихо спросил Солдатов и стал жевать медленней.

Они сидели возле огня на гребне сухой балки. Кизяки чадно дымили, из-под золы просился наружу огонек. Сзади сухим теплом и запахом вянущей полыни дышала им в спины ночь. Воронье небо полосовали падучие звезды. Падала одна, а потом долго светлел ворсистый след, как на конском крупе после удара кнутом.

Мишка настороженно всматривался в лицо Солдатова, тронутое позолотой огневого отсвета, ответил:

— Правов хотел добиться.

— Кому? — с живостью встрепенулся Солдатов.

— Народу.

— Каких же правов? Ты расскажи.

Голос Солдатова стал глух и вкрадчив. Мишка секунду колебался — ему подумалось, что Солдатов нарочно положил в огонь свежий кизяк, чтобы скрыть выражение своего лица. Решившись, заговорил?

— Равноправия всем — вот каких! Не должно быть ни панов, ни холопов. Понятно? Этому делу решку наведут.

— Думаешь, не осилют кадеты?

— Ну да — нет.

— Ты, значит, вот чего хотел… — Солдатов перевел дух и вдруг встал. — Ты, сукин сын, казачество жидам в кабалу хотел отдать?! — крикнул он пронзительно, зло. — Ты… в зубы тебе, и все вы такие-то, хотите искоренить нас?! Ага, вон как!.. Чтобы по степу жиды фабрик своих понастроили? Чтоб нас от земли отнять?!

Мишка, пораженный, медленно поднялся на ноги. Ему показалось, что Солдатов хочет его ударить. Он Отшатнулся, и тот, видя, что Мишка испуганно ступил назад, — размахнулся. Мишка поймал его за руку на лету; сжимая в запястье, обещающе посоветовал:

— Ты, дядя, оставь, а то я тебя помету! Ты чего расшумелся?

Они стояли в темноте друг против друга. Огонь, затоптанный ногами, погас; лишь с краю ало дымился откатившийся в сторону кизяк. Солдатов левой рукой схватился за ворот Мишкиной рубахи; стягивая его в кулаке, поднимая, пытался освободить правую руку.

— За грудки не берись! — хрипел Мишка, ворочая сильной шеей. — Не берись, говорю! Побью, слышишь?..

— Не-е-ет, ты… побью… погоди! — задыхался Солдатов.

Мишка, освободившись, с силой откинул его от себя и, испытывая омерзительное желание ударить, сбить с ног и дать волю рукам, судорожно оправлял рубаху.

Солдатов не подходил к нему. Скрипя зубами, он вперемешку с матюками выкрикивал:

— Донесу!.. Зараз же к смотрителю! Я тебя упеку!.. Гадюка! Гад!.. Большевик!.. Как Подтелкова тебя надо! На сук! На шворку!

«Донесет… набрешет… Посадят в тюрьму… На фронт не пошлют — значит, к своим не перебегу. Пропал!» — Мишка похолодел, и мысль его, ища выхода, заметалась отчаянно, как мечется суда в какой-нибудь ямке, отрезанная сбывающей полой водой от реки, «Убить его! Задушу сейчас… Иначе нельзя…» И, уже подчиняясь этому мгновенному решению, мысль подыскивала оправдания: «Скажу, что кинулся меня бить… Я его за глотку… нечаянно, мол… Сгоряча…»

Дрожа, шагнул Мишка к Солдатову, и если бы тот побежал в этот момент, скрестились бы над нами смерть и кровь. Но Солдатов продолжал выкрикивать ругательства, и Мишка потух, лишь ноги хлипко задрожали, да пот проступил на спине и под мышками.

— Ну, погоди… Слышишь? Солдатов, постой. Не шуми. Ты же первый затеял.

И Мишка стал униженно просить. У него дрожала челюсть, растерянно бегали глаза:

— Мало ли чего не бывает между друзьями… Я ж тебя не вдарил… А ты — за грудки… Ну, чего я такого сказал? И все это надо доказывать?.. Ежели обидел, ты прости… ей-богу! Ну?

Солдатов стал тише, тише покрикивать и умолк. Минуту спустя сказал, отворачиваясь, вырывая свою руку из холодной, потной руки Кошевого:

— Крутишь хвостом, как гад! Ну да уж ладно, не скажу. Дурость твою жалею… А ты мне на глаза больше не попадайся, зрить тебя больше не могу. Сволочь ты! Жидам ты продался, а я не жалею таких людей, какие за деньги продаются.

Мишка приниженно и жалко улыбался в темноту, хотя Солдатов лица его не видел, как не видел того, что кулаки Мишки сжимаются и пухнут от прилива крови.

Они разошлись, не сказав больше ни слова. Кошевой яростно хлестал лошадь, скакал, разыскивая свой косяк. На востоке вспыхивали сполохи, погромыхивал гром.

В эту ночь над отводом прошлась гроза. К полуночи, как запаленный, сапно дыша, с посвистом пронесся ветер, за ним невидимым подолом потянулись густая прохлада и горькая пыль.

Небо нахмарилось. Молния наискось распахала взбугренную черноземно-черную тучу, долго копилась тишина, и где-то далеко предупреждающе громыхал гром. Ядреный дождевой сев начал приминать травы. При свете молнии, вторично очертившей круг, Кошевой увидел ставшую вполнеба бурую тучу, по краям, обугленно-черную, грозную, и на земле, распростертой под нею, крохотных, сбившихся в кучу лошадей. Гром обрушился с ужасающей силой, молния стремительно шла к земле. После нового удара из недр тучи потоками прорвался дождь, степь невнятно зароптала, вихрь сорвал с головы Кошевого мокрую фуражку, с силой пригнул его к луке седла. С минуту чернея полоскалась тишина, потом вновь по небу заджигитовала молния, усугубив дьявольскую темноту. Последующий удар грома был столь силен, сух и раскатисто-трескуч, что лошадь Кошевого присела и, вспрянув, завилась в дыбки. Лошади в косяке затопотали. Со всей силой натягивая поводья, Кошевой крикнул, желая ободрить лошадей:

— Стой!.. Тррр!..

При сахарно-белом зигзаге молний, продолжительно скользившем по гребням тучи, Кошевой увидел, как косяк мчался на него. Лошади стлались в бешеном намете, почти касаясь лоснящимися мордами земли. Раздутые ноздри их с храпом хватали воздух, некованые копыта выбивали сырой гул. Впереди, забирая предельную скорость, шел Бахарь. Кошевой рванул лошадь в сторону и едва-едва успел проскочить. Лошади промчались и стали неподалеку. Не зная того, что косяк, взволнованный и напуганный грозой, кинулся на его крик, Кошевой вновь еще громче зыкнул:

— Стойте! А ну!

И опять — уже в темноте — с чудовищной быстротой устремился к нему грохот копыт. В ужасе ударил кобыленку свою плетью меж глаз, но уйти в сторону не успел. В круп его кобылицы грудью ударилась какая-то обезумевшая лошадь, и Кошевой, как кинутый пращой, вылетел из седла. Он уцелел только чудом: косяк основной массы шел правее его, поэтому-то его не затоптали, а лишь одна какая-то матка вдавила ему копытом правую руку в грязь. Мишка поднялся и, стараясь хранить возможную тишину, осторожно пошел в сторону. Он

слышал, что косяк неподалеку ждет крика, чтобы вновь устремиться на него в сумасшедшем намете, и слышал характерный, отличимый похрап Бахаря.

В будку пришел Кошевой только перед светом.

IV

15 мая атаман Всевеликого войска Донского Краснов, сопутствуемый председателем совета управляющих, управляющим отделом иностранных дел генерал-майором Африканом Богаевским, генерал-квартирмейстером Донской армии полковником Кисловым и кубанским атаманом Филимоновым, прибыл на пароходе в станицу Манычскую.

Хозяева земли донской и кубанской скучающе смотрели с палубы, как причаливает к пристани пароход, как суетятся матросы и, закипая, идет от сходней бурая волна. Потом сошли на берег, провожаемые сотнями глаз собравшейся у пристани толпы.

Небо, горизонты, день, тонкоструйное марево — все синее. Дон — и тот отливает не присущей ему голубизной, как вогнутое зеркало, отражая снежные вершины туч.

Запахами солнца, сохлых солончаков и сопревшей прошлогодней травы напитан ветер. Толпа шуршит говором. Генералы, встреченные местными властями, едут на плац.

В доме станичного атамана через час началось совещание представителей донского правительства и Добровольческой армии. От Добровольческой армии прибыли генералы Деникин и Алексеев в сопровождении начштаба армии генерала Романовского, полковников Ряснянского и Эвальда.

Встреча дышала холодком. Краснов держался с тяжелым достоинством. Алексеев, поздоровавшись с присутствующими, присел к столу; подперев сухими белыми ладонями обвислые щеки, безучастно закрыл глаза. Его укачала езда в автомобиле. Он как бы ссохся от старости и пережитых потрясений. Излучины сухого рта трагически опущены, голубые, иссеченные прожилками веки припухлы и тяжки. Множество мельчайших морщинок веером рассыпалось к вискам. Пальцы, плотно прижавшие дряблую кожу щек, концами зарывались в старчески желтоватые, коротко остриженные волосы. Полковник Ряснянский бережно расстилал на столе похрустывающую карту, ему помогал Кислов. Романовский стоял около, придерживая ногтем мизинца угол карты. Богаевский прислонился к невысокому окну, с щемящей жалостью вглядываясь в бесконечно усталое лицо Алексеева. Оно белело, как гипсовая маска. «Как он постарел! Ужасно как постарел!» — мысленно шептал Богаевский, не спуская с Алексеева влажных миндалевидных глаз. Еще не успели присутствовавшие усесться за стол, как Деникин, обращаясь к Краснову, заговорил, взволнованно и резко:

— Прежде чем открыть совещание, я должен заявить вам: нас крайне удивляет то обстоятельство, что вы в диспозиции, отданной для овладения Батайском, указываете, что в правой колонне у вас действует немецкий батальон и батарея. Должен признаться, что факт подобного сотрудничества для меня более чем странен… Вы позволите узнать, чем руководствовались вы, входя в сношение с врагами родины — с бесчестными врагами! — и пользуясь их помощью? Вы, разумеется, осведомлены о том, что союзники готовы оказать нам поддержку?.. Добровольческая армия расценивает союз с немцами как измену делу восстановления России. Действия донского правительства находят такую же оценку и в широких союзнических кругах. Прошу вас объясниться.

Деникин, зло изогнув бровь, ждал ответа.

Только благодаря выдержке и присущей ему светскости Краснов хранил внешнее спокойствие; но негодование все же осиливало: под седеющими усами нервный тик

подергивал и искажал рот. Очень спокойно и очень учтиво Краснов отвечал:

— Когда на карту ставится участь всего дела, не брезгают помощью и бывших врагов. И потом вообще правительство Дона, правительство пятимиллионного суверенного народа, никем не опекаемое, имеет право действовать самостоятельно, сообразно интересам казачества, кои призвано защищать.

При этих словах Алексеев открыл глаза и, видимо, с большим напряжением пытался слушать внимательно, Краснов глянул на Богаевского, нервически крутившего выхоленный в стрелку ус, и продолжал:

— В ваших рассуждениях, ваше превосходительство, превалируют мотивы, так сказать, этического порядка. Вы сказали очень много ответственных слов о нашей якобы измене делу России, об измене союзникам… Но я полагаю, вам известен тот факт, что Добровольческая армия получала от нас снаряды, проданные нам немцами?..

— Прошу строго разграничивать явления глубоко различного порядка! Мне нет дела до того, каким путем вы получаете от немцев боеприпасы, но — пользоваться поддержкой их войск!.. — Деникин сердито вздернул плечами.

Краснов, кончая речь, вскользь, осторожно, но решительно дал понять Деникину, что он не прежний бригадный генерал, каким тот видел его на австро-германском фронте.

Разрушив неловкое молчание, установившееся после речи Краснова, Деникин умно перевел разговор на вопросы слияния Донской и Добровольческой армий и установления единого командования. Но предшествовавшая этому стычка, по сути, послужила началом дальнейшего, непрестанно развивавшегося между ними обострения отношений, окончательно порванных к моменту ухода Краснова от власти.

Краснов от прямого ответа ускользнул, предложив взамен совместный поход на Царицын, для того чтобы, во-первых, овладеть крупнейшим стратегическим центром и, во-вторых, удержав его, соединиться с уральскими казаками.

Прозвучал короткий разговор:

— …Вам не говорить о той колоссальной значимости, которую представляет для нас Царицын.

— Добровольческая армия может встретиться с немцами. На Царицын не пойду. Прежде всего я должен освободить кубанцев.

— Да, но все же взятие Царицына — кардинальнейшая задача. Правительство Войска Донского поручило мне просить ваше превосходительство.

— Повторяю: бросить кубанцев я не могу.

— Только при условии наступления на Царицын можно говорить об установлении единого командования.

Алексеев неодобрительно пожевал губами.

— Немыслимо! Кубанцы не пойдут из пределов области, не окончательно очищенной от большевиков, а в Добровольческой армии две с половиной тысячи штыков, причем третья часть — вне строя: раненые и больные.

За скромным обедом вяло перебрасывались незначащими замечаниями — было ясно, что соглашение достигнуто не будет. Полковник Ряснянский рассказал о каком-то веселом полуанекдотическом подвиге одного из марковцев, и постепенно, под совместным действием обеда и веселого рассказа, напряженность рассеялась. Но когда после обеда, закуривая, разошлись по горнице, Деникин, тронув плечо Романовского, указал острыми прищуренными глазами на Краснова, шепнул:

— Наполеон областного масштаба… Неумный человек, знаете ли…

Улыбнувшись, Романовский быстро ответил:

— Княжить и володеть хочется… Бригадный генерал упивается монаршей властью. По-моему, он лишен чувства юмора…

Разъехались, преисполненные вражды и неприязни. С этого дня отношения между Добрармией и донским правительством резко ухудшаются, ухудшение достигает апогея, когда командованию Добрармии становится известным содержание письма Краснова, адресованного германскому императору Вильгельму. Раненые добровольцы, отлеживавшиеся в Новочеркасске, посмеивались над стремлением Краснова к автономии и над слабостью его по части восстановления казачьей старинки, в кругу своих презрительно называли его «хузяином», а Всевеликое войско Донское переименовали во «всевеселое». В ответ на это донские самостийники величали их «странствующими музыкантами», «правителями без территории». Кто-то из «великих» в Добровольческой армии едко сказал про донское правительство: «Проститутка, зарабатывающая на немецкой постели». На это последовал ответ генерала Денисова: «Если правительство Дона — проститутка, то Добровольческая армия — кот, живущий на средства этой проститутки».

Ответ был намеком на зависимость Добровольческой армии от Дона, делившего с ней получаемое из Германии боевое снаряжение.

Ростов и Новочеркасск, являвшиеся тылом Добровольческой армии, кишели офицерами. Тысячи их спекулировали, служили в бесчисленных тыловых учреждениях, ютились у родных и знакомых, с поддельными документами о ранениях лежали в лазаретах… Все наиболее мужественные гибли в боях, от тифа, от ран, а остальные, растерявшие за годы революции и честь и совесть, по-шакальи прятались в тылах, грязной накипью, навозом плавали на поверхности бурных дней. Это были еще те нетронутые, залежалые кадры офицерства, которые некогда громил, обличал, стыдил Чернецов, призывая к защите России. В большинстве они являли собой самую пакостную разновидность так называемой «мыслящей интеллигенции», облаченной в военный мундир: от большевиков бежали, к белым не пристали, понемножку жили, спорили о судьбах России, зарабатывали детишкам на молочишко и страстно желали конца войны.

Для них было все равно, кто бы ни правил страной, — Краснов ли, немцы ли, или большевики, — лишь бы конец.

А события грохотали изо дня в день. В Сибири — чехословацкий мятеж, на Украине — Махно, возмужало заговоривший с немцами на наречии орудий и пулеметов. Кавказ, Мурманск, Архангельск… Вся Россия стянута обручами огня… Вся Россия — в муках великого передела…

В июне по Дону широко, как восточные ветры, загуляли слухи, будто чехословаки занимают Саратов, Царицын и Астрахань с целью образовать по Волге восточный фронт для наступления на германские войска. Немцы на Украине неохотно стали пропускать офицеров, пробиравшихся из России под знамена Добровольческой армии.

Германское командование, встревоженное слухами об образовании «восточного фронта», послало на Дон своих представителей. 10 июля в Новочеркасск прибыли майоры германской армии — фон Кокенхаузен, фон Стефани и фон Шлейниц.

В этот же день они были приняты во дворце атаманом Красновым в присутствии генерала Богаевского.

Майор Кокенхаузен, упомянув о том, как германское командование всеми силами, вплоть до вооруженного вмешательства, помогало Великому войску Донскому в борьбе с большевиками и восстановлении границ, спросил, как будет реагировать правительство Дона, если чехословаки начнут против немцев военные действия. Краснов уверил его, что казачество будет строго блюсти нейтралитет и, разумеется, не позволит сделать Дон ареной

войны. Майор фон Стефани выразил пожелание, чтобы ответ атамана был закреплен в письменной форме.

На этом аудиенция кончилась, а на другой день Краснов написал следующее письмо германскому императору:

«Ваше императорское и королевское величество! Податель сего письма, атаман Зимовой станицы (посланник) Всевеликого Войска Донского при дворе вашего императорского величества и его товарищи уполномочены мною, донским атаманом, приветствовать ваше императорское величество, могущественного монарха великой Германии, и передать нижеследующее:

Два месяца борьбы доблестных донских казаков, которую они ведут за свободу своей Родины с таким мужеством, с каким в недавнее время вели против англичан родственные германскому народу буры, увенчались на всех фронтах нашего государства полной победой, и ныне земля Всевеликого Войска Донского на 9/10 освобождена от диких красногвардейских банд. Государственный порядок внутри страны окреп, и установилась полная законность. Благодаря дружеской помощи войск вашего императорского величества создалась тишина на юге Войска, и мною приготовлен корпус казаков для поддерживания порядка внутри страны и воспрепятствования натиску врагов извне. Молодому государственному организму, каковым в настоящее время является Донское войско, трудно существовать одному, и поэтому оно заключило тесный союз с главами астраханского и кубанского войска, полковником князем Тундутовым и полковником Филимоновым, с тем чтобы по очищении земли астраханского войска и Кубанской области от большевиков составить прочное государственное образование на началах федерации из Всевеликого Войска Донского, астраханского войска с калмыками Ставропольской губ., кубанского войска, а также народов Северного Кавказа. Согласие всех этих держав имеется, и вновь образуемое государство, в полном согласии со Всевеликим Войском Донским, решило не допускать до того, чтобы земли его стали ареной кровавых столкновений, и обязалось держать полный нейтралитет. Атаман Зимовой станицы нашей при дворе вашего императорского величества уполномочен мною:

Просить ваше императорское величество признать права Всевеликого Войска Донского на самостоятельное существование, а по мере освобождения последних кубанских, астраханских и терских войск и Северного Кавказа — право на самостоятельное существование и всей федерации под именем Доно-Кавказского союза.

Просить признать ваше императорское величество границы Всевеликого Войска Донского в прежних географических и этнографических его размерах, помочь разрешению спора между Украиной и Войском Донским из-за Таганрога и его округа в пользу Войска Донского, которое владеет Таганрогским округом более 500 лет и для которого Таганрогский округ является частью Тмутаракани, от которой и стало Войско Донское.

Просить ваше величество содействовать о присоединении к Войску, по стратегическим соображениям, городов Камышина и Царицына, Саратовской губернии и города Воронежа и станции Лиски и Поворино и провести границу Войска Донского, как это указано на карте, имеющейся в Зимовой станице.

Просить ваше величество оказать давление на советские власти Москвы и заставить их своим приказом очистить пределы Всевеликого Войска Донского и других держав, имеющих войти в Доно-Кавказский союз, от разбойничьих отрядов Красной Армии и дать возможность восстановить нормальные, мирные отношения между Москвой и Войском Донским. Все убытки населения Войска Донского, торговли и промышленности, происшедшие от нашествия большевиков, должны быть возмещены советской Россией.

Просить ваше императорское величество помочь молодому нашему государству орудиями, ружьями, боевыми припасами и инженерным имуществом и, если признаете это выгодным, устроить в пределах Войска Донского орудийный, оружейный, снарядный и патронный заводы.

Всевеликое Войско Донское и прочие государства Доно-Кавказского союза не забудут дружеские услуги германского народа, с которым казаки бились плечом к плечу еще во время Тридцатилетней войны, когда донские полки находились в рядах армии Валленштейна, а в 1807-1813 годы донские казаки со своим атаманом, графом Платовым, боролись за свободу Германии, и теперь за 3 1/2 года кровавой войны на полях Пруссии, Галиции, Буковины и Польши, казаки и германцы взаимно научились уважать храбрость и стойкость своих войск и ныне, протянув друг другу руки, как два благородных бойца, борются вместе за свободу родного Дона.

Всевеликое Войско Донское обязуется за услугу вашего императорского величества соблюдать полный нейтралитет во время мировой борьбы народов и не допускать на свою территорию враждебные германскому народу вооруженные силы, на что дали свое согласие и атаман астраханского войска князь Тундутов, и кубанское правительство, а по присоединении — и остальные части Доно-Кавказского союза.

Всевеликое Войско Донское предоставляет Германской империи права преимущественного вывоза избытков, за удовлетворением местных потребностей, хлеба — зерном и мукой, кожевенных товаров и сырья, шерсти, рыбных товаров, растительных и животных жиров и масла и изделий из них, табачных товаров и изделий, скота и лошадей, вина виноградного и других продуктов садоводства и земледелия, взамен чего Германская империя доставит сельскохозяйственные машины, химические продукты и дубильные экстракты, оборудование экспедиции заготовления государственных бумаг с соответственным запасом материалов, оборудование суконных, хлопчатобумажных, кожевенных, химических, сахарных и других заводов и электротехнические принадлежности.

Кроме того, правительство Всевеликого Войска Донского предоставит германской промышленности особые льготы по помещению капиталов в донские предприятия промышленности и торговли, в частности, по устройству и эксплуатации новых водных и иных путей.

Тесный договор сулит взаимные выгоды, и дружба, спаянная кровью, пролитой на общих полях сражений воинственными народами германцев и казаков, станет могучей силой для борьбы со всеми нашими врагами.

К вашему императорскому величеству обращается с этим письмом не дипломат и тонкий знаток международного права, но солдат, привыкший в честном бою уважать силу германского оружия, а поэтому прошу простить прямота моего тона, чуждую всяких ухищрений, и прошу верить в искренность моих чувств.

Уважающий вас Петр Краснов, донской атаман, генерал-майор»

15 июля письмо было рассмотрено советом управляющих отделами, и, несмотря на то, что отношение к нему было весьма сдержанное, со стороны Богаевского и еще нескольких членов правительства даже явно отрицательное, Краснов не замедлил вручить его атаману Зимовой станицы в Берлине герцогу Лихтенбергскому, который выехал с ним в Киев, а оттуда, с генералом Черячукиным, в Германию.

Не без ведома Богаевского письмо до отправления было перепечатано в иностранном отделе, копии его широко пошли по рукам и, снабженные соответствующими комментариями, загуляли по казачьим частям и станицам. Письмо послужило могущественным средством пропаганды. Все громче стали говорить о том, что Краснов

продался немцам. На фронтах бугрились волнения.

А в это время немцы, окрыленные успехами, возили русского генерала Черячукина под Париж, и он, вместе с чинами немецкого генерального штаба, наблюдал внушительнейшее действие крупповской тяжелой артиллерии, разгром англо-французских войск.

V

Во время ледяного похода [60] Евгений Листницкий был ранен два раза: первый раз — в бою за овладение станицей Усть-Лабинской, второй — при штурме Екатеринодара. Обе раны были незначительны, и он вновь возвращался в строй. Но в мае, когда Добровольческая армия стала в районе Новочеркасска на короткий отдых, Листницкий почувствовал недомогание, выхлопотал себе двухнедельный отпуск. Как ни велико было желание поехать домой, он решил остаться в Новочеркасске, чтобы отдохнуть, не теряя времени на переезды.

Вместе с ним уходил в отпуск его товарищ по взводу, ротмистр Горчаков. Горчаков предложил пожить у него:

— Детей у меня нет, а жена будет рада видеть тебя. Она ведь знакома с тобой по моим письмам.

В полдень, по-летнему горячий и белый, они подъехали к сутулому особнячку на одной из привокзальных улиц.

— Вот моя резиденция в прошлом, — торопливо шагая, оглядываясь на Листницкого, говорил черноусый голенастый Горчаков.

Его выпуклые черные до синевы глаза влажнели от счастливого волнения, мясистый, как у грека, нос клонила книзу улыбка. Широко шагая, сухо шурша вытертыми леями защитных бриджей, он вошел в дом, сразу наполнив комнату прогорклым запахом солдатчины.

— Где Леля? Ольга Николаевна где? — крикнул спешившей из кухни улыбающейся прислуге. — В саду? Идем туда.

В саду под яблонями — тигровые пятнистые тени, пахнет пчельником, выгоревшей землей. У Листницкого в стеклах пенсне шрапнелью дробятся, преломляясь, солнечные лучи. Где-то на путях ненасытно и густо ревет паровоз; разрывая этот однотонный стонущий рев, Горчаков зовет:

— Леля! Леля! Где же ты?

Из боковой аллейки, мелькая за кустами шиповника, вынырнула высокая, в палевом платье, женщина.

На секунду она стала, испуганным прекрасным жестом прижав к груди ладони, а потом, с криком вытянув руки, помчалась к ним. Она бежала так быстро, что Листницкий видел только бившиеся под юбкой округло-выпуклые чаши колен, узкие носки туфель да золотую пыльцу волос, взвихренную над откинутой головой.

Вытягиваясь на носках, кинув на плечи мужа изогнутые, розовые от солнца, оголенные руки, она целовала его в пыльные щеки, нос, глаза, губы, черную от солнца и ветра шею. Короткие чмокающие звуки поцелуев сыпались пулеметными очередями.

Листницкий протирал пенсне, вдыхая заклубившийся вокруг него запах вербены, и улыбался, — сам сознавая это, — глупейшей, туго натянутой улыбкой.

Когда взрыв радости поутих, перемеженный секундным перебоем, — Горчаков бережно, но решительно разжал сомкнувшиеся на его шее пальцы жены и, обняв ее за плечи, легонько повернул в сторону:

— Леля… мой друг Листницкий.

— Ах, Листницкий! Очень рада! Мне о вас муж… — Она, задыхаясь, бегло скользила по нему смеющимися, незрячими от счастья глазами.

Они шли рядом. Волосатая рука Горчакова о неопрятными ногтями и заусенцами охватом лежала на девичьей талии жены. Листницкий, шагая, косился на эту руку, вдыхал запах вербены и нагретого солнцем женского тела и чувствовал себя по-детски глубоко несчастным, кем-то несправедливо и тяжко обиженным. Он посматривал на розовую мочку крохотного ушка, прикрытого прядью золотисто-ржавых волос, на шелковистую кожу щеки, находившейся от него на расстоянии аршина; глаза его по-ящериному скользили к вырезу на груди, и он видел невысокую холмистую молочно-желтую грудь и пониклый коричневый сосок. Изредка Горчакова обращала на него светлые голубоватые глаза, взгляд их был ласков, дружествен, но боль, легкая и досадливая, точила Листницкого, когда эти же глаза, устремляясь на черное лицо Горчакова, лучили совсем иной свет…

Только за обедом Листницкий как следует рассмотрел хозяйку. И в ладной фигуре ее и в лице была та гаснущая, ущербная красота, которой неярко светится женщина, прожившая тридцатую осень. Но в насмешливых холодноватых глазах, в движениях она еще хранила нерастраченный запас молодости. Лицо ее с мягкими, привлекательными в своей неправильности чертами было, пожалуй, самое заурядное. Лишь один контраст резко бросался в глаза: тонкие смугло-красные растрескавшиеся, жаркие губы, какие бывают только у черноволосых женщин юга, и просвечивающаяся розовым кожа щек, белесые брови. Она охотно смеялась, но в улыбке, оголявшей густые мелкие, как срезанные, зубы, сквозило что-то заученное. Низкий голос ее был глуховат и беден оттенками. Листницкому, два месяца не видавшему женщин, за исключением измызганных сестер, она казалась преувеличенно красивой. Он смотрел на гордую в посадке голову Ольги Николаевны, отягченную узлом волос, отвечал невпопад и вскоре, сославшись на усталость, ушел в отведенную ему комнату.

…И вот потянулись дни, сладостные и тоскливые. После Листницкий благоговейно перебирал их в памяти, а тогда он мучился по-мальчишески, безрассудно и глупо. Голубиная чета Горчаковых уединялась, избегала его. Из комнаты, смежной с их спальней, перевели его в угловую под предлогом ремонта, о котором Горчаков говорил, покусывая ус, храня на помолодевшем, выбритом лице улыбчивую серьезность. Листницкий сознавал, что стесняет друга, но перейти к знакомым почему-то не хотел. Целыми днями валялся он под яблоней, в оранжево-пыльном холодке, читая газеты, наспех напечатанные на дрянной, оберточной бумаге, засыпая тяжким, неосвежающим сном. Истомную скуку делил с ним красавец пойнтер, шоколадной в белых крапинах масти. Он молчаливо ревновал хозяина к жене, уходил к Листницкому, ложился, вздыхая, с ним рядом, и тот, поглаживая его, прочувствованно шептал:

Мечтай, мечтай… Все уже и тусклей Ты смотришь золотистыми глазами…

С любовью перебирал все сохранившиеся в памяти, пахучие и густые, как чабрецовый мед, бунинские строки. И опять засыпал…

Ольга Николаевна чутьем, присущим лишь женщине, распознала тяготившие его настроения. Сдержанная прежде, она стала еще сдержанней в обращении с ним. Как-то, возвращаясь вечером из городского сада, они шли вдвоем (Горчакова остановили у выхода знакомые офицеры Марковского полка), Листницкий вел Ольгу Николаевну под руку, тревожил ее, крепко прижимая ее локоть к себе.

— Что вы так смотрите? — спросила она, улыбаясь.

В низком голосе ее Листницкому почудились игривые, вызывающие нотки. Только поэтому он и рискнул козырнуть меланхолической строфой (эти дни одолевала его поэзия, чужая певучая боль). Он нагнул голову, улыбаясь, шепнул:

И странной близостью закованный,
Смотрю на темную вуаль —
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

Она тихонько высвободила свою руку, сказала повеселевшим голосом:

— Евгений Николаевич, я в достаточной степени… Я не могу не видеть того, как вы ко мне относитесь… И вам не стыдно? Подождите! Подождите! Я вас представляла немножко… иным… Так вот давайте оставим это. А то как-то и недосказанно и нечестно… Я — плохой объект для подобных экспериментов. Приволокнуться вам захотелось? Ну так вот давайте-ка дружеских отношений не порывать, а глупости оставьте. Я ведь не «прекрасная незнакомка». Понятно? Идет? Давайте вашу руку!

Листницкий разыграл благородное негодование, но под конец, не выдержав роли, расхохотался вслед за ней. После того как их догнал Горчаков, Ольга Николаевна оживилась и повеселела еще больше, но Листницкий приумолк и до самого дома мысленно жестоко издевался над собой.

Ольга Николаевна, при всем своем уме, искренне верила в то, что после объяснения они станут друзьями. Наружно Листницкий поддерживал в ней эту уверенность, но в душе почти возненавидел ее и через несколько дней, поймав себя на мучительном выискивании отрицательных черт в характере и наружности Ольги, понял, что стоит на грани подлинного, большого чувства.

Иссякли дни отпуска, оставляя в сознании невыбродивший осадок. Добровольческая армия, пополненная и отдохнувшая, готовилась наносить удары, центробежные силы влекли ее на Кубань. Вскоре Горчаков и Листницкий покинули Новочеркасск.

Ольга провожала их. Черное шелковое платье подчеркивало ее неяркую красоту. Она улыбалась заплаканными глазами, некрасиво опухшие губы придавали ее лицу волнующе-трогательное, детское выражение. Такой она и запечатлелась в памяти Листницкого. И он долго и бережно хранил в воспоминаниях, среди крови и грязи пережитого, ее светлый немеркнущий образ, облекая его ореолом недосягаемости и поклонения.

В июне Добровольческая армия уже втянулась в бои. В первом же бою ротмистру Горчакову осколком трехдюймового снаряда разворотило внутренности. Его выволокли из цепи. Час спустя он, лежа на фурманке, истекая кровью и мочой, говорил Листницкому:

— Я не думаю, что умру… Мне вот сейчас операцию сделают… Хлороформу, говорят, нет… Не стоит умирать. Как ты думаешь?.. Но на всякий случай… Находясь в твердом уме и так далее… Евгений, не оставь Лелю… Ни у меня, ни у нее родных нет. Ты — честный и славный. Женись на ней… Не хочешь?..

Он смотрел на Евгения с мольбой и ненавистью, щеки его, синевшие небритой порослью, дрожали. Он бережно прижимал к разверстому животу запачканные кровью и землей ладони, говорил, слизывая с губ розовый пот:

— Обещаешь? Не покинь ее… если тебя вот так же не изукрасят… русские солдатики. Обещаешь? Молчишь? Она хорошая женщина. — И весь нехорошо покривился. — Тургеневская женщина… Теперь таких нет… Молчишь?

— Обещаю.

— Ну и ступай к черту!.. Прощай!..

Он вцепился в руку Листницкого дрожливым пожатием, а потом неловким, отчаянным движением потянул его к себе и, еще больше бледнея от усилий, приподнимая мокрую голову, прижался к руке Листницкого запекшимися губами. Торопясь, накрывая полой шинели голову, отвернулся, и потрясенный Листницкий мельком увидел холодную дрожь на его

губах, серую влажную полоску на щеке.

Через два дня Горчаков умер. Спустя один день Листницкого отправили в Тихорецкую с тяжелым ранением левой руки и бедра.

Под Кореновской завязался длительный и упорный бой. Листницкий со своим полком два раза ходил в атаку и контратаку. В третий раз поднялись цепи его батальона. Подталкиваемый криками ротного: «Не ложись!», «Орлята, вперед!», «Вперед — за дело Корнилова!» — он бежал по нескошенной пшенице тяжелой трусцой, щитком держа в левой руке над головой саперную лопатку, правой сжимая винтовку. Один раз пуля с звенящим визгом скользнула по покатому желобу лопатки, и Листницкий, выравнивая в руке держак, почувствовал укол радости: «Мимо!» А потом руку его швырнуло в сторону коротким, поразительно сильным ударом. Он выронил лопатку и сгоряча, с незащищенной головой, пробежал еще десяток саженей. Попробовал было взять винтовку наперевес, но не смог поднять руку. Боль, как свинец в форму, тяжело вливалась в каждый сустав. Прилег в борозду, несколько раз, не осилив себя, вскрикнул. Уже лежачего, пуля куснула его в бедро, и он медленно и трудно расстался с сознанием.

В Тихорецкой ему ампутировали раздробленную руку, извлекли из бедра осколок кости. Две недели лежал терзаемый отчаянием, болью, скукой. Потом перевезли в Новочеркасск. Еще тридцать томительных суток в лазарете. Перевязки, наскучившие лица сестер и докторов, острый запах йода, карболки… Изредка приходила Ольга Николаевна. Щеки ее отсвечивали зеленоватой желтизной. Траур усугублял невыплаканную тоску опустошенных глаз. Листницкий подолгу глядел в ее выцветшие глаза, молчал, стыдливо, воровски прятал под одеяло порожний рукав рубашки. Она словно нехотя спрашивала подробности о смерти мужа, взгляд ее плясал по койкам, слушала с кажущейся рассеянностью. Выписавшись из лазарета, Листницкий пришел к ней. Она встретила его у крыльца, отвернулась, когда он, целуя ее руку, низко склонил голову в густой повити коротко остриженных белесых волос.

Он был тщательно выбрит, защитный щегольский френч сидел на нем по-прежнему безукоризненно, но пустой рукав мучительно тревожил — судорожно шевелился внутри его крохотный забинтованный обрубок руки.

Они вошли в дом. Листницкий заговорил, не садясь:

— Борис перед смертью просил меня… взял о меня обещание, что я вас не оставлю…

— Я знаю.

— Откуда?

— Из его последнего письма…

— Желание его, чтобы мы были вместе… Разумеется, если вы согласитесь, если вас устроит брак с инвалидом… Прошу вас верить… речи о чувствах прозвучали бы сейчас… Но я искренне хочу вашего благополучия.

Смущенный вид и бессвязная, взволнованная речь Листницкого ее тронули:

— Я думала об этом… Я согласна.

— Мы уедем в имение к моему отцу.

— Хорошо.

— Остальное можно оформить после?

— Да.

Он почтительно коснулся губами ее невесомой, как фарфор, руки и, когда поднял покорные глаза, увидел бегущую с губ ее тень улыбки.

Любовь и тяжелое плотское желание влекли Листницкого к Ольге. Он стал бывать у нее ежедневно. К сказке тянулось уставшее от боевых будней сердце… И он наедине с собой рассуждал, как герой классического романа, терпеливо искал в себе какие-то возвышенные

чувства, которых никогда и ни к кому не питал, — быть может, желая прикрыть и скрасить ими наготу простого чувственного влечения. Однако сказка одним крылом касалась действительности: не только половое влечение, но и еще какая-то незримая нить привязывала его к этой, случайно ставшей поперек жизни, женщине. Он смутно разбирался в собственных переживаниях, одно лишь ощущая с предельной ясностью: что им, изуродованным и выбитым из строя, по-прежнему властно правит разнузданный и дикий инстинкт — «мне все можно». Даже в скорбные для Ольги дни, когда она еще носила в себе, как плод, горечь тягчайшей утраты, он, разжигаемый ревностью к мертвому Горчакову, желал ее, желал исступленно. Бешеной коловертью пенилась жизнь. Люди, нюхавшие запах пороха, ослепленные и оглушенные происходившим, жили стремительно и жадно, одним нынешним днем. И не потому ли Евгений Николаевич и торопился связать узлом свою и Ольгину жизнь, быть может, смутно сознавая неизбежную гибель дела, за которое ходил на смерть.

Он известил отца подробным письмом о том, что женится и вскоре приедет с женой в Ягодное.

«…Я свое кончил. Я мог бы еще и с одной рукой уничтожать взбунтовавшуюся сволочь, этот проклятый „народ“, над участью которого десятки лет плакала и слюнявилась российская интеллигенция, но, право, сейчас это кажется мне дико-бессмысленным… Краснов не ладит с Деникиным; а внутри обоих лагерей взаимное подсиживание, интриги, гнусть и пакость. Иногда мне становится жутко. Что же будет? Еду домой обнять вас теперь единственной рукой и пожить с вами, со стороны наблюдая за борьбой. Из меня уже не солдат, а калека, физический и духовный. Я устал, капитулирую. Наверное, отчасти этим вызвана моя женитьба и стремление обрести „тихую пристань“,

— грустно-иронической припиской заканчивал он письмо.

Отъезд из Новочеркасска был назначен через неделю. За несколько дней до отъезда Листницкий окончательно переселился к Горчаковой. После ночи, сблизившей их, Ольга как-то осунулась, потускнела. Она и после уступала его домоганиям, но создавшимся положением мучительно тяготилась и в душе была оскорблена. Не знал Листницкий или не хотел знать, что разной мерой меряют связывающую их любовь и одной — ненависть.

До отъезда Евгений думал об Аксинье нехотя, урывками. Он заслонялся от мыслей о ней, как рукой от солнца. Но, помимо его воли, все настойчивее — полосками света — стали просачиваться, тревожить его воспоминания об этой связи. Одно время он было подумал: «Не буду прерывать с ней отношений. Она согласится». Но чувство порядочности осилило — решил по приезде поговорить и, если представится возможность, расстаться.

На исходе четвертого дня приехали в Ягодное. Старый пан встретил молодых за версту от имения. Еще издали увидел Евгений, как отец тяжело перенес ногу через сиденье беговых дрожек, снял шапку.

— Выехали встретить дорогих гостей. Ну, дайте-ка взглянуть на вас… — забасил он, неловко обнимая невестку, тычась ей в щеки зеленовато-седыми прокуренными пучками усов.

— Садитесь к нам, папа! Кучер, трогай! А, дед Сашка, здравствуй! Живой? На мое место садитесь, папа, я вот рядом с кучером устроюсь.

Старик сел рядом с Ольгой, платком вытер усы и сдержанно, с кажущейся молодцеватостью оглядел сына:

— Ну как, дружок?

— Очень уж я рад вам!

— Инвалид, говоришь?

— Что же делать? Инвалид.

Отец с напускной подтянутостью посматривал на Евгения, пытаясь за суровостью скрыть выражение сострадания, избегая глядеть на холостой, заткнутый за пояс зеленый рукав мундира.

— Ничего, привык. — Евгений пошевелил плечом.

— Конечно, привыкнешь, — заторопился старик, — лишь бы голова была цела. Ведь со щитом… а? Или как? Со щитом, говорю, прибыл. И даже со взятой в плен прекрасной невольницей?

Евгений любовался изысканной, немного устаревшей галантностью отца, глазами спрашивая у Ольги: «Ну как старик?» — и по оживленной улыбке, по теплу, согревшему ее глаза, без слов понял, что отец ей понравился.

Серые полурысистые кони шибко несли коляску под изволок. С бугра завиднелись постройки, зеленая разметная грива левады, дом, белевший стенами, заслонившие окна клены.

— Хорошо-то как! Ах, хорошо! — оживилась Ольга.

От двора, высоко вскидываясь, неслись черные борзые. Они окружили коляску. Сзади дед Сашка щелкнул одну, прыгавшую в дрожки, кнутом, крикнул запальчиво:

— Под колесо лезешь, дьява-а-ал! Прочь!

Евгений сидел спиной к лошадям; они изредка пофыркивали, мелкие брызги ветер относил назад, кропил ими его шею.

Он улыбался, глядя на отца, Ольгу, дорогу, устланную колосьями, на бугорок, медленно поднимавшийся, заслонявший дальний гребень и горизонт.

— Глушь какая! И как тихо…

Ольга улыбкой провожала безмолвно летевших над дорогой грачей, убегавшие назад кусты полынка и донника.

— Нас вышли встречать. — Пан пощурил глаза.

— Кто?

— Дворовые.

Евгений, оглянувшись, еще не различая лиц стоявших, почувствовал в одной из женщин Аксинью, густо побагровел. Он ждал, что лицо Аксиньи будет отмечено волненьем, но, когда коляска, резво шурша, поравнялась с воротами и он с дрожью в сердце взглянул направо и увидел Аксинью, — его поразило лицо ее, сдержанно-веселое, улыбающееся. У него словно тяжесть свалилась с плеч, он успокоился, кивнул на приветствие.

— Какая порочная красота! Кто это?.. Вызывающе красива, не правда ли? — Ольга восхищенными глазами указала на Аксинью.

Но к Евгению вернулось мужество, спокойно и холодно согласился:

— Да, красивая женщина. Это наша горничная.

Присутствие Ольги на все в доме налагало свой отпечаток. Старый пан, прежде целыми днями ходивший по дому в ночной рубахе и теплых вязаных подштанниках, приказал извлечь из сундуков пропахшие нафталином сюртуки и генеральские, навыпуск, брюки. Прежде неряшливый во всем, что касалось его персоны, теперь кричал на Аксинью за какую-нибудь крохотную складку на выглаженном белье и делал страшные глаза, когда она подавала ему утром невычищенные сапоги. Он посвежел, приятно удивляя глаз Евгения глянцем неизменно выбритых щек.

Аксинья, словно предчувствуя плохое, старалась угодить молодой хозяйке, была заискивающе покорна и не в меру услужлива. Лукерья из кожи лезла, чтобы лучше сготовить обед, и превосходила самое себя в изобретении отменно приятных вкусу соусов и подливок. Даже деда Сашки, опустившегося и резко постаревшего, коснулось влияние происходивших

в Ягодном перемен. Как-то встретил его пан около крыльца, оглядел всего с ног до головы и зловеще поманил пальцем.

— Ты что же это, сукин сын? А? — Пан страшно поворочал глазами. — В каком у тебя виде штаны, а?

— А в каком? — дерзко ответил дед Сашка, но сам был слегка смущен и необычным допросом, и дрожащим голосом хозяина.

— В доме молодая женщина, а ты, хам, ты меня в гроб вогнать хочешь? Почему мотню не застегиваешь, козел вонючий? Ну?!

Грязные пальцы деда Сашки коснулись ширинки, пробежались по длинному ряду ядреных пуговиц, как по клапанам беззвучной гармошки. Он хотел еще что-то предерзкое сказать хозяину, но тот, как в молодости, топнул ногой, да так, что на остроносом, старинного фасона сапоге подошва ощерилась, и гаркнул:

— На конюшню! Марш! Лукерью заставлю кипятком тебя ошпарить! Грязь соскобли с себя, конское быдло!

Евгений отдыхал, бродил с ружьем по суходолу, около скошенных просяников стрелял куропаток. Одно тяготило его: вопрос с Аксиньей. Но однажды вечером отец позвал Евгения к себе; опасливо поглядывая на дверь и избегая встретиться глазами, заговорил:

— Я, видишь ли… Ты простишь мне вмешательство в твои личные дела. Но я хочу знать, как ты думаешь поступить с Аксиньей.

Торопливостью, с какой стал закуривать, Евгений выдал себя. Он опять, как в день приезда, вспыхнул и, чувствуя, что краснеет, покраснел еще больше.

— Не знаю… Просто не знаю… — чистосердечно признался он.

Старик веско сказал:

— А я знаю. Иди и сейчас же поговори с ней. Предложи ей денег, отступное. — Тут он улыбнулся в кончик уса: — Попроси уехать. Мы найдем еще кого-нибудь.

Евгений сейчас же пошел в людскую.

Аксинья, стоя спиной к двери, месила тесто. На спине ее, с заметным желобом посредине, шевелились лопатки. На смуглых полных руках, с засученными по локоть рукавами, играли мускулы. Евгений посмотрел на ее шею в крупных кольцах пушистых волос, сказал:

— Я попрошу вас, Аксинья, на минутку.

Она живо повернулась, стараясь придать своему просиявшему лицу выражение услужливости и равнодушия. Но Евгений заметил, как дрожали ее пальцы, опуская рукава.

— Я сейчас. — Метнула пугливый взгляд на кухарку и, не в силах побороть радости, пошла к Евгению со счастливой просящей улыбкой.

На крыльце он сказал ей:

— Пойдемте в сад. Поговорить надо.

— Пойдемте, — обрадованно и покорно согласилась она, думая, что это — начало прежних отношений.

По дороге Евгений вполголоса спросил:

— Ты знаешь, зачем я тебя позвал?

Она, улыбаясь в темноте, схватила его руку, но он рывком освободил ее, и Аксинья поняла все. Остановилась:

— Что вы хотели, Евгений Николаевич? Дальше я не пойду.

— Хорошо. Мы можем поговорить и здесь. Нас никто не слышит… — Евгений спешил, путался в незримой сети слов. — Ты должна понять меня. Теперь я не могу с тобой, как раньше… Я не могу жить с тобой… Ты понимаешь? Ведь теперь я женат и как честный

человек не могу делать подлость… Долг совести не позволяет… — говорил он, мучительно стыдясь своих выспренних Слов.

Ночь только что пришла с темного востока.

На западе еще багровела сожженная закатом делянка неба. На гумне при фонарях молотили «за погоду» — там повышенно и страстно бился пульс машины, гомонили рабочие; зубарь, неустанно выкармливавший прожорливую молотилку, кричал осипло и счастливо: «Давай! Давай! Дава-а-ай!» В саду зрела тишина. Пахло крапивой, пшеницей, росой.

Аксинья молчала.

— Что ты скажешь? Что же ты молчишь, Аксинья?

— Мне нечего говорить.

— Я тебе дам денег. Ты должна уехать отсюда. Я думаю, ты согласишься… Мне будет тяжело видеть тебя постоянно.

— Через неделю мне месяц кончается. Можно дослужить?

— Конечно, конечно!

Аксинья помолчала, потом как-то боком, несмело, как побитая, подвинулась к Евгению, сказала:

— Ну что же, уйду… Напоследок аль не пожалеешь меня? Меня нужда такой бессовестной сделала. Измучилась я одна… Ты не суди, Женя.

Голос ее был звучен и сух. Евгений тщетно пытался разобраться, серьезно она говорит или шутит.

— Чего ты хочешь?

Он досадливо кашлянул и вдруг почувствовал, как она снова робко ищет его руку…

Через пять минут он вышел из-за куста мокрой пахучей смородины, дошел до прясла и, пыхая папироской, долго тер носовым платком брюки, обзелененные в коленях сочной травой.

Всходя на крыльцо, оглянулся. В людской, в желтом просвете окна, виднелась статная фигура Аксиньи, — закинув руки, Аксинья поправляла волосы, смотрела на огонь, улыбалась…

VI

Вызрел ковыль. Степь на многие версты оделась колышущимся серебром. Ветер упруго приминал его, наплывая, шершавил, бугрил, гнал то к югу, то к западу сизо-опаловые волны. Там, где пробегала текучая воздушная струя, ковыль молитвенно клонился, и на седой его хребтине долго лежала чернеющая тропа.

Отцвели разномастные травы. На гребнях никла безрадостная выгоревшая полынь. Короткие ночи истлевали быстро. По ночам на обугленно-черном небе несчетные сняли звезды; месяц — казачье солнышко, темнея ущербленной боковиной, светил скупо, бело; просторный Млечный Шлях сплетался с иными звездными путями. Терпкий воздух был густ, ветер сух, полынен; земля, напитанная все той же горечью всесильной полыни, тосковала о прохладе. Забились гордые звездные шляхи, не попранные ни копытом, ни ногой; пшеничная россыпь звезд гибла на сухом, черноземно-черном небе, не всходя и не радуя ростками; месяц — обсохлым солончаком, а по степи — сушь, сгибшая трава, и по ней белый неумолчный перепелиный бой да металлический звон кузнечиков…

А днями — зной, духота, мглистое курево. На выцветшей голубени неба — нещадное солнце, бестучье да коричневые стальные полудужья распростертых крыльев коршуна. По

степи слепяще, неотразимо сияет ковыль, дымится бурая, верблюжьей окраски, горячая трава; коршун, кренясь, плывет в голубом — внизу, по траве, неслышно скользит его огромная тень.

Суслики свистят истомно и хрипло. На желтеющих парных отвалах нор дремлют сурки. Степь горяча, но мертва, и все окружающее прозрачно-недвижимо. Даже курган синеет на грани видимого сказочно и невнятно, как во сне…

Степь родимая! Горький ветер, оседающий на гривах косячных маток и жеребцов. На сухом конском храпе от ветра солоно, и конь, вдыхая горько-соленый запах, жует шелковистыми губами и ржет, чувствуя на них привкус ветра и солнца. Родимая степь под низким донским небом! Вилюжины балок суходолов, красноглинистых яров, ковыльный простор с затравевшим гнездоватым следом конского копыта, курганы, в мудром молчании берегущие зарытую казачью славу… Низко кланяюсь и по-сыновьи целую твою пресную землю, донская, казачьей, не ржавеющей кровью политая степь!

У него маленькая сухая змеиная голова. Уши мелки и подвижны. Грудные мускулы развиты до предела. Ноги тонкие, сильные, бабки безупречны, копыта обточены, как речной голыш. Зад чуть висловат, хвост мочалист. Он — кровный донец. Мало того: он очень высоких кровей, в жилах его ни капли иномеси, и порода видна во всем. Кличка его Мальбрук.

На водопое он, защищая свою матку, бился с другим, более сильными старым жеребцом, и тот сильно зашиб ему левую переднюю ногу, несмотря на то, что жеребцы на попасе всегда раскованы. Они вставали на дыбы, грызли друг друга, били передними ногами, рвали один на другом кожу…

Атарщика возле не было — он спал в степи, подставив солнцу спину и раскоряченные ноги в пыльных накаленных сапогах. Противник свалил Мальбрука на землю, потом гнал далеко-далеко от косяка и, оставив там истекающего кровью, занял оба косяка, увел вдоль по обочине Топкой балки.

Раненого жеребца поставили на конюшню, фельдшер залечил ему ушибленную ногу. А на шестой день Мишка Кошевой, приехавший к смотрителю с докладом, стал свидетелем того, как Мальбрук, управляемый могучим инстинктом продолжателя рода, перегрыз чембур, выскочил из станка и, захватив пасшихся возле казармы стреноженных кобылиц, на которых ездили атарщики, смотритель и фельдшер, погнал их в степь — сначала рысью, потом начал покусывать отставших, торопить. Атарщики и смотритель выскочили из казармы, слышали только, как на кобылицах звучно лопались живцы [61].

— Спешил нас, проклятый сын!..

Смотритель выругался, но смотрел вслед удалявшимся лошадям не без тайного одобрения.

В полдень Мальбрук привел и поставил лошадей на водопой. Маток отняли у него пешие атарщики, а самого, заседлав, увел Мишка в степь и пустил в прежний косяк.

За два месяца службы в атарщиках Кошевой внимательно изучил жизнь лошадей на отводе; изучил и проникся глубоким уважением к их уму и нелюдскому благородству. На его глазах покрывались матки; и этот извечный акт, совершаемый в первобытных условиях, был так естественно-целомудрен и прост, что невольно рождал в уме Кошевого противопоставления не в пользу людей. Но много было в отношениях лошадей и людского. Например, замечал Мишка, что стареющий жеребец Бахарь, неукротимо-злой и грубоватый в обращении с кобылицами, выделял одну рыжую четырехлетнюю красавицу, с широкой прозвездью во лбу и горячими глазами. Он всегда был около нее встревожен и волнующе резок, всегда обнюхивал ее с особенным, сдержанным и страстным похрапом. Он любил на стоянке класть свою злую голову на круп любимой кобылицы и дремать так подолгу. Мишка

смотрел на него со стороны, видел, как под тонкой кожей жеребца вяло играют связки мускулов, и ему казалось, что Бахарь любит эту кобылицу по-старчески безнадежно крепко и грустно.

Служил Кошевой исправно. Видно, слух о его усердии дошел до станичного атамана, и в первых числах августа смотритель получил приказ откомандировать Кошевого в распоряжение станичного правления.

Мишка собрался в два счета, сдал казенную экипировку, в тот же день нАвечер выехал домой. Кобылку свою торопил неустанно. На закате солнца выбрался уже за Каргин и там на гребне догнал подводу, ехавшую в направлении Вешенской.

Возница-украинец погонял упаренных сытых коней. В задке рессорных дрожек полулежал статный широкоплечий мужчина в пиджаке городского покроя и сдвинутой на затылок серой фетровой шляпе. Некоторое время Мишка ехал позади, посматривая на вислые плечи человека в шляпе, подрагивавшие от толчков, на белую запыленную полоску воротничка. У пассажира возле ног лежали желтый саквояж и мешок, прикрытый свернутым пальто. Нюх Мишки остро щекотал незнакомый запах сигары. «Чин какой-нибудь едет в станицу», — подумал Мишка, ровняя кобылу с дрожками. Он искоса глянул под поля шляпы — и полураскрыл рот, чувствуя, как от страха и великого изумления спину его проворно осыпают мурашки: Степан Астахов полулежал на дрожках, нетерпеливо жуя черный ошкамелок сигары, щуря лихие светлые глаза. Не веря себе. Мишка еще раз оглядел знакомое, странно изменившееся лицо хуторянина, окончательно убедился, что рессоры качают подлинно живого Степана, и, запотев от волнения, кашлянул:

— Извиняюсь, господин, вы не Астахов будете?

Человек на дрожках кивком бросил шляпу на лоб; поворачиваясь, поднял на Мишку глаза.

— Да, Астахов. А что? Вы разве… Постой, да ведь ты — Кошевой? — Он привстал и, улыбаясь из-под подстриженных каштановых усов одними губами, храня в глазах, во всем постаревшем лице неприступную суровость, растерянно и обрадованно протянул руку. — Кошевой? Михаил? Вот так увиделись!.. Очень рад…

— Как же? Как же так? — Мишка бросил поводья, недоуменно развел руками. — Гутарили, что убили тебя. Гляжу: Астахов…

Мишка зацвел улыбкой, заерзал, засуетился в седле, но внешность Степана, чистый глухой выговор его смутили; он изменил обращение и после в разговоре все время называл его на «вы», смутно ощущая какую-то невидимую грань, разделявшую их.

Между ними завязался разговор. Лошади шли шагом. На западе пышно цвел закат, по небу лазоревые шли в ночь тучки. Сбоку от дороги в зарослях проса оглушительно надсаживался перепел, пыльная тишина оседала над степью, изжившей к вечеру дневную суету и гомон. На развилке чукаринской и кружилинской дорог виднелся на фоне сиреневого неба увядший силуэт часовни; над ним отвесно ниспадала скопившаяся громада кирпично-бурых кучевых облаков.

— Откель же вы взялись, Степан Андреич? — радостно допытывался Мишка.

— Из Германии. Выбрался вот на родину.

— Как же наши казаки гутарили: мол, убили на наших глазах Степана?

Степан отвечал сдержанно, ровно, словно тяготясь расспросами:

— Ранили в двух местах, а казаки… Что казаки? Бросили они меня… Попал в плен… Немцы вылечили, послали на работу…

— Писем от вас не было вроде…

— Писать некому. — Степан бросил окурок и сейчас же закурил вторую сигару.

— А жене? Супруга ваша живая-здоровая.

— Я ведь с ней не жил, — известно, кажется.

Голос Степана звучал сухо, ни одной теплой нотки не вкралось в него. Упоминание о жене его не взволновало.

— Что же, не скучали в чужой стороне? — жадно пытал Мишка, почти ложась грудью на луку.

— Вначале скучал, а потом привык. Мне хорошо жилось. — Помолчав, добавил: — Хотел совсем остаться в Германии, в подданство перейти. Но вот домой потянуло — бросил все, поехал.

Степан, в первый раз смягчив черствые излучины в углах глаз, улыбнулся.

— А у нас тут, видите, какая расторопь идет? Воюем промеж себя.

— Да-а-а-а… слыхал.

— Вы каким же путем ехали?

— Из Франции, пароходом из Марселя — город такой — до Новороссийска.

— Мобилизуют и вас?

— Наверное… Что нового в хуторе?

— Да разве всего расскажешь? Много новья.

— Дом мой целый?

— Ветер его колышет…

— Соседи? Мелеховы ребята живые?

— Живые.

— Про бывшую нашу жену слух имеете?

— Там же она, в Ягодном.

— А Григорий… живет с ней?

— Нет, он с законной. С Аксиньей вашей разошелся…

— Вот как… Не знал.

С минуту молчали. Кошевой продолжал жадно разглядывать Степана. Сказал одобрительно и с почтением:

— Видать, хорошо вам жилось, Степан Андреич. Одежа у вас справная, как у благородного.

— Там все чисто одеваются. — Степан поморщился, тронул плечо возницы: — Ну, поторапливайся.

Возница невесело махнул кнутом, усталые лошади недружно дернули барки. Дрожки, мягко шепелявя колесами, закачались на выбоинах, и Степан, кончая разговор, поворачиваясь к Мишке спиной, спросил:

— На хутор едешь?

— Нет, в станицу.

На развилке Мишка свернул вправо, привстал на стременах:

— Прощайте покеда, Степан Андреич!

Тот примял запыленное поле шляпы тяжелой связкой пальцев, ответил холодно, четко, как нерусский, выговаривая каждый слог:

— Будьте здоровы!

VII

По линии Филоново — Поворино выравнивался фронт. Красные стягивали силы, копили

кулак для удара. Казаки вяло развивали наступление; испытывая острую нехватку огнеприпасов, не стремились выходить за пределы области. На Филоновском фронте боевые операции проходили с переменным успехом. В августе установилось относительное затишье, и казаки, приходившие с фронта в краткосрочные отпуска, говорили о том, что к осени надо ждать перемирия.

А в это время в тылу, по станицам и хуторам, шла уборка хлебов. Не хватало рабочих рук. Старики и бабы не управлялись с работой; к тому же мешали постоянные назначения в обывательские подводы, доставлявшие фронту боеприпасы и продовольствие.

С хутора Татарского почти ежедневно по наряду отправлялось к Вешенской пять-шесть подвод, в Вешенской грузили их ящиками с патронами и снарядами, направляли до передаточного пункта в хуторе Андроповском, а иногда, по недостатку, загоняли и дальше, в прихоперские хутора.

Хутор жил суетливо, но глухо. К далекому фронту тянулись все мыслями, с тревогой и болью ждали черных вестей о казаках. Приезд Степана Астахова взволновал весь хутор: в каждом курене, на каждом гумне об этом только и говорили. Приехал казак, давно похороненный, записанный лишь у старух, да и то «за упокой», о ком уже почти забыли. Это ли не диво?

Степан остановился у Аникушкиной жены, снес в хату свои пожитки и, пока хозяйка собирала ему вечерять, пошел к своему дому. Тяжелым хозяйским шагом долго мерил увитый белым светом месяца баз, заходил под навесы полуразрушенных сараев, оглядывал дом, качал сохи плетней… У Аникушкиной бабы давно уж остыла на столе яичница, а Степан все еще осматривал свое затравевшее поместье, похрустывая пальцами, и что-то невнятно, как косноязычный, бормотал.

К нему вечером же наведались казаки — посмотреть и порасспросить о жизни в плену. В Аникушкину горницу полно набилось баб и мальчат. Они стояли плотной стеной, слушали Степановы рассказы, чернели провалами раскрытых ртов. Степан говорил неохотно, постаревшего лица его ни разу не освежила улыбка. Видно было, что круто, до корня погнула его жизнь, изменила и переделала.

Наутро — Степан еще спал в горнице — пришел Пантелей Прокофьевич. Он басисто покашливал в горсть, ждал, пока проснется служивый. Из горницы тянуло рыхлой прохладой земляного пола, незнакомым удушливо-крепким табаком и запахом дальней паутины, каким надолго пропитывается дорожный человек.

Степан проснулся, слышно было: чиркал спичкой, закуривая.

— Дозволишь взойтить? — спросил Пантелей Прокофьевич и, словно к начальству являясь, суетливо оправил складки топорщившейся новой рубахи, только ради случая надетой на него Ильиничной.

— Входите.

Степан одевался, пыхая окурком сигары, от дыма жмуря заспанный глаз. Пантелей Прокофьевич шагнул через порог не без робости и, пораженный изменившимся Степановым лицом и металлическими частями его шелковых подтяжек, остановился, лодочкой вытянул черную ладонь:

— Здравствуй, сосед! Живого видеть…

— Здравствуйте!

Степан одел подтяжками вислые могучие плечи, пошевелил ими и с достоинством вложил свою ладонь в шершавую руку старика. Бегло оглядели друг друга. В глазах Степана сине попыхивали искры неприязни, в косых выпуклых глазах Мелехова — почтение и легкая, с иронией, удивленность.

— Постарел ты, Степа… постарел, милушка.

— Да, постарел.

— Тебя-то уж отпоминали, как Гришку моего… — сказал и досадливо осекся: не ко времени вспомнил. Попробовал исправить обмолвку: — Слава богу, живой-здоровый пришел… Слава те господи! Гришку также отпоминали, а он, как Лазарь, очухался и с тем пошел. Уж двое детишков имеет, и жена его, Наталья, слава богу, справилась. Ладная бабочка… Ну а ты, чадушко, как?

— Благодарю.

— К сосед на гости-то придешь? Приходи, честь сделай, погутарим.

Степан отказался, но Пантелей Прокофьевич просил неотступно, обижался, и Степан сдался. Умылся, зачесал вверх коротко остриженные волосы, на вопрос старика: «Куда же чуб задевал? Аль прожил?» — улыбнулся и, уверенно кинув на голову шляпу, первый вышел на баз.

Пантелей Прокофьевич был заискивающе-ласков, так, что Степан невольно подумал: «За старую обиду старается…»

Ильинична, следуя молчаливым указаниям мужниных глаз, проворно ходила по кухне, торопила Наталью и Дуняшку, сама собирала на стол. Бабы изредка метали в сторону сидевшего под образами Степана любопытные взгляды, щупали глазами его пиджак, воротничок, серебряную часовую цепку, прическу, переглядывались с плохо скрытыми, изумленными улыбками. Дарья пришла с подворья румяная; конфузливо улыбаясь и утирая тонкую выпрядь губ углом завески, сощурила глаза:

— Ах, соседушка, а я вас и не призначила. Вы и на казака стали непохожие.

Пантелей Прокофьевич, времени не теряя, бутылку самогонки — на стол, тряпочку-затычку из горлышка долой, понюхал сладко-горький дымок, похвалил.

— Спробуй. Собственного заводу. Серник поднесешь — синим огнем дышит, ей-бо!

Шли разбросанные разговоры. Степан пил неохотно, но, выпив, начал быстро хмелеть, помягчел.

— Жениться теперя тебе надо, соседушка.

— Что вы! А старую куда дену?

— Старая… Что же — старая… Старой жене, думаешь, износу не будет? Жена — что кобыла: до той поры ездишь, покеда зубы в роте держатся… Мы тебе молодую сыщем.

— Жизнь наша стала путаная… Не до женитьбой… Отпуск имею себе на полторы недели, а там являться в правление и, небось, на фронт, — говорил Степан, хмелея и понемногу утрачивая заграничный свой выговор.

Вскоре ушел, провожаемый Дарьиным восхищенным взглядом, оставив после себя споры и толки.

— Как он образовался, сукин сын! Гля, гутарил-то как! Как акцизный али ишо какой благородного звания человек… Прихожу, а он встает и сверх исподней рубахи надевает на плечи шелковые шлейки с бляхами, ей-бо! Как коню, подхватило ему спину и грудья. Это как? К чему-нибудь это пристроено? Он все одно как и ученый человек теперя, — восхищался Пантелей Прокофьевич, явно польщенный тем, что Степан его хлебом-солью не побрезговал и, зла не помня, пришел.

Из разговоров выяснилось, что Степан будет по окончании службы жить на хуторе, дом и хозяйство восстановит. Мельком упомянул он, что средства имеет, вызвав этим у Пантелея Прокофьевича тягучие размышления и невольное уважение.

— При деньгах он, видно, — говорил Пантелей Прокофьевич после его ухода, — капитал имеет, стерва. Из плену казаки приходют в мамушкиной одеже, а он ишь выщелкнулся…

Человека убил либо украл деньги-то.

Первые дни Степан отлеживался в Аникушкиной хате, изредка показываясь на улице. Соседи наблюдали за ним, караулили каждое его движение, даже Аникушкину жену пробовали расспрашивать, что-де собирается Степан делать. Но та поджимала губы, скрытничала, отделываясь незнанием.

Толки густо пошли по хутору после того, как Аникушкина баба наняла у Мелеховых лошадь и рано утром в субботу выехала неизвестно куда. Один Пантелей Прокофьевич почуял, в чем дело. «За Аксиньей поедет», — подмигнул он Ильиничне, запрягая в тарантас хромую кобылу. И не ошибся. Со Степановым наказом поехала баба в Ягодное: «Выспросишь у Аксиньи, не вернется ли она к мужу, кинув прошлые обиды?»

Степан в этот день невозвратно потерял выдержку и спокойствие, до вечера ходил по хутору, долго сидел на крыльце моховского дома с Сергеем Платоновичем и Цацей, рассказывал о Германии, о своем житье там, о дороге через Францию и море. Говорил, слушая жалобы Мохова, и все время жадно посматривал на часы…

Хозяйка вернулась из Ягодного в сумерках. Собирая вечерять в летней стряпке, рассказывала, что Аксинья испугалась нежданной вести, много расспрашивала о нем, но вернуться отказалась наотрез.

— Нужды ей нету ворочаться, живет барыней. Гладкая стала, лицо белое. Тяжелую работу не видит. Чего ишо надо? Так одета она — и не вздумаешь. Будний день, а на ней юбка, как снег, и ручки чистые-пречистые… — говорила, глотая завистливые вздохи.

У Степана розовели скулы, в опущенных светлых глазах возгорались и тухли злобно-тоскливые огоньки. Ложкой черпал из обливной чашки кислое молоко, удерживая дрожь в руке. Вопросы ронял с обдуманной неторопливостью.

— Говоришь, хвалилась Аксинья житьем?

— Где же там! Так жить каждая душа не против.

— Обо мне спрашивала?

— А то как же? Побелела вся, как сказала, что вы пришли.

Повечеряв, вышел Степан на затравевший баз.

Быстротеком пришли и истухли короткие августовские сумерки. В сыроватой прохладе ночи навязчиво стучали барабаны веялок, слышались резкие голоса. Под желтым пятнистым месяцем в обычной сутолоке бились люди: веяли намолоченные за день вороха хлеба, перевозили в амбары зерно. Горячим терпким духом свежеобмолоченной пшеницы и мякинной пыли обволакивало хутор. Где-то около плаца стукотела паровая молотилка, брехали собаки. На дальних гумнах тягучая сучилась песня. От Дона тянуло пресной сыростью.

Степан прислонился к плетню и долго глядел на текучее стремя Дона, видневшееся через улицу, на огнистую извилистую стежку, наискось протоптанную месяцем. Мелкая курчавая рябь вилась по течению. На той стороне Дона дремотные покоились тополя. Тоска тихо и властно обняла Степана.

На заре шел дождь, но после восхода солнца тучи разошлись, и часа через два только свернувшиеся над колесниками комки присохшей грязи напоминали о непогоде.

Утром Степан прикатил в Ягодное. Волнуясь, привязал лошадь у ворот, резво-увалисто пошел в людскую.

Просторный, в выгоревшей траве, двор пустовал. Около конюшни в навозе рылись куры. На упавшем плетне топтался вороной, как грач, петух. Скликая кур, он делал вид, что клюет ползавших по плетню красных божьих коровок. Зажиревшие борзые собаки лежали в холодке возле каретника. Шесть черно-пегих куцых щенят, повалив мать, молоденькую первощенную

суку, упираясь ножонками, сосали, оттягивая вялые серые сосцы. На теневой стороне железной крыши барского дома глянцем лежала роса.

Степан, внимательно оглядываясь, вошел а людскую, спросил у толстой кухарки:

— Могу я видеть Аксинью?

— А вы кто такие? — заинтересовалась та, вытирая потное рябое лицо завеской.

— Вам это не нужно. Аксинья где будет?

— У пана. Обождите.

Степан присел, жестом страшной усталости положил на колени шляпу. Кухарка совала в печь чугуны, стучала рогачами, не обращая внимания на гостя. В кухне стоял кислый запах свернувшегося творога и хмелин. Мухи черной россыпью покрывали камель печки, стены, обсыпанный мукой стол. Степан, напрягаясь, вслушивался, ждал. Знакомый звук Аксиньиной поступи словно пихнул его с лавки. Он встал, уронив с колен шляпу.

Аксинья вошла, неся стопку тарелок. Лицо ее помертвело, затрепыхались углы пухлых губ. Она остановилась, беспомощно прижимая к груди тарелки, не спуская со Степана напуганных глаз. А потом как-то сорвалась с места, быстро подошла к столу, опорожнила руки.

— Здравствуй!

Степан дышал медленно, глубоко, как во сне, губы его расщепляла напряженная улыбка. Он молча, клонясь вперед, протягивал Аксинье руку.

— В горницу ко мне… — жестом пригласила Аксинья.

Шляпу Степан поднимал, как тяжесть; кровь била ему в голову, заволакивало глаза. Как только вошли в Аксиньину комнату и присели, разделенные столиком, Аксинья, облизывая ссохшиеся губы, со стоном спросила:

— Откуда ты взялся?..

Степан неопределенно и неестественно-весело, по-пьяному махнул рукой. С губ его все еще не сходила все та же улыбка радости и боли.

— Из плену… Пришел к тебе, Аксинья…

Он как-то нелепо засуетился, вскочил, достал из кармана небольшой сверточек и, жадно срывая с него тряпку, не владея дрожащими пальцами, извлек серебряные дамские часы-браслет и кольцо с дешевым голубым камешком… Все это он протягивал ей на потной ладони, а Аксинья глаз не сводила с чужого ей лица, исковерканного униженной улыбкой.

— Возьми, тебе берег… Жили вместе…

— На что оно мне? Погоди… — шептали Аксиньины помертвевшие губы.

— Возьми… не обижай… Дурость нашу бросать надо…

Заслоняясь рукой, Аксинья встала, отошла к лежанке:

— Говорили, погиб ты…

— А ты бы рада была?

Она не ответила; уже спокойнее разглядывала мужа всего, с головы до ног, бесцельно оправила складки тщательно выглаженной юбки. Заложив руки за спину, сказала:

— Аникушкину бабу ты присылал?.. Говорила, что зовешь к себе… жить…

— Пойдешь? — перебил Степан.

— Нет. — Голос Аксиньи зазвучал сухо. — Нет, не пойду.

— Что так?

— Отвыкла, да и поздновато трошки… Поздно.

— А я вот хочу на хозяйство стать. Из Германии шел — думал и там жил — об этом не переставал думать… Как же, Аксинья, ты будешь? Григорий бросил… Или ты другого нажила? Слыхал, будто с панским сыном… Правда?

Щеки Аксиньи жгуче, до слез, проступивших под веками отягощенных стыдом глаз, крыла кровь.

— Живу теперь с ним. Верно.

— Я не в укор, — испугался Степан. — Я к тому говорю, что, может, ты свою жизнь не решила? Ему ты ненадолго нужна, баловство… Вот морщины у тебя под глазами… Ведь бросит, надоешь ты ему — прогонит. Куда прислонишься? В холопках не надоело быть? Гляди сама… Я денег принес. Кончится война, справно будем жить. Думал, сойдемся мы. Я за старое позабыть хочу…

— Об чем же ты раньше думал, милый друг Степа? — с веселыми слезами, с дрожью заговорила Аксинья и оторвалась от лежанки, в упор подошла к столу. — Об чем раньше думал, когда жизнь мою молодую в прах затолочил? Ты меня к Гришке пихнул… Ты мне сердце высушил… Да ты помнишь, что со мной сделал?

— Я не считаться пришел… Ты… почем знаешь? Я, может, об этом изболелся весь. Может, я другую жизнь прожил, вспоминая… — Степан долго рассматривал свои выкинутые на стол руки, слова вязал медленно, словно выкорчевывал их изо рта. — Думал об тебе… Сердце кровью запеклось… День и ночь из ума не шла… Я жил там со вдовой, немкой… богато жил — и бросил… Потянуло домой…

— К тихой жизни поклонило? — яростно двигая ноздрями, спрашивала Аксинья. — Хозяйничать хочешь? Небось, детишков хочешь иметь, жену, чтоб стирала на тебя, кормила и поила? — И нехорошо, темно улыбнулась. — Нет уж, спаси Христос. Старая я, морщины вон разглядел… И детей родить разучилась. В любовницах нахожусь, а любовницам их не полагается… Нужна ли такая-то?

— Шустрая ты стала…

— Уж какая есть.

— Значит — нет?

— Нет, не пойду. Нет.

— Ну, бывай здорова. — Степан встал, никчемно повертел в руках браслет и опять положил его на стол. — Надумаешь, тогда сообщи.

Аксинья провожала его до ворот. Долго глядела, как из-под колес рвется пыль, заволакивает широкие Степановы плечи.

Бороли ее злые слезы. Она редко всхлипывала, смутно думая о том, что не сбылось, — оплакивая свою, вновь по ветру пущенную жизнь. После того как узнала, что Евгению она больше не нужна, услышав о возвращении мужа, решила уйти к нему, чтобы вновь собрать по кусочкам счастье, которого не было… С этим решением ждала Степана. Но увидала его, приниженного, покорного, — и черная гордость, гордость, не позволявшая ей, отверженной, оставаться в Ягодном, встала в ней на дыбы. Неподвластная ей злая воля направляла слова ее и поступки. Вспомнила пережитые обиды, все вспомнила, что перенесла от этого человека, от больших железных рук и, сама не желая разрыва, в душе ужасаясь тому, что делала, задыхалась в колючих словах: «Нет, не пойду к тебе. Нет».

Еще раз потянулась взглядом вслед удалявшемуся тарантасу. Степан, помахивая кнутом, скрывался за сиреневой кромкой невысокой придорожной полыни…

На другой день Аксинья, получив расчет, собрала пожитки. Прощаясь с Евгением, всплакнула:

— Не поминайте лихом, Евгений Николаевич.

— Ну что ты, милая!.. Спасибо тебе за все.

Голос его, прикрывая смущение, звучал наигранно-весело.

И ушла. Ввечеру была на хуторе Татарском.

Степан встретил Аксинью у ворот.

— Пришла? — спросил он, улыбаясь. — Навовсе? Можно надежду иметь, что больше не уйдешь?

— Не уйду, — просто ответила Аксинья, со сжавшимся сердцем оглядывая полуразрушенный курень и баз, бурно заросший лебедой и черным бурьяном.

VIII

Неподалеку от станицы Дурновской Вешенский полк в первый раз ввязался в бой с отступавшими частями красноармейцев.

Сотня под командой Григория Мелехова к полудню заняла небольшой, одичало заросший левадами хутор. Григорий спешил казаков в сыроватой тени верб, возле ручья, промывшего через хутор неглубокий ярок. Где-то неподалеку из черной хлюпкой земли, побулькивая, били родники. Вода была ледениста, ее с жадностью пили казаки, черпая фуражками и потом с довольным покряхтыванием нахлобучивая их на потные головы. Над хутором, сомлевшим от жары, в отвес встало солнце. Земля калилась, схваченная полуденным дымком. Травы и листья верб, обрызганные ядовито-знойными лучами, вяло поникли, а возле ручья в тени верб тучная копилась прохлада, нарядно зеленели лопухи и еще какие-то, вскормленные мочажинной почвой, пышные травы; в небольших заводях желанной девичьей улыбкой сияла ряска; где-то за поворотом щелоктали в воде и хлопали крыльями утки. Лошади, храпя, тянулись к воде, с чавканьем ступая по топкой грязи, рвали из рук поводья и забредали на середину ручья, мутя воду и разыскивая губами струю посвежее. С опущенных губ их жаркий ветер срывал ядреные алмазные капли. Поднялся серный запах взвороченной илистой земли, тины, горький и сладостный дух омытых и сопревших корней верб…

Только что казаки полегли в лопухах с разговорцами и куревом — вернулся разъезд. Слово «красные» вмиг вскинуло людей с земли. Затягивали подпруги и опять шли к ручью, наполняли фляжки, пили, и, небось, каждый думал: «То ли придется еще попить такой воды — светлой, как детская слеза, то ли нет…»

По дороге переехали ручей, остановились.

За хутором, по серо-песчаному чернобылистому бугру, в версте расстояния, двигалась неприятельская разведка. Восемь всадников сторожко съезжали к хутору.

— Мы их заберем! Дозволишь? — предложил Митька Коршунов Григорию.

Он кружным путем выехал с полувзводом за хутор, но разведка, обнаружив казаков, повернула обратно.

Час спустя, когда подошли две остальные конные сотни полка, выступили. Разъезды доносили, что красные, силой приблизительно в тысячу штыков, идут им навстречу. Сотни вешенцев потеряли связь с шедшим справа 33-м Еланско-Букановским полком, но все же решили дать бой. Перевалив через бугор, спешились. Коноводы свели лошадей в просторный, ниспадавший к хутору лог. Где-то правее сшиблись разведки. Лихо зачечекал ручной пулемет.

Вскоре показались редкие цепи красных. Григорий развернул свою сотню у вершины лога. Казаки легли на гребне склона, поросшего гривастым мелкокустьем. Из-под приземистой дикой яблоньки Григорий глядел в бинокль на далекие цепи противника. Ему отчетливо видно было, как шли первые две цепи, а за ними, между бурыми неубранными валками скошенного хлеба, разворачивалась в цепь черная походная колонна.

И его и казаков изумило то, что впереди первой цепи на высокой белой лошади ехал всадник, — видимо, командир. И перед второй цепью порознь шли двое. И третью повел

командир, а рядом с ним заколыхалось знамя. Полотнище алело на грязно-желтом фоне жнивья крохотной кровянистой каплей.

— У них комиссары попереди! — крикнул один из казаков.

— Во! Вот это геройски! — восхищенно захохотал Митька Коршунов.

— Гляди, ребятки! Вот они какие, красные!

Почти вся сотня привстала, перекликаясь. Над глазами щитками от солнца повисли ладони. Разговоры смолкли. И величавая, строгая тишина, предшествующая смерти, покорно и мягко, как облачная тень, легла над степью и логом.

Григорий смотрел назад. За пепельно-сизым островом верб, сбоку от хутора, бугрилась колышущаяся пыль: вторая сотня на рысях шла противнику во фланг. Балка пока маскировала продвижение сотни, но версты через четыре развилом выползла на бугор, и Григорий мысленно определял расстояние и время, когда сотня сможет выровняться с флангом.

— Ложи-и-ись! — скомандовал Григорий, круто поворачиваясь, пряча бинокль в чехол.

Он подошел к своей цепи. Лица казаков, багрово-масленые и черные от жары и пыли, поворачивались к нему. Казаки, переглядываясь, ложились. После команды: «Изготовься!» — хищно заклацали затворы. Григорию сверху видны были одни раскоряченные ноги, верхи фуражек да спины в выдубленных пылью гимнастерках, с мокрыми от пота желобками и лопатками. Казаки расползались, ища прикрытия, выбирая места поудобней. Некоторые попробовали шашками рыть черствую землю.

В это время со стороны красных ветерок на гребне своем принес невнятные звуки пения…

Цепи шли, туго извиваясь, неровно, качко. Тусклые, затерянные в знойном просторе, наплывали оттуда людские голоса.

Григорий почуял, как, сорвавшись, резко, с перебоем стукнуло его сердце… Он слышал и раньше этот стонущий напев, слышал, как пели его мокроусовские матросы в Глубокой, молитвенно сняв бескозырки, возбужденно блестя глазами. В нем вдруг выросло смутное, равносильное страху беспокойство.

— Чего они ревут? — встревоженно вертя головой, спросил престарелый казак.

— Вроде как с какой молитвой, — ответил ему другой, лежавший справа.

— Чертячья у них молитва! — улыбнулся Андрей Кашулин; дерзко глядя на Григория, стоявшего возле него, спросил: — Ты, Пантелев, был у них, — небось, знаешь, к чему песню зараз играют? Небось, сам с ними дишканил?

«…владе-еть землей!» — ликующим вскриком взвихрились невнятные от расстояния слова, и вновь тишина расплеснулась над степью. Казаки нехорошо повеселели. Кто-то захохотал в середине цепи. Митька Коршунов суетливо заерзал.

— Слышите, эй, вы?! Землей владеть им захотелось!.. — И похабно выругался. — Григорь Пантелев! Дай, я вон энтого, что на коне, спешу! Я вдарю раз?

Не дожидаясь согласия, выстрелил. Пуля побеспокоила всадника. Он спешился, отдал коня, пошел впереди цепи, поблескивая обнаженной шашкой.

Казаки стали постреливать. Красные легли. Григорий приказал пулеметчикам открыть огонь. После двух пулеметных очередей первая цепь поднялась в перебежке. Саженей через десять снова легла. В бинокль Григорий видел, как красноармейцы заработали лопатками, окапываясь. Над ними запорхала сизая пыль, перед цепью выросли крохотные, как возле сурчиных нор, бугорки. Оттуда полыхнули протяжным залпом, перестрелка возгорелась. Бой грозил стать затяжным. Через час у казаков появился урон: одного из первого взвода пуля сразила насмерть, трое раненых уползли к коноводам в лог. Вторая сотня показалась с фланга, запылила в атаке. Атаку отбили пулеметным огнем. Видно было, как панически скакали назад

казаки, грудясь в кучи и рассыпаясь веером. Отступив, сотня выровнялась и без сплошного крика, молчком пошла опять. И опять шквальный пулеметный огонь, как ветер листья, погнал ее обратно.

Но атаки поколебали стойкость красноармейцев — первые цепи смешались, тронулись назад.

Григорий, не прекращая огня, поднял сотню. Казаки пошли, не ложась. Некоторая нерешительность и тягостное недоумение, владевшее ими вначале, как будто исчезли. Бодрое настроение их поддерживала батарея, на рысях прискакавшая на позиции. Первый батарейный взвод, выдвинутый в огневое положение, открыл огонь. Григорий послал коноводам приказ подвести коней. Он готовился к атаке. Возле той яблоньки, откуда он в начале боя наблюдал за красными, снималось с передков третье орудие. Высокий, в узких галифе офицер тенористо, свирепо кричал на замешкавшихся ездовых, подбегая к орудию, щелкая по голенищу плетью:

— Отводи! Ну?! Черт вас мордует!..

Наблюдатель со старшим офицером в полуверсте от батареи, спешившись, с кургашка глядели в бинокль на отходившие цепи противника. Телефонисты бегом тянули провод, соединяя батарею с наблюдательным пунктом. Крупные пальцы пожилого есаула — командира батареи — нервно крутили колесико бинокля (на одном из пальцев золотом червонело обручальное кольцо). Он зряшно топтался около первого орудия, отмахиваясь головой от цвенькавших пуль, и при каждом его резком движении сбоку болталась поношенная полевая сумка.

После рыхлого и трескучего гула Григорий проследил место падения пристрельного снаряда, оглянулся: номера, налегая, с хрипом накатывали орудие. Первая шрапнель покрыла ряды неубранной пшеницы, и долго на синем фоне таял раздираемый ветром белый хлопчатый комочек дыма.

Четыре орудия поочередно слали снаряды туда, за поваленные ряды пшеницы, но, сверх Григорьева ожидания, орудийный огонь не внес заметного замешательства в цепи красных, — они отходили неспешно, организованно и уже выпадали из поля зрения сотни, спускаясь за перевал, в балку. Григорий, понявший бессмысленность атаки, все же решил поговорить с командиром батареи. Он увалисто подошел и, касаясь левой рукой спаленного солнцем, порыжелого курчавого кончика уса, дружелюбно улыбнулся:

— Хотел в атаку пойтить.

— Какая там атака! — Есаул норовисто махнул головой, тылом ладони принял стекавшую из-под козырька струйку пота. — Вы видите, как они отходят, сукины дети? Не дадутся! Да и смешно бы было, — ведь у них в этих частях весь начальствующий состав — кадровики-офицеры. Мой товарищ, войсковой старшина Серов — у них…

— Откуда вы знаете? — Григорий недоверчиво сощурился.

— Перебежчики… Прекратить огонь! — скомандовал есаул и, словно оправдываясь, пояснил: — Бесполезно бить, а снарядов мало… Вы — Мелехов? Будем знакомы: Полтавцев. — Он толчком всунул в руку Григория свою потную крупную ладонь и, не задержав в рукопожатье, ловко кинул ее в раскрытое зевло планшетки, достал папиросы. — Закуривайте!

С глухим громом поднялись из лога ездовые. Батарея взялась на передки. Григорий, посадив на коней, повел свою сотню вслед ушедшим за бугор красным.

Красные заняли следующий хутор, но сдали его без сопротивления. Три сотни вешенцев и батарея расположились в нем. Напуганные жители не выходили из домов. Казаки сновали по дворам в поисках съестного. Григорий спешился возле стоявшего на отшибе дома, завел во

двор, поставил у крыльца коня. Хозяин — длинный пожилой казак — лежал на кровати, со стоном перекатывал по грязной подушке непомерно малую птичью головку.

— Хворый, что ли? — поздоровавшись, улыбнулся Григорий.

— Хво-о-орый…

Хозяин притворялся больным и, судя по беспокойному шмыганью его глаз, догадывался, что ему не верят.

— Покормите казаков? — требовательно спросил Григорий.

— А сколько вас? — Хозяйка отделилась от печки.

— Пятеро.

— Ну-к что жа, проходите, покормим, чем бог послал.

Пообедав с казаками, Григорий вышел на улицу.

Возле колодца стояла в полной боевой готовности батарея. Обамуниченные лошади, мотая торбами, доедали ячмень. Ездовые и номера спасались от солнца в холодке зарядных ящиков, сидели и лежали возле орудий. Один батареец спал ничком, скрестив ноги и дергая во сне плечом. Он, наверное, прежде лежал в холодке, но солнце передвинуло тени и теперь палило его обнаженные курчавые волосы, посыпанные сенной трухой.

Под широкой ременной упряжью лошадей лоснилась мокрая, желтопенистая от пота шерсть. Привязанные к плетню верховые лошади офицеров и прислуги стояли, понуро поджав ноги. Казаки — пыльные, потные — отдыхали молча. Офицеры и командир батареи сидели на земле, прислонясь спинами к срубу колодца, курили. Неподалеку от них, ногами врозь, шестиконечной звездой лежали на выгоревшей лебеде казаки. Они истово черпали из цебарки кислое молоко, изредка кто-нибудь выплевывал попавшее в рот ячменное зерно.

Солнце смалило исступленно. Хутор простирал к бугру почти безлюдные улицы. Под амбарами, под навесами сараев, возле плетней, в желтой тени лопухов спали казаки. Нерасседланные кони, густо стоявшие у плетней, томились от жары и дремоты. Мимо проехал казак, лениво поднимая плеть до уровня конской спины. И снова улица — как забытый степной шлях, и случайными и ненужными кажутся на ней крашенные в зеленое орудия и изморенные походами и солнцем спящие люди.

Нудясь от скуки, Григорий пошел было в дом, но вдоль улицы показались трое верховых казаков чужой сотни. Они гнали небольшую кучку пленных красноармейцев. Артиллеристы засуетились, повставали, обметая пыль с гимнастерок и шаровар. Поднялись и офицеры. В соседнем дворе кто-то радостно крикнул:

— Ребята, пленных гонют!.. Брешу? И вот тебе матерь божья!

Из дворов, спеша, выходили заспанные казаки. Подошли пленные — восемь провонявших потом, изузоренных пылью молодых ребят. Их густо окружили.

— Где их забрали? — спросил командир батареи, разглядывая пленных с холодным любопытством.

Один из конвойных ответил не без хвастливого удальства:

— Вояки! Это мы их в подсолнухах возля хутора переловили. Хоронились, чисто перепела от коршуна. Мы их с коней узрили и давай гонять! Одного убили…

Красноармейцы напуганно жались. Они, очевидно, боялись расправы. Глаза их беспомощно бегали по лицам казаков. Лишь один, с виду постарше, коричневый от загара, скуластый, в засаленной гимнастерке и в прах измочаленных обмотках, презрительно глядел поверх голов чуть косящими черными глазами и плотно сжимал разбитые в кровь губы. Был он коренаст, широкоплеч. На черных жестких, как конский волос, кудрях его приплюснуто, зеленым блином, сидела фуражка со следом кокарды, уцелевшая, наверное, еще от германской войны. Он стоял вольно, черными толстыми пальцами с засохшей на, ногтях

кровью трогал расстегнутый ворот нательной рубахи и острый, в черной щетине, кадык. С виду он казался равнодушным, но вольно отставленная нога, до коленного сгиба уродливо толстая от обмотки, навернутой на портянку, дрожала мелкой ознобной дрожью. Остальные были бледны, безличны. Один он бросался в глаза дюжим складом плеч и татарским энергичным лицом. Может быть, поэтому командир батареи и обратился к нему с вопросом:

— Ты кто такой?

Мелкие, похожие на осколки антрацита глаза красноармейца оживились, и весь он как-то незаметно, но ловко подобрался:

— Красноармеец. Русский.

— Откуда родом?

— Пензенский.

— Доброволец, гад?

— Никак нет. Старший унтер-офицер старой армии. С семнадцатого попал, и так вот до этих пор…

Один из конвоиров вмешался в разговор:

— Он по нас стрелял, вражина!

— Стрелял? — кисло нахмурился есаул и, уловив взгляд стоявшего против него Григория, указал глазами на пленного. — Каков!.. Стрелял, а? Ты что же, не думал, что возьмут? А если за это сейчас в расход?

— Думал отстреляться. — Разбитые губы поежились в виноватой усмешке.

— Каков фрукт! Почему же не отстрелялся?

— Патроны израсходовал.

— А-а-а… — Есаул похолодел глазами, но оглядел солдата с нескрываемым удовольствием. — А вы, сукины сыны, откуда? — уже совсем иным тоном спросил он, скользя повеселевшими глазами по остальным.

— Нибилизованные мы, ваше высокоблагородие! Саратовские мы… балашовские… — заныл высокий длинношеий парень, часто мигая, поскребывая рыжевато-ржавые волосы.

Григорий с щемящим любопытством разглядывал одетых в защитное молодых парней, их простые мужичьи лица, невзрачный пехотный вид. Враждебность возбуждал в нем один скуластый. Он обратился к нему насмешливо и зло:

— На что признавался? Ты, небось, ротой у них наворачивал? Командир? Коммунист? Расстрелял, говоришь, патроны? А мы тебя за это шашками посекем — это как?

Красноармеец, шевеля ноздрями раздавленного прикладом носа, уже смелее говорил:

— Я признавался не от лихости. Чего я буду таиться? Раз стрелял — значит, признавайся… Так я говорю? Что касаемо… казните. Я от вас, — и опять улыбнулся, — добра не жду, на то вы и казаки.

Кругом одобрительно заулыбались. Григорий, покоренный рассудительным голосом солдата, отошел. Он видел, как пленные пошли к колодцу напиться. Из переулка взводными рядами выходила сотня пластунов.

IX

И после, когда полк вступил в полосу непрерывных боев, когда вместо завес уже лег изломистой вилюжиной фронт, Григорий всегда, сталкиваясь с неприятелем, находясь в непосредственной от него близости, испытывал все то же острое чувство огромного, ненасытного любопытства к красноармейцам, к этим русским солдатам, с которыми ему для

чего-то нужно было сражаться. В нем словно навсегда осталось то наивно-ребяческое чувство, родившееся в первые дни четырехлетней войны, когда он под Лешнювом с кургана наблюдал в первый раз за суетой австро-венгерских войск и обозов. «А что за люди? А какие они?» Будто и не было в его жизни полосы, когда он бился под Глубокой с чернецовским отрядом. Но тогда он твердо знал обличье своих врагов — в большинстве они были донские офицеры, казаки. А тут ему приходилось иметь дело с русскими солдатами, с какими-то иными людьми, с теми, какие всей громадой подпирали Советскую власть и стремились, как думал он, к захвату казачьих земель и угодий.

Еще раз как-то в бою почти в упор натолкнулся он на красноармейцев, неожиданно высыпавших из отножины буерака. Он выехал со взводом в рекогносцировку, подъехал по теклине буерачка к развилку и тут вдруг услышал окающую русскую речь на жесткое «г», сыпкий шорох шагов. Несколько красноармейцев — из них один китаец — выскочили на гребень и, ошеломленные видом казаков, на секунду замерли от изумления.

— Казаки! — падая, испуганно клохчущим голосом крикнул один.

Китаец выстрелил. И сейчас же резко, захлебываясь, скороговоркой закричал тот белесый, который упал:

— Товарищи! Давай «максимку»! Казаки!

— Давай же! Казаки!..

Китайца Митька Коршунов срезал из нагана и, круто поворачивая коня, тесня им коня Григория, первый поскакал по гулкой крутобережной теклине, работая поводьями, направляя по извилинам тревожный конский бег. За ним скакали остальные, клубясь и норовя обогнать друг друга. За спинами их баритонисто зарокотал пулемет, пули общелкивали листья терна и боярышника, густо росшего по склонам и мысам, дробили и хищно рвали каменистое днище теклины…

Еще несколько раз сходился лицом к лицу с красными, видел, как пули казаков вырывали из-под ног красноармейцев землю и те падали и оставляли жизнь на этой плодовитой и чужой им земле.

…И помалу Григорий стал проникаться злобой к большевикам. Они вторглись в его жизнь врагами, отняли его от земли! Он видел: такое же чувство завладевает и остальными казаками. Всем им казалось, что только по вине большевиков, напиравших на Область, идет эта война. И каждый, глядя на неубранные валы пшеницы, на полегший под копытами нескошенный хлеб, на пустые гумна, вспоминал свои десятины, над которыми хрипели в непосильной работе бабы, и черствел сердцем, зверел. Григорию иногда в бою казалось, что и враги его — тамбовские, рязанские, саратовские мужики — идут, движимые таким же ревнивым чувством к земле. «Бьемся за нее, будто за любушку», — думал Григорий.

Меньше стали брать в плен. Участились случаи расправ над пленными. Широкой волной разлились по фронту грабежи; брали у заподозренных в сочувствии большевикам, у семей красноармейцев, раздевали донага пленных…

Брали все, начиная с лошадей и бричек, кончая совершенно ненужными громоздкими вещами. Брали и казаки и офицеры. Обозы второго разряда пухли от добычи. И чего только не было на подводах! И одежда, и самовары, и швейные машины, и конская упряжь — все, что представляло какую-нибудь ценность. Добыча из обозов справлялась по домам. Приезжали родственники, охотой везли в часть патроны и продовольствие, а оттуда набивали брички грабленым. Конные полки — а их было большинство — вели себя особенно разнузданно. Пехотинцу, кроме подсумка, некуда положить, а всадник набивал сумы седла, увязывал в торока, и конь его запохаживался больше на вьючное животное, нежели на строевого коня. Распоясались братушки. Грабеж на войне всегда был для казаков важнейшей

движущей силой. Григорий знал это и по рассказам стариков о прошлых войнах, и по собственному опыту. Еще в дни германской войны, когда полк ходил в тылу по Пруссии, командир бригады — заслуженный генерал — говорил, выстроив двенадцать сотен, указывая плетью на лежавший под холмами крохотный городок:

— Возьмете — на два часа город в вашем распоряжении. Но через два часа первого, уличенного в грабеже, — к стенке!

Но к Григорию как-то не привилось это — он брал лишь съестное да корм коню, смутно опасаясь трогать чужое и с омерзением относясь к грабежам. Особенно отвратительным казался в его глазах грабеж своих же казаков. Сотню он держал жестко. Его казаки если и брали, то таясь и в редких случаях. Он не приказывал уничтожать и раздевать пленных. Чрезмерной мягкостью вызвал недовольство среди казаков и полкового начальства. Его потребовали для объяснений в штаб дивизии. Один из чинов обрушился на него, грубо повышая голос:

— Ты что мне, хорунжий, сотню портишь? Что ты либеральничаешь? Мягко стелешь на всякий случай? По старой памяти играешь на две руки?.. Как это ка тебя не кричать?.. А ну без разговоров! Дисциплины не знаешь? Что — сменить? И сменим! Приказываю сегодня же сдать сотню! И того, брат… не шурши!

В конце месяца полк совместно с сотней 33-го Еланского полка, шедшего рядом, занял хутор Гремячий Лог.

Внизу, по падине, густо толпились вербы, ясени и тополя, по косогору разметались десятка три белостенных куреней, обнесенных низкой, из дикого камня, огорожей. Выше хутора, на взгорье, доступный всем ветрам, стоял старый ветряк. На фоне надвигавшейся из-за бугра белой тучи мертво причаленные крылья его чернели косо накренившимся крестом. День был дождлив и хмарен. По балке желтая порошила метель: листья с шепотом ложились на землю. Малиновой кровью просвечивал пышнотелый краснотал. Гумна бугрились сияющей соломой. Мягкая предзимняя наволочь крыла пресно пахнущую землю.

Со своим взводом Григорий занял отведенный квартирьерами дом. Хозяин, оказалось, ушел с красными. Взводу стала угодливо прислуживать престарелая дородная хозяйка с дочерью-подростком. Григорий из кухни прошел в горницу, огляделся. Хозяева, видно, жили ядрено: полы крашены, стулья венские, зеркало, по стенам обычные фотографии служивых и ученический похвальный лист в черной рамке. Повесив к печке промокший дождевик, Григорий свернул курить.

Прохор Зыков вошел, поставил к кровати винтовку, равнодушно сообщил:

— Обозники приехали. С ними папаша ваш, Григорий Пантелеевич.

— Ну?! Будет брехать!

— Право слово. Окромя его, наших хуторных, никак, шесть подвод. Иди встревай!

Григорий, накинув шинель, вышел.

В ворота за уздцы вводил лошадей Пантелей Прокофьевич. На бричке сидела Дарья, закутанная в зипун домашней валки. Она держала вожжи. Из-под мокрого капюшона зипуна блестела на Григория влажной улыбкой, смеющимися глазами.

— Зачем вас принесло, земляки? — крикнул Григорий, улыбаясь отцу.

— А, сынок, живого видать! На гости вот приехали, не спроша заезжаем.

Григорий на ходу обнял широкие отцовы плечи, начал отцеплять с барков постромки.

— Не ждал, говоришь, Григорий?

— Конешно.

— А мы вот в обувательских… Захватили. Снаряды вам привезли — только воюйте.

Распрягая лошадей, они перебрасывались отрывистыми фразами. Дарья забирала с

брички харчи и зерно лошадям.

— А ты чего приехала? — спросил Григорий.

— С батей. Он у нас хворый, со спасов никак не почунеется. Мать забоялась: случить чего, а он один на чужой стороне…

Кинув лошадям ярко-зеленого пахучего пырея, Пантелей Прокофьевич подошел к Григорию, спросил хриплым шепотом, беспокойно расширяя черные, с нездоровыми кровянистыми белками глаза:

— Ну как?

— Ничего. Воюем.

— Слыхал брехню, вроде дальше границы не хотят казаки выступать… Верно?

— Разговоры… — уклончиво ответил Григорий.

— Что же это вы, братцы? — как-то отчужденно и растерянно заговорил старик. — Как же так? А у нас старики надеются… Опричь вас кто же Дон-батюшку в защиту возьмет? Уж ежели вы — оборони господь! — не схотите воевать… Да как же это так? Обозные ваши брехали… Смуту сеют, сукины дети!

Вошли в хату. Собрались казаки. Разговор вначале вертелся вокруг хуторских новостей, Дарья, пошептавшись с хозяйкой, развязала сумку с харчами, собрала вечерять.

— Гутарют, будто ты уж с сотенных снятый? — спросил Пантелей Прокофьевич, принаряжая костяной расческой свалявшуюся бороду.

— Взводным я теперь.

Равнодушный ответ Григория кольнул старика. Пантелей Прокофьевич собрал на лбу ложбины, захромал к столу и, суетливо помолившись, вытирая полой чекменька ложку, обиженно спросил:

— Это за что такая немилость? Аль не угодил начальству?

Григорию не хотелось говорить об этом в присутствии казаков, досадливо шевельнул плечом:

— Нового прислали… С образованием.

— Так им и ты служи, сынок! Распроценятся они скоро! Ишь с образованием им приспичило! Меня, мол, за германскую дивствительно образовали, небось, побольше иного очкастого знаю!

Старик явно возмущался, а Григорий морщился, искоса поглядывал: не улыбаются ли казаки?

Снижение в должности его не огорчило. Он с радостью передал сотню, понимая, что ответственности за жизнь хуторян нести не будет. Но все же самолюбие его было уязвлено, и отец разговором об этом невольно причинял ему неприятность.

Хозяйка дома ушла на кухню, а Пантелей Прокофьевич, почувствовав поддержку в лице пришедшего хуторянина Богатырева, начал разговор:

— Стал быть, взаправду мыслишку держите дальше границ не ходить?

Прохор Зыков, часто моргая телячье-ласковыми глазами, молчал, тихо улыбался. Митька Коршунов, сидя на корточках у печки, обжигая пальцы, докуривал цигарку. Остальные трое казаков сидели и лежали на лавках. На вопрос что-то никто не отвечал. Богатырев горестно махнул рукой.

— Они об этих делах не дюже печалуются, — заговорил он гудящим густым басом. — По них хучь во полюшке травушка не расти…

— А зачем дальше идтить? — лениво спросил болезненный и смирный казачок Ильин. — Зачем идтить-то? У меня вон сироты после жены остались, а я буду зазря жизню терять.

— Выбьем из казачьей земли — и по домам! — решительно поддержал его другой.

Митька Коршунов улыбнулся одними зелеными глазами, закрутил тонкий пушистый ус.

— А по мне, хучь ишо пять лет воевать. Люблю!

— Выхо-ди-и!.. Седлай!.. — закричали со двора.

— Вот видите! — отчаянно воскликнул Ильин. — Видите, отцы! Не успели обсушиться, а там уж — «выходи»! Опять, значит, на позицьи. А вы гутарите: границы! Какие могут быть границы? По домам надо! Замиренья надо добиваться, а вы гутарите…

Тревога оказалась ложной. Григорий, озлобленный, ввел во двор коня, без причины ударил его сапогом в пах и, бешено округляя глаза, гаркнул:

— Ты, черт! Ходи прямо!

Пантелей Прокофьевич курил у двери. Пропустив входивших казаков, спросил:

— Чего встомашились?

— Тревога!.. Табун коров за красных сочли.

Григорий снял шинель, присел к столу. Остальные, кряхтя, раздевались, кидали на лавки шашки и винтовки с подсумками.

Когда все улеглись спать, Пантелей Прокофьевич вызвал Григория на баз. Присели на крыльце.

— Хочу погутарить с тобой. — Старик тронул колено Григория, зашептал: — Неделю назад ездил я к Петру. Ихний Двадцать восьмой полк за Калачом зараз… Я, сынок, поджился там неплохо. Петро — он гожий, дюже гожий к хозяйству! Он мне чувал одежи дал, коня, сахару… Конь справный…

— Погоди! — сурово перебил его Григорий, обожженный догадкой. — Ты сюда не за этим заявился?

— А что?

— Как — что?

— Люди ить берут, Гриша…

— Люди! Берут! — не находя слов, с бешенством повторял Григорий. — Своего мало? Хамы вы! За такие штуки на германском фронте людей расстреливали!..

— Да ты не сепети! — холодно остановил его отец. — Я у тебя не прошу. Мне ничего не надо. Я нынче живу, а завтра ноги вытяну… Ты об себе думай. Скажи на милость, какой богатей нашелся! Дома одна бричка осталась, а он… Да и что ж не взять у энтих, какие к красным подались?.. Грех у них не брать! А дома каждая лычка бы годилась.

— Ты мне оставь это! А нет — я живо провожу отсель! Я казакам морды бил за это, а мой отец приехал грабить жителев! — дрожал и задыхался Григорий.

— За это и с сотенных прогнали! — ехидно поддел его отец.

— На черта мне это сдалось! Я и от взвода откажусь!..

— А то чего же! Умен, умен…

С минуту молчали. Григорий, закуривая, при свете спички мельком увидел смущенное и обиженное лицо отца. Только сейчас ему стали понятны причины отцова приезда. «Для этого и Дарью взял, чертяка старый! Грабленое оберегать», — думал он.

— Степан Астахов объявился. Слыхал? — равнодушно начал Пантелей Прокофьевич.

— Как это? — Григорий даже папиросу выронил из рук.

— А так. Оказалось — в плену он был, а не убитый. Пришел справный. Там у него одежи и добра — видимо-невидимо! На двух подводах привез, — прибрехнул старик, хвастая, как будто Степан был ему родной. — Аксинью забрал и зараз ушел на службу. Хорошую должность ему дали, етапным комендантом идей-то, никак, в Казанской.

— Хлеба много намолотили? — перевел Григорий разговор.

— Четыреста мер.

— Внуки твои как?

— Ого, внуки, брат, герои! Гостинцы бы послал.

— Какие с фронта гостинцы! — тоскливо вздохнул Григорий, а в мыслях был около Аксиньи и Степана.

— Винтовкой не разживусь у тебя? Нету лишней?

— На что тебе?

— Для дому. И от зверя, и от худого человека. На всякий случай. Патрон-то я целый ящик взял. Везли — я и взял.

— Возьми в обозе. Этого добра много. — Григорий хмуро улыбнулся. — Ну, иди спи! Мне на заставу идтить.

Наутро часть полка выступила из хутора. Григорий ехал в уверенности, что Он пристыдил отца и тот уедет ни с чем. А Пантелей Прокофьевич, проводив казаков, хозяином пошел в амбар, поснимал с поветки хомуты и шлейки, понес к своей бричке. Следом за ним шла хозяйка, с лицом, залитым слезами, кричала, цепляясь за плечи:

— Батюшка! Родимый! Греха не боишься! За что сирот обижаешь? Отдай хомуты! Отдай, ради господа бога!

— Но-но, ты бога оставь, — прихрамывая, барабошил и отмахивался от бабы Мелехов. — Ваши мужья у нас тоже, небось, брали бы. Твой-то комиссар, никак?.. Отвяжись! Раз «твое — мое — богово», значит — молчок, не жалься!

Потом, сбив на сундуках замки, при сочувственном молчании обозников выбирал шаровары и мундиры поновей, разглядывал их на свет, мял в черных куцых пальцах, вязал в узлы…

Уехал он перед обедом. На бричке, набитой доверху, на узлах сидела, поджав тонкие губы, Дарья. Позади поверх всего лежал банный котел. Пантелей Прокофьевич вывернул его из плиты в бане, едва донес до брички и на укоряющее замечание Дарьи:

— Вы, батенька, и с г… не расстанетесь! — гневно ответил:

— Молчи, шалава! Буду я им котел оставлять! Из тебя хозяйка — как из Гришки-поганца! А мне и котел сгодится. Так-то!.. Ну, трогай! Чего губы растрепала?

Опухшей от слез хозяйке, затворявшей за ними ворота, сказал добродушно:

— Прощай, бабочка! Не гневайся. Вы себе ишо наживете.

X

Цепь дней. Звено, вкованное в звено. Переходы, бои, отдых. Жара. Дождь. Смежные запахи конского пота и нагретой кожи седла. В жилах от постоянного напряжения — не кровь, а нагретая ртуть. Голова от недосыпания тяжелей снаряда трехдюймовки. Отдохнуть бы Григорию, отоспаться! А потом ходить по мягкой пахотной борозде плугатарем, посвистывать на быков, слушать журавлиный голубой трубный клич, ласково снимать со щек наносное серебро паутины и неотрывно пить винный запах осенней, поднятой плугом земли.

А взамен этого — разрубленные лезвиями дорог хлеба. По дорогам толпы раздетых, трупно-черных от пыли пленных. Идет сотня, копытит дороги, железными подковами мнет хлеба. В хуторах любители обыскивают семьи ушедших с красными казаков, дерут плетьми жен и матерей отступников…

Тянулись выхолощенные скукой дни. Они выветривались из памяти, и ни одно событие, даже значительное, не оставляло после себя следа. Будни войны казались еще скучнее, нежели в прошлую кампанию, быть может — потому, что все изведано было раньше. Да и к

самой войне все участники прежней относились пренебрежительно: и размах, и силы, и потери — все в сравнении с германской войной было игрушечно. Одна лишь черная смерть, так же, как и на полях Пруссии, вставала во весь свой рост, пугала и понуждала по-животному оберегаться.

— Рази это война? Так, одно подобие. В германскую, бывало, немец как сыпанет из орудий — полки выкашивал под корень. А зараз двоих из сотни поранют — урон, говорят! — рассуждали фронтовики.

Однако и эта игрушечная война раздражала. Копились недовольство, усталость, озлобление. В сотне все настойчивее говорили:

— Выбьем из донской земли краснюков — и решка! Дальше границы не пойдем. Нехай Россия — сама по себе, мы — сами по себе. Нам у них свои порядки не устанавливать.

Под Филоновской всю осень шли вялые бои. Главнейшим стратегическим центром был Царицын, туда бросали и белые и красные лучшие силы, а на Северном фронте у противных сторон не было перевеса. Те и другие копили силы для решительного натиска. Казаки имели больше конницы; используя это преимущество, вели комбинированные операции, охватывали фланги, заходили в тыл. Перевес был на стороне казаков лишь потому, что противостояли им морально шаткие части из свежемобилизованных красноармейцев преимущественно прифронтовой полосы. Саратовцы, тамбовцы сдавались тысячами. Но как только командование бросало в дело рабочий полк, матросский отряд или конницу — положение выравнивалось, и вновь инициатива гуляла из рук в руки, и поочередно одерживались победы чисто местного значения.

Участвуя в войне, Григорий равнодушно наблюдал за ее ходом. Он был уверен: к зиме фронта не станет; знал, что казаки настроены примиренчески и о затяжной войне не может быть и речи. В полк изредка приходили газеты. Григорий с ненавистью брал в руки желтый, набранный на оберточной бумаге номер «Верхне-Донского края» и, бегло просматривая сводки фронтов, скрипел зубами. А казаки добродушно ржали, когда он читал им вслух бравурные, притворно-бодрые строки:

«27 сентября на филоновском направлении бои с переменным успехом. В ночь на 26-е доблестный Вешенский полк выбил противника из хутора Подгорного, на плечах его ворвался в хутор Лукьяновский. Взяты трофеи и огромное количество пленных. Красные части отступают в беспорядке. Настроение казаков бодрое. Донцы рвутся к новым победам!»

— Сколько пленных-то забрали мы? Огромное число? Ох-ох, су-у-укины сыны! Тридцать два человека взяли-то! А они… ах-ха-ха-ха!.. — покатывался Митька Коршунов, во всю ширь разевая белозубый рот, длинными ладонями стискивая бока.

Не верили казаки и сведениям об успехах «кадетов» в Сибири и на Кубани. Больно беззастенчиво и нагло врал «Верхне-Донской край». Охваткин — большерукий, огромного роста казак, — прочитав статью о чехословацком мятеже, заявил в присутствии Григория:

— Вот придавют чеха, а потом как жмякнут на нас всю армию, какая под ним была, — и потекет из нас мокрая жижа… Одно слово — Расея! — И грозно закончил: — Шутишь, что ля?

— Не пужай! Аж возле пупка заноило от дурацкого разговору, — отмахнулся Прохор Зыков.

А Григорий, сворачивая курить, с тихим злорадством решил про себя: «Верно!»

Он долго сидел в этот вечер за столом, ссутулясь, расстегнув ворот выгоревшей на солнце рубахи с такими же выгоревшими защитными погонами. Загорелое лицо его, на котором нездоровая полнота сровняла рытвины и острые углы скул, было сурово. Он ворочал черной мускулистой шеей, задумчиво покручивал закурчавившийся, порыжелый от солнца

кончик уса и напряженно глядел в одну точку похолодевшими за последние годы, злыми глазами. Думал с тугой, непривычной трудностью и, уже ложась спать, словно отвечая на общий вопрос, сказал:

— Некуда податься!

Всю ночь не спал. Часто выходил проведывать коня и подолгу стоял на крыльце, повитый черной, шелково шелестящей тишиной.

Знать, еще горела тихим трепетным светом та крохотная звездочка, под которой родился Григорий; видно, еще не созрела пора сорваться ей и лететь, сожигая небеса падучим холодным пламенем. Три коня были убиты под Григорием за осень, в пяти местах продырявлена шинель. Смерть как будто заигрывала с казаком, овевая его черным крылом. Однажды пуля насквозь пробила медную головку шашки, темляк упал к ногам коня, будто перекушенный.

— Кто-то крепко за тебя молится, Григорий, — сказал ему Митька Коршунов и удивился невеселой Григорьевой улыбке.

Фронт перевалил за линию железной дороги. Ежедневно обозы подвозили мотки колючей проволоки. Ежедневно телеграф струил по фронту слова.

«Со дня на день прибудут войска союзников. Необходимо укрепиться на границах Области до прихода подкреплений, сдержать натиск красных любой ценой.»

Мобилизованное население долбило пешнями мерзлую землю, рыло окопы, опутывало их колючей проволокой. А по ночам, когда казаки бросали окопы и шли к жилью обогреваться, к окопам подходили разведчики-красноармейцы, валяли укрепы и цепляли на ржавые шипы проволоки воззвания к казакам. Казаки читали их с жадностью, словно письма от родимых. Было ясно, что в таких условиях продолжать войну немыслимо. Полыхали морозы, сменяясь оттепелями и обильными снегопадами. Окопы заметал снег. В окопах трудно было пролежать даже час. Казаки мерзли, отмораживали ноги и руки. В пехотных и пластунских частях у многих не было сапог. Иные вышли на фронт словно на баз скотине наметать: в одних чириках и легких шароварах. В союзников не верили. «На жуках они едут!» — горестно сказал однажды Андрюшка Кашулин. А сталкиваясь с разъездами красных, казаки слышали, как те горланили: «Эге-гей! Христосики! Вы к нам на танках, а мы к вам на санках! Мажьте пятки салом — скоро в гости приедем!»

С середины ноября красные перешли в наступление. Они упорно оттесняли казачьи части к линии железной дороги, однако перелом в операциях наступил позднее. 16 декабря красная конница после длительного боя опрокинула 33-й полк, но на участке Вешенского полка, развернувшегося возле хутора Колодезянского, натолкнулась на отчаянное сопротивление. Из-за оснеженной кромки гуменных прясел вешенцы-пулеметчики встречали противника, наступавшего в пешем строю, шквальным огнем. Правофланговый пулемет в опытнейших руках каргинского казака Антипова бил с рассеиванием вглубь, выкашивал перебегавшие цепи. Сотня крылась дымом выстрелов. А с левого фланга уже тронулись две сотни в обход.

К вечеру вяло наступавшие красноармейские части сменил только что прибывший на фронт отряд матросов. Они пошли в атаку на пулеметы в лоб, не ложась, без крика.

Григорий стрелял непрерывно. Задымилась накладка. Ствол накалился и обжигал пальцы. Охладив винтовку, Григорий снова вгонял обойму, ловил прижмуренным глазом далекие черные фигурки на мушку.

Матросы сбили их. Сотни, разобрав лошадей, проскакали хутор, выметнулись на бугор. Григорий оглянулся и безотчетно бросил поводья. С бугра далеко виднелось тоскливое снежное поле с мысами занесенного снегом бурьяна и лиловыми предвечерними тенями, лежавшими по склонам балок. По нему на протяжении версты черной сыпью лежали трупы

порезанных пулеметным огнем матросов. Одетые в бушлаты и кожаные куртки, они чернели на снегу, как стая присевших в отлете грачей.

К вечеру, расчлененные наступлением, сотни, потерявшие связь с Еланским полком и бывшим справа от них одним из номерных полков Усть-Медведицкого округа, стали на ночевку в двух хуторах, расположенных у крохотной речонки, притока Бузулука.

Уже в сумерках Григорий, возвращаясь от места, где по приказанию командира сотни он расставил заставы, встретился в переулке с командиром полка и полковым адъютантом.

— Где третья сотня? — натягивая поводья, спросил командир.

Григорий ответил. Всадники тронули лошадей.

— Потери в сотне большие? — отъехав, спросил адъютант; ответа он не расслышал, переспросил: — Как?

Но Григорий пошел, не отвечая.

Всю ночь через хутор тянулись какие-то обозы. Возле двора, где ночевал с казаками Григорий, долго стояла батарея. Сквозь одинарное оконце слышались матерная брань, крик ездовых, суетня. В хату входили обогреваться номера, ординарцы штаба полка, каким-то образом очутившиеся в этом хуторе. В полночь, разбудив хозяев и казаков, вломились трое из прислуги батареи. Они неподалеку в речке увязили орудие и решили заночевать, чтобы утром выручить его быками. Григорий проснулся, долго глядел, как батарейцы, кряхтя, счищая с сапог липкую мерзлую грязь, разуваются и развешивают на боровке подземки мокрые портянки. Потом вошел по уши измазанный офицер-артиллерист. Он попросился переночевать, стянул шинель и долго с безразличным видом размазывал по лицу рукавом френча брызги грязи.

— Одно орудие мы потеряли, — сказал он, глядя на Григория покорными, как у усталой лошади, глазами. — Сегодня такой бой был, как под Мачехой. Нас нащупали после двух выстрелов… Ка-ак саданет — и моментально перешиб боевую ось! А орудие стояло на гумне. Уж куда лучше замаскировано было!.. — К каждой фразе он привычно и, наверное, бессознательно пристегивал похабное ругательство. — Вы Вешенского полка? А чай пить будете? Хозяюшка, вы бы нам самоварчик, а?

Он оказался болтливым, надоедливым собеседником. Чай поглощал без устали. И через полчаса Григорий уже знал, что родом тот из Платовской станицы, окончил реальное, был на германской войне и два раза неудачно женился.

— Теперь аминь Донской армии! — говорил он, слизывая пот с бритой губы острым и красным языком. — Война приходит к концу. Фронт завтра расползется, а через две недели мы будем уже в Новочеркасске. Хотели с босыми казаками штурмовать Россию! Ну не идиоты ли? А кадровые офицеры — все негодяи, ей-богу! Вы ведь из казаков? Да? Вот вашими руками они и хотят каштанчики из огня таскать. А сами по интендантствам лавровый лист да крупу отвешивают!

Он часто моргал пустоцветными глазами, шевелился, наваливаясь на стол всем крупным и плотно сбитым корпусом, а углы большого, растянутого рта были мрачно и безвольно опущены, а на лице хранилось целостным прежнее выражение покорной замордованной лошади.

— Раньше, хотя бы в эпоху Наполеона, добро было воевать! Сошлись две армии, цокнулись, разошлись. Ни тебе фронтов, ни сиденья в окопах. А теперь начни разбираться в операциях — сам черт голову сломит. Если раньше историки брехали, то в описании этой войны такого наворочают!.. Скука одна, а не война! Красок нет. Грязцо! И вообще — бессмыслица. Я бы этих верховодов свел один на один и сказал: «Вот вам, господин Ленин, вахмистр — учитесь у него владеть оружием. А вам, господин Краснов, стыдно не уметь». И

пускай бы, как Давид с Голиафом, бились: чей верх, того власть. Народу все равно, кто им правит. Как вы думаете, господин хорунжий?

Григорий, не отвечая, сонно следил за тугими движениями его мясистых плеч и рук, за неприятно часто мелькавшим в скважине рта красным языком. Хотелось спать, злил навязчивый, придурковатый артиллерист, вызывал тошноту исходивший от потных ног его запах псины…

Утром Григорий проснулся с нудным ощущением чего-то невырешенного. Развязка, которую он предвидел еще с осени, все же поразила его своей внезапностью. Проглядел Григорий, как недовольство войной, вначале журчившееся по сотням и полкам мельчайшими ручейками, неприметно слилось в могущественный поток. И теперь — видел лишь этот поток, стремительно-жадно размывающий фронт.

Так на провесне едет человек степью. Светит солнце. Кругом — непочатый лиловый снег. А под ним, невидимая глазу, творится извечная прекрасная работа — раскрепощение земли. Съедает солнце снег, червоточит его, наливает из-под исподу влагой. Парная туманная ночь — и наутро уже с шорохом и гулом оседает наст, по дорогам и колесникам пузырится зеленая нагорная вода, из-под копыт во все стороны талыми комьями брызжет снег. Тепло. Отходят и оголяются супесные пригорки, первобытно пахнет глинистой почвой, истлевшей травой. В полночь мощно ревут буераки, гудят заваливаемые снежными оползнями яры, сладостным куревом дымится бархатисто-черная обнаженная зябь. К вечеру, стоная, ломает степная речушка лед, мчит его, полноводная, туго налитая, как грудь кормилицы, и пораженный неожиданным исходом зимы, стоит на песчаном берегу человек, ищет глазами места помельче, щелкает запотевшего, перепрядывающего ушами, коня плетью. А кругом предательски и невинно голубеет снег, дремотная и белая лежит зима…

Весь день полк отступал. По дорогам скакали обозы. Где-то правее, за серой тучей, застлавшей горизонт, рыхлыми обвалами грохотали орудийные залпы. По оттаявшей унавоженной дороге хлюпали сотни, месили мокрый снег лошади с захлюстанными щетками. По обочинам дорог скакали ординарцы. Молчаливые грачи, затянутые в блестящее синеватое оперенье, кургузые и неловкие, как пешие кавалеристы, важно и качко расхаживали сбоку от дороги, пропуская мимо себя, как на параде, отступающие казачьи сотни, колонны оборванных пластунов, валки обозов.

Григорий понял, что стремительно разматывающуюся пружину отступления уже ничто не в силах остановить. И ночью, исполненный радостной решимостью, он самовольно покинул полк.

— Ты куда собрался, Григорь Пантелев? — спросил Митька Коршунов, насмешливо наблюдавший, как Григорий надевает поверх шинели дождевик, цепляет шашку и наган.

— А тебе что?

— Любопытно.

Григорий поиграл зарозовевшими желваками скул, но ответил весело, с подмигом:

— На кудыкино поле. Понял?

И вышел.

Конь его стоял нерасседланный.

До зари он скакал по дымящимся от ночного заморозка шляхам. «Поживу дома, а там услышу, как будут они идтить мимо, и пристану к полку», — отстранение думал он о тех, с кем сражался вчера бок о бок.

На другой день к вечеру он уже вводил на отцовский баз сделавшего двухсотверстный пробег, исхудавшего за два дня, шатавшегося от усталости коня.

XI

В конце ноября в Новочеркасске стало известно о прибытии военной миссии держав Согласия. По городу пошли упорные слухи о том, что мощная английская эскадра уже стоит на рейде в Новороссийской гавани, что будто бы высаживаются, переброшенные из Салоник, огромнейшие десанты союзнических войск, что корпус цветных французских стрелков уже высажен и в самом ближайшем будущем начнет наступление совместно с Добровольческой армией. Снежным комом катились по городу слухи.

Краснов приказал выслать почетный караул казаков лейб-гвардии Атаманского полка. Спешно нарядили две сотни молодых атаманцев в высокие сапоги и белую ременную амуницию и столь же спешно отправили их в Таганрог совместно с сотней трубачей.

Представители английской и французской военных миссий на юге России, в целях своеобразной политической рекогносцировки, решили послать в Новочеркасск несколько офицеров. В задачу их входило ознакомиться с положением на Дону и перспективами дальнейшей борьбы с большевиками. Англию представляли капитан Бонд и лейтенанты Блумфельд и Монро, Францию — капитан Ошэн и лейтенанты Дюпре и Фор. Приезд этих-то небольших чинов союзнических военных миссий, по капризу случая попавших в «послы», и наделал столько переполоху в атаманском дворце.

С великим почетом доставили «послов» в Новочеркасск. Непомерным подобострастием и пресмыкательством вскружили головы скромным офицерам, и те, почувствовав свое «истинное» величие, уже стали покровительственно и свысока посматривать на именитых казачьих генералов, и сановников всевеликой бутафорской республики.

У молодых французских лейтенантов сквозь внешний лоск приличия и приторной французской любезности уже начали пробиваться в разговорах с казачьими генералами холодные нотки снисходительности и высокомерия.

Вечером во дворце был сервирован обед на сто кувертов. Певчий войсковой хор стлал по залу шелковые полотнища казачьих песен, богато расшитых тенорами подголосков, духовой оркестр внушительно громыхал и вызванивал союзнические гимны. «Послы» кушали, как и полагается в таких случаях, скромно и с большим достоинством. Чувствуя историческую значимость момента, атаманские гости рассматривали их исподтишка.

Краснов начал речь:

— Вы находитесь, господа, в историческом зале, со стен которого на вас смотрят немые глаза героев другой народной войны, тысяча восемьсот двенадцатого года. Платов, Иловайский, Денисов напоминают нам священные дни, когда население Парижа приветствовало своих освободителей — донских казаков, когда император Александр Первый восстанавливал из обломков и развалин прекрасную Францию…

У делегатов «прекрасной Франции» от изрядной меры выпитого цимлянского уже повеселели и замаслились глаза, но речь Краснова они дослушали со вниманием. Пространно обрисовав катастрофические бедствия, испытываемые «угнетенным дикими большевиками русским народом», Краснов патетически закончил:

— …Лучшие представители русского народа гибнут в большевистских застенках. Взоры их обращены на вас: они ждут вашей помощи, и им, и только им вы должны помочь, не Дону. Мы можем с гордостью сказать: мы свободны! Но все наши помыслы, цель нашей борьбы — великая Россия, верная своим союзникам, отстаивавшая их интересы, жертвовавшая собою для них и жаждущая так страстно теперь их помощи. Сто четыре года тому назад в марте месяце французский народ приветствовал императора Александра Первого и российскую гвардию. И с того дня началась новая эра в жизни Франции, выдвинувшая ее на первое место.

Сто четыре года назад наш атаман граф Платов гостил в Лондоне. Мы ожидаем вас в Москве! Мы ожидаем вас, чтобы под звуки торжественных маршей и нашего гимна вместе войти в Кремль, чтобы вместе испытать всю сладость мира и свободы! Великая Россия! В этих словах — все наши мечты и надежды!

После заключительных слов Краснова встал капитан Бонд. При звуках английской речи среди присутствовавших на банкете мертвая простерлась тишина. Переводчик с подъемом стал переводить:

— Капитан Бонд от своего имени и от имени капитана Ошэна уполномочен заявить донскому атаману, что они являются официально посланными от держав Согласия, чтобы узнать о том, что происходит на Дону. Капитан Бонд заверяет, что державы Согласия помогут Дону и Добровольческой армии в их мужественной борьбе с большевиками всеми силами и средствами, не исключая и войск.

Переводчик еще не кончил последней фразы, как зычное «ура», троекратно повторенное, заставило содрогнуться стены зала. Под бравурные звуки оркестра зазвучали тосты. Пили за процветание «прекрасной Франции» и «могущественной Англии», пили за «дарование победы над большевиками»… В бокалах пенилось донское шипучее, искрилось выдержанное игристое, сладко благоухало старинное «лампадное» вино…

Слова ждали от представителей союзнической миссии, и капитан Бонд не заставил себя ждать:

— Я провозглашаю тост за великую Россию, и я хотел бы услышать здесь ваш прекрасный старый гимн. Мы не будем придавать значения его словам, но я хотел бы услышать только его музыку…

Переводчик перевел, и Краснов, поворачиваясь побледневшим от волнения лицом к гостям, крикнул сорвавшимся голосом:

— За великую, единую и неделимую Россию, ура!

Оркестр мощно и плавно начал «Боже, царя храни». Все поднялись, осушая бокалы. По лицу седого архиепископа Гермогена текли обильные слезы. «Как это прекрасно!..» — восторгался захмелевший капитан Бонд. Кто-то из сановных гостей, от полноты чувств, по-простецки рыдал, уткнув бороду в салфетку, измазанную раздавленной зернистой икрой…

В эту ночь над городом выл и ревел лютый приазовский ветер. Мертвенней блистал купол собора, овеянный первой метелицей…

В эту ночь за городом, на свалке, в суглинистых ярах по приговору военно-полевого суда расстреливали шахтинских большевиков-железнодорожников. С завязанными назад руками их по двое подводили к откосу, били в упор из наганов и винтовок, и звуки выстрелов изморозный ветер гасил, как искры из папирос…

А у входа в атаманский дворец, на стуже, на палящем зимнем ветру мертво стыл почетный караул из казаков лейб-гвардии Атаманского полка. У казаков чернели, сходились с пару сжимавшие эфесы обнаженных палашей руки, от холода слезились глаза, коченели ноги… Из дворца до зари неслись пьяные вскрики, медные всплески оркестра и рыдающие трели теноров войскового хора песенников…

А неделю спустя началось самое страшное — развал фронта. Первым обнажил занятый участок находившийся на калачовском направлении 28-й полк, в котором служил Петро Мелехов.

Казаки после тайных переговоров с командованием 15-й Инзенской дивизии решили сняться с фронта и беспрепятственно пропустить через территорию Верхнедонского округа красные войска. Яков Фомин, недалекий, умственно ограниченный казак, стал во главе мятежного полка, но, по сути, только вывеска была фоминская, а за спиной Фомина правила

делами и руководила Фоминым группа большевистски настроенных казаков.

После бурного митинга, на котором офицеры, побаиваясь пули в спину, неохотно доказывали необходимость сражаться, а казаки дружно, напористо и бестолково выкрикивали все те же надоевшие всем слова о ненужности войны, о примирении с большевиками, — полк тронулся. После первого же перехода ночью возле слободы Солонки командир полка, войсковой старшина Филиппов, с большинством офицерского состава отбился от полка и на рассвете пристал к отступавшей, потрепанной в боях бригаде графа Мольера.

Следом за 28-м полком покинул позиции 36-й полк. Он в полном составе, со всеми офицерами, прибыл в Казанскую. Рабски заискивавший перед казаками, мелкорослый, с вороватыми глазами командир, окруженный всадниками, верхом подъехал к дому, где находился этапный комендант. Вошел воинственно, играя плетью.

— Кто комендант?

— Я — помощник коменданта, — привставая, с достоинством ответил Степан Астахов. — Закройте, господин офицер, дверь.

— Я — командир Тридцать шестого полка, войсковой старшина Наумов. Э… честь имею… Мне необходимо одеть и обуть полк. Люди у меня раздеты и босы. Слышите вы?

— Коменданта нет, а без него я не могу вам выдать со склада ни пары валенок.

— Как?

— А вот так.

— Ты!.. Ты с кем? Ар-р-рестую, черт тебя дер-р-ри! В подвал его, ребята! Где ключи от склада, тыловая ты крыса?.. Что-о? — Наумов хлопнул по столу плетью и, побледнев от бешенства, сдвинул на затылок лохматую маньчжурскую папаху. — Давай ключи — и без разговоров.

Через полчаса из дверей склада, вздымая оранжевую пыль, полетели на снег, на руки столпившихся казаков вязанки дубленых полушубков, пачки валенок, сапог, из рук в руки пошли кули с сахаром. Шумный и веселый говор долго будоражил площадь…

А в это время 28-й полк с новым командиром полка, урядником Фоминым, вступал в Вешенскую. Следом за ним, верстах в тридцати, шли части Инзенской дивизии. Красная разведка в этот день побывала уже на хуторе Дубровке.

Командующий Северным фронтом генерал-майор Иванов за четыре дня до этого вместе с начальником штаба генералом Замбржицким спешно эвакуировались в станицу Каргинскую. Автомобиль их буксовал по снегу, жена Замбржицкого в кровь кусала губы, дети плакали…

В Вешенской на несколько дней установилось безвластие. По слухам, в Каргинской сосредоточивались силы для того, чтобы бросить их на 28-й полк. Но 22 декабря из Каргинской в Вешенскую приехал адъютант Иванова и, посмеиваясь, забрал на квартире командующего забытые им вещи: летнюю фуражку с новенькой кокардой, головную щетку, бельишко и еще кое-что по мелочам…

В образовавшийся на Северном фронте стоверстный прорыв хлынули части 8-й Красной Армии. Генерал Саватеев без боя отходил к Дону. На Талы и Богучар спешно отступали полки генерала Фицхелаурова. На севере на неделю стало необычно тихо. Не слышалось орудийного гула, помалкивали пулеметы. Удрученные изменой верхнедонских полков, без боя отступали бившиеся на Северном фронте низовские казаки. Красные подвигались сторожко, медленно, тщательно щупая разведками лежащие впереди хутора.

Крупнейшую для донского правительства неудачу на Северном фронте сменила радость. В Новочеркасск 26 декабря прибыла союзническая миссия: командующий британской военной миссией на Кавказе генерал Пул с начальником штаба полковником Киссом и

представители Франции — генерал Франше-д'Эспере и капитан Фуке.

Краснов повез союзников на фронт. На станции Чир на перроне в холодное декабрьское утро был выстроен почетный караул. Вислоусый, пропойского вида генерал Мамонтов, обычно неряшливый, но на этот раз подтянутый, блистающий сизым глянцем свежевыбритых щек, ходил по перрону, окруженный офицерами. Ждали поезда. Около вокзала топтались и дули на посиневшие пальцы музыканты военного оркестра. В карауле живописно застыли разномастные и разновозрастные казаки низовских станиц. Рядом с седобородыми дедами стояли безусые юнцы, перемеженные чубатыми фронтовиками. У дедов на шинелях блистали золотом и серебром кресты и медали за Ловчу и Плевну, казаки помоложе были густо увешаны крестами, выслуженными за лихие атаки под Геок-Тепе, Сандепу и на германской — за Перемышль, Варшаву, Львов. Юнцы ничем не блистали, но тянулись в струнку и во всем старались подражать старшим.

Окутанный молочным паром, пригрохотал поезд. Не успели еще распахнуться дверцы пульмановского вагона, а капельмейстер уже свирепо взмахнул руками, и оркестр зычно дернул английский национальный гимн. Мамонтов, придерживая шашку, заспешил к вагону. Краснов радушным хозяином вел гостей к вокзалу мимо застывших шпалер казаков.

— Казачество все поднялось на защиту родины от диких красногвардейских банд. Вы видите представителей трех поколений. Эти люди сражались на Балканах, в Японии, Австро-Венгрии и Пруссии, а теперь сражаются за свободу отечества, — сказал он на превосходном французском языке, изящно улыбаясь, царственным кивком головы указывая на дедов, выпучивших глаза, замерших без дыхания.

Недаром Мамонтов, по распоряжению свыше, старался в подборе почетного караула. Товар был показан лицом.

Союзники побывали на фронте, удовлетворенные вернулись в Новочеркасск.

— Я очень доволен блестящим видом, дисциплинированностью и боевым духом ваших войск, — перед отъездом говорил генерал Пул Краснову. — Я немедленно отдам распоряжение, чтобы из Салоник отправили сюда к вам первый отряд наших солдат. Вас, генерал, я прошу приготовить три тысячи шуб и теплых сапог. Надеюсь, что при нашей помощи вы сумеете окончательно искоренить большевизм…

…Спешно шились дубленые полушубки, заготовлялись валенки. Но что-то не высаживался в Новороссийске союзнический десант. Уехавшего в Лондон Пула сменил холодный, высокомерный Бриггс. Он привез из Лондона новые инструкции и жестко, с генеральской прямолинейностью заявил:

— Правительство его величества будет оказывать Добровольческой армии на Дону широкую материальную помощь, но не даст ни одного солдата.

Комментарии к этому заявлению не требовались…

XII

Враждебность, незримой бороздой разделившая офицеров и казаков еще в дни империалистической войны, к осени 1918 года приняла размеры неслыханные. В конце 1917 года, когда казачьи части медленно стекались на Дон, случаи убийств и выдачи офицеров были редки, зато год спустя они стали явлением почти обычным. Офицеров заставляли во время наступления, по примеру красных командиров, идти впереди цепей — и без шума, тихонько постреливали им в спины. Только в таких частях, как Гундоровский георгиевский полк, спайка была крепка, но в Донской армии их было немного.

Лукавый, смекалистый тугодум Петро Мелехов давно понял, что ссора с казаком накличет смерть, и с первых же дней заботливо старался уничтожить грань, отделявшую его, офицера, от рядового. Он так же, как и они, говорил в удобной обстановке о никчемности войны; причем говорил это неискренне, с великой натугой, но неискренности этой не замечали; подкрашивался под сочувствующего большевикам и неумеренно стал заискивать в Фомине, с тех пор как увидел, что того выдвигает полк. Так же, как и остальные, Петро не прочь был пограбить, поругать начальство, пожалеть пленного, в то время как в душе его припадочно колотилась ненависть и руки корежила судорога от зудящего желания ударить, убить… На службе был он покладист, прост — воск, а не хорунжий! И ведь втерся Петро в доверие к казакам, сумел на их глазах переменить личину.

Когда под слободой Солонкой Филиппов увел офицеров, Петро остался. Смирный и тихий, постоянно пребывающий в тени, во всем умеренный, вместе с полком пришел в Вешенскую. А в Вешенской, пробыв два дня, не выдержал и, не побывав ни в штабе, ни у Фомина, ахнул домой.

С утра в тот день в Вешенской на плацу, около старой церкви, был митинг. Полк ждал приезда делегатов Инзенской дивизии. По плацу толпами ходили казаки в шинелях, в полушубках — нагольных и сшитых из шинелей, в пиджаках, в ватных чекменях. Не верилось, что эта пестро одетая огромная толпа — строевая часть, 28-й казачий полк. Петро уныло переходил от одного курагота к другому, по-новому оглядывал казаков. Раньше, на фронте, одежда их не бросалась в глаза, да и не приходилось видеть полк целой компактной массой. Теперь Петро, ненавидяще покусывая отросший белый ус, глядел на заиндевевшие лица, на головы, покрытые разноцветными папахами, малахаями, кубанками, фуражками, снижал глаза и видел такое же богатое разнообразие: растоптанные валенки, сапоги, обмотки поверх снятых с красноармейца ботинок.

— Босотва! Мужики проклятые! Выродки! — в бессильной злобе шептал про себя Петро.

На заборах белели фоминские приказы. Жителей не было видно на улицах. Станица выжидающе таилась. В просветах переулков виднелась белая грудина заметенного снегом Дона. Лес за Доном чернел, как нарисованный тушью. Около серой каменной громады старой церкви овечьей отарой кучились приехавшие с хуторов к мужьям бабы.

Петро, одетый в опушенный по бортам полушубок с огромным карманом на груди и эту проклятую каракулевую офицерскую папаху, которой он недавно так гордился, ежеминутно чувствовал на себе косые, холодные взгляды. Они пронизывали его сквозняком, усугубляли и без того тревожно-растерянное состояние. Он смутно помнил, как на днище опрокинутой посредине плаца бочки вырос приземистый красноармеец в добротной шинели, новехонькой мерлушковой папашке с расстегнутыми мотузками наушников. Рукой в пуховой перчатке тот поправил обмотанный вокруг шеи дымчато-серый кроличий, казачий с махрами шарф, огляделся.

— Товарищи казаки! — резнул по ушам Петра низкий простуженный голос.

Оглянувшись, Петро увидел, как казаки, пораженные непривычным в их обиходе словом, переглядываются, подмигивают друг другу обещающе и взволнованно. Красноармеец долго говорил о Советской власти, о Красной Армии и взаимоотношениях с казачеством. Петру особенно запомнилось — оратора все время перебивали криками:

— Товарищ, а что такое коммуния?

— А нас в нее не запишут?

— А что за коммунистическая партия?

Оратор прижимал к груди руки, поворачивался во все стороны, терпеливо разъяснял:

— Товарищи! Коммунистическая партия — это дело добровольное. В партию вступают

по собственному желанию те, кто хочет бороться за великое дело освобождения рабочих и крестьян от гнета капиталистов и помещиков.

Через минуту из другого угла выкрикивали:

— Просим разъяснить насчет коммунистов и комиссаров!

После ответа не проходило и несколько минут, как снова чей-нибудь яровитый бас громыхал:

— Непонятно гутаришь про коммунию. Покорнейше просим растолковать. Мы — люди темные. Ты нам простыми словами жарь!

Потом нудно и долго говорил Фомин и часто, к делу и не к делу, щеголяя словом «экуироваться». Около Фомина вьюном вился какой-то молодой парень в студенческой фуражке и щегольском пальто. А Петро, слушая бессвязную речь Фомина, вспоминал, как в феврале 1917 года, в день, когда к нему приехала Дарья, в первый раз увидел он Фомина на станции по пути к Петрограду. Перед глазами его стоял строгий, влажно мерцающий взгляд широко посаженных глаз дезертира-атаманца, одетого в шинель с истертым номером «52» на урядницких погонах, медвежковатая его поступь. «Невтерпеж, братушка!» — слышались Петру невнятные слова. «Дезертир, дурак вроде Христони, и зараз — командир полка, а я в холодке», — горячечно блестя глазами, думал Петро.

Казак, опоясанный наперекрест пулеметными лентами, сменил Фомина.

— Братцы! Я сам у Подтелкова в отряде был, и вот ишо, может, бог даст, придется со своими идтить на кадетов! — хрипло кричал он, широко кидая руками.

Петро быстро зашагал к квартире. Седлал коня и слышал, как стреляли казаки, разъезжаясь из станицы, по старому обычаю оповещая хутора о возвращении служивых.

XIII

Пугающие тишиной, короткие дни под исход казались большими, как в страдную пору. Полегли хутора глухой целинной степью. Будто вымерло все Обдонье, будто мор опустошил станичные юрты. И стало так, словно покрыла Обдонье туча густым, непросветно-черным крылом, распростерлась немо и страшно и вот-вот пригнет к земле тополя вихрем, полыхнет сухим, трескучим раскатом грома и пойдет крушить и корежить белый лес за Доном, осыпать с меловых отрогов дикий камень, реветь погибельными голосами грозы…

С утра в Татарском застилал землю туман. Гора гудела к морозу. К полудню солнце вышелушивалось из хлипкой мглы, но от этого не становилось ярче. А туман потерянно бродил по высотам Обдонских гор, валился в яры, в отроги и гибнул там, оседая мокрой пылью на мшистых плитняках мела, на оснеженных голызинах гребней.

Вечерами из-за копий голого леса ночь поднимала калено-красный огромный щит месяца. Он мглисто сиял над притихшими хуторами кровяными отсветами войны и пожаров. И от его нещадного немеркнущего света рождалась у людей невнятная тревога, нудился скот. Лошади и быки, лишаясь сна, бродили до рассвета по базам. Выли собаки, и задолго до полуночи вразноголось начинали перекликиваться кочета. К заре заморозок ледком оковывал мокрые ветви деревьев. Ветром сталкивало их, и они звенели, как стальные стремена. Будто конная невидимая рать шла левобережьем Дона, темным лесом, в сизой тьме, позвякивая оружием и стременами.

Почти все татарские казаки, бывшие на Северном фронте, вернулись в хутор, самовольно покинув части, медленно оттягивавшиеся к Дону. Каждый день являлся кто-либо из запоздавших. Иной — для того, чтобы надолго расседлать строевого коня и ждать прихода

красных, засунув боевое снаряжение в стог соломы или под застреху сарая, а другой, отворив занесенную снегом калитку, только вводил коня на баз и, пополнив запас сухарей, переспав ночь с женкой, поутру выбирался на шлях, с бугра в остатний раз глядел на белый, мертвый простор Дона, на родимые места, кинутые, быть может, навсегда.

Кто зайдет смерти наперед? Кто разгадает конец человечьего пути?.. Трудно шли кони от хутора. Трудно рвали от спекшихся сердец казаки жалость к близким. И по этой перенесенной поземкой дороге многие мысленно возвращались домой. Много тяжелых думок было передумано по этой дороге… Может, и соленая, как кровь, слеза, скользнув по крылу седла, падала на стынущее стремя, на искусанную шипами подков дорогу. Да ведь на том месте по весне желтый лазоревый цветок расставанья не вырастет?

В ночь, после того как приехал из Вешенской Петро, в мелеховском курене начался семейный совет.

— Ну что? — спросил Пантелей Прокофьевич, едва Петро перешагнул порог. — Навоевался? Без погон приехал? Ну иди-иди поручкайся с братом, матерю порадуй, жена вон истосковалась… Здорово, здорово, Петяша… Григорий! Григорь Пантелеевич, что же ты на пече, как сурок, лежишь? Слазь!

Григорий свесил босые ноги с туго подтянутыми штрипками защитных шаровар и, с улыбкой почесывая черную, в дремучем волосе грудь, глядел, как Петро, перехилившись, снимает портупею, деревянными от мороза пальцами шарит по узлу башлыка. Дарья, безмолвно и улыбчиво засматривая в глаза мужа, расстегивала на нем петли полушубка, опасливо обходила с правой стороны, где рядом с кобурой нагана сизо посвечивала привязанная к поясу ручная граната.

На ходу коснувшись щекой заиндевевших усов брата, Дуняшка выбежала убрать коня. Ильинична, вытирая завеской губы, готовилась целовать «старшенького». Около печи хлопотала Наталья. Вцепившись в подол ее юбки, жались детишки. Все ждали от Петра слова, он, кинув с порога хриплое: «Здорово живете!» — молча раздевался, долго обметал сапоги просяным веником и, выпрямив согнутую спину, вдруг жалко задрожал губами, как-то потерянно прислонился к спинке кровати, и все неожиданно увидели на обмороженных, почерневших щеках его слезы.

— Служивый! Чего это ты? — под шутливостью хороня тревогу и дрожь в горле, спросил старик.

— Пропали мы, батя!

Петро длинно покривил рот, шевельнул белесыми бровями и, пряча глаза, высморкался в грязную, провонявшую табаком утирку.

Григорий ушиб ласкавшегося к нему кота, — крякнув, соскочил с печки. Мать заплакала, целуя завшивевшую голову Петра, но сейчас же оторвалась от него:

— Чадушка моя! Жалкий мой, молочка-то кисленького положить? Да ты иди, садись, щи охолонуть. Голодный, небось?

За столом, нянча на коленях племянника, Петро оживился: сдерживая волнение, рассказал об уходе с фронта 28-го полка, о бегстве командного состава, о Фомине и о последнем митинге в Вешенской.

— Как же ты думаешь? — спросил Григорий, не снимая с головы дочери черножилую руку.

— И думать нечего. Завтра вот переднюю, а к ночи поеду. Вы, маманя, харчей мне сготовьте, — повернулся он к матери.

— Отступать, значит?

Пантелей Прокофьевич утопил пальцы в кисете, да так и остался с высыпавшимся из

щепоти табаком, ожидая ответа.

Петро встал, крестясь на мутные, черного письма, иконы, смотрел сурово и горестно:

— Спаси Христос, наелся!.. Отступать, говоришь? А то как же? Чего же я останусь? Чтобы мне краснопузые кочан срубили? Может, вы думаете оставаться, а я… Не, уж я поеду! Офицеров они не милуют.

— А дом как же? Стал быть, бросим?

Петро только плечами повел на вопрос старика. Но сейчас же заголосила Дарья:

— Вы уедете, а мы должны оставаться? Хороши, нечего сказать! Ваше добро будем оберегать!.. Через него, может, и жизни лишишься! Сгори оно вам ясным огнем! Не останусь я!

Даже Наталья, и та вмешалась в разговор. Глуша звонкий речитатив Дарьи, выкрикнула:

— Ежели хутор миром тронется — и мы не останемся! Пеши уйдем!

— Дуры! Сучки! — исступленно заорал Пантелей Прокофьевич, перекатывая глаза, невольно ища костыль. — Стервы, мать вашу курицу! Цыцте, окаянные! Мушинское дело, а они равняются… Ну давайте бросим все и пойдем куда глаза глядят! А скотину куда денем? За пазуху покладем? А курень?

— Вы, бабочки, чисто умом тронулись! — обиженно поддержала его Ильинична. — Вы его, добро-то, не наживали, вам легко его кинуть. А мы со стариком день и ночь хрип гнули, да вот так-таки и кинуть? Нет уж! — Она поджала губы, вздохнула. — Идите, а я с места не тронусь. Нехай лучше у порога убьют — все легче, чем под чужим плетнем сдыхать!

Пантелей Прокофьевич подкрутил фитиль у лампы, сопя и вздыхая. На минуту все замолчали. Дуняшка, надвязывавшая паголенок чулка, подняла от спиц голову, шепотом сказала:

— Скотину с собой можно угнать… Не оставаться же из-за скотины.

И опять бешенство запалило старика. Он, как стоялый жеребец, затопал ногами, чуть не упал, споткнувшись о лежавшего у печки козленка. Остановившись против Дуняшки, оранул:

— Погоним! А старая корова починает — это как? Докель ты ее догонишь? Ах ты, фитинов в твою дыхало! Бездомовница! Поганка! Гнида! Наживал-наживал им — и вот что припало услыхать!.. А овец? Ягнят куда денешь?.. Ох, ох, су-у-кина дочь! Молчала бы!

Григорий искоса глянул на Петра и, как когда-то давным-давно, увидел в карих родных глазах его озорную, подтрунивающую и в то же время смиренно-почтительную улыбку, знакомую дрожь пшеничных усов. Петро молниеносно мигнул, весь затрясся от сдерживаемого хохота. Григорий и в себе радостно ощутил эту, несвойственную ему за последние годы податливость на смех, не таясь засмеялся глухо и раскатисто.

— Ну вот!.. Слава богу… Погутарили! — Старик гневно шибнул в него взглядом и сел, отвернувшись к окну, расшитому белым пухом инея.

Только в полночь пришли к общему решению: казакам ехать в отступ, а бабам оставаться караулить дом и хозяйство.

Задолго до света Ильинична затопила печь и к утру уже выпекла хлеб и насушила две сумы сухарей. Старик, позавтракав при огне, с рассветом пошел убирать скотину, готовить к отъезду сани. Он долго стоял в амбаре, сунув руку в набитый пшеницей-гарновкой закром, процеживая сквозь пальцы ядреное зерно. Вышел, будто от покойника: сняв шапку, тихо притворив за собой желтую дверь.

Он еще возился под навесом сарая, меняя на санях кошелку, когда на проулке показался Аникушка, гнавший на водопой корову. Поздоровались.

— Собрался в отступ, Аникей?

— Мне собраться, как голому подпоясаться. Мое — во мне, а чужое будет при мне!

— Нового что слышно?

— Новостей много, Прокофич!

— А что? — встревожился Пантелей Прокофьевич, воткнув в ручницу саней топор.

— Красные что не видно [62] будут. Подходят к Вешкам. Человек видал с Большого Громка, рассказывал, будто нехорошо идут. Режут людей… У них жиды да китайцы, загреби их в пыль! Мало мы их, чертей косоглазых, побили!

— Режут?!

— Ну, а то нюхают! А тут чигуня [63] проклятая! — Аникушка заматерился и пошел мимо плетня, на ходу договаривая: — Задонские бабы дымки наварили, поют их, чтоб лиха им не делали, а они напьются, другой хутор займут и шебаршат.

Старик установил кошелку, обошел все сараи, оглядывая каждый стоянок и плетень, поставленный его руками. А потом взял вахли [64], захромал на гумно надергать на дорогу сена. Он вытащил из прикладка железный крюк и, все еще не почувствовав неотвратимости отъезда, стал дергать сено похуже, с бурьяном (доброе он всегда приберегал к весенней пахоте), но одумался и, досадуя на себя, перешел к другому стогу. До его сознания как-то не дошло, что вот через несколько часов он покинет баз и хутор и поедет куда-то на юг и, может быть, даже не вернется. Он надергал сена и снова, по-старому, потянулся к граблям, чтобы подгресть, но, отдернув руку, как от горячего, вытирая вспотевший под треухом лоб, вслух сказал:

— Да на что ж мне его беречь-то теперь? Все одно ить помечут коням под ноги, потравют зазря али сожгут.

Хряпнув об колено грабельник, он заскрипел зубами, понес вахли с сеном, старчески шаркая ногами, сгорбясь и постарев спиной.

В курень он не вошел, а, приоткрыв дверь, сказал:

— Собирайтесь! Зараз буду запрягать. Как бы не припозднитьcя.

Уже накинул на лошадей шлейки, уложил в задок чувал с овсом и, дивясь про себя, что сыны так долго не выходят седлать коней, снова пошел к куреню.

В курене творилось чудное: Петро ожесточенно расшматовывал узлы, приготовленные в отступ, выкидывал прямо на пол шаровары, мундиры, праздничные бабьи наряды.

— Это что же такое? — в совершенном изумлении спросил Пантелей Прокофьевич и даже треух снял.

— А вот! — Петро через плечо указал большим пальцем на баб, закончил: — Ревут. И мы никуда не поедем! Ехать — так всем, а не ехать — так никому! Их, может, тут сильничать красные будут, а мы поедем добро спасать? А убивать будут — на ихних глазах помрем!

— Раздевайся, батя! — Григорий, улыбаясь, снимал с себя шинель и шашку, а сзади ловила и целовала его руку плачущая Наталья и радостно шлепала в ладоши маково-красная Дуняшка.

Старик надел треух, но сейчас же снова снял его и, подойдя к переднему углу, закрестился широким, машистым крестом. Он положил три поклона, встал с колен, оглядел всех:

— Ну, коли так — остаемся! Укрой и оборони нас, царица небесная! Пойду распрягать.

Прибежал Аникушка. В мелеховском курене поразили его сплошь смеющиеся, веселые лица.

— Чего же вы?

— Не поедут наши казаки! — за всех ответила Дарья.

— Вот так хны! Раздумали?

— Раздумали! — Григорий нехотя оскалил рафинадно-синюю подковку зубов,

подмигнул: — Смерть — ее нечего искать, она и тут налапает.

— Офицерья не едут, а нам и бог велел! — И Аникушка, как на копытах, прогрохотал с крыльца и мимо окон.

XIV

В Вешенской на заборах трепыхались фоминские приказы. С часу на час ждали прихода красных войск. А в Каргинской, в тридцати пяти верстах от Вешенской, находился штаб Северного фронта. В ночь на 4 января пришел отряд чеченцев, и спешно, походным порядком, от станицы Усть-Белокалитвенской двигался на фоминский мятежный полк карательный отряд войскового старшины Романа Лазарева.

Чеченцы должны были 5-го идти в наступление на Вешенскую. Разведка их уже побывала на Белогорке. Но наступление сорвалось: перебежчик из фоминских казаков сообщил, что значительные силы Красной Армии ночуют на Гороховке и 5-го должны быть в Вешенской.

Краснов, занятый прибывшими в Новочеркасск союзниками, пытался воздействовать на Фомина. Он вызвал его к прямому проводу Новочеркасск — Вешенская. Телеграф, до этого настойчиво выстукивавший «Вешенская, Фомина», связал короткий разговор.

«Вешенская Фомину точка Урядник Фомин зпт приказываю образумиться и стать с полком на позицию точка Двинут карательный отряд точка Ослушание влечет смертную казнь точка Краснов».

При свете керосиновой лампы Фомин, расстегнув полушубок, смотрел, как из-под пальцев телеграфиста бежит, змеясь, испятнанная коричневыми блестками тонкая бумажная стружка, говорил, дыша в затылок Телеграфисту морозом и самогонкой:

— Ну чего там брешет? Образумиться? Кончил он?.. Пиши ему… Что-о-о? Как это — нельзя? Приказываю, а то зараз зоб с потрохами вырву!

И телеграф застучал:

«Новочеркасск атаману Краснову точка Катись под такую мать точка Фомин».

Положение на Северном фронте стало чревато такими осложнениями, что Краснов решил сам выехать в Каргинскую, чтобы оттуда непосредственно направить «карающую десницу» против Фомина и, главное, поднять дух деморализованных казаков. С этой целью он и пригласил союзников в поездку по фронту.

В слободе Бутурлиновке был устроен смотр только что вышедшему из боя Гундоровскому георгиевскому полку. Краснов после смотра стал около полкового штандарта. Поворачиваясь корпусом вправо, зычно крикнул:

— Кто служил под моей командой в Десятом полку — шаг вперед!

Почти половина гундоровцев вышла перед строй. Краснов снял папаху, крест-накрест поцеловал ближнего к нему немолодого, но молодецкого вахмистра. Вахмистр рукавом шинели вытер подстриженные усы, обмер, растерянно вытаращил глаза. Краснов перецеловался со всеми полчанинами. Союзники были поражены, недоуменно перешептывались. Но удивление сменили улыбки и сдержанное одобрение, когда Краснов, подойдя к ним, пояснил:

— Это те герои, с которыми я бил немцев под Незвиской, австрийцев у Белжеца и Комарова и помогал нашей общей победе над врагом.

…По обеим сторонам солнца, как часовые у денежного ящика, мертво стояли радужные, в белой опояси столбы. Холодный северо-восточный ветер горнистом трубил в лесах, мчался

по степи, разворачиваясь в лаву, опрокидываясь и круша ощетиненные каре бурьянов. К вечеру 6 января (над Чиром уже завесой повисли сумерки) Краснов, в сопутствии офицеров английской королевской службы — Эдвардса и Олкотта, и французов — капитана Бартело и лейтенанта Эрлиха, прибыл в Каргинскую. Союзники — в шубах, в мохнатых заячьих папахах, со смехом, ежась и постукивая ногами, вышли из автомобилей, овеянные запахами сигар и одеколона. Согревшись на квартире богатого купца Левочкина, напившись чаю, офицеры вместе с Красновым и командующим Северным фронтом генерал-майором Ивановым пошли в школу, где должно было состояться собрание.

Краснов долго говорил перед настороженными толпами казаков. Его слушали внимательно, хорошо. Но когда он в речи стал живописно изображать «зверства большевиков», творимые в занимаемых ими станицах, из задних рядов, из табачной сини кто-то крикнул в сердцах:

— Неправда! — И сорвал впечатление.

Наутро Краснов с союзниками спешно уехал в Миллерово.

Столь же поспешно эвакуировался штаб Северного фронта. По станице до вечера рыскали чеченцы, вылавливали не хотевших отступать казаков. Ночью был подожжен склад огнеприпасов. До полуночи, как огромный ворох горячего хвороста, трещали винтовочные патроны; обвально прогрохотали взорвавшиеся снаряды. На другой день, когда на площади шло молебствие перед отступлением, с Каргинского бугра застрочил пулемет. Пули вешним градом забарабанили по церковной крыше, и все в беспорядке хлынуло в степь. Лазарев со своим отрядом и немногочисленные казачьи части пытались заслонить отступавших: пехота цепью легла за ветряком, 36-я Каргинская батарея под командой каргинца, есаула Федора Попова, обстреляла беглым огнем наступавших красных, но вскоре взялась на передки. А пехоту красная конница обошла с хутора Латышева и, прижучив в ярах, изрубила человек двадцать каргинских стариков, в насмешку окрещенных кем-то «гайдамаками».

XV

Решение не отступать вновь вернуло в глазах Пантелея Прокофьевича силу и значимость вещам.

Вечером вышел он метать скотине и, уже не колеблясь, надергал сена из худшего прикладка. На темном базу долго со всех сторон охаживал корову, удовлетворенно думая: «Починает, дюже толстая. Уж не двойню ли господь даст?» Все ему опять стало родным, близким; все, от чего он уже мысленно отрешился, обрело прежнюю значительность и вес. Он уже успел за короткий предвечерний час и Дуняшку выругать за то, что мякину просыпала у катуха и не выдолбила льда из корыта, и лаз заделать, пробитый в плетне боровом Степана Астахова. Кстати, спросил у Аксиньи, выскочившей закрыть ставни, про Степана — думает ли ехать в отступ? Аксинья, кутаясь в платок, певуче говорила:

— Нет, нет, где уж ему уехать! Лежит зараз на пече, вроде лихоманка его трепет… Лоб горячий, и на нутро жалится. Захворал Степа. Не поедет…

— И наши тоже. И мы, то есть, не поедем. Чума его знает, к лучшему оно али нет…

Смеркалось. За Доном, за серой пропастью леса, в зеленоватой глубине жгуче горела Полярная звезда. Окраина неба на востоке крылась багрянцем. Вставало зарево. На раскидистых рогах осокоря торчала срезанная горбушка месяца. На снегу смыкались невнятные тени. Темнели сугробы. Было так тихо, что Пантелей Прокофьевич слышал, как на Дону у проруби кто-то, наверное Аникушка, долбил лед пешней. Льдинки брызгали и бились,

стеклянно вызванивая. Да на базу размеренно хрустели сеном быки.

В кухне зажгли огонь. В просвете окна скользнула Наталья. Пантелея Прокофьевича потянуло к теплу. Он застал всех домашних в сборе, Дуняшка только что пришла от Христониной жены. Опорожняла чашку с накваской и, боясь, как бы не перебили, торопливо рассказывала новости.

В горнице Григорий смазал винтовку, наган, шашку; завернул в полотенце бинокль, позвал Петра:

— Ты свое прибрал? Неси. Надо схоронить.

— А что, ежели обороняться придется?

— Молчал бы уж! — усмехнулся Григорий. — Гляди, а то найдут, за мотню на ворота повесют.

Они вышли на баз. Оружие, неведомо почему, спрятали порознь. Но новенький черный наган Григорий сунул в горнице под подушку.

Едва лишь поужинали и среди вялых разговоров стали собираться спать, на базу хрипато забрехал цепной кобель, кидаясь на привязи, хрипя от душившего ошейника. Старик вышел посмотреть, вернулся с кем-то, по брови укутанным башлыком. Человек при полном боевом, туго стянутый белым ремнем, войдя, перекрестился; изо рта, обведенного инеем, похожего на белую букву «о», повалил пар:

— Должно, не узнаете меня?

— Да ить это сват Макар! — вскрикнула Дарья.

И тут только Петро и все остальные угадали дальнего родственника, Макара Ногайцева, — казака с хутора Сингина, — известного во всем округе редкостного песенника и пьяницу.

— Каким тебя лихом занесло? — улыбался Петро, но с места не встал.

Ногайцев, содрав с усов, покидал к порогу сосульки, потопал ногами в огромных, подшитых кожей валенках, не спеша стал раздеваться.

— Одному, сдается, скучно ехать в отступ — дай-ка, думаю, заеду за сватами. Слух поимел, что обои вы дома. Заеду, говорю бабе, за Мелеховыми, все веселей будет.

Он отнес винтовку и поставил у печки, рядом с рогачами, вызвав у баб улыбки и смех. Подсумок сунул под загнетку, а шашку и плеть почетно положил на кровать. И на этот раз Макар пахуче дышал самогонкой, большие, навыкате, глаза дымились пьяным хмельком, в мокром колтуне бороды белел ровный набор голубоватых, как донские ракушки, зубов.

— С Сингиных аль не выступают казаки? — спросил Григорий, протягивая шитый бисером кисет.

Гость кисет отвел рукой:

— Не займаюсь табачком… Казаки-то? Кто уехал, а кто сурчину ищет, где бы схорониться. Вы-то поедете?

— Не поедут наши казаки. Ты уж не мани их! — испугалась Ильинична.

— Неужели остаетесь? Ажник не верю! Сват Григорий, верно? Жизни решаетесь, братушки!

— Что будет… — вздохнул Петро и, внезапно охваченный огневым румянцем, спросил: — Григорий! Ты как? Не раздумал? Может, поедем?

— Нет уж.

Табачный дым окутал Григория и долго колыхался над курчеватым смоляным чубом.

— Коня твоего отец убирает? — не к месту спросил Петро.

Тишина захрясла надолго. Только прялка под ногой Дуняшки шмелем жужжала, навевая дрему.

Ногайцев просидел до белой зорьки, все уговаривая братьев Мелеховых ехать за Донец. За ночь Петро два раза без шапки выбегал седлать коня и оба раза шел расседлывать, пронзаемый грозящими Дарьиными глазами.

Занялся свет, и гость засобирался. Уже одетый, держась за дверную скобку, он значительно покашлял, сказал с потаенной угрозой:

— Может, оно и к лучшему, а тольки всхомянетесь вы после. Доведется нам вернуться оттель — мы припомним, какие красным на Дон ворота отворяли, оставались им служить…

С утра густо посыпал снег. Выйдя на баз, Григорий увидел, как из-за Дона на переезд ввалился чернеющий ком людей. Лошади восьмеркой тащили что-то, слышались говор, понуканье, матерная ругань. Сквозь метель, как в тумане, маячили седые силуэты людей и лошадей. Григорий по четверной упряжке угадал: «Батарея… Неужели красные?» От этой мысли сдвоило сердце, но, поразмыслив, он успокоил себя.

Раздерганная толпа приближалась к хутору, далеко обогнув черное, глядевшее в небо жерло полыньи. Но на выезде переднее орудие, сломав подмытый у берега ледок, обрушилось одним колесом. Ветер донес крик ездовых, хруст крошащегося льда и торопкий, оскользающий перебор лошадиных копыт. Григорий прошел на скотиний баз, осторожно выглянул. На шинелях всадников разглядел засыпанные снегом погоны, по обличью угадал казаков.

Минут пять спустя в ворота въехал на рослом, ширококрупом коне стариковатый вахмистр. Он слез у крыльца, чембур привязал к перилам, вошел в курень.

— Кто тут хозяин? — спросил он, поздоровавшись.

— Я… — ответил Пантелей Прокофьевич, испуганно ждавший следующего вопроса. «А почему ваши казаки дома?»

Но вахмистр кулаком расправил белые от снега, витые и длинные, как аксельбанты, усы, попросил:

— Станишники! Помогите, ради Христа, выручить орудие! Провалилось у берега по самые ося… Может, бечевы есть? Это какой хутор? Заблудились мы. Нам бы в Еланскую станицу надо, но такая посыпала — зги не видать. Малшрут мы потеряли, а тут красные вот-вот хвост прищемют.

— Я не знаю, ей-богу… — замялся старик.

— Чего тут знать! Вон у вас казаки какие… Нам и людей бы — надо помочь.

— Хвораю я, — сбрехнул Пантелей Прокофьевич.

— Что ж вы, братцы! — Вахмистр, как волк, не поворачивая шеи, оглядел всех. Голос его будто помолодел и выпрямился. — Аль вы не казаки? Значит, нехай пропадет войсковое имущество? Я за командира батареи остался, офицеры поразбегались, неделю вот с коня не схожу, обморозился, пальцы на ноге поотпали, но я жизни решуся, а батарею не брошу! А вы… Тут нечего! Добром не хотите — я зараз кликну казаков, и мы вас… — вахмистр со слезой и гневом выкрикнул: — заставим, сукины сыны! Большевики! В гроб вашу мать! Мы тебя, дед, самого запрягем, коли хошь! Иди народ кличь, а не пойдут, — накажи бог, вернусь на энтот бок и хутор ваш весь с землей смешаю…

Он говорил, как человек, не совсем уверенный в своей силе. Григорию стало жаль его. Схватил шапку, сурово, не глянув на расходившегося вахмистра, сказал:

— Ты не разоряйся. Нечего тут. Выручить помогем, а там езжай с богом.

Положив плетни, батарею переправили. Народу сошлось немало. Аникушка, Христоня, Томилин Иван, Мелеховы и с десяток баб при помощи батарейцев выкатили орудия и зарядные ящики, пособили лошадям взять подъем. Обмерзшие колеса не крутились, скользили по снегу. Истощенные лошади трудно брали самую малую горку. Номера, половина

которых разбежалась, шли пешком. Вахмистр снял шапку, поклонился, поблагодарил помогавших и, поворачиваясь в седле, негромко приказал:

— Батарея, за мной!

Вслед ему Григорий глядел почтительно, с недоверчивым изумлением. Петро подошел, пожевал ус и, словно отвечая на мысль Григория, сказал:

— Кабы все такие были! Вот как надо тихий Дон-то оборонять!

— Ты про усатого? Про вахмистра? — спросил, подходя, захлюстанный по уши Христоня. — И гляди, стал быть, дотянет свои пушки. Как он, язви его, на меня плетью замахнись! И вдарил бы, — стал быть, человек в отчаянности. Я не хотел идтить, а потом, признаться, спужался. Хучь и валенков нету, а пошел. И скажи, на что ему, дураку, эти пушки? Как шкодливая свинья с колодкой: и трудно и не на добро, а тянет…

Казаки разошлись, молча улыбаясь.

XVI

Далеко за Доном — время перевалило уже за обед — пулемет глухо выщелкал две очереди и смолк.

Через полчаса Григорий, не отходивший от окна в горнице, ступил назад, до скул оделся пепельной синевой:

— Вот они!

Ильинична ахнула, кинулась к окну. По улице вроссыпь скакали восемь конных. Они на рысях дошли до мелеховского база, — приостановившись, оглядели переезд за Дон, чернотрупный проследок, стиснутый Доном и горой, повернули обратно. Сытые лошади их, мотая куце обрезанными хвостами, закидали, забрызгали снежными ошметками. Конная разведка, рекогносцировавшая хутор, скрылась. Спустя час Татарский налился скрипом шагов, чужою, окающей речью, собачьим брехом. Пехотный полк, с пулеметами на санях, с обозом и кухнями, перешел Дон и разлился по хутору.

Как ни страшен был этот первый момент вступления вражеского войска, но смешливая Дуняшка не вытерпела и тут: когда разведка повернула обратно, она фыркнула в завеску, выбежала на кухню. Наталья встретила ее испуганным взглядом:

— Ты чего?

— Ох, Наташенька! Милушка!.. Как они верхами ездют! Уж он по седлу взад-вперед, взад-вперед… А руки в локтях болтаются. И сами — как из лоскутов сделанные, все у них трясется!

Она так мастерски воспроизвела, как ерзали в седлах красноармейцы, что Наталья добежала, давясь смехом, до кровати, упала в подушки, чтоб не привлечь гневного внимания свекра.

Пантелей Прокофьевич в мелком трясучем ознобе бесцельно передвигал по лавке в бокоуше дратву, шилья, баночку с березовыми шпильками и все поглядывал в окно сузившимся, затравленным взглядом.

А в кухне расходились бабы, словно не перед добром: пунцовая Дуняшка с мокрыми от слез глазами, блестевшими, как зерна обрызганного росой паслена, показывала Дарье посадку в седлах красноармейцев и в размеренные движения с бессознательным цинизмом вкладывала непристойный намек. Ломались от нервного смеха у Дарьи крутые подковы крашеных бровей, она хохотала, хрипло и сдавленно выговаривая:

— Небось, шаровары до дыр изотрет!.. Такой-то ездок… Луку выгнет!..

Даже Петра, вышедшего из горницы с убитым видом, на минуту развеселил смех.

— Чудно глядеть на ихнюю езду? — спросил он. — А им не жалко. Побьют спину коню — другого подцепют. Мужики! — И с бесконечным презрением махнул рукой. — Он и лошадь-то, может, в первый раз видит: «Малти поедим, гляди — и доедим». Отцы ихние колесного скрипу боялись, а они джигитуют!.. Эх! — Он похрустел пальцами, ткнулся в дверь горницы.

Красноармейцы толпой валили вдоль улицы, разбивались на группы, заходили во дворы. Трое свернули в воротца к Аникушке, пятеро, из них один конный, остались около астаховского куреня, а остальные пятеро направились вдоль плетня к Мелеховым. Впереди шел невысокий пожилой красноармеец, бритый, с приплюснутым, широконоздрым носом, сам весь ловкий, подбористый, с маху видать — старый фронтовик. Он первый вошел на мелеховский баз и, остановившись около крыльца, с минуту, угнув голову, глядел, как гремит на привязи желтый кобель, задыхаясь и захлебываясь лаем; потом снял с плеча винтовку. Выстрел сорвал с крыши белый дымок инея. Григорий, поправляя ворот душившей его рубахи, увидел в окно, как в снегу, пятня его кровью, катается собака, в предсмертной яростной муке грызет простреленный бок и железную цепь. Оглянувшись, Григорий увидел омытые бледностью лица женщин, беспамятные глаза матери. Он без шапки шагнул в сенцы.

— Оставь! — чужим голосом крикнул вслед отец.

Григорий распахнул дверь. На порог, звеня, упала порожняя гильза. В калитку входили отставшие красноармейцы.

— За что убил собаку? Помешала? — спросил Григорий, став на пороге.

Широкие ноздри красноармейца хватнули воздуха, углы тонких, выбритых досиня губ сползли вниз. Он оглянулся, перекинул винтовку на руку:

— А тебе что? Жалко? А мне вот и на тебя патрон не жалко потратить. Хочешь? Становись!

— Но-но, брось, Александр! — подходя и смеясь, проговорил рослый рыжебровый красноармеец. — Здравствуйте, хозяин! Красных видали? Принимайте на квартиру. Это он вашу собачку убил? Напрасно!.. Товарищи, проходите.

Последним вошел Григорий. Красноармейцы весело здоровались, снимали подсумки, кожаные японские патронташи, на кровать в кучу валили шинели, ватные теплушки, шапки. И сразу весь курень наполнился ядовито-пахучим спиртовым духом солдатчины, неделимым запахом людского пота, табака, дешевого мыла, ружейного масла — запахом дальних путин.

Тот, которого звали Александром, сел за стол, закурил папиросу и, словно продолжая начатый с Григорием разговор, спросил:

— Ты в белых был?

— Да…

— Вот… Я сразу вижу сову по полету, а тебя по соплям. Беленький! Офицер, а? Золотые погоны?

Дым он столбом выбрасывал из ноздрей, сверлил стоявшего у притолоки Григория холодными, безулыбчивыми глазами и все постукивал снизу папиросу прокуренным выпуклым ногтем.

— Офицер ведь? Признавайся! Я по выражению вижу: сам, чай, германскую сломал.

— Был офицером, — Григорий насильственно улыбнулся и, поймав сбоку на себе испуганный, молящий взгляд Натальи, нахмурился, подрожал бровью. Ему стало досадно за свою улыбку.

— Жаль! Оказывается, не в собаку надо было стрелять…

Красноармеец бросил окурок под ноги Григорию, подмигнул остальным.

И опять Григорий почувствовал, как, помимо воли, кривит его губы улыбка, виноватая и просящая, и он покраснел от стыда за свое невольное, не подвластное разуму проявление слабости. «Как нашкодившая собака перед хозяином», — стыдом ожгла его мысль, и на миг выросло перед глазами: такой же улыбкой щерил черные атласные губы убитый белогрудый кобель, когда он, Григорий, хозяин, вольный и в жизни его и в смерти, подходил к нему и кобель, падая на спину, оголял молодые резцы, бил пушистым рыжим хвостом…

Пантелей Прокофьевич все тем же незнакомым Григорию голосом спросил: может, гости хотят вечерять? Тогда он прикажет хозяйке…

Ильинична, не дожидаясь согласия, рванулась к печке. Рогач в руках ее дрожал, и она никак не могла поднять чугун со щами. Опустив глаза, Дарья собрала на стол. Красноармейцы рассаживались, не крестясь. Старик наблюдал за ними со страхом и скрытым отвращением. Наконец не выдержал, спросил:

— Богу, значит, не молитесь?

Только тут подобие улыбки скользнуло по губам Александра. Под дружный хохот остальных он ответил:

— И тебе бы, отец, не советовал! Мы своих богов давно отправили… — Запнулся, стиснул брови. — Бога нет, а дураки верят, молятся вот этим деревяшкам!

— Так, так… Ученые люди — они, конечно, достигли, — испуганно согласился Пантелей Прокофьевич.

Против каждого Дарья положила по ложке, но Александр отодвинул свою, попросил:

— Может быть, есть не деревянная? Недостает еще заразы набраться! Разве это ложка? Огрызок!

Дарья пыхнула порохом:

— Свою надо иметь, ежели чужими гребуете.

— Но, ты помолчи, молодка! Нет ложки? Тогда дай чистое полотенце, вытру эту.

Ильинична поставила в миске щи, он и ее попросил:

— Откушай сама сначала, мамаша.

— Чего мне их кушать? Может, пересоленные? — испугалась старуха.

— Ты откушай, откушай! Не подсыпала ли ты гостям порошка какого…

— Зачерпни! Ну? — строго приказал Пантелей Прокофьевич и сжал губы. После этого он принес из бокоуши сапожный инструмент, подвинул к окну ольховый обрубок, служивший ему стулом, приладил в пузырьке жирник и сел со старым сапогом в обнимку. В разговор больше не вступал.

Петро не показывался из горницы. Там же сидела с детьми и Наталья. Дуняшка вязала чулок, прижавшись к печке, но после того как один из красноармейцев назвал ее «барышней» и пригласил поужинать, она ушла. Разговор умолк. Поужинав, красноармейцы закурили.

— У вас можно курить? — спросил рыжебровый.

— Своих трубокуров полно, — неохотно сказала Ильинична.

Григорий отказался от предложенной ему папироски. У него все внутри дрожало, к сердцу приливала щемящая волна при взгляде на того, который застрелил собаку и все время держался в отношении его вызывающе и нагло. Он, как видно, хотел столкновения и все время искал случая уязвить Григория, вызвать его на разговор.

— В каком полку служили, ваше благородие?

— В разных.

— Сколько наших убил?

— На войне не считают. Ты, товарищ, не думай, что я родился офицером. Я им с германской пришел. За боевые отличия дали мне лычки эти…

— Я офицерам не товарищ! Вашего брата мы к стенке ставим. Я — грешник — тоже не одного на мушку посадил.

— Я тебе вот что скажу, товарищ… Негоже ты ведешь себя: будто вы хутор с бою взяли. Мы ить сами бросили фронт, пустили вас, а ты как в завоеванную сторону пришел… Собак стрелять — это всякий сумеет, и безоружного убить и обидеть тоже нехитро…

— Ты мне не указывай! Знаем мы вас! «Фронт бросили»! Если б не набили вам, так не бросили бы. И разговаривать с тобой я могу по-всякому.

— Оставь, Александр! Надоело! — просил рыжебровый.

Но тот уже подошел к Григорию, раздувая ноздри, дыша с сапом и свистом:

— Ты меня лучше не тронь, офицер, а то худо будет!

— Я вас не трогаю.

— Нет, трогаешь!

Приоткрывая дверь, Наталья сорванным голосом позвала Григория. Он обошел стоявшего против него красноармейца, пошел и качнулся в дверях, как пьяный. Петро встретил его ненавидящим, стенящим шепотом:

— Что ты делаешь?.. На черта он тебе сдался? Чего ты с ним связываешься. И себя и нас сгубишь! Сядь!.. — Он с силой толкнул Григория на сундук, вышел в кухню.

Григорий раскрытым ртом жадно хлебал воздух, от смуглых щек его отходил черный румянец, и потускневшие глаза обретали слабый блеск.

— Гриша! Гришенька! Родненький! Не связывайся! — просила Наталья, дрожа, зажимая рты готовым зареветь детишкам.

— Чего ж я не уехал? — спросил Григорий и, тоскуя, глянул на Наталью. — Не буду. Цыц! Сердцу нет мочи терпеть!

Позднее пришли еще трое красноармейцев. Один, в высокой черной папахе, по виду начальник, спросил:

— Сколько поставлено на квартиру?

— Семь человек, — за всех ответил рыжебровый, перебиравший певучие лады ливенки.

— Пулеметная застава будет здесь. Потеснитесь.

Ушли. И сейчас же заскрипели ворота. На баз въехали две подводы. Один из пулеметов втащили в сенцы. Кто-то жег спички в темноте и яростно матерился. Под навесом сарая курили, на гумне, дергая сено, зажигали огонь, но никто из хозяев не вышел.

— Пошел бы, коней глянул, — шепнула Ильинична, проходя мимо старика.

Тот только плечами дрогнул, а пойти — не пошел. Всю ночь хлопали двери. Белый пар висел под потолком и росой садился на стены. Красноармейцы постелили себе в горнице на полу. Григорий принес и расстелил им полсть, в голова положил свой полушубок.

— Сам служил, знаю, — примиряюще улыбнулся он тому, кто чувствовал в нем врага.

Но широкие ноздри красноармейца зашевелились, взгляд непримиримо скользил по Григорию…

Григорий и Наталья легли в той же комнате на кровати. Красноармейцы, сложив винтовки в головах, вповалку разместились на полсти. Наталья хотела потушить лампу, у нее внушительно спросили:

— Тебя кто просил гасить огонь? Не смей! Прикрути фитиль, а огонь должен гореть всю ночь.

Детей Наталья уложила в ногах, сама, не раздеваясь, легла к стенке, Григорий, закинув руки, лежал молча.

«Ушли бы мы, — стискивая зубы, прижимаясь сердцем к углу подушки, думал Григорий. — Ушли бы в отступ, и вот сейчас Наташку распинали бы на этой кровати и

тешились над ней, как тогда в Польше над Франей…»

Кто-то из красноармейцев начал рассказ, но знакомый голос перебил его, зазвучал в мутной полутьме с выжидающими паузами:

— Эх, скучно без бабы! Зубами бы грыз… Но хозяин — он офицер… Простым, которые сопливые, они жен не уступают… Слышишь, хозяин?

Кто-то из красноармейцев уже храпел, кто-то сонно засмеялся. Голос рыжебрового зазвучал угрожающе:

— Ну, Александр, мне надоело тебя уговаривать. На каждой квартире ты скандалишь, фулиганишь, позоришь красноармейское звание. Этак не годится! Сейчас вот иду к комиссару или к ротному. Слышишь? Мы с тобой поговорим!

Пристыла тишина. Слышно было только, как рыжебровый, сердито сопя, натягивает сапоги. Через минуту он вышел, хлопнув дверью.

Наталья, не удержавшись, громко всхлипнула. Григорий рукой трясуче гладил голову ее, потный лоб и мокрое лицо. Правой спокойно шарил у себя по груди, а пальцы механически застегивали и расстегивали пуговицы нательной рубахи.

— Молчи, молчи! — чуть слышно шептал он Наталье. И в этот миг знал непреложно, что духом готов на любое испытание и унижение, лишь бы сберечь свою и родимых жизнь.

Спичка осветила лицо привставшего Александра, широкий обод носа, рот, присосавшийся к папироске. Слышно было, как он вполголоса заворчал и, вздохнув сквозь многоголосый храп, стал одеваться.

Григорий, нетерпеливо прислушивавшийся, в душе бесконечно благодарный рыжебровому, радостно дрогнул, услышав под окном шаги и негодующий голос:

— И вот он все привязывается… что делать… беда… товарищ комиссар…

Шаги зазвучали в сенцах, скрипнула, отворившись, дверь. Чей-то молодой командный голос приказал:

— Александр Тюрников, одевайся и сейчас же уходи отсюда. Ночевать будешь у меня на квартире, а завтра мы тебя будем судить за недостойное красноармейца поведение.

Григорий встретил доброжелательный острый взгляд стоявшего у дверей, рядом с рыжебровым, человека в черной кожаной куртке.

Он по виду молод и по-молодому суров; с чересчур уж подчеркнутой твердостью были сжаты его губы, обметанные юношеским пушком.

— Беспокойный гость попался, товарищ? — обратился он к Григорию, чуть приметно улыбаясь. — Ну, теперь спите, мы его завтра утихомирим. Всего доброго. Идем, Тюрников!

Ушли, и Григорий вздохнул облегченно. А наутро рыжебровый, расплачиваясь за квартиру и харчи, нарочито замешкался и сказал:

— Вот, хозяева, не обижайтесь на нас. У нас этот Александр вроде головой тронутый. У него в прошлом году на глазах офицеры в Луганске — он из Луганска родом — расстреляли мать и сестру. Оттого он такой… Ну спасибо. Прощайте. Да, вот детишкам чуть было не забыл! — И, к несказанной радости ребят, вытащил из вещевого мешка и сунул им в руки по куску серого от грязи сахара.

Пантелей Прокофьевич растроганно глядел на внуков:

— Ну вот им гостинец! Мы его, сахар-то, года полтора уж не видим… Спаси Христос, товарищ!.. Кланяйтесь дяденьке! Полюшка, благодари!.. Милушка, чего же ты набычилась, стоишь?

Красноармеец вышел, и старик — гневно к Наталье:

— Необразованность ваша! Хочь бы пышку дала ему на дорогу. Отдарить-то надо доброго человека? Эх!

— Беги! — приказал Григорий.

Наталья, накинув платок, догнала рыжебрового за калиткой. Краснея от смущения, сунула пышку ему в глубокий, как степной колодец, карман шинели.

XVII

В полдень через хутор спешным маршем прошел 6-й Мценский краснознаменный полк, захватив кое у кого из казаков строевых лошадей. За бугром далеко погромыхивали орудийные раскаты.

— По Чиру бой идет, — определил Пантелей Прокофьевич.

На вечерней заре и Петро и Григорий не раз выходили на баз. Слышно было по Дону, как где-то, не ближе Усть-Хоперской, глухо гудели орудия и совсем тихо (нужно было припадать ухом к промерзлой земле) выстрачивали пулеметы.

— Неплохо и там ослaнивают! Генерал Гусельщиков там с гундоровцами, — говорил Петро, обметая снег с колен и папахи, и уж совершенно не к разговору добавил: — Коней заберут у нас. Твой конь, Григорий, из себя видный, видит бог — возьмут!

Но старик догадался раньше их. На ночь повел Григорий обоих строевых поить, вывел из дверей, увидел: кони улегают на передние. Провел своего — хромает вовсю; то же и с Петровым. Позвал брата:

— Обезножели кони, во дела! Твой на правую, а мой на левую жалится. Засечки не было… Разве мокрецы?

На лиловом снегу, под неяркими вечерними звездами кони стояли понуро, не играли от застоя, не взбрыкивали. Петро зажег фонарь, но его остановил пришедший с гумна отец:

— На что фонарь?

— Кони, батя, захромали. Должно, ножная.

— А ежели ножная — плохо? Хочешь, чтоб какой-нибудь мужик заседлал да с базу повел?

— Оно-то неплохо…

— Ну, так скажи Гришке, что ножную я им сделал. Молоток взял, по гвоздю вогнал ниже хряща, теперь будут хромать, покель фронт стронется.

Петро покрутил головой, пожевал ус и пошел к Григорию.

— Поставь их к яслям. Это отец нарошно их похромил.

Стариковская догадка спасла. В ночь снова загремел от гомона хутор. По улицам скакали конные. Лязгая на выбоинах и раскатах, проползла и свернулась на площади батарея. 13-й кавалерийский полк стал в хуторе на ночлег. К Мелеховым только что пришел Христоня, сел на корточки, покурил.

— Нет у вас чертей? Не ночуют?

— Покуда бог миловал. Какие были-то — весь курень провоняли духом своим мужичьим! — недовольно бормотала Ильинична.

— У меня были. — Голос Христони сполз на шепот, огромная ладонь вытерла смоченную слезинкой глазницу. Но, тряхнув здоровенной, с польской котел головой, Христоня покряхтел и уже как будто застыдился своих слез.

— Ты чего, Христоня? — посмеиваясь, спросил Петро, первый раз увидавший Христонины слезы. Они-то и привели его в веселое настроение.

— Воронка взяли… На германскую на нем ходил… Нужду вместе, стал быть… Как человек был, ажник, стал быть, умнее… Сам и подседлал. «Седлай, говорит, а то он мне не

дается». — «Что ж я тебе, говорю, всю жисть буду седлать, что ли? Взял, говорю, стал быть, сам и руководствуй». Оседлал, а он хочь бы человек был… Огарок! Стал быть, в пояс мне, до стремени ногой не достанет… К крыльцу подвел, сел… Закричал я, как дите. «Ну, — говорю бабе, — кохал, поил, кормил…» — Христоня опять перешел на присвистывающий быстрый шепот и встал. — На конюшню глянуть боюсь! Обмертвел баз…

— У меня добро. Трех коней подо мною сразило, это четвертый, его уж не так… — Григорий прислушался. За окном хруст снега, звяк шашек, приглушенное «трррр!» — Идут и к нам: Как рыба на дух, проклятые! Либо кто сказал…

Пантелей Прокофьевич засуетился, руки сделались лишними, некуда стало их девать.

— Хозяин! А ну, выходи!

Петро надел внапашку зипун, вышел.

— Где кони? Выводи!

— Я не против, но они, товарищи, в ножной.

— В какой ножной? Выводи! Мы не так берем, ты не бойся. Бросим своих.

Вывел по одному из конюшни.

— Третья там. Почему не выводишь? — спросил один из красноармейцев, присвечивая фонарем.

— Это матка, сжеребанная. Она старюка, ей уж годов сто…

— Эй, неси седла!.. Постой, в самом деле хромают… В господа бога, в креста, куда ты их, калечь, ведешь?! Станови обратно!.. — свирепо закричал державший фонарь.

Петро потянул за недоуздки и отвернул от фонаря лицо со сморщенными губами.

— Седла где?

— Товарищи забрали ноне утром.

— Врешь, казак! Кто взял?

— Ей-богу!.. Накажи господь — взяли! Мценский полк проходил и забрал. И седла и даже два хомута взяли.

Матерясь, трое конных уехали. Петро вошел, пропитанный запахами конского пота и мочи. Твердые губы его ежились, и он не без похвальбы хлопнул Христоню по плечу.

— Вот как надо! Кони захромали, а седла взяли, мол… Эх, ты!..

Ильинична погасила лампу, ощупью пошла стелить в горничке.

— Посумерничаем, а то принесет нелегкая кочевщиков.

В эту ночь у Аникушки гуляли. Красноармейцы попросили пригласить соседних казаков. Аникушка пришел за Мелеховыми.

— Красные?! Что нам красные? Они что же, не хрещеные, что ли? Такие ж, как и мы, русские. Ей-богу. Хотите — верьте, хотите — нет… И я их жалею… А что мне? Жид с ними один, то же самое — человек. Жидов мы в Польше перебили… Хм! Но этот мне стакан дымки набуздал. Люблю жидов!.. Пойдем. Григорь! Петя! Ты не гребуй мною…

Григорий отказался идти, но Пантелей Прокофьевич посоветовал:

— Пойди, а то скажут: мол, за низкое считает. Ты иди, не помни зла.

Вышли на баз. Теплая ночь сулила погоду. Пахло золой и кизячным дымом. Казаки стояли молча, потом пошли. Дарья догнала их у калитки.

Насурмленные брови ее, раскрылившись на лице, под неярким, процеженным сквозь тучи, светом месяца блестели бархатной черниной.

— Мою бабу подпаивают… Только ихнего дела не выйдет. Я, брат ты мой, глаз имею… — бормотал Аникушка, а самогонка кидала его на плетень, валила со стежки в сугробину.

Под ногами сахарно похрупывал снег, зернисто-синий, сыпкий. С серой наволочи неба

срывалась метель.

Ветер нес огонь из цигарок, перевеивал снежную пыльцу. Под звездами он хищно налетал на белоперую тучу (так сокол, настигнув, бьет лебедя круто выгнутой грудью), и на присмиревшую землю, волнисто качаясь, слетали белые перышки-хлопья, покрывали хутор, скрестившиеся шляхи, степь, людской и звериный след…

У Аникушки в хате — дыхнуть нечем. Черные острые языки копоти снуют из лампы, а за табачным дымом никому не видать. Гармонист-красноармеец не так ли режет «саратовскую», до отказа выбирая мехи, раскидав длинные ноги. На лавках сидят красноармейцы, бабы-соседки. Аникушкину жену голубит здоровенный дяденька в ватных защитных штанах и коротких сапогах, обремененных огромными, словно из музея шпорами. Шапка мелкой седой смушки сдвинута у него на кучерявый затылок, на буром лице пот. Мокрая рука жжет Аникушкиной женке спину.

А бабочка уже сомлела: слюняво покраснел у нее рот; она бы и отодвинулась, да моченьки нет; она и мужа видит, и улыбчивые взгляды баб, но вот так-таки нет сил снять со спины могучую руку: стыда будто и не было, и она смеется пьяненько и расслабленно.

На столе глотки кувшинов разоткнуты, на весь курень спиртным дымком разит. Скатерть — как хлющ, а посреди хаты по земляному полу зеленым чертом вьется и выбивает частуху взводный 13-го кавалерийского. Сапоги на нем хромовые, на одну портянку, галифе — офицерского сукна. Григорий смотрит от порога на сапоги и галифе и думает: «С офицера добыто…» Потом переводит взгляд на лицо: оно исчерно-смуглое, лоснится потом, как круп вороного коня, круглые ушные раковины оттопырены, губы толсты и обвислы. «Жид, а ловкий!» — решает про себя Григорий. Ему и Петру налили самогонки. Григорий пил осторожно, но Петро захмелел скоро. И через час выделывал уже по земляному полу «казачка», рвал каблуками пыль, хрипло просил гармониста: «Чаще, чаще!» Григорий сидел возле стола, щелкая тыквенные семечки. Рядом с ним — рослый сибиряк, пулеметчик. Он морщил ребячески-округлое лицо, говорил мягко, сглаживая шипящие, вместо «ц» произнося «с»: «селый полк», «месяс» выходило у него.

— Колчака разбили мы. Краснова вашего сапнем как следует — и все. Во как! А там ступай пахать, земли селая пропастишша, бери ее, заставляй родить! Земля — она, как баба: сама не дается, ее отнять надо. А кто поперек станет — убить. Нам вашего не надо. Лишь бы равными всех поделать…

Григорий соглашался, а сам все исподтишка поглядывал на красноармейца. Для опасений как будто не было оснований. Все глазели, одобрительно улыбаясь, на Петра, на его округлые и ладно подогнанные движения. Чей-то трезвый голос восхищенно восклицал: «Вот черт! Здорово!» Но случайно Григорий поймал на себе внимательно прищуренный взгляд одного курчавого красноармейца, старшины, и насторожился, пить перестал.

Гармонист заиграл польку. Бабы пошли по рукам. Один из красноармейцев, с обеленной спиной, качнувшись, пригласил молоденькую бабенку — соседку Христони, но та отказалась и, захватив в руку сборчатый подол, перебежала к Григорию:

— Пойдем плясать!

— Не хочу.

— Пойдем, Гриша! Цветок мой лазоревый!

— Брось дурить, не пойду!

Она тащила его за рукав, насильственно смеясь. Он хмурился, упирался, но, заметив, как она мигнула, встал. Сделали два круга, гармонист свалил пальцы на басы, и она, улучив секунду, положила Григорию голову на плечо, чуть слышно шепнула:

— Тебя убить сговариваются… Кто-то доказал, что офицер… Беги…

И — громко:

— Ох, что-то голова закружилась!

Григорий повеселел. Подошел к столу, выпил кружку дымки. Дарью спросил:

— Спился Петро?

— Почти готов. Снялся с катушки.

— Веди домой.

Дарья повела Петра, удерживая толчки его с мужской силой. Следом вышел Григорий.

— Куда, куда? Ты куда? Не-ет! Ручку поцелую, не ходи!

Пьяный в дым Аникушка прилип к Григорию, но тот глянул такими глазами, что Аникушка растопырил руки и шатнулся в сторону.

— Честной компании! — Григорий тряхнул от порога шапкой.

Курчавый, шевельнув плечами, поправил пояс, пошел за ним. На крыльце, дыша в лицо Григорию, поблескивая лихими светлыми глазами, шепотом спросил:

— Ты куда? — И цепко взялся за рукав Григорьевой шинели.

— Домой, — не останавливаясь, увлекая его за собой, ответил Григорий. Взволнованно-радостно решил: «Нет, живьем вы меня не возьмете!»

Курчавый левой рукой держался за локоть Григория; тяжело дыша, ступал рядом. У калитки они задержались. Григорий услышал, как скрипнула дверь, и сейчас же правая рука красноармейца лапнула бедро, ногти царапнули крышку кобуры. На одну секунду Григории увидел в упор от себя синее лезвие чужого взгляда и, ворохнувшись, поймал руку, рвавшую застежку кобуры. Крякнув, он сжал ее в запястье, со страшной силой кинул себе на правое плечо, нагнулся и, перебрасывая издавна знакомым приемом тяжелое тело через себя, рванул руку книзу, ощущая по хрустящему звуку, как в локте ломаются суставы. Русая, витая, как у ягненка, голова, давя снег, воткнулась в сугроб.

По проулку, пригибаясь под плетнем, Григорий кинулся к Дону. Ноги, пружинисто отталкиваясь, несли его к спуску… «Лишь бы заставы не было, а там…» На секунду стал: позади на виду весь Аникушкин баз. Выстрел. Хищно прожужжала пуля. Выстрелы еще. Под гору, по темному переезду — за Дон. Уже на середине Дона, взвыв, пуля вгрызлась возле Григория в чистую круговину пузырчатого льда, осколки посыпались, обжигая Григорию шею. Перебежав Дон, он оглянулся. Выстрелы все еще хлопали пастушьим арапником. Григория не согрела радость избавления, но чувство равнодушия к пережитому смутило. «Как за зверем били! — механически подумал он, опять останавливаясь. — Искать не будут, побоятся в лес идти… Руку-то ему полечил неплохо. Ах, подлюга, казака хотел голыми руками взять!»

Направился к зимним скирдам, но, из опаски, миновал их, долго, как заяц на жировке, вязал петли следов. Ночевать решил в брошенной копне сухого чакана. Разгреб вершину. Из-под ног скользнула норка. Зарылся с головой в гнилостно-пахучий чакан, подрожал. Мыслей не было. Краешком, нехотя подумал: «Заседлать завтра и махнуть через фронт к своим?» — но ответа не нашел в себе, притих.

К утру стал зябнуть. Выглянул. Над ним отрадно и трепетно сияла утренняя зарница, и в глубочайшем провале иссиня-черного неба, как в Дону на перекате, будто показалось дно: предрассветная дымчатая лазурь в зените, гаснущая звездная россыпь по краям.

XVIII

Фронт прошел. Отгремели боевые деньки. В последний день пулеметчики 13-го

кавполка перед уходом поставили на широкоспинные тавричанские сани моховский граммофон, долго вскачь мылили лошадей по улицам хутора. Граммофон хрипел и харкал (в широкую горловину трубы попадали снежные ошметья, летевшие с конских копыт), пулеметчик в сибирской ушастой шапке беспечно прочищал трубу и орудовал резной ручкой граммофона так же уверенно, как ручками затыльника. А позади серой воробьиной тучей сыпали за санями ребятишки; цепляясь за грядушку, орали: «Дядя, заведи энту, какая свистит! Заведи, дядя!» Двое счастливейших сидели на коленях у пулеметчика, и тот в перерывах, когда не крутил ручки, заботливо и сурово вытирал варежкой младшему парнишке облупленный, мокрый от мороза и великого счастья нос.

Потом слышно было, как около Усть-Мечетки шли бои. Через Татарский редкими валками тянулись обозы, питавшие продовольствием и боевыми припасами 8-ю и 9-ю красные армии Южного фронта.

На третий день посыльные шли подворно, оповещали казаков о том, чтобы шли на сход.

— Краснова атамана будем выбирать! — сказал Антип Брехович, выходя с мелеховского база.

— Выбирать будем или нам его сверху спустют? — поинтересовался Пантелей Прокофьевич.

— Там как придется…

На собрание пошли Григорий и Петро. Молодые казаки собрались все. Стариков не было. Один только Авдеич Брех, собрав курагот зубоскалов, тачал о том, как стоял у него на квартире красный комиссар и как приглашал он его, Авдеича, занять командную должность.

— «Я, говорит, не знал, что вы — вахмистр старой службы, а то — с нашим удовольствием, заступай, отец, на должность…»

— На какую же? За старшего — куда пошлют? — скалился Мишка Кошевой.

Его охотно поддерживали:

— Начальником над комиссарской кобылой. Подхвостницу ей подмывать.

— Бери выше!

— Го-го!..

— Авдеич! Слышь! Это он тебя в обоз третьего разряда малосолкой заведовать.

— Вы не знаете делов всех… Комиссар ему речи разводил, а комиссаров вестовой тем часом к его старухе прилабунился. Шшупал ее. А Авдеич слюни распустил, сопли развешал — слухает…

Остановившимися глазами Авдеич осматривал всех, глотал слюну, спрашивал:

— Кто последние слова производил?

— Я! — храбрился кто-то позади.

— Видали такого сукина сына? — Авдеич поворачивался, ища сочувствия, и оно приходило в изобилии:

— Он гад, я давно говорю.

— У них вся порода такая.

— Вот был бы я помоложе… — Щеки у Авдеича загорались, как гроздья калины. — Был бы помоложе, я бы тебе показал развязку! У тебя и выходка вся хохлачья! Мазница ты таганрогская! Гашник хохлачий!..

— Чего же ты, Авдеич, не возьмешься с ним? Кужонок супротив тебя.

— Авдеич отломил, видно…

— Боится, пупок у него с натуги развяжется…

Рев провожал отходившего с достоинством Авдеича. На майдане кучками стояли казаки. Григорий, давным-давно не видавший Мишки Кошевого, подошел к нему.

— Здорово, полчок!

— Слава богу.

— Где пропадал? Под каким знаменем службицу ломал? — Григорий улыбнулся, сжимая руку Мишки, засматривая в голубые его глаза.

— Ого! Я, браток, и на отводе, и в штрафной сотне на Калачовском фронте был. Где только не был! Насилу домой прибился. Хотел к красным на фронте перебечь, но за мной глядели дюжей, чем мать за непробованной девкой глядит. Иван-то Алексеевич надысь приходит ко мне, бурка на нем, походная справа: «Ну, мол, винтовку наизготовку — и пошел». Я только что приехал, спрашиваю: «Неужели будешь отступать?» Он плечами дрогнул, говорит: «Велят. Атаман присылал. Я ить при мельнице служил, на учете у них». Попрощался и ушел. Я думал, он и справди отступил. На другой день Мценский полк уже прошел, гляжу — является… Да вот он метется! Иван Алексеевич!

Вместе с Иваном Алексеевичем подошел и Давыдка-вальцовщик. У Давыдки — полон рот кипенных зубов. Давыдка смеется, будто железку нашел… А Иван Алексеевич помял руку Григория в своих мослаковатых пальцах, навылет провонявших машинным маслом, поцокал языком:

— Как же ты, Гриша, остался?

— А ты как?

— Ну мне-то… Мое дело другое.

— На мое офицерство указываешь? Рисканул! Остался… Чуть было не убили… Когда погнались, зачали стрелять — пожалел, что не ушел, а теперь опять не жалею.

— За что привязались-то? Это из Тринадцатого?

— Они. Гуляли у Аникушки. Кто-то доказал, что офицер я. Петра не тронули, ну а меня… За погоны возгорелось дело. Ушел за Дон, руку одному кучерявому попортил трошки… Они за это пришли домой, мое все дочиста забрали. И шаровары и поддевки. Что на мне было, то и осталось.

— Ушли бы мы в красные тогда, перед Подтелковым… Теперь не пришлось бы глазами моргать. — Иван Алексеевич скис в улыбке, стал закуривать.

Народ все подходил. Собрание открыл приехавший из Вешенской подхорунжий Лапченков, сподвижник Фомина.

— Товарищи станишники! Советская власть укоренилась в нашем округе. Надо установить правление, выбрать исполком, председателя и заместителя ему. Это — один вопрос. А затем привез я приказ от окружного Совета, он короткий: сдать все огнестрельное и холодное оружие.

— Здорово! — ядовито сказал кто-то сзади. И потом надолго во весь рост встала тишина.

— Тут нечего, товарищи, такие возгласы выкрикивать! — Лапченков вытянулся, положил на стол папаху. — Оружие, понятно, надо сдать, как оно не нужное в домашности. Кто хочет идтить на защиту Советов, тому оружие дадут. В трехдневный срок винтовочки снесите. Затем приступаем к выборам. Председателя я обяжу довести приказ до каждого, и должон он печать у атамана забрать и все хуторские суммы.

— Они нам давали оружию, что лапу на нее накладывают?..

Спрашивающий еще не докончил фразы, к нему дружно все повернулись. Говорил Захар Королев.

— А на что она тебе сдалась? — просто спросил Христоня.

— Она мне не нужна. Но уговору не было, как мы пущали Красную Армию через свой округ, чтобы нас обезоруживали.

— Верно!

— Фомин говорил на митинге!

— Шашки на свои копейки справляли!

— Я со своим винтом с германской пришел, а тут отдай!

— Оружие, скажи, не отдадим!

— Казаков обобрать норовят! Я что же значу без вооружения? На каком полозу я должен ехать? Я без оружия, как баба с задратым подолом, — голый.

— При нас останется!

Мишка Кошевой чинно попросил слова:

— Дозвольте, товарищи! Мне даже довольно удивительно слухать такие разговоры. Военное положение или нет у нас?

— Да нехай хучь сзади военного!

— А раз военное — гутарить долго нечего. Вынь и отдай! Мы-то не так делали, как занимали хохлачьи слободы?

Лапченков погладил свою папашку и как припечатал:

— Кто в этих трех днях не сдаст оружие, будет предан революционному суду и расстрелян, как контра.

После минуты молчания Томилин, кашляя, прохрипел:

— Просим выбирать власть!

Двинули кандидатуры. Накричали с десяток фамилий. Один из молодятни крикнул:

— Авдеича!

Однако шутка успеха не возымела. Первым голосовали Ивана Алексеевича. Прошел единогласно.

— Дальше и голосовать нечего, — предложил Петро Мелехов.

Сход охотно согласился, и товарищем председателя выбрали без голосования Мишку Кошевого.

Мелеховы и Христоня не успели до дома дойти, а Аникушка уж повстречался им на полдороге. Под мышкой нес винтовку и патроны, завернутые в женину завеску. Увидел казаков — засовестился, шмыгнул в боковой переулок. Петро глянул на Григория, Григорий — на Христоню. Все, как по сговору, рассмеялись.

XIX

Казакует по родимой степи восточный ветер. Лога позанесло снегом. Падины и яры сровняло. Нет ни дорог, ни тропок. Кругом, наперекрест, прилизанная ветрами, белая голая равнина. Будто мертва степь. Изредка пролетит в вышине ворон, древний, как эта степь, как курган над летником в снежной шапке с бобровой княжеской опушкой чернобыла. Пролетит ворон, со свистом разрубая крыльями воздух, роняя горловой стонущий клекот. Ветром далеко пронесет его крик, и долго и грустно будет звучать он над степью, как ночью в тишине нечаянно тронутая басовая струна.

Но под снегом все же живет степь. Там, где как замерзшие волны, бугрится серебряная от снега пахота, где мертвой зыбью лежит заборонованная с осени земля, — там, вцепившись в почву жадными, живучими корнями, лежит поваленное морозом озимое жито. Шелковисто-зеленое, все в слезинках застывшей росы, оно зябко жмется к хрушкому чернозему, кормится его живительной черной кровью и ждет весны, солнца, чтобы встать, ломая стаявший паутинно-тонкий алмазный наст, чтобы буйно зазеленеть в мае. И оно встанет, выждав время!

Будут биться в нем перепела, будет звенеть над ним апрельский жаворонок. И так же будет светить ему солнце, и тот же будет баюкать его ветер. До поры, пока вызревший, полнозерный колос, мятый ливнями и лютыми ветрами, не поникнет усатой головой, не ляжет под косой хозяина и покорно уронит на ток улитые, тяжеловесные зерна.

Все Обдонье жило потаенной, придавленной жизнью. Жухлые подходили дни. События стояли у грани. Черный слушок полз с верховьев Дона, по Чиру, по Цуцкану, по Хопру, по Бланке, по большим и малым рекам, усыпанным казачьими хуторами. Говорили о том, что не фронт страшен, прокатившийся волной и легший возле Донца, а чрезвычайные комиссии и трибуналы. Говорили, что со дня на день ждут их в станицах, что будто бы в Мигулинской и Казанской уже появились они и вершат суды короткие и неправые над казаками, служившими у белых. Будто бы то обстоятельство, что бросили верхнедонцы фронт, оправданием не служит, а суд до отказу прост: обвинение, пара вопросов, приговор — и под пулеметную очередь. Говорили, что в Казанской и Шумилинской вроде уже не одна казачья голова валяется в хворосте без призрения… Фронтовики только посмеивались: «Брехня! Офицерские сказочки! Кадеты давно нас Красной Армией пужают!»

Слухам верили и не верили. И до этого мало ли что брехали по хуторам. Слабых духом молва толкнула на отступление. Но когда фронт прошел, немало оказалось и таких, кто не спал ночами, кому подушка была горяча, постель жестка и родная жена немила.

Иные уже жалковали о том, что не ушли за Донец, но сделанного не воротишь, уроненной слезы не поднимешь…

В Татарском казаки собирались вечерами на проулках, делились новостями, а потом шли пить самогон, кочуя из куреня в курень. Тихо жил хутор и горьковато. В начале мясоеда одна лишь свадьба прозвенела бубенцами: Мишка Кошевой выдал замуж сестру. Да и про ту говорили с ехидной издевкой:

— Нашли время жениться! Приспичило, видно!

На другой день после выборов власти хутор разоружился до двора. В моховском доме, занятом под ревком, теплые сени и коридор завалили оружием. Петро Мелехов тоже отнес свою и Григория винтовки, два нагана и шашку. Два офицерских нагана братья оставили, сдали лишь те, что остались еще от германской.

Облегченный, Петро пришел домой. В горнице Григорий, засучив по локоть рукава, разбирал и отмачивал в керосине приржавевшие части двух винтовочных затворов. Винтовки стояли у лежанки.

— Это откуда? — У Петра даже усы обвисли от удивления.

— Батя привез, когда ездил ко мне на Филонове.

У Григория в сузившихся прорезях глаз заиграли светлячки. Он захохотал, лапая бока смоченными в керосине руками. И так же неожиданно оборвал смех, по-волчьи клацнув зубами.

— Винтовки — это что!.. Ты знаешь, — зашептал он, хотя в курене никого чужого не было, — отец мне нынче признался, — Григорий снова подавил улыбку, — у него пулемет есть.

— Бре-ше-ешь! Откуда? Зачем?

— Говорит, казаки-обозники ему отдали за сумку кислого молока, а по-моему, брешет, старый черт! Украл, небось! Он ить, как жук навозный, тянет все, что и поднять не в силах. Шепчет мне: «Пулемет у меня есть, зарытый на гумне. Пружина в нем, гожая на нарезные крючки, но я ее не трогал». — «Зачем он тебе?» — спрашиваю. «На дорогую пружину позавидовал, может, ишо на что сгодится. Штука ценная, из железа…»

Петро обозлился, хотел идти в кухню к отцу, но Григорий рассоветовал:

— Брось! Помоги почистить и прибрать. Чего ты с него спросишь?

Протирая стволы, Петро долго сопел, а потом раздумчиво сказал:

— Оно, может, и правда… сгодится. Нехай лежит.

В этот день Томилин Иван принес слух, что в Казанской идут расстрелы. Покурили у печки, погутарили. Петро под разговор о чем-то упорно думал. Думалось с непривычки трудно, до бисера на лбу. После ухода Томилина он заявил:

— Зараз поеду на Рубежин, к Яшке Фомину. Он у своих нынче, слыхал я. Говорят, он окружным ревкомом заворачивает, как-никак — кочка на ровном месте. Попрошу, чтоб, на случай чего, заступился.

В пичкатые сани Пантелей Прокофьевич запряг кобылу. Дарья укуталась в новую шубу и о чем-то долго шепталась с Ильиничной. Вместе они шмыгнули в амбар, оттуда вышли с узлом.

— Чего это? — спросил старик.

Петро промолчал, а Ильинична скороговоркой шепнула:

— Я тут маслица насбирала, блюла на всякий случай. А теперь уж не до масла, отдала его Дарье, нехай Фоминихе гостинца повезет, может, он сгодится Петюшке. — И заплакала. — Служили, служили, жизней решались, и теперь за погоны за ихние, того и гляди…

— Цыц, голосуха! — Пантелей Прокофьевич с сердцем кинул в сено кнут, подошел к Петру: — Ты ему пшенички посули.

— На черта она ему нужна! — вспыхнул Петро. — Вы бы, батя, лучше пошли к Аникушке дымки купили, а то — пшеницы?

Под полой Пантелей Прокофьевич принес ведерный кувшин самогона, отозвался одобрительно:

— Хороша водка, мать ее курица! Как николаевская.

— А ты уж хлебнул, кобель старый! — насыпалась на него Ильинична; но старик вроде не слыхал, по-молодому захромал в курень, сыто, по-котовски жмурясь, покрякивая и вытирая рукавом обожженные дымкой губы.

Петро тронул со двора и, как гость, ворота оставил открытыми.

Вез и он подарок могущественному теперь сослуживцу: кроме самогона — отрез довоенного шевиота, сапоги и фунт дорогого чая с цветком. Все это раздобыл он в Лисках, когда 28-й полк с боем взял станцию и рассыпался грабить вагоны и склады…

Тогда же в отбитом поезде захватил он корзину с дамским бельем. Послал ее с отцом, приезжавшим на фронт. И Дарья, на великую зависть Наталье и Дуняшке, защеголяла в невиданном досель белье. Тончайшее заграничное полотно было белее снега, шелком на каждой штучке были вышиты герб и инициалы. Кружева на панталонах вздымались пышнее пены на Дону. Дарья в первую ночь по приезде мужа легла спать в панталонах.

Петро, перед тем как гасить огонь, снисходительно ухмыльнулся:

— Мущинские исподники подцепила и носишь?

— В них теплее и красивше, — мечтательно ответила Дарья. — Да их и не поймешь: кабы они мущинские — были б длиннее. И кружева… На что они вашему брату?

— Должно, благородного звания мущины с кружевами носют. Да мне-то что? Носи, — сонно почесываясь, ответил Петро.

Вопрос этот его не особенно интересовал. Но в последующие дни ложился он рядом с женой, уже с опаской отодвигаясь, с невольным почтением и беспокойством глядя на кружева, боясь малейше коснуться их и испытывая некоторое отчуждение от Дарьи. К белью он так и не привык. На третью ночь, озлившись, решительно потребовал:

— Скидай к черту штаны свои! Негоже их бабе носить, и они вовсе не бабские. Лежишь,

как барыня! Ажник какая-то чужая в них!

Утром встал он раньше Дарьи. Покашливая и хмурясь, попробовал примерить панталоны на себя. Долго и настороженно глядел на завязки, на кружева и на свои голые, ниже колен волосатые ноги. Повернулся и, нечаянно увидел в зеркале свое отображение с пышными складками назади, плюнул, чертыхнулся, медведем полез из широчайших штанин. Большим пальцем ноги зацепился в кружевах, чуть не упал на сундук и, уже разъярясь всерьез, разорвал завязки, выбрался на волю. Дарья сонно спросила:

— Ты чего?

Петро обиженно промолчал, сопя и часто поплевывая. А панталоны, которые неизвестно на какой пол шились, Дарья в тот же день, вздыхая, сложила в сундук (там лежало еще немало вещей, которым никто из баб не мог найти применения). Сложные вещи эти должны были впоследствии перешить на лифчики. Вот юбки Дарья использовала; были они неведомо для чего коротки, но хитрая владелица надставила сверху так, чтобы нижняя юбка была длиннее длинной верхней, чтобы виднелись на полчетверти кружева. И пошла Дарья щеголять, заметать голландским кружевом земляной пол.

Вот и сейчас, отправляясь с мужем на гости, была она одета богато и видно. Под донской, опушенной поречьем шубой и кружева исподней виднелись, и верхняя, шерстяная, была добротна и нова, чтобы поняла вылезшая из грязи в князи фоминская жена, что Дарья не простая казачка, а как-никак офицерша.

Петро помахивал кнутом, чмокал губами. Брюхатая кобылка с облезлой кобаржиной трюпком бежала по накатанной дороге, по Дону. В Рубежин приехали к обеду. Фомин действительно оказался дома. Он встретил Петра по-хорошему, усадил его за стол, улыбнулся в рыжеватые усы, когда отец его принес из Петровых саней, запушенных инеем, осыпанный сенной трухой кувшин.

— Ты что-то, односум, и глаз не кажешь, — говорил Фомин протяжно, приятным баском, искоса поглядывая на Дарью широко поставленными голубыми глазами женолюба, и с достоинством закручивал ус.

— Сам знаешь, Яков Ефимыч, частя шли, время сурьезное…

— Оно-то так. Баба! Ты бы нам огурцов, капустой, рыбки донской сушеной.

В тесной хате было жарко натоплено. На печи лежали детишки: похожий на отца мальчик, с такими же голубыми, широкими в поставе глазами, и девочка. Подвыпив, Петро приступил к делу:

— Гутарют по хуторам, будто чеки приехали, добираются до казаков.

— Трибунал Пятнадцатой Инзенской дивизии в Вешенскую приехал. Ну, а что такое? Тебе-то что?

— Как же, Яков Ефимыч, сами знаете, офицер считаюсь. Я-то офицер, можно сказать, — одна видимость.

— Ну так что?

Он чувствовал себя хозяином положения. Хмель сделал его самоуверенным и хвастливым. Фомин все приосанивался, оглаживая усы, смотрел исподлобно, властно.

Раскусив его, Петро прикинулся сиротой, униженно и подобострастно улыбался, но с «вы» незаметно перешел на «ты».

— Вместе служили с тобой. Плохого про меня ты не могешь сказать. Или я был когда супротив? Сроду нет! Покарай бог, я всегда стоял за казаков!

— Мы знаем. Ты, Петро Пантелеевич, не сумлевайся. Мы всех наизусть выучили. Тебя не тронут. А кое до кого мы доберемся. Кой-кого возьмем за хиршу [65]. Тут много гадов засело. Остались, а сами — себе на уме. Оружие хоронют… Ты-то отдал свое? А?

Фомин так быстро перешел от медлительной речи к натиску, что Петро на минуту растерялся, кровь заметно кинулась ему в лицо.

— Ты-то сдал? Ну чего же ты? — наседал Фомин, перегибаясь через стол.

— Сдал, конешно, Яков Ефимыч, ты не подумай… я с открытой душой.

— С открытой? Знаем мы вас… Сам тутошний. — Он пьяно подмигнул, раскрыл плоскозубый ядреный рот. — С богатым казаком одной рукой ручкайся, а в другой нож держи, а то саданет… Собаки! Откровенных нету! Я перевидал немало людей. Предатели! Но ты не бойся, тебя не тронут. Слово — олово!

Дарья закусывала холодцом, из вежливости почти не ела хлеба. Ее усердно угощала хозяйка.

Уехал Петро уже перед вечером, обнадеженный и веселый.

Проводив Петра, Пантелей Прокофьевич пошел проведать свата Коршунова. Он был у него перед приходом красных. Лукинична собирала тогда Митьку в дорогу, в доме были суета, беспорядок. Пантелей Прокофьевич ушел, почувствовав себя лишним. А на этот раз решил пойти узнать, все ли благополучно, да кстати погоревать вместе о наступивших временах.

Дохромал он в тот конец хутора не скоро. Постаревший и уже растерявший несколько зубов, дед Гришака встретил его на базу. Было воскресенье, и дед направлялся в церковь к вечерне. Пантелея Прокофьевича с ног шибануло при взгляде на свата: под распахнутой шубой у того виднелись все кресты и регалии за турецкую войну, красные петлички вызывающе сияли на стоячем воротнике старинного мундира, старчески обвисшие шаровары с лампасами были аккуратно заправлены в белые чулки, а на голове по самые восковые крупные уши надвинут картуз с кокардой.

— Что ты, дедушка! Сваток, аль не при уме? Да кто же в эту пору кресты носит, кокарду?

— Ась? — Дед Гришака приставил к уху ладонь.

— Кокарду, говорю, сыми! Кресты скинь! Заарестуют тебя за такое подобное. При Советской власти нельзя, закон возбраняет.

— Я, соколик, верой-правдой своему белому царю служил. А власть эта не от бога. Я их за власть не сознаю. Я Александру-царю присягал, а мужикам я не присягал, так-то! — Дед Гришака пожевал блеклыми губами, вытер зеленую цветень усов и ткнул костылем в направлении дома. — Ты к Мирону, что ль? Он дома. А Митюшку проводили мы в отступ. Сохрани его, царица небесная!.. Твои-то остались? Ась? А то что ж… Вот они какие казачки-то пошли! Наказному, небось, присягали. Войску нужда подошла, а они остались при женах… Натальюшка жива-здорова?

— Живая… Кресты — воротись — сыми, сват! Не полагается их теперь. Господи боже, одурел ты, сваток?

— Ступай с богом! Молод меня учить-то! Ступай себе.

Дед Гришака пошел прямо на свата, и тот уступил ему дорогу, сойдя со стежки в снег, оглядываясь и безнадежно качая головой.

— Служивого нашего встрел? Вот наказание! И не приберет его господь. — Мирон Григорьевич, заметно сдавший за эти дни, встал навстречу свату. — Нацепил свои висюльки, фуражку с кокардой надел и пошел. Хучь силом с него сымай. Чисто дите стал, ничего не понимает.

— Нехай тешится, недолго уж ему… Ну как там наши? Мы прослыхали, будто Гришу дерзали анчихристы? — Лукинична подсела к казакам, горестно подперлась. — У нас, сват, ить какая беда… Четырех коней взяли, оставили кобылу да стригуна. Разорили вчистую!

Мирон Григорьевич прижмурил глаз, будто прицеливаясь, и заговорил по-новому, с вызревшей злостью:

— А через что жизня рухнулась? Кто причиной? Вот эта чертова власть! Она, сват, всему виновата. Да разве это мысленное дело — всех сравнять? Да ты из меня душу тяни, я не согласен! Я всю жисть работал, хрип гнул, потом омывался, и чтобы мне жить равно с энтим, какой пальцем не ворохнул, чтоб выйтить из нужды? Нет уж, трошки погодим! Хозяйственному человеку эта власть жилы режет. Через это и руки отваливаются: к чему зараз наживать, на кого работать? Нынче наживешь, а завтра придут да под гребло… И ишо, сваток: был у меня надысь односум с хутора Мрыхина, разговор вели… Фронт-то вот он, возле Донца. Да разве ж удержится? Я, по правде сказать, надежным людям втолковываю, что надо нашим, какие за Донцом, от себя пособить…

— Как так — пособить? — с тревогой, почему-то шепотом спросил Пантелей Прокофьевич.

— Как пособить? Власть эту пихнуть! Да так пихнуть, чтобы она опять очутилась ажник в Тамбовской губернии. Нехай там равнение делает с мужиками. Я все имущество до нитки отдам, лишь бы уничтожить этих врагов. Надо, сват, надо вразумить! Пора! А то поздно будет… Казаки, односум говорил, волнуются и у них. Только бы подружней взяться! — И перешел на быстрый, захлебывающийся шепот: — Частя прошли, а сколько их тут осталось? Считанные люди! По хуторам одни председатели… Головы им поотвязать — пустяковое дело. А в Вешках, ну что ж… Миром-собором навалиться — на куски порвем! Наши в трату не дадут, соединимся… Верное дело, сват!

Пантелей Прокофьевич встал. Взвешивая слова, опасливо советовал:

— Гляди, поскользнешься — беды наживешь! Казаки-то хучь и шатаются, а чума их знает, куда потянут. Об этих делах ноне толковать не со всяким можно… Молодых вовсе понять нельзя, вроде зажмурки живут. Один отступил, другой остался. Трудная жизня! Не жизня, а потемки.

— Не сумлевайся, сват! — снисходительно улыбнулся Мирон Григорьевич. — Я мимо не скажу. Люди — что овцы: куда баран, туда и весь табун. Вот и надо показать им путя! Глаза на эту власть открыть надо. Тучи не будет — гром не вдарит. Я казакам прямо говорю: восставать надо. Слух есть, будто они приказ отдали — всех казаков перевесть. Об этом как надо понимать?

У Мирона Григорьевича сквозь конопины проступала краска.

— Ну, что оно будет, Прокофич? Гутарют, расстрелы начались… Какая ж это жизня? Гляди, как рухнулось все за эти года! Гасу нету, серников — тоже, одними конфетами Мохов напоследях торговал… А посевы? Супротив прежнего сколько сеют? Коней перевели. У меня вот забрали, у другого… Забирать-то все умеют, а разводить кто будет? У нас раньше, я ишо парнем был, восемьдесят шесть лошадей было. Помнишь, небось? Скакуны были, хучь калмыка догоняй! Рыжий с прозвездью был у нас тогда. Я на нем зайцев топтал. Выеду, оседламши, в степь, подыму зайца в бурьянах и сто сажен не отпущу — стопчу конем. Как зараз помню. — По лицу Мирона Григорьевича пролегла горячая улыбка. — Выехал так-то к ветрякам, гляжу — заяц коптит прямо на меня. Выправился я к нему, он — виль, да под гору, да через Дон! На маслену дело было. Снег по Дону посогнало ветром, сколизь. Разгонись я за тем зайцем, конь посклизнулся, вдарился со всех ног и головы не приподнял. Затрусилось все на мне! Снял с него седло, прибегаю в куреня. «Батя, конь убился подо мной! За зайцем гнал». — «А догнал?» — «Нет». — «Седлай Вороного, догони, сукин сын!» Вот времена были! Жили — кохались казачки. Конь убился не жалко, а надо зайца догнать. Коню сотня цена, а зайцу гривенник… Эй, да что толковать!

От свата Пантелей Прокофьевич ушел растерявшийся еще больше, насквозь отравленный тревогой и тоской. Теперь уж чувствовал он со всей полнотой, что какие-то иные, враждебные ему начала вступили в управление жизнью. И если раньше правил он хозяйством и вел жизнь, как хорошо наезженного коня на скачках с препятствиями, то теперь жизнь несла его, словно взбесившийся, запененный конь, и он уже не правил ею, а безвольно мотался на ее колышущейся хребтине и делал жалкие усилия не упасть.

Мга нависла над будущим. Давно ли был Мирон Григорьевич богатейшим хозяином в окружности? Но последние три года источили его мощь. Разошлись работники, вдевятеро уменьшился посев, за так и за пьяно качавшиеся, обесцененные деньги пошли с база быки и кони. Было все будто во сне. И прошло, как текучий туман над Доном. Один дом с фигурным балконом и вылинявшими резными карнизами остался памяткой. Раньше времени высветлила седина лисью рыжевень коршуновской бороды, перекинулась на виски и поселилась там, вначале — как сибирек на супеси — пучками, а потом осилила рыжий цвет и стала на висках полновластной соленая седина; и уже тесня, отнимая по волоску, владела надлобьем. Да и в самом Мироне Григорьевиче свирепо боролись два этих начала: бунтовала рыжая кровь, гнала на работу, понуждала сеять, строить сараи, чинить инвентарь, богатеть; но все чаще наведывалась тоска — «Не к чему наживать. Пропадет!» — красила все в белый мертвенный цвет равнодушия. Страшные в своем безобразии, кисти рук не хватались, как прежде, за молоток или ручную пилку, а праздно лежали на коленях, шевеля изуродованными работой, грязными пальцами. Старость привело безвременье. И стала постыла земля. По весне шел к ней, как к немилой жене, по привычке, по обязанности. И наживал без радости и лишался без прежней печали… Забрали красные лошадей — он и виду не показал. А два года назад за пустяк, за копну, истоптанную быками, едва не запорол вилами жену. «Хапал Коршунов и наелся, обратно прет из него», — говорили про него соседи.

Пантелей Прокофьевич прихромал домой, прилег на койке. Сосало под ложечкой, к горлу подступала колючая тошнота. Повечеряв, попросил он старуху достать соленого арбуза. Съел ломоть, задрожал, еле дошел до печки. К утру он уже валялся без памяти, пожираемый тифозным жаром, кинутый в небытие. Запекшиеся кровью губы его растрескались, лицо пожелтело, белки подернулись голубой эмалью. Бабка Дроздиха отворила ему кровь, нацедила из вены на руке две тарелки черной, как деготь, крови. Но сознание к нему не вернулось, только лицо иссиня побелело да шире раскрылся чернозубый рот, с хлюпом вбиравший воздух.

XX

В конце января Иван Алексеевич выехал в Вешенскую по вызову председателя окружного ревкома. К вечеру он должен был вернуться. Его ждали. Мишка сидел в пустынном моховском доме, в бывшем кабинете хозяина, за широким, как двухспальная кровать, письменным столом. На подоконнике (в комнате был только один стул) полулежал присланный из Вешенской милиционер Ольшанов. Он молча курил, плевал далеко и искусно, каждый раз отмечая плевком новую кафельную плитку камина. За окнами стояло зарево звездной ночи. Покоилась гулкая морозная тишина. Мишка подписывал протокол обыска у Степана Астахова, изредка поглядывая в окно на обсахаренные инеем ветви кленов.

По крыльцу кто-то прошел, мягко похрустывая валенками.

— Приехал.

Мишка встал. Но в коридоре чужой кашель, чужие шаги. Вошел Григорий Мелехов в

наглухо застегнутой шинели, бурый от мороза, с осевшей на бровях и усах изморозью.

— Я на огонек. Здорово живешь!

— Проходи, жалься.

— Не на что жалиться. Побрехать зашел да кстати сказать, чтоб в обывательские не назначали. Кони у нас в ножной.

— А быки? — Мишка сдержанно покосился.

— На быках какая ж езда? Сколизь.

Отдирая шагами окованные морозом доски, кто-то крупно прошел по крыльцу. Иван Алексеевич в бурке и по-бабьи завязанном башлыке ввалился в комнату. От него хлынул свежий, холодный воздух, запах сена и табачной гари.

— Замерз, замерз, ребятки!.. Григорий, здравствуй! Чего ты по ночам шалаешься?.. Черт эти бурки придумал: ветер сквозь нее, как через сито!

Разделся и, еще не повесив бурки, заговорил:

— Ну, повидал я председателя. — Иван Алексеевич, сияющий, блестя глазами, подошел к столу. Одолевала его нетерпячка рассказать. — Вошел к нему в кабинет. Он поручкался со мной и говорит: «Садитесь, товарищ». Это окружной! А раньше как было? Генерал-майор! Перед ним как стоять надо было? Вот она, наша власть-любушка! Все ровные!

Его оживленное, счастливое лицо, суетня возле стола и эта восторженная речь были непонятны Григорию. Спросил:

— Чему ты возрадовался, Алексеев?

— Как — чему? — У Ивана Алексеевича дрогнул продавленный дыркой подбородок. — Человека во мне увидали, как же мне не радоваться? Мне руку, как ровне, дал, посадил…

— Генералы тоже в рубахах из мешков стали последнее время ходить. — Григорий ребром ладони выпрямил ус, сощурился. — Я на одном видал и погоны, чернильным карандашом сделанные. Ручку тоже казакам давали…

— Генералы от нужды, а эти от натуры. Разница?

— Нету разницы! — Григорий покачал головой.

— По-твоему, и власть одинаковая? За что же тогда воевали? Ты вот — за что воевал? За генералов? А говоришь — «одинаково».

— Я за себя воевал, а не за генералов. Мне, если направдок гутарить, ни те, ни эти не по совести.

— А кто же?

— Да никто!

Ольшанов плюнул через всю комнату, сочувственно засмеялся. Ему, видно, тоже никто по совести не пришелся.

— Ты раньше будто не так думал.

Мишка сказал с целью уязвить Григория, но тот и виду не подал, что замечание его задело.

— И я и ты — все мы по-разному думали…

Иван Алексеевич хотел, выпроводив Григория, передать Мишке поподробней о своей поездке и беседе с председателем, но разговор начал его волновать. Очертя голову, под свежим впечатлением виденного и слышанного в округе, он кинулся в спор:

— Ты нам голову пришел морочить, Григорий! Сам ты не знаешь, чего ты хочешь.

— Не знаю, — охотно согласился Григорий.

— Чем ты эту власть корить будешь?

— А чего ты за нее распинаешься? С каких это ты пор так покраснел?

— Об этом мы не будем касаться. Какой есть теперь, с таким и гутарь. Понял? Власти

тоже дюже не касайся, потому — я председатель, и мне тут с тобой негоже спорить.

— Давай бросим. Да мне и пора уж. Это я в счет обывательских зашел. А власть твоя, — уж как хочешь, — а поганая власть. Ты мне скажи прямо, и мы разговор кончим: чего она дает нам, казакам?

— Каким казакам? Казаки тоже разные.

— Всем, какие есть.

— Свободу права… Да ты погоди!.. Постой, ты чего-то…

— Так в семнадцатом году говорили, а теперь надо новое придумывать, — перебил Григорий. — Земли дает? Воли? Сравняет?.. Земли у нас — хоть заглонись ею. Воли больше не надо, а то на улицах будут друг дружку резать. Атаманов сами выбирали, а теперь сажают. Кто его выбирал, какой тебя ручкой обрадовал? Казакам эта власть, окромя разору, ничего не дает! Мужичья власть, им она и нужна. Но нам и генералы не нужны. Что коммунисты, что генералы — одно ярмо.

— Богатым казакам не нужна, а другим? Дурья голова! Богатых-то в хуторе трое, а энти бедные. А рабочих куда денешь? Нет, мы так судить с тобой не могем! Нехай богатые казаки от сытого рта оторвут кусок и дадут голодному. А не дадут — с мясом вырвем! Будя пановать! Заграбили землю…

— Не заграбили, а завоевали! Прадеды наши кровью ее полили, оттого, может, и родит наш чернозем.

— Все равно, а делиться с нуждой надо. Равнять — так равнять! А ты на холостом ходу работаешь. Куда ветер, туда и ты, как флюгерок на крыше. Такие люди, как ты, жизню мутят!

— Постой, ты не ругайся! Я по старой дружбе пришел погутарить, сказать, что у меня в грудях накипело. Ты говоришь — равнять… Этим темный народ большевики и приманули. Посыпали хороших слов, и попер человек, как рыба на приваду! А куда это равнение делось? Красную Армию возьми: вот шли через хутор. Взводный в хромовых сапогах, а «Ванек» в обмоточках. Комиссара видал, весь в кожу залез, и штаны и тужурка, а другому и на ботинки кожи не хватает. Да ить это год ихней власти прошел, а укоренятся они — куда равенство денется?.. Говорили на фронте: «Все ровные будем. Жалованье и командирам и солдатам одинаковое!..» Нет! Привада одна! Уж ежли пан плох, то из хама пан во сто раз хуже! Какие бы поганые офицеры ни были, а как из казуни выйдет какой в офицеры — ложись и помирай, хуже его не найдешь! Он такого же образования, как и казак: быкам хвосты учился крутить, а глядишь — вылез в люди и сделается от власти пьяный, и готов шкуру с другого спустить, лишь бы усидеть на этой полочке.

— Твои слова — контра! — холодно сказал Иван Алексеевич, но глаз на Григория не поднял. — Ты меня на свою борозду не своротишь, а я тебя и не хочу заламывать. Давно я тебя не видал и не потаю — чужой ты стал. Ты Советской власти враг!

— Не ждал я от тебя… Ежли я думаю за власть, так я — контра? Кадет?

Иван Алексеевич взял у Ольшанова кисет, уже мягче сказал:

— Как я тебя могу убедить? До этого своими мозгами люди доходють. Сердцем доходють! Я словами не справен по причине темноты своей и малой грамотности. И я до многого дохожу ощупкой…

— Кончайте! — яростно крикнул Мишка.

Из исполкома вышли вместе. Григорий молчал. Тяготясь молчанием, не оправдывая чужого метания, потому что далек был от него и смотрел на жизнь с другого кургана, Иван Алексеевич на прощание сказал:

— Ты такие думки про себе держи. А то хоть и знакомец ты мне и Петро ваш кумом доводится, а найду я против тебя средства! Казаков нечего шатать, они и так шатаются. И ты

поперек дороги нам не становись. Стопчем!.. Прощай!

Григорий шел, испытывая такое чувство, будто перешагнул порог, и то, что казалось неясным, неожиданно встало с предельной яркостью. Он, в сущности, только высказал вгорячах то, о чем думал эти дни, что копилось в нем и искало выхода. И оттого, что стал он на грани в борьбе двух начал, отрицая оба их, — родилось глухое неумолчное раздражение.

Мишка с Иваном Алексеевичем шли вместе. Иван Алексеевич начал снова рассказывать о встрече с окружным председателем, но, когда стал говорить, показалось — краски и значительность вылиняли. Он пытался вернуться к прежнему настроению и не смог: стояло что-то поперек, мешало радостно жить, хватать легкими пресный промороженный воздух. Помеха — Григорий, разговор с ним. Вспомнил, сказал с ненавистью:

— Такие, как Гришка, в драке только под ногами болтаются. Паскуда! К берегу не прибьется и плавает, как коровий помет в проруби. Ишо раз придет — буду гнать в шею! А начнет агитацию пущать — мы ему садилку найдем… Ну, а ты, Мишатка, что? Как дела?

Мишка только выругался в ответ, думая о чем-то своем.

Прошли квартал, и Кошевой повернулся к Ивану Алексеевичу, на полных, девичьих губах его блуждала потерявшаяся улыбка:

— Вот, Алексеевич, какая она, политика, злая, черт! Гутарь о чем хошь, а не будешь так кровя портить. А вот начался с Гришкой разговор… ить мы с ним — корешки, в школе вместе учились, по девкам бегали, он мне — как брат… а вот начал городить, и до того я озлел, ажник сердце распухло, как арбуз в груде сделалось. Трусится все во мне! Кубыть, отнимает он у меня что-то, самое жалкое. Кубыть, грабит он меня! Так под разговор и зарезать можно. В ней, в этой войне, сватов, братов нету. Начертился — и иди! — Голос Мишки задрожал непереносимой обидой. — Я на него ни за одну отбитую девку так не серчал, как за эти речи. Вот до чего забрало!

XXI

Снег падал и таял на лету. В полдень в ярах с глухим шумом рушились снежные оползни. За Доном шумел лес. Стволы дубов оттаяли, почернели. С ветвей срывались капли, пронзали снег до самой земли, пригревшейся под гниющим покровом листа-падалицы. Уже манило пьяным ростепельным запахом весны, в садах пахло вишенником. На Дону появились прососы. Возле берегов лед отошел, и проруби затопило зеленой и ясной водой окраинцев.

Обоз, везший к Дону партию снарядов, а Татарском должен был сменить подводы. Сопровождавшие красноармейцы оказались ребятами лихими. Старшой остался караулить Ивана Алексеевича; так ему и заявил: «Посижу с тобой, а то ты, не ровен час, сбежишь!» — а остальных направил добывать подводы. Нужно было выточить сорок семь пароконных подвод.

Емельян добрался и до Мелеховых.

— Запрягайте, в Боковскую снаряды везть!

Петро и усом не повел, буркнул:

— Кони в ножной, а на кобыле вчера я раненых отвозил в Вешенскую.

Емельян, слова не говоря, — в конюшню. Петро выскочил за ним без шапки, окликнул:

— Слышишь? Погоди… Может, оставишь?

— Может, бросишь дуру трепать? — Емельян очень серьезно оглядел Петра, добавил: — Охоту маю поглядеть ваших коней, какая такая ножная у них? Не молотком ли нечаянно с намерением суставы побили? Так ты мне не втирай очки! Я лошадей столько перевидал,

сколько ты лошадиного помету. Запрягай! Коней или быков — все равно.

С подводой поехал Григорий. Перед тем как выехать, он вскочил в кухню; целуя детишек, торопливо кидал:

— Гостинцев привезу, а вы тут не дурите, матерю слухайте. — И к Петру: — Вы обо мне не думайте. Я далеко не поеду. Ежели погонять дальше Боковской — брошу быков и вернусь. Только я в хутор не приду. Перегожу время на Сингином, у тетки… А ты, Петро, надбеги проведать… Что-то мне страшновато тут ждать. — И усмехнулся. — Ну, бывайте здоровы! Наташка, не скучай!

Около моховского магазина, занятого под продовольственный склад, перегрузили ящики со снарядами, тронулись.

«Они воюют, чтобы им лучше жить, а мы за свою хорошую жизнь воевали, — все о том же думал Григорий под равномерный качкий ступ быков, полулежа в санях, кутая зипуном голову. — Одной правды нету в жизни. Видно, кто кого одолеет, тот того и сожрет… А я дурную правду искал. Душой болел, туда-сюда качался… В старину, слышно, Дон татары обижали, шли отнимать землю, неволить. Теперь — Русь. Нет! Не помирюсь я! Чужие они мне и всем-то казакам. Казаки теперь почунеют. Бросили фронт, а теперь каждый, как я: ах! — да поздно».

Вблизи бурьяны над дорогой, холмистая зыбь, щетинистые буераки наплывали навстречу, а дальше снежные поля, кружась, шли на юг вровень с санями. Дорога разматывалась нескончаемо, угнетала скукой, клонила в сон.

Григорий лениво покрикивал на быков, дремал, ворочался возле увязанных ящиков. Покурив, уткнулся лицом в сено, пропахшее сухим донником и сладостным куревом июньских дней, незаметно уснул. Во сне он ходил с Аксиньей по высоким шуршащим хлебам. Аксинья на руках бережно несла ребенка, сбоку мерцала на Григория стерегущим взглядом. А Григорий слышал биение своего сердца, певучий шорох колосьев, видел сказочный расшив трав на меже, щемящую голубизну небес. В нем цвело, бродило чувство, он любил Аксинью прежней изнуряющей любовью, он ощущал это всем телом, каждым толчком сердца и в то же время сознавал, что не явь, что мертвое зияет перед его глазами, что это сон. И радовался сну и принимал его, как жизнь. Аксинья была та же, что и пять лет назад, но пронизанная сдержанностью, тронутая холодком. Григорий с такой слепящей яркостью, как никогда в действительности, видел пушистые кольца ее волос на шее (ими играл ветер), концы белой косынки… Он проснулся от толчка, отрезвел от голосов.

Навстречу, объезжая их, двигались многочисленные подводы.

— Чего везете, земляки? — хрипло крикнул ехавший впереди Григория Бодовсков.

Скрипели полозья, с хрустом давили снег клешнятые копыта быков. На встречных подводах долго молчали. Наконец кто-то ответил:

— Мертвяков! Тифозных…

Григорий поднял голову. В проезжавших санях лежали внакат, прикрытые брезентом, серошинельные трупы. Наклески саней Григория на раскате ударились о торчавшую из проезжавших саней руку, и она отозвалась глухим, чугунным звоном… Григорий равнодушно отвернулся.

Приторный, зовущий запах донника навеял сон, мягко повернул лицом к полузабытому прошлому, заставил еще раз прикоснуться сердцем к отточенному клинку минувшего чувства. Разящую и в то же время сладостную боль испытал Григорий, свалившись опять в сани, щекой касаясь желтой ветки донника. Кровоточило тронутое воспоминаниями сердце, билось неровно и долго отгоняло сон.

XXII

Вокруг хуторского ревкома сгруппировалось несколько человек: Давыдка-вальцовщик, Тимофей, бывший моховский кучер Емельян и рябой чеботарь Филька. На них-то и опирался Иван Алексеевич в повседневной своей работе, с каждым днем все больше ощущая невидимую стену, разделявшую его с хутором. Казаки перестали ходить на собрания, а если и шли, то только после того, как Давыдка и остальные раз по пять обегали хутор из двора во двор. Приходили, молчали, со всем соглашались. Заметно преобладали молодые. Но и среди них не встречалось сочувствующих. Каменные лица, чужие недоверчивые глаза, исподлобные взгляды видел на майдане Иван Алексеевич, проводя собрание. От этого холодело у него под сердцем, тосковали глаза, голос становился вялым и неуверенным. Рябой Филька как-то неспроста брякнул:

— Развелись мы с хутором, товарищ Котляров! Набычился народ, осатанел. Вчера пошел за подводами раненых красноармейцев в Вешки везть — ни один не едет. Разведенным-то чижало в одном курене жить…

— А пьют! Дуром! — подхватил Емельян, мусоля трубочку. — Дымку в каждом дворе гонют.

Мишка Кошевой хмурился, свое таил от остальных, но прорвало и его. Уходя вечером домой, попросил Ивана Алексеевича:

— Дай мне винтовку.

— На что?

— Вот тебе! Боюсь идтить с голыми руками. Или ты не видишь ничего? Я так думаю, надо нам кое-кого… Григория Мелехова надо взять, старика Болдырева, Матвея Кашулина, Мирона Коршунова. Нашептывают они, гады, казакам… Своих из-за Донца ждут.

Ивана Алексеевича повело, невесело махнул рукой:

— Эй! Тут ежели начать выдергивать, так многих запевал выдернуть надо. Шатаются люди… А кое-кто и сочувствует нам, да на Мирона Коршунова оглядываются. Боятся, Митька его из-за Донца придет — потрошить будет.

Круто завернула на повороте жизнь. На другой день из Вешенской коннонарочный привез предписание: обложить контрибуцией богатейшие дома. На хутор дали контрольную цифру — сорок тысяч рублей. Разверстали. Прошел день. Контрибуционных денег собралось два мешка, на восемнадцать тысяч с немногим. Иван Алексеевич запросил округу. Оттуда прислали трех милиционеров и предписание: «Не уплативших контрибуцию арестовать и препроводить под конвоем в Вешенскую». Четырех дедов временно посадили в моховский подвал, где раньше зимовали яблоки.

Хутор запохожился на потревоженный пчельник. Коршунов наотрез отказался платить, прижимая подешевевшую деньгу. Однако приспела и ему пора поквитаться с хорошей жизнью. Приехали из округа двое: следователь по местным делам — молодой вешенский казак, служивший в 28-м полку, и другой, в тулупе поверх кожаной куртки. Они предъявили мандаты Ревтрибунала, заперлись с Иваном Алексеевичем в кабинете. Спутник следователя, пожилой, голо выбритый человек, деловито начал:

— По округу наблюдаются волнения. Оставшаяся белогвардейщина поднимает голову и начинает смущать трудовое казачество. Необходимо изъять все наиболее враждебное нам. Офицеров, попов, атаманов, жандармов, богатеев — всех, кто активно с нами боролся, давай на список. Следователю помоги. Он кое-кого знает.

Иван Алексеевич смотрел в выбритое, похожее на бабье лицо; перечисляя фамилии, упомянул Петра Мелехова, но следователь покачал головой:

— Это наш человек, Фомин просил его не трогать. Большевистски настроен. Мы с ним в Двадцать восьмом служили.

Написанный рукой Кошевого, лег на стол лист графленой бумаги, вырванный из ученической тетради.

А через несколько часов на просторном моховском дворе, под присмотром милиционеров, уже сидели на дубах арестованные казаки. Ждали домашних с харчами и подводу под пожитки. Мирон Григорьевич, одетый, как на смерть, во все новое, в дубленый полушубок, в чирики и чистые белые чулки на вбор, — сидел с краю, рядом с дедом Богатыревым и Матвеем Кашулиным. Авдеич Брех суетливо ходил по двору, то бесцельно заглядывал в колодец, то поднимал какую-нибудь щепку и опять метался от крыльца к калитке, утирая рукавом налитое, как яблоко, багровое, мокрое от пота лицо.

Остальные сидели молча. Угнув головы, чертили костылями снег. Бабы, запыхавшись, прибегали во двор, совали арестованным узелки, сумки, шептались. Заплаканная Лукинична застегивала на своем старике полушубок, подвязывала ему воротник белым бабьим платком, просила, глядя в потухшие, будто пеплом засыпанные глаза:

— А ты, Григории, не горюй! Может, оно обойдется добром. Что ты так уж опустился весь? Госпо-о-оди!.. — Рот ее удлиняла, плоско растягивала гримаса рыдания, но она с усилием собирала губы в комок, шептала: — Проведать приеду… Грипку привезу, ты ить ее дюжей жалеешь…

От ворот крикнул милиционер:

— Подвода пришла! Клади сумки и трогайся! Бабы, отойди в сторону, нечего тут мокрость разводить!

Лукинична первый раз в жизни поцеловала рыжеволосую руку Мирона Григорьевича, оторвалась.

Бычиные сани медленно поползли через площадь к Дону.

Семь человек арестованных и два милиционера пошли позади. Авдеич приотстал, завязывая чирик, и моложаво побежал догонять. Матвей Кашулин шел рядом с сыном. Майданников и Королев на ходу закуривали. Мирон Григорьевич держался за кошелку саней.

А позади всех величавой тяжеловатой поступью шел старик Богатырев. Встречный ветер раздувал, заносил ему назад концы белой патриаршей бороды, прощально помахивая махрами кинутого на плечи шарфа.

В этот же пасмурный февральский день случилось диковинное.

За последнее время в хуторе привыкли к приезду служилых из округа людей. Никого не заинтересовало появление на площади пароконной подводы с зябко съежившимся рядом с кучером седоком. Сани стали у моховского дома. Седок вылез и оказался человеком пожилым, неторопливым в движениях. Он поправил солдатский ремень на длинной кавалерийской шинели, поднял с ушей наушники красного казачьего малахая и, придерживая деревянную коробку маузера, не спеша взошел на крыльцо.

В ревкоме были Иван Алексеевич да двое милиционеров. Человек вошел без стука, у порога расправил тронутый проседью короткий оклад бороды, баском сказал:

— Председателя мне нужно.

Иван Алексеевич округлившимся птичьим взглядом смотрел на вошедшего, хотел вскочить, но не смог. Он только по-рыбьи зевал ртом и скреб пальцами ошарпанные ручки кресла. Постаревший Штокман смотрел на него из-под нелепого красного верха казачьего треуха; его узко сведенные глаза, не узнавая, глядели на Ивана Алексеевича и вдруг, дрогнув, сузились, посветлели, от углов брызнули к седым вискам расщепы морщин. Он шагнул к не успевшему встать Ивану Алексеевичу, уверенно обнял его и, целуя, касаясь лица мокрой

бородой, сказал:

— Знал! Если, думаю, жив остался, он будет в Татарском председателем!

— Осип Давыдыч, вдарь!.. Вдарь меня, сукиного сына! Не верю я глазам! — плачуще заголосил Иван Алексеевич.

Слезы до того не пристали его мужественному смуглому лицу, что даже милиционер отвернулся.

— А ты поверь! — улыбаясь и мягко освобождая свои руки из рук Ивана Алексеевича, басил Штокман. — У тебя, что же, и сесть не на чем?

— Садись вот на креслу!.. Да откель же ты взялся? Говори!

— Я — с политотделом армии. Вижу, что ты никак не хочешь верить в мою доподлинность. Экий чудак!

Штокман, улыбаясь, хлопая по колену Ивана Алексеевича, бегло заговорил:

— Очень, браток, все просто. После того как забрали отсюда, осудили, ну, в ссылке встретил революцию. Организовали с товарищем отряд Красной гвардии, дрался с Дутовым и Колчаком. О, брат, там веселые дела были! Теперь загнали мы его за Урал — знаешь? И вот я на вашем фронте. Политотдел Восьмой армии направил меня для работы в ваш округ, как некогда жившего здесь, так сказать, знакомого с условиями. Примчал я в Вешенскую, поговорил в ревкоме с народом и в первую очередь решил поехать в Татарский. Дай, думаю, поживу у них, поработаю, помогу организовать дело, а потом уеду. Видишь, старая дружба не забывается? Ну, да к этому мы еще вернемся, а сейчас давай-ка поговорим о тебе, о положении, познакомишь меня с людьми, с обстановкой. Ячейка есть в хуторе? Кто тут у тебя? Кто уцелел? Ну что же, товарищи… пожалуй, оставьте нас на часок с председателем. Фу, черт! Въехал в хутор, так и пахнуло старым… Да, было время, а теперь времечко… Ну, рассказывай!

Часа через три Мишка Кошевой и Иван Алексеевич вели Штокмана на старую квартиру к Лукешке косой. Шагали по коричневому настилу дороги. Мишка часто хватался за рукав штокманской шинели, будто опасаясь, что вот оторвется Штокман и скроется из глаз или растает призраком.

Лукешка покормила старого квартиранта щами, даже ноздреватый от старости кусок сахара достала из потаенного угла сундука.

После чая из отвара вишневых листьев Штокман прилег на лежанку. Он слышал путаные рассказы обоих, вставлял вопросы, грыз мундштук и уже перед зарей незаметно уснул, уронив папиросу на фланелевую грязную рубаху. А Иван Алексеевич еще минут десять продолжал говорить, опомнился, когда на вопрос Штокман ответил храпком, и вышел, ступая на цыпочках, багровея до слез в попытках удержать рвущийся из горла кашель.

— Отлегнуло? — тихо, как от щекотки, посмеиваясь, спросил Мишка, едва лишь сошел с крыльца.

Ольшанов, сопровождавший арестованных в Вешенскую, вернулся с попутной подводой в полночь. Он долго стучался в окно горенки, где спал Иван Алексеевич. Разбудил.

— Ты чего? — Вышел опухший от сна Иван Алексеевич. — Чего пришел? Пакет, что ли?

Ольшанов поиграл плеткой:

— Казаков-то расстреляли.

— Брешешь, гад!

— Пригнали мы — сразу их на допрос и, ишо не стемнело, повели в сосны… Сам видал!..

Не попадая ногами в валенки, Иван Алексеевич оделся, побежал к Штокману.

— Каких отправили мы ноне — расстреляли в Вешках! Я думал, им тюрьму дадут, а этак что же… Этак мы ничего тут не сделаем! Отойдет народ от нас, Осип Давыдович!.. Тут что-

то не так. На что надо было сничтожать людей? Что теперь будет?

Он ждал, что Штокман будет так же, как и он, возмущен случившимся, напуган последствиями, но тот, медленно натягивая рубаху, выпростав голову, попросил:

— Ты не кричи. Хозяйку разбудишь…

Оделся, закурил, попросил еще раз рассказать причины, вызвавшие арест семи, потом холодновато заговорил:

— Должен ты усвоить вот что, да крепко усвоить! Фронт в полутораста верстах от нас. Основная масса казачества настроена к нам враждебно. И это — потому, что кулаки ваши, кулаки-казаки, то есть атаманы и прочая верхушка, пользуются у трудового казачества огромным весом, имеют вес, так сказать. Почему? Ну это же тоже должно быть тебе понятно. Казаки — особое сословие, военщина. Любовь к чинам, к «отцам-командирам» прививалась царизмом… Как это в служивской песне поется? «И что нам прикажут отцы-командиры — мы туда идем, рубим, колем, бьем». Так, что ли? Вот видишь! А эти самые отцы-командиры приказывали рабочие стачки разгонять… Казакам триста лет дурманили голову. Немало! Так вот! А разница между кулаком, скажем, Рязанской губернии и донским, казачьим кулаком очень велика! Рязанский кулак, ущемили его, — он шипит на Советскую власть, бессилен, из-за угла только опасен. А донской кулак? Это вооруженный кулак. Это опасная и ядовитая гадина! Он силен. Он будет не только шипеть, распускать порочащие нас слухи, клеветать на нас, как это делали, по твоим словам, Коршунов и другие, но и попытается открыто выступить против нас. Ну конечно! Он возьмет винтовку и будет бить нас. Тебя будет бить! И постарается увлечь за собой и остальных казаков за так сказать — середнеимущественного казака и даже бедняка. Их руками он норовит бить нас! В чем же дело! Уличен в действиях против нас? Готово! Разговор короткий — к стенке! И тут нечего слюнявиться жалостью: хороший, мол, человек был.

— Да я не жалею, что ты! — Иван Алексеевич замахал руками. — Я боюсь, как бы остальные от нас не откачнулись.

Штокман, до этого с кажущимся спокойствием потиравший ладонью крытую седоватым волосом грудь, вспыхнул, с силой схватил Ивана Алексеевича за ворот гимнастерки и, притягивая его к себе, уже не говорил, а хрипел, подавляя кашель:

— Не откачнутся, если внушить им нашу классовую правду! Трудовым казакам только с нами по пути, а не с кулачьем! Ах, ты!.. Да кулаки же их трудом — их трудом! — живут. Жиреют!.. Эх ты, шляпа! Размагнитился! Душок у тебя… Я за тебя возьмусь! Этакая дубина! Рабочий парень, а слюни интеллигентские… Как какой-нибудь паршивенький эсеришка! Ты смотри у меня, Иван!

Выпустил ворот гимнастерки, чуть улыбнулся, покачал головой и, закурив, глотнул дымку, уже спокойнее докончил:

— Если по округу не взять наиболее активных врагов — будет восстание. Если своевременно сейчас изолировать их — восстания может не быть. Для этого не обязательно всех расстреливать. Уничтожить нужно только матерых, а остальных — ну хотя бы отправить в глубь России. Но вообще с врагами нечего церемониться! «Революцию в перчатках не делают», — говорил Ленин. Была ли необходимость расстреливать в данном случае этих людей? Я думаю — да! Может быть, не всех, но Коршунова, например, незачем исправлять! Это ясно! А вот Мелехов, хоть и временно, а ускользнул. Именно его надо бы взять в дело! Он опаснее остальных, вместе взятых. Ты это учти. Тот разговор, который он вел с тобой в исполкоме, — разговор завтрашнего врага. Вообще же переживать тут нечего. На фронтах гибнут лучшие сыны рабочего класса. Гибнут тысячами! О них — наша печаль, а не о тех, кто убивает их или ждет случая, чтобы ударить в спину. Или они нас, или мы их! Третьего не

дано. Так-то, свет Алексеевич!

XXIII

Петро только что наметал скотине и вошел в курень, выбирая из варежек сенные остья. Сейчас же звякнула щеколда в сенцах.

Закутанная в черный ковровый платок Лукинична переступила порог. Мелко шагая, не поздоровавшись, она просеменила к Наталье, стоявшей у кухонной лавки, и упала перед ней на колени.

— Маманя! Милушка! Ты чего?! — не своим голосом вскрикнула Наталья, пытаясь поднять отяжелевшее тело-матери.

Вместо ответа Лукинична стукнулась головой о земляной пол, глухо, надорванно заголосила по мертвому:

— И ро-ди-мый ты мо-о-ой! И на кого же ты нас… поки-и-нул!..

Бабы так дружно взревелись, так взвизжались детишки, что Петро, ухватив с печурки кисет, стремглав вылетел в сенцы. Он уже догадался, в чем дело. Постоял, покурил на крыльце. В курене умолкли воющие голоса, и Петро, неся на спине неприятный озноб, вошел в кухню. Лукинична, не отрывая от лица мокрого, хоть выжми, платка, причитала:

— Расстрелили нашего Мирона Григорича!.. Нету в живых сокола!.. Остались мы сиротами!.. Нас теперя и куры загребут!.. — И снова перешла на волчий голос: — Закрылись его глазыньки!.. Не видать им белого све-е-та!..

Дарья отпаивала сомлевшую Наталью водой, Ильинична завеской сушила щеки. Из горницы, где отлеживался больной Пантелей Прокофьевич, слышался кашель и скрежещущий стон.

— Ради господа Христа, сват! Ради создателя, родимушка, съезди ты в Вешки, привези нам его хучь мертвого! — Лукинична хватала руки Петра, обезумело прижимала их к груди. — Привези его… Ох, царица милостивая! Ох, не хочу я, что он там сгниет непохороненный!

— Что ты, что ты, сваха! — как от зачумленной, отступал от нее Петро. — Мысленное дело — добыть его? Мне своя жизня дороже! Где же я его там найду?

— Не откажи, Петюшка! Ради Христа! Ради Христа!..

Петро изжевал усы и под конец согласился. Решил заехать в Вешенской к знакомому казаку и при его помощи попытаться выручить труп Мирона Григорьевича. Выехал он в ночь. По хутору зажглись огни, и в каждом курене уже гудела новость: «Казаков расстреляли!»

Остановился Петро возле новой церкви у отцовского полчанина, попросил его помочь вырыть труп свата. Тот охотно согласился.

— Пойдем. Знаю, где это место. И неглубоко зарывают. Только как его найдешь? Там ить он не один. Вчера двенадцать палачей расстреляли, какие казнили наших при кадетской власти. Только уговор: после постановишь четверть самогону? Ладно?

В полночь, захватив лопаты и ручные, для выделки кизяка, носилки, они пошли краем станицы через кладбище к соснам, около которых приводились в исполнение приговоры. Схватывался снежок. Краснотал, опушенный инеем, хрустел под ногами. Петро прислушивался к каждому звуку и клял в душе свою поездку, Лукиничну и даже покойного свата. Около первого квартала соснового молодняка, за высоким песчаным буруном казак стал.

— Где-то тут, поблизу…

Прошли еще шагов сто. Шайка станичных собак подалась от них с воем и брехом. Петро бросил носилки, хрипло шепнул:

— Пойдем назад! Ну его к…! Не один черт, где ему лежать? Ох, связался… Упросила, нечистая сила!

— Чего же ты оробел? Пойдем! — посмеивался казак.

Дошли. Около раскидистого застарелого куста краснотала снег был плотно умят, смешан с песком. От него лучами расходились людские следы и низаная мережка собачьих…

…Петро по рыжеватой бороде угадал Мирона Григорьевича. Он вытащил свата за кушак, взвалил туловище на носилки. Казак, покашливая, закидывал яму; прилаживаясь к ручкам носилок, недовольно бормотал:

— Надо бы подъехать на санях к соснам. То-то дураки мы! В нем, в кабане, добрых пять пудов. А по снегу стрямко идтить.

Петро раздвинул отходившие свое ноги покойника, взялся за поручни.

До зари он пьянствовал в курене у казака. Мирон Григорьевич, закутанный в полог, дожидался в санях. Коня, спьяну, привязал Петро к этим же саням, и тот все время стоял, до отказа вытянув на недоуздке голову, всхрапывая, прядая ушами. К сену так и не притронулся, чуя покойника.

Чуть посерел восход, Петро был уже в хуторе. Он ехал лугом, гнал без передышки. Позади выбивала дробь по поддоске голова Мирона Григорьевича. Петро раза два останавливался, совал под голову ему мочалистое луговое сено. Привез он свата прямо домой. Мертвому хозяину отворила ворота любимая дочь Грипашка и кинулась от саней в сторону, в сугроб. Как мучной куль, на плече внес Петро в просторную кухню свата, осторожно опустил на стол, заранее застланный холстинной дорожкой. Лукинична, выплакавшая все слезы, ползала в ногах мужа, опрятно одетых в белые смертные чулки, осиплая, простоволосая.

— Думала, войдешь ты на своих ноженьках, хозяин наш, а тебя внесли, — чуть слышались ее шепот и всхлипы, дико похожие на смех.

Петро из горенки вывел под руку деда Гришаку. Старик весь ходил ходуном, словно пол под его ногами зыбился трясиной. Но к столу подошел молодцевато, стал в изголовье.

— Ну, здорово, Мирон! Вот как пришлось, сынок, свидеться… — Перекрестился, поцеловал измазанный желтой глиной ледяной лоб. — Миронушка, скоро и я… — Голос его поднялся до стенящего визга. Словно боясь проговориться, дед Гришака проворным, не стариковским движением поднес руку до рта, привалился к столу.

Спазма волчьей хваткой взяла Петра за глотку. Он потихоньку вышел на баз, к причаленному у крыльца коню.

XXIV

Из глубоких затишных омутов сваливается Дон на россыпь. Кучеряво вьется там течение. Дон идет вразвалку, мерным тихим разливом. Над песчаным твердым дном стаями пасутся чернопузы; ночью на россыпь выходит жировать стерлядь, ворочается в зеленых прибрежных теремах тины сазан; белесь и суда гоняют за белой рыбой, сом роется в ракушках; взвернет иногда он зеленый клуб воды, покажется под просторным месяцем, шевеля золотым, блестящим правилом, и вновь пойдет расковыривать лобастый усатой головой залежи ракушек, чтобы к утру застыть в полусне где-нибудь в черной обглоданной коряге.

Но там, где узко русло, взятый в неволю Дон прогрызает в теклине глубокую прорезь, с

придушенным ревом стремительно гонит одетую пеной белогривую волну. За мысами уступов, в котловинах течение образует коловерть. Завораживающим страшным кругом ходит там вода: смотреть — не насмотришься.

С россыпи спокойных дней свалилась жизнь в прорезь. Закипел Верхне-Донской округ. Толканулись два течения, пошли вразброд казаки, и понесла, завертела коловерть. Молодые и который победней — мялись, отмалчивались, все еще ждали мира от Советской власти, а старые шли в наступ, уже открыто говорили о том, что красные хотят казачество уничтожить поголовно.

В Татарском собрал Иван Алексеевич 4 марта сход. Народу сошлось на редкость много. Может быть, потому, что Штокман предложил ревкому на общем собрании распределить по беднейшим хозяйствам имущество, оставшееся от бежавших с белыми купцов. Собранию предшествовало бурное объяснение с одним из окружных работников. Он приехал из Вешенской с полномочиями забрать конфискованную одежду. Штокман объяснил ему, что одежду сейчас ревком сдать не может, так как только вчера было выдано транспорту раненых и больных красноармейцев тридцать с лишним теплых вещей. Приехавший молодой паренек насыпался на Штокмана, резко повышая голос:

— Кто тебе позволил отдавать конфискованную одежду?

— Мы разрешения не спрашивали ни у кого.

— Но какое же ты имел право расхищать народное достояние?

— Ты не кричи, товарищ, и не говори глупостей. Никто ничего не расхищал. Шубы мы выдали подводчикам под сохранные расписки, с тем чтобы они, доставив красноармейцев до следующего этапного пункта, привезли выданную одежду обратно. Красноармейцы были полуголые, и отправлять их в одних шинелишках — значило отправлять на смерть. Как же я мог не выдать? Тем более что одежда лежала в кладовой без употребления.

Он говорил, сдерживая раздражение, и, может быть, разговор кончился бы миром, но паренек, заморозив голос, решительно заявил:

— Ты кто такой? Председатель ревкома? Я тебя арестовываю! Сдавай дела заместителю! Сейчас же отправляю тебя в Вешенскую. Ты тут, может, половину имущества разворовал, а я…

— Ты коммунист? — кося глазами, мертвенно бледнея, спросил Штокман.

— Не твое дело! Милиционер! Возьми его и доставь в Вешенскую сейчас же! Сдашь под расписку в окружную милицию.

Паренек смерил Штокмана взглядом.

— А с тобой мы там поговорим. Ты у меня попляшешь, самоуправщик!

— Товарищ! Ты что — ошалел? Да ты знаешь…

— Никаких разговоров! Молчать!

Иван Алексеевич, не успевший в перепалку и слово вставить, увидел, как Штокман медленным страшным движением потянулся к висевшему на стене маузеру. Ужас плесканулся в глазах паренька. С изумительной быстротой тот отворил задом дверь, падая, пересчитал спиной все порожки крыльца и, ввалившись в сани, долго, пока не проскакал площади, толкал возницу в спину и все оглядывался, видимо, страшась погони.

В ревкоме раскатами бил в окна хохот. Смешливый Давыдка в судорогах катался по столу. Но у Штокмана еще долго нервный тик подергивал веко, косили глаза.

— Нет, каков мерзавец! Ах, подлюга! — повторял он, дрожащими пальцами сворачивая папироску.

На собрание пошел он вместе с Кошевым и Иваном Алексеевичем. Майдан набит битком. У Ивана Алексеевича даже сердце не по-хорошему екнуло: «Чтой-то они неспроста

собрались… Весь хутор на майдане». Но опасения его рассеялись, когда он, сняв шапку, вошел в круг. Казаки охотно расступились. Лица были сдержанные, у некоторых даже с веселинкой в глазах. Штокман оглядел казаков. Ему хотелось разрядить атмосферу, вызвать толпу на разговор. Он, по примеру Ивана Алексеевича, тоже снял свой красноверхий малахай, громко сказал:

— Товарищи казаки! Прошло полтора месяца, как у вас стала Советская власть. Но до сих пор с вашей стороны мы, ревком, наблюдаем какое-то недоверие к нам, какую-то даже враждебность. Вы не посещаете собраний, среди вас ходят всякие слухи, нелепые слухи о поголовных расстрелах, о притеснениях, которые будто бы чинит вам Советская власть. Пора нам поговорить, что называется, по душам, пора поближе подойти друг к другу. Вы сами выбирали свой ревком. Котляров и Кошевой — ваши хуторские казаки, и между вами не может быть недоговоренности. Прежде всего я решительно заявляю, что распространяемые нашими врагами слухи о массовых расстрелах казаков — не что иное как клевета. Цель у сеющих эту клевету — ясная: поссорить казаков с Советской властью, толкнуть вас опять к белым.

— Скажешь, расстрелов нет? А семерых куда дели? — крикнули из задних рядов.

— Я не скажу, товарищи, что расстрелов нет. Мы расстреливали и будем расстреливать врагов Советской власти, всех, кто вздумает навязывать нам помещицкую власть. Не для этого мы свергли царя, кончили войну с Германией, раскрепостили народ. Что вам дала война с Германией? Тысячи убитых казаков, сирот, вдов, разорение…

— Верно!

— Это ты правильно гутаришь!

— …Мы — за то, чтобы войны не было, — продолжал Штокман. — Мы за братство народов! А при царской власти для помещиков и капиталистов завоевывались вашими руками земли, чтобы обогатились на этом те же помещики и фабриканты. Вот у вас под боком был помещик Листницкий. Его дед получил за участие в войне восемьсот двенадцатого года четыре тысячи десятин земли. А что ваши деды получили? Они головы теряли на немецкой земле! Они кровью ее поливали!

Майдан загудел. Гул стал притихать, а потом сразу взмахнул ревом:

— Верна-а-а-а!..

Штокман малахаем осушил пот на лысеющем лбу, напрягая голос, кричал:

— Всех, кто поднимет на рабоче-крестьянскую власть вооруженную руку, мы истребим! Ваши хуторские казаки, расстрелянные по приговору Ревтрибунала, были нашими врагами. Вы все это знаете. Но с вами, тружениками, с теми, кто сочувствует нам, мы будем идти вместе, как быки на пахоте, плечом к плечу. Дружно будем пахать землю для новой жизни и боронить ее, землю, будем, чтобы весь старый сорняк, врагов наших, выкинуть с пахоты! Чтобы не пустили они вновь корней! Чтобы не заглушили роста новой жизни!

Штокман понял по сдержанному шуму, по оживившимся лицам, что ворохнул речью казачьи сердца. Он не ошибся: начался разговор по душам.

— Осип Давыдович! Хорошо мы тебя знаем, как ты проживал у нас когда-то, ты нам вроде как свой. Объясни правильно, не боись нас, что она, эта власть ваша, из нас хочет? Мы, конечно, за нее стоим, сыны наши фронты бросили, но мы — темные люди, никак мы не разберемся в ней…

Долго и непонятно говорил старик Грязнов, ходил вокруг да около, кидал увертливые, лисьи петли слов, видимо, боясь проговориться. Безрукий Алешка Шамиль не вытерпел:

— Можно сказать?

— Бузуй! — разрешил Иван Алексеевич, взволнованный разговором.

— Товарищ, Штокман, ты мне наперед скажи: могу я гутарить так, как хочу?

— Говори.

— А не заарестуете меня?

Штокман улыбнулся, молча махнул рукой.

— Только чур — не серчать! Я от простого ума: как умею, так и заверну.

Сзади за холостой рукав Алешкиного чекменишки дергал брат Мартин, испуганно шептал:

— Брось, шалава! Брось, не гутарь, а то они тебя враз на цугундер. Попадешь на книжку, Алешка!

Но тот отмахнулся от него, дергая изуродованной щекой, мигая, стал лицом к майдану.

— Господа казаки! Я скажу, а вы рассудите нас, правильно я поведу речь или, может, заблужусь. — Он по-военному крутнулся на каблуках, повернулся к Штокману, хитро заерзал прижмурой-глазом. — Я так понимаю: направдок гутарить — так направдок. Рубануть уж, так сплеча! Я зараз скажу, что мы все, казаки, думаем и за что мы на коммунистов держим обиду… Вот ты, товарищ, рассказывал, что против хлеборобов-казаков вы не идете, какие вам не враги. Вы против богатых, за бедных вроде. Ну скажи, правильно расстреляли хуторных наших? За Коршунова гутарить не буду — он атаманил, весь век на чужом горбу катался, а вот Авдеича Бреха за что? Кашулина Матвея? Богатырева? Майданникова? А Королева? Они такие же, как и мы, темные, простые, непутаные. Учили их за чапиги держаться, а не за книжку. Иные из них и грамоте не разумеют. Аз, буки — вот и вся ихняя ученость. И ежели эти люди сболтнули что плохое, то разве за это на мушку их надо брать? — Алешка перевел дух, рванулся вперед. На груди его забился холостой рукав чекменя, рот повело в сторону. — Вы забрали их, кто сдуру набрехал, казнили, а вот купцов не трогаете! Купцы деньгой у вас жизню свою откупили! А нам и откупиться не за что, мы весь век в земле копаемся, а длинный рупь мимо нас идет. Они, каких расстреляли, может, и последнего быка с база согнали б, лишь бы жизню им оставили, но с них кострибуцию не требовали. Их взяли и поотвернули им головы. И ить мы все знаем, что делается в Вешках. Там купцы, попы — все целенькие. И в Каргинах, небось, целые. Мы слышим, что кругом делается. Добрая слава лежит, а худая по свету бежит!

— Правильна! — одинокий крик сзади.

Гомон вспух, потопил слова Алешки, но тот переждал время и, не обращая внимания на поднятую руку Штокмана, продолжал выкрикивать:

— И мы поняли, что, может, Советская власть и хороша, но коммунисты, какие на должностях засели, норовят нас в ложке воды утопить! Они нам солют за девятьсот пятый год, мы эти слова слыхали от красных солдатов. И мы так промеж себя судим: хотят нас коммунисты изнистожить, перевесть вовзят [66]. Чтоб и духу казачьего на Дону не было. Вот тебе мой сказ! Я зараз как пьяный: что на уме, то на языке. А пьяные мы все от хорошей жизни, от обиды, что запеклась на вас, на коммунистов!

Алешка нырнул в гущу полушубков, и над майданом надолго распростерлась потерянная тишина. Штокман заговорил, но его перебили выкриком из задних рядов:

— Правда! Обижаются казаки! Вы послухайте, каткие песни зараз на хуторах сложили. Словом не всякий решится сказать, а в песнях играют, с песни короткий спрос. А сложили такую «яблочко»:

Самовар кипит, рыба жарится.

А кадеты придут — будем жалиться.

— Значит, есть на что жалиться!

Кто-то некстати засмеялся. Толпа колыхнулась. Шепот, разговоры…

Штокман ожесточенно нахлобучил малахай и, выхватив из кармана список, некогда написанный Кошевым, крикнул:

— Нет, неправда! Не за что обижаться тем, кто за революцию! Вот за что расстреляли ваших хуторян, врагов Советской власти. Слушайте! — И он внятно, с паузами стал читать:

СПИСОК

арестованных врагов Советской власти, препровождающихся в распоряжение следственной комиссии при Ревтрибунале 15-й Инзенской дивизии

Фамилия, имя, отчество За что арестовали

1 Коршунов Мирон Григорьевич Б. атаман, богатей, нажитый от чужого труда.

2 Синилин Иван Авдеевич Пущал пропаганды, чтобы свергнули Советскую власть.

3 Кашулин Матвей Иванович То же самое.

4 Майданников Семен Гаврилов Надевал погоны, орал по улицам против власти.

5 Мелехов Пантелей Прокофьевич Член Войскового круга.

6 Мелехов Григорий Пантелеевич Подъесаул, настроенный против. Опасный.

7 Кашулин Андрей Матвеев Участвовал в расстреле красных казаков Подтелкова.

8 Бодовсков Федот Никифоров То же самое.

9 Богатырев, Архип Матвеев Церковный титор. Против власти выступал в караулке. Возмутитель народа и контра революции.

10 Королев Захар Леонтьев Отказался сдать оружие. Ненадежный.

Против обоих Мелеховых и Бодовскова в примечании, не прочтенном Штокманом вслух, было указано:

«Данные враги Советской власти не доставляются, ибо двое из них в отсутствии, мобилизованы в обывательские подводы, повезли до станции Боковской патроны. А Мелехов Пантелей лежит в тифу. С приездом двое будут немедленно арестованы и доставлены в округ. А третий — как только подымется на ноги».

Собрание несколько мгновений помолчало, а потом взорвалось криками:

— Неверно!

— Брешешь! Говорили они против власти!

— За такие подобные следовает!

— В зубы им заглядать, что ли?

— Наговоры на них!

И Штокман заговорил вновь. Его слушали, будто и внимательно и даже покрикивали с одобрением, но когда в конце он поставил вопрос о распределении имущества бежавших с белыми — ответили молчанием.

— Чего ж вы воды в рот набрали? — досадуя, спросил Иван Алексеевич.

Толпа покатилась к выходу, как просыпанная дробь. Один из беднейших, Семка, по прозвищу Чугун, было нерешительно подался вперед, но потом одумался и махнул варежкой:

— Хозяева придут, опосля глазами моргай…

Штокман пытался уговаривать, чтобы не расходились, а Кошевой, мучнисто побелев, шепнул Ивану Алексеевичу:

— Я говорил — не будут брать. Это имущество лучше спалить теперя, чем им отдавать!..

XXV

Кошевой, задумчиво похлопывая плеткой по голенищу, уронив голову, медленно всходил по порожкам моховского дома. Около дверей в коридоре, прямо на полу, лежали в куче седла.

Кто-то, видно, недавно приехал: на одном из стремян еще не стаял спрессованный подошвой всадника, желтый от навоза комок снега; под ним мерцала лужица воды. Все это Кошевой видел, ступая по измызганному полу террасы. Глаза его скользили по голубой резной решетке с выщербленными ребрами, по пушистому настилу инея, сиреневой каемкой лежавшему близ стены; мельком взглянул он и на окна, запотевшие изнутри, мутные, как бычачий пузырь. Но все то, что он видел, в сознании не фиксировалось, скользило невнятно, расплывчато, как во сне. Жалость и ненависть к Григорию Мелехову переплели Мишкино простое сердце…

В передней ревкома густо воняло табаком, конской сбруей, талым снегом. Горничная, одна из прислуги, оставшаяся в доме после бегства Моховых за Донец, топила голландскую печь. В соседней комнате громко смеялись милиционеры. «Чудно им! Веселость нашли…» — обиженно подумал Кошевой, шагая мимо, и уже с досадой в последний раз хлопнул плеткой по голенищу, без стука вошел в угловую комнату.

Иван Алексеевич в распахнутой ватной теплушке сидел за письменным столом. Черная папаха его была лихо сдвинута набекрень, а потное лицо — устало и озабоченно. Рядом с ним на подоконнике, все в той же длинной кавалерийской шинели, сидел Штокман. Он встретил Кошевого улыбкой, жестом пригласил сесть рядом:

— Ну как, Михаил? Садись.

Кошевой сел, разбросав ноги. Любознательно-спокойный голос Штокмана подействовал на него отрезвляюще.

— Слыхал я от верного человека… Вчера вечером Григорий Мелехов приехал домой. Но к ним я не заходил.

— Что ты думаешь по этому поводу?

Штокман сворачивал папироску и изредка вкось поглядывал на Ивана Алексеевича, выжидая ответа.

— Посадить его в подвал или как? — часто мигая, нерешительно спросил Иван Алексеевич.

— Ты у нас председатель ревкома… Смотри.

Штокман улыбнулся, уклончиво пожал плечами. Умел он с такой издевкой улыбнуться, что улыбка жгла не хуже удара арапником. Вспотел у Ивана Алексеевича подбородок.

Не разжимая зубов, резко сказал:

— Я — председатель, так я их обоих, и Гришку и брата, арестую — и в Вешки!

— Брата Григория Мелехова арестовывать вряд ли есть смысл. За него горой стоит Фомин. Тебе же известно, как он о нем прекрасно отзывается… А Григория взять сегодня, сейчас же! Завтра мы его отправим в Вешенскую, а материал на него сегодня же пошли с конным милиционером на имя председателя Ревтрибунала.

— Может, вечером забрать Григория, а, Осип Давидович?

Штокман закашлялся и уже после приступа, вытирая бороду, спросил:

— Почему вечером?

— Меньше разговоров…

— Ну, это, знаешь ли… ерунда это!

— Михаил, возьми двух человек и иди забери зараз же Гришку. Посадишь его отдельно. Понял?

Кошевой сполз с подоконника, пошел к милиционерам. Штокман походил по комнате, шаркая растоптанными седыми валенками; остановившись против стола, спросил:

— Последнюю партию собранного оружия отправил?

— Нет.

— Почему?

— Не успел вчера.

— Почему?

— Нынче отправим.

Штокман нахмурился, но сейчас же приподнял брови, спросил скороговоркой:

— Мелеховы что сдали?

Иван Алексеевич, припоминая, сощурил глаза, улыбнулся:

— Сдали-то они в аккурат, две винтовки и два нагана. Да ты думаешь, это все?

— Нет?

— Ого! Нашел дурее себя!

— Я тоже так думаю. — Штокман тонко поджал губы. — Я бы на твоем месте после ареста устроил у него тщательный обыск. Ты скажи, между прочим, коменданту-то. Думать-то ты думаешь, а кроме этого, и делать надо.

Кошевой вернулся через полчаса. Он резво бежал по террасе: свирепо прохлопал дверями и, став на пороге, переводя дух, крикнул:

— Черта с два!

— Ка-а-ак?! — быстро идя к нему, страшно округляя глаза, спросил Штокман. Длинная шинель его извивалась между ногами, полами щелкала по валенкам.

Кошевой, то ли от тихого его голоса, то ли еще от чего, взбесился, заорал:

— А ты глазами не играй!.. — И матерно выругался. — Говорят, уехал Гришка на Сингинский, к тетке, а я тут при чем? Вы-то где были? Гвозди дергали? Вот! Проворонили Гришку! А на меня нечего орать! Мое дело телячье — поел да в закут. А вы чего думали? — Пятясь от подходившего к нему в упор Штокмана, он уперся спиной в изразцовую боковину печи и рассмеялся. — Не напирай, Осип Давыдович! Не напирай, а то, ей-богу, вдарю!

Штокман постоял около него, похрустел пальцами; глядя на белый Мишкин оскал, на глаза его, смотревшие улыбчиво и преданно, процедил:

— Дорогу на Сингин знаешь?

— Знаю.

— Чего же ты вернулся? А еще говоришь — с немцем дрался… Шляпа! — И с нарочитым презрением сощурился.

Степь лежала, покрытая голубоватым дымчатым куревом. Из-за обдонского бугра вставал багровый месяц. Он скупо светил, не затмевая фосфорического света звезд.

По дороге на Сингин ехали шесть конников. Лошади бежали рысцой. Рядом с Кошевым трясся в драгунском седле Штокман. Высокий гнедой донец под ним все время взыгрывал, ловчился укусить всадника за колено. Штокман с невозмутимым видом рассказывал какую-то смешную историю, а Мишка, припадая к луке, смеялся детским, заливчатым смехом, захлебываясь и икая, и все норовил заглянуть под башлык Штокману, в его суровые стерегущие глаза.

Тщательный обыск на Сингином не дал никаких результатов.

XXVI

Григория заставили из Боковской ехать в Чернышевскую. Вернулся он через полторы недели. А за два дня до его приезда арестовали отца. Пантелей Прокофьевич только что начал ходить после тифа. Встал еще больше поседевший, мослаковатый, как конский скелет. Серебристый каракуль волос лез, будто избитый молью, борода свалялась и была по краям сплошь намылена сединой.

Милиционер увел его, дав на сборы десять минут. Посадили Прокофьевича — перед отправкой в Вешенскую — в моховский подвал. Кроме него, в подвале, густо пропахшем анисовыми яблоками, сидели еще девять стариков и один почетный судья.

Петро сообщил эту новость Григорию и — не успел еще тот в ворота въехать — посоветовал:

— Ты, браток, поворачивай оглобли… Про тебя пытали, когда приедешь. Поди посогрейся, детишков повидай, а после давай я тебя отвезу на Рыбный хутор, там прихоронишься и перегодишь время. Будут спрашивать, скажу — уехал на Сингин к тетке. У нас ить семерых прислонили к стенке, слыхал? Как бы отцу такая линия не вышла… А про тебя и гутарить нечего!

Посидел Григорий в кухне с полчаса, а потом, оседлав своего коня, в ночь ускакал на Рыбный. Дальний родственник Мелеховых, радушный казак, спрятал Григория в прикладке кизяков. Там он и прожил двое суток, выползая из своего логова только по ночам.

XXVII

На второй день после приезда с Сингина Кошевой отправился в Вешенскую узнать, когда будет собрание комячейки. Он, Иван Алексеевич, Емельян, Давыдка и Филька решили оформить свою партийную принадлежность.

Мишка вез с собой последнюю партию сданного казаками оружия, найденный в школьном дворе пулемет и письмо Штокмана председателю окружного ревкома. На пути в Вешенскую в займище поднимали зайцев. За год войны столько развелось их и так много набрело кочевых, что попадались они на каждом шагу. Как желтый султан куги — так и заячье кобло. От скрипа саней вскочит серый с белым подпудником заяц и, мигая отороченным черной опушкой хвостом, пойдет щелкать целиной. Емельян, правивший конями, бросал вожжи, люто орал:

— Бей! А ну, резани его!

Мишка прыгал с саней, с колена выпускал вслед серому катучему комку обойму, разочарованно смотрел, как пули схватывали вокруг него белое крошево снега, а комок наддавал ходу, с разлету обивал с бурьяна снежный покров и скрывался в чаще.

…В ревкоме шла бестолковая сутолочь. Люди потревоженно бегали, подъезжали верховые нарочные, улицы поражали малолюдьем. Мишка, не понимавший причины беспокойной суетни, был удивлен. Письмо Штокмана заместитель председателя рассеянно сунул в карман, на вопрос, будет ли ответ, сурово буркнул:

— Отвяжись, ну тебя к черту! Не до вас!

По площади сновали красноармейцы караульной роты. Проехала, пыхая дымком, полевая кухня. На площади запахло говядиной и лавровым листом.

Кошевой зашел в Ревтрибунал к знакомым ребятам покурить, спросил:

— Чего у вас томаха идет?

Ему неохотно ответил один из следователей по местным делам, Громов:

— В Казанской чтой-то неспокойно. Не то белые прорвались, не то казаки восстали. Вчера бой там шел, по слухам. Телефонная связь-то порватая.

— Верхового кинули б туда.

— Послали. Не вернулся. А нынче в Еланскую пошла рота. И там что-то нехорошо.

Они сидели у окна, курили. За стеклами осанистого купеческого дома, занятого трибуналом, порошил снежок.

Выстрелы глухо захлопали где-то за станицей, около сосен, в направлении на Черную. Мишка побелел, выронил папиросу. Все бывшие в доме кинулись во двор. Выстрелы гремели уже полнозвучно и веско. Возраставшую пачечную стрельбу задавил залп, завизжали пули, заклацали, вгрызаясь в обшивку сараев, в ворота. Во дворе ранило красноармейца. На площадь, комкая и засовывая в карманы бумаги, выбежал Громов. Около ревкома строились остатки караульной роты. Командир в куцей дубленке челноком шнырял меж красноармейцев. Колонной, на рысях, повел он роту на спуск к Дону. Началась гибельная паника. По площади забегали люди. Задрав голову, наметом прошла оседланная, без всадника лошадь.

Ошарашенный Кошевой сам не помнил, как очутился на площади. Он видел, как Фомин, в бурке, черным вихрем вырвался из-за церкви. К хвосту его рослого коня был привязан пулемет. Колесики не успевали крутиться, пулемет волочился боком, его трепал из стороны в сторону шедший карьером конь. Фомин, припавший к луке, скрылся под горой, оставив за собой серебряный дымок снежной пыли.

«К лошадям!» — было первой мыслью Мишки. Он, пригибаясь, перебегал перекрестки, ни разу не передохнул. Сердце зашлось, пока добежал до квартиры. Емельян запряг лошадей, с испугу не мог нацепить постромки.

— Чтой-то, Михаил? Что такое? — лепетал он, выбивая дробь зубами. Запряг — потерял вожжи. Начал вожжать — на хомуте, у левой, развязалась супонь.

Двор, где они стали на квартиру, выходил в степь. Мишка посматривал на сосны, но оттуда не показывались цепи пехоты, не шла лавой конница. Где-то стреляли, улицы были пусты, все было обыденно и скучно. И в то же время творилось страшное: переворот вступал в права.

Пока Емельян возился с лошадьми, Мишка глаз не сводил со степи. Он видел, как из-за часовенки, мимо места, где сгорела в декабре радиостанция, побежал человек в черном пальто. Он мчался изо всех сил, низко клонясь вперед, прижав к груди руки. По пальто Кошевой узнал следователя Громова. И еще успел увидеть он, как из-за плетня мелькнула фигура конного. И его узнал Мишка. Это был вешенский казак Черничкин, молодой отъявленный белогвардеец. Отделенный от Черничкина расстоянием в сто саженей, Громов на бегу оглянулся раз и два, достал из кармана револьвер. Хлопнул выстрел, другой. Громов выскочил на вершину песчаного буруна, бил из нагана. С лошади Черничкин прыгнул на ходу; придерживая повод, снял винтовку, прилег под сугроб. После первого выстрела Громов пошел боком, хватая левой рукой ветви хвороста. Околесив бурун, он лег лицом в снег. «Убил!» — Мишка похолодел. Был Черничкин лучшим стрелком и из принесенного с германской войны австрийского карабина без промаха низал любую на любом расстоянии цель. Уже в сенях, выскочив за ворота, Мишка видел, как Черничкин, подскакав к буруну, рубил шашкой черное пальто, косо распростертое на снегу.

Скакать через Дон на Базки было опасно. На белом просторе Дона лошади и седоки стели бы прекрасной мишенью.

Там уже легли двое красноармейцев караульной роты, срезанные пулями. И поэтому Емельян повернул через озеро в лес. На льду стоял наслуз [67], из-под конских копыт, шипя, летели брызги и комья, подреза полозьев чертили глубокие борозды. До хутора скакали бешено. Но на переезде Емельян натянул вожжи, повернул опаленное ветром лицо к Кошевому:

— Что делать? А если и у нас такая заваруха?

Мишка затосковал глазами. Оглядел хутор. По крайней к Дону улице проскакали двое верховых. Показалось, видно, Кошевому, что это милиционеры.

— Гони в хутор. Больше нам некуда деваться! — решительно сказал он.

Емельян с великой неохотой тронул лошадей. Дон переехали. Поднялись на выезд. Навстречу им бежали Антип Брехович и еще двое стариков с верхнего края.

— Ох, Мишка! — Емельян, увидев в руках Антипа винтовку, задернул лошадей, круто повернул назад.

— Стой!

Выстрел. Емельян, не роняя из рук вожжей, упал. Лошади скоком воткнулись в плетень. Кошевой спрыгнул с саней. Подбегая к нему, скользя ногами, обутыми в чирики, Антип качнулся, стал, кинул к плечу винтовку. Падая на плетень, Мишка заметил в руках у одного старика белые зубья вил-тройчаток.

— Бей его!

От ожога в плече Кошевой без крика упал вниз, ладонями закрыл глаза. Человек нагнулся над ним с тяжким дыхом, пырнул его вилами.

— Вставай, сука!

Дальше Кошевой помнил все как во сне. На него, рыдая, кидался, хватал за грудки Антип:

— Отца моего смерти предал… Пустите, добрые люди! Дайте, я над ним сердце отведу!

Его оттягивали. Собралась толпа. Чей-то урезонивающий голос простудно басил:

— Пустите парня! Что вы, креста не имеете, что ли? Брось, Антип! В отца жизню не вдунешь, а человека загубишь… Разойдитесь, братцы! Там вон, на складе, сахар делют. Ступайте…

Очнулся Мишка вечером под тем же плетнем. Жарко пощипывал тронутый вилами бок. Зубья, пробив полушубок и теплушку, неглубоко вошли в тело. Но разрывы болели, на них комками запеклась кровь. Мишка встал на ноги, прислушался. По хутору, видно, ходили повстанческие патрули. Редкие гукали выстрелы. Брехали собаки. Издали слышался приближающийся говор. Пошел Мишка скотиньей стежкой вдоль Дона. Выбрался на яр и полз под плетнями, шаря руками по черствой корке снега, обрываясь и падая. Он не узнавал места, полз наобум. Холод бил дрожью тело, замораживал руки. Холод и загнал Кошевого в чьи-то воротца. Мишка открыл калитку, приклученную хворостом, вошел на задний баз. Налево виднелась половня. В нее забрался было он, но сейчас же заслышал шаги и кашель.

Кто-то шел в половню, поскрипывая валенками. «Добьют зараз», — безразлично, как о постороннем, подумал Кошевой. Человек стал в темном просторе дверей.

— Кто тут такой?

Голос был слаб и словно испуган.

Мишка шагнул за стенку.

— Кто это? — спросили уже тревожнее и громче.

Узнав голос Степана Астахова, Мишка вышел из половни:

— Степан, это я, Кошевой… Спаси, ради бога! Могешь ты не говорить никому? Пособи!

— Вон это кто… — Степан, только что поднявшийся после тифа, говорил расслабленным голосом. Удлиненный худобою рот его широко и неуверенно улыбался. — Ну что ж, переночуй, а дневать уж иди куда-нибудь. Да ты как попал сюда?

Мишка без ответа нащупал его руку, сунулся в ворох мякины.

На другую ночь, чуть смерклось, — решившись на отчаянное, добрел до дома, постучался в окно. Мать открыла ему двери в сенцы, заплакала. Руки ее шарили, хватали Мишку за шею, а голова колотилась у него на груди.

— Уходи! Христа ради, уходи, Мишенька! Приходили ноне утром казаки… Весь баз перерыли, искали тебя. Антипка Брех плетью меня секнул. «Скрываешь, говорит, сына. Жалко, что не добили его доразу!» [68]

Где были свои — Мишка не представлял. Что творилось в хуторе — не знал. Из короткого рассказа матери понял, что восстали все хутора Обдонья, что Штокман, Иван Алексеевич, Давыдка и милиционеры ускакали, а Фильку и Тимофея убили на площади еще вчера в полдень.

— Уходи! Найдут тут тебя…

Мать плакала, но голос ее, налитый тоской, был тверд. За долгое время в первый раз заплакал Мишка, по-ребячьи всхлипывая, пуская ртом пузыри. Потом обратал подсосую кобыленку, на которой служил когда-то в атарщиках, вывел ее на гумно, следом шли жеребенок и мать. Мать подсадила Мишку на лошадь, перекрестила. Кобыла пошла нехотя, два раза заржала, прикликая жеребенка. И оба раза сердце у Мишки срывалось и словно катилось куда-то вниз. Но выехал он на бугор благополучно, рыском двинул по Гетманскому шляху, на восток, в направлении Усть-Медведицы. Ночь раскохалась темная, беглецкая. Кобыла часто ржала, боясь потерять сосунка. Кошевой стискивал зубы, бил ее по ушам концами уздечки, часто останавливался послушать — не гремит ли сзади или навстречу гулкий бег коней, не привлекло ли чьего-нибудь внимания ржанье. Но кругом мертвела сказочная тишина. Кошевой слышал только, как, пользуясь остановкой, сосет, чмокает жеребенок, припав к черному вымени матери, упираясь задними ножонками в снег, и чувствовал по спине лошади требовательные его толчки.

XXVIII

В кизячнике густо пахнет сухим навозом, выпревшей соломой, объедьями сена. Сквозь чакановую крышу днем сочится серый свет. В хворостяные ворота, как сквозь решето, иногда глянет солнце. Ночью — глаз коли. Мышиный писк. Тишина…

Хозяйка, крадучись, приносила Григорию поесть раз в сутки, вечером. Врытый в кизяки, стоял у него ведерный кувшин с водой. Все было бы ничего, но кончился табак. Григорий ядовито мучился первые сутки и, не выдержав без курева, наутро ползал по земляному полу, собирая в пригоршню сухой конский помет, крошил его в ладонях, курил. Вечером хозяин прислал с бабой два затхлых бумажных листа, вырванных из Евангелия, коробку серников и пригоршню смеси: сухой донник и корешки недозрелого самосада — «дюбека». Рад был Григорий, накурился до тошноты и в первый раз крепко уснул на кочковатых кизяках, завернув голову в полу, как птица под крыло.

Утром разбудил его хозяин. Он вбежал в кизячник, резко окликнул:

— Спишь? Вставай! Дон поломало!.. — и рассыпчато засмеялся.

Григорий прыгнул с прикладка. За ним обвалом глухо загремели пудовые квадраты кизяков.

— Что случилось?

— Восстали еланские и вешенские с энтой стороны. Фомин и вся власть из Вешек убегли на Токин. Кубыть, восстала Казанская, Шумилинская, Мигулинская. Понял, куда оно махнуло?

У Григория вздулись на лбу и на шее связки вен, зеленоватыми искорками брызнули зрачки. Радости он не мог скрыть: голос дрогнул, бесцельно забегали по застежкам шинели черные пальцы.

— А у вас… в хуторе? Что? Как?

— Ничего не слыхать. Председателя видал — смеется: «По мне, мол, все одно, какому богу ни молиться, лишь бы бог был». Да ты вылазь из своей норы.

Они шли к куреню. Григорий отмахивал саженями, Сбоку поспешал хозяин, рассказывая:

— В Еланской первым поднялся Красноярский хутор. Позавчера двадцать еланских коммунистов пошли на Кривской и Плешаковский рестовать казаков, а красноярские прослыхали такое дело, собрались и решили: «Докель мы будем терпеть смывание? Отцов наших забирают, доберутся и до нас. Седлай коней, пойдем отобьем арестованных». Собрались человек пятнадцать, все ухи-ребята. Повел их боевой казачишка Атланов. Винтовок у них только две, у кого шашка, у кого пика, а иной с дрючком. Через Дон прискакали на Плешаков. Коммуны у Мельникова на базу отдыхают. Кинулись красноярцы на баз в атаку в конном строю, а баз-то обнесенный каменной огорожей. Они напхнулись да назад. Коммуняки убили у них одного казака, царство ему небесное. Вдарили вдогон, он с лошади сорвался и завис на плетне. Принесли его плешаковские казаки к станишным конюшням. А у него, у любушки, в руке плетка застыла… Ну и пошло рвать. На этой поре и конец подошел Советской власти, ну ее к…!..

В хате Григорий с жадностью съел остатки завтрака; вместе с хозяином вышел на улицу. На углах проулков, будто в праздник, группами стояли казаки. К одной из таких групп подошли Григорий и хозяин. Казаки на приветствие донесли до папах руки, ответили сдержанно, с любопытством и выжиданием оглядывая незнакомую фигуру Григория.

— Это свой человек, господа казаки! Вы его не пужайтесь. Про Мелеховых с Татарского слыхали? Это сынок Пантелея, Григорий. У меня от расстрела спасался, — с гордостью сказал хозяин.

Только что завязался разговор, один из казаков начал рассказывать, как выбили из Вешенской решетовцы, дубровцы и черновцы Фомина, — но в это время в конце улицы, упиравшейся в белый лобастый скат горы, показались двое верховых. Они скакали вдоль улицы, останавливаясь около каждой группы казаков, поворачивая лошадей, что-то кричали, махали руками. Григорий жадно ждал их приближения.

— Это не наши, не рыбинские… Гонцы откель-то, — всматриваясь, сказал казак и оборвал рассказ о взятии Вешенской.

Двое, миновав соседний переулок, доскакали. Передний, старик в зипуне нараспашку, без шапки, с потным, красным лицом и рассыпанными по лбу седыми кудрями, молодецки осадил лошадь; до отказа откидываясь назад, вытянул вперед правую руку.

— Что ж вы, казаки, стоите на проулках, как бабы?! — плачуще крикнул он. Злые слезы рвали его голос, волнение трясло багровые щеки.

Под ним ходуном ходила красавица кобылица, четырехлетняя нежеребь, рыжая, белоноздрая, с мочалистым хвостом и сухими, будто из стали литыми ногами. Храпя и кусая удила, она приседала, прыгала в дыбошки, просила повод, чтобы опять пойти броским, звонким наметом, чтобы опять ветер заламывал ей уши, свистел в гриве, чтобы снова охала под точеными раковинами копыт гулкая, выжженная морозами земля. Под тонкой кожей кобылицы играли и двигались каждая связка и жилка. Ходили на шее долевые валуны мускулов, дрожал просвечивающий розовый храп, а выпуклый рубиновый глаз, выворачивая кровяной белок, косился на хозяина требовательно и зло.

— Что же вы стоите, сыны тихого Дона?! — еще раз крикнул старик, переводя глаза с Григория на остальных. — Отцов и дедов ваших расстреливают, имущество ваше забирают, над вашей верой смеются жидовские комиссары, а вы лузгаете семечки и ходите на игрища? Ждете, покель вам арканом затянут глотку? Докуда же вы будете держаться за бабьи курпяки? Весь Еланский юрт поднялся с малу до велика. В Вешенской выгнали красных… а вы, рыбинские казаки! Аль вам жизня дешева стала? Али вместо казачьей крови мужицкий квас у вас в жилах? Встаньте! Возьмитесь за оружию! Хутор Кривской послал нас подымать хутора. На конь, казаки, покуда не поздно! — Он наткнулся осумасшедшими глазами на

знакомое лицо одного старика, крикнул с великой обидой: — Ты-то чего стоишь, Семен Христофорович? Твоего сына зарубили под Филоновом красные, а ты на пече спасаешься?

Григорий не дослушал, кинулся на баз. Из половин он на рысях вывел своего застоявшегося коня; до крови обрывая ногти, разрыл в кизяках седло и вылетел из ворот как бешеный.

— Пошел! Спаси, Христос! — успел крикнуть он подходившему к воротам хозяину и, падая на переднюю луку, весь клонясь к конской шее, поднял по улице белый смерчевый жгут снежной пыли, охаживая коня по обе стороны плетью, пуская его во весь мах. За ним оседало снежное курево, в ногах ходили стремена, терлись о крылья седла занемевшие ноги. Под стременами стремительно строчили конские копыта. Он чувствовал такую, лютую огромную радость, такой прилив сил и решимости, что, помимо воли его, из горла рвался повизгивающий, клокочущий хрип. В нем освободились плененные, затаившиеся чувства. Ясен, казалось, был его путь отныне, как высветленный месяцем шлях.

Все было решено и взвешено в томительные дни, когда зверем скрывался он в кизячном логове и по-звериному сторожил каждый звук и голос снаружи. Будто и не было за его плечами дней поисков правды, шатаний, переходов и тяжелой внутренней борьбы.

Тенью от тучи проклубились те дни, и теперь казались ему его искания зряшными и пустыми. О чем было думать? Зачем металась душа, — как зафлаженный на облаве волк, — в поисках выхода, в разрешении противоречий? Жизнь оказалась усмешливой, мудро-простой. Теперь ему уже казалось, что извечно не было в ней такой правды, под крылом которой мог бы посогреться всякий, и, до края озлобленный, он думал: у каждого своя правда, своя борозда. За кусок хлеба, за делянку земли, за право на жизнь всегда боролись люди и будут бороться, пока светит им солнце, пока теплая сочится по жилам кровь. Надо биться с тем, кто хочет отнять жизнь, право на нее; надо биться крепко, не качаясь, — как в стенке, — а накал ненависти, твердость даст борьба. Надо только не взнуздывать чувств, дать простор им, как бешенству, — и все.

Пути казачества скрестились с путями безземельной мужичьей Руси, с путями фабричного люда. Биться с ними насмерть. Рвать у них из-под ног тучную донскую, казачьей кровью политую землю. Гнать их, как татар, из пределов области! Тряхнуть Москвой, навязать ей постыдный мир! На узкой стежке не разойтись — кто-нибудь кого-нибудь, а должен свалить. Проба сделана: пустили на войсковую землю красные полки, испробовали? А теперь — за шашку!

Об этом, опаляемый слепой ненавистью, думал Григорий, пока конь нес его по белогривому покрову Дона. На миг в нем ворохнулось противоречие: «Богатые с бедными, а не казаки с Русью… Мишка Кошевой и Котляров тоже казаки, а насквозь красные…» Но он со злостью отмахнулся от этих мыслей.

Завиднелся Татарский. Григорий передернул поводья, коня, осыпанного шмотьями мыла, свел на легкую побежку. На выезде придавил опять, конской грудью откинул воротца калитки, вскочил на баз.

XXIX

На рассвете, измученный, Кошевой въехал в хутор Большой Усть-Хоперской станицы. Его остановила застава 4-го Заамурского полка. Двое красноармейцев отвели его в штаб. Какой-то штабной долго и недоверчиво расспрашивал его, пытался путать, задавая вопросы, вроде того: «А кто у вас был председателем ревкома? Почему документов нет?» — и все

прочее в этом духе. Мишке надоело отвечать на глупые вопросы.

— Ты меня не крути, товарищ! Меня казаки не так крутили, да ничего не вышло.

Он завернул рубаху, показал пробитый вилами бок и низ живота. Хотел уже пугануть штабного печеным словом, но в этот момент вошел Штокман.

— Блудный сын! Чертушка! — Бас его сорвался, руки облапили Мишкину спину. — Что ты его, товарищ, распытываешь? Да ведь это же наш парень! До чего ты глупость спорол! Послал бы за мной или за Котляровым, вот и все, и никаких вопросов… Пойдем, Михаил! Но как ты уцелел? Как ты уцелел, скажи мне? Ведь мы тебя вычеркнули из списка живых. Погиб, думаем, смертью героя.

Мишка вспомнил, как брали его в плен, беззащитность свою, винтовку, оставленную в санях, — мучительно, до слез покраснел.

XXX

В Татарском в день приезда Григория уже сформировались две сотни казаков. На сходе постановили мобилизовать всех способных носить оружие, от шестнадцати до семидесяти лет. Многие чувствовали безнадежность создавшегося положения: на север была враждебная, ходившая под большевиками Воронежская губерния и красный Хоперский округ, на юг — фронт, который, повернувшись, мог лавиной своей раздавить повстанцев. Некоторые особенно осторожные казаки не хотели брать оружия, но их заставляли силой. Наотрез отказался воевать Степан Астахов.

— Я не пойду. Берите коня, что хотите со мной делайте, а я не хочу винтовку брать! — заявил он утром, когда в курень к нему вошли Григорий, Христоня и Аникушка.

— Как это не хочешь? — шевеля ноздрями, спросил Григорий.

— А так, не хочу — и все!

— А ежели красные заберут хутор, куда денешься? С нами пойдешь или останешься?

Степан долго переводил пристальный посвечивающий взгляд с Григория на Аксинью, ответил, помолчав:

— Тогда видно будет…

— Коли так — выходи! Бери его, Христан! Мы тебя зараз к стенке прислоним! — Григорий, стараясь не глядеть на прижавшуюся к печке Аксинью, взял Степана за рукав гимнастерки, рванул к себе. — Пойдем, нечего тут!

— Григорий, не дури… Оставь! — Степан бледнел, слабо упирался.

Его сзади обнял нахмуренный Христоня, буркнул:

— Стал быть, пойдем, ежели ты такого духу.

— Братцы!..

— Мы тебе не братцы! Иди, говорят!

— Пустите, я запишусь в сотню. Слабый я от тифу…

Григории криво усмехнулся, выпустил рукав Степановой гимнастерки.

— Иди получай винтовку. Давно бы так!

Он вышел, запахнув шинель, не попрощавшись. Христоня не постеснялся после случившегося выпросить у Степана табаку на цигарку и еще долго сидел, разговаривал, как будто между ними ничего и не было.

К вечеру из Вешенской привезли два воза оружия: восемьдесят четыре винтовки и более сотни шашек. Многие достали свое припрятанное оружие. Хутор выставил двести одиннадцать бойцов. Полтораста конных, остальные пластуны.

Еще не было единой организации у повстанцев. Хутора действовали пока разрозненно: самостоятельно формировали сотни, выбирали на сходках командиров из наиболее боевых казаков, считаясь не с чинами, а с заслугами; наступательных операций не предпринимали, а лишь связывались с соседними хуторами и прощупывали конными разведками окрестности.

Командиром конной сотни в Татарском еще до приезда Григория выбрали, как и в восемнадцатом году, Петра Мелехова. Командование пешей сотней принял на себя Латышев. Батарейцы во главе с Иваном Томилиным уехали на Базки. Там оказалось брошенное красными полуразрушенное орудие, без панорамы и с разбитым колесом. Его-то и отправились батарейцы чинить.

На двести одиннадцать человек привезли из Вешенской и собрали по хутору сто восемь винтовок, сто сорок шашек и четырнадцать охотничьих ружей. Пантелей Прокофьевич, освобожденный вместе с остальными стариками из моховского подвала, вырыл пулемет. Но лент не нашлось, и пулемета сотня на вооружение не приняла.

На другой день к вечеру стало известно, что из Каргинской идет на подавление восстания карательный отряд красных войск в триста штыков под командой Лихачева, при семи орудиях и двенадцати пулеметах. Петро решил выслать в направлении хутора Токина сильную разведку, одновременно сообщив в Вешенскую.

Разведка выехала в сумерках. Вел Григорий Мелехов тридцать два человека татарцев. Из хутора пошли наметом, да так и гнали почти до самого Токина. Верстах в двух от него, возле неглубокого яра, при шляху, Григорий спешил казаков, расположил в ярке. Коноводы отвели лошадей в лощинку. Лежал там глубокий снег. Лошади, спускаясь, тонули в рыхлом снегу по пузо; чей-то жеребец, в предвесеннем возбуждении, игогокал, лягался. Пришлось послать на него отдельного коновода.

Трех казаков — Аникушку, Мартина Шамиля и Прохора Зыкова — Григорий послал к хутору. Они тронулись шагом. Вдали под склоном синели, уходя на юго-восток широким зигзагом, токийские левады. Сходила ночь. Низкие облака валили над степью. В яру молча сидели казаки. Григорий смотрел, как силуэты трех верховых спускаются под гору, сливаются с черной хребтиной дороги. Вот уже не видно лошадей, маячат одни головы всадников. Скрылись и они. Через минуту оттуда горласто затарахтел пулемет. Потом, тоном выше, тенористо защелкал другой — видимо, ручной. Опорожнив диск, ручной умолк, а первый, передохнув, ускоренно кончил еще одну ленту. Стаи пуль рассевом шли над яром, где-то в сумеречной вышине. Живой их звук бодрил, был весел и тонок. Трое скакали во весь опор.

— Напхнулись на заставу! — издали крикнул Прохор Зыков. Голос его заглушило громом конского бега.

— Коноводам изготовиться! — отдал Григорий приказ.

Он вскочил на гребень яра, как на бруствер, и, не обращая внимания на пули, с шипом зарывавшиеся в снег, пошел навстречу подъезжавшим казакам.

— Ничего не видали?

— Слышно, как завозились там. Много их, слыхать по голосам, — запыхавшись, говорил Аникушка.

Он прыгнул с коня, носок сапога заело стремя, и Аникушка заругался, чикиляя, при помощи руки освобождая ногу.

Пока Григорий расспрашивал его, восемь казаков спустились из яра в лощину; разобрав коней, ускакали домой.

— Расстреляем завтра, — тихо сказал Григорий, прислушиваясь к удаляющемуся топоту беглецов.

В яру оставшиеся казаки просидели еще с час, бережно храня тишину, вслушиваясь. Под

конец кому-то послышался цокот копыт.

— Едут с Токина…

— Разведка!

— Не могет быть!

Переговаривались шепотом. Высовывая головы, напрасно пытались разглядеть что-нибудь в ночной непроницаемой наволочи. Калмыцкие глаза Федора Бодовскова первые разглядели.

— Едут, — уверенно сказал он, снимая винтовку.

Носил он ее по-чудному: ремень цеплял на шею, как гайтан креста, а винтовка косо болталась у него на груди. Обычно так ходил он и ездил, положив руки на ствол и на ложу, будто баба на коромысло.

Человек десять конных молча, в беспорядке ехали по дороге. На пол-лошади впереди выделялась осанистая, тепло одетая фигура. Длинный куцехвостый конь шел уверенно, горделиво. Григорию снизу на фоне серого неба отчетливо видны были линии конских тел, очертания всадников, даже плоский, срезанный верх кубанки видел он на ехавшем впереди. Всадники были в десяти саженях от яра; такое крохотное расстояние отделяло казаков от них, что казалось, они должны бы слышать и хриплые казачьи дыхи, и частый звон сердец.

Григорий еще раньше приказал без его команды не стрелять. Он, как зверобой в засаде, ждал момента расчетливо и выверенно. У него уже созрело решение: окликнуть едущих и, когда они в замешательстве собьются в кучу, — открыть огонь.

Мирно похрустывал на дороге снег. Из-под копыт выпорхнула желтым светлячком искра; должно, подкова скользнула по оголенному кремню.

— Кто едет?

Григорий легко, по-кошачьи выпрыгнул из яра, выпрямился. За ним с глухим шорохом высыпали казаки.

Произошло то, чего никак не ожидал Григорий.

— А вам кого надо? — без тени страха и удивления спросил густой сиплый бас переднего. Всадник повернул коня, направляя его на Григория.

— Кто такой?! — резко закричал Григорий, не трогаясь с места, неприметно поднимая в полусогнутой руке наган.

Тот же бас зарокотал громовито, гневно:

— Кто смеет орать? Я — командир отряда карательных войск! Уполномочен штабом Восьмой красной армии задавить восстание! Кто у вас командир? Дать мне его сюда!

— Я командир.

— Ты? А-а-а…

Григорий увидел вороную штуку во вскинутой вверх руке всадника, успел до выстрела упасть; падая, крикнул:

— Огонь!

Тупоносая пуля из браунинга цвенькнула над головой Григория. Посыпались оглушающие выстрелы с той и с другой стороны. Бодовсков повис на поводьях коня бесстрашного командира. Потянувшись через Бодовскова, Григорий, удерживая руку, рубнул тупяком шашки по кубанке, сдернул с седла грузноватое тело. Схватка кончилась в две минуты. Трое красноармейцев ускакали, двух убили, остальных обезоружили.

Григорий коротко допрашивал взятого в плен командира в кубанке, тыча в разбитый рот ему дуло нагана:

— Какая твоя фамилия, гад?

— Лихачев.

— На что ты надеялся, как ехал с девятью охранниками? Ты думал, казаки на колени попадают? Прощения будут просить?

— Убейте меня!

— С этим успеется, — утешал его Григорий. — Документы где?

— В сумке. Бери, бандит!.. Сволочь!

Григорий, не обращая внимания на ругань, сам обыскал Лихачева, достал из кармана его полушубка второй браунинг, снял маузер и полевую сумку. В боковом кармане нашел маленький, обтянутый пестрой звериной шкурой портфель с бумагами и портсигар.

Лихачев все время ругался, стонал от боли. У него было прострелено правое плечо, Григорьевой шашкой сильно зашиблена голова. Был он высок, выше Григория ростом, тяжеловесен и, должно быть, силен. На смуглом свежевыбритом лице куцые широкие черные брови разлаписто и властно сходились у переносицы. Рот большой, подбородок квадратный. Одет Лихачев был в сборчатый полушубок, голову его крыла черная кубанка, помятая сабельным ударом, под полушубком на нем статно сидели защитный френч, широченные галифе. Но ноги были малы, изящны, обуты в щегольские сапоги с лаковыми Голенищами.

— Снимай полушубок, комиссар! — приказал Григорий. — Ты — гладкий. Отъелся на казачьих хлебах, небось, не замерзнешь!

Пленным связали руки кушаками, недоуздками, посадили на их же лошадей.

— Рысью за мной! — скомандовал Григорий и поправил на себе лихачевский маузер.

Ночевали они на Базках. На полу у печи, на соломенной подстилке стонал, скрипел зубами, метался Лихачев. Григорий при свете лампы промыл и перевязал ему раненое плечо. Но от расспросов отказался. Долго сидел за столом, просматривая мандаты Лихачева, списки вешенских казаков-контрреволюционеров, переданные Лихачеву бежавшим Ревтрибуналом, записную книжку, письма, пометки на карте. Изредка посматривал на Лихачева, скрещивал с ним взгляды, как клинки. Казаки, ночевавшие в этой хате, всю ночь колготились, выходили к лошадям и курить в сенцы, лежа разговаривали.

Забылся Григорий на заре, но вскоре проснулся, поднял со стола отяжелевшую голову. Лихачев сидел на соломе, зубами развязывая бинт, срывая повязку. Он взглянул на Григория налитыми кровью, ожесточенными глазами. Белозубый рот его был оскален мучительно, как в агонии, в глазах светилась такая мертвая тоска, что у Григория сон будто рукой сняло.

— Ты чего? — спросил он.

— Какого тебе… надо! Смерти хочу! — зарычал Лихачев, бледнея, падая головой на солому.

За ночь он выпил с полведра воды. Глаз не сомкнул до рассвета.

Утром Григорий отправил его на тачанке в Вешенскую с кратким донесением и всеми отобранными документами.

XXXI

В Вешенской к красному кирпичному зданию исполкома резво подкатила тачанка, конвоируемая двумя конными казаками. В задке полулежал Лихачев. Он встал, придерживая руку на окровавленной повязке. Казаки спешились; сопровождая его, вошли в дом.

С полсотни казаков густо столпились в комнате временно командующего объединенными повстанческими силами Суярова. Лихачев, оберегая руку, протолкался к столу. Маленький, ничем не примечательный, разве только редкостно ехидными щелками желтых глаз, сидел за столом Суяров. Он кротко глянул на Лихачева, спросил:

— Привезли голубя? Ты и есть Лихачев?

— Я. Вот мои документы. — Лихачев бросил на стол завязанный в мешок портфель, глянул на Суярова неприступно и строго. — Сожалею, что мне не удалось выполнить моего поручения — раздавить вас, как гадов! Но Советская Россия вам воздаст должное. Прошу меня расстрелять.

Он шевельнул простреленным плечом, шевельнул широкой бровью.

— Нет, товарищ Лихачев! Мы сами против расстрела восстали. У нас не так, как у вас, — расстрелов нету. Мы тебя вылечим, и ты ишо, может, пользу нам принесешь, — мягко, но поблескивая глазами, проговорил Суяров. — Лишние, выйдите отсель. Ну, поскореича!

Остались командиры Решетовской, Черновской, Ушаковской, Дубровской и Вешенской сотен. Они присели к столу. Кто-то пихнул ногой табурет Лихачеву, но тот не сел. Прислонился к стене, глядя поверх голов в окно.

— Вот что, Лихачев, — начал Суяров, переглядываясь с командирами сотен. — Скажи нам: какой численности у тебя отряд?

— Не скажу.

— Не скажешь? Не надо. Мы сами из бумаг твоих поймем. А нет — красноармейцев из твоей охраны допросим. Ишо одно дело попросим (Суяров налег на это слово) мы тебя: напиши своему отряду, чтобы они шли в Вешки. Воевать нам с вами не из чего. Мы не против Советской власти, а против коммуны и жидов. Мы отряд твой обезоружим и распустим по домам. И тебя выпустим на волю. Одним словом, пропиши им, что мы такие же трудящиеся и чтоб они нас не опасались, мы не супротив Советов…

Плевок Лихачева попал Суярову на седенький клинышек бородки. Суяров бороду вытер рукавом, порозовел в скулах. Кое-кто из командиров улыбнулся, но чести командующего защитить никто не встал.

— Обижаешь нас, товарищ Лихачев! — уже с явным притворством заговорил Суяров. — Атаманы, офицеры над нами смывались, плевали на нас, и ты — коммунист — плюешься. А все говорите, что вы за народ… Эй, кто там есть?.. Уведите комиссара. Завтра отправим тебя в Казанскую.

— Может, подумаешь? — строго спросил один из сотенных.

Лихачев рывком поправил накинутый внапашку френч, пошел к стоявшему у двери конвоиру.

Его не расстреляли. Повстанцы же боролись против «расстрелов и грабежей»… На другой день погнали его на Казанскую. Он шел впереди конных конвоиров, легко ступая по снегу, хмурил куцый размет бровей. Но в лесу, проходя мимо смертельно-белой березки, с живостью улыбнулся, стал, потянулся вверх и здоровой рукой сорвал ветку. На ней уже набухали мартовским сладостным соком бурые почки; сулил их тонкий, чуть внятный аромат весенний расцвет, жизнь, повторяющуюся под солнечным кругом. Лихачев совал пухлые почки в рот, жевал их, затуманенными глазами глядел на отходившие от мороза, посветлевшие деревья и улыбался уголком бритых губ.

С черными лепестками почек на губах он и умер: в семи верстах от Вешенской, в песчаных, сурово насупленных бурунах его зверски зарубили конвойные. Живому выкололи ему глаза, отрубили руки, уши, нос, искрестили шашками лицо. Расстегнули штаны и надругались, испоганили большое, мужественное, красивое тело. Надругались над кровоточащим обрубком, а потом один из конвойных наступил на хлипко дрожавшую грудь, на поверженное навзничь тело и одним ударом наискось отсек голову,

XXXII

Из-за Дона, с верховьев, со всех краев шли вести о широком разливе восстания. Поднялось уже не два станичных юрта. Шумилинская, Казанская, Мигулинская, Мешковская, Вешенская, Еланская, Усть-Хоперская станицы восстали, наскоро сколотив сотни; явно клонились на сторону повстанцев Каргинская, Боковская, Краснокутская. Восстание грозило перекинуться и в соседние Усть-Медведицкий и Хоперский округа. Уже начиналось брожение в Букановской, Слащевской и Федосеевской станицах; волновались окраинные к Вешенской хутора Алексеевской станицы… Вешенская, как окружная станица, стала центром восстания. После долгих споров и толков решили сохранить прежнюю структуру власти. В состав окружного исполкома выбрали наиболее уважаемых казаков, преимущественно молодых. Председателем посадили военного чиновника артиллерийского ведомства Данилова. Были образованы в станицах и хуторах советы, и как ни странно, осталось в обиходе даже, некогда ругательное, слово «товарищ». Был кинут и демагогический лозунг: «За Советскую власть, но против коммуны, расстрелов и грабежей». Поэтому-то на папахах повстанцев вместо одной нашивки или перевязки — белой — появлялись две: белая накрест с красной…

Суярова на должности командующего объединенными повстанческими силами сменил молодой — двадцативосьмилетний — хорунжий Кудинов Павел, георгиевский кавалер всех четырех степеней, краснобай и умница. Отличался он слабохарактерностью, и не ему бы править мятежным округом в такое буревое время, но тянулись к нему казаки за простоту и обходительность. А главное, глубоко уходил корнями Кудинов в толщу казачества, откуда шел родом, и был лишен высокомерия и офицерской заносчивости, обычно свойственной выскочкам. Он всегда скромно одевался, носил длинные, в кружок подрезанные волосы, был сутуловат и скороговорист. Сухощавое длинноносое лицо его казалось мужиковатым, не отличимым ничем.

Начальником штаба выбрали подъесаула Сафонова Илью, и выбрали лишь потому, что парень был трусоват, но на руку писуч, шибко грамотен. Про него так и сказали на сходе:

— Сафонова в штаб сажайте. В строю он негож. У него и урону больше будет, не оберегет он казаков, да и сам, гляди, наломает. Из него вояка, как из цыгана поп.

Малый ростом, кругловатого чекана, Сафонов на такое замечание обрадованно улыбнулся в желтые с белесым подбоем усы и с великой охотой согласился принять штаб.

Но Кудинов и Сафонов только оформляли то, что самостоятельно вершилось сотнями. В руководстве связанными оказались у них руки, да и не по их силам было управлять такой махиной и поспевать за стремительным взмывом событий.

4-й Заамурский конный полк, с влившимися в него большевиками Усть-Хоперской, Еланской и, частью, Вешенской станиц, с боем прошел ряд хуторов, перевалил Еланскую грань и степью двигался на запад вдоль Дона.

5 марта в Татарский прискакал с донесением казак. Еланцы срочно требовали помощи. Они отступали почти без сопротивления: не было патронов и винтовок. На их жалкие выстрелы заамурцы засыпали их пулеметным дождем, крыли из двух батарей. В такой обстановке некогда было дожидаться распоряжений из округа. И Петро Мелехов решил выступить со своими двумя сотнями.

Он принял командование и над остальными четырьмя сотнями соседних хуторов. Поутру вывел казаков на бугор. Сначала, как водится, цокнулись разведки. Вой развернулся позже.

У Красного лога, в восьми верстах от хутора Татарского, где когда-то Григорий с женой пахал, где в первый раз признался он Наталье, что не любит ее, — в этот тусклый зимний день на снегу возле глубоких Яров спешивались конные сотни, рассыпались цепи, коноводы отводили под прикрытие лошадей. Внизу, из вогнутой просторной котловины, в три цепи

шли красные. Белый простор падины был иссечен черными пятнышками людей. К цепям подъезжали подводы, мельтешили конные. Казаки, отделенные от противника двумя верстами расстояния, неспешно готовились принимать бой.

На своем сытом, слегка запаренном коне, от еланских, уже рассыпавшихся сотен, подскакал к Григорию Петро. Он был весел, оживлен.

— Братухи! Патроны приберегайте! Бить, когда отдам команду… Григорий, отведи свою полусотню сажен на полтораста влево. Поторапливайся! Коноводы пущай в кучу не съезжаются! — Он отдал еще несколько последних распоряжений, достал бинокль. — Никак, батарею устанавливают на Матвеевом кургане?

— Я давно примечаю: простым глазом видать.

Григорий взял из его рук бинокль, вгляделся. За курганом, с обдутой ветрами макушей, — чернели подводы, крохотные мелькали люди.

Татарская пехота, — «пластунки», как их шутя прозвали конные, — несмотря на строгий приказ не сходиться, собирались толпами, делились патронами, курили, перекидывались шутками. На голову выше мелковатых казаков качалась папаха Христони (попал он в пехоту, лишившись коня), краснел треух Пантелея Прокофьевича. В пехоте гуляли большинство стариков и молодятник. Вправо от несрезанной чащи подсолнечных будыльев версты на полторы стояли еланцы. Шестьсот человек было в их четырех сотнях, но почти двести коноводили. Треть всего состава скрывалась с лошадьми в пологих отножинах Яров.

— Петро Пантелевич! — кричали из пехотных рядов. — Гляди, в бою не бросай нас, пеших.

— Будьте спокойные! Не покинем, — улыбался Петро и, посматривая на медленно подвигавшиеся к бугру цепи красных, начал нервно поигрывать плеткой.

— Петро, тронь сюда, — попросил Григорий, отходя от цепи в сторону.

Тот подъехал. Григорий, морщась, с видимым недовольством сказал:

— Позиция мне не по душе. Надо бы минуть эти яры. А то обойдут нас с флангу — беды наберемся. А?

— Чего ты там! — досадливо отмахнулся Петро. — Как это нас обойдут! Я в лизерве оставил одну сотню, да на худой конец и яры сгодятся. Они не помеха.

— Гляди, парень! — предостерегающе кинул Григорий, не в последний раз быстро ощупывая глазами местность.

Он подошел к своей цепи, оглядел казаков. У многих на руках уже не было варежек и перчаток. Припекло волнение — сняли. Кое-кто нудился: то шашку поправит, то шпенек пояса передвинет потуже.

— Командир наш слез с коня, — улыбнулся Федот Бодовсков и насмешливо чуть покивал в сторону Петра, развалисто шагавшего к цепям.

— Эй ты, генерал Платов! — ржал однорукий Алешка Шамиль, вооруженный только шашкой. — Прикажи донцам по чарке водки!

— Молчи, водошник! Отсекут тебе красные другую руку, чем до рта понесешь? Из корыта придется хлебать.

— Но-но!

— А выпил бы, недорого отдал! — вздыхал Степан Астахов и даже русый ус закручивал, скинув руку с эфеса.

Разговоры по цепи шли самые не подходящие к моменту. И разом смолкли, как только за Матвеевым курганом октавой бухнуло орудие.

Густой полновесный звук вырвался из жерла комком и долго таял над степью, как белая пенка дыма, сомкнувшись с отчетливым и укороченно-резким треском разрыва. Снаряд не

добрал расстояния, разорвался в полуверсте от казачьей цепи. Черный дым в белом лучистом оперенье снега медленно взвернулся над пашней, рухнул, стелясь и приникая к бурьянам. Сейчас же в красной цепи заработали пулеметы. Пулеметные очереди выстукивали ночной колотушкой сторожа. Казаки легли в снег, в бурьянок, в щетинистые безголовые подсолнухи.

— Дым дюже черный! Вроде как от немецкого снаряду! — крикнул Прохор Зыков, оглядываясь на Григория.

В соседней Еланской сотне поднялся шум. Ветром допахнуло крик:

— Кума Митрофана убило!

Под огнем к Петру подбежал рыжебородый рубежинский сотенный Иванов. Он вытирал под папахой лоб, задыхался:

— Вот снег — так снег! До чего стрямок — ног не выдернешь!

— Ты чего? — настропалился, сдвигая брови, Петро.

— Мысля пришла, товарищ Мелехов! Пошли ты одну сотню низом, к Дону. Сними с цепи и пошли. Нехай они низком опушаются и добегут до хутора, а оттель вдарют в тыл красным. Они обозы, небось, побросали… Ну какая там охрана? Опять же панику наведут.

«Мысля» Петру понравилась. Он скомандовал своей полусотне стрельбу, махнул рукой стоявшему во весь рост Латышеву и валко зашагал к Григорию. Объяснил, в чем дело, коротко приказал:

— Веди полусотню. Нажми на хвост!

Григорий вывел казаков, в лощине посадились верхом, шибкой рысью запылили к хутору.

Казаки выпустили по две обоймы на винтовку, примолкли. Цепи красных легли. Захлебывались чечеткой пулеметы. У одного из коноводов вырвался раненный шальной пулей белоногий конь Мартина Шамиля и, обезумев, промчался через цепь рубежинских казаков, пошел под гору к красным. Пулеметная струя резанула его, и конь на всем скаку высоко вскинул задком, грянулся в снег.

— Цель в пулеметчиков! — передавали по цепи Петров приказ.

Целили. Били только искусные стрелки — и нашкодили: невзрачный казачишка с Верхне-Кривского хутора одного за другим переметил пулями трех пулеметчиков, и «максим» с закипевшей в кожухе, водой умолк. Но перебитую прислугу заменили новые. Пулемет опять зарокотал, рассеивая смертные семена. Залпы валились часто. Уже заскучали казаки, все глубже зарываясь в снег. Аникушка докопался до голенькой земли, не переставая чудить. Кончились у него патроны (их было пять штук в зеленой проржавленной обойме), и он изредка, высовывая из снега голову, воспроизводил губами звук, очень похожий на высвист, издаваемый сурком в момент испуга.

— Агхю!.. — по-сурчиному вскрикивал Аникушка, обводя цепь дурашливыми глазами.

Справа от него до слез закатывался Степан Астахов, а слева сердито матил Антипка Брех.

— Брось, гадюка! Нашел час шутки вышучивать!

— Агхю!.. — поворачивался в его сторону Аникушка, в нарочитом испуге округляя глаза.

В батарее красных, вероятно, ощущался недостаток в снарядах: выпустив около тридцати снарядов, она смолкла. Петро нетерпеливо поглядывал назад, на гребень бугра. Он послал двух вестовых в хутор с приказом, чтобы все взрослое население хутора вышло на бугор, вооружившись вилами, кольями, косами. Хотелось ему задать красным острастку и тоже рассыпать три цепи.

Вскоре на кромке гребня появился и повалил под гору густыми толпами народ.

— Гля, галь черная высыпала!

— Весь хутор вышел.

— Да там, никак, и бабы!

Казаки перекрикивались, улыбались. Стрельбу прекратили совсем. Со стороны красных работало лишь два пулемета да изредка прогромыхивали залпы.

— Жалко, батарея ихняя приутихла. Кинули б один снаряд в бабье войско, вот поднялося бы там! С мокрыми подолами бегли бы в хутор! — с удовольствием говорил безрукий Алешка, видимо, всерьез сожалея, что по бабам не кинут красные ни одного снаряда.

Толпы стали выравниваться, дробиться. Вскоре они растянулись в две широкие цепи. Стали.

Петро не велел им подходить даже на выстрел к казачьей цепи. Но одно появление их произвело на красных заметное воздействие. Красные цепи стали отходить, спускаясь на днище падины. Коротко посоветовавшись с сотенными, Петро обнажил правый фланг, сняв две цепи еланцев, — приказал им в конном строю идти на север, к Дону, чтобы там поддержать наскок Григория. Сотни на виду у красных выстроились на той стороне Красного яра, пошли на низ к Дону.

Стрельба по отступавшим красным цепям возобновилась.

В это время из «резерва», составленного из баб, стариков и подростков, в боевую цепь проникло несколько баб поотчаянней и гурт ребятишек. С бабами заявилась и Дарья Мелехова.

— Петя, дай я стрельну по красному! Я ж умею винтовкой руководствовать.

Она и в самом деле взяла Петров карабин; с колена, по-мужски, уверенно прижав приклад к вершине груди, к узкому плечу, два раза выстрелила.

А «резерв» зябнул, постукивая ногами, попрыгивал, сморкался. Обе цепи шевелились, как от ветра. У баб синели щеки и губы; под широкими подолами юбок охально хозяйничал мороз. Ветхие старики вовсе замерзли. Многих из них, в том числе и деда Гришаку, под руки вели на крутую гору от хутора. Но здесь, на бугре, доступном вышним ветрам, от далекой стрельбы и холода старики оживились. В цепи шли между ними нескончаемые разговоры о прежних войнах и боях, о тяжелой нынешней войне, где сражаются брат с братом, отец с сыном, а пушки бьют так издалека, что простым оком и не увидишь их…

XXXIII

Григорий с полусотней потрепал обоз первого разряда заамурцев. Восемь красноармейцев было зарублено. Взято четыре подводы с патронами и две верховые лошади. Полусотня отделалась убитой лошадью да пустяковой царапиной на теле одного из казаков.

Но пока Григорий уходил вдоль Дона с отбитыми подводами, никем не преследуемый и крайне осчастливленный успехом, на бугре подошла развязка боя. Эскадрон заамурцев далеким кружным путем еще перед боем пошел в обход, сделал десятиверстный круг и, внезапно вывернувшись из-за бугра, ударил атакой по коноводам. Все смешалось. Коноводы вылетели с лошадьми из отножины Красного яра, некоторым казакам успели подать коней, а над остальными уже заблестели клинки заамурцев. Многие безоружные коноводы пораспускали лошадей, поскакали врассыпную. Пехота, лишенная возможности стрелять, из опасения попасть в своих, как горох из мешка, посыпалась в яр, перебралась на ту сторону, беспорядочно побежала. Те из конных (а их было большинство), которые успели переловить коней, ударились к хутору наперегонки, меряя, «чья добрее».

В первый момент, как только на крик повернул голову и увидел конную лаву, устремляющуюся на коноводов, Петро скомандовал:

— По коням! Пехота! Латышев! Через яр!..

Но добежать до своего коновода он не успел. Лошадь его держал молодой парень Андрюшка Бесхлебнов. Он наметом шел к Петру; две лошади, Петра и Федота Бодовскова, скакали рядом по правой стороне. Но на Андрюшку сбоку налетел красноармеец в распахнутой желтой дубленке, сплеча рубанул его, крикнув:

— Эх ты, вояка, растакую!..

На счастье Андрюшки, за плечами его болталась винтовка. Шашка, вместо того чтобы секануть Андрюшкину, одетую белым шарфом, шею, заскрежетала по стволу, визгнув, вырвалась из рук красноармейца и распрямляющейся дугой взлетела в воздух. Под Андрюшкой горячий конь шарахнулся в сторону, понес щелкать. Кони Петра и Бодовскова устремились следом за ним…

Петро ахнул, на секунду стал, побелел, пот разом залил ему лицо. Глянул Петро назад: к нему подбегало с десяток казаков.

— Погибли! — кричал Бодовсков. Ужас коверкал его лицо.

— Сигайте в яр, казаки! Братцы, в яр!

Петро владел собой, первый побежал к яру и покатился вниз по тридцатисаженной крутизне. Зацепившись, он порвал полушубок от грудного кармана до оторочки полы, вскочил, отряхнулся по-собачьи, всем телом сразу. Сверху, дико кувыркаясь, переворачиваясь на лету, сыпались казаки.

В минуту их нападало одиннадцать человек. Петро был двенадцатым. Там, наверху, еще постукивали выстрелы, звучали крики, конский топот. А на дне яра попадавшие туда казаки глупо стрясали с папах снег и песок, кое-кто потирал ушибленные места. Мартин Шамиль, выхватив затвор, продувал забитый снегом ствол винтовки. У одного паренька, Маныцкова, сына покойного хуторского атамана, щеки, исполосованные мокрыми стежками бегущих слез, дрожали от великого испуга.

— Что делать? Петро, веди! Смерть в глазах… Куда кинемся? Ой, побьют нас!

Федот заклацал зубами, кинулся вниз по теклине, к Дону.

За ним, как овцы, шарахнулись и остальные.

Петро насилу остановил их:

— Стойте! Порешим… Не беги! Постреляют!

Всех вывел под вымоину в красноглинистом боку яра, предложил, заикаясь, но стараясь сохранить спокойный вид:

— Книзу нельзя идтить. Они далеко погонют наших… Надо тут… Расходись по вымоинам… Троим на эту сторону зайтить… Отстреливаться будем!.. Тут можно осаду выдержать…

— Да пропадем же мы! Отцы! Родимые! Пустите вы меня отсель!.. Не хочу… Не желаю умирать! — завыл вдруг белобрысый, плакавший еще и до этого, парнишка Маныцков.

Федот, сверкнув калмыцким глазом, вдруг с силой ударил Маныцкова кулаком в лицо.

У парнишки хлынула носом кровь, спиной он осыпал Со стенки яра глину и еле удержался на ногах, но выть перестал.

— Как отстреливаться? — спросил Шамиль, хватая Петра за руки. — А патронов сколько? Нету патронов!

— Гранату метнут. Ухлай нам!

— Ну, а что же делать? — Петро вдруг посинел, на губах его под усами вскипела пена. — Ложись!.. Я командир или кто? Убью!

Он и в самом деле замахал наганом над головами казаков.

Свистящий шепот его будто жизнь вдохнул в них. Бодовсков, Шамиль и еще двое казаков перебежали на ту сторону, яра, залегли в вымоине, остальные расположились с

Петром.

Весной рыжий поток нагорной воды, ворочая самородные камни, вымывает в теклине ямины, рушит пласты красной глины, в стенах яра роет углубления и проходы. В них-то и засели казаки.

Рядом с Петром, держа винтовку наизготовке, стоял, согнувшись, Антип Брехович, бредово шептал:

— Степка Астахов за хвост своего коня поймал… ускакал, а мне вот не пришлось… А пехота бросила нас… Пропадем, братцы!.. Видит бог, погибнем!..

Наверху послышался хруст бегущих шагов. В яр посыпались крошки снега, глина.

— Вот они! — шепнул Петро, хватая Антипку за рукав, но тот отчаянно вырвал руку, заглянул вверх, держа палец на спуске.

Сверху никто близко не подходил к прорези яра.

Оттуда послышались голоса, окрики на лошадь…

«Советуются», — подумал Петро, и снова пот, словно широко разверзлись все поры тела, покатился по спине его, по ложбине груди, лицу…

— Эй, вы! Вылазьте! Все равно побьем! — закричали сверху.

Снег падал в яр гуще, белой молочной струей. Кто-то, видимо, близко подошел к яру.

Другой голос там же уверенно проговорил:

— Сюда они прыгали, вот следы. Да я ведь сам видел!

— Петро Мелехов! Вылазь!

На секунду слепая радость полымем обняла Петра. «Кто меня из красных знает? Это же свои! Отбили!» Но тот же голос заставил его задрожать мелкой дрожью:

— Говорит Кошевой Михаил. Предлагает сдаться добром. Все равно не уйдете!

Петр вытер мокрый лоб, на ладони остались полосы розового кровяного пота.

Какое-то странное чувство равнодушия, граничащего с забытьем, подкралось к нему.

И диким показался крик Бодовскова:

— Вылезем, коли посулитесь отпустить нас. А нет — будем отстреливаться! Берите!

— Отпустим… — помолчав, ответили сверху.

Петро страшным усилием стряхнул с себя сонную одурь. В слове «отпустим» показалась ему невидимая ухмылка. Глухо крикнул:

— Назад! — но его уже никто не слушался.

Казаки — все, за исключением забившегося в вымоину Антипки, — цепляясь за уступы, полезли наверх.

Петро вышел последним. В нем, как ребенок под сердцем женщины, властно ворохнулась жизнь. Руководимый чувством самоохранения, он еще сообразил выкинуть из магазинки патроны, полез по крутому скату. Мутилось у него в глазах, сердце занимало всю грудь. Было душно и тяжко, как в тяжелом сне в детстве. Он оборвал на вороте гимнастерки пуговицы, порвал воротник грязной нательной рубахи. Глаза его застилал пот, руки скользили по холодным уступам яра. Хрипя, он выбрался на утоптанную площадку возле яра, кинул под ноги себе винтовку, поднял кверху руки. Тесно кучились вылезшие раньше него казаки. К ним, отделившись от большой толпы пеших и конных заамурцев, шел Мишка Кошевой, подъезжали конные красноармейцы…

Мишка подошел к Петру в упор, тихо, не поднимая от земли глаз, спросив:

— Навоевался? — Подождав ответа и все так же глядя Петру под ноги, спросил: — Ты командовал ими?

У Петра запрыгали губы. Жестом великой усталости, с трудом донес он руку до мокрого лба. Длинные выгнутые ресницы Мишки затрепетали, пухлая верхняя губа, осыпанная

язвочками лихорадки, поползла вверх. Такая крупная дрожь забила Мишкино тело, что казалось — он не устоит на ногах, упадет. Но он сейчас же, рывком вскинул на Петра глаза, глядя ему прямо в зрачки, вонзаясь-в них странно-чужим взглядом, скороговоркой бормотнул:

— Раздевайся!

Петро проворно скинул полушубок, бережно свернул и положил его на снег; снял папаху, пояс, защитную рубашку и, присев на полу полушубка, стал стаскивать сапоги, с каждой секундой все больше и больше бледнея.

Иван Алексеевич спешился, подошел сбоку и, глядя на Петра, стискивал зубы, боясь разрыдаться.

— Белье не сымай, — прошептал Мишка и, вздрогнув, вдруг пронзительно крикнул: — Живей, ты!..

Петро засуетился, скомкал снятые с ног шерстяные чулки, сунул их в голенища, выпрямившись, ступил с полушубка на снег босыми, на снегу шафранно-желтыми догами.

— Кум! — чуть шевеля губами, позвал он Ивана Алексеевича. Тот молча смотрел, как под босыми ступнями Петра подтаивает снег. — Кум Иван, ты моего дитя крестил… Кум, не казните меня! — попросил Петро и, увидев, что Мишка уже поднял на уровень его груди наган, расширил глаза, будто готовясь увидеть нечто ослепительное, как перед прыжком, вобрал голову в плечи.

Он не слышал выстрела, падая навзничь, как от сильного толчка.

Ему почудилось, что протянутая рука Кошевого схватила его сердце и разом выжала из него кровь. Последним в жизни усилием Петро с трудом развернул ворот нательной рубахи, обнажив под левым соском пулевой надрез. Из него, помедлив, высочилась кровь, потом, найдя выход, со свистом забила вверх дегтярно-черной струей.

XXXIV

На заре разведка, посланная к Красному яру, вернулась с известием, что красных не обнаружено до Еланской грани и что Петро Мелехов с десятью казаками лежат, изрубленные, там же, в вершине яра.

Григорий распорядился посылкой за убитыми подвод, доночевывать ушел к Христоне. Выгнали его из дому бабьи причитания по мертвому, дурной плач в голос Дарьи. До рассвета просидел он в Христониной хате около пригрубка. Жадно выкуривал папироску и, словно боясь остаться с глазу на глаз со своими мыслями, с тоской по Петру, снова, торопясь, хватался за кисет, — до отказа вдыхая терпкий дым, заводил с дремавшим Христоней посторонние разговоры.

Рассвело. Оттепель началась с самого утра. Часам к десяти на унавоженной дороге показались лужи. С крыш капало. Голосили по-весеннему кочета, где-то, как в знойный полдень, одиноко кудахтала курица.

На сугреве, на солнечной стороне базов, терлись о плетни быки. Ветром несло с бурых спин их осекшийся по весне волос. Пахло талым снегом пряно и пресно. Покачиваясь на голой ветке яблони около Христониных ворот, чурликала крохотная желтопузая синичка-зимнуха.

Григорий стоял около ворот, ждал появления с бугра подвод и невольно переводил стрекотание синицы на знакомый с детства язык. «Точи-плуг! Точи-плуг!» — радостно выговаривала синичка в этот ростепельный день, а к морозу — знал Григорий — менялся ее голос: скороговоркой синица советовала, и получалось также похоже: «Обувай-чирики!

Обувай-чирики!»

Григорий перебрасывал взгляд с дороги на скачущую зимнуху. «Точи-плуг! Точи-плуг!» — выщелкивала она. И нечаянно вспомнилось Григорию, как вместе с Петром в детстве пасли они в степи индюшат, и Петро, тогда белоголовый, с вечно облупленным курносым носом, мастерски подражал индюшиному бормотанию и так же переводил их говор на свой детский, потешный язык. Он искусно воспроизводил писк обиженного индюшонка, тоненько выговаривая: «Все в сапожках, а я нет! Все в сапожках, а я нет!» И сейчас же, выкатывая глазенки, сгибал в локтях руки, — как старый индюк, ходил боком, бормотал: «Гур! Гур! Гур! Гур! Купим на базаре сорванцу сапожки!» Тогда Григорий смеялся счастливым смехом, просил еще погутарить по-индюшиному, упрашивал показать, как озабоченно бормочет индюшиный выводок, обнаруживший в траве какой-нибудь посторонний предмет вроде жестянки или клочка материи…

В конце улицы показалась головная подвода. Сбоку шел казак. Следом за первой выползали вторая и третья. Григорий смахнул слезу и тихую улыбку непрошеных воспоминаний, торопливо пошел к своим воротам: мать, обезумевшую от горя, хотел удержать в первую страшную минуту и не допустить к подводе с трупом Петра. Рядом с передней подводой шагал без шапки Алешка Шамиль. Обрубком руки он прижимал к груди папаху, в правой держал волосяные вожжи. Григорий, не задержавшись взглядом на лице Алешки, глянул на сани. На соломенной подстилке, лицом вверх, лежал Мартин Шамиль. Лицо, зеленая гимнастерка на груди и втянутом животе залиты смерзшейся кровью. На второй подводе везли Маныцкова. Изрубленным лицом уткнут он в солому. У него зябко втянута в плечи голова, а затылок срезан начисто умелым ударом: черные сосульки волос бахромой окаймляли обнаженные черепные кости. Григорий глянул на третью подводу. Он не узнал мертвого, но руку с восковыми, желтыми от табака пальцами приметил. Она свисала с саней, чертила талый снег пальцами, перед смертью сложенными для крестного знамения. Мертвый был в сапогах и шинели; даже шапка лежала на груди. Лошадь четвертой подводы Григорий схватил за уздцы, на рысях ввел ее во двор. Следом вбегали соседи, детишки, бабы. Толпа сгрудилась около крыльца.

— Вот он, наш любушка Петро Пантелеевич! Отходил по земле, — сказал кто-то тихонько.

Без шапки вошел в ворота Степан Астахов. Невесть откуда появились дед Гришака и еще трое стариков. Григорий растерянно оглянулся:

— Давайте понесем в курень…

Подводчик взялся было за ноги Петра, но толпа молча расступилась, почтительно дала дорогу сходившей с порожков Ильиничне.

Она глянула на сани. Мертвенная бледность полосой легла у ней на лбу, покрыла щеки, нос, поползла по подбородку. Под руки подхватил ее дрожавший Пантелей Прокофьевич. Первая заголосила Дуняшка, ей откликнулись в десяти концах хутора. Дарья, хлопнув дверьми, растрепанная, опухшая, выскочила на крыльцо, рухнула в сани.

— Петюшка! Петюшка, родимый! Встань! Встань!

У Григория чернь в глазах.

— Уйди, Дашка! — не помня себя, дико закричал он и, не рассчитав, толкнул Дарью в грудь.

Она упала в сугроб. Григорий быстро подхватил Петра под руки, подводчик — за босые щиколотки, но Дарья на четвереньках ползла за ними на крыльцо, целуя, хватая негнущиеся, мерзлые руки мужа. Григорий отталкивал ее ногой, чувствовал, что еще миг — и он потеряет над собой власть. Дуняшка силком оторвала Дарьины руки, прижала обеспамятевшую голову

ее к своей груди.

Стояла на кухне выморочная тишина. Петро лежал на полу странно маленький, будто ссохшийся весь. У него заострился нос, пшеничные усы потемнели, а все лицо строго вытянулось, похорошело. Из-под завязок шаровар высовывались босые волосатые ноги. Он медленно оттаивал, под ним стояла лужица розоватой воды. И чем больше отходило промерзшее за ночь тело, — резче ощущался соленый запах крови и приторно-сладкий васильковый трупный дух.

Пантелей Прокофьевич стругал под навесом сарая доски на гроб. Бабы возились в горенке около не приходившей в память Дарьи. Изредка оттуда слышался чей-нибудь резкий истерический всхлип, а потом ручьисто журчал голос свахи Василисы, прибежавшей «делить» горе. Григорий сидел на лавке против брата, крутил цигарку, смотрел на желтое по краям лицо Петра, на руки его с посинелыми круглыми ногтями. Великий холод отчуждения уже делил его с братом. Был Петро теперь не своим, а недолгим гостем, с которым пришла пора расстаться. Лежит сейчас он, равнодушно привалившись щекой к земляному полу, словно ожидая чего-то, с успокоенной таинственной полуулыбкой, замерзшей под пшеничными усами. А завтра в последнюю путину соберут его жена и мать.

Еще с вечера нагрела ему мать три чугуна теплой воды, а жена приготовила чистое белье и лучшие шаровары с мундиром. Григорий — брат его однокровник — и отец обмоют отныне не принадлежащее ему, не стыдящееся за свою наготу тело. Оденут в праздничное и положат на стол. А потом придет Дарья, вложит в широкие, ледяные руки, еще вчера обнимавшие ее, ту свечу, которая светила им обоим в церкви, когда они ходили вокруг аналоя, — и готов казак Петро Мелехов к проводам туда, откуда не возвращаются на побывку к родным куреням.

«Лучше б погиб ты где-нибудь в Пруссии, чем тут, на материных глазах!» — мысленно с укором говорил брату Григорий и, взглянув на труп, вдруг побелел: по щеке Петра к пониклой усине ползла слеза. Григорий даже вскочил, но, всмотревшись внимательней, вздохнул облегченно: не мертвая слеза, а капелька с оттаявшего курчавого чуба упала Петру на лоб, медленно скатилась по щеке.

XXXV

Приказом командующего объединенными повстанческими силами Верхнего Дона Григорий Мелехов назначен был командиром Вешенского полка. Десять сотен казаков повел Григорий на Каргинскую. Предписывал ему штаб во что бы то ни стало разгромить отряд Лихачева и выгнать его из пределов округа, с тем чтобы поднять все чирские хутора Каргинской и Боковской станиц.

И Григорий 7 марта повел казаков. На оттаявшем бугре, покрытом черными голызинами, пропустил он мимо себя все десять сотен. В стороне от шляха, избоченясь, горбатился он на седле, туго натягивал поводья, сдерживал горячившегося коня, а мимо походными колоннами шли сотни обдонских хуторов: Базков, Белогорки, Ольшанского, Меркулова, Громковского, Семеновского, Рыбинского, Водянского, Лебяжьего, Ерика.

Перчаткой гладил Григорий черный ус, шевелил коршунячьим носом, из-под крылатых бровей угрюмым, осадистым взглядом провожал каждую сотню. Множество захлюстанных конских ног месило бурую толочь снега. Знакомые казаки, проезжая, улыбались Григорию. Над папахами их слоился и таял табачный дымок. От лошадей шел пар.

Примкнул Григорий к последней сотне. Версты через три встретил их разъезд. Урядник,

водивший разъезд, подскакал к Григорию:

— Отступают красные по дороге на Чукарин!

Боя лихачевский отряд не принял. Но Григорий кинул в обход три сотни казаков и так нажал с остальными, что уже по Чукарину стали бросать красноармейцы подводы, зарядные ящики. На выезде из Чукарина, возле убогой церковенки, застряла в речке лихачевская батарея. Ездовые обрубили постромки, через левады ускакали на Каргинскую.

Пятнадцать верст от Чукарина до Каргинской казаки прошли без боя. Правее, за Ясеновку, разъезд противника обстрелял разведку вешенцев. На том дело и кончилось. Казаки уже начали пошучивать: «До Новочеркасска пойдет!»

Григория радовала захваченная батарея. «Даже замки не успели попортить», — пренебрежительно подумал он. Быками выручали застрявшие орудия. Из сотен в момент набралась прислуга. Орудия шли в двойной упряжке: шесть пар лошадей тянули каждое. Полусотня, назначенная в прикрытие, сопровождала батарею.

В сумерках налетом забрали Каргинскую. Часть лихачевского отряда с последними тремя орудиями и девятью пулеметами была взята в плен. Остальные красноармейцы вместе с Каргинским ревкомом успели хуторами бежать в направлении Боковской станицы.

Всю ночь шел дождь. К утру заиграли лога и буераки. Дороги стали непроездны: что ни ложок — ловушка. Напитанный водой снег проваливался до земли. Лошади стряли, люди падали от усталости.

Две сотни под командой базковского хорунжего Ермакова Харлампия, высланные Григорием для преследования отступающего противника, переловили в сплошных хуторах — Латышевском и Вислогузовском — около тридцати отставших красноармейцев; утром привели их в Каргинскую.

Григорий стал на квартире в огромном доме местного богача Каргина. Пленных пригнали к нему во двор. Ермаков пошел к Григорию, поздоровался.

— Взял двадцать семь красных. Тебе там вестовой коня подвел. Зараз выезжаешь, что ль?

Григорий подпоясал шинель, причесал перед зеркалом свалявшиеся под папахой волосы, только тогда повернулся к Ермакову:

— Поедем. Выступать сейчас. На площади устроим митинг — и в поход.

— Нужен он, митинг! — Ермаков повел плечом, улыбнулся. — Они и без митинга уже все на конях. Да вон, гляди! Это не вешенцы подходят сюда?

Григорий выглянул в окно. По четыре в ряд, в прекрасном порядке шли сотни. Казаки — как на выбор, кони — хоть на смотр.

— Откуда это? Откуда их черт принес? — радостно бормотал Григорий, на бегу надевая шашку.

Ермаков догнал его у ворот.

К калитке уже подходил сотенный командир передней сотни. Он почтительно держал руку у края папахи, протянуть ее Григорию не осмелился.

— Вы — товарищ Мелехов?

— Я. Откуда вы?

— Примите в свою часть. Присоединяемся к вам. Наша сотня сформирована за нынешнюю ночь. Это — с хутора Лиховидова, а другие две сотни — с Грачева, с Архиповки и Василевки.

— Ведите казаков на площадь. Там зараз митинг будет.

Вестовой (Григорий взял в вестовые Прохора Зыкова) подал ему коня, даже стремя поддержал. Ермаков как-то особенно ловко, почти не касаясь луки и гривы, вскинул в седло свое сухощавое железное тело, спросил, подъезжая и привычно оправляя над седлом разрез

шинели:

— С пленниками как быть?

Григорий взял его за пуговицу шинели, близко нагнулся, клонясь с седла. В глазах его сверкнули рыжие искорки, но губы под усами, хоть и зверовато, а улыбались.

— В Вешки прикажи отогнать. Понял? Чтоб ушли не дальше вон энтого кургана! — Он махнул плетью в направлении нависшего над станицей песчаного кургана, тронул коня.

«Это им за Петра первый платеж», — подумал он, трогая рысью, и без видимой причины плетью выбил на крупе коня белесый вспухший рубец.

XXXVI

Из Каргинской Григорий повел на Боковскую уже три с половиной тысячи сабель. Вдогон ему штаб и окрисполком слали нарочными приказы и распоряжения. Один из членов штаба в частной записке витиевато просил Григория:

«Многоуважаемый товарищ Григорий Пантелеевич! До нашего сведения коварные доходят слухи, якобы ты учиняешь жестокую расправу над пленными красноармейцами. Будто бы по твоему приказу уничтожены — сиречь порубаны — тридцать красноармейцев, взятые Харлампием Ермаковым под Боковской. Среди означенных пленных, по слухам, был один комиссаришка, коий мог нам очень пригодиться на предмет освещения их сил. Ты, дорогой товарищ, отмени приказ пленных не брать. Такой приказ нам вредный ужасно, и казаки вроде роптают даже на такую жестокость и боятся, что и красные будут пленных рубить и хутора наши уничтожать. Командный состав тоже препровождай живьем. Мы их потихоньку будем убирать в Вешках либо в Казанской, а ты идешь со своими сотнями, как Тарас Бульба из исторического романа писателя Пушкина и все предаешь огню и мечу и казаков волнуешь. Ты остепенись, пожалуйста, пленных смерти не предавай, а направляй к нам. В вышеуказанном и будет наша сила. А за сим будь здоров. Шлем тебе низкий поклон и ждем успехов.»

Письмо Григорий, не дочитав, разорвал, кинул под ноги коню. Кудинову на его приказ:

«Немедленно развивай наступление на юг, участок Крутенький — Астахове — Греково. Штаб считает необходимым соединиться с фронтом кадетов. В противном случае нас окружат и разобьют»,

— не сходя с седла, написал:

«Наступаю на Боковскую, преследую бегущего противника. А на Крутенький не пойду, приказ твой считаю глупым. И за кем я пойду наступать на Астахово? Там, окромя ветра и хохлов, никого нет.»

На этом официальная переписка его с повстанческим центром закончилась. Сотни, разбитые на два полка, подходили к граничащему с Боковской хутору Конькову. Ратный успех еще в течение трех дней не покидал Григория. С боем заняв Боковскую, Григорий на свой риск тронулся на Краснокутскую. Искрошил небольшой отряд, заградивший ему дорогу, но взятых пленных рубить не приказал, отправил в тыл.

9 марта он уже подводил полки к слободе Чистяковка. К этому времени красное командование, почувствовав угрозу с тыла, кинуло на восстание несколько полков и батарей. Под Чистяковкой подошедшие красные полки цокнулись с полками Григория. Бой продолжался часа три. Опасаясь «мешка», Григорий оттянул части к Краснокутской. Но в утреннем бою 10 марта вешенцев изрядно потрепали красные хоперские казаки. В атаке и контратаке сошлись донцы с обеих сторон, рубанулись, как и надо, и Григорий, потеряв в

бою коня, с разрубленной щекой, вывел полки из боя, отошел до Боковской.

Вечером он допросил пленного хоперца. Перед ним стоял немолодой казак Тепикинской станицы, белобрысый, узкогрудый, с клочьями красного банта на отвороте шинели. На вопросы он отвечал охотливо, но улыбался туго и как-то вкось.

— Какие полки были в бою вчера?

— Наш Третий казачий имени Стеньки Разина. В нем почти все Хоперского округа казаки. Пятый Заамурский. Двенадцатый кавалерийский и Шестой Мценский.

— Под чьей общей командой? Говорят, Киквидзе [69] вел?

— Нет, товарищ Домнич сводным отрядом командовал.

— Припасов много у вас?

— Черт-те сколько!

— Орудий?

— Восемь, никак.

— Откуда сняли полк?

— С Каменских хуторов.

— Объяснили, куда посылают?

Казак помялся, но все же ответил. Григорию захотелось проведать о настроении хоперцев.

— Что гутарили промеж себя казаки?

— Неохота, мол, идтить…

— Знают в полку, против чего мы восстали?

— Откеда же знать-то?

— Почему же неохотно шли?

— Дык казаки же вы-то! А тут надоело пестаться с войной. Мы ить как с красными пошли — и вот досе.

— У нас, может, послужишь?

Казак пожал узкими плечами.

— Воля ваша! Оно бы неохота…

— Ну, ступай. Пустим к жене… Наскучал небось?

Григорий, сузив глаза, посмотрел вслед уходившему казаку, позвал Прохора. Долго курил, молчал. Потом подошел к окну, стоя спиной к Прохору, спокойно приказал:

— Скажи ребятам, чтоб вон энтого, какого я зараз допрашивал, потихоньку увели в сады. Казаков красных я в плен не беру! — Григорий круто повернулся на стоптанных каблуках. — Нехай зараз же его… Ходи!

Прохор ушел. С минуту стоял Григорий, обламывая хрупкие веточки гераней на окне, потом проворно вышел на крыльцо. Прохор тихо говорил с казаками, сидевшими на сугреве под амбаром.

— Пустите пленного. Пущай ему пропуск напишут, — не глядя на казаков, сказал Григорий и вернулся в комнату, стал перед стареньким зеркалом, недоуменно развел руками.

Он не мог объяснить себе, почему он вышел и велел отпустить пленного. Ведь испытал же он некоторое злорадное чувство, что-то похожее на удовлетворение, когда с усмешкой про себя проговорил: «Пустим к жене… Ступай», — а сам знал, что сейчас позовет Прохора и прикажет хоперца стукнуть в садах.

Ему было слегка досадно на чувство жалости, — что же иное, как не безотчетная жалость, вторглось ему в сознание и побудило освободить врага? И в то же время освежающе радостно… Как это случилось? Он сам не мог дать себе отчета. И это было тем более странно, что вчера же сам он говорил казакам: «Мужик — враг, но казак, какой зараз

идет с красными, двух врагов стоит! Казаку, как шпиону, суд короткий: раз, два — и в божьи ворота».

С этим неразрешенным, саднящим противоречием, о восставшим чувством неправоты своего дела Григорий и покинул квартиру. К нему пришли командир Чирского полка — высокий атаманец с неприметными, мелкими, стирающимися в памяти чертами лица и двое сотенных.

— Подвалили ишо подкрепления! — улыбаясь, сообщил полковой. — Три тысячи конных с Наполова, о Яблоневой речки, с Гусынки, окромя двух сотен пеших. Куда ты их будешь девать, Пантелевич?

Григорий повесил маузер и щегольскую полевую сумку, доставшиеся от Лихачева, вышел на баз. Тепло грело солнце. Небо было по-летнему высоко и сине, и по-летнему шли на юг белые барашковые облака. Григорий на проулке собрал всех командиров посовещаться. Сошлось их около тридцати человек, расселись на поваленном плетне, загулял по рукам чей-то кисет»

— Какие будем планы строить? Каким родом нам резануть вот эти полки, что потеснили нас от Чистяковки, и куда будем путя держать? — спросил Григорий и попутно передал содержание приказа Кудинова.

— А сколько их супротив нас? Дознался у пленного? — помолчав, спросил один из сотенных.

Григорий перечислил полки, противостоящие им, бегло подсчитал вероятное число штыков и сабель противника. Помолчали казаки. На совете нельзя было выступать с глупым, необдуманным словом. Грачевский сотенный так и сказал:

— Погоди трошки, Мелехов! Дай подумать. Это ить не палашом секануть. Как бы не прошибиться.

Он же первый и заговорил.

Григорий выслушал всех внимательно. Мнение большинства высказавшихся сводилось к тому, чтобы не зарываться далеко даже в случае успеха и вести оборонительную войну. Впрочем, один из чирцев горячо поддерживал приказ командующего повстанческими силами, говорил:

— Нам нечего тут топтаться. Пущай Мелехов ведет нас к Донцу. Что вы — ума решились? Нас кучка, за плечами вся Россия. Как мы могем устоять? Даванут нас — и пропали! Надо пробиваться! Хучь и чудок у нас патрон, но мы их добудем. Рейду надо дать! Решайтесь!

— А народ куда денешь? Баб, стариков, детишков?

— Нехай остаются!

— Умная у тебя голова, да дураку досталась!

До этого сидевшие на краю плетня командиры шепотом говорили о подступавшей весенней пахоте, о том, что станется с хозяйствами, ежели придется идти на прорыв, но после речи чирца загорланили все. Совещание разом приняло бурный характер какого-нибудь хуторского схода. Выше остальных поднял голос престарелый казак с Наполова:

— От своих плетней не пойдем! Я первый уведу свою сотню на хутор! Биться, так возле куреней, а не чужую жизню спасать!

— Ты мне на горло не наступай! Я рассуждаю, а ты — орать!

— Да что и гутарить!

— Пущай Кудинов сам идет к Донцу!

Григорий, выждав тишины, положил на весы спора решающее слово:

— Фронт будем держать тут! Станет с нами Краснокутская — будем и ее оборонять!

Идтить некуда. Совет покончился. По сотням! Зараз же выступаем на позиции.

Через полчаса, когда густые лавы конницы нескончаемо потекли по улицам, Григорий остро ощутил горделивую радость: такой массой людей он еще никогда не командовал. Но рядом с самолюбивой радостью тяжко ворохнулись в нем тревога, терпкая горечь: сумеет ли он водить так, как надо? Хватит ли у него умения управлять тысячами казаков? Не сотня, а дивизия была в его подчинении. И ему ли, малограмотному казаку, властвовать над тысячами жизней и нести за них крестную ответственность. «А главное — против кого веду? Против народа… Кто же прав?»

Григорий, скрипя зубами, провожал проходившие сомкнутым строем сотни. Опьяняющая сила власти состарилась и поблекла в его глазах. Тревога, горечь остались, наваливаясь непереносимой тяжестью, горбя плечи.

XXXVII

Весна отворяла жилы рек. Ядренее становились дни, звучнее нагорные зеленые потоки. Солнце приметно порыжело, слиняла на нем немощно-желтая окраска. Ости солнечных лучей стали ворсистей и уже покалывали теплом. В полдень парилась оголенная пахота, нестерпимо сиял ноздреватый, чешуйчатый снег. Воздух, напитанный пресной влагой, был густ и духовит.

Спины казакам грело солнце. Подушки седел приятно потеплели, бурые казачьи щеки увлажнял мокрогубый ветер. Иногда приносил он и холодок с заснеженного бугра. Но тепло одолевало зиму. По-весеннему яровито взыгрывали кони, сыпался с них линючий волос, резче колол ноздри конский пот.

Казаки уже подвязывали коням мочалистые хвосты. Уже ненужными болтались на спинах всадников башлыки верблюжьей шерсти, а под папахами мокрели лбы, и жарковато становилось в полушубках и теплых чекменях.

Вел Григорий полк летним шляхом. Вдали, за распятьем ветряка, разворачивались в лаву эскадроны красных: возле хутора Свиридова начинался бой.

Еще не умел Григорий, как полагалось ему, руководить со стороны. Он сам водил в бой сотни вешенцев, затыкал ими самые опасные места. И бой вершился без общего управления. Каждый полк, нарушая предварительный сговор, действовал в зависимости от того, как складывались обстоятельства.

Фронта не было. Это давало возможность широкого разворота в маневрировании.

Обилие конницы (в отряде Григория она преобладала) было важным преимуществом. Используя это преимущество, Григорий решил вести войну «казачьим» способом: охватывать фланги, заходить в тыл, громить обозы, тревожить и деморализовать красных ночными набегами.

Но под Свиридовом решил он действовать иначе: крупной рысью вывел на позиции сотни, одну из них оставил в хуторе, приказал спешиться, залечь в левадах в засаду, предварительно отправив коноводов в глубь хутора во дворы, а с двумя остальными выскочил на пригорок в полуверсте от ветряка и помалу ввязался в бой.

Против него было побольше двух эскадронов красной кавалерии. Это не были хоперцы, так как в бинокль Григорий видел маштаковатых, не донских коньков с подрезанными хвостами, а казаки хвостов коням никогда не резали, не срамили лошадиной красоты. Следовательно, наступал или 13-й кавалерийский, или вновь подошедшие части.

Григорий с пригорка рассматривал местность в бинокль. С седла всегда просторней казалась ему земля, и уверенней чувствовал он себя, когда носки сапог покоились в

стременах.

Он видел, как той стороной реки Чира бугром двигалась бурая длинная колонна в три с половиной тысячи казаков. Она, медленно извиваясь, поднималась в гору, уходила на север, на грань Еланского и Усть-Хоперского юртов, чтобы там встретить наступающего от Усть-Медведицы противника и помочь изнемогавшим в борьбе еланцам.

Версты полторы расстояния отделяло Григория от готовившейся к атаке лавы красных. Григорий торопливо — по старому образцу — развернул свои сотни. Пики были не у всех казаков, но те, у кого они были, выдвинулись в первую шеренгу, отъехали саженей на десять вперед. Григорий выскакал вперед первой шеренги, стал вполоборота, вынул шашку.

— Тихой рысью марш!

В первую минуту под ним споткнулся конь, попав ногой в заваленную снегом сурчину. Григорий выправился в седле, побледнел от злости и сильно ударил коня шашкой плашмя. Под ним был добрый, взятый у одного из вешенских, строевой резвач, но Григорий относился к нему с затаенной недоверчивостью. Он знал, что конь за два дня не мог привыкнуть к нему, да и сам не изучил его повадок и характера, — боялся, что не будет чужой конь понимать его сразу, с крохотного движения поводьями так, как понимал свой, убитый под Чистяковкой. После того как удар шашки взгорячил коня, и он, не слушаясь поводьев, захватил в намет, Григорий внутренне похолодел и даже чуть растерялся. «Подведет он меня!» — полохнулась колючая мысль. Но чем дальше и ровнее стлался в машистом намете конь, чем больше повиновался он еле заметному движению руки, направлявшей его бег, тем увереннее и холоднее становился Григорий. На секунду оторвавшись взглядом от двигавшейся навстречу качкой раздробившейся лавы противника, скользнул он глазами по шее коня. Рыжие конские уши были плотно и зло прижаты, шея, вытянутая, как на плаху, ритмически вздрагивала. Григорий выпрямился в седле, жадно набрал в легкие воздуха, глубоко просунул сапоги в стремена, оглянулся. Сколько раз он видел позади себя грохочущую, слитую из всадников и лошадей лавину, и каждый раз его сердце сжималось страхом перед надвигающимся и каким-то необъяснимым чувством дикого, животного возбуждения. От момента, когда он выпускал лошадь, и до того, пока дорывался до противника, был неуловимый миг внутреннего преображения. Разум, хладнокровие, расчетливость — все покидало Григория в этот страшный миг, и один звериный инстинкт властно и неделимо вступал в управление его волей. Если бы кто мог посмотреть на Григория со стороны в час атаки, тот, наверно, думал бы, что движениями его управляет холодный, не теряющийся ум. Так были они с виду уверенны, выверенны и расчетливы.

Расстояние между обеими сторонами сокращалось с облегчающей быстротой. Крупнели фигуры всадников, лошадей. Короткий кусок бурьянистой, засыпанной снегом хуторской толоки, бывшей между двумя конными лавами, поглощался конскими копытами. Григорий приметил одного всадника, скакавшего впереди своего эскадрона примерно на три лошадиных корпуса. Караковый рослый конь под ним шел куцым волчьим скоком. Всадник шевелил в воздухе офицерской саблей, серебряные ножны болтались и бились о стремя, огнисто поблескивая на солнце. Через секунду Григорий узнал всадника. Это был каргинский коммунист из иногородних, Петр Семиглазов. В семнадцатом году с германской первый пришел он, тогда двадцатичетырехлетний парняга, в невиданных доселе обмотках; принес с собой большевистские убеждения и твердую фронтовую напористость. Большевикам он и остался. Служил в Красной Армии и перед восстанием пришел из части устраивать в станице Советскую власть. Этот-то Семиглазов и скакал на Григория, уверенно правя конем, картинно потрясая отобранной при обыске, годной лишь для парадов офицерской саблей.

Оскалив плотно стиснутые зубы, Григорий приподнял поводья, и конь послушно наддал

ходу.

Был у Григория один, ему лишь свойственный маневр, который применял он в атаке. Он прибегал к нему, когда чутьем и взглядом распознавал сильного противника, или тогда, когда хотел сразить наверняка, насмерть, сразить одним ударом, во что бы то ни стало. С детства Григорий был левшой. Он и ложку брал левой рукой и крестился ею же. Жестоко бивал его за это Пантелей Прокофьевич, даже ребятишки-сверстники прозвали его «Гришка-левша». Побои и ругань, надо думать, возымели действие на малолетнего Гришку. С десяти лет вместе с кличкой «левша» отпала у него привычка заменять правую руку левой. Но до последнего времени он мог с успехом делать левой все, что делал правой. И левая была у него даже сильнее. В атаке Григорий пользовался всегда с неизменным успехом этим преимуществом. Он вел коня на выбранного противника, как и обычно все, заходя слева, чтобы правой рубить; так же норовил и тот, который должен был сшибиться с Григорием. И вот, когда до противника оставался какой-нибудь десяток саженей и тот уже чуть свешивался набок, занося шашку, — Григорий крутым, но мягким поворотом заходил справа, перебрасывая шашку в левую руку. Обескураженный противник меняет положение, ему неудобно рубить справа налево, через голову лошади, он теряет уверенность, смерть дышит ему в лицо… Григорий рушит страшный по силе, режущий удар с потягом.

Со времени, когда Чубатый учил Григория рубке, «баклановскому» удару, ушло много воды. За две войны Григорий «наломал» руку. Шашкой владеть — не за плугом ходить. Многое постиг он в технике рубки.

Никогда не продевал кисти в темляк: чтобы легче было кинуть шашку из руки в руку в короткий, неуловимый миг. Знал он, что при сильном ударе, если неправильный будет у шашки крен, вырвет ее из руки, а то и кисть вывихнет. Знал прием, очень немногим дающийся, как еле заметным движением выбить у врага оружие или коротким, несильным прикосновением парализовать руку. Многое знал Григорий из той науки, что учит умерщвлять людей холодным оружием.

На рубке лозы от лихого удара падает косо срезанная хворостинка, не дрогнув, не ворохнув подставки. Мягко воткнется острым концом в песок рядом со стеблем, от которого отделила ее казачья шашка. Так и калмыковатый красивый Семиглазов опустился под вздыбившегося коня, тихо сполз с седла, зажимая ладонями наискось разрубленную грудь. Смертным холодом оделось тело…

Григорий в ту же минуту выпрямился в седле, привстал на стремена. На него слепо летел, уже не в силах сдержать коня второй. За вскинутой запененной конской мордой Григорий не видел еще всадника, но видел горбатый спуск шашки, темные долы ее. Изо всей силы дернул Григорий поводья, принял и отвел удар, — забирая в руку правый повод, рубанул по склоненной подбритой красной шее.

Он первый выскакал из раздерганной, смешавшейся толпы. В глазах — копошащаяся куча конных. На ладони — нервный зуд. Кинул шашку в ножны, рванул маузер, тронул коня назад уже во весь мах. За ним устремились казаки. Сотни шли врассыпь. То там, то сям виднелись папахи и малахаи с белыми перевязками, припавшие к лошадиным шеям. Сбоку от Григория скакал знакомый урядник в лисьем треухе, в защитном полушубке. У него разрублены ухо и щека до самого подбородка. На груди будто корзину спелой вишни раздавили. Зубы оскалены и залиты красным.

Красноармейцы, дрогнувшие и наполовину тоже обратившиеся в бегство, повернули лошадей. Отступление казаков распалило их на погоню. Однако приотставшего казака как ветром снесло с лошади и лошадьми втолочило в снег. Вот-вот хутор, черные купы садов, часовенка на пригорочке, широкий проулок. До плетней левады, где лежала в засаде сотня,

осталось не более ста саженей… С конских спин — мыло и кровь. Григорий, на скаку яростно жавший спуск маузера, сунул отказавшееся служить оружие в коробку (патрон пошел наперекос), грозно крикнул:

— Делись!!!

Слитная струя казачьих сотен, как стремя реки, наткнувшееся на утес, плавно разлилась на два рукава, обнажив красноармейскую лаву. По ней из-за плетня сотня, лежавшая в засаде, полыхнула залпом, другим, третьим… Крик! Лошадь с красноармейцем зашкобырдала через голову. У другой колени подогнулись, морда по уши в снег. С седел сорвали пули еще трех или четырех красноармейцев. Пока на всем скаку остальные, грудясь, повернули лошадей, по ним расстреляли по обойме и умолкли. Григорий только что успел крикнуть сорвавшимся голосом: «Со-о-от-ни!..» — как тысячи конских ног, взрыхляя на крутом повороте снег, повернулись и пошли вдогон. Но преследовали казаки неохотно: пристали кони. Версты через полторы вернулись. Раздели убитых красноармейцев, расседлали убитых лошадей. Трех раненых добивал безрукий Алешка Шамиль. Он ставил их лицом к плетню, рубил по очереди. После долго возле дорубленных толпились казаки, курили, рассматривали трупы. У всех трех одинаковые были приметы: туловища развалены наискось от ключицы до пояса.

— Из трех шестерых сделал, — хвастался Алешка, мигая глазом, дергая щекой.

Его подобострастно угощали табаком, смотрели с нескрываемым уважением на небольшой Алешкин кулак величиной с ядреную тыкву-травянку, на выпуклый заслон груди, распиравшей чекмень.

У плетня, покрытые шинелями, дрожали мокрые кони. Казаки подтягивали подпруги. На проулке у колодца в свою очередь стояли за водой. Многие в поводу вели усталых, волочащих ноги лошадей.

Григорий уехал с Прохором и пятью казаками вперед. Словно повязка свалилась у него с глаз. Опять, как и перед атакой, увидел он светившее миру солнце, притаявший снег возле прикладков соломы, слышал весеннее чулюканье воробьев по хутору, ощущал тончайшие запахи ставшей на порог дней весны. Жизнь вернулась к нему не поблекшая, не состарившаяся от пролитой недавно крови, а еще более манящая скупыми и обманчивыми радостями. На черном фоне оттаявшей земли всегда заманчивей и ярче белеет оставшийся кусочек снега…

XXXVIII

Полой водой взбугрилось и разлилось восстание, затопило все Обдонье, задонские степные края на четыреста верст в окружности. Двадцать пять тысяч казаков сели на конь. Десять тысяч пехоты выстачили хутора Верхнедонского округа.

Война принимала формы, досель не виданные. Где-то около Донца держала фронт Донская армия, прикрывая Новочеркасск, готовясь к решающей схватке. А в тылу противостоявших ей 8-й и 9-й красных армий бурлило восстание, бесконечно осложняя и без того трудную задачу овладения Доном.

В апреле перед Реввоенсоветом республики со всей отчетливостью встала угроза соединения повстанцев с фронтом белых. Требовалось задавить восстание во что бы то ни стало, пока оно не успело с тыла разъесть участок красного фронта и слиться с Донской армией. На подавление стали перебрасываться лучшие силы: в число экспедиционных войск вливали экипажи матросов — балтийцев и черноморцев, надежнейшие полки, команды бронепоездов, наиболее лихие кавалерийские части. С фронта целиком были сняты пять

полков боевой Богучарской дивизии, насчитывавшей до восьми тысяч штыков при нескольких батареях и пятистах пулеметах. В апреле на Казанском участке повстанческого фронта уже дрались с беззаветным мужеством Рязанские и Тамбовские курсы, позднее прибыла часть школы ВЦИКа, под Шумилинской бились с повстанцами латышские стрелки.

Казаки задыхались от нехватки боевого снаряжения. Вначале не было достаточного числа винтовок, кончались патроны. Их надо было добывать ценою крови, их надо было отбивать атакой или ночным набегом. И отбивали. В апреле у повстанцев уже было полное число винтовок, шесть батарей и около полутораста пулеметов.

В начале восстания в Вешенской на складе осталось пять миллионов холостых патронов. Окружной совет мобилизовал лучших кузнецов, слесарей, ружейников. В Вешенской организовалась мастерская по отливке пуль, но не было свинца, не из чего было лить пули. Тогда по призыву окружного Совета на всех хуторах стали собирать свинец и медь. С паровых мельниц были взяты все запасы свинца и баббита. Кинули по хуторам с верховыми гонцами короткое воззвание:

«Вашим мужьям, сыновьям и братьям нечем стрелять. Они стреляют только тем, что отобьют у проклятого врага. Сдайте все, что есть в ваших хозяйствах годного на литье пуль. Снимите с веялок свинцовые решета.»

Через неделю по всему округу ни на одной веялке не осталось решет.

«Вашим мужьям, сыновьям и братьям нечем стрелять…» И бабы несли в хуторские советы все годное и негодное, ребятишки хуторов, где шли бои, выковыривали из стен картечь, рылись в земле в поисках осколков. Но и в этом деле не было крутого единства; кое-каких бабенок из бедноты, не желавших лишиться последней хозяйственной мелочи, арестовали и отправили в округ за «сочувствие красным». В Татарском зажиточные старики в кровь избили пришедшего из части в отпуск Семена Чугуна за единую неосторожную фразу: «Богатые нехай веялки разоряют. Им небось красные-то страшнее разорения».

Запасы свинца плавились в вешенской мастерской, но отлитые пули, лишенные никелевой оболочки, тоже плавились… После выстрела самодельная пуля вылетала из ствола растопленным свинцовым комочком, летела с диким воем и фурчаньем, но разила только на сто, сто двадцать саженей. Зато раны, наносимые такими пулями, были ужасны. Красноармейцы, разузнав в чем дело, иногда, близко съезжаясь с разъездами казаков, орали: «Жуками стреляете… Сдавайтесь, все равно всех перебьем!»

Тридцать пять тысяч повстанцев делились на пять дивизий и шестую по счету отдельную бригаду. На участке Мешковская — Сетраков — Веже билась 3-я дивизия под командой Егорова. Участок Казанская — Донецкое — Шумилинская занимала 4-я дивизия. Водил ее угрюмейший с виду подхорунжий, рубака и черт в бою, Кондрат Медведев. 5-я дивизия дралась на фронте Слащевская — Букановская, командовал ею Ушаков. В направлении Еланские хутора — Усть-Хоперская — Горбатов бился со своей 2-й дивизией вахмистр Меркулов. Там же была и 6-я отдельная бригада, крепко сколоченная, почти не несшая урона, потому что командовавший ею максаевский казак, чином подхорунжий, Богатырев был осмотрителен, осторожен, никогда не рисковал и людей зря в трату не давал. По Чиру раскидал свою 1-ю дивизию Мелехов Григорий. Его участок был лобовым, на него с юга обрушивались отрываемые с фронта красные части, но он успевал не только отражать натиски противника, но и пособлять менее устойчивой 2-й дивизии, перебрасывая на помощь ей пешие и конные сотни.

Восстанию не удалось перекинуться в станицу Хоперского и Усть-Медведицкого округов. Было и там брожение, являлись и оттуда гонцы с просьбами двинуть силы к Бузулуку и в верховья Хопра, чтобы поднять казаков, но повстанческое командование не

решилось выходить за пределы Верхнедонского округа, зная, что в основной массе хоперцы подпирают Советскую власть и за оружие не возьмутся. Да и гонцы успехов не сулили, направдок рассказывая, что недовольных красными по хуторам не так-то много, что офицеры, оставшиеся по глухим углам Хоперского округа, скрываются, значительных сил, сочувствующих восстанию, сколотить не могут, так как фронтовики либо дома, либо с красными, а стариков загнали, как телят в закут, и ни силы, ни прежнего веса они уже не имеют.

На юге, в волостях, населенных украинцами, красные мобилизовали молодежь, и та с большой охотой дралась с повстанцами, влившись в полки боевой Богучарской дивизии. Восстание замкнулось в границах Верхнедонского округа. И все яснее становилось всем, начиная с повстанческого командования, что долго оборонять родные курени не придется, — рано или поздно, а Красная Армия, повернувшись от Донца, задавит.

18 марта Григория Мелехова Кудинов вызвал в Вешенскую на совещание. Поручив командование дивизией своему помощнику Рябчикову, Григорий рано утром о ординарцем выехал в округ.

В штаб он явился как раз в тот момент, когда Кудинов в присутствии Сафонова вел переговоры с одним из гонцов Алексеевской станицы. Кудинов, сгорбясь, сидел за письменным столом, вертел в сухих смуглых пальцах кончик своего кавказского ремешка и, не поднимая опухлых, гноящихся от бессонных ночей глаз, спрашивал у казака, сидевшего против него:

— А сами-то вы что? Вы-то чего думаете?

— Оно и мы, конешно… Самим как-то несподручно… Кто его знает, как и что другие. А тут, знаешь, народ какой? Робеют. И гребтится им, и то ж самое робеют…

— «Гребтится»! «Робеют»! — злобно бледнея, прокричал Кудинов и ерзнул в кресле, будто жару сыпанули ему на сиденье. — Все вы как красные девки! И хочется, и колется, и маменька не велит. Ну и ступай в свою Алексеевскую, скажи своим старикам, что мы и взвода не пошлем в ваш юрт, покуда вы сами не начнете. Нехай вас хучь по одному красные перевешают!

Багровая рука казачины трудно сдвинула на затылок искристый лисий малахай. По морщинам лба, как по ерикам вешняя вода, стремительно сыпал пот, короткие белесые ресницы часто мигали, а глаза смотрели улыбчиво и виновато.

— Оно, конешно, чума вас заставит идтить к нам. Но тут все дело в почине. Дороже денег этот самый почин…

Григорий, внимательно слушавший разговор, посторонился, — из коридора в комнату без стука шагнул одетый в дубленый полушубок невысокий черноусый человек. Он поздоровался с Кудиновым кивком головы, присел к столу, подперев щеку белой ладонью. Григорий, знавший в лицо всех штабных, видел его впервые, всмотрелся. Тонко очерченное лицо, смуглое, но не обветренное и не тронутое солнцем, мягкая белизна рук, интеллигентные манеры — все изобличало в нем человека не местного.

Кудинов, указывая глазами на незнакомца, обратился к Григорию:

— Познакомься, Мелехов. Это — товарищ Георгадзе. Он… — и замялся, повертел черненого серебра бирюльку на пояске, сказал, вставая и обращаясь к гонцу Алексеевской станицы: — Ну ты, станишник, иди. У нас зараз дела заступают. Езжай домой и слова мои передай кому следует.

Казак поднялся со стула. Пламенно-рыжий с черными ворсинами лисий малахай почти достал до потолка. И сразу от широких плеч казака, заслонивших свет, комната стала маленькой и тесной.

— За помочью прибегал? — обратился Григорий, все еще неприязненно ощущая на ладони рукопожатие кавказца.

— Во-во! За помочью. Да оно, видишь, как выходит… — Казак обрадованно повернулся к Григорию, ища глазами поддержки. Красное, под цвет малахая, лицо его было так растерянно, пот омывал его так обильно, что даже борода и пониклые рыжие усы были осыпаны будто мелким бисером.

— Не полюбилась и вам Советская власть? — продолжал расспросы Григорий, делая вид, что не замечает нетерпеливых движений Кудинова.

— Оно бы, братушка, ничего, — рассудительно забасил казачина, — да опасаемся, как бы хужей не стало.

— Расстрелы были у вас?

— Нет, упаси бог! Такого не слыхать. Ну, а словом, лошадков брали, зернецо, ну, конешно, рестовали народ, какой против гутарил. Страх в глазах, одно слово.

— А если б пришли вешенцы к вам, поднялись бы? Все бы поднялись?

Мелкие, позлащенные солнцем глаза казака хитро прижмурились, вильнули от глаз Григория, малахай пополз на отягченный в этот миг складками и буграми раздумья лоб.

— За всех как сказать?.. Ну, а хозяйственные казаки, конешно, поперли ба.

— А бедные, не хозяйственные?

Григорий, до этого тщетно пытавшийся поймать глаза собеседника, встретил его по-детски изумленный, прямой взгляд.

— Хм!.. Лодыри с какого же пятерика пойдут? Им самая жизня с этой властью, вакан!

— Так чего же ты, тополина чертова! — уже с нескрываемой злобой закричал Кудинов, и кресло под ним протяжно заскрипело. — Чего же ты приехал подбивать нас? Что ж у вас — аль все богатые? Какое же это в… восстание, ежели в хуторе два-три двора подымутся? Иди отселева! Ступай, говорят тебе! Жареный кочет вас ишо в зад не клюнул, а вот как клюнет — тогда и без нашей помочи зачнете воевать! Приобыкли, сукины сыны, за чужой спиной затишек пахать! Вам бы на пече да в горячем просе… Ну иди, иди! Глядеть на тебя, на черта, тошно!

Григорий нахмурился, отвернулся. У Кудинова по лицу все явственней проступали красные пятна. Георгадзе крутил ус, шевелил ноздрей круто горбатого, как стесанного, носа.

— Просим прощенья, коли так. А ты, ваше благородие, не шуми и не пужай, тут дело полюбовное. Просьбицу наших стариков я вам передал и ответец ваш отвезу им, а шуметь нечего! И до каких же пор на православных шуметь будут? Белые шумели, красные шумели, зараз вот ты пришумливаешь, всяк власть, свою показывает да ишо салазки тебе норовит загнуть… Эх ты, жизня крестьянская, поганой сукой лизанная!..

Казак остервенело нахлобучил малахай, глыбой вывалился в коридор, тихонько притворил дверь; но зато в коридоре развязал руки гневу и так хлопнул выходной дверью, что штукатурка минут пять сыпалась на пол и подоконники.

— Ну и народишко пошел! — уже весело улыбался Кудинов, играя пояском, добрея с каждой минутой. — В семнадцатом году весной еду на станцию, пахота шла, время — около пасхи. Пашут свободные казачки и чисто одурели от этой свободы, дороги все как есть запахивают, — скажи, будто земли им мало! За Токийским хутором зову такого пахаря, подходит к тарантасу. «Ты, такой-сякой, зачем дорогу перепахал?» Оробел парень. «Не буду, говорит, низко извиняюсь, могу даже сровнять». Таким манером ишо двух или трех настращал. Выехали за Грачев — опять дорога перепахана, и тут же гаврик ходит с плугом. Шумлю ему: «А ну, иди сюда!» Подходит. «Ты какое имеешь право дорогу перепахивать?» Посмотрел он на меня, бравый такой казачок, и глаза светлые-светлые, а потом молчком

повернулся и — рысью к быкам. Подбег, выдернул из ярма железную занозу и опять рысью ко мне. Ухватился за крыло тарантаса, на подножку лезет. «Ты, говорит, что такое есть и до каких пор вы будете из нас кровь сосать? Хочешь, говорит, в два счета голову тебе на черепки поколю?» И занозой намеревается. Я ему: «Что ты, Иван, я пошутил!» А он: «Я теперь не Иван, а Иван Осипыч, и морду тебе за грубость побью!» Веришь — насилу отвязался. Так и этот: сопел да кланялся, а под конец характер оказал. Гордость в народе выпрямилась.

— Хамство в нем проснулось и поперло наружу, а не гордость. Хамство получило право законности, — спокойненько сказал подполковник-кавказец и, не дожидаясь возражений, закончил разговор: — Прошу начинать совещание. Я бы хотел попасть в полк сегодня же.

Кудинов постучал в стенку, крикнул:

— Сафонов! — и обратился к Григорию: — Ты побудь с нами, посоветуемся сообща. Знаешь поговорку: «Ум хорошо, а два — еще хуже»? На наше счастье, товарищ Георгидзе случаем остался в Вешках, а теперь нам пособляет. Они — чином подполковник, генеральную академию окончили.

— Как же вы остались в Вешенской? — почему-то внутренне холодея и настораживаясь, спросил Григорий.

— Тифом заболел, меня оставили на хуторе Дударевском, когда началось отступление с Северного фронта.

— В какой части были?

— Я? Нет, я не строевой. Я был при штабе особой группы.

— Какой группы? Генерала Ситникова?

— Нет…

Григорий хотел еще что-то спросить, но выражение лица подполковника Георгидзе, как-то напряженно собранное, заставило почувствовать неуместность расспросов, и Григорий на полуслове осекся.

Вскоре подошли начштаба Сафонов, командир 4-й дивизии Кондрат Медведев и румяный белозубый подхорунжий Богатырев — командир 6-й отдельной бригады. Началось совещание. Кудинов по сводкам коротко информировал собравшихся о положении на фронтах. Первым попросил слова подполковник. Медленно развернув на столе трехверстку, он заговорил ладно и уверенно, с чуть заметным акцентом:

— Прежде всего я считаю абсолютно необходимой переброску некоторых резервных частей Третьей и Четвертой дивизий на участок, занимаемый дивизией Мелехова и особой бригадой подхорунжего Богатырева. По имеющимся у нас сведениям секретного порядка и из опроса пленных с совершенной очевидностью выясняется, что красное командование именно на участке Каменка — Каргинская — Боковская готовит нам серьезный удар. Со слов перебежчиков и пленных установлено, что из Облив и Морозовской направлены штабом Девятой красной армии два кавалерийских полка, взятых из Двенадцатой дивизии, пять заградительных отрядов, с приданными к ним тремя батареями и пулеметными командами. По грубому подсчету, эти пополнения дадут противнику пять с половиной тысяч бойцов. Таким образом, численный перевес будет, несомненно, за ними, не говоря уже о том, что на их стороне превосходство вооружения.

Крест-накрест перечеркнутое оконным переплетом, засматривало с юга в комнату желтое, как цветок подсолнуха, солнце. Голубое облако дыма недвижно висело под потолком. Горьковатый самосад растворялся в острой вони отсыревших сапог. Где-то под потолком отчаянно звенела отравленная табачным дымом муха. Григорий дремотно поглядывал в окно (он не спал две ночи подряд), набухали свинцово отяжелевшие веки, сон вторгался в тело вместе с теплом жарко натопленной комнаты, пьяная усталость расслабляла

волю и сознание. А за окном взлетами бились весенние низовые ветры, на базковском бугре розово сиял и отсвечивал последний снег, вершины тополей за Доном так раскачивались на ветру, что Григорию при взгляде на них чудился басовитый неумолчный гул.

Голос подполковника, четкий и напористый, притягивал внимание Григория. Напрягаясь, Григорий вслушивался, и незаметно исчезла, будто растаяла, сонная одурь.

— …Ослабление активности противника на фронте Первой дивизии и настойчивые попытки его перейти в наступление на линии Мигулинская — Мешковская заставляют нас насторожиться. Я полагаю… — подполковник поперхнулся словом «товарищи», и, уже зло жестикулируя женски белой прозрачной рукой, повысил голос, — что командующий Кудинов при поддержке Сафонова совершает крупнейшую ошибку, принимая маневрирование красных за чистую монету, идя на ослабление участка, занятого Мелеховым, Помилуйте, господа! Это же азбука стратегии — оттяжка сил противника для того, чтобы обрушиться…

— Но резервный полк Мелехову не нужен, — перебил Кудинов.

— Наоборот! Мы должны иметь под рукой часть резервов Третьей дивизии для того, чтобы в случае прорыва нам было чем заслонить его.

— Кудинов, видно, у меня не хочет спрашивать, дам я ему резерв или нет, — озлобляясь, заговорил Григорий. — А я не дам. Сотни одной не дам!

— Ну это, братец… — протянул Сафонов, улыбаясь и приглаживая желтый подбой усов.

— Ничего не «братец»! Не дам — и все!

— В оперативном отношении…

— Ты мне про оперативные отношения не говори. Я отвечаю за свой участок и за своих людей.

Спор, так неожиданно возникший, прекратил подполковник Георгидзе. Красный карандаш в его руке пунктиром отметил угрожаемый участок, и, когда головы совещавшихся тесно сомкнулись над картой, всем стало понятно с непреложной ясностью, что удар, подготавливаемый красным командованием, действительно единственно возможен на южном участке, как наиболее приближенном к Донцу и выгодном в отношении сообщения.

Совещание кончилось через час. Угрюмый, бирючьего вида и бирючьей повадки, Кондрат Медведев, с трудом владевший грамотой, отмалчиваясь на совещании, под конец сказал, все так же исподлобно оглядывая всех:

— Пособить мы Мелехову пособим. Лишние люди есть. Только одна думка спокою не дает, сволочь! Что, ежли начнут нажимать на нас со всех сторон, тогда куда деваться? Собьют нас в кучу, и очутимся мы на ужачином положении, вроде как ужаки в половодье где-нибудь на островке.

— Ужаки плавать умеют, а нам и плавать некуда! — хохотнул Богатырев.

— Мы об этом думали, — раздумчиво проговорил Кудинов. — Ну что же, подойдет тугач — бросим всех неспособных носить оружие, бросим семьи и с боем пробьемся к Донцу. Сила нас немалая, тридцать тысяч.

— А примут нас кадеты? Злобу они имеют на верхнедонцев.

— Курочка в гнезде, а яичко… Нечего об этом толковать! — Григорий надел шапку, вышел в коридор. Через дверь слышал, как Георгадзе, шелестя сворачиваемой картой, отвечал:

— Вешенцы, да и вообще все повстанцы, искупят свою вину перед Доном и Россией, если будут так же мужественно бороться с большевиками…

«Говорит, а про себя смеется, гадюка!» — вслушиваясь в интонации, подумал Григорий. И снова, как вначале, при встрече с этим неожиданно появившимся в Вешенской офицером, Григорий почувствовал какую-то тревогу и беспричинное озлобление.

У ворот штаба его догнал Кудинов. Некоторое время шли молча. На унавоженной площади ветер шершавил и рябил лужи. Вечерело. Округло-грузные, белые, как летом, лебедями медлительно проплывали с юга облака. Живителен и пахуч был влажный запах оттаявшей земли. У плетней зеленела оголившаяся трава, и уже в действительности доносил ветер из-за Дона волнующий рокот тополей.

— Скоро поломает Дон, — покашливая, сказал Кудинов.

— Да.

— Черт его знает… Пропадем, не куря. Стакан самосаду — сорок рублей керенскими.

— Ты скажи вот что, — на ходу оборачиваясь, резко спросил Григорий, — офицер этот, из черкесов, он что у тебя делает?

— Георгидзе-то? Начальником оперативного управления. Башковитый, дьявол! Это он планы разрабатывает. По стратегии нас всех засекает.

— Он постоянно в Вешках?

— Не-е-ет… Мы его прикомандировали к Черновскому полку, к обозу.

— А как же он следит за делами?

— Видишь ли, он часто наезжает. Почти кажин день.

— А что же вы его не возьмете в Вешки? — пытаясь уяснить, допрашивал Григорий.

Кудинов, все покашливая, ладонью прикрывая рот, нехотя отвечал:

— Неудобно перед казаками. Знаешь, какие они, братушки? «Вот, скажут, позасели офицерья, свою линию гнут. Опять погоны…» — и все прочее.

— Такие, как он, ишо в войске есть?

— В Казанской двое, не то трое… Ты, Гриша, не нудись особо. Я вижу, к чему ты норовишь. Нам, милок, окромя кадетов, деваться некуда. Так ведь? Али ты думаешь свою республику из десяти станиц организовать? Тут же нечего… Соединимся, с повинной головой придем к Краснову: «Не суди, мол, Петро Миколаич, трошки заблудились мы, бросимши фронт…»

— Заблудились? — переспросил Григорий.

— А то как же? — с искренним удивлением ответил Кудинов и старательно обошел лужицу.

— А у меня думка… — Григорий потемнел, насильственно улыбаясь. — А мне думается, что заблудились мы, когда на восстание пошли… Слыхал, что хоперец говорил?

Кудинов промолчал, сбоку пытливо вглядываясь в Григория.

На перекрестке, за площадью они расстались. Кудинов зашагал мимо школы, на квартиру. Григорий вернулся к штабу, знаком подозвал ординарца с лошадьми. В седле уже, медленно разбирая поводья, поправляя винтовочный погон, все еще пытался он отдать себе отчет в том непонятном чувстве неприязни и настороженности, которое испытал к обнаруженному в штабе подполковнику, и вдруг, ужаснувшись, подумал: «А что, если кадеты нарочно наоставляли у нас этих знающих офицеров, чтоб поднять нас в тылу у красных, чтоб они по-своему, по-ученому руководили нами?» — и сознание с злорадной услужливостью подсунуло догадки и доводы. Не сказал, какой части… замялся… Штабной, а штабы тут и не проходили… За каким чертом его занесло на Дударевский, в глушину такую? Ох, неспроста! Наворошили мы делов…» И домыслами обнажая» жизнь, затравленно, с тоской додумал: «Спутали нас ученые люди… Господа спутали! Стреножили жизню и нашими руками вершают свои дела. В пустяковине — и то верить никому нельзя…»

За Доном во всю рысь пустил коня. Позади поскрипывал седлом ординарец, добрый вояка и лихой казачишка с хутора Ольшанского. Таких и подбирал Григорий, чтобы шли за ним «в огонь и в воду», такими, выдержанными еще в германской войне, и окружал себя.

Ординарец, в прошлом — разведчик, всю дорогу молчал, на ветру, на рыси закуривал, высекая кресалом огонь, забирая в ядреную пригоршню ком вываренного в подсолнечной золе пахучего трута. Спускаясь в хутор Токин, он посоветовал Григорию:

— Коли нету нужды поспешать, давай заночуем. Кони мореные, нехай передохнут.

Ночевали в Чукарином. В ветхой хате, построенной связью [70], было после морозного ветра по-домашнему уютно и тепло. От земляного пола солоно попахивало телячьей и козьей мочой, из печи — словно пресно-пригорелыми хлебами, выпеченными на капустных листах. Григорий нехотя отвечал на расспросы хозяйки — старой казачки, проводившей на восстание трех сыновей и старика. Говорила она басом, покровительственно подчеркивая свое превосходство в летах, и с первых же слов грубовато заявила Григорию:

— Ты хучь старшой и командер над казаками-дураками, а надо мной, старухой, не властен и в сыны мне годишься. И ты, сокол, погутарь со мной, сделай милость. А то ты все позевываешь, кубыть, не хошь разговором бабу уважить. А ты уважь! Я вон на вашу войну — лихоман ее возьми! — трех сынов выстачила да ишо деда, на грех, проводила. Ты ими командуешь, а я их, сынов-то, родила, вспоила, вскормила, в подоле носила на бахчи и огороды, что муки с ними приняла. Это тоже нелегко доставалось! И ты носом не крути, не задавайся, а гутарь со мной толком: скоро замирень выйдет?

— Скоро… Ты бы спала, мамаша!

— То-то скоро! А как оно скоро? Ты спать-то меня не укладывай, я тут хозяйка, а не ты. Мне вон ишо за козлятами-ягнятами на баз идтить. Забираем их на ночь с базу, махонькие ишо они. К пасхе-то замиритесь?

— Прогоним красных и замиримся.

— Скажи на милость! — Старуха кидала на острые углы высохших колен пухлые в кистях руки и с искривленными работой и ревматизмом пальцами, горестно жевала коричневыми и сухими, как вишневая кора, губами. — И на чуму они вам сдались? И чего вы с ними отражаетесь? Чисто побесились люди… Вам, окаянным, сладость из ружьев палить да на кониках красоваться, а матерям-то как? Ихних ить сынов-то убивают, ай нет? Войны какие-то попридумали…

— А мы-то не материны сыны, сучкины, что ли? — злобно и хрипато пробасил ординарец Григория, донельзя возмущенный старухиным разговором. — Нас убивают, а ты — «на кониках красоваться»! И вроде матери чижалей, чем энтим, каких убивают! Дожила ты, божья купель, до седых волос, а вот лопочешь тут… несешь и с Дону и с моря, людям спать не даешь…

— Выспишься, чумовой! Чего вылупился-то? Молчал-молчал, как бирюк, а потом осерчал с чегой-то. Ишь! Ажник осип от злости.

— Не даст она нам спать, Григорь Пантелевич! — с отчаянием крякнул ординарец и, закуривая, так шваркнул по кремню, что целая туча искр брызнула из-под кресала.

Пока, разгораясь, вонюче тлел, дымился трут, ординарец язвительно доканчивал словоохотливую хозяйку.

— Въедливая ты, бабка, как васса! Небось, ежли старика убьют на позициях, помирая, радоваться будет. «Ну, скажет, слава богу, ослобонился от старухи, земля ей пухом лебяжьим!»

— Чирий тебе на язык, нечистый дух!

— Спи, бабушка, за-ради Христа. Мы три ночи безо сна. Спи! За такие дела умереть можешь без причастья.

Григорий насилу помирил их. Засыпая, он приятно ощущал кисловатое тепло овчинной шубы, укрывавшей его, сквозь сон слышал, как хлопнула дверь, и холодок и пар окутали его ноги. Потом резко над ухом проблеял ягненок. Дробно зацокали по полу крохотные копытца

козлят, и свежо и радостно запахло сеном, парным овечьим молоком, морозом, запахом скотиньего база…

Сон покинул его в полночь. Долго лежал Григорий с открытыми глазами. В закутанной подземке под опаловой золой рдяно светились угли. У самого жара, возле творила, лежали, скучившись, ягнята. В полуночной сладкой тишине слышно было, как сонно поскрипывали они зубами, изредка чихали и фыркали. В окно глядел далекий-далекий полный месяц. На земляном полу в желтом квадрате света подскакивал и взбрыкивал неугомонный вороной козленок. Косо тянулась жемчужная — в лунном свете — пыль. В хате изжелта-синий, почти дневной свет. Искрится на камельке осколок зеркала, лишь в переднем углу темно и тускло отсвечивает посеребренный оклад иконы… Снова вернулся Григорий к мыслям о совещании в Вешенской, о гонце с Хопра и снова, вспомнив подполковника, его чуждую, интеллигентскую внешность и манеру говорить, — ощутил неприятное, тягучее волнение. Козленок, взобравшись на шубу, на живот Григорию, долго и глупо всматривался, сучил ушами, потом, осмелев, подпрыгнул раз и два и вдруг раздвинул курчавые ноги. Тоненькая струйка, журча, скатилась с овчины на вытянутую ладонь спавшего рядом с Григорием ординарца. Тот замычал, проснулся, вытер руку о штанину и горестно покачал головой.

— Намочил, проклятый… Кызь! — и с наслаждением дал щелчка в лоб козленку.

Пронзительно мекекекнув, козленок скакнул с шубы, потом подошел и долго лизал руку Григория крохотным шершавым и теплым язычком.

XXXIX

После бегства из Татарского Штокман, Кошевой, Иван Алексеевич и еще несколько казаков, служивших милиционерами, пристали к 4-му Заамурскому полку. Полк этот в начале восемнадцатого года в походе с немецкого фронта целиком влился в один из отрядов Красной Армии и за полтора года боев на фронтах гражданской войны еще сохранил основные кадры. Заамурцы были прекрасно экипированы, лошади их — сыты и вышколены. Полк отличался боеспособностью, моральной устойчивостью и щеголеватой кавалерийской подготовкой бойцов.

В начале восстания заамурцы, при поддержке 1-го Московского пехотного полка, почти одни сдерживали напор повстанцев, стремившихся прорваться к Усть-Медведице; потом подошли подкрепления, и полк, не разбрасываясь, окончательно занял участок Усть-Хоперской, по Кривой речке.

В конце марта повстанцы вытеснили красные части из юрта Еланской станицы, захватив часть хуторов Усть-Хоперской. Установилось некоторое равновесие сил, почти на два месяца определившее недвижность фронта. Прикрывая Усть-Хоперскую с запада, батальон Московского полка, подкрепленный батареей, занял хутор Крутовский, лежащий над Доном. С гористой отножины обдонского отрога, что лежит от Крутовского на юг, красная батарея, маскируясь на полевом гумне, ежедневно с утра до вечера обстреливала скоплявшихся на буграх правобережья повстанцев, поддерживая цепи Московского полка, потом переносила огонь и сеяла его по хутору Еланскому, расположенному по ту сторону Дона. Над тесно скученными дворами высоко и низко вспыхивали и стремительно таяли крохотные облачка шрапнельных разрывов. Гранаты то ложились по хутору, — и по проулкам, в диком ужасе, ломая плетни, мчался скот, перебегали, согнувшись, люди, — то рвались за старообрядческим кладбищем, возле ветряков, на безлюдных песчаных буграх, вздымая бурую, не оттаявшую комкастую землю.

15 марта Штокман, Мишка Кошевой и Иван Алексеевич выехали с хутора Чеботарева в Усть-Хоперскую, прослышав о том, что там организуется дружина из коммунистов и советских работников, бежавших из повстанческих станиц. Вез их казак-старообрядец с таким детски розовым и чистым лицом, что даже Штокман беспричинно ежил улыбкой губы, глядя на него. У казака, несмотря на его молодость, кучерявилась густейшая светло-русая борода, арбузным ломтем розовел в ней свежий румяный рот, возле глаз золотился пушок, и то ли от пушистой бороды, то ли от полнокровного румянца глаза как-то особенно прозрачно синели.

Мишка всю дорогу мурлыкал песни, Иван Алексеевич сидел в задке, уложив на колени винтовку, хмуро ежась, а Штокман начал разговор с подводчиком с пустяков.

— Не жалуешься на здоровье, товарищ? — спрашивал он.

И пышущий силой и молодостью старовер, распахивая овчинный полушубок, тепло улыбался:

— Нет, бог грехами терпит покуда. А с чего она будет — нездоровье? Спокон веков не курим, водку пьем натурально, хлеб с махоньких едим пшеничный. Откель же ей, хворости, взяться?

— Ну, а на службе был?

— Трошки был. Кадеты прихватили.

— Что ж за Донец не пошел?

— Чудно ты гутаришь, товарищ! — Бросил из конского волоса сплетенные вожжи, снял голицы и вытер рот, обиженно щурясь. — Чего б я туда пошел? За новыми песнями? Я бы и у кадетов не служил, кабы они не силовали. Ваша власть справедливая, только вы трошки неправильно сделали…

— Чем же?

Штокман свернул папироску, закурил и долго ждал ответа.

— И зачем жгешь зелью эту? — заговорил казак, отворачивая лицо. — Гля, какой кругом вешний дух чистый, а ты поганишь грудя вонючим дымом… Не уважаю! А чем неправильно сделали — скажу. Потеснили вы казаков, надурили, а то бы вашей власти и износу не было. Дурастного народу у вас много, через это и восстание получилось.

— Как надурили? То есть, по-твоему, глупостей наделали? Так? Каких же?

— Сам, небось, знаешь… Расстреливали людей. Нынче одного, завтра, глядишь, другого… Кому же антирес своей очереди ждать? Быка ведут резать, он и то головой мотает. Вот, к примеру, в Букановской станице… Вон она виднеется, видишь — церква ихняя? Гляди, куда кнутом указываю, видишь?.. Ну и рассказывают: комиссар у них стоит с отрядом, Малкин фамилия. Ну и что ж он, по справедливости обращается с народом? Вот расскажу зараз. Собирает с хуторов стариков, ведет их в хворост, вынает там из них души, телешит их допрежь и хоронить не велит родным. А беда ихняя в том, что их станишными почетными судьями выбирали когда-то. А ты знаешь, какие из них судья? Один насилу свою фамилию распишет, а другой либо палец в чернилу обмакнет, либо хрест поставит. Такие судья только для виду, бывалоча, сидят. Вся его заслуга — длинная борода, а он уж от старости и мотню забывает застегивать. Какой с него спрос? Все одно как с дитя малого. И вот этот Малкин чужими жизнями, как бог, распоряжается, и тем часом идет по плацу старик — Линек по-улишному. Идет он с уздечкой на свое гумно, кобылу обратать и весть, а ему ребята шутейно и скажи: «Иди, Малкин тебя кличет». Линек этот еретическим своим крестом перекрестился, — они там все по новой вере живут, — шапку еще на плацу снял. Входит — трусится. «Звали?» — говорит. А Малкин как заиржет, в бока руками взялся. «А, говорит, назвался грибом — полезай в кузов. Никто тебя не звал, а уж ежели пришел — быть по сему.

Возьмите, товарищи! По третьей категории его». Ну, натурально, взяли его и зараз же в хворост. Старуха ждать-пождать, — нету. Пошел дед и гинул. А он уж с уздечкой в царство небесное сиганул. А другого старика, Митрофана с хутора Андреяновского, увидал сам Малкин на улице, зазывает к себе: «Откуда? Как по фамилии? — и иржет. — Ишь, говорит, бороду распушил, как лисовин хвостяку! Очень уж ты на угодника Николая похож бородой. Мы, говорит, из тебя, из толстого борова, мыла наварим! По третьей категории его!» У этого деда, на грех, борода, дивствительно, как просяной веник. И расстреляли только за то, что бороду откохал да в лихой час попался Малкину на глаза. Это не смыванье над народом?

Мишка оборвал песню еще в начале рассказа и под конец озлобленно сказал:

— Нескладно брешешь ты, дядя!

— Сбреши лучше! Допрежь чем брехню задавать, ты узнай, а тогда уж гутарь.

— А ты-то это точно знаешь?

— Люди говорили.

— Люди! Люди говорят, что кур доят, а у них сиськов нету. Брехнев наслухался и трепешь языком, как баба!

— Старики-то были смирные…

— Ишь ты! Смирные! — ожесточаясь, передразнил Мишка. — Эти твои старики смирные, небось, восстание подготовляли, может, у этих судей зарытые пулеметы на базах имелись, а ты говоришь, что за бороду да вроде шутки ради расстреливали… Что же тебя-то за бороду не расстреляли? А уж куда твоя борода широка, как у старого козла.

— Я почем купил, потом и продаю. Чума его знает, может, и брешут люди, может, и была за ними какая шкода супротив власти… — смущенно бормотал старовер.

Он соскочил с кошевок, долго хлюпал по талому снегу. Ноги его разъезжались, гребли синеватый от влаги, податливый снег. Над степью ласково светило солнце. Светло-голубое небо могуче обнимало далеко видные окрест бугры и перевалы. В чуть ощутимом шевеленье ветра мнилось пахучее дыхание близкой весны. На востоке, за белесым зигзагом Обдонских гор, в лиловеющем мареве уступом виднелась вершина Усть-Медведицкой горы. Смыкаясь с горизонтом, там, вдалеке, огромным волнистым покровом распростерлись над землей белые барашковые облака.

Подводчик вскочил в сани, повернул к Штокману погрубевшее лицо, заговорил опять:

— Мой дед, он и до се живой, зараз ему сто восьмой год идет, рассказывал, а ему тоже дед ведал, что при его памяти, то есть пращура моего, был в наши верхи Дона царем Петром посланный князь, — вот кинь, господь, память! — не то Длиннорукой, не то Долгоруков. И этот князь слушался с Воронежу с солдатами и разорял казачьи городки за то, что не хотели никонскую поганую веру примать и под царя идтить. Казаков ловили, носы им резали, а каких вешали и на плотах спущали по Дону.

— Ты это к чему загинаешь? — строго настораживаясь, спросил Мишка.

— А к тому, что, небось, царь ему, хучь он и Длиннорукий, а таких правов не давал. А комиссар в Букановской так, к примеру, наворачивал: «Я, дескать, вас расказачу, сукиных сынов, так, что вы век будете помнить!..» Так на майдане в Букановской и шумели при всем станишном сборе. А дадены ему такие права от Советской власти? То-то и оно! Мандаты, небось, нету на такие подобные дела, чтоб всех под одну гребенку стричь. Казаки — они тоже разные…

У Штокмана кожа на скулах собралась комками.

— Я тебя слушал, теперь ты меня послушай.

— Может, конешно, я сдуру не так чего сказал, вы уж меня извиняйте.

— Постой, постой… Так вот. То, что ты рассказал о каком-то комиссаре, действительно

не похоже на правду. Я это проверю. И если это так, если он издевался над казаками и самодурствовал, — то мы ему не простим.

— Ох, навряд!

— Не навряд, а так точно! Когда шел фронт в вашем хуторе, разве не расстреляли красноармейцы красноармейца же своей части за то, что он ограбил какую-то казачку? Об этом мне говорили у вас на хуторе.

— Во-во! У Перфильевны пошкодил он в сундуке. Это было! Это истинно. Оно конешно… Строгость была. А это ты верно, — за гумнами его и убили. После долго у нас спорили, где его хоронить. Одни, мол, — на кладбище, а другие восстали, что это осквернит место. Так и зарыли его, горюна, возле гумна.

— Был такой случай? — Штокман торопливо вертел папироску.

— Был, был, не отрекусь, — оживленно соглашался казак.

— А почему же ты думаешь, что комиссара не накажем, если установим его вину?

— Милый товарищ! Может, у вас на него и старшого не найдется. Ить энто солдат, а этот — комиссар…

— Тем суровей с него будет спрос! Понял? Советская власть расправляется только с врагами, и тех представителей Советской власти, которые несправедливо обижают трудовое население, мы беспощадно караем.

Тишину мартовского степного полдня, нарушаемую лишь свистом полозьев да чавкающим перебором конских копыт, обвальным раскатом задавил гул орудия. За первым выстрелом последовало с ровными промежутками еще три. Батарея с Крутовского возобновила обстрел левобережья.

Разговор на подводе прервался. Орудийный гул могучей чужеродной гаммой вторгся и нарушил бледное очарование дремлющей в предвесеннем томлении степи. Лошади — и те пошли шаговитей, подбористей, невесомо неся и переставляя ноги, деловито перепрядывая ушами.

Выехали на Гетманский шлях, и в глаза сидевшим на санях кинулось просторное Задонье, огромное, пятнисто-пегое, с протаявшими плешинами желтых песков, с мысами и сизыми островами верб и ольхового леса.

В Усть-Хоперской подводчик подкатил к зданию ревкома, по соседству с которым помещался и штаб Московского полка.

Штокман, порывшись в кармане, достал из кисета сорокарублевую керенку, подал ее казаку. Тот расцвел в улыбке, обнажая под влажными усами желтоватые зубы, смущенно помялся:

— Что вы, товарищ, спаси Христос! Не стоит денег.

— Бери — твоих лошадей труд. А за власть ты не сомневайся. Помни: мы боремся за власть рабочих и крестьян. И на восстание вас толкнули наши враги — кулаки, атаманы, офицеры. Они — основная причина восстания. А если кто-либо из наших несправедливо обидел трудового казака, сочувствующего нам, помогающего революции, то на обидчика можно было найти управу.

— Знаешь, товарищ, побаску: до бога высоко, а до царя далеко… И до вашего царя все одно далеко… С сильным не борись, а с богатым не судись, а вы и сильные и богатые. — И лукаво оскалился: — Ишь вон ты, сорок целковых отвалил, а ей, поездке, красная цена пятерик. Ну, спаси Христос!

— Это он тебе за разговор накинул, — улыбался Мишка Кошевой, прыгнув с кошевок и подсмыкивая шаровары, — да за приятную бороду. Ты знаешь, кого вез, пенек восьмиугольный? Красного генерала.

— Хо?

— Вот тебе и «хо»! Вы тоже народец!.. Мало дай — собакам на хвосты навяжешь: «Вот, вез товарищей, дали один пятерик, такие-сякие!» Обижаться будешь всю зиму. А много дал — тоже у тебя горит: «Ишь богачи какие! Сорок целковых отвалил. Деньги у него несчитанные…» Я б тебе ни шиша не дал! Обижайся, как хошь. Все равно ить не угодишь. Ну пойдемте… Прощай, борода!

Даже хмурый Иван Алексеевич улыбнулся под конец Мишкиной горячей речи.

Из двора штаба на сибирской лохматой лошаденке выскочил красноармеец конной разведки.

— Откуда подвода? — крикнул он, на коротком поводу поворачивая лошадь.

— Тебе что? — спросил Штокман.

— Патроны везти на Крутовский. Заезжай!

— Нет, товарищ, эту подводу мы отпустим.

— А вы кто такой?

Красноармеец, молодой красивый парнишка, подъехал в упор.

— Мы из Заамурского. Подводу не держи.

— А… Ну хорошо, пусть едет. Езжай, старик.

XL

На поверку оказалось, что никакой дружины в Усть-Хоперской не организуется. Была организована одна, но не в Усть-Хоперской, а в Букановской. Дружину организовал тот самый комиссар Малкин, посланный штабом 9-й красной армии в низовые станицы Хопра, о котором дорогой рассказывал казак-старовер. Еланские, букановские, слащевские и кумылженские коммунисты и советские работники, пополненные красноармейцами, составляли довольно внушительную боевую единицу, насчитывавшую двести штыков при нескольких десятках сабель приданной им конной разведки. Дружина временно находилась в Букановской, вместе с ротой Московского полка сдерживая повстанцев, пытавшихся наступать с верховьев речки Еланки и Зимовной.

Поговорив с начальником штаба, бывшим кадровым офицером, хмурым и издерганным человеком, и с политкомом — московским рабочим с завода Михельсона, Штокман решил остаться в Усть-Хоперской, влившись во 2-й батальон полка. В чистенькой комнатушке, заваленной мотками обмоток, катушками телефонной проволоки и прочим военным имуществом, Штокман долго говорил с политкомом.

— Видишь ли, товарищ, — не спеша говорил приземистый желтолицый комиссар, страдавший от припадков острого аппендицита, — тут сложная механика. У меня ребята все больше москвичи да рязанцы, немного нижегородцев. Крепкие ребята, рабочие в большинстве. А вот был здесь эскадрон из Четырнадцатой дивизии, так те волынили. Пришлось их отправить обратно в Усть-Медведицу… Ты оставайся, работы много. Надо с населением работать, разъяснять. Тебе же понятно, что казаки это… Тут надо ухо востро держать.

— Все это я понимаю не хуже тебя, — улыбаясь покровительственному тону комиссара и глядя на пожелтевшие белки его страдающих глаз, говорил Штокман. — А вот ты скажи мне: что это за комиссар в Букановской?

Комиссар гладил серую щеточку подстриженных усов, вяло отвечал, изредка поднимая синеватые прозрачные веки.

— Он там одно время пересаливал. Парень-то он хороший, но не особенно разбирается в политической обстановке. Да ведь лес рубят, щепки летят… Сейчас он эвакуирует в глубь России мужское население станиц… Зайди к завхозу, он вас на кошт зачислит, — говорил комиссар, мучительно морщась, придерживая ладонью засаленные ватные штаны.

Наутро 2-й батальон по тревоге сбегался «в ружье», шла перекличка. Через час батальон походной колонной двинулся на хутор Крутовский.

В одной из четверок рядом шагали Штокман, Кошевой и Иван Алексеевич.

С Крутовского на ту сторону Дона выслали конную разведку. Следом перешла Дон колонна. На отмякшей дороге с коричневыми навозными подтеками стояли лужи. Лед на Дону сквозил неяркой пузырчатой синевой. Небольшие окраинцы переходили по плетням. Сзади, с горы, батарея посылала очереди по купам тополевых левад, видневшихся за хутором Еланским. Батальон должен был, минуя брошенный казаками хутор Еланский, двигаться в направлении станицы Еланской и, связавшись с наступавшей из Букановской ротой 1-го батальона, овладеть хутором Антоновом. По диспозиции, командир батальона обязан был вести свою часть в направлении на хутор Безбородов. Конная разведка вскоре донесла, что на Безбородовом противника не обнаружено, а правее хутора, верстах в четырех, идет частая ружейная перестрелка.

Через головы колонны красноармейцев где-то высоко со скрежетом и гулом неслись снаряды. Недалекие разрывы гранат потрясали землю. Позади, на Дону с треском лопнул лед. Иван Алексеевич оглянулся:

— Вода, должно, прибывает.

— Пустяковое дело в это время переходить Дон. Его, того гляди, поломает, — обиженно буркнул Мишка, все никак не приспособившийся шагать по-пехотному — четко и в ногу.

Штокман глядел на спины идущих впереди, туго перетянутые ремнями, на ритмичное покачивание винтовочных дул с привинченными дымчато-сизыми отпотевшими штыками. Оглядываясь, он видел серьезные и равнодушные лица красноармейцев, такие разные и нескончаемо похожие друг на друга, видел качкое движение серых шапок с пятиконечными красными звездами, серых шинелей, желтоватых от старости и шершаво-светлых, которые поновей; слышал хлюпкий и тяжкий походный шаг массы людей, глухой говор, разноголосый кашель, звяк манерок; обонял духовитый запах отсырелых сапог, махорки, ременной амуниции. Полузакрыв глаза, он старался не терять ноги и, испытывая прилив большой внутренней теплоты ко всем этим, вчера еще незнакомым и чужим ему ребятам, думал: «Ну хорошо, почему же они вот сейчас стали мне так особенно милы и жалки? Что связующее? Ну, общая идея… Нет, тут, пожалуй, не только идея, а и дело. А еще что? Может быть, близость опасности и смерти? И как-то по-особенному родные… — И усмехнулся глазами: — Неужто старею?»

Штокман с удовольствием, похожим на отцовское чувство, смотрел на могучую, крутую крупную спину идущего впереди него красноармейца, на видневшийся между воротником и шапкой красный и чистый отрезок юношески круглой шеи, перевел глаза на своего соседа. Смуглое бритое лицо с плитами кровяно-красного румянца, тонкий мужественный рот, сам — высокий, но складный, как голубь; идет, почти не махая свободной рукой, и все как-то болезненно морщится, а в углах глаз — паутина старческих морщин. И потянуло Штокмана на разговор.

— Давно в армии, товарищ?

Светло-коричневые глаза соседа холодно и пытливо, чуть вкось скользнули по Штокману.

— С восемнадцатого, — сквозь зубы.

Сдержанный ответ не расхолодил Штокмана:

— Откуда уроженец?

— Земляка ищешь, папаша?

— Земляку буду рад.

— Москвич я.

— Рабочий?

— Угу.

Штокман мельком взглянул на руку соседа. Еще не смыты временем следы работы с железом.

— Металлист?

И опять коричневые глаза прошлись по лицу Штокмана, по его чуть седоватой бороде.

— Токарь по металлу. А ты тоже? — И словно потеплело в углах строгих коричневых глаз.

— Я слесарем был… Ты что это, товарищ, все морщишься?

— Сапоги трут, ссохлись. Ночью в секрете был, промочил ноги.

— Не побаиваешься? — догадливо улыбнулся Штокман.

— Чего?

— Ну как же, идем в бой…

— Я — коммунист.

— А коммунисты, что же, не боятся смерти? Не такие же люди? — встрял в разговор Мишка.

Сосед Штокмана ловко подкинул винтовку, не глядя на Мишку, подумав, ответил:

— Ты еще, братишка, мелко плаваешь в этих делах. Мне нельзя трусить. Сам себе приказал, — понял? И ты ко мне без чистых рукавичек в душу не лазай… Я знаю, за что и с кем я воюю, знаю, что мы победим. А это главное. Остальное все чепуха. — И, улыбнувшись какому-то своему воспоминанию, сбоку поглядывая на профиль Штокмана, рассказал: — В прошлом году я был в отряде Красавцева на Украине, бои были. Нас теснили все время. Потери. Стали бросать раненых. И вот неподалеку от Жмеринки нас окружают. Надо было ночью пройти через линию белых и взорвать в тылу у них на речушке мост, чтобы не допустить бронепоезд, а нам пробиваться надо через линию железной дороги. Вызывают охотников. Таковых нет. Коммунисты — было нас немного — говорят: «Давайте жеребок бросим, кому из нас». Я подумал и вызвался. Взял шашки, шнур, спички, попрощался с товарищами, пошел. Ночь темная, с туманом. Отошел саженей сто, пополз. Полз нескошенной рожью, потом оврагом. Из оврага стал выползать, помню, как шарахнет у меня из-под носа какая-то птица. Да-а-а… В десяти саженях пролез мимо сторожевого охранения, пробрался к мосту. Пулеметная застава его охраняла. Часа два лежал, выжидал момент. Заложил шашки, стал в полах спички жечь, а они отсырели, не горят. Я ведь на брюхе полз, мокрый от росы был — хоть выжми, головки отсырели. И вот, папаша, тогда мне стало страшно. Скоро рассвет, а у меня руки дрожат, пот глаза заливает. «Пропало все, — думаю. — Не взорву — застрелюсь!» — думаю. Мучился-мучился, но все-таки кое-как зажег — и ходу. Когда полыхнуло сзади, — я лежал за насыпью, под щитами, — у них крик получился. Тревога. Трахнули из двух пулеметов. Много конных проскакало мимо меня, да разве ночью найдешь? Выбрался из-под щитов — и в хлеба. И только тут, знаешь, отнялись у меня ноги и руки, не могу двинуться, да и баста! Лег. Туда шел ничего, храбро, а оттуда — вот как… И знаешь, начало меня рвать, всего вымотало в доску! Чувствую — и ничего уж нет, а все тянет. Да-а-а… Ну конечно, до своих все же добрался. — И оживился, странно потеплели и похорошели горячечно заблестевшие коричневые глаза. — Ребятам утром, после боя, рассказываю, какой у

меня со спичками номер вышел, а дружок мой говорит: «А зажигалку, Сергей, разве ты потерял?» Я — цап за грудной карман, — там! Вынул, чиркнул — и, представь, ведь загорелась сразу.

От дальнего острова тополей, гонимые ветром, высоко и стремительно неслись два ворона. Ветер бросал их толчками. Они уже были в сотне саженей от колонны, когда на Крутовской горе после часового перерыва снова гухнуло орудие, пристрельный снаряд с тугим нарастающим скрежетом стал приближаться, и когда вой его, казалось, достиг предельного напряжения, один из воронов, летевший выше, вдруг бешено завертелся, как стружка, схваченная вихрем, и, косо простирая крылья, спирально кружась, еще пытаясь удержаться, стал падать огромным черным листом.

— Налетел на смерть! — в восторге сказал шагавший позади Штокмана красноармеец. — Как оно его кружануло, лихо!

От головы колонны на высокой караковой кобылице скакал, разбрызгивая талый снег, ротный.

— В це-епь!..

Обдав молчаливо шагавшего Ивана Алексеевича ошметьями снега, галопом промчались трое саней с пулеметами. Один из пулеметчиков на раскате сорвался с задних саней, и ядреный и смачный хохот красноармейцев звучал до тех пор, пока ездовой, матерясь, не завернул лихо лошадей и упавший пулеметчик на ходу не вскочил в сани.

XLI

Станица Каргинская стала опорным пунктом для 1-й повстанческой дивизии. Григорий Мелехов, прекрасно учитывая стратегическую выгодность позиции под Каргинской, решил ни в коем случае ее не сдавать. Горы, тянувшиеся левобережьем реки Чира, были теми командными высотами, которые давали казакам прекрасную возможность обороняться. Внизу, по ту сторону Чира, лежала Каргинская, за ней на много верст мягким сувалком уходила на юг степь, кое-где перерезанная поперек балками и логами. На горе Григорий сам выбрал место установки трехорудийной батареи. Неподалеку был отличный наблюдательный пункт — господствовавший над местностью насыпной курган, прикрытый дубовым лесом и холмистыми складками.

Бои шли под Каргинской каждый день. Красные обычно наступали с двух сторон: степью с юга, со стороны украинской слободы Астахове, и с востока, из станицы Боковской, продвигаясь вверх по Чиру, по сплошным хуторам. Казачьи цепи лежали в ста саженях за Каргинской, редко постреливая. Ожесточенный огонь красных почти всегда заставлял их отступать в станицу, а затем, по крутым теклинам узких Яров, — на гору. У красных не было достаточных сил для того, чтобы теснить дальше. На успешности их наступательных операций резко отрицательно сказывалось отсутствие нужного количества конницы, которая могла бы обходным движением с флангов принудить казаков к дальнейшему отступлению и, отвлекая силы противника, развязать руки пехоте, нерешительно топтавшейся на подступах к станице. Пехота же не могла быть использована для подобного маневра ввиду ее слабой подвижности, неспособности к быстрому маневрированию и потому, что у казаков была преимущественно конница, которая могла в любой момент напасть на пехоту на марше и тем отвлечь ее от основной задачи.

Преимущества повстанцев заключались еще и в том, что, прекрасно зная местность, они не теряли случая незаметно перебрасывать конные сотни по балкам во фланги и тыл

противника, постоянно грозить ему и парализовать его дальнейшее продвижение.

К этому времени у Григория созрел план разгрома красных. Ложным отступлением он хотел заманить их в Каргинскую, а тем временем бросить Рябчикова с полком конницы по Гусынской балке — с запада и по Грачам — с востока, во фланг им, с тем чтобы окружить их и нанести сокрушительный удар. План был тщательно разработан. На совещании вечером все командиры самостоятельных частей получили точные инструкции и приказы. Обходное движение, по мысли Григория, должно было начаться с рассветом, для того чтобы лучше замаскироваться. Все было просто, как в игре в шашки. И Григорий, тщательно проверив и прикинув в уме все возможные случайности, все, что непредвиденно могло помешать осуществлению его плана, выпил два стакана самогонки, не раздеваясь повалился на койку; покрыв голову влажной полой шинели, уснул мертвецки.

На следующий день около четырех часов утра красные цепи уже занимали Каргинскую. Часть казачьей пехоты для отвода глаз бежала через станицу на гору, по ним, лихо повернув лошадей, строчили два пулемета с тачанок, остановившихся на въезде в Каргинскую. По улицам медленно растекались красные.

Григорий был за курганом, около батареи. Он видел, как красная пехота занимает Каргинскую и накапливается около Чира. Было условлено, что после первого орудийного выстрела две сотни казаков, лежавшие под горой в садах, перейдут в наступление, а в это время полк, пошедший в обход, начнет охват. Командир батареи хотел было прямой наводкой ударить по пулеметной тачанке, быстро катившейся по Климовскому бугру к Каргинской, когда наблюдатель передал, что на мосту в хуторе Нижне-Латышском, верстах в трех с половиной, показалось орудие: красные одновременно наступали и со стороны Боковской.

— Полохните по ним из мортирки, — посоветовал Григорий не отнимая от глаз цейссовского бинокля.

Наводчик, перекинувшись несколькими фразами с вахмистром, исполнявшим обязанности командира батареи, быстро установил прицел. Номера изготовились, и четырехсполовинойдюймовая мортирка, как определили ее казаки, осадисто рявкнула, пахая хвостом землю. Первый же снаряд угодил в конец моста. Второе орудие красной батареи в этот момент въезжало на мост. Снаряд разметал упряжку лошадей, из шестерых — как выяснилось впоследствии — уцелела только одна, зато ездовому, сидевшему на ней, начисто срезало осколком голову. Григорий видел: перед орудием вспыхнул желто-серый клуб дыма, тяжко бухнуло, и, окутанные дымом, взвиваясь на дыбы, как срезанные, повалились лошади; падая, бежали люди. Конного красноармейца, бывшего в момент падения гранаты около передка, вместе с лошадью и перилами моста вынесло и ударило о лед.

Такого удачного попадания не ожидали батарейцы. На минуту под курганом возле орудия установилась тишина; лишь находившийся неподалеку наблюдатель, вскочив на колени, кричал что-то и размахивал руками.

И сейчас же снизу, из густых зарослей вишневых садов и левад, донеслось недружное «ура», трескучая зыбь винтовочных выстрелов. Позабыв об осторожности, Григорий взбежал на курган. По улицам бежали красноармейцы, оттуда слышны были нестройный гул голосов, резкие командные вскрики, шквальные вспышки стрельбы. Одна из пулеметных тачанок поскакала было на бугор, но сейчас же, неподалеку от кладбища, круто повернула, и через головы бежавших и припадавших на бегу красноармейцев пулемет застрочил по казакам, высыпавшим из садов.

Тщетно Григорий старался увидеть на горизонте казачью лаву. Конница, под командой Рябчикова ушедшая в обход, все еще не показывалась. Красноармейцы, бывшие на левом фланге, уже подбегали к мосту через Забурунный лог, соединявшему Каргинскую со смежным

хутором Архиповским, в то время как правофланговые еще бежали вдоль по станице и падали под выстрелами казаков, завладевших двумя ближними к Чиру улицами.

Наконец из-за бугра показалась первая сотня Рябчикова, за ней — вторая, третья, четвертая… Рассыпаясь в лаву, сотни круто повернули влево, наперерез бежавшим по косогору к Климовке толпам красноармейцев. Григорий, комкая в руках перчатки, взволнованно следил за исходом боя. Он бросил бинокль и смотрел уже невооруженным глазом на то, как стремительно приближается лава к Климовской дороге, как в замешательстве поворачивают обратно и бегут к архиповским дворам кучками и в одиночку красноармейцы и, встречаемые оттуда огнем казачьей пехоты, развивающей преследование вверх по течению Чира, снова устремляются на дорогу. Только незначительной части красноармейцев удалось прорваться в Климовку.

На бугре, страшная тишиной, началась рубка. Сотни Рябчикова повернулись фронтом к Каргинской и, словно ветер листья, погнали обратно красноармейцев. Возле моста через Забурунный человек тридцать красноармейцев, видя, что они отрезаны и выхода нет, начали отстреливаться. У них был станковый пулемет, немалый запас лент. Едва из садов показывалась пехота повстанцев, как с лихорадочной быстротой начинал работать пулемет, и казаки падали, переползали под прикрытие сараев и каменной огорожи базов. С бугра видно было, как по Каргинской казаки бегом тащили свой пулемет. Возле одного из крайних к Архиповке дворов они замешкались, потом вбежали во двор. Вскоре с крыши амбара в этом дворе резко затакало. Вглядевшись, Григорий увидел в бинокль и пулеметчиков. Разбросав ноги в шароварах, заправленных в белые чулки, согнувшись под щитком, один лежал на крыше; второй карабкался по лестнице, обмотавшись пулеметной лентой. Батарейцы решили прийти на помощь пехоте. Место сосредоточения сопротивлявшейся группы красных покрыла очередь шрапнели. Последний бризантный снаряд разорвался далеко на отшибе.

Через четверть часа возле Забурунного пулемет красных внезапно умолк, и сейчас же вспыхнуло короткое «ура». Между голыми стволами верб замелькали фигуры конных казаков.

Все было кончено.

По приказу Григория, сто сорок семь порубленных красноармейцев жители Каргинской и Архиповки крючьями и баграми стащили в одну яму, мелко зарыли возле Забурунного. Рябчиков захватил шесть патронных двуколок с лошадьми и патронами и одну пулеметную тачанку с пулеметом без замка. В Климовке отбил сорок две подводы с военным имуществом. У казаков убито было четыре человека и ранено — пятнадцать.

После боя на неделю в Каргинской установилось затишье. Противник перебросился на 2-ю дивизию повстанцев и вскоре, тесня ее, захватил ряд хуторов Мигулинской станицы: Алексеевский, Чернецкую слободку и подошел к хутору Верхне-Чирскому.

Оттуда ежедневно утренними зорями слышался орудийный гул, но сообщения о ходе боев приходили с большим опозданием и не давали ясного представления о положении на фронте 2-й дивизии.

В эти дни Григорий, уходя от черных мыслей, пытаясь заглушить сознание, не думать о том, что творилось вокруг и чему он был видным участником, — начал пить. Если повстанцы испытывали острую нужду в муке при огромных запасах пшеницы (мельницы не успевали работать на армию, и зачастую казаки питались вареной пшеницей), то в самогоне не было недостатка. Рекой лился самогон. На той стороне Дона сотня дударевских казаков пьяным-пьяна пошла в конном строю в атаку, в лоб на пулеметы, и была уничтожена наполовину. Случаи выхода на позиции в пьяном виде стали обычным явлением. Григорию услужливо доставляли самогон. Особенно отличался в добыче Прохор Зыков. После боя в Каргинской он, по просьбе Григория, привез три ведерных кувшина самогона, созвал

песенников, и Григорий, испытывая радостную освобожденность, отрыв от действительности и раздумий, пропил с казаками до утра. Наутро похмелился, переложил, и к вечеру снова понадобились песенники, веселый гул голосов, людская томаха, пляска — все, что создавало иллюзию подлинного веселья и заслоняло собой трезвую лютую действительность.

А потом потребность в пьянке стремительно вошла в привычку. Садясь с утра за стол, Григорий уже испытывал непреодолимое желание глотнуть водки. Пил он много, но не перепивал через край, на ногах всегда был тверд. Даже под утро, когда остальные, выблевавшись, спали за столами и на полу, укрываясь шинелями и попонами, — он сохранял видимость трезвого, только сильнее бледнел и суровел глазами да часто сжимал голову руками, свесив курчеватый чуб.

За четыре дня беспрерывных гульбищ он заметно обрюзг, ссутулился; под глазами засинели мешковатые складки, во взгляде все чаще стал просвечивать огонек бессмысленной жестокости.

На пятый день Прохор Зыков предложил, многообещающе улыбаясь:

— Поедем к одной хорошей бабе, на Лиховидов? Ну, лады? Только ты, Григорий Пантелевич, не зевай. Баба сладкая, как арбуз! Хучь я ее и не пробовал, а знаю. Только неука, дьявол! Дикая. У такой не сразу выпросишь, она и погладить не дается. А дымку варить — лучше не найдешь. Первая дымоварка по всему Чиру. Муж у нее в отступе, за Донцом, — будто между прочим закончил он.

На Лиховидов поехали с вечера. Григорию сопутствовали Рябчиков, Харлампий Ермаков, безрукий Алешка Шамиль и приехавший со своего участка комдив Четвертой Кондрат Медведев. Прохор Зыков ехал впереди. В хуторе он свел коня на шаг, свернул в проулок, отворил воротца на гумно. Григорий следом за ним тронул коня, тот прыгнул через огромный подтаявший сугроб, лежавший у ворот, провалился передними ногами в снег и, всхрапнув, выправился, перелез через сугроб, заваливший ворота и плетень по самую макушку. Рябчиков, спешившись, провел коня под уздцы. Минут пять Григорий ехал с Прохором мимо прикладков соломы и сена, потом по голому, стеклянно-звонкому вишневому саду. В небе, налитая синим, косо стояла золотая чаша молодого месяца, дрожали звезды, зачарованная ткалась тишина, и далекий собачий лай да хрусткий чок конских копыт, не нарушая, только подчеркивали ее. Сквозь частый вишенник и разлапистые ветви яблонь желто засветился огонек, на фоне звездного неба четкий возник силуэт большого, крытого камышом куреня. Прохор, перегнувшись в седле, услужливо открыл скрипнувшую калитку. Около крыльца, в замерзшей луже, колыхался отраженный месяц. Конь Григория копытом разбил на краю лужи лед и стал, разом переведя дух. Григорий прыгнул с седла, замотал поводья за перильца, вошел в темные сени. Позади загомонили, спешившись и вполголоса поигрывая песенки, Рябчиков с казаками.

Ощупью Григорий нашел дверную скобку, шагнул в просторную кухню. Молодая низенькая, но складная, как куропатка, казачка со смуглым лицом и черными лепными бровями, стоя спиной к печи, вязала чулок. На печке спала, раскинув руки, белоголовая девчурка лет девяти.

Григорий, не раздеваясь, присел к столу.

— Водка есть?

— А поздороваться не надо? — спросила хозяйка, не глядя на Григория и все так же быстро мелькая углами вязальных спиц.

— Здорово, если хочешь! Водка есть?

Она подняла ресницы, улыбнулась Григорию круглыми карими глазами, вслушиваясь в

гомон и стук шагов в сенцах:

— Водка-то есть. А много вас, поночевщиков, приехало?

— Много. Вся дивизия…

Рябчиков от порога пошел вприсядку, волоча шашку, хлопая по голенищам папахой. В дверях столпились казаки; кто-то из них чудесно выбивал на деревянных ложках ярую плясовую дробь.

На кровать свалили ворох шинелей, оружие сложили на лавках. Прохор расторопно помогал хозяйке собирать на стол. Безрукий Алешка Шамиль пошел в погреб за соленой капустой, сорвался с лестницы, вылез, принес в полах чекменя черепки разбитой тарелки и ворох мокрой капусты.

К полуночи выпили два ведра самогонки, поели несчетно капусты и решили резать барана. Прохор ощупью поймал в катухе ярку-перетоку, а Харлампий Ермаков — тоже рубака не из последних — шашкой отсек ей голову и тут же под сараем освежевал. Хозяйка затопила печь, поставила ведерный чугун баранины.

Снова резанули плясовую в ложки, и Рябчиков пошел, выворачивая ноги, жестоко ударяя в голенища ладонями, подпевая резким, но приятным тенором:

Вот таперя нам попить, погулять, Когда нечего на баз загонять…

— Гулять хочу! — рычал Ермаков и все норовил попробовать шашкой крепость оконных рам.

Григорий, любивший Ермакова за исключительную храбрость и казачью лихость, удерживал его, постукивая по столу медной кружкой:

— Харлампий, не дури!

Харлампий послушно бросал шашку в ножны, жадно припадал к стакану с самогоном.

— Вот при таком кураже и помереть не страшно, — говорил Алешка Шамиль, подсаживаясь к Григорию, — Григорий Пантелевич. Ты — наша гордость! Тобой только и на свете держимся! Давай шшелканем ишо по одной?.. Прохор, дымки!

Нерасседланные кони стояли ввольную у прикладка сена. Их по очереди выходили проведывать.

Только перед зарей Григорий почувствовал, что опьянел. Он словно издалека слышал чужую речь, тяжело ворочал кровяными белками и огромным напряжением воли удерживал сознание.

— Опять нами золотопогонники владеют! Забрали власть к рукам! — орал Ермаков, обнимая Григория.

— Какие погоны? — спрашивал Григорий, отстраняя руки Ермакова.

— В Вешках. Что же, ты не знаешь, что ли? Кавказский князь сидит! Полковник!.. Зарублю! Мелехов! Жизнь свою положу к твоим ножкам, не дай нас в трату! Казаки волнуются. Веди нас в Вешки, — все побьем и пустим в дым! Кудинова, полковника — всех уничтожим! Хватит им нас мордовать! Давай биться и с красными и с кадетами! Вот чего хочу!

— Полковника убьем. Он нарочно остался… Харлампий! Давай Советской власти в ноги поклонимся: виноватые мы… — Григорий, на минуту трезвея, вкривь улыбнулся: — Я шучу, Харлампий, пей.

— Чего шутишь, Мелехов? Ты не шути, тут дело сурьезное, — строго заговорил Медведев. — Мы хотим перетряхнуть власть. Всех сменим и посадим тебя, Я гутарил с казаками, они согласны. Скажем Кудинову и его опричине добром: «Уйдите от власти. Вы нам негожи». Уйдут — хорошо, а нет — двинем полк на Вешки, и ажник черт их хмылом возьмет!

— Нету больше об этом разговоров! — свирепея, крикнул Григорий.

Медведев пожал плечами, отошел от стола и пить перестал. А в углу, свесив с лавки взлохмаченную голову, чертя рукой по загрязненному полу, Рябчиков жалобно выводил:

Ты, мальчишечка, разбедняжечка,
Ой, ты склони свою головушку.
Ты склони свою головушку…
И-эх! на правую сторонушку.
На правую, да на левую,
Да на грудь мою, грудь белую.

И, сливая с его тенорком, по-бабьи трогательно жалующимся, свой глуховатый бас, Алешка Шамиль подтягивал:

На грудях когда лежал,
Тяжелехонько вздыхал…
Тяжелехонько вздыхал
И в остатний раз сказал:
«Ты прости-прощай, любовь прежняя,
Любовь прежняя, черт паршивая!..»

За окном залиловел рассвет, когда хозяйка повела Григория в горницу.

— Будя вам его поить! Отвяжись, чертяка! Не видишь, он не гожий никуда, — говорила она, с трудом поддерживая Григория, другой рукой отталкивая Ермакова, шедшего за ними с кружкой самогона.

— Зоревать, что ли? — подмигивал Ермаков, качаясь, расплескивая из кружки.

— Ну да, спать.

— Ты с ним зараз не ложись, толку не будет…

— Не твое дело! Ты мне не свекор!

— Ложку возьми! — падая от приступа пьяного смеха, ржал Ермаков.

— И-и-и, черт бессовестный! Залил зенки-то и несешь неподобное!

Она втолкнула Григория в комнату, уложила на кровать, в полусумерках с отвращением и жалостью осмотрела его мертвенно бледное лицо с невидящими открытыми глазами:

— Может, взвару выпьешь?

— Зачерпни.

Она принесла стакан холодного вишневого взвару и, присев на кровать, до тех пор перебирала и гладила спутанные волосы Григория, пока не уснул. Себе постелила на печке рядом с девочкой, но уснуть ей не дал Шамиль. Уронив голову на локоть, он всхрапывал, как перепуганная лошадь, потом вдруг просыпался, словно от толчка, хрипло голосил:

…Да со службы-цы до-мой!
На грудях — по-го-ни-ки,
На плечах — кресты-ы-ы…

Ронял голову на руки, а через несколько минут, дико озираясь, опять начинал:

Да со служб'цы д'мой!..

XLII

Наутро, проснувшись, Григорий вспомнил разговор с Ермаковым и Медведевым. Он не был ночью уж настолько пьян и без особого напряжения восстановил в памяти разговоры о замене власти. Ему стало ясно, что пьянка в Лиховидовом была организована с заведомой целью: подбить его на переворот. Против Кудинова, открыто выражавшего желание идти к

Донцу и соединиться с Донской армией, плелась интрига лево настроенными казаками, втайне мечтавшими об окончательном отделении от Дона и образовании у себя некоего подобия Советской власти без коммунистов. Григория же хотели привлечь к себе, не понимая всей гибельности распри внутри повстанческого лагеря, когда каждую минуту красный фронт, будучи поколеблен у Донца, мог без труда смести их вместе с их «междуусобьем». «Ребячья игра», — мысленно проговорил Григорий и легко вскочил с кровати. Одевшись, он разбудил Ермакова и Медведева, позвал их в горницу, плотно притворил дверь.

— Вот что, братцы: выкиньте из головы вчерашний разговор и не шуршите, а то погано вам будет! Не в том дело, кто командующий. Не в Кудинове дело, а в том, что мы в кольце, мы — как бочка в обручах. И не нынче-завтра обруча нас раздавют. Полки надо двигать не на Вешки, а на Мигулин, на Краснокутскую, — значительно подчеркивал он, не сводя глаз с угрюмого, бесстрастного лица Медведева. — Так-то, Кондрат, нечего белым светом мутить! Вы пораскиньте мозгами и поймите: ежели зачнем браковать командование и устраивать всякие перевороты, — гибель нам. Надо либо к белым, либо к красным прислоняться. В середке нельзя, — задавят.

— Разговор чур не выносить, — отвернувшись, попросил Ермаков.

— Помрет между нами, но с уговором, чтоб вы перестали казаков мутить. А Кудинов с его советниками, что же? Полной власти у них нет, — как умею я, так и вожу свою дивизию. Плохи они, слов нет, и с кадетами они нас опять сосватают, как пить дать. Но куда же подадимся? Пути нам — все жилушки перерезаны!

— Оно-то так… — туго согласился Медведев и в первый раз за время разговора поднял на Григория крохотные, насталенные злостью, медвежьи глазки.

После этого Григорий еще двое суток подряд пил по ближним от Каргинской хуторам, пьяным кружалом пуская жизнь. Запахом дымки пропитался даже потник на его седле. Бабы и потерявшие девичий цвет девки шли через руки Григория, деля с ним короткую любовь. Но к утру, пресытившись любовной горячностью очередной утехи, Григорий трезво и равнодушно, как о посторонней, думал: «Жил и все испытал я за отжитое время. Баб и девок перелюбил, на хороших конях… эх!.. потоптал степя, отцовством радовался и людей убивал, сам на смерть ходил, на синее небо красовался. Что же новое покажет мне жизнь? Нету нового! Можно и помереть. Не страшно. И в войну можно играть без риску, как богатому. Невелик проигрыш!»

Голубым солнечным днем проплывало в несвязных воспоминаниях детство: скворцы в каменных кладках, босые Гришкины ноги в горячей пыли, величаво застывший Дон в зеленой опуши леса, отраженного водой, ребячьи лица друзей, моложавая статная мать… Григорий закрывал глаза ладонью, и перед мысленным взором его проходили знакомые лица, события, иногда очень мелкие, но почему-то цепко всосавшиеся в память, звучали в памяти забытые голоса утерянных людей, обрывки разговоров, разноликий смех. Память направляла луч воспоминаний на давно забытый, когда-то виденный пейзаж, и вдруг ослепительно возникали перед Григорием — степной простор, летний шлях, арба, отец на передке, быки, пашня в золотистой щетине скошенных хлебов, черная россыпь грачей на дороге… Григорий в мыслях, спутанных, как сетная дель, ворошил пережитое, натыкался в этой ушедшей куда-то в невозвратное жизни на Аксинью, думал: «Любушка! Незабудняя!» — и брезгливо отодвигался от спавшей рядом с ним женщины, вздыхал, нетерпеливо ждал рассвета и, едва лишь солнце малиновой росшивью, золотым позументом начинало узорить восток, — вскакивал, умывался, спешил к коню.

XLIII

Степным всепожирающим палом взбушевало восстание. Вокруг непокорных станиц сомкнулось стальное кольцо фронтов. Тень обреченности тавром лежала на людях. Казаки играли в жизнь, как в орлянку, и немалому числу выпадала «решка». Молодые бурно любили, постарше возрастом — пили самогонку до одурения, играли в карты на деньги и патроны (причем патроны ценились дороже дорогого), ездили домой на побывку, чтобы хоть на минутку, прислонив к стене опостылевшую винтовку, взяться руками за топор или рубанок, чтобы сердцем отдохнуть, заплетая пахучим красноталом плетень или готовя борону либо арбу к весенней работе. И многие, откушав мирной живухи, пьяными возвращались в часть и, протрезвившись, со зла на «жизню-жестянку» шли в пешем строю в атаку, в лоб, на пулеметы, а не то, опаляемые бешенством, люто неслись, не чуя под собой коней, в ночной набег и, захватив пленных, жестоко, с первобытной дикостью глумились над ними, жалея патроны, приканчивая шашками.

А весна в тот год сияла невиданными красками. Прозрачные, как выстекленные, и погожие стояли в апреле дни. По недоступному голубому разливу небес плыли, плыли, уплывали на север, обгоняя облака, ватаги казарок, станицы медноголосых журавлей. На бледно-зеленом покрове степи возле прудов рассыпанным жемчугом искрились присевшие на попас лебеди. Возле Дона в займищах стон стоял от птичьего гогота и крика. По затопленным лугам, на грядинах и рынках незалитой земли перекликались, готовясь к отлету, гуси, в талах неумолчно шипели охваченные любовным экстазом селезни. На вербах зеленели сережки, липкой духовитой почкой набухал тополь. Несказанным очарованием была полна степь, чуть зазеленевшая, налитая древним запахом оттаявшего чернозема и вечно юным — молодой травы.

Тем была люба война на восстании, что под боком у каждого бойца был родимый курень. Надоедало ходить в заставы и секреты, надоедало в разъездах мотаться по буграм и перевалам, казак отпрашивался у сотенного, ехал домой, а взамен себя присылал на служивском коне своего ветхого деда или сына-подростка. Сотни всегда имели полное число бойцов и всегда текучий состав. Но кое-кто ухитрялся и так: солнце на закате — выезжал с места стоянки сотни, придавливал коня наметом и, отмахав верст тридцать, а то и сорок, на исходе вечерней зари был уже дома. Переспав ночь с женой или любушкой, после вторых кочетов седлал коня, и не успевали еще померкнуть Стожары — снова был в сотне.

Многие весельчаки нарадоваться не могли на войну возле родных плетней. «И помирать не надо!» — пошучивали казаки, частенько проведывавшие жен.

Командование особенно боялось дезертирства к началу полевых работ. Кудинов специально объезжал части и с несвойственной ему твердостью заявлял:

— Пущай лучше на наших полях ветры пасутся, пущай лучше ни зерна в землю не кинем, а отпускать из частей казаков не приказываю! Самовольно уезжающих будем сечь и расстреливать!

XLIV

И еще в одном бою под Климовкой довелось участвовать Григорию. К полудню около крайних дворов завязалась перестрелка. Спустя немного в Климовку сошли красноармейские цепи. На левом фланге в черных бушлатах мерно продвигались матросы — экипаж какого-то судна Балтийского флота. Бесстрашной атакой они выбили из хутора две сотни Каргинского повстанческого полка, оттеснили их по балке к Василевскому.

Когда перевес начал склоняться на сторону красноармейских частей, Григорий,

наблюдавший за боем с пригорка, махнул перчаткой Прохору Зыкову, стоявшему с его конем возле патронной двуколки, на ходу прыгнул в седло; обскакивая буерак, шибкой рысью направился к спуску к Гусынку. Там — он знал — прикрытая левадами, стояла резервная конная сотня 2-го полка. Через сады и плетни он направился к месту стоянки сотни. Издали увидев спешенных казаков и лошадей у коновязи, выхватил шашку, крикнул:

— На конь!

Двести всадников в минуту разобрали лошадей. Командир сотни скакал Григорию навстречу.

— Выступаем?

— Давно бы надо! Зеваешь! — Григорий сверкнул глазами.

Осадив коня, он спешился, и, как назло, замешкался, натуго подтягивая подпруги (вспотевший и разгоряченный конь вертелся, не давался затянуть чересподушечную подпругу, дулся, хрипел нутром и, зло щеря зубы, пытался сбоку накинуть Григория передком). Надежно укрепив седло, Григорий сунул ногу в стремя; не глядя на смущенного сотенного, прислушивавшегося к разраставшейся стрельбе, бросил:

— Сотню поведу я. До выезда из хутора взводными рядами, рысью!

За хутором Григорий рассыпал сотню в лаву; попробовал, легко ли идет из ножен шашка; отделившись от сотни саженей на тридцать, наметом поскакал к Климовке. На гребне бугра, южной стороной сползавшего в Климовку, на секунду он попридержал коня, всматриваясь. По хутору скакали и бежали отступавшие конные и пешие красноармейцы, вскачь неслись двуколки и брички обоза первого разряда. Григорий полуобернулся к сотне:

— Шашки вон! В атаку! Братцы, за мной! — Легко выхватил шашку, первый закричал: — Ура-а-а-а!.. — и, испытывая холодок и знакомую легкость во всем теле, пустил коня. В пальцах левой руки дрожали, струной натянутые, поводья, поднятый над головой клинок со свистом рассекал струю встречного ветра.

Огромное, клубившееся на вешнем ветру белое облако на минуту закрыло солнце, и, обгоняя Григория, с кажущейся медлительностью по бугру поплыла серая тень. Григорий переводил взгляд с приближающихся дворов Климовки на эту скользящую по бурой непросохшей земле тень, на убегающую куда-то вперед светло-желтую, радостную полоску света. Необъяснимое и неосознанное, явилось вдруг желание догнать бегущий по земле свет. Придавив коня, Григорий выпустил его во весь мах, наседая, стал приближаться к текучей грани, отделявшей свет от тени. Несколько секунд отчаянной скачки — и вот уже вытянутая голова коня осыпана севом светоносных лучей, и рыжая шерсть на ней вдруг вспыхнула ярким, колющим блеском. В момент, когда Григорий перескакивал неприметную кромку тучевой тени, из проулка туго защелкали выстрелы. Ветер стремительно нес хлопья звуков, приближая и усиливая их. Еще какой-то неуловимый миг — и Григорий сквозь сыплющийся гул копыт своего коня, сквозь взвизги пуль и завывающий в ушах ветер перестал слышать грохот идущей сзади сотни. Из его слуха будто выпал тяжелый, садкий, сотрясающий непросохшую целину скок массы лошадей, — как бы стал удаляться, замирать. В этот момент встречная стрельба вспыхнула, как костер, в который подбросили сушняку; взвыли стаи пуль. В замешательстве, в страхе Григорий оглянулся. Растерянность и гнев судорогами обезобразили его лицо. Сотня, повернув коней, бросив его, Григория, скакала назад. Невдалеке командир вертелся на коне, нелепо махая шашкой, плакал и что-то кричал сорванным, осипшим голосом. Только двое казаков приближались к Григорию, да еще Прохор Зыков, на коротком поводу завернув коня, подскакивал к командиру сотни. Остальные врассыпную скакали назад, кинув в ножны шашки, работая плетьми.

Только на единую секунду Григорий укоротил бег коня, пытаясь уяснить, что же

произошло позади, почему сотня, не понесши урону, неожиданно ударилась в бегство. И в этот короткий миг сознание подтолкнуло: не поворачивать, не бежать — а вперед! Он видел, что в проулке, в ста саженях от него, за плетнем, возле пулеметной тачанки суетилось человек семь красноармейцев. Они пытались повернуть тачанку дулом пулемета на атакующих их казаков, но в узком проулке это им, видимо, не удавалось: пулемет молчал, и все реже хлопали винтовочные выстрелы, все реже обжигал слух Григория горячий посвист пуль. Выправив коня, Григорий целился вскочить в этот проулок через поваленный плетень, некогда отгораживавший леваду. Он оторвал взгляд от плетня и как-то внезапно и четко, будто притянутых биноклем, увидел уже вблизи матросов, суетливо выпрягавших лошадей, их черные, изляпанные грязью бушлаты, бескозырки, туго натянутые, делавшие лица странно круглыми. Двое рубили постромки, третий, вобрав голову в плечи, возился у пулемета, остальные стоя и с колен били в Григория из винтовок. Доскакивая, он видел, как руки их шмурыгали затворы винтовок, и слышал резкие, в упор, выстрелы. Выстрелы так быстро чередовались, так скоро приклады взлетывали и прижимались к плечам, что Григория, всего мокрого от пота, опалила радостная уверенность: «Не попадут!»

Плетень хрястнул под копытами коня, остался позади. Григорий заносил шашку, сузившимися глазами выбирая переднего матроса. Еще одна вспышка страха жиганула молнией: «Вдарют в упор… Конь — в дыбки… запрокинется… убьют!» Уже в упор два выстрела, словно издалека — крик: «Живьем возьмем! Впереди — оскал на мужественном гололобом лице, взвихренные ленточки бескозырки, тусклое золото выцветшей надписи на околыше… Упор в стременах, взмах — и Григорий ощущает, как шашка вязко идет в мягко податливое тело матроса. Второй, толстошеий и дюжий, успел прострелить Григорию мякоть левого плеча и тотчас же упал под шашкой Прохора Зыкова с разрубленной наискось головой. Григорий повернулся на близкий щелк затвора. Прямо в лицо ему смотрел из-за тачанки черный глазок винтовочного дула. С силой швырнув себя влево, так, что двинулось седло и качнулся хрипевший, обезумевший конь, уклонился от смерти, взвизгнувшей над головой, и в момент, когда конь прыгнул через дышло тачанки, зарубил стрелявшего, рука которого так и не успела достать затвором второй патрон.

В непостижимо короткий миг (после в сознании Григория он воплотился в длиннейший промежуток времени) он зарубил четырех матросов и, не слыша криков Прохора Зыкова, поскакал было вдогон за пятым, скрывшимся за поворотом проулка. Но наперед ему заскакал подоспевший командир сотни, схватил Григорьева коня под уздцы.

— Куда?! Убьют!.. Там, за сараями, у них другой пулемет!

Еще двое казаков и Прохор, спешившись, подбежали к Григорию, силой стащили его с коня. Он забился у них в руках, крикнул:

— Пустите, гады!.. Матросню!.. Всех!.. Рррруб-лю!..

— Григорий Пантелеевич! Товарищ Мелехов! Да опомнитесь вы! — уговаривал его Прохор.

— Пустите, братцы! — уже другим, упавшим голосом попросил Григорий.

Его отпустили. Командир сотни шепотом оказал Прохору:

— Сажай его на коня и поняй в Гусынку: он, видать, заболел.

А сам, было, пошел к коню, скомандовал сотне:

— Сади-и-ись!..

Но Григорий кинул на снег папаху, постоял, раскачиваясь, и вдруг скрипнул зубами, страшно застонал и с исказившимся лицом стал рвать на себе застежки шинели. Не успел сотенный и шага сделать к нему, как Григорий — как стоял, так и рухнул ничком оголенной грудью на снег. Рыдая, сотрясаясь от рыданий, он, как собака, стал хватать ртом снег,

уцелевший под плетнем. Потом, в какую-то минуту чудовищного просветления, попытался встать, но не смог и, повернувшись мокрым от слез, изуродованным болью лицом к столпившимся вокруг него казакам, крикнул надорванным, дико прозвучавшим голосом:

— Кого же рубил!.. — И впервые в жизни забился в тягчайшем припадке, выкрикивая, выплевывая вместе с пеной, заклубившейся на губах: — Братцы, нет мне прощения!.. Зарубите, ради бога… в бога мать… Смерти… предайте!..

Сотенный подбежал к Григорию, со взводным навалились на него, оборвали на нем ремень шашки и полевую сумку, зажали рот, придавили ноги. Но он долго еще выгибался под ними дугой, рыл судорожно выпрямлявшимися ногами зернистый снег и, стоная, бился головой о взрытую копытами, тучную, сияющую черноземом землю, на которой родился и жил, полной мерой взяв из жизни — богатой горестями и бедной радостями — все, что было ему уготовано.

Лишь трава растет на земле, безучастно приемля солнце и непогоду, питаясь земными жизнетворящими соками, покорно клонясь под гибельным дыханием бурь. А потом, кинув по ветру семя, столь же безучастно умирает, шелестом отживших былинок своих приветствуя лучащее смерть осеннее солнце…

XLV

На другой день Григорий, передав командование дивизией одному из своих полковых командиров, в сопровождения Прохора Зыкова поехал в Вешенскую.

За Картинской, в Рогожкинском пруду, лежавшем в глубокой котловине, густо плавали присевшие на отдых казарки. Прохор указал по направлению пруда плетью, усмехнулся:

— Вот бы, Григорь Пантелеевич, подвалить дикого гусака. То-то вокруг него мы ба самогону выпили!

— Давай подъедем поближе, я попробую из винтовки. Когда-то я неплохо стрелял.

Они спустились в котловину. За выступом бугра Прохор стал с лошадьми, а Григорий снял шинель, поставил винтовку на предохранитель и пополз по мелкому ярку, щетинившемуся прошлогодним серым бурьяном. Полз он долго, почти не поднимая головы; полз как в разведке к вражескому секрету, как тогда, на германском фронте, когда около Стохода снял немецкого часового. Вылинявшая защитная гимнастерка сливалась с зеленовато-бурой окраской почвы; ярок прикрывал Григория от зорких глаз сторожевого гусака, стоявшего на одной ноге возле воды, на коричневом бугорке вешнего наплава. Подполз Григорий на ближний выстрел, чуть приподнялся. Сторожевой гусак поворачивал серую, как камень, змеиного склада голову, настороженно оглядывался. За ним иссера-черной пеленой вроссыпь сидели на воде гуси, вперемежку с кряквами и головатыми нырками. Тихий гогот, кряканье, всплески воды доносило от пруда. «Можно с постоянного прицела», — подумал Григорий, с бьющимся сердцем прижимая к плечу приклад винтовки, беря на мушку сторожевого гусака.

После выстрела Григорий вскочил на ноги, оглушенный хлопаньем крыльев, гагаканьем гусиной станицы. Тот гусь, в которого он стрелял, суетливо набирал высоту, остальные летели над прудом, клубясь густою кучей. Огорченный Григорий прямо по взвившейся станице ударил еще два раза, проследил взглядом, не падает ли какой, и пошел к Прохору.

— Гляди! Гляди!.. — закричал тот, вскочив на седло, стоя на нем во весь рост, указывая плетью по направлению удалявшейся в голубеющем просторе гусиной станицы.

Григорий повернулся и дрогнул от радости, от охотничьего волнения: один гусь,

отделившись от уже построившейся гусиной станицы, резко шел на снижение, замедленно и с перебоями работал крыльями. Поднимаясь на цыпочки, приложив ладонь к глазам, Григорий следил за ним взглядом. Гусь летел в сторону от встревоженно вскричавшейся стаи, медленно снижаясь, слабея в полете, и вдруг с большой высоты камнем ринулся вниз, только белый подбой крыла ослепительно сверкнул на солнце.

— Садись!

Прохор, с улыбкой во весь рот, подскакал и кинул повод Григорию. Они наметом выскочили на бугор, промчались рысью саженей восемьдесят.

— Вот он!

Гусь лежал, вытянув шею, распластав крылья, словно обнимал напоследок эту неласковую землю. Григорий, не сходя с коня, нагнулся, взял добычу.

— Куда же она его кусанула? — любопытствовал Прохор.

Оказалось, пуля насквозь пробила гусю нижнюю часть клюва, вывернула возле глаза кость. Смерть уже в полете настигла и вырвала его из построенной треугольником стаи, кинула на землю.

Прохор приторочил гуся к седлу. Поехали.

Через Дон переправились на баркасах, оставив коней в Базках.

В Вешенской Григорий остановился на квартире у знакомого старика, приказал тотчас же жарить гуся, а сам, не являясь в штаб, послал Прохора за самогоном. Пили до вечера. В разговоре хозяин обмолвился жалобой:

— Дюже уж, Григорий Пантелеевич, засилие у нас в Вешках начальство забрало.

— Какое начальство?

— Самородное начальство… Кудинов, да и другие.

— А что?

— Иногородних все жмут. Кто с красными ушел, так из ихних семей баб сажают, девчатишек, стариков. Сваху мою за сына посадили. А это вовсе ни к чему! Ну хучь бы вы, к примеру, ушли с кадетами за Донец, а красные бы вашего папашу, Пантелея Прокофича, в кутузку загнали, — ить это же неправильно было бы?

— Конечно!

— А вот тутошние власти сажают. Красные шли, никого не обижали, а эти особачились, остервились, ну, удержу им нету!

Григорий встал, чуть качнулся, потянувшись к висевшей на кровати шинели. Он был лишь слегка пьян.

— Прохор! Шашку! Маузер!

— Вы куда, Григорь Пантелевич?

— Не твое дело! Давай, что сказал.

Григорий нацепил шашку, маузер, застегнул и подпоясал шинель, направился прямо на площадь, к тюрьме. Часовой из нестроевых казаков, стоявший у входа, было преградил ему дорогу.

— Пропуск есть?

— Пусти! Отслонись, говорят!

— Без пропуску не могу никого впущать. Не приказано.

Григорий не успел и до половины обнажить шашку, как часовой юркнул в дверь. Следом за ним, не снимая руки с эфеса, вошел в коридор Григорий.

— Дать мне сюда начальника тюрьмы! — закричал он.

Лицо его побелело, горбатый нос хищно погнулся, бровь избочилась…

Прибежал какой-то хроменький казачишка, исправлявший должность надзирателя,

выглянул мальчонка-писарь из канцелярии. Вскоре появился и начальник тюрьмы, заспанный, сердитый.

— Без пропуска — за это, знаешь?! — загремел он, но, узнав Григория и всмотревшись в его лицо, испуганно залопотал: — Это вы, ваше… товарищ Мелехов? В чем тут дело?

— Ключи от камер!

— От камер?

— Я тебе что, по сорок раз буду повторять? Ну! Давай ключи, собачий клеп!

Григорий шагнул к начальнику, тот попятился, но сказал довольно-таки твердо:

— Ключей не дам. Не имеете права!

— Пра-а-ва-а?..

Григорий заскрипел зубами, выхватил шашку. В руке его она с визгом описала под низким потолком коридора сияющий круг. Писарь и надзиратели разлетелись, как вспугнутые воробьи, а начальник прижался к стене, сам белее стены, сквозь зубы процедил:

— Учиняйте! Вот они, ключи… А я буду жаловаться.

— Я тебе учиню! Вы тут, по тылам, привыкли!.. Храбрые тут, баб и дедов сажать!.. Я вас всех тут перетрясу! Езжай на позицию, гад, а то зараз срублю!

Григорий кинул шашку в ножны, кулаком ударил по шее перепуганного начальника; коленом и кулаками толкая его к выходу, орал:

— На фронт!.. Сту-пай!.. Сту-пай!.. Такую вашу… Тыловая вша!..

Вытолкав начальника и услышав шум на внутреннем дворе тюрьмы, он прибежал туда. Около входа на кухню стояло трое надзирателей; один дергал приржавевший затвор японской винтовки, горячей скороговоркой выкрикивал:

— …Нападение исделал!.. Отражать надо!.. В старом уставе как?

Григорий выхватил маузер, и надзиратели наперегонки покатились по дорожкам в кухню.

— Вы-хо-ди-и-и!.. По домам!.. — зычно кричал Григорий, распахивая двери густо набитых камер, потрясая связкой ключей.

Он выпустил всех (около ста человек) арестованных. Тех, которые из боязни отказались выйти, силой вытолкал на улицу, запер пустые камеры.

Около входа в тюрьму стал скопляться народ. Из дверей на площадь валили арестованные; озираясь, согнувшись, шли по домам. Из штаба, придерживая шашки, бежали к тюрьме казаки караульного взвода; спотыкаясь, шел сам Кудинов.

Григорий покинул опустевшую тюрьму последним. Проходя через раздавшуюся толпу, матерно обругал жадных до новостей, шушукающихся баб и, сутулясь, медленно пошел навстречу Кудинову. Подбежавшим казакам караульного взвода, узнавшим и приветствовавшим его, крикнул:

— Ступайте в помещение, жеребцы! Ну, чего вы бежите, запалились? Марш!

— Мы думали, в тюрьме бунтуются, товарищ Мелехов!

— Писаренок прибег, говорит: «Налетел какой-то черный, замки сбивает!»

— Лживая тревога оказалась!

Казаки, посмеиваясь и переговариваясь, повернули обратно. Кудинов торопливо подходил к Григорию, на ходу поправляя длинные, выбившиеся из-под фуражки волосы.

— Здравствуй, Мелехов. В чем дело?

— Здорово, Кудинов! Тюрьму вашу разгромил.

— На каком основании? Что такое?

— Выпустил всех — и все… Ну, чего глаза вылупил? Вы тут на каких основаниях иногородних баб да стариков сажаете? Это что ишо такое? Ты гляди у меня, Кудинов!

— Самовольничать не смей. Это са-мо-у-правство!

— Я тебе, в гроб твою, посамовольничаю! Я вот вызову зараз свой полк из-под Каргинской, так аж черт вас тут возьмет!

Григорий вдруг схватил Кудинова за сыромятный кавказский поясок, шатая, раскачивая, с холодным бешенством зашептал:

— Хочешь зараз же открою фронт? Хочешь зараз вон из тебя душу выпущу? Ух, ты!.. — Григорий скрипнул зубами, отпустил тихо улыбавшегося Кудинова. — Чему скалишься?

Кудинов поправил пояс, взял Григория под руку:

— Пойдем ко мне. И чего ты вскипятился? Ты бы на себя сейчас поглядел: на черта похож… Мы, брат, по тебе тут соскучились. А что касается тюрьмы — это чепуха… Ну, выпустил, какая же беда?.. Я скажу ребятам, чтобы они действительно приутихли. А то волокут всех бабенок иногородних, у каких мужья в красных… Но зачем вот ты наш авторитет подрываешь? Ах, Григорий! До чего ты взгальный! Приехал бы, сказал бы: «Так и так, мол, надо тюрьму разгрузить, выпустить таких-то и таких-то». Мы бы по спискам рассмотрели и кое-кого выпустили. А ты — всех гамузом! Да ведь это хорошо, что у нас важные преступники отдельно сидят, а если б ты и их выпустил? Горячка ты! — Кудинов похлопал Григория по плечу, засмеялся: — А ведь ты вот при таком случае, поперек скажи тебе — и убьешь. Или, чего доброго, казаков взбунтуешь…

Григорий выдернул свою руку из руки Кудинова, остановился около штабного дома.

— Вы тут все храбрые стали за нашими спинами! Полну тюрьму понасажали людей… Ты бы свои способности там показал, на позициях!

— Я их, Гриша, в свое время не хуже тебя показывал. Да и сейчас садись ты на мое место, а я твою дивизию возьму…

— Нет уж, спасибочко!

— То-то и оно!

— Ну, мне с тобой дюже долго не об чем гутарить. Я зараз еду домой отдохнуть недельку. Я захворал что-то… А тут плечо мне трошки поранили.

— Чем захворал?

— Тоской, — криво улыбнулся Григорий. — Сердце пришло в смятению…

— Нет, не шутя, что у тебя? У нас есть такой доктор, что, может, даже и профессор. Пленный. Захватили его наши за Шумилинской, с матросами ездил. Важный такой, в черных очках. Может, он поглядел бы тебя?

— Ну его к черту!

— Так что же, поезжай отдохни. Дивизию кому сдал?

— Рябчикову.

— Да ты погоди, куда ты спешишь? Расскажи, какие там дела? Ты, говорят, рубанул-таки? Мне вчера ночью передавал кто-то, будто ты матросов под Климовкой нарубил несть числа. Верно?

— Прощай!

Григорий пошел, но, отойдя несколько шагов, стал вполоборота, окликнул Кудинова:

— Эй! Ежели поимею слух, что опять сажаете…

— Да, нет, нет! Пожалуйста, не беспокойся! Отдыхай!

День уходил на запад, вослед солнцу. С Дона, с разлива потянуло холодом. Со свистом пронеслась над головой Григория стая чирков. Он уже входил во двор, когда сверху, вниз по Дону, откуда-то с Казанского юрта по воде доплыла октава орудийного залпа.

Прохор быстренько заседлал коней; ведя их в поводу, спросил:

— Восвоясы дунем? В Татарский?

Григорий молча принял повод, молча кивнул головой.

XLVI

В Татарском было пусто и скучно без казаков. Пешая сотня татарцев на время была придана одному из полков 5-й дивизии, переброшена на левую сторону Дона.

Одно время красные части, пополненные подкреплениями, подошедшими из Балашова и Поворина, повели интенсивное наступление с северо-востока, заняли ряд хуторов Еланской станицы и подошли к самой станице Еланской. В ожесточенном бою, завязавшемся на подступах к станице, верх одержали повстанцы. И одержали потому, что на помощь Еланскому и Букановскому полкам, отступавшим под напором Московского красноармейского полка и двух эскадронов кавалерии, были кинуты сильные подкрепления. Левой стороной Дона из Вешенской подошли к Еланской 4-й повстанческий полк 1-й дивизии (в составе его — и сотня татарцев), трехорудийная батарея и две резервные конные сотни. Помимо этого, по правобережью были стянуты значительные подкрепления к хуторам Плешакову и Матвеевскому, расположенным от станицы Еланской — через Дон — в трех — пяти верстах. На Кривском бугре был установлен орудийный взвод. Один из наводчиков, казак с хутора Кривского, славившийся беспромашной стрельбой, с первого же выстрела разбил красноармейское пулеметное гнездо и несколькими очередями шрапнели, накрывшими залегшую в краснотале красноармейскую цепь, поднял ее на ноги. Бой кончился в пользу повстанцев. Наседая на отступавшие красные части, повстанцы вытеснили их за речку Бланку, выпустили в преследование одиннадцать сотен конницы, и та на бугре, неподалеку от хутора Заталовского, настигла и вырубила целиком эскадрон красноармейцев.

С той поры татарские «пластуны» мотались где-то по левобережью, по песчаным бурунам. Из сотни почти не приходили в отпуск казаки. Лишь на пасху, как по сговору, сразу явилась в хутор почти половина сотни. Казаки пожили в хуторе день, разговелись и, переменив бельишко, набрав из дому сала, сухарей и прочей снеди, переправились на ту сторону Дона, толпой, как богомольцы (только с винтовками вместо посохов), потянули в направлении Еланской. С бугра в Татарском, с обдонской горы провожали их взглядами жены, матери, сеструшки. Бабы ревели, вытирали заплаканные глаза кончиками головных платков и шалек, сморкались в подолы исподних юбок… А на той стороне Дона, за лесом, затопленным полой водой, по песчаным бурунам шли казаки: Христоня, Аникушка, Пантелей Прокофьевич, Степан Астахов и другие. На привинченных штыках винтовок болтались холщовые сумочки с харчами, по ветру веялись грустные, как запах чабреца, степные песни, вялый тянулся промеж казаков разговор… Шли они невеселые, но зато сытые, обстиранные. Перед праздником жены и матери нагрели им воды, обмыли приросшую к телу грязь, вычесали лютых на кровь служивских вшей. Чем бы не жить дома, не кохаться? А вот надо идти навстречу смерти… И идут. Молодые, лет по шестнадцати-семнадцати парнишки, только что призванные в повстанческие ряды, шагают по теплому песку, скинув сапоги и чиричонки. Им неведомо отчего радостно, промеж них и веселый разговоришко вспыхнет, и песню затянут ломающимися, несозревшими голосами. Им война — в новинку, вроде ребячьей игры. Они в первые дни и к посвисту пуль прислушиваются, подымая голову от сырого бугорка земли, прикрывающего окопчик. «Куга зеленая!» — пренебрежительно зовут их фронтовые казаки, обучая на практике, как рыть окопы, как стрелять, как носить на походе служивское имущество, как выбрать прикрытие получше, и даже мастерству выпаривать на огне вшей и обворачивать ноги портянками так, чтобы нога устали не слышала и «гуляла» в обутке, учат несмысленный молодняк. И до тех пор «куженок» смотрит на окружающий его мир войны изумленным, птичьим взглядом, до тех пор подымает голову и высматривает из окопчика, сгорая от любопытства, пытаясь рассмотреть «красных», пока не щелкнет его

красноармейская пуля. Ежели — насмерть, вытянется такой шестнадцатилетний «воин», и ни за что не дашь ему его коротеньких шестнадцати лет. Лежит этакое большое дитя с мальчишески крупными руками, с оттопыренными ушами и зачатком кадыка на тонкой, невозмужалой шее. Отвезут его на родной хутор схоронить на могилках, где его деды и прадеды истлели, встретит его мать, всплеснув руками, и долго будет голосить по мертвому, рвать из седой головы космы волос. А потом, когда похоронят и засохнет глина на могилке, станет состарившаяся, пригнутая к земле материнским неусыпным горем, ходить в церковь, поминать своего «убиенного» Ванюшку либо Семушку.

Доведется же так, что не до смерти кусанет пуля какого-нибудь Ванюшку или Семушку, — тут только познает он нещадную суровость войны. Дрогнут у него обметанные темным пухом губы, покривятся. Крикнет «воин» заячьим, похожим на детский, криком: «Родимая моя мамунюшка!» — и дробные слезы сыпанут у него из глаз. Будет санитарная бричка потряхивать его на бездорожных ухабах, бередить рану. Будет бывалый сотенный фельдшер промывать пулевой или осколочный надрез и, посмеиваясь, утешать, как дитятю: «У кошки боли, у сороки боли, а у Ванюшки заживи». А «воин» Ванюшка будет плакать, проситься домой, кликать мать. Но ежели заживет рана и снова попадет он в сотню, то уж тут-то научится окончательно понимать войну. Неделю-две пробудет в строю, в боях и стычках, зачерствеет сердцем, а потом, смотри еще, как-нибудь будет стоять перед пленным красноармейцем и, отставив ногу, сплевывая в сторону, подражая какому-нибудь зверюге-вахмистру, станет цедить сквозь зубы, спрашивать ломающимся баском:

— Ну что, мужик, в кровину твою мать, попался? Га-а-а! Земли захотел? Равенства? Ты ить небось коммуняка? Признавайся, гад! — и, желая показать молодечество, «казацкую лихость», подымет винтовку, убьет того, кто жил и смерть принял на донской земле, воюя за Советскую власть, за коммунизм, за то, чтобы никогда больше на земле не было войн.

И где-либо в Московской или Вятской губернии, в каком-нибудь затерянном селе великой Советской России мать красноармейца, получив извещение о том, что сын «погиб в борьбе с белогвардейщиной за освобождение трудового народа от ига помещиков и капиталистов…» — запричитает, заплачет… Горючей тоской оденется материнское сердце, слезами изойдут тусклые глаза, и каждодневно, всегда, до смерти будет вспоминать того, которого некогда носила в утробе, родила в крови и бабьих муках, который пал от вражьей руки где-то в безвестной Доншине…

Шла полусотня дезертировавшей с фронта татарской пехоты. Шла по песчаным разливам бурунов, по сиявшему малиновому красноталу. Молодые — весело, бездумно, старики, в насмешку прозванные «гайдамаками», — со вздохами, с потаенно укрытой слезой; заходило время пахать, боронить, сеять; земля кликала к себе, звала неустанно день и ночь, а тут надо было воевать, гибнуть на чужих хуторах от вынужденного безделья, страха, нужды и скуки. Через это и кипела слеза у бородачей, через это самое и шли они хмурые. Всяк вспоминал свое кинутое хозяйство, худобу, инвентарь. Ко всему требовались мужские руки, все плакало без хозяйского глаза. А с баб какой же спрос? Высохнет земля, не управятся с посевом, голодом пугнет следующий год. Ведь недаром же говорится в народной поговорке, что «в хозяйстве и старичишка сгодится дюжей, чем молодица».

По пескам шли старики молча. Оживились, только когда один из молодых выстрелил по зайцу. За истраченный по-пустому патрон (что строго воспрещалось приказом командующего повстанческими силами) решили старики виновного наказать. Сорвали на парнишке зло, выпороли.

— Сорок розгов ему! — предложил было Пантелей Прокофьевич.

— Дюже много!

— Он не дойдет тогда!

— Шеш-над-цать! — рявкнул Христоня.

Согласились на шестнадцати, на четном числе. Провинившегося положили на песке, спустили штаны. Христоня перочинным ножом резал хворостины, покрытые желтыми пушистыми китушками, мурлыкая песню, а Аникушка порол. Остальные сидели около, курили. Потом снова пошли. Позади всех плелся наказанный, вытирая слезы, натуго затягивая штаны.

Как только миновали пески и выбрались на серосупесные земли, начались мирные разговоры.

— Вот она, землица-любушка, хозяина ждет, а ему некогда, черти его по буграм мыкают, воюет, — вздохнул один из дедов, указывая на сохнувшую делянку зяби.

Шли мимо пахоты, и каждый нагибался, брал сухой, пахнувший вешним солнцем комочек земли, растирал его в ладонях, давил вздох.

— Подоспела земля!

— Самое зараз бы с букарем.

— Тут перепусти трое суток, и сеять нельзя будет.

— У нас-то, на энтой стороне, трошки рано.

— Ну да, рано! Гля-кось, вон над ярами по Обдонью ишо снег лежит.

Потом стали на привал, пополудновали. Пантелей Прокофьевич угощал высеченного парнишку откидным, «портошным» молоком. (Нес он его в сумке, привязанной к винтовочному дулу, и всю дорогу цедилась стекавшая из сумки вода. Аникушка уже, смеясь, говорил ему: «Тебя, Прокофич, по следу можно свесть, за тобой мокрая вилюга, как за быком, остается».) Угощал и степенно говорил:

— А ты на стариков не обижайся, дурастной. Ну и выпороли, какая же беда! За битого двух небитых дают.

— Тебе бы так вложили, дед Пантелей, небось, другим бы голосом воспел!

— Мне, парень, и похуже влаживали.

— Похуже!

— Ну да, похуже. Явственное дело, в старину не так бивали.

— Бивали?

— Конешно, бивали. Меня, парнишша, отец раз оглоблей вдарил по спине — и то выходился.

— Оглоблей!

— Говорю — оглоблей, стало быть — оглоблей. Э, долдон! Молоко-то ешь, чего ты мне в рот глядишь? Ложка у него без черенка, сломал, небось? Халява! Мало тебя, сукиного сына, ноне пороли!

После полуднования решили подремать на легком и пьянящем, как вино, вешнем воздухе. Легли, подставив солнцу спины, похрапели малость, а потом опять потянули по бурой степи, по прошлогодним жнивьям, минуя дороги, напрямик. Шли — одетые в сюртуки, шинели, зипуны и дубленые полушубки; обутые в сапоги, в чирики, с шароварами, заправленными в белые чулки, и ни во что не обутые. На штыках болтались харчевые сумки.

Столь невоинствен был вид возвращавшихся в сотню дезертиров, что даже жаворонки, отзвенев в голубом разливе небес, падали в траву около проходившей полусотни.

Григорий Мелехов не застал в хуторе никого из казаков. Утром он посадил верхом на коня своего подросшего Мишатку, приказал съехать к Дону и напоить а сам пошел с Натальей проведать деда Гришаку и тещу.

Лукинична встретила зятя со слезами:

— Гришенька, сыночек! Пропадем мы без нашего Мирона Григорьевича, царство ему небесное!.. Ну кто у нас будет на полях работать? Зерна полны амбары, а сеять некому. И, головушка ты моя горькая! Остались мы сиротами, никому-то мы не нужны, всем-то мы чужие, лишние!.. Ты глянь-кось, как хозяйство наше рухнулось! Ни к чему руки не доходют…

А хозяйство и в самом деле стремительно шло к упадку: быки били и валяли плетни на базах, кое-где упали сохи; подмытая вешней водой, обрушилась саманная стена в сарае; гумно было разгорожено, двор не расчищен; под навесом сарая стояла заржавевшая лобогрейка, и тут же валялся сломанный косогон… Всюду виднелись следы запустения и разрухи.

«Скоро все покачнулось без хозяина», — равнодушно подумал Григорий, обходя коршуновское подворье.

Он вернулся в курень.

Наталья что-то шепотом говорила матери, но при виде Григория умолкла, заискивающе улыбнулась.

— Маманя вот просит, Гриша… Ты же, кубыть, собирался ехать на поля… Может, и им какую десятинку бы посеял?

— Да на что вам сеять, мамаша? — спросил Григорий. — Ить у вас же пшеницы полны закрома.

Лукинична так и всплеснула руками:

— Гришенька! А земля-то как же? Ить покойничек наш зяби напахал три круга.

— А чего же ей поделается, земле? Перележится, что ли? На энтот год, живы будем, посеем.

— Как можно? Земля вхолостую пролежит.

— Фронты отслонются, тогда и сеять будете, — пробовал уговорить тещу Григорий.

Но та уперлась на своем, даже будто бы обиделась на Григория и под конец в оборочку собрала дрогнувшие губы:

— Ну уж ежели тебе некогда, может, али охоты нету нам подсобить…

— Да ладно уж! Поеду завтра себе сеять и вам обсеменю десятины две. С вас и этого хватит… А дед Гришака живой?

— То-то спасибо, кормилец! — обрадовалась просиявшая Лукинична. — Семена, скажу ноне Грипашке, чтоб отвезла… Дед-то? Все никак его господь не приберет. Живой, а кубыть, трошки умом начал мешаться. Так и сидит дни-ночи напролет, Святое писание читает. Иной раз загутарит-загутарит, да так все непонятно, церковным языком… Ты бы пошел его проведать. Он в горенке.

По полной щеке Натальи сползла слезинка.

Улыбаясь сквозь слезы, Наталья сказала:

— Зараз взошла я к нему, а он говорит: «Дщерь лукавая! Что же ты меня не проведываешь? Скоро помру я, милушка… За тебя, за внученьку, как преставлюсь, богу словцо замолвлю. В землю хочу, Натальюшка… Земля меня к себе кличет. Пора!»

Григорий вошел в горенку. Запах ладана, плесени и гнили, запах старого неопрятного человека густо ударил ему в ноздри. Дед Гришака, все в том же армейском сером мундирчике с красными петлицами на отворотах, сидел на лежанке. Широкие шаровары его были аккуратно залатаны, шерстяные чулки заштопаны. Попечение о деде перешло на руки подраставшей Грипашки, и та стала следить за ним с такой же внимательностью и любовью, как некогда ходившая в девках Наталья.

Дед Гришака держал на коленях Библию. Из-под очков в позеленевшей медной оправе он глянул на Григория, открыл в улыбке белозубый рот.

— Служивый? Целенький? Оборонил господь от лихой пули? Ну слава богу. Садись.

— Ты-то как здоровьем, дедушка?

— Ась?

— Как здоровье — говорю.

— Чудак! Пра слово, чудак! Какое в моих годах могет быть здоровье? Мне ить уж под сто пошло. Да, под сто… Прожил — не видал. Кубыть, вчера ходил я с русым чубом, молодой да здоровый. А ноне проснулся — и вот она, одна ветхость… Мельканула жизня, как летний всполох, и нету ее… Немощен плотью стал. Домовина уж какой год в анбаре стоит, а господь, видно, забыл про меня. Я уже иной раз, грешник, и взмолюсь ему: «Обороти, господи, милостливый взор на раба твоего Григория! И я земле в тягость, и она мне…»

— Ишо поживешь, дед. Зубов вон полон рот.

— Ась?

— Зубов ишо много!

— Зубов-то? Эка дурак! — осердился дед Гришака. — Зубами-то небось душу не удержишь, как она соберется тело покидать… Ты-то все воюешь, непутевый?

— Воюю.

— Митюшка наш в оступе тоже, гляди, лиха хватит, как горячего — до слез.

— Хватит.

— Вот и я говорю. А через чего воюете? Сами не разумеете! По божьему указанию все вершится. Мирон наш через чего смерть принял? Через то, что супротив бога шел, народ бунтовал супротив власти. А всякая власть — от бога. Хучь она и анчихристова, а все одно богом данная. Я ему ишо тогда говорил: «Мирон! Ты казаков не бунтуй, не подговаривай супротив власти, не пихай на грех!» А он — мне: «Нет, батя, не потерплю! Надо восставать, этую власть изнистожить, она нас по миру пущает. Жили людьми, а исделаемся старцами» [71]. Вот и не потерпел. Поднявший меч бранный от меча да погибнет. Истинно. Люди брешут, будто ты, Гришка, в генеральском чине ходишь, дивизией командуешь. Верно ай нет?

— Верно.

— Командуешь?

— Ну, командую.

— А еполеты твои где?

— Мы их отменили.

— Эх, чумовые! Отменили! Да ишо какой из тебя генерал-то? Горе! Раньше были генералы — на него ажник радостно глядеть: сытые, пузатые, важные! А то ты зараз… Так, тьфу — и больше ничего! Шинелка одна на тебе мазаная, в грязи, ни висячей еполеты нету, ни белых шнуров на грудях. Одних вшей небось полны швы.

Григорий захохотал. Но дед Гришака с горячностью продолжал:

— Ты не смеись, поганец! Людей на смерть водишь, супротив власти поднял. Грех великий примаешь, а зубы тут нечего скалить! Ась?.. Ну вот то-то и оно. Все одно вас изнистожут, а заодно и нас. Бог — он вам свою стезю укажет. Это не про наши смутные времена Библия гласит? А ну, слухай, зараз прочту тебе от Еремии-пророка сказание…

Старик желтым пальцем перелистал желтые страницы Библии; замедленно, отделяя слог от слога, стал читать:

— «Возвестите во языцех и слышано сотворите, воздвигните знамение, возопийте и не скрывайте, рцыте: пленен бысть Вавилон, посрамися Вил, победися Меродах, посрамишася изваяния его, сокрушишася кумиры их. Яко прииде нань язык от севера, той положит землю его в запустение и не будет живяй в ней от человека даже и до скота: подвигнушася отидоша…» Уразумел, Гришака? С северу придут и вязы вам, вавилонщикам, посворачивают.

И дале слухай: «В тыя дни в то время, глаголет господь, приидут сынове израилевы тии и сынове иудины, вкупе ходяще и плачуще, пойдут и господа бога своего взыщут. Овцы погибшие быше людие мои, пастыри их совратиша их, и сотвориша сокрытися по горам: с горы на холм ходиша».

— Это к чему же? Как понять? — спросил Григорий, плохо понимавший церковнославянский язык.

— К тому, поганец, что бегать вам, смутителям, по горам. Затем, что вы не пастыри казакам, а сами хуже бестолочи-баранов, не разумеете, что творите… Слухай дале: «Забыша ложа своего, вси обретающая их снедаху их». И это в точку! Вша вас не гложет зараз?

— От вши спасенья нету, — признался Григорий.

— Вот оно и подходит в точку. Дале: «И врази их рекоша: не пощадим их, зане согрешиша господу. Отыдите от среды Вавилона и от земли Халдейски, изыдите и будете яко козлища перед овцами. Яко се аз воздвигну и приведу на Вавилон собрания языков великих от земли полунощные, и ополчатся нань: оттуда пленен будет, яко же стрела мужа сильна, искусна, не возвратится праздна. И будет земля Халдейска в разграбление, вси грабители ее наполнятся, глаголет господь: зане веселитеся и велеречиваете, расхищающие наследие мое».

— Дед Григорий! Ты бы мне русским языком пересказал, а то мне непонятно, — перебил Григорий.

Но старик пожевал губами, поглядел на него отсутствующим взглядом, сказал:

— Зараз кончу, слухай: «…Скакаете бо яко тельцы на траве и бодосте яко же волы. Поругана бысть мате ваше зело, и посрамися родившая вас: се последняя во языцех пуста, и непроходна, и суха. От гнева господня не поживут вовек, но будет весь в запустение, и всяк ходяй сквозе Вавилон подивится и позвиждет над всякою язвою его».

— Как же это понять? — снова спросил Григорий, ощущая легкую досаду.

Дед Гришака не отвечал, закрыл Библию и прилег на лежанку.

«И вот сроду люди так, — думал Григорий, выходя из горенки. — Смолоду бесются, водку жрут и к другим грехам прикладываются, а под старость, что ни лютей смолоду был, то больше начинает за бога хорониться. Вот хучь бы и дед Гришака. Зубы — как у волка. Говорят, молодым, как пришел со службы, все бабы в хуторе от него плакали, и летучие и катучие — все были его. А зараз… Ну уж ежели мне доведется до старости дожить, я эту хреновину не буду читать! Я до библиев не охотник».

Григорий возвращался от тещи, думая о разговоре с дедом Гришакой, о таинственных, непонятных «речениях» Библии. Наталья тоже шла молча. В этот приезд она встретила мужа с необычайной суровостью, — видно, слух о том, как гулял и путался с бабами Григорий по хуторам Каргинской станицы, дошел и до нее. Вечером, в день его приезда, она постелила ему в горнице на кровати, а сама легла на сундуке, прикрывшись шубой. Но ни единого слова в упрек не сказала, ни о чем не спрашивала. Ночь промолчал и Григорий, решив, что лучше пока не допытываться у нее о причинах столь небывалого в их взаимоотношениях холода…

Они шли молча по безлюдной улице, чужие друг другу больше, чем когда бы то ни было. С юга дул теплый, ласковый ветер, на западе кучились густые, по-весеннему белые облака. Сахарно-голубые вершины их, клубясь, меняли очертания, наплывали и громоздились над краем зазеленевшей обдонской горы. Погромыхивал первый гром, и благостно, живительно пахло по хутору распускающимися древесными почками, пресным черноземом оттаявшей земли. По синему разливу Дона ходили белогребнистые волны, низовой ветер нес бодрящую сырость, терпкий запах гниющей листвы и мокрого дерева. Долевой клин зяби, лежавший на склоне бугра плюшево-черной заплатой, курился паром, струистое марево рождалось и плыло над буграми обдонских гор, над самой дорогой упоенно заливался жаворонок, тоненько

посвистывали перебегавшие дорогу суслики. А над всем этим миром, дышавшим великим плодородием и изобилием жизнетворящих сил, — высокое и гордое солнце.

На середине хутора, возле моста через ярок, по которому еще бежала в Дон с веселым детским лепетом вешняя нагорная вода, Наталья остановилась. Нагнувшись, будто бы для того, чтобы завязать ремешок у чирика, а на самом деле пряча от Григория лицо, спросила:

— Чего же ты молчишь?

— А об чем гутарить с тобой?

— Есть об чем… Рассказал бы, как пьянствовал под Каргинской, как с б… вязался…

— А ты уж знаешь?.. — Григорий достал кисет, стал делать цигарку. Смешанный с табаком-самосадом, сладко заблагоухал донник. Григорий затянулся, переспросил: — Знаешь, стал быть? От кого?

— Знаю, ежли говорю. Весь хутор знает, есть от кого слыхать.

— Ну, а раз знаешь, чего же и рассказывать?

Григорий крупно зашагал. По деревянному настилу мостка в прозрачной весенней тишине четко зазвучали его редкие шаги и отзвуки дробной поступи Натальи, поспешавшей за ним. От мостка Наталья пошла молча, вытирая часто набегавшие слезы, а потом, проглотив рыдание, запинаясь, спросила:

— Опять за старое берешься?

— Оставь, Наталья!

— Кобелина проклятый, ненаедный! За что ж ты меня опять мучаешь?

— Ты бы поменьше брехней слухала.

— Сам же признался!

— Тебе, видно, больше набрехали, чем на самом деле было. Ну, трошки виноват перед тобой… Она, жизня, Наташка, виноватит… Все время на краю смерти ходишь, ну и перелезешь иной раз через борозду…

— Дети у тебя уж вон какие! Как гляделками-то не совестно моргать!

— Ха! Совесть! — Григорий обнажил в улыбке кипенные зубы, засмеялся. — Я об ней и думать позабыл. Какая уж там совесть, когда вся жизня похитнулась… Людей убиваешь… Неизвестно для чего всю эту кашу… Да ить как тебе сказать? Не поймешь ты! В тебе одна бабья лютость зараз горит, а до того ты не додумаешься, что мне сердце точит, кровя пьет. Я вот и к водке потянулся. Надысь припадком меня вдарило. Сердце на коий миг вовзят остановилося, и холод пошел по телу… — Григорий потемнел лицом, тяжело выжимал, из себя слова: — Трудно мне, через это и шаришь, чем бы забыться, водкой ли, бабой ли… Ты погоди! Дай мне сказать: у меня вот тут сосет и сосет, кортит все время… Неправильный у жизни ход, и, может, и я в этом виноватый… Зараз бы с красными надо замириться и — на кадетов. А как? Кто нас сведет с Советской властью? Как нашим обчим обидам счет произвесть? Половина казаков за Донцом, а какие тут остались — остервились, землю под собой грызут… Все у меня, Наташка, помутилось в голове… Вот и твой дед Гришака по Библии читал и говорит, что, мол, неверно мы свершили, не надо бы восставать. Батю твоего ругал.

— Дед — он уж умом рехнулся! Теперь твой черед.

— Вот только так ты и могешь рассуждать. На другое твой ум не подымется…

— Ох, уж ты бы мне зубы не заговаривал! Напаскудил, обвиноватился, а теперь все на войну беду сворачиваешь. Все вы такие-то! Мало через тебя, черта, я лиха приняла? Да и жалко уж, что тогда не до смерти зарезалась…

— Больше не об чем с тобой гутарить. Ежели чижало тебе, ты покричи, — слеза ваша бабье горе завсегда мягчит. А я тебе зараз не утешник. Я так об чужую кровь измазался, что у

меня уж и жали ни к кому не осталось. Детву — и эту почти не жалею, а об себе и думки нету. Война все из меня вычерпала. Я сам себе страшный стал… В душу ко мне глянь, а там чернота, как в пустом колодезе…

Они почти дошли до дома, когда из набежавшей серой тучки, косой и ядреный, брызнул дождь. Он прибил на дороге легкую, пахнущую солнцем пыль, защелкал по крышам, пахнул свежестью, трепетным холодком. Григорий расстегнул шинель, одной полой прикрыл навзрыд плачущую Наталью, обнял ее. Так под вешним резвым дождем они и на баз вошли, тесно прижавшись, покрытые одной шинелью.

Вечером Григорий ладил на базу запашник, проверял рукава сеялки. Пятнадцатилетний сынишка Семена Чугуна, выучившийся кузнечному ремеслу и оставшийся со дня восстания единственным кузнецом в Татарском, с грехом пополам наложил лемех на стареньком мелеховском плуге. Все было приготовлено к весенней работе. Быки вышли с зимовки в теле, в достатке хватило им приготовленного Пантелеем Прокофьевичем сена.

Наутро Григорий собирался ехать в степь. Ильинична с Дуняшкой, на ночь глядя, затеяли топить печь, чтобы сготовить пахарю к заре харчи. Григорий думал поработать дней пять, посеять себе и теще, вспахать десятины две под бахчу и подсолнухи, а потом вызвать из сотни отца, чтобы он доканчивал посев.

Из трубы куреня вился сиреневый дымок, по базу бегала взматеревшая в девках Дуняшка, собирая сухой хворост на поджижки. Григорий поглядывал на ее округленный стан, на крутые скаты грудей, с грустью и досадой думал: «Эка девнища какая вымахала! Летит жизня, как резвый конь. Давно ли Дуняшка была сопливой девчонкой; бывало, бегает, а по спине косички мотаются, как мышиные хвостики, а зараз уж вон она, хучь ныне замуж. А я уж сединой побитый, все от меня отходит… Верно говорил дед Гришака: „Мелькнула жизня, как летний всполох“. Тут и так коротко отмерено человеку в жизни пройтись, а тут надо и этого срока лишаться… Тудыть твою мать с такой забавой! Убьют, так пущай уж скорее».

К нему подошла Дарья. Она удивительно скоро оправилась после смерти Петра. Первое время тосковала, желтела от горя и даже будто состарилась. Но как только дунул вешний ветерок, едва лишь пригрело солнце, — и тоска Дарьина ушла вместе со стаявшим снегом. На продолговатых щеках ее зацвел тонкий румянец, заблестели потускневшие было глаза, в походке появилась прежняя вьющаяся легкость… Вернулись к ней и старые привычки: снова тонкие ободья бровей ее покрылись черной краской, щеки заблестели жировкой; вернулась к ней и охота пошутить, непотребным словом смутить Наталью; все чаще на губах ее стала появляться затуманенная ожиданием чего-то улыбка… Торжествующая жизнь взяла верх.

Она подошла к Григорию, стала, улыбаясь. Пьяный запах огуречной помады исходил от ее красивого лица.

— Может, подсобить в чем, Гришенька?

— Не в чем подсоблять.

— Ах, Григорий Пантелевич! До чего вы со мной, со вдовой, строгие стали! Не улыбнетесь и даже плечиком не ворохнете.

— Шла бы ты стряпаться, зубоскалая!

— Ах, какая надобность!

— Наталье бы подсобила, Мишатка вон бегает грязней грязи.

— Ишо чего недоставало! Вы их будете родить, а мне за вами замывать? Как бы не так! Наталья твоя — как трусиха [72] плодющая. Она их тебе нашибает ишо штук десять. Этак я от рук отстану, обмываючи всех их.

— Будет, будет тебе! Ступай!

— Григорь Пантелевич! Вы зараз в хуторе один казак на всех. Не прогоните, дайте хучь

издаля поглядеть на ваши черные завлекательные усы.

Григорий засмеялся, откинул с потного лба волосы.

— Ну и ухо ты! Как с тобой Петро жил… У тебя уж, небось, не сорвется.

— Будьте покойные! — горделиво подтвердила Дарья и, поглядывая на Григория поигрывающими, прижмуренными глазами, с деланным испугом оглянулась на курень. — Ай, что-то мне показалось, кубыть, Наталья вышла… До чего она у тебя ревнивая, — неподобно! Нынче, как полудновали, глянула я разок на тебя, так она ажник с лица сменилась. А мне уж вчера бабы молодые говорили: «Что это за права? Казаков нету, а Гришка ваш приехал на побывку и от жены не отходит. А мы, дескать, как же должны жить? Хучь он и израненный, хучь от него и половинка супротив прежнего осталась, а мы бы и за эту половинку подержались бы с нашим удовольствием. Перекажи ему, чтобы ночью по хутору не ходил, а то поймаем, беды он наживет!» Я им и сказала: «Нет, бабочки, Гриша наш только на чужих хуторах прихрамывает на короткую ножку, а дома он за Натальин подол держится без отступу. Он у нас с недавней поры святой стал…»

— Ну и сука ты! — смеясь, беззлобно говорил Григорий. — У тебя язык — чистое помело!

— Уж какая есть. А вот Наташенька-то твоя писаная, не мазаная, а вчера отшила тебя? Так тебе и надо, кобелю, не будешь через закон перелазить!

— Ну ты вот чего… Ты иди, Дашка. Ты не путайся в чужие дела.

— Я не путаюсь. Я это к тому, что дура твоя Наталья. Муж приехал, а она задается, ломается, как копеешный прянец, на сундуке легла… Вот уж я бы от казака зараз не отказалась! Попадись мне… Я бы и такого храброго, как ты, в страх ввела!

Дарья скрипнула зубами, захохотала и пошла в курень, оглядываясь на смеющегося и смущенного Григория, поблескивая золотыми серьгами.

«Усчастливился ты, брат Петро, помереть… — думал развеселившийся Григорий. — Это не Дарья, а распрочерт! От нее до поры до времени все одно помер бы!»

XLVII

По хутору Бахмуткину гасли последние огни. Легкий морозец тончайшей пленкой льда крыл лужицы. Где-то за хутором, за толокой, на прошлогодней стерне опустились ночевать припозднившиеся журавли. Их сдержанное усталое курлыканье нес к хутору набегавший с северо-востока ветерок. И оно мягко оттеняло, подчеркивало умиротворенную тишину апрельской ночи. В садах густые копились тени; где-то мычала корова; потом все стихло. С полчаса глухая покоилась тишина, лишь изредка нарушавшаяся тоскующей перекличкой летевших и ночью куликов да дребезжащим посвистом бесчисленных утиных крыльев: стаи уток летели, спешили, добираясь до привольной поймы разлившегося Дона… А потом на крайней улице зазвучали людские голоса, рдяно загорелись огни цигарок, послышался конский храп, хруст промерзшей грязи, продавливаемой лошадиными копытами. В хутор, где стояли две повстанческие казачьи сотни, входившие в состав 6-й отдельной бригады, вернулся разъезд. Казаки расположились на базу крайней хаты, переговариваясь, поставили к брошенным посреди база саням лошадей, положили им корма. Чей-то хрипатый басок завел плясовую песню, тщательно выговаривая слова, устало и медленно выводя:

Помаленечку я шел,
Да потихонечку ступал,
И по прежней по любви

С девкой шутку зашутил…

И тотчас же задорный тенорок подголоска взмыл, как птица, над гудящим басом и весело, с перебором начал:

Девка шутку не приняла,
Меня в щеку — д'эх! — вдарила,
Моя казацкая сердечка
Была разгарчивая…

В песню подвалило еще несколько басов, темп ее ускорился, оживился, и тенор подголоска, щеголяя высокими концами, уже звучал напористо и подмывающе весело:

Я праву ручку засучил,
Девку да в ухо омочил.
Их, эта девочка стоит,
Как малинов свет горич.
Как малинов свет да горит,
Сам-ма плачет, говорит:
«Что же ты мне есть за друг,
Ежли любишь семь подруг,
Восьмую — вдовую,
А девятую жану,
А десятую, подлец, меня…»

И журавлиный крик на пустующих пашнях, и казачью песню, и свист утиных крыльев в непроглядной чернети ночи слышали казаки, бывшие за ветряком в сторожевом охранении. Скучно было им лежать ночью на холодной, скованной морозом земле. Ни тебе покурить, ни поговорить, ни посогреться ходьбой или кулачками. Лежи да лежи промеж подсолнечных прошлогодних будыльев, смотри в зияющую темнотой степь, слушай, приникнув ухом к земле. А в десяти шагах уже ни черта не видно, а шорохами так богата апрельская ночь, так много из темноты несется подозрительных звуков, что любой из них будит тревогу: «Не идет ли, не ползет ли красноармейская разведка?» Как будто издали доносится треск сломанной бурьянины, сдержанное пыхтенье… Молодой казачишка Выпряжкин вытирает перчаткой набежавшую от напряжения слезинку, толкает локтем соседа. Тот дремлет, свернувшись калачом, положив в голова кожаный подсумок; японский патронташ давит ему ребра, но он ленится лечь поудобней, не хочет пускать в плотно запахнутые полы шинели струю ночного холода. Шорох бурьяна и сопение нарастают и неожиданно звучат вот, возле самого Выпряжкина. Он приподнимается на локте, недоуменно смотрит сквозь плетнистый бурьян и с трудом различает очертания большого ежа. Еж торопко подвигается вперед по мышиному следу, опустив крохотную свиную мордочку, сопя и черкая иглистой спиной по сухим бурьянным былкам. Вдруг он чувствует в нескольких шагах от себя присутствие чего-то враждебного и, подняв голову, видит рассматривающего его человека. Человек облегченно выдыхает воздух, шепчет:

— Черт поганый! Как напужал-то…

А еж стремительно прячет голову, втягивает ножки и с минуту лежит нащетинившимся клубком, потом медленно распрямляется, касается ногами холодной земли и катится скользящим серым комом, натыкаясь на подсолнечные будылья, приминая сухой прах сопревшей повители. И снова прядется тишина. И ночь — как сказка…

По хутору отголосили вторые кочеты. Небо прояснилось. Сквозь редкое ряднище облачков показались первые звезды. Потом ветер заметал облака, и небо глянуло на землю бесчисленными золотыми очами.

Вот в это-то время Выпряжкин и услышал впереди отчетливый шаг лошади, хруст бурьяна, звяк чего-то металлического, а немного погодя — и поскрипывание седла. Услышали и остальные казаки. Пальцы легли на спуски винтовок.

— Сготовьсь! — шепнул помощник взводного.

На фоне звездного неба возник словно вырезанный силуэт всадника. Кто-то ехал шагом по направлению к хутору.

— Сто-о-ой!.. Кто едет?.. Что пропуск?..

Казаки вскочили, готовые стрелять. Всадник остановился, подняв вверх руки.

— Товарищи, не стреляйте!

— Что пропуск!

— Товарищи!..

— Что пропуск? Взво-о-од…

— Стойте!.. Я один… Сдаюсь!..

— Погодите, братцы! Не стрелять!.. Живого возьмем!..

Помощник взводного подбежал к конному, Выпряжкин схватил коня за поводья. Всадник перенес ногу через седло, спешился.

— Ты кто таков? Красный? Ага, братцы, он! Вот у него и звезда на папахе. По-па-ал-ся, ааа!..

Всадник, разминая ноги, уже спокойно говорил:

— Ведите меня к вашему начальнику. Я имею передать ему сообщение большой важности. Я — командир Сердобского полка и прибыл сюда для ведения переговоров.

— Команди-и-ир?.. Убить его, братцы, гада! Дай, Лука, я ему зараз…

— Товарищи! Убить меня вы можете всегда, но прежде дайте мне сообщить вашему начальнику то, для чего я приехал. Повторяю: это огромной важности дело. Пожалуйста, возьмите мое оружие, если вы боитесь, что я убегу…

Красный командир стал расстегивать портупею.

— Сымай! Сымай! — торопил его один из казаков.

Снятые наган и сабля перешли в руки помкомвзвода.

— Обыщите сердобского командира! — приказал он, садясь на принадлежавшего красному командиру коня.

Захваченного обыскали. Помкомвзвода и казак Выпряжкин погнали его в хутор. Он шел пешком, рядом с ним шагал Выпряжкин, нес наперевес австрийский карабин, а позади ехал верхом довольный помкомвзвода.

Минут десять двигались молча. Конвоируемый часто закуривал, останавливаясь, полой шинели прикрывая гаснущие на ветру спички. Запах хороших папирос вывел Выпряжкина из терпения.

— Дай-ка мне, — попросил он.

— Пожалуйста!

Выпряжкин взял кожаный походный портсигар, набитый папиросами, достал из него папироску, а портсигар сунул себе в карман. Командир промолчал, но, спустя немного, когда вошли в хутор, спросил:

— Вы куда меня ведете?

— Там узнаешь.

— А все же?

— К командиру сотни.

— Вы меня ведите к командиру бригады Богатыреву.

— Нету тут такого.

— Как это — нет? Мне известно, что он вчера прибыл со штабом в Бахмуткин и сейчас здесь.

— Нам про это неизвестно.

— Ну, полноте, товарищи! Мне известно, а вам неизвестно… Это не есть военный секрет, особенно когда он уже стал известен вашим врагам.

— Иди, иди!

— Я иду. Так вы меня сведите к Богатыреву.

— Помалкивай! Мне с тобой, по правилам службы, не дозволено гутарить!

— А портсигар взять — это дозволено по правилам службы?

— Мало ли что!.. Ступай, да язык придави, а то и шинелю зараз сопру. Ишь обидчивый какой!

Сотенного насилу растолкали. Он долго тер кулаками глаза, зевал, морщился и никак не мог уразуметь того, что ему говорил сияющий от радости помкомвзвода.

— Кто такой? Командир Сердобского полка? А ты не брешешь? Давай документы.

Через несколько минут он вместе с красным командиром шел на квартиру командующего бригадой Богатырева. Богатырев вскочил как встрепанный, едва услышал о том, что захвачен и приведен командир Сердобского полка. Он застегнул шаровары, набросил на свои плотные плечи подтяжки, зажег пятилинейную лампочку, спросил у стоявшего навытяжку возле двери красного командира:

— Вы командир Сердобского полка?

— Да, я командир Сердобского полка. Вороновский.

— Садитесь.

— Благодарю.

— Как вас… при каких условиях захватили?

— Я сам ехал к вам. Мне надо поговорить с вами наедине. Прикажите посторонним выйти.

Богатырев махнул рукой, и сотенный, пришедший с красным командиром, и стоявший с открытым ртом хозяин дома — рыжебородый старовер — вышли. Богатырев, потирая голо остриженную темную и круглую, как арбуз, голову, сидел за столом в одной грязной нижней рубахе. Лицо его, с отечными щеками и красными полосами от неловкого сна, выражало сдержанное любопытство.

Вороновский, невысокий плотный человек, в ловко подогнанной шинели, стянутый наплечными офицерскими ремнями, расправил прямые плечи; под черными подстриженными усами его скользнула улыбка.

— Надеюсь, с офицером имею честь? Разрешите два слова о себе, а потом уж о той миссии, с которой я к вам прибыл… Я в прошлом — дворянин по происхождению и штабс-капитан царской службы. В годы войны с Германией служил в Сто семнадцатом Любомирском стрелковом полку. В тысяча девятьсот восемнадцатом году был мобилизован по декрету Советского правительства как кадровый офицер. В настоящее время, как вам уже известно, командую в Красной Армии Сердобским полком. Находясь в рядах Красной Армии, я давно искал случая перейти на вашу… на сторону борющихся с большевиками…

— Долго вы, господин штабс-капитан, искали случая…

— Да, но мне хотелось искупить свою вину перед Россией и не только самому перейти (это можно было бы осуществить давно), но и увести с собой красноармейскую часть, те ее элементы, конечно, наиболее здоровые, которые коммунистами были обмануты и вовлечены в эту братоубийственную войну.

Бывший штабс-капитан Вороновский глянул узко поставленными серыми глазами на

Богатырева и, заметив его недоверчивую улыбку, вспыхнул, как девушка, заторопился:

— Естественно, господин Богатырев, что вы можете питать ко мне и к моим словам известное недоверие… На вашем месте я, очевидно, испытывал бы такие же чувства. Вы разрешите мне доказать вам это фактами… Неопровержимыми фактами…

Отвернув полу шинели, он достал из кармана защитных брюк перочинный нож, нагнулся так, что заскрипели наплечные ремни, и осторожно стал подпарывать плотно зашитый борт шинели. Спустя минуту извлек из распоротой бортовки пожелтевшие бумаги и крохотную фотографическую карточку.

Богатырев внимательно прочитал документы. В одном из них удостоверялось, что «предъявитель сего есть действительно поручик 117-го Любомирского стрелкового полка Вороновский, направляющийся после излечения в двухнедельный отпуск по месту жительства — в Смоленскую губернию». На удостоверении стояла печать и подпись главврача походного госпиталя *N8 14-й Сибирской стрелковой дивизии*. Остальные документы на имя Вороновского непреложно говорили о том, что Вороновский подлинно был офицером, а с фотографической карточки на Богатырева глянули веселые, узкие в поставе глаза молодого подпоручика Вороновского. На защитном щегольском френче поблескивал офицерский Георгий, и девственная белизна погонов резче оттеняла смуглые щеки подпоручика, темную полоску усов.

— Так что же? — спросил Богатырев.

— Я приехал сообщить вам, что мною, совместно с моим помощником, бывшим поручиком Волковым, красноармейцы сагитированы, и весь целиком состав Сердобского полка, разумеется, за исключением коммунистов, готов в любую минуту перейти на вашу сторону. Красноармейцы — почти все крестьяне Саратовской и Самарской губерний. Они согласны драться с большевиками. Нам необходимо сейчас же договориться с вами об условиях сдачи полка. Полк сейчас находится в Усть-Хоперской, в нем около тысячи двухсот штыков; в комячейке — тридцать восемь, плюс взвод из тридцати человек местных коммунистов. Мы захватили приданную нам батарею, причем прислугу, вероятно, придется уничтожить, так как там преобладающее большинство коммунистов. Среди моих красноармейцев идет брожение на почве тягот, которые несут их отцы от продразверстки. Мы воспользовались этим обстоятельством и склонили их на переход к казакам… к вам, то есть. У моих солдат есть опасения, как бы при сдаче полка не было над ними учинено насилия… Вот по этому вопросу — это, конечно, частности, но… — я и должен с вами договориться.

— Какое насилие могет быть?

— Ну, убийства, ограбления…

— Нет, этого не допустим!

— И еще: солдаты настаивают на том, чтобы Сердобский полк был сохранен в своем составе и дрался с большевиками вместе с вами, но самостоятельной боевой единицей.

— Этого сказать я вам…

— Знаю! Знаю! Вы снесетесь с вашим высшим командованием и поставите нас в известность.

— Да, я должен сообщить в Вешки.

— Простите, у меня очень мало времени, и если я опоздаю на лишний час, то мое отсутствие может быть замечено комиссаром полка. Я считаю, что мы договоримся об условиях сдачи. Поторопитесь сообщить мне решение вашего командования. Полк могут перебросить к Донцу или пришлют новое пополнение, и таким образом…

— Да, я сейчас же с коннонарочным пошлю в Вешки.

— И еще: прикажите вашим казакам возвратить мне оружие. Меня не только обезоружили, — Вороновский оборвал свою гладкую речь и полусмущенно улыбнулся, — но и взяли… портсигар. Это, конечно, пустяки, но портсигар мне дорог как фамильная вещь.

— Вам все вернут. Как вам сообщить, когда получу ответ из Вешек?

— К вам сюда, в Бахмуткин, придет через два дня женщина из Усть-Хоперской. Пароль… ну, допустим — «единение». Ей вы сообщите. Безусловно — на словах…

Через полчаса один из казаков Максаевской сотни наметом скакал на запад, в Вешенскую…

На другой день личный ординарец Кудинова прибыл в Бахмуткин, разыскал квартиру командира бригады и, даже коня не привязав, вошел в курень, передал Григорию Богатыреву пакет с надписью: «В. срочно. Совершенно секретно». Богатырев с живейшим нетерпением сломал сургучную печать. На бланке Верхнедонского окружного совета размашисто, рукою самого Кудинова, было написано:

«Доброго здоровья, Богатырев! Новость очень радостная. Уполномочиваем тебя вести с сердобцами переговоры и любой ценой склонить их на сдачу. Предлагаю пойти им на уступки и посулить, что примем полк целиком и даже обезоруживать не будем. Непременным условием поставь захват и выдачу коммунистов, комиссара полка, а главное — наших вешенских, еланских и усть-хоперских коммунистов. Пускай обязательно захватят батарею, обоз, материальную часть. Всемерно ускорь это дело! К месту, куда прибудет полк, стяни побольше своих сил, потихоньку окружи и сейчас же приступи к обезоруживанию. Ежели зашеборшат — выбей их всех до одного человека. Действуй осторожно, но решительно. Как только обезоружишь — направляй гуртом весь полк в Вешенскую. Гони их правой стороной, так удобнее, затем что на этой и фронт будет дальше, и степь голая, — не уйдут, ежели опамятуются и вздумают убегать. Направляй их над Доном, по хуторам, а вназирку за ними пошли две конные сотни. В Вешках мы их по два, по три бойца рассортируем по сотням, поглядим, как они будут своих бить. А там — не наше дело печаль: соединимся со своими, какие за Донцом, они их тогда пускай судят и делают с ними, что хотят. По мне, хоть всех пускай перевешают. Не жалко. Радуюсь твоей успешности. Каждодневно сообщай нарочным.

Кудинов.»

В приписке стояло:

«Ежели наших местных коммунистов сердобцы выдадут — гони их под усиленным конвоем в Вешки, тоже по хуторам. Но сначала пропусти сердобцев. В конвой поручи отобрать самых надежных казаков (полютей да стариковатых), пускай они их гонют и народу широко заранее оповещают. Нам об них и руки поганить нечего, их бабы кольями побьют, ежели дело умело и с умом поставить. Понял? Нам эта политика выгодней: расстреляй их — слух дойдет и до красных, — мол, пленных расстреливают: а эдак проще, народ на них натравить, гнев людской спустить, как цепного кобеля. Самосуд — и все. Ни спроса, ни ответа!»

XLVIII

12 апреля 1-й Московский полк был жестоко потрепан в бою с повстанцами под хутором Антоновом Еланской станицы.

Плохо зная местность, красноармейские цепи с боем сошли в хутор. Редкие казачьи дворы, словно на островах, угнездились на крохотных участках твердой супесной земли, а замощенные хворостом улицы и проулки были проложены по невылазной болотистой топи.

Хутор тонул в густейшей заросли ольшаника, в мочажинной, топкой местности. На искрайке его протекала речка Бланка, мелководная, но с илистым, стрямким дном.

Цепью пошли стрелки 1-го Московского сквозь хутор, но едва миновали первые дворы и вошли в ольшаник, как обнаружилось, что цепью пересечь ольшаник нельзя. Командир 2-го батальона — упрямый латыш — не слушал доводов ротного, еле выручившего из глубокого просова свою застрявшую лошадь, скомандовал: «Вперед!» — и первый смело побрел по зыбкой покачивающейся почве. Заколебавшиеся было красноармейцы двинулись следом за ним, на руках неся пулеметы. Прошли саженей пятьдесят, по колено увязая в иле, и вот тут-то с правого фланга покатилось по цепи: «Обходят!», «Казаки!», «Окружили!»

Две повстанческие сотни действительно обошли батальон, ударили с тыла.

В ольшанике 1-й и 2-й батальоны потеряли почти треть состава, отступили.

В этом бою самодельной повстанческой пулей был ранен в ногу Иван Алексеевич. Его на руках вынес Мишка Кошевой и, за малым не заколов красноармейца, скакавшего по дамбе, заставил взять раненого на патронную двуколку.

Полк был опрокинут, отброшен до хутора Еланского. Поражение губительно отозвалось на исходе наступления всех красноармейских частей, продвигавшихся по левой стороне Дона. Малкин из Букановской вынужден был отойти на двадцать верст севернее, в станицу Слащевскую; а потом, теснимый повстанческими силами, развивавшими бешеное наступление и во много раз численно превосходившими малкинскую дружину, за день до ледохода переправился через Хопер, утопив нескольких лошадей, и двинулся на станицу Кумылженскую.

1-й Московский, отрезанный ледоходом в устье Хопра, переправился через Дон на правобережье; ожидая пополнения, стал в станице Усть-Хоперской. Вскоре туда прибыл Сердобский полк. Кадры его по составу резко отличались от кадров 1-го Московского. Рабочие — москвичи, туляки, нижегородцы, составлявшие боевое ядро Московского полка, — дрались мужественно, упорно, неоднократно сходясь с повстанцами врукопашную, ежедневно теряя убитыми и ранеными десятки бойцов. Только ловушка в Антоновом временно вывела полк из строя, но, отступая, он не оставил врагам ни единой обозной двуколки, ни единой патронной цинки. А рота сердобцев в первом же бою под хутором Ягодинским не выдержала повстанческой конной атаки; завидя казачью лаву, бросила окопы и, несомненно, была бы вырублена целиком, если б не пулеметчики-коммунисты, отбившие атаку шквальным пулеметным огнем.

Сердобский полк наспех сформировался в городе Сердобске. Среди красноармейцев — сплошь саратовских крестьян поздних возрастов — явно намечались настроения, ничуть не способствовавшие поднятию боевого духа. В роте было удручающе много неграмотных и выходцев из зажиточно-кулацкой части деревни. Комсостав полка наполовину состоял из бывших офицеров; комиссар — слабохарактерный и безвольный человек — не пользовался среди красноармейцев авторитетом; а изменники — командир полка, начштаба и двое ротных командиров, — задумав сдать полк, на глазах ничего не видевшей ячейки вели преступную работу по деморализации красноармейской массы через посредство контрреволюционно настроенных, затесавшихся в полк кулаков, вели против коммунистов искусную агитацию, сеяли неверие в успешность борьбы по подавлению восстания, подготовляя сдачу полка.

Штокман, стоявший на одной квартире с тремя сердобцами, тревожно присматривался к красноармейцам и окончательно убедился в серьезнейшей угрозе, нависшей над полком, после того как однажды резко столкнулся с сердобцами.

27-го, уже в сумерки, на квартиру пришли двое сердобцев второй роты. Один из них, по

фамилии Горигасов, не поздоровавшись, с поганенькой улыбочкой посматривая на Штокмана и лежавшего на кровати Ивана Алексеевича, сказал:

— Довоевались! Дома хлеб у родных забирают, а тут приходится воевать неизвестно за что…

— Тебе неизвестно, за что ты воюешь? — резко спросил Штокман.

— Да, неизвестно! Казаки — такие же хлеборобы, как и мы! Знаем, против чего они восстали! Знаем…

— А ты, сволочь, знаешь, чьим ты языком говоришь? Белогвардейским! — вскипел обычно сдержанный Штокман.

— Ты особенно-то не сволочи! А то получишь по усам!.. Слышите, ребята? Какой нашелся!

— Потише! Потише, бородатый! Мы вас, таковских, видывали! — вмешался другой, низенький и плотный, как мучной куль. — Ты думаешь, если ты коммунист, так можешь нам на горло наступать? Смотри, а то мы из тебя выбьем норов!

Он заслонил собою щупленького Горигасова, напирал на Штокмана, заложив куцые сильные руки за спину, играя глазами.

— Вы что же это?.. Все белым духом дышите? — задыхаясь, спросил Штокман и с силой оттолкнул наступавшего на него красноармейца.

Тот качнулся, вспыхнул, хотел было ухватить Штокмана за руку, но Горигасов его остановил:

— Не связывайся!

— Это — контрреволюционные речи! Мы вас будем судить, как предателей Советской власти!

— Весь полк не отправишь в трибунал! — ответил один из красноармейцев, стоявших вместе со Штокманом на одной квартире.

Его поддержали:

— Коммунистам и сахар и папиросы, а нам — нету!

— Брешешь! — крикнул Иван Алексеевич, приподнимаясь на кровати. — То же, что и вы, получаем!..

Слова не говоря, Штокман оделся, вышел. Его не стали задерживать, но проводили насмешливыми восклицаниями.

Штокман застал комиссара полка в штабе. Он вызвал его в другую комнату, взволнованно передал о стычке с красноармейцами, предложил произвести аресты их. Комиссар выслушал его, почесывая огненно-рыжую бородку, нерешительно поправляя очки в черной роговой оправе.

— Завтра соберем собрание ячейки, обсудим положение. А арестовывать этих ребят я не считаю возможным в данной обстановке.

— Почему? — резко спросил Штокман.

— Знаете ли, товарищ Штокман… Я сам замечаю, что у нас в полку неблагополучно, вероятно, существует какая-то контрреволюционная организация, но прощупать ее не удается. А в сфере ее влияния — большинство полка. Крестьянская стихия, что поделаешь! Я сообщил о настроениях красноармейцев и предложил отвести полк и расформировать его.

— Почему вы не считаете возможным арестовать сейчас же этих агентов белогвардейщины и направить их в Ревтрибунал дивизии? Ведь такие разговоры — прямая измена!

— Да, но это может вызвать нежелательные эксцессы и даже восстание.

— Вот как? Так почему же вы, видя такое настроение большинства, давно не сообщили в

политотдел?

— Я же вам сказал, что сообщил. Из Усть-Медведицы что-то медлят с ответом. Как только полк отзовут, мы строго покараем всех нарушителей дисциплины, и в частности тех красноармейцев, которые говорили сообщенное вами сейчас… — Комиссар, нахмурясь, шепотом добавил: — У меня на подозрении Вороновский и… начштаба Волков. Завтра же после собрания ячейки я выеду в Усть-Медведицу. Надо принять срочные меры по локализации этой опасности. Прошу вас держать в секрете наш разговор.

— Но почему нельзя сейчас созвать собрание коммунистов? Ведь время не терпит, товарищ!

— Я понимаю. Но сейчас невозможно. Большинство коммунистов в заставах и секретах… Я настоял на этом, так как доверять беспартийным в таком положении — неосмотрительно. Да и батарея, а в ней большинство коммунистов, только сегодня ночью прибудет с Крутовского. Вызвал в связи вот с этими волнениями в полку.

Штокман вернулся из штаба, в коротких чертах передал Ивану Алексеевичу и Мишке Кошевому разговор с комиссаром полка.

— Ходить ты еще не можешь? — спросил он у Ивана Алексеевича.

— Хромаю. Раньше-то боялся рану повредить, ну, а уж зараз, хочешь — не хочешь, а придется ходить.

Ночью Штокман написал подробное сообщение о состоянии полка и в полночь разбудил Кошевого. Засовывая пакет ему за пазуху, сказал:

— Сейчас же добудь себе лошадь и скачи в Усть-Медведицу. Умри, а передай это письмо в политотдел Четырнадцатой дивизии… За сколько часов будешь там? Где думаешь лошадь добыть?

Мишка, кряхтя, набивал на ноги рыжие ссохшиеся сапоги, с паузами отвечал:

— Лошадь украду… у конных разведчиков, а доеду до Усть-Медведицы… самое многое… за два часа. Лошади-то в разведке плохие, а то бы… за полтора! В атарщиках служил… Знаю, как из лошади… всею резвость выжать.

Мишка перепрятал пакет, сунув его в карман шипели.

— Это зачем? — спросил Штокман.

— Чтобы скорее достать, ежели сердобцы схватят.

— Ну? — все недопонимал Штокман.

— Вот тебе и «ну»! Как будут хватать — достану и заглону его.

— Молодец! — Штокман скупо улыбнулся, подошел к Мишке и, словно томимый тяжким предчувствием, крепко обнял его, с силой поцеловал холодными дрожащими губами. — Езжай.

Мишка вышел, благополучно отвязал от коновязи одну из лучших лошадей конной разведки, шагом миновал заставу, все время держа указательный палец на спуске новенького кавалерийского карабина, — бездорожно выбрался на шлях. Только там перекинул он ремень карабина через плечо, начал вовсю «выжимать» из куцехвостой саратовской лошаденки несвойственную ей резвость.

XLIX

На рассвете стал накрапывать мелкий дождь. Зашумел ветер. С востока надвинулась черная буревая туча. Сердобцы, стоявшие на одной квартире со Штокманом и Иваном Алексеевичем, встали, ушли, едва забрезжило утро. Полчаса спустя прибежал еланский

коммунист Толкачев, — как и Штокман со своими ребятами, приставший к Сердобскому полку. Открыв дверь, он крикнул задыхающимся голосом:

— Штокман, Кошевой, дома? Выходите!

— В чем дело? Иди сюда! — Штокман вышел в переднюю комнату, на ходу натягивая шинель. — Иди сюда!

— Беда! — шептал Толкачев, следом за Штокманом входя во вторую комнату. — Сейчас пехота хотела разоружить возле станицы… возле станицы подъехавшую с Крутовского батарею. Была перестрелка… Батарейцы отбили нападение, орудийные замки сняли и на баркасах переправились на ту сторону…

— Ну, ну? — торопил Иван Алексеевич, со стоном натягивая на раненую ногу сапог.

— А сейчас возле церкви — митинг… Весь полк…

— Собирайся живо! — приказал Ивану Алексеевичу Штокман и схватил Толкачева за рукав теплушки. — Где комиссар? Где остальные коммунисты?..

— Не знаю… Кое-кто убежал, а я — к вам. Телеграф занят, никого не пускают… Бежать надо! А как бежать? — Толкачев растерянно опустился на сундук, уронив меж колен руки.

В это время по крыльцу загремели шаги, в хату толпою ввалились человек шесть красноармейцев-сердобцев. Лица их были разгорячены, исполнены злой решимости.

— Коммунисты, на митинг! Живо!

Штокман обменялся с Иваном Алексеевичем взглядом, сурово поджав губы:

— Пойдем!

— Оружие оставьте. Не в бой идете! — предложил было один из сердобцев, но Штокман, будто не слыша, повесил на плечо винтовку, вышел первый.

Тысяча сто глоток вразноголось ревели на площади. Жителей Усть-Хоперской станицы не было видно. Они попрятались по домам, страшась событий (за день до этого по станице упорные ходили слухи, что полк соединяется с повстанцами и в станице может произойти бой с коммунистами). Штокман первый подошел к глухо гомонившей толпе сердобцев, зашарил глазами, разыскивая кого-либо из командного состава полка. Мимо провели комиссара полка. Двое держали его за руки. Бледный комиссар, подталкиваемый сзади, вошел в гущу непостроенных красноармейских рядов. На несколько минут Штокман потерял его из виду, а потом увидел уже в середине толпы стоящим на вытащенном из чьего-то дома ломберном столе. Штокман оглянулся. Позади, опираясь на винтовку, стоял охромевший Иван Алексеевич, а рядом с ним те красноармейцы, которые пришли за ними.

— Товарищи красноармейцы! — слабо зазвучал голос комиссара. — Митинговать в такое время, когда враг от нас — в непосредственной близости… Товарищи!

Ему не дали продолжать речь. Около стола, как взвихренные ветром, заколебались серые красноармейские папахи, закачалась сизая щетина штыков, к столику протянулись сжатые в кулаки руки, по площади, как выстрелы, зазвучали озлобленные короткие вскрики:

— Товарищами стали!

— Кожаную тужурочку-то скидывай!

— Обманул!

— На кого ведете?!

— Тяни его за ноги!

— Бей!

— Штыком его!

— Откомиссарился!

Штокман увидел, как огромный немолодой красноармеец влез на столик, сцапал левой рукой короткий рыжий оклад комиссаровой бородки. Столик качнулся, и красноармеец

вместе с комиссаром рухнули на протянутые руки стоявших кругом стола. На том месте, где недавно был ломберный стол, вскипело серое месиво шинелей; одинокий отчаянный крик комиссара потонул в слитном громе голосов.

Тотчас же Штокман ринулся туда. Нещадно расталкивая, пиная тугие серошинельные спины, он почти рысью пробирался к месту, откуда говорил комиссар. Его не задерживали, а кулаками и прикладами толкали, били в спину, по затылку сорвали с плеча винтовку, с головы — красноверхий казачий малахай.

— Куда тебя, че-о-орт?.. — негодующе крикнул один из красноармейцев, которому Штокман больно придавил ногу.

У опрокинутого вверх ножками столика Штокману преградил дорогу приземистый взводный. Серой смушки папаха его была сбита на затылок, шинель распахнута настежь, по кирпично-красному лицу катил пот, разгоряченные, замаслившиеся неуемной злобой глаза косили.

— Куда пре-ошь?

— Слово! Слово рядовому бойцу!.. — прохрипел Штокман, едва переводя дух, и мигом поставил столик на ноги. Ему даже помогли взобраться на стол. Но по площади еще ходил перекатами яростный рев, и Штокман во всю мочь голосовых связок заорал: — Мол-ча-а-ать!.. — и через полминуты, когда поулегся шум, надорванным голосом, подавляя кашель, заговорил: — Красноармейцы! Позор вам! Вы предаете власть народа в самую тяжелую минуту! Вы колеблетесь, когда надо твердой рукой разить врага в самое сердце! Вы митингуете, когда Советская страна задыхается в кольце врагов! Вы стоите на границе прямого предательства! Поче-му?! Вас продали казачьим генералам ваши изменники-командиры! Они — бывшие офицеры — обманули доверие Советской власти и, пользуясь вашей темнотой, хотят сдать полк казакам. Опомнитесь! Вашей рукой хотят помочь душить рабоче-крестьянскую власть!

Стоявший неподалеку от стола командир 2-й роты, бывший прапорщик Вейстминстер, вскинул было винтовку, но Штокман, уловив его движение, крикнул:

— Не смей! Убить всегда успеешь! Слово — бойцу-коммунисту! Мы — коммунисты — всю жизнь… всю кровь свою… капля по капле… — голос Штокмана перешел на исполненный страшного напряжения тенорок, лицо мертвенно побледнело и перекосилось, — …отдавали делу служения рабочему классу… угнетенному крестьянству. Мы привыкли бесстрашно глядеть смерти в глаза! Вы можете убить меня…

— Слыхали!

— Будет править арапа!

— Дайте сказать!

— А ну, замолчать!

— …убить меня, но я повторяю: опомнитесь! Не митинговать надо, а идти на белых! — Штокман провел узко сведенными глазами по притихшей красноармейской толпе и заметил невдалеке от себя командира полка Вороновского. Тот стоял плечом к плечу с каким-то красноармейцем; насильственно улыбаясь, что-то шептал ему. — Ваш командир полка…

Штокман протянул руку, указывая на Вороновского, но тот, приложив ко рту ладонь, что-то встревоженно шептал стоявшему рядом с ним красноармейцу, и не успел Штокман докончить фразы, как в сыром воздухе, напитанном апрельской влагой молодого дождя, приглушенно треснул выстрел. Звук винтовочного выстрела был неполон, тих, будто хлопнули нахвостником кнута, но Штокман, лапая руками грудь, упал на колени, поник обнаженной седоватой головой… И тотчас же, качнувшись, снова вскочил на ноги.

— Осип Давыдович! — простонал Иван Алексеевич, увидев вскочившего Штокмана,

порываясь к нему, но его схватили за локти, шепнули:

— Молчи! Не рыпайся! Дай сюда винтовку, свола-ачь!

Ивана Алексеевича обезоружили, обшарили у него карманы; повели с площади. В разных концах ее обезоруживали и хватали коммунистов. В проулке, около осадистого купеческого дома вспышкой треснули пять или шесть выстрелов, — убили коммуниста-пулеметчика, не отдававшего пулемет Льюиса.

А в это время Штокман, со вспузырившейся на губах розовой кровицей, судорожно икая, весь мертвенно-белый, с минуту раскачивался, стоя на ломберном столе, и еще успел выкрикнуть, напрягши последние, уходящие силы, остаток воли:

— …Вас ввели в заблуждение!.. Предатели… они зарабатывают себе прощение, новые офицерские чины… Но коммунизм будет жить!.. Товарищи!.. Опомнитесь!..

И снова стоявший рядом с Вороновским красноармеец вскинул к плечу винтовку. Второй выстрел опрокинул Штокмана навзничь, повалил со стола под ноги красноармейцев. А на стол молодо вскочил один из сердобцев, длинноротый и плоскозубый, с изъеденным оспою лицом, зычно крикнул:

— Мы много тут слухали разных посулов, но это все, дорогие товарищи, есть голая брехня и угрозы. Скопырнулся, лежит этот бородатый оратор, но собаке — собачья смерть! Смерть коммунистам — врагам трудового крестьянства! Я скажу, товарищи, дорогие бойцы, что наши теперь открытые глаза. Мы знаем, против кого надо идти! К примеру, у нас в Вольском уезде что было говорено? Равенство, братство народов! Вот что было говорено обманщиками-коммунистами… А что на самом деле получилось? Хотя бы мой папаша — прислал нам сообщение и слезное письмо, пишет: грабеж идет несусветный среди белого дня! У того же у моего папашки хлебец весь вымели и мельничушку забрали, а декрет так провозглашает за трудовое крестьянство? Если мельничушка эта трудовым потом моих родителей нажитая, тогда, я вас спрашиваю, — это не есть грабеж коммунистов? Бить их в дым и кровь!

Оратору не пришлось закончить речь. С запада в станицу Усть-Хоперскую на рысях вошли две конные повстанческие сотни, с южного склона обдонских гор спускалась казачья пехота, под охраной полусотни съезжал со штабом командир 6-й повстанческой отдельной бригады хорунжий Богатырев.

И тотчас же из надвинувшейся с восходом тучи хлынул дождь, где-то за Доном, над Хопром разостлался глухой раскат грома.

Сердобский полк начал торопливо строиться, сдвоил ряды. И едва с горы показалась штабная конная группа Богатырева, бывший штабс-капитан Вороновский еще не слыханным красноармейцами командным рыком и клекотом в горле заорал:

— По-о-олк! Смирррр-на-ааа!..

L

Григорий Мелехов пять суток прожил в Татарском, за это время посеял себе и теще несколько десятин хлеба, а потом, как только из сотни пришел исхудавший от тоски по хозяйству, завшивевший Пантелей Прокофьевич, — стал собираться к отъезду в свою часть, по-прежнему стоявшую по Чиру. Кудинов секретным письмом сообщил ему о начавшихся переговорах с командованием Сердобского полка, попросил отправиться, принять командование дивизией.

В этот день Григорий собрался ехать в Каргинскую. В полдень повел к Дону напоить

перед отъездом коня и, спускаясь к воде, подступившей под самые прясла огородов, увидел Аксинью. Показалось ли Григорию, или она на самом деле нарочно мешкала, лениво черпая воду, поджидая его, но Григорий невольно ускорил шаг, и за короткую минуту, пока подошел к Аксинье вплотную, светлая стая грустных воспоминаний пронеслась перед ним…

Аксинья повернулась на звук шагов, на лице ее — несомненно, притворное — выразилось удивление, но радость от встречи, но давняя боль выдали ее. Она улыбнулась такой жалкой, растерянной улыбкой, так не приставшей ее гордому лицу, что у Григория жалостью и любовью дрогнуло сердце. Ужаленный тоской, покоренный нахлынувшими воспоминаниями, он придержал коня, сказал:

— Здравствуй, Аксинья дорогая!

— Здравствуй.

В тихом голосе Аксиньи прозвучали оттенки самых чужеродных чувств — и удивления, и ласки, и горечи…

— Давно мы с тобой не гутарили.

— Давно.

— Я уж и голос твой позабыл…

— Скоро!

— А скоро ли?

Григорий держал напиравшего на него коня под уздцы, Аксинья, угнув голову, крючком коромысла цепляла ведерную дужку, никак не могла зацепить. С минуту простояли молча. Над головами их, как кинутая тетивой, со свистом пронеслась чирковая утка. Ненасытно облизывая голубые меловые плиты, билась у обрыва волна. По разливу, затопившему лес, табунились белорунные волны. Ветер нес мельчайшую водяную пыль, пресный запах с Дона, могущественным потоком устремлявшегося в низовья.

Григорий перевел взгляд с лица Аксиньи на Дон. Затопленные водой бледноствольные тополя качали нагими ветвями, а вербы, опушенные цветом — девичьими сережками, пышно вздымались над водой, как легчайшие диковинные зеленые облака. С легкой досадой и огорчением в голосе Григорий спросил:

— Что же?.. Неужели нам с тобой и погутарить не об чем? Что же ты молчишь?

Но Аксинья успела овладеть собой; на похолодевшем лице ее уже не дрогнул ни единый мускул, когда она отвечала:

— Мы свое, видно, уж отгутарили…

— Ой, ли?

— Да так уж, должно быть! Деревцо-то — оно один раз в году цветет…

— Думаешь, и наше отцвело?

— А то нет?

— Чудно все это как-то… — Григорий допустил коня к воде и, глядя на Аксинью, грустно улыбнулся. — А я, Ксюша, все никак тебя от сердца оторвать не могу. Вот уж дети у меня большие, да и сам я наполовину седой сделался, сколько годов промеж нами пропастью легли… А все думается о тебе. Во сне тебя вижу и люблю доныне. А вздумаю о тебе иной раз, начну вспоминать, как жили у Листницких… как любились с тобой… и от воспоминаний этих… Иной раз, вспоминаючи всю свою жизнь, глянешь, — а она как порожний карман, вывернутый наизнанку…

— Я тоже… Мне тоже надо идтить… Загутарились мы.

Аксинья решительно подняла ведра, положила на выгнутую спину коромысла покрытые вешним загаром руки, было пошла в гору, но вдруг повернулась к Григорию лицом, и щеки ее чуть приметно окрасил тонкий, молодой румянец.

— А ить, никак, наша любовь вот тут, возле этой пристани и зачиналась, Григорий. Помнишь? Казаков в энтот день в лагеря провожали, — заговорила она, улыбаясь, и в окрепшем голосе ее зазвучали веселые нотки.

— Все помню!

Григорий ввел коня на баз, поставил к яслям. Пантелей Прокофьевич, по случаю проводов Григория с утра не поехавший боронить, вышел из-под навеса сарая, спросил:

— Что же, скоро будешь трогаться? Зерна-то дать коню?

— Куда трогаться? — Григорий рассеянно взглянул на отца.

— Доброго здоровья! Да на Каргины-то.

— Я нынче не поеду!

— Что так?

— Да так… раздумал… — Григорий облизал спекшиеся от внутреннего жара губы, повел глазами по небу. — Тучки находят, должно, дождь будет, а мне какой же край мокнуть по дождю?

— Краю нет, — согласился старик, но не поверил Григорию, так как несколько минут назад видел со скотиньего база его и Аксинью, разговаривавших на пристаньке. «Опять ухажи начались, — с тревогой думал старик. — Опять как бы не пошло у него с Натальей наперекосяк… Ах, туды его мать с Гришкой! И в кого он такой кобелина выродился? Неужели в меня?» Пантелей Прокофьевич перестал отесывать топором березовый ствол на дрожину, поглядел в сутулую спину уходившего сына и, наскоро порывшись в памяти, вспомнил, каким сам был смолоду, решил: «В меня, чертяка! Ажник превзошел отца, сучий хвост! Побить бы его, чтобы сызнова не начинал морочить Аксинье голову, не заводил смятения промеж семьи. Дак как его побить-то?»

В другое время Пантелей Прокофьевич, доглядев, что Григорий разговаривает с Аксиньей вдвоем, наиздальке от людей, не задумался бы потянуть его вдоль спины чем попадя, а в этот момент — растерялся, ничего не сказал и даже виду не подал, что догадался об истинных причинах, понудивших Григория внезапно отложить отъезд. И все это — потому, что теперь Григорий был уже не «Гришкой» — взгальным молодым казаком, а командиром дивизии, хотя и без потопов, но «генералом», которому подчинялись тысячи казаков и которого все называли теперь не иначе как Григорием Пантелеевичем. Как же мог он, Пантелей Прокофьевич, бывший всего-навсего в чине урядника, поднять руку на генерала, хотя бы и родного сына? Субординация не позволяла Пантелею Прокофьевичу даже помыслить об этом, и оттого он чувствовал себя в отношении Григория связанно, как-то отчужденно. Всему виной было необычайное повышение Григория! Даже на пахоте, когда третьего дня Григорий сурово окрикнул его: «Эй, чего рот раззявил! Заноси плуг!..» — Пантелей Прокофьевич стерпел, слова в ответ не сказал… За последнее время они как бы поменялись ролями: Григорий покрикивал на постаревшего отца, а тот, слыша в голосе его командную хрипотцу, суетился, хромал, припадая на искалеченную ногу, старался угодить…

«Дождя напужался! А его, дождя-то, и не будет, откель ему быть, когда ветер с восходу и единая тучка посередь неба мельтешится! Подсказать Наталье?»

Озаренный догадкой, Пантелей Прокофьевич сунулся было в курень, но раздумал; убоявшись скандала, вернулся к недотесанной дрожине…

А Аксинья, как только пришла домой, опорожнила ведра, подошла к зеркальцу, вмазанному в камень печи, и долго взволнованно рассматривала свое постаревшее, но все еще прекрасное лицо. В нем была все та же порочная и манящая красота, но осень жизни уже кинула блеклые краски на щеки, пожелтила веки, впряла в черные волосы редкие паутинки седины, притушила глаза. Из них уже глядела скорбная усталость.

Постояла Аксинья, а потом подошла к кровати, упала ничком и заплакала такими обильными, облегчающими и сладкими слезами, какими не плакала давным-давно.

Зимою над крутобережным скатом Обдонской горы, где-нибудь над выпуклой хребтиной спуска, именуемого в просторечье «тиберем», кружат, воют знобкие зимние ветры. Они несут с покрытого голызинами бугра белое крошево снега, сметают его в сугроб, громоздят в пласты. Сахарно искрящаяся на солнце, голубая в сумерки, бледно-сиреневая по утрам и розовая на восходе солнца повиснет над обрывом снежная громадина. Будет она, грозная безмолвием, висеть до поры, пока не подточит ее из-под исподу оттепель или, обремененную собственной тяжестью, не толкнет порыв бокового ветра. И тогда, влекомая вниз, с глухим и мягким гулом низринется она, сокрушая на своем пути мелкорослые кусты терновника, ломая застенчиво жмущиеся по склону деревца боярышника, стремительно влача за собой кипящий, вздымающийся к небу серебряный подол снежной пыли…

Многолетнему чувству Аксиньи, копившемуся подобно снежному наносу, нужен был самый малый толчок. И толчком послужила встреча с Григорием, его ласковое: «Здравствуй, Аксинья дорогая!» А он? Он ли не был ей дорог? Не о нем ли все эти годы вспоминала она ежедневно, ежечасно, в навязчивых мыслях возвращаясь все к нему же? И о чем бы ни думала, что бы ни делала, всегда неизменно, неотрывно в думках своих была около Григория. Так ходит по кругу в чигире слепая лошадь, вращая вокруг оси поливальное колесо…

Аксинья до вечера пролежала на кровати, потом встала, опухшая от слез, умылась, причесалась и с лихорадочной быстротой, как девка перед смотринами, начала одеваться. Надела чистую рубаху, шерстяную бордовую юбку, покрылась, мельком взглянула на себя в зеркальце, вышла.

Над Татарским сизые стояли сумерки. Где-то на разливе полой воды тревожно гагакали казарки. Немощно бледный месяц вставал из-под обдонских тополей. На воде лежала волнующаяся рябью зеленоватая стежка лунного света. Со степи еще засветло вернулся табун. По базам мычали не наевшиеся молодой зеленки коровы. Аксинья не стала доить свою корову. Она выгнала из закута белоноздрого телка, припустила его к матери, и телок жадно прирос губами к тощему вымени, вертя хвостом, напряженно вытянув задние ноги.

Дарья Мелехова только что подоила корову и с цедилкой и ведром в руке направилась в курень, как ее окликнули из-за плетня:

— Даша!

— Кто это?

— Это я, Аксинья… Зайди зараз ко мне на-час.

— Чего это я тебе понадобилась?

— Дюже нужна! Зайди! Ради Христа!

— Процежу вот молоко, зайду.

— Ну так я погожу тебя возле база.

— Ладно!

Спустя немного Дарья вышла. Аксинья ждала ее возле своей калитки. От Дарьи исходил теплый запах парного молока, запах скотиньего база. Она удивилась, увидев Аксинью не с подоткнутым подолом, а разнаряженную, чистую.

— Рано ты, соседка, управилась.

— Моя управа короткая без Степана. Одна корова за мной, почти не стряпаюсь… Так, всухомятку что-нибудь пожую — и все…

— Ты чего меня кликала?

— А вот зайди ко мне в курень на-час. Дело есть…

Голос Аксиньи подрагивал. Дарья, смутно догадываясь о цели разговора, молча пошла за

ней.

Не зажигая огня, Аксинья, как только вошла в горенку, открыла сундук, порылась в нем и, ухватив руку Дарьи своими сухими и горячими руками, стала торопливо надевать ей на палец кольцо.

— Чего это ты? Это, никак, кольцо? Это мне, что ли?..

— Тебе! Тебе. От меня… в память…

— Золотое? — деловито осведомилась Дарья, подходя к окну, при тусклом свете месяца рассматривая на своем пальце колечко.

— Золотое. Носи!

— Ну, спаси Христос!.. Чего нужно, за что даришь?

— Вызови мне… вызови Григория вашего.

— Опять, что ли? — Дарья догадчиво улыбнулась.

— Нет, нет! Ой, что ты! — испугалась Аксинья, вспыхнув до слез. — Мне с ним погутарить надо об Степане… Может, он ему отпуск бы исхлопотал…

— А ты чего же не зашла к нам? Там бы с ним и погутарила, раз у тебя до него дело, — съехидничала Дарья.

— Нет, нет… Наталья могет подумать… Неловко…

— Ну уж ладно, вызову. Мне его не жалко!

Григорий кончил вечерять. Он только что положил ложку, обсосал и вытер ладонью смоченные взваром усы. Почувствовал, что под столом ноги его касается чья-то чужая нога, повел глазами и заметил, как Дарья чуть приметно ему мигнула.

«Ежели она мною покойного Петра хочет заменить и зараз что-нибудь скажет про это, — побью! Поведу ее на гумно, завяжу над головою юбку и выпорю, как суку!» — озлобленно подумал Григорий, все это время хмуро принимавший ухаживания невестки. Но, вылезши из-за стола и закурив, он не спеша пошел к выходу. Почти сейчас же вышла и Дарья.

Проходя в сенцах мимо Григория, на лету прижавшись к нему грудью, шепнула:

— У, злодеюка! Иди уж… Кликала тебя.

— Кто? — дыхом спросил Григорий.

— Она.

Спустя час, после того как Наталья с детьми уснула, Григорий в наглухо застегнутой шинели вышел с Аксиньей из ворот астаховского база. Они молча постояли в темном проулке и так же молча пошли в степь, манившую безмолвием, темнотой, пьяными запахами молодой травы. Откинув полу шинели, Григорий прижимал к себе Аксинью и чувствовал, как дрожит она, как сильными редкими толчками бьется под кофтенкой ее сердце…

LI

На другой день, перед отъездом Григорий коротко объяснился с Натальей. Она отозвала его в сторону, шепотом спросила:

— Куда ночью ходил? Откель это так поздно возвернулся?

— Так уж и поздно!

— А то нет? Я проснулась — первые кочета кричали, а тебя ишо все не было…

— Кудинов приезжал. Ходил к нему по своим военным делам совет держать. Это — не твоего бабьего ума дело.

— А чего же он к нам не заехал ночевать?

— Спешил в Вешки.

— У кого же он остановился?

— У Абощенковых. Они ему какой-то дальней родней доводются, никак.

Наталья больше ни о чем не спросила. Заметно было в ней некое колебание, но в глазах посвечивала скрытность, и Григорий так и не понял — поверила или нет.

Он наскоро позавтракал. Пантелей Прокофьевич пошел седлать коня, а Ильинична, крестя и целуя Григория, зашептала скороговоркой:

— Ты бога-то… бога, сынок, не забывай! Слухом пользовались мы, что ты каких-то матросов порубил… Господи! Да ты, Гришенька, опамятуйся! У тебя ить вон, гля, какие дети растут, и у энтих, загубленных тобой, тоже, небось, детки поостались… Ну как же так можно? В измальстве какой ты был ласковый да желанный, а зараз так и живешь со сдвинутыми бровями. У тебя уж, гляди-кось, сердце как волчиное исделалось… Послухай матерю, Гришенька! Ты ить тоже не заговоренный, и на твою шею шашка лихого человека найдется…

Григорий невесело улыбнулся, поцеловал сухую материнскую руку, подошел к Наталье. Та холодно обняла его, отвернулась, и не слезы увидел Григорий в сухих ее глазах, а горечь и потаенный гнев… Попрощался с детишками, вышел…

Придерживая стремя ногой, держась за жесткую конскую гриву, почему-то подумал: «Ну вот, опять по-новому завернулась жизня, а на сердце все так же холодновато и пусто… Видно, и Аксютка зараз не сумеет заслонить эту пустоту…»

Не оглядываясь на родных, толпившихся возле ворот, он шагом поехал по улице и, проезжая мимо астаховского куреня, искоса поглядывая на окна, увидел в просвете крайнего в горнице окна Аксинью. Она, улыбаясь, махнула ему расшитой утиркой и сейчас же скомкала ее, прижала ко рту, к потемневшим от бессонной ночи глазницам…

Григорий поскакал шибкой полевой рысью. Выбрался на гору и тут увидел на летнем шляху медленно подвигавшихся навстречу ему двух всадников и подводу. В верховых узнал Антипа Бреховича и Стремянникова — молодого черненького и бойкого казачишку с верхнего конца хутора. «Битых везут», — догадался Григорий, поглядывая на бычиную подводу. Еще не поравнявшись с казаками, спросил:

— Кого везете?

— Алешку Шамиля, Томилина Ивана и Якова Подкову.

— Убитые?

— Насмерть!

— Когда?

— Вчера перед закатом солнца.

— Батарея целая?

— Целая. Это их, батарейцев-то наших, отхватили красные на квартире в Калиновом Углу. А Шамиля порубили так… дуриком!

Григорий снял папаху, слез с коня. Подводчица, немолодая казачка с Чира, остановила быков. На повозке рядком лежали зарубленные казаки. Не успел Григорий подойти к ней, как ветерком уже нанесло на него сладковато-приторный запах. Алешка Шамиль лежал в середине. Синий старенький чекменишка его был распахнут, холостой рукав был подложен под разрубленную голову, а култышка давным-давно оторванной руки, обмотанная грязной тряпочкой, всегда такая подвижная, была судорожно прижата к выпуклому заслону бездыханной груди. В мертвом оскале белозубого Алешкиного рта навек застыла лютая злоба, но полубеневшие глаза глядели на синее небо, на проплывавшее над степью облачко со спокойной и, казалось, грустной задумчивостью…

У Томилина лицо было неузнаваемо; да, собственно, и лица-то не было, а так, нечто

красное и бесформенное, наискось стесанное сабельным ударом. Лежавший на боку Яков Подкова был шафранно-желт, кривошей, оттого что ему почти начисто срубили голову. Из-под расстегнутого ворота защитной гимнастерки торчала белая кость перерубленной ключицы, а на лбу, повыше глаза, черной лучистой прозвездью кровенел пулевой надрез. Кто-то из красноармейцев, видимо, сжалившись над трудно умиравшим казаком, выстрелил в него почти в упор, так что даже ожог и черные пятнышки порохового запала остались на мертвом лице Якова Подковы.

— Ну что же, братцы, давайте помянем своих хуторян, покурим за упокой их, — предложил Григорий и, отойдя в сторону, отпустил подпруги на седле, разнуздал коня и, примотав повод к левой передней ноге его, пустил пощипать шелковистой, стрельчато вытянувшейся зеленки.

Антип и Стремянников охотно спешились, стреножили коней, пустили на попас. Прилегли. Закурили. Григорий, поглядывая на клочковатошерстого, еще не вылинявшего быка, тянувшегося к мелкому подорожнику, спросил:

— А Шамиль как погиб?

— Веришь, Пантелевич, — через свою дурь!

— Как?

— Да видишь, как оно получилось, — начал Стремянников. — Вчера, солнце с полден, выехали мы в разъезд. Платон Рябчиков сам послал нас под командой вахмистра… Чей он, Антип, вахмистр наш, с каким вчера ездили?

— А чума его знает!

— Ну да черт с ним! Он — незнакомый нам, чужой сотни. Да-а-а… Стал быть, едем мы себе, четырнадцать нас казаков, и Шамиль с нами. Он вчера весь день был веселый такой, значится, сердце его ничего ему не могло подсказать! Едем, а он култышкой своей мотает, повод на луку кинул и гутарит: «Эх, да когда уж наш Григорий Пантелев приедет! Хучь бы выпить с ним ишо да песенки заиграть!» И так, покеда доехали до Латышевского бугра, все раздишканивал:

Мы по горочкам летали
Наподобье саранчи.
Из берданочков стреляли,
Все — донские казачки!

И вот таким манером съехали мы — это уже возле ажник Топкой балки — в лог, а вахмистр и говорит: «Красных нигде, ребята, не видать. Они, должно, ишо из слободы Астаховой не выгружались. Мужики — они ленивые рано вставать, небось, досе полуднуют, хохлачьих курей варют-жарют. Давайте и мы трошки поотдохнем, а то уж и кони наши взмокрели». — «Ну, что ж, говорим, ладно». И вот спешились, лежим на траве, одного дозорного выслали на пригорок. Лежим, гляжу, Алешка покойник возля своего коня копается, чересподушечную подпругу ему отпущает. Я ему говорю: «Алексей, ты бы подпруги-то не отпущал, а то, не дай бог такого греха, прийдется естренно выступать, а ты когда ее подтянешь, подпругу-то, своей калекой-рукой?» Но он оскаляется: «Ишо скорей тебя управлюсь! Ты чего меня, кужонок зеленый, учишь?» Ну, с тем ослобонил подпругу, коня разнуздал. Лежим, кто курит, кто сказочками займается, а кто дремлет. А дозорный-то наш тем часом тоже придремал. Лег — туды ж его в перемет! — под кургашек и сны пущает. Только слышу — вроде издалека конь пырснул. Лень мне было вставать, но все ж таки встал, вылез из того лога на бугор. Глядь, а с сотейник от нас по низу балочки красные едут. Попереди у них командир на гнедом коне. Конь под ним, как илев. И дисковый пулемет везут. Я тут кубырком в лог, шумлю: «Красные! По коням!» И они могли меня узрить. Зараз же

слышим — команду у них там подают. Попадали мы на коней, вахмистр было палаш обнажил, хотел в атаку броситься. А где же там в атаку, коли нас — четырнадцать, а их полусотня, да ишо пулемет при них! Кинулись мы верхи бечь, они было полосканули из пулемета, но только видют, что пулеметом им нас не посечь, затем что спасает нас балка. Тогда они пошли в угон за нами. Но у нас кони резвей, отскакали мы, сказать, на дан длиннику, упали с коней и зачали весть отстрел. И только тут видим, что Алешки Шамиля с нами нету. А он, значит, когда поднялася томаха — к коню, черк целой рукой-то за луку, и только ногой — в стремю, а седло — коню под пузо. Не вспопашился вскочить на коня и остался Шамиль глаз на глаз с красными, а конь прибег к нам, из ноздрей ажник полымем бьет, а седло под пузой мотается. Такой полохливый зараз стал, что и человека не подпущает, храпит, как черт! Вот как Алексей дуба дал! Кабы не отпущал чересподушечную, — живой бы был, а то вот… — Стремянников улыбнулся в черненькие усики, закончил: — Он надысь все игрывал:

Уж ты, дедушка-ведмедюшка,
Задери мою коровушку, —
Опростай мою головушку…

Вот ему и опростали ее, головушку-то… Лица не призначишь! Там из него крови вышло, как из резаного быка… Посля, когда отбили красных, сбегли в этот ложок, видим — лежит. А крови под ним — огромадная лужчина, весь подплыл.

— Ну, скоро будем ехать? — нетерпеливо спросила подводчица, сдвигая с губ кутавший от загара лицо головной платок.

— Не спеши, тетка, в лепеши. Зараз доедем.

— Как же не спешить-то? От этих убиенных такой чижелый дух идет, ажник с ног шибает!

— А с чего же ему легкому духу быть? И мясу жрали покойники, и баб шшупали. А кто этими делами займается, энтот ишо и помереть не успеет, а уж зачинает приванивать. Гутарють, кубыть, у одних святых посля смерти парение идет, а по-моему — живая брехня. Какой бы святой ни был, а все одно посля смерти, по закону естества, должно из него вонять, как из обчественного нужника. Все одно и они, святые-то, через утробу пищу примают, а кишок в них обретается положенные человеку от бога тридцать аршин… — раздумчиво заговорил Антип.

Но Стремянников неизвестно отчего вскипел, крикнул:

— Да на черта они тебе нужны? Связался со святыми! Давай ехать!

Григорий попрощался с казаками, подошел к повозке прощаться с мертвыми хуторянами и только тут заметил, что они все трое разуты до боса, а три пары сапог подостланы голенищами им под ноги.

— Зачем мертвых разули?

— Это, Григорь Пантелевич, наши казаки учинили… На них, на покойниках-то, добрая обувка была, ну, в сотне и присоветовали: доброе с них посиять для энтих, у кого плохонькая на ногах справа, а плохонькую привезть в хутор. У покойников ить семьи есть. Ну детва ихняя и плохую износит… Аникушка так и оказал: «Мертвым ходить уж не придется и верхи ездить — тоже. Дайте мне Алешкины сапоги, под ними подошва дюже надежная. А то я, покуда добуду с красного ботинки, могу от простуды окочуриться».

Григорий поехал и, отъезжая, слышал, как между казаками возгорался спор. Стремянников звонким тенорком кричал:

— Брешешь ты, Брехович! На то и батяня твой был Брех! Не было из казаков святых! Все они мужичьего роду.

— Нет, был!
— Брешешь, как кобель!
— Нет, был!
— Кто?
— А Егорий-победоносец?
— Тюууу! Окстись, чумовой! Да рази ж он казак?
— Чистый донской, родом с низовой станицы, кубыть, Семикаракорской.
— Ох, и гнешь! Хучь попарил бы спервоначалу. Не казак он!
— Не казак? А зачем его при пике изображают?

Дальше Григорий не слышал. Он тронул рысью, спустился в балочку и, пересекая Гетманский шлях, увидел, как подвода и верховые медленно съезжают с горы в хутор.

Почти до самой Каргинской ехал Григорий рысью. Легонький ветерок поигрывал гривой ни разу не запотевшего коня. Бурые длинные суслики перебегали дорогу, тревожно посвистывали. Их резкий предостерегающий посвист странным образом гармонировал с величайшим безмолвием, господствовавшим в степи. На буграх, на вершинных гребнях сбоку от дороги взлетывали самцы-стрепеты. Снежно-белый, искрящийся на солнце стрепеток, дробно и споро махая крыльями, шел ввысь и, достигнув зенита в подъеме, словно плыл в голубеющем просторе, вытянув в стремительном лете шею, опоясанную бархатисто-черным брачным ожерелком, удаляясь с каждой секундой. А отлетев с сотню саженей, снижался, еще чаще трепеща крылами, как бы останавливаясь на месте. Возле самой земли, на зеленом фоне разнотравья в последний раз белой молнией вспыхивало кипенно-горючее оперенье крыльев и гасло: стрепет исчезал, поглощенный травой.

Призывное неудержимо-страстное «тржиканье» самцов слышалось отовсюду. На самом шпиле причирского бугра, в нескольких шагах от дороги, Григорий увидел с седла стрепетиный точок: ровный круг земли, аршина полтора в поперечнике, был плотно утоптан ногами бившихся за самку стрепетов. Ни былки не было внутри точка; одна серая пылица, испещренная крестиками следов, лежала ровным слоем на нем, да по обочинам на сухих стеблях бурьяна и полыни, подрагивая на ветру, висели бледно-пестрые с розовым подбоем стрепетиные перья, вырванные в бою из спин и хлупей ратоборствовавших стрепетов. Неподалеку вскочила с гнезда серенькая, невзрачная стрепетка. Горбясь, как старушонка, проворно перебирая ножками, она перебежала под куст увядшего прошлогоднего донника и, не решаясь подняться на крыло, затаилась там.

Незримая жизнь, оплодотворенная весной, могущественная и полная кипучего биения, разворачивалась в степи: буйно росли травы; скрытые от хищного человеческого глаза, в потаенных степных убежищах понимались брачные пары птиц, зверей и зверушек, пашни щетинились неисчислимыми остриями выметавшихся всходов. Лишь отживший свой век прошлогодний бурьян — перекати-поле — понуро сутулился на склонах, рассыпанных по степи сторожевых курганов, подзащитно жался к земле, ища спасения, но живительный, свежий ветерок, нещадно ломая его на иссохшем корню, гнал, катил вдоль и поперек по осиянной солнцем, восставшей к жизни степи.

Григорий Мелехов приехал в Каргинскую перед вечером. Через Чир переправился вброд; на стойле, около казачьей слободки, разыскал Рябчикова.

Наутро принял от него командование над разбросанными по хуторам частями своей 1-й дивизии и, прочитав последние присланные из штаба сводки, посоветовавшись со своим начштадивом Михаилом Копыловым, решил наступать на юг до слободы Астахове.

В частях ощущалась острая нехватка патронов. Необходимо было с боем добыть их. Это и было основной целью того наступления, которое Григорий решил предпринять.

К вечеру в Каргинскую было стянуто три полка конницы и полк пехоты. Из двадцати двух ручных и станковых пулеметов, имевшихся в дивизии, решено было взять только шесть: на остальные не было лент.

Утром дивизия пошла в наступление. Григорий, кинув где-то по дороге штаб, взял на себя командование 3-м конным полком, выслал вперед конные разъезды, походным порядком тронулся на юг, направлением на слободу Пономаревку, где, по сведениям разведки, сосредоточивались красноармейские пехотные полки 101-й и 103-й, в свою очередь готовившиеся наступать на Каргинскую.

Верстах в трех от станицы его догнал нарочный, вручил письмо от Кудинова.

«Сердобский полк сдался нам! Все солдатишки разоружены, человек двадцать из них, которые было забухтели, Богатырев свел со света: приказал порубить. Сдали нам четыре орудия (но замки проклятые коммунисты батарейцы успели поснять); более 200 снарядов и 9 пулеметов. У нас — великое ликование! Красноармейцев распихаем по пешим сотням, заставим их бить своих. Как там у тебя? Да, чуть было не забыл, захвачены твои земляки-коммунисты: Котляров, Кошевой и много еланских. Всем им наведут ухлай по дороге в Вешки. Ежели дюже нуждаешься в патронах, сообщи с сим подателем, вышлем штук 500.

Кудинов.»

— Ординарца! — крикнул Григорий.

Прохор Зыков подскакал тотчас же, но, видя, что на Григории лица нет, от испуга даже под козырек взял:

— Чего прикажешь?

— Рябчикова! Где Рябчиков?

— В хвосте колонны.

— Скачи! Живо его сюда!

Платон Рябчиков, на рыси обойдя походную колонну, поравнялся с Григорием. На белоусом лице его кожа была вышелушена ветрами, усы и брови, припаленные вешним солнцем, отсвечивали лисьей рыжиной. Он улыбался, на скаку дымил цигаркой. Темно-гнедой конь, сытый телом, нимало не сдавший за весенние месяцы, шел под ним веселой иноходью, посверкивая нагрудником.

— Письмо из Вешек? — крикнул Рябчиков, завидя около Григория нарочного.

— Письмо, — сдержанно отвечал Григорий. — Примай на себя полк и дивизию. Я выезжаю.

— Ну что же, езжай. А что за спешка? Что пишут? Кто? Кудинов?

— Сердобский полк сдался в Усть-Хопре…

— Ну-у-у? Живем ишо? Зараз едешь?

— Зараз.

— Ну, с богом. Покеда вернешься, мы уже в Астаховом будем!

«Захватить бы живым Мишку, Ивана Алексеева… Дознаться, кто Петра убил… и выручить Ивана, Мишку от смерти! Выручить… Кровь легла промеж нас, но ить не чужие ж мы?!» — думал Григорий, бешено охаживая коня плетью, наметом спускаясь с бугра.

LII

Как только повстанческие сотни вошли в Усть-Хоперскую и окружили митинговавших сердобцев, командир 6-й бригады Богатырев с Вороновским и Волковым удалились на совещание. Происходило оно тут же, возле площади, в одном из купеческих домов, и было

коротко. Богатырев, не снимая с руки плети, поздоровался с Вороновским, сказал:

— Все хорошо. Это вам зачтется. А вот как это орудий вы не могли сохранить?

— Случайность! Чистая случайность, господин хорунжий! Артиллеристы были почти все коммунисты, они оказали нашим отчаянное сопротивление, когда их начали обезоруживать: убили двух красноармейцев и, сняв замки, убежали.

— Жалко! — Богатырев кинул на стол защитную фуражку с живым следом недавно сорванной с околыша офицерской кокарды и, вытирая грязным носовым платком голо остриженную голову, пот на побуревшем лице, скуповато улыбнулся: — Ну, да и это хорошо. Вы сейчас ступайте и скажите своим солдатам… Погутарьте с ними толком, чтобы они не того… не этого… чтобы они все оружие сдали.

Вороновский, покоробленный начальственным тоном казачьего офицера, запинаясь, переспросил:

— Все оружие?

— Ну я вам повторять не буду! Сказано — все догола, значит, все.

— Однако ведь вами, господин хорунжий, и вашим командованием было же принято условие полк не разоружать? Как же так?.. Ну, я понимаю, разумеется, что пулеметы, орудия, ручные гранаты — все это мы безусловно должны сдать, а что касается вооружения красноармейцев…

— Красноармейцев теперича нет! — зло приподнимая бритую губу, повысил голос Богатырев и хлопнул по обрызганному грязью голенищу витою плетью. — Нету зараз красноармейцев, а есть солдаты, которые будут защищать донскую землю. Панятна?.. А не будут, так мы сумеем их заставить! Нечего в похоронки играть! Шкодили тут на нашей земле, да ишо какие-то там условия выдумляешь! Нету промеж нас никаких условий! Па-нят-на?

Начштаба Сердобского полка, молоденький поручик Волков, обиделся. Взволнованно бегая пальцами по пуговицам стоячего воротника своей черной суконной рубахи, ероша каракулевые завитки курчавейшего черного чуба, он резко спросил:

— Следовательно, вы считаете нас пленными? Так, что ли?

— Я тебе этого не сказал, а стало быть, нечего и наянливаться со своими угадками! — грубо оборвал его казачий комбриг, переходя на «ты» и уже явно выказывая, что собеседники его находятся от него в прямой и полной зависимости.

На минуту в комнате стало тихо. С площади доносился глухой гомон. Вороновский несколько раз прошелся по комнате, похрустел суставами пальцев, а потом на все пуговицы застегнул свой теплый, цвета хаки френч и, нервически помаргивая, обратился к Богатыреву:

— Ваш тон оскорбителен для нас и недостоин вас, как русского офицера! Я вам это прямо говорю. И мы еще посмотрим, коли вы нас на это вызвали… посмотрим, как нам поступить… Поручик Волков! Приказываю вам: идите на площадь и скажите старшинам, чтобы ни в коем случае оружие казакам не сдавали! Прикажите полку стать в ружье. Я сейчас окончу разговор с этим… с этим господином Богатыревым и приду на площадь.

Лицо Богатырева черной лапой испятнил гнев, комбриг хотел что-то сказать, но, уже осознавая, что сильно переборщил, сдержался и тотчас же круто переменил обращение. Рывком нахлобучив фуражку, все еще люто поигрывая махорчатой плетью, заговорил, и в голосе его появились неожиданная мягкость и предупредительность:

— Господа, вы не так меня изволили понять. Я, конечно, воспитаниев не получал особых таких, в юнкерских школах не проходил наук и, может, не так объяснялся, ну да ить оно и не всякое лыко должно быть в строку. Мы ить все ж таки свои люди! Обиды промеж нас не должно быть. Как я сказал? Я сказал только, что надо зараз же ваших красноармейцев разоружить, особо какие из них для нас и для вас ненадежные… Я про этих и говорил!

— Так позвольте же! Надо было объясниться яснее, господин хорунжий! И потом, согласитесь, что ваш вызывающий тон, все ваше поведение… — Вороновский пожал плечами и уже миролюбивей, но с оттенком неостывшего негодования продолжал: — Мы сами думали, что колеблющихся, неустойчивых надо обезоружить и передать в ваше распоряжение…

— Вот-вот! Это самое!

— Так ведь и я же говорю, что мы решили сами их обезоружить. А что касается нашего боевого ядра, то мы его сохраним. Сохраним во что бы то ни стало! Я сам или вот поручик Волков, которому вы, не будучи с ним коротко знакомы, сочли позволительным для себя «тыкать»… Мы возьмем на себя командование и сумеем с честью смыть с себя позор нашего пребывания в рядах Красной Армии. Вы должны предоставить нам эту возможность.

— Сколько штыков будет в этой вашей ядре?

— Приблизительно около двухсот.

— Ну что же, ладно, — нехотя согласился Богатырев. Он встал, приоткрыл дверь в коридор, зычно крикнул: — Хозяйка! — и когда в дверях появилась пожилая, покрытая теплым платком женщина, приказал: — Пресного молока! На одной ноге мне!

— Молока у нас нет, извините, пожалуйста.

— Для красных, небось, было, а как нам — нету? — кисло улыбнулся Богатырев.

Снова неловкая тишина установилась в комнате. Поручик Волков прервал ее:

— Мне идти?

— Да, — со вздохом отвечал Вороновский. — Идите и прикажите, чтобы были разоружены те, которые намечены у нас по спискам. Списки у Горигасова и Вейстминстера.

Только задетое офицерское самолюбие понудило его сказать, что, дескать, «мы еще посмотрим, как нам поступить». На самом деле штабс-капитан Вороновский прекрасно понимал, что игра его сыграна и отступать уже некуда. По имевшимся у него сведениям, из Усть-Медведицы уже двигались и с часу на час должны были прибыть силы, брошенные штабом на разоружение мятежного Сердобского полка. Но и Богатырев успел осознать, что Вороновский — надежный и абсолютно безопасный человек, которому теперь попятиться назад уже нельзя. Комбриг на свою ответственность согласился на сформирование из надежной части полка самостоятельной боевой единицы. На этом совещание окончилось.

А тем временем на площади повстанцы, не дожидаясь результатов совещания, уже приступили к энергичным действиям по разоружению сердобцев. По обозным полковым фурманкам и двуколкам шарили жадные казачьи глаза и руки, повстанцы брали нарасхват не только патроны, но и толстоподошвенные желтые красноармейские ботинки, мотки обмоток, теплушки, ватные штаны, продукты. Человек двадцать сердобцев, воочию убедясь, как выглядит казачье самоуправство, попытались было оказать сопротивление. Один из них ударил прикладом обыскивавшего его повстанца, спокойно переложившего кошелек красноармейца к себе в карман, крикнул:

— Грабитель! Что берешь?! Даешь назад, а то — штыком!

Его поддержали товарищи. Взметнулся возмущенный крик:

— Товарищи, к оружию!

— Нас обманули!

— Не давай винтовок!

Возникла рукопашная, и сопротивлявшихся красноармейцев оттеснили к забору; конные повстанцы, поощряемые командиром 3-й конной сотни, вырубили их в две минуты.

С приходом на площадь поручика Волкова разоружение пошло еще успешнее. Под проливным дождем обыскивали выстроившихся красноармейцев. Тут же неподалеку от строя

складывали в «костры» винтовки, гранаты, имущество полковой телефонной команды, ящики винтовочных патронов и пулеметных лент…

Богатырев прискакал на площадь и, во все стороны поворачиваясь перед строем сердобцев на своем разгоряченном, переплясывающем коне, угрожающе подняв над головой толстенную витую плеть, крикнул:

— Слу-шай сюда! Вы с нонешнего дня будете биться с злодеями-коммунистами и ихними войсками. Кто пойдет с нами бесперечь — энтот будет прощен, а кто взноровится — тому вот такая же будет награда! — и указал плетью на порубленных красноармейцев, уже раздетых казаками до белья, сваленных в бесформенную, мокнущую под дождем белую кучу.

По красноармейским рядам рябью прошел тихий шепот, но никто не сказал полным голосом ни одного слова протеста, ни один не изломал рядов…

Всюду толпами и вразбивку шныряли пешие и верховые казаки. Они плотным кольцом окружали площадь. А возле церковной ограды, на пригорке, стояли повернутые в сторону красноармейских шеренг полоротые, выкрашенные в зеленое сердобские пулеметы, и около них, за щитками, в готовности присели намокшие казаки-пулеметчики…

Через час Вороновский и Волков отобрали по спискам «надежных». Их оказалось сто девяносто четыре человека. Вновь сформированная часть получила название «1-го отдельного повстанческого батальона»; в этот же день она вышла на позиции к хутору Белавинскому, откуда вели наступление кинутые с Донца полки 23-й кавалерийской дивизии. По слухам, шли красные полки15-й под командой Быкадорова, а 32-й вел знаменитый Мишка Блинов. Шли они, сокрушая противостоявшие им повстанческие сотни. Одну из них, спешно выставленную каким-то хутором Усть-Хоперского юрта, искрошили в дым. Против Блинова и решил Богатырев выставить батальон Вороновского, опробовать стойкость его в боевом крещении…

Остальные сердобцы, восемьсот с лишним человек, были направлены пешим порядком по-над Доном в Вешенскую — так, как в письме на имя Богатырева в свое время приказывал командующий повстанческими силами Кудинов. Вназирку за ними пошли обдонским бугром три конные сотни, вооруженные сердобскими пулеметами.

Перед отъездом из Усть-Хоперской Богатырев отслужил в церкви молебен и, едва кончился возглас попа, молившего о даровании победы «христолюбивому казачьему воинству», — вышел. Ему подвели коня. Сел, поманил к себе командира одной из сотен, заслоном оставленных в Усть-Хоперской, — перегнувшись с седла, шепнул ему на ухо:

— Коммунистов охраняй дюжей, чем пороховой погреб! Завтра с утра гони их в Вешенскую под надежным конвоем. А нонче пошли по хуторам гонцов, чтобы оповестили, каких типов гоним. Их народ будет судить своим судом!

С тем уехал.

LIII

Над хутором Сингином Вешенской станицы в апрельский полдень появился аэроплан. Привлеченные глухим рокотом мотора, детишки, бабы и старики выбежали из куреней, задрав головы, приложив к глазам щитки ладоней, долго глядели, как аэроплан в заволоченном пасмурью поднебесье, кренясь, описывает коршунячьи круги. Гул мотора стал резче, звучней. Аэроплан шел на снижение, выбрав для посадки ровную площадку за хутором, на выгоне.

— Зараз начнет бонбы метать! Держися! — испуганно крикнул какой-то догадливый дед.

И собравшаяся на проулке толпа брызнула врассыпную. Бабы волоком тянули взревевшихся детишек, старики с козлиной сноровкой и проворством прыгали через плетни, бежали в левады. На проулке осталась одна старуха. Она тоже было побежала, но то ли ноги подломились от страха, то ли споткнулась о кочку, только упала, да так и осталась лежать, бесстыже задрав тощие ноги, безголосо взывая:

— Ой, спасите, родимые! Ой, смертынька моя!

Спасать старуху никто не вернулся. А аэроплан, страшно рыча, с буревым ревом и свистом пронесся чуть повыше амбара, на секунду закрыл своей крылатой тенью белый свет от вытаращенных в смертном ужасе старухиных очей, — пронесся и, мягко ударившись колесами о влажную землю хуторского выгона, побежал в степь. В этот-то момент со старухой и случился детский грех. Она лежала полумертвая, ничего ни под собой, ни вокруг себя не слыша, не чуя. Понятно, что она не могла видеть, как наиздальке из страшной приземлившейся птицы вышли два человека в черной кожаной одежде и, нерешительно потоптавшись на месте, озираясь, тронулись ко двору.

Но схоронившийся в леваде, в прошлогодней заросли ежевичника, старик ее был мужественный старик. Хоть сердце у него и колотилось, как у пойманного воробья, но он все же имел смелость смотреть. Он-то и узнал в одном из подходивших к его двору людей офицера Богатырева Петра, сына своего полчанина. Петр, доводившийся Григорию Богатыреву — командиру 6-й повстанческой отдельной бригады — двоюродным братом, отступил с белыми за Донец. Но это был, несомненно, он.

Старик с минуту пытливо вглядывался, по-заячьи присев и свесив руки. Окончательно убедившись, что медленно, вразвалку идет доподлинный Петро Богатырев, такой же голубоглазый, каким видели его в прошлом году, лишь немного обросший щетинкой давно не бритой бороды, — старик поднялся на ноги, попробовал, могут ли они его держать. Ноги только слегка подрагивали в поджилках, но держали исправно, и старик иноходью засеменил из левады.

Он не подошел к поверженной в прах старухе, а прямиком направился к Петру и его спутнику, издали снял с лысой головы свою выцветшую казачью фуражку. И Петр Богатырев узнал его, приветствовал помахиванием руки, улыбкой. Сошлись.

— Позвольте узнать, истинно ли это вы, Петро Григорич?

— Я самый, дедушка!

— Вот сподобил господь на старости годов увидеть летучую машину! То-то мы ее и перепужались!

— Красных поблизости нету, дедушка?

— Нету, нету, милый! Прогнали их ажник куда-то за Чир, в хохлы.

— Наши казаки тоже восстали?

— Встать-то встали, да уж многих и обратно положили.

— Как?

— Побили то есть.

— Ааа… Семья моя, отец — все живые?

— Все. А вы из-за Донца? Моего Тихона не видали там?

— Из-за Донца. Поклон от Тихона привез. Ну ты, дедушка, покарауль нашу машину, чтобы ребятишки ее не трогали, а я — домой… Пойдемте!

Петр Богатырев и его спутник пошли. А из левад, из-под сараев, из погребов и всяческих щелей выступил спасавшийся там перепуганный народ. Толпа окружила аэроплан, еще дышавший жаром нагретого мотора, пахучей гарью бензина и масла. Обтянутые полотном крылья его были во многих местах продырявлены пулями и осколками снарядов. Невиданная

машина стояла молчаливая и горячая, как загнанный конь.

Дед — первый встретивший Петра Богатырева — побежал в проулок, где лежала его поваленная ужасом старуха, хотел обрадовать ее сведениями о сыне Тихоне, отступившем в декабре с окружным правлением. Старухи в проулке не было. Она успела дойти до куреня и, забившись в кладовку, торопливо переодевалась: меняла на себе рубаху и юбку. Старик с трудом разыскал ее, крикнул:

— Петька Богатырев прилетел! От Тихона низкий поклон привез! — и несказанно возмутился, увидев, что старуха его переодевается. — Чего это ты, старая карга, наряжаться вздумала? Ах, фитин твоей матери! И кому ты нужна, чертяка облезлая? Чисто — молоденькая!

…Вскоре в курень к отцу Петра Богатырева пришли старики. Каждый из них входил, снимал у порога шапку, крестился на иконы и чинно присаживался на лавку, опираясь на костыль. Завязался разговор. Петр Богатырев, потягивая из стакана холодное неснятое молоко, рассказал о том, что прилетел он по поручению донского правительства, что в задачу его входит установить связь с восставшими верхнедонцами и помочь им в борьбе с красными доставкой на самолетах патронов и офицеров. Сообщил, что скоро Донская армия перейдет в наступление по всему фронту и соединится с армией повстанцев. Попутно Богатырев пожурил стариков за то, что плохо воздействовали на молодых казаков, бросивших фронт и пустивших на свою землю красных. Закончил он свою речь так:

— Но… уже поскольку вы образумились и прогнали из станиц Советскую власть, то донское правительство вас прощает.

— А ить у нас, Петро Григорич, Советская власть зараз, за вычетом коммунистов. У нас ить и флак не трех цветов, а красный с белым, — нерешительно сообщил один из стариков.

— Даже в обхождении наши молодые-то, сукины дети, неслухменники, один одного «товарищем» козыряют! — вставил другой.

Петр Богатырев улыбнулся в подстриженные рыжеватые усы и, насмешливо сощурив круглые голубые глаза, сказал:

— Ваша Советская власть, — как лед на провесне. Чуть солнце пригреет — и она сойдет. А уж зачинщиков, какие под Калачом фронт бросали, как только вернемся из-за Донца, пороть будем!

— Пороть, окаянных, до крови!

— Уж это форменно!

— Пороть! Пороть!

— Всенародно сечь, покеда пообмочутся! — обрадованно загомонили старики.

К вечеру, оповещенные коннонарочным, на взмыленной тройке, запряженной в тарантас, прискакали в Сингин командующий повстанческими войсками Кудинов и начштаба Илья Сафонов.

Грязи не обмахнув с сапог и брезентовых плащей, донельзя обрадованные прилетом Богатырева, они чуть не на рысях вбежали в богатыревский курень.

LIV

Двадцать пять коммунистов, выданных повстанцам Сердобским полком, под усиленным конвоем выступили из Усть-Хоперской. О побеге нельзя было и думать. Иван Алексеевич, хромая в середине толпы пленных, с тоскою и ненавистью оглядывал окаменевшие в злобе лица казаков-конвоиров, думал: «Наведут нам концы! Если не будет суда — пропадем!»

Среди конвоиров преобладали бородачи. Командовал ими старик старовер, вахмистр Атаманского полка. С самого начала, как только вышли из Усть-Хоперской, он приказал пленным не разговаривать, не курить, не обращаться с вопросами к конвоирам.

— Молитвы читайте, анчихристовы слуги! На смерть идете, нечего грешить в остатние часы! У-у-у! Забыли бога! Предались нечистому! Заклеймились вражьим клеймом! — И то поднимал наган-самовзвод, то теребил надетый на шею витой револьверный шнур.

Среди пленных было лишь двое коммунистов из комсостава Сердобского полка, — остальные, за исключением Ивана Алексеевича, все иногородние станицы Еланской, рослые и здоровые ребята, вступившие в партию с момента прихода в станицу советских войск, служившие милиционерами, председателями хуторских ревкомов, после восстания бежавшие в Усть-Хоперскую и влившиеся в Сердобский полк.

В прошлом почти все они были ремесленниками: плотники, столяры, бондари, каменщики, печники, сапожники, портные. Старшему из них на вид было не более тридцати пяти, самому молодому — лет двадцать. Плотные, красивые здоровяки, с крупными руками, раздавленными тяжелым физическим трудом, широкоплечие и грудастые, по внешнему виду они резко отличались от сгорбленных стариков конвоиров.

— Судить нас будут, как думаешь? — шепнул шагавший рядом с Иваном Алексеевичем один из еланских коммунистов.

— Едва ли…

— Побьют?

— Должно быть.

— Да ведь у них же нет расстрелов? Казаки так говорили, помнишь?

Иван Алексеевич промолчал, но и у него искрой на ветру схватилась надежда: «А ить верно! Им нас нельзя будет расстрелять. У них, у сволочей, лозунг был выкинутый: „Долой коммуну, грабежи и расстрелы!“ Они, по слухам, только на каторгу осуждали… Осудят к розгам, к каторге. Ну, да это не страшно! На каторге посидим до зимы, а зимою, как только Дон станет, наши опять их нажмут!..»

Вспыхнула было надежда и погасла, как искра на ветру: «Нет, побьют! Озлели, как черти! Прощай, жизня!.. Эх, не так бы надо! Воевал с ними и их же жалел сердцем… Не жалеть надо было, а бить и вырубать все до корня!»

Он стиснул кулаки, зашевелил в бессильной ярости плечами и тотчас же споткнулся, чуть не упал от удара сзади в голову.

— Ты чего кулачья сучишь, волчий блуд? Ты чего, спрашиваю, кулачья сучишь?! — загремел, наезжая на него конем, вахмистр, начальник конвоя.

Он ударил Ивана Алексеевича еще раз плетью, рассек ему лицо наискось от надбровной кости до крутого, с ямочкой посредине, подбородка.

— Кого бьешь! Меня ударь, папаша! Меня! Он же раненый, за что ты его, — с просящей улыбкой, с дрожью в голосе крикнул один из еланцев и, шагнув из толпы, выставил вперед крутую плотницкую грудь, заслонив Ивана Алексеевича.

— И тебе хватит! Бейте их, станишники! Бей коммунов!

Плеть с такой силой разрубила защитную летнюю рубаху на плече еланца, что лоскутья свернулись, как листья, припаленные огнем. Омочив их, из раны, из стремительно вздувшегося рубца потекла черная убойная кровь…

Вахмистр, задыхаясь от злобы, топча конем пленных, врезался в гущу толпы, начал нещадно работать плетью…

Еще один удар обрушился на Ивана Алексеевича. В глазах его багряные сверкнули зарницы, качнулась земля и словно бы наклонился зеленый лес, опушиной покрывавший

противоположное песчаное левобережье.

Иван Алексеевич схватился своей мослаковатой рукой за стремя, хотел рвануть с седла озверевшего вахмистра, но удар тупяком шашки опрокинул его на землю, в рот поползла удушливая ворсистая, пресная пыль, из носа и ушей, обжигая, хлестнула кровь.

Конвойные били их, согнав в кучу, как овец, били долго и жестоко. Будто сквозь сон, слышал лежавший на дороге ничком Иван Алексеевич глухие вскрики, гулкий топот ног вокруг себя, бешеное всхрапывание лошадей. Клуб теплой лошадиной пены упал ему на обнаженную голову, и почти сейчас же где-то очень близко, над самой его головой, прозвучало короткое и страшное мужское рыдание, крик:

— Сволочи! Безоружных бьете!.. У-у-у!..

На раненую ногу Ивана Алексеевича наступила лошадь, тупые шипы подковы вдавились в мякоть голени, вверху зазвучали гулкие и быстро чередующиеся звуки ударов… Минута — затем грузное мокрое тело, остро пахнущее горьким потом и солонцеватым запахом крови, рухнуло рядом с Иваном Алексеевичем, и он, еще не окончательно потеряв сознание, услышал: из горла упавшего человека, как из горлышка опрокинутой бутылки, забулькала кровь…

А потом их толпою согнали в Дон, заставили обмыть кровь. Стоя по колено в воде, Иван Алексеевич мочил жарко горевшие раны и опухоли от побоев, разгребал ладонью смешанную со своей же кровью воду, жадно пил ее, боясь, что не успеет утолить неутишно вполыхавшую жажду.

По дороге их обогнал верховой казак. Темно-гнедая лошадь его, по-весеннему ярко лоснившаяся от сытости и пота, шла шибкой игристой рысью. Верховой скрылся в хуторе, и не успели пленные дойти до первых базов, как им навстречу уже высыпали толпы народа.

При первом взгляде на бежавших навстречу им казаков и баб Иван Алексеевич понял, что это — смерть. Поняли и все остальные.

— Товарищи! Давайте попрощаемся! — крикнул один из коммунистов-сердобцев.

Толпа, вооруженная вилами, мотыгами, кольями, железными ребрами от арб, приближалась…

Дальше было все, как в тягчайшем сне. Тридцать верст шли по сплошным хуторам, встречаемые на каждом хуторе толпами истязателей. Старики, бабы, подростки били, плевали в опухшие, залитые кровью и темнеющие кровоподтеками лица пленных коммунистов, бросали камни и комки сохлой земли, засыпали заплывшие от побоев глаза пылью и золой. Особенно свирепствовали бабы, изощряясь в самых жесточайших пытках. Двадцать пять обреченных шли сквозь строй. Под конец они уже стали неузнаваемыми, непохожими на людей — так чудовищно обезображены были их тела и лица, иссиня-кровяно-черные, распухшие, изуродованные и вымазанные в смешанной с кровью грязи.

Вначале каждый из двадцати пяти норовил подальше идти от конвойных, чтобы меньше доставалось ударов; каждый старался попасть в середину своих смешанных рядов, от этого двигались плотно сбитой толпой. Но их постоянно разделяли, расталкивали. И они потеряли надежду хоть в какой бы то ни было мере сохранить себя от побоев, шли уже враздробь, и у каждого было лишь одно мучительное желание: превозмочь себя, не упасть, ибо упавший встать уже не смог бы. Ими овладело безразличие. А сначала каждый закрывал лицо и голову руками, беззащитно поднимая ладони к глазам, когда перед самыми зрачками сине вспыхивали железные жала вил-тройчаток или тускло посверкивала тупая белесая концевина кола; из толпы избиваемых пленных слышались и мольбы о пощаде, и стоны, и ругательства, и нутряной животный рев нестерпимой боли. К полудню все молчали. Лишь один из еланцев, самый молодой, балагур и любимец роты в прошлом, ойкал, когда на голову его

опрокидывался удар. Он и шел-то будто по горячему, приплясывая, дергаясь всем телом, волоча перебитую жердью ногу…

Иван Алексеевич, после того как обмылся в Дону, потвердел духом. Завидя бежавших навстречу им казаков и баб, наспех попрощался с ближним из товарищей, вполголоса сказал:

— Что же, братцы, умели мы воевать, надо суметь и помереть с гордостью… Об одном мы должны помнить до последнего выдоха. Одна нам остается мысленная утеха, что хотя нас и уколотят, но ить Советскую власть колом не убьешь! Коммунисты! Братцы! Помремте твердо, чтобы враги над нами не надсмехалися!

Один из еланцев не выдержал — когда на хуторе Бобровском его начали умело и жестоко бить старики, он закричал дурным, мальчишеским криком, разорвал ворот гимнастерки, стал показывать казакам, бабам висевший у него на шее, на черном от грязи и пота гайтане, маленький нательный крест:

— Товарищи! Я недавно вступил в партию!.. Пожалейте! Я в бога верую!.. У меня двое детишек!.. Смилуйтесь! У вас тоже дети есть!..

— Какие мы тебе «товарищи»! Цыц!

— Детей вспомнил, идолов гад? Крест вынул? Всхомянулся? А наших, небось, расстреливал, казнил, про бога не вспоминал? — с придыханием спросил у него ударивший его два раза курносый старик с серьгой в ухе. И, не дождавшись ответа, снова размахнулся, целя в голову.

Кусочки того, что воспринимали глаза, уши, сознание, — все это шло мимо Ивана Алексеевича, внимание его ни на чем не задерживалось. Словно камнем оделось сердце, и дрогнуло оно единственный раз. В полдень вошли они в хутор Тюковновский, пошли по улице сквозь строй, осыпаемые проклятиями и ударами. И вот тут-то Иван Алексеевич, глянув искоса в сторону, увидел, как мальчишка лет семи вцепился в подол матери и со слезами, градом сыпанувшими по исказившимся щекам, с визгом, истошно закричал:

— Маманя! Не бей его! Ой, не бей!.. Мне жалко! Боюсь! На нем кровь!..

Баба, замахнувшаяся колом на одного из еланцев, вдруг вскрикнула, бросила кол, — схватив мальчонка на руки, опрометью кинулась в проулок. И у Ивана Алексеевича, тронутого детским плачем, ребячьей волнующей жалостью, навернулась непрошеная слеза, посолила разбитые, спекшиеся губы. Он коротко всхлипнул, вспомянув своего сынишку, жену, и от этого вспыхнувшего, как молния, воспоминания родилось нетерпеливое желание: «Только бы не на ихних глазах убили!.. И… поскорее…»

Шли, еле волоча ноги, раскачиваясь от устали и распиравшей суставы боли. На выгоне за хутором, увидев степной колодец, стали упрашивать начальника конвоя, чтобы разрешил напиться.

— Нечего распивать! И так припозднились! Ходу! — крикнул было вахмистр.

Но за пленных вступился один из стариков конвоиров:

— Поимей сердце, Аким Сазоныч! Они ить тоже люди.

— Какие такие люди? Коммунисты — не люди! И ты меня не учи! Я над ними начальник али ты?

— Много вас, таковских начальников-то! Иди, ребятки, пей!

Старичишка спешился, зачерпнул в колодце цебарку воды. Его обступили пленные, к цебарке потянулось сразу двадцать пять пар рук, обуглившиеся, отекшие глаза загорелись, зазвучал хриплый, прерывистый шепот:

— Дай мне, дедушка!

— Хоть немножко!..

— Глоток бы!..

— Товарищи, не все доразу!

Старик заколебался, кому же дать первому. Помедлив несколько томительных секунд, он вылил воду в скотское долбленое корыто, врытое в землю, отошел, крикнул:

— Что вы, как быки, лезете! По порядку пейте!

Вода, растекаясь по зелено-замшелому, заплесневелому днищу корыта, устремилась в накаленный солнцем, пахнущий сырой древесиной угол. Пленные из последних сил бросились к корыту. Старик раз за разом зачерпнул одиннадцать цебарок, — хмурясь от жалости, поглядывая на пленных, наполнил корыто.

Иван Алексеевич напился, стоя на коленях, и, подняв освеженную голову, увидел с предельной, почти осязательной яркостью: изморозно-белый покров известняковой пыли на придонской дороге, голубым видением вставшие вдали отроги меловых гор, а над ними, над текучим стременем гребнистого Дона, в неохватной величавой синеве небес, в недоступнейшей вышине — облачко. Окрыленное ветром, с искрящимся белым, как парус, надвершием, оно стремительно плыло на север, и в далекой излучине Дона отражалась его опаловая тень.

LV

На секретном совещании верховного командования повстанческими силами решено было просить донское правительство, атамана Богаевского, о помощи.

Кудинову было поручено написать письмо с изъявлением раскаяния и сожаления о том, что в конце 1918 года верхнедонцы пошли на переговоры с красными, бросили фронт. Письмо Кудинов написал. От имени всего восставшего казачества Верхнего Дона он давал обещание в дальнейшем стойко, до победного конца сражаться с большевиками, просил помочь повстанцам переброской на аэропланах через фронт кадровых офицеров для руководства частями и винтовочных патронов.

Петр Богатырев остался на Сингином, потом переехал в Вешенскую. Летчик отправился обратно с кудиновским письмом в Новочеркасск.

С того дня между донским правительством и повстанческим командованием установилась тесная связь. Почти ежедневно стали прилетать из-за Донца новехонькие, выпущенные французскими заводами аэропланы, доставлявшие офицеров, винтовочные патроны и в незначительном количестве снаряды для трехдюймовых орудий. Летчики привозили письма от верхнедонских казаков, отступивших с Донской армией, из Вешенской везли на Донец казакам ответы родных.

Сообразуясь с положением на фронте, со своими стратегическими планами, новый командующий Донской армией, генерал Сидорин, начал присылать Кудинову разработанные штабом планы операции, приказы, сводки, информации о перебрасываемых на повстанческий фронт красноармейских частях.

Кудинов только несколько человек избранных посвящал в переписку с Сидориным, от остальных все это держалось в строжайшем секрете.

LVI

Пленных пригнали в Татарский часов в пять дня. Уже близки были быстротечные весенние сумерки, уже сходило к закату солнце, касаясь пылающим диском края распростертой на западе лохматой сизой тучи.

На улице, в тени огромного общественного амбара сидела и стояла пешая сотня татарцев. Их перебросили на правую сторону Дона на помощь еланским сотням, с трудом удерживавшим натиск красной конницы, и татарцы по пути на позиции всею сотнею зашли в хутор, чтобы проведать родных и поживиться харчишками.

Им в этот день надо было выходить, но они прослышали о том, что в Вешенскую гонят пленных коммунистов, среди которых находятся и Мишка Кошевой с Иваном Алексеевичем, что пленные вот-вот должны прибыть в Татарский, а поэтому и решили подождать. Особенно настаивали на встрече с Кошевым и Иваном Алексеевичем казаки, доводившиеся роднею убитым в первом бою вместе с Петром Мелеховым.

Татарцы, вяло переговариваясь, прислонив к стене амбара винтовки, сидели и стояли, курили, лузгали семечки; их окружали бабы, старики и детвора. Весь хутор высыпал на улицу, а с крыш куреней ребятишки неустанно наблюдали — не гонят ли?

И вот ребячий голос заверещал!

— Показалися! Гонют!

Торопливо поднялись служивые, затомашился народ, взметнулся глухой гул оживившегося говора, затопотали ноги бежавших навстречу пленным ребятишек. Вдова Алешки Шамиля, под свежим впечатлением еще не утихшего горя, кликушески заголосила.

— Гонют врагов! — басисто сказал какой-то старик.

— Побить их, чертей! Чего вы смотрите, казаки?!

— На суд их!

— Наших исказнили!

— На шворку Кошевого с его дружком!

Дарья Мелехова стояла рядом с Аникушкиной женой. Она первая узнала Ивана Алексеевича в подходившей толпе избитых пленных.

— Вашего хуторца пригнали! Покрасуйтеся на него, на сукиного сына! Похристосуйтеся с ним! — покрывая свирепо усиливающийся дробный говор, бабьи крики и плач, захрипел вахмистр — начальник конвоя — и протянул руку, указывая с коня на Ивана Алексеевича.

— А другой где? Кошевой Мишка где?

Антип Брехович полез сквозь толпу, на ходу снимая с плеча винтовочный погон, задевая людей прикладом и штыком болтающейся винтовки.

— Один ваш хуторец, окромя не было. Да по куску на человека и этого хватит растянуть… — говорил вахмистр-конвоир, сгребая красной утиркой обильный пот со лба, тяжело перенося ногу через седельную луку.

Бабьи взвизгивания и крик, нарастая, достигли предела напряжения. Дарья пробилась к конвойным и в нескольких шагах от себя, за мокрым крупом лошади конвоира увидела зачугуневшее от побоев лицо Ивана Алексеевича. Чудовищно распухшая голова его со слипшимися в сохлой крови волосами была вышиной с торчмя поставленное ведро. Кожа на лбу вздулась и потрескалась, щеки багрово лоснились, а на самой макушке, покрытой студенистым месивом, лежали шерстяные перчатки. Он, как видно, положил их на голову, стараясь прикрыть сплошную рану от жалящих лучей солнца, от мух и кишевшей в воздухе мошкары. Перчатки присохли к ране, да так и остались на голове…

Он затравленно озирался, разыскивая и боясь найти взглядом жену или своего маленького сынишку, хотел обратиться к кому-нибудь с просьбой, чтобы их увели отсюда, если они тут. Он уже понял, что дальше Татарского ему не уйти, что здесь он умрет, и не хотел, чтобы родные видели его смерть, а самую смерть ждал со всевозраставшим жадным нетерпением. Ссутулясь, медленно и трудно поворачивая голову, обводил он взглядом знакомые лица хуторян и ни в одном встречном взгляде не прочитал сожаления или сочувствия, —

исподлобны и люты были взгляды казаков и баб.

Защитная вылинявшая рубаха его топорщилась, шуршала при каждом повороте. Вся она была в бурых подтеках стекавшей крови, в крови были и ватные стеганые красноармейские штаны, и босые крупные ноги с плоскими ступнями и искривленными пальцами.

Дарья стояла против него. Задыхаясь от подступившей к горлу ненависти, от жалости и томительного ожидания чего-то страшного, что должно было совершиться вот-вот, сейчас, смотрела в лицо ему и никак не могла понять: видит ли он ее и узнает ли?

А Иван Алексеевич все так же тревожно, взволнованно шарил по толпе одним дико блестевшим глазом (другой затянула опухоль) и вдруг, остановившись взглядом на лице Дарьи, бывшей от него в нескольких шагах, неверно, как сильно пьяный, шагнул вперед. У него кружилась голова от большой потери крови, его покидало сознание, но это переходное состояние, когда все окружающее кажется нереальным, когда горькая одурь кружит голову и затемняет свет в глазах, беспокоило, и он с огромным напряжением все еще держался на ногах.

Увидев и узнав Дарью, шагнул, качнулся. Какое-то отдаленное подобие улыбки тронуло его некогда твердые, теперь обезображенные губы. И вот эта-то похожая на улыбку гримаса заставила сердце Дарьи гулко и часто забиться; казалось ей, что оно бьется где-то около самого горла.

Она подошла к Ивану Алексеевичу вплотную, часто и бурно дыша, с каждой секундой все больше и больше бледнея.

— Ну, здорово, куманек!

Звенящий, страстный тембр ее голоса, необычайные интонации в нем заставили толпу поутихнуть.

И в тишине глуховато, но твердо прозвучал ответ:

— Здорово, кума Дарья.

— Расскажи-ка, родненький куманек, как ты кумя своего… моего мужа… — Дарья задохнулась, схватилась руками за грудь. Ей не хватало голоса.

Стояла полная, туго натянутая тишина, и в этом недобром затишном молчании даже в самых дальних рядах услышали, как Дарья чуть внятно докончила вопрос:

— …как ты мужа моего, Петра Пантелеевича, убивал-казнил?

— Нет, кума, не казнил я его!

— Как же не казнил? — еще выше поднялся Дарьин стенящий голос. — Ить вы же с Мишкой Кошевым казаков убивали? Вы?

— Нет, кума… Мы его… я не убивал его…

— А кто же со света его перевел? Ну кто? Скажи!

— Заамурский полк тогда…

— Ты! Ты убил!.. Говорили казаки, что тебя видали на бугре! Ты был на белом коне! Откажешься, проклятый?

— Был и я в том бою… — Левая рука Ивана Алексеевича трудно поднялась на уровень головы, поправила присохшие к ране перчатки. В голосе его явственная оказалась неуверенность, когда он проговорил: — Был и я в тогдашнем бою, но убил твоего мужа не я, а Михаил Кошевой. Он стрелял его. Я за кума Петра не ответчик.

— А ты, вражина, кого убивал из наших хуторных? Ты сам чьих детишков по миру сиротами пораспустил? — пронзительно крикнула из толпы вдова Якова Подковы.

И снова, накаляя и без того накаленную атмосферу, раздались истерические бабьи всхлипы, крик и голошенье по мертвому «дурным голосом»…

Впоследствии Дарья говорила, что она не помнила, как и откуда в руках ее очутился

кавалерийский карабин, кто ей его подсунул. Но когда заголосили бабы, она ощутила в руках своих присутствие постороннего предмета, не глядя, на ощупь догадалась, что это — винтовка. Она схватила ее сначала за ствол, чтобы ударить Ивана Алексеевича прикладом, но в ладонь ее больно вонзилась мушка, и она перехватила пальцами накладку, а потом повернула, вскинула винтовку и даже взяла на мушку левую сторону груди Ивана Алексеевича.

Она видела, как за спиной его шарахнулись в сторону казаки, обнажив серую рубленую стену амбара; слышала напуганные крики: «Тю! Сдурела! Своих побьешь! Погоди, не стреляй!» И подталкиваемая зверино-настороженным ожиданием толпы, сосредоточенными на ней взглядами, желанием отомстить за смерть мужа и отчасти тщеславием, внезапно появившимся оттого, что вот сейчас она совсем не такая, как остальные бабы, что на нее с удивлением и даже со страхом смотрят и ждут развязки казаки, что она должна поэтому сделать что-то необычное, особенное, могущее устрашить всех, — движимая одновременно всеми этими разнородными чувствами, с пугающей быстротой приближаясь к чему-то предрешенному в глубине ее сознания, о чем она не хотела, да и не могла в этот момент думать, она помедлила, осторожно нащупывая спуск, и вдруг, неожиданно для самой себя, с силой нажала его.

Отдача заставила ее резко качнуться, звук выстрела оглушил, но сквозь суженные прорези глаз она увидела, как мгновенно — страшно и непоправимо — изменилось дрогнувшее лицо Ивана Алексеевича, как он развел и сложил руки, словно собираясь прыгнуть с большой высоты в воду, а потом упал навзничь, и с лихорадочной быстротой задергалась у него голова, зашевелились, старательно заскребли землю пальцы раскинутых рук…

Дарья бросила винтовку, все еще не отдавая себе ясного отчета в том, что она только что совершила, повернулась спиной к упавшему и неестественным в своей обыденной простоте жестом поправила головной платок, подобрала выбившиеся волосы.

— А он еще двошит… — оказал один из казаков, с чрезмерной услужливостью сторонясь от проходившей мимо Дарьи.

Она оглянулась, не понимая, о ком и что это такое говорят, услышала глубокий, исходивший не из горла, а откуда-то, словно бы из самого нутра, протяжный на одной ноте стон, прерываемый предсмертной икотой. И только тогда осознала, что это стонет Иван Алексеевич, принявший смерть от ее руки. Быстро и легко пошла она мимо амбара, направляясь на площадь, провожаемая редкими взглядами.

Внимание людей переметнулось к Антипу Бреховичу. Он, как на учебном смотру, быстро, на одних носках, подбегал к лежавшему Ивану Алексеевичу, почему-то пряча за спиной оголенный ножевой штык японской винтовки. Движения его были рассчитаны и верны. Присел на корточки, направил острие штыка в грудь Ивана Алексеевича, негромко сказал:

— Ну, издыхай, Котляров! — и налег на рукоять штыка со всей силой.

Трудно и долго умирал Иван Алексеевич. С неохотой покидала жизнь его здоровое, мослаковатое тело. Даже после третьего удара штыком он все еще разевал рот, и из-под ощеренных, залитых кровью зубов неслось тягуче-хриплое:

— А-а-а!..

— Эх, резак, к чертовой матери! — отпихнув Бреховича, сказал вахмистр, начальник конвоя, и поднял наган, деловито прижмурив левый глаз, целясь.

После выстрела, послужившего как бы сигналом, казаки, допрашивавшие пленных, начали их избивать. Те кинулись врассыпную. Винтовочные выстрелы, перемежаясь с криками, прощелкали сухо и коротко…

Через час в Татарский прискакал Григорий Мелехов. Он насмерть загнал коня, и тот пал

по дороге из Усть-Хоперской, на перегоне между двумя хуторами. Дотащив на себе седло до ближайшего хутора, Григорий взял там плохонькую лошаденку. И опоздал… Пешая сотня татарцев ушла бугром на Усть-Хоперские хутора, на грань Усть-Хоперского юрта, где шли бои с частями красной кавалерийской дивизии. В хуторе было тихо, безлюдно. Ночь темной ватолой крыла окрестные бугры, Задонье, ропчушие тополя и ясени…

Григорий въехал на баз, вошел в курень. Огня не было. В густой темноте звенели комары, тусклой позолотой блестели иконы в переднем углу. Вдохнув с детства знакомый, волнующий запах родного жилья, Григорий спросил:

— Есть кто там дома? Маманя! Дуняшка!

— Гриша! Ты, что ли? — Дуняшкин голос из горенки.

Шлепающая поступь босых ног, в вырезе дверей белая фигура Дуняшки, торопливо затягивающей поясок исподней юбки.

— Чего это вы так рано улеглись? Мать где?

— У нас тут…

Дуняшка замолчала. Григорий услышал, как она часто, взволнованно дышит.

— Что тут у вас? Пленных давно прогнали?

— Побили их.

— Ка-а-ак?..

— Казаки побили… Ох, Гриша! Наша Дашка, стерва проклята-я… — в голосе Дуняшки послышались негодующие слезы, — …она сама убила Ивана Алексеевича… стрельнула в него…

— Чего ты мелешь?! — испуганно хватая сестру за ворот расшитой рубахи, вскричал Григорий.

Белки Дуняшкиных глаз сверкнули слезами, и по страху, застывшему в ее зрачках, Григорий понял, что он не ослышался.

— А Мишка Кошевой? А Штокман?

— Их не было с пленными.

Дуняшка коротко, сбивчиво рассказала о расправе над пленными, о Дарье.

— …Маманя забоялась ночевать с ней в одной хате, ушла к соседям, а Дашка откель-то явилась пьяная… Пьянее грязи пришла. Зараз спит…

— Где?

— В амбаре.

Григорий вошел в амбар, настежь открыл дверь. Дарья, бесстыже заголив подол, спала на полу. Тонкие руки ее были раскинуты, правая щека блестела, обильно смоченная слюной, из раскрытого рта резко разило самогонным перегаром. Она лежала, неловко подвернув голову, левой щекой прижавшись к полу, бурно и тяжко дыша.

Никогда еще Григорий не испытывал такого бешеного желания рубануть. Несколько секунд он стоял над Дарьей, стоная и раскачиваясь, крепко сцепив зубы, с чувством непреодолимого отвращения и гадливости рассматривая это лежащее тело. Потом шагнул, наступил кованым каблуком сапога на лицо Дарьи, черневшее полудужьями высоких бровей, прохрипел:

— Ггга-дю-ка!

Дарья застонала, что-то пьяно бормоча, а Григорий схватился руками за голову и, гремя по порожкам ножнами шашки, выбежал на баз.

Этою же ночью, не повидав матери, он уехал на фронт.

LVII

8-я и 9-я красные армии, не смогшие до начала весеннего паводка сломить сопротивление частей Донской армии и продвинуться за Донец, все еще пытались на отдельных участках переходить в наступление. Попытки эти в большинстве оканчивались неудачей. Инициатива переходила в руки донского командования.

К середине мая на Южном фронте все еще не было заметных перемен. Но вскоре они должны были произойти. По плану, разработанному еще бывшим командующим Донской армией генералом Денисовым и его начштаба генералом Поляковым, в районе станиц Каменской и Усть-Белокалитвенской заканчивалось сосредоточение частей так называемой ударной группы. На этот участок фронта были стянуты лучшие силы из обученных кадров молодой армии, испытанные низовские полки: Гундоровский, Георгиевский и другие. По грубому подсчету, силы этой ударной группы состояли из шестнадцати тысяч штыков и сабель при двадцати четырех орудиях и ста пятидесяти пулеметах.

По мысли генерала Полякова, группа совместно с частями генерала Фицхелаурова должна была ударить в направлении слободы Макеевки, сбить 12-ю красную дивизию и, действуя во фланги и тыл 13-й и Уральской дивизиям, прорваться на территорию Верхнедонского округа, чтобы соединиться с повстанческой армией, а затем уже идти в Хоперский округ «оздоровлять» заболевших большевизмом казаков.

Около Донца велась интенсивная подготовка к наступлению, к прорыву. Командование ударной группой поручено было генералу Старетеву. Успех начинал явно клониться на сторону Донской армии. Новый командующий этой армией, генерал Сидорин, сменивший ушедшего в отставку ставленника Краснова — генерала Денисова, и вновь избранный войсковой наказный атаман генерал Африкан Богаевский были союзнической ориентации. Совместно с представителями английской и французской военных миссий уже разрабатывались широкие планы похода на Москву, ликвидации большевизма на всей территории России.

В порты Черноморского побережья прибывали транспорты с вооружением. Океанские пароходы привозили не только английские и французские аэропланы, танки, пушки, пулеметы, винтовки, но и упряжных мулов, и обесцененное миром с Германией продовольствие и обмундирование. Тюки английских темно-зеленых бриджей и френчей — с вычеканенным на медных пуговицах вздыбившимся британским львом — заполнили новороссийские пакгаузы. Склады ломились от американской муки, сахара, шоколада, вин. Капиталистическая Европа, напуганная упорной живучестью большевиков, щедро слала на Юг России снаряды и патроны, те самые снаряды и патроны, которые союзнические войска не успели расстрелять по немцам. Международная реакция шла душить истекавшую кровью Советскую Россию… Английские и французские офицеры-инструкторы, прибывшие на Дон и Кубань обучать казачьих офицеров и офицеров Добровольческой армии искусству вождения танков, стрельбе из английских орудий, уже предвкушали торжества вступления в Москву…

А в это время у Донца разыгрывались события, решавшие успех наступления Красной Армии в 1919 году.

Несомненно, что основной причиной неудавшегося наступления Красной Армии было восстание верхнедонцев. В течение трех месяцев оно, как язва, разъедало тыл красного фронта, требовало постоянной переброски частей, препятствовало бесперебойному питанию фронта боеприпасами и продовольствием, затрудняло отправку в тыл раненых и больных. Только из 8-й и 9-й красных армий на подавление восстания было брошено около двадцати тысяч штыков.

Реввоенсовет республики, не будучи осведомлен об истинных размерах восстания, не принял вовремя достаточно энергичных мер к его подавлению. На восстание бросили

вначале отдельные отряды и отрядики (так, например, школа ВЦИКа выделила отряд в двести человек), недоукомплектованные части, малочисленные заградительные отряды. Большой пожар пытались затушить, поднося воду в стаканах. Разрозненные красноармейские части окружали повстанческую территорию, достигавшую ста девяноста километров в диаметре, действовали самостоятельно, вне общего оперативного плана, и, несмотря на то, что число сражавшихся с повстанцами достигало двадцати пяти тысяч штыков, — эффективных результатов не было.

Одна за другой были кинуты на локализацию восстания четырнадцать маршевых рот, десятки заградительных отрядов; прибывали отряды курсантов из Тамбова, Воронежа, Рязани. И уже тогда, когда восстание разрослось, когда повстанцы вооружились отбитыми у красноармейцев пулеметами и орудиями, 8-я и 9-я армии выделили из своего состава по одной экспедиционной дивизии, с артиллерией и пулеметными командами. Повстанцы несли крупный урон, но сломлены не были.

Искры верхнедонского пожара перекинулись и в соседний Хоперский округ. Под руководством офицеров там произошло несколько выступлений незначительных казачьих групп. В станице Урюпинской войсковой старшина Алимов вколотил было вокруг себя изрядное число казаков и скрывавшихся офицеров. Восстание должно было произойти в ночь на 1 мая, но заговор своевременно был раскрыт. Алимов и часть его сообщников, захваченные на одном из хуторов Преображенской станицы, были расстреляны по приговору Ревтрибунала, восстание, вовремя обезглавленное, не состоялось, и таким образом контрреволюционным элементам Хоперского округа не удалось сомкнуться с повстанцами Верхнедонского округа.

В первых числах мая на станции Чертково, где стояло несколько сводных красноармейских полков, выгружался отряд школы ВЦИКа. Чертково была одна из конечных станций по Юго-Восточной железной дороге, непосредственно граничивших с западным участком повстанческого фронта. Казаки Мигулинской, Мешковской и Казанской станиц в то время огромнейшими конными массами скоплялись на грани Казанского станичного юрта, вели отчаянные бои с перешедшими в наступление красноармейскими частями.

По станции распространились слухи, что казаки окружили Чертково и вот-вот начнут наступление. И, несмотря на то что до фронта было не менее пятидесяти верст, что впереди были красноармейские части, которые сообщили бы в случае прорыва казаков, — на станции началась паника. Построенные красноармейские ряды дрогнули. Где-то за церковью зычный командный голос орал: «В ружье-е-о-о!» По улицам забегал, засуетился народ.

Паника оказалась ложной. За казаков приняли эскадрон красноармейцев, подходивший к станции со стороны слободы Маньково. Курсанты и два сводных полка выступили в направлении станицы Казанской.

Через день казаками был почти целиком истреблен только недавно прибывший Кронштадтский полк.

После первого же боя с кронштадтцами ночью произвели набег. Полк, выставив заставы и секреты, ночевал в степи, не рискнув занять брошенный повстанцами хутор. В полночь несколько конных казачьих сотен окружили полк, открыли бешеную стрельбу, широко используя изобретенное кем-то средство устрашения — огромные деревянные трещотки! Трещотки эти по ночам заменяли повстанцам пулеметы: во всяком случае звуки, производимые ими, были почти неотличимы от подлинной пулеметной стрельбы.

И вот, когда окруженные кронштадтцы услышали в ночной непроглядной темени говор многочисленных «пулеметов», суматошные выстрелы своих застав, казачье гиканье, вой и гулкий грохот приближавшихся конных лав, они бросились к Дону, пробились, но были

конной атакой опрокинуты. Из всего состава полка спаслось только несколько человек, сумевших переплыть распахнувшийся в весеннем разливе Дон.

В мае с Донца на повстанческий фронт стали прибывать все новые подкрепления красных. Подошла 33-я Кубанская дивизия, и Григорий Мелехов почувствовал впервые всю силу настоящего удара. Кубанцы погнали его 1-ю дивизию без передышки. Хутор за хутором сдавал Григорий, отступая на север, к Дону. На чирском рубеже возле Каргинской он задержался на день, а потом, под давлением превосходящих сил противника, вынужден был не только сдать Каргинскую, но и срочно просить подкреплений.

Кондрат Медведев прислал ему восемь конных сотен своей дивизии. Его казаки были экипированы на диво. У всех было в достатке патронов, на всех была справная одежда и добротная обувь — все добытое с пленных красноармейцев. Многие казаки-казанцы, не глядя на жару, щеголяли в кожаных куртках, почти у каждого был либо наган, либо бинокль… Казанцы на некоторое время задержали наступление шедшей напролом 33-й Кубанской дивизии. Воспользовавшись этим, Григорий решил обыденкой съездить в Вешенскую, так как Кудинов неотступно просил его приехать на совещание.

LVIII

В Вешенскую он прибыл рано утром. Полая вода в Дону начала спадать. Приторно-сладким клейким запахом тополей был напитан воздух. Около Дона сочные темно-зеленые листья дубов дремотно шелестели. Обнаженные грядины земли курились паром. На них уже выметалась острожалая трава, а в низинах еще блистала застойная вода, басовито гудели водяные быки и в сыром, пронизанном запахом ила и тины воздухе, несмотря на то что солнце уже взошло, густо кишела мошкара.

В штабе дребезжала старенькая пишущая машинка, было людно и накурено.

Кудинова Григорий застал за странным занятием: он, не глянув на тихо вошедшего Григория, с серьезным и задумчивым видом обрывал ножки у пойманной большой изумрудно-зеленой мухи. Оторвет, зажмет в сухом кулаке и, поднося его к уху, сосредоточенно склонив голову, слушает, как муха то басовито, то тонко брунжит.

Увидев Григория, с отвращением и досадой кинул муху под стол, вытер о штанину ладонь, устало привалился к обтертой до глянца спинке кресла.

— Садись, Григорий Пантелеевич.

— Здоров, начальник!

— Эх, здорова-то здорова, да не семенна, как говорится. Ну, что там у тебя? Жмут?

— Жмут вовсю!

— Задержался по Чиру?

— Сколь надолго? Казанцы выручили.

— Вот какое дело, Мелехов, — Кудинов намотал на палец сыромятный ремешок своего кавказского пояска и, с нарочитым вниманием рассматривая почерневшее серебро, вздохнул: — Как видно, дела наши будут ишо хуже. Что-то такое делается около Донца. Или там наши дюже пихают красных и рвут им фронт, или же они поняли, что мы им — весь корень зла, и норовят нас взять в тисы.

— А что слышно про кадетов? С последним аэропланом что сообщали?

— Да ничего особенного. Они, браток, нам с тобой своих стратегий не расскажут. Сидорин — он, брат, дока! Из него не сразу вытянешь. Есть такой план у них — порвать фронт красных и кинуть нам подмогу. Сулились помочь. Но ить посулы — они не всегда

сбываются. И фронт порвать нелегкое дело, знаю, сам рвал с генералом Брусиловым. Почем мы с тобой знаем, какие у красных силы на Донце? Может, они с Колчака сняли несколько корпусов и сунули их, а? Живем мы в потемках! И дальше своего носа ничего зрить не можем!

— Так о чем ты хотел гутарить? Какое совещание? — спросил Григорий, скучающе позевывая.

Он не болел душой за исход восстания. Его это как-то не волновало. Изо дня в день, как лошадь, влачащая молотильный каток по гуменному посаду, ходил он в думках вокруг все этого же вопроса и наконец мысленно махнул рукой: «С Советской властью нас зараз не помиришь, дюже крови много она нам, а мы ей пустили, а кадетская власть зараз гладит, а потом будет против шерсти драть. Черт с ним! Как кончится, так и ладно будет!»

Кудинов развернул карту; все так же не глядя в глаза Григорию, сказал:

— Мы тут без тебя держали совет и порешили…

— С кем это ты совет держал, с князем, что ли? — перебил его Григорий, вспомнив совещание, происходившее в этой же комнате зимой, и подполковника-кавказца.

Кудинов нахмурился, потускнел:

— Его уж в живых нету.

— Как так? — оживился Григорий.

— А я разве тебе не говорил? Убили товарища Георгидзе.

— Ну, какой он нам с тобой товарищ… Пока дубленый полушубок носил, до тех пор товарищем был. А — не приведи господи — соединилися бы мы с кадетами да он в живых бы остался, так на другой же день усы бы намазал помадой, выходился бы и не руку тебе подавал, а вот этак, мизинчиком. — Григорий отставил свой смуглый и грязный палец и захохотал, блистая зубами.

Кудинов еще пуще нахмурился. Явное недовольство, досада, сдерживаемая злость были в его взгляде и голосе.

— Смеяться тут не над чем. Над чужою смертью не смеются. Ты становишься вроде Ванюшки-дурачка. Человека убили, а у тебя получается: «Таскать вам не перетаскать!»

Слегка обиженный, Григорий и виду не показал, что его задело кудиновское сравнение; посмеиваясь, отвечал:

— Таких-то и верно, — «таскать бы не перетаскать». У меня к этим белоликим да белоруким жалости не запасено.

— Так вот, убили его…

— В бою?

— Как сказать… Темная история, и правды не скоро дознаешься. Он же по моему приказу при обозе находился. Ну и вроде не заладил с казаками. За Дударевкой бой завязался, обоз, при котором он ездил, от линии огня в двух верстах был. Он, Георгидзе-то, сидел на дышлине брички (так казаки мне рассказывали), и, дескать, шалая пуля его чмокнула в песик. И не копнулся вроде… Казаки, сволочи, должно быть, убили…

— И хорошо сделали, что убили!

— Да оставь ты! Будет тебе путаться.

— Ты не серчай. Это я шутейно.

— Иной раз шутки у тебя глупые проскакивают… Ты — как бык: где жрешь, там и надворничаешь. По-твоему, что же, следует офицеров убивать? Опять «долой погоны»? А за ум тебе взяться не пора, Григорий? Хромай, так уж на одну какую-нибудь!

— Не сепети, рассказывай!

— Нечего рассказывать! Понял я, что убили казаки, поехал туда и погутарил с ними по

душам. Так и сказал: «За старое баловство взялись, сукины сыны? А не рано вы опять начали офицеров постреливать? Осенью тоже их постреливали, а после, как сделали вам закрутку, и офицеры понадобились. Вы же, говорю, сами приходили и на коленях полозили: „Возьми на себя команду, руководствуй!“ А зараз опять за старое?» Ну, постыдил, поругал. Они отреклись: мол, «сроду мы его не убивали, упаси бог!». А по глазам ихним б… вижу — они ухондокали! Чего же ты с них возьмешь? Ты им мочись в глаза, а им все — божья роса. — Кудинов раздраженно скомкал ремешок, покраснел. Убили знающего человека, а я без него зараз как без рук. Кто план накинет? Кто посоветует? С тобой вот так только погутарим, а как дело до стратегии-тактики дошло, так и оказываемся мы вовзят негожими. Петро Богатырев, спасибо, прилетел, а то словом перекинуться не с кем бы… Э, да ну, к черту, хватит! Вот в чем дело: если наши от Донца фронт не порвут, то нам тут не удержаться. Решено, как и раньше говорили, всею тридцатитысячной армией идти на прорыв. Если тебя собьют — отступай до самого Дона. От Усть-Хопра до Казанской очистим им правую сторону, пороем над Доном траншеи и будем обороняться.

В дверь резко постучали.

— Войди. Кто там? — крикнул Кудинов.

Вошел комбриг-6 Богатырев Григорий. Крепкое красное лицо его блестело потом, вылинявшие русые брови были сердито сдвинуты. Не снимая фуражки с мокрым от пота верхом, он присел к столу.

— Чего приехал? — спросил Кудинов, посматривая на Богатырева со сдержанной улыбкой.

— Патронов давай.

— Дадены были. Сколько же тебе надобно? Что у меня тут, патронный завод, что ли?

— А что было дадено? По патрону на брата? В меня смалят из пулеметов, а я только спину гну да хоронюсь. Это война? Это — одно… рыдание! Вот что!..

— Ты погоди, Богатырев, у нас тут большой разговор, — но, видя, что Богатырев поднимается уходить, добавил: — Постой, не уходи, секретов от тебя нету… Так вот, Мелехов, если уж на этой стороне не удержимся, то тогда идем на прорыв. Бросаем всех, кто не в армии, бросаем все обозы, пехоту сажаем на брички, берем с собой три батареи и пробиваемся к Донцу. Тебя мы хотим пустить головным. Не возражаешь?

— Мне все равно. А семьи наши как же? Пропадут девки, бабы, старики.

— Уж это так. Лучше пущай одни они пропадают, чем всем нам пропадать.

Кудинов, опустив углы губ, долго молчал, а потом достал из стола газету.

— Да, ишо новость: главком приехал руководить войсками. Слухом пользовались, что зараз в Миллерове, не то в Кантемировке. Вот как до нас добираются!

— На самом деле? — усомнился Григорий Мелехов.

— Верно, верно! Да вот, почитай. Прислали мне казанцы. Вчера утром за Шумилинской разъезд наш напал на двух верховых. Обое красные курсанты. Ну, порубили их казаки и у одного — немолодой на вид, говорили, может, и комиссар какой — нашли в планшетке вот эту газету по названию «В пути», от двенадцатого этого месяца. Расчудесно они нас описывают! — Кудинов протянул Мелехову газету с оторванным на «козью ножку» углом.

Григорий бегло взглянул на заголовок статьи, отмеченной химическим карандашом, начал читать:

ВОССТАНИЕ В ТЫЛУ

Восстание части донского казачества тянется уже ряд недель. Восстание поднято агентами Деникина — контрреволюционными офицерами. Оно нашло опору в среде казацкого кулачества. Кулаки потянули за собой значительную часть казаков-середняков.

Весьма возможно, что в том или другом случае казаки терпели какие-либо несправедливости от отдельных представителей Советской власти. Этим умело воспользовались деникинские агенты, чтобы раздуть пламя мятежа. Белогвардейские прохвосты притворяются в районе восстания сторонниками Советской власти, чтобы легче втереться в доверие к казаку-середняку. Таким путем контрреволюционные плутни, кулацкие интересы и темнота массы казачества слились на время воедино в бессмысленном и преступном мятеже в тылу наших армий Южного фронта. Мятеж в тылу у воина то же самое, что нарыв на плече у работника. Чтобы воевать, чтобы защищать и оборонять Советскую страну, чтобы добить помещичье-деникинские шайки, необходимо иметь надежный, спокойный, дружный рабоче-крестьянский тыл. Важнейшей задачей поэтому является сейчас очищение Дона от мятежа и мятежников.

Центральная Советская власть приказала эту задачу разрешить в кратчайший срок. В помощь экспедиционным войскам, действующим против подлого контрреволюционного мятежа, прибыли и прибывают прекрасные подкрепления. Лучшие работники-организаторы направляются сюда для разрешения неотложной задачи.

Нужно покончить с мятежом. Наши красноармейцы должны проникнуться ясным сознанием того, что мятежники Вешенской, или Еланской, или Букановской станиц являются прямыми помощниками белогвардейских генералов Деникина и Колчака. Чем дальше будет тянуться восстание, тем больше жертв будет с обеих сторон. Уменьшить кровопролитие можно только одним путем: нанося быстрый, суровый сокрушающий удар.

Нужно покончить с мятежом. Нужно вскрыть нарыв на плече и прижечь его каленым железом. Тогда рука Южного фронта освободится для нанесения смертельного удара врагу.

Григорий докончил читать, мрачно усмехнулся. Статья наполнила его озлоблением и досадой. «Черкнули пером и доразу спаровали с Деникиным, в помощники ему зачислили…»

— Ну как, здорово? Каленым железом собираются прижечь. Ну да мы ишо поглядим, кто кому приварит! Верно, Мелехов? — Кудинов подождал ответа и обратился к Богатыреву: — Патронов надо? Дадим! По тридцать штук на всадника, на всю бригаду. Хватит?.. Ступай на склад, получай. Ордер тебе выпишет начальник отдела снабжения, зайди к нему. Да ты там, Богатырев, больше на шашку, на хитрость налегай, милое дело!

— С паршивой овцы хучь шерсти клок! — улыбнулся обрадованный Богатырев и, попрощавшись, вышел.

После того как договорился с Кудиновым относительно ожидавшегося отхода к Дону, ушел и Григорий Мелехов. Перед уходом спросил:

— В случае, ежли я всю дивизию приведу на Базки, переправиться-то будет на чем?

— Эка выдумал! Конница вся вплынь через Дон пойдет. Где это видано, чтобы конницу переправляли?

— У меня ить обдонцев мало, имей в виду. А казаки с Чиру — не пловцы. Всю жизнь середь степи живут, где уж им плавать. Они все больше по-топоровому.

— При конях переплывут. Бывало, на маневрах плавали и на германской припадало.

— Я про пехоту говорю.

— Паром есть. Лодки сготовим, не беспокойся.

— Жители тоже будут ехать.

— Знаю.

— Ты всем обеспечь переправу, а то я тогда из тебя душу выну! Это ить не шутка, ежли у нас народ останется.

— Да, сделаю, сделаю же!

— Орудия как?

— Мортирки взорви, а трехдюймовые вези сюда. Мы большие лодки поскошуем и перекинем батареи на эту сторону.

Григорий вышел из штаба под впечатлением прочитанной статьи.

«Помощниками Деникина нас величают… А кто же мы? Выходит, что помощники и есть, нечего обижаться. Правда-матка глаза заколола…» Ему вспомнились слова покойного Якова Подковы. Однажды в Каргинской, возвращаясь поздно вечером на квартиру, Григорий зашел к батарейцам, помещавшимся в одном из домов на площади; вытирая в сенцах ноги о веник, слышал, как Яков Подкова, споря с кем-то, говорил: «Отделились, говоришь? Ни под чьей властью не будем ходить? Хо! У тебя на плечах не голова, а неедовая тыкла! Коли хочешь знать, мы зараз, как бездомная собака: иная собака не угодит хозяину либо нашкодит, уйдет из дому, а куда денется? К волкам не пристает — страшновато, да и чует, что они звериной породы, и к хозяину нельзя возвернуться — побьет за шкоду. Так и мы. И ты попомни мои слова: подожмем хвост, вдоль пуза вытянем его по-кнутовому и поползем к кадетам. „Примите нас, братушки, помилосердствуйте!“ Вот оно что будет!»

Григорий после того боя, когда порубил под Климовкой матросов, все время жил в состоянии властно охватившего его холодного, тупого равнодушия. Жил, понуро нагнув голову, без улыбки, без радости. На какой-то день всколыхнули его боль и жалость к убитому Ивану Алексеевичу, а потом и это прошло. Единственное, что оставалось ему в жизни (так, по крайней мере, ему казалось), это — с новой и неуемной силой вспыхнувшая страсть к Аксинье. Одна она манила его к себе, как манит путника в знобящую черную осеннюю ночь далекий трепетный огонек костра в степи.

Вот и сейчас, возвращаясь из штаба, он вспомнил о ней, подумал: «Пойдем мы на прорыв, а она как же? — и без колебаний и долгих размышлений решил: — Наталья останется с детьми, с матерью, а Аксютку возьму. Дам ей коня, и пущай при моем штабе едет».

Он переехал через Дон на Разки, зашел на квартиру, вырвал из записной книжки листок, написал.

«Ксюша! Может, нам придется отступить на левую сторону Дона, так ты кинь все свое добро и езжай в Вешки. Меня там разыщешь, будешь при мне»

Записку заклеил жидким вишневым клеем, передал Прохору Зыкову и, багровея, хмурясь, за напуски и строгостью скрывая от Прохора свое смущение, сказал:

— Поедешь в Татарский, передашь эту записку Астаховой Аксинье. Да так передай, чтобы… ну, к примеру, из наших кто недоглядел, из моей семьи. Понял? Лучше ночью занеси и отдай ей. Ответа не надо. И потом вот что: даю тебе отпуск на двое суток. Ну, езжай!

Прохор пошел к коню, но Григорий, спохватившись, вернул его.

— Зайди к нашим и скажи матери либо Наталье, чтобы они загодя переправили на энту сторону одежду и другое что ценное. Хлеб пущай зароют, а скотину вплынь перегоняют через Дон.

LIX

22 мая началось отступление повстанческих войск по всему правобережью. Части отходили с боем, задерживаясь на каждом рубеже. Население хуторов степной полосы в панике устремилось к Дону. Старики и бабы запрягали все имевшееся в хозяйстве тягло, валили на арбы сундуки, утварь, хлеб, детишек. Из табунов и гуртов разбирали коров и овец, гнали их вдоль дорог. Огромнейшие обозы, опережая армию, покатились к придонским хуторам.

Пехота, по приказу штаба командующего, начала отход на день раньше. Татарские пластуны и иногородняя Вешенская дружина 21 мая вышли из хутора Чеботарева Усть-Хоперской станицы, проделали марш в сорок с лишним верст, ночевать расположились в хуторе Рыбном Вешенской станицы.

22-го с зари бледная наволочь покрыла небо. Ни единой тучки не было на его мглистом просторе, лишь на юге, над кромкой обдонского перевала, перед восходом солнца появилось крохотное ослепительно-розовое облачко. Обращенная к востоку сторона его будто кровоточила, истекая багряным светом. Солнце взошло из-за песчаных, прохладных после росы бурунов левобережья, и облачко исчезло в невиди. В лугу резче закричали дергачи, острокрылые рыбники голубыми хлопьями падали на россыпи Дона в воду, поднимались ввысь с серебряно сверкающими рыбешками в хищных клювах.

К полудню установилась небывалая для мая жара. Парило, словно перед дождем. Еще до зари с востока по правой стороне Дона потянулись к Вешенской валки беженских обозов. По Гетманскому шляху неумолчно поцокивали колеса бричек. Ржание лошадей, бычиный мык и людской говор доносились с горы до самого займища.

Вешенская иногородняя дружина, насчитывавшая около двухсот бойцов, все еще находилась в Рыбном. Часов в десять утра был получен приказ из Вешенской: дружине перейти на хутор Большой Громок, выставить на Гетманском шляху и по улицам заставы, задерживать всех направляющихся в Вешенскую казаков служивского возраста.

К Громку подкатилась волна движущихся на Вешенскую беженских подвод. Запыленные, черные от загара бабы гнали скот, по обочинам дорог ехали всадники. Скрип колес, фырканье лошадей и овец, рев коров, плач детишек, стон тифозных, которых тоже везли с собой в отступ, опрокинули нерушимое безмолвие хутора, потаенно захоронившегося в вишневых садах. Так необычен был этот многообразный и слитый гомон, что хуторские собаки окончательно охрипли от бреха и уже не бросались, как вначале, на каждого пешехода, не провожали вдоль проулков подводы, от скуки увязываясь за ними на добрую версту.

Прохор Зыков двое суток погостил дома, передал записку Григория Аксинье Астаховой и словесный наказ Ильиничне с Натальей, двадцать второго выехал в Вешенскую.

Он рассчитывал застать свою сотню на Базках. Но орудийный гул, глухо докатываясь до Обдонья, звучал еще как будто где-то по Чиру. Прохора что-то не потянуло ехать туда, где возгорался бой, и он решил добраться до Базков, там обождать, пока к Дону подойдет Григорий со своей 1-й дивизией.

Всю дорогу до самого Громка Прохор ехал, обгоняемый подводами беженцев. Ехал он не спеша, почти все время шагом. Ему некуда было торопиться. От Рубежина он пристал к штабу недавно сформированного Усть-Хоперского полка.

Штаб перемещался на рессорных дышловых дрожках и на двух бричках. У штабных шли привязанные к задкам повозок шесть подседланных лошадей. На одной из бричек везли какие-то бумаги и телефонные аппараты, а на дрогах — раненого пожилого казака и еще одного, страшно исхудалого, горбоносого, не поднимавшего от седельной подушки головы, покрытой серой каракулевой офицерской папахой. Он, очевидно, только что перенес тиф. Лежал, до подбородка одетый шинелью; на выпуклый бледный лоб его, на тонкий хрящеватый нос, поблескивающий испариной, садилась пыль, но он все время просил укутать ему ноги чем-нибудь теплым и, вытирая пот со лба костистой, жилистой рукой, ругался:

— Сволочи! Стервюги! Под ноги дует мне, слышите? Поликарп, слышишь? Укройте полстью! Здоровый был — нужен был, а зараз… — и вел по сторонам нездешним, строгим, как у всех перенесших тяжелую болезнь, взглядом.

Тот, кого он называл Поликарпом — высокий молодцеватый старовер, — на ходу спешивался, подходил к дрожкам.

— Вы так дюжей могете простыть, Самойло Иванович.

— Прикрой, говорят!

Поликарп послушно исполнял приказание, отходил.

— Это кто же такой есть? — спросил у него Прохор, указывая глазами на больного.

— Офицер усть-медведицкий. Они у нас при штабе находились.

Вместе со штабом ехали и усть-хоперские беженцы с Тюковного, Бобровского, Крутовского, Зимовного и других хуторов.

— Ну, а вас куда нечистая сила несет? — спросил Прохор у одного старика беженца, восседавшего на мажаре, доверху набитой разным скарбом.

— Хотим в Вешки проехать.

— Посылали за вами, чтобы в Вешки ехали?

— Оно, милок, не посылали, да ить и кому же смерть мила? Небось поедешь, когда в глазах страх.

— Я к тому спрашиваю: чего вы в Вешки мететесь? В Еланской переправились бы на энту сторону — и вся недолга.

— На чем? Там, гутарил народ, парома нету.

— А в Вешках на чем? Паром под твою хурду дадут? Частя побросают на берегу, а вас с арбами начнут переправлять? То-то, дедушка, глупые вы люди! Едут черт те куда и неизвестно зачем. Ну, чего ты это на арбу навалил? — с досадой спрашивал Прохор, равняясь с арбой, указывая на узлы плетью.

— Мало ли тут чего нету! И одежда и хомуты вот, мука и разное прочее, надобное по хозяйству… Кинуть было нельзя. К пустому куреню бы приехал. А то вот я запрег пару коней да три пары быков, все поклал, что можно было, баб посажал и поехал. Ить, милый, все наживалось своим горбом, со слезьми и с потом наживалось, разве ж не жалко кинуть? Кабы можно было, курень бы — и то увез, чтобы красным не достался, холера им в бок.

— Ну, а к примеру, к чему ты это грохот тянешь с собой? Или вот стулья, на какую надобность прешь их? Красным они ничуть не нужны.

— Да ить нельзя же было оставить! Эка, чудак ты… Оставь, а они либо поломают, либо сожгут. Нет, у меня не подживутся. Разъязви их в душу! Все начисто забрал!

Старик махнул кнутом на вяло переступавших сытых лошадей, повернулся назад и, указывая кнутовищем на третью сзади бычиную подводу, сказал:

— Вон энта закутанная девка, что быков погоняет, — моя дочь. У ней на арбе свинья с поросятами. Она была супоросая, мы ее, должно быть, помяли, когда вязали да на арбу клали. Она — возьми да и опоросись ночью, прямо на арбе. Слышишь, как поросятки скавчат? Нет, от меня краснюки не дюже разживутся, лихоман их вытряси!

— Нешто не попадешься ты мне, дед, возля парома! — сказал Прохор, злобно уставившись на потную широкую рожу старика. — Нешто не попадешься, а то так и загремят в Дон твои свиньи, поросята и все имение!

— Это через что же такое? — страшно удивился старик.

— Через то, что люди гибнут, всего лишаются, а ты, старая чертяка, как паук, все тянешь за собой! — закричал обычно смирный и тихий Прохор. — Я таких говноедов до смерти не люблю! Мне это — нож вострый!

— Проезжай! Проезжай мимо! — обозлился старик, сопя, отворачиваясь. — Начальство какое нашлось, чужое добро он поспихал бы в Дон… Я с ним, как с хорошим человеком… У меня самого сын-вахмистр зараз с сотней задерживает красных… Проезжай, пожалуйста! На

чужое добро нечего завидовать! Своего бы наживал поболее, вот оно бы и глаза не играли!

Прохор тронул рысью. Позади пронзительно, тонко завизжал поросенок, встревоженно заохала свинья. Поросячий визг шилом вонзался в уши.

— Что это за черт? Откуда поросенок? Поликарп!.. — болезненно морщась и чуть не плача, закричал лежавший на дрожках офицер.

— Это поросеночек с арбы упал, а ему ноги колесом потрощило, — отвечал подъехавший Поликарп.

— Скажи им… Езжай, скажи хозяину поросенка, чтобы он его прирезал. Скажи, что тут больные… И так тяжело, а тут этот визг. Скорее! Скачи!

Прохор, поравнявшись с дрожками, видел, как горбоносый офицерик морщился, с остановившимся взглядом прислушиваясь к поросячьему визгу, как тщетно пытался прикрыть уши своей серой каракулевой папахой… Подскакал Поликарп.

— Он не хочет резать, Самойло Иваныч. Говорит, что он, поросенок, выходится, а нет — так мы, мол, его на вечер прирежем.

Офицерик побледнел, с усилием приподнялся и сел на дрогах, свесив ноги.

— Где мой браунинг? Останови лошадей! Где хозяин поросенка? Я сейчас покажу… На какой подводе?

Хозяйственного старика все-таки заставили приколоть поросенка.

Прохор, посмеиваясь, тронул рысью, обогнал валку усть-хоперских подвод. Впереди, в версте расстояния, по дороге ехали новые подводы и всадники. Подвод было не меньше двухсот, всадников, ехавших враздробь, — человек сорок.

«Светопреставление будет возля парома!» — подумал Прохор.

Догнал подводы. Навстречу ему, от головы движущегося обоза, на прекрасном темно-гнедом коне наметом скакала баба. Поравнявшись с Прохором, натянула поводья. Конь под ней был оседлан богатым седлом, нагрудная прозвездь и уздечка посверкивали серебром, даже крылья седла были нимало не обтерты, а подпруги и подушки лоснились глянцем добротной кожи. Баба умело и ловко сидела в седле, в сильной смуглой руке твердо держала правильно разобранные поводья, но рослый служивский конь, как видно, презирал свою хозяйку: он выворачивал налитое кровью глазное яблоко, изгибал шею и, обнажая желтую плиту оскала, норовил цапнуть бабу за круглое, вылезшее из-под юбки колено.

Баба была по самые глаза закутана свежевыстиранным, голубым от синьки головным платком. Сдвинув его с губ, спросила:

— Ты не обгонял, дяденька, подводы с ранеными?

— Обгонял много подвод. А что?

— Да вот беда, — протяжно заговорила баба, — мужа не найду. Он у меня с лазаретом из Вусть-Хопра едет. У него ранения в ногу была. А зараз вроде загноилась рана, он и переказал мне с хуторными, чтобы коня ему привела. Это его конь, — баба хлопнула плетью по конской шее, осыпанной росинками пота, — я подседлала коня, поехала в Вусть-Хопер, а лазарета там уже нету, уехал. И вот сколько ни моталась, никак не нападу на него.

Прохор, любуясь круглым красивым лицом казачки, с удовольствием вслушиваясь в мягкий тембр ее низкого контральтового голоса, крякнул:

— Эх, мамушка! На черта тебе мужа искать! Пущай его с лазаретом едет, а тебя — такую раскрасавицу, да ишо с таким конем в приданое, любой в жены возьмет! Я и то рискнул бы.

Баба нехотя улыбнулась, перегнувшись полным станом, натянула на оголившиеся колени подол юбки.

— Ты без хаханьков скажи: не обгонял лазарета?

— Вон в энтой валке есть и больные и раненые, — со вздохом отвечал Прохор.

Баба взмахнула плетью, конь ее круто повернулся на одних задних ногах, бело сверкнул набитой в промежножье пеной, пошел рысью, сбиваясь с ноги, переходя на намет.

Подводы двигались медленно. Быки лениво мотали хвостами, отгоняли гудящих слепней. Стояла такая жара, так душен и сперт был предгрозовой воздух, что у дороги сворачивались и блекли молодые листки невысоких подсолнухов.

Прохор снова ехал рядом с обозом. Его поражало множество молодых казаков. Они или отбились от своих сотен, или просто дезертировали, пристали к семьям и вместе с ними ехали к переправе. Некоторые, привязав к повозкам строевых лошадей, лежали на арбах, переговариваясь с бабами, нянча детишек, другие ехали верхами, не снимая ни винтовок, ни шашек. «Побросали частя и бегут», — решил Прохор, поглядывая на казаков.

Пахло конским и бычьим потом, нагретым деревом бричек, домашней утварью, коломазью. Быки шли понуро, тяжко нося боками. С высунутых языков их до самой придорожной пыли свисали узорчатые нити слюны. Обоз двигался со скоростью четырех-пяти верст в час. Подводы с лошадиными упряжками не перегоняли быков. Но едва лишь где-то далеко на юге мягко разостлался орудийный выстрел, как все пришло в движение: измешав порядок, из длинной вереницы подвод съехали в стороны пароконные и одноконные повозки, запряженные лошадьми. Лошади пошли рысью, замелькали кнуты, послышалось разноголосое: «Но, поди!», «Но-о-о, чертовы сыны!», «Трогай!». По бычьим спинам гулко зашлепали хворостины и арапники, живее загремели колеса. В страхе все ускорило движение. Тяжелыми серыми лохмами поднялась от дороги жаркая пыль и поплыла назад, клубясь, оседая на стеблях хлебов и разнотравья.

Маштаковатый конишка Прохора на ходу тянулся к траве, срывая губами то ветку донника, то желтый венчик сурепки, то кустик горчука; срывал и ел, двигая сторожкими ушами, стараясь выкинуть языком гремящие, натершие десны удила. Но после орудийного выстрела Прохор толкнул его каблуками, и конишка, словно понимая, что теперь не время кормиться, охотно перешел на тряскую рысь.

Канонада разрасталась. Садкие, бухающие звуки выстрелов сливались, в душном воздухе колеблющейся октавой стоял раскатистый, громовитый гул.

— Господи Исусе! — крестилась на арбе молодая баба, вырывая изо рта ребенка коричнево-розовый, блестящий от молока сосок, запихивая в рубаху тугую желтоватую кормящую грудь.

— Наши бьют али кто? Эй, служивый! — крикнул Прохору шагавший рядом с быками старик.

— Красные, дед! У наших снарядов нету.

— Ну спаси их царица небесная!

Старик выпустил из рук налыгач, снял старенькую казачью фуражку; крестясь на ходу, повернулся на восток лицом.

На юге из-за гребня, поросшего стельчатыми всходами поздней кукурузы, показалось жидковатое черное облако. Оно заняло полгоризонта, мглистым покровом задернуло небо.

— Большой пожар, глядите! — крикнул кто-то с подводы.

— Что бы это могло быть?

— Где горит? — сквозь дребезжащий гул колес зазвучали голоса.

— По Чиру.

— Красные по Чиру хутора жгут!

— Сушь, не приведи господь…

— Гляди, какая туча черная занялась!

— Это не один хутор горит!

— Вниз по Чиру от Каргиновской полышет, там ить бой зараз…

— А может, и по Черной речке? Погоняй, Иван!

— Ох, и горит!..

Черная мгла простиралась вширь, занимала все большее пространство. Все сильнее становился орудийный рев. А через полчаса на Гетманский шлях южный ветерок принес прогорклый и тревожный запах гари с пожара, бушевавшего в тридцати пяти верстах от шляха по чирским хуторам.

LX

Дорога по Большому Громку в одном месте шла мимо огорожи, сложенной из серого камня-плитняка, а потом круто заворачивала к Дону, спускалась в неглубокий суходольный ярок, через который был перекинут бревенчатый мост.

В сухую погоду теклина яра желто отсвечивала песком, цветастой галькой, а после летнего ливня с бугра в яр стремительно скатывались мутные дождевые потоки, они сливались, вода шла на низ стеной, вымывая и ворочая камни, с гулом ввергаясь в Дон.

В такие дни мост затопляло, но ненадолго; через час-два бешеная нагорная вода, недавно разорявшая огороды и вырывавшая плетни вместе со стоянками, спадала, на оголенной подошве яра свежо сияла влажная, пахнущая мелом и сыростью омытая галька, по краям коричневым глянцем блистал наносный ил.

По обочинам яра густо росли тополя и вербы. В тени их стояла прохлада даже в самую жаркую пору летнего дня.

Прельстившись холодком, возле моста расположилась застава Вешенской иногородней дружины. В заставе было одиннадцать человек. Пока в хуторе не появлялись беженские подводы, дружинники, лежа под мостом, играли в карты, курили, некоторые, растелешившись, очищали швы рубах и исподников от ненасытных солдатских вшей, двое отпросились у взводного — пошли на Дон купаться.

Но отдых был кратковременным. Вскоре к мосту привалили подводы. Они двигались сплошным потоком, и сразу в сонном тенистом проулке стало людно, шумно, душно, словно вместе с подводами свалилась в хутор с обдонского бугра и едкая степная духота.

Начальник заставы, он же командир 3-го взвода дружины, — высокий сухой унтер-офицер с подстриженной бурой бородкой и большими, по-мальчишески оттопыренными ушами, — стоял около моста, положив ладонь на потерханную кобуру нагана. Он беспрепятственно пропустил десятка два подвод, но, усмотрев на одной арбе молодого, лет двадцати пяти, казака, коротко приказал:

— Стой!

Казак натянул вожжи, нахмурился.

— Какой части? — строго спросил взводный, подойдя к арбе вплотную.

— А вам чего надо?

— Какой части, спрашиваю. Ну?

— Рубеженской сотни. А вы кто такие есть?

— Слазь!

— А кто вы такие?

— Слазь, говорят тебе!

Круглые ушные раковины взводного жарко вспыхнули. Он отстегнул кобуру, вытащил и передал в левую руку наган. Казак сунул вожжи жене, соскочил с арбы.

— Почему не в части? Куда едешь? — допрашивал его взводный.

— Хворал. Еду зараз на Базки… С семейством нашим еду.

— Документ о болезни есть?

— Откель он могет быть? Фершала не было при сотне…

— А, не было?.. Ну-ка, Карпенко, отведи его в школу!

— Да вы кто такие из себя?

— А вот там мы тебе покажем, кто мы такие!

— Я должен в свою часть направляться! Не имеешь прав меня задерживать!

— Сами тебя направим. Оружие при тебе?

— Винтовка одна.

— Бери, да живо у меня, а то враз нашвыряю! Какой молодой, с-с-сукин сын, а под бабу лезешь, хоронишься! Мы, что ли, тебя должны защищать? — И с презрением кинул вслед: — Казу-ня!

Казак вынул из-под полсти винтовку, взял жену за руку, целоваться при людях не стал, лишь черствую женину руку на минуту задержал в своей руке, шепнул что-то, пошел следом за дружинником к хуторской школе.

Скопившиеся в проулке подводы с громом устремились по мосту.

Застава за час задержала человек пятьдесят дезертиров. Из них некоторые при задержании сопротивлялись, особенно — один немолодой, длинноусый, бравый на вид казачок с хутора Нижне-Кривского Еланской станицы. На приказ начальника заставы сойти с брички он ударил по лошадям кнутом. Двое дружинников схватили лошадей под уздцы, остановили уже на той стороне моста. Тогда казачок, не долго думая, выхватил из-под полы американский винчестер, вскинул его к плечу:

— Дороги!.. Убью, сволочь!

— Слазь, слазь! У нас приказ стрелять, кто не подчиняется. Мы тебя скорее посадим на мушку!

— Муж-жи-ки-и-и-и!.. Вчера красные были, а ноне казакам указываете?.. Шерсть вонючая!.. Отойди, вдарю!..

Один из дружинников в новеньких зимних обмотках стал на переднее колесо брички и после короткой схватки вырвал винчестер из рук казака. Тот по-кошачьи изогнулся, скользнул рукой под ватолу, выхватил из ножен шашку; стоя на коленях, потянулся через, прицепную раскрошенную люльку и чуть-чуть не достал концом клинка голову вовремя отпрыгнувшего дружинника.

— Тимоша, брось, Тимонюшка! Ох, Тимоша!.. Да не надо же!.. Не связывайся! Убьют они тебя!.. — плакала, ломая руки, дурнолицая исхудалая жененка разбушевавшегося казака.

Но он, поднявшись на бричке во весь рост, еще долго размахивал сине поблескивавшим клинком, не подпускал к бричке дружинников, хрипло матерился, бешено ворочал по сторонам глазами. «О-той-ди-и-и!.. Зарублю!» По исчерна-смуглому лицу его ходили судороги, под длинными желтоватыми усами вскипала пенистая слюна, голубоватые белки все больше наливались кровью.

Его с трудом обезоружили, повалили, связали. Воинственность лихого казачка объяснялась просто: в бричке пошарили и нашли распочатый ведерный кувшин крепчайшего самогона-первака…

В проулке образовался затор. Так плотно стиснулись повозки, что потребовалось выпрягать быков и лошадей, на руках вывозить арбы к мосту. Хряпали, ломались дышла и оглобли, зло взвизгивали кони, быки, облепленные слепнями, не слушая хозяйских окриков, ошалев от нуды, лезли на плетни. Ругань, крик, щелканье кнутов, бабьи причитания еще

долго звучали около моста. Задние подводы, там, где можно было разминуться, повернули назад, снова поднялись на шлях, с тем чтобы спуститься к Дону на Базках.

Арестованных дезертиров направили под конвоем на Базки, но так как все они были вооружены, то конвой не смог их удержать. Сейчас же за мостом между конвойными и конвоируемыми возникла драка. Спустя немного дружинники вернулись обратно, а дезертиры организованным порядком сами пошли в Вешенскую.

Прохора Зыкова тоже задержали на Громке. Он предъявил отпускную бумажку, выданную Григорием Мелеховым, и его пропустили, не чиня препятствий.

Уже перед вечером он приехал на Базки. Тысячи подвод, приваливших с чнрских хуторов, запрудили все улицы и проулки. Возле Дона творилось нечто неописуемое. Беженцы заставили подводами весь берег на протяжении двух верст. Тысяч пятьдесят народа ждали переправы, рассыпавшись по лесу.

Против Вешенской на пароме переправляли батареи, штабы и войсковое имущество. Пехоту перебрасывали на маленьких лодках. Десятки их сновали по Дону, перевозя по три-четыре человека. У самой воды около пристани вскипала дикая давка. А конницы, оставшейся в арьергарде, все еще не было. С Чира по-прежнему доносились раскаты орудийных выстрелов, и еще резче, ощутимей чувствовался терпкий, прогорклый запах гари.

Переправа шла до рассвета. Часов в двенадцать ночи подошли первые конные сотни. С рассветом они должны были начать переправу.

Прохор Зыков, узнав о том, что конные части 1-й дивизии еще не прибыли, решил дождаться своей сотни на Базках. С трудом провел он коня в поводу мимо повозок, сплошняком сбитых к изгороди базковской больницы, не расседлывая, привязал к грядушке чьей-то арбы, разнуздал, а сам пошел между повозками искать знакомых.

Возле дамбы издали увидал Аксинью Астахову. Она шла к Дону, прижимая к груди небольшой узелок, накинув внапашку теплую кофту. Яркая, бросающаяся в глаза красота ее привлекала внимание толпившихся у берега пехотинцев. Они говорили ей что-то похабное, на потных, запыленных лицах их в улыбках бело вспыхивали зубы, слышны были смачный хохот и игогоканье. Рослый беловолосый казак в распоясанной рубахе и сбившейся на затылок папахе сзади обнял ее, коснулся губами смуглой точеной шеи. Прохор видел, как Аксинья резко оттолкнула казака, что-то негромко сказала ему, хищно ощерив рот. Кругом захохотали, а казак снял папаху, сипло пробасил: «Эх, тетуня! Ды хучь разок!»

Аксинья ускорила шаг, прошла мимо Прохора. На полных губах ее дрожала презрительная усмешка. Прохор не окликнул ее, он шарил по толпе глазами, искал хуторян. Медленно подвигаясь между повозками, мертво протянувшими к небу оглобли и дышла, услышал пьяные голоса, смех. Под арбой на разостланной дерюге сидели трое стариков. Между ног у одного из них стояла цебарка с самогоном. Подгулявшие старики по очереди черпали самогон медной кружкой, сделанной из орудийной гильзы, пили, закусывали сушеной рыбой. Резкий запах самогона и солонцеватый душок просоленной рыбы заставили проголодавшегося Прохора остановиться.

— Служивый! Выпей с нами за все хорошее! — обратился к нему один из стариков.

Прохор не заставил себя упрашивать, сел, перекрестился, улыбаясь, принял из рук хлебосольного деда кружку со сладко пахнущим самогоном.

— Пей, покедова живой! Вот чебачком закуси. Стариками не надо, парнишша, гребовать. Старики — народ умственный! Вам, молодым, ишо учиться у нас надо, как жизню проводить и… ну и как водочку пить, — гундосил другой дедок, с провалившимся носом и разъеденной до десен верхней губой.

Прохор выпил, опасливо косясь на безносого деда. Между второй и третьей кружкой не

вытерпел, спросил:

— Прогулял нос, дедушка?

— Не-е-ет, милый! Это от простуды. Ишо с малюшки дюже от простуды хварывал, через это и попортился.

— А я было погрешил на тебя, думаю: не от дурной ли хворости нос осел? Как бы не набраться этой чепухи! — чистосердечно признался Прохор.

Успокоившись дедовым заверением, он жадно припал губами к кружке и уже без опаски и без передышки опорожнил ее до дна.

— Пропадает жизня! Как тут не запьешь? — орал хозяин самогона, плотный и здоровый дед. — Вот привез я двести пудов пшеницы, а с тыщу бросил дома. Пять пар быков пригнал, и придется все это тут кинуть, через Дон ить не потянешь за собой! Все мое нажитое пропадает! Песни играть хочу! Гуляй, станишники! — Старик побагровел, глаза его увлажнились слезами.

— Не кричи, Трофим Иваныч. Москва — она слезам не дюже верит. Живы будем — ишо наживем, — уговаривал гундосый старик приятеля.

— Да как же мне не кричать?! — с исказившимся от слез лицом повышал голос старик. — Хлеб пропадает! Быки подохнут! Курень сожгут красные! Сына осенью убили! Как можно мне не кричать! Для кого наживал? За лето десять рубах, бывало, сопреют на плечах от поту, а зараз остаюся нагий и босый… Пей!

Прохор под разговор съел широкого, как печной заслон, чебака, выпил кружек семь самогону, до того набрался, что с чрезвычайными усилиями встал на ноги.

— Служивый! Защита наша! Хошь, коню твоему зерна дам? Сколько хошь?

— Мешок! — безразличный ко всему окружающему, бормотнул Прохор.

Старик насыпал ему травяной чувал отборного овса, помог поднять на плечо.

— Чувал принеси! Не забудь, ради Христа! — просил он, обнимая Прохора и плача пьяными слезами.

— Нет, не принесу. Говорю — не принесу, значится, не принесу… — невесть отчего упорствовал Прохор.

Раскачиваясь, он пошел от арбы. Чувал гнул его, кидая в стороны. Прохору казалось, что идет он по одетой скользкой гололедкой земле, ноги его расползались и дрожали, как у некованой, вступившей на лед сторожкой лошади. Сделав еще несколько неверных шагов, остановился. Никак не мог припомнить: была на нем шапка или нет? Привязанный к бричке гнедой белолобый мерин учуял овес, потянулся к чувалу, куснул угол. В прорыв, мягко шурша, потекло зерно. Прохору стало легче, и он снова пошел.

Может быть, и донес бы остатки овса до своего коня, но огромный бык, мимо которого он проходил, вдруг сбоку, по бычиному обыкновению, лягнул его ногой. Быка измучили оводы и мошкара, он ошалел от жары и нуды, не подпускал к себе людей. Прохор, бывший в этот день не первой жертвой бычиной ярости, отлетел в сторону, ударился головой о ступку колеса, тотчас же уснул.

Очнулся за полночь. Над ним в сизой вышине, клубясь, стремительно неслись на запад свинцово-серые тучи. В просветы на миг выглядывал молодой пологий месяц, и снова тучевою наволочью крылось небо, и словно бы усиливался в темноте резкий, прохладный ветер.

Совсем близко за арбой, около которой лежал Прохор, шла конница. Под множеством обутых в железные подковы лошадиных копыт земля стонала и охала. Прыскали кони, чуя близкий дождь; вызванивали с стремена шашки, вспыхивали рдяные огоньки цигарок. От проходивших сотен наносило конским потом и кислотным душком ременной амуниции.

Прохор — как и всякий служивый казак — сроднился за годы войны с этим смешанным, только коннице присущим запахом. Казаки пронесли его по всем дорогам от Пруссии и Буковины до донских степей, и он, нерушимый душок кавалерийской части, был столь же близок и знаком, как и запах родного куреня. Жадно шевельнув куцыми ноздрями, Прохор приподнял тяжелую голову.

— Это какая часть, братцы?

— Конная… — игриво ответил басок из темноты.

— Да чья, спрашиваю, часть?

— Петлюры… — отвечал тот же басок.

— Эка сволочь! — Подождал немного, повторил вопрос: — Какой полк, товарищи?

— Боковский.

Прохор хотел встать, но в голове тяжко билась кровь, к горлу подступала тошнота. Прилег, снова уснул. К заре потянуло с Дона сыростью и холодом.

— Не помер? — сквозь сон услышал он голос над собой.

— Теплый… выпитый! — отвечал кто-то над самым Прохоровым ухом.

— Тяни его к черту! Развалился, как падло! А ну, дай ему под дыхало!

Древком пики всадник больно толкнул еще не пришедшего в себя Прохора в бок, чьи-то руки сцапали его за ноги, поволокли в сторону.

— Растягивай повозки! Подохли! Нашли время дрыхнуть! Красные вот-вот на хвост наступают, а они спят, как дома! Отодвигай повозки в сторону, зараз батарея пойдет! Живо!.. Загородили дорогу… Ну и наро-о-од! — загремел властный голос.

Спавшие на повозках и под повозками беженцы зашевелились. Прохор вскочил на ноги. На нем не было ни винтовки, ни шашки, не было и сапога на правой ноге, — все это умудрился растерять он после вчерашней пьянки. Недоумевающе оглянувшись, хотел было поискать под арбой, но соскочившие с лошадей ездовые и номера подошедшей батареи безжалостно опрокинули арбу вместе со стоявшими на ней сундуками, вмиг очистили проход для орудий.

— Тро-га-а-ай!..

Ездовые вскочили на лошадей. Туго дрогнув, натянулись широкие сшивные постромки. Высокие колеса одетого в чехол орудия лязгнули на выбоине. Зарядный ящик зацепился осью за дышлину брички, отломил ее.

— Бросаете фронт? Вояки, разъязви вашу! — крикнул с брички гундосый старик, с которым вечером выпивал Прохор.

Батарейцы проезжали молча, спешили к переправе. Прохор в предрассветных сумерках долго искал винтовку и коня. Так и не нашел. Возле лодок снял и другой сапог, кинул его в воду и долго мочил голову, стянутую обручами невыносимой боли.

Конница начала переправляться на восходе солнца. Полтораста расседланных лошадей 1-й сотни спешенные казаки подогнали к Дону повыше колена, от которого Дон под прямым углом сворачивает на восток. Командир сотни, по глаза заросший рыжей щетинистой бородкой, горбоносый и свирепый на вид, был разительно похож на дикого кабана. Левая рука его висела на грязной окровяненной перевязи, правая — безустально играла плетью.

— Не давай коням пить! Гони! Гони их! Да что ты… мать… мать… мать… воды боишься, что ли?! Заброди!.. Он у тебя не сахарный, не размокнет!.. — кричал он на казаков, загонявших лошадей в воду, и под рыжими усами его обнажались клыкастые белые зубы.

Лошади табунились, неохотно шли в знобкую воду, казаки покрикивали, секли их плетьми. Первым поплыл вороной белоноздрый конь с широкой розоватой прозвеэдью во лбу. Он, как видно, плавал не впервые. Вислозадый круп его омывала волна, мочалистый

хвост относило на сторону, а шея и спина были наружи. За ним шли остальные лошади, разрезая стремя, с гулом и фырканьем погружаясь в закипевшую воду. Казаки на шести баркасах поехали следом. Один из провожатых, стоя на носу баркаса, на всякий случай приготовил веревочный аркан.

— Наперед не заезжай! Направляй их наискосок течению! Не давай, чтобы их сносило.

Плеть в руке сотенного ожила, описала круг, щелкнув, опустилась на голенище измазанного известкой сапога.

Быстрое течение сносило лошадей. Вороной легко плыл впереди остальных, выделившись на два лошадиных корпуса. Он первый выбрался на песчаную отмель левобережья. В этот момент из-за кустистых ветвей осокоря глянуло солнце, розовый луч упал на вороного коня, и глянцевая от влаги шерсть его на миг вспыхнула черным неугасимым пламенем.

— За кобылкой Мрыхина поглядывай! Подсоби ей!.. На ней уздечка. Да греби же! Греби!.. — хрипло кричал похожий на кабана сотенный.

Лошади благополучно переплыли. На той стороне их ждали казаки. Они разбирали лошадей, накидывали уздечки. С этой стороны начали перевозить седла.

— Где вчерась горело? — спросил Прохор у казака, подносившего к лодке седла.

— По Чиру.

— Снарядом зажгло?

— Каким там снарядом? — сурово отвечал казак. — Красные подпаливают…

— Все начисто? — изумился Прохор.

— Да не-е-ет… Богатые курени жгут, какие железом крытые, либо у кого подворье хорошее.

— Какие же хутора погорели?

— С Вислогузова до Грачева.

— А штаб Первой дивизии — не знаешь, где зараз?

— На Чукаринском.

Прохор вернулся к беженским подводам. Всюду над бескрайно тянувшимся станом схватывался под ветерком горький дымок костров из сушняка, разобранных плетней и сухого скотиньего помета: бабы варили завтраки.

За ночь прибыло еще несколько тысяч беженцев со степной полосы правобережья.

Возле костров, на арбах и повозках пчелиный гул голосов:

— Когда она приспеет нам — очередь переправляться? Ох, не дождешься!

— Накажи господь, — высыплю хлеб в Дон, чтобы красным не достался!

— Возле парома ми-и-иру — как туча стоит!

— Болезная моя, как же мы сундуки-то бросим на берегу?

— Наживали-наживали… Господи-Сусе, кормилец наш!

— Было бы на своем хуторе переехать…

— Понесла нелегкая сила в эти Вешки, эх!

— Калинов Угол, гутарили, начисто спалили.

— Гребтилось на паром добраться…

— Ну, а то помилуют, что ли!

— У них приказ: всех казаков от шести лет и до самых ветхих годов — рубить.

— Зашшучут нас на энтой стороне… Ну, что тогда?

— Вот мяса нашатают!..

Около раскрашенной тавричанской брички ораторствует статный седобровый старик, по виду и властным замашкам — хуторской атаман, не один год носивший атаманскую насеку с

медным надвершием:

— …спрашиваю: «Стало быть, миру погибать надо на берегу? Когда же мы сумеемся со своими гуньями на энту сторону перекинуться? Ить нас же вырубят красные на кореню!» А ихнее благородие говорит мне: «Не сумлевайся, папаша! До сих пор будем позиции занимать и отстаивать, покеда весь народ переедет. Костьми ляжем, а жен, детей, стариков в трату не дадим!»

Седоброго атамана окружают старики и бабы. Они с величайшим вниманием выслушивают его речь, потом поднимается общий суматошный крик:

— А почему батарея смоталась?

— За малым людей не потоптали, скакали на переправу!..

— И конница пришла…

— Григорий Мелехов, гутарили, фронт бросил.

— Что это за порядки? Жителев побросали, а сами?..

— А войска тяпают передом!

— Кто нас будет оборонять?

— Кавалерия вон вплынь пошла!..

— Всякому своя рубаха…

— То-то и оно!

— Кругом предали нас!

— Гибель подходит, вот что!

— Высылать надо к красным стариков с хлебом-солью. Может, смилуются, не будут казнить.

На въезде в проулок, около большого кирпичного здания больницы, появляется конник. Винтовка висит у него на передней седельной луке, сбоку покачивается выкрашенное в зеленое древко пики.

— Да это мой Микишка! — обрадованно вскрикивает распокрытая пожилая баба.

Она бежит к всаднику, перепрыгивая через дышла, протискиваясь между возками и лошадьми. Верхового хватают за стремена, останавливают. Он поднимает над головой серый пакет с сургучной печатью, кричит:

— С донесением в главный штаб! Пропустите!

— Микишенька! Сынок! — взволнованно кричит пожилая баба. Растрепанные черные с проседью космы волос ее падают на сияющее лицо. Она с дрожащей улыбкой всем телом прижимается к стремени, к потному лошадиному боку, спрашивает:

— На нашем хуторе был?

— Был. Зараз в нем красные…

— Курень наш?..

— Курень целый, а Федотов сожгли. Наш сарай было занялся, но они сами затушили. Фетиска оттель прибегла, рассказывала, что старшой у красных сказал: «Чтоб ни одна бедняцкая хата не сгорела, а буржуев жгите».

— Ну слава те господи! Спаси их Христос! — крестится баба.

Суровый старик негодующе говорит:

— А ты чего же, милушка моя! Соседа спалили — так это «слава те господи»?

— Черт его не взял! — горячо и быстро лопочет баба. — Он себе ишо выстроит, а я за какую петлю строилась бы, ежли б сожгли! У Федота — кубышка золота зарытая, а у меня… весь век по чужим людям, у нужды на поводу!

— Пустите, маманя! Мне с пакетом надо поспешать, — просит всадник, наклоняясь с седла.

Мать идет рядом с лошадью, на ходу целует черную от загара руку сына, бежит к своей повозке, а всадник юношеским тенорком кричит:

— Сторонись! С пакетом к командующему! Сторонись!

Лошадь его горячится, вертит задом, выплясывает. Люди неохотно расступаются, всадник едет с кажущейся медлительностью, но вскоре исчезает за повозками, за спинами быков и лошадей, и только пика колышется над многолюдной толпой, приближаясь к Дону.

LXI

За день на левую сторону Дона были переброшены все повстанческие части и беженцы. Последними переправлялись конные сотни Вешенского полка 1-й дивизии Григория Мелехова.

До вечера Григорий с двенадцатью отборными сотнями удерживал натиск красной 33-й Кубанской дивизии. Часов в пять от Кудинова получил уведомление о том, что воинские части и беженцы переправлены, и тогда только отдал приказ об отступлении.

По разработанному заранее плану, повстанческие сотни Обдонья должны были переправиться и разместиться каждая против своего хутора. К полудню в штаб стали поступать донесения от сотен. Большинство их уже расположилось по левобережью против своих хуторов.

Туда, где между хуторами были интервалы, штаб перебросил сотни из казаков степной полосы побережья. Кружилинская, Максаево-Сингинская, Каргинская пешая, Латышевская, Лиховидовская и Грачевская сотни заняли промежутки между Пегаревкой, Вешенской, Лебяжинским, Красноярским, остальные отошли в тыл, на хутора Задонья — Дубровку, Черный, Гороховку — и должны были, по мысли Сафонова, составить тот резерв, который понадобился бы командованию в случае прорыва.

По левой стороне Дона, от крайних к западу хуторов Казанской станицы до Усть-Хопра, на сто пятьдесят верст протянулся повстанческий фронт.

Переправившиеся казаки готовились к позиционным боям: спешно рыли траншеи, рубили и пилили тополя, вербы, дубы, устраивали блиндажи и пулеметные гнезда. Все порожние мешки, найденные у беженцев насыпали песком, укладывали внакат, бруствером, перед сплошной линией траншей.

К вечеру рытье траншей всюду было закончено. За Вешенской в сосновых посадках замаскировались 1-я и 3-я повстанческие батареи. На восемь орудий имелось всего-навсего пять снарядов. На исходе были и винтовочные патроны. Кудинов с коннонарочными разослал приказ, строжайше запрещавший отстреливаться. В приказе предлагалось выделить из сотен по одному, по два наиболее метких стрелка, снабдить их достаточным числом патронов, с тем чтобы эти сверхметкие стрелки уничтожали красных пулеметчиков и тех красноармейцев, которые будут показываться на улицах правобережных хуторов. Остальным разрешалось стрелять только в том случае, если красные вздумают предпринять попытку к переправе.

Григорий Мелехов уже в сумерках объехал разбросанные вдоль Дона части своей дивизии, ночевать вернулся в Вешенскую.

Разводить огни в займище было воспрещено. Не было огней и в Вешенской. Все Задонье тонуло в лиловой мгле.

Рано утром на базковском бугре появились первые красные разъезды. Вскоре они замаячили по всем курганам правобережья от Усть-Хоперской до Казанской. Красный фронт

могущественной лавой подкатывался к Дону. Потом разъезды скрылись, и до полудня бугры мертвели в пустынной тяжкой тишине.

По Гетманскому шляху ветер кружил белесые столбы пыли. На юге все еще стояла багрово-черная мгла пожарища. Разметанные ветром тучи скапливались снова. По бугру легла крылатая тучевая тень. Жиганула белая при дневном свете молния. Серебристой извилистой росшивью она на миг окаймила синюю тучу, сверкающим копьем метнулась вниз и ударила в тугую выпуклую грудину сторожевого кургана. Гром словно расколол нависшую тучевую громадину: из недр ее хлынул дождь. Ветер косил его, нес белесыми пляшущими волнами по меловым косогорам обдонских отрогов, по увядшим от жара подсолнухам, по поникшим хлебам.

Дождь обновил молодую, но старчески серую от пыли листву. Сочно заблистали яровые всходы, подняли круглые головы желтолицые подсолнухи, с огородов пахнуло медвяным запахом цветущей тыквы. Утолившая жажду земля долго дышала паром…

За полдень на сторожевых насыпных курганах, редкой цепью лежавших по обдонскому гребню, протянувшихся над Доном до самого Азовского моря, снова появились разъезды красноармейцев.

С курганов желтобурунное плоское Задонье, изрезанное зелеными островами ендов, было видно на десятки верст. Красноармейские разъезды с опаской стали съезжать в хутора. С бугра цепями повалила пехота. За сторожевыми курганами, на которых некогда дозорные половцев и воинственных бродников караулили приход врага, стали красные батареи.

Расположившаяся на Белогорской горе батарея начала обстрел Вешенской. Первая граната разорвалась на площади, а потом серые дымки снарядных разрывов и молочно-белые тающие на ветру шапки шрапнелей покрыли станицу. Еще три батареи начали обстреливать Вешенскую и казачьи траншеи у Дона.

На большом Громке яростно возговорили пулеметы. Два «гочкиса» били короткими очередями, а баритонистый «максим» рассыпал неумолчную железную дробь, пристрелявшись по звеньям перебегавшей за Доном повстанческой пехоты. К буграм подтягивались обозы. На поросших терновником склонах гор рыли окопы. По Гетманскому шляху цокотали колеса двуколок и фурманок, за ними длинным клубящимся подолом тянулась пыль.

Орудийный гул шел по всему фронту. С господствовавших над местностью обдонских гор красные батареи обстреливали Задонье до позднего вечера. Изрезанное траншеями повстанцев займище молчало на всем протяжении, от Казанской до Усть-Хоперской. Коноводы укрылись с лошадьми в потайных уремах [73], непролазно заросших камышом, осокой и кугой. Там коней не беспокоил гнус, в оплетенной диким хмелем чаще было прохладно. Деревья и высокий белотал надежно укрывали от красноармейских наблюдателей.

Ни души не было на зеленой луговой пойме. Изредка лишь на лугу показывались согбенные от страха фигурки беженцев, пробиравшихся подальше от Дона. Красноармейский пулемет выщелкивал по ним несколько очередей, тягучий посвист пуль кидал перепуганных беженцев на землю. Они лежали в густой траве до сумерек и только тогда на рысях уходили к лесу, без оглядки спешили на север, в ендовы, гостеприимно манившие густейшей зарослью ольшаника и берез.

Два дня Вешенская была под усиленным артиллерийским обстрелом. Жители не показывались из погребов и подвалов. Лишь ночью оживали изрытые снарядами улицы станицы.

В штабе высказывали предположения, что столь интенсивный обстрел есть не что иное, как подготовка к наступлению, к переправе. Были опасения, что красные начнут переправу

именно против Вешенской, с целью занять ее и, вонзившись клином в протянувшийся по прямой линии фронт, расчленить его надвое, а затем уже фланговым наступлением с Калача и Усть-Медведицы сокрушить окончательно.

По приказу Кудинова в Вешенской у Дона было сосредоточено более двадцати пулеметов, снабженных достаточным числом пулеметных лент. Командиры батарей получили приказ расстрелять оставшиеся снаряды только в том случае, если красные вздумают переправляться. Паром и все лодки были заведены в затон выше Вешенской, находились там под сильной охраной.

Григорию Мелехову опасения штабных казались необоснованными. На происходившем 24 мая совещании он высмеял предположения Ильи Сафонова и его единомышленников.

— На чем они будут переправляться против Вешек? — говорил он. — Да разве ж тут дозволительное для переправы место? Вы поглядите: с энтой стороны голый, как бубен, берег, песчаная ровная коса, у самого Дона — ни лесочка, ни кусточка. Какой же дурак сунется в этой местности переправляться? Один Илья Сафонов при его способностях мог бы в такую пропасть лезть… Пулеметы на таком голом берегу выкосят всех до единого! И ты не думай, Кудинов, что красные командиры дурее нас с тобой. Средь них есть башковитей нас! В лоб на Вешки они не пойдут, и нам следовает ждать переправы не тут, а либо там, где мелко, где броды образовываются на россыпях, либо там, где местность потаенная, в складках и в лесу. За такими угрожаемыми местами надо дюже наблюдать, особенно ночьми; казаков предупреждать, чтобы маху не дали, чтобы не програчевали, а к опасным местам загодя подвести резервы, чтобы было что сунуть на случай беды.

— Говоришь — не пойдут на Вешки? А почему они допоздна кроют но станице из орудий? — задал вопрос помощник Сафонова.

— Это ты уже у них спроси. По одним Вешкам стреляют, что ли? И по Казанке бьют, по Еринскому, вон с Семеновской горы — и то наворачивают. Они сквозь бьют из орудий. У них снарядов, должно, трошки поболе, чем у нас. Это наша с… артиллерия имеет пять снарядов, да и у энтих стаканы из дуба тесаные.

Кудинов захохотал:

— Ну вот это в точку попал!

— Тут критику нечего наводить! — обиделся присутствовавший на совещании командир 3-й батареи. — Тут надо о деле гутарить.

— Гутарь, кто ж тебе на язык наступает? — Кудинов нахмурился, заиграл пояском. — Говорено было не раз вам, чертям: «Не расходуйте без толку снаряды, блюдите для важных случаев!» Так нет, били по чем попадя, по обозам — и то били. А сейчас вот подошло гузном к пузу — вдарить нечем. Чего же обижаться на критику? Правильно Мелехов над вашей дубовой артиллерией надсмехается. Справа ваша истинно смеху достойна!

Кудинов стал на сторону Григория, решительно поддержав его предложение об усиленной охране наиболее подходящих для переправы мест и сосредоточения в непосредственной близости от угрожаемых участков резервных частей. Было решено из имевшихся в самой Вешенской пулеметов выделить несколько штук для передачи Белогорской, Меркуловской и Громковской сотням, на участках которых переправа была всего возможней.

Предположение Григория о том, что красные не будут предпринимать попыток к переправе против Вешенской, а изберут для этого более удобное место, подтвердилось на другой же день. Утром командир Громковской сотни сообщил, что красные готовятся к переправе. Всю ночь на той стороне Дона слышались гомон, стук молотков, скрип колес. Откуда-то на многочисленных подводах на Громок привозили доски, их сбрасывали, и

тотчас же начинали повизгивать пилы, слышно было, как стучали топорами и молотками. По всему можно было судить, красные что-то сооружают. Казаки вначале предполагали, что наводится понтонный мост. Двое смельчаков ночью зашли на полверсты выше того места, откуда доносились шумы плотницкой работы, растелешились и, под прикрытием надетых на головы кустов, по течению тихо сплыли на низ. Они были у самого берега, неподалеку от них переговаривались красноармейцы расположившейся под вербами пулеметной заставы, отчетливо слышались голоса и стук топоров в хуторе, но на воде ничего не было видно. Красные если и строили что-то, то, во всяком случае, не мост.

Громковский сотенный усилил наблюдение за неприятельской стороной. На заре наблюдатели, неотрывно смотревшие в бинокль, долго ничего не видели. Но вскоре один из них, считавшийся еще на германской войне лучшим стрелком в полку, приметил в предрассветном сумеречье красноармейца, спускавшегося к Дону с двумя оседланными лошадьми.

— Красный слушается к воде, — шепнул казак товарищу и отложил бинокль.

Лошади забрели по колено, стали пить.

Казак накинул на локоть левой руки длинно отпущенный винтовочный погон, поднял навесную рамку, долго и тщательно выцеливал…

После выстрела одна из лошадей мягко завалилась на бок, другая поскакала в гору. Красноармеец нагнулся, чтобы снять с убитой лошади седло. Казак выстрелил вторично, тихо засмеялся: красноармеец быстро выпрямился, побежал было от Дона, но вдруг упал. Упал ничком и больше уже не поднялся…

Григорий Мелехов, как только получил сообщение о подготовке красных к переправе, оседлал коня, поехал на участок Громковской сотни. За станицей он вброд переехал узкий усынок озера, рукавом отходившего от Дона и тянувшегося до конца станицы, поскакал лесом.

Дорога лежала лугом, но по лугу было опасно ехать, поэтому Григорий избрал несколько кружный путь: лесом проехал до конца озера Рассохова, по кочкам и белоталу добрался до Калмыцкого брода (узкого протока, густо заросшего кувшинками, резучкой и камышом, соединявшего одну из луговых музг с озером Подстойлицей), и только перебравшись через стрямкий Калмыцкий брод, остановил коня, дал ему несколько минут отдохнуть.

До Дона было по прямой около двух верст. Ехать к траншеям лугом — значило подвергнуться обстрелу. Можно было дождаться вечерних сумерек, чтобы пересечь ровное полотнище луга затемно, но Григорий, не любивший ожидания, всегда говаривавший, что «хуже всего на свете — это дожидаться и догонять», решил ехать сейчас же. «Ахну наметом во всю конскую резвость, небось не попадут!» — подумал он, выезжая из кустов.

Выбрал зеленую гривку верб, отножиной выходившую из придонского леса, поднял плеть. От удара, обжегшего круп, от дикого гика конь дрогнул всем телом, заложил уши и, все больше набирая скорость, птицей понесся к Дону. Не успел Григорий проскакать полсотни саженей, как с бугра правобережья навстречу ему длинными очередями затакал пулемет. «Тюуть! Тюуть! Тюуть! Тью! Тью!» — по-сурчиному засвистали пули. «Увышал, дядя!» — подумал Григорий, стискивая конские бока, пуская поводья, касаясь щекой вихрившейся под встречным ветром конской гривы. И, словно угадав его мысль, красный пулеметчик, лежавший за зеленым щитком станкового пулемета где-то на беломысом бугре, взял прицел с упреждением, резанул струею пулеметного огня ниже, и уже под передними копытами коня смачно зачмокали, по-змеиному зашипели накаленные в полете пули. Они вгрызались во влажную, еще не просохшую от полой воды почву, брызгали горячей грязью… «Цок! Шшшиу! Цок! Цок!» — и опять над головой и возле конского корпуса: «Тиууу! Тьють!..

Тиииуууу».

Приподнявшись на стременах, Григорий почти лежал на вытянутой конской шее. Со страшной быстротой катилась навстречу зеленая грядина верб. Когда он достиг уже половины пути, с Семеновского бугра саданулo орудие. Железный скрежет снаряда потряс воздух. Близкий грохот разрыва заставил Григория качнуться в седле. Еще не заглох в ушах его стонущий визг и вой осколков, еще не успели подняться в ближней музге камыши, поваленные буревым давлением воздуха, с шорохом выпрямлявшиеся, — как на горе раздался гром орудийного выстрела, и вой приближавшегося снаряда снова стал давить Григория, прижимать его к седлу.

Ему показалось, что гнетущий, достигший предельного напряжения скрежет на какую-то сотую долю секунды оборвался, и вот в эту-то сотую секунды перед глазами его дыбом встало взметнувшееся черное облако, от сокрушающего удара задрожала земля, передние ноги коня как будто провалились куда-то…

Григорий очнулся в момент падения. Он ударился о землю так сильно, что на коленях его лопнули защитные суконные шаровары, оборвались штрипки. Мощная волна сотрясенного разрывом воздуха далеко отбросила его от коня, и уже упав, он еще несколько саженей скользил по траве, обжигая о землю ладони и щеку.

Оглушенный падением, Григорий поднялся на ноги. Сверху черным дождем сыпались комки и крохи земли, вывернутые корневища трав… Конь лежал в двадцати шагах от воронки. Голова его была неподвижна, но задние ноги, закиданные землей, мокрый от пота круп и пологий скат репицы дрожали мелкой, конвульсивной дрожью.

Пулемет на той стороне Дона умолк. Минут пять стояла тишина. Над музгой тревожно кричали голубые рыбники. Григорий пошел к коню, преодолевая головокружение. Ноги его тряслись, были странно тяжелы. Он испытывал такое ощущение, какое обычно бывает при ходьбе после долгого и неудобного сидения, когда от временно нарушенного кровообращения отекшие ноги кажутся чужими и каждый шаг звоном отдается во всем теле…

Григорий снял с убитого коня седло и едва вошел в посеченные осколками камыши ближайшей музги, как снова с ровными промежутками застучал пулемет. Полета пуль не было слышно — очевидно, с бугра стреляли уже по какой-нибудь новой цели.

Час спустя он добрался до землянки сотенного.

— Зараз перестали плотничать, — говорил командир сотни, — а ночью непременно опять заработают. Вы бы нам патронишков подкинули, а то ить хучь кричи — по обойме, по две на брата.

— Патроны привезут к вечеру. Глаз не своди с энтого берега!

— И то глядим. Ноне ночью думаю вызвать охотников, чтобы переплыли да поглядели, что они там выстраивают.

— А почему этой ночью не послал?

— Посылал, Григорий Пантелеевич, двоих, но они забоялись в хутор идтить. Возле берега проплыли, а в хутор — забоялись… Да и кого же понудишь зараз? Дело рисковое, напхнешься на ихнюю заставу — и враз заворот кровям сделают. Поблизу от своих базов что-то казачки не дюже лихость показывают… На германской, бывало, до черта было рискателей кресты добывать, а зараз не то что в глыбокую разведку — в заставу и то не допросишься идтить. А тут с бабами беда: понашли к мужьям, ночуют тут же в окопах, а выгнать не моги. Вчерась начал их выгонять, а казаки на меня грозятся: «Пущай, дескать, посмирнее себя ведет, а то мы с ним живо управимся!»

Григорий из землянки сотенного пошел в траншеи. Они зигзагом тянулись по лесу

саженях в двадцати от Дона. Дубняк, кусты чилизника и густая поросль молодых тополей скрывали желтую насыпь бруствера от глаз красноармейцев. Ходы сообщения соединяли траншеи с блиндажами, где отдыхали казаки. Около землянок валялись сизая шелуха сушеной рыбы, бараньи кости, подсолнечная лузга, окурки, какие-то лоскутья; на ветках висели выстиранные чулки, холстинные исподники, портянки, бабьи рубахи и юбки…

Из первой же землянки высунула простоволосую голову молодая заспанная бабенка. Она протерла глаза, равнодушно оглядела Григория; как суслик в норе, скрылась в черном отверстии выхода. В соседней землянке тихо пели. С мужскими голосами сплетался придушенный, но высокий и чистый женский голос. У самого входа в третью землянку сидела немолодая, опрятно одетая казачка. На коленях у нее покоилась тронутая сединой чубатая голова казака. Он дремал, удобно лежа на боку, а жена проворно искала его, била на деревянном зубчатом гребне черноспинных головных вшей, отгоняла мух, садившихся на лицо ее престарелого «дружечки». Если бы не злобное тарахтенье пулемета за Доном, не гулкое буханье орудий, доносившееся по воде откуда-то сверху, не то с Мигулинского, не то с Казанского юртов, можно было бы подумать, что у Дона станом стали косари — так мирен был вид пребывавшей на линии огня Громковской повстанческой сотни.

Впервые за пять лет войны Григорий видел столь необычайную позиционную картину. Не в силах сдержать улыбки, он шел мимо землянок, и всюду взгляд его натыкался на баб, прислуживавших мужьям, чинивших, штопавших казачью одежду, стиравших служивское бельишко, готовивших еду и мывших посуду после немудрого полуднования.

— Ничего вы тут живете! С удобствами… — сказал сотенному Григорий, возвратись в его землянку.

Сотенный осклабился:

— Живем — лучше некуда.

— Уже дюже удобно! — Григорий нахмурился: — Баб отседова убрать зараз же! На войне — и такое!.. Базар тут у тебя али ярмарка? Что это такое? Этак красные Дон перейдут, а вы и не услышите: некогда будет слухать, на бабах будете страдать… Гони всех длиннохвостых, как только смеркнется! А то завтра приеду, и ежели завижу какую в юбке — голову тебе первому сверну!

— Оно-то так… — охотно соглашался сотенный. — Я сам супротив баб, да что с казаками поделаешь? Дисциплина рухнулась… Бабы по мужьям наскучили, ить третий месяц воюем!

А сам, багровея, садился на земляные нары, чтобы прикрыть собою брошенную на нары красную бабью завеску, и, отворачиваясь от Григория, грозно косился на отгороженный дерюгой угол землянки, откуда высматривал смеющийся карий глаз его собственной женушки…

LXII

Аксинья Астахова поселилась в Вешенской у своей двоюродной тетки, жившей на краю станицы, неподалеку от новой церкви. Первый день она разыскивала Григория, но его еще не было в Вешенской, а на следующий день допоздна по улицам и переулкам свистали пули, рвались снаряды, и Аксинья не решилась выйти из хаты.

«Вызвал в Вешки, сулил — вместе будем, а сам лытает черт те где!» — озлобленно думала она, лежа в горнице на сундуке, покусывая яркие, но уже блекнущие губы. Старуха тетка сидела у окна, вязала чулок, после каждого орудийного выстрела крестилась.

— Ох, господи Иисусе! Страсть-то какая! И чего они воюют? И чего они взъелися один на одного?

На улице, саженях в пятнадцати от хаты, разорвался снаряд. В хате, жалобно звякая, посыпались оконные глазки.

— Тетка! Уйди ты от окна, ить могут в тебя попасть! — просила Аксинья.

Старуха из-под очков усмешливо осматривала ее, с досадой отвечала:

— Ох, Аксютка! Ну и дурная же ты, погляжу я на тебя. Что я, неприятель, что ли, им? С какой стати они будут в меня стрелять?

— Нечаянно убьют! Ить они же не видют, куда пули летят.

— Так уж и убьют! Так уж и не видют! Они в казаков стреляют, казаки им, красным-то, неприятели, а я — старуха, вдова, на что я им нужна? Они знают, небось, в кого им целить из ружьев, из пушков-то!

В полдень по улице, по направлению к нижней луке промчался пригнувшийся к конской шее Григорий, Аксинья увидела его в окно, выскочила на увитое диким виноградом крылечко, крикнула: «Гриша!..» — но Григорий уже скрылся за поворотом, только пыль, вскинутая копытами его коня, медленно оседала на дороге. Бежать вдогонку было бесполезно. Аксинья постояла на крыльце, заплакала злыми слезами.

— Это не Степа промчался? Чегой-то ты выскочила как бешеная? — спросила тетка.

— Нет… Это — один наш хуторный… — сквозь слезы отвечала Аксинья.

— А чего же ты слезу сронила? — допытывалась любознательная старуха.

— И чего вам, тетинка, надо? Не вашего ума дело!

— Так уж и не нашего ума… Ну, значит, любезный промчался. А то чего же! Ни с того ни с сего ты бы не закричала… Сама жизню прожила, знаю!

К вечеру в хату вошел Прохор Зыков.

— Здорово живете! А что у вас, хозяюшка, никого нету из Татарского?

— Прохор! — обрадованно ахнула Аксинья, выбежала из горницы.

— Ну, девка, задала ты мне пару! Все ноги прибил, тебя искамши! Он ить какой? Весь в батю, взгальный. Стрельба идет темная, все живое похоронилось, а он — в одну душу: «Найди ее, иначе в гроб вгоню!»

Аксинья схватила Прохора за рукав рубахи, увлекла в сенцы.

— Где же он, проклятый?

— Хм… Где же ему быть? С позицией пеши припер. Коня под ним убили ноне. Злой пришел, как цепной кобель. «Нашел?» — спрашивает. «Где же я ее найду? — говорю. — Не родить же мне ее!» А он: «Человек не иголка!» Да как зыкнет на меня… Истый бирюк в человечьей коже!

— Чего он говорил-то!

— Собирайся и пойдем, боле ничего!

Аксинья в минуту связала свой узелок, наспех попрощалась с теткой.

— Степан прислал, что ли?

— Степан, тетинка!

— Ну, поклон ему неси. Что же он сам-то не зашел? Молочка бы попил, вареники, вон, у нас осталися…

Аксинья, не дослушав, выбежала из хаты.

Пока дошла до квартиры Григория — запыхалась, побледнела, уж очень быстро шла, так что Прохор под конец даже стал упрашивать:

— Послухай ты меня! Я сам в молодых годах за девками притоптывал, но сроду так не поспешал, как ты. Али тебе терпежу нету? Али пожар какой? Я задвыхаюсь! Ну кто так по

песку летит? Все у вас как-то не по-людски…

А про себя думал: «Сызнова склещились… Ну, зараз их и сам черт не растянет! Они свой интерес справляют, а я должон был ее, суку, под пулями искать… Не дай и не приведи бог — узнает Наталья, да она меня с ног и до головы… Коршуновскую породу тоже знаем! Нет, кабы не потерял я коня с винтовкой при моей пьяной слабости, черта с два я пошел бы тебя искать по станице! Сами вязались, сами развязывайтесь!»

В горнице с наглухо закрытыми ставнями дымно горел жирник. Григорий сидел за столом. Он только что вычистил винтовку и еще не кончил протирать ствол маузера, как скрипнула дверь. На пороге стала Аксинья. Узкий белый лоб ее был влажен от пота, а на бледном лице с такой исступленной страстью горели расширившиеся злые глаза, что у Григория при взгляде на нее радостно вздрогнуло сердце.

— Сманул… а сам… пропадаешь… — тяжело дыша, выговаривала она.

Для нее теперь, как некогда, давным-давно, как в первые дни их связи, уже ничего не существовало, кроме Григория. Снова мир умирал для нее, когда Григорий отсутствовал, и возрождался заново, когда он был около нее. Не совестясь Прохора, она бросилась к Григорию, обвилась диким хмелем и, плача, целуя лоб, глаза, губы, невнятно шептала, всхлипывая:

— Из-му-чи-лась!.. Изболелась вся! Гришенька! Кровинушка моя!

— Ну вот… Ну вот видишь… Да погоди!.. Аксинья, перестань… — смущенно бормотал Григорий, отворачивая лицо, избегая глядеть на Прохора.

Он усадил ее на лавку, снял с головы ее сбившуюся на затылок шаль, пригладил растрепанные волосы:

— Ты какая-то…

— Я все такая же. А вот ты…

— Нет, ей-богу, ты — чумовая!

Аксинья положила руки на плечи Григория, засмеялась сквозь слезы, зашептала скороговоркой:

— Ну как так можно? Призвал… пришла пеши, все бросила, а его нету… Проскакал мимо, я выскочила, шумнула, а ты уж скрылся за углом… Вот убили бы, и не поглядела бы на тебя в остатний разочек…

Она еще что-то говорила несказанно-ласковое, милое, бабье, глупое и все время гладила ладонями сутулые плечи Григория, неотрывно смотрела в его глаза своими навек покорными глазами.

Что-то во взгляде ее томилось жалкое и в то же время смертельно-ожесточенное, как у затравленного зверя, такое, отчего Григорию было неловко и больно на нее смотреть.

Он прикрывал глаза опаленными солнцем ресницами, насильственно улыбался, молчал, а у нее на щеках все сильнее проступал полыхающим жаром румянец и словно синим дымком заволакивались зрачки.

Прохор вышел, не попрощавшись, в сенцах сплюнул, растер ногой плевок.

— Заморока, и все! — ожесточенно сказал он, сходя со ступенек, и демонстративно громко хлопнул калиткой.

LXIII

Двое суток прожили они как во сне, перепутав дни и ночи, забыв об окружающем. Иногда Григорий просыпался после короткого дурманящего сна и видел в полусумраке

устремленный на него внимательный, как бы изучающий взгляд Аксиньи. Она обычно лежала облокотившись, подперев щеку ладонью, смотрела, почти не мигая.

— Чего смотришь? — спрашивал Григорий.

— Хочу наглядеться досыта… Убьют тебя, сердце мне вещует.

— Ну уж раз вещует — гляди, — улыбался Григорий.

На третьи сутки он впервые вышел на улицу» Кудинов одного за другим с утра слал посыльных, просил прийти на совещание. «Не приду. Пущай без меня совещаются», — отвечал Григорий гонцам.

Прохор привел ему нового, добытого в штабе коня, ночью съездил на участок Громковской сотни, привез брошенное там седло. Аксинья, увидев, что Григорий собирается ехать, испуганно спросила:

— Куда?

— Хочу пробечь до Татарского, поглядеть, как наши хутор обороняют, да, кстати, разузнать, где семья.

— По детишкам скучился? — Аксинья зябко укутала шалью покатые смуглые плечи.

— Скучился.

— Ты бы не ездил, а?

— Нет, поеду.

— Не ездий! — просила Аксинья, и в черных провалах ее глазниц начинали горячечно поблескивать глаза. — Значит, тебе семья дороже меня? Дороже? И туда и сюда потягивает? Так ты либо возьми меня к себе, что ли. С Натальей мы как-нибудь уживемся… Ну, ступай! Езжай! Но ко мне больше не являйся! Не приму. Не хочу я так!.. Не хочу!

Григорий молча вышел во двор, сел на коня.

Сотня татарских пластунов поленилась рыть траншеи.

— Чертовщину выдумывают, — басил Христоня. — Что мы, на германском фронте, что ли? Рой, братишки, обыкновенные, стал быть, окопчики по колено глубиной. Мысленное дело, стал быть, такую заклеклую землю рыть в два аршина глуби? Да ее ломом не удолбишь, не то что лопатой.

Его послушали, на хрящеватом обрывистом яру левобережья вырыли окопчики для лежания, а в лесу поделали землянки.

— Ну вот мы и перешли на сурчиное положение, — острил сроду не унывающий Аникушка. — В нурях будем жить, трава на пропитание пойдет, а то все бы вам блинцы с каймаком трескать, мясу, лапшу с стерлядью… А донничку не угодно?

Татарцев красные мало беспокоили. Против хутора не было батарей. Изредка лишь с правобережья начинал дробно выстукивать пулемет, посылая короткие очереди по высунувшемуся из окопчика наблюдателю, а потом опять надолго устанавливалась тишина.

Красноармейские окопы находились на горе. Оттуда тоже изредка постреливали, но в хутор красноармейцы сходили только ночью, и то ненадолго.

Григорий въехал на свое займище перед вечером.

Все здесь было ему знакомо, каждое деревцо порождало воспоминания… Дорога шла по Девичьей поляне, на которой казаки ежегодно на петров день пили водку, после того как «растрясали» (делили) луг. Мысом вдается в займище Алешкин перелесок. Давным-давно в этом, тогда еще безыменном, перелеске волки зарезали корову, принадлежавшую какому-то Алексею — жителю хутора Татарского. Умер Алексей, стерлась память о нем, как стирается надпись на могильном камне, даже фамилия его забыта соседями и сородичами, а перелесок, названный его именем, живет, тянет к небу темно-зеленые кроны дубов и караичей. Их вырубают татарцы на поделку необходимых в хозяйственном обиходе предметов, но от

коренастых пней весною выметываются живучие молодые побеги, год-два неприметного роста, и снова Алешкин перелесок летом — в малахитовой зелени распростертых ветвей, осенью — как в золотой кольчуге, в червонном зареве зажженных утренниками резных дубовых листьев.

Летом в Алешкином перелеске колючий ежевичник густо оплетает влажную землю, на вершинах старых караичей вьют гнезда нарядно оперенные сизоворонки и сороки, осенью, когда бодряще и горько пахнет желудями и дубовым листом-падалицей, в перелеске коротко гостят пролетные вальдшнепы, а зимою лишь круглый печатный след лисы протянется жемчужной нитью по раскинутой белой кошме снега. Григорий не раз в юношестве ходил ставить в Алешкин перелесок капканы на лис…

Он ехал под прохладной сенью ветвей, по старым заросшим колесникам прошлогодней дороги. Миновал Девичью поляну, выбрался к Черному яру, и воспоминания хмелем ударили в голову. Около трех тополей мальчишкой когда-то гонялся по музгочке за выводком еще нелетных диких утят, в Круглом озере с зари до вечера ловил линей… А неподалеку — шатристое деревцо калины. Оно стоит на отшибе, одинокое и старое. Его видно с мелеховского база, и каждую осень Григорий, выходя на крыльцо своего куреня, любовался на калиновый куст, издали словно охваченный красным языкастым пламенем. Покойный Петро так любил пирожки с горьковатой и вяжущей калиной…

Григорий с тихой грустью озирал знакомые с детства места. Конь шел, лениво отгоняя хвостом густо кишевшую в воздухе мошкару, коричневых злых комаров. Зеленый пырей и аржанец мягко клонились под ветром. Луг крылся зеленой рябью.

Подъехав к окопам татарских пластунов, Григорий послал за отцом. Где-то далеко на левом фланге Христоня крикнул:

— Прокофич! Иди скорее, стал быть, Григорий приехал!..

Григорий спешился, передал поводья подошедшему Аникушке, еще издали увидел торопливо хромавшего отца.

— Ну, здорово, начальник!

— Здравствуй, батя.

— Приехал?

— Насилу собрался! Ну, как наши? Мать, Наталья где?

Пантелей Прокофьевич махнул рукой, сморщился.

По черной щеке его скользнула слеза…

— Ну, что такое? Что с ними? — тревожно и резко спросил Григорий.

— Не переехали…

— Как так?!

— Наталья дня за два легла начисто. Тиф, должно… Ну, а старуха не захотела ее покидать… Да ты не пужайся, сынок, у них там все по-хорошему.

— А детишки? Мишатка? Полюшка?

— Тоже там. А Дуняшка переехала. Убоялась оставаться… Девичье дело, знаешь? Зараз с Аникушкиной бабой ушли на Волхов. А дома я уж два раз был. Середь ночи на баркасе тихочко перееду, ну и проотведовал. Наталья дюже плохая, а детишечки ничего, слава богу… Без памяти Натальюшка-то, жар у ней, ажник губы кровью запеклись.

— Чего же ты их не перевез сюда?! — возмущенно крикнул Григорий.

Старик озлился, обида и упрек были в его дрогнувшем голосе:

— А ты чего делал? Ты не мог прибечь загодя перевезть их?

— У меня дивизия! Мне дивизию надо было переправлять! — запальчиво возразил Григорий.

— Слыхали мы, чем ты в Вешках займаешься… Семья, кубыть, и без надобностев? Эх, Григорий! О боге надо подумывать, ежели о людях не думается… Я не тут переправлялся, а то разве я не забрал бы их? Мой взвод в Елани был, а покедова дошли сюда, красные уже хутор заняли.

— Я в Вешках!.. Это дело тебя не касается… И ты мне… — Голос Григория был хрипл и придушен.

— Да я ничего! — испугался старик, с неудовольствием оглядываясь на толпившихся неподалеку казаков. — Я не об этом… А ты потише гутарь, люди, вон, слухают… — и перешел на шепот: — Ты сам не махонькое дите, сам должен знать, а об семье не болей душой. Наталья, бог даст, почунеется, а красные их не забижают. Телушку-летошницу, правда, зарезали, а так — ничего. Поимели милость и не трогают… Зерна взяли мер сорок. Ну да ить на войне не без урону!

— Может, их зараз бы забрать?

— Незачем, по-моему. Ну, куда ее, хворую, взять? Да и дело рисковое. Им и там ничего. Старуха за хозяйством приглядывает, оно и мне так спокойнее, а то ить в хуторе пожары были.

— Кто сгорел?

— Плац весь выгорел. Купецкие дома все больше. Сватов Коршуновых начисто сожгли. Сваха Лукинична зараз на Андроповом, а дед Гришака тоже остался дом соблюдать. Мать твоя рассказывала, что он, дед Гришака-то, сказал: «Никуда со своего база не тронуся, и анчихристы ко мне не взойдут, крестного знамения убоятся». Он под конец вовзят зачал умом мешаться. Но, как видать, красюки не испужались его креста, курень и подворье ажник дымом схватились, а про него и не слыхать ничего… Да ему уж и помирать пора. Домовину исделал себе уж лет двадцать назад, а все живет… А жгет хутор друзьяк твой, пропади он пропастью!

— Кто?

— Мишка Кошевой, будь он трижды проклят!

— Да ну?!

— Он, истинный бог! У наших был, про тебя пытал. Матери так и сказал: «Как перейдем на энту сторону — Григорий ваш первый очередной будет на шворку. Висеть ему на самом высоком дубу. Я об него, говорит, и шашки поганить не буду!» А про меня спросил и — ощерился. «А энтого, говорит, хромого черти куда понесли? Сидел бы дома, говорит, на печке. Ну, а уж ежли поймаю, то до смерти убивать не буду, но плетюганов ввалю, покеда дух из него пойдет!» Вот какой распрочерт оказался! Ходит по хутору, пущает огонь в купецкие и в поповские дома и говорит: «За Ивана Алексеевича да за Штокмана всю Вешенскую сожгу!» Это тебе голос?

Григорий еще с полчаса проговорил с отцом, потом пошел к коню. В разговоре старик больше и словом не намекнул насчет Аксиньи, но Григорий и без этого был угнетен. «Все прослыхали, должно, раз уж батя знает. Кто же мог пересказать? Кто, окромя Прохора, видал нас вместе? Неужели и Степан знает?» Он даже зубами скрипнул от стыда, от злости на самого себя…

Коротко потолковал с казаками. Аникушка все шутил и просил прислать на сотню несколько ведер самогона.

— Нам и патронов не надо, лишь бы водочка была! — говорил он, хохоча и подмигивая, выразительно щелкая ногтем по грязному вороту рубахи.

Христоню и всех остальных хуторян Григорий угостил припасенным табаком; и уже перед тем, как ехать, увидел Степана Астахова. Степан подошел, не спеша поздоровался, но

руки не подал.

Григорий видел его впервые со дня восстания, всматривался пытливо и тревожно: «Знает ли?» Но красивое сухое лицо Степана было спокойно, даже весело, и Григорий облегченно вздохнул: «Нет, не знает!»

LXIV

Через два дня Григорий возвратился из поездки по фронту своей дивизии. Штаб командующего перебрался в хутор Черный. Григорий около Вешенской дал коню отдохнуть с полчаса, напоил его и, не заезжая в станицу, направился в Черный.

Кудинов встретил его весело, посматривал с выжидающей усмешкой.

— Ну, Григорий Пантелеев, что видал? Рассказывай.

— Казаков видал, красных на буграх видал.

— Много делов ты усмотрел! А к нам три аэроплана прилетали, патронов привезли и письмишки кое-какие…

— Что же тебе пишет твой корешок генерал Сидорин?

— Мой односум-то, — в том же шутливом тоне продолжая начатый разговор, переспросил необычно веселый Кудинов. — Пишет, чтобы из всех силов держался и не давал красным переправляться. И ишо пишет, что вот-вот двинется Донская армия в решительное наступление.

— Сладко пишет.

Кудинов посерьезнел:

— Идут на прорыв. Говорю только тебе и совершенно секретно! Через неделю порвут фронт Восьмой красной армии. Надо держаться.

— И то держимся.

— На Громке готовятся красные к переправе.

— Досе стучат топорами? — удивился Григорий.

— Стучат… Ну, а ты, что видал? Где был? Да ты, случаем, не в Вешках ли отлеживался? Может, ты и не ездил никуда! Позавчера, никак, всю станицу я перерыл, тебя искал, и вот приходит один посыльный, говорит: «На квартире Мелехова не оказалось, а ко мне из горенки вышла какая-то дюже красивая баба и сказала: „Уехал Григорий Пантелевич“, — а у самой глаза припухлые». Вот я и подумал: «Может, наш комдив с милушкой забавляется, а от нас хоронится?»

Григорий поморщился. Шутка Кудинова ему не понравилась:

— Ты бы поменьше разных брехнев слухал да ординарцев себе выбирал с короткими языками! А ежели будешь посылать ко мне дюже языкастых, так я им загодя буду языки шашкой отрубать… чтобы не брехали чего зря.

Кудинов захохотал, хлопнул Григория по плечу:

— Иной раз и ты шутки не принимаешь? Ну, хватит шутковать! Есть у меня к тебе и дельный разговор. Надо бы раздостать нам «языка» — это одно, а другое — надо бы ночушкой где-нибудь, не выше Казанской грани, переправить на энту сторону сотни две конных и взворошить красных. Может, даже на Громок переправиться, чтобы им паники нагнать, а? Как ты думаешь?

Григорий помолчал, потом ответил:

— Дело неплохое.

— А ты сам, — Кудинов налег на последнее слово, — не поведешь сотни?

— Почему сам?

— Боевитого надо командира, вот почему! Надо дюже боевитого, через то, что это — дело нешутейное. С переправой можно так засыпаться, что ни один не возвернется!

Польщенный Григорий, не раздумывая, согласился:

— Поведу, конечно!

— Мы тут плановали и надумали так, — оживленно заговорил Кудинов, встав с табурета, расхаживая по скрипучим половицам горницы. — Глубоко в тыл заходить не надо, а над Доном, в двух-трех хуторах тряхнуть их так, чтобы им тошно стало, разжиться патронами и снарядами, захватить пленных и тем же следом — обратно. Все это надо проделать за ночь, чтобы к рассвету быть уж на броду. Верно? Так вот, ты подумай, а завтра бери любых казаков на выбор и бузуй. Мы так и порешили: окромя Мелехова, некому это проделать! А проделаешь — Донское войско тебе не забудет этого. Как только соединимся со своими, напишу рапорт самому наказному атаману. Все твои заслуги распишу, и повышение…

Кудинов взглянул на Григория и осекся на полуслове: спокойное до этого лицо Мелехова почернело и исказилось от гнева.

— Я тебе что?.. — Григорий проворно заложил руки за спину, поднялся. — Я за-ради чинов пойду?.. Наймаешь?.. Повышение сулишь?.. Да я…

— Да ты постой!

— …плюю на твои чины!

— Погоди! Ты не так меня…

— …Плюю!

— Ты не так понял, Мелехов!

— Все я понял! — Григорий разом вздохнул и снова сел на табурет. — Ищи другого, я не поведу казаков за Дон!

— Зря ты горячку порешь.

— Не поведу! Нету об этом больше речи.

— Так я тебя не силую и не прошу. Хочешь — веди, не хочешь — как хочешь. Положение у нас зараз дюже сурьезное, поэтому и решили им тревоги наделать, не дать приготовиться к переправе. А про повышение я же шутейно сказал! Как ты шуток не понимаешь? И про бабу шутейно тебе припомнил, а потом вижу — ты чегой-то лютуешь, дай, думаю, ишо его распалю! Ить ято знаю, что ты недоделанный большевик и чины всякие не любишь. А ты подумал, что я это сурьезно? — изворачивался Кудинов и смеялся так натурально, что у Григория на миг даже ворохнулась мыслишка: «А может, он и на самом деле дурковал?» — Нет, это ты… х-х-хо-хо-хо!.. по-го-ря-чился, браток! Ей-богу, в шутку сказал! Подражнить захотел…

— Все одно за Дон идтить я отказываюсь, передумал.

Кудинов играл кончиком пояска, равнодушно, долго молчал, потом сказал:

— Ну что же, раздумал или испугался — это неважно. Важно, что план наш срываешь! Но мы, конешно, пошлем ишо кого-нибудь. На тебе свет клином пока не сошелся… А что положение у нас зараз дюже сурьезное — сам суди. Нынче из Шумилинской прислал нам Кондрат Медведев новый приказ. Направляют на нас войска… Да вот почитай сам, а то ты как раз не поверишь… — Кудинов достал из полевой сумки желтый листок бумаги с бурыми пятнами засохшей на полях крови, подал его. — Нашли у комиссара какой-то Интернациональной роты. Латыш был комиссар. Отстреливался, гад, до последнего патрона, а потом кинулся на целый взвод казаков с винтовкой наперевес… Из них тоже бывают, из идейных-то… Комиссара подвалил сам Кондрат. Он и нашел у него в грудном кармане этот приказ.

На желтом, забрызганном кровью листке мелким черным шрифтом было напечатано:

ПРИКАЗ

По экспедиционным войскам

8 № 100

Богучар. 25 мая 1919 г.

Прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях и командах.

Конец подлому Донскому восстанию!

Пробил последний час!

Все необходимые приготовления сделаны. Сосредоточены достаточные силы, чтобы обрушить их на головы изменников и предателей. Пробил час расплаты с Каинами, которые свыше двух месяцев наносили удары в спину нашим действующим армиям Южного фронта. Вся рабоче-крестьянская Россия с отвращением и ненавистью глядит на те Мигулинские, Вешенские, Еланские, Шумилинские банды, которые, подняв обманный красный флаг, помогают черносотенным помещикам: Деникину и Колчаку!

Солдаты, командиры, комиссары карательных войск!

Подготовительная работа закончена. Все необходимые силы и средства сосредоточены. Ваши ряды построены.

Теперь по сигналу — вперед!

Гнезда бесчестных изменников и предателей должны быть разорены. Каины должны быть истреблены. Никакой пощады к станицам, которые будут оказывать сопротивление. Милость только тем, кто добровольно сдаст оружие и перейдет на нашу сторону. Против помощников Колчака и Деникина — свинец, сталь и огонь!

Советская Россия надеется на вас, товарищи солдаты.

В несколько дней мы должны очистить Дон от черного пятна измены. Пробил последний час.

Все, как один, — вперед!

LXV

Девятнадцатого мая Мишка Кошевой был послан Гумановским — начальником штаба экспедиционной бригады 9-й армии — со спешным пакетом в штаб 32-го полка, который, по имевшимся у Гумановского сведениям, находился в хуторе Горбатовском.

В этот же день к вечеру Кошевой прискакал в Горбатовский, но штаба 32-го полка там не оказалось. Хутор был забит многочисленными подводами обоза второго разряда 23-й дивизии. Они шли с Донца под прикрытием двух рот пехоты, направляясь на Усть-Медведицу.

Мишка проблуждал по хутору несколько часов, пытаясь из расспросов установить местопребывание штаба. В конце концов один из конных красноармейцев сообщил ему, что вчера штаб 32-го находился в хуторе Евлантьевском, около станицы Боковской.

Подкормив коня, Мишка ночью приехал в Евлантьевский, однако штаба не было и там. Уже за полночь, возвращаясь на Горбатовский, Кошевой повстречал в степи красноармейский разъезд.

— Кто едет? — издали окликнули Мишку.

— Свой.

— А ну шо ты за свий… — негромко, простуженным баском сказал, подъезжая, командир в белой кубанке и синей черкеске. — Якой части?

— Экспедиционной бригады Девятой армии.

— Бумажка есть из части?

Мишка предъявил документ. Рассматривая его при свете месяца, командир разъезда недоверчиво выспрашивая:

— А кто у вас командир бригады?

— Товарищ Лозовский.

— А дэ нона, зараз, бригада?

— За Доном. А вы какой части, товарищ? Не Тридцать второго полка?

— Ни. Мы Тридцять третьей Кубанськой дивизии. Так ты видкиля ж це йидешь?

— С Евлантьевского.

— А куда?

— На Горбатов.

— Ото ж! Та на Горбатовськом же зараз казакы.

— Не могет быть! — изумился Мишка.

— Я тоби кажу, шо там — казакы-восстаньцы. Мы тике шо видтиля.

— Как же мне на Бобровский проехать? — растерянно проговорил Мишка.

— А то вже як знаешь.

Командир разъезда тронул своего вислозадого вороного коня, отъехал, но потом полуобернулся на седле, посоветовал:

— Поняй з намы, а то колы б тоби «секим башка» не зробилы.

Мишка охотно пристал к разъезду. Вместе с красноармейцами он в ту же ночь приехал в хутор Кружилин, где находился 294-й Таганрогский полк, передал пакет командиру полка и, объяснив ему, почему не мог доставить пакет по назначению, испросил разрешения остаться в полку при конной разведке.

33-я Кубанская дивизия, недавно сформированная из частей Таманской армии и добровольцев-кубанцев, была переброшена из-под Астрахани в район Воронеж — Лиски. Одна из бригад ее, в состав которой входили Таганрогский, Дербентский и Васильковский полки, была кинута на восстание. Она-то и обрушилась на 1-ю дивизию Мелехова, отбросив ее за Дон.

Бригада с боем форсированным маршем прошла по правобережью Дона с юрта Казанской станицы до первых на западе хуторов Усть-Хоперской станицы, захватила правым флангом чирские хутора и только потом повернула обратно, задержавшись недели на две в Придонье.

Мишка участвовал в бою за овладение станицы Каргинской и рядом чирских хуторов. 27-го утром в степи, за хутором Нижне-Грушинским, командир 3-й роты 294-го Таганрогского полка, выстроив около дороги красноармейцев, читал только что полученный приказ. И Мишке Кошевому крепко запомнились слова: «…Гнезда бесчестных изменников должны быть разорены. Каины должны быть истреблены…» И еще: «Против помощников Колчака и Деникина — свинец, сталь и огонь!»

После убийства Штокмана, после того, как до Мишки дошел слух о гибели Ивана Алексеевича и еланских коммунистов, жгучей ненавистью к казакам оделось Мишкино сердце. Он уже не раздумывал, не прислушивался к невнятному голосу жалости, когда в руки ему попадался пленный казак-повстанец. Ни к одному из них с той поры он не относился со снисхождением. Голубыми и холодными, как лед, глазами смотрел на станичника, спрашивал: «Поборолся с Советской властью?» — и, не дожидаясь ответа, не глядя на мертвеющее лицо пленного, рубил. Рубил безжалостно! И не только рубил, но и «красного кочета» пускал под крыши куреней в брошенных повстанцами хуторах. А когда, ломая плетни горящих базов, на

проулки с ревом выбегали обезумевшие от страха быки и коровы, Мишка в упор расстреливал их из винтовки.

Непримиримую, беспощадную войну вел он с казачьей сытостью, с казачьим вероломством, со всем тем нерушимым и косным укладом жизни, который столетиями покоился под крышами осанистых куреней. Смертью Штокмана и Ивана Алексеевича вскормилась ненависть, а слова приказа только с предельной яркостью выразили немые Мишкины чувства… В этот же день он с тремя товарищами выжег дворов полтораста станицы Каргинской. Где-то на складе купеческого магазина достал бидон керосина и пошел по площади, зажав в черной ладони коробку спичек, а следом за ним горьким дымом и пламенем занимались ошелеванные пластинами, нарядные, крашеные купеческие и поповские дома, курени зажиточных казаков, жилье тех самых, «чьи плутни толкнули на мятеж темную казачью массу».

Конная разведка первая вступила в покинутые противником хутора; а пока подходила пехота, Кошевой уже пускал по ветру самые богатые курени. Хотел он во что бы то ни стало попасть в Татарский, чтобы отомстить хуторянам за смерть Ивана Алексеевича и еланских коммунистов, выжечь полхутора. Он уже мысленно составил список тех, кого надо сжечь, а на случай, если бы его часть пошла с Чира левее Вешенской, Мишка решил ночью самовольно отлучиться и побывать-таки в родном хуторе.

Была и другая причина, понуждавшая его ехать в Татарский… За последние два года, за время, когда урывками виделся он с Дуняшей Мелеховой, связало их еще не высказанное словами чувство. Это Дуняшкины смуглые пальцы вышивали ярким гарусом подаренный Мишке кисет, это она, потаясь родных, принесла ему зимой перчатки дымчатого козьего пуха, это некогда принадлежавшую Дуняшке расшитую утирку бережно хранил в грудном кармане солдатской гимнастерки Кошевой. И крохотная утирка, три месяца хранившая в своих складках невнятный, как аромат сена, запах девичьего тела, была ему так несказанно дорога! Когда он наедине с собою доставал утирку, — всегда непрошеным приходило волнующее воспоминание: обметанный инеем тополь возле колодца, срывающаяся с сумрачного неба метелица, и твердые дрожащие губы Дуняшки, и кристаллический блеск снежинок, тающих на ее выгнутых ресницах…

Он тщательно собирался к поездке домой. Со стены купеческого дома в Каргинской содрал цветастый коврик, приспособил его под попону, и попона получилась на диво нарядная, издали радующая глаз ярчайшим разноцветьем красок и узоров. Из казачьего сундука раздостал почти новые шаровары с лампасами, полдюжины бабьих шалек употребил на три смены портянок, бабьи же нитяные перчатки уложил в сакву, с тем чтобы надеть их не сейчас, в серые будни войны, а на бугре перед въездом в Татарский.

Испокон веков велось так, что служивый, въезжающий в хутор, должен быть нарядным. И Мишка, еще не освободившийся от казачьих традиций, даже будучи в Красной Армии, собирался свято соблюсти старинный обычай.

Конь под ним был справный, темно-гнедой и белоноздрый. Прежнего хозяина его — казака Усть-Хоперской станицы — зарубил Кошевой в атаке. Конь был трофеем, им можно было похвалиться; и статью взял, и резвостью, и проходкой, и строевой выправкой. А вот седло было под Кошевым — так себе седлишко. Подушка потерта и залатана, задняя подпруга — из сыромятного ремня, стремена — в упорно не поддающейся чистке, застарелой ржавчине. Такой же скромной, без единого украшения, была и уздечка. Что-то требовалось предпринять для того, чтобы принарядить хотя бы уздечку. Мишка долго мучился над разрешением этого вопроса, и наконец его озарила счастливейшая догадка. Около купеческого дома, прямо на площади, стояла белая никелевая кровать, вытащенная из

горевшего дома купцовыми челядинцами. На углах кровати ослепительно сверкали, отражая солнце, белые шары. Стоило лишь снять их или отломить, а потом привесить к трензелям, как уздечка обрела бы совершенно иной вид. Мишка так и сделал: он отвинтил с углов кровати полые внутри шары, привесил их на шелковых шнурочках к уздечке, два — на кольца удил, два — по сторонам нахрапника, — и шары засверкали на голове его коня белым полуденным солнцем. Отражая солнечные лучи, они сияли нестерпимо! Сияли так, что конь ходил против солнца зажмуркой, часто спотыкаясь и неуверенно ставя ноги. Но, несмотря на то, что зрение коня страдало от блеска шаров, не глядя на то, что конские глаза, пораженные светом, истекали слезами, — Мишка не снял с уздечки ни одного шара. А тут вскоре подошло время выступать из полусожженной, провонявшей горелым кирпичом и пеплом станицы Каргинской.

Полку надлежало идти к Дону, в направлении Вешенской. Потому-то Мишке не стоило особых трудов отпроситься у командира разведки на день проведать родных.

Начальник не только разрешил кратковременный отпуск, но сделал большее.

— Женатый? — спросил он у Мишки.

— Нет.

— Шмару имеешь, небось?

— Какую? Это что есть такое? — удивился Мишка.

— Ну, полюбовницу!

— А-а-а… Этого нет. Любушку имею из честных девок.

— А часы с цепком имеешь?

— Нету, товарищ.

— Эх, ты! — И командир разведки — ставрополец, в прошлом унтер-сверхсрочник, сам не раз ходивший домой из старой армии в отпуск, знавший на опыте, как горько являться из части голодранцем, — снял со своей широкой груди часы и невероятно массивную цепку, сказал: — Боец из тебя добрый! На, носи дома, пущай девкам пыли в глаза, а меня помяни на третьем взводе. Сам молодой был, девок портил, из баб вытяжа делал, знаю… Цепок — нового американского золота. Ежли кто будет пытать — так и отвечай. А ежели какой настырный попадется и будет лезть и пытать, где проба, — бей того прямо в морду! Есть нахальные граждане, их надо без словесности в морду бить. Ко мне, бывало, в трактире али в публичном месте, а попросту в б… подлетит какой-нибудь щелкопер из приказчиков или из писарей и захочет при народе острамотить: «Распустили цепок по пузе, как будто из настоящего золота… А где на ем проба, разрешите знать?» А я ему никогда, бывало, не дам опомниться: «Проба? Вот она!» — И добродушный Мишкин командир сжимал бурый, величиной с младенческую голову, кулак, выбрасывал его со свирепой и страшной силой.

Надел Мишка часы, ночью, при свете костра побрился, оседлал коня, поскакал. На заре он въезжал в Татарский.

Хутор был все тот же: так же поднимала к голубому небу вылинявший позолоченный крест невысокая колоколенка кирпичной церкви, все так же теснили хуторской плац кряжистые поповские и купеческие дома, все тем же родным языком шептал тополь над полуразвалившейся хатенкой Кошевых…

Поражало лишь несвойственное хутору великое безмолвие, словно паутиной затянувшее проулки. На улицах не было ни души. У куреней были наглухо закрыты ставни, на дверях кое-где висели замки, но большинство дверей было распахнуто настежь. Словно мор прошел черными стопами по хутору, обезлюдив базы и улицы, пустотой и нежилью наполнив жилые постройки.

Не слышно было ни людского голоса, ни скотиньего мыка, ни светлого крика кочетов.

Одни воробьи, словно перед дождем, оживленно чирикали под застрехами сараев и на залежах хвороста-сушника.

Мишка въехал к себе на баз. Никто из родных не вышел его встречать. Дверь в сенцы была распахнута настежь, возле порога валялись изорванная красноармейская обмотка, сморщенный, черный от крови бинт, куриные головы, облепленные мухами, уже разложившиеся, и перья. Красноармейцы, видимо, несколько дней назад обедали в хате: на полу лежали черепки разбитых корчажек, обглоданные куриные кости, окурки, затоптанные обрывки газет… Задавив тяжелый вздох, Мишка прошел в горенку. Там все было по-прежнему, лишь одна половина подпола, где обычно осенью сохранялись арбузы, казалась приподнятой.

Мать Мишки имела обыкновение прятать там от детворы сушеные яблоки.

Вспомнив это, Мишка подошел к половице. «Неужели мамаша не ждала меня? Может, она тут чего прихоронила?» — подумал он. И, обнажив шашку, концом ее поддел половицу. Скрипнув, она подалась. Из подпола пахнуло сыростью и гнилью. Мишка стал на колени. Не освоившиеся с темнотой глаза его долго ничего не различали, наконец увидели: на разостланной старенькой скатерти стояла полбутылка с самогоном, сковорода с заплесневелой яишней, лежал наполовину съеденный мышами кусок хлеба; корчажка плотно накрыта деревянным кружком… Ждала сына старая. Ждала, как самого дорогого гостя! Любовью и радостью дрогнуло Мишкино сердце, когда он спустился в подпол. Ко всем этим предметам, в порядке расставленным на старенькой скатерке, несколько дней назад прикасались заботливые материнские руки!.. Тут же, привешенная к перерубу, белела холщовая сумка. Мишка торопливо снял ее и обнаружил пару своего старого, но искусно залатанного, выстиранного и выкатанного рубелем белья.

Мыши изгадили еду; одно молоко да самогон остались нетронутыми. Мишка выпил самогон, съел чудесно нахолодавшее в подполе молоко, взял белье, вылез.

Мать, вероятно, была за Доном. «Убоялась оставаться, да оно и лучше, а то казаки все одно убили бы. И так, небось, за меня трясли ее, как грушу…» — подумал он и, помедлив, вышел. Отвязал коня, но ехать к Мелеховым не решился: баз их был над самым Доном, а из-за Дона какой-нибудь искусный стрелок мог легко пометить Мишку свинцовой безоболочной повстанческой пулей. И Мишка решил поехать к Коршуновым, а в сумерках вернуться на плац и под прикрытием темноты запалить моховский и остальные купеческие и поповские дома.

По забазьям прискакал он к просторному коршуновскому подворью, въехал в распахнутые ворота, привязал к перилам коня и только что хотел идти в курень, как на крыльцо вышел дед Гришака. Снежно-белая голова его тряслась, выцветшие от старости глаза подслеповато щурились. Неизносный серый казачий мундир с красными петлицами на отворотах замасленного воротника был аккуратно застегнут, но пустообвислые шаровары спадали, и дед неотрывно поддерживал их руками.

— Здорово, дед! — Мишка стал около крыльца, помахивая плетью.

Дед Гришака молчал. В суровом взгляде его смешались злоба и отвращение.

— Здорово, говорю! — повысил голос Мишка.

— Слава богу, — неохотно ответил старик.

Он продолжал рассматривать Мишку с неослабевающим злобным вниманием. А тот стоял, непринужденно отставив ногу; играл плетью, хмурился, поджимал девически пухлые губы.

— Ты почему, дед Григорий, не отступил за Дон?

— А ты откель знаешь, как меня кличут?

— Тутошный рожак, потому и знаю.

— Это чей же ты будешь?

— Кошевой.

— Акимкин сын? Это какой у нас в работниках жил?

— Его самого.

— Так это ты и есть, сударик? Мишкой тебя нарекли при святом крещении? Хорош! Весь в батю пошел! Энтот, бывало, за добро норовит г… заплатить, и ты, стал быть, таковский?

Кошевой стащил с руки перчатку, еще пуще нахмурился.

— Как бы ни звали и какой бы ни был, тебя это не касаемо. Почему, говорю, за Дон не уехал?

— Не схотел, того и не уехал. А ты что же это? В анчихристовы слуги подался? Красное звездо на шапку навесил? Это ты, сукин сын, поганец, значит, супротив наших казаков? Супротив своих-то хуторных?

Дед Гришака неверными шагами сошел с крыльца. Он, как видно, плохо питался после того, как вся коршуновская семья уехала за Дон. Оставленный родными, истощенный, по-стариковски неопрятный, стал он против Мишки и с удивлением и гневом смотрел на него.

— Супротив, — отвечал Мишка. — И что не видно концы им наведем!

— А в Святом писании что сказано? Аще какой мерой меряете, тою и воздается вам. Это как?

— Ты мне, дед, голову не морочь святыми писаниями, я не затем сюда приехал. Зараз же удаляйся из дому, — посуровел Мишка.

— Это как же так?

— А все так же.

— Да ты что это?..

— Да нет ничего! Удаляйся, говорю!..

— Из своих куреней не пойду. Я знаю, что и к чему… Ты — анчихристов слуга, его клеймо у тебя на шапке! Это про вас было сказано у пророка Еремии: «Аз напитаю их полынем и напою желчию, и изыдет от них осквернение на всю землю». Вот и подошло, что восстал сын на отца и брат на брата…

— Ты меня, дед, не путляй! Тут не в братах дело, тут арихметика простая: мой папаша на вас до самой смерти работал, и я перед войной вашу пшеницу молотил, молодой живот свой надрывал вашими чувалами с зерном, а зараз подошел срок поквитаться. Выходи из дому, я его зараз запалю! Жили вы в хороших куренях, а зараз поживете так, как мы жили: в саманных хатах. Понятно тебе, старик?

— Во-во! Оно к тому и подошло! В книге пророка Исаии так и сказано: «И изыдут, и узрят трупы человеков, преступивших мне. Червь бо их не скончается, и огнь их не угаснет, и буду в позор всяческой плоти…»

— Ну, мне тут с тобой свататься некогда! — с холодным бешенством сказал Мишка. — Из дому выходишь?

— Нет! Изыди, супостатина!

— Самое через вас, таких закоснелых, и война идет! Вы самое и народ мутите, супротив революции направляете… — Мишка торопливо начал снимать карабин…

После выстрела дед Гришака упал навзничь, внятно сказал:

— Яко… не своею си благодатию… но волею бога нашего приидох… Господи, прими раба твоего… с миром… — и захрипел, под белыми усами его выскочила кровица.

— Примет! Давно бы тебя, черта старого, надо туда спровадить!

Мишка брезгливо обошел протянувшегося возле сходцев старика, взбежал на крыльцо.

Сухие стружки, занесенные в сени ветром, вспыхнули розоватым пламенем, дощатая

переборка, отделявшая кладовую от сеней, загорелась быстро. Дым поднялся до потолка и — схваченный сквозняком — хлынул в комнаты.

Кошевой вышел, и, пока зажег сарай и амбар, огонь в курене уже выбился наружу, с шорохом ненасытно лизал сосновые наличники окон, рукасто тянулся к крыше…

До сумерек Мишка спал в соседней леваде, под тенью оплетенных диким хмелем терновых кустов. Тут же, лениво срывая сочные стебли аржанца, пасся его расседланный и стреноженный конь. На вечер конь, одолеваемый жаждой, заржал, разбудил хозяина.

Мишка встал, увязал в торока шинель, напоил коня тут же в леваде колодезной водой, потом оседлал, выехал на проулок.

На выгоревшем коршуновском подворье еще дымились черные, обугленные сохи, расползался горчайший дымок. От просторного куреня остались лишь высокий каменный фундамент да полуразвалившаяся печь, поднявшая к небу закопченную трубу.

Кошевой направился прямо к мелеховскому базу.

Ильинична под сараем насыпала в завеску поджожки, когда Мишка, не слезая с седла, открыл калитку, въехал на баз.

— Здравствуйте, тетенька! — ласково приветствовал он старуху.

А та, перепугавшись, и слова не молвила в ответ, опустила руки, из завески посыпались щепки…

— Здорово живете, тетенька!

— Слава… слава богу, — нерешительно ответила Ильинична.

— Живая-здоровая?

— Живая, а уж про здоровье не спрашивай.

— Где же ваши казаки?

Мишка спешился, подошел к сараю.

— За Доном…

— Кадетов дожидаются?

— Мое дело бабье… Я в этих делах не знаю…

— А Евдокея Пантелевна дома?

— И она за Доном.

— Понесла их туда нелегкая! — Голос Мишки дрогнул, окреп в злобе. — Я вам, тетенька, так скажу. Григорий, ваш сынок — самый лютый для Советской власти оказался враг. Перейдем мы на энту сторону — и ему первому шворку на шею наденем. А Пантелей Прокофич занапрасну убег. Старый и хромой человек, ему бы вся статья дома сидеть…

— Смерти дожидаться? — сурово спросила Ильинична и опять стала собирать в завеску щепки.

— Ну, до смерти ему еще далеко. Плетюганов бы, может, заработал трошки, а убивать его бы не стали. Но я, конечно, но затем к вам заехал. — Мишка поправил на груди часовую цепку, потупился: — Я затем заехал, чтобы проведать Евдокию Пантелевну. Жалко мне страшно, что она тоже в отступе, но и вам, тетенька, как вы ее родная мамаша, скажу. А скажу я так: я об ней давно страдаю, но зараз нам дюже некогда по девкам страдать, мы воюем с контрой и побиваем ее беспощадно. А как только вовзят прикончим ее, установится мирная Советская власть по всему свету, тогда я, тетенька, буду к вам сватов засылать за вашу Евдокею.

— Не время об этом гутарить!

— Нет, время! — Мишка нахмурился, упрямая складка легла у него промеж бровей. — Свататься не время, а гутарить об этом можно. И мне другую времю для этого не выбирать. Нынче я тут, а завтра меня, может, за Донец пошлют. Поэтому я вам делаю упреждению:

Евдокею дуриком ни за кого не отдавайте, а то вам плохо будет. Уж ежели из моей части прийдет письмо, что я убитый, — тогда просватывайте, а зараз нельзя, потому что промеж нас с ней — любовь. Гостинцу я ей не привез, негде его взять, гостинца-то, а ежели вам что из буржуйского, купецкого имения надо, — говорите: зараз пойду и приволоку.

— Упаси бог! Сроду чужим не пользовались!

— Ну это как хотите. Поклон от меня низкий передайте Евдокеи Пантелевне, ежели вы вперед меня ее увидите, а затем прощевайте и, пожалуйста, тетенька, не забудьте моих слов.

Ильинична, не отвечая, пошла в хату, а Мишка сел на коня, поехал к хуторскому плацу.

На ночь в хутор сошли с горы красноармейцы. Оживленные голоса их звучали по проулкам. Трое, направлявшиеся с ручным пулеметом в заставу к Дону, опросили Мишку, проверили документы. Против хатенки Семена Чугуна встретил еще четырех. Двое из них везли на фурманке овес, а двое — вместе с чахоточной жененкой Чугуна — несли ножную машину и мешок с мукой.

Чугуниха узнала Мишку, поздоровалась.

— Чего это ты тянешь, тетка? — поинтересовался Мишка.

— А это мы женщину бедняцкого класса на хозяйство ставим: несем ей буржуйскую машину и муку, — бойкой скороговоркой ответил один из красноармейцев.

Мишка зажег подряд семь домов, принадлежавших отступившим за Донец купцам Мохову и Атепину-Цаце, попу Виссариону, благочинному отцу Панкратию и еще трем зажиточным казакам, и только тогда тронулся из хутора.

Выехал на бугор, повернул коня. Внизу, в Татарском, на фоне аспидно-черного неба искристым лисьим хвостом распушилось рыжее пламя. Огонь то вздымался так, что отблески его мережили текучую быстрину Дона, то ниспадал, клонился на запад, с жадностью пожирая строения.

С востока набегал легкий степной ветерок. Он раздувал пламя и далеко нес с пожарища черные, углисто сверкающие хлопья…

* КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ *

* ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ *

I

Верхнедонское восстание, оттянувшее с Южного фронта значительное количество красных войск, позволило командованию Донской армии не только свободно произвести перегруппировку своих сил на фронте, прикрывавшем Новочеркасск, но и сосредоточить в районе станиц Каменской и Усть-Белокалитвенской мощную ударную группу из наиболее стойких и испытанных полков, преимущественно низовских и калмыцких, в задачу которой входило: в соответствующий момент, совместно с частями генерала Фицхелаурова, сбить 12-ю дивизию, составлявшую часть 8-й красной армии, и, действуя во фланг и тыл 13-й и Уральской дивизиям, прорваться на север, с тем чтобы соединиться с восставшими верхнедонцами.

План по сосредоточению ударной группы, разработанный в свое время командующим Донской армией генералом Денисовым и начштаба генералом Поляковым, к концу мая был почти целиком осуществлен. К Каменской перебросили около 16 000 штыков и сабель при 36 орудиях и 140 пулеметах; подтягивались последние конные части и отборные полки так называемой молодой армии, сформированной летом 1918 года из молодых, призывного возраста, казаков.

А в это время, окруженные с четырех сторон, повстанцы продолжали отбивать атаки карательных красных войск. На юге, по левому берегу Дона, две повстанческие дивизии упорно отсиживались в траншеях и не давали противнику переправиться, несмотря на то что на всем протяжении фронта многочисленные красноармейские батареи вели по ним почти беспрерывный ожесточенный огонь; остальные три дивизии ограждали повстанческую территорию с запада, севера и востока, несли колоссальный урон, особенно на северо-восточном участке, но все же не отступали и все время держались на границах Хоперского округа.

Сотня татарцев, расположенная против своего хутора и скучавшая от вынужденного безделья, однажды учинила красноармейцам тревогу: темной ночью вызвавшиеся охотой казаки бесшумно переправились на баркасах на правую сторону Дона, врасплох напали на красноармейскую заставу, убили четырех красноармейцев и захватили пулемет. На другой день красные перебросили из-под Вешенской батарею, и она открыла беглый огонь по казачьим траншеям. Как только по лесу зацокала шрапнель, сотня спешно оставила траншеи, отошла подальше от Дона, в глубь леса. Через сутки батарею отозвали, и татарцы снова заняли покинутые позиции. От орудийного обстрела сотня понесла урон: осколками снаряда было убито двое малолетков из недавно поступившего пополнения и ранен только что приехавший перед этим из Вешенской вестовой сотенного командира.

Потом установилось относительное затишье, и жизнь в траншеях пошла прежним порядком. Частенько наведывались бабы, приносили по ночам хлеб и самогон, а в харчах у казаков нужды не было: зарезали двух приблудившихся телок, кроме того, ежедневно промышляли в озерах рыбу. Христоня числился главным по рыбному делу. В его ведении был десятисаженный бредень, брошенный у берега кем-то из отступавших и доставшийся сотне, и Христоня на ловле постоянно ходил «от глуби», выхваляясь, будто нет такого озера в лугу, которого он не перебрел бы. За неделю безустального рыболовства рубаха и шаровары его

настолько пропитались невыветривающимся запахом рыбьей сырости, что Аникушка под конец наотрез отказался ночевать с ним в одной землянке, заявив:

— Воняет от тебя, как от дохлого сома! С тобой тут ежели еще сутки пожить, так потом всю жисть душа не будет рыбы принимать…

С той поры Аникушка, не глядя на комаров, спал возле землянки. Перед сном, брезгливо морщась, отметал веником рассыпанную по песку рыбью шелуху и зловонные рыбьи внутренности, а утром Христоня, возвратясь с ловли, невозмутимый и важный, садился у входа в землянку и снова чистил и потрошил принесенных карасей. Около него роились зеленые мухи-червивки, тучами приползали яростные желтые муравьи. Потом, запыхавшись, прибегал Аникушка, орал еще издали:

— Окромя тебе места нету? Хоть бы ты, чертяка, подавился рыбьей костью! Ну, отойди, ради Христа, в сторону! Я тут сплю, а ты кишков рыбьих накидал, муравьев приманул со всего округа и вонищу распустил, как в Астрахани!

Христоня вытирал самодельный нож о штанину, раздумчиво и долго смотрел на безусое возмущенное лицо Аникушки, спокойно говорил:

— Стало быть, Аникей, в тебе глиста есть, что ты рыбьего духа не терпишь. Ты чеснок ешь натощак, а?

Отплевываясь и ругаясь, Аникушка уходил.

Стычки продолжались у них изо дня в день. Но в общем сотня жила мирно. От сытного котла все казаки были веселые, за исключением Степана Астахова.

Узнал ли от хуторных казаков Степан или подсказало ему сердце, что Аксинья в Вешенской встречается с Григорием, но вдруг заскучал он, ни с того ни с сего поругался со взводным и наотрез отказался нести караульную службу.

Безвылазно лежал в землянке на черной тавреной полсти, вздыхал и жадно курил табак-самосад. А потом прослышал, что сотенный командир посылает Аникушку в Вешенскую за патронами, и впервые за двое суток вышел из землянки. Щуря слезящиеся, опухшие от бессонницы глаза, недоверчиво оглядел взлохмаченную, ослепительно яркую листву колеблющихся деревьев, вздыбленные ветром белогривые облака, послушал ропщущий лесной шум и пошел мимо землянок разыскивать Аникушку.

При казаках не стал говорить, а отвел его в сторону, попросил:

— Разыщи в Вешках Аксинью и моим словом скажи, чтобы пришла меня проведать. Скажи, что обовшивел я, рубахи и портки нестираные, и, к тому же, скажи… — Степан на миг приумолк, хороня под усами смущенную усмешку; закончил: — Скажи, что, мол, дюже соскучился и ждет вскорости.

Ночью Аникушка приехал в Вешенскую, нашел квартиру Аксиньи. После размолвки с Григорием она жила по-прежнему у тетки. Аникушка добросовестно передал сказанное ему Степаном, но для вящей внушительности добавил от себя, что Степан грозил сам прийти в Вешенскую, в случае если Аксинья не явится в сотню.

Она выслушала наказ и засобиралась. Тетка наспех поставила тесто, напекла бурсаков, а через два часа Аксинья — покорная жена — уже ехала с Аникушкой к месту расположения Татарской сотни.

Степан встретил жену с потаенным волнением. Он пытливо всматривался в исхудавшее ее лицо, осторожно расспрашивал, но ни словом не обмолвился о том, видела она Григория или нет. Только раз в разговоре спросил, опустив глаза, чуть отвернувшись:

— А почему ты пошла на Вешки энтой стороной? Почему не переправилась против хутора?

Аксинья сухо ответила, что переправиться с чужими не было возможности, а просить

Мелеховых не захотела. И, уж после того как ответила, сообразила, что получается так, будто Мелеховы ей не чужие, а свои. И смутилась от того, что и Степан мог так понять ее. А он, вероятно, так и понял. Что-то дрогнуло у него под бровями, и по лицу словно прошла тень.

Он вопрошающе поднял на Аксинью глаза, и она, понимая этот немой вопрос, вдруг вспыхнула от смущения, от досады на самое себя.

Степан, щадя ее, сделал вид, что ничего не заметил, — перевел разговор на хозяйство, стал расспрашивать, что из имущества успела спрятать перед уходом из дому и надежно ли спрятала.

Аксинья, отметив про себя великодушие мужа, отвечала ему, но все время испытывала какую-то щемящую внутреннюю неловкость и, чтобы убедить его в том, что все возникшее между ними зряшно, чтобы скрыть собственное волнение, — нарочито замедляла речь, говорила с деловитой сдержанностью и сухостью.

Они разговаривали, сидя в землянке. Все время им мешали казаки. Входил то один, то другой. Пришел Христоня и тут же расположился спать. Степан, видя, что поговорить без посторонних не удастся, неохотно прекратил разговор.

Аксинья обрадованно встала, торопливо развязала узелок, угостила мужа привезенными из станицы бурсаками и, взяв из походной сумы Степана грязное белье, вышла постирать его в ближней музге.

Предутренняя тишина и голубой туман стояли над лесом. Клонились к земле отягощенные росою травы. В музгах недружно квакали лягушки, и где-то, совсем неподалеку от землянки, за пышно разросшимся кленовым кустом скрипуче кричал коростель.

Аксинья прошла мимо куста. Весь он, от самой макушки до сокрытого в густейшей травяной поросли ствола, был оплетен паутиной. Нити паутины, унизанные мельчайшими капельками росы, жемчужно искрились. Коростель на минутку умолк, а потом — еще не успела выпрямиться примятая босыми ногами Аксиньи трава — снова подал голос, и в ответ ему горестно откликнулся поднявшийся из музги чибис.

Аксинья скинула кофточку и стеснявший движения лиф, по колени забрела в парно-теплую воду музги, стала стирать. Над нею роилась мошкара, звенели комары. Согнутой в локте полной и смуглой рукой она проводила по лицу, отгоняя комаров. Неотвязно думала о Григории, об их последней размолвке, предшествовавшей поездке его в сотню.

«Может, он зараз уже ищет меня? Нынче же ночью вернусь в станицу!» — бесповоротно решила Аксинья и улыбнулась своим мыслям о том, как она встретится с Григорием и каким скорым будет примирение.

И диковинно: последнее время, думая о Григории, она почему-то не представляла его внешнего облика таким, каким он был на самом деле. Перед глазами ее возникал не теперешний Григорий, большой, мужественный, поживший и много испытавший казачина с усталым прижмуром глаз, с порыжелыми кончиками черных усов, с преждевременной сединой на висках и жесткими морщинами на лбу — неистребимыми следами пережитых за годы войны лишений, — а тот прежний Гришка Мелехов, по-юношески грубоватый и неумелый в ласках, с юношески круглой и тонкой шеей и беспечным складом постоянно улыбающихся губ.

И от этого Аксинья испытывала к нему еще большую любовь и почти материнскую нежность.

Вот и теперь: с предельной ясностью восстановив в памяти черты бесконечно дорогого лица, она тяжело задышала, заулыбалась, выпрямилась и, кинув под ноги недостиранную рубаху мужа и ощущая в горле горячин комок внезапно подступивших сладких рыданий, шепнула:

— Вошел ты в меня, проклятый, на всю жизнь!

Слезы облегчили ее, но после этого голубой утренний мир вокруг нее словно бы поблек. Она вытерла щеки тылом ладони, откинула с влажного лба волосы и потускневшими глазами долго и бездумно следила, как крохотный серый рыбник скользит над водой, исчезая в розовом кружеве вспенившегося под ветром тумана.

Выстирав белье, развешала его на кустах, пришла в землянку.

Проснувшийся Христоня сидел около выхода, шевелил узловатыми, искривленными пальцами ног, настойчиво заговаривал со Степаном, а тот, лежа на полсти, молча курил, упорно не отвечая на Христонины вопросы.

— Ты думаешь, стало быть, что красные не будут переправляться на эту сторону? Молчишь? Ну и молчи. А я думаю, что не иначе будут они силоваться на бродах перейтить… Беспременно на бродах! Окромя им негде. Или, думаешь, могут конницу вплынь пустить? Чего же ты молчишь, Степан? Тут, стало быть, дело окончательное подходит, а ты лежишь, как чурбак!

Степан даже привскочил, с сердцем ответил:

— И чего ты привязался? Удивительный народ! Пришла жена проведать, так от вас отбою нет… Лезут с глупыми разговорами, не дадут с бабой словом перекинуться.

— Нашел с кем гутарить… — Недовольный Христоня встал, надел на босые ноги стоптанные чирики, вышел, больно стукнувшись о дверную перекладину.

— Не дадут нам поговорить тут, пойдем в лес, — предложил Степан.

И, не дожидаясь согласия, пошел к выходу. Аксинья покорно последовала за ним.

Они вернулись к землянке в полдень. Казаки второго взвода, лежавшие под кустом ольшаника в холодке, завидя их, отложили карты, смолкли, понимающе перемигиваясь, посмеиваясь и притворно вздыхая.

Аксинья прошла мимо них, презрительно скривив губы, на ходу поправляя на голове помятый белый с кружевами платок. Ее пропустили молча, но, едва лишь шедший позади Степан поравнялся с казаками, встал и отделился от группы лежавших Аникушка. Он с лицемерным почтением в пояс поклонился Степану, громко сказал:

— С праздничком вас… разговемшись!

Степан охотно улыбнулся. Ему приятно было, что казаки видели его с женой возвращающимися из лесу. Это ведь в какой-то мере способствовало прекращению всяких слухов о том, что они с женой живут плохо… Он даже шевельнул молодецки плечами, самодовольно показывая не просохшую от пота рубаху на спине.

И только после этого поощренные казаки, хохоча, оживленно заговорили:

— А и люта же, братцы, баба! На Степке-то рубаху хоть выжми… Прикипела к лопаткам!

— Выездила она его, в мылу весь…

А молоденький паренек, до самой землянки провожавший Аксинью восхищенным затуманенным взглядом, потерянно проронил:

— На всем белом свете такой раскрасавицы не найдешь, накажи господь!

На что Аникушка ему резонно заметил:

— А ты пробовал искать-то?

Аксинья, слышавшая непристойный разговор, чуть побледнела, вошла в землянку, гадливо морщась и от воспоминания о только что испытанной близости к мужу, и от похабных замечаний его товарищей. С первого взгляда Степан распознал ее настроение, сказал примиряюще:

— Ты не серчай, Ксюша, на этих жеребцов. От скуки они.

— Не на кого серчать-то, — глухо ответила Аксинья, роясь в своей холстинной сумочке,

торопливо вынимая из нее все, что привезла мужу. И еще тише: — На самою себя серчать бы надо, да сердца нет…

Разговор у них как-то не клеился. Минут через десять Аксинья встала. «Сейчас скажу ему, что пойду в Вешки», — подумала она и тотчас вспомнила, что еще не сняла высохшее Степанове белье.

Долго чинила сопревшие от пота рубахи и исподники мужа, сидя у входа в землянку, часто поглядывая на свернувшее с полдня солнце.

…В этот день она так и не ушла. Не хватило решимости. А наутро, едва взошло солнце, стала собираться. Степан пробовал удержать ее, просил погостить еще денек, но она так настойчиво отклоняла его просьбы, что он не стал уговаривать, только спросил перед расставанием:

— В Вешках думаешь жить?

— Пока в Вешках.

— Может, оставалась бы при мне?

— Негоже мне тут быть… с казаками.

— Оно-то так… — согласился Степан, но попрощался холодно.

Дул сильный юго-восточный ветер. Он летел издалека, приустал за ночь, но к утру все же донес горячий накал закаспийских пустынь и, свалившись на луговую пойму левобережья, иссушил росу, разметал туман, розовой душной мглою окутал меловые отроги придонских гор.

Аксинья сняла чирики и, захватив левой рукой подол юбки (в лесу на траве еще лежала роса), легко шла по лесной заброшенной дороге. Босые ноги приятно холодила влажная земля, а оголенные полные икры и шею ищущими горячими губами целовал суховей.

На открытой поляне, возле цветущего куста шиповника, она присела отдохнуть. Где-то недалеко на непересохшем озерце щелоктали в камыше дикие утки, хриповато кликал подружку селезень. За Доном нечасто, но почти безостановочно стучали пулеметы, редко бухали орудийные выстрелы. Разрывы снарядов на этой стороне звучали раскатисто, как эхо.

Потом стрельба перемежилась, и мир открылся Аксинье в его сокровенном звучании: трепетно шелестели под ветром зеленые с белым подбоем листья ясеней и литые, в узорной резьбе, дубовые листья; из зарослей молодого осинника плыл слитный гул; далеко-далеко, невнятно и грустно считала кому-то непрожитые года кукушка; настойчиво спрашивал летавший над озерцом хохлатый чибис: «чьи вы, чьи вы?»; какая-то крохотная серенькая птаха в двух шагах от Аксиньи пила воду из дорожной колеи, запрокидывая головку и сладко прижмурив глазок; жужжали бархатисто-пыльные шмели; на венчиках луговых цветов покачивались смуглые дикие пчелы. Они срывались и несли в тенистые прохладные дупла душистую «обножку». С тополевых веток капал сок. А из-под куста боярышника сочился бражный и терпкий душок гниющей прошлогодней листвы.

Ненасытно вдыхала многообразные запахи леса сидевшая неподвижно Аксинья. Исполненный чудесного и многоголосого звучания лес жил могущественной первородною жизнью. Поемная почва луга, в избытке насыщенная весенней влагой, выметывала и растила такое богатое разнотравье, что глаза Аксиньи терялись в этом чудеснейшем сплетении цветов и трав.

Улыбаясь и беззвучно шевеля губами, она осторожно перебирала стебельки безыменных голубеньких, скромных цветов, потом перегнулась полнеющим станом, чтобы понюхать, и вдруг уловила томительный и сладостный аромат ландыша. Пошарив руками, она нашла его. Он рос тут же, под непроницаемо тенистым кустом. Широкие, некогда зеленые листья все еще ревниво берегли от солнца низкорослый горбатенький стебелек, увенчанный снежно-

белыми пониклыми чашечками цветов. Но умирали покрытые росой и желтой ржавчиной листья, да и самого цветка уже коснулся смертный тлен: две нижние чашечки сморщились и почернели, лишь верхушка — вся в искрящихся слезинках росы — вдруг вспыхнула под солнцем слепящей пленительной белизной.

И почему-то за этот короткий миг, когда сквозь слезы рассматривала цветок и вдыхала грустный его запах, вспомнилась Аксинье молодость и вся ее долгая и бедная радостями жизнь. Что ж, стара, видно, стала Аксинья… Станет ли женщина смолоду плакать оттого, что за сердце схватит случайное воспоминание?

Так в слезах и уснула, лежа ничком, схоронив в ладонях заплаканное лицо, прижавшись опухшей и мокрой щекой к скомканному платку.

Сильнее дул ветер, клонил на запад вершины тополей и верб. Раскачивался бледный ствол ясеня, окутанный белым кипящим вихрем мечущейся листвы. Ветер снижался, падал на доцветающий куст шиповника, под которым спала Аксинья, и тогда, словно вспугнутая стая сказочных зеленых птиц, с тревожным шелестом взлетали листья, роняя розовые перья-лепестки. Осыпанная призавядшими лепестками шиповника, спала Аксинья и не слышала ни угрюмоватого лесного шума, ни возобновившейся за Доном стрельбы, не чувствовала, как ставшее в зенит солнце палит ее непокрытую голову. Проснулась, заслышав над собою людскую речь и конское пырсканье, поспешно привстала.

Около нее стоял, держа в поводу оседланную белоноздрую лошадь, молодой безусый и белозубый казак. Он широко улыбался, поводил плечами, приплясывал, выговаривал хриповатым, но приятным тенорком слова веселой песни:

Я упала да лежу,
На все стороны гляжу.
Туда глядь,
Сюда глядь,
Меня некому поднять!
Оглянулася назад —
Позади стоит казак…

— Я и сама встану! — улыбнулась Аксинья и проворно вскочила, оправляя смятую юбку.

— Здорово живешь, моя любезная! Ноженьки отказались служить аль приленилась? — приветствовал ее веселый казак.

— Сон сморил, — смущенно отвечала Аксинья.

— В Вешки идешь?

— В Вешки.

— Хочешь, подвезу?

— На чем же это?

— Ты садись верхи, а я пешком. Дело магарычевое… — И казак подмигнул с шутливой многозначительностью.

— Нет уж, езжай с богом, а я и сама дойду.

Но казак обнаружил и опыт в любовных делах и упрямство. Воспользовавшись тем, что Аксинья покрывалась, он куцей, но сильной рукой обнял ее, рывком притянул к себе и хотел поцеловать.

— Не дури! — крикнула Аксинья и с силой ударила его локтем в переносицу.

— Лапушка моя, не дерись! Глянь, какая кругом благодать… Всяка тварь паруется… Давай и мы грех поимеем?.. — сузив смеющиеся глаза, щекоча шею Аксинье усами, шептал казак.

Выставив руки, беззлобно, но сильно упираясь ладонями в бурое, потное лицо казака,

Аксинья попробовала освободиться, однако он держал ее крепко.

— Дурак! Я больна дурной болезнью… Пусти! — просила она, задыхаясь, думая этой наивной хитростью избавиться от приставанья.

— Это… чья болезня старше!.. — уже сквозь зубы бормотнул казак и вдруг легко приподнял Аксинью.

Вмиг осознав, что шутка кончилась и дело принимает дурной оборот, она изо всей силы ударила кулаком по коричневому от загара носу и вырвалась из цепко державших ее рук.

— Я жена Григория Мелехова! Только подойди, рассукин ты сын!.. Расскажу — так он тебе…

Еще не веря в действие своих слов, Аксинья схватила в руки толстую сухую палку. Но казак сразу охладел. Вытирая руками защитной рубахи кровь с усов, обильно струившуюся из обеих ноздрей, он огорченно воскликнул:

— Дура! Ах, дура баба! Чего же ты раньше-то не сказала? Ишь кровь-то как хлобыщет… Мало мы ее с неприятелем проливаем, а тут ишо свои природные бабы начинают кровь пущать…

Лицо его вдруг стало скучным и неприветливым. Пока он умывался, черпая воду из придорожной лужины, Аксинья поспешно свернула с дороги, быстро перешла поляну. Минут через пять казак обогнал ее. Он покосился на нее, молча улыбаясь, деловито поправил на груди винтовочный погон и поскакал шибкой рысью.

II

В эту ночь около хутора Малого Громчонка полк красноармейцев переправился через Дон на сбитых из досок и бревен плотах.

Громковская сотня была застигнута врасплох, так как большинство казаков в эту ночь гуляло. С вечера к месту расположения сотни пришли проведать служивых жены. Они принесли с собой харчи, в кувшинах и ведрах — самогон. К полуночи все перепились. В землянках зазвучали песни, пьяный бабий визг, мужской хохот и посвист… Двадцать казаков, бывших в заставе, тоже приняли участие в выпивке, оставив возле пулемета двух пулеметчиков и конский цебар самогону.

От правого берега Дона в полной тишине отчалили загруженные красноармейцами плоты. Переправившись, красноармейцы развернулись в цепь, молча пошли к землянкам, расположенным в полусотне саженей от Дона.

Саперы, строившие плоты, быстро гребли, направляясь за новой партией ожидавших погрузки красноармейцев.

На левой стороне минут пять не слышно было ничего, кроме несвязных казачьих песен, потом стали гулко лопаться ручные гранаты, зарокотал пулемет, разом вспыхнула беспорядочная ружейная стрельба, и далеко покатилось прерывистое: «Ура-а-а! Ура-а-а! Ура-а-а-а!»

Громковская сотня была опрокинута и окончательному уничтожению не подверглась лишь потому, что преследование было невозможно ввиду беспроглядной ночной темноты.

Понесшие незначительный урон громковцы вместе с бабами в паническом беспорядке бежали по лугу в направлении Вешенской. А тем временем с правой стороны плоты перевозили новые партии красноармейцев, и полурота первого батальона 111-го полка с двумя ручными пулеметами уже действовала во фланг Базковской сотне повстанцев.

В образовавшийся прорыв устремились прибывшие подкрепления. Продвижение их было

крайне затруднено тем, что никто из красноармейцев не знал местности, части не имели проводников и, двигаясь вслепую, все время натыкались в ночной темноте на озера и налитые полой водой глубокие протоки, перейти которые вброд было невозможно.

Руководивший наступлением командир бригады принял решение прекратить преследование до рассвета, с тем чтобы к утру подтянуть резервы, сосредоточиться на подступах к Вешенской и после артиллерийской подготовки вести дальнейшее наступление.

Но в Вешенской уже принимались спешные меры для ликвидации прорыва. Дежурный по штабу тотчас же, как только прискакал связной с вестью о переправе красных, послал за Кудиновым и Мелеховым. С хуторов Черного, Гороховки и Дубровки вызвали конные сотни Каргинского полка. Общее руководство операцией взял на себя Григорий Мелехов. Он бросил на хутор Еринский триста сабель, с расчетом, чтобы они укрепили левый фланг и помогли Татарской и Лебяженской сотням сдержать напор противника, в случае если он устремится в обход Вешенской с востока; с запада, вниз по течению Дона, направил в помощь Базковской сотне Вешенскую иногороднюю дружину и одну из Чирских пеших сотен; на угрожаемых участках расставил восемь пулеметов, а сам с двумя конными сотнями — часов около двух ночи — разместился на опушке Горелого леса, дожидаясь рассвета и намереваясь атаковать красноармейцев в конном строю.

Еще не погасли Стожары, когда Вешенская иногородняя дружина, пробиравшаяся по лесу к базковскому колену, столкнулась с отступавшими базковцами и, приняв их за противника, после короткой перестрелки бежала. Через широкое озеро, отделявшее Вешенскую от луки, дружинники перебирались вплавь, в спешке побросав на берегу обувь и одежду. Ошибка вскоре обнаружилась, но весть, что красные подходят к Вешенской, распространилась с поразительной быстротой. Из Вешенской на север хлынули ютившиеся в подвалах беженцы, разнося повсюду слух, будто красные переправились через Дон, прорвали фронт и ведут наступление на Вешенскую…

Чуть брезжил рассвет, когда Григорий, получив донесение о бегстве иногородней дружины, поскакал к Дону. Дружинники выяснили происшедшее недоразумение и уже возвращались к окопам, громко переговариваясь. Григорий подъехал к одной группе, насмешливо спросил:

— Много перетопло, когда плыли через озеро?

Мокрый, на ходу выжимавший рубаху стрелок смущенно отвечал:

— Щуками плыли! Где уж там утопать…

— Со всеми конфуз бывает, — рассудительно заговорил второй, шедший в одних исподниках. — А вот наш взводный на самом деле чуть не утоп. Разуваться не схотел, обмотки долго сымать, ну и поплыл, а обмотка возьми да и развяжись в воде. Спутала ему ноги… Уж и орал же он! В Елани, небось, слышно было!

Разыскав командира дружины Крамскова, Григорий приказал ему вывести стрелков на край леса, расположить их так, чтобы в случае надобности можно было обстреливать красноармейские цепи с фланга, а сам поехал к своим сотням.

На полпути ему повстречался штабной ординарец. Он осадил тяжело носившего боками коня, облегченно вздохнул:

— Насилу разыскал вас!

— Ты чего?

— Из штаба приказано передать, что Татарская сотня бросила окопы. Опасаются, как бы не окружили их, отступают к пескам… Кудинов, на словах, велел вам зараз же поспешать туда.

С полувзводом казаков, имевших самых резвых лошадей, Григорий лесом выбрался на

дорогу. Через двадцать минут скачки они были уже около озера Голого Ильменя. Слева от них по лугу вроссыпь бежали охваченные паникой татарцы. Фронтовики и бывалые казаки пробирались не спеша, держались поближе к озеру, хоронясь в прибрежной куге; большинство же, руководимое, как видно, одним желанием — поскорее добраться до леса, — не обращая внимания на редкий пулеметный огонь, валило напрямик.

— Догоняй их! Пори плетями!.. — скосив глаза от бешенства, крикнул Григорий и первый выпустил коня вдогонку хуторянам.

Позади всех, прихрамывая, диковинной, танцующей иноходью трусил Христоня. Накануне на рыбной ловле он сильно порезал камышом пятку, потому и не мог бежать со всей свойственной его длинным ногам резвостью. Григорий настигал его, высоко подняв над головой плеть. Заслышав конский топот, Христоня оглянулся и заметно наддал ходу.

— Куда?! Стой!.. Стой, говорят тебе!.. — тщетно кричал Григорий.

Но Христоня и не думал останавливаться. Он еще больше убыстрил бег, перейдя на какой-то разнузданный верблюжий галоп.

Тогда взбешенный Григорий прохрипел страшное матерное ругательство, гикнул на коня и, поравнявшись, с наслаждением рубнул плетью по мокрой от пота Христониной спине. Христоня взвился от удара, сделал чудовищный скачок в сторону, нечто вроде заячьей «скидки», сел на землю и начал неторопливо и тщательно ощупывать спину.

Казаки, сопровождавшие Григория, заскакивали наперед бежавшим, останавливали их, но плетей в ход не пускали.

— Пори их!.. Пори!.. — потрясая своей нарядной плетью, хрипло кричал Григорий.

Конь вертелся под ним, становился вдыбки, никак не хотел идти вперед. С трудом направив его, Григорий поскакал к бегущим впереди. На скаку он мельком видел остановившегося возле куста, молчаливо улыбавшегося Степана Астахова; видел, как Аникушка, приседая от смеха и сложив ладони рупором, пронзительным, бабьим голосом визжал:

— Братцы! Спасайся, кто может! Красные!.. Ату их!.. Бери!..

Григорий нагонял еще одного хуторянина, одетого в ватную куртку, бежавшего неутомимо и резко. Сутуловатая фигура его была странно знакома, но распознавать было некогда, и Григорий еще издали заорал:

— Стой, сукин сын!.. Стой, зарублю!..

И вдруг человек в ватной куртке замедлил бег, остановился, и, когда стал поворачиваться, — характерным, знакомым с детства жестом выказывая высшую степень возбуждения, — пораженный Григорий, еще не видя обличья, узнал отца.

Щеки Пантелея Прокофьевича передергивали судороги.

— Это родной отец-то — сукин сын? Это отца грозишь срубить? — срывающимся фальцетом закричал он.

Глаза его дымились такой знакомой, неуемной свирепостью, что возмущение Григория разом остыло, и он, с силой придержав коня, крикнул:

— Не угадал в спину! Чего орешь, батя?

— Как так не угадал? Отца и не угадал?!

Столь нелепо и неуместно было проявление этой стариковской обидчивости, что Григорий, уже смеясь, поравнялся с отцом, примиряюще сказал:

— Батя, не серчай! На тебе сюртук какой-то неизвестный мне, окромя этого ты летел, как призовая лошадь, и даже хромота твоя куда делась! Как тебя угадать-то?

И опять, как бывало это раньше, всегда, в домашнем быту, Пантелей Прокофьевич утих и, все еще прерывисто дыша, но посмирнев, согласился:

— Сюртук на мне, верно говоришь, новый, выменял на шубу — шубу таскать тяжело — а хромать… Когда ж тут хромать? Тут, братец ты мой, уж не до хромоты!.. Смерть в глазах, а ты про ногу гутаришь…

— Ну, до смерти ишо далеко. Поворачивай, батя! Патроны-то не раскидал?

— Куда ж поворачивать? — возмутился старик.

Но тут уж Григорий повысил голос, отчеканивая каждое слово, скомандовал:

— Приказываю вернуться! За ослушание командира в боевой обстановке, знаешь, что по уставу полагается?

Сказанное возымело действие: Пантелей Прокофьевич поправил на спине винтовку, неохотно побрел назад. Поравнявшись с одним из стариков, еще медленнее шагавшим обратно, со вздохом сказал:

— Вот они какие пошли, сынки-то! Нет того, чтобы уважить родителю или, к примеру говоря, ослобонить от бою, а он его же норовит… в это самое направить… да-а-а… Нет, покойничек Петро, царство ему небесное, куда лучше был! Ровная у него душа была, а этот сумарок, Гришка-то, хотя он и командир дивизии, заслуженный, так и далее, а не такой. Весь на кочках, и ни одну нельзя тронуть. Этот при моей старости на печку не иначе как шилом будет подсаживать!

Татарцев образумили без особого труда…

Спустя немного Григорий собрал всю сотню, увел ее под прикрытие; не слезая с седла, коротко пояснил:

— Красные переправились и силуются занять Вешки. Возле Дона зараз начался бой. Дело не шутейное, и бегать зря не советую. Ежели ишо раз побежите — прикажу коннице, какая стоит в Еринском, рубить вас, как изменников! — Григорий оглядел разношерстно одетую толпу хуторян, закончил с нескрываемым презрением: — Много у вас в сотне всякой сволочи набралось, она и разводит страхи. Побегли, в штаны напустили, вояки! А ишо казаками кличетесь! Особенно вы, деды, глядите у меня! Взялись воевать, так нечего теперь головы промеж ног хоронить! Зараз же, повзводно, рысью вон к энтому рубежу и от кустов — к Дону. По-над Доном — до Семеновской сотни. Вместе с нею вдарите красным во фланг. Марш! Живо!

Татарцы молча выслушали и так же молча направились к кустам. Деды удрученно кряхтели, оглядывались на шибко поскакавшего Григория и сопутствовавших ему казаков. Старик Обнизов, шагавший в ногу с Пантелеем Прокофьевичем, восхищенно сказал:

— Ну и геройским сынком сподобил тебя господь! Истый» орел! Как он Христоню-то потянул вдоль спины! Враз привел все в порядок!

И польщенный в отцовских чувствах Пантелей Прокофьевич охотно согласился:

— И не говори! Таких сынов по свету поискать! Полный бант крестов, это как, шутка? Вот Петро, покойничек, царство ему небесное, хотя он и родной сын был и первенький, а все не такой! Уж дюже смирный был, какой-то, чума его знает, недоделанный. Душа у него под исподом бабья была! А этот — весь в меня! Ажник превзошел лихостью!

Григорий со своим полувзводом подбирался к Калмыцкому броду. Они уже считали себя в безопасности, достигнув леса, но их увидели с наблюдательного пункта, с той стороны Дона. Орудийный взвод повел обстрел. Первый снаряд пролетел над вершинами верб, чмокнулся где-то в болотистой чаще, не разорвавшись. А второй ударил неподалеку от дороги в обнаженные корневища старого осокоря, брызнул огнем, окатил казаков гулом, комьями жирной земли и крошевом трухлявого дерева.

Оглушенный Григорий инстинктивно поднес к глазам руку, пригнулся к луке, ощутив глухой и мокрый шлепок, как бы по крупу коня.

Казачьи кони от потрясшего землю взрыва будто по команде присели и ринулись вперед; под Григорием конь тяжко поднялся на дыбы, попятился, начал медленно валиться на бок. Григорий поспешно соскочил с седла, взял коня под уздцы. Пролетело еще два снаряда, а потом хорошая тишина стала на искрайке леса. Ложился на траву пороховой дымок; пахло свежевзвернутой землей, щепками, полусгнившим деревом; далеко в чаще встревоженно стрекотали сороки.

Конь Григория всхрапывал и подгибал трясущиеся задние ноги. Желтый навес его зубов был мучительно оскален, шея вытянута. На бархатистом сером храпе пузырилась розовая пена. Крупная дрожь била его тело, под гнедым подшерстком волнами катились судороги.

— Готов кормилец? — громко спросил подскакавший казак.

Григорий смотрел в тускнеющие конские глаза, не отвечая. Он даже не глянул на рану и только чуть посторонился, когда конь как-то неуверенно заторопился, выпрямился и вдруг упал на колени, низко склонив голову, словно прося у хозяина в чем-то прощения. На бок лег он с глухим стоном, попытался поднять голову, но, видно, покидали его последние силы; дрожь становилась все реже, мертвели глаза, на шее выступила испарина.

Только в щетках, где-то около самых стаканов копыт, еще бились последние живчики. Чуть вибрировало потертое крыло седла.

Григорий искоса глянул на левый пах, увидел развороченную глубокую рану, теплую черную кровь, бившую из нее родниками, сказал спешившемуся казаку, заикаясь и не вытирая слез:

— Стреляй с одной пули! — и передал ему свой маузер.

Пересев на казачью лошадь, поскакал к месту, где оставил свои сотни. Там уже возгорался бой.

С рассветом красноармейцы двинулись в наступление. В слоистом тумане поднялись их цепи, молча пошли по направлению к Вешенской. На правом фланге, около налитой водой ложбины, на минуту замешкались, потом побрели по грудь в воде, высоко поднимая патронные подсумки и винтовки. Спустя немного с обдонской горы согласно и величаво загремели четыре батареи. Как только по лесу веером начали ложиться снаряды, повстанцы открыли огонь. Красноармейцы уже не шли, а бежали с винтовками наперевес. Впереди них на полверсты сухо лопалась по лесу шрапнель, валились расщепленные снарядами деревья, белесыми клубами поднимался дым. Короткими очередями заработали два казачьих пулемета. В первой цепи начали падать красноармейцы. Все чаще то тут, то там по цепи вырывали пули людей, опоясанных скатками, кидали их ничком или навзничь, но остальные не ложились, и все короче становилось расстояние, отделявшее их от леса.

Впереди второй цепи, чуть клонясь вперед, подоткнув полы шинели, легко и размашисто бежал высокий, с непокрытой головой командир. Цепь на секунду замедлила движение, но командир, на бегу повернувшись, что-то крикнул, и люди снова перешли на побежку, снова все яростнее стало нарастать хрипловатое и страшное «ура-а-а».

Тогда заговорили все казачьи пулеметы, на опушинах леса жарко, без умолку зачастили винтовочные выстрелы… Откуда-то сзади Григория, стоявшего с сотнями на выезде из леса, длинными очередями начал бить станковый пулемет Базковской сотни. Цепи дрогнули, залегли, стали отстреливаться. Часа полтора длился бой, но огонь пристрелявшихся повстанцев был так настилен, что вторая цепь, не выдержав, поднялась, смешалась с подходившей перебежками третьей цепью… Вскоре луг был усеян беспорядочно бежавшими назад красноармейцами. И тогда Григорий на рыси вывел свои сотни из лесу, построил их и кинул в преследование. Дорогу к плотам отрезала отступавшим шедшая полным карьером Чирская сотня. У придонского леса, возле самого берега, завязался рукопашный бой. К плотам

прорвалась только часть красноармейцев. Они до отказа загрузили плоты, отчалили. Остальные бились, вплотную прижатые к Дону.

Григорий спешил свои сотни, приказал коноводам не выезжать из лесу, повел казаков к берегу. Перебегая от дерева к дереву, казаки все ближе подвигались к Дону. Человек полтораста красноармейцев ручными гранатами и пулеметным огнем отбросили наседавшую повстанческую пехоту. Плоты было снова направились к левому берегу, но базковцы ружейным огнем перебили почти всех гребцов. Участь оставшихся на этой стороне была предрешена. Слабые духом, побросав винтовки, пытались перебраться вплавь. Их расстреливали залегшие возле прорвы повстанцы. Много красноармейцев потонуло, не будучи в силах пересечь Дон на быстрине. Только двое перебрались благополучно: один в полосатой матросской тельняшке — как видно, искусный пловец — вниз головой кинулся с обрывистого берега, погрузился в воду и вынырнул чуть ли не на середине Дона.

Прячась за разлапистой вербой, Григорий видел, как широкими саженками матрос доспевал к той стороне. И еще один переплыл благополучно. Он расстрелял все патроны, стоя по грудь в воде; что-то крикнул, грозя кулаком в сторону казаков, и пошел отмахивать наискось. Вокруг него чмокали пули, но ни одна не тронула счастливца. Там, где было когда-то скотинье стойло, он выбрел из воды, отряхнулся, не спеша стал взбираться по яру к дворам.

Оставшиеся возле Дона залегли за песчаным бугром. Их пулемет строчил безостановочно до тех пор, пока не закипела в кожухе вода.

— За мной! — негромко скомандовал Григорий, как только пулемет умолк, и пошел к бугру, вынув из ножен шашку.

Позади, тяжко дыша, затопотали казаки.

До красноармейцев оставалось не более полусотни саженей. После трех залпов из-за песчаного бугра поднялся во весь рост высокий смуглолицый и черноусый командир. Его поддерживала под руку одетая в кожаную куртку женщина. Командир был ранен. Волоча перебитую ногу, он сошел с бугра, поправил на руке винтовку с примкнутым штыком, хрипло скомандовал:

— Товарищи! Вперед! Бей беляков!

Кучка храбрецов с пением «Интернационала» пошла в контратаку. На смерть.

Сто шестнадцать павших последними возле Дона были все коммунисты Интернациональной роты.

III

Поздно ночью Григорий пришел из штаба на квартиру. Прохор Зыков ожидал его у калитки.

— Про Аксинью не слышно? — спросил Григорий с деланным равнодушием в голосе.

— Нет. Запропала где-то, — ответил Прохор, позевывая, и тотчас же со страхом подумал: «Не дай бог, опять заставит ее разыскивать… Вот скочетались, черти, на мою голову!»

— Принеси умыться. Потный я весь. Ну, живо! — уже раздраженно сказал Григорий.

Прохор сходил в хату за водой, долго лил из кружки в сложенные ковшом ладони Григория. Тот мылся с видимым наслаждением. Снял провонявшую потом гимнастерку, попросил:

— Слей на спину.

От холодной воды, обжегшей потную спину, ахнул, зафыркал, долго и крепко тер

натруженные ремнями плечи и волосатую грудь. Вытираясь чистой попонкой, уже повеселевшим голосом приказал Прохору:

— Коня мне утром приведут — прими его, вычисти, добудь зерна. Меня не буди, пока сам проснусь. Только если из штаба пришлют — разбудишь. Понятно?

Ушел под навес сарая. Лег на повозке и тотчас же окунулся в беспросыпный сон. На заре зяб, поджимал ноги, натягивал влажную от росы шинель, а после того как взошло солнце, снова задремал и проснулся часов около семи от полнозвучного орудийного выстрела. Над станицей, в голубом и чистом небе, кружил матово поблескивающий аэроплан. По нему били с той стороны Дона из орудий и пулеметов.

— А ить могут подшибить его! — проговорил Прохор, яростно охаживая щеткой привязанного к коновязи высокого рыжего, жеребца. — Гляди, Пантелевич, какого черта под тебя прислали!

Григорий бегло осмотрел жеребца, довольный, спросил:

— Не поглядел я, сколько ему годов. Шестой, должно?

— Шестой.

— Ох, хорош! Ножки под ним точеные и все в чулках. Нарядный конишко… Ну, седлай его, поеду, погляжу, кто это прилетел.

— Уж хорош — слов нету. Как-то он будет на побежку? Но по всем приметам должен бы быть дюже резвым, — бормотал Прохор, затягивая подпруги.

Еще одно дымчато-белое облачко шрапнельного разрыва вспыхнуло около аэроплана.

Выбрав место для посадки, летчик резко пошел на снижение. Григорий выехал из калитки, поскакал к станичной конюшне, за которой опустился аэроплан.

В конюшне для станичных жеребцов — длинном каменном здании, стоявшем на краю станицы, — было битком набито более восьмисот пленных красноармейцев. Стража не выпускала их оправляться, параш в помещении не было. Тяжкий густой запах человеческих испражнений стеною стоял около конюшни. Из-под дверей стекали зловонные потоки мочи; над ними тучами роились изумрудные мухи…

День и ночь в этой тюрьме для обреченных звучали глухие стоны. Сотни пленных умирали от истощения и свирепствовавших среди них тифа и дизентерии. Умерших иногда не убирали по суткам.

Григорий, объехав конюшню, только что хотел спешиться, как снова глухо ударило орудие с той стороны Дона. Скрежет приближающегося снаряда вырос и сомкнулся с тяжким гулом разрыва.

Пилот и прилетевший с ним офицер вылезли было из кабинки, их окружили казаки. Тотчас же на горе заговорили все орудия батареи. Снаряды стали аккуратно ложиться вокруг конюшни.

Пилот быстро влез в кабинку, но мотор отказался работать.

— Кати на руках! — зычно скомандовал казакам прилетевший из-за Дона офицер и первый взялся за крыло.

Покачиваясь, аэроплан легко двинулся к соснам. Батарея провожала его беглым огнем. Один из снарядов попал в набитую пленными конюшню. В густом дыму, в клубах поднявшейся известняковой пыли обрушился угол. Конюшня дрогнула от животного рева охваченных ужасом красноармейцев. В образовавшийся пролом выскочили трое пленных, сбежавшиеся казаки изрешетили их выстрелами в упор.

Григорий отскакал в сторону.

— Убьют! Езжай в сосны! — крикнул пробегавший мимо казак с испуганным лицом и вытаращенными белесыми глазами.

«Айв самом деле могут накинуть. Чем черт не шутит», — подумал Григорий и не спеша повернул домой.

В этот день Кудинов, обойдя приглашением Мелехова, созвал в штабе строго секретное совещание. Прилетевший офицер Донской армии коротко сообщил, что со дня на день красный фронт будет прорван частями ударной группы, сконцентрированной возле станицы Каменской, и конная дивизия Донской армии под командой генерала Секретева двинется на соединение с повстанцами. Офицер предложил немедленно подготовить средства переправы, чтобы по соединении с дивизией Секретева тотчас же перебросить конные повстанческие полки на правую сторону Дона; посоветовал стянуть резервные части поближе к Дону и уже в конце совещания, после того как был разработан план переправы и движения частей преследования, спросил:

— А почему у вас пленные находятся в Вешенской?

— Больше их негде держать, в хуторах нет помещений, — ответил кто-то из штабных.

Офицер тщательно вытер носовым платком гладко выбритую вспотевшую голову; расстегнул ворот защитного кителя, со вздохом сказал:

— Направьте их в Казанскую.

Кудинов удивленно поднял брови:

— А потом?

— А оттуда — в Вешенскую… — снисходительно пояснил офицер, щуря холодные голубые глаза. И, плотнее сжав губы, жестко закончил: — Я не знаю, господа, почему вы с ними церемонитесь? Время сейчас как будто не такое. Эту сволочь, являющуюся рассадником всяких болезней, как физических, так и социальных, надо истреблять. Нянчиться с ними нечего! Я на вашем месте поступил бы именно так.

На другой день в пески вывели первую партию пленных в двести человек. Изможденные, иссиня-бледные, еле передвигающие ноги красноармейцы шли как тени. Конный конвой плотно окружал их нестройно шагавшую толпу… На десятиверстном перегоне Вешенская — Дубровка двести человек были вырублены до одного. Вторую партию выгнали перед вечером. Конвою было строго приказано: отстающих только рубить, а стрелять лишь в крайнем случае. Из полутораста человек восемнадцать дошли до Казанской… Один из них, молодой цыгановатый красноармеец, в пути сошел с ума. Всю дорогу он пел, плясал и плакал, прижимая к сердцу пучок сорванного душистого чабреца. Он часто падал лицом в раскаленный песок, ветер трепал грязные лохмотья бязевой рубашки, и тогда конвоирам были видны его туго обтянутая кожей костистая спина и черные потрепавшиеся подошвы раскинутых ног. Его поднимали, брызгали на него водой из фляжек, и он открывал черные, блещущие безумием глаза, тихо смеялся и, раскачиваясь, снова шел.

Сердобольные бабы на одном из хуторов окружили конвойных, и величественная и дородная старуха строго сказала начальнику конвоя:

— Ты ослобони вот этого чернявенького. Умом он тронулся, к богу стал ближе, и вам великий грех будет, коли такого-то загубите.

Начальник конвоя — бравый рыжеусый подхорунжий — усмехнулся:

— Мы, бабуня, лишнего греха не боимся на душу принимать. Все одно из нас праведников не получится!

— А ты ослобони, не противься, — настойчиво просила старуха. — Смерть-то над каждым из вас крылом машет…

Бабы дружно поддержали ее, и подхорунжий согласился.

— Мне не жалко, возьмите его. Он теперь не вредный. А за нашу доброту — молочка нам неснятого по корчажке на брата.

Старуха увела сумасшедшего к себе в хатенку, накормила его, постелила ему в горнице. Он проспал сутки напролет, а потом проснулся, встал спиной к окошку, тихо запел. Старуха вошла в горенку, присела на сундук, подперла щеку ладонью, долго и зорко смотрела на худощавое лицо паренька, потом басовито сказала:

— Ваши-то, слыхать, недалеко…

Сумасшедший на какую-то секунду смолк и сейчас же снова запел, но уже тише.

Тогда старуха строго заговорила:

— Ты, болезный мой, песенки брось играть, не прикидывайся и голову мне не морочь. Я жизню прожила, и меня не обманешь, не дурочка! Умом ты здоровый, знаю… Слыхала, как ты во сне гутарил, да таково складно!

Красноармеец пел, но все тише и тише. Старуха продолжала:

— Ты меня не боись, я тебе не лиха желаю. У меня двух сынков в германскую войну сразили, а меньший в эту войну в Черкасском помер. А ить я их всех под сердцем выносила… Вспоила, вскормила, ночей смолоду не спала… Вот через это и жалею я всех молодых юношев, какие в войсках служат, на войне воюют… — Она помолчала немного.

Смолк и красноармеец. Он закрыл глаза, и чуть заметный румянец проступил на его смуглых скулах, на тонкой худой шее напряженно запульсировала голубая жилка.

С минуту стоял он, храня выжидающее молчание, затем приоткрыл черные глаза. Взгляд их был осмыслен и полыхал таким нетерпеливым ожиданием, что старуха чуть приметно улыбнулась.

— Дорогу на Шумилинскую знаешь?

— Нет, бабуня, — чуть шевеля губами, ответил красноармеец.

— А как же ты пойдешь?

— Не знаю…

— То-то и оно! Что же мне с тобой теперича делать?

Старуха долго выжидала ответа, потом спросила:

— А ходить-то ты можешь?

— Пойду как-нибудь.

— Зараз тебе как-нибудь нельзя ходить. Надо идтить ночьми и шагать пошибче, ох, пошибче! Переднюй ишо, а тогда дам я тебе харчей и в поводыри внучонка, чтоб он дорогу указывал, и — в час добрый! Ваши-то, красные, за Шумилинской стоят, верно знаю. Вот ты к ним и припожалуешь. А шляхом вам нельзя идтить, надо — степью, логами да лесами, бездорожно, а то казаки перевстренут, и беды наберетесь. Так-то, касатик мой!

На другой день, как только смерклось, старуха перекрестила собравшихся в дорогу своего двенадцатилетнего внучонка и одетого в казачий зипун красноармейца, сурово сказала:

— Идите с богом! Да, глядите, нашим служивым не попадайтеся!.. Не за что, касатик, не за что! Не мне кланяйся, богу святому! Я не одна такая-то, все мы, матери, добрые… Жалко ить вас, окаянных, до смерти! Ну, ну, ступайте, оборони вас господь! — и захлопнула окрашенную желтой глиной покосившуюся дверь хатенки.

IV

Каждый день Ильинична просыпалась чуть свет, доила корову и начинала стряпаться. Печь в доме не топила, а разводила огонь в летней кухне, готовила обед и снова уходила в дом к детишкам.

Наталья медленно оправлялась после тифа. На второй день троицы она впервые встала с постели, прошлась по комнатам, с трудом переставляя иссохшие от худобы ноги, долго искала в головах у детишек и даже попробовала, сидя на табуретке, стирать детскую одежонку.

И все время с исхудавшего лица ее не сходила улыбка, на ввалившихся щеках розовел румянец, а ставшие от болезни огромными глаза лучились такой сияющей трепетной теплотой, как будто после родов.

— Полюшка, расхороша моя! Не забижал тебя Мишатка, как я хворала? — спрашивала она слабым голосом, протяжно и неуверенно выговаривая каждое слово, гладя рукою черноволосую головку дочери.

— Нет, маманя! Мишка толечко раз меня побил, а то мы с ним хорошо игрались, — шепотом отвечала девочка и крепко прижималась лицом к материнским коленям.

— А бабушка жалела вас? — улыбаясь, допытывалась Наталья.

— Дюже жалела!

— А чужие люди, красные солдаты вас не трогали?

— Они у нас телушку зарезали, проклятые! — баском ответил разительно похожий на отца Мишатка.

— Ругаться нельзя, Мишенька! Ишь ты, хозяин какой! Больших нельзя черным словом обзывать! — назидательно сказала Наталья, подавляя улыбку.

— Это бабка их так обзывала, спроси хоть у Польки, — угрюмо оправдывался маленький Мелехов.

— Верно, маманя, и курей они у нас всех дочиста порезали!

Полюшка оживилась: блестя черными глазенками, стала рассказывать, как приходили на баз красноармейцы, как они ловили кур и уток, как просила бабка Ильинична оставить на завод желтого петуха с обмороженным гребнем и как ей веселый красноармеец ответил, размахивая петухом: «Этот петух, бабка, кукарекал против Советской власти, и мы его присудили за это к смертной казни! Хоть не проси — сварим мы из него лапши, а тебе взамен старые валенки оставим».

И Полюшка развела руками, показывая:

— Во какие валенки оставил! Большущие-разбольшущие и все на дырьях!

Наталья, смеясь и плача, ласкала детишек и, не сводя с дочери восхищенных глаз, радостно шептала:

— Ах ты моя Григорьевна! Истованная Григорьевна! Вся-то ты, до капельки, на своего батю похожа.

— А я похож? — ревниво спросил Мишатка и несмело прислонился к матери.

— И ты похож. Гляди только: когда вырастешь — не будь таким непутевым, как твой батя…

— А он непутевый? А чем он непутевый? — заинтересовалась Полюшка.

На лицо Натальи тенью легла грусть. Наталья промолчала и с трудом поднялась со скамьи.

Присутствовавшая при разговоре Ильинична недовольно отвернулась. А Наталья, уже не вслушиваясь в детский говор, стоя у окна, долго глядела на закрытые ставни астаховского куреня, вздыхала и взволнованно теребила оборку своей старенькой, вылинявшей кофточки…

На другой день она проснулась чуть свет, встала тихонько, чтобы не разбудить детей, умылась, достала из сундука чистую юбку, кофточку и белый зонтовый платок. Она заметно волновалась, и по тому, как она одевалась, как хранила грустное и строгое молчание, — Ильинична догадалась, что сноха пойдет на могилку деда Гришаки.

— Куда это собралась? — спросила Ильинична, чтобы убедиться в верности своих предположений.

— Пойду дедушку проведаю, — не поднимая головы, боясь расплакаться, обронила Наталья.

Она уже знала о смерти деда Гришаки и о том, что Кошевой сжег их дом и подворье.

— Слабая ты, не дойдешь.

— С передышками дотяну. Детей покормите, мамаша, а то я там, может, долго задержусь.

— И кто его знает — чего ты там будешь задерживаться! Ишо в недобрый час найдешь на этих чертей, прости бог. Не ходила бы, Наталькюшка!

— Нет, я уж пойду. — Наталья нахмурилась, взялась за дверную ручку.

— Ну, погоди, чего ж ты голодная-то пойдешь? Сем-ка я молочка кислого положу?

— Нет, мамаша, спаси Христос, не хочу… Прийду, тогда поем.

Видя, что сноха твердо решила идти, Ильинична посоветовала:

— Иди лучше над Доном, огородами. Там тебя не так видно будет.

Над Доном наволочью висел туман. Солнце еще не всходило, но на востоке багряным заревом полыхала закрытая тополями кромка неба, и из-под тучи уже тянуло знобким предутренним ветерком.

Перешагнув через поваленный, опутанный повиликой плетень, Наталья вошла в свой сад. Прижимая руки к сердцу, остановилась возле свежего холмика земли.

Сад буйно зарастал крапивою и бурьяном. Пахло мокрыми от росы лопухами, влажной землей, туманом. На старой засохшей после пожара яблоне одиноко сидел нахохлившийся скворец. Могильная насыпь осела. Кое-где между комьями ссохшейся глины уже показались зеленые жальца выметавшейся травы.

Потрясенная нахлынувшими воспоминаниями, Наталья молча опустилась на колени, припала лицом к неласковой, извечно пахнущей смертным тленом земле…

Через час она крадучись вышла из сада, в последний раз со стиснутым болью сердцем оглянулась на место, где некогда отцвела ее юность, — пустынный двор угрюмо чернел обуглившимися сохами сараев, обгорелыми развалинами печей и фундамента, — и тихо пошла по проулку.

С каждым днем Наталья поправлялась все больше. Крепли ноги, округлялись плечи, здоровой полнотой наливалось тело. Вскоре стала помогать свекрови в стряпне. Возясь у печи, они подолгу разговаривали.

Однажды утром Наталья с сердцем сказала:

— И когда же это кончится? Вся душа изболелась!

— Вот поглядишь, скоро переправются наши из-за Дона, — уверенно отозвалась Ильинична.

— А почем вы знаете, мамаша!

— У меня сердце чует.

— Лишь бы наши казаки были целые. Не дай бог — убьют кого или поранют. Гриша, ить он отчаянный, — вздохнула Наталья.

— Небось ничего им не сделается, бог не без милости. Старик-то наш сулился опять переправиться, проведать нас, да, должно, напужался. Кабы приехал — и ты бы с ним переправилась к своим, от греха. Нашито, хуторные, супротив хутора лежат, обороняются. Надысь, когда ты ишо лежала без памяти, пошла я на заре к Дону, зачерпнула воды и слышу — из-за Дона Аникушка шумит: «Здорово, бабушка! Поклон от старика!»

— А Гриша где? — осторожно спросила Наталья.

— Он ими всеми командует издаля, — простодушно отвечала Ильинична.

— Откуда ж он командует?

— Должно, из Вешек. Больше неоткуда.

Наталья надолго умолкла. Ильинична глянула в ее сторону, испуганно спросила:

— Да ты чего это? Чего кричишь-то?

Не отвечая, Наталья прижимала к лицу грязную завеску, тихо всхлипывала.

— Не кричи, Натальюшка. Слезой, тут не поможешь. Бог даст, живых-здоровых увидим. Ты сама-то берегись, зря не выходи на баз, а то увидют эти анчихристы, воззрятся…

В кухне стало темнее. Снаружи окно заслонила чья-то фигура. Ильинична повернулась к окну и ахнула:

— Они! Красные! Натальюшка! Скорей ложись на кровать, прикинься, будто ты хворая… Как бы греха… Вот дерюжкой укройся!

Только что Наталья, дрожа от страха, упала на кровать, как звякнула щеколда, и в стряпку, пригибаясь, вошел высокий красноармеец. Детишки вцепились в подол побелевшей Ильиничны. А та как стояла возле печи, так и присела на лавку, опрокинув корчажку с топленым молоком.

Красноармеец быстро оглядел кухню, громко сказал:

— Не пугайтесь. Не съем. Здравствуйте!

Наталья, притворно стоная, с головой укрылась дерюгой, а Мишатка исподлобья всмотрелся в гостя и обрадованно доложил:

— Бабуня! Вот этот самый и зарезал нашего кочета! Помнишь?

Красноармеец снял защитного цвета фуражку, поцокал языком, улыбнулся.

— Узнал, шельмец! И охота тебе про этого петуха вспоминать? Однако, хозяюшка, вот какое дело: не можешь ли ты выпечь нам хлеба? Мука у нас есть.

— Можно… Что ж… Испеку… — торопливо заговорила Ильинична, не глядя на гостя, стирая с лавки пролитое молоко.

А красноармеец присел около двери, вытащил кисет из кармана и, сворачивая папироску, затеял разговор:

— К ночи выпечешь?

— Можно и к ночи, ежели вам спешно.

— На войне, бабушка, завсегда спешно. А за петушка вы не обижайтесь.

— Да мы ничего! — испугалась Ильинична. — Это дите глупое… Вспомнит же, что не надо!

— Однако скупой ты, паренек… — добродушно улыбался словоохотливый гость, обращаясь к Мишатке. — Ну, чего ты таким волчонком смотришь? Подойди сюда, потолкуем всласть про твоего петуха.

— Подойди, болезный! — шепотом просила Ильинична, толкая коленом внука.

Но тот оторвался от бабушкиного подола и норовил уже выскользнуть из кухни, боком-боком пробираясь к дверям. Длинной рукой красноармеец притянул его к себе, спросил:

— Сердишься, что ли?

— Нет, — шепотком отозвался Мишатка.

— Ну вот и хорошо. Не в петухе счастье. Отец-то твой где? За Доном?

— За Доном.

— Воюет, значит, с нами?

Подкупленный ласковым обращением, Мишатка охотно сообщил:

— Он всеми казаками командует!

— Ох, врешь, малый!

— Спроси вот хучь у бабки.

А бабка только руками всплеснула и застонала, окончательно сокрушенная разговорчивостью внука.

— Командует всеми? — переспросил озадаченный красноармеец.

— А может, и не всеми… — уже неуверенно отвечал Мишатка, сбитый с толку отчаянными взглядами бабки.

Красноармеец помолчал немного, потом, искоса поглядывая на Наталью, спросил:

— Молодайка болеет, что ли?

— Тиф у нее, — неохотно ответила Ильинична.

Двое красноармейцев внесли в кухню мешок с мукой, поставили его около порога.

— Затопляй, хозяйка, печь! — сказал один из них. — К вечеру придем за хлебами. Да смотри, чтобы припек был настоящий, а то худо тебе буде!!

— Как умею, так и испеку, — ответила Ильинична, донельзя обрадованная тем, что вновь пришедшие помешали продолжению опасного разговора, и Мишатка выбежал из кухни.

Один спросил, кивком головы указывая на Наталью:

— Тифозная?

— Да.

Красноармейцы поговорили о чем-то вполголоса, покинули кухню. Не успел последний из них свернуть за угол — из-за Дона защелкали винтовочные выстрелы.

Красноармейцы, согнувшись, подбежали к полуразваленной каменной огороже, залегли за ней и, дружно клацая затворами, стали отстреливаться.

Испуганная Ильинична бросилась во двор искать Мишатку. Из-за огорожи ее окликнули:

— Эй, бабка! Иди в дом! Убьют!

— Парнишка наш на базу! Мишенька! Родименький! — со слезами в голосе звала старуха.

Она выбежала на середину двора, и тотчас же выстрелы из-за Дона прекратились. Очевидно, находившиеся на той стороне казаки увидели ее. Как только она схватила на руки прибежавшего Мишатку и ушла с ним в кухню, стрельба возобновилась и продолжалась до тех пор, пока красноармейцы не покинули мелеховский двор.

Ильинична, шепотом переговариваясь с Натальей, поставила тесто, но выпечь хлеб ей так и не пришлось.

К полудню находившиеся в хуторе красноармейцы пулеметных застав вдруг спешно покинули дворы, по ярам двинулись на гору, таща за собою пулеметы.

Рота, занимавшая окопы на горе, построилась, быстрым маршем пошла к Гетманскому шляху.

Великая тишина как-то сразу распростерлась надо всем Обдоньем. Умолкли орудия и пулеметы. По дорогам, по затравевшим летникам, от хуторов к Гетманскому шляху нескончаемо потянулись обозы, батареи; колоннами пошла пехота и конница.

Ильинична, смотревшая из окна, как по меловым мысам карабкаются на гору отставшие красноармейцы, вытерла о завеску руки, с чувством перекрестилась:

— Привел-то господь, Натальюшка! Уходют красные!

— Ох, маманя, это они из хутора на гору в окопы идут, а к вечеру вернутся.

— А чего же они бегом поспешают? Пихнули их наши! Отступают проклятые! Бегут анчихристы!.. — ликовала Ильинична, а сама снова взялась вымешивать тесто.

Наталья вышла из сенцев, стала у порога и, приложив ладонь к глазам, долго глядела на залитую солнечным светом меловую гору, на выгоревшие бурые отроги.

Из-за горы в предгрозовом величавом безмолвии вставали вершины белых клубящихся

туч. Жарко калило землю полуденное солнце. На выгоне свистели суслики, и тихий грустноватый их посвист странно сочетался с жизнерадостным пением жаворонков. Так мила сердцу Натальи была установившаяся после орудийного гула тишина, что она, не шевелясь, с жадностью вслушивалась и в бесхитростные песни жаворонков, и в скрип колодезного журавля, и в шелест напитанного полынной горечью ветра.

Он был горек и духовит, этот крылатый, степной, восточный ветер. Он дышал жаром раскаленного чернозема, пьянящими запахами всех полегших под солнцем трав, но уже чувствовалось приближение дождя: тянуло пресной влагой от Дона, почти касаясь земли раздвоенными остриями крыльев, чертили воздух ласточки, и далеко-далеко в синем поднебесье парил, уходя от подступавшей грозы, степной подорлик.

Наталья прошлась по двору. За каменной огорожей на помятой траве лежали золотистые груды винтовочных гильз. Стекла и выбеленные стены дома зияли пулевыми пробоинами. Одна из уцелевших кур, завидев Наталью, с криком взлетела на крышу амбара.

Ласковая тишина недолго стояла над хутором. Подул ветер, захлопали в покинутых домах распахнутые ставни и двери. Снежно-белая градовая туча властно заслонила солнце и поплыла на запад.

Наталья, придерживая растрепанные ветром волосы, подошла к летней кухне, оттуда снова поглядела на гору. На горизонте — окутанные сиреневой дымкой пыли — на рысях шли двуколки, скакали одиночные всадники. «Значит, верно: уходят!» — облегченно решила Наталья.

Не успела она войти в сенцы, как где-то далеко за горою раскатисто и глухо загремели орудийные выстрелы и, точно перекликаясь с ними, поплыл над Доном радостный колокольный трезвон двух вешенских церквей.

На той стороне Дона из леса густо высыпали казаки. Они тащили волоком и несли на руках баркасы к Дону, спускали их на воду. Гребцы, стоя на кормах, проворно орудовали веслами. Десятка три лодок наперегонки спешили к хутору.

— Натальюшка! Родимая моя! Наши едут!.. — плача навзрыд, причитала выскочившая из кухни Ильинична.

Наталья схватила на руки Мишатку, высоко подняла его. Глаза ее горячечно блестели, а голос прерывался, когда она, задыхаясь, говорила:

— Гляди, родненький, гляди, у тебя глазки вострые… Может, и твой отец с казаками… Не угадаешь? Это не он едет на передней лодке? Ох, да не туда ты глядишь!..

На пристани встретили одного исхудавшего Пантелея Прокофьевича. Старик прежде всего справился, целы ли быки, имущество, хлеб, всплакнул, обнимая внучат. А когда, спеша и прихрамывая, вошел на родное подворье — побледнел, упал на колени, широко перекрестился и, поклонившись на восток, долго не поднимал от горячей выжженной земли свою седую голову.

V

Под командованием генерала Секретева трехтысячная конная группа Донской армии при шести конных орудиях и восемнадцати вьючных пулеметах 10 июня сокрушительным ударом прорвала фронт вблизи станицы Усть-Белокалитвенской, двинулась вдоль линии железной дороги по направлению к станице Казанской.

Ранним утром третьего дня офицерский разъезд 9-го Донского полка наткнулся около Дона на повстанческий полевой караул. Казаки, завидя конный отряд, бросились в яры, но

командовавший разъездом казачий есаул по одежде узнал повстанцев, помахал нацепленным на шашку носовым платком и зычно крикнул:

— Свои!.. Не бегай, станичники!..

Разъезд без опаски подскакал к отножине яра. Начальник повстанческого караула — старый седой вахмистр, на ходу застегивая захлюстанную по росе шинель, вышел вперед. Восемь офицеров спешились, и есаул, подойдя к вахмистру, снял защитную фуражку с ярко белевшей на околыше офицерской кокардой, улыбаясь, сказал:

— Ну, здравствуйте, станичники! Что ж, по старому казачьему обычаю — поцелуемся.

Крест-накрест поцеловал вахмистра, вытер платком губы и усы и, чувствуя на себе выжидающие взоры своих спутников, с многозначительной усмешкой, с расстановкой спросил:

— Ну как, опомнились? Свои-то оказались лучше большевиков?

— Так точно, ваше благородие! Покрыли грех… Три месяца сражались, не чаяли дождаться вас!

— Хорошо, что хоть поздно, да взялись за ум. Дело прошлое, а кто старое вспомянет — тому глаз вон. Какой станицы?

— Казанской, ваше благородие!

— Ваша часть за Доном?

— Так точно!

— Красные куда направились от Дона?

— Вверх по Дону, должно — на Донецкую слободку.

— Конница ваша еще не переправлялась?

— Никак нет.

— Почему?

— Не могу знать, ваше благородие. Нас первых направили на эту сторону.

— Артиллерия была у них тут?

— Две батареи были.

— Когда они снялись?

— Вчера на ночь.

— Преследовать надо было! Эх вы, раззявы! — укоризненно проговорил есаул и, подойдя к коню, достал из полевой сумки блокнот и карту.

Вахмистр стоял навытяжку, руки по швам. В двух шагах позади него толпились казаки, со смешанным чувством радости и неосознанного беспокойства рассматривая офицеров, седла, породистых, но истощенных переходом лошадей.

Офицеры, одетые в аккуратно пригнанные английские френчи с погонами и в широкие бриджи, разминали ноги, похаживали возле лошадей, искоса посматривали на казаков. Уже ни на одном из них не было, как осенью 1918 года, самодельных погонов, нарисованных чернильным карандашом. Обувь, седла, патронные сумки, бинокли, притороченные к седлам карабины — все новое и не русского происхождения. Лишь самый пожилой по виду офицер был в черкеске тонкого синего сукна, в кубанке золотистого бухарского каракуля и в горских, без каблуков, сапогах. Он первый, мягко ступая, приблизился к казакам, достал из планшетки нарядную пачку папирос с портретом бельгийского короля Альберта, предложил:

— Курите, братцы!

Казаки жадно потянулись к папиросам. Подошли и остальные офицеры.

— Ну, как жилось под большевиками? — спросил большеголовый и широкоплечий хорунжий.

— Не дюже сладко… — сдержанно отвечал одетый в старый зипун казак, жадно

затягиваясь папироской, глаз не сводя с высоких зашнурованных по колено гетр, туго обтягивавших толстые икры хорунжего.

На ногах казака еле держались стоптанные рваные чирики. Белые, многократно штопанные шерстяные чулки, с заправленными в них шароварами, были изорваны; потому-то казак и не сводил очарованного взгляда с английских ботинок, прельщавших его толщиною неизносных подошв, ярко блестевшими медными пистонами. Он не утерпел и простодушно выразил свое восхищение:

— А и хороша же у вас обувка!

Но хорунжий не был склонен к мирному разговору. С ехидством и вызовом он сказал:

— Захотелось вам заграничную экипировку променять на московские лапти, так теперь нечего на чужое завидовать!

— Промашка вышла. Обвиноватились… — смущенно отвечал казак, оглядываясь на своих, ища поддержки.

Хорунжий продолжал издевательски отчитывать:

— Ум у вас оказался бычиный. Бык, он ведь всегда так: сначала шагнет, а потом стоит думает. Промашка вышла! А осенью, когда фронт открыли, о чем думали! Комиссарами хотели быть! Эх вы, защитники отечества!..

Молоденький сотник тихо шепнул на ухо расходившемуся хорунжему: «Оставь, будет тебе!» И тот затоптал папироску, сплюнул, развалисто пошел к лошадям. Есаул передал ему записку, что-то сказал вполголоса.

С неожиданной легкостью тяжеловатый хорунжий вскочил на коня, круто повернул его и поскакал на запад.

Казаки смущенно молчали. Подошедший есаул, играя низкими нотами звучного баритона, весело спросил:

— Сколько верст отсюдова до хутора Варваринского?

— Тридцать пять, — в несколько голосов ответили казаки.

— Хорошо. Так вот что, станичники, ступайте и передайте вашим начальникам, чтобы конные части, не медля ни минуты, переправлялись на эту сторону. С вами отправится до переправы наш офицер, он поведет конницу. А пехота походным порядком пусть движется в Казанскую. Понятно? Ну, как говорится, налево кругом и с богом шагом арш!

Казаки толпою пошли под гору. Саженей сто шагали и молчали, как по сговору, а потом невзрачный казачишка в зипуне, тот самый, которого отходил ретивый хорунжий, покачал головой и горестно вздохнул:

— Вот и соединились, братушки…

Другой с живостью добавил:

— А хрен редьки не слаже! — и смачно выругался.

VI

Тотчас же, как только в Вешенской стало известно о спешном отступлении красных частей, Григорий Мелехов с двумя конными полками вплавь переправился через Дон, выслал сильные разъезды и двинулся на юг.

За обдонским бугром шел бой. Глухо, как под землей, громыхали сливавшиеся раскаты орудийных выстрелов.

— Снарядов-то кадеты, видать, не жалеют! Беглым огнем содют! — восхищенно сказал один из командиров, подъезжая к Григорию.

Григорий промолчал. Он ехал впереди колонны, внимательно осматриваясь по сторонам. От Дона до хутора Базковского на протяжении трех верст стояли тысячи оставленных повстанцами бричек и арб. Всюду по лесу лежало разбросанное имущество: разбитые сундуки, стулья, одежда, упряжь, посуда, швейные машины, мешки с зерном, все, что в великой хозяйской жадности было схвачено и привезено при отступлении к Дону. Местами дорога по колено была усыпана золотистой пшеницей. И тут же валялись раздувшиеся, обезображенные разложением, зловонные трупы быков и лошадей.

— Вот так нахозяевали! — воскликнул потрясенный Григорий и, обнажив голову, стараясь не дышать, осторожно объехал курганчик слежавшегося зерна с распростертым на нем мертвым стариком в казачьей фуражке и окровяненном зипуне.

— Докараулил дедок свое добро! Черти его взмордовали тут оставаться, — с сожалением сказал кто-то из казаков.

— Небось, пашаницу жалко было бросать…

— А ну, трогай рысью! Воняет от него — не дай бог. Эй! Трогай!.. — возмущенно закричали из задних рядов.

И сотня перешла на рысь. Разговоры смолкли. Только цокот множества конских копыт да перезвяк подогнанного казачьего снаряжения согласно зазвучали по лесу.

…Бой шел неподалеку от имения Листницких. По суходолу, в стороне от Ягодного, густо бежали красноармейцы. Над головами их рвалась шрапнель, в спины им били пулеметы, а по бугру, отрезая путь к отступлению, текла лава Калмыцкого полка.

Григорий подошел со своими полками, когда бой уже кончился. Две красноармейские роты, прикрывавшие отход по Вешенскому перевалу разрозненных частей и обозов 14-й дивизии, были разбиты 3-м Калмыцким полком и целиком уничтожены. Еще на бугре Григорий передал командование Ермакову, сказал:

— Управились тут без нас. Иди на соединение, а я на минуту забегу в усадьбу.

— Что за нужда? — удивился Ермаков.

— Ну, как тебе сказать, жил тут в работниках смолоду, вот и потянуло что-то поглядеть на старые места…

Кликнув Прохора, Григорий повернул в сторону Ягодного и, когда отъехал с полверсты, увидел, как над головной сотней взвилось и заполоскалось на ветру белое полотнище, предусмотрительно захваченное кем-то из казаков.

«Будто в плен сдаются!» — с тревогой и неосознанной тоской подумал Григорий, глядя, как медленно, как бы нехотя, спускается колонна в суходол, а навстречу ей прямо по зеленям на рысях идет конная группа секретевцев.

Грустью и запустением пахнуло на Григория, когда через поваленные ворота въехал он на заросший лебедою двор имения. Ягодное стало неузнаваемым. Всюду виднелись страшные следы бесхозяйственности и разрушения. Некогда нарядный дом потускнел и словно стал ниже. Давным-давно не крашенная крыша желтела пятнистой ржавчиной, поломанные водосточные трубы валялись около крыльца, кособоко висели сорванные с петель ставни, в разбитые окна со свистом врывался ветер, и оттуда уже тянуло горьковатым плесневелым душком нежили.

Угол дома с восточной стороны и крыльцо были разрушены снарядом трехдюймовки. В разбитое венецианское окно коридора просунулась верхушка поваленного снарядом клена. Он так и остался лежать, уткнувшись комлем в вывалившуюся из фундамента груду кирпичей. А по завядшим ветвям его уже полз и кучерявился стремительный в росте дикий хмель, прихотливо оплетал уцелевшие стекла окна, тянулся к карнизу.

Время и непогода делали свое дело. Надворные по стройки обветшали и выглядели так,

будто много лет не касались их заботливые человеческие руки. В конюшне вывалилась подмытая вешними дождями каменная стена, крышу каретника раскрыла буря, и на мертвенно белевших стропилах и перерубах лишь кое-где оставались клочья полусгнившей соломы.

На крыльце людской лежали три одичавшие борзые. Завидев людей, они вскочили и, глухо рыча, скрылись в сенцах. Григорий подъехал к распахнутому окну флигеля; перегнувшись с седла, громко спросил:

— Есть кто живой?

Во флигеле долго стояла тишина, а потом надтреснутый женский голос ответил:

— Погодите, ради Христа! Сейчас выйду.

Постаревшая Лукерья, шаркая босыми ногами, вышла на крыльцо; щурясь от солнца, долго всматривалась в Григория.

— Не угадаешь, тетка Лукерья? — спешиваясь спросил Григорий.

И только тогда что-то дрогнуло в рябом лице Лукерьи, и тупое безразличие сменилось сильным волнением. Она заплакала и долго не могла проронить ни одного слова.

Григорий привязал коня, терпеливо выжидал.

— Натерпелась я страсти. Не дай и не приведи… — начала причитать Лукерья, вытирая щеки грязной холстинной завеской. — Думала, опять они приехали… Ох, Гришенька, что тут было… И не расскажешь!.. Одна ить я осталась…

— А дед Сашка где же? Отступил с панами?

— Кабы отступил, может, и живой бы был…

— Неужели помер?

— Убили его… Третьи сутки лежит на погребу… зарыть бы надо, а я сама расхворалась… Насилу встала… Да и боюсь до смерти идтить туда к нему, к мертвому…

— За что же? — не поднимая глаз от земли, глухо спросил Григорий.

— За кобылу порешили… Наши-то паны отступили поспешно. Один капитал взяли, а имущество почти все на меня оставили. — Лукерья перешла на шепот: — Все до нитки соблюла! Зарытое и до се лежит. А из лошадей только трех орловских жеребцов взяли, остальных оставили на деда Сашку. Как началась восстания, брали их и казаки и красные. Вороного жеребца Вихоря, — может, помнишь? — взяли на провесне красные. Насилу заседлали. Он ить под седлом сроду не ходил. Только не пришлось им на нем поездить, поликовать. Заезжали через неделю каргиновские казаки, рассказывали. Сошлись они на бугре с красными, зачали палить один в одного. У казаков какая-то немудрячая кобыленка и заржала в тот час. Ништо ж не притянул Вихорь красного к казакам? Кинулся со всех ног к кобыле, и не мог его удержать энтот-то ездок, какой на нем сидел. Видит он, что не совладает с жеребцом, захотел на всем скаку ссигнуть с него. Сигнуть-то сигнул, а ногу из стремени не вытянул. Вихорь его и примчал прямо к казакам в руки.

— Ловко! — воскликнул восхищенный Прохор.

— Теперь на этом жеребце каргиновский подфорунжий ездит, — размеренно повествовала Лукерья. — Сулил, как только пан вернется — сейчас же Вихоря на конюшню представить. И так вот всех позабрали лошадок, и осталась одна рысачка Стрелка, что от Примера и Суженой. Была она жеребая, через это ее никто и не трогал. Опорожнилась она недавно, и дед Сашка так уж этого жеребеночка жалел, так жалел, — и рассказать нельзя! На руках носил и из рожка подпаивал молоком и каким-то травяным настоем, чтобы на ногах крепче был. Вот и случилась беда… Третьего дня прискакали трое перед вечером. Дед в саду траву косил. Они шумят ему: «Иди сюда, такой-сякой!» Он косу бросил, подошел, поздоровался, а они и не глядят, молоко пьют и спрашивают у него: «Лошади есть?» Он и

говорит: «Одна есть, но она по вашему военному делу негожая: кобыла, к тому же подсосан с жеребенком». Самый лютый из них как зашумит: «Это не твоего ума дело! Веди кобылу, старый черт! У моей лошади спина побитая, и должон я ее сменить!» Ему бы покориться и не стоять за эту кобылу, ну, а он, сам знаешь, характерный старичок был… Пану и тому, бывало, не смолчит. Помнишь, небось?

— Что же он, так и не дал? — вмешался в рассказ Прохор.

— Ну как же тут не дашь? Он только и сказал им: «До вас, мол, сколько ни прибегало конных, всех лошадей забрали, а к этой жалость имели, а вы что ж…» Тут они и поднялись: «А, шумят, панский холуй, ты пану ее берегешь?» Ну и потянули его… Один вывел кобылу, начал седлать, а жеребенок к ней под сиську лезет. Дед просить начал: «Смилуйтесь, не берите! Жеребеночка куда ж девать?» — «А вот куда!» — говорит другой да с тем отогнал его от матки, снял с плеча ружье и вдарил в него. Я так и залилась слезьми… Подбегла, прошу их, деда хватаю, хочу увесть от греха, а он как глянул на жеребеночка — бороденка на нем затряслась, побелел весь, как стена, и говорит: «Ежели так, то стреляй и меня, сучий сын!» Кинулся к ним, вцепился, седлать не дает. Ну, они осерчали и порешили его вгорячах. От ума я отошла, как они в него стрельнули… Теперь и ума не приложу, как с ним быть. Домовину бы надо ему сделать, да разве это бабьего ума дело?

— Дай две лопаты и рядно, — попросил Григорий.

— Думаешь похоронять его? — спросил Прохор.

— Да.

— И охота тебе утруждаться, Григорий Пантелеевич! Давай я зараз смотаюсь за казаками. Они и гроб сделают и могилку ему выроют подходящую…

Прохору, как видно, не хотелось возиться с похоронами какого-то старика, но Григорий решительно отклонил его предложение.

— Сами и могилу выроем и похороним. Старик этот хороший был человек. Ступай в сад, возле пруда подождешь, а я пойду гляну на покойника.

Под тем же старым разлапистым тополем, возле одетого ряской пруда, где некогда схоронил дед Сашка дочушку Григория и Аксиньи, нашел и он себе последний приют. Положили его сухонькое тело, завернутое в чистый, пахнущий хмелинами дежник, засыпали землей. Рядом с крохотным могильным холмиком вырос еще один, аккуратно притоптанный сапогами, празднично сияющий свежим и влажным суглинком.

Удрученный воспоминаниями, Григорий прилег на траву неподалеку от этого маленького дорогого сердцу кладбища и долго глядел на величаво распростертое над ним голубое небо. Где-то там, в вышних беспредельных просторах, гуляли ветры, плыли осиянные солнцем холодные облака, а на земле, только что принявшей веселого лошадника и пьяницу деда Сашку, все так же яростно кипела жизнь: в степи, зеленым разливом подступившей к самому саду, в зарослях дикой конопли возле прясел старого гумна неумолчно звучала гремучая дробь перепелиного боя, свистели суслики, жужжали шмели, шелестела обласканная ветром трава, пели в струистом мареве жаворонки, и, утверждая в природе человеческое величие, где-то далеко-далеко по суходолу настойчиво, злобно и глухо стучал пулемет.

VII

Генерала Секретева, приехавшего в Вешенскую со штабными офицерами и сотней казаков личного конвоя, встречали хлебом-солью, колокольным звоном. В обеих церквах весь

день трезвонили, как на пасху. По улицам разъезжали на поджарых, истощенных переходом дончаках низовские казаки. На плечах у них вызывающе синели погоны. На площади около купеческого дома, где отвели квартиру генералу Секретеву, толпились ординарцы. Луща семечки, они заговаривали с проходившими мимо принаряженными станичными девками.

В полдень к генеральской квартире трое конных калмыков пригнали человек пятнадцать пленных красноармейцев. Позади шла пароконная подвода, заваленная духовыми инструментами. Красноармейцы были одеты необычно: в серые суконные брюки и такие же куртки с красным кантом на обшлагах рукавов. Пожилой калмык подъехал к ординарцам, праздно стоявшим у ворот, спешился, сунул в карман глиняную трубочку.

— Наши красных трубачей пригнала. Понимаешь?

— Чего ж тут понимать-то? — лениво отозвался толстомордый ординарец, сплевывая подсолнечную лузгу на запыленные сапоги калмыка.

— Чего ничего — прими пленных. Наел жирный морда, болтай зря чего!

— Но-но! Ты у меня поговоришь, курюк бараний, — обиделся ординарец. Но доложить о пленных пошел.

Из ворот вышел дебелый есаул в коричневом, туго затянутом в талии бешмете. Раскорячив толстые ноги, картинно подбоченясь, оглядел столпившихся красноармейцев, пробасил:

— Комиссаров музыкой ус-слаж-дали, рвань тамбовская! Откуда серые мундиры? С немцев поснимали, что ли?

— Никак нет, — часто мигая, ответил стоявший впереди всех красноармеец. И скороговоркой пояснил: — Еще при Керенском нашей музыкантской команде пошили эту форму, перед июньским наступлением… Так вот и носим с той поры…

— Поносишь у меня! Поносишь! Вы у меня поносите! — Есаул сдвинул на затылок низко срезанную кубанку, обнажив на бритой голове малиновый незарубцевавшийся шрам, и круто повернулся на высоких стоптанных каблуках лицом к калмыку: — Чего ты их гнал, некрещеная харя? За каким чертом? Не мог по дороге на распыл пустить?

Калмык весь как-то незаметно подобрался, ловко сдвинул кривые ноги и, не отнимая руки от козырька защитной фуражки, ответил:

— Командир сотни приказала гони сюда надо.

— «Гони сюда надо»! — передразнил франтовый есаул, презрительно скривив тонкие губы, и, грузно ступая отечными ногами, подрагивая толстым задом, обошел красноармейцев: долго и внимательно, как барышник — лошадей, осматривал их.

Ординарцы потихоньку посмеивались. Лица конвойных калмыков хранили всегдашнюю бесстрастность.

— Открыть ворота! Загнать их во двор! — приказал есаул.

Красноармейцы и подвода с беспорядочно наваленными инструментами остановились у крыльца.

— Кто капельмейстер? — закуривая, спросил есаул.

— Нет его, — ответили сразу несколько голосов.

— Где же он? Сбежал?

— Нет, убит.

— Туда и дорога. Обойдетесь и без него. А ну, разобрать инструменты!

Красноармейцы подошли к подводе. Смешиваясь с назойливым перезвоном колоколов, во дворе робко и нестройно зазвучали медные голоса труб.

— Приготовиться! Давайте «Боже, царя храни».

Музыканты молча переглянулись. Никто не начинал. С минуту длилось тягостное

молчание, а потом один из них, босой, но в аккуратно закрученных обмотках, глядя в землю, сказал:

— Из нас никто не знает старого гимна…

— Никто? Интересно… Эй, там! Полувзвод ординарцев с винтовками!

Есаул отбивал носком сапога неслышный такт. В коридоре, гремя карабинами, строились ординарцы. За палисадником в густо разросшихся акациях чирикали воробьи. Во дворе жарко пахло раскаленными железными крышами сараев и людским едким потом. Есаул отошел с солнцепека в тень, и тогда босой музыкант с тоской глянул на товарищей, негромко сказал:

— Ваше высокоблагородие! У нас все тут — молодые музыканты. Старое не приходилось играть… Революционные марши все больше играли… Ваше высокоблагородие!

Есаул рассеянно вертел кончик своего наборного ремешка, молчал.

Ординарцы выстроились возле крыльца, ждали приказания. Расталкивая красноармейцев, из задних рядов поспешно выступил пожилой с бельмом на глазу музыкант; покашливая, спросил:

— Разрешите? Я могу исполнить. — И, не дожидаясь согласия, приложил к дрожащим губам накаленный солнцем фагот.

Гнусавые тоскующие звуки, одиноко взметнувшиеся над просторным купеческим двором, заставили есаула гневно поморщиться. Махнув рукой, он крикнул:

— Перестать! Как нищего за … тянешь! Разве это музыка?

В окнах показались улыбающиеся лица штабных офицеров и адъютантов.

— Вы им похоронный марш закажите! — юношеским тенорком крикнул до половины свесившийся из окна молоденький сотник.

Надсадный звон колоколов на минуту смолк, и есаул, шевеля бровями, вкрадчиво спросил:

— «Интернационал», надеюсь, исполняете? Давайте-ка! Да не бойтесь! Давайте, раз приказываю.

И в наступившей тишине, в полуденном зное, словно зовя на бой, вдруг согласно и величаво загремели трубные негодующие звуки «Интернационала».

Есаул стоял, как бык перед препятствием, наклонив голову, расставив ноги. Стоял и слушал. Мускулистая шея его и синеватые белки прищуренных глаз наливались кровью.

— От-ста-вить!.. — не выдержав, яростно заорал он.

Оркестр разом умолк, лишь валторна запоздала, и надолго повис в раскаленном воздухе ее страстный незаконченный призыв.

Музыканты облизывали пересохшие губы, вытирали их рукавами, грязными ладонями. Лица их были усталы и равнодушны. Только у одного предательская слеза сбежала по запыленной щеке, оставив влажный след…

Тем временем генерал Секретев отобедал у родных своего сослуживца еще по русско-японской войне и, поддерживаемый пьяным адъютантом, вышел на площадь. Жара и самогон одурманили его. На углу против кирпичного здания гимназии ослабевший генерал споткнулся, упал ничком на горячий песок. Растерявшийся адъютант тщетно пытался поднять его. Тогда из толпы, стоявшей неподалеку, поспешили на помощь. Двое престарелых казаков под руки почтительнейше приподняли генерала, которого тут же всенародно стошнило. Но в перерывах между приступами рвоты он еще пытался что-то выкрикивать, воинственно потрясая кулаками. Кое-как уговорили его, повели на квартиру.

Стоявшие поодаль казаки провожали его долгими взглядами, вполголоса переговаривались:

— Эк его, болезного, развезло-то! Не в аккурате держит себя, даром, что генерал.

— Самогонка-то на чины-ордена не глядит.

— Хлебать бы надо не всю, какую становили…

— Эк, сваток, не всякий вытерпит! Иной в пьяном виде сразу наберется и зарекается сроду не пить… Да ить оно как говорится: зарекалась свинья чегой-то есть, бежит, а их два лежит…

— То-то и оно! Шумни ребятишкам, чтобы отошли. Идут рядом, вылупились на него, враженяты, как скажи, сроду они пьяных не видали.

…Трезвонили и самогон пили по станице до самых сумерек. А вечером в доме, предоставленном под офицерское собрание, повстанческое командование устроило для прибывших банкет.

Высокий статный Секретев — исконный казак, уроженец одного из хуторов Краснокутской станицы — был страстным любителем верховых лошадей, превосходным наездником, лихим кавалерийским генералом. Но он не был оратором. Речь, произнесенная им на банкете, была исполнена пьяного бахвальства и в конце содержала недвусмысленные упреки и угрозы по адресу верхнедонцев.

Присутствовавший на банкете Григорий с напряженным и злобным вниманием вслушивался в слова Секретева. Не успевший протрезвиться генерал стоял, опираясь пальцами о стол, расплескивая из стакана пахучий самогон; говорил, с излишней твердостью произнося каждую фразу:

— …Нет, не мы вас должны благодарить за помощь, а вы нас! Именно вы, это надо твердо сказать. Без нас красные вас уничтожили бы. Вы это сами прекрасно знаете. А мы и без вас раздавили бы эту сволочь. И давим ее и будем давить, имейте в виду, до тех пор, пока не очистим наголо всю Россию. Вы бросили осенью фронт, пустили на казачью землю большевиков… Вы хотели жить с ними в мире, но не пришлось! И тогда вы восстали, спасая свое имущество, свою жизнь. Попросту — спасая свои и бычиные шкуры. Я вспоминаю о прошлом не для того, чтобы попрекнуть вас вашими грехами… Это не в обиду вам говорится. Но истину установить никогда не вредно. Ваша измена была нами прощена. Как братья, мы пошли к вам в наиболее трудную для вас минуту, пошли на помощь. Но ваше позорное прошлое должно быть искуплено в будущем. Понятно, господа офицеры? Вы должны искупить его своими подвигами и безупречным служением тихому Дону, понятно?

— Ну, за искупление! — ни к кому не обращаясь в отдельности, чуть приметно улыбаясь, сказал сидевший против Григория пожилой войсковой старшина и, не дожидаясь остальных, выпил первый.

У него — мужественное, слегка тронутое оспой лицо и насмешливые карие глаза. Во время речи Секретева губы его не раз складывались в неопределенную блуждающую усмешку, и тогда глаза темнели и казались совсем черными. Наблюдая за войсковым старшиной, Григорий обратил внимание на то, что тот был на «ты» с Секретевым и держался по отношению к нему крайне независимо, а с остальными офицерами был подчеркнуто сдержан и холоден. Он один из присутствовавших на банкете носил вшитые погоны цвета хаки на таком же кителе и нарукавный корниловский шеврон. «Какой-то идейный. Должно, из добровольцев», — подумал Григорий. Пил войсковой старшина, как лошадь. Не закусывал и не пьянел, лишь время от времени отпускал широкий английский ремень.

— Кто это, насупротив меня, рябоватый такой? — шепотом спросил Григорий у сидевшего рядом Богатырева.

— А черт его знает, — отмахнулся подвыпивший Богатырев.

Кудинов не жалел для гостей самогона. Откуда-то появился на столе спирт, и Секретев, с трудом окончив речь, распахнул защитный сюртук, тяжело опустился на стул. К нему

наклонился молодой сотник с ярко выраженным монгольским типом лица, что-то шепнул.

— К черту! — побагровев, ответил Секретев и залпом выпил рюмку спирта, услужливо налитую Кудиновым.

— А это кто с косыми глазами? Адъютант? — спросил Григорий у Богатырева.

Прикрывая ладонью рот, тот ответил:

— Нет, это его вскормленник. Он его в японскую войну привез из Маньчжурии мальчишкой. Воспитал и отдал в юнкерское. Получился из китайчонка толк. Лихой черт! Вчера отбил под Макеевкой денежный ящик у красных. Два миллиона денег хапнул. Глянь-ка, они у него изо всех карманов пачками торчат! Повезло же проклятому! Чистый клад! Да пей ты, чего ты их разглядываешь?

Ответную речь держал Кудинов, но его почти никто уже не слушал. Попойка принимала все более широкий размах. Секретев, сбросив сюртук, сидел в одной нижней рубашке. Голо выбритая голова его лоснилась от пота, и безупречно чистая полотняная рубашка еще резче оттеняла багровое лицо и оливковую от загара шею. Кудинов что-то говорил ему вполголоса, но Секретев, не глядя на него, настойчиво повторял:

— Не-е-ет, извини! Уж это ты извини! Мы вам доверяем, но постольку поскольку… Ваше предательство не скоро забудется. Пусть это зарубят себе на носу все, кто переметнулся осенью к красным…

«Ну и мы вам послужим постольку поскольку!» — с холодным бешенством подумал опьяневший Григорий и встал.

Не надевая фуражки, вышел на крыльцо, с облегчением, всей грудью, вдохнул свежий ночной воздух.

У Дона, как перед дождем, гомонили лягушки, угрюмовато гудели водяные жуки. На песчаной косе тоскливо перекликались кулики. Где-то далеко в займище заливисто и тонко ржал потерявший матку жеребенок. «Сосватала нас с вами горькая нужда, а то и на понюх вы бы нам были не нужны. Сволочь проклятая! Ломается, как копеечный пряник, попрекает, а через неделю прямо начнет на глотку наступать… Вот подошло, так подошло! Куда ни кинь — везде клин. А ить я так и думал… Так оно и должно было получиться. То-то казаки теперь носами закрутят! Отвыкли козырять да тянуться перед их благородиями», — думал Григорий, сходя с крыльца и ощупью пробираясь к калитке.

Спирт подействовал и на него: кружилась голова, движения обретали неуверенную тяжеловесность. Выходя из калитки, он качнулся, нахлобучил фуражку, — волоча ноги, пошел по улице.

Около домика Аксиньиной тетки на минуту остановился в раздумье, а потом решительно шагнул к крыльцу. Дверь в сени была не заперта. Григорий без стука вошел в горницу и прямо перед собой увидел сидевшего за столом Степана Астахова. Около печи суетилась Аксиньина тетка. На столе, покрытом чистой скатертью, стояла недопитая бутылка самогона, в тарелке розовела» порезанная на куски вяленая рыба.

Степан только что опорожнил стакан и, как видно, хотел закусить, но, увидев Григория, отодвинул тарелку, прислонился спиной к стене.

Как ни был пьян Григорий, он все же заметил и мертвенно побледневшее лицо Степана, и его по-волчьи вспыхнувшие глаза. Ошеломленный встречей, Григорий нашел в себе силы хрипловато проговорить:

— Здорово дневали!

— Слава богу, — испуганно ответила ему хозяйка, безусловно осведомленная об отношениях Григория с ее племянницей и не ожидавшая от этой нечаянной встречи мужа и любовника ничего доброго.

Степан молча гладил левой рукою усы, загоревшихся глаз не сводил с Григория.

А тот, широко расставив ноги, стоял у порога, криво улыбался, говорил:

— Вот, зашел проведать… Извиняйте.

Степан молчал. Неловкая тишина длилась до тех пор, пока хозяйка не осмелилась пригласить Григория:

— Проходите, садитесь.

Теперь Григорию уж нечего было скрывать. Его появление на квартире у Аксиньи объяснило Степану все. И Григорий пошел напролом:

— А где же жена?

— А ты… ее пришел проведать? — тихо, но внятно спросил Степан и прикрыл глаза затрепетавшими ресницами.

— Ее, — со вздохом признался Григорий.

Он ждал в этот миг от Степана всего и, трезвея, готовился к защите. Но тот приоткрыл глаза (в них уже погас недавний огонь), сказал:

— Я послал ее за водкой, она зараз прийдет. Садись, подожди.

Он даже встал — высокий и ладный — и подвинул Григорию стул, не глядя на хозяйку, попросил:

— Тетка, дайте чистый стакан. — И — Григорию: — Выпьешь?

— Немножко можно.

— Ну, садись.

Григорий присел к столу… Оставшееся в бутылке Степан разлил поровну в стаканы, поднял на Григория задернутые какой-то дымкой глаза.

— За все хорошее!

— Будем здоровы!

Чокнулись. Выпили. Помолчали. Хозяйка, проворная, как мышь, подала гостю тарелку и вилку с выщербленным черенком.

— Кушайте рыбку! Это малосольная.

— Благодарствую.

— А вы кладите на тарелку, угощайтесь! — потчевала повеселевшая хозяйка.

Она была донельзя довольна тем, что все обошлось так по-хорошему, без драки, без битья посуды, без огласки. Суливший недоброе разговор окончился. Муж мирно сидел за общим столом с дружком жены. Теперь они молча ели и не смотрели друг на друга. Предупредительная хозяйка достала из сундука чистый рушник и как бы соединила Григория со Степаном, положив концы его обоим на колени.

— Ты почему не в сотне? — обгладывая подлещика, спросил Григорий.

— Тоже проведать пришел, — помолчав, ответил Степан, и по тону его никак нельзя было определить, серьезно он говорит или с издевкой.

— Сотня дома небось?

— Все в хуторе гостюют. Что ж, допьем?

— Давай.

— Будем здоровы!

— За все доброе!

В сенцах звякнула щеколда. Окончательно отрезвевший Григорий глянул исподлобья на Степана, заметил, как бледность снова волной омыла его лицо.

Аксинья, закутанная в ковровый платок, не узнавая Григория, подошла к столу, глянула сбоку, и в черных расширившихся глазах ее плеснулся ужас. Задохнувшись, она насилу выговорила:

— Здравствуйте, Григорий Пантелевич!

Лежавшие на столе большие узловатые руки Степана вдруг мелко задрожали, и Григорий, видевший это, молча поклонился Аксинье, не проронив ни слова.

Ставя на стол две бутылки самогона, она снова метнула на Григория взгляд, полный тревоги и скрытой радости, повернулась и ушла в темный угол горницы, села на сундук, трясущимися руками поправила прическу. Преодолев волнение, Степан расстегнул воротник душившей его рубахи, налил дополна стаканы, повернулся лицом к жене:

— Возьми стакан и садись к столу.

— Я не хочу.

— Садись!

— Я ж не пью ее, Степа!

— Сколько разов говорить? — Голос Степана дрогнул.

— Садись, соседка! — Григорий ободряюще улыбнулся.

Она с мольбой взглянула на него, быстро подошла к шкафчику. С полки упало блюдечко, со звоном разбилось.

— Ах, беда-то какая! — Хозяйка огорченно всплеснула руками.

Аксинья молча собирала осколки.

Степан налил и ей стакан доверху, и снова глаза его вспыхнули тоской и ненавистью.

— Ну, выпьем… — начал он и умолк.

В тишине было отчетливо слышно, как бурно и прерывисто дышит присевшая к столу Аксинья.

— …Выпьем, жена, за долгую разлуку. Что же, не хочешь? Не пьешь?

— Ты же знаешь…

— Я зараз все знаю… Ну, не за разлуку! За здоровье дорогого гостя Григория Пантелевича.

— За его здоровье выпью! — звонко сказала Аксинья и выпила стакан залпом.

— Победная твоя головушка! — прошептала хозяйка, выбежав на кухню.

Она забилась в угол, прижала руки к груди, ждала, что вот-вот с грохотом упадет опрокинутый стол, оглушительно грянет выстрел… Но в горнице мертвая стояла тишина. Слышно было только, как жужжат на потолке потревоженные светом мухи да за окном, приветствуя полночь, перекликаются по станице петухи.

VIII

Темны июньские ночи на Дону. На аспидно-черном небе в томительном безмолвии вспыхивают золотые зарницы, падают звезды, отражаясь в текучей быстрине Дона. Со степи сухой и теплый ветер несет к жилью медвяные запахи цветущего чабреца, а в займище пресно пахнет влажной травой, илом, сыростью, неумолчно кричат коростели, и прибрежный лес, как в сказке, весь покрыт серебристой парчою тумана.

Прохор проснулся в полночь. Спросил у хозяина квартиры:

— Наш-то не пришел?

— Нету. Гуляет с генералами.

— То-то там небось водки попьют! — завистливо вздохнул Прохор и, позевывая, стал одеваться.

— Ты куда это?

— Пойду коней напою да зерна засыплю. Говорил Пантелевич, что с рассветом выедем в

Татарский. Переднюем там, а потом свои частя надо догонять.

— До рассвета ишо далеко. Позоревал бы.

Прохор с неудовольствием ответил:

— Сразу по тебе, дед, видать, что нестроевой ты был смолоду! Нам при нашей службе, ежели коней не кормить да не ухаживать за ними, так, может, и живым не быть. На худоконке разве расскачешься? Чем ни добрее под тобою животина, тем скорее от неприятеля ускачешь. Я такой: мне догонять их нету надобностев, а коли туго прийдется, подопрет к кутнице — так я первый махну! Я и так уж какой год лоб под пули подставляю, осточертело! Зажги, дедок, огонь, а то портянки не найду. Вот спасибо! Да-а-а, это наш Григорий Пантелевич кресты да чины схватывал, в пекло лез, а я не такой дурак, мне это без надобностев. Ну, никак, несут его черти, и, небось, пьяный в дымину.

В дверь тихонько постучали.

— Взойдите! — крикнул Прохор.

Вошел незнакомый казак с погонами младшего урядника на защитной гимнастерке и в фуражке с кокардой.

— Я ординарец штаба группы генерала Секретева. Могу я видеть их благородие господина Мелехова? — спросил он, козырнув и вытянувшись у порога.

— Нету его, — ответил пораженный выправкой и обращением вышколенного ординарца Прохор. — Да ты не тянись, я сам смолоду был такой дурак, как ты. Я его вестовой. А по какому ты делу?

— По приказанию генерала Секретева за господином Мелеховым. Его просили сейчас же явиться в дом офицерского собрания.

— Он туда потянул ишо с вечера.

— Был, а потом ушел оттуда домой.

Прохор свистнул и подмигнул сидевшему на кровати хозяину:

— Понял, дед? Зафитилил, значит, к своей жалечке… Ну, ты иди, служивый, а я его разыщу и представлю туда прямо тепленького!

Поручив старику напоить лошадей и задать им зерна, Прохор отправился к Аксиньиной тетке.

В непроглядной темени спала станица. На той стороне Дона в лесу наперебой высвистывали соловьи. Не торопясь, подошел Прохор к знакомой хатенке, вошел в сени и только что взялся за дверную скобу, услышал басистый Степанов голос. «Вот это я нарвался! — подумал Прохор. — Спросит, зачем пришел? А мне и сказануть нечего. Ну, была не была, — повидалась! Скажу, зашел самогонки купить, направили, мол, соседи в этот дом».

И, уже осмелев, вошел в горницу, — пораженный изумлением, молча раскрыл рот: за одним столом с Астаховым сидел Григорий и — как ни в чем не бывало — тянул из стакана мутно-зеленый самогон.

— Степан глянул на Прохора, натужно улыбаясь, сказал:

— Чего же ты зевало раскрыл и не здороваешься? Али диковину какую увидал?

— Вроде этого… — переминаясь с ноги на ногу, отвечал еще не пришедший в себя от удивления Прохор.

— Ну, не пужайся, проходи, садись, — приглашал Степан.

— Мне садиться время не указывает… Я за тобой, Григорий Пантелевич. Приказано к генералу Секретеву явиться зараз же.

Григорий и до прихода Прохора несколько раз порывался уйти. Он отодвигал стакан, вставал и тотчас же снова садился, боясь, что уход его Степан расценит как открытое проявление трусости. Гордость не позволяла ему покинуть Аксинью, уступить место

Степану. Он пил, но самогон уже не действовал на него. И, трезво оценивая всю двусмысленность своего положения, Григорий выжидал развязки. На секунду ему показалось, что Степан ударит жену, когда она выпила за его — Григория — здоровье. Но он ошибся: Степан поднял руку, потер шершавой ладонью загорелый лоб и — после недолгого молчания, — с восхищением глядя на Аксинью, сказал: «Молодец, жена! Люблю за смелость!»

Потом вошел Прохор.

Поразмыслив, Григорий решил не идти, чтобы дать Степану высказаться.

— Пойди туда и скажи, что не нашел меня. Понял? — обратился он к Прохору.

— Понять-то понял. Только лучше бы тебе, Пантелевич, сходить туда.

— Не твое дело! Ступай.

Прохор пошел было к дверям. Но тут неожиданно вмешалась Аксинья. Не глядя на Григория, она сухо сказала:

— Нет, чего уж там, идите вместе, Григорий Пантелевич! Спасибо, что зашли, погостевали, разделили с нами время… Только не рано уж, вторые кочета прокричали. Скоро рассвенет, а нам со Степой на зорьке надо домой идтить… Да и выпили вы достаточно. Хватит!

Степан не стал удерживать, и Григорий поднялся. Прощаясь, Степан задержал руку Григория в своей холодной и жесткой руке, словно бы хотел напоследок что-то сказать, — но так и не сказал, молча до дверей проводил Григория глазами, не спеша потянулся к недопитой бутылке…

Страшная усталость овладела Григорием, едва он вышел на улицу. С трудом передвигая ноги, дошел до первого перекрестка, попросил следовавшего за ним неотступно Прохора:

— Иди, седлай коней и подъезжай сюда. Не дойду я…

— Не доложить об том, что едешь-то?

— Нет.

— Ну, погоди, я — живой ногой!

И всегда медлительный Прохор на этот раз пустился к квартире рысью.

Григорий присел к плетню, закурил. Восстанавливая в мыслях встречу со Степаном, равнодушно подумал; «Ну что ж, теперь он знает. Лишь бы не бил Аксинью». Потом усталость и пережитое волнение заставили его прилечь. Он задремал.

Вскоре подъехал Прохор.

На пароме переправились на ту сторону Дона, пустили лошадей крупной рысью.

С рассветом въехали в Татарский. Около ворот своего база Григорий спешился, кинул повод Прохору, — торопясь и волнуясь, пошел к дому.

Полуодетая Наталья вышла зачем-то в сенцы. При виде Григория заспанные глаза ее вспыхнули таким ярким брызжущим светом радости, что у Григория дрогнуло сердце и мгновенно и неожиданно увлажнились глаза. А Наталья молча обнимала своего единственного, прижималась к нему всем телом, и по тому, как вздрагивали ее плечи, Григорий понял, что она плачет.

Он вошел в дом, перецеловал стариков и спавших в горнице детишек, стал посреди кухни.

— Ну, как пережили? Все благополучно? — спросил, задыхаясь от волнения.

— Слава богу, сынок. Страху повидали, а так чтобы дюже забижать — этого не было, — торопливо ответила Ильинична и, косо глянув на заплаканную Наталью, сурово крикнула ей: — Радоваться надо, а ты кричишь, дура! Ну, не стой же без дела! Неси дров печь затоплять…

Пока они с Натальей спешно готовили завтрак, Пантелей Прокофьевич принес сыну

чистый рушник, предложил:

— Ты умойся, я солью на руки. Оно голова-то и посвежеет… Шибает от тебя водочкой. Должно, выпил вчера на радостях?

— Было дело. Только пока неизвестно: на радостях или при горести…

— Как так? — несказанно удивился старик.

— Да уж дюже Секретов злует на нас.

— Ну, это не беда. Неужли и он выпивал с тобой?

— Ну да.

— Скажи на милость! В какую ты честь попал, Гришка! За одним столом с настоящим генералом! Подумать только! — И Пантелей Прокофьевич, умиленно глядя на сына, с восхищением поцокал языком.

Григорий улыбнулся. Уж он-то никак не разделял наивного стариковского восторга.

Степенно расспрашивая о том, в сохранности ли скот и имущество и сколько потравили зерна, Григорий замечал, что разговор о хозяйстве, как прежде, не интересует отца. Что-то более важное было у старика на уме, что-то тяготило его.

И он не замедлил высказаться:

— Как же, Гришенька, теперича быть? Неужли опять придется служить?

— Ты про кого это?

— Про стариков. К примеру, хоть меня взять.

— Пока неизвестно.

— Стало быть, надо выступать?

— Ты можешь остаться.

— Да что ты! — обрадованно воскликнул Пантелей Прокофьевич и в волнении захромал по кухне.

— Усядься ты, хромой бес! Сор-то не греби ногами по хате! Возрадовался, забегал, как худой щенок! — строго прикрикнула Ильинична.

Но старик и внимания не обратил на окрик. Несколько раз проковылял он от стола до печки, улыбаясь и потирая руки. Тут его настигло сомнение:

— А ты могешь дать освобождение?

— Конечно, могу.

— Бумажку напишешь?

— А то как же!

Старик замялся в нерешительности, но все же спросил:

— Бумажка-то, как она?.. Без печати-то. Али, может, и печать при тебе?

— Сойдет и без печати! — улыбнулся Григорий.

— Ну, тогда и гутарить нечего! — снова повеселел старик. — Дай бог тебе здоровья! Сам-то когда думаешь ехать?

— Завтра.

— Частя твои пошли вперед? На Усть-Медведицу?

— Да. А за себя, батя, ты не беспокойся. Все равно вскорости таких, как ты, стариков, будут спущать по домам. Вы свое уж отслужили.

— Дай-то бог! — Пантелей Прокофьевич перекрестился и, как видно, успокоился окончательно.

Проснулись детишки. Григорий взял их на руки, усадил к себе на колени и, целуя их поочередно, улыбаясь, долго слушал веселое щебетание.

Как пахнут волосы у этих детишек! Солнцем, травой, теплой подушкой и еще чем-то бесконечно родным. И сами они — эта плоть от плоти его, — как крохотные степные птицы.

Какими неумелыми казались большие черные руки отца, обнимавшие их. И до чего же чужим в этой мирной обстановке выглядел он — всадник, на сутки покинувший коня, насквозь пропитанный едким духом солдатчины и конского пота, горьким запахом походов и ременной амуниции…

Глаза Григория застилала туманная дымка слез, под усами дрожали губы… Раза три он не ответил на вопросы отца и только тогда подошел к столу, когда Наталья тронула его за рукав гимнастерки.

Нет, нет, Григорий положительно стал не тот! Он никогда ведь не был особенно чувствительным и плакал редко даже в детстве. А тут — эти слезы, глухие и частые удары сердца и такое ощущение, будто в горле беззвучно бьется колокольчик… Впрочем, все это могло быть и потому, что он много пил в эту ночь и провел ее без сна…

Пришла Дарья, прогонявшая коров на выгон. Она подставила Григорию улыбающиеся губы и, когда он, шутливым жестом разгладив усы, приблизил к ней лицо, закрыла глаза. Григорий видел, как, словно от ветра, дрогнули ее ресницы, и на миг ощутил пряный запах помады, исходивший от ее неблекнущих щек.

А вот Дарья была все та же. Кажется, никакое горе не было в силах не только сломить ее, но даже пригнуть к земле. Жила она на белом свете, как красноталовая хворостинка: гибкая, красивая и доступная.

— Цветешь? — спросил Григорий.

— Как придорожная белена! — прижмурив лучистые глаза, ослепительно улыбнулась Дарья. И тотчас же подошла к зеркалу поправить выбившиеся из-под платка волосы, прихорошиться.

Такая уж она была, Дарья. С этим, пожалуй, ничего нельзя было поделать. Смерть Петра словно подхлестнула ее, и, чуть оправившись от перенесенного горя, она стала еще жаднее к жизни, еще внимательнее к своей наружности…

Разбудили спавшую в амбаре Дуняшку. Помолясь, всей семьей сели за стол.

— Ох, и постарел же ты, братушка! — сожалеюще сказала Дуняшка. — Серый какой-то стал, как бирюк.

Григорий через стол молча и без улыбки посмотрел на нее, а потом сказал:

— Мне так и полагается. Мне стареть, тебе в пору входить, жениха искать… Только вот что я тебе скажу: о Мишке Кошевом с нонешного дня и думать позабудь. Ежли услышу, что ты и после этого об нем сохнуть будешь, — на одну ногу наступлю, а за другую возьмусь — так и раздеру, как лягушонка! Поняла?

Дуняшка вспыхнула, как маков цвет, — сквозь слезы посмотрела на Григория.

Он не сводил с нее злого взгляда, и во всем его ожесточившемся лице — в ощеренных под усами зубах, в суженных глазах — еще ярче проступило врожденное мелеховское, звероватое.

Но и Дуняшка была этой породы — оправившись от смущения и обиды, она тихо, но решительно сказала:

— Вы, братушка, знаете? Сердцу не прикажешь!

— Вырвать надо такое сердце, какое тебя слухаться не будет, — холодно посоветовал Григорий.

«Не тебе бы, сынок, об этом гутарить…» — подумала Ильинична.

Но тут в разговор вступил Пантелей Прокофьевич. Грохнув по столу кулаком, заорал:

— Ты, сукина дочь, цыц у меня! А то я тебе такое сердце пропишу, что и волос с головы не соберешь! Ах ты, паскуда этакая! Вот пойду зараз, возьму вожжи…

— Батенка! Вожжей-то ни одних у нас не осталось. Все забрали! — со смиренным видом

прервала его Дарья.

Пантелей Прокофьевич бешено сверкнул на нее глазами и, не сбавляя голоса, продолжал отводить душу:

— Возьму чересседельню — так я тебе таких чертей…

— И чересседельню красные тоже взяли! — уже громче вставила Дарья, по-прежнему глядя на свекра невинными глазами.

Этого Пантелей Прокофьевич снести уже не мог. Секунду глядел он на сноху, багровея в немой ярости, молча зевая широко раскрытым ртом (был похож он в этот миг на вытащенного из воды судака), а потом хрипло крикнул:

— Замолчи, проклятая, сто чертей тебе в душу! Слова не дадут сказать! Да что это такое? А ты, Дунька, так и знай: сроду не бывать этому делу! Отцовским словом тебе говорю! И Григорий правильно сказал: об таком подлеце будешь думать — так тебя и убить мало! Нашла присуху! Запек ей душу висельник! Да ништо ж это человек? Да чтобы такой христопродавец был моим зятем?! Попадись он мне зараз — своей рукой смерти предам! Только пикни ишо: возьму шелужину, так я тебе…

— Их, шелужинов-то, на базу днем с огнем не сыщешь, — со вздохом сказала Ильинична. — По базу хоть шаром покати, хворостины на растопку и то не найдешь. Вот до чего дожили!

Пантелей Прокофьевич и в этом бесхитростном замечании усмотрел злой умысел. Он глянул на старуху остановившимися глазами, вскочил как сумасшедший, выбежал на баз.

Григорий бросил ложку, закрыл лицо рушником и трясся в беззвучном хохоте. Злоба его прошла, и он смеялся так, как не смеялся давным-давно. Смеялись все, кроме Дуняшки. За столом царило веселое оживление. Но как только по крыльцу затопал Пантелей Прокофьевич, — лица у всех сразу стали серьезные. Старик ворвался ураганом, волоча за собой длиннейшую ольховую жердь.

— Вот! Вот! На всех на вас, на проклятых, языкастых, хватит! Ведьмы длиннохвостые!.. Шелужины нету?! А это что? И тебе, старая чертовка, достанется! Вы ее у меня отпробуете!..

Жердь не помещалась в кухне, и старик, опрокинув чугун, с грохотом бросил ее в сенцы, тяжело дыша, присел к столу.

Настроение его было явно испорчено. Он сопел и ел молча. Молчали и остальные. Дарья не поднимала от стола глаз, боясь рассмеяться. Ильинична вздыхала и чуть слышно шептала: «О, господи, господи! Грехи наши тяжкие!» Одной Дуняшке было не до смеха, да Наталья, в отсутствие старика улыбавшаяся какой-то вымученной улыбкой, снова стала сосредоточенна и грустна.

— Соли подай! Хлеба! — изредка и грозно рычал Пантелей Прокофьевич, обводя домашних сверкающими глазами.

Семейная передряга закончилась довольно неожиданно. При всеобщем молчании Мишатка сразил деда новой обидой. Он не раз слышал, как бабка в ссоре обзывала деда всяческими бранными словами, и, по-детски глубоко взволнованный тем, что дед собирался бить всех и орал на весь курень, дрожа ноздрями, вдруг звонко сказал:

— Развоевался, хромой бес! Дрючком бы тебя по голове, чтоб ты не пужал нас с бабуней!..

— Это ты меня… то есть деда… так?

— Тебя! — мужественно подтвердил Мишатка.

— Да нешто родного деда можно… такими словами?!

— А ты чего шумишь?

— Каков вражененок? — Поглаживая бороду, Пантелей Прокофьевич изумленно обвел

всех глазами. — А это все от тебя, старая карга, таких слов наслухался! Ты научаешь!

— И кто его научает? Весь в тебя да в папаню необузданный! — сердито оправдывалась Ильинична.

Наталья встала и отшлепала Мишатку, приговаривая:

— Не учись так гутарить с дедом! Не учись!

Мишатка заревел, уткнулся лицом в колени Григория. А Пантелей Прокофьевич, души не чаявший во внуках, вскочил из-за стола и, прослезившись, не вытирая струившихся по бороде слез, радостно закричал:

— Гришка! Сынок! Фитинов твоей матери! Верное слово старуха сказала! Наш! Мелеховских кровей!.. Вот она когда кровь сказалась-то!.. Этот никому не смолчит!.. Внучек! Родимый мой!.. На, бей старого дурака, чем хошь! Тягай его за бороду!.. — И старик, выхватив из рук Григория Мишатку, высоко поднял его над головой.

Окончив завтрак, встали из-за стола. Женщины начали мыть посуду, а Пантелей Прокофьевич закурил, сказал, обращаясь к Григорию:

— Оно вроде и неудобно просить тебя, ты ить у нас — гость, да делать нечего… Пособи плетни поставить, гумно загородить, а то скрозь все повалено, а чужих зараз не допросишься. У всех одинаково все рухнулось.

Григорий охотно согласился, и они вдвоем до обеда работали на базу, приводя в порядок огорожу.

Врывая стоянкИ на огороде, старик спросил:

— Покос начнется что не видно, и не знаю — прикупать травы али нет. Ты как скажешь всчет хозяйства? Стоит дело хлопотать? А то, может, через месяц красные опять припожалуют, и все сызнова пойдет к чертям на выделку?

— Не знаю, батя, — откровенно сознался Григорий. — Не знаю, чем оно обернется и кто кого придолеет. Живи так, чтобы лишнего ни в закромах, ни на базу не было. По нонешним временам все это ни к чему. Вон возьми тестя: всю жизню хрип гнул, наживал, жилы из себя и из других выматывал, а что осталось? Одни горелые пеньки на базу!

— Я, парень, и сам так думаю, — подавив вздох, согласился старик.

И разговор о хозяйстве больше не заводил. Лишь после полудня, заметив, что Григорий с особой тщательностью приклячивает воротца на гумне, сказал с досадой и нескрываемой горечью:

— Делай абы как. Чего ты стараешься? Не век же им стоять!

Как видно, только теперь старик осознал всю тщетность своих усилий наладить жизнь по-старому…

Пред закатом солнца Григорий бросил работу, пошел в дом. Наталья была одна в горнице. Она принарядилась, как на праздник. На ней ловко сидели синяя шерстяная юбка и поплиновая голубенькая кофточка с прошивкой на груди и с кружевными манжетами. Лицо ее тонко розовело и слегка лоснилось оттого, что она недавно умывалась с мылом. Она что-то искала в сундуке, но при виде Григория опустила крышку, с улыбкой выпрямилась.

Григорий сел на сундук, сказал:

— Присядь на-час, а то завтра уеду и не погутарим.

Она покорно села рядом с ним, посмотрела на него сбоку чуть-чуть испуганными глазами. Но он неожиданно для нее взял ее за руку, ласково сказал:

— А ты гладкая, как будто и не хворала.

— Поправилась… Мы, бабы, живущие, как кошки, — сказала она, несмело улыбаясь и наклоняя голову.

Григорий увидел нежно розовеющую, покрытую пушком мочку уха и в просветах между

— прядями волос желтоватую кожу на затылке, спросил:

— Лезут волосы?

— Вылезли почти все. Облиняла, скоро лысая буду.

— Давай я тебе голову побрею сейчас? — предложил вдруг Григорий.

— Что ты! — испуганно воскликнула она. — На что же я буду тогда похожа?

— Надо побриться, а то волосы не будут рость.

— Маманя сулила остричь меня ножницами, — смущенно улыбаясь, сказала Наталья и проворно накинула на голову снежно-белый, густо подсиненный платок.

Она была рядом с ним, его жена и мать Мишатки и Полюшки. Для него она принарядилась и вымыла лицо. Торопливо накинув платок, чтобы не было видно, как безобразна стала ее голова после болезни, слегка склонив голову набок, сидела она такая жалкая, некрасивая и все же прекрасная, сияющая какой-то чистой внутренней красотой. Она всегда носила высокие воротнички, чтобы скрыть от него шрам, некогда обезобразивший ее шею. Все это из-за него… Могучая волна нежности залила сердце Григория. Он хотел сказать ей что-то теплое, ласковое, но не нашел слов и, молча притянув ее к себе, поцеловал белый покатый лоб и скорбные глаза.

Нет, раньше никогда он не баловал ее лаской. Аксинья заслоняла ее всю жизнь. Потрясенная этим проявлением чувства со стороны мужа и вся вспыхнувшая от волнения, она взяла его руку, поднесла к губам.

Минуту они сидели молча. Закатное солнце роняло в горницу багровые лучи. На крыльце шумели детишки. Слышно было, как Дарья вынимала из печи обжарившиеся корчажки, недовольно говорила свекрови: «Вы и коров-то, небось, не каждый день доили. Что-то старая меньше дает молока…»

С попаса возвращался табун. Мычали коровы, щелкали волосяными нахвостниками кнутов ребята. Хрипло и прерывисто ревел хуторской бугай. Шелковистый подгудок его и литая покатая спина в кровь были искусаны оводами. Бугай зло помахивал головой; на ходу поддев на короткие, широко расставленные рога астаховский плетень, опрокинул его и пошел дальше. Наталья глянула в окно, сказала:

— А бугай тоже отступал за Дон. Маманя рассказывала: как только застреляли в хуторе, он прямо с стойла переплыл Дон, в луке и спасался все время.

Григорий молчал, задумавшись. Почему у нее такие печальные глаза? И еще что-то тайное, неуловимое то появлялось, то исчезало в них. Она и в радости была грустна и как-то непонятна… Может быть, она прослышала о том, что он в Вешенской встречался с Аксиньей? Наконец он спросил:

— С чего это ты нынче такая пасмурная? Что у тебя на сердце, Наташа? Ты бы сказала, а?

И ждал слез, упреков… Но Наталья испуганно ответила:

— Нет, нет, тебе так показалось, я ничего… Правда, я ишо не совсем поздоровела. Голова кружится, и, ежли нагнусь или подыму что, в глазах темнеет.

Григорий испытующе посмотрел на нее и снова спросил:

— Без меня тут тебе ничего?.. Не трогали?

— Нет, что ты! Я же все время лежала хворая. — И глянула прямо в глаза Григория и даже чуть-чуть улыбнулась. Помолчав, она спросила: — Рано завтра тронешься?

— С рассветом.

— А передневать нельзя? — В голосе Натальи прозвучала неуверенная, робкая надежда.

Но Григорий отрицательно покачал головой, и Наталья со вздохом сказала:

— Зараз тебе как… погоны надо надевать?

— Прийдется.

— Ну, тогда сыми рубаху, пришью их, пока видно.

Григорий, крякнув, снял гимнастерку. Она еще не просохла от пота. Влажные пятна темнели на спине и на плечах, там, где остались натертые до глянца полосы от боевых наплечных ремней. Наталья достала из сундука выгоревшие на солнце защитные погоны, спросила:

— Эти?

— Эти самые. Соблюла?

— Мы сундук зарывали, — продевая в игольное ушко нитку, невнятно сказала Наталья, а сама украдкой поднесла к лицу пропыленную гимнастерку и с жадностью вдохнула такой родной солоноватый запах пота…

— Чего это ты? — удивленно спросил Григорий.

— Тобой пахнет… — блестя глазами, сказала Наталья и наклонила голову, чтобы скрыть внезапно проступивший на щеках румянец, стала проворно орудовать иглой.

Григорий надел гимнастерку, нахмурился, пошевелил плечами.

— Тебе с ними лучше! — сказала Наталья, с нескрываемым восхищением глядя на мужа.

Но он косо посмотрел на свое левое плечо, вздохнул:

— Век бы их не видать. Ничего-то ты не понимаешь!

Они еще долго сидели в горнице на сундуке, взявшись за руки, молча думая о своем.

Потом, когда смерклось и лиловые густые тени от построек легли на остывшую землю, пошли в кухню вечерять.

И вот прошла ночь. До рассвета полыхали на небе зарницы, до белой зорьки гремели в вишневом саду соловьи. Григорий проснулся, долго лежал с закрытыми глазами, вслушиваясь в певучие и сладостные соловьиные выщелки, а потом тихо, стараясь не разбудить Наталью, встал, оделся, вышел на баз.

Пантелей Прокофьевич выкармливал строевого коня, услужливо предложил:

— Сем-ка я его свожу искупаю перед походом?

— Обойдется, — сказал Григорий, ежась от предутренней сырости.

— Хорошо выспался? — осведомился старик.

— Дюже спал! Только вот соловушки побудили. Беда, как они разорялись всю ночь!

Пантелей Прокофьевич снял с коня торбу, улыбнулся:

— Им, парнишша, только и делов. Иной раз позавидуешь этим божьим птахам… Ни войны им, ни разору…

К воротам подъехал Прохор. Был он свежевыбрит и, как всегда, весел и разговорчив. Привязав чембур к сохе, подошел к Григорию. Парусиновая рубаха его гладко выутюжена. На плечах новехонькие погоны.

— И ты погоники нацепил, Григорий Пантелевич? — крикнул он, подходя. — Долежались, проклятые! Теперь их нам носить не износить! До самой погибели хватит! Я говорю жене: «Не пришивай, дура, насмерть. Чудок прикилбни, лишь бы ветром не сорвало, и хорош!» А то наше дело какое? Попадешь в плен, и сразу по лычкам смикитят, что я — чин хоть и не офицерский, а все же старшего урядника имею. «А, скажут, такой-сякой, умел заслуживать — умей и голову подставлять!» Видал, на чем они у меня зависли? Умора!

Погоны Прохора действительно были пришиты на живую нитку и еле-еле держались.

Пантелей Прокофьевич захохотал. В седоватой бороде его блеснули не тронутые временем белые зубы.

— Вот это служивый! Стал быть, чуть чего — и долей погоны?

— А ты думаешь — как? — усмехнулся Прохор.

Григорий, улыбаясь, сказал отцу:

— Видал, батя, каким вестовым я раздобылся? С этим в беду попадешь — сроду не пропадешь!

— Да ить оно, как говорится, Григорий Пантелевич… Умри ты нынче, а я завтра, — оправдываясь, сказал Прохор и легко сорвал погоны, небрежно сунул их в карман. — К фронту подъедем, там их и пришить можно.

Григорий наскоро позавтракал; попрощался с родными.

— Храни тебя царица небесная! — исступленно зашептала Ильинична, целуя сына. — Ты ить у нас один остался…

— Ну, дальние проводы — лишние слезы. Прощайте! — дрогнувшим голосом сказал Григорий и подошел к коню.

Наталья, накинув на голову черную свекровьину косынку, вышла за ворота. За подол ее юбки держались детишки. Полюшка неутешно рыдала, захлебываясь слезами, просила мать:

— Не пускай его! Не пускай, маманюшка! На войне убивают! Папанька, не ездий туда!

У Мишатки дрожали губы, но — нет, он не плакал. Он мужественно сдерживался, сердито говорил сестренке:

— Не бреши, дура! И вовсе там не всех убивают!

Он крепко помнил дедовы слова, что казаки никогда не плачут, что казакам плакать — великий стыд. Но когда отец, уже сидя на коне, поднял его на седло и поцеловал, — с удивлением заметил, что у отца мокрые ресницы. Тут Мишатка не выдержал испытания: градом покатились из глаз его слезы. Он спрятал лицо на опоясанной ремнями отцовской груди, крикнул:

— Нехай лучше дед едет воевать! На что он нам сдался!.. Не хочу, чтоб ты!..

Григорий осторожно опустил сынишку на землю, тылом ладони вытер глаза и молча тронул коня.

Сколько раз боевой конь, круто повернувшись, взрыв копытами землю возле родимого крыльца, нес его по шляхам и степному бездорожью на фронт, туда, где черная смерть метит казаков, где, по словам казачьей песни, «страх и горе каждый день, каждый час», — а вот никогда Григорий не покидал хутора с таким тяжелым сердцем, как в это ласковое утро.

Томимый неясными предчувствиями, гнетущей тревогой и тоской, ехал он, кинув на луку поводья, не глядя назад, до самого бугра. На перекрестке, где пыльная дорога сворачивала к ветряку, оглянулся. У ворот стояла одна Наталья, и свежий предутренний ветерок рвал из рук ее черную траурную косынку.

Плыли, плыли в синей омутной глубине вспененные ветром облака. Струилось марево над волнистой кромкой горизонта. Кони шли шагом. Прохор дремал, покачиваясь в седле. Григорий, стиснув зубы, часто оглядывался. Сначала он видел зеленые купы верб, серебряную, прихотливо извивавшуюся ленту Дона, медленно взмахивавшие крылья ветряка. Потом шлях отошел на юг. Скрылись за вытоптанными хлебами займище, Дон, ветряк… Григорий насвистывал что-то, упорно смотрел на золотисто-рыжую шею коня, покрытую мелким бисером пота, и уже не поворачивался в седле… Черт с ней, с войной! Были бои по Чиру, прошли по Дону, а потом загремят по Хопру, по Медведице, по Бузулуку. И — в конце концов — не все ли равно, где кинет его на землю вражеская пуля? — думал он.

IX

Бой шел на подступах к станице Усть-Медведицкой. Глухой орудийный гул заслышал Григорий, выбравшись с летника на Гетманский шлях.

Всюду по шляху виднелись следы спешного отступления красных частей. Во множестве попадались брошенные двуколки и брички. За хутором Матвеевским в логу стояло орудие с перебитой снарядом боевой осью и исковерканной люлькой. Постромки на вальках передка были косо обрублены. В полуверсте от лога, на солончаках, на низкорослой, спаленной солнцем траве густо лежали трупы бойцов, в защитных рубахах и штанах, в обмотках и тяжелых окованных ботинках. Это были красноармейцы, настигнутые и порубленные казачьей конницей.

Григорий, проезжая мимо, без труда установил это по обилию крови, засохшей на покоробившихся рубахах, по положению трупов. Они лежали, как скошенная трава. Казаки не успели их раздеть, очевидно, лишь потому, что не прекращали преследования.

Возле куста боярышника запрокинулся убитый казак. На широко раскинутых ногах его рдели лампасы. Неподалеку валялась убитая лошадь светло-гнедой масти, подседланная стареньким седлом с выкрашенным охрой ленчиком.

Кони Григория и Прохора приустали. Их надо было подкормить, но Григорий не захотел останавливаться на месте, где недавно проходил бой. Он проехал еще с версту, спустился в балку, приостановил коня. Неподалеку виднелся пруд с размытой до материка плотиной. Прохор подъехал было к пруду с зачерствевшей и потрескавшейся землей у краев, но тотчас повернул обратно.

— Ты чего? — спросил Григорий.

— Подъезжай, глянь.

Григорий тронул коня к плотине. В промоине лежала убитая женщина. Лицо ее было накрыто подолом синей юбки. Полные белые ноги с загорелыми икрами и с ямочками на коленях были бесстыдно и страшно раздвинуты. Левая рука подвернута под спину.

Григорий торопливо спешился, снял фуражку, нагнулся и поправил на убитой юбку. Смуглое молодое лицо было красиво и после смерти. Под страдальчески изогнутыми черными бровями тускло мерцали полузакрытые глаза. В оскале мягко очерченного рта перламутром блестели стиснутые плотно зубы. Тонкая прядь волос прикрывала прижатую к траве щеку. И по этой щеке, на которую смерть уже кинула шафранно-желтые блеклые тени, ползали суетливые муравьи.

— Какую красоту загубили, сукины сыны! — вполголоса сказал Прохор.

С минуту он молчал, потом с ожесточением сплюнул:

— Я бы таких… таких умников к стенке становил! Поедем отсюда, ради бога! Я на нее глядеть не могу. У меня сердце переворачивается!

— Может, похороним ее? — спросил Григорий.

— Да мы что, подряд взяли всех мертвых хоронить? — возмутился Прохор. — В Ягодном деда какого-то зарывали, тут эту бабу… Нам их всех ежели похоронять, так и музлей на руках не хватит! А могилку чем копать? Ее, брат, шашкой не выроешь, земля от жары на аршин заклекла.

Прохор так спешил, что насилу попал носком сапога в стремя.

Снова выехали на бугор, и тут Прохор, напряженно о чем-то думавший, спросил:

— А что, Пантелевич, не хватит кровицу-то наземь цедить?

— Почти что.

— А как по твоему разумению, скоро это прикончится?

— Как набьют нам, так и прикончится…

— Вот веселая жизня заступила, да черт ей рад! Хоть бы скорей набили, что ли. В германскую, бывало, самострел палец себе отобьет, и слушают его по чистой домой, а зараз хоть всю руку оторви себе — все одно заставют служить. Косоруких в строй берут, хромых

берут, косых берут, грызных берут, всякую сволочь берут, лишь бы на двух ногах телипал. Да разве же так она, война, прикончится? Черт их всех перебьет! — с отчаянием сказал Прохор и съехал с дороги, спешился, бормоча что-то вполголоса, начал отпускать коню подпруги.

В хутор Хованский, расположенный неподалеку от Усть-Медведицкой, Григорий приехал ночью. Выставленная на краю хутора застава 3-го полка задержала его, но, опознав по голосу своего командира дивизии, казаки, на вопрос Григория, сообщили, что штаб дивизии находится в этом же хуторе и что начальник штаба сотник Копылов ждет его с часу на час. Словоохотливый начальник заставы отрядил одного казака, поручив ему проводить Григория до штаба: напоследок сказал:

— Дюже они укрепились, Григорий Пантелевич, и, должно, не скоро мы заберем Усть-Медведицу. А там, конешно, кто его знает… Наших силов тоже достаточно, Гутарют, будто англицкие войска идут с Морозовской. Вы не слыхали?

— Нет, — трогая коня, ответил Григорий.

В доме, занятом под штаб, ставни были наглухо закрыты. Григорий подумал, что в комнатах никого нет, но, войдя в коридор, услышал глухой оживленный говор. После ночной темноты свет большой лампы, висевшей в горнице под потолком, ослепил его, в ноздри ударил густой и горький запах махорочного дыма.

— Наконец-то и ты! — обрадованно проговорил Копылов, появляясь откуда-то из сизого табачного облака, клубившегося над столом. — Заждались мы, брат, тебя!

Григорий поздоровался с присутствовавшими, снял шинель и фуражку, прошел к столу.

— Ну и накурили! Не продыхнешь. Откройте же хучь одно окошко, что вы запечатались! — морщась, сказал он.

Сидевший рядом с Копыловым Харлампий Ермаков улыбнулся:

— А мы принюхались и не чуем, — и, выдавив локтем оконный глазок, с силой распахнул ставню.

В комнату хлынул свежий ночной воздух. Огонь в лампе ярко вспыхнул и погас.

— Вот это по-хозяйски! На что же ты стекло выдавил? — с неудовольствием сказал Копылов, шаря по столу руками. — У кого есть спички? Осторожней, тут возле карты чернила.

Зажгли лампу, прикрыли створку окна, и Копылов торопливо заговорил:

— Обстановка на фронте, товарищ Мелехов, на нынешний день такова: красные удерживают Усть-Медведицкую, прикрывая ее с трех сторон силами приблизительно в четыре тысячи штыков. У них достаточное количество артиллерии и пулеметов. Возле монастыря и еще в ряде мест ими порыты траншеи. Обдонские высоты заняты ими. Ну, и позиции их — нельзя сказать чтобы были неприступные, но, во всяком случае, довольно-таки трудные для овладения. С нашей стороны, кроме дивизии генерала Фицхелаурова и двух штурмовых офицерских отрядов, подошла целиком Шестая бригада Богатырева и наша Первая дивизия. Но она не в полном составе, пешего полка нет, он где-то еще под Усть-Хоперской, а конные прибыли все, но в сотнях состав далеко не комплектный.

— К примеру, у меня в полку в третьей сотне только тридцать восемь казаков, — сказал командир 2-го полка подхорунжий Дударев.

— А было? — осведомился Ермаков.

— Было девяносто один.

— Как же ты позволил распустить сотню? Какой же ты командир? — хмурясь и барабаня пальцами по столу, спросил Григорий.

— А черт их удержит! Растрялись по хуторам, на провед поехали. Но зараз подтягиваются. Ноне прибегли трое.

Копылов подвинул Григорию карту, указывая мизинцем на месторасположение частей, продолжал:

— Мы еще не втянулись в наступление. У нас только Второй полк вчера в пешем строю наступал на этом вот участке, но неудачно.

— Потери большие?

— По донесению командира полка, у него за вчерашний день выбыло убитыми и ранеными двадцать шесть человек. Так вот о соотношении сил: у нас численный перевес, но для поддержки наступления пехоты не хватает пулеметов, плохо со снарядами. Их начальник боепитания обещал нам, как только подвезут, четыреста снарядов и полтораста тысяч патронов. Но ведь это когда они прибудут! А наступать надо завтра же, таков приказ генерала Фицхелаурова. Он предлагает нам выделить полк для поддержки штурмовиков. Они вчера четыре раза ходили в атаку и понесли огромные потери. Чертовски настойчиво дрались! Так вот, Фицхелауров предлагает усилить правый фланг и перенести центр удара сюда, видишь? Здесь местность позволяет подойти к окопам противника на сто — сто пятьдесят саженей. Кстати, только что уехал его адъютант. Он привез нам с тобой устное распоряжение прибыть завтра к шести утра на совещание для координирования действия. Генерал Фицхелауров и штаб его дивизии сейчас в хуторе Большом Сенином. Задача в общем сводится к тому, чтобы немедленно сбить противника до подхода его подкреплений со станции Себряково. По той стороне Дона наши не очень-то активны… Четвертая дивизия переправилась через Хопер, но красные выставили сильные заслоны и упорно удерживают пути к железной дороге. А сейчас пока они навели понтонный мост через Дон и спешно вывозят из Усть-Медведицкой снаряжение и боеприпасы.

— Казаки болтают, будто союзники идут, верно это?

— Есть слух, что из Чернышевской идет несколько английских батарей и танков. Но вот вопрос: как они эти танки будут через Дон переправлять? По-моему, насчет танков — это брехня! Давно уж о них разговаривают…

В горнице надолго установилась тишина.

Копылов расстегнул коричневый офицерский френч, подпер ладонями поросшие каштановой щетиной пухлые щеки, раздумчиво и долго жевал потухшую папироску. Широко расставленные, круглые, темные глаза его были устало прижмурены, красивое лицо измято бессонными ночами.

Когда-то учительствовал он в церковноприходской школе, по воскресеньям ходил к станичным купцам в гости, перекидывался с купчихами в стуколку и с купцами по маленькой в преферанс, мастерски играл на гитаре и был веселым, общительным молодым человеком; потом женился на молоденькой учительнице и так бы и жил в станице и наверняка дослужился бы до пенсии, но в войну его призвали на военную службу. По окончании юнкерского училища он был направлен на Западный фронт, в один из казачьих полков. Война не изменила характера и внешности Копылова. Было что-то безобидное, глубоко штатское в его полной низкорослой фигуре, в добродушном лице, в манере носить шашку, в форме обращения с младшими по чину. В голосе его отсутствовал командный металл, в разговоре не было присущей военным сухой лаконичности выражений, офицерская форма сидела на нем мешковато, строевой подтянутости и выправки он так и не приобрел за три года, проведенных на фронте; все в нем изобличало случайного на войне человека. Больше походил он на разжиревшего обывателя, переодетого офицером, нежели на подлинного офицера, но, несмотря на это, казаки относились к нему с уважением, к его слову прислушивались на штабных совещаниях, и повстанческий комсостав глубоко оценил его за трезвый ум, покладистый характер и непоказную, неоднократно проявляемую в боях

храбрость.

До Копылова начальником штаба у Григория был безграмотный и неумный хорунжий Кружилин. Его убили в одном из боев на Чиру, и Копылов, приняв штаб, повел дело умело, расчетливо, толково. Он так же добросовестно просиживал в штабе над разработкой операций, как когда-то над исправлением ученических тетрадей, однако, в случае необходимости, по первому слову Григория бросал штаб, садился на коня и, приняв командование полком, вел его в бой.

Григорий вначале относился к новому начальнику штаба не без предвзятости, но за два месяца узнал его ближе и однажды после боя сказал напрямик: «Я о тебе погано думал. Копылов, зараз вижу, что ошибался, так ты вот чего, извиняй уж как-нибудь». Копылов улыбнулся, промолчал, но грубоватым этим признанием был, очевидно, польщен.

Лишенный честолюбия и устойчивых политических взглядов, к войне Копылов относился как к неизбежному злу и не чаял ее окончания. Вот и сейчас он вовсе не размышлял о том, как развернутся операции по овладению Усть-Медведицкой, а вспоминал домашних, родную станицу и думал, что было бы неплохо закатиться домой в отпуск, месяца на полтора…

Григорий долго смотрел на Копылова, потом встал:

— Ну, братцы-атаманцы, давайте расходиться и спать. Нам нечего голову морочить об том, как брать Усть-Медведицу. За нас теперича генералы будут думать и решать. Поедем завтра к Фицхелаурову, нехай нас, горемык, уму-разуму поучит… А всчет Второго полка думаю так: пока наша власть — нынче же командира полка Дударова надобно разжаловать, лишить всех чиноворденов…

— И порции каши, — вставил Ермаков.

— Нет, без шуток, — продолжал Григорий, — надо нынче же его перевести в сотенные, а командиром послать Харлампия. Зараз же дуй, Ермаков, туда, примай полк и утром жди наших распоряжений. Приказ о смене Дударова напишет сейчас Копылов, вези его с собой. Я так гляжу, Дударев не управится. Ни черта он ничего не понимает и как бы не подсунул он казаков ишо раз под удар. Пеший бой — это дело такое… Тут нехитро людей в трату дать, ежели командир — бестолочь.

— Правильно. Я — за смену Дударова, — поддержал Копылов.

— Ты что, Ермаков, против? — спросил Григорий, заметив некое неудовольствие на лице Ермакова.

— Да нет, я ничего. Мне уж и бровями двинуть нельзя?

— Тем лучше. Ермаков не против. Конный полк его возьмет пока Рябчиков. Пиши, Михаиле Григорич, приказ и ложись позорюй. В шесть чтобы был на ногах. Поедем к этому генералу. С собой беру четырех ординарцев.

Копылов удивленно поднял брови:

— Для чего их столько?

— Для вида! Мы ить тоже не лыком шиты, дивизией командуем. — Григорий, посмеиваясь, ворохнул плечами, накинул внапашку шинель, пошел к выходу.

Он лег под навесом сарая, подстелив попонку, не разуваясь и не снимая шинели. На базу долго гомонили ординарцы, где-то близко фыркали и мерно жевали лошади. Пахло сухими кизяками и не остывшей от дневного жара землей. Сквозь дремоту Григорий слышал голоса и смех ординарцев, слышал, как один из них, судя по голосу — молодой парень, седлая коня, со вздохом проговорил:

— Эх, братушки, да и набрыдло же! Ночь-полночь — езжай с пакетом, ни сна тебе, ни покою… Да стой же ты, чертяка! Ногу! Ногу, говорят тебе!..

А другой глуховатым простуженным басом вполголоса пропел:

— «Надоела ты нам, службица, надоскучила. Добрых коников ты наших призамучила…» — и перешел на просящую деловитую скороговорку: — Всыпь на цигарочку, Прошка! А и жадоба ж ты! Забыл, как я тебе под Белавином красноармейские ботинки отдал? Сволочь ты! За такую обувку другой бы век помнил, а у тебя и на цигарку не выблазнишь!

Звякнули и загремели на конских зубах удила. Лошадь вздохнула всем нутром и пошла, сухо щелкая подковами по сухой и крепкой, как кремень, земле.

«Все об этом гутарют… Надоела ты нам, службица, надоскучила», — улыбаясь, мысленно повторил Григорий и тотчас заснул. И как только заснул — увидел сон, снившийся ему и прежде: по бурому полю, по высокой стерне идут цепи красноармейцев. Насколько видит глаз — протянулась передняя цепь. За ней еще шесть или семь цепей. В гнетущей тишине приближаются наступающие. Растут, увеличиваются черные фигурки, и вот уже видно, как спотыкающимся быстрым шагом идут, идут, подходят на выстрел, бегут с винтовками наперевес люди в ушастых шапках, с безмолвно разверстыми ртами. Григорий лежит в неглубоком окопчике, судорожно двигает затвором винтовки, часто стреляет; под выстрелами его, запрокидываясь, падают красноармейцы; вгоняет новую обойму и, на секунду глянув по сторонам, — видит: из соседних окопов вскакивают казаки. Они поворачиваются и бегут: лица их перекошены страхом. Григорий слышит страшное биение своего сердца, кричит: «Стреляйте! Сволочи! Куда?! Стой, не бегай!..» Он кричит изо всей силы, но голос его поразительно слаб, еле слышен. Ужас охватывает его! Он тоже вскакивает, уже стоя стреляет последний раз в немолодого смуглого красноармейца, молча бегущего прямо на него, и видит, что промахнулся. У красноармейца возбужденно-серьезное бесстрашное лицо. Он бежит легко, почти не касаясь ногами земли, брови его сдвинуты, шапка на затылке, полы шинели подоткнуты. Какой-то миг Григорий рассматривает подбегающего врага, видит его блестящие глаза и бледные щеки, поросшие молодой курчавой бородкой, видит короткие широкие голенища сапог, черный глазок чуть опущенного винтовочного дула и над ним колеблющееся в такт бега острие темного штыка. Непостижимый страх охватывает Григория. Он дергает затвор винтовки, но затвор не поддается: его заело. Григорий в отчаянии бьет затвором о колено — никакого результата! А красноармеец уже в пяти шагах. Григорий поворачивается и бежит. Впереди него все бурое голое поле пестрит бегущими казаками. Григорий слышит позади тяжкое дыхание преследующего, слышит звучный топот его ног, но убыстрять бег не может. Требуется страшное усилие, чтобы заставить безвольно подгибающиеся ноги бежать быстрее. Наконец он достигает какого-то полуразрушенного мрачного кладбища, прыгает через поваленную изгородь, бежит между осевшими могилками, покосившимися крестами и часовенками. Еще одно усилие, и он спасется. Но тут топот позади нарастает, звучнеет. Горячее дыхание преследователя опаляет шею Григория, и в тот же миг он чувствует, как его хватают за хлястик шинели и за полу. Глухой крик исторгает Григорий и просыпается. Он лежит на спине. Ноги его, сжатые тесными сапогами, затекли, на лбу холодный пот, все тело болит, словно от побоев. «Фу-ты, черт!» — говорит он сипло, с удовольствием вслушиваясь в собственный голос и еще не веря, что все только что испытанное им — сон. Затем поворачивается на бок, с головой укутывается шинелью, мысленно говорит: «Надо было подпустить его, отвести удар, сшибить прикладом, а потом уж убегать…» Минуту он размышляет о приснившемся вторично сне, испытывая радостное волнение оттого, что все это — только скверный сон и в действительности пока ничто ему не угрожает. «Диковинно, почему во сне это в десять раз страшнее, чем наяву? Сроду в жизни не испытывал такого страха, сколько ни приходилось бывать в переплетах!» — думает он, засыпая и с наслаждением вытягивая затекшие ноги.

X

На рассвете его разбудил Копылов.

— Вставай, пора собираться, ехать! Приказано ведь быть к шести часам.

Начальник штаба только что побрился, вычистил сапоги и надел помятый, но чистый френч. Он, как видно, спешил: пухлые щеки в двух местах порезаны бритвой. Но во всем его облике была видна какая-то, ранее не свойственная ему щеголеватая подтянутость.

Григорий критически осмотрел его с ног до головы, подумал: «Ишь как выщелкнулся! Не хочет к генералу явиться абы в чем!..»

Словно следя за ходом его мыслей, Копылов сказал:

— Неудобно являться неряхой. Советую и тебе привести себя в порядок.

— Продерет и так! — пробормотал Григорий, дотягиваясь. — Так, говоришь, приказано быть к шести? Нам с тобой уж приказывать начинают?

Копылов, посмеиваясь, пожал плечами:

— Новое время — новые песни. По старшинству мы обязаны подчиниться. Фицхелауров — генерал, не ему же к нам ехать.

— Оно-то так. К чему шли, к тому и пришли, — сказал Григорий и пошел к колодцу умываться.

Хозяйка бегом бросилась в дом, вынесла чистый расшитый рушник, с поклоном подала Григорию. Тот яростно потер концом рушника кирпично-красное, обожженное холодной водой лицо, сказал подошедшему Копылову:

— Оно-то так, только господам генералам надо бы вот о чем подумать: народ другой стал с революции, как, скажи, заново народился! А они все старым аршином меряют. А аршин, того и гляди, сломается… Туговаты они на поворотах. Колесной мази бы им в мозги, чтобы скрипу не было!

— Это ты насчет чего? — рассеянно спросил Копылов, сдувая с рукава приставшую соринку.

— А насчет того, что все у них на старинку сбивается. Я вот имею офицерский чин с германской войны. Кровью его заслужил! А как попаду в офицерское общество — так вроде как из хаты на мороз выйду в одних подштанниках. Таким от них холодом на меня попрет, что аж всей спиной его чую! — Григорий бешено сверкнул глазами и незаметно для себя повысил голос.

Копылов недовольно оглянулся по сторонам, шепнул:

— Ты потише, ординарцы слушают.

— Почему это так, спрашивается? — сбавив голос, продолжал Григорий. — Да потому, что я для них белая ворона. У них — руки, а у меня — от старых музлей — копыто! Они ногами шаркают, а я как ни повернусь — за все цепляюсь. От них личным мылом и разными бабьими притирками пахнет, а от меня конской мочой и потом. Они все ученые, а я с трудом церковную школу кончил. Я им чужой от головы до пяток. Вот все это почему! И выйду я от них, и все мне сдается, будто у меня на лице паутина насела: щелоктно мне, и неприятно страшно, и все хочется пообчиститься. — Григорий бросил рушник на колодезный сруб, обломком костяной расчески причесал волосы. На смуглом лице его резко белел не тронутый загаром лоб. — Не хотят они понять того, что все старое рухнулось к едреной бабушке! — уже тише сказал Григорий. — Они думают, что мы из другого теста деланные, что неученый человек, какой из простых, вроде скотины. Они думают, что в военном деле я или такой, как я, меньше их понимаем. А кто у красных командирами? Буденный — офицер? Вахмистр, старой службы, а не он генералам генерального штаба вкалывал? А не от него топали

офицерские полки? Гусельщиков из казачьих генералов самый боевой, заславный генерал, а не он этой зимой в одних исподниках из Усть-Хоперской ускакал? А знаешь, кто его нагнал на склизкое? Какой-то московский слесарек — командир красного полка. Пленные потом говорили об нем. Это надо понимать! А мы, неученые офицеры, аль плохо водили казаков в восстание? Много нам генералы помогали?

— Помогали немало, — значительно ответил Копылов.

— Ну, может, Кудинову и помогали, а я ходил без помочей и бил красных, чужих советов не слухаясь.

— Так ты что же — науку в военном деле отрицаешь?

— Нет, я науку не отрицаю. Но, брат, не она в войне главное.

— А что же, Пантелеевич?

— Дело, за какое в бой идешь…

— Ну, это уж другой разговор… — Копылов, настороженно улыбаясь, сказал: — Само собой разумеется… Идея в этом деле — главное. Побеждает только тот, кто твердо знает, за что он сражается, и верит в свое дело. Истина эта стара, как мир, и ты напрасно выдаешь ее за сделанное тобою открытие. Я за старое, за доброе старое время. Будь иначе, я и пальцем бы не ворохнул, чтобы идти куда-то и за что-то воевать. Все, кто с нами, — это люди, отстаивающие силой оружия свои старые привилегии, усмиряющие взбунтовавшийся народ. В числе этих усмирителей и мы с тобой. Но я вот давно к тебе приглядываюсь, Григорий Пантелеевич, и не могу тебя понять…

— Потом поймешь. Давай ехать, — бросил Григорий и направился к сараю.

Хозяюшка, караулившая каждое движение Григория, желая угодить ему, предложила:

— Может, молочка бы выпили?

— Спасибо, мамаша, времени нету молоки распивать. Как-нибудь потом.

Прохор Зыков около сарая истово хлебал из чашки кислое молоко. Он и глазом не мигнул, глядя, как Григорий отвязывает коня. Рукавом рубахи вытер губы, спросил:

— Далеко поедешь? И мне с тобой?

Григорий вскипел, с холодным бешенством сказал:

— Ты, зараза, так и этак тебе в душу, службы не знаешь? Почему конь занузданный стоит? Кто должен коня мне подать? Прорва чертова! Все жрешь, никак не нажрешься! А ну, брось ложку! Дисциплины не знаешь!.. Ляда чертова!

— И чего ты расходился? — обиженно бормотал Прохор, угнездившись в седле. — Орешь, а все зря… Тоже не велик в перьях! Что ж, мне и перекусить нельзя перед дорогой? Ну, чего шумишь-то?

— А того, что ты с меня голову сымешь, требуха свиная! Как ты со мной обращаешься? Зараз к генералу едем, так ты у меня гляди!.. А то привык запанибрата!.. Я тебе кто есть? Езжай пять шагов сзади! — приказал Григорий, выезжая из ворот.

Прохор и трое остальных ординарцев приотстали, и Григорий, ехавший рядом с Копыловым, продолжая начатый разговор, насмешливо спросил:

— Ну так чего ты не поймешь? Может, я тебе растолкую?

Не замечая насмешки в тоне и в форме вопроса, Копылов ответил:

— А не пойму я твоей позиции в этом деле, вот что! С одной стороны, ты — борец за старое, а с другой — какое-то, извини меня за резкость, какое-то подобие большевика.

— В чем это я — большевик? — Григорий нахмурился, рывком подвинулся в седле.

— Я не говорю — большевик, а некое подобие большевика.

— Один черт. В чем, спрашиваю?

— А хотя бы и в разговорах об офицерском обществе, об отношении к тебе. Чего ты

хочешь от этих людей? Чего ты вообще хочешь? — добродушно улыбаясь и поигрывая плеткой, допытывался Копылов. Он оглянулся на ординарцев, что-то оживленно обсуждавших, заговорил громче: — Тебя обижает то, что они не принимают тебя в свою среду как равноправного, что они относятся к тебе свысока. Но они правы со своей точки зрения, это надо понять. Правда, ты офицер, но офицер абсолютно случайный в среде офицерства. Даже нося офицерские погоны, ты остаешься, прости меня, неотесанным казаком. Ты не знаешь приличных манер, неправильно и грубо выражаешься, лишен всех тех необходимых качеств, которые присущи воспитанному человеку. Например: вместо того чтобы пользоваться носовым платком, как это делают все культурные люди, ты сморкаешься при помощи двух пальцев, во время еды руки вытираешь то о голенища сапог, то о волосы, после умывания не брезгаешь вытереть лицо лошадиной попонкой, ногти на руках либо обкусываешь, либо срезаешь кончиком шашки. Или еще лучше: помнишь, зимой как-то в Каргинской разговаривал ты при мне с одной интеллигентной женщиной, у которой мужа арестовали казаки, и в ее присутствии застегивал штаны…

— Стало быть, было лучше, если б я штаны оставил расстегнутыми? — хмуро улыбаясь, спросил Григорий.

Лошади их шли шагом бок о бок, и Григорий искоса посматривал на Копылова, на его добродушное лицо, и не без огорчения выслушивал его слова.

— Не в этом дело! — досадливо морщась, воскликнул Копылов. — Но как ты вообще мог принять женщину, будучи в одних брюках, босиком? Ты даже кителя на плечи не накинул, я это отлично помню! Все это, конечно, мелочи, но они характеризуют тебя как человека… Как тебе сказать…

— Да уж говори как проще!

— Ну, как человека крайне невежественного. А говоришь ты как? Ужас! Вместо квартира — фатера, вместо эвакуироваться — экуироваться, вместо как будто — кубыть, вместо артиллерия — антилерия. И, как всякий безграмотный человек, ты имеешь необъяснимое пристрастие к звучным иностранным словам, употребляешь их к месту и не к месту, искажаешь невероятно, а когда на штабных совещаниях при тебе произносятся такие слова из специфически военной терминологии, как дислокация, форсирование, диспозиция, концентрация и прочее, то ты смотришь на говорящего с восхищением и, я бы даже сказал, с завистью.

— Ну уж это ты брешешь! — воскликнул Григорий, и веселое оживление прошло по его лицу. Гладя коня между ушей, почесывая ему под гривой шелковистую теплую кожу, он попросил: — Ну, валяй дальше, разделывай своего командира!

— Слушай, чего ж разделывать-то? И так тебе должно быть ясно, что ты с этой стороны неблагополучен. И после этого ты еще обижаешься, что офицеры к тебе относятся не как к равному. В вопросах приличий и грамотности ты просто пробка! — Копылов сказал нечаянно сорвавшееся оскорбительное слово и испугался. Он знал, как несдержан бывает Григорий в гневе, и боялся вспышки, но, бросив на Григория мимолетный взгляд, тотчас успокоился: Григорий, откинувшись на седле, беззвучно хохотал, сияя из-под усов ослепительным оскалом зубов. И так неожидан был для Копылова результат его слов, так заразителен смех Григория, что он сам рассмеялся, говоря: — Вот видишь, другой, разумный, плакал бы от такого разноса, а ты ржешь… Ну, не чудак ли ты?

— Так, говоришь, стало быть, пробка я? И черт с вами! — отсмеявшись, проговорил Григорий. — Не желаю учиться вашим обхождениям и приличиям. Мне они возле быков будут ни к чему. А бог даст — жив буду, — мне же с быками возиться и не с ними же мне расшаркиваться и говорить: «Ах, подвиньтесь, лысый! Извините меня, рябый! Разрешите мне

поправить на вас ярмо? Милостивый государь, господин бык, покорнейше прошу не заламывать борозденного!» С ними надо покороче: цоб-цобэ, вот и вся бычиная дисклокация.

— Не дисклокация, а дислокация! — поправил Копылов.

— Ну, нехай дислокация. А вот в одном я с тобой не согласный.

— В чем это?

— В том, что я — пробка. Это я у вас — пробка, вот погоди, дай срок, перейду к красным, так у них я буду тяжелей свинца. Уж тогда не попадайтесь мне приличные и образованные дармоеды! Душу буду вынать прямо с потрохом! — полушутя-полусерьезно сказал Григорий и тронул коня, переводя его сразу на крупную рысь.

Утро над Обдоньем вставало в такой тонко выпряденной тишине, что каждый звук, даже нерезкий, рвал ее и будил отголоски. В степи властвовали одни жаворонки да перепела, но в смежных хуторах стоял тот неумолчный негромкий роковитый шум, который обычно сопровождает передвижения крупных войсковых частей. Гремели на выбоинах колеса орудий и зарядных ящиков, возле колодцев ржали кони, согласно, глухо и мягко гоцали шаги проходивших пластунских сотен, погромыхивали брички и хода обывательских подвод, подвозящих к линии фронта боеприпасы и снаряжение; возле походных кухонь сладко пахло разопревшим пшеном, мясным кондером, сдобренным лавровым листом, и свежеиспеченным хлебом.

Под самой Усть-Медведицкой трещала частая ружейная перестрелка, лениво и звучно бухали редкие орудийные выстрелы. Бой только что начинался.

Генерал Фицхелауров завтракал, когда немолодой потасканного вида адъютант доложил:

— Командир Первой повстанческой дивизии Мелехов и начальник штаба дивизии Копылов.

— Проси в мою комнату, — Фицхелауров большой жилистой рукой отодвинул тарелку, заваленную яичной скорлупой, не спеша выпил стакан парного молока и, аккуратно сложив салфетку, встал из-за стола.

Саженного роста, старчески грузный и рыхлый, он казался неправдоподобно большим в этой крохотной казачьей горенке с покосившимися притолоками дверей и подслеповатыми окошками. На ходу поправляя стоячий воротник безупречно сшитого мундира, гулко кашляя, генерал прошел в соседнюю комнату, коротко поклонился вставшим Копылову и Григорию и, не подавая руки, жестом пригласил их к столу.

Придерживая шашку, Григорий осторожно присел на краешек табурета, искоса глянул на Копылова.

Фицхелауров тяжело опустился на хрустнувший под ним венский стул, согнул голенастые ноги, положив на колени крупные кисти рук, густым низким басом заговорил:

— Я пригласил вас, господа офицеры, для того чтобы согласовать кое-какие вопросы… Повстанческая партизанщина кончилась! Ваши части перестают существовать как самостоятельное целое, да целым они, по сути, и не были. Фикция. Они вливаются в Донскую армию. Мы переходим в планомерное наступление, пора все это осознать и безоговорочно подчиняться приказам высшего командования. Почему, извольте ответить, вчера ваш пехотный полк не поддержал наступления штурмового батальона? Почему полк отказался идти в атаку, несмотря на мое приказание? Кто командир вашей так называемой дивизии?

— Я, — негромко ответил Григорий.

— Потрудитесь ответить на вопрос!

— Я только вчера прибыл в дивизию.

— Где вы изволили быть?

— Заезжал домой.

— Командир дивизии во время боевых операций изволит гостить дома! В дивизии — бардак! Распущенность! Безобразие! — Генеральский бас все громче грохотал в тесной комнатушке; за дверями уже ходили на цыпочках и шептались, пересмеиваясь, адъютанты; щеки Копылова все больше и больше бледнели, а Григорий, глядя на побагровевшее лицо генерала, на его сжатые отечные кулаки, чувствовал, как и в нем самом просыпается неудержимая ярость.

Фицхелауров с неожиданной легкостью вскочил, — ухватись за спинку стула, кричал:

— У вас не воинская часть, а красногвардейский сброд!.. Отребье, а не казаки! Вам, господин Мелехов, не дивизией командовать, а денщиком служить!.. Сапоги чистить! Слышите вы?! Почему не был выполнен приказ?! Митинга не провели? Не обсудили? Зарубите себе на носу: здесь вам не товарищи, и большевицких порядков мы не позволим заводить!.. Не позволим!..

— Я попрошу вас не орать на меня! — глухо сказал Григорий и встал, отодвинув ногой табурет.

— Что вы сказали?! — перегнувшись через стол, задыхаясь от волнения, прохрипел Фицхелауров.

— Прошу на меня не орать! — громче повторил Григорий. — Вы вызвали нас для того, чтобы решать… — На секунду смолк, опустил глаза и, не отрывая взгляда от рук Фицхелаурова, сбавил голос почти до шепота: — Ежли вы, ваше превосходительство, опробуете тронуть меня хоть пальцем, — зарублю на месте!

В комнате стало так тихо, что отчетливо слышалось прерывистое дыхание Фицхелаурова. С минуту стояла тишина. Чуть скрипнула дверь. В щелку заглянул испуганный адъютант. Дверь так же осторожно закрылась. Григорий стоял, не снимая руки с эфеса шашки. У Копылова мелко дрожали колени, взгляд его блуждал где-то по стене. Фицхелауров тяжело опустился на стул, старчески покряхтел, буркнул:

— Хорошенькое дело! — И уже совсем спокойно, но не Глядя на Григория: — Садитесь. Погорячились, и хватит. Теперь извольте слушать: приказываю вам немедленно перебросить все конные части… Да садитесь же!..

Григорий присел, рукавом вытер обильный пот, внезапно проступивший на лице.

— …Так вот, все конные части немедленно перебросьте на юго-восточный участок и тотчас же идите в наступление. Правым флангом вы будете соприкасаться со вторым батальоном войскового старшины Чумакова.

— Дивизию я туда не поведу, — устало проговорил Григорий и полез в карман шаровар за платком. Кружевной Натальиной утиркой еще раз вытер пот со лба, повторил: — Дивизию туда не поведу.

— Это почему?

— Перегруппировка займет много времени…

— Это вас не касается. За исход операции отвечаю я.

— Нет, касается, и отвечаете не только вы…

— Вы отказываетесь выполнить мое приказание? — с видимым усилием сдерживая себя, хрипло спросил Фицхелауров.

— Да.

— В таком случае потрудитесь сейчас же сдать командование дивизией! Теперь мне понятно, почему не был выполнен мой вчерашний приказ…

— Это уж как вам угодно, только дивизию я не сдам.

— Как прикажете вас понимать?

— А так, как я сказал. — Григорий чуть заметно улыбнулся.

— Я вас отстраняю от командования! — Фицхелауров повысил голос, и тотчас же Григорий встал.

— Я вам не подчиняюсь, ваше превосходительство!

— А вы вообще-то кому-нибудь подчиняетесь?

— Да, командующему повстанческими силами Кудинову подчиняюсь. А от вас мне все это даже удивительно слухать… Пока мы с вами на равных правах. Вы командуете дивизией, и я тоже. И пока вы на меня не шумите… Вот как только переведут меня в сотенные командиры, тогда — пожалуйста. Но драться… — Григорий поднял грязный указательный палец и, одновременно и улыбаясь, и бешено сверкая глазами, закончил: — …драться и тогда не дам!

Фицхелауров встал, поправил душивший его воротник, с полупоклоном сказал:

— Нам больше не о чем разговаривать. Действуйте как хотите. О вашем поведении я немедленно сообщу в штаб армии, и, смею вас уверить, результаты не замедлят сказаться. Военно-полевой суд у нас пока действует безотказно.

Григорий, не обращая внимания на отчаянные взгляды Копылова, нахлобучил фуражку, пошел к дверям, На пороге он остановился, сказал:

— Вы сообчайте, куда следует, но меня не пужайте, я не из полохливых… И пока не трожьте меня. — Подумал и добавил: — А то боюсь, как бы вас мои казаки не потрепали… — Пинком отворил дверь, гремя шашкой, размашисто зашагал в сенцы.

На крыльце его догнал взволнованный Копылов.

— Ты с ума сошел, Пантелеевич! — шепнул он, в отчаянии сжимая руки.

— Коней! — зычно крикнул Григорий, комкая в руках плеть.

Прохор подлетел к крыльцу чертом.

Выехав за ворота, Григорий оглянулся: трое ординарцев, суетясь, помогали генералу Фицхелаурову взобраться на высоченного, подседланного нарядным седлом коня…

С полверсты скакали молча. Копылов молчал, понимая, что Григорий не расположен к разговору и спорить с ним сейчас небезопасно. Наконец Григорий не выдержал.

— Чего молчишь? — резко спросил он. — Ты из-за чего ездил? Свидетелем был? В молчанку играл?

— Ну, брат, и номер же ты выкинул!

— А он не выкинул?

— Положим, и он не прав. Тон, каким он с нами разговаривал, прямо-таки возмутителен!

— Да разве ж он с нами разговаривал? Он с самого начала заорал, как, окажи, ему шило в зад воткнули!

— Однако и ты хорош! Неповиновение старшему по чину… в боевой обстановке, это, брат…

— Ничего, не это! Вот жалко, что не намахнулся он на меня! Я б его потянул клинком через лоб, ажник черепок бы его хрустнул!

— Тебе и без этого добра не ждать, — с неудовольствием сказал Копылов и перевел коня на шаг. — По всему видно, что теперь они начнут дисциплину подтягивать, держись!

Лошади их, пофыркивая, отгоняя хвостами оводов, шли рядом. Григорий насмешливо оглядел Копылова, спросил:

— Ты из-за чего наряжался-то? Думал, небось, что тебя чаем угощать будут? К столу под белы руки поведут? Побрился, френч вычистил, сапоги наяснил… Я видал, как ты утирку слюнявил да пятнышки на коленях счищал!

— Оставь, пожалуйста! — румянея, защищался Копылов.

— Зря пропали твои труды! — издевался Григорий. — Не токмо чего, но и к ручке тебя

не подпустил.

— С тобой и не этого можно было ожидать, — скороговоркой пробормотал Копылов и, сощурив глаза, изумленно-радостно воскликнул: — Смотри! Это — не наши. Союзники!

Навстречу им по узкому проулку шестерная упряжка мулов везла английское орудие. Сбоку на рыжей куцехвостой лошади ехал англичанин-офицер. Ездовой переднего выноса тоже был в английской форме, но с русской офицерской кокардой на околыше фуражки и с погонами поручика.

Не доезжая нескольких саженей до Григория, офицер приложил два пальца к козырьку своего пробкового шлема, движением головы попросил посторониться. Проулок был так узок, что разминуться можно было, только поставив верховых лошадей вплотную к каменной огороже.

На щеках Григория заиграли желваки. Стиснув зубы, он ехал прямо на офицера. Тот удивленно поднял брови, чуть посторонился. Они с трудом разъехались, и то лишь тогда, когда англичанин положил правую ногу, туго обтянутую крагой, на лоснящийся, гладко вычищенный круп своей породистой кобылицы.

Один из артиллерийской прислуги, русский офицер, судя по внешности, злобно оглядел Григория:

— Кажется, вы могли бы посторониться! Неужто и здесь надо показывать свое невежество?

— Ты проезжай да молчи, сучье вымя, а то я тебе посторонюсь!.. — вполголоса посоветовал Григорий.

Офицер приподнялся на передке, обернулся назад, крикнул:

— Господа! Задержите этого наглеца!

Григорий, выразительно помахивая плетью, шагом пробирался по проулку. Усталые, пропыленные артиллеристы, сплошь безусые, молодые офицерики, озирали его недружелюбными взглядами, но никто не попытался задержать. Шестиорудийная батарея скрылась за поворотом, и Копылов, покусывая губы, подъехал к Григорию вплотную:

— Дуришь, Григорий Пантелеевич! Как мальчишка ведешь себя!

— Ты что, ко мне воспитателем приставлен? — огрызнулся Григорий.

— Мне понятно, что ты озлился на Фицхелаурова, — пожимая плечами, говорил Копылов, — но при чем тут этот англичанин? Или тебе его шлем не понравился?

— Мне он, тут, под Усть-Медведицей, что-то не понравился… ему бы его в другом месте носить… Две собаки грызутся — третья не мешайся, знаешь?

— Ага! Ты, оказывается, против иностранного вмешательства? Но, по-моему, когда за горло берут — рад будешь любой помощи.

— Ну ты и радуйся, а я бы им на нашу землю и ногой ступить не дозволил!

— Ты у красных китайцев видел?

— Ну?

— Это не все равно? Тоже ведь чужеземная помощь.

— Это ты зря! Китайцы к красным добровольцами шли.

— А этих, по-твоему, силою сюда тянули?

Григорий не нашелся, что ответить, долго ехал молча, мучительно раздумывая, потом сказал, и в голосе его зазвучала нескрываемая досада:

— Вот вы, ученые люди, всегда так… Скидок наделаете, как зайцы на снегу! Я, брат, чую, что тут ты неправильно гутаришь, а вот припереть тебя не умею… Давай бросив об этом. Не путляй меня, я и без тебя запутанный!

Копылов обиженно умолк, и больше до самой квартиры они не разговаривали. Один

лишь снедаемый любопытством Прохор догнал было их, спросил:

— Григорий Пантелевич, ваше благородие, скажи на милость, что это такое за животная у кадетов под орудиями? Ухи у них, как у ослов, а остальная справа — натуральная лошадиная. На эту скотину аж глядеть неудобно… Что это за черт, за порода, — объясни, пожалуйста, а то мы под деньги заспорили…

Минут пять ехал сзади, так и не дождался ответа, отстал и, когда поравнялись с ним остальные ординарцы, шепотом сообщил:

— Они, ребята, едут молчаком и сами, видать, диву даются и ни черта не знают, откуда такая пакость на белом свете берется…

XI

Казачьи сотни четвертый раз вставали из неглубоких окопов и под убийственным пулеметным огнем красных залегали снова. Красноармейские батареи, укрытые лесом левобережья, с самой зари безостановочно обстреливали позиции казаков и накоплявшиеся в ярах резервы.

Молочно-белые тающие облачка шрапнели вспыхивали над обдонскими высотами. Впереди и позади изломанной линии казачьих окопов пули схватывали бурую пыль.

К полудню бой разгорелся, и западный ветер далеко по Дону нес гул артиллерийской стрельбы.

Григорий с наблюдательного пункта повстанческой батареи следил в бинокль за ходом боя. Ему видно было, как, несмотря на потери, перебежками упорно шли в наступление офицерские роты. Когда огонь усиливался, они ложились, окапываясь, и опять бросками передвигались к новому рубежу; а левее, в направлении к монастырю, повстанческая пехота никак не могла подняться. Григорий набросал записку Ермакову, послал ее со связным.

Через полчаса прискакал распаленный Ермаков. Он спешился возле батарейской коновязи, тяжело дыша, поднялся к окопу наблюдателя.

— Не могу поднять казаков! Не встают! — еще издали закричал он, размахивая руками. — У нас уж двадцати трех человек как не было! Видал, как красные пулеметами режут?

— Офицеры идут, а ты своих поднять не можешь? — сквозь зубы процедил Григорий.

— Да ты погляди, у них на каждый взвод по ручному пулемету да патронов по ноздри, а мы с чем?!

— Но-но, ты мне не толкуй! Зараз же веди, а то голову сымем!

Ермаков матерно выругался, сбежал с кургана. Следом за ним пошел Григорий. Он решил сам вести в атаку 2-й пехотный полк.

Около крайнего орудия, искусно замаскированного ветками боярышника, его задержал командир батареи:

— Полюбуйся, Григорий Пантелевич, на английскую работу. Сейчас они начнут по мосту бить. Давай подымемся на курганик?

В бинокль была чуть видна тончайшая полоска понтонного моста, перекинутого через Дон красными саперами. По ней беспрерывным потоком катились подводы.

Минут через десять английская батарея, расположившаяся за каменистой грядой, в лощине, повела огонь. Четвертым снарядом мост был разрушен почти на середине. Поток подвод приостановился. Видно было, как красноармейцы, суетясь, сбрасывали в Дон разбитые брички и трупы лошадей.

Тотчас же от правого берега отвалили четыре баркаса с саперами. Но не успели они

заделать разрушенный настил на мосту, как английская батарея снова послала пачку снарядов. Один из них разворотил въездную дамбу на левом берегу, второй взметнул возле самого моста зеленый столб воды, и возобновившееся движение по мосту снова приостановилось.

— А и точно же бьют, сукины сыны! — с восхищением сказал командир батареи. — Теперь они до ночи не дадут им переправляться. Мосту этому не быть живу!

Григорий, не отнимая от глаз бинокля, спросил:

— Ну, а ты чего молчишь? Поддержал бы свою пехоту. Ведь вон они, пулеметные гнезда.

— И рад бы, да ни одного снаряда нету! С полчаса назад кинул последний и заговел.

— Так чего же ты тут стоишь? Берись на передки и езжай к чертовой матери!

— Послал к кадетам за снарядами.

— Не дадут, — решительно сказал Григорий.

— Раз уж отказали, послал в другой раз. Может, смилуются. Да нам хоть бы десяточка два, чтобы подавить вот эти пулеметы. Шутка дело — двадцать три души наших побили. А еще сколько покладут? Глянь, как они строчат!..

Григорий перевел взгляд на казачьи окопы — возле них на косогоре пули по-прежнему рыли сухую землю. Там, где ложилась пулеметная очередь, возникала полоска пыли, словно кто-то невидимый молниеносно проводил вдоль окопов серую тающую черту. На всем протяжении казачьи окопы как бы дымились, заштрихованные пылью.

Теперь Григорий уже не следил за попаданиями английской батареи. Минуту он прислушивался к неумолчной артиллерийской и пулеметной стрельбе, а потом сошел с кургана, догнал Ермакова.

— Не ходи в атаку до тех пор, пока не получишь от меня приказа. Без артиллерийской поддержки мы их не собьем.

— А я тебе не это говорил? — укоризненно сказал Ермаков, садясь на своего разгоряченного скачкой и стрельбой коня.

Григорий провожал глазами бесстрашно скакавшего под выстрелами Ермакова, с тревогой думая: «И чего его черт понес напрямки? Скосят пулеметом! Спустился бы в лощину, по теклине поднялся вверх и за бугром без опаски добрался бы до своих». Ермаков бешеным карьером доскакал до лощины, нырнул в нее и на той стороне не показался. «Значит, понял! Теперь доберется», — облегченно решил Григорий и прилег возле кургана, не спеша свернул цигарку.

Странное равнодушие овладело им! Нет, не поведет он казаков под пулеметный огонь. Незачем. Пусть идут в атаку офицерские штурмовые роты. Пусть они забирают Усть-Медведицкую. И тут, лежа под курганом, впервые Григорий уклонился от прямого участия в сражении. Не трусость, не боязнь смерти или бесцельных потерь руководили им в этот момент. Недавно он не щадил ни своей жизни, ни жизни вверенных его командованию казаков. А вот сейчас словно что-то сломалось… Еще никогда до этого не чувствовал он с такой предельной ясностью всю никчемность происходившего. Разговор ли с Копыловым или стычка с Фицхелауровым, а может быть, то и другое вместе взятое, было причиной того настроения, которое так неожиданно сложилось у него, но только под огонь он решил больше не идти. Он неясно думал о том, что казаков с большевиками ему не примирить, да и сам в душе не мог примириться, а защищать чуждых по духу, враждебно настроенных к нему людей, всех этих Фицхелауровых, которые глубоко его презирали и которых не менее глубоко презирал он сам, — он тоже больше не хотел и не мог. И снова со всей беспощадностью встали перед ним прежние противоречия. «Нехай воюют. Погляжу со стороны. Как только возьмут у меня дивизию — буду проситься из строя в тыл. С меня хватит!» — думал он и, мысленно вернувшись к спору с Копыловым, поймал себя на том, что ищет оправдания

красным. «Китайцы идут к красным с голыми руками, поступают к ним и за хреновое солдатское жалованье каждый день рискуют жизнью. Да и при чем тут жалованье? Какого черта на него можно купить? Разве что в карты проиграть… Стало быть, тут корысти нету, что-то другое… А союзники присылают офицеров, танки, орудия, вон даже мулов и то прислали! А потом будут за все это требовать длинный рубль. Вот она в чем разница! Ну, да мы об этом еще вечером поспорим! Как приеду в штаб, так отзову его в сторону и скажу: а разница-то есть, Копылов, и ты мне голову не морочь!»

Но поспорить так и не пришлось. Во второй половине дня Копылов поехал к месторасположению 4-го полка, находившегося в резерве, и по пути был убит шальной пулей. Григорий узнал об этом два часа спустя…

Наутро Усть-Медведицкую с боем заняли части 5-й дивизии генерала Фицхелаурова.

XII

Дня через три после отъезда Григория явился в хутор Татарский Митька Коршунов. Приехал он не один, его сопровождали двое сослуживцев по карательному отряду. Один из них был немолодой калмык, родом откуда-то с Маныча, другой — невзрачный казачишка Распопинской станицы. Калмыка Митька презрительно именовал «ходей», а распопинского пропойцу и бестию величал Силантием Петровичем.

Видно, немалую службу сослужил Митька Войску Донскому, будучи в карательном отряде: за зиму был он произведен в вахмистры, а затем в подхорунжий и в хутор приехал во всей красе новой офицерской формы. Надо думать, что неплохо жилось ему в отступлении, за Донцом; легкий защитный френч так и распирали широченные Митькины плечи, на тугой стоячий воротник набегали жирные складки розовой кожи, сшитые в обтяжку синие диагоналевые штаны с лампасами чуть не лопались сзади… Быть бы Митьке по его наружным достоинствам лейб-гвардии атаманцем, жить бы при дворце и охранять священную особу его императорского величества, если бы не эта окаянная революция. Но Митька и без этого на жизнь не жаловался. Добился и он офицерского чина, да не так, как Григорий Мелехов, рискуя головой и бесшабашно геройствуя. Чтобы выслужиться, в карательном отряде от человека требовались иные качества… А качеств этих у Митьки было хоть отбавляй: не особенно доверяя казакам, он сам водил на распыл заподозренных в большевизме, не брезгал собственноручно, при помощи плети или шомпола, расправляться с дезертирами, а уж по части допроса арестованных — во всем отряде не было ему равного, и сам войсковой старшина Прянишников, пожимая плечами, говорил: «Нет, господа, как хотите, а Коршунова превзойти невозможно! Дракон, а не человек!» И еще одним замечательным свойством отличался Митька: когда карателям арестованного нельзя было расстрелять, а не хотелось выпускать живым из рук, — его присуждали к телесному наказанию розгами и поручали выполнить это Митьке. И он выполнял, да так, что после пятидесяти ударов у наказываемого начиналась безудержная кровавая рвота, а после ста — человека, не ослушивая, уверенно заворачивали в рогожу… Из-под Митькиных рук еще ни один осужденный живым не вставал. Он сам, посмеиваясь, не раз говаривал: «Ежли б мне со всех красных, побитых мною, посымать штаны да юбки — весь хутор Татарский одел бы!».

Жестокость, свойственная Митькиной натуре с детства, в карательном отряде не только нашла себе достойное применение, но и, ничем не будучи взнуздываема, чудовищно возросла. Соприкасаясь по роду своей службы со всеми стекавшимися в отряд подонками офицерства, — с кокаинистами, насильниками, грабителями и прочими интеллигентными

мерзавцами, — Митька охотно, с крестьянской старательностью, усваивал все то, чему они его в своей ненависти к красным учили, и без особого труда превосходил учителей. Там, где уставший от крови и чужих страданий неврастеник-офицер не выдерживал, — Митька только щурил свои желтые, мелкой искрой крапленные глаза и дело доводил до конца.

Таким стал Митька, попав в казачьей части на легкие хлеба — в карательный отряд войскового старшины Прянишникова.

Появившись в хуторе, он, важничая и еле отвечая на поклоны встречавшихся баб, шагом проехал к своему куреню. Возле полуобгоревших, задымленных ворот спешился, отдал поводья калмыку, широко расставляя ноги, прошел во двор. Сопровождаемый Силантием, молча обошел вокруг фундамента, кончиком плети потрогал слившийся во время пожара, отсвечивающий бирюзой комок стекла, сказал охрипшим от волнения голосом:

— Сожгли… А курень был богатый! Первый в хуторе. Наш хуторной сжег. Мишка Кошевой. Он же и деда убил. Так-то, Силантий Петров, пришлось проведать родимую пепелищу…

— А с этих Кошевых есть кто дома? — с живостью спросил тот.

— Должно быть, есть. Да м-ы повидаемся с ними… А зараз поедем к нашим сватам.

По дороге к Мелеховым Митька спросил у встретившейся снохи Богатыревых:

— Мамаша моя вернулась из-за Дону?

— Кубыть, не вернулась ишо, Митрий Мироныч.

— А сват Мелехов дома?

— Старик-то?

— Да.

— Старик дома, словом — вся семья дома, опричь Григория. Петра-то убили зимой, слыхал?

Митька кивнул головой и тронул коня рысью.

Он ехал по безлюдной улице, и в желтых кошачьих глазах его, пресыщенных и холодных, не было и следа недавней взволнованной живости. Подъезжая к мелеховскому базу и ни к кому из спутников не обращаясь в отдельности, негромко сказал:

— Так-то встречает родимый хутор! Пообедать и то надо к родне ехать… Ну-ну, ишо потягаемся!..

Пантелей Прокофьевич ладил под сараем лобогрейку. Завидев конных и признав среди них Коршунова, пошел к воротам.

— Милости просим, — радушно сказал он, открывая калитку. — Гостям рады! С прибытием!

— Здравствуй, сват! Живой-здоровый?

— Слава богу, покуда ничего. Да ты, никак, уж в офицерах ходишь?

— А ты думал, одним твоим сынам белые погоны носить? — самодовольно сказал Митька, подавая старику длинную жилистую руку.

— Мои до них не дюже охочи были, — с улыбкой ответил Пантелей Прокофьевич и пошел вперед, чтобы указать место, куда поставить лошадей.

Хлебосольная Ильинична накормила гостей обедом, а уж потом начались разговоры. Митька подробно выспрашивал обо всем касающемся его семьи и был молчалив и ничем не выказывал ни гнева, ни печали. Будто мимоходом спросил, остался ли в хуторе кто из семейства Мишки Кошевого, и, узнав, что дома осталась Мишкина мать с детьми, коротко и незаметно для других подмигнул Силантию.

Гости вскоре засобирались. Провожая их, Пантелей Прокофьевич спросил:

— Долго думаешь прогостить в хуторе?

— Да так дня два-три.

— Матерю-то повидаешь?

— А это как прийдется.

— Ну, а зараз далеко отъезжаешь?

— Так… Повидать кое-кого из хуторных. Мы скоро прибудем.

Митька со своими спутниками не успел еще вернуться к Мелеховым, а уж по хутору покатилась молва: «Коршунов с калмыками приехал, всю семью Кошевого вырезали!»

Ничего не слышавший Пантелей Прокофьевич только что пришел из кузницы с косогоном и снова собрался было налаживать лобогрейку, но его позвала Ильинична:

— Поди-ка сюда, Прокофич! Да попроворней!

В голосе старухи прозвучали нотки нескрываемой тревоги, и удивленный Пантелей Прокофьевич тотчас направился в хату.

Заплаканная, бледная Наталья стояла у печки. Ильинична указала глазами на Аникушкину жену, глухо спросила:

— Слыхал новость, старик?

«Ох, с Григорием что-то… Сохрани и помилуй!» — опалила Пантелея Прокофьевича догадка. Он побледнел и, в страхе и ярости оттого, что никто ничего не говорит, крикнул:

— Скорей выкладывайте, будь вы прокляты!.. Ну, что случилось? С Григорием?.. — И, словно обессилевший от крика, опустился на лавку, поглаживая трясущиеся ноги.

Дуняшка первая сообразила, что отец боится черных вестей о Григории, поспешно сказала:

— Нет, батенька, это не об Грише весть. Митрий Кошевых побил.

— Как, то есть, побил? — У Пантелея Прокофьевича разом отлегло от сердца, и, еще не понимая смысла сказанных Дуняшкой слов, он снова переспросил: — Кошевых? Митрий?

Аникушкина жена, прибежавшая с новостями, сбиваясь, начала рассказывать:

— Ходила я, дяденька, телка искать и вот иду мимо Кошевых, а Митрий и с ним ишо двое служивых подъехали к базу и пошли в дома. Я и думаю: телок дальше ветряка не уйдет — очередь пасть телят была…

— Да на черта мне твой телок! — гневно прервал Пантелей Прокофьевич.

— …И пошли они в дома, — захлебываясь, продолжала баба, — а я стою, жду. «Не с добром, думаю, они сюда приехали». И начался там крик, и слышно — бьют. Испугалась я до смерти, хотела бечь, да только отошла от плетня, слышу — топочут сзади; оглянулась, а это Митрий ваш накинул старухе оборку на шею и волокет ее по земле, чисто как собаку, прости господи! Подтянул ее к сараю, она, сердешная, и голосу не отдает, должно, уж без памяти была; калмык, какой с ним был, сигнул на переруб… Гляжу — Митрий конец оборки ему кинул и шумит: «Подтяни и завязывай узлом!» Ох, страсти я натерпелась! На моих глазах и задушили бедную старуху, а после вскочили на коней и поехали по проулку, должно, к правлению. В хату-то я побоялась идти… А видала, как из сенцев, прямо из-под дверей, кровь на приступки текла. Не дай и не приведи господи ишо раз такую страсть видать!

— Хороших гостей нам бог послал! — выжидающе глядя на старика, сказала Ильинична.

Пантелей Прокофьевич в страшном волнении выслушал рассказ и, не сказав ни слова, сейчас же вышел в сени.

Вскоре возле ворот показался Митька со своими подручными. Пантелей Прокофьевич проворно захромал им навстречу.

— Постой-ка! — крикнул он еще издали. — Не вводи коней на баз!

— Что такое, сваток? — удивленно спросил Митька.

— Поворачивай обратно! — Пантелей Прокофьевич подошел вплотную и, глядя в

желтые мерцающие Митькины глаза, твердо сказал: — Не гневайся, сват, но я не хочу, чтобы ты был в моем курене. Лучше подобру уезжай, куда знаешь.

— А-а-а… — понимающе протянул Митька и побледнел. — Выгоняешь, стало быть?..

— Не хочу, чтобы ты поганил мой дом! — решительно повторил старик. — И больше чтоб и нога твоя ко мне не ступала. Нам, Мелеховым, палачи не сродни, так-то!

— Понятно! Только больно уж ты жалостлив, сваток!

— Ну уж ты, должно, милосердия не поимеешь, коли баб да детишков начал казнить! Ох, Митрий, негожее у тебя рукомесло… Не возрадовался бы твой покойный отец, глядючи на тебя!

— А ты, старый дурак, хотел бы, чтобы я с ними цацкался? Батю убили, деда убили, а я бы с ними христосовался? Иди ты — знаешь куда?.. — Митька яростно дернул повод, вывел коня за калитку.

— Не ругайся, Митрий, ты мне в сыны гож. И делить нам с тобой нечего, езжай с богом!

Все больше и больше бледнея, грозя плетью, Митька глухо покрикивал:

— Ты не вводи меня в грех, не вводи! Наталью жалко, а то бы я тебя, милостивца… Знаю вас! Вижу наскрозь, каким вы духом дышите! За Донец в отступ не пошли? Красным передались? То-то!.. Всех бы вас надо, сукиных сынов, как Кошевых, перевесть! Поехали, ребята! Ну, хромой кобель, гляди не попадайся мне! Из моей горсти не высигнешь! А хлеб-соль твою я тебе попомню! Я такую родню тоже намахивал!..

Пантелей Прокофьевич дрожащими руками запер калитку на засов, захромал в дом.

— Выгнал твоего братца, — сказал он, не глядя на Наталью.

Наталья промолчала, хотя в душе она и была согласна с поступками свекра, а Ильинична быстро перекрестилась и обрадованно сказала:

— И слава богу: унесла нелегкая! Извиняй на худом слове, Натальюшка, но Митька ваш оказался истым супостатом! И службу-то себе такую нашел: нет чтобы, как и другие казаки, в верных частях служить, а он — вишь! — поступил в казнительный отряд! Да разве ж это казацкое дело — казнителем быть, старух вешать да детишков безвинных шашками рубить?! Да разве они за Мишку своего ответчики? Этак и нас с тобой и Мишатку с Полюшкой за Гришу красные могли бы порубить, а ить не порубили же, поимели милость? Нет, оборони господь, я с этим несогласная!

— Я за брата и не стою, маманя… — только и сказала Наталья, кончиком платка вытирая слезы.

Митька уехал из хутора в этот же день. Слышно было, будто пристал он к своему карательному отряду где-то около Каргинской и вместе с отрядом отправился наводить порядки в украинских слободах Донецкого округа, население которых было повинно в том, что участвовало в подавлении Верхнедонского восстания.

После его отъезда с неделю шли по хутору толки. Большинство осуждало самосудную расправу над семьей Кошевого. На общественные средства похоронили убитых; хатенку Кошевых хотели было продать, но покупателей не нашлось. По приказу хуторского атамана ставни накрест забили досками, и долго еще ребятишки боялись играть около страшного места, а старики и старухи, проходя мимо выморочной хатенки, крестились и поминали за упокой души убиенных.

Потом наступил степной покос, и недавние события забылись.

Хутор по-прежнему жил в работе, и слухах о фронте. Те из хозяев, у которых уцелел рабочий скот, кряхтели и поругивались, поставляя обывательские подводы. Почти каждый день приходилось отрывать быков и лошадей от работы и посылать в станицу. Выпрягая из косилок лошадей, не один раз недобрым словом поминали старики затянувшуюся войну. Но

снаряды, патроны, мотки колючей проволоки, продовольствие надо было подвозить к фронту. И везли. А тут, как назло, установились такие погожие дни, что только бы косить да грести подоспевшую, на редкость кормовитую траву.

Пантелей Прокофьевич готовился к покосу и крепко досадовал на Дарью. Повезла она на паре быков патроны, с перевалочного пункта должна была возвратиться, но прошла неделя, а о ней и слуха не было; без пары же старых, самых надежных быков в степи нечего было и делать.

По сути, не надо бы посылать Дарью… Пантелей Прокофьевич скрепя сердце доверил ей быков, зная, как охоча она до веселого времяпровождения и как нерадива в уходе за скотом, но, кроме нее, никого не нашлось. Дуняшку нельзя было послать, потому что не девичье дело ехать с чужими казаками в дальнюю дорогу; у Натальи — малые дети; не самому же старику было везти эти проклятые патроны? А Дарья с охотой вызвалась ехать. Она и раньше с большим удовольствием ездила всюду: на мельницу ли, на просорушку или еще по какой-либо хозяйской надобности, и все лишь потому, что вне дома чувствовала себя несравненно свободнее. Ей каждая поездка приносила развлечение и радость. Вырвавшись из-под свекровьиного присмотра, она могла и с бабами досыта посудачить, и — как она говаривала — «на ходу любовь покрутить» с каким-нибудь приглянувшимся ей расторопным казачком: А дома и после смерти Петра строгая Ильинична не давала ей воли, как будто Дарья, изменявшая живому мужу, обязана была соблюдать верность мертвому.

Знал Пантелей Прокофьевич, что не будет за быками хозяйского догляда, но делать было нечего, — снарядил в поездку старшую сноху. Снарядить-то снарядил, да и прожил всю неделю в великой тревоге и душевном беспокойстве. «Луснули мои бычки!» — не раз думал он, просыпаясь среди ночи, тяжело вздыхая.

Дарья приехала на одиннадцатые сутки утром. Пантелей Прокофьевич только что вернулся с поля. Он косил в супряге с Аникушкиной женой и, оставив ее и Дуняшку в степи, приехал в хутор за водой и харчами. Старики и Наталья завтракали, когда мимо окон — со знакомым перестуком — загремели колеса брички. Наталья проворно подбежала к окну, увидела закутанную по самые глаза Дарью, вводившую усталых, исхудавших быков.

— Она, что ли? — спросил старик, давясь непрожеванным куском.

— Дарья!

— Не чаял и увидать быков! Ну, слава тебе господи! Хлюстанка проклятая! Насилу-то прибилась к базу… — забормотал старик, крестясь и сыто рыгая.

Разналыгав быков, Дарья вошла в кухню, положила у порога вчетверо сложенное рядно, поздоровалась с домашними.

— А то чего ж, милая моя! Ты бы ишо неделю ездила! — с сердцем сказал Пантелей Прокофьевич, исподлобья глянув на Дарью и не отвечая на приветствие.

— Ехали бы сами! — огрызнулась та, снимая с головы пропыленный платок.

— Чего ж так долго ездила? — вступила в разговор Ильинична, чтобы сгладить неприязненность встречи.

— Не пускали, того и долго.

Пантелей Прокофьевич недоверчиво покачал головой, спросил:

— Христонину бабу с перевалочного пустили, а тебя нет?

— А меня не пустили! — Дарья зло сверкнула глазами, добавила: — Ежли не верите — поезжайте спросите у начальника, какой обоз сопровождал.

— Справляться о тебе мне незачем, но уж в другой раз посиди дома. Тебя только за смертью посылать.

— Загрозили вы мне! Ох, загрозили! Да я и сама не поеду! Посылать будете, и не поеду!

— Быки-то здоровые? — уже мирнее спросил старик.

— Здоровые. Ничего вашим быкам не поделалось… — Дарья отвечала нехотя и была мрачнее ночи.

«Разлучилась в дороге с каким-нибудь милым, через это и злая», — подумала Наталья.

Она всегда относилась к Дарье и ее нечистоплотным любовным увлечениям с чувством сожаления и брезгливости.

После завтрака Пантелей Прокофьевич собрался ехать, но тут пришел хуторской атаман.

— Сказал бы — в час добрый, да погоди, Пантелей Прокофьевич, не выезжай.

— Уж не сызнова ли за подводой прибег? — с деланным смирением спросил старик, а у самого от ярости даже дух захватило.

— Нет, тут другая музыка. Нынче приезжает к нам сам командующий всей Донской армией, сам генерал Сидорин. Понял? Зараз получил с нарочным бумажку от станичного атамана, приказывает стариков и баб всех до одного собрать на сходку.

— Да они в уме? — вскочил Пантелей Прокофьевич. — Да кто же это в такую горячую пору сходки устраивает? А сена мне на зиму припасет твой генерал Сидорин?

— Он одинаково и твой такой же, как и мой, — спокойно ответил атаман. — Мне что приказано, то и делаю. Распрягай! Надо хлебом-солью встречать. Гутарют, промежду прочим, будто с ним союзниковы генералы едут.

Пантелей Прокофьевич молча постоял около арбы, поразмыслил и начал распрягать быков. Видя, что сказанное им возымело действие, повеселевший атаман спросил:

— Твоей кобылкой нельзя ли попользоваться?

— Чего тебе ей делать?

— Приказано, еж их наколи, две тройки выслать навстречу ажник к Дурному логу. А где их, тарантасы, брать и лошадей — ума не приложу! До света встал, бегаю, раз пять рубаха взмокла — и только четырех лошадей добыл. Народ весь в работе, прямо хучь криком кричи!

Смирившийся Пантелей Прокофьевич согласился дать кобылу и даже свой рессорный тарантасишко предложил. Как-никак, а ехал командующий армией, да еще с иноземными генералами, а к генералам Пантелей Прокофьевич всегда испытывал чувство трепетного уважения…

Стараниями атамана две тройки кое-как были собраны и высланы к Дурному логу встречать почетных гостей. На плацу собирался народ. Многие, бросив покос, спешили со степи в хутор.

Пантелей Прокофьевич, махнув рукой на работу, принарядился, надел чистую рубаху, суконные шаровары с лампасами, фуражку, некогда привезенную Григорием в подарок, и степенно захромал на майдан, наказав старухе, чтобы отправила с Дарьей воду и харчи Дуняшке.

Вскоре густая пыль взвихрилась на шляху и потоком устремилась к хутору, а сквозь нее блеснуло что-то металлическое, и издалека донесся певучий голос автомобильной сирены. Гости ехали на двух новехоньких, блещущих темно-синей краской автомобилях; где-то далеко позади, обгоняя едущих с покоса косарей, порожняком скакали тройки и уныло позванивали под дугами почтарские колокольчики, добытые для торжественного случая атаманом. На плацу в толпе прошло заметное оживление, зазвучал говор, послышались веселые восклицания ребят. Растерявшийся атаман засновал по толпе, собирая почетных стариков, коим надлежало вручать хлеб-соль. На глаза ему попался Пантелей Прокофьевич, и атаман обрадованно вцепился в него:

— Выручай, ради Христа! Человек ты бывалый, знаешь обхождение… Уж ты знаешь, как с ними и ручкаться, и все такое… Да ты же и член Круга, и сын у тебя такой… Пожалуйста,

бери хлеб-соль, а то я вроде робею, и дрожание у меня в коленях.

Пантелей Прокофьевич — донельзя польщенный честью — отказывался, соблюдая приличия, потом, как-то сразу вобрав голову в плечи, проворно перекрестился и взял покрытое расшитым рушником блюдо с хлебом-солью; расталкивая локтями толпу, вышел вперед.

Автомобили быстро приближались к плацу, сопровождаемые целым табуном охрипших от лая разномастных собак.

— Ты… как? Не робеешь? — шепотом справился у Пантелея Прокофьевича побледневший атаман. Он впервые видел столь большое начальство. Пантелей Прокофьевич искоса блеснул на него синеватыми белками, сказал осипшим от волнения голосом:

— На, подержи, пока я бороду причешу. Бери же!

Атаман услужливо принял блюдо, а Пантелей Прокофьевич разгладил усы и бороду, молодецки расправил грудь и, опираясь на кончики пальцев искалеченной ноги, чтобы не видно было его хромоты, снова взял блюдо, Но оно так задрожало в его руках, что атаман испуганно осведомился:

— Не уронишь? Ох, гляди!

Пантелей Прокофьевич пренебрежительно дернул плечом. Это он-то уронит! Может же человек сказать такую глупость! Он, который был членом Круга и во дворце наказного здоровался со всеми за руку, и вдруг испугается какого-то генерала? Этот несчастный атаманишка окончательно спятил с ума!

— Я, братец ты мой, когда был на Войсковом кругу, так я с самим наказным атаманом чай внакладку… — начал было Пантелей Прокофьевич и умолк.

Передний автомобиль остановился от него в каких-нибудь десяти шагах. Бритый шофер в фуражке с большим козырьком и с узенькими нерусскими погонами на френче ловко выскочил, открыл дверцу. Из автомобиля степенно вышли двое одетых в защитное военных, направились к толпе. Они шли прямо на Пантелея Прокофьевича, а тот, как стал навытяжку, так и замер. Он догадался, что именно эти скромно одетые люди и есть генералы, а те, которые шли позади и были по виду наряднее — попросту чины сопровождающей их свиты. Старик смотрел на приближающихся гостей не мигая, и во взгляде его все больше отражалось нескрываемое изумление. Где же висячие генеральские эполеты? Где аксельбанты и ордена? И что же это за генералы, если по виду их ничем нельзя отличить от обыкновеннейших солдатских писарей? Пантелей Прокофьевич был мгновенно и горько разочарован. Ему стало даже как-то обидно и за свое торжественное приготовление к встрече, и за этих позорящих генеральское звание генералов. Черт возьми, если б он знал, что явятся этакие-то генералы, так и не одевался бы столь тщательно, и не ждал бы с таким трепетом, и уж, во всяком случае, не стоял бы, как дурак, с блюдом в руках и с плохо пропеченным хлебом на блюде, который и пекла-то какая-нибудь сопливая старуха. Нет, Пантелей Мелехов еще никогда не был посмешищем для людей, а вот тут пришлось: минуту назад он сам слышал, как за его спиной хихикали ребятишки, а один чертенок даже крикнул во всю глотку: «Ребята! Гля, как хромой Мелехов наклонился. Будто ерша проглотил!» Было бы из-за чего переносить насмешки и утруждать больную ногу, вытянувшись в струну… Внутри у Пантелея Прокофьевича все клокотало от негодования. А всему виной этот проклятый трус атаманишка! Пришел, набрехал, взял кобылу и тарантас, по всему хутору бегал, высунувши язык, громышки и колокольцы для троек искал. Воистину: хорошего не видал человек, так и ветошке рад. За свою бытность Пантелей Прокофьевич не таких генералов видывал! Взять хотя бы на императорском смотру: иной идет — вся грудь в крестах, в медалях, в золотом шитве; глядеть, и то душа радуется, икона, а не генерал! А эти

— все в зеленом, как сизоворонки. На одном даже не фуражка, как полагается по всей форме, а какой-то котелок под кисеей, и морда вся выбрита наголо, ни одной волосинки не найдешь, хоть с фонарем ищи… Пантелей Прокофьевич нахмурился и чуть не сплюнул от отвращения, но его кто-то сильно толкнул в спину, громко зашептал:

— Иди же, подноси!..

Пантелей Прокофьевич шагнул вперед. Генерал Сидорин через его голову бегло оглядел толпу, звучно произнес:

— Здравствуйте, господа старики!

— Здравия желаем, ваше превосходительство! — вразброд загомонили хуторяне.

Генерал милостиво принял хлеб-соль из рук Пантелея Прокофьевича, сказал «спасибо!» и передал блюдо адъютанту.

Стоявший рядом с Сидориным высокий поджарый английский полковник из-под низко надвинутого на глаза шлема с холодным любопытством рассматривал казаков. По приказу генерала Бриггса — начальника британской военной миссии на Кавказе — он сопровождал Сидорина в его инспекционной поездке по очищенной от большевиков земле Войска Донского и при посредстве переводчика добросовестно изучал настроения казаков, а также знакомился с обстановкой на фронтах.

Полковник был утомлен дорожными лишениями, однообразным степным пейзажем, скучными разговорами и всем сложным комплексом обязанностей представителя великой державы, но интересы королевской службы — прежде всего! И он внимательно вслушивался в речь станичного оратора и почти все понимал, так как знал русский язык, скрывая это от посторонних. С истинно британским высокомерием смотрел он на разнохарактерные смуглые лица этих воинственных сынов степей, поражаясь тому расовому смешению, которое всегда бросается в глаза при взгляде на казачью толпу; рядом с белокурым казаком-славянином стоял типичный монгол, а по соседству с ним черный, как вороново крыло, молодой казак, с рукой на грязной перевязи, вполголоса беседовал с седым библейским патриархом — и можно было биться об заклад, что в жилах этого патриарха, опирающегося на посох, одетого в старомодный казачий чекмень, течет чистейшая кровь кавказских горцев…

Полковник немного знал историю; рассматривая казаков, он думал о том, что не только этим варварам, но и внукам их не придется идти в Индию под командованием какого-нибудь нового Платова. После победы над большевиками обескровленная гражданской войной Россия надолго выйдет из строя великих держав, и в течение ближайших десятилетий восточным владениям Британии уже ничто не будет угрожать. А что большевиков победят — полковник был твердо убежден. Он был человеком трезвого ума, до войны долго жил в России и, разумеется, никак не мог верить, чтобы в полудикой стране восторжествовали утопические идеи коммунизма…

Внимание полковника привлекли громко перешептывавшиеся бабы. Он, не поворачивая головы, оглядел их скуластые обветренные лица, и твердо сжатые губы его тронула чуть приметная презрительная усмешка.

Пантелей Прокофьевич, вручив хлеб-соль, замешался в толпе. Он не стал слушать, как от имени казачьего населения станицы Вешенской приветствовал приехавших какой-то вешенский краснобай, а, околесив толпу, направился к стоявшим поодаль тройкам.

Лошади были все в мыле и тяжело носили боками. Старик подошел к своей впряженной в корень кобылке, рукавом протер ее ноздри, вздохнул. Ему хотелось выругаться, тут же выпрячь кобылу и увести ее домой — так велико было его разочарование.

В это время генерал Сидорин держал к татарцам речь. Одобрительно отозвавшись об их боевых действиях в тылу у красных, он сказал:

— Вы мужественно сражались с нашими общими врагами. Ваши заслуги не будут забыты родиной, постепенно освобождающейся от большевиков, от их страшного ига. Мне хотелось бы отметить наградой тех женщин вашего хутора, которые, как нам известно, особенно отличились в вооруженной борьбе против красных. Я прошу выйти вперед наших героинь-казачек, фамилии которых будут сейчас оглашены!

Один из офицеров прочитал короткий список. Первой в нем значилась Дарья Мелехова, остальные были вдовы казаков, убитых в начале восстания, участвовавшие, как и Дарья, в расправе над пленными коммунистами, пригнанными в Татарский после сдачи Сердобского полка.

Дарья не поехала в поле, как приказывал Пантелей Прокофьевич. Она оказалась тут же, в толпе хуторских баб, и была разнаряжена, словно на праздник.

Как только она услышала свою фамилию, растолкала баб и смело пошла вперед, на ходу поправляя белый, с кружевной каемкой, платок, щуря глаза и слегка смущенно улыбаясь. Даже усталая после дороги и любовных приключений она была дьявольски хороша! Не тронутые загаром бледные щеки резче оттеняли жаркий блеск прищуренных ищущих глаз, а в своевольном изгибе накрашенных бровей и в складке улыбающихся губ таилось что-то вызывающее и нечистое.

Ей загородил дорогу стоявший спиной к толпе офицер. Она легонько оттолкнула его, сказала:

— Пропустите женихову родню! — и подошла к Сидорину.

Он взял из рук адъютанта медаль на георгиевской ленточке, неумело действуя пальцами, приколол ее к Дарьиной кофточке на левой стороне груди и с улыбкой посмотрел Дарье в глаза:

— Вы — вдова убитого в марте хорунжего Мелехова?

— Да.

— Сейчас вы получите деньги, пятьсот рублей. Выдаст их вам вот этот офицер. Войсковой атаман Африкан Петрович Богаевский и правительство Дона благодарят вас за выказанное вами высокое мужество и просят принять сочувствие… Они сочувствуют вам в вашем горе.

Дарья не все поняла из того, что ей говорил генерал. Она поблагодарила кивком головы, взяла из рук адъютанта деньги и тоже, молча улыбаясь, посмотрела прямо в глаза нестарому генералу. Они были почти одинакового роста, и Дарья без особого стеснения разглядывала сухощавое генеральское лицо. «Дешево расценили моего Петра, не дороже пары быков… А генералик ничего из себя, подходящий», — со свойственным ей цинизмом думала она в этот момент. Сидорин ждал, что она вот-вот отойдет, но Дарья что-то медлила. Адъютант и офицеры, стоявшие позади Сидорина, движениями бровей указывали друг другу на разбитную вдову; в глазах их забегали веселые огоньки; даже полковник-англичанин оживился, поправил пояс, переступил с ноги на ногу, и на бесстрастном лице его появилось нечто отдаленно похожее на улыбку.

— Мне можно идти? — спросила Дарья.

— Да-да, разумеется! — торопливо разрешил Сидорин.

Дарья неловким движением сунула в разрез кофточки деньги, направилась к толпе. За ее легкой, скользящей походкой внимательно следили все уставшие от речей и церемоний офицеры.

К Сидорину неуверенно подходила жена покойного Мартина Шамиля. Когда и к ее старенькой кофтенке была приколота медаль, Шамилиха вдруг заплакала, да так беспомощно и по-женски горько, что лица офицеров сразу утратили веселое выражение и стали

серьезными, сочувственно-кислыми.

— Ваш муж тоже убит? — нахмурясь, спросил Сидорин.

Плачущая женщина закрыла лицо руками, молча кивнула головой.

— У нее детей на воз не покладешь! — басом сказал кто-то из казаков.

Сидорин повернулся лицом к англичанину, громко сказал:

— Мы награждаем женщин, проявивших в боях с большевиками исключительное мужество. У большинства из них мужья были убиты в начале восстания против большевиков, и эти женщины-вдовы, мстя за смерть Мужей, уничтожили целиком крупный отряд местных коммунистов. Первая из награжденных мною — жена офицера — собственноручно убила прославившегося жестокостями комиссара-коммуниста.

Переводчик-офицер бегло заговорил по-английски. Полковник выслушал, наклонил голову, сказал:

— Я восхищаюсь храбростью этих женщин. Окажите, генерал, они участвовали в боях наравне с мужчинами?

— Да, — коротко ответил Сидорин и нетерпеливым движением руки пригласил подойти поближе третью вдову.

Вскоре после вручения наград гости отбыли в станицу. Народ торопливо стал расходиться с плаца, спеша на покос, и через несколько минут после того, как скрылись сопровождаемые собачьим лаем автомобили, возле церковной ограды осталось только трое стариков.

— Диковинные времена заступили! — сказал один из них и широко развел руками. — Бывалоча, на войне егорьевский крест али медаль давали за больши-и-ие дела, за геройство, да кому давали-то? Самым ухачам, отчаюгам! Добывать кресты не дюже много рискателей находилось. Недаром сложили поговорку: «Иль домой с крестом, иль лежать пластом». А нынче медали бабам понавешали… Да хучь бы было за что, а то так… Казаки пригнали в хутор, а они кольями побили пленных, обезруженных людей. Какая же тут геройства? Не пойму, накажи господь!

Другой старик, подслеповатый и немощный, отставил ногу, не спеша достал из кармана свернутый в трубку матерчатый кисет, сказал:

— Им, начальству, виднее из Черкасскова. Стало быть, там рассудили так: надо и бабам приманку сделать, чтоб духом все поднялись, чтобы дюжей воевали. Тут медаль, а тут по пятисот деньгами — какая баба супротив такой чести устоит? Иной из казаков и не схотел бы выступать на фронт, думал бы прихорониться от войны, да разве зараз смогет он усидеть? Ему баба все уши прожужжит! Ночная кукушка, она всегда перекукует! И каждая будет думать: «Может, и мне медаль навесют?»

— Это ты зря так говоришь, кум Федор! — возразил третий. — Следовало наградить, вот и наградили. Бабы повдовели, им деньги будут большой подмогой по хозяйству, а медали им за лихость пожалованы. Дашка Мелеховых первая суд навела Котлярову, и правильно! Господь им всем судья, но и баб нельзя винить: своя-то кровь резко гутарит…

Старики спорили и переругивались до тех пор, пока не зазвонили к вечерне. А как только звонарь ударил в колокол — все трое встали, сняли шапки, перекрестились и чинно пошли в ограду.

XIII

Удивительно, как изменилась жизнь в семье Мелеховых! Совсем недавно Пантелей

Прокофьевич чувствовал себя в доме полновластным хозяином, все домашние ему безоговорочно подчинялись, работа шла ряд рядом, сообща делили и радость, и горе, и во всем быту сказывалась большая, долголетняя слаженность. Была крепко спаянная семья, а с весны все переменилось. Первой откололась Дуняшка. Она не проявляла открытого неповиновения отцу, но всякую работу, которую приходилось ей выполнять, делала с видимой неохотой и так, как будто работала не для себя, а по найму; и внешне стала как-то замкнутей, отчужденней; редко-редко слышался теперь беззаботный Дуняшкин смех.

После отъезда Григория на фронт и Наталья отдалилась от стариков; с детишками проводила почти все время, с ними только охотно разговаривала и занималась, и было похоже, что втихомолку о чем-то крепко горюет Наталья, но ни с кем из близких о своем горе ни разу и словом не обмолвилась, никому не пожаловалась и всячески скрывала, что ей тяжело.

Про Дарью и говорить было нечего: совсем не та стала Дарья после того, как съездила с обывательскими подводами. Все чаще она противоречила свекру, на Ильиничну и внимания не обращала, безо всякой видимой причины злилась на всех, от покоса отделывалась нездоровьем и держала себя так, как будто доживала она в мелеховском доме последние дни.

Семья распадалась на глазах у Пантелея Прокофьевича. Они со старухой оставались вдвоем. Неожиданно и быстро были нарушены родственные связи, утрачена теплота взаимоотношений, в разговорах все чаще проскальзывали нотки раздражительности и отчуждения… За общий стол садились не так, как прежде — единой и дружной семьей, а как случайно собравшиеся вместе люди.

Война была всему этому причиной — Пантелей Прокофьевич это отлично понимал. Дуняшка злилась на родителей за то, что те лишили ее надежды когда-нибудь выйти замуж за Мишку Кошевого — единственного, кого она любила со всей беззаветной девичьей страстью; Наталья молча и глубоко, с присущей ей скрытностью переживала новый отход Григория к Аксинье. А Пантелей Прокофьевич все это видел, но ничего не мог сделать, чтобы восстановить в семье прежний порядок. В самом деле, не мог же он после всего того, что произошло, давать согласие на брак своей дочери с заядлым большевиком, да и что толку было бы от его согласия, коли этот чертов жених мотался где-то на фронте, к тому же в красноармейской части? То же самое и с Григорием: не будь он в офицерском чине, Пантелей Прокофьевич живо управился бы с ним. Так управился бы, что Григорий после этого на астаховский баз и глазом бы не косил. Но война все перепутала и лишила старика возможности жить и править своим домом так, как ему хотелось. Война разорила его, лишила прежнего рвения к работе, отняла у него старшего сына, внесла разлад и сумятицу в семью. Прошла она над его жизнью, как буря над деляной пшеницы, но пшеница и после бури встает и красуется под солнцем, а старик подняться уже не мог. Мысленно он махнул на все рукой — будь что будет!

Получив из рук генерала Сидорина награду, Дарья повеселела. Она пришла с плаца в тот день оживленная и счастливая. Блестя глазами, указала Наталье на медаль.

— За что это тебе? — удивилась Наталья.

— Это за кума Ивана Алексеевича, царство ему небесное, сукиному сыну! А это — за Петю… — И, похваляясь, развернула пачку хрустящих донских кредиток.

В поле Дарья так и не поехала. Пантелей Прокофьевич хотел было отправить ее с харчами, но Дарья решительно отказалась:

— Отвяжитесь, батенка, я уморилась с дороги!

Старик нахмурился. Тогда Дарья, чтобы сгладить грубоватый отказ, полушутливо сказала:

— В такой день грех вам будет заставлять меня ехать на поля. Мне нынче праздник!

— Отвезу и сам, — согласился старик. — Ну, а деньги как?

— Что — деньги? — Дарья удивленно приподняла брови.

— Деньги, спрашиваю, куда денешь?

— А это уж мое дело. Куда захочу, туда и дену!

— То есть как же это так? Деньги-то за Петра тебе выдали?

— Выдали их мне, и вам ими не распоряжаться.

— Да ты семьянинка или кто?

— А вы чего от этой семьянинки хотите, батенка? Деньги себе забрать?

— Не к тому, что все забрать, но Петро-то сын нам был или кто, по-твоему? Мы-то со старухой должны быть в части?

Притязания свекра были явно неуверенны, и Дарья решительно взяла перевес. Издевательски спокойно она сказала:

— Ничего я вам не дам, даже рубля не дам! Вашей части тут нету, ее бы вам на руки выдали. Да с чего вы взяли, будто и ваша часть тут есть? Об этом и разговору не было, и вы за моими хоть не тянитесь, не получите!

Тогда Пантелей Прокофьевич предпринял последнюю попытку.

— Ты в семье живешь, наш хлеб ешь, значит — и все у нас должно быть общее. Что это за порядки, ежели каждый зачнет поврозь свое хозяйство заводить? Я этого не дозволю! — сказал он.

Но Дарья отразила и эту попытку овладеть собственно ей принадлежащими деньгами. Бесстыдно улыбаясь, она заявила:

— Я с вами, батенка, не венчанная, нынче у вас живу, а завтра замуж выйду, и только вы меня и видали! А за прокорм я вам не обязана платить. Я на вашу семью десять лет работала, спину не разгинала.

— Ты на себя работала, сука поблудная! — возмущенно крикнул Пантелей Прокофьевич. Он еще что-то орал, но Дарья и слушать не стала, повернулась перед самым его носом, взмахнув подолом, ушла к себе в горницу. «Не на таковскую напал!» — шептала она, насмешливо улыбаясь.

На том разговор и кончился. Воистину, не такая была Дарья, чтобы уступить свое, убоявшись стариковского гнева.

Пантелей Прокофьевич собрался ехать в поле и перед отъездом коротко поговорил с Ильиничной.

— Ты за Дарьей поглядывай, — попросил он.

— А чего за ней глядеть? — удивилась Ильинична.

— Того, что она сорвется и уйдет из дому и из нашего добра с собой прихватит. Я так гляжу, что неспроста она крылья распущает… Видать, приискала себе в пару и не нынче-завтра выскочит замуж.

— Должно быть, так, — со вздохом согласилась Ильинична. — Живет она, как хохол на отживе, ничего ей не мило, все не по ней… Она зараз — отрезанный ломоть, а отрезанный ломоть, как ни старайся, не прилепишь.

— Нам ее и прилепливать не к чему! Гляди, старая дура, не вздумай ее удерживать, ежели разговор зайдет. Нехай идет с двора. Мне уж надоело с ней вожжаться. — Пантелей Прокофьевич взобрался на арбу; погоняя быков, закончил: — Она от работы хоронится, как собака от мух, а сама все норовит сладкий кусок сожрать да увеяться на игрища. Нам после Петра, царство ему небесное, такую в семье не держать. Это не баба, а зараза липучая!

Предположения стариков были ошибочны. У Дарьи и в помыслах не было выходить

замуж. О замужестве она не думала, иная у нее на сердце была забота…

Весь этот день Дарья была общительной и веселой. Даже стычка из-за денег не отразилась на ее настроении. Она долго вертелась перед зеркалом, всячески рассматривая медаль, раз пять переодевалась, примеряя, к какой кофточке больше всего идет полосатая георгиевская ленточка, шутила: «Мне бы теперича ишо крестов нахватать!» — потом отозвала Ильиничну в горенку, сунула ей в рукав две бумажки по двадцать рублей и, прижимая к груди горячими руками узловатую руку Ильиничны, зашептала: «Это — Петю поминать… Закажите, мамаша, вселенскую панихиду, кутьи наварите…» — И заплакала… Но через минуту, еще с блестящими от слез глазами, уже играла с Мишаткой, покрывала его своей шелковой праздничной шалькой и смеялась так, как будто никогда не плакала и не знала соленого вкуса слез.

Окончательно развеселилась после того, как с поля пришла Дуняшка. Рассказала ей, как получала медаль, и шутливо представила, как торжественно говорил генерал и каким чучелом стоял и смотрел на нее англичанин, а потом, лукаво, заговорщицки подмигнув Наталье, с серьезным лицом стала уверять Дуняшку, что скоро ей, Дарье, как вдове офицера, награжденной георгиевской медалью, тоже дадут офицерский чин и назначат ее командовать сотней старых казаков.

Наталья чинила детские рубашонки и слушала Дарью, подавляя улыбку, а сбитая с толку Дуняшка, умоляюще сложив руки, просила:

— Дарьюшка! Милая! Не бреши, ради Христа! А то я уж и не пойму, где ты брешешь, а где правду говоришь. Ты рассказывай сурьезно.

— Не веришь? Ну, значит, ты глупая девка! Я тебе истинную правду говорю. Офицеры-то все на фронте, а кто будет стариков обучать маршировке и всему такому прочему, что по военному делу полагается? Вот их и предоставят под мою команду, а уж я с ними, со старыми чертями, управлюсь! Вот как я ими буду командовать! — Дарья притворила дверь в кухню, чтобы не видела свекровь, быстрым движением просунула между ног подол юбки и, захватив его сзади рукой, сверкая оголенными лоснящимися икрами, промаршировала по горнице, стала около Дуняшки, басом скомандовала: «Старики, смирно! Бороды поднять выше! Кругом налево ша-а-гай!»

Дуняшка не выдержала и пырскнула, спрятав в ладонях лицо. Наталья сквозь смех сказала:

— Ох, будет тебе! Ты как не перед добром расходилась!

— Так уж и не перед добром! Да вы его, добро-то, видите? Вас ежли не расчудить, так вы тут от тоски заплеснеете!

Но этот порыв веселья у Дарьи кончился так же внезапно, как и возник. Спустя полчаса она ушла к себе в боковушку, с досадой сорвала с груди и кинула в сундук злополучную медаль; подперев щеки ладонями, долго сидела у окошка, а в ночь куда-то исчезла и вернулась только после первых петухов.

Дня четыре после этого она прилежно работала в поле.

Покос шел невесело. Не хватало рабочих рук. За день выкашивали не больше двух десятин. Сено в валках намочил дождь, прибавилось работы: пришлось валки растрясать, сушить на солнце. Не успели сметать в копны — снова спустился проливной дождь и шел с вечера до самой зари с осенним постоянством и настойчивостью. Потом установилось ведро, подул восточный ветер, в степи снова застрекотали косилки, от почерневших копен понесло сладковато-прогорклым запахом плесени, степь окуталась паром, а сквозь голубоватую дымку чуть-чуть наметились неясные очертания сторожевых курганов, синеющие русла балок и зеленые шапки верб над далекими прудами.

На четвертые сутки Дарья прямо с поля собралась идти в станицу. Она заявила об этом, когда сели на стану полудновать.

Пантелей Прокофьевич с неудовольствием и насмешкой спросил:

— Чего это тебе приспичило? До воскресенья не могешь подождать?

— Стало быть, дело есть и ждать некогда.

— Так-таки и дня подождать нельзя?

Дарья сквозь зубы ответила:

— Нет!

— Ну уж раз так гребтится, что и трошки потерпеть нельзя, — иди. А все-таки, что это у тебя за дела такие спешные проявились? Прознать можно?

— Все будете знать — раньше времени помрете.

Дарья, как и всегда, за словом в карман не лазила, и Пантелей Прокофьевич, сплюнув от досады, прекратил расспросы.

На другой день, по дороге из станицы, Дарья зашла в хутор. Дома была одна Ильинична с детишками. Мишатка подбежал было к тетке, но она холодно отстранила его рукой, спросила у свекрови:

— А Наталья где же, мамаша?

— Она на огороде, картошку полет. На что она тебе понадобилась? Либо старик за ней прислал? Нехай он с ума не сходит! Так ему и скажи!

— Никто за ней не присылал, я сама хотела кое-что ей сказать.

— Ты пеши пришла?

— Пеши.

— Скоро управятся наши?

— Должно, завтра.

— Да погоди, куда ты летишь? Сено-то дюже дожди попортили? — назойливо выспрашивала старуха, идя следом за сходившей с крыльца Дарьей.

— Нет, не дюже. Ну, я пойду, а то некогда…

— С огорода зайди рубаху старику возьми. Слышишь?

Дарья сделала вид, будто не расслышала, и торопливо направилась к скотиньему базу. Возле пристани остановилась, прищурившись, оглядела зеленоватый, дышащий пресной влагой простор Дона, медленно пошла к огородам.

Над Доном гулял ветер, сверкали крыльями чайки. На пологий берег лениво наползала волна. Тускло сияли под солнцем меловые горы, покрытые прозрачной сиреневой марью, а омытый дождями прибрежный лес за Доном зеленел молодо и свежо, как в начале весны.

Дарья сняла с натруженных ног чирики, вымыла ноги и долго сидела на берегу, на раскаленной гальке, прикрыв глаза от солнца ладонью, вслушиваясь в тоскливые крики чаек, в равномерные всплески волн. Ей было грустно до слез от этой тишины, от хватающего за сердце крика чаек, и еще тяжелей и горше казалось то несчастье, которое так внезапно обрушилось на нее.

Наталья с трудом разогнула спину, прислонила к плетню мотыгу и, завидев Дарью, пошла к ней навстречу.

— Ты за мной, Даша?

— К тебе со своим горюшком…

Они присели рядом. Наталья сняла платок, поправила волосы, выжидающе глянула на Дарью. Ее поразила перемена, происшедшая с Дарьиным лицом за эти дни: щеки осунулись и потемнели, на лбу наискось залегла глубокая морщинка, в глазах появился горячий тревожный блеск.

— Что это с тобой? Ты ажник с лица почернела, — участливо спросила Наталья.

— Небось почернеешь… — Дарья насильственно улыбнулась, помолчала. — Много тебе ишо полоть?

— К вечеру кончу. Так что с тобой стряслось?

Дарья судорожно проглотила слюну и глухо и быстро заговорила:

— А вот что: захворала я… У меня — дурная болезня… Вот как ездила в этот раз и зацепила… Наделил проклятый офицеришка!

— Догулялась!.. — Наталья испуганно и горестно всплеснула руками.

— Догулялась… И сказать нечего, и жаловаться не на кого… Слабость моя… Подсыпался проклятый, улестил. Зубы белые, а сам оказался червивый… Вот я и пропала теперь.

— Головушка горькая! Ну как же это? Как же ты теперь? — Наталья расширившимися глазами смотрела на Дарью, а та, овладев собой, глядя себе под ноги, уже спокойнее продолжала:

— Видишь, я ишо в дороге за собой стала примечать… Думала спервоначалу: может, это так что… У нас, сама знаешь, по бабьему делу бывает всякое… Я вон весной подняла с земли чувал с пшеницей, и три недели месячные шли! Ну, а тут вижу, чтой-то не так… Знаки появились… Вчера ходила в станицу к фершалу. Было со стыда пропала… Зараз уж все, отыгралась бабочка!

— Лечиться надо, да ить страмы сколько! Их, эти болезни, говорят, залечивают.

— Нет, девка, мою не вылечишь. — Дарья криво улыбнулась и впервые за разговор подняла полышущие огнем глаза. — У меня — сифилис. Это от какого не вылечивают. От какого носы проваливаются… Вон, как у бабки Андронихи, видала?

— Как же ты теперь? — спросила Наталья плачущим голосом, и глаза ее налились слезами.

Дарья долго молчала. Сорвала прилепившийся к стеблю кукурузы цветок повители, близко поднесла его к глазам. Нежнейший, розовый по краям раструб крохотного цветочка, такого прозрачно-легкого, почти невесомого, источал тяжелый плотский запах нагретой солнцем земли. Дарья смотрела на него с жадностью и изумлением, словно впервые видела этот простенький и невзрачный цветок; понюхала его, широко раздувая вздрагивающие ноздри, потом бережно положила на взрыхленную, высушенную ветрами землю, сказала:

— Как я буду, спрашиваешь? Я шла из станицы — думала, прикидывала… Руки на себя наложу, вот как буду! Оно и жалковато, да, видно, выбирать не из чего. Все равно, ежли мне лечиться — все в хуторе узнают, указывать будут, отворачиваться, смеяться… Кому я такая буду нужна? Красота моя пропадет, высохну вся, живьем буду гнить… Нет, не хочу! — Она говорила так, как будто рассуждала сама с собой, и на протестующее движение Натальи не обратила внимания. — Я думала, как ишо в станицу не ходила, ежли это у меня дурная болезня — буду лечиться. Через это и деньги отцу не отдала, думала — они мне пригодятся фершалам платить… А зараз иначе решила. И надоело мне все! Не хочу!

Дарья выругалась страшным мужским ругательством, сплюнула и вытерла тыльной стороной ладони повисшую на длинных ресницах слезинку.

— Какие ты речи ведешь… Бога побоялась бы! — тихо сказала Наталья.

— Мне он, бог, зараз ни к чему. Он мне и так всю жизню мешал. — Дарья улыбнулась, и в этой улыбке, озорной и лукавой, на секунду Наталья увидела прежнюю Дарью. — Того нельзя было делать, этого нельзя, все грехами да страшным судом пужали… Страшнее этого суда, какой я над собой сделаю, не придумаешь. Надоело, Наташка, мне все! Люди все поопостылели… Мне легко будет с собой расквитаться. У меня — ни сзади, ни спереди

никого нет. И от сердца отрывать некого… Так-то!

Наталья начала горячо уговаривать, просила одуматься и не помышлять о самоубийстве, но Дарья, рассеянно слушавшая вначале, опомнилась и гневно прервала ее на полуслове:

— Ты это брось, Наташка! Я не за тем пришла, чтоб ты меня отговаривала да упрашивала! Я пришла сказать тебе про свое горе и предупредить, чтобы ты ко мне с нонешнего дня ребят своих не подпускала. Болезня моя прилипчивая, фершал сказал, да я и сама про нее слыхала, и как бы они от меня не заразились, поняла, глупая? И старухе ты скажи, у меня совести не хватает. А я… я не сразу в петлю полезу, не думай, с этим успеется… Поживу, порадуюсь на белый свет, попрощаюсь с ним. А то ить мы знаешь как? Пока под сердце не кольнет — ходим и округ себя ничего не видим… Я вон какую жизню прожила и была вроде слепой, а вот как пошла из станицы по-над Доном да как вздумала, что мне скоро надо будет расставаться со всем этим, и кубыть глаза открылись! Гляжу на Дон, а по нем зыбь, и от солнца он чисто серебряный, так и переливается весь, аж глазам глядеть на него больно, Повернусь кругом, гляну — господи, красота-то какая! А я ее и не примечала… — Дарья застенчиво улыбнулась, смолкла, сжала руки и, справившись с подступившим к горлу рыданием, заговорила снова, и голос ее стал еще выше и напряженнее: — Я уж за дорогу и отревела разов несколько… Подошла к хутору, гляжу — ребятишки махонькие купаются в Дону… Ну, поглядела на них, сердце зашлось, и разревелась, как дура. Часа два лежала на песке. Оно и мне нелегко, ежли подумать… — Поднялась с земли, отряхнула юбку, привычным движением поправила платок на голове. — Только у меня и радости, как вздумаю про смерть: придется же на том свете увидаться с Петром… «Ну, скажу, дружечка мой, Петро Пантелевич, принимай свою непутевую жену!» — И с обычной для нее циничной шутливостью добавила: — А драться ему на том свете нельзя, драчливых в рай не пущают, верно? Ну, прощай, Наташенька! Не забудь свекрухе сказать про мою беду.

Наталья сидела, закрыв лицо узкими грязными ладонями. Между пальцев ее, как в расщепах сосны смола, блестели слезы. Дарья дошла до плетеных хворостяных дверец, потом вернулась, деловито сказала:

— С нонешнего дня я буду есть из отдельной посуды. Скажи об этом матери. Да ишо вот что: пущай она отцу не говорит про это, а то старик взбесится и выгонит меня из дому. Этого ишо мне недоставало. Я отсюда пойду прямо на покос. Прощай!

XIV

На другой день вернулись с поля косари. Пантелей Прокофьевич решил с обеда начинать возку сена. Дуняшка погнала к Дону быков, а Ильинична и Наталья проворно накрыли на стол.

Дарья пришла к столу последняя, села с краю. Ильинична поставила перед ней небольшую миску со щами, положила ложку и ломоть хлеба, остальным, как и всегда, налила в большую, общую миску.

Пантелей Прокофьевич удивленно взглянул на жену, спросил, указывая глазами на Дарьину миску:

— Это что такое? Почему это ей отдельно влила? Она, что, не нашей веры стала?

— И чего тебе надо? Ешь!

Старик насмешливо поглядел на Дарью, улыбнулся:

— Ага, понимаю! С той поры как ей медаль дали, она из общей посуды не желает жрать. Тебе что, Дашка, аль гребостно с нами из одной чашки хлебать?

— Не гребостно, а нельзя, — хрипло ответила Дарья.

— Через чего же это?

— Глотка болит.

— Ну и что?

— Ходила в станицу, и фершал сказал, чтобы ела из отдельной посуды.

— У меня глотка болела, так я не отделялся, и, слава богу, моя болячка на других не перекинулась. Что же это у тебя за простуда такая?

Дарья побледнела, вытерла ладонью губы и положила ложку. Возмущенная расспросами старика, Ильинична прикрикнула на него:

— Чего ты привязался к бабе? И за столом от тебя нету покоя! Прилипнет, как репей, и отцепы от него нету!

— Да мне-то что? — раздраженно буркнул Пантелей Прокофьевич. — По мне, вы хоть через край хлебайте.

С досады он опрокинул в рот полную ложку горячих щей, обжегся и, выплюнув на бороду щи, заорал дурным голосом:

— Подать не умеете, распроклятые! Кто такие щи, прямо с пылу, подает?!

— Поменьше бы за столом гутарил, оно бы и не пекся, — утешала Ильинична.

Дуняшка чуть не прыснула, глядя, как побагровевший отец выбирает из бороды капусту и кусочки картофеля, но лица остальных были настолько серьезны, что и она сдержалась и взгляд от отца отвела, боясь некстати рассмеяться.

После обеда за сеном поехали на двух арбах старик и обе снохи. Пантелей Прокофьевич длинным навильником подавал на арбы, а Наталья принимала вороха пахнущего гнильцой сена, утаптывала его. С поля она возвращалась вдвоем с Дарьей. Пантелей Прокофьевич на старых шаговитых быках уехал далеко вперед.

За курганом садилось солнце. Горький полынный запах выкошенной степи к вечеру усилился, но стал мягче, желанней, утратив полдневную удушливую остроту. Жара спала. Быки шли охотно, и взбитая копытами пресная пыль на летнике подымалась и оседала на кустах придорожного татарника. Верхушки татарника с распустившимися малиновыми макушками пламенно сияли. Над ними кружились шмели. К далекому степному пруду, перекликаясь, летели чибисы.

Дарья лежала на покачивающемся возе вниз лицом, опираясь на локте, изредка взглядывая на Наталью. Та, о чем-то задумавшись, смотрела на закат; на спокойном чистом лице ее бродили медно-красные отблески. «Вот Наташка счастливая, у нее и муж и дети, ничего ей не надо, в семье ее любят, а я — конченый человек. Издохну — никто и ох не скажет», — думала Дарья, и у нее вдруг шевельнулось желание как-нибудь огорчить Наталью, причинить и ей боль. Почему только она, Дарья, должна биться в припадках отчаяния, беспрестанно думать о своей пропащей жизни и так жестоко страдать? Она еще раз бегло взглянула на Наталью, сказала, стараясь придать голосу задушевность:

— Хочу, Наталья, повиниться перед тобою…

Наталья отозвалась не сразу. Она вспомнила, глядя на закат, как когда-то давно, когда она была еще невестой Григория, приезжал он ее проведать, и она вышла проводить его за ворота, и тогда так же горел закат, малиновое зарево вставало на западе, кричали в вербах грачи… Григорий отъезжал полуобернувшись на седле, и она смотрела ему вслед со слезами взволнованной радости и, прижав к острой, девичьей груди руки, ощущала стремительное биение сердца… Ей стало неприятно от того, что Дарья вдруг нарушила молчание, и она нехотя спросила:

— В чем виниться-то?

— Был такой грех… Помнишь, весной приезжал Григорий с фронта на побывку? Вечером в энтот день, помнится, я доила корову. Пошла в курень, слышу — Аксинья меня окликает. Ну, зазвала к себе, подарила, прямо-таки навязала, вот это колечко, — Дарья повертела на безымянном пальце золотое кольцо, — и упросила, чтобы я вызвала к ней Григория… Мое дело — что ж… Я ему сказала. Он тогда всю ночь… Помнишь, он говорил, будто Кудинов приезжал и он с ним просидел? Брехня! Он у Аксиньи был.

Ошеломленная, побледневшая Наталья молча ломала в пальцах сухую веточку донника.

— Ты не серчай, Наташа, на меня. Я и сама не рада, что призналась тебе… — искательно сказала Дарья, пытаясь заглянуть Наталье в глаза.

Наталья молча глотала слезы. Так неожиданно и велико было снова поразившее ее горе, что она не нашла в себе сил ответить что-либо Дарье и только отворачивалась, пряча свое искаженное страданием лицо.

Уже перед въездом в хутор, досадуя на себя, Дарья подумала: «И черт меня дернул расквелить ее. Теперь будет целый месяц слезы точить! Нехай бы уж жила ничего не знаючи. Таким коровам, как она, вслепую жить лучше». Желая как-то сгладить впечатление, произведенное ее словами, она сказала:

— Да ты не убивайся дюже. Эка беда какая! У меня горюшко потяжельше твоего, да и то хожу козырем. А там черт его знает, может, он и на самом деле не видался с ней, а ходил к Кудинову. Я же за ним не следила. А раз непойманный, — значит, не вор.

— Догадывалась… — тихо сказала Наталья, вытирая глаза кончиком платка.

— А догадывалась, так чего ж ты у него не допыталась? Эх ты, никудышная! У меня бы он не открутился! Я бы его в такое щемило взяла, что аж всем чертям тошно стало бы!

— Боялась правду узнать… Ты думаешь — это легко? — блеснув глазами, заикаясь от волнения, сказала Наталья. — Это ты так… с Петром жили… А мне, как вспомню… как вспомню все, что пришлось… пришлось пережить… И зараз страшно!

— Ну тогда позабудь об этом, — простодушно посоветовала Дарья.

— Да разве это забывается!.. — чужим, охрипшим голосом воскликнула Наталья.

— А я бы забыла. Дело большое!

— Позабудь ты про свою болезню!

Дарья рассмеялась.

— И рада бы, да она, проклятая, сама о себе напоминает! Слушай, Наташка, хочешь, я у Аксиньи все дочиста узнаю? Она мне скажет! Накажи господь! Нет такой бабы, чтобы утерпела, не рассказала об том, кто и как ее любит. По себе знаю!

— Не хочу я твоей услуги. Ты мне и так услужила, — сухо ответила Наталья. — Я не слепая, вижу, для чего ты рассказала мне про это. Ить не из жалости ты призналась, как сводничала, а чтобы мне тяжельше было…

— Верно! — вздохнув, согласилась Дарья. — Рассуди сама, не мне же одной страдать?

Дарья слезла с арбы, взяла в руки налыгач, повела устало заплетавшихся ногами быков под гору. На въезде в проулок она подошла к арбе:

— Эх, Наташка! Что я у тебя хочу спросить… Дюже ты своего любишь?

— Как умею, — невнятно отозвалась Наталья.

— Значит, дюже, — вздохнула Дарья. — А мне вот ни одного дюже не доводилось любить. Любила по-собачьему, кое-как, как приходилось… Мне бы теперь сызнова жизню начать, — может, и я бы другой стала?

Черная ночь сменила короткие летние сумерки. В темноте сметывали на базу сено. Женщины работали молча, и Дарья даже на окрики Пантелея Прокофьевича не отвечала.

XV

Стремительно преследуя отступавшего от Усть-Медведицкой противника, объединенные части Донской армии и верхнедонских повстанцев шли на север. Под хутором Шашкином на Медведице разгромленные полки 9-й красной армии пытались задержать казаков, но были снова сбиты и отступали почти до самой Грязе-Царицынской железнодорожной ветки, не оказывая решительного сопротивления.

Григорий со своей дивизией участвовал в бою под Шашкином и крепко помог пехотной бригаде генерала Сутулова, попавшей под фланговый удар. Конный полк Ермакова, ходивший по приказу Григория в атаку, захватил в плен около двухсот красноармейцев, отбил четыре станковых пулемета и одиннадцать патронных повозок.

К вечеру с группой казаков первого полка Григорий въехал в Шашкин. Около дома, занятого штабом дивизии, под охраной полусотни казаков, стояла густая толпа пленных, белея бязевыми рубахами и кальсонами. Большинство их было разуто и раздето до белья, и лишь изредка в белесой толпе зеленела грязная защитная гимнастерка.

— До чего белые стали, как гуси! — воскликнул Прохор Зыков, указывая на пленных.

Григорий натянул поводья, повернул коня боком: разыскав в толпе казаков Ермакова, поманил его к себе пальцем.

— Подъезжай, чего ты по-за чужими спинами хоронишься?

Покашливая в кулак, Ермаков подъехал. Под черными негустыми усами его на разбитых зубах запеклась кровь, правая щека вздулась и темнела свежими ссадинами. Во время атаки конь под ним споткнулся на всем скаку, упал, и камнем вылетевший из седла Ермаков сажени две скользил на животе по кочковатой толоке. И он и конь одновременно вскочили на ноги. А через минуту Ермаков, в седле и без фуражки, страшно окровавленный, но с обнаженной шашкой в руке, уже настигал катившуюся по косогору казачью лаву…

— И чего бы это мне хорониться? — с кажущимся удивлением спросил он, поравнявшись с Григорием, а сам смущенно отводил в сторону еще не потухшие после боя, налитые кровью, осатанелые глаза.

— Чует кошка, чью мясу съела! Чего сзади едешь? — гневно спросил Григорий.

Ермаков, трудно улыбаясь распухшими губами, покосился на пленных.

— Про какую это мясу ты разговор ведешь? Ты мне зараз загадки не задавай, все равно не разгадаю, я нынче с коня сторчь головой падал…

— Твоя работа, — Григорий плетью указал на красноармейцев.

Ермаков сделал вид, будто впервые увидел пленных, и разыграл неописуемое удивление:

— Вот сукины сыны! Ах, проклятые! Раздели! Да когда же это они успели?.. Скажи на милость! Только что отъехали, строго-настрого приказал не трогать, и вот тебе, растелешили бедных дочиста!..

— Ты мне дурочку не трепи! Чего ты прикидываешься? Ты велел раздеть?

— Сохрани господь! Да ты в уме, Григорий Пантелевич?

— Приказ помнишь?

— Это насчет того, чтобы…

— Да-да, это насчет того самого!..

— Как же, помню. Наизусть помню! Как стишок, какие в школе, бывалоча, разучивали.

Григорий невольно улыбнулся, — перегнувшись на седле, схватил Ермакова за ремень портупеи. Он любил этого лихого, отчаянно храброго командира.

— Харлампий! Без шуток, к чему ты дозволил? Новенький полковник, какого заместо Копылова посадили в штаб, донесет, и прийдется отвечать. Ить не возрадуешься, как

начнется волынка, опросы да допросы.

— Не мог стерпеть, Пантелевич! — серьезно и просто ответил Ермаков. — На них было все с иголочки, им только что в Усть-Медведице выдали, ну, а мои ребята пообносились, да и дома с одежей не густо. А с них — один черт — все в тылу посымали бы! Мы их будем забирать, а тыловая сволочь будет раздевать? Нет уж, нехай лучше наши попользуются! Я буду отвечать, а с меня взятки гладки! И ты, пожалуйста, ко мне не привязывайся. Я знать ничего не знаю и об этих делах сном-духом не ведаю!

Поравнялись с толпой пленных. Сдержанный говор в толпе смолк. Стоявшие с краю сторонились конных, поглядывали на казаков с угрюмой опаской и настороженным выжиданием. Один красноармеец, распознав в Григории командира, подошел вплотную, коснулся рукой стремени:

— Товарищ начальник! Скажите вашим казакам, чтобы нам хоть шинели возвратили. Явите такую милость! По ночам холодно, а мы прямо-таки нагие, сами видите.

— Небось не замерзнешь средь лета, суслик! — сурово сказал Ермаков и, оттеснив красноармейца конем, повернулся к Григорию: — Ты не сумлевайся, я скажу, чтоб им отдали кое-что из старья. Ну, сторонись, сторонись, вояки! Вам бы в штанах вшей бить, а не с казаками сражаться!

В штабе допрашивали пленного командира роты. За столом, покрытым ветхой клеенкой, сидел новый начальник штаба, полковник Андреянов — пожилой курносый офицер, с густою проседью на висках и с мальчишески оттопыренными, крупными ушами. Против него в двух шагах от стола стоял красный командир. Показания допрашиваемого записывал один из офицеров штаба, сотник Сулин, прибывший в дивизию вместе с Андреяновым.

Красный командир — высокий рыжеусый человек, с пепельно-белесыми, остриженными под ежик волосами, — стоял, неловко переступая босыми ногами по крашенному охрой полу, изредка поглядывая на полковника. Казаки оставили на пленном одну нижнюю солдатскую рубаху из желтой, неотбеленной бязи да взамен отобранных штанов дали изорванные в клочья казачьи шаровары с выцветшими лампасами и неумело приштопанными латками. Проходя к столу, Григорий заметил, как пленный коротким, смущенным движением поправил разорванные на ягодицах шаровары, стараясь прикрыть оголенное тело.

— Вы говорите. Орловским губвоенкоматом? — спросил полковник, коротко, поверх очков взглянув на пленного, и снова опустил глаза и, прищурившись, стал рассматривать и вертеть в руках какую-то бумажку — как видно, документ.

— Да.

— Осенью прошлого года?

— В конце осени.

— Вы лжете!

— Я говорю правду.

— Утверждаю, вы лжете!..

Пленный молча пожал плечами. Полковник глянул на Григория, сказал, пренебрежительно кивнув в сторону допрашиваемого:

— Вот полюбуйтесь: бывший офицер императорской армии, а сейчас, как видите, большевик. Попался и сочиняет, будто у красных он случайно, будто его мобилизовали. Врет дико, наивно, как гимназистишка, и думает, что ему поверят, а у самого попросту не хватает гражданского мужества сознаться в том, что предал родину… Боится, мерзавец!

Трудно двигая кадыком, пленный заговорил:

— Я вижу, господин полковник, у вас хватает гражданского мужества на то, чтобы оскорблять пленного…

— С мерзавцами я не разговариваю!

— А мне сейчас приходится говорить.

— Осторожнее! Не вынуждайте меня, я могу вас оскорбить действием!

— В вашем положении это так нетрудно и — главное — безопасно!

Не обмолвившийся ни словом Григорий присел к столу, с сочувственной улыбкой смотрел на бледного от негодования, бесстрашно огрызавшегося пленника. «Здорово ощипал он полковничка!» — с удовольствием подумал Григорий и не без злорадства глянул на мясистые, багровые щеки Андреянова, подергивавшиеся от нервного тика.

Своего начальника штаба Григорий невзлюбил с первой же встречи. Андреянов принадлежал к числу тех офицеров, которые в годы мировой войны не были на фронте, а благоразумно отсиживались по тылам, используя влиятельные служебные и родственные связи и знакомства, всеми силами цепляясь за безопасную службу. Полковник Андреянов и в гражданскую войну ухитрился работать на оборону, сидя в Новочеркасске, и только после отстранения от власти атамана Краснова он вынужден был поехать на фронт.

За две ночи, проведенные с Андреяновым на одной квартире, Григорий с его слов успел узнать, что он очень набожен, что он без слез не может говорить о торжественных церковных богослужениях, что жена его — самая примерная жена, какую только можно представить, что зовут ее Софьей Александровной и что за ней некогда безуспешно ухаживал сам наказной атаман барон фон Граббе; кроме этого, полковник любезно и подробно рассказал: каким имением владел его покойный родитель, как он, Андреянов, дослужился до чина полковника, с какими высокопоставленными лицами ему приходилось охотиться в 1916 году; а также сообщил, что лучшей игрой он считает вист, полезнейшим из напитков — коньяк, настоянный на тминном листе, а наивыгоднейшей службой — службу в войсковом интендантстве.

От близких орудийных выстрелов полковник Андреянов вздрагивал, верхом ездил неохотно, ссылаясь на болезнь печени; неустанно заботился об увеличении охраны при штабе, а к казакам относился с плохо скрываемой неприязнью, так как, по его словам, все они были предателями в 1917 году, и с этого года он возненавидел всех «нижних чинов» без разбора. «Только дворянство спасет Россию!» — говорил полковник, вскользь упоминая о том, что и он дворянского рода и что род Андреяновых старейший и заслуженнейший на Дону.

Несомненно, основным пороком Андреянова была болтливость, та старческая, безудержная и страшная болтливость, которой страдают некоторые словоохотливые и неумные люди, достигшие преклонного возраста и еще смолоду привыкшие судить обо всем легко и развязно.

С людьми этой птичьей породы Григорий не раз встречался на своем веку и всегда испытывал к ним чувство глубокого отвращения. На второй день после знакомства с Андреяновым Григорий начал избегать встреч с ним и днем преуспевал в этом, но как только останавливались на ночевку — Андреянов разыскивал его, торопливо спрашивал: «Вместе ночуем?» — и, не дожидаясь ответа, начинал: «Вот вы, любезнейший мой, говорите, что казаки неустойчивы в пешем бою, а я, в бытность мою офицером для поручений при его превосходительстве… Эй, кто там, принесите мой чемодан и постель сюда!» Григорий ложился на спину, закрывал глаза и, стиснув зубы, слушал, потом неучтиво поворачивался к неугомонному рассказчику спиной, с головой укрывался шинелью, думал с немой яростью: «Как только получу приказ о переводе — лупану его чем-нибудь тяжелым по голове: может, после этого он хоть на неделю языка лишится!» — «Вы спите, сотник?» — спрашивал Андреянов. «Сплю», — глухо отвечал Григорий. «Позвольте, я еще не досказал!» — И рассказ

продолжался. Сквозь сон Григорий думал: «Нарочно подсунули мне этого балабона. Должно, Фицхелауров постарался. Ну, как с ним, с таким ушибленным, служить?» И, засыпая, слушал пронзительный тенорок полковника, звучавший, как дождевая дробь по железной крыше.

Вот поэтому-то Григорий и злорадствовал, видя, как ловко пленный командир отделывает его разговорчивого начальника штаба.

С минуту Андреянов молчал, щурился; длинные мочки его оттопыренных ушей ярко пунцовели, лежавшая на столе белая пухлая рука, с массивным золотым кольцом на указательном пальце вздрагивала.

— Слушайте, вы, ублюдок! — сказал он охрипшим от волнения голосом. — Я приказал привести вас ко мне не для того, чтобы пикироваться с вами, вы этого не забывайте! Понимаете ли вы, что вам не отвертеться?

— Отлично понимаю.

— Тем лучше для вас. В конце концов мне наплевать, добровольно вы пошли к красным или вас мобилизовали. Важно не это, важно то, что вы из ложно понимаемых вами соображений чести отказываетесь говорить…

— Очевидно, мы с вами разно понимаем вопросы чести.

— Это потому, что у вас ее не осталось и вот столько!

— Что касается вас, господин полковник, то, судя по обращению со мной, я сомневаюсь, чтобы честь у вас вообще когда-нибудь была!

— Я вижу — вы хотите ускорить развязку?

— А вы думаете, в моих интересах ее затягивать? Не пугайте меня, не выйдет!

Андреянов дрожащими руками раскрыл портсигар, закурил, сделал две жадные затяжки и снова обратился к пленному:

— Итак, вы отказываетесь отвечать на вопросы?

— О себе я говорил.

— Идите к черту! Ваша паршивая личность меня меньше всего интересует. Потрудитесь ответить вот на какой вопрос: какие части подошли к вам от станции Себряково?

— Я вам ответил, что я не знаю.

— Вы знаете!

— Хорошо, доставлю вам удовольствие: да, я знаю, но отвечать не буду.

— Я прикажу вас выпороть шомполами, и тогда вы заговорите!

— Едва ли! — Пленный тронул левой рукой усы, уверенно улыбнулся.

— Камышинский полк участвовал в этом бою?

— Нет.

— Но ваш левый фланг прикрывала кавалерийская часть, что это за часть?

— Оставьте! Еще раз повторяю вам, что на подобные вопросы отвечать не стану.

— На выбор: или ты, собака, сейчас же развяжешь язык, или через десять минут будешь поставлен к стенке! Ну?!

И тогда неожиданно высоким, юношески звучным голосом пленный сказал:

— Вы мне надоели, старый дурак! Тупица! Если б вы попались ко мне — я бы вас не так допрашивал!..

Андреянов побледнел, схватился за кобуру нагана. Тогда Григорий неторопливо встал и предостерегающе поднял руку.

— Ого! Ну, теперь хватит! Погутарили — и хватит. Обое вы горячие, как погляжу… Ну, не сошлись, и не надо, об чем толковать? Он правильно делает, что не выдает своих. Ей-богу, это здорово! Я и не ждал!

— Нет, позвольте!.. — горячился Андреянов, тщетно пытаясь расстегнуть кобуру.

— Не позволю! — с веселым оживлением сказал Григорий, вплотную подходя к столу, заслоняя собой пленного. — Пустое дело — убить пленного. Как вас совесть не зазревает намеряться на него, на такого? Человек безоружный, взятый в неволю, вон на нем и одежи-то не оставили, а вы намахиваетесь…

— Долой! Меня оскорбил этот негодяй! — Андреянов с силой оттолкнул Григория, выхватил наган.

Пленный живо повернулся лицом к окну, — как от холода, повел плечами. Григорий с улыбкой следил за Андреяновым, а тот, почувствовав в ладони шероховатую рукоять револьвера, как-то нелепо взмахнул им, потом опустил дулом книзу и отвернулся.

— Рук не хочу марать… — отдышавшись и облизав пересохшие губы, хрипло сказал он.

Не сдерживая смеха, сияя из-под усов кипенным оскалом зубов, Григорий сказал:

— Оно и не пришлось бы! Вы поглядите, наган-то у вас разряженный. Ишо на ночевке, я проснулся утром, взял его со стула и поглядел… Ни одного патрона в нем, и не чищенный, должно, месяца два! Плохо вы доглядаете за личным оружием!

Андреянов опустил глаза, повертел большим пальцем барабан револьвера, улыбнулся:

— Черт! А ведь верно…

Сотник Сулин, молча и насмешливо наблюдавший за всем происходившим, свернул протокол допроса, сказал, приятно картавя:

— Я вам неоднократно говорил, Семен Поликарпович, что с оружием вы обращаетесь безобразно. Сегодняшний случай — лишнее доказательство тому.

Андреянов поморщился, крикнул:

— Эй, кто там из нижних чинов? Сюда!

Из передней вошли два ординарца и начальник караула.

— Уведите! — Андреянов кивком головы указал на пленного.

Тот повернулся лицом к Григорию, молча поклонился ему, пошел к двери. Григорию показалось, будто у пленного под рыжеватыми усами в чуть приметной благодарной усмешке шевельнулись губы…

Когда утихли шаги, Андреянов усталым движением снял очки, тщательно протер их кусочком замши, желчно сказал:

— Вы блестяще защищали эту сволочь — это дело ваших убеждений, но говорить при нем о нагане, ставить меня в неловкое положение — послушайте, что же это такое?

— Беда не дюже большая, — примирительно ответил Григорий.

— Нет, все же напрасно. А знаете ли, я бы мог его убить. Тип возмутительный! До вашего прихода я бился с ним полчаса. Сколько он тут врал, путал, изворачивался, давал заведомо ложных сведений — ужас! А когда я его уличил — попросту и наотрез отказался говорить. Видите ли, офицерская честь не позволяет ему выдавать противнику военную тайну. Тогда об офицерской чести не думал, сукин сын, когда нанимался к большевикам… Полагаю, что его и еще двух из командного состава надо без шума расстрелять. В смысле получения интересующих нас сведений — они все безнадежны: закоренелые и непоправимые негодяи, следовательно, и щадить их незачем. Вы — как?

— Каким путем вы узнали, что он — командир роты? — вместо ответа спросил Григорий.

— Выдал один из его же красноармейцев.

— Я полагаю, надо расстрелять этого красноармейца, а командиров оставить! — Григорий выжидающе взглянул на Андреянова.

Тот пожал плечами и улыбнулся так, как улыбаются, когда собеседник неудачно шутит.

— Нет, серьезно, вы как?

— А вот так, как я уже вам сказал.

— Но, позвольте, это из каких же соображений?

— Из каких? Из тех самых, чтобы сохранить для русской армии дисциплину и порядок. Вчера, когда мы ложились спать, вы, господин полковник, дюже толково рассказывали, какие порядки надо будет заводить в армии после того, как разобьем большевиков, — чтобы вытравить из молодежи красную заразу. Я с вами был целиком согласный, помните? — Григорий поглаживал усы, следя за меняющимся выражением лица полковника, рассудительно говорил: — А зараз вы что предлагаете? Этим же вы разврат заводите! Значит, нехай солдаты выдают своих командиров? Это вы чему же их научаете? А доведись нам с вами быть на таком положении, тогда что? Нет, помилуйте, я тут упрусь! Я — против.

— Как хотите, — холодно сказал Андреянов и внимательно посмотрел на Григория. Он слышал о том, что повстанческий командир дивизии своенравен и чудаковат, но этакого от него не ожидал. Он только добавил: — Мы обычно так поступали в отношении взятых в плен красных командиров, и в особенности — бывших офицеров. У вас что-то новое… И мне не совсем понятно ваше отношение к такому, казалось бы, бесспорному вопросу.

— А мы обычно убивали их в бою, ежли доводилось, но пленных без нужды не расстреливали! — багровея, ответил Григорий.

— Хорошо, пожалуйста, отправим их в тыл, — согласился Андреянов. — Теперь вот какой вопрос: часть пленных — мобилизованные крестьяне Саратовской губернии — изъявила желание сражаться в наших рядах. Третий пехотный полк наш не насчитывает и трехсот штыков. Считаете ли вы возможным после тщательного отбора влить в него часть добровольцев из пленных? На этот счет из штабарма у нас имеются определенные указания.

— Ни одного мужика я к себе не возьму. Убыль пущай пополняют мне казаками, — категорически заявил Григорий.

Андреянов попробовал убедить его:

— Послушайте, не будем спорить. Мне понятно ваше желание иметь в дивизии однородный казачий состав, но необходимость понуждает нас не брезговать и пленными. Даже в Добровольческой армии некоторые полки укомплектовываются пленными.

— Они пущай делают как хотят, а я отказываюсь принимать мужиков. Давайте об этом больше не будем гутарить, — отрезал Григорий.

Спустя немного он вышел распорядиться относительно отправки пленных. А за обедом Андреянов взволнованно сказал:

— Очевидно, не сработаемся мы с вами…

— Я тоже так думаю, — равнодушно ответил Григорий. Не замечая улыбки Сулина, он пальцами достал из тарелки кусок вареной баранины, начал с таким волчьим хрустом дробить зубами твердоватый хрящ, что Сулин сморщился, как от сильной боли, и даже глаза на секунду закрыл.

Через два дня преследование отступавших красных частей повела группа генерала Сальникова, а Григория срочно вызвали в штаб группы, и начальник штаба, пожилой благообразный генерал, ознакомив его с приказом командующего Донской армией о расформировании повстанческой армии, без обиняков сказал:

— Ведя партизанскую войну с красными, вы успешно командовали дивизией, теперь же мы не можем доверить вам не только дивизии, но и полка. У вас нет военного образования, и в условиях широкого фронта, при современных методах ведения боя, вы не сможете командовать крупной войсковой единицей. Вы согласны с этим?

— Да, — ответил Григорий. — Я сам хотел отказаться от командования дивизией.

— Очень хорошо, что вы не переоцениваете ваших возможностей. У нынешних молодых

офицеров это качество встречается весьма редко. Так вот: приказом командующего фронтом вы назначаетесь командиром четвертой сотни Девятнадцатого полка. Полк сейчас на марше, верстах в двадцати отсюда, где-то около хутора Вязникова. Поезжайте сегодня же, в крайнем случае — завтра. Вы как будто что-то имеете сказать?

— Я хотел бы, чтобы меня отчислили в хозяйственную часть.

— Это невозможно. Вы будете необходимы на фронте.

— Я за две войны четырнадцать раз ранен и контужен.

— Это не имеет значения. Вы молоды, выглядите прекрасно и еще можете сражаться. Что касается ранений, то кто из офицеров их не имеет? Можете идти. Всего наилучшего!

Вероятно, для того чтобы предупредить недовольство, которое неизбежно должно было возникнуть среди верхнедонцев при расформировании повстанческой армии, многим рядовым казакам, отличившимся во время восстания, тотчас же после взятия Усть-Медведицкой нашили на погоны лычки, почти все вахмистры были произведены в подхорунжий, а офицеры — участники восстания — получили повышение в чинах и награды.

Не был обойден и Григорий: его произвели в сотники, в приказе по армии отметили его выдающиеся заслуги по борьбе с красными и объявили благодарность.

Расформирование произвели в несколько дней. Безграмотных командиров дивизий и полков заменили генералы и полковники, командирами сотен назначили опытных офицеров; целиком был заменен командный состав батарей и штабов, а рядовые казаки пошли на пополнение номерных полков Донской армии, потрепанных в боях на Донце.

Григорий перед вечером собрал казаков, объявил о расформировании дивизии, прощаясь, сказал:

— Не поминайте лихом, станишники! Послужили вместе, неволя заставила, а с нынешнего дня будем трепать кручину наврозь. Самое главное — головы берегите, чтобы красные вам их не подырявили. У нас они, головы, хотя и дурные, но зря подставлять их под пули не надо. Ими ишо прийдется думать, крепко думать, как дальше быть…

Казаки подавленно молчали, потом загомонили все сразу, разноголосо и глухо:

— Опять старинка зачинается?

— Куда же нас теперича?

— Силуют народ как хотят, сволочи!

— Не желаем расформировываться! Что это за новые порядки?!

— Ну, ребята, объединились на свою шею!..

— Сызнова их благородия заламывать нас зачинают!

— Зараз держися! Суставчики зачнут выпрямлять вовсю…

Григорий выждал тишины, сказал:

— Занапрасну глотки дерете. Кончилась легкая пора, когда можно было обсуждать приказы и супротивничать начальникам. Расходись по квартирам да языками поменьше орудуйте, а то по нынешним временам они не до Киева доводят, а аккурат до полевых судов да до штрафных сотен.

Казаки подходили взводами, прощались с Григорием за руку, говорили:

— Прощай, Пантелевич! Ты нас тоже недобрым словом не поминай.

— Нам с чужими тоже, ох, нелегко будет службицу ломать!

— Зря ты нас в трату дал. Не соглашался бы сдавать дивизию!

— Жалкуем об тебе, Мелехов. Чужие командиры, они, может, и образованнее тебя, да ить нам от этого не легше, а тяжельше будет, вот в чем беда!

Лишь один казак, уроженец с хутора Наполовского, сотенный балагур и острослов, сказал:

— Ты, Григорий Пантелевич, не верь им. Со своими ли работаешь аль с чужими — одинаково тяжело, ежли работа не в совесть!

Ночь Григорий пил самогон с Ермаковым и другими командирами, а наутро взял с собой Прохора Зыкова и уехал догонять Девятнадцатый полк.

Не успел принять сотню и как следует ознакомиться с людьми — вызвали к командиру полка. Было раннее утро. Григорий осматривал лошадей, замешкался и явился только через полчаса. Он ожидал, что строгий и требовательный к офицерам командир полка сделает ему замечание, но тот поздоровался очень приветливо, спросил:

— Ну, как вы находите сотню? Стоящий народ? — и, не дождавшись ответа, глядя куда-то мимо Григория, сказал: — Вот что, дорогой, должен вам сообщить очень прискорбную новость… У вас дома — большое несчастье. Сегодня ночью из Вешенской получена телеграмма. Предоставляю вам месячный отпуск для устройства семейных дел. Поезжайте.

— Дайте телеграмму, — бледнея, проговорил Григорий.

Он взял сложенный вчетверо листок бумаги, развернул его, прочитал, сжал в мгновенно запотевшей руке. Ему потребовалось небольшое усилие, чтобы овладеть собой, и он лишь слегка запнулся, когда говорил:

— Да, этого я не ждал. Стало быть, я поеду. Прощайте.

— Не забудьте взять отпускное свидетельство.

— Да-да. Спасибо, не забуду.

В сени он вышел, уверенно и твердо шагая, привычно придерживая шашку, но когда начал сходить с высокого крыльца — вдруг перестал слышать звук собственных шагов и тотчас почувствовал, как острая боль штыком вошла в его сердце.

На нижней ступеньке он качнулся и ухватился левой рукой за шаткое перильце, а правой — проворно расстегнул воротник гимнастерки. С минуту стоял, глубоко и часто дыша, но за эту минуту он как бы охмелел от страдания, и когда оторвался от перил и направился к привязанному у калитки коню, то шел уже тяжело ступая, слегка покачиваясь.

XVI

Несколько дней после разговора с Дарьей Наталья жила, испытывая такое ощущение, какое бывает во сне, когда тяжко давит дурной сон и нет сил очнуться. Она искала благовидного предлога, чтобы пойти к жене Прохора Зыкова и попытаться у нее узнать, как жил Григорий в Вешенской во время отступления и виделся ли там с Аксиньей или нет. Ей хотелось убедиться в вине мужа, а словам Дарьи она и верила и не верила.

Поздно вечером подошла она к зыковскому базу, беспечно помахивая хворостиной. Прохорова жена, управившись с делами, сидела около ворот.

— Здорово, желмерка! Телка нашего не видала? — спросила Наталья.

— Слава богу, милушка! Нет, не видала.

— Такой поблудный, проклятый, — дома никак не живет! Где его искать — ума не приложу.

— Постой, отдохни трошки, найдется. Семечками угостить?

Наталья подошла, присела. Завязался немудрый бабий разговор.

— Про служивого не слыхать? — поинтересовалась Наталья.

— И вестки нету. Как, скажи, в воду канул, анчихрист! А твой, либо прислал что?

— Нет. Сулился Гриша написать, да что-то не шлет письма. Гутарют в народе, будто где-то за Усть-Медведицу наши пошли, а окромя ничего не слыхала. — Наталья перевела разговор

на недавнее отступление за Дон, осторожно начала выспрашивать, как жили служивые в Вешенской и кто был с ними из хуторных. Лукавая Прохорова жененка догадалась, зачем пришла к ней Наталья, и отвечала сдержанно, сухо.

Со слов мужа она все знала о Григории, но, хотя язык у нее и чесался, рассказывать побоялась, памятуя Прохорово наставление: «Так и знай: скажешь об этом кому хоть слово — положу тебя головой на дровосеку, язык твой поганый на аршин вытяну и отрублю. Ежли дойдет слух об этом до Григория — он же меня походя убьет, между делом! А мне одна ты осточертела, а жизня пока ишо нет. Поняла? Ну и молчи, как дохлая!»

— Аксинью Астахову не доводилось твоему Прохору видать в Вешках? — уже напрямик спрашивала потерявшая терпение Наталья.

— Откуда ему было ее видать! Разве им там до этого было? Истинный бог, ничего не знаю, Мироновна, и ты про это у меня хоть не пытай. У моего белесого черта слова путного не добьешься. Только и разговору знает — подай да прими.

Так ни с чем и ушла еще более раздосадованная и взволнованная Наталья. Но оставаться в неведении она больше не могла, это и толкнуло ее зайти к Аксинье.

Живя по соседству, они за последние годы часто встречались, молча кланялись друг дружке, иногда перебрасывались несколькими фразами. Та пора, когда они при встречах, не здороваясь, обменивались ненавидящими взглядами, прошла; острота взаимной неприязни смягчилась, и Наталья, идя к Аксинье, надеялась, что та ее не выгонит и уж о ком, о ком, а о Григории будет говорить. И она не ошиблась в своих предположениях.

Не скрывая изумления, Аксинья пригласила ее в горницу, задернула занавески на окнах, зажгла огонь, спросила:

— С чем хорошим пришла?

— Мне с хорошим к тебе не ходить…

— Говори плохое. С Григорием Пантелеевичем беда случилась?

Такая глубокая, нескрываемая тревога прозвучала в Аксиньином вопросе, что Наталья поняла все. В одной фразе сказалась вся Аксинья, открылось все, чем она жила и чего боялась. После этого, по сути, и спрашивать об ее отношениях к Григорию было незачем, однако Наталья не ушла; помедлив с ответом, она сказала:

— Нет, муж живой и здоровый, не пужайся.

— Я и не пужаюсь, с чего ты берешь? Это тебе об его здоровье надо страдать, а у меня своей заботы хватит. — Аксинья говорила свободно, но, почувствовав, как кровь бросилась ей в лицо, проворно подошла к столу и, стоя спиной к гостье, долго поправляла и без того хорошо горевший огонь в лампе.

— Про Степана твоего слыхать что?

— Поклон пересылал недавно.

— Живой-здоровый он?

— Должно быть. — Аксинья пожала плечами.

И тут не смогла она покривить душой, скрыть свои чувства: равнодушие к судьбе мужа так явственно проглянуло в ее ответе, что Наталья невольно улыбнулась.

— Видать, не дюже ты об нем печалуешься… Ну, да это — твое дело. Я вот чего пришла: по хутору идет брехня, будто Григорий опять к тебе прислоняется, будто видаетесь вы с ним, когда приезжает он домой. Это верно?

— Нашла у кого спрашивать! — насмешливо сказала Аксинья. — Давай я у тебя спрошу, верно это или нет?

— Правду боишься сказать?

— Нет, не боюсь.

— Тогда скажи, чтобы я знала, не мучилась. Зачем же меня зря томить.

Аксинья сузила глаза, шевельнув черными бровями.

— Мне тебя все одно жалко не будет, — резко сказала она. — У нас с тобой так: я мучаюсь — тебе хорошо, ты мучаешься — мне хорошо… Одного ить делим? Ну, а правду я тебе скажу: чтобы знала загодя. Все это верно, брешут не зря. Завладала я Григорием опять и уж зараз постараюсь не выпустить его из рук. Ну, чего ж ты после этого будешь делать? Стекла мне в курене побьешь или ножом зарежешь?

Наталья встала, завязала узлом гибкую хворостину, бросила ее к печи и ответила с несвойственной ей твердостью:

— Зараз я тебе никакого лиха не сделаю. Погожу, приедет Григорий, погутарю с ним, потом будет видно, как мне с вами, обоими, быть. У меня двое детей, и из-за них и за себя я постоять сумею!

Аксинья улыбнулась:

— Значит, пока мне можно жить без опаски?

Не замечая насмешки, Наталья подошла к Аксинье, тронула ее за рукав:

— Аксинья! Всю жизню ты мне поперек стоишь, но зараз уж я просить не буду, как тогда, помнишь? Тогда я помоложе была, поглупее, думала — упрошу ее, она пожалеет, смилуется и откажется от Гриши. Зараз не буду! Одно я знаю: не любишь ты его, а тянешься за ним по привычке. Да и любила ли ты его когда-нибудь так, как я? Должно быть, нет. Ты с Листницким путалась, с кем ты, гулящая, не путалась? Когда любят — так не делают.

Аксинья побледнела, отстранив Наталью рукой, встала с сундука:

— Он меня этим не попрекал, а ты попрекаешь? Какое тебе дело до этого? Ладно! Я — плохая, ты — хорошая, дальше что?

— Это все. Не серчай. Зараз уйду. Спасибо, что открыла правду.

— Не стоит, не благодари, и без меня узнала бы. Погоди трошки, я выйду с тобой ставни закрыть. — На крыльце Аксинья приостановилась, сказала: — Я рада, что мы с тобой по-доброму расстаемся, без драки, но напоследок я так тебе скажу, любезная соседушка: в силах ты будешь — возьмешь его, а нет — не обижайся. Добром я от него тоже не откажусь. Года мои не молоденькие, и я, хоть ты и назвала меня гулящей, — не ваша Дашка, такими делами я сроду не шутковала… У тебя хоть дети есть, а он у меня, — голос Аксиньи дрогнул и стал глуше и ниже, — один на всем белом свете! Первый и последний. Знаешь что? Давай об нем больше не гутарить. Жив будет он, оборонит его от смерти царица небесная, вернется — сам выберет…

Ночью Наталья не спала, а наутро вместе с Ильиничной ушла полоть бахчу. В работе ей было легче. Она меньше думала, равномерно опуская мотыгу на высушенные солнцем, рассыпающиеся в прах комки песчаного суглинка, изредка выпрямляясь, чтобы отдохнуть, вытереть пот с лица и напиться.

По синему небу плыли и таяли изорванные ветром белые облака. Солнечные лучи палили раскаленную землю. С востока находил дождь. Не поднимая головы, Наталья спиной чувствовала, когда набежавшая тучка заслоняла солнце; на миг становилось прохладнее, на бурую, дышащую жаром землю, на разветвленные арбузные плети, на высокие стебли подсолнуха стремительно ложилась серая тень. Она покрывала раскинутые по. косогору бахчи, разомлевшие и полегшие от зноя травы, кусты боярышника и терна с понурой, испачканной птичьим пометом листвой. Звонче звенел надсадный перепелиный крик, отчетливей слышалось милое пение жаворонков, и даже ветер, шевеливший теплые травы, казался менее горячим. А потом солнце наискось пронизывало ослепительно белую кайму уплывавшей на запад тучки и, освободившись, снова низвергало на землю золотые, сияющие

потоки света. Где-то далеко-далеко, по голубым отрогам обдонских гор, еще шарила и пятнила землю провожающая тучку тень, а на бахчах уже властвовал янтарно-желтый полдень, дрожало, переливалось на горизонте текучее марево, удушливее пахла земля и вскормленные ею травы.

В полдень Наталья сходила к вырытому в яру колодцу, принесла кувшин ледяной родниковой воды. Они с Ильиничной напились, помыли руки, сели на солнцепеке обедать. Ильинична на разостланной завеске аккуратно порезала хлеб, достала из сумки ложки, чашку, из-под кофты вынула спрятанный от солнца узкогорлый кувшин с кислым молоком.

Наталья ела неохотно, и свекровь спросила:

— Давно примечаю за тобой, что-то ты не такая стала. Аль уж с Гришкой что у вас получилось?

У Натальи жалко задрожали обветренные губы:

— Он, маманя, опять с Аксиньей живет.

— Это… откуда же известно?

— Я вчера у Аксиньи была.

— И она, подлюка, призналась?

— Да.

Ильинична помолчала, раздумывая. На морщинистом лице ее в углах губ легли строгие складки.

— Может, она похваляется, проклятая?

— Нет, маманя, это верно, чего уж там…

— Недоглядела ты за ним… — осторожно сказала старуха. — С такого муженька глаз не надо сводить.

— Да разве углядишь? Я на его совесть полагалась… Неужели надо было его к юбке моей привязывать? — Наталья горько улыбнулась, чуть слышно добавила: — Он не Мишатка, чтобы его сдержать. Наполовину седой стал, а старое не забывает…

Ильинична вымыла и вытерла ложки, ополоснула чашку, прибрала посуду в сумку и только тогда спросила:

— Это вся и беда?

— Какая вы, маманя… И этой беды хватит, чтобы белый свет стал немил!

— И чего ж ты надумала?

— Чего ж окромя надумаешь? Заберу детей и уйду к своим. Больше жить с ним не буду. Нехай берет ее в дом, живет с ней. Помучилась я и так достаточно.

— Смолоду и я так думала, — со вздохом сказала Ильинична. — Мой-то тоже был кобелем не из последних. Что я горюшка от него приняла, и сказать нельзя. Только уйтить от родного мужа нелегко, да и не к чему. Пораскинь умом — сама увидишь. Да и детишков от отца забирать, как это так? Нет, это ты зря гутаришь. И не думай об этом, не велю!

— Нет, маманя, жить я с ним не буду, и слов не теряйте.

— Как это мне слов не терять? — возмутилась Ильинична. — Да ты мне что — не родная, что ли? Жалко мне вас, проклятых, или нет? И ты мне, матери, старухе, такие слова говоришь? Сказано тебе: выкинь из головы, стало быть — и все тут. Ишь выдумала: «Уйду из дому!» А куда прийдешь? А кому ты из своих нужна? Отца нету, курень сожгли, мать сама под чужим плетнем Христа ради будет жить, и ты туда воткнешься и внуков моих за собой потянешь? Нет, милая, не будет твоего дела! Приедет Гришка, тогда поглядим, что с ним делать, а зараз ты мне и не толкуй об этом, не велю и слухать не буду!

Все, что так долго копилось у Натальи на сердце, вдруг прорвалось в судорожном припадке рыданий. Она со стоном сорвала с головы платок, упала лицом на сухую,

неласковую землю и, прижимаясь к ней грудью, рыдала без слез.

Ильинична — эта мудрая и мужественная старуха — и с места не двинулась. Она тщательно завернула в кофту кувшин с остатками молока, поставила его в холодок, потом налила в чашку воды, подошла и села рядом с Натальей. Она знала, что такому горю словами не поможешь; знала и то, что лучше — слезы, чем сухие глаза и твердо сжатые губы. Дав Наталье выплакаться, Ильинична положила свою загрубелую от работы руку на голову снохи, гладя черные глянцевитые волосы, сурово сказала:

— Ну, хватит! Всех слез не вычерпаешь, оставь и для другого раза. На-ка вот, попей воды.

Наталья утихла. Лишь изредка поднимались ее плечи да по телу пробегала мелкая дрожь. Неожиданно она вскочила, оттолкнула Ильиничну, протягивавшую ей чашку с водой, и, повернувшись лицом на восток, молитвенно сложив мокрые от слез ладони, скороговоркой, захлебываясь, прокричала:

— Господи! Всю душеньку мою он вымотал! Нету больше силы так жить! Господи, накажи его, проклятого! Сразу его там насмерть! Чтобы больше не жил он, не мучил меня!..

Черная клубящаяся туча ползла с востока. Глухо грохотал гром. Пронизывая круглые облачные вершины, извиваясь, скользила по небу жгуче-белая молния. Ветер клонил на запад ропщущие травы, нес со шляха горькую пыль, почти до самой земли пригибал отягощенные семечками шляпки подсолнухов.

Ветер трепал раскосмаченные волосы Натальи, сушил ее мокрое лицо, обвивал вокруг ног широкий подол серой будничной юбки.

Несколько секунд Ильинична с суеверным ужасом смотрела на сноху. На фоне вставшей вполнеба черной грозовой тучи она казалась ей незнакомой и страшной.

Стремительно находил дождь. Предгрозовая тишина стояла недолго. Тревожно заверещал косо снижавшийся копчик, в последний раз свистнул возле норы суслик, густой ветер ударил в лицо Ильиничны мелкой песчаной пылью, с воем полетел по степи. Старуха с трудом поднялась на ноги. Лицо ее было смертельно бледно, когда она сквозь гул подступившей бури глухо крикнула:

— Опамятуйся! Бог с тобой! Кому ты смерти просишь?!

— Господи, покарай его! Господи, накажи! — выкрикивала Наталья, устремив обезумевшие глаза туда, где величаво и дико громоздились тучи, вздыбленные вихрем, озаряемые слепящими вспышками молний.

Над степью с сухим треском ударил гром. Охваченная страхом, Ильинична перекрестилась, неверными шагами подошла к Наталье, схватила ее за плечо:

— Становись на колени! Слышишь, Наташка?!

Наталья глянула на свекровь какими-то незрячими глазами, безвольно опустилась на колени.

— Проси у бога прощения! — властно приказала Ильинична. — Проси, чтобы не принял твою молитву. Кому ты смерти просила? Родному отцу своих детей. Ох, великий грех… Крестись! Кланяйся в землю. Говори: «Господи, прости мне, окаянной, мое прегрешение».

Наталья перекрестилась, что-то шепнула побелевшими губами и, стиснув зубы, неловко повалилась на бок.

Омытая ливнем степь дивно зеленела. От дальнего пруда до самого Дона перекинулась горбатая яркая радуга. Глухо погромыхивал на западе гром. В яру с орлиным клекотом мчалась мутная нагорная вода. Вниз, к Дону, по косогору, по бахчам стремились вспенившиеся ручьи. Они несли порезанные дождем листья, вымытые из почвы корневища трав, сломленные ржаные колосья. По бахчам, заваливая арбузные и дынные плети, расползались жирные песчаные наносы; вдоль по летникам, глубоко промывая колеи, стекала

взыгравшая вода. У отножины дальнего буерака догорал подожженный молнией стог сена. Высоко поднимался лиловый столб дыма, почти касаясь верхушкой распростертой по небу радуги.

Ильинична и Наталья спускались к хутору, осторожно ступая босыми ногами по грязной, скользкой дороге, высоко подобрав юбки. Ильинична говорила:

— Норов у вас, у молодых, велик, истинный бог! Чуть чего — вы и беситесь. Пожила бы так, как я смолоду жила, что бы ты тогда делала? Тебя Гришка за всю жизню пальцем не тронул, и то ты недовольная, вон какую чуду сотворила: и бросать-то его собралась, и омороком тебя шибало, и чего ты только не делала, бога и то в ваши поганые дела путала… Ну, скажи, болезная, и это — хорошо? А меня идол мой хромоногий смолоду до смерти убивал, да ни за что ни про что; вины моей перед ним нисколько не было. Сам паскудничал, а на мне зло срывал. Прийдет, бывало, на заре, закричу горькими слезьми, попрекну его, ну он и даст кулакам волю… По месяцу вся синяя, как железо, ходила, а ить выжила же, и детей воскормила, и из дому ни разу не счиналась уходить. Я не охваливаю Гришку, но с таким ишо можно жить. Кабы не эта змея — был бы он из хуторных казаков первым. Приворожила она его, не иначе.

Наталья долго шла молча, что-то обдумывая, потом сказала:

— Маманя, я об этом больше не хочу гутарить. Григорий приедет, там видно будет, куда мне деваться… Может, сама уйду, а может, и он выгонит, а зараз я из вашего дома никуда не тронусь.

— Вот так бы и давно сказала! — обрадовалась Ильинична. — Бог даст, все уладится. Он ни за что тебя не выгонит, и не думай об этом! Так он любит и тебя и детишков, да чтобы помыслил такое? Нет-нет! Не променяет он тебя на Аксинью, не могет он такое сделать! Ну, а промеж своих мало ли чего не бывает? Лишь бы живой он возвернулся…

— Смерти я ему не хочу… Сгоряча я там все говорила… Вы меня не попрекайте за это… Из сердца его не вынешь, но и так жить тяжелехонько!..

— Милушка моя, родимая! Да разве ж я не знаю? Только с размаху ничего не надо делать. Верное слово, бросим об этом гутарить! И ты старику, ради Христа, зараз ничего не говори. Не его это дело.

— Я вам хочу про одно сказать… Буду я с Григорием жить или нет, пока неизвестно, но родить от него больше не хочу. Ишо с этими не видно, куда прийдется деваться… А я беременная зараз, маманя…

— И давно?

— Третий месяц.

— Куда ж от этого денешься? Хочешь не хочешь, а родить придется.

— Не буду, — решительно сказала Наталья. — Нынче же пойду к бабке Капитоновне. Она меня от этого ослобонит… Кое-кому из баб она делала.

— Это — плод травить? И поворачивается у тебя язык, у бессовестной? — Возмущенная Ильинична остановилась среди дороги, всплеснула руками. Она еще что-то хотела сказать, но сзади послышалось тарахтенье колес, звучное чмоканье конских копыт по грязи и чей-то понукающий голос.

Ильинична и Наталья сошли с дороги, на ходу опуская подоткнутые юбки. Ехавший с поля старик Бесхлебнов Филипп Аггеевич поравнялся с ними, придержал резвую кобылку:

— Садитесь, бабы, подвезу, чего зря грязь месить.

— Вот спасибо, Агевич, а то мы уж уморились осклизаться, — довольно проговорила Ильинична и первая села на просторные дроги.

После обеда Ильинична хотела поговорить с Натальей, доказать ей, что нет нужды

избавляться от беременности; моя посуду, она мысленно подыскивала, по ее мнению, наиболее убедительные доводы, думала даже о том, чтобы о решении Натальи поставить в известность старика и при его помощи отговорить от неразумного поступка взбесившуюся с горя сноху, но, пока она управлялась с делами, Наталья тихонько собралась и ушла.

— Где Наталья? — спросила Ильинична у Дуняшки.

— Собрала какой-то узелок и ушла.

— Куда? Чего она говорила? Какой узелок?

— Да почем я знаю, маманя? Положила в платок чистую юбку, ишо что-то и пошла, ничего не сказала.

— Головушка горькая! — Ильинична, к удивлению Дуняшки, беспомощно заплакала, села на лавку.

— Вы чего, маманя? Господь с вами, чего вы плачете?

— Отвяжись, настырная! Не твое дело! Чего она говорила-то? И чего же ты мне не сказала, как она собиралась?

Дуняшка с досадою ответила:

— Чистая беда с вами! Да откуда же я знала, что мне надо было вам об этом говорить? Не навовсе же она ушла? Должно быть, к матери в гости направилась, и чего вы плачете — в ум не возьму!

С величайшей тревогой Ильинична ждала возвращения Натальи. Старику решила не говорить, боясь попреков и нареканий.

На закате солнца со степи пришел табун. Спустились куцые летние сумерки. По хутору зажглись редкие огни, а Натальи все не было. В мелеховском курене сели вечерять. Побледневшая от волнения Ильинична подала на стол лапшу, сдобренную поджаренным на постном масле луком. Старик взял ложку, смел в нее крошки черствого хлеба, ссыпал их в забородатевший рот и, рассеянно оглядев сидевших за столом, спросил:

— Наталья где? Чего к столу не кличете?

— Ее нету, — вполголоса отозвалась Ильинична.

— Где же она?

— Должно, к матери пошла и загостевалась.

— Долго она гостюет. Пора бы порядок знать… — недовольно бормотнул Пантелей Прокофьевич.

Он ел, как всегда, старательно, истово; изредка клал на стол вверх донышком ложку, косым любующимся взглядом окидывал сидевшего рядом с ним Мишатку, грубовато говорил: «Повернись, чадунюшка мой, трошки, дай-ка я тебе губы вытру. Мать у вас — поблуда, а за вами и догляду нет…» И большой заскорузлой и черной ладонью вытирал нежные, розовые губенки внука.

Молча довечеряли, встали из-за стола. Пантелей Прокофьевич приказал:

— Тушите огонь. Гасу мало, и нечего зря переводить.

— Двери запирать? — спросила Ильинична.

— Запирай.

— А Наталья?

— Явится — постучит. Может, она до утра будет шляться? Тоже моду взяла… Ты бы ей побольше молчала, старая ведьма! Ишь надумала по ночам в гости ходить… Вот я ей утром выкажу. С Дашки пример взяла…

Ильинична легла, не раздеваясь. С полчаса пролежала, молча ворочаясь, вздыхая, и только что хотела встать и идти к Капитоновне, как под окном послышались чьи-то неуверенные, шаркающие шаги. Старуха вскочила с несвойственной ее летам живостью,

торопливо выбежала в сенцы, открыла дверь.

Бледная как смерть Наталья, хватаясь за перильце, тяжело всходила по крыльцу. Полный месяц ярко освещал ее осунувшееся лицо, ввалившиеся глаза, страдальчески изогнутые брови. Она шла покачиваясь, как тяжело раненный зверь, и там, где ступала ее нога, — оставалось темное кровяное пятно.

Ильинична молча обняла ее, ввела в сенцы. Наталья прислонилась спиной к двери, хрипло прошептала:

— Наши спят? Маманя, затрите за мной кровь… Видите — наследила я…

— Что же ты с собой наделала?! — давясь рыданиями, вполголоса воскликнула Ильинична.

Наталья попробовала улыбнуться, но вместо улыбки жалкая гримаса исказила ее лицо.

— Не шумите, маманя… А то наших побудите… Вот я и ослобонилась. Теперь у меня душа спокойная. Только уж дюже кровь… Как из резаной, из меня хлыщет… Дайте мне руку, маманя… Голова у меня кружится.

Ильинична заперла на засов дверь, словно в незнакомом доме долго шарила дрожащей рукою и никак не могла найти в потемках дверную ручку. Ступая на цыпочках, она провела Наталью в большую горницу; разбудила и выслала Дуняшку, позвала Дарью, зажгла лампу.

Дверь в кухню была открыта, и оттуда слышался размеренный могучий храп Пантелея Прокофьевича; во сне сладко чмокала губами и что-то лепетала маленькая Полюшка. Крепок детский, ничем не тревожимый сон!

Пока Ильинична взбивала подушку, готовя постель, Наталья присела на лавку, обессиленно положила голову на край стола. Дуняшка хотела было войти в горницу, но Ильинична сурово сказала:

— Уйди, бессовестная, и не показывайся сюда! Не дело тебе тут натираться.

Нахмуренная Дарья взяла мокрую тряпку, ушла в сени. Наталья с трудом подняла голову, сказала:

— Сымите с кровати чистую одежу… Постелите мне дерюжку… Все одно измажу…

— Молчи! — приказала Ильинична. — Раздевайся, ложись. Плохо тебе? Может, воды принесть?

— Ослабла я… Принесите мне чистую рубаху и воды.

Наталья с усилием встала, неверными шагами подошла к кровати. Тут только Ильинична заметила, что юбка Натальи, напитанная кровью, тяжело обвисает, липнет к ногам. Она с ужасом смотрела, как Наталья, будто побывав под дождем, нагнулась, выжала подол, начала раздеваться.

— Да ты же кровью изошла! — всхлипнула Ильинична.

Наталья раздевалась, закрыв глаза, дыша порывисто и часто. Ильинична глянула на нее и решительно направилась в кухню. С трудом она растолкала Пантелея Прокофьевича, сказала:

— Наталья захворала… Дюже плохая, как бы не померла… Зараз же запрягай и езжай в станицу за фершалом.

— Выдумаешь чертовщину! С чего ей поделалось? Захворала? Поменьше бы по ночам таскалась…

Старуха коротко объяснила, в чем дело. Взбешенный Пантелей Прокофьевич вскочил, на ходу застегивая шаровары, пошел в горницу.

— Ах, паскудница! Ах, сукина дочь! Чего удумала, а? Неволя ее заставила!.. Вот я ей зараз пропесочу…

— Одурел, проклятый? Куда ты лезешь?.. Не ходи туда, ей не до тебя!.. Детей побудишь! Ступай на баз да скорее запрягай!.. — Ильинична хотела удержать старика, но тот, не слушая,

подошел к двери в горницу, пинком распахнул ее.

— Наработала, чертова дочь! — заорал он, став на пороге.

— Нельзя! Батя, не входи! Ради Христа, не входи! — пронзительно вскрикнула Наталья, прижимая к груди снятую рубаху.

Чертыхаясь, Пантелей Прокофьевич начал разыскивать зипун, фуражку, упряжь. Он так долго мешкал, что Дуняшка не вытерпела — ворвалась в кухню и со слезами напустилась на отца:

— Езжай скорее! Чего ты роешься, как жук в навозе? Наташка помирает, а он битый час собирается! Тоже! Отец, называется! А не хочешь ехать — так и скажи! Сама запрягу и поеду!

— Тю, сдурела! Что ты, с привязу сорвалась? Тебя ишо не слыхали, короста липучая! Тоже, на отца шумит, пакость! — Пантелей Прокофьевич замахнулся на девку зипуном и, вполголоса бормоча проклятия, вышел на баз.

После его отъезда в доме все почувствовали себя свободнее. Дарья замывала полы, ожесточенно передвигая стулья и лавки. Дуняшка, которой после отъезда старика Ильинична разрешила войти в горницу, сидела у изголовья Натальи, поправляла подушку, подавала воду; Ильинична изредка наведывалась к спавшим в боковушке детям и, возвратясь в горницу, подолгу смотрела на Наталью, подперев щеку ладонью, горестно качая головой.

Наталья лежала молча, перекатывая по подушке голову с растрепанными, мокрыми от пота прядями волос. Она истекала кровью. Через каждые полчаса Ильинична бережно приподнимала ее, вытаскивала мокрую, как хлющ, подстилку, стлала новую.

С каждым часом Наталья все больше и больше слабела. За полночь она открыла глаза, спросила:

— Скоро зачнет светать?

— Что не видно, — успокоила ее старуха, а про себя подумала: «Значит, не выживет! Боится, что обеспамятеет и не увидит детей…»

Словно в подтверждение ее догадки, Наталья тихо попросила:

— Маманя, разбудите Мишатку с Полюшкой…

— Что ты, милушка! К чему их середь ночи будить? Они напужаются, глядючи на тебя, крик подымут… К чему их будить-то?

— Хочу поглядеть на них… Мне плохо.

— Господь с тобой, чего ты гутаришь? Вот зараз отец привезет фершала, и он тебе пособит. Ты бы уснула, болезная, а?

— Какой мне сон! — с легкой досадой в голосе ответила Наталья. И после этого надолго умолкла, дышать стала ровнее.

Ильинична потихоньку вышла на крыльцо, дала волю слезам. С опухшим красным лицом она вернулась в горницу, когда на востоке чуть забелел рассвет. На скрип двери Наталья открыла глаза, еще раз спросила:

— Скоро рассвенет?

— Рассветает.

— Укройте мне ноги шубой…

Дуняшка набросила ей на ноги овчинную шубу, поправила с боков теплое одеяло. Наталья поблагодарила взглядом, потом подозвала Ильиничну, сказала:

— Сядьте возле меня, маманя, а ты, Дуняшка, и ты, Дарья, выйдите на-час, я хочу с одной маманей погутарить… Ушли они? — спросила Наталья, не открывая глаз.

— Ушли.

— Батя не приехал ишо?

— Скоро приедет. Тебе хужеет, что ли?

— Нет, все одно… Вот что я хотела сказать… Я, маманя, помру вскорости… Чует мое сердце. Сколько из меня крови вышло — страсть! Вы скажите Дашке, чтобы она, как затопит печь, поставила воды побольше… Вы сами обмойте меня, не хочу, чтобы чужие…

— Наталья! Окстись, лапушка моя! Чего ты об смерти заговорила! Бог милостив, очунеешься.

Слабым движением руки Наталья попросила свекровь замолчать, сказала:

— Вы меня не перебивайте… Мне уж и гутарить тяжело, а я хочу сказать… Опять у меня голова кружится… Я вам про воду сказала? А я, значит, сильная… Капитоновна мне давно это сделала, с обеда, как только пришла… Она, бедная, сама напужалась… Ой, много крови из меня вышло… Лишь бы до утра дожить… Воды побольше нагрейте… Хочу чистой быть, как помру… Маманя, вы меня оденьте в зеленую юбку, в энту, какая с прошивкой на оборке… Гриша любил, как я ее надевала… и в поплиновую кофточку… она в сундуке сверху, в правом углу, под шалькой лежит… А ребят пущай уведут, как я кончусь, к нашим… Вы бы послали за матерью, нехай прийдет зараз… Мне уж надо попрощаться… Примите из-под меня. Мокрое все…

Ильинична, поддерживая Наталью под спину, вытащила подстилку, кое-как подсунула новую. Наталья успела шепнуть:

— На бок меня… поверните! — и тотчас потеряла сознание.

В окна глянул голубой рассвет. Дуняшка вымыла цебарку, пошла на баз доить коров. Ильинична распахнула окно — в горницу, напитанную тяжким духом свежей крови, запахом сгоревшего керосина, хлынул бодрящий, свежий и резкий холодок летнего утра. На подоконник с вишневых листьев ветер отряхнул слезинки росы; послышались ранние голоса птиц, мычание коров, густые отрывистые хлопки пастушьего арапника.

Наталья пришла в себя, открыла глаза, кончиком языка облизала сухие, обескровленные, желтые губы, попросила пить. Она уже не спрашивала ни о детях, ни о матери. Все отходило от нее — и, как видно, навсегда…

Ильинична закрыла окно, подошла к кровати. Как страшно переменилась Наталья за одну ночь! Сутки назад была она, как молодая яблоня в цвету, — красивая, здоровая, сильная, а сейчас щеки ее выглядели белее мела с обдонской горы, нос заострился, губы утратили недавнюю яркую свежесть, стали тоньше и, казалось, с трудом прикрывали раздвинутые подковки зубов. Одни глаза Натальи сохранили прежний блеск, но выражение их было уже иное. Что-то новое, незнакомое и пугающее, проскальзывало во взгляде Натальи, когда она изредка, повинуясь какой-то необъяснимой потребности, приподнимала синеватые веки и обводила глазами горницу, на секунду останавливая их на Ильиничне…

На восходе солнца приехал Пантелей Прокофьевич. Заспанный фельдшер, усталый от бессонных ночей и бесконечной возни с тифозными и ранеными, потягиваясь, вылез из тарантаса, взял с сиденья сверток, пошел в дом. Он снял на крыльце брезентовый дождевик, перегнувшись через перила, долго мылил волосатые руки, исподлобья посматривая на Дуняшку, лившую ему в пригоршню воду из кувшина, и даже раза два подмигнул ей. Потом вошел в горницу и минут десять пробыл около Натальи, предварительно выслав всех из комнаты.

Пантелей Прокофьевич и Ильинична сидели в кухне.

— Ну что? — шепотом справился старик, как только они вышли из горницы.

— Плохая…

— Это она самовольно?

— Сама надумала… — уклонилась Ильинична от прямого ответа.

— Горячей воды, быстро! — приказал фельдшер, высунув в дверь взлохмаченную голову.

Пока кипятили воду, фельдшер вышел в кухню. На немой вопрос старика безнадежно махнул рукой:

— К обеду отойдет. Страшная потеря крови. Ничего нельзя сделать! Григория Пантелеевича не известили?

Пантелей Прокофьевич, не отвечая, торопливо захромал в сенцы. Дарья видела, как старик, зайдя под навесом сарая за косилку и припав головой к прикладу прошлогодних кизяков, плакал навзрыд.

Фельдшер пробыл еще с полчаса, посидел на крыльце, подремал под лучами восходившего солнца, потом, когда вскипел самовар, снова пошел в горницу, вспрыснул Наталье камфары, вышел и попросил молока. С трудом подавляя зевоту, выпил два стакана, сказал:

— Вы меня отвезите сейчас. У меня в станице больные и раненые, да и быть мне тут ни к чему. Все бесполезно. Я бы с дорогой душой послужил Григорию Пантелеевичу, но говорю честно: помочь не могу. Наше дело маленькое — мы только больных лечим, а мертвых воскрешать еще не научились. А вашу бабочку так разделали, что ей и жить не с чем… Матка изорвана, прямо-таки живого места нет. Как видно, железным крючком старуха орудовала. Темнота наша, ничего не попишешь!

Пантелей Прокофьевич подкинул в тарантас сена, сказал Дарье:

— Ты отвезешь. Не забудь кобылу напоить, как спустишься к Дону.

Он предложил было фельдшеру денег, но тот решительно отказался, пристыдил старика:

— Совестно тебе, Пантелей Прокофьевич, и говорить-то об этом. Свои люди, а ты с деньгами лезешь. Нет-нет, и близко не подходи с ними! Чем отблагодарить? Об этом и толковать нечего! Кабы я ее, сноху вашу, на ноги поднял — тогда другое дело.

Утром, часов около шести, Наталья почувствовала себя значительно лучше. Она попросила умыться, причесала волосы перед зеркалом, которое держала Дуняшка, и, оглядывая родных как-то по-новому сияющими глазами, с трудом улыбнулась:

— Ну, теперь я пошла на поправку! А я уж испужалась… Думала — все мне, концы… Да что это ребята так долго спят? Поди глянь, Дуняшка, не проснулись они?

Пришла Лукинична с Грипашкой. Старуха заплакала, глянув на дочь, но Наталья взволнованно и часто заговорила:

— Чего вы, маманя, плачете? Не такая уж я плохая… Вы меня не хоронить же пришли? Ну, на самом деле, чего вы плачете?

Грипашка незаметно толкнула мать, и та, догадавшись, проворно вытерла глаза, успокаивающе сказала:

— Что ты, дочушка, это я так, сдуру слезу сронила. Сердце защемило, как глянула на тебя… Уж дюже ты переменилась…

Легкий румянец заиграл на щеках Натальи, когда она услышала Мишаткин голос и смех Полюшки.

— Кличьте их сюда! Кличьте скорее!.. — просила она. — Нехай они потом оденутся!..

Полюшка вошла первая, на пороге остановилась, кулачком протирая заспанные глаза.

— Захворала твоя маманька… — с улыбкой проговорила Наталья. — Подойди ко мне, жаль моя!

Полюшка с удивлением рассматривала чинно сидевших на лавках взрослых, подойдя к матери, огорченно спросила:

— Чего ты меня не разбудила? И чего они все собрались?

— Они пришли меня проведать… А тебя я к чему же будила бы?

— Я б тебе воды принесла, посидела бы возле тебя…

— Ну, ступай, умойся, причешись, помолись богу, а потом прийдешь, посидишь со мной.

— А завтракать ты встанешь?

— Не знаю. Должно быть, нет.

— Ну тогда я тебе сюда принесу, ладно, маманюшка?

— Истый батя, только сердцем не в него, помягче… — со слабой улыбкой сказала Наталья, откинув голову и зябко натягивая на ноги одеяло.

Через час Наталье стало хуже. Она поманила пальцем к себе детей, обняла их, перекрестила, поцеловала и попросила мать, чтобы та увела их к себе. Лукинична поручила отвести ребятишек Грипашке, сама осталась около дочери.

Наталья закрыла глаза, сказала, как бы в забытьи:

— Так я его и не увижу… — Потом, словно что-то вспомнив, резко приподнялась на кровати: — Верните Мишатку!

Заплаканная Грипашка втолкнула мальчика в горницу, сама осталась в кухне, чуть слышно причитая.

Угрюмоватый, с неласковым мелеховским взглядом Мишатка несмело подошел к кровати. Резкая перемена, происшедшая с лицом матери, делала мать почти незнакомой, чужой. Наталья притянула сынишку к себе, почувствовала, как быстро, будто у пойманного воробья, колотится маленькое Мишаткино сердце.

— Нагнись ко мне, сынок! Ближе! — попросила Наталья.

Она что-то зашептала Мишатке на ухо, потом отстранила его, пытливо посмотрела в глаза, сжала задрожавшие губы и, с усилием улыбнувшись жалкой, вымученной улыбкой, спросила:

— Не забудешь? Скажешь?

— Не забуду… — Мишатка схватил указательный палец матери, стиснул его в горячем кулачке, с минуту подержал и выпустил. От кровати пошел он, почему-то ступая на цыпочках, балансируя руками… Наталья до дверей проводила его взглядом и молча повернулась к стене.

В полдень она умерла.

XVII

Многое передумал и вспомнил Григорий за двое суток пути от фронта до родного хутора… Чтобы не оставаться в степи одному со своим горем, с неотступными мыслями о Наталье, он взял с собой Прохора Зыкова. Как только выехали с места стоянки сотни, Григорий завел разговор о войне, вспомнил, как служил в 12-м полку на австрийском фронте, как ходил в Румынию, как бились с немцами. Говорил он без умолку, вспоминал всякие потешные истории, происходившие с их однополчанами, смеялся…

Простоватый Прохор вначале недоуменно косился на Григория, дивясь его необычайной разговорчивости, а потом все же догадался, что Григорий воспоминаниями о давнишних днях хочет отвлечь себя от тяжелых думок, — и стал поддерживать разговор и, быть может, даже с излишним старанием. Со всеми подробностями рассказывая о том, как пришлось ему когда-то лежать в черниговском госпитале, Прохор случайно взглянул на Григория, увидел, как по смуглым щекам его обильно текут слезы… Из скромности Прохор приотстал на несколько саженей, с полчаса ехал позади, а потом снова поравнялся, попробовал было заговорить о чем-то постороннем, пустяковом по значимости, но Григорий в разговор не вступил. Так они до полудня и рысили, молча, рядом, стремя к стремени.

Григорий спешил отчаянно. Несмотря на жару, он пускал своего коня то крупной рысью,

то наметом и лишь изредка переводил его на шаг. Только в полдень, когда отвесно падающие лучи солнца начали палить нестерпимо, Григорий остановился в балке, расседлал коня, пустил его на попас, а сам ушел в холодок, лег ничком — и так лежал до тех пор, пока не спала жара. Раз они покормили лошадей овсом, но положенного на выкормку времени Григорий не соблюдал. Даже их — привычные к большим пробегам — лошади к концу первых суток резко исхудали, шли уже не с той неутомимой резвостью, как вначале. «Этак нехитро и погубить коней. Кто так ездит? Ему хорошо, черту, он своего загонит и в любой момент себе другого под седло достанет, а я откуда возьму? Доскачется, дьявол, что придется до самого Татарского из такой дали пеши пороть либо на обывательских тянуться!» — раздраженно думал Прохор.

Наутро следующего дня возле одного из хуторов Федосеевской станицы он не стерпел, сказал, обращаясь к Григорию:

— Скажи, как ты хозяином сроду не был… Ну, кто так, без роздыху, и день и ночь скачет? Ты глянь, как кони перепали. Давай хоть на вечерней зорьке накормим их как полагается.

— Езжай, не отставай, — рассеянно ответил Григорий.

— Я за тобой не угонюсь, мой уже пристает. Может, отдохнем?

Григорий промолчал. С полчаса они рысили, не обменявшись ни словом, потом Прохор решительно заявил:

— Давай же дадим им хоть трошки сапнуть! Я дальше так не поеду! Слышишь?

— Толкай, толкай!

— До каких же пор толкать? Пока копыта откинет?

— Не разговаривай!

— Помилосердствуй, Григорий Пантелевич! Я не хочу своего коня обдирать, а дело идет к этому…

— Ну, становись, черт с тобой! Приглядывай, где трава получше.

Телеграмма, блуждавшая в поисках Григория по станицам Хоперского округа, пришла слишком поздно… Григорий приехал домой на третий день после того, как похоронили Наталью. У калитки он спешился, на ходу обнял выбежавшую из дома всхлипывающую Дуняшку, нахмурясь, попросил:

— Выводи коня хорошенько… Да не реви! — и повернулся к Прохору: — Езжай домой. Понадобишься — скажу тогда.

Ильинична, держа за руки Мишатку и Полюшку, вышла на крыльцо встречать сына.

Григорий схватил в охапку детишек, дрогнувшим голосом сказал:

— Только не кричать! Только без слез! Милые мои! Стало быть, осиротели? Ну-ну… Ну-ну… Подвела нас мамка…

А сам, с величайшим усилием удерживая рыдания, вошел в дом, поздоровался с отцом.

— Не уберегли… — сказал Пантелей Прокофьевич и тотчас же захромал в сенцы.

Ильинична увела Григория в горницу, долго рассказывала про Наталью. Старуха не хотела было говорить всего, но Григорий спросил:

— Почему она надумалась не родить, ты знаешь?

— Знаю.

— Ну?

— Она перед этим ходила к твоей, к этой… Аксинья ей и рассказала про все…

— Ага… так? — Григорий густо побагровел, опустил глаза.

Из горницы он вышел постаревший и бледный; беззвучно шевеля синеватыми, дрожащими губами, сел к столу, долго ласкал детей, усадив их к себе на колени, потом достал из подсумки серый от пыли кусок сахару, расколол его на ладони ножом, виновато

улыбнулся:

— Вот и весь гостинец вам… Вот какой у вас отец… Ну, бежите на баз, зовите деда.

— На могилку пойдешь? — спросила Ильинична.

— Как-нибудь потом… Мертвые не обижаются… Как Мишатка, Полюшка? Ничего?

— В первый день дюже кричали, особливо Полюшка… Зараз — как уговорились, и не вспоминают об ней при нас, а нынче ночью слыхала — Мишатка кричал потихоньку… залез под подушку головой, чтобы его не слыхать было… Я подошла, спрашиваю: «Ты чего, родненький? Может, со мной ляжешь?» А он и говорит: «Ничего, бабуня, это я, должно быть, во сне…» Погутарь с ними, пожалей их… Вчерась утром слухаю, гутарют в сенцах промеж собой. Полюшка и говорит: «Она вернется к нам. Она — молодая, а молодые навовсе не умирают». Глупые ишо, а сердчишки-то болят, как у больших… Ты голодный небось? Сем-ка я соберу тебе перекусить чего-нибудь, чего ж молчишь?

Григорий вошел в горницу. Будто впервые попал сюда, он внимательно оглядел стены, остановил взгляд на прибранной, со взбитыми подушками кровати. На ней умерла Наталья, оттуда в последний раз звучал ее голос… Григорий представил, как Наталья прощалась с ребятишками, как она их целовала и, быть может, крестила, и снова, как тогда, когда читал телеграмму о ее смерти, ощутил острую, колющую боль в сердце, глухой звон в ушах.

Каждая мелочь в доме напоминала о Наталье. Воспоминания о ней были неистребимы и мучительны. Григорий зачем-то обошел все комнаты и торопливо вышел, почти выбежал на крыльцо. Боль в сердце становилась все горячее. На лбу у него выступила испарина. Он сошел с крыльца, испуганно прижимая к левой стороне груди ладонь, подумал: «Видно, укатали сивку крутые горки…»

Дуняшка вываживала по двору коня. Около амбара конь, сопротивляясь поводу, остановился, понюхал землю, вытянув шею и подняв верхнюю губу, ощерил желтые плиты зубов, потом фыркнул и неловко стал подгибать передние ноги. Дуняшка потянула за повод, но конь, не слушаясь, стал ложиться.

— Не давай ложиться! — крикнул из конюшни Пантелей Прокофьевич. — Не видишь — он оседланный! Почему не расседлала, чертова дуреха?!

Неторопливо, все еще прислушиваясь к тому, что делалось у него в груди, Григорий подошел к коню, снял седло, пересилив себя, улыбнулся Дуняшке:

— Пошумливает отец?

— Как и всегда, — ответно улыбнулась Дуняшка.

— Поводи ишо трошки, сестра.

— Он уж высох, ну да ладно, повожу.

— Поваляться дай ему, не препятствуй.

— Н-ну, братушка… Горюешь?

— А ты думала — как? — задыхаясь, ответил Григорий.

Движимая чувством сострадания, Дуняшка поцеловала его в плечо и, отчего-то смутившись до слез, быстро отвернулась, повела коня к скотиньему базу.

Григорий пошел к отцу. Тот старательно выгребал навоз из конюшни.

— Твоему служивскому помещение готовлю.

— Чего же не сказал? Я бы сам вычистил.

— Выдумал тоже! Что я, аль немощный? Я, брат, как кремневое ружье. Мне износу не будет! Ишо прыгаю помаленьку. Завтра вот думаю жита ехать косить. Ты надолго прибег?

— На месяц.

— Вот это хорошо! Поедем-ка на поля? В работе оно тебе легше будет…

— Я уж и сам подумал об этом.

Старик бросил вилы, рукавом вытер пот с лица, с сокровенными нотками в голосе сказал:

— Пойдем в курень, пообедаешь. От него, от этого горя, никуда не скроешься… Не набегаешься и не схоронишься. Должно быть, так…

Ильинична собрала на стол, подала чистый рушник. И опять Григорий подумал: «Бывало, Наталья угощала…» Чтобы не выдать волнения, он проворно стал есть. С чувством признательности он взглянул на отца, когда тот принес из кладовой заткнутый пучком сена кувшин с самогоном.

— Помянем покойницу, царство ей небесное, — твердо проговорил Пантелей Прокофьевич.

Они выпили по стакану. Старик немедля налил еще, вздохнул:

— За один год двоих у нас в семье не стало… Прилюбила смерть наш курень.

— Давай об этом не гутарить, батя! — попросил Григорий.

Он выпил второй стакан залпом, долго жевал кусок вяленой рыбы, все ждал, когда хмель ударит в голову, заглушит неотвязные мысли.

— Жита нонешний год хороши! А наш посев от других прямо отменитый! — хвастливо сказал Пантелей Прокофьевич. И в этой хвастливости, в тоне, каким было сказано, уловил Григорий что-то наигранное, нарочитое.

— А пшеница?

— Пшеница? Трошки прихваченная, а так — ничего, пудов на тридцать пять, на сорок. Гарновка — ох да и хороша ж вышла у людей, а нам, как на грех, не пришлось ее посеять. Но я дюже не жалкую! В такую разруху куда его, хлеб, девать? К Парамонову не повезешь, а в закромах не удержишь. Как пододвинется фронт — товарищи все выметут, как вылижут. Но ты не думай, у нас и без нынешнего урожая года на два хлеба хватит. У нас, слава богу, и в закромах его по ноздри; да ишо кое-где есть… — Старик лукаво подмигнул, сказал: — Спроси у Дашки, сколько мы его прихоронили про черный день! Яму в твой рост да в полтора маховых ширины — доверху набухали! Нас эта проклятая жизня трошки прибеднила, а то ить мы тоже хозяева были… — Старик пьяно засмеялся своей шутке, но спустя немного с достоинством расправил бороду и уже деловито и серьезно сказал: — Может, ты об теще чего думаешь, так я тебе скажу так: ее я не забыл и нужде ихней помог. Не успела она как-то и словом заикнуться, а я на другой день воз хлеба, не мерямши, насыпал и отвез. Покойница Наталья была дюже довольная, аж слезьми ее прошибло, как узнала про это… Давай, сынок, по третьей дернем? Только у меня и радости осталось, что ты!

— Что ж, давай, — согласился Григорий, подставляя стакан.

В это время к столу несмело, бочком подошел Мишатка. Он вскарабкался к отцу на колени и, неловко обнимая его за шею левой рукой, крепко поцеловал в губы.

— Ты чего это, сынок? — растроганно спросил Григорий, заглядывая в затуманенные слезами детские глаза, сдерживаясь, чтобы не дохнуть в лицо сынишки самогонной вонью.

Мишатка негромко ответил:

— Маманька, когда лежала в горнице… когда она ишо живая была, подозвала меня и велела сказать тебе так: «Приедет отец — поцелуй его за меня и скажи ему, чтобы он жалел вас». Она ишо что-то говорила, да я позабыл…

Григорий поставил стакан, отвернулся к окну. В комнате долго стояла тягостная тишина.

— Выпьем? — негромко спросил Пантелей Прокофьевич.

— Не хочу. — Григорий ссадил с колен сынишку, встал, поспешно направился в сенцы.

— Погоди, сынок, а мясо? У нас — курица вареная, блинцы! — Ильинична метнулась к печке, но Григорий уже хлопнул дверью.

Бесцельно бродя по двору, он осмотрел скотиний баз, конюшню; глядя на коня, подумал: «Надо бы искупать его», потом зашел под навес сарая. Около приготовленной к покосу лобогрейки увидел валявшиеся на земле сосновые щепки, стружки, косой обрезок доски. «Гроб Наталье отец делал», — решил Григорий. И торопливо зашагал к крыльцу.

Уступая настояниям сына, Пантелей Прокофьевич наскоро собрался, запряг в косилку лошадей, взял бочонок с водой; вместе с Григорием они в ночь уехали в поле.

XVIII

Григорий страдал не только потому, что он по-своему любил Наталью и свыкся с ней за шесть лет, прожитых вместе, но и потому, что чувствовал себя виновным в ее смерти. Если бы при жизни Наталья осуществила свою угрозу — взяла детей и ушла жить к матери; если бы она умерла там, ожесточенная в ненависти к неверному мужу и непримирившаяся, Григорий, пожалуй, не с такой силой испытал бы тяжесть утраты, и, уж наверное, раскаяние не терзало бы его столь яростно. Но со слов Ильиничны он знал, что Наталья простила ему. все, что она любила его и вспоминала о нем до последней минуты. Это увеличивало его страдания, отягчало совесть немолкнущим укором, заставляло по-новому осмысливать прошлое и свое поведение в нем…

Было время, когда Григорий ничего не питал к жене, кроме холодного безразличия и даже неприязни, но за последние годы он стал иначе относиться к ней, и основной причиной перемены, происшедшей в его отношении к Наталье, были дети.

Вначале и к ним Григорий не испытывал того глубокого отцовского чувства, которое возникло в нем за последнее время. На короткий срок приезжая с фронта домой, он пестовал и ласкал их как бы по обязанности и чтобы сделать приятное матери, сам же не только не ощущал в этом какой-то потребности, но не мог без недоверчивого удивления смотреть на Наталью, на бурные проявления ее материнских чувств. Он не понимал, как можно было так самозабвенно любить эти крохотные крикливые существа, и не раз по ночам с досадой и насмешкой говорил жене, когда она еще кормила детей грудью: «Чего ты вскакиваешь, как бешеная? Не успеет крикнуть, а ты уж на ногах. Ну, нехай надуется, покричит, небось золотая слеза не выскочит!» Дети относились к нему с не меньшим равнодушием, но по мере того как они росли — росла и их привязанность к отцу. Детская любовь возбудила и у Григория ответное чувство, и это чувство, как огонек, перебросилось на Наталью.

После разрыва с Аксиньей Григорий никогда не думал всерьез о том, чтобы разойтись с женой; никогда, даже вновь сойдясь с Аксиньей, он не думал, чтобы она когда-нибудь заменила мать его детям. Он не прочь был жить с ними с обеими, любя каждую из них по-разному, но, потеряв жену, вдруг почувствовал и к Аксинье какую-то отчужденность, потом глухую злобу за то, что она выдала их отношения и — тем самым — толкнула Наталью на смерть.

Как ни старался Григорий, уехав в поле, забыть о своем горе, в мыслях он неизбежно возвращался к этому. Он изнурял себя работой, часами не слезая с лобогрейки, и все же вспоминал Наталью; память настойчиво воскрешала давно минувшее, различные, зачастую незначительные эпизоды совместной жизни, разговоры. Стоило на минуту снять узду с услужливой памяти, и перед глазами его вставала живая, улыбающаяся Наталья. Он вспоминал ее фигуру, походку, манеру поправлять волосы, ее улыбку, интонации голоса…

На третий день начали косить ячмень. Григорий как-то среди дня, когда Пантелей Прокофьевич остановил лошадей, слез с заднего стульца косилки, положил на полок

короткие вилы, сказал:

— Хочу, батя, поехать домой на-час.

— Зачем?

— Что-то соскучился по ребятишкам…

— Что ж, поезжай, — охотно согласился старик. — А мы тем временем будем копнить.

Григорий тотчас же выпряг из косилки своего коня, сел на него и шагом поехал по желтой щетинистой стерне к шляху. «Скажи ему, чтобы жалел вас!» — звучал в ушах его Натальин голос. Григорий закрывал глаза, бросал поводья и, погруженный в воспоминания, предоставлял коню идти бездорожно.

В густо-синем небе почти недвижно стояли раскиданные ветром редкие облака. По стерне враскачку ходили грачи. Они семьями сидели на копнах; старые из клюва в клюв кормили молодых, только недавно оперившихся и еще неуверенно поднимавшихся на крыло. Над скошенными десятинами стон стоял от грачиного крика.

Конь Григория норовил идти по обочине дороги, изредка на ходу срывал ветку донника, жевал ее, гремя удилами. Раза два он останавливался, ржал, завидев вдали лошадей, и тогда Григорий, очнувшись, понукал его, невидящим взором оглядывал степь, пыльную дорогу, желтую россыпь копен, зеленовато-бурые делянки вызревающего проса.

Как только Григорий приехал домой — явился Христоня, мрачный с виду и одетый, несмотря на жару, в суконный английский френч и широкие бриджи. Он пришел, опираясь на огромную свежеоструганную ясеневую палку, поздоровался:

— Проведать пришел. Прослышал про ваше горе. Похоронили, стал быть, Наталью Мироновну?

— Ты каким путем с фронта? — спросил Григорий, сделав вид, будто не слышал вопроса, с удовольствием рассматривая нескладную, несколько согбенную фигуру Христони.

— После ранения на поправку пустили. Скобленули меня поперек пуза доразу две пули. И доси там, возле кишок сидят, застряли, стал быть, проклятые. Через это я и при костыле нахожусь. Видишь?

— Где же это тебя попортили?

— Под Балашовом.

— Взяли его? Как же тебя зацепило?

— В атаку шли. Балашов, стал быть, забрали и Поворино. Я забирал.

— Ну расскажи, с кем ты, в какой части, кто с тобой из хуторных! Присаживайся, вот табак.

Григорий обрадовался новому человеку, возможности поговорить о чем-то постороннем, что не касалось его переживаний. Христоня проявил некоторую сообразительность, догадавшись, что в его сочувствии Григорий не нуждается, и стал охотно, но медлительно рассказывать о взятии Балашова, о своем ранении. Дымя огромной цигаркой, он густо басил:

— Шли в пешем строю по подсолнухам. Они били, стал быть, из пулеметов и из орудий, ну и из винтовок, само собой. Человек я из себя приметный, иду в цепи, как гусак промеж курей, как ни пригинался, а все меня видно, ну они, пули-то, меня и нашли. Да ить это хорошо, что я ростом вышел, а будь пониже — аккурат в голову бы угодили! Были они, стал быть, на излете, но вдарили так, что ажник в животе у меня все забурчало, и каждая горячая, черт, как, скажи, из печки вылетела… Лапнул рукой по этому месту, чую — во мне они сидят, катаются под кожей, как жировики, на четверть одна от другой. Ну, я их помял пальцами и упал, стал быть. Думаю: шутки дурные, к едреной матери с такими шутками! Лучше уж лежать, а то другая прилетит, какая порезвей, и наскрозь пронижет. Ну, и лежу, стал быть. Нет-

нет и потрогаю их, пули-то. Они все там, одна вблизи другой. Ну, я и испужался, думаю: что как они, подлюки, в живот провалются, тогда что? Будут там промеж кишков кататься, как их доктора разыщут? Да и мне радости мало. А тело у человека, хотя бы и у меня, жидкое, пробредут пульки-то до главной кишки — ходи тогда, греми ими, как почтарский громышок. Полное нарушение получится. Лежу, шляпку подсолнуха открутил, семечки ем, а самому страшно. Цепь наша ушла. Ну, как взяли этот Балашов, и я туда прикомандировался. В Тишанской в лазарете лежал. Доктор там такой, стал быть, шустрый, как воробей. Все упрашивал: «Давай пули вырежем?» А я сам себе на уме… Спросил: «Могут они, ваше благородие, в нутро провалиться?» — «Нет, говорит, не могут». Ну, тогда, думаю, не дамся их вырезать! Знаю я эти шутки! Вырежут, не успеет рубец затянуться — и опять иди в часть. «Нет, говорю, ваше благородие, не дамся. Мне с ними даже интереснее. Хочу их домой понесть, жене показать, а они мне не препятствуют, не велика тяжесть». Обругал он меня, а на побывку пустил на неделю.

Улыбаясь, Григорий выслушал бесхитростное повествование, спросил:

— Ты куда попал, в какой полк?

— В Четвертый сводный.

— Кто из хуторных с тобой?

— Наших там много: Аникушка-скопец, Бесхлебнов, Коловейдин Аким, Мирошников Семка, Горбачев Тихон.

— Ну, как казачки? Не жалуются?

— Обижаются на офицерьев, стал быть. Таких сволочей понасажали, житья нету. И почти все — русские, казаков нету.

Христоня, рассказывая, натягивал короткие рукава френча и, словно не веря своим глазам, удивленно рассматривал и гладил на коленях добротное ворсистое сукно английских штанов.

— А ботинок, стал быть, на мою ногу не нашлось, — раздумчиво говорил он. — В английской державе, под ихними людьми, таких ядреных ног нету… Мы же пашаницу сеем и едим, а там, небось, как и в России, на одном жите сидят. Откель же им такие ноги иметь? Всю сотню одели, обули, пахучих папиросов прислали, а все одно — плохо…

— Что плохо? — поинтересовался Григорий.

Христоня улыбнулся, сказал:

— Снаружи хорошо, в середке плохо. Знаешь, опять казаки не хотят воевать. Стал быть, ничего из этой войны не выйдет. Гутарили так, что дальше Хоперского округа не пойдут…

Проводив Христоню, Григорий после короткого размышления решил: «Поживу с неделю и уеду на фронт. Тут с тоски пропадешь». До вечера он был дома. Вспомнил детство и смастерил Мишатке ветряную мельницу из камышинок, ссучил из конского волоса силки для ловли воробьев, дочери искусно сделал крохотную коляску с вращающимися колесами и причудливо изукрашенным дышлом, пробовал даже свернуть из лоскутов куклу, но тут у него ничего не вышло; кукла была сделана при помощи Дуняшки.

Дети, к которым Григорий никогда прежде не проявлял такого внимания, вначале отнеслись к его затеям с недоверием, но потом уже ни на минуту не отходили от него, и под вечер, когда Григорий собрался ехать в поле, Мишатка, сдерживая слезы, заявил:

— Ты сроду такой! Приедешь на-час и опять нас бросаешь… Забери с собой и силки, и мельницу, и трещотку, все забери! Мне не нужно!

Григорий взял в свои большие руки маленькие ручонки сына, сказал:

— Ежели так — давай решим: ты — казак, вот и поедем со мной на поля, будем ячмень косить, копнить, на косилке будешь с дедом сидеть, коней будешь погонять. Сколько там кузнецов в траве! Сколько разных птах в буераке! А Полюшка останется с бабкой

домоседовать. Она на нас в обиде не будет. Ее, девичье, дело — полы подметать, воду бабке носить из Дону в маленькой ведрушонке, да и мало ли у них всяких бабьих делов? Согласный?

— А то нет! — с восторгом воскликнул Мишатка. У него даже глаза заблестели от предвкушаемого удовольствия.

Ильинична было воспротивилась:

— Куда ты его повезешь? Выдумываешь, чума его знает что! А спать где он будет? И кто за ним там будет наглядывать? Упаси бог, либо к лошадям подойдет — вдарят, либо змея укусит. Не езди с отцом, милушка, оставайся дома! — обратилась она к внуку.

Но у того вдруг зловеще вспыхнули сузившиеся глаза (точь-в-точь как у деда Пантелея, когда он приходил в ярость), сжались кулачки, и высоким, плачущим голосом он крикнул:

— Бабка, молчи!.. Все одно поеду! Батянюшка, родненький, не слухай ее!..

Смеясь, Григорий взял сына на руки, успокоил мать:

— Спать он будет со мной. Отсюдова поедем шагом, не уроню же я его? Готовь ему, мамаша, одежу и не боись — сохраню в целости, а завтра к ночи привезу.

Так началась дружба между Григорием и Мишаткой.

За две недели, проведенные в Татарском, Григорий только три раза, и то мельком, видел Аксинью. Она, с присущим ей умом и тактом, избегала встреч, понимая, что лучше ей не попадаться Григорию на глаза, Женским чутьем она распознала его настроение, сообразила, что всякое неосторожное и несвоевременное проявление ее чувства к нему может вооружить его против нее, кинуть какое-то пятно на их взаимоотношения. Она ждала, когда Григорий сам заговорит с ней. Это случилось за день до его отъезда на фронт. Он ехал с поля с возом хлеба, припозднился, в сумерках около крайнего к степи проулка встретил Аксинью. Она издали поклонилась, чуть приметно улыбнулась. Улыбка ее была выжидающей и тревожной. Григорий ответил на поклон, но разминуться молча не смог.

— Как живешь? — спросил он, незаметно натягивая вожжи, умеряя легкий шаг лошадей.

— Ничего, спасибо, Григорий Пантелеевич.

— Что это тебя не видно?

— На полях была… Бьюсь одна с хозяйством.

Вместе с Григорием на возу сидел Мишатка. Может быть, поэтому Григорий не остановил лошадей, не стал больше занимать Аксинью разговором. Он отъехал несколько саженей, обернулся, услышав оклик. Аксинья стояла около плетня.

— Долго пробудешь в хуторе? — спросила она, взволнованно ощипывая лепестки сорванной ромашки.

— Днями уеду.

По тому, как Аксинья на секунду замялась, было видно, что она хотела еще что-то спросить. Но почему-то не спросила, махнула рукой и торопливо пошла на выгон, ни разу не оглянувшись.

XIX

Небо заволокло тучами. Накрапывал мелкий, будто сквозь сито сеянный, дождь. Молодая отава, бурьяны, раскиданные по степи кусты дикого терна блестели.

Крайне огорченный преждевременным отъездом из хутора, Прохор ехал молча, за всю дорогу ни разу не заговорил с Григорием. За хутором Севастьяновским повстречались им трое конных казаков. Они ехали в ряд, поталкивая каблуками лошадей, оживленно разговаривая.

Один из них, пожилой и рыжебородый, одетый в серый домотканый зипун, издали узнал Григория, громко сказал спутникам: «А ить это Мелехов, братушки!» — и, поравнявшись, придержал рослого гнедого коня.

— Здорово живешь, Григорий Пантелевич! — приветствовал он Григория.

— Здравствуй! — ответил Григорий, тщетно пытаясь вспомнить, где он встречался с этим рыжебородым, мрачным на вид казаком.

Его, как видно, недавно произвели в подхорунжий, и он, чтобы не сойти за простого казака, нашил новенькие погоны прямо на зипун.

— Не угадаешь? — спросил он, подъезжая «вплотную, протягивая широкую, покрытую огненно-красными волосами руку, крепко дыша запахом водочного перегара. Тупое самодовольство сияло на лице новоиспеченного подхорунжего, крохотные голубые глазки его искрились, под рыжими усами губы расползались в улыбку.

Нелепый вид зипунного офицера развеселил Григория. Не скрывая насмешки, он ответил:

— Не угадаю. Видать, я встречался с тобой, когда ты был ишо рядовым… Тебя недавно произвели в подхорунжий?

— В самый раз попал! С неделю как произвели. А встречались мы с тобой у Кудинова в штабе, кажись — под благовещение. Ты меня тогда из одной беды выручил, вспомни-ка! Эй, Трифон! Езжайте помаленьку, я догоню! — крикнул бородач приостановившимся неподалеку казакам.

Григорий с трудом припомнил, при каких обстоятельствах виделся с рыжим подхорунжим, вспомнил и кличку его: «Семак» и отзыв о нем Кудинова: «Стреляет, проклятый, без промаху! Зайцев на бегу из винтовки бьет, и в бою лихой, и разведчик хороший, а умом — малое дите». Семак, в восстание командуя сотней, совершил какой-то проступок, за который Кудинов хотел с ним расправиться, но Григорий вступился, и Семак был помилован и оставлен на должности командира сотни.

— С фронта? — спросил Григорий.

— Так точно, в отпуск еду из-под Новохоперска. Чудок, верст полтораста, кругу дал, заезжал в Слащевскую, там у меня — сродствие. Я добро помню, Григорий Пантелевич! Не откажи в милости, хочу угостить тебя, а? Везу в сумах две бутылки чистого спирту, давай их зараз разопьем?

Григорий отказался наотрез, но бутылку спирта, предложенную в подарок, взял.

— Что там было! Казачки и офицеры сгрузились добром! — хвастливо рассказывал Семак. — Я и в Балашове побывал. Взяли мы его и кинулись перво-наперво к железной дороге, там полно стояло составов, все путя были забитые. В одном вагоне — сахар, в другом — обмундирование, в третьем — разное имущество. Иные из казаков по сорок комплектов одежи взяли! А потом, как пошли жидов тресть, — смех! Из моей полусотни один ловкач по жидам восемнадцать штук карманных часов насобирал, из них десять золотых, навешал, сукин кот, на грудях, ну прямо самый что ни на есть богатейший купец! А перстней и колец у него оказалось — не счесть! На каждом пальце по два да по три…

Григорий указал на раздутые переметные сумки Семака, спросил:

— А у тебя это что?

— Так… Разная разность.

— Тоже награбил?

— Ну ты уж скажешь — награбил… Не награбил, а добыл по закону. Наш командир полка так сказал: «Возьмете город — на двое суток он в вашем распоряжении!» Что же я — хуже других? Брал казенное, что под руку попадалось… Другие хуже делали.

— Хороши вояки! — Григорий с отвращением оглядел добычливого подхорунжего,

сказал: — С такими подобными, как ты, на большой дороге, под мостами сидеть, а не воевать! Грабиловку из войны учинили! Эх вы, сволочи! Новое рукомесло приобрели! А ты думаешь, за это когда-нибудь не спустят шкуры и с вас, и с вашего полковника?

— За что же это?

— За это самое!

— Кто же это могет спустить?

— Кто чином повыше.

Семак насмешливо улыбнулся, сказал:

— Да они сами такие-то! Мы хучь в сумах везем да на повозках, а они цельными обозами отправляют.

— А ты видал?

— Скажешь тоже — видал! Сам сопровождал такой обоз до Ярыженской. Одной серебряной посуды, чашков, ложков был полный воз! Кое-какие из офицерьев налетывали: «Чего везете? А ну, показывай!» Как скажу, что это — личное имущество генерала такого-то, так и отъедут ни с чем.

— Чей же это генерал? — щурясь и нервно перебирая поводья, спросил Григорий.

Семак хитро улыбнулся, ответил:

— Позабыл его фамилию… Чей же он, дай бог памяти? Нет, заметило, не вспомню! Да ты зря ругаешься, Григорий Пантелевич. Истинная правда, все так делают! Я ишо промежду других, как ягнок супротив волка; я легочко брал, а другие телешили людей прямо средь улицы, жидовок сильничали прямо напропалую! Я этими делами не занимался, у меня своя законная баба есть, да какая баба-то: прямо жеребец, а не баба! Нет-нет, это ты зря на меня сердце поимел. Погоди, куда же ты?

Григорий кивком головы холодно попрощался с Семаком, сказал Прохору:

— Трогай за мной! — и пустил коня рысью.

По пути все чаще попадались одиночками и группами ехавшие в отпуск казаки. Нередко встречались пароконные подводы. Груз на них был прикрыт брезентами или ряднами, заботливо увязан. Позади подвод, привстав на стременах, рысили казаки, одетые в новенькие летние гимнастерки, в красноармейские, защитного цвета, штаны, запыленные, загорелые лица казаков были оживлены, веселы, но, встречаясь с Григорием, служивые старались поскорее разминуться, проезжали молча, как по команде поднося руки к козырькам фуражек, и заговаривали снова между собой, лишь отъехав на почтительное расстояние.

— Купцы едут! — насмешливо говорил Прохор, издали увидав конных, сопровождавших подводу с награбленным имуществом.

Впрочем, не все ехали на побывку обремененные добычей. На одном из хуторов, остановившись возле колодца, чтобы напоить коней, Григорий услышал доносившуюся из соседнего двора песню. Пели, судя по ребячески чистым, хорошим голосам, молодые казаки.

— Служивого, должно, провожают, — сказал Прохор, зачерпывая ведром воды.

После выпитой накануне бутылки спирта он не прочь был похмелиться, поэтому, поспешно напоив коней, посмеиваясь, предложил:

— А что, Пантелевич, а не пойтить ли нам туда? Может, на проводах и нам перепадет по стремянной? Курень, хотя и камышом крытый, но, видно, богатый.

Григорий согласился пойти взглянуть, как провожают «кугаря». Привязав коней к плетню, они с Прохором вошли во двор. Под навесом сарая у круглых яслей стояли четыре оседланные лошади. Из амбара вышел подросток с железной мерой, доверху насыпанной овсом. Он мельком взглянул на Григория, пошел к заржавшим лошадям. За углом куреня разливалась песня. Дрожащий высокий тенорок выводил:

Как по той-то было по дороженьке Никто пеш не хаживал…

Густой прокуренный бас, повторив последние слова, сомкнулся с тенором, потом вступили новые слаженные голоса, и песня потекла величаво, раздольно и грустно. Григорию не захотелось своим появлением прерывать песенников; он тронул Прохора за рукав, шепнул:

— Погоди, не показывайся, нехай доиграют.

— Это — не проводы. Еланские так играют. Это они так запеснячивают, А здорово, черти, тянут! — одобрительно отозвался Прохор и огорченно сплюнул: расчет на то, чтобы выпить, судя по всему, не оправдался.

Ласковый тенорок до конца рассказал в песне про участь оплошавшего на войне казака:

Ни пешего, ни конного следа допрежь не было.
Проходил по дороженьке казачий полк.
За полком-то бежит душа добрый конь.
Он черкесское седельце на боку несет.
А тесмяная уздечка на правом ухе висит,
Шелковы поводьица ноги путают.
За ним гонит млад донской казак,
Он кричит-то своему коню верному:
«Ты постой, погоди, душа верный конь,
Не покинь ты меня, одинокого,
Без тебя не уйтить от чеченцев злых…»

Очарованный пением, Григорий стоял, привалившись спиной к беленому фундаменту куреня, не слыша ни конского ржания, ни скрипа проезжавшей по проулку арбы…

За углом кто-то из песенников, кончив песню, кашлянул, сказал:

— Не так играли, как оторвали! Ну да ладно, как умеем, так и могем. А вы бы, бабушки, служивым на дорогу ишо чего-нибудь дали. Поели мы хорошо, спаси Христос, да вот на дорогу у нас с собой никаких харчишек нету…

Григорий очнулся от раздумья, вышел из-за угла. На нижней ступеньке крыльца сидели четверо молодых казаков; окружив их плотной толпой, стояли набежавшие из соседних дворов бабы, старухи, детишки. Слушательницы, всхлипывая и сморкаясь, вытирали слезы кончиками платков, одна из старух — высокая и черноглазая, со следами строгой иконописной красоты на увядшем лице — протяжно говорила, когда Григорий подходил к крыльцу:

— Милые вы мои! До чего же вы хорошо да жалостно поете! И, небось, у каждого из вас мать есть, и, небось, как вспомнит про сына, что он на войне гибнет, так слезьми и обольется… — Блеснув на поздоровавшегося Григория желтыми белками, она вдруг злобно сказала: — И таких цветков ты, ваше благородие, на смерть водишь? На войне губишь?

— Нас самих, бабушка, губят, — хмуро ответил Григорий.

Казаки, смущенные приходом незнакомого офицера, проворно поднялись, отодвигая ногами стоявшие на ступеньках тарелки с остатками пищи, оправляя гимнастерки, винтовочные погоны, портупеи. Они пели, даже винтовок не скинув с плеч. Самому старшему из них на вид было не больше двадцати пяти лет.

— Откуда? — спросил Григорий, оглядывая молодые свежие лица служивых.

— Из части… — нерешительно ответил один из них. курносый, со смешливыми глазами.

— Я спрашиваю — откуда родом, какой станицы? Не здешние?

— Еланские, едем в отпуск, ваше благородие.

По голосу Григорий узнал запевалу, улыбаясь, спросил:

— Ты заводил?

— Я.

— Ну, хорош у тебя голосок! А по какому же случаю вы распелись? С радости, что ли? По вас не видно, чтобы были подпитые.

Высокий русый парень с лихо зачесанным, седым от пыли чубом, с густым румянцем на смуглых щеках, косясь на старух, смущенно улыбаясь, нехотя ответил:

— Какая там радость… Нужда за нас поет! Так, за здорово живешь, в этих краях не дюже кормют, дадут кусок хлеба — и все. Вот мы и приловчились песни играть. Как заиграем, понабегут бабы слухать; мы какую-нибудь жалостную заведем, ну, они растрогаются и несут — какая кусок сала, какая корчажку молока или ишо чего из едового…

— Мы вроде попов, господин сотник, поем и пожертвования собираем! — сказал запевала, подмигивая товарищам, прижмуряя в улыбке смешливые глаза.

Один из казаков вытащил из грудного кармана засаленную бумажку, протянул ее Григорию:

— Вот наше отпускное свидетельство.

— Зачем оно мне?

— Может, сумлеваетесь, а мы не дезертиры…

— Это ты будешь показывать, когда с карательным отрядом повстречаетесь, — с досадой сказал Григорий, но, перед тем как уйти, посоветовал все же: — Езжайте ночами, а днем можно перестоять где-нибудь. Бумажка ваша ненадежная, как бы вы с ней не попались… Без печати она?

— У нас в сотне печати нету.

— Ну, так ежли не хотите калмыкам под шомпола ложиться — послухайтесь моего совета!

Верстах в трех от хутора, не доезжая саженей полтораста до небольшого леса, подступившего к самой дороге, Григорий снова увидел двух конных, ехавших ему навстречу. Они на минуту остановились, вглядываясь, а потом круто свернули в лес.

— Эти без бумажки едут, — рассудил Прохор. — Видал, как они крутнули в лес? И черти их несут днем!

Еще несколько человек, завидев Григория и Прохора, сворачивали с дороги, спешили скрыться. Один пожилой пехотинец-казак, тайком пробиравшийся домой, юркнул в подсолнухи, затаился, как заяц на меже. Проезжая мимо него, Прохор поднялся на стременах, крикнул:

— Эй, земляк, плохо хоронишься! Голову схоронил, а ж… видно! — И с деланной свирепостью вдруг гаркнул: — А ну, вылазь! Показывай документы!

Когда казак вскочил и, пригибаясь, побежал по подсолнухам, Прохор захохотал во все горло, тронул было коня, чтобы скакать вдогонку, но Григорий остановил его:

— Не дури! Ну его к черту, он и так будет бечь, пока запалится. Как раз ишо помрет со страху…

— Что ты! Его и борзыми не догонишь! Он зараз верст на десять наметом пойдет. Видал, как он маханул по подсолнухам! Откуда при таких случаях и резвость у человека берется, даже удивительно мне.

Неодобрительно отзываясь вообще о дезертирах, Прохор говорил:

— Едут-то как прямо валками. Как, скажи, их из мешка вытряхнули! Гляди, Пантелевич, как бы вскорости нам с тобой двоим не пришлось фронт держать…

Чем ближе подъезжал Григорий к фронту, тем шире открывалась перед его глазами отвратительная картина разложения Донской армии — разложения, начавшегося как раз в тот момент, когда, пополненная повстанцами, армия достигла на Северном фронте наибольших

успехов. Части ее уже в это время были не только не способны перейти в решительное наступление и сломить сопротивление противника, но и сами не смогли бы выдержать серьезного натиска.

В станицах и селах, где располагались ближние резервы, офицеры беспросыпно пьянствовали; обозы всех разрядов ломились от награбленного и еще не переправленного в тыл имущества; в частях оставалось не больше шестидесяти процентов состава; в отпуска казаки уходили самовольно, и составленные из калмыков рыскавшие по степям карательные отряды не в силах были сдержать волну массового дезертирства. В занятых селах Саратовской губернии казаки держали себя завоевателями на чужой территории: грабили население, насиловали женщин, уничтожали хлебные запасы, резали скот. В армию шли пополнения из зеленой молодежи и стариков пятидесятилетнего возраста. В маршевых сотнях открыто говорили о нежелании воевать, а в частях, которые перебрасывались на воронежское направление, казаки оказывали прямое неповиновение офицерам. По слухам, участились случаи убийства офицеров на передовых позициях.

Неподалеку от Балашова уже в сумерках Григорий остановился в одной небольшой деревушке на ночевку. 4-я отдельная запасная сотня из казаков старших призывных возрастов и саперная рота Таганрогского полка заняли в деревушке все жилые помещения. Григорию пришлось долго искать места для ночлега. Можно было бы переночевать в поле, как они обычно делали, но к ночи находил дождь, да и Прохор трясся в очередном припадке малярии: требовалось провести ночь где-нибудь под кровлей. На выезде из деревни, около большого, обсаженного тополями дома стоял испорченный снарядом бронеавтомобиль. Проезжая мимо, Григорий прочитал незакрашенную надпись на его зеленой стенке: «Смерть белой сволочи!», и — ниже: «Свирепый». Во дворе у коновязи фыркали лошади, слышались людские голоса; за домом в саду горел костер, над зелеными вершинами деревьев стлался дым; освещенные огнем около костра двигались фигуры казаков. Ветер нес от костра запах горящей соломы и паленой свиной щетины.

Григорий спешился, пошел в дом.

— Кто тут хозяин? — спросил он, войдя в низкую, полную людьми комнату.

— Я. А вам чего? — Невысокий мужик, прислонившийся к печи, не меняя положения, оглянулся на Григория.

— Разрешите у вас заночевать? Нас двое.

— Нас тут и так, как семечек в арбузе, — недовольно буркнул лежавший на лавке пожилой казак.

— Я бы ничего, да больно густо у нас народу, — как бы оправдываясь заговорил хозяин.

— Как-нибудь поместимся. Не под дождем же нам ночевать? — настаивал Григорий. — У меня ординарец больной.

Лежавший на лавке казак крякнул, спустил ноги и, всмотревшись в Григория, уже другим тоном сказал:

— Нас, ваше благородие, вместе с хозяевами четырнадцать душ в двух комнатушках, а третью занимает английский офицер с двумя своими денщиками, да окромя ишо один наш офицер с ними.

— Может, у них как устроитесь? — доброжелательно сказал второй казак с густой проседью в бороде, с погонами старшего урядника.

— Нет, я уж лучше тут. Мне места немного надо, на полу ляжу, я вас не потесню. — Григорий снял шинель, ладонью пригладил волосы, сел к столу.

Прохор вышел к лошадям.

В соседней комнате, вероятно, слышали разговор. Минут пять спустя вошел маленький,

щеголевато одетый поручик.

— Вы ищете ночлега? — обратился он к Григорию и, мельком глянув на его погоны, с любезной улыбкой предложил: — Переходите к нам, в нашу половину, сотник. Я и лейтенант английской армии господин Кэмпбелл просим вас, там вам будет удобнее. Моя фамилия — Щеглов. Ваша? — Он пожал руку Григория, спросил: — Вы с фронта? Ах, из отпуска! Пойдемте, пойдемте! Мы рады будем оказать вам гостеприимство. Вы, вероятно, голодны, а у нас есть чем угостить.

У поручика на френче из превосходного светло-зеленого сукна болтался офицерский Георгий, пробор на небольшой голове был безукоризнен, сапоги тщательно начищены, от матово-смуглого лица, от всей его статной фигуры веяло чистотой и устойчивым запахом какого-то цветочного одеколона. В сенях он предупредительно пропустил вперед Григория, сказал:

— Дверь налево. Осторожнее, здесь ящик, не стукнитесь.

Навстречу Григорию поднялся молодой рослый и плотный лейтенант, с пушистыми черными усиками, прикрывавшими наискось рассеченную верхнюю губу, и близко поставленными серыми глазами. Поручик представил ему Григория, что-то сказал по-английски. Лейтенант потряс руку гостя и, глядя то на него, то на поручика, сказал несколько фраз, жестом пригласил сесть.

Посреди комнаты стояли в ряд четыре походные кровати, в углу громоздились какие-то ящики, дорожные мешки, кожаные чемоданы. На сундуке лежали: ручной пулемет незнакомой Григорию системы, чехол от бинокля, патронные цинки, карабин с темной ложей и новеньким, непотертым, тускло-сизым стволом.

Лейтенант что-то говорил приятным глухим баском, дружелюбно поглядывая на Григория. Григорий не понимал чужой, странно звучавшей для его уха речи, но, догадываясь, что говорят о нем, испытывал состояние некоторой неловкости. Поручик рылся в одном из чемоданов, улыбаясь, слушал, потом сказал:

— Мистер Кэмпбелл говорит, что очень уважает казаков, что, по его мнению, они отличные кавалеристы и воины. Вы, вероятно, хотите есть? Вы пьете? Он говорит, что опасность сближает… Э, черт, всякую ерунду говорит! — Поручик извлек из чемодана несколько консервных банок, две бутылки коньяку и снова нагнулся над чемоданом, продолжая переводить: — По его словам, его очень любезно принимали казачьи офицеры в Усть-Медведицкой. Они выпили там огромную бочку донского вина, все были пьяны в лоск и превесело провели время с какими-то гимназистками. Ну, уж это как водится! Он считает для себя приятной обязанностью отплатить за оказанное ему гостеприимство не меньшим гостеприимством. И вы должны будете это перенести. Мне вас жаль… Вы пьете?

— Спасибо. Пью, — сказал Григорий, украдкой рассматривая свои грязные от поводьев и дорожной пыли руки.

Поручик поставил на стол банки — ловко вскрывая их ножом, со вздохом сказал:

— Знаете, сотник, он меня замучил, этот английский боров! Пьет с утра и до поздней ночи. Хлещет ну бесподобно! Я сам, знаете ли, не прочь выпить, но в таких гомерических размерах не могу. А этот, — поручик, улыбаясь, глянул на лейтенанта, неожиданно для Григория матерно выругался, — льет и натощак и всячески!

Лейтенант улыбался, кивал головой, ломаным русским языком говорил:

— Та, та!.. Хор'ошо… Нато вып'ит фаш здор'ов!

Григорий засмеялся, встряхнул волосами. Эти парни ему положительно нравились, а бессмысленно улыбавшийся и уморительно говоривший по-русски лейтенант был прямо великолепен.

Вытирая стаканы, поручик говорил:

— Две недели я с ним валандаюсь, это каково? Он работает в качестве инструктора по вождению танков, приданных к нашему Второму корпусу, а меня пристегнули к нему переводчиком. Я свободно говорю по-английски, это меня и погубило… У нас тоже пьют, но не так. А это — черт знает что! Увидите, на что он способен! Ему одному в сутки надо не меньше четырех-пяти бутылок коньяку. С промежутками выпивает все, а пьяным не бывает, и даже после такой порции способен работать. Он меня уморил. Желудок у меня что-то начинает побаливать, настроение все эти дни ужасное, и весь я до того проспиртовался, что теперь даже около горящей лампы боюсь сидеть… Черт знает что! — Говоря, он доверху наполнил коньяком два стакана, себе налил чуть-чуть.

Лейтенант, указывая глазами на стакан, смеясь, что-то начал оживленно говорить. Поручик, умоляюще положив руку на сердце, отвечал ему, сдержанно улыбаясь, и лишь изредка и на миг в черных добрых глазах его вспыхивали злые огоньки. Григорий взял стакан, чокнулся с радушными хозяевами, выпил залпом.

— О! — одобрительно сказал англичанин и, отхлебнув из своего стакана, презрительно посмотрел на поручика.

Большие смуглые рабочие руки лейтенанта лежали на столе, на тыльной стороне ладоней в порах темнело машинное масло, пальцы шелушились от частого соприкосновения с бензином и пестрели застарелыми ссадинами, а лицо было холеное, упитанное, красное. Контраст между руками и лицом был так велик, что Григорию казалось иногда, будто лейтенант сидит в маске.

— Вы меня избавляете, — сказал поручик, наливая вровень с краями два стакана.

— А он один, что же, не пьет?

— В том-то и дело! С утра пьет один, а вечером не может. Ну что ж, давайте выпьем.

— Крепкая штука… — Григорий отпил немного из стакана, но под удивленным взглядом лейтенанта вылил в рот остальное.

— Он говорит, что вы молодчина. Ему нравится, как вы пьете.

— Я поменялся бы с вами должностями, — улыбаясь, сказал Григорий.

— Уверен, что после двух недель вы бы сбежали!

— От такого добра?

— Уж я-то, во всяком случае, от этого добра сбегу.

— На фронте хуже.

— Здесь тоже фронт. Там от пули или осколка можно окочуриться, и то не наверняка, а здесь белая горячка мне обеспечена. Попробуйте вот эти консервированные фрукты. Ветчины не хотите?

— Спасибо, я ем.

— Англичане — мастера на эти штуки. Они свою армию не так кормят, как мы.

— А мы разве кормим? У нас армия — на подножном корму.

— К сожалению, это верно. Однако при таком методе обслуживания бойцов далеко не уедешь, особенно если разрешить этим бойцам безнаказанно грабить население…

Григорий внимательно посмотрел на поручика, спросил:

— А вы далеко собираетесь ехать?

— Нам же по пути, о чем вы спрашиваете? — Поручик не заметил, как лейтенант завладел бутылкой и налил ему полный стакан.

— Теперь уж придется вам выпить, до донышка, — улыбнулся Григорий.

— Начинается! — глянув на стакан, простонал поручик. Щеки его зацвели сплошным тонким румянцем.

Все трое молча чокнулись, выпили.

— Дорога-то у нас одна, да едут все по-разному… — снова заговорил Григорий, морщась и тщетно стараясь поймать вилкой скользивший по тарелке абрикос. — Один ближе слезет, другой едет дальше, вроде как на поезде…

— Вы разве не до конечной станции собираетесь ехать?

Григорий чувствовал, что пьянеет, но хмель еще не осилил его; смеясь, он ответил:

— До конца у меня капиталу на билет не хватит… А вы?

— Ну, у меня другое положение: если даже высадят, то пешком по шпалам пойду до конца!

— Тогда счастливого путя вам! Давайте выпьем!

— Придется. Лиха беда начало…

Лейтенант чокался с Григорием и поручиком, пил молча, почти не закусывал. Лицо его стало кирпично-красным, глаза посветлели, в движениях появилась рассчитанная медлительность. Еще не допили второй бутылки, а он уж тяжело поднялся, уверенно прошел к чемоданам, достал и принес три бутылки коньяку. Ставя их на стол, улыбнулся краешком губ, что-то пробасил.

— Мистер Кэмпбелл говорит, что надо продлить удовольствие. Черт бы его побрал, этого мистера! Вы как?

— Что ж, можно продлить, — согласился Григорий.

— Да, но каков размах! В этом английском теле — душа русского купца. Я, кажется, уже готов…

— По вас не видно, — слукавил Григорий.

— Кой черт! Я слаб сейчас, как девица… Но еще могу соответствовать, да-да, могу соответствовать, и даже вполне!

Поручик после выпитого стакана заметно осовел: черные глаза его замаслились и начали слегка косить, лицевые мускулы ослабли, губы почти перестали повиноваться, и под матовыми скулами ритмично задергались живчики. Выпитый коньяк подействовал на него оглушающе. У поручика было выражение, как у быка, которого перед зарезом ахнули по лбу десятифунтовым молотом.

— Вы ишо в полной форме. Впились, и он вам нипочем, — подтвердил Григорий. Он тоже заметно охмелел, но чувствовал, что может выпить еще много.

— Серьезно? — Поручик повеселел. — Нет, нет, я несколько раскис вначале, а сейчас — пожалуйста, сколько угодно! Именно — сколько угодно! Вы мне нравитесь, сотник. В вас чувствуется, я бы сказал, сила и искренность. Это мне нравится. Давайте выпьем за родину этого дурака и пьяницы. Он, правда, скотоподобен, но родина его хороша. «Правь, Британия, морями!» Пьем? Только не по всей! За вашу родину, мистер Кэмпбелл! — Поручик выпил, отчаянно зажмурившись, закусил ветчиной. — Какая это страна, сотник! Вы не можете представить, а я жил там… Ну, выпьем!

— Какая бы ни была мать, а она родней чужой.

— Не будем спорить, выпьем!

— Выпьем.

— Из нашей родины надо гниль вытравлять железом и огнем, а мы бессильны. Оказалось так, что у нас вообще нет родины. Ну и черт с ней! Кэмпбелл не верит, что мы справимся с красными.

— Не верит?

— Да, не верит. Он плохого мнения о нашей армии и с похвалой отзывается о красных.

— Он участвовал в боях?

— Еще бы! Его едва не сцапали красные. Проклятый коньяк!

— Крепок! Он такой же, как спирт?

— Немного слабее. Кэмпбелла выручила из беды кавалерия, а то бы его взяли. Это — под хутором Жуковом. Красные тогда отбили у нас один танк… Вид у вас грустный. В чем дело?

— У меня жена недавно померла.

— Это ужасно! Остались дети?

— Да.

— За здоровье ваших детей! У меня их нет, а может быть, и есть, но если и есть, то они где-нибудь, наверное, бегают продавцами газет… У Кэмпбелла в Англии — невеста. Он ей аккуратно, в неделю два раза, пишет. И пишет, наверно, всякую ерунду. Я его почти ненавижу. Что?

— Я ничего не говорю. А почему он красных уважает?

— Кто сказал — «уважает»?

— Вы сказали.

— Не может быть! Он не уважает их, не может уважать, вы ошибаетесь! А впрочем, я спрошу у него.

Кэмпбелл внимательно выслушал бледного и пьяного поручика, что-то долго говорил. Не дождавшись, Григорий спросил:

— Чего он лопочет?

— Он видел, как они в пешем строю, обутые в лапти, шли в атаку на танки. Этого достаточно? Он говорит, что народ нельзя победить. Дурак! Вы ему не верьте.

— Как не верить?

— Вообще.

— Ну, как?

— Он пьян и болтает ерунду. Что значит — нельзя победить народ? Часть его можно уничтожить, остальных привести в исполнение… Как я сказал? Нет, не в исполнение, а в повиновение. Это мы кончаем какую? — Поручик уронил голову на руки, опрокинул локтем банку с консервами и минут десять сидел, навалившись на стол грудью, часто дыша.

За окнами стояла темная ночь. В ставни барабанил частый дождь. Где-то далеко погромыхивало, и Григорий не мог понять — гром это или орудийный гул. Кэмпбелл, окутанный синим облаком сигарного дыма, цедил коньяк. Григорий растолкал поручика, нетвердо стоя на ногах, сказал:

— Слушай, спроси у него: почему это красные нас должны побить?

— К черту! — буркнул поручик.

— Нет, ты спроси.

— К черту! Пошел к черту!

— Спрашивай, тебе говорят!

Поручик с минуту ошалело смотрел на Григория, потом, заикаясь, что-то сказал внимательно выслушавшему Кэмпбеллу и снова уронил голову на сложенные ковшом ладони. Кэмпбелл с пренебрежительной улыбкой посмотрел на поручика, тронул Григория за рукав, молча начал объяснять: подвинул на середину стола абрикосовую косточку, рядом с ней, как бы сопоставляя, ребром поставил свою большую ладонь и, щелкнув языком, прикрыл ладонью косточку.

— Тоже выдумал! Это я и без тебя понимаю… — раздумчиво пробормотал Григорий. Качнувшись, он обнял гостеприимного лейтенанта, широким движением показал на стол, поклонился. — Спасибо за угощение. Прощай. И знаешь, что я тебе скажу? Езжай-ка ты поскорей домой, пока тебе тут голову не свернули. Это я тебе — от чистого сердца.

Понятно? В наши дела незачем вам мешаться. Понял? Езжай, пожалуйста, а то тебе тут накостыляют!

Лейтенант встал, поклонился, оживленно заговорил, время от времени беспомощно поглядывая на уснувшего поручика, дружелюбно похлопывая Григория по спине.

Григорий с трудом нашел дверную щеколду, покачиваясь, вышел на крыльцо. Мелкий косой дождь хлестнул его по лицу. Вспышка молнии озарила широкий двор, мокрое прясло, глянцево блестящую листву деревьев в саду. Сходя с крыльца, Григорий поскользнулся, упал и, когда стал подниматься, услышал голоса:

— Офицерики-то все пьют? — спрашивал кто-то, чиркая в сенях спичкой.

Глухой, простуженный голос со сдержанной угрозой отвечал:

— Они допьются… Они до своего допьются!

XX

Донская армия, выйдя за границу Хоперского округа, вновь, как в 1918 году, утратила наступательную силу своего движения. Казаки-повстанцы Верхнего Дона и отчасти хоперцы по-прежнему не хотели воевать за пределами Донской области; усилилось и сопротивление красных частей, получивших свежие пополнения, действовавших теперь на территории, население которой относилось к ним сочувственно. Казаки снова были не прочь перейти к оборонительной войне, и никакими ухищрениями командование Донской армии не могло понудить их сражаться с таким же упорством, с каким они недавно сражались в пределах своей области — несмотря на то, что соотношение сил на этом участке было в их пользу: против потрепанной в боях 9-й красной армии, исчислявшейся в 11 000 штыков, 5000 сабель, при 52 орудиях, — были выдвинуты казачьи корпуса общей численностью в 14 400 штыков, 10 600 сабель, при 53 орудиях.

Наиболее активные операции происходили на фланговых направлениях и именно там, где действовали части Добровольческо-Кубанской южной армии. Одновременно с успешным продвижением в глубь Украины часть Добровольческой армии под командованием генерала Врангеля оказывала сильное давление на 10-ю красную армию, тесня ее и с ожесточенными боями продвигаясь в саратовском направлении. 28 июля кубанская конница вплотную подошла к Камышину, захватив в плен большую часть войск, оборонявших его. Контратака, предпринятая частями 10-й армии, были отбита. Смело маневрировавшая Кубанско-Терская сводная конная дивизия грозила обходом левого фланга, вследствие чего командование 10-й армии отвело части на фронт Борзенково — Латышево — Красный Яр — Каменка — Банное. К этому времени 10-я армия насчитывала в своих рядах 18 000 штыков, 8000 сабель и 132 орудия; противостоявшая ей Добровольческо-Кубанская армия исчислялась в 7600 штыков, 10 750 сабель, при 68 орудиях. Кроме этого, белые имели отряды танков, а также располагали значительным числом самолетов, несших разведывательную службу и принимавших участие в боевых операциях. Но не помогли Врангелю ни французские самолеты, ни английские танки и батареи; дальше Камышина продвинуться ему не удалось. На этом участке завязались затяжные, упорные бои, обусловившие лишь незначительные изменения в линии фронта.

В конце июля началась подготовка красных армий к переходу в широкое наступление по всему центральному участку Южного фронта. С этой целью 9-я и 10-я армии объединялись в ударную группу под командованием Шорина. В резерв ударной группы должны были поступить перебрасываемые с Восточного фронта 28-я дивизия с бригадой бывшего Казанского укрепленного района и 25-я дивизия с бригадой Саратовского укрепленного

района. Помимо этого, командование Южным фронтом усиливало ударную группу войсками, находившимися во фронтовом резерве, и 56-й стрелковой дивизией. Нанесение вспомогательного удара намечалось на воронежском направлении силами 8-й армии с приданными ей 31-й стрелковой дивизией, снятой с Восточного фронта, и 7-й стрелковой дивизией.

Общий переход в наступление намечался между 1 и 10 августа. Удар 8-й и 9-й армий, по плану главного красного командования, должен был сопровождаться охватывающими действиями фланговых армий, причем особенно ответственная и сложная задача выпадала на долю 10-й армии, которой надлежало, действуя по левому берегу Дона, отрезать главные силы противника от Северного Кавказа. На западе частью сил 14-й армии предполагалось произвести энергичное демонстративное движение к линии Чаплино — Лозовая.

В то время когда на участках 9-й и 10-й армий производились необходимые перегруппировки, белое командование в целях срыва подготовлявшегося противником наступления заканчивало формирование мамонтовского корпуса, рассчитывая прорвать фронт и бросить корпус в глубокий рейд по тылам красных армий. Успех армии Врангеля на царицынском направлении позволил растянуть фронт этой армии влево и, сократив тем самым фронт Донской армии, взять из состава ее несколько конных дивизий. 7 августа в станице Урюпинской было сосредоточено 6000 сабель, 2800 штыков и три четырехорудийные батареи. А 10-го вновь сформированный корпус под командованием генерала Мамонтова прорвался на стыке 8-й и 9-й красных армий и от Новохоперска направился на Тамбов.

По первоначальному замыслу белого командования предполагалось направить в рейд по красным тылам, кроме корпуса Мамонтова, еще и конный корпус генерала Коновалова, но ввиду завязавшихся боев на участке, занимаемом частями коноваловского корпуса, его не удалось вытянуть с фронта. Этим обстоятельством и объясняется ограниченность задачи, возложенной на Мамонтова, которому вменялось в обязанность не зарываться и не мечтать о походе на Москву, а, разгромив тылы и коммуникации противника, вновь идти на соединение, тогда как вначале ему и Коновалову было приказано всей конной массой нанести сокрушительный удар во фланг и тыл центральным красным армиям, а затем уже форсированным маршем двигаться в глубь России, пополняя силы за счет антисоветски настроенных слоев населения, продолжать движение до Москвы.

Восьмой армии удалось восстановить положение своего левого фланга введением в дело армейского резерва. Правый фланг 9-й армии оказался расстроенным сильнее. Принятыми мерами командующему главной ударной группой Шорину удалось сомкнуть внутренние фланги обеих армий, но не удалось задержать конницу Мамонтова. По приказу Шорина навстречу Мамонтову из района Кирсанова была двинута резервная 56-я дивизия. Батальон ее, посаженный на подводы и высланный на станцию Сампур, был разбит во встречном бою одним из боковых отрядов мамонтовского корпуса. Такая же участь постигла и кавалерийскую бригаду 36-й стрелковой дивизии, двинутую для прикрытия участка железной дороги Тамбов — Балашов. Нарвавшись на всю массу конницы Мамонтова, бригада после короткого боя была рассеяна.

Восемнадцатого августа Мамонтов с налета занял Тамбов. Но это обстоятельство не помешало основным силам ударной группы Шорина начать наступление, хотя для борьбы с Мамонтовым и пришлось выделить из состава группы почти две пехотные дивизии. Одновременно началось наступление и на украинском участке Южного фронта.

Фронт, на севере и северо-востоке почти по прямой тянувшийся от Старого Оскола до Балашова и уступом сходивший к Царицыну, стал выравниваться. Казачьи полки под давлением превосходящих сил противника отступали на юг, переходя в частые контратаки,

задерживаясь на каждом рубеже. Вступив на донскую землю, они снова обрели утраченную боеспособность; дезертирство резко сократилось; из станиц Среднего Дона потекли пополнения. Чем дальше части ударной группы Шорина вторгались в землю Войска Донского, тем сильнее и ожесточеннее становилось оказываемое им сопротивление. По собственному почину казаки повстанческих станиц Верхнедонского округа объявляли на сходах поголовную мобилизацию, служили молебны и немедля отправлялись на фронт.

С непрестанными боями продвигаясь к Хопру и Дону, преодолевая ожесточенное сопротивление белых и находясь на территории, большинство населения которой относилось к красным частям явно враждебно, группа Шорина постепенно растрачивала силу наступательного порыва. А тем временем в районе станицы Качалинской и станции Котлубань белое командование уже образовало сильную маневренную группу из трех кубанских корпусов и 6-й пехотной дивизии для удара по 10-й красной армии, продвижение которой развивалось с наибольшим успехом.

XXI

Мелеховская семья за один год убавилась наполовину. Прав был Пантелей Прокофьевич, сказав однажды, что смерть возлюбила их курень. Не успели похоронить Наталью, как уж снова запахло ладаном и васильками в просторной мелеховской горнице. Через полторы недели после отъезда Григория на фронт утопилась в Дону Дарья.

В субботу, приехав с поля, пошла она с Дуняшкой купаться. Около огородов они разделись, долго сидели на мягкой, примятой ногами траве. Еще с утра Дарья была не в духе, жаловалась на головную боль и недомогание, несколько раз украдкой плакала… Перед тем как войти в воду, Дуняшка собрала в узел волосы, повязалась косынкой и, искоса глянув на Дарью, сожалеюще сказала:

— До чего ты, Дашка, худая стала, ажник все жилки наруже!

— Скоро поправлюсь!

— Перестала голова болеть?

— Перестала. Ну, давай купаться, а то уж не рано. — Она первая с разбегу бросилась в воду, окунулась с головой и, вынырнув, отфыркиваясь, поплыла на середину. Быстрое течение подхватило ее, начало сносить.

Любуясь на Дарью, отмахивающую широкими мужскими саженками, Дуняшка забрела в воду по пояс, умылась, смочила грудь и нагретые солнцем сильные, женственно-округлые руки. На соседнем огороде две снохи Обнизовых поливали капусту. Они слышали, как Дуняшка, смеясь, звала Дарью.

— Плыви назад, Дашка! А то сом тебя утянет!

Дарья повернула назад, проплыла сажени три, а потом на миг до половины вскинулась из воды, сложила над головой руки, крикнула: «Прощайте, бабоньки!» — и камнем пошла ко дну.

Через четверть часа бледная Дуняшка в одной исподней юбке прибежала домой.

— Дарья утопла, маманя!.. — задыхаясь, еле выговорила она.

Только на другой день утром поймали Дарью крючками нарезной снасти. Старый и самый опытный в Татарском рыбак Архип Песковатсков на заре поставил шесть концов нарезных по течению ниже того места, где утонула Дарья, проверять поехал вместе с Пантелеем Прокофьевичем. На берегу собралась толпа ребятишек и баб, среди них была и Дуняшка. Когда Архип, подцепив ручкой весла четвертый шнур, отъехал саженей десять от

берега, Дуняшка отчетливо слышала, как он вполголоса сказал: «Кажись, есть…» — и стал осторожнее перебирать снасть, с видимым усилием подтягивал отвесно уходивший в глубину шнур. Потом что-то забелело у правого берега, оба старика нагнулись над водой, баркас зачерпнул краем воды, и до притихшей толпы донесся глухой стук вваленного в баркас тела. В толпе дружно вздохнули. Кто-то из баб тихо всхлипнул. Стоявший неподалеку Христоня грубо прикрикнул на ребят: «А ну, марш отседова!» Сквозь слезы Дуняшка видела, как Архип, стоя на корме, ловко и бесшумно опуская весло, греб к берегу. С шорохом и хрустом дробя прибрежную меловую осыпь, баркас коснулся земли. Дарья лежала, безжизненно подогнув ноги, привалившись щекой к мокрому днищу. На белом теле ее, лишь слегка посиневшем, принявшем какой-то голубовато-темный оттенок, виднелись глубокие проколы — следы крючков. На сухощавой смуглой икре, чуть пониже колена, около матерчатой подвязки, которую Дарья перед купанием, как видно, позабыла снять, розовела и слегка кровоточила свежая царапина. Жало нарезного крючка скользнуло по ноге, пробороздило кривую, рваную линию. Судорожно комкая завеску, Дуняшка первая подошла к Дарье, накрыла ее разорванным по шву мешком. Пантелей Прокофьевич с деловитой поспешностью засучил шаровары, начал подтягивать баркас. Вскоре подъехала подвода. Дарью перевезли в мелеховский курень.

Пересилив страх и чувство гадливости, Дуняшка помогала матери обмывать холодное, хранившее студеность глубинной донской струи тело покойницы. Было что-то незнакомое и строгое в слегка припухшем лице Дарьи, в тусклом блеске обесцвеченных водою глаз, В волосах ее серебром искрился речной песок, на щеках зеленели влажние нити прилипшей тины-шелковицы, а в раскинутых, безвольно свисавших с лавки руках была такая страшная успокоенность, что Дуняшка, взглянув, поспешно отходила от нее, дивясь и ужасаясь тому, как непохожа мертвая Дарья на ту, что еще так недавно шутила и смеялась и так любила жизнь. И после долго еще, вспомнив каменную холодность Дарьиных грудей и живота, упругость окостеневших членов, Дуняшка вся содрогалась и старалась поскорее забыть все это. Она боялась, что мертвая Дарья будет ей сниться по ночам, неделю спала на одной кровати с Ильиничной и, перед тем как лечь, молилась богу, мысленно просила: «Господи! Сделай так, чтобы она мне не снилась! Укрой, господи!»

Если б не рассказы баб Обнизовых, слышавших, как Дарья крикнула: «Прощайте, бабоньки!» — похоронили бы утопленницу тихо и без шума, но, узнав про этот предсмертный возглас, явно указывавший на то, что Дарья намеренно лишила себя жизни, поп Виссарион решительно заявил, что самоубийцу отпевать не будет. Пантелей Прокофьевич возмутился:

— Как это ты не будешь отпевать? Она что, нехрещеная, что ли?

— Самоубийц не могу хоронить, по закону не полагается.

— А как же ее зарывать, как собаку, по-твоему?

— А по-моему, как хочешь и где хочешь, только не на кладбище, где погребены честные христиане.

— Нет, уж ты смилуйся, пожалуйста! — перешел к уговорам Пантелей Прокофьевич. — У нас в семействе такой срамы век не было.

— Не могу. Уважаю тебя, Пантелей Прокофьевич, как примерного прихожанина, но не могу. Донесут благочинному — и беды мне не миновать, — заупрямился поп.

Это был позор. Пантелей Прокофьевич всячески пытался уговорить взноровившегося попа, обещал уплатить дороже и надежными николаевскими деньгами, предлагал в подарок овцу-переярку, но, видя под конец, что уговоры не действуют, пригрозил:

— За кладбищем я ее зарывать не буду. Она мне не сбоку припеку, а родная сноха. Муж ее

погиб в бою с красными и был в офицерском чине, сама она егорьевскою медалью была пожалована, а ты мне такую хреновину прешь?! Нет, батя, не выйдет твое дело, будешь хоронить за мое почтение! Нехай она пока лежит в горнице, а я зараз же сообчу об этом станишному атаману. Он с тобой погутарит!

Пантелей Прокофьевич вышел из поповского дома не попрощавшись и даже дверью вгорячах хлопнул. Однако угроза возымела действие: через полчаса пришел от попа посыльный, передал, что отец Виссарион с причтом сейчас придет.

Похоронили Дарью, как и полагается, на кладбище, рядом с Петром. Когда рыли могилу, Пантелей Прокофьевич облюбовал и себе местечко. Работая лопатой, он огляделся, прикинул, что лучше места не сыскать, да и незачем. Над могилой Петра шумел молодыми ветвями посаженный недавно тополь: на вершинке его наступающая осень уже окрасила листья в желтый, горький цвет увядания. Через разломанную ограду, между могил телята пробили тропинки; около ограды проходила дорога к ветряку; посаженные заботливыми родственниками покойников деревца — клены, тополи, акация, а также дикорастущий терн — зеленели приветливо и свежо; около них буйно кучерявилась повитель, желтела поздняя сурепка, колосился овсюг и зернистый пырей. Кресты стояли, снизу доверху оплетенные приветливыми синими вьюнками. Место было действительно веселое, сухое…

Старик рыл могилу, часто бросал лопату, присаживался на влажную глинистую землю, курил, думал о смерти. Но, видно, не такое наступило время, чтобы старикам можно было тихо помирать в родных куренях и покоиться там, где нашли себе последний приют их отцы и деды…

После того как похоронили Дарью, еще тише стало в мелеховском доме. Возили хлеб, работали на молотьбе, собирали богатый урожай с бахчей. Ждали вестей от Григория, но о нем, после отъезда его на фронт, ничего не было слышно. Ильинична не раз говаривала: «И поклона детишкам не пришлет, окаянный! Померла жена, и все мы стали не нужны ему…» Потом в Татарский чаще стали наведываться служивые казаки. Пошли слухи, что казаков сбили на Балашовском фронте и они отступают к Дону, чтобы, пользуясь водной преградой, обороняться до зимы. А что должно было случиться зимой — об этом, не таясь, говорили все фронтовики: «Как станет Дон — погонят красные нас до самого моря!»

Пантелей Прокофьевич, усердно работая на молотьбе, как будто и не обращал особого внимания на бродившие по Обдонью слухи, но оставаться равнодушным к происходившему не мог. Еще чаще начал он покрикивать на Ильиничну и Дуняшку, еще раздражительнее стал, узнав о приближении фронта. Он нередко мастерил что-либо по хозяйству, но стоило только делу не заладиться в его руках, как он с яростью бросал работу, отплевываясь и ругаясь, убегал на гумно, чтобы там приостыть от возмущения. Дуняшка не раз была свидетельницей таких вспышек. Однажды он взялся поправлять ярмо, работа не клеилась, и ни с того ни с сего взбесившийся старик схватил топор и изрубил ярмо так, что от него остались одни щепки. Так же вышло и с починкой хомута. Вечером при огне Пантелей Прокофьевич ссучил дратву, начал сшивать распоровшуюся хомутину; то ли нитки были гнилые, то ли старик нервничал, но дратва оборвалась два раза подряд — этого было достаточно: страшно выругавшись, Пантелей Прокофьевич вскочил, опрокинул табурет, отбросил его ногой к печке и, рыча, словно пес, принялся рвать зубами кожаную обшивку на хомуте, а потом бросил хомут на пол и, по-петушиному подпрыгивая, стал топтать его ногами. Ильинична, рано улегшаяся спать, заслышав шум, испуганно вскочила, но, рассмотрев, в чем дело, не вытерпела, попрекнула старика:

— Очумел ты, проклятый, на старости лет?! Чем тебе хомут оказался виноватый?

Пантелей Прокофьевич обезумевшими глазами глянул на жену, заорал:

— Молчи-и-и, такая-сякая!!! — и, ухватив обломок хомута, запустил им в старуху.

Давясь от смеха, Дуняшка пулей вылетела в сенцы. А старик, побушевав немного, угомонился, попросил прощения у жены за сказанные в сердцах крутые слова и долго кряхтел и почесывал затылок, поглядывая на обломки злополучного хомута, прикидывая в уме — на что же их можно употребить? Такие припадки ярости повторялись у него не раз, но Ильинична, наученная горьким опытом, избрала другую тактику вмешательства: как только Пантелей Прокофьевич, изрыгая ругательства, начинал сокрушать какой-нибудь предмет хозяйственного обихода — старуха смиренно, но достаточно громко говорила: «Бей, Прокофич! Ломай! Мы ишо с тобой наживем!» И даже пробовала помогать в учинении погрома. Тогда Пантелей Прокофьевич сразу остывал, с минуту смотрел на жену несмыслящими глазами, а потом дрожащими руками шарил в карманах, находил кисет и сконфуженно присаживался где-нибудь в сторонке покурить, успокоить расходившиеся нервы, в душе проклиная свою вспыльчивость и подсчитывая понесенные убытки. Жертвой необузданного стариковского гнева пал забравшийся в палисадник трехмесячный поросенок. Ему Пантелей Прокофьевич колом переломил хребет, а через пять минут, дергая при помощи гвоздя щетину с прирезанного поросенка, виновато, заискивающе посматривал на хмурую Ильиничну, говорил:

— Он и поросенок-то был так, одно горе… Один черт он бы издох. На них аккурат в это время чума нападает; то хучь съедим, а то бы так, зря пропал. Верно, старуха? Ну, чего ты как градовая туча стоишь? Да будь он трижды проклят, этот поросенок! Уж был бы поросенок как поросенок, а то так, оморок поросячий! Его не то что колом — соплей можно было перешибить! А прокудной какой! Гнездов сорок картошки перерыл!

— Ей и всей-то картошки в палисаднике было не больше тридцати гнезд, — тихо поправила его Ильинична.

— Ну, а было бы сорок — он и сорок бы перепаскудил, он такой! И слава богу, что избавились от него, от враженяки! — не задумываясь, отвечал Пантелей Прокофьевич.

Детишки скучали, проводив отца. Занятая по хозяйству Ильинична не могла уделять им достаточного внимания, и они, предоставленные самим себе, целыми днями играли где-нибудь в саду или на гумне. Однажды после обеда Мишатка исчез и пришел только на закате солнца. На вопрос Ильиничны, где он был, Мишатка ответил, что играл с ребятишками возле Дона, но Полюшка тут же изобличила его:

— Брешет он, бабунюшка! Он у тетки Аксиньи был!

— А ты почем знаешь? — спросила, неприятно удивленная новостью, Ильинична.

— Я видала, как он с ихнего база перелезал через плетень.

— Там, что ли, был? Ну, говори же, чадушка, чего ты скраснелся?

Мишатка посмотрел бабке прямо в глаза, ответил:

— Я, бабунюшка, наобманывал… Я правда не у Дона был, а у тетки Аксиньи был.

— Чего ты туда ходил?

— Она меня покликала, я и пошел.

— А на что же ты обманывал, будто с ребятами играл?

Мишатка на секунду потупился, но потом поднял правдивые глазенки, шепнул:

— Боялся, что ты ругаться будешь…

— За что же я тебя ругала бы? Не-ет… А чего она тебя зазвала? Чего ты у ней там делал?

— Ничего. Она увидала меня, шумнула: «Пойди ко мне!», я подошел, она повела меня в курень, посадила на стулу…

— Ну, — нетерпеливо выспрашивала Ильинична, искусно скрывая охватившее ее волнение.

— …холодными блинцами кормила, а потом дала вот чего. — Мишатка вытащил из кармана кусок сахара, с гордостью показал его и снова спрятал в карман.

— Чего ж она тебе говорила? Может, спрашивала чего?

— Говорила, чтобы я ходил ее проведывал, а то ей одной скушно, сулилась гостинец дать… Сказала, чтобы я не говорил, что был у ней. А то, говорит, бабка твоя будет ругать.

— Вон как… — задыхаясь от сдерживаемого негодования, проговорила Ильинична. — Ну и что же она, спрашивала у тебя что?

— Спрашивала.

— Об чем же она спрашивала? Да ты рассказывай, милушка, не боись!

— Спрашивала: скучаю я по папаньке? Я сказал, что скучаю. Ишо спрашивала, когда он приедет и что про него слыхать, а я сказал, что не знаю: что он на войне воюет. А посля она посадила меня к себе на колени и рассказала сказку. — Мишатка оживленно блеснул глазами, улыбнулся. — Хорошую сказку! Про какого-то Ванюшку, как его гуси-лебеди на крылах несли, и про бабу-ягу.

Ильинична, поджав губы, выслушала Мишаткину исповедь, строго сказала:

— Больше, внучек, не ходи к ней, не надо. И гостинцев от ней никаких не бери, не надо, а то дед узнает и высекет тебя! Не дай бог узнает дед — он с тебя кожу сдерет! Не ходи, чадунюшка!

Но, несмотря на строгий приказ, через два дня Мишатка снова побывал в астаховском курене. Ильинична узнала об этом, глянув на Мишаткину рубашонку; разорванный рукав, который она не удосужилась утром зашить, был искусно прострочен, а на воротнике белела перламутром новенькая пуговица. Зная, что занятая на молотьбе Дуняшка не могла возиться днем с починкой детской одежды, Ильинична с укором спросила:

— Опять к соседям ходил?

— Опять… — растерянно проговорил Мишатка и тотчас добавил: — Я больше не буду, бабунюшка, ты только не ругайся…

Тогда же Ильинична решила поговорить с Аксиньей и твердо заявить ей, чтобы она оставила Мишатку в покое и не снискивала его расположения ни подарками, ни рассказыванием сказок. «Свела со света Наталью, а зараз норовит, проклятая, к детям подобраться, чтобы через них потом Гришку опутать. Ну и змея! В снохи при живом муже метит… Только не выйдет ее дело! Да разве ее Гришка после такого греха возьмет?» — думала старуха.

От ее проницательного и ревнивого материнского взора не скрылось то обстоятельство, что Григорий, будучи дома, избегал встреч с Аксиньей. Она понимала, что он это делал не из боязни людских нареканий, а потому, что считал Аксинью повинной в смерти жены. Втайне Ильинична надеялась на то, что смерть Натальи навсегда разделит Григория с Аксиньей и Аксинья никогда не войдет в их семью.

Вечером в тот же день Ильинична увидела Аксинью на пристани возле Дона, подозвала ее:

— А ну, подойди ко мне на-час, погутарить надо…

Аксинья поставила ведра, спокойно подошла, поздоровалась.

— Вот что, милая, — начала Ильинична, испытующе глядя в красивое, но ненавистное ей лицо соседки. — Ты чего это чужих детей приманываешь? На что ты мальчишку зазываешь к себе и примолвываешь его? Кто тебя просил зашивать ему рубашонку и задаривать его всякими гостинцами? Ты что думаешь — без матери за ним догляду нету? Что без тебя не обойдутся? И хватает у тебя совести, бесстыжие твои глаза!

— А что я плохого сделала? Чего вы ругаетесь, бабушка? — вспыхнув, спросила

Аксинья.

— Как это — что плохого? Да ты имеешь право касаться Натальиного дитя, ежели ты ее самою свела в могилу?

— Что вы, бабушка! Окститесь! Кто ее сводил? Сама над собой учинила.

— А не через тебя?

— Ну, уж это я не знаю.

— Зато я знаю! — взволнованно выкрикнула Ильинична.

— Не шумите, бабушка, я вам не сноха, чтобы на меня шуметь. У меня для этого муж есть.

— Вижу тебя наскрозь! Вижу, чем ты и дышишь! Не сноха, а в снохи лезешь! Детей попервам хочешь примануть, а после к Гришке подобраться?

— К вам в снохи я идтить не собираюсь. Ополоумели вы, бабушка! У меня муж живой.

— То-то ты от него, от живого-то, и норовишь к другому привязаться!

Аксинья заметно побледнела, сказала:

— Не знаю, с чего вы на меня напустились и срамотите меня… Ни на кого я никогда не навязывалась и навязываться не собираюсь, а что вашего внучочка примолвила — чего ж тут плохого? Детей у меня, вы сами знаете, нету, на чужих радуюсь, и то легче, вот и зазвала его… Подумаешь, задаривала я его! Грудку сахару дала дитю, так это и задариванье! Да к чему мне его задаривать-то? Так болтаете вы бог знает чего!..

— При живой матери что-то ты его не зазывала! А как померла Наталья — так и ты доброхоткой объявилась!

— Он у меня и при Наталье в гостях бывал, — чуть приметно улыбнувшись, сказала Аксинья.

— Не бреши, бесстыжая!

— Вы спросите у него, а потом уж брехню задавайте.

— Ну как бы то ни было, а больше не смей мальчонку заманивать к себе. И не думай, что этим ты милее станешь Григорию. Женой его тебе не бывать, так и знай!

С исказившимся от гнева лицом Аксинья хрипло сказала:

— Молчи! У тебя он не спросится! И ты в чужие дела не лезь!

Ильинична хотела еще что-то сказать, но Аксинья молча повернулась, подошла к ведрам, рывком подняла на плечи коромысло и, расплескивая воду, быстро пошла по стежке.

С той поры при встречах она не здоровалась ни с кем из Мелеховых, с сатанинской гордостью, раздувая ноздри, проходила мимо, но, завидев где-нибудь Мишатку, пугливо оглядывалась и, если никого не было поблизости, подбегала к нему, наклонившись, прижимала его к груди и, целуя загорелый лобик и угрюмоватые черные, мелеховские глазенки, смеясь и плача, бессвязно шептала: «Родный мой Григорьевич! Хороший мой! Вот как я по тебе соскучилась! Дура твоя тетка Аксинья… Ах, какая дура-то!» И после долго не сходила с ее губ трепетная улыбка, а увлажненные глаза сияли счастьем, как у молоденькой девушки.

В конце августа был мобилизован Пантелей Прокофьевич. Одновременно с ним из Татарского ушли на фронт все казаки, способные носить оружие. В хуторе из мужского населения остались только инвалиды, подростки, да древние старики. Мобилизация была поголовной, и освобождения на врачебных комиссиях, за исключением явных калек, не получал никто.

Пантелей Прокофьевич, получив от хуторского атамана приказ о явке на сборный пункт, наскоро попрощался со старухой, с внуками и Дуняшкой, кряхтя, опустился на колени, положил два земных поклона, крестясь на иконы, сказал:

— Прощайте, милые мои! Похоже, что не доведется нам свидеться, должно, пришел последний час. Наказ вам от меня такой: молотите хлеб и день и ночь, до дождей постарайтесь кончить. Нужно будет — наймите человека, чтобы пособил вам. Ежли не вернусь к осени — управляйтесь без меня; зяби вспашите сколько осилите, жита посейте хучь с десятину. Смотри, старуха, веди дело с толком, рук не роняй! Вернемся мы с Григорием, нет ли, а вам хлеб дюжее всего будет нужен. Война войной, но без хлеба жить тоже скушно. Ну, храни вас господь!

Ильинична проводила старика до площади, глянула в последний раз, как он рядом с Христоней прихрамывает, поспешая за подводой, а потом вытерла завеской припухшие глаза и, не оглядываясь, направилась домой. На гумне ждал ее недомолоченный посад пшеницы, в печи стояло молоко, дети с утра были не кормлены, хлопот у старухи было великое множество, и она спешила домой, не останавливаясь, молча кланяясь изредка встречавшимся бабам, не вступая в разговоры, и только утвердительно кивала головой, когда кто-нибудь из знакомых соболезнующе спрашивал: «Служивого провожала, что ли?»

Несколько дней спустя Ильинична, подоив на заре коров, выгнала их на проулок и только что хотела идти во двор, как до слуха ее дошел какой-то глуховатый, осадистый гул. Оглянувшись, она не нашла на небе ни единой тучи. Немного погодя гул повторился.

— Слышишь, бабка, музыку? — спросил собиравший табун старый пастух.

— Какую музыку-то?

— А вот что на одних басах играет.

— Слыхать слышу, да не пойму, что это такое.

— Скоро поймешь. Вот как зачнут с энтой стороны по хутору кидать — сразу поймешь! Это из орудиев бьют. Старикам нашим потроха вынают…

Ильинична перекрестилась, молча пошла в калитку.

С этого дня орудийный гул звучал не переставая четверо суток. Особенно слышно было зорями. Но когда дул северо-восточный ветер, гром отдаленных боев слышался и среди дня. На гумнах на минуту приостанавливалась работа, бабы крестились, тяжело вздыхали, вспоминая родных, шепча молитвы, а потом снова начинали глухо погромыхивать на токах каменные катки, понукали лошадей и быков мальчишки-погонычи, гремели веялки, трудовой день вступал в свои неотъемлемые права. Конец августа был погожий и сухой на диво. По хутору ветер носил мякинную пыль, сладко пахло обмолоченной ржаной соломой, солнце грело немилосердно, но во всем уже чувствовалось приближение недалекой осени. На выгоне тускло белела отцветшая сизая полынь, верхушки тополей за Доном пожелтели, в садах резче стал запах антоновки, по-осеннему прояснились далекие горизонты, и на опустевших полях уже показались первые станицы пролетных журавлей.

По Гетманскому шляху изо дня в день тянулись с запада на восток обозы, подвозившие к переправам через Дон боевые припасы, в обдонских хуторах появились беженцы. Они рассказывали, что казаки отступают с боями; некоторые уверяли, будто отступление это совершается преднамеренно, для того чтобы заманить красных, а потом окружить их и уничтожить. Кое-кто из татарцев потихоньку начал собираться к отъезду. Подкармливали быков и лошадей, ночами зарывали в ямы хлеб, сундуки с наиболее ценным имуществом. Замолкший было орудийный гул 5 сентября возобновился с новой силой и теперь звучал уже отчетливо и грозно. Бои шли верстах в сорока от Дона, по направлению на северо-восток от Татарского. Через день загремело и вверх по течению на западе. Фронт неотвратимо подвигался к Дону.

Ильинична, знавшая о том, что большинство хуторян собираются отступать, предложила Дуняшке уехать. Она испытывала чувство растерянности и недоумения и не

знала, как ей быть с хозяйством, с домом; надо ли все это бросать и уезжать вместе с людьми или оставаться дома. Перед отъездом на фронт Пантелей Прокофьевич говорил о молотьбе, о зяби, о скоте, но ни словом не обмолвился о том, как им быть, если фронт приблизится к Татарскому. На всякий случай Ильинична решила так: отправить с кем-нибудь из хуторных Дуняшку с детьми и наиболее ценным имуществом, а самой оставаться, даже в том случае, если красные займут хутор.

В ночь на 17 сентября неожиданно явился домой Пантелей Прокофьевич. Он пришел пешком из-под Казанской станицы, измученный, злой. Отдохнув с полчаса, сел за стол и начал есть так, как Ильинична еще за всю свою жизнь не видела; полуведерный чугун постных щей словно за себя кинул, а потом навалился на пшенную кашу. Ильинична от изумления руками всплеснула:

— Господи, да как уж ты ешь, Прокофич! Как, скажи, ты три дня не ел!

— А ты думала — ел, старая дура! Трое суток в аккурат маковой росинки во рту не было!

— Да что же, вас там не кормят, что ли?

— Черти бы их так кормили! — мурлыча по-кошачьи, с набитым ртом, отвечал Пантелей Прокофьевич. — Что спромыслишь — то и полопаешь, а я воровать ишо не обучился. Это молодым добро, у них совести-то и на семак [74] не осталося… Они за эту проклятую войну так руки на воровстве набили, что я ужахался-ужахался, да и перестал. Все, что увидят, — берут, тянут, волокут… Не война, а страсть господня!

— Ты бы не доразу наедался. Как бы тебе чего не поделалось. Глянь, как ты раздулся-то, чисто паук!

— Помалкивай. Молока принеси, да побольше корчажку!

Ильинична даже заплакала, глядя на своего насмерть изголодавшегося старика.

— Что ж, ты навовсе пришел? — спросила она, после того как Пантелей Прокофьевич отвалился от каши.

— Там видно будет… — уклончиво ответил он.

— Вас, стариков, стало быть, спустили по домам?

— Никого не спускали. Куда спускать, ежли красные уже к Дону подпирают? Я сам ушел.

— А не прийдется тебе отвечать за это? — опасливо спросила Ильинична.

— Поймают, — может, и отвечать прийдется.

— Да ты, что же, хорониться будешь?

— А ты думала, что на игрища буду бегать али по гостям ходить? Тьфу, бестолочь идолова! — Пантелей Прокофьевич с сердцем сплюнул, но старуха не унималась:

— Ох, грех-то какой! Ишо беды наживем, как раз ишо дерзать тебя зачнут…

— Ну, уж лучше тут нехай ловют да в тюрьму сажают, чем там по степям с винтовкой таскаться, — устало сказал Пантелей Прокофьевич. — Я им не молоденький по сорок верст в день отмахивать, окопы рыть, в атаки бегать, да по земле полозить, да хорониться от пулев. Черт от них ухоронится! Моего односума с Кривой Речки цокнула пуля под левую лопатку — и ногами ни разу не копнул. Тоже приятности мало в таком деле!

Винтовку и подсумок с патронами старик отнес и спрятал в мякиннике, а когда Ильинична спросила, где же его зипун, хмуро и неохотно ответил:

— Прожил. Вернее сказать — бросил. Нажали на нас за станицей Шумилинской так, что все побросали, бегли, как полоумные. Там уж не до зипуна было… Кой у кого полушубки были, и те покидали… И на черта он тебе сдался, зипун, что ты об нем поминаешь? Уж ежли б зипун был добрый, а то так, нищая справа…

На самом деле зипун был добротный, новый, но все, чего лишался старик, — по его словам, было никуда не годное. Такая уж у него повелась привычка утешать себя. Ильинична

знала об этом, а потому и спорить о качестве зипуна не стала.

Ночью на семейном совете решили: Ильиничне и Пантелею Прокофьевичу с детишками оставаться дома до последнего, оберегать имущество, обмолоченный хлеб зарыть, а Дуняшку на паре старых быков отправить с сундуками к родне, на Чир, в хутор Латышев.

Планам этим не суждено было осуществиться в полной мере. Утром проводили Дуняшку, а в полдень в Татарский въехал карательный отряд из сальских казаков-калмыков. Должно быть, кто-нибудь из хуторян видел пробиравшегося домой Пантелея Прокофьевича; через час после вступления в хутор карательного отряда четверо калмыков прискакали к мелеховскому базу. Пантелей Прокофьевич, завидев конных, с удивительной быстротой и ловкостью вскарабкался на чердак; гостей встречать вышла Ильинична.

— Где твоя старика? — спросил пожилой статный калмык с погонами старшего урядника, спешиваясь и проходя мимо Ильиничны в калитку.

— На фронте. Где же ему быть, — грубо ответила Ильинична.

— Веди дом, обыск делаю буду.

— Чего искать-то?

— Старика твоя искать. Ай, стыдно! Старая какая — брехня живешь! — укоризненно качая головой, проговорил молодцеватый урядник и оскалил густые белые зубы.

— Ты не ощеряйся, неумытый! Сказано тебе нету, значит — нету!

— Кончай балачка, веди дом! Нет — сами ходим, — строго сказал обиженный калмык и решительно зашагал к крыльцу, широко ставя вывернутые ноги.

Они тщательно осмотрели комнаты, поговорили между собой по-калмыцки, потом двое пошли осматривать подворье, а один — низенький и смуглый до черноты, с рябым лицом и приплюснутым носом — подтянул широкие шаровары, украшенные лампасами, вышел в сенцы. В просвет распахнутой двери Ильинична видела, как калмык прыгнул, уцепился руками за переруб и ловко полез наверх. Пять минут спустя он ловко соскочил оттуда, за ним, кряхтя, осторожно слез весь измазанный в глине, с паутиной на бороде Пантелей Прокофьевич. Посмотрев на плотно сжавшую губы старуху, он сказал:

— Нашли проклятые! Значит, кто-нибудь доказал…

Пантелея Прокофьевича под конвоем отправили в станицу Каргинскую, где находился военно-полевой суд, а Ильинична всплакнула немного и, прислушиваясь к возобновившемуся орудийному грому и отчетливо слышимой пулеметной трескотне за Доном, пошла в амбар, чтобы припрятать хоть немного хлеба.

XXII

Четырнадцать изловленных дезертиров ждали суда. Суд был короткий и немилостивый. Престарелый есаул, председательствовавший на заседаниях, спрашивал у подсудимого его фамилию, имя, отчество, чин и номер части, узнавал, сколько времени подсудимый пробыл в бегах, затем вполголоса перебрасывался несколькими фразами с членами суда — безруким хорунжим и разъевшимся на легких хлебах усатым и пухломордым вахмистром — и объявлял приговор. Большинство дезертиров присуждалось к телесному наказанию розгами, которое производили калмыки в специально отведенном для этой цели нежилом доме. Слишком много развелось дезертиров в воинственной Донской армии, чтобы можно было пороть их открыто и всенародно, как в 1918 году…

Пантелея Прокофьевича вызвали шестым по счету. Взволнованный и бледный, стоял он перед судейским столом, держа руки по швам.

— Фамилия? — спросил есаул, не глядя на спрашиваемого.

— Мелехов, ваше благородие.

— Имя, отчество?

— Пантелей Прокофьев, ваше благородие.

Есаул поднял от бумаг глаза, пристально посмотрел на старика.

— Вы откуда родом?

— С хутора Татарского Вешенской станицы, ваше благородие.

— Вы не отец Мелехова Григория, сотника?

— Так точно, отец, ваше благородие. — Пантелей Прокофьевич сразу приободрился, почуяв, что розги как будто отдаляются от его старого тела.

— Послушайте, как же вам не стыдно? — спросил есаул, не сводя колючих глаз с осунувшегося лица Пантелея Прокофьевича.

Тут Пантелей Прокофьевич, нарушив устав, приложил левую руку к груди, плачущим голосом сказал:

— Ваше благородие, господин есаул! Заставьте за вас век бога молить — не приказывайте меня сечь! У меня двое сынов женатых… старшего убили красные… Внуки есть, и меня, такого ветхого старика, пороть надо?

— Мы и стариков учим, как надо служить. А ты думал, тебе за бегство из части крест дадут? — прервал его безрукий хорунжий. Углы рта у него нервически подергивались.

— На что уж мне крест… Отправьте вы меня в часть, буду служить верой и правдой… Сам не знаю, как я убег: должно, нечистый попутал… — Пантелей Прокофьевич еще что-то бессвязно говорил о недомолоченном хлебе, о своей хромоте, о брошенном хозяйстве, но есаул движением руки заставил его замолчать, наклонился к хорунжему и что-то долго шептал ему на ухо. Хорунжий утвердительно кивнул головой, и есаул повернулся к Пантелею Прокофьевичу:

— Хорошо. Вы все сказали? Я знаю вашего сына и удивляюсь тому, что он имеет такого отца. Когда вы бежали из части? Неделю назад? Вы, что же, хотите, чтобы красные заняли ваш хутор и содрали с вас шкуру? Такой-то пример вы подаете молодым казакам? По закону мы должны судить вас и подвергнуть телесному наказанию, но из уважения к офицерскому чину вашего сына я вас избавлю от этого позора. Вы были рядовым?

— Так точно, ваше благородие.

— В чине?

— Младшим урядником был, ваше благородие.

— Снять лычки! — Перейдя на «ты», есаул повысил голос, грубо приказал: — Сейчас же отправляйся в часть! Доложи командиру сотни, что решением военно-полевого суда ты лишен звания урядника. Награды за эту или за прошлые войны имел?.. Ступай!

Не помня себя от радости, Пантелей Прокофьевич вышел, перекрестился на церковный купол и… через бугор бездорожно направился домой. «Ну уж зараз я не так прихоронюсь! Черта с два найдут, нехай хучь три сотни калмыков присылают!» — думал он, хромая по заросшей брицей стерне.

В степи он решил, что лучше идти по дороге, чтобы не привлекать внимания проезжавших. «Как раз ишо подумают, что я — дезертир. Нарвешься на каких-нибудь службистов — и без суда плетей ввалют», — вслух рассуждал он, сворачивая с пашни на заросший подорожником, брошенный летник и уже почему-то не считая себя дезертиром.

Чем ближе подвигался он к Дону, тем чаще встречались ему подводы беженцев. Повторялось то, что было весной во время отступления повстанцев на левую сторону Дона: во всех направлениях по степи тянулись нагруженные домашним скарбом арбы и брички,

шли табуны ревущего скота, словно кавалерия на марше — пылили гурты овец… Скрип колес, конское ржание, людские окрики, топот множества копыт, блеяние овец, детский плач — все это наполняло спокойные просторы степи неумолчным и тревожным шумом.

— Куда, дед, правишься? Иди назад: следом за нами — красные! — крикнул с проезжавшей подводы незнакомый казак с забинтованной головой.

— Будя брехать! Где они, красные-то? — Пантелей Прокофьевич растерянно остановился.

— За Доном. Подходят к Вешкам. А ты к ним идешь?

Успокоившись, Пантелей Прокофьевич продолжал путь и к вечеру подошел к Татарскому. Спускаясь с горы, он внимательно присматривался. Хутор поразил его безлюдьем. На улицах не было ни души. Безмолвно стояли брошенные, с закрытыми ставнями курени. Не слышно было ни людского голоса, ни скотиньего мыка; только возле самого Дона оживленно сновали люди. Приблизившись, Пантелей Прокофьевич без труда распознал вооруженных казаков, вытаскивавших и переносивших в хутор баркасы. Татарский был брошен жителями, это стало ясно Пантелею Прокофьевичу. Осторожно войдя в свой проулок, он зашагал к дому. Ильинична и детишки сидели в кухне.

— Вот он и дедуня! — обрадованно воскликнул Мишатка, бросившись деду на шею.

Ильинична заплакала от радости, сквозь слезы проговорила:

— И не чаяла тебя увидать! Ну, Прокофич, как хочешь, а оставаться тут я больше несогласная! Нехай все горит ясным огнем, только окарауливать порожний курень я не буду. Почти все с хутора выехали, а я с детишками сижу, как дура! Зараз же запрягай кобылу, и поедем куда глаза глядят! Отпустили тебя?

— Отпустили.

— Навовсе?

— Навовсе, пока не поймают…

— Ну и тут тебе не хорониться! Нынче утром как застреляли с энтой стороны красные — ажник страшно! Я уж с ребятами в погребу сидела, пока стрельба шла. А зараз отогнали их. Приходили казаки, молока спрашивали и советовали уехать отсюда.

— Казаки-то не наши хуторные? — поинтересовался Пантелей Прокофьевич, внимательно рассматривая в наличнике окна свежую пулевую пробоину.

— Нет, чужие, никак, откель-то с Хопра.

— Тогда надо уезжать, — со вздохом сказал Пантелей Прокофьевич.

К ночи он вырыл в кизячнике яму, свалил туда семь мешков пшеницы, старательно зарыл и завалил кизяками, а как только смерклось — запряг в арбочку кобылу, положил две шубы, мешок муки, пшена, связанную овцу, привязал к задней грядешке обеих коров и, усадив Ильиничну и детишек, проговорил:

— Ну теперь — с богом! — выехал со двора, передал вожжи старухе, закрыл ворота и до самого бугра сморкался и вытирал рукавом чекменя слезы, шагая рядом с арбочкой.

XXIII

17 сентября части ударной группы Шорина, сделав тридцативерстный переход, вплотную подошли к Дону. С утра 18-го красные батареи загремели от устья Медведицы до станицы Казанской. После короткой артиллерийской подготовки пехота заняла обдонские хутора и станицы Букановскую, Еланскую, Вешенскую. В течение дня левобережье Дона на протяжении более чем полутораста верст было очищено от белых. Казачьи сотни отступили,

в порядке переправившись через Дон на заранее заготовленные позиции. Все имевшиеся средства переправы находились у них в руках, но вешенский мост едва не был захвачен красными. Казаки заблаговременно сложили около него солому и облили деревянный настил керосином, чтобы поджечь при отступлении, и уже собрались было поджигать, как в это время прискакал связной с сообщением, что одна из сотен 37-го полка идет с хутора Перевозного в Вешенскую к переправе. Отставшая сотня карьером прискакала к мосту в тот момент, когда красная пехота уже вступала в станицу. Под пулеметным огнем казаки все же успели проскочить по мосту и поджечь его за собой, потеряв более десяти человек убитыми и ранеными и такое же число лошадей.

До конца сентября полки 22-й и 23-й дивизий 9-й красной армии удерживали занятые ими хутора и станицы левой стороны Дона. Противников разделяла река, максимальная ширина которой в то время не превышала восьмидесяти саженей, а местами доходила до тридцати. Активных попыток к переправе красные не предпринимали; кое-где на бродах они пробовали перейти Дон, но были отбиты. На всем протяжении фронта на этом участке в течение двух недель шла оживленная артиллерийская и ружейная перестрелка. Казаки занимали господствующие над местностью прибрежные высоты, обстреливая скопления противника на подступах к Дону, не позволяя ему днем продвигаться к берегу; но так как казачьи сотни на этом участке состояли из наименее боеспособных формирований (старики и молодежь в возрасте от семнадцати до девятнадцати лет), то и сами они не пытались перейти Дон, чтобы оттеснить красных и двинуться в наступление по левобережью.

Отступив на правую сторону Дона, в первый день казаки ждали, что вот-вот запылают курени занятых красными хуторов, но, к их великому удивлению, на левой стороне не показалось ни одного дымка; мало того — перебравшиеся ночью с той стороны жители сообщили, что красноармейцы ничего не берут из имущества, а за взятые продукты, даже за арбузы и молоко, щедро платят советскими деньгами. Это вызвало среди казаков растерянность и величайшее недоумение. Им казалось, что после восстания красные должны бы выжечь дотла все повстанческие хутора и станицы; они ждали, что оставшаяся часть населения, во всяком случае мужская его половина, будет беспощадно истреблена, но по достоверным сведениям — красные никого из мирных жителей не трогали и, судя по всему, даже и не помышляли о мщении.

В ночь на 19-е казаки-хоперцы, бывшие в заставе против Вешенской, решили разведать о столь странном поведении противника; один голосистый казак сложил трубою руки, крикнул:

— Эй, краснопузые! Чего же вы дома наши не жгете? Спичек у вас нету? Так плывите к нам, мы вам дадим!

Ему из темноты зычно ответили:

— Вас не прихватили на месте, а то бы сожгли вместе с домами!

— Обнищали? Поджечь нечем? — задорно кричал хоперец.

Спокойно и весело ему отвечали:

— Плыви сюда, белая курва, мы тебе жару в мотню насыпем. Век будешь чесаться!

На заставах долго переругивались и всячески язвили друг друга, а потом постреляли немного и притихли.

В первых числах октября основные силы Донской армии, в количестве двух корпусов сосредоточенные на участке Казанская — Павловск, перешли в наступление. 3-й Донской корпус, насчитывавший в своем составе 8000 штыков и более 6000 сабель, неподалеку от Павловска форсировал Дон, отбросил 56-ю красную дивизию и начал успешное продвижение на восток. Вскоре переправился через Дон и 2-й коноваловский корпус. Преобладание

конницы в его составе дало ему возможность глубоко внедриться в расположение противника и нанести ряд сокрушительных ударов. Введенная в дело 21-я стрелковая красная дивизия, находившаяся до этого во фронтовом резерве, несколько задержала продвижение 3-го Донского корпуса, но под давлением соединившихся казачьих корпусов должна была начать отход. 14 октября 2-й казачий корпус в ожесточенном бою разгромил и почти полностью уничтожил 14-ю красную стрелковую дивизию. За неделю красные были выбиты с левого берега Дона вплоть до станицы Вешенской. Заняв широкий плацдарм, казачьи корпуса оттеснили части 9-й красной армии на фронт Лузево — Ширинкин — Воробьевка, принудив 23-ю дивизию 9-й армии поспешно перестроить фронт в западном направлении от Вешенской на хутор Кругловский.

Почти одновременно со 2-м корпусом генерала Коновалова форсировал Дон на своем участке и 1-й Донской корпус, находившийся в районе станицы Клетской.

Угроза окружения встала перед 2-й и 23-й левофланговыми красными дивизиями. Учитывая это, командование Юго-Восточным фронтом приказало 9-й армии отойти на фронт устье реки Икорец — Бутурлиновка — Успенская — Тишанская — Кумылженская. Но удержаться на этой линии армии не удалось. Набранные по всеобщей мобилизации многочисленные и разрозненные казачьи сотни переправились с правого берега Дона и, объединившись с регулярными войсковыми частями 2-го казачьего корпуса, продолжали стремительно гнать ее на север. С 24 по 29 октября белыми были заняты станция Филонове, Поворино и город Новохоперск. Однако, как ни велики были успехи Донской армии в октябре, но в настроении казаков уже отсутствовала та уверенность, которая окрыляла их весной, во время победоносного движения к северным границам области. Большинство фронтовиков понимало, что успех этот — временный и что продержаться дольше зимы им не удастся.

Вскоре, обстановка на Южном фронте резко изменилась. Поражение Добровольческой армии в генеральном сражении на орловско-кромском направлении и, блестящие действия буденновской конницы на воронежском участке решили исход борьбы: в ноябре Добровольческая армия покатилась на юг, обнажая левый фланг Донской армии, увлекая и ее в своем отступлении.

XXIV

Две с половиной недели Пантелей Прокофьевич благополучно прожил с семьей в хуторе Латышевом и, как только услышал, что красные отступили от Дона, собрался ехать домой. Верстах в пяти от хутора он с решительным видом слез с арбочки, сказал:

— Нету моего терпения тянуться шагом! А через этих проклятых коров рысью не поскачешь. И на черта мы их гоняли с собой? Дуняшка! Останови быков! Привязывай коров к своей арбе, а я рыском тронусь домой. Там теперь уж, может, от подворья одна зола осталась…

Обуянный величайшим нетерпением, он пересадил детишек со своей арбочки на просторную арбу Дуняшки, переложил туда же лишний груз и, налегках, рысью загремел по кочковатой дороге. Кобыла вспотела на первой же версте; еще никогда хозяин не обращался с ней столь безжалостно: он не выпускал кнута из рук, беспрестанно погоняя ее.

— Загонишь кобылу! Чего ты скачешь как оглашенный? — говорила Ильинична, вцепившись в ребра арбочки, страдальчески морщась от тряски.

— Она ко мне на могилу плакать все одно не прийдет… Но-о-о, проклятущая! За-

потела!.. Там, может, от куреня одни пеньки остались… — сквозь стиснутые зубы цедил Прокофьевич.

Опасения его не оправдались: курень стоял целехонький, но почти все окна в нем были выбиты, дверь сорвана с петель, стены исковыряны пулями. Все во дворе являло вид заброшенности и запустения. Угол конюшни начисто снесло снарядом, второй снаряд вырыл неглубокую воронку возле колодца, развалив сруб и переломив пополам колодезный журавль. Война, от которой бегал Пантелей Прокофьевич, сама пришла к нему во двор, оставив после себя безобразные следы разрушения. Но еще больший ущерб хозяйству причинили хоперцы, стоявшие в хуторе постоем: на скотиньем базу они повалили плетни, вырыли глубокие, в рост человека, траншеи; чтобы не утруждать себя излишней работой — разобрали стены у амбара и из бревен поделали накаты в траншеях; раскидали каменную огорожу, мастеря бойницу для пулемета; уничтожили полприклада сена, бесхозяйственно потравив его лошадьми; пожгли плетни и загадили всю летнюю стряпку…

Пантелей Прокофьевич за голову взялся, осмотрев дом и надворные постройки. На этот раз ему изменила всегдашняя его привычка обесценивать утраченное. Черт возьми, не мог же он сказать, что все нажитое им ничего не стоило и было годно только на слом? Амбар — не зипун, и постройка его обошлась недешево.

— Как не было амбара! — со вздохом проговорила Ильинична.

— Он и амбар-то был… — с живостью отозвался Пантелей Прокофьевич, но не кончил, махнул рукой, пошел на гумно.

Рябые, изуродованные осколками и пулями стены дома выглядели неприветливо и заброшенно. В комнатах свистел ветер, на столах, на скамьях толстым слоем лежала пыль… Много времени требовалось, чтобы привести все в порядок.

Пантелей Прокофьевич на другой же день съездил верхом в станицу и не без труда выпросил у знакомого фельдшера бумагу, удостоверявшую, что ввиду болезни ноги казак Мелехов Пантелей не способен к хождению пешком и нуждается в лечении. Свидетельство это помогло Пантелею Прокофьевичу избавиться от отправки на фронт. Он предъявил его атаману и, когда ходил в хуторское правление, для вящей убедительности опирался на палку, хромал поочередно на обе ноги.

Никогда еще жизнь в Татарском не шла так суетливо и бестолково, как после возвращения из отступления. Люди ходили из двора во двор, опознавая растащенное хоперцами имущество, рыскали по степи и по буеракам в поисках отбившихся от табуна коров. Гурт в триста штук овец с верхнего конца хутора исчез в первый же день, как только Татарский подвергся артиллерийскому обстрелу. По словам пастуха, один из снарядов разорвался впереди пасшегося гурта, и овцы, замигав курдюками, в ужасе устремились в степь и исчезли. Их нашли за сорок верст от хутора, на земле Еланской станицы, через неделю после того как жители возвратились в покинутый хутор, а когда пригнали и стали разбирать, то оказалось, что в гурте половина чужих овец, с незнакомой метой в ушах, своих же хуторских, недосчитались более пятидесяти штук. На огороде у Мелеховых оказалась швейная машина, принадлежавшая Богатыревым, а жесть со своего амбара Пантелей Прокофьевич разыскал на гумне у Аникушки. То же самое творилось и в соседних хуторах. И долго еще захаживали в Татарский жители ближних и дальних хуторов Обдонья; и долго еще при встречах звучали вопросы: «Не видали вы корову, рыжую, на лбу лысина, левый рог сбитый?», «Случаем, не приблудился к вам бычок-летошник, бурой масти?»

Наверное, не один бычок был сварен в казачьих сотенных котлах и в походных кухнях, но подстегиваемые надеждой хозяева подолгу меряли степь, пока не убеждались, что не все пропавшее находится.

Пантелей Прокофьевич, получив освобождение от службы, деятельно приводил в порядок постройки и огорожу. На гумне стояли недомолоченные прикладки хлеба, по ним шныряли прожорливые мыши, но старик не брался за молотьбу. Да и разве можно было за нее браться, ежели двор стоял разгороженный, амбара не было и в помине и все хозяйство являло мерзостный вид разрухи? К тому же и осень выдалась погожая, и с обмолотом не было надобности спешить.

Дуняшка и Ильинична обмазали и побелили курень, всемерно помогали Пантелею Прокофьевичу в устройстве временной огорожи и в прочих хозяйственных делах. Кое-как добыли стекло, вставили окна, очистили стряпку, колодец. Старик сам спускался в него и, как видно, там приостыл, с неделю кашлял, чихал, ходил с мокрой от пота рубахой. Но стоило ему выпить за присест две бутылки самогона, а потом полежать на горячей печи, как болезнь с него словно рукой сняло.

От Григория по-прежнему не было вестей, и только в конце октября случайно Пантелей Прокофьевич узнал, что Григорий пребывает в полном здравии и вместе со своим полком находится где-то в Воронежской губернии. Сообщил ему об этом раненый однополчанин Григория, проезжавший через хутор. Старик повеселел, на радостях выпил последнюю бутылку целебного, настоянного на красном перце самогона и после целый день ходил разговорчивый, гордый, как молодой петух, останавливал каждого проходившего, говорил:

— Слыхал! Григорий-то наш Воронеж забирал! Слухом пользуемся, будто новое повышение получил он и зараз уже сызнова командует дивизией, а может, и корпусом. Таких вояк, как он, поискать! Небось сам знаешь… — Старик сочинял, испытывая неодолимую потребность поделиться своей радостью, прихвастнуть.

— Сын у тебя геройский, — говорили ему хуторяне.

Пантелей Прокофьевич счастливо подмигивал:

— И в кого бы он уродился не геройский? Смолоду и я был, скажу без хвальбы, тоже не хуже его! Нога мне препятствует, а то бы я и зараз не удал! Дивизией — не дивизией, а уж сотней знал бы, как распорядиться! Кабы нас, таких стариков, побольше на фронт, так уж давно бы Москву забрали, а то топчутся на одном месте, никак не могут с мужиками управиться…

Последний, с кем пришлось поговорить Пантелею Прокофьевичу в этот день, был старик Бесхлебнов. Он шел мимо мелеховского двора, и Пантелей Прокофьевич не преминул его остановить:

— Эй, погоди трошки, Филипп Агевич! Здорово живешь! Зайди на-час, потолкуем.

Бесхлебнов подошел, поздоровался.

— Слыхал, какие коленца мой Гришка выкидывает? — спросил Пантелей Прокофьевич.

— А что такое?

— Да ить опять дивизию ему дали! Вон какой махиной командует!

— Дивизию?

— Ну да, дивизию!

— Вон как!

— То-то и есть! Абы кому не дадут, ты как думаешь?

— Само собой.

Пантелей Прокофьевич торжествующе оглядел собеседника, продолжал сладостный его сердцу разговор:

— Сын уродился истинно всем на диковину. Полный бант крестов, это как по-твоему! А сколько разов был раненый и сконтуженный? Другой бы давно издох, а ему нипочем, с него это — как с гуся вода. Нет, ишо не перевелись на тихом Дону настоящие казаки!

— Не перевелись-то — не перевелись, да что-то толку от них мало, — раздумчиво проговорил не отличавшийся особой словоохотливостью дед Бесхлебнов.

— Э, как так толку мало? Гляди, как они красных погнали, уж за Воронежем, под Москву подходют!..

— Что-то долго они подходют!..

— Скоро нельзя, Филипп Агевич. Ты в толк возьми, что на войне поспешно ничего не делается. Скоро робют — слепых родют. Тут надо все потихонечку, по картам, по этим, разным, ихним, по планам… Мужика, его в России — темная туча, а нас, казаков, сколько? Горсть!

— Все это так, но, должно, не долго наши продержутся. К зиме опять надо гостей ждать, в народе так гутарют.

— Ежли зараз Москву у них не заберут, они явются сюда, это ты верно говоришь.

— А думаешь — заберут?

— Должны бы забрать, а там — как бог даст. Неужели наши не справются? Все двенадцать казачьих войск поднялись, и не справются?

— Чума их знает. Ты-то, что же, отвоевался?

— Какой из меня вояка! Кабы не моя ножная хворость — я бы им показал, как надо с неприятелем сражаться! Мы, старики, — народ крепкий.

— Гутарют, что эти крепкие старики на энтом боку Дона так умахивали от красных, что ни на одном полушубка не осталось, все с себя до живого тела на бегу посымали и покидали. Смеются, будто вся степь была от полушубков желтая, чисто лазоревыми цветками покрытая!

Пантелей Прокофьевич покосился на Бесхлебнова, сухо сказал:

— По-моему, брехня это! Ну, может, кто для облегчения и бросил одежу, да ить люди в сто разов больше набрешут! Великое дело — зипун, то бишь полушубок! Жизня дороже его али нет, спрашиваю? Да и не всякий старик может в одеже резво бегать. На этой проклятой войне нужно иметь такие ноги, как у борзого кобеля, а я, к примеру, где их достану? И об чем ты, Филипп Агевич, горюешь? На черта, прости бог, они тебе нужны, ати полушубки? Дело не в полушубках или, скажем, в зипунах, а в том, чтобы преуспешно неприятеля разить, так я говорю? Ну, пока прощай, а то я с тобой загутарился, а там дело стоит. Что ж, телушку-то свою нашел? Все ищешь? И слуху нету? Ну, стало быть, слопали ее хоперцы, чтоб им подавиться! А насчет войны не сумлевайся: приодолеют наши мужиков! — И Пантелей Прокофьевич важно захромал к крыльцу.

Но одолеть «мужиков», как видно, было не так-то легко… Не без урона обошлось и последнее наступление казаков. Час спустя хорошее настроение Пантелея Прокофьевича было омрачено неприятной новостью. Обтесывая бревно на колодезный сруб, он услышал бабий вой и причитания по мертвому. Крик приближался. Пантелей Прокофьевич послал Дуняшку разведать.

— Побеги узнай, кто там помер, — сказал он, воткнув топор в дровосеку.

Вскоре Дуняшка вернулась с известием, что с Филоновского фронта привезли трех убитых казаков — Аникушку, Христоню и еще одного, семнадцатилетнего парнишку с того конца хутора. Пораженный новостью, Пантелей Прокофьевич снял шапку, перекрестился.

— Царство небесное им! Какой казачина-то был… — горестно проговорил он, думая о Христоне, вспоминая, как вместе с ним они недавно отправлялись из Татарского на сборный пункт.

Работать он больше не мог. Аникушкина жена ревела как резаная и так причитала, что у Пантелея Прокофьевича подкатывало под сердце. Чтобы не слышать истошного бабьего

крика, он ушел в дом, плотно притворил за собой дверь. В горнице Дуняшка, захлебываясь, рассказывала Ильиничне:

— …глянула я, родная мамунюшка, а у Аникушки головы почти нету, какая-то каша заместо головы. Ой, и страшно же! И воняет от него за версту… И зачем они их везли — не знаю! А Христоня лежит на спине во всю повозку, ноги сзади из-под шинели висят… Христоня — чистый и белы-белый, прямо кипенный! Только под правым глазом — дырка, махонькая, с гривенник, да за ухом — видно — запеклась кровь.

Пантелей Прокофьевич ожесточенно сплюнул, вышел во двор, взял топор и весло и захромал к Дону.

— Скажи бабке, что я поехал за Дон хворосту срубить. Слышишь, родимушка? — на ходу обратился он к игравшему возле стряпки Мишатке.

За Доном в лесу прижилась тихая, ласковая осень. С шелестом падали с тополей сухие листья. Кусты шиповника стояли, будто объятые пламенем, и красные ягоды в редкой листве их пылали как огненные язычки. Горький, всепобеждающий запах сопревшей дубовой коры заполнял лес. Ежевичник — густой и хваткий — опутывал землю; под сплетением ползучих ветвей его искусно прятались от солнца дымчато-сизые, зрелые кисти ежевики. На мертвой траве в тени до полудня лежала роса, блестела посеребренная ею паутина. Только деловитое постукивание дятла да щебетание дроздов-рябинников нарушало тишину.

Молчаливая, строгая красота леса умиротворяюще подействовала на Пантелея Прокофьевича. Он тихо ступал меж кустов, разгребая ногами влажный покров опавшей листвы, думал: «Вот она какая, жизня: недавно были живые, а нынче уже обмывают их. Какого казака-то свалили! А ить будто недавно приходил проведовать нас, стоял у Дона, когда ловили Дарью. Эх, Христан, Христан! Нашлась и на тебя вражья пуля… И Аникушка… какой веселый был, любил выпить, посмеяться, а зараз уж все — покойничек…» — Пантелей Прокофьевич вспомнил Дуняшкины слова и, с неожиданной яркостью восстановив в памяти улыбающееся, безусое, скопцеватое лицо Аникушки, — никак не мог представить себе теперешнего Аникушку — бездыханного, с размозженной головой. «Зря я гневил бога — хвалился Григорием, — укорил себя Пантелей Прокофьевич, припомнив разговор с Бесхлебновым. — Может, и Григорий теперь лежит где-нибудь, проклеванный пулями? Не дай бог и не приведи! При ком же нам, старикам, тогда жить?»

Вырвавшийся из-под куста коричневый вальдшнеп заставил Пантелея Прокофьевича вздрогнуть от неожиданности. Бесцельно проследил он за косым, стремительным полетом птицы, пошел дальше. Около небольшой музги облюбовал несколько кустов хвороста, принялся рубить. Работая, старался ни о чем не думать. За один год смерть сразила столько родных и знакомых, что при одной мысли о них на душе его становилось тяжко и весь мир тускнел и словно одевался какой-то черной пеленой.

— Вот этот куст надо повалить. Хороший хворост! Самое на плетни годится, — вслух разговаривал он сам с собою, чтобы отвлечь себя от мрачных мыслей.

Наработавшись, Пантелей Прокофьевич снял куртку, присел на ворох нарубленного хвороста и, жадно вдыхая терпкий запах увядшей листвы, долго глядел на далекий горизонт, повитый голубой дымкой, на дальние перелески, вызолоченные осенью, блещущие последней красотой. Неподалеку стоял куст черноклена. Несказанно нарядный, он весь сиял под холодным осенним солнцем, и раскидистые ветви его, отягощенные пурпурной листвой, были распахнуты, как крылья взлетающей с земли сказочной птицы. Пантелей Прокофьевич долго любовался им, а потом случайно глянул на музгу и увидел в прозрачной стоячей воде темные спины крупных сазанов, плававших так близко от поверхности, что были видны их плавники и шевелящиеся багряные хвосты. Их было штук восемь. Они иногда скрывались

под зелеными щитами кувшинок и снова выплывали на чистое, хватали тонущие, мокрые листочки вербы. Музга к осени почти пересохла, и переловить сазанов не составляло особого труда. После недолгих поисков Пантелей Прокофьевич нашел брошенную возле соседнего озера кошелку без дна, вернулся к музге, снял штаны, поеживаясь и кряхтя от холода, приступил к ловле. Взмутив воду, по колено утопая в иле, он брел вдоль музги, опускал кошелку, придавливал края ее ко дну, а затем совал внутрь кошелки руку, в ожидании, что вот-вот всплеснет и забурлит могучая рыба. Старания его увенчались успехом: ему удалось накрыть трех сазанов фунтов по десяти каждый. Продолжать ловлю и дальше он не смог, от холода судорога начала сводить его искалеченную ногу. Удовольствовавшись добычей, он вылез из музги, обтер чаканом ноги, оделся, снова начал рубить хворост, чтобы согреться. Это была как-никак удача. Неожиданно поймать почти пуд рыбы не всякому придется! Ловля развлекла его, отогнала мрачные мысли. Он надежно спрятал кошелку, с намерением прийти доловить оставшуюся рыбу, — опасливо оглянулся: не видел ли кто, как он выбрасывал на берег золотистых и толстых, словно поросята, сазанов, — и лишь после этого поднял вязанку хвороста и нанизанных на хворостину рыб, не спеша направился к Дону.

С довольной улыбкой он рассказал Ильиничне про свое ловецкое счастье, полюбовался еще раз на отливающих красной медью сазанов, но Ильинична неохотно разделяла его восторг. Она ходила смотреть на убитых и пришла оттуда заплаканная и грустная.

— Пойдешь глянуть на Аникея? — спросила она.

— Не пойду. Что я, мертвых не видал, что ли? Нагляделся я на них, хватит!

— Ты сходил бы. Все вроде неудобно, скажут — и попрощаться не пришел!

— Отвяжись, ради Христа! Я с ним детей не крестил, и нечего мне с ним прощаться! — свирепо огрызнулся Пантелей Прокофьевич.

Он не пошел и на похороны, с утра уехал за Дон и пробыл там весь день. Погребальный звон заставил его в лесу снять шапку, перекреститься, а потом он даже подосадовал на попа: мыслимое ли дело звонить так долго? Ну, ударили бы в колокола по разу — и все, а то заблаговестили на целый час. И что проку от этого звона? Только разбередят людям сердце да заставят лишний раз вспомнить о смерти. А о ней осенью и без этого все напоминает: и падающий лист, и с криком пролетающие в голубом небе станицы гусей, и мертвенно полегшая трава…

Как ни оберегал себя Пантелей Прокофьевич от всяких тяжелых переживаний, но вскоре пришлось ему испытать новое потрясение. Однажды за обедом Дуняшка взглянула в окно, сказала:

— Ну, ишо какого-то убитого с фронта везут! Сзади повозки служивский подседланный конь идет, привязанный на чембуре, и едут нерезво… Один лошадьми правит, а мертвый под шинелем лежит. Этот, какой правит, сидит спиной к нам, не узнаю — наш хуторный или нет… — Дуняшка присмотрелась внимательнее, и щеки ее стали белее полотна. — И ить это… а ить это… — невнятно зашептала она и вдруг пронзительно крикнула: — Гришу везут!.. Его конь! — и рыдая, выбежала в сенцы.

Ильинична, не вставая из-за стола, прикрыла глаза ладонью. Пантелей Прокофьевич тяжело поднялся со скамьи, пошел к двери, вытянув вперед руки, как слепой.

Прохор Зыков открыл ворота, мельком взглянул на сбежавшую с крыльца Дуняшку, невесело сказал:

— Принимайте гостей… Не ждали?

— Родный ты наш! Братунюшка! — заламывая руки, простонала Дуняшка.

И только тогда Прохор, поглядев на ее мокрое от слез лицо, на безмолвно стоявшего на крыльце Пантелея Прокофьевича, догадался сказать:

— Не пужайтесь, не пужайтесь! Он живой. В тифу он лежит.

Пантелей Прокофьевич обессиленно прислонился спиной к дверному косяку.

— Живой!!! — смеясь и плача, закричала ему Дуняшка. — Живой Гриша! Слышишь?! Его хворого привезли! Иди же скажи матери! Ну, чего стоишь?!

— Не пужайся, Пантелей Прокофич! Доставил живого, а про здоровье не спрашивай, — торопливо подтвердил Прохор, под уздцы вводя лошадей во двор.

Пантелей Прокофьевич сделал несколько неуверенных шагов, опустился на одну из ступенек. Мимо него вихрем промчалась в дом Дуняшка, чтобы успокоить мать. Прохор остановил лошадей возле самого крыльца, поглядел на Пантелея Прокофьевича.

— Чего ж сидишь? Неси полсть, будем сносить.

Старик сидел молча. Из глаз его градом сыпались слезы, а лицо было неподвижно, и ни единый мускул не шевелился на нем. Два раза он поднимал руку, чтобы перекреститься, и опускал ее, будучи не в силах донести до лба. В горле его что-то булькало и клокотало.

— Ты, видать, от ума отошел с перепугу, — сожалеюще сказал Прохор. — И как это я не догадался послать вперед кого-нибудь предупредить вас? Оказался дурак я, право слово — дурак! Ну, поднимайся, Прокофич, надо же хворого сносить. Где у вас полсть? Или на руках понесем?

— Погоди трошки… — хрипло проговорил Пантелей Прокофьевич. — Что-то у меня ноги отнялись… Думал — убитый… Слава богу… Не ждал… — Он оторвал пуговицы на воротнике своей старенькой рубахи, распахнул ворот и стал жадно вдыхать воздух широко раскрытым ртом.

— Вставай, вставай, Прокофич! — торопил Прохор. — Окромя нас, несть-то его ить некому?

Пантелей Прокофьевич с заметным усилием поднялся, сошел с крыльца, откинул шинель и нагнулся над лежавшим без сознания Григорием. В горле его снова что-то заклокотало, но он овладел собой, повернулся к Прохору:

— Берись за ноги. Понесем.

Григория внесли в горницу, сняли с него сапоги, раздели и уложили на кровать. Дуняшка тревожно крикнула из кухни:

— Батя! С матерью плохо… Поди сюда!

В кухне на полу лежала Ильинична. Дуняшка, стоя на коленях, брызгала водой в ее посиневшее лицо.

— Беги, кличь бабку Капитоновну, живо! Она умеет кровь отворять. Скажи, что надо матери кровь кинуть, нехай захватит с собой струмент! — приказал Пантелей Прокофьевич.

Не могла же Дуняшка — заневестившаяся девка — бежать по хутору простоволосой; она ухватила платок, торопливо покрываясь, сказала:

— Детей вон напужали до смерти! Господи, что это такое за напасть… Пригляди за ними, батя, а я смотаюсь в один момент!

Может быть, Дуняшка и в зеркало бы мельком посмотрелась, но оживший Пантелей Прокофьевич глянул на нее такими глазами, что она опрометью выскочила из кухни.

Выбежав за калитку, Дуняшка увидела Аксинью. Ни кровинки не было в белом Аксиньином лице. Она стояла, прислонившись к плетню, безжизненно опустив руки. В затуманенных черных глазах ее не блестели слезы, но столько в них было страдания и немой мольбы, что Дуняшка, остановившись на секунду, невольно и неожиданно для себя сказала:

— Живой, живой! Тиф у него, — и побежала по проулку рысью, придерживая руками подпрыгивающую высокую грудь.

К мелеховскому двору отовсюду спешили любопытные бабы. Они видели, как Аксинья

неторопливо пошла от мелеховской калитки, а потом вдруг ускорила шаги, согнулась и закрыла лицо руками.

XXV

Через месяц Григорий выздоровел. Впервые поднялся он с постели в двадцатых числах ноября и — высокий, худой, как скелет, — неуверенно прошелся по комнате, стал у окна.

На земле, на соломенных крышах сараев ослепительно белел молодой снежок. По проулку виднелись следы санных полозьев. Голубоватый иней, опушивший плетни и деревья, сверкал и отливал радугой под лучами закатного солнца.

Григорий долго смотрел в окно, задумчиво улыбаясь, поглаживая костлявыми пальцами усы. Такой славной зимы он как будто еще никогда не видел. Все казалось ему необычным, исполненным новизны и значения. У него после болезни словно обострилось зрение, и он стал обнаруживать новые предметы в окружающей его обстановке и находить перемены в тех, что были знакомы ему издавна.

Неожиданно в характере Григория проявились ранее несвойственные ему любопытство и интерес ко всему происходившему в хуторе и в хозяйстве. Все в жизни обретало для него какой-то новый, сокровенный смысл, все привлекало внимание. На вновь явившийся ему мир он смотрел чуточку удивленными глазами, и с губ его подолгу не сходила простодушная, детская улыбка, странно изменявшая суровый облик лица, выражение звероватых глаз, смягчавшая жесткие складки в углах рта. Иногда он рассматривал какой-нибудь с детства известный ему предмет хозяйственного обихода, напряженно шевеля бровями и с таким видом, словно был человеком, недавно прибывшим из чужой, далекой страны, видевшим все это впервые. Ильинична была несказанно удивлена однажды, застав его разглядывавшим со всех сторон прялку. Как только она вошла в комнату, Григорий отошел от прялки, слегка смутившись.

Дуняшка не могла без смеха смотреть на его мослаковатую длинную фигуру. Он ходил по комнате в одном нижнем белье, придерживая рукой сползающие кальсоны, сгорбясь и несмело переставляя высохшие голенастые ноги, а когда садился, то непременно хватался за что-нибудь рукой, боясь упасть. Черные, отросшие за время болезни волосы его лезли, курчеватый, с густой проседью чуб свалялся.

При помощи Дуняшки он сам обрил себе голову, и когда повернулся лицом к сестре, та уронила на пол бритву, схватилась за живот, и, повалившись на кровать, задохнулась от хохота.

Григорий терпеливо ждал, пока она отсмеется, но потом не выдержал, сказал слабым, дрожащим тенорком:

— Гляди, так недолго и до греха. Опосля стыдно будет, ты ить невеста. — В голосе его прозвучала легкая обида.

— Ой, братушка! Ой, родненький! Я лучше уйду… силов моих нету! Ой, на чего ты похо-о-ож! Ну, чистое огородное чучело! — между приступами смеха еле выговорила Дуняшка.

— Поглядел бы я на тебя, какая ты бы стала опосля тифа. Подыми бритву, ну?!

Ильинична вступилась за Григория, с досадой сказала:

— И чего иржешь, на самом деле? То-то дура ты, Дунька!

— Да погляди, маманя, на чего он похож! — вытирая слезы, говорила Дуняшка. — Голова вся на шишках, круглая, как арбуз, и такая же темная… Ой, не могу!

— Дай зеркало! — попросил Григорий.

Он посмотрелся в крохотный осколок зеркала и сам долго беззвучно смеялся.

— И на что ты, сынок, брился, уж лучше бы так ходил, — с неудовольствием сказала Ильинична.

— По-твоему, лучше лысым быть?

— Ну и так страмотно до невозможности.

— Да ну вас совсем! — с досадой проговорил Григорий, взбивая помазком мыльную пену.

Лишенный возможности выходить из дому, он подолгу возился с детишками. Разговаривая с ними обо всем, избегал упоминать о Наталье. Но однажды Полюшка, ласкаясь к нему, спросила:

— Батяня, а маманька к нам не вернется?

— Нет, милушка, оттуда не возвертаются…

— Откуда? С кладбища?

— Мертвые, словом, не возвертаются…

— А она навовсе мертвая?

— Ну, как же иначе? Конечно, мертвая.

— А я думала, что она когда-нибудь соскучится по нас и прийдет… — чуть слышно прошептала Полюшка.

— Ты об ней не думай, моя родная, не надо, — глухо сказал Григорий.

— Как же об ней не думать? А они и проведывать не приходют? Хучь на чудок. Нет?

— Нет. Ну, пойди поиграй с Мишаткой. — Григорий отвернулся. Видно, болезнь ослабила его волю: на глазах его показались слезы, и, чтобы скрыть их от детей, он долго стоял у окна, прижавшись к нему лицом.

Не любил он разговаривать с детьми о войне, а Мишатку война интересовала больше всего на свете. Он часто приставал к отцу с вопросами, как воюют, и какие красные, и чем их убивают, и для чего. Григорий хмурился, с досадой говорил:

— Ну вот, опять заладила сорока про Якова! И на что она тебе сдалась, эта война? Давай лучше погутарим об том, как будем летом рыбу удочками ловить. Тебе удочку справить? Вот как только зачну выходить на баз, так зараз же ссучу тебе из конского волоса леску.

Он испытывал внутренний стыд, когда Мишатка заговаривал о войне: никак не мог ответить на простые и бесхитростные детские вопросы. И кто знает — почему? Не потому ли, что не ответил на эти вопросы самому себе? Но от Мишатки не так-то легко было отделаться: как будто и со вниманием выслушивал он планы отца, посвященные рыбной ловле, а потом снова спрашивал:

— А ты, папанька, убивал людей на войне?

— Отвяжись, репей!

— А страшно их убивать? А кровь из них идет, как убивают? А много крови? Больше, чем из курицы либо из барана?

— Я тебе сказал, что брось ты об этом!

Мишатка на минуту замолкал, потом раздумчиво говорил:

— Я видал, как дед резал недавно овцу. Мне было не страшно… Может, так трошки-трошки страшно, а то ничуть!

— Прогони ты его от себя! — с досадой восклицала Ильинична. — Вот ишо душегуб растет! Истый арестанюга! Только от него и послышишь, что про войну, окромя он и разговору не знает. Да мысленное ли дело тебе, чадушка, об ней, об проклятой, прости господи, гутарить? Иди сюда, возьми вот блинец да помолчи хучь чудок.

Но война напоминала о себе ежедневно. Приходили проведывать Григория вернувшиеся

с фронта казаки, рассказывали о разгроме Шкуро и Мамонтова конницей Буденного, о неудачных боях под Орлом, об отступлении, начавшемся на фронтах. В боях под Грибановкой и Кардаилом были убиты еще двое татарцев: привезли раненого Герасима Ахваткина; умер болевший тифом Дмитрий Голощеков. Григорий мысленно перебирал в памяти убитых за две войны казаков своего хутора, и оказалось, что нет в Татарском ни одного двора, где бы не было покойника.

Григорий еще не выходил из дома, а уж хуторской атаман принес распоряжение станичного атамана, предписывавшее уведомить сотника Мелехова о незамедлительной явке на врачебную комиссию для переосвидетельствования.

— Отпиши ему, что, как только научусь ходить, — сам явлюсь, без ихних напоминаний, — с досадой сказал Григорий.

Фронт все ближе продвигался к Дону. В хуторе начали поговаривать об отступлении. Вскоре на майдане был оглашен приказ окружного атамана, обязывавший ехать в отступление всех взрослых казаков.

Пантелей Прокофьевич пришел с майдана, рассказал Григорию о приказе, спросил:

— Что будем делать?

Григорий пожал плечами:

— Чего же делать? Надо отступать. И без приказа все тронутся.

— Я про нас с тобой спрашиваю: вместе поедем или как?

— Вместе нам не прийдется ехать. Дня через два я сбегаю верхом в станицу, узнаю, какие частя будут идтить через Вешки, пристану к какой-нибудь. А твое дело ехать беженским порядком. Или ты хочешь в воинскую часть поступить?

— Будь она неладна! — испуганно сказал Пантелей Прокофьевич. — Я тогда поеду с дедом Бесхлебновым, он надысь приглашал ехать за компанию. Старик он смирный, и конь у него добрячий, вот мы спрягемся и дунем на пару. Моя кобыла тоже стала из жиру вон. Так, проклятая, разъелась и так взбрыкивает, ажник страшно!

— Ну вот и езжай с ним, — охотно поддержал Григорий. — А пока давай договоримся насчет вашего маршрута, а то, может, и мне доведется тем же путем идтить.

Григорий достал из планшетки карту Юга России, подробно рассказал отцу, через какие хутора нужно ехать, и уже начал было записывать на бумагу названия хуторов, но старик, с уважением посматривавший на карту, сказал:

— Постой, не пиши. Ты, конечно, в этих делах больше моего понимаешь, и карта — это дело сурьезное, уж она не сбрешет и покажет прямой путь, но только как его буду держаться, ежели мне это неподходяще? Ты говоришь, надо спервоначалу ехать через Каргинскую, я понимаю: через нее прямее, а все одно мне и тут надо крюку дать.

— Это зачем же тебе крюку давать?

— А затем, что в Латышевом у меня двоюродная сестра, у ней я и себе и коням корму добуду, а у чужих прийдется свое тратить. И дальше: ты говоришь, надо по карте на слободу Астахове ехать, туда прямее, а я поеду на Малаховский; там у меня — тоже дальняя родня и односум есть; там тоже можно своего сена не травить, чужим попользоваться. Поимей в виду, что прикладка сена с собой не увезешь, а в чужом краю, может статься, не токмо не выпросишь, но и за деньги не купишь.

— А за Доном у тебя родни нету? — ехидно спросил Григорий.

— Есть и там.

— Так ты, может, туда поедешь?

— Ты мне чертовщину не пори! — вспыхнул Пантелей Прокофьевич. — Ты дело говори, а не шутки вышучивай! Нашел время шутить, тоже умник выискался!

— Нечего и тебе родню собирать! Отступать — так отступать, а не по родне ездить, это тебе не масленица!

— Ну, ты мне не указывай, куда мне ехать, сам знаю!

— А знаешь, так и езжай куда хочешь!

— Не по твоим же планам мне ехать? Прямо только сорока летает, ты об этом слыхал? Попрусь я черт те куда, где, может, зимой и дороги сроду не бывает. Ты-то с умом собрался такую ерунду говорить? А ишо дивизией командовал!

Григорий и старик долго пререкались, но потом, обдумав все, Григорий должен был признать, что в словах отца было много справедливого, и примирительно сказал:

— Не серчай, батя, я тебе не навязываю своего маршрута, езжай, как хочешь. Постараюсь за Донцом тебя разыскать.

— Вот так бы и давно сказал! — обрадовался Пантелей Прокофьевич. — А то лезешь с разными планами да маршлутами, а того не понимаешь, что план планом, а без корма лошадям ехать некуда.

Еще во время болезни Григория старик исподволь готовился к отъезду; с особой тщательностью выкармливал кобылу, отремонтировал сани, заказал свалять новые валенки и собственноручно подшил их кожей, чтобы не промокали в сырую погоду; заблаговременно насыпал в чувалы отборного овса. Он и отступать готовился как настоящий хозяин: все, что могло понадобиться в поездке, было предусмотрительно приготовлено им. Топор, ручная пила, долото, сапожный инструмент, нитки, запасные подметки, гвозди, молоток, связка ремней, бечева, кусок смолы — все это, вплоть до подков и ухналей, было завернуто в брезент и в одну минуту могло быть уложено в сани. Даже безмен Пантелей Прокофьевич брал с собой и на вопрос Ильиничны, зачем ему понадобится безмен в дороге, укоризненно сказал:

— Ты, бабка, чем ни больше стареешь, тем больше дуреешь. Неужели ты такую простую штуку сама не сообразишь? Сено-то али мякину в отступе мне прийдется на вес покупать? Не аршином же там сено меряют?

— Так уж там и весов нету? — удивилась Ильинична.

— А ты почем знаешь, какие там веса? — озлился Пантелей Прокофьевич. — Может, там все веса с обманом, чтобы нашего брата обвешивать. То-то и оно! Знаем мы, какие там народы живут! Купишь тридцать фунтов, а заплотишь чистую денежку за пуд. А мне — как такой убыток терпеть на каждой остановке, так лучше я со своим безменом поеду, небось не заважит! А вы тут и без весов проживете: на черта они вам сдались? Военные частя будут идтить, так они берут сено не вешамши… Им только успевай в фуражирки навязывать. Видал я их, чертей безрогих, знаю отлично!

Вначале Пантелей Прокофьевич думал даже повозку везти на санях, чтобы весною не тратиться на покупку и ехать на своей, но потом, пораздумав, отказался от этой пагубной мысли.

Начал собираться и Григорий. Он прочистил маузер, винтовку, привел в порядок верно служивший ему клинок; через неделю после выздоровления пошел проведать коня и, глядя на его лоснящийся круп, убедился, что старик выкармливал не только свою кобылу. С трудом сел на взыгравшего коня, проездил его как следует, и, возвращаясь домой, видел, — а быть может, это лишь показалось ему, — будто кто-то махнул ему беленьким платочком в окне астаховского куреня.

На сходе татарцы решили выезжать всем хутором. Двое суток бабы пекли и жарили казакам на дорогу всякую снедь. Выезд назначен был на 12 декабря. С вечера Пантелей Прокофьевич уложил в сани сено и овес, а утром, чуть забрезжил рассвет, надел тулуп,

подпоясался, заткнул за кушак голицы, помолился богу и распрощался с семьей.

Вскоре огромный обоз потянулся из хутора на гору. Вышедшие на прогон бабы долго махали уезжавшим платками, а потом в степи поднялась поземка, и за снежной кипящей мглой не стало видно ни медленно взбиравшихся на гору подвод, ни шагавших рядом с ними казаков.

Перед отъездом в Вешенскую Григорий увиделся с Аксиньей. Он зашел к ней вечером, когда по хутору уже зажглись огни. Аксинья пряла. Около нее сидела Аникушкина вдова, вязала чулок, что-то рассказывала. Увидев постороннюю, Григорий коротко сказал Аксинье:

— Выйди ко мне на минуту, дело есть.

В сенях он положил ей руку на плечо, спросил:

— Поедешь со мной в отступление?

Аксинья долго молчала, обдумывая ответ, потом тихо сказала:

— А хозяйство как же? Дом?

— Оставишь на кого-нибудь. Надо ехать.

— А когда?

— Завтра заеду за тобой.

Улыбаясь в темноте, Аксинья сказала:

— Помнишь, я тебе давно говорила, что поеду с тобой хучь на край света. Я и зараз такая. Моя любовь к тебе верная. Поеду, ни на что не погляжу! Когда тебя ждать?

— На вечер. Много с собой не бери. Одежу и харчей побольше, вот и все. Ну, прощай пока.

— Прощай. Может, зашел бы?.. Она зараз уйдет. Целый век я тебя не видала… Милый мой, Гришенька! А я уж думала, что ты… Нет! Не скажу.

— Нет, не могу. Мне зараз в Вешки ехать, прощай. Жди завтра.

Григорий уж вышел из сенцев и дошел до калитки, а Аксинья все еще стояла в сенцах, улыбалась и терла ладонями пылающие щеки.

В Вешенской началась эвакуация окружных учреждений и интендантских складов. Григорий в управлении окружного атамана справился о положении на фронте. Молоденький хорунжий, исполнявший должность адъютанта, сказал ему:

— Красные около станицы Алексеевской. Нам неизвестно, какие части будут идти через Вешенскую и будут ли идти. Вы сами видите — никто ничего не знает, все спешат удирать… Я бы вам посоветовал сейчас не разыскивать вашу часть, а ехать в Миллерово, там вы скорее узнаете о ее местопребывании. Во всяком случае, ваш полк будет проходить по линии железной дороги. Будет ли противник задержан у Дона? Ну, не думаю. Вешенскую сдадут без боя, это наверняка.

Поздно ночью Григорий вернулся домой. Готовя ужин, Ильинична сказала:

— Прохор твой заявился. Час спустя, как ты уехал, приходил и сулился зайти ишо, да вот что-то нету его.

Обрадованный Григорий наскоро повечерял, пошел к Прохору. Тот встретил его, невесело улыбаясь, сказал:

— А я уж думал, что ты прямо из Вешек зацвел в отступление.

— Откуда тебя черти принесли? — спросил Григорий, смеясь и хлопая верного ординарца по плечу.

— Ясное дело — с фронта.

— Удрал?

— Что ты, господь с тобой! Такой лихой вояка, да чтобы убегал? Приехал по закону, не схотел без тебя в теплые края правиться. Вместе грешили, вместе надо и на страшный суд

ехать. Дела-то наши — табак, знаешь?

— Знаю. Ты расскажи, как это тебя из части отпустили?

— Это — песня длинная, после расскажу, — уклончиво ответил Прохор и помрачнел еще больше.

— Полк где?

— А чума его знает, где он зараз.

— Да ты когда же оттуда?

— Недели две назад.

— А где же ты был это время?

— Вот какой ты, ей богу… — недовольно сказал Прохор и покосился на жену. — Где, да как, да чего… Где был — там уж меня нету. Сказал — расскажу, значит, расскажу. Эй, баба! Дымка есть у тебя? Надо бы при встрече с командиром глонуть по маленькой. Есть, что ли? Нету? Ну, сбегай добудь, да чтобы на одной ноге обернулась! Отвыкла без мужа от военной дисциплины! Разболталась!

— И чего это ты расходился? — улыбаясь, спросила Прохорова жена. — Ты на меня не дюже шуми, хозяин ты тут небольшой, в году два дня дома бываешь.

— Все на меня шумят, а я на кого же зашумлю, окромя тебя? Погоди, дослужусь до генеральского чина, тогда на других буду пошумливать, а пока терпи, да поскорее надевай свою амуницию и беги!

После того как жена оделась и ушла, Прохор укоризненно поглядел на Григория, заговорил:

— Понятия у тебя, Пантелевич, никакого нету… Не могу же я тебе при бабе всего рассказывать, а ты нажимаешь, как да что. Ну как, поправился после тифу?

— Я-то поправился, рассказывай про себя. Что-то ты, вражий сын, скрытничаешь… Выкладывай: чего напутал? Как убег?

— Тут хуже, чем убег… После того как отвез тебя хворого, возвертаюсь в часть. Направляют меня в сотню, в третий взвод. А я же страшный охотник воевать! Два раза сходил в атаку, а потом думаю: «Тут мне и копыта откинуть прийдется! Надо искать какую-нибудь дыру, а то пропадешь ты, Проша, как пить дать!» А тут, как на грех, такие бои завязались, так нас жмут, что и воздохнуть не дают! Что ни прорыв — нас туда пихают; где неустойка выходит — опять же наш полк туда прут. За неделю в сотне одиннадцать казаков будто корова языком слизнула! Ну я и заскучал, даже вша на мне появилась от тоски. — Прохор закурил, протянул Григорию кисет, не спеша продолжал: — И вот припало мне возле самых Лисок в разъезде быть. Поехало нас трое. Едем по бугру рыском, во все стороны поглядываем, смотрим — из ярка вылазит красный и руки кверху держит. Подскакиваем к нему, а он кричит: «Станичники! Я — свой! Не рубите, меня, я перехожу на вашу сторону!» И черт меня попутал: с чего-то зло меня взяло, подскочил я к нему и говорю: «А ты, говорю, сукин сын, ежли взялся воевать, так сдаваться не должон! Подлюка ты, говорю, этакая. Не видишь, что ли, что мы и так насилу держимся? А ты сдаешься, укрепление нам делаешь?!»

Да с тем ножнами его с седла и потянул вдоль спины. И другие казаки, какие были со мной, тоже ему втолковывают: «Разве это резон так воевать, крутиться, вертеться на все стороны? Взялись бы дружнее — вот бы и войне концы!» А черт его знал, что он, этот перебежчик, офицер? А он им в аккурат и оказался! Как я его вгорячах вдарил ножнами, он побелел с лица и тихо так говорит: «Я — офицер, и вы не смейте меня бить! Я сам в старое время в гусарах служил, а к красным попал по набилизации, и вы меня доставьте к вашему командиру, там я ему все расскажу». Мы говорим: «Давай твой документ». А он гордо так отвечает: «Я с вами и говорить не желаю, ведите меня к вашему командиру!»

— Так чего ж ты об этом при жене не схотел гутарить? — удивленно прервал Григорий.

— До этого ишо не дошло, об чем я при ней не мог рассказывать, и ты меня, пожалуйста, не перебивай. Решили мы его доставить в сотню, а зря… Было бы нам его там же убить, и делу конец. Но мы его пригнали, как и полагается, а через день глядим — назначают нам его командиром сотни. Это как? Вот тут и началось! Вызывает он меня, спустя время, спрашивает: «Так-то ты сражаешься за единую неделимую Россию, сукин сын? Ты что мне говорил, когда меня в плен забирал, помнишь?» Я — туда, я — сюда, не дает он мне никакой пощады — и как вспомнит, что я его ножнами потянул, так аж весь затрясется! «Ты знаешь, говорит, что я — ротмистр гусарского полка и дворянин, а ты, хам, смог меня бить?» Вызывает раз, вызывает два, и нету мне от него никакой милости. Велит взводному без очереди меня в заставы и караулы посылать, наряды на меня сыплются, как горох из ведра, ну, словом, съедает меня, стерва, поедом! И такую же гонку гонит на остальных двоих, какие вместе со мной в разъезде были, когда его в плен забирали. Ребяты терпели-терпели, а потом отзывают как-то меня и говорят: «Давай его убьем, иначе он не даст нам жизни!» Подумал я и решил рассказать обо всем командиру полка, а убивать не дозволила совесть. При том моменте, когда забирали его в плен, можно было бы кокнуть, а уж после как-то рука у меня не подымалась… Жена курицу режет — и то я глаза зажмуряю, а тут человека надо убить…

— Убили-таки? — снова прервал Григорий.

— Погоди трошки, все узнаешь. Ну, рассказал я командиру полка, достиг до него, а он засмеялся и говорит: «Нечего тебе, Зыков, обижаться, раз ты его сам бил, и дисциплину он правильно устанавливает. Он хороший и знающий офицер». С тем я и ушел от него, а сам думаю: «Повесь ты этого хорошего офицера себе на гайтан заместо креста, а я с ним в одной сотне служить не согласный!» Попросил перевесть меня в другую сотню — тоже ничего не получилось, не перевели. Тут я и надумал из части смыться. А как смоешься? Отодвинули нас в ближний тыл на недельный отдых, и тут меня сызнова черт попутал… Думаю: не иначе надо мне раздобыться каким-нибудь завалященьким трипперишком, тогда попаду в околодок, а там и отступление подойдет, дело на это запохаживалось. И, чего сроду со мной не было, начал я за бабами бегать, приглядываться, какая с виду ненадежней. А разве ее угадаешь? На лбу у нее не написано, что она больная, вот тут и подумай! — Прохор ожесточенно сплюнул, прислушался — не идет ли жена.

Григорий прикрыл ладонью рот, чтобы спрятать улыбку, блестя сузившимися от смеха глазами, спросил:

— Добыл?

Прохор посмотрел на него слезящимися глазами. Взгляд их был грустен и спокоен, как у старой доживающей век собаки. После недолгого молчания он сказал:

— А ты думаешь, легко его было добыть? Когда не надо — его ветром надует, а тут, как на пропасть, не найду, да и все, хучь криком кричи!

Полуотвернувшись, Григорий беззвучно смеялся, потом отнял от лица ладонь, прерывающимся голосом спросил:

— Не томи, ради Христа! Нашел или нет?

— Конечно, тебе — смех… — обиженно проговорил Прохор. — Дурачье дело над чужой бедой смеяться, я так понимаю.

— Да я и не смеюсь… Дальше-то что?

— А дальше начал я за хозяйской дочерью притоптывать. Девка лет сорока, может — чуть помоложе. Из лица вся на угрях, и видимость, ну, одним словом — не дай и не приведи! Подсказали соседи, что она недавно к фершалу учащивала. «Уж у этой, думаю, непременно разживусь!» И вот я вокруг нее, чисто молодой кочет, хожу, зоб надуваю и всякие ей слова…

И откуда что у меня бралось, сам не пойму! — Прохор виновато улыбнулся и даже как будто слегка повеселел от воспоминаний. — И жениться обещал, и всякую другую пакость говорил… И так-таки достиг ее, улестил, и доходит дело близко до греха, а она как вдарится в слезы! Я так, я сяк, спрашиваю: «Может, ты больная, так это, мол, ничего, даже ишо лучше». А сам боюсь: дело ночное, как раз ишо кто-нибудь припрется в мякинник на этот наш шум. «Не кричи, говорю, за-ради Христа! И ежели ты больная — не боись, я из моей к тебе любви на все согласный!» А она и говорит: «Милый мой Прошенька! Не больная я ни чуточку. Я — честная девка, боюся — через это и кричу». Не поверишь, Григорий Пантелевич, как она мне это сказала — так по мне холодный пот и посыпался! «Господи Исусе, думаю, вот это я нарвался! Ишо чего недоставало!..» Не своим голосом я у ней спрашиваю: «А чего ж ты, проклятая, к фершалу бегала? К чему ты людей в обман вводила?» — «Бегала я, говорит, к нему — притирку для чистоты лица брала». Схватился я тут за голову и говорю ей: «Вставай и уходи от меня зараз же, будь ты проклята, анчихрист страшный! Не нужна ты мне честная и не буду я на тебе жениться!» — Прохор сплюнул с еще большим ожесточением, неохотно продолжал: — Так и пропали мои труды задаром. Пришел в хату, забрал свои манатки и перешел на другую квартиру в эту же ночь. Потом уж ребяты подсказали, и я от одной вдовы получил, чего мне требовалось. Только уж тут я действовал напрямки, спросил: «Больна?» — «Немножко, говорит, есть». — «Ну, и мне его не пуд надо». Заплатил ей за выручку двадцатку-керенку, а на другой день покрасовался на свою достижению и зафитилил в околодок, а оттуда прямо домой.

— Ты без коня приехал?

— Как так — без коня? С конем и с полной боевой выкладкой. Коня мне в околодок ребяты прислали. Только не в этом дело; посоветуй: что мне бабе говорить? Или, может, лучше от греха к тебе пойтить переночевать?

— Нет уж, к черту! Ночуй дома. Скажи, что раненый. Бинт есть?

— Есть личный пакет.

— Ну и действуй.

— Не поверит, — уныло сказал Прохор, но все же встал. Порывшись в сумах, ушел в горницу, негромко сказал оттуда: — Прийдет она — займи ее разговором, а я на одной ноге!

Григорий, сворачивая папироску, обдумывал план поездки. «Лошадей спрягем и поедем на паре, — решил он. — Надо на вечер выезжать, чтобы не видали наши, что Аксютку беру с собой. Хотя все одно узнают…»

— Не досказал я тебе про сотенного. — Прохор, прихрамывая, вышел из горницы, подсел к столу. — Убили наши его на третий день, как я в околодок попал.

— Да ну?

— Ей-богу! В бою стукнули его сзади, на том дело и кончилось. Выходит, зазря я беду принимал, вот что досадно!

— Не нашли виноватого? — рассеянно спросил Григорий, поглощенный мыслями о предстоящей поездке.

— Когда там искать! Началась такая передвижка, что не до него было. Да что это баба моя пропала? Этак и пить расхочется. Когда думаешь ехать?

— Завтра?

— Не перегодим денек?

— Это к чему же?

— Я хучь бы вшей обтрес, неинтересно с ними ехать.

— Дорогой будешь обтрясать. Ждать дело не указывает. Красные в двух переходах от Вешек.

— С утра поедем?

— Нет, на ночь. Нам лишь бы до Каргинской добраться, там и заночуем.

— А не прихватют нас красные?

— Надо быть насготове. Я вот что… Я думаю с собой Аксинью Астахову взять. Супротив ничего не имеешь?

— А мне-то что? Бери хучь двух Аксиньев… Коням будет тяжеловато.

— Тяжесть небольшая.

— Несподручно с бабами ездить… И на холеру она тебе сдалась? То бы мы одни и нужды не знали! — Прохор вздохнул, глядя в сторону, сказал: — Я так и знал, что ты ее с собой поволокешь. Все женихаешься… Эх, кнут по тебе, Григорий Пантелевич, давно кричит горькими слезьми!

— Ну, это тебя не касается, — холодно сказал Григорий. — Жене об этом не разбреши.

— А раньше-то я разбрехивал? Ты хучь бы совесть поимел? А дом она на кого же бросит?

В сенцах послышались шаги. Вошла хозяйка. На сером пуховом платке ее искрился снег.

— Метель? — Прохор достал из шкафа стаканчики и только тогда спросил: — Да ты принесла чего-нибудь?

Румяная жена его достала из-за пазухи две запотевшие бутылки, поставила на стол.

— Ну вот и дорожку погладим! — оживленно сказал Прохор. Понюхав самогон, по запаху определил: — Первач! И крепкий до дьявола!

Григорий выпил два небольших стаканчика и, сославшись на усталость, ушел домой.

XXVI

— Ну, война кончилась! Пихнули нас красные так, что теперича до самого моря будем пятиться, пока не упремся задом в соленую воду, — сказал Прохор, когда выехали на гору.

Внизу, повитый синим дымом, лежал Татарский. За снежной розовеющей кромкой горизонта садилось солнце. Под полозьями хрустко поскрипывал снег. Лошади шли шагом. В задке пароконных саней, привалившись спиной к седлам, полулежал Григорий. Рядом с ним сидела Аксинья, закутанная в донскую опушенную поречьем шубу. Из-под белого пухового платка блестели, радостно искрились ее черные глаза. Григорий искоса посматривал на нее, видел нежно зарумяневшую на морозе щеку, густую черную бровь и синевато поблескивающий белок под изогнутыми заиневшими ресницами. Аксинья с живым любопытством осматривала заснеженную, сугробистую степь, натертую до глянца дорогу, далекие, тонущие во мгле горизонты. Все было ново и необычно для нее, привыкшей не покидать дома, все привлекало ее внимание. Но изредка, опустив глаза и ощущая на ресницах приятный пощипывающий холодок инея, она улыбалась тому, что так неожиданно и странно сбылась давно пленившая ее мечта — уехать с Григорием куда-нибудь подальше от Татарского, от родной и проклятой стороны, где так много она перестрадала, где полжизни промучилась с нелюбимым мужем, где все для нее было исполнено неумолчных и тягостных воспоминаний. Она улыбалась, ощущая всем телом присутствие Григория, и уже не думала ни о том, какой ценою досталось ей это счастье, ни о будущем, которое было задернуто такой же темной мглой, как и эти степные, манящие вдаль горизонты.

Прохор, случайно оглянувшись, заметил трепетную улыбку на румяных и припухших от мороза губах Аксиньи, с досадой спросил:

— Ну, чего оскаляешься-то? Невеста, да и только! Рада, что из дому вырвалась?

— А ты думаешь, не рада? — звонко ответила Аксинья.

— Нашла радость… Глупая ты баба! Ишо не видно, чем эта прогулка кончится, и ты загодя не ухмыляйся, прибери зубы.

— Мне хуже не будет.

— Погляжу я на вас, и до того тошно мне становится… — Прохор яростно замахнулся на лошадей кнутом.

— А ты отвернись и — палец в рот, — смеясь, посоветовала Аксинья.

— Опять же оказалась ты глупая! Так я с пальцем в роте и должен до моря ехать? Выдумала!

— Через чего же это тебе тошнота прикинулась?

— Молчала бы! Муж-то где? Схватилась с чужим дядей и едешь черт те куда! А ежели зараз Степан в хутор заявился, тогда как?

— Знаешь что, Проша, ты бы в наши дела не путался, — попросила Аксинья, — а то и тебе счастья не будет.

— Я в ваши дела и не путаюсь, на шута вы мне сдались! Сказать-то я могу свою мнению? Или мне с вами заместо кучера ехать и с одними коньми гутарить? Тоже выдумала! Нет, ты хучь серчай, Аксинья, хучь не серчай, а драть бы тебя надо доброй хворостиной, драть, да ишо и кричать не велеть! А насчет счастья меня не пужай, я его с собой везу. Оно у меня особое, такое, что и петь не поет и спать не дает… Но, проклятые! Все бы вы шагом шли, сатаны лопоухие!

Улыбаясь, Григорий слушал, а потом примиряюще сказал:

— Не ругайтесь попервам. Дорога нам лежит длинная, ишо успеете. Чего ты к ней привязываешься, Прохор?

— А того я к ней привязываюсь, — ожесточенно сказал Прохор, — что пущай она мне зараз лучше поперек не говорит. Я зараз так думаю, что нету на белом свете ничего хуже баб! Это — такое крапивное семя… это, братец ты мой, у бога самая плохая выдумка — бабы! Я бы их, чертей вредных, всех до одной перевел, чтобы они и не маячили на свете! Вот я какой на них злой зараз! И чего ты смеешься? Дурачье дело — над чужой бедой смеяться! Подержи вожжи, я слезу на минуту.

Прохор долго шел пешком, а потом угнездился в санях и разговора больше не заводил.

Ночевали в Каргинской. Наутро, позавтракав, снова тронулись в путь и к ночи оставили за собой верст шестьдесят дороги.

Огромные обозы беженцев тянулись на юг. Чем больше удалялся Григорий от юрта Вешенской станицы, тем труднее становилось найти место для ночлега. Около Морозовской стали попадаться первые воинские части казаков. Шли конные части, насчитывавшие всего по тридцать — сорок сабель, нескончаемо тянулись обозы. В хуторах все помещения к вечеру оказывались занятыми, и негде было не только переночевать, но и поставить лошадей. На одном из тавричанских участков, бесцельно проездив в поисках дома, где бы можно было переночевать, Григорий вынужден был провести ночь в сарае. К утру намокшая во время метели одежда замерзла, покоробилась и гремела при каждом движении. Почти всю ночь Григорий, Аксинья и Прохор не спали и только перед рассветом согрелись, разложив за двором костер из соломы.

Наутро Аксинья робко предложила:

— Гриша, может, передневали бы тут? Всю ночь промучились на холоду и почти не спали, может, отдохнем трошки?

Григорий согласился. С трудом он нашел свободный угол. Обозы с рассветом тронулись дальше, но походный лазарет, перевозивший сто с лишним человек раненых и тифозных,

тоже остался на дневку.

В крохотной комнатушке, на грязном земляном полу спало человек десять казаков. Прохор внес полсть и мешок с харчами, возле самых дверей постелил соломы, взял за ноги и оттащил в сторону какого-то беспробудно спавшего старика, сказал с грубоватой лаской:

— Ложись, Аксинья, а то ты так переморилась, что и на себя стала непохожа.

К ночи на участке снова набилось полным-полно народу. До зари на проулках горели костры, слышались людские голоса, конское ржание, скрип полозьев. Чуть забрезжил рассвет — Григорий разбудил Прохора, шепнул:

— Запрягай. Надо трогаться.

— Чего так рано? — зевая, спросил Прохор.

— Послухай.

Прохор приподнял от седельной подушки голову, услышал глухой и далекий раскат орудийного выстрела.

Умылись, поели сала и выехали из ожившего участка. В проулках рядами стояли сани, суетились люди, в предрассветной тьме кто-то хрипло кричал:

— Нет уж, хороните их сами! Пока мы выроем на шесть человек могилу — полдень будет!

— Та хиба ж мы обязаны их ховать? — спокойно спрашивал второй.

— Небось зароете! — кричал хрипатый. — А не хочете — пусть лежат, тухнут у вас, мне дела нет!

— Та шо вы, господин дохтор! Нам колы усих ховать, яки из проезжих помырають, так тике це и робыть. Мабуть, сами приберете?

— Иди к черту, олух царя небесного! Что мне, из-за тебя лазарет красным сдавать прикажешь?

Объезжая запрудившие улочку подводы, Григорий сказал:

— Мертвые никому не нужны…

— Тут до живых-то дела нету, а то — мертвые, — отозвался Прохор.

На юг двигались все северные станицы Дона. Многочисленные обозы беженцев перевалили через железную дорогу Царицын — Лихая, приближались к Манычу. Находясь неделю в дороге, Григорий расспрашивал о татарцах, но в хуторах, через которые доводилось ему проезжать, татарцы не были: по всей вероятности, они уклонились влево и ехали, минуя слободы украинцев, через казачьи хутора на Обливскую. Только на тринадцатые сутки Григорию удалось напасть на след хуторян. Уже за железной дорогой, в одном из хуторов, он случайно узнал, что в соседнем доме лежит больной тифом казак Вешенской станицы. Григорий пошел узнать, откуда этот больной, и, войдя в низенькую хатенку, увидел лежавшего на полу старика Обнизова. От него он узнал, что татарцы уехали позавчера из этого хутора, что среди них много заболевших тифом, что двое уже умерли в дороге и что его, Обнизова, оставили тут по его собственному желанию.

— Коль почунеюсь и красные товарищи смилуются надо мной, не убьют — как-нибудь доберусь до дому, а нет — помру тут. Помирать-то все одно где, везде несладко… — прощаясь с Григорием, сказал старик.

Григорий спросил о здоровье отца, но Обнизов ответил, что ничего не может сказать, так как ехал на одной из задних подвод и от хутора Малаховского Пантелея Прокофьевича не видел.

На следующей ночевке Григорию повезло: в первом же доме, куда он зашел, чтобы попроситься переночевать, встретил знакомых казаков с хутора Верхне-Чирского. Они потеснились, и Григорий устроился возле печки. В комнате вповалку лежало человек

пятнадцать беженцев, из них трое больных тифом и один обмороженный. Казаки сварили на ужин пшенной каши с салом, радушно предложили Григорию и его спутникам. Прохор и Григорий ели с аппетитом, Аксинья отказалась.

— Аль не голодная? — спросил Прохор, за последние дни без видимой причины изменивший свое отношение к Аксинье и обращавшийся с ней грубовато, но участливо.

— Что-то тошно мне… — Аксинья накинула платок, вышла во двор.

— Не захворала она? — обращаясь к Григорию, спросил Прохор.

— Кто ее знает. — Григорий отставил тарелку с кашей, тоже вышел во двор.

Аксинья стояла около крыльца, прижав к груди ладонь. Григорий обнял ее, с тревогой спросил:

— Ты чего, Ксюша?

— Тошно, и голова болит.

— Пойдем в хату, приляжешь.

— Иди, я зараз.

Голос у нее был глухой и безжизненный, движения вялые. Григорий пытливо посмотрел на нее, когда она вошла в жарко натопленную комнату, заметил горячий румянец на щеках, подозрительный блеск глаз. Сердце у него тревожно сжалось: Аксинья была явно больна. Он вспомнил, что и вчера она жаловалась на озноб и головокружение, а перед утром так вспотела, что курчеватые на шее прядки волос стали мокрые, словно после мытья, он заметил это, проснувшись на заре, и долго не сводил глаз со спавшей Аксиньи, и не хотел вставать, чтобы не потревожить ее сон.

Аксинья мужественно переносила дорожные лишения, она даже подбадривала Прохора, который не раз говаривал: «И чего это за черт, за война, и кто ее такую выдумал? Едешь день-деньской, а приедешь — заночевать негде, и неизвестно, докуда же так будем командироваться?» Но в этот день не выдержала и Аксинья. Ночью, когда улеглись спать, Григорию показалось, что она плачет.

— Ты чего это? — спросил он шепотом. — Чего у тебя болит?

— Захворала я… Как же теперь будем? Бросишь меня?

— Ну вот, дура! Как же я тебя брошу? Не кричи, может, это так у тебя, приостыла с дороги, а ты уж испужалась.

— Гришенька, это — тиф.

— Не болтай зря! Ничего не видно; лоб у тебя холодный, может, и не тиф, — утешал Григорий, но в душе был убежден, что Аксинья заболела сыпняком, и мучительно раздумывал, как же поступить с ней, если болезнь свалит ее с ног.

— Ох, тяжело так ехать! — шептала Аксинья, прижимаясь к Григорию. — Ты глянь, сколько народу набивается на ночевках! Вши нас заедят, Гриша! А мне и обглядеть себя негде, скрозь — мужчины… Я вчера уж вышла в сарай, растелешилась, а их на рубахе… Господи, я сроду такой страсти не видала! Я как вспомню про них — и тошно мне становится, исть ничего не хочу… А вчера ты видал у этого старика, какой на лавке спал, сколько их? Прямо посверх чекменя полозеют.

— Ты об них не думай, заладила черт те об чем! Ну вши — и вши, их на службе не считают, — с досадой прошептал Григорий.

— У меня все тело зудит.

— У всех зудит, чего ж теперь делать? Терпи. Приедем в Екатеринодар — там обмоемся.

— А чистое хучь не надевай, — со вздохом сказала Аксинья. — Пропадем мы от них, Гриша!

— Спи, а то завтра рано будем трогаться.

Григорий долго не мог уснуть. Не спала и Аксинья. Она несколько раз всхлипнула, накрыв голову полой шубы, потом долго ворочалась, вздыхала и уснула только тогда, когда Григорий, повернувшись к ней лицом, обнял ее. Среди ночи Григорий проснулся от резкого стука. Кто-то ломился в дверь, зычно кричал:

— А ну, открывайте! А то дверь сломаем! Поснули, проклятые!..

Хозяин, пожилой и смирный казак, вышел в сени, спросил:

— Кто такой? Чего вам надо? Ежли ночевать — так у нас негде, и так полным-полно, повернуться негде.

— Открывай, тебе говорят! — кричали с надворья.

В переднюю комнату, широко распахнув двери, ввалилось человек пять вооруженных казаков.

— Кто у тебя ночует? — спросил один из них, чугунно-черный от мороза, с трудом шевеля замерзшими губами.

— Беженцы. А вы кто такие?

Не отвечая, один из них шагнул в горницу, крикнул:

— Эй, вы! Разлеглись! Выметайтесь отсель зараз же! Тут войска становются. Подымайтесь, подымайтесь! Да попроворней, а то мы скоро вас вытряхнем!

— Ты кто такой, что так орешь? — хриплым спросонья голосом спросил Григорий и медленно поднялся.

— А вот я тебе покажу, кто я такой! — Казак шагнул к Григорию, в тусклом свете керосиновой лампочки в руке его матово блеснуло дуло нагана:

— Вон ты какой шустрый… — вкрадчиво проговорил Григорий, — а ну-ка, покажи свою игрушку! — Быстрым движением он схватил казака за кисть руки, стиснул ее с такой силой, что казак охнул и разжал пальцы. Наган с мягким стуком упал на полсть. Григорий оттолкнул казака, проворно нагнулся, поднял наган, положил его в карман, спокойно сказал: — А теперь давай погутарим. Какой части? Сколько вас таких расторопных тут?

Казак, оправившись от неожиданности, крикнул:

— Ребяты! Сюда!

Григорий подошел к двери и, став на пороге, прислонясь спиной к косяку, сказал:

— Я сотник Девятнадцатого Донского полка. Тише! Не орать! Кто это там гавкает? Вы что это, милые станишники, развоевались? Кого это вы будете вытряхивать? Кто это вам такие полномочия давал? А ну, марш отседова!

— Ты чего шумишь? — громко сказал один из казаков. — Видали мы всяких сотников! Нам, что же, на базу ночевать? Очищайте помещению! Нам такой приказ отдатый — всех беженцев выкидывать из домов, понятно вам? А то, ишь ты, расшумелся! Видали мы вас таких!

Григорий подошел в упор к говорившему, не разжимая зубов, процедил:

— Таких ты ишо не видал. Сделать из одного тебя двух дураков? Так я сделаю! Да ты не пяться! Это не мой наган, это я у вашего отобрал. На, отдашь ему, да поживей катитесь отседова, пока я бить не начал, а то я с вас скоро шерсти нарву! — Григорий легонько повернул казака, толкнул его к выходу.

— Дать ему взбучки? — раздумчиво спросил дюжий казак с лицом, закутанным верблюжьим башлыком. Он стоял позади Григория, внимательно осматривая его, переступая с ноги на ногу, поскрипывая огромными валенками, подшитыми кожей.

Григорий повернулся к нему лицом и, уже не владея собой, сжал кулаки, но казак поднял руку, дружелюбно сказал:

— Слухай, ты, ваше благородие или как там тебя: погоди, не намахивайся! Мы уйдем от

скандалу. Но ты, по нонешним временам, на казаков не дюже напирай. Зараз опять подходит такое сурьезное время, как в семнадцатом году. Нарвешься на каких-нибудь отчаянных — и они из одного тебя не то что двоих — пятерых сделают! Мы видим, что офицер из тебя лихой, и по разговору, сдается мне, вроде из нашего брата ты, так ты уж зараз держи себя поаккуратней, а то греха наживешь…

Тот, у которого Григорий отобрал наган, сказал раздраженно:

— Будет тебе ему акафист читать! Пойдемте в соседнюю хату. — Он первый шагнул к порогу. Проходя мимо Григория, покосился на него, сожалеюще сказал: — Не хочем мы, господин офицер, связываться с тобой, то бы мы тебя окрестили!

Григорий презрительно скривил губы:

— Это ты бы самое и крестил? Иди, иди, пока я с тебя штаны не снял! Крестильщик нашелся! Жалко, что наган твой отдал, таким ухватистым, как ты, не наганы носить, а овечьи чески!

— Пойдемте, ребята, ну его к черту! Не тронь — оно вонять не будет! — добродушно посмеиваясь, проговорил один из казаков, не принимавших участия в разговоре.

Ругаясь, грохоча смерзшимися сапогами, казаки толпой вышли в сени. Григорий сурово приказал хозяину:

— Не смей открывать двери! Постучат и уйдут, а нет — разбуди меня.

Верхнечирцы, проснувшиеся от шума, вполголоса переговаривались.

— Вот как рухнулась дисциплина! — сокрушенно вздохнул один из стариков. — С офицером и как, сукины сыны, разговаривают… А будь это в старое время? Их бы на каторгу упекли!

— Разговаривают — это что! Видал, драться намерялись! «Дать ему взбучки?» — говорит один, этот, нерубленная тополина, какой в башлыке. Вот враженяки, какие отчаянные стали!

— И ты им это так простишь, Григорий Пантелевич? — спросил один из казаков.

Укрываясь шинелью и с беззлобной улыбкой прислушиваясь к разговору, Григорий ответил:

— А чего с них возьмешь? Они зараз ото всех оторвались и никому не подчиняются; идут шайкой, без командного состава, кто им судья и кто начальник? Над ними тот начальник, кто сильнее их. У них, небось, и офицера-то ни одного в части не осталось. Видал я такие сотни, гольная безотцовщина! Ну, давайте спать.

Аксинья тихо прошептала:

— И на что ты с ними связывался, Гриша? Не наскакивай ты на таких, ради Христа! Они и убить могут, такие-то оглашенные.

— Спи, спи, а то завтра рано подымемся. Ну, как ты себя сознаешь? Не легчает тебе?

— Так же.

— Голова болит?

— Болит. Видно, не подыматься мне уж…

Григорий приложил ладонь ко лбу Аксиньи, вздохнул:

— Полышет-то от тебя как, будто от печки. Ну, ничего, не робей! Баба ты здоровая, поправишься.

Аксинья промолчала. Ее томила жажда. Несколько раз она выходила в кухню, пила противную степлившуюся воду и, преодолевая тошноту и головокружение, снова ложилась на полсть.

За ночь являлось еще партии четыре постояльцев. Они стучали прикладами в дверь, открывали ставни, барабанили в окна и уходили только тогда, когда хозяин, наученный

Григорием, ругаясь, кричал из сенцев: «Уходите отсюда! Тут штаб бригады помещается!»

На рассвете Прохор и Григорий запрягли лошадей. Аксинья с трудом оделась, вышла. Всходило солнце. Из труб к голубому небу стремился сизый дымок. Озаряемая снизу солнцем, высоко в небе стояла румяная тучка. Густой иней лежал на изгороди, на крышах сараев. От лошадей шел пар.

Григорий помог Аксинье сесть в сани, спросил:

— Может, ты приляжешь? Так тебе ловчее будет.

Аксинья утвердительно кивнула головой. Она с молчаливой благодарностью, взглянула на Григория, когда он заботливо укутал ей ноги, прикрыла глаза.

В полдень, когда остановились в поселке Ново-Михайловском, расположенном верстах в двух от шляха, кормить лошадей, Аксинья уже не смогла встать с саней. Григорий под руку ввел ее в дом, уложил на кровать, гостеприимно предложенную хозяйкой.

— Тебе плохо, родимая? — спросил он, наклоняясь над побледневшей Аксиньей.

Она с трудом раскрыла глаза, посмотрела затуманенным взором и снова впала в полузабытье. Григорий трясущимися руками снял с нее платок. Щеки Аксиньи были холодны как лед, а лоб пылал, и на висках, где проступала испарина, намерзли сосульки, К вечеру Аксинья потеряла сознание. Перед этим она попросила пить, шепнула:

— Только холодной воды, снеговой. — Помолчала и внятно произнесла: — Кличьте Гришу.

— Я тут. Чего ты хочешь, Ксюша? — Григорий взял ее руку, погладил неумело и застенчиво.

— Не бросай меня, Гришенька!

— Не брошу я. С чего ты берешь?

— Не бросай в чужой стороне… Помру я тут.

Прохор подал воды. Аксинья жадно припала спекшимися губами к краю медной кружки, отпила несколько глотков, со стоном уронила голову на подушку. Через пять минут она бессвязно и невнятно заговорила, Григорий, сидевший у изголовья, разобрал несколько слов: «Надо стирать… подсиньки добудь… рано…» Невнятная речь ее перешла в шепот. Прохор покачал головой, с укором сказал:

— Говорил тебе, не бери ее в дорогу! Ну, что теперь будем делать? Наказание, да и только, истинный бог! Ночевать тут будем? Оглох ты, что ли? Ночевать, спрашиваю, тут будем или тронемся дальше?

Григорий промолчал. Он сидел сгорбясь, не сводя глаз с побледневшего лица Аксиньи. Хозяйка — радушная и добрая женщина, — указывая глазами на Аксинью, тихонько спросила у Прохора:

— Жена ихняя? И дети есть?

— И дети есть, все есть, одной удачи нам нету, — бормотнул Прохор.

Григорий вышел во двор, долго курил, присев на сани. Аксинью надо было оставлять в поселке, дальнейшая поездка могла окончиться для нее гибелью. Это было Григорию ясно. Он вошел в дом, снова присел к кровати.

— Будем ночевать, что ли? — спросил Прохор.

— Да. Может, и завтра перестоим.

Вскоре пришел хозяин — низкорослый и щуплый мужик с пронырливыми бегающими глазами. Постукивая деревяшкой (одна нога его была отнята по колено), он бодро прохромал к столу, разделся, недоброжелательно покосился на Прохора, спросил:

— Господь гостей дал? Откуда? — И, не дожидаясь ответа, приказал жене: — Живо дай что-нибудь перехватить, голодный я, как собака!

Он ел долго и жадно. Шныряющий взгляд его часто останавливался на Прохоре, на неподвижно лежавшей Аксинье. Из горницы вышел Григорий, поздоровался с хозяином. Тот молча кивнул головой, спросил:

— Отступаете?

— Отступаем.

— Отвоевались, ваше благородие?

— Похоже.

— Это, что же, жена ваша? — Хозяин кивнул в сторону Аксиньи.

— Жена.

— Зачем же ты ее на койку? А самим где спать? — с неудовольствием обратился он к жене.

— Больная, Ваня, жалко, как-никак.

— Жалко! Всех не ужалеешь, вон их сколько прет! Стесните вы нас, ваше благородие…

В голосе Григория прозвучала несвойственная ему просительность, почти мольба, когда он, обращаясь к хозяевам, прижимая руку к груди, сказал:

— Добрые люди! Пособите моей беде, ради Христа. Везть дальше ее нельзя, помрет, дозвольте оставить ее у вас. За догляд я заплачу, сколько положите, и всю жизню буду помнить вашу доброту… Не откажите, сделайте милость?

Хозяин вначале отказался наотрез, ссылаясь на то, что ухаживать за больной будет некогда, что она стеснит их, а потом, кончив обедать, сказал:

— Само собой — даром кто же будет за ней уход несть. А сколько бы вы положили за уход? Сколько вам будет не жалко положить за наши труды?

Григорий достал из кармана все деньги, какие имел, протянул хозяину. Тот нерешительно взял пачку донских кредиток — слюнявя пальцы, пересчитал их, осведомился:

— А николаевских у вас нету?

— Нет.

— Может, керенки есть? Эти уж больно ненадежные…

— И керенок нету. Хотите, коня своего оставлю?

Хозяин долго соображал, потом раздумчиво ответил:

— Нет. Я бы, конечно, взял лошадь, нам в крестьянстве лошадь — первое дело, но по нынешним временам это не подходит, не белые, так красные все одно ее заберут, и попользоваться не прийдется. У меня вон какая-то безногая кобыленка держится, и то души нет, того и гляди, и эту обратают и уведут со двора. — Он помолчал в раздумье и, как бы оправдываясь, добавил: — Вы не подумайте, что я такой ужасный жадный, упаси бог! Но посудите сами, ваше благородие: она пролежит месяц, а то и больше, то подай ей, то прими, опять же кормить ее надо, хлебец, молочко, какое-то там яичко, мясца, а ведь все это денежку стоит, так я говорю? Также и постирать за ней надо, и обмыть ее, и все такое прочее… То моя баба по хозяйству возилась, а то надо возле нее уход несть. Это дело нелегкое! Нет, вы уж не скупитесь, накиньте что-нибудь. Я — инвалид, видите — безногий, какой из меня добытчик и работник? Так, живем, чем бог пошлет, с хлеба да на квас перебиваемся…

С закипевшим глухим раздражением Григорий сказал:

— Я не скуплюсь, добрая твоя душа. Все деньги, какие были, я тебе отдал, я проживу и без денег. Чего же ты ишо хочешь с меня?

— Так уж и все деньги вы отдали! — недоверчиво усмехнулся хозяин. — При вашем жалованье у вас их должно быть целые сумки.

— Ты скажи прямо, — бледнея, проговорил Григорий: — Оставите вы у себя больную

или нет?

— Нет, уж раз вы так считаетесь — оставлять ее нам нету резону. — Голос хозяина звучал явно обиженно. — Тоже, дело это не из простых… Жена офицера, то да се, соседи узнают, а там товарищи прийдут следом за вами, узнают и начнут тягать… Нет, в таком разе забирайте ее, может, кто из соседей согласится, возьмет. — С видимым сожалением он вернул Григорию деньги, достал кисет и начал сворачивать цигарку.

Григорий надел шинель, сказал Прохору:

— Побудь возле нее, я пойду приищу квартиру.

Он уже взялся за дверную скобу, хозяин остановил его:

— Погодите, ваше благородие, чего вы спешите? Вы думаете, мне не жалко бедную женщину? Очень даже жалко, и сам я в солдатах служил и уважаю ваше звание и чин. А к этим деньгам вы не могли бы чего-нибудь добавить?

Тут не выдержал Прохор. Побагровев от возмущения, он прорычал:

— Чего же тебе добавлять, аспид ты безногий?! Отломать тебе последнюю ногу, вот чего тебе надо добавить! Григорий Пантелевич! Дозволь, я его изватлаю, как цуцика, а посля погрузим Аксинью и поедем, будь он трижды, анафема, проклят!..

Хозяин выслушал задыхающуюся речь Прохора, не прервав его ни словом; под конец сказал:

— Напрасно вы меня обижаете, служивые! Тут — дело полюбовное, и ругаться, остужаться нам не из чего. Ну, чего ты на меня накинулся, казачок? Да разве я о деньгах говорю? Я вовсе не об этой добавке речь вел! Я к тому сказал, что, может, у вас есть какое лишнее вооружение, ну, скажем, винтовка или какой ни на есть револьвер… Вам все равно это, иметь или не иметь, а для нас, по нынешним временам, это — целое состояние. Для дома непременно надо оружие иметь! Вот к чему я это подводил! Давайте деньги, какие давали, и прикиньте к этому винтовочку, и — по рукам, оставляйте вашу больную, будем глядеть за ней, как за своей родной, вот вам крест!

Григорий посмотрел на Прохора, тихо сказал:

— Дай ему мою винтовку, патронов, а потом иди запрягай. Нехай остается Аксинья… Бог мне судья, но везть ее на смерть я не могу!

XXVII

Дни потянулись серые и безрадостные. Оставив Аксинью, Григорий сразу утратил интерес к окружающему. С утра садился в сани, ехал по раскинувшейся бескрайней, заснеженной степи, к вечеру, приискав где-нибудь пристанище для ночлега, ложился спать. И так изо дня в день. То, что происходило на отодвигавшемся к югу фронте, его не интересовало. Он понимал, что настоящее, серьезное сопротивление кончилось, что у большинства казаков иссякло стремление защищать родные станицы, что белые армии, судя по всему, заканчивают свой последний поход и, не удержавшись на Дону, — на Кубани уже не смогут удержаться…

Война подходила к концу. Развязка наступала стремительно и неотвратимо. Кубанцы тысячами бросали фронт, разъезжались по домам. Донцы были сломлены. Обескровленная боями и тифом, потерявшая три четверти состава, Добровольческая армия была не в силах одна противостоять напору окрыленной успехами Красной Армии.

Среди беженцев шли разговоры, что на Кубани растет возмущение, вызванное зверской расправой генерала Деникина над членами Кубанской рады. Говорила, что Кубань готовит

восстание против Добровольческой армии и что будто бы уже ведутся переговоры с представителями Красной Армии о беспрепятственном пропуске советских войск на Кавказ. Упорно говорили и о том, что в станицах Кубани и Терека к донцам относятся резко враждебно, так же как и к добровольцам, и что якобы где-то около Кореновской уже произошел первый большой бой между донской дивизией и кубанскими пластунами.

Григорий на остановках внимательно прислушивался к разговорам, с каждым днем все больше убеждаясь в окончательном и неизбежном поражении белых. И все же временами у него рождалась смутная надежда на то, что опасность заставит распыленные, деморализованные и враждующие между собою силы белых объединиться, дать отпор и опрокинуть победоносно наступающие красные части. Но после сдачи Ростова он утратил эту надежду, и слух о том, что под Батайском после упорных боев красные начали отступать, встретил недоверчиво. Угнетаемый бездельем, он хотел было влиться в какую-нибудь воинскую часть, но когда предложил это Прохору, тот решительно воспротивился.

— Ты, Григорий Пантелевич, видать, окончательно спятил с ума! — возмущенно заявил он. — За каким мы чертом полезем туда, в это пекло? Дело конченое, сам видишь, чего же мы будем себя в трату давать зазря? Аль ты думаешь, что мы двое им пособим? Пока нас не трогают и силком не берут в часть, надо, как ни мога скорее, уезжать от греха подальше, а ты вон какую чертовщину порешь! Нет уж, давай, пожалуйста, мирно, по-стариковски отступать. Мы с тобой и так предостаточно навоевались за пять лет, зараз нехай другие пробуются! Из-за этого я триппер добывал, чтобы мне сызнова на фронте кальячить? Спасибо! Уважил! Я этой войной так наелся, что до сих пор рвать тянет, как вспомню о ней! Хочешь — ступай сам, а я не согласный. Я тогда подамся в госпиталь, с меня хватит!

После долгого молчания Григорий сказал:

— Будь по-твоему. Поедем на Кубань, а там видно будет.

Прохор вел свою линию: в каждом крупном населенном пункте он разыскивал фельдшера, приносил порошки или питье, но лечился без особенного усердия, и на вопрос Григория, почему он, выпив один порошок, остальные уничтожает, старательно затаптывая в снег, объяснил это тем, что хочет не излечиться, а только заглушить болезнь, так как при этом условии, в случае переосвидетельствования, ему будет легче уклониться от посылки в часть. В станице Великокняжеской какой-то бывалый казак посоветовал ему лечиться отваром из утиных лапок. С той поры Прохор, въезжая в хутор или станицу, спрашивал у первого встречного: «А скажите на милость, утей у вас тут водят?» И когда недоумевающий житель отвечал отрицательно, ссылаясь на то, что поблизости нет воды и уток разводить нет расчета, Прохор с уничтожающим презрением цедил: «Живете тут, чисто нелюди! Вы, небось, и утиного кряку сроду не слыхали! Пеньки степовые!» Потом, обращаясь к Григорию, с горьким сожалением добавлял: «Не иначе, поп нам дорогу перешел! Ни в чем нету удачи! Ну, будь у них тут утки — зараз же купил бы одну, никаких денег не жалеючи, либо украл бы, и пошли бы мои дела на поправку, а то уж дюже моя болезня разыгрывается! Спервоначалу была забавой, только дремать в дороге не давала, а зараз, проклятая, становится чистым наказанием! На санях не удержишься!»

Не встречая сочувствия со стороны Григория, Прохор надолго умолкал и иногда по целым часам ехал, не проронив ни слова, сурово нахохлившись.

Томительно длинными казались Григорию уходившие на передвижение дни, еще более долгими были нескончаемые зимние ночи. Времени, чтобы обдумать настоящее и вспомнить прошедшее, было у него в избытке. Подолгу перебирал он в памяти пролетевшие годы своей диковинно и нехорошо сложившейся жизни. Сидя на санях, устремив затуманенный взор в снежные просторы исполненной мертвого безмолвия степи, или лежа ночью с закрытыми

глазами и стиснутыми зубами где-нибудь в душной, переполненной людьми комнатушке, думал все об одном: об Аксинье, больной, обеспамятевшей, брошенной в безвестном поселке, о близких, оставленных в Татарском… Там, на Дону, была Советская власть, и Григорий постоянно с тоскливой тревогой спрашивал себя: «Неужто будут за меня терзать маманю или Дуняшку?» И тотчас же начинал успокаивать себя, припоминал не раз слышанные в дороге рассказы о том, что красноармейцы идут мирно и обращаются с населением занятых станиц хорошо. Тревога постепенно угасала, мысль, что старуха мать будет отвечать за него, уже казалась ему невероятной, дикой, ни на чем не основанной. При воспоминаниях о детишках на секунду сердце Григория сжималось грустью; он боялся, что не уберегут их от тифа, и в то же время чувствовал, что, при всей его любви к детям, после смерти Натальи уже никакое горе не сможет потрясти его с такой силой…

В одном из сальских зимовников они с Прохором прожили четыре дня, решив дать лошадям отдых. За это время у них не раз возникали разговоры о том, что делать дальше. В первый же день, как только приехали на зимовник, Прохор спросил:

— Будут наши на Кубани держать фронт или потянут на Кавказ? Как думаешь?

— Не знаю. А тебе не все равно?

— Придумал тоже! Как же это мне могет быть все равно? Этак нас загонют в бусурманские земли, куда-нибудь под турка, а потом и пой репку там?

— Я тебе не Деникин, и ты меня об этом не спрашивай, куда нас загонют, — недовольно отвечал Григорий.

— Я потому спрашиваю, что поимел такой слух, будто на речке Кубани сызнова начнут обороняться, а к весне тронутся восвояси.

— Кто это будет обороняться? — усмехнулся Григорий.

— Ну, казаки и кадеты, окромя кто же?

— Дурацкие речи ведешь! Повылазило тебе, не видишь, что кругом делается? Все норовят поскорее удрать, кто же обороняться-то будет?

— Ох, парень, я сам вижу, что дело наше — табак, а все как-то не верится… — вздохнул Прохор. — Ну а на случай ежели прийдется в чужие земли плыть или раком полозть, ты — как? Тронешься?

— А ты?

— Мое дело такое: куда ты — туда и я. Не оставаться же мне одному, ежели народ поедет.

— Вот и я так думаю. Раз уж попали мы на овечье положение, — значит, надо за баранами держаться…

— Они, бараны-то, иной раз черт те куда сдуру прут… Нет, ты эти побаски брось! Ты дело говори!

— Отвяжись, пожалуйста! Там видно будет. Чего мы с тобой раньше времени ворожить будем!

— Ну, и аминь! Больше пытать у тебя ничего не буду, — согласился Прохор.

Но на другой день, когда пошли убирать лошадей, снова вернулся к прежнему разговору.

— Про зеленых ты слыхал? — осторожно спросил он, делая вид, будто рассматривает держак вил-тройчаток.

— Слыхал. Дальше что?

— Это ишо какие такие зеленые проявились? Они за кого?

— За красных.

— А с чего ж они зелеными кличутся?

— Чума их знает, в лесах хоронются, должно, от этого и кличка.

— Может, и нам с тобой позеленеть? — после долгого раздумья несмело предложил Прохор.

— Что-то охоты нету.

— А окромя зеленых, нету никаких таких, чтобы к дому поскорей прибиться? Мне-то один черт — зеленые, или синие, или какие-нибудь там яично-желтые, я в любой цвет с дорогой душой окунусь, лишь бы этот народ против войны был и по домам служивых спущал…

— Потерпи, может, и такие проявются, — посоветовал Григорий.

В конце января, в туманный ростепельный полдень, Григорий и Прохор приехали в слободу Белую Глину. Тысяч пятнадцать беженцев сбилось в слободе, из них добрая половина — больных сыпняком. По улицам в поисках квартир и корма лошадям ходили казаки в куцых английских шинелях, в полушубках, в бешметах, разъезжали всадники и подводы. Десятки истощенных лошадей стояли во дворах возле яслей, уныло пережевывая солому; на улицах, в переулках виднелись брошенные сани, обозные брички, зарядные ящики. Проезжая по одной из улиц, Прохор всмотрелся в привязанного к забору высокого гнедого коня, сказал:

— А ить это кума Андрюшки конь! Стал быть, наши хуторные тут, — проворно соскочил с саней и пошел в дом узнать.

Через несколько минут из дома, накинув внапашку шинель, вышел Андрей Топольсков — кум и сосед Прохора. Сопровождаемый Прохором, он степенно подошел к саням, протянул Григорию черную, провонявшую лошадиным потом руку.

— С хуторским обозом едешь? — спросил Григорий.

— Вместе нужду трепаем.

— Ну, как ехали?

— Езда известная… После каждой ночевки людей и лошадей оставляем…

— Старик-то мой живой-здоровый?

Глядя куда-то мимо Григория, Топольсков вздохнул:

— Плохо, Григорий Пантелевич, плохие дела… Поминай отца, вчера на вечер отдал богу душу, скончался…

— Похоронили? — бледнея, спросил Григорий.

— Не могу сказать, нынче не был там. Поедем, я укажу квартеру… Держи, кум, направо, четвертый дом с правой руки от угла.

Подъехав к просторному, крытому жестью дому, Прохор остановил лошадей возле забора, но Топольсков посоветовал заехать во двор.

— Тут тоже тесновато, человек двадцать народу, но как-нибудь поместитесь, — сказал он и соскочил с саней, чтобы открыть ворота.

Григорий первый вошел в жарко натопленную комнату. На полу вповалку лежали и сидели знакомые хуторяне. Кое-кто чинил обувь и упряжь, трое, в числе их старик Бесхлебнов, в супряге с которым ехал Пантелей Прокофьевич, ели за столом похлебку. Казаки при виде Григория встали, хором ответили на короткое приветствие.

— Где же отец? — спросил Григорий, снимая папаху, оглядывая комнату.

— Беда у нас… Пантелей Прокофивич уж упокойник, — тихо ответил Бесхлебнов и, вытерев рукавом чекменя рот, положил ложку, перекрестился. — Вчера на ночь преставился, царство ему небесное.

— Знаю. Похоронили?

— Нет ишо. Мы его нынче собирались похоронять, а зараз он вот тут, вынесли его в холодную горницу. Пройди сюда. — Бесхлебнов открыл дверь в соседнюю комнату, словно

извиняясь, сказал: — С мертвым ночевать в одной комнатухе не схотели казаки, дух чижелый, да тут ему и лучше… Тут не топят хозяева.

В просторной горнице резко пахло конопляным семенем, мышами. Весь угол был засыпан просом, коноплей; на лавке стояли кадки с мукой и маслом. Посреди комнаты на полсти лежал Пантелей Прокофьевич. Григорий отстранил Бесхлебнова, вошел в горницу, остановился около отца.

— Две недели хворал, — вполголоса говорил Бесхлебнов. — Ишо под Мечеткой повалил его тиф. Вот где припало упокоиться твоему папаше… Такая-то наша жизня…

Григорий, наклонясь вперед, смотрел на отца. Черты родного лица изменила болезнь, сделала их странно непохожими, чужими. Бледные, осунувшиеся щеки Пантелея Прокофьевича заросли седой щетиной, усы низко нависли над ввалившимся ртом, глаза были полузакрыты, и синеватая эмаль белков уже утратила искрящуюся живость и блеск. Отвисшая нижняя челюсть старика была подвязана красным шейным платком, и на фоне красной материи седые курчеватые волосы бороды казались еще серебристое, белее.

Григорий опустился на колени, чтобы в последний раз внимательно рассмотреть и запомнить родное лицо, и невольно содрогнулся от страха и отвращения: по серому, восковому лицу Пантелея Прокофьевича, заполняя впадины глаз, морщины на щеках, ползали вши. Они покрывали лицо живой, движущейся пеленою, кишели в бороде, копошились в бровях, серым слоем лежали на стоячем воротнике синего чекменя…

Григорий и двое казаков выдолбили пешнями в мерзлом, чугунно-твердом суглинке могилу, Прохор из обрезков досок кое-как сколотил гроб. На исходе дня отнесли Пантелея Прокофьевича и зарыли в чужой ставропольской земле. А час спустя, когда по слободе уже зажглись огни, Григорий выехал из Белой Глины по направлению на Новопокровскую.

В станице Кореновской он почувствовал себя плохо. Полдня потратил Прохор на поиски доктора и все же нашел какого-то полупьяного военного врача, с трудом уговорил его, привел на квартиру. Не снимая шинели, врач осмотрел Григория, пощупал пульс, уверенно заявил:

— Возвратный тиф. Советую вам, господин сотник, прекратить путешествие, иначе подомрете в дороге.

— Дожидаться красных? — криво усмехнулся Григорий.

— Ну, красные, положим, еще далеко.

— Будут близко…

— Я в этом не сомневаюсь. Но вам лучше остаться. Из двух зол я бы предпочел это, оно — меньшее.

— Нет, я уж как-нибудь поеду, — решительно сказал Григорий и стал натягивать гимнастерку. — Лекарство вы мне дадите?

— Поезжайте, дело ваше. Я должен был дать вам совет, а там — как вам угодно. Что касается лекарств, то лучшее из них — покой и уход; можно бы прописать вам кое-что, но аптека эвакуирована, а у меня ничего нет, кроме хлороформа, йода и спирта.

— Дайте хучь спирту!

— С удовольствием. В дороге вы все равно умрете, поэтому спирт ничего не изменит. Пусть ваш денщик идет со мной, тысчонку грамм я вам отпущу, я — добрый… — Врач козырнул, вышел, нетвердо шагая.

Прохор принес спирту, добыл где-то плохонькую пароконную повозку, запряг лошадей, с мрачной иронией доложил, войдя в комнату:

— Коляска подана, ваше благородие!

И снова потянулись тягостные, унылые дни.

На Кубань из предгорий шла торопливая южная весна. В равнинных степях дружно таял снег, обнажались жирно блестевшие черноземом проталины, серебряными голосами возговорили вешние ручьи, дорога зарябила просовами, и уже по-весеннему засияли далекие голубые дали, и глубже, синее, теплее стало просторное кубанское небо.

Через два дня открылась солнцу озимая пшеница, белый туман заходил над пашнями. Лошади уже хлюпали по оголившейся от снега дороге, выше щеток проваливаясь в грязь, застревая в балочках, натужно выгибая спины, дымясь от пота. Прохор по-хозяйски подвязал им хвосты, часто слезал с повозки, шел сбоку, с трудом вытаскивая из грязи ноги, бормотал:

— Это не грязь, а смола липучая, истинный бог! Кони не просыхают от места и до места.

Григорий молчал, лежа на повозке, зябко кутаясь в тулуп. Но Прохору было скучно ехать без собеседника; он трогал Григория за ноги или за рукав, говорил:

— До чего грязь тут крутая! Слезь попробуй! И охота тебе хворать!

— Иди к черту! — чуть слышно шептал Григорий.

Встречаясь с кем-либо, Прохор спрашивал:

— Дальше ишо гуще грязь или такая же?

Ему, смеясь, отвечали шуткой, и Прохор, довольный тем, что перебросился с живым человеком словом, некоторое время шел молча, часто останавливая лошадей, вытирая со своего коричневого лба ядреный зернистый пот. Их обгоняли конные, и Прохор, не выдержав, останавливал проезжавших, здоровался, спрашивал, куда едут и откуда сами родом, под конец говорил:

— Зря едете. Туда дальше ехать невозможно. Почему? Да потому, что там такая грязюха, — встречные люди говорили, — что кони плывут по пузо, на повозках колеса не крутются, а пешие, какие мелко росту, — прямо на дороге падают и утопают в грязи. Куцый кобель брешет, а я не брешу! Зачем мы едем? Нам иначе нельзя, я хворого архирея везу, ему с красными никак нельзя жить вместе…

Большинство конников, беззлобно обругав Прохора, ехало дальше, а некоторые, перед тем как отъехать, внимательно смотрели на него, говорили:

— С Дону и дураки отступают? У вас в станице все такие, как ты?

Или еще что-нибудь в этом роде, но не менее обидное. Только один кубанец, отбившийся от партии станичников, всерьез рассердился на Прохора за то, что тот задержал его глупым разговором, и хотел было вытянуть его через лоб плетью, но Прохор с удивительным проворством вскочил на повозку, выхватил из-под полсти карабин, положил его на колени. Кубанец отъехал, матерно ругаясь, а Прохор, хохоча во всю глотку, орал ему вслед:

— Это тебе не под Царицыном в кукурузе хорониться! Пеношник — засученные рукава! Эй, вернись, мамалыжная душа! Налетел? Подбери свой балахон, а то в грязи захлюстаешься! Раскрылатился, куроед! Бабий окорок! Поганого патрона нету, а то бы я тебе намахнулся! Брось плеть, слышишь?!

Дурея от скуки, от безделья, Прохор развлекался, как мог.

А Григорий со дня начала болезни жил как во сне. Временами терял сознание, потом снова приходил в себя. В одну из минут, когда он очнулся от долгого забытья, над ним наклонился Прохор.

— Ты ишо живой? — спросил он, участливо засматривая в помутневшие глаза Григория.

Над ними сияло солнце. То клубясь, то растягиваясь в ломаную бархатисто-черную линию, с криком летели в густой синеве неба станицы темнокрылых казарок. Одуряюще пахло нагретой землей, травяной молодью. Григорий, часто дыша, с жадностью вбирал в легкие живительный весенний воздух. Голос Прохора с трудом доходил до его слуха, и все

кругом было какое-то нереальное, неправдоподобно уменьшенное, далекое. Позади, приглушенные расстоянием, глухо гремели орудийные выстрелы. Неподалеку согласно и размеренно выстукивали колеса железного хода, фыркали и ржали лошади, звучали людские голоса; резко пахло печеным хлебом, сеном, конским потом. До помраченного сознания Григория доходило все это словно из другого мира. Напрягши всю волю, он вслушался в голос Прохора, с величайшим усилием понял — Прохор спрашивал у него:

— Молоко будешь пить?

Григорий, еле шевеля языком, облизал спекшиеся губы, почувствовал, как в рот ему льется густая, со знакомым пресным привкусом, холодная жидкость. После нескольких глотков он стиснул зубы. Прохор заткнул горлышко фляжки, снова наклонился над Григорием, и тот скорее догадался по движениям обветренных Прохоровых губ, нежели услышал обращенный к нему вопрос:

— Может, тебя оставить в станице? Трудно тебе?

На лице Григория отразились страдания и тревога; еще раз он собрал в комок волю, прошептал:

— Вези… пока помру…

По лицу Прохора он догадался, что тот услышал его, и успокоенно закрыл глаза, как облегчение принимая беспамятство, погружаясь в густую темноту забытья, уходя от всего этого крикливого, шумного мира…

XXVIII

За всю дорогу до самой станицы Абинской Григорию запомнилось только одно; беспросветной темной ночью очнулся он от резкого, пронизывающего насквозь холода. По дороге в несколько рядов двигались подводы. Судя по голосам, по неумолчному глухому говору колес, обоз был огромный. Подвода, на которой ехал Григорий, находилась где-то в средине этого обоза. Лошади шли шагом. Прохор почмокивал губами, изредка простуженным голосом хрипел: «Но-о-о, дружки!» — и взмахивал кнутом. Григорий слышал тонкий посвист ременного кнута, чувствовал, как, брякнув вальками, лошади сильнее влегали в постромки, повозка двигалась быстрее, иногда постукивая концом дышла в задок передней брички.

С трудом Григорий натянул на себя полу тулупа, лег на спину. По черному небу ветер гнал на юг сплошные клубящиеся тучи. Редко-редко в крохотном просвете желтой искрой вспыхивала на миг одинокая звезда, и снова непроглядная темень окутывала степь, уныло свистал в телеграфных проводах ветер, срывался и падал на землю редкий и мелкий, как бисер, дождь.

С правой стороны дороги надвинулась походная колонна конницы. Григорий услышал издавна знакомый, согласный, ритмический перезвяк подогнанного казачьего снаряжения, глухое и тоже согласное чмоканье по грязи множества конских копыт. Прошло не меньше двух сотен, а топот все еще звучал; по обочине дороги шел, вероятно, полк. И вдруг впереди, над притихшей степью, как птицы взлетел мужественный грубоватый голос запевалы:

Ой, как на реке было, братцы, на Камышинке,

На славных степях, на саратовских…

И многие сотни голосов мощно подняли старинную казачью песню, и выше всех всплеснулся изумительной силы и красоты тенор подголоска. Покрывая стихающие басы, еще трепетал где-то в темноте звенящий, хватающий за сердце тенор, а запевала уже

выводил:

Там жили, проживали казаки — люди вольные,

Все донские, гребенские да яицкие…

Словно что-то оборвалось внутри Григория… Внезапно нахлынувшие рыдания потрясли его тело, спазма перехватила горло. Глотая слезы, он жадно ждал, когда запевала начнет, и беззвучно шептал вслед за ним знакомые с отроческих лет слова:

Атаман у них — Ермак, сын Тимофеевич,

Есаул у них — Асташка, сын Лаврентьевич…

Как только зазвучала песня — разом смолкли голоса разговаривавших на повозках казаков, утихли понукания, и тысячный обоз двигался в глубоком, чутком молчании; лишь стук колес да чавканье месящих грязь конских копыт слышались в те минуты, когда запевала, старательно выговаривая, выводил начальные слова. Над черной степью жила и властвовала одна старая, пережившая века песня. Она бесхитростными, простыми словами рассказывала о вольных казачьих предках, некогда бесстрашно громивших царские рати; ходивших по Дону и Волге на легких воровских стругах; грабивших орленые царские корабли; «щупавших» купцов, бояр и воевод; покорявших далекую Сибирь… И в угрюмом молчании слушали могучую песню потомки вольных казаков, позорно отступавшие, разбитые в бесславной войне против русского народа…

Полк прошел. Песенники, обогнав обоз, уехали далеко. Но еще долго в очарованном молчании двигался обоз, и на повозках не слышалось ни говора, ни окрика на уставших лошадей. А из темноты, издалека, плыла, ширилась просторная, как Дон в половодье, песня:

Они думали все думушку единую:

Уж как лето проходит, лето теплое,

А зима застает, братцы, холодная.

Как и где-то нам, братцы, зимовать будет?

На Яик нам идтить, — переход велик,

А на Волге ходить нам, — все ворами слыть,

Под Казань-град идтить, — да там царь стоит,

Как грозной-то царь, Иван Васильевич…

Уж и песенников не стало слышно, а подголосок звенел, падал и снова взлетал. За ним следили все с тем же напряженным и мрачным молчанием.

…И еще, как сквозь сон, помнил Григорий: очнулся он в теплой комнате, не раскрывая глаз, всем телом ощутил приятную свежесть чистого постельного белья, в ноздри ему ударил терпкий запах каких-то лекарств. В первый момент он подумал, что находится в лазарете, но из соседней комнаты донесся взрыв безудержного мужского хохота, звон посуды, зазвучали нетрезвые голоса. Кто-то знакомый басил:

— …тоже умник нашелся! Надо было разузнать, где наша часть, мы бы и пособили. Ну, пей, какого черта губы развешал?!

Плачущим пьяным голосом Прохор отвечал:

— Да господи боже мой, почем же я знал? Мне-то, думаете, легко было с ним нянчиться? Жевками, как малого дитя, кормил, молоком отпаивал, истинный Христос! Нажую ему хлеба и пихаю в рот, ей-богу! Клинком зубы разжимал… А один раз зачал ему молоко в рот лить, а он захлебнулся и чуть не помер… Ить это подумать только!

— Купал его вчера?

— И купал его, и машинкой волосья постриг, а на молоко все деньги прохарчил… Да мне их не жалко, прах их возьми! Но вот как это было жевать и с рук кормить его? Думаешь, просто? Не говори, что это просто было, а то я тебя вдарю и на чин твой не погляжу!

В комнату к Григорию вошли Прохор, Харлампий Ермаков и в сдвинутой на затылок серой каракулевой папахе красный, как бурак, Петро Богатырев, Платон Рябчиков и еще двое незнакомых казаков.

— Он глядит!!! — дико закричал Ермаков, неверными шагами устремляясь к Григорию.

Размашистый и веселый Платон Рябчиков, потрясая бутылкой, плача, орал:

— Гриша! Родной ты мой! Вспомни, как на Чиру гуляли! А воевали как? Где наша доблесть девалась?! Что с нами генералы вытворяют и что они сделали с нашей армией? В кровину их и в сердце! Оживел? На, выпей, сразу почунеешься! Это — чистый спирт!

— Насилу нашли тебя! — обрадованно сияя черными маслеными глазами, бормотал Ермаков. И тяжело опустился на койку Григория, вдавил ее своей тяжестью.

— Где мы? — еле слышно спросил Григорий, с трудом ворочая глазами, обводя ими знакомые лица казаков.

— Екатеринодар заняли! Скоро пыхнем дальше! Пей! Григорий Пантелевич! Милушка ты наш! Встань, ради бога, я тебя, лежачего, зрить не могу! — Рябчиков повалился Григорию в ноги, но Богатырев, молчаливо улыбавшийся и по виду бывший трезвее всех, схватил его за поясной ремень, без труда приподнял, бережно положил на пол.

— Возьми у него бутылку! Выльется! — испуганно воскликнул Ермаков и с широкой пьяной улыбкой, обращаясь к Григорию, сказал: — Знаешь, с чего мы гуляем? Тут-таки от неудовольствия, а тут припало казачкам на чужбяк поджиться… Винный склад разграбили, чтобы красным не достался… Что там было-о… И во сне такое не приснится! В цистерну начали бить из винтовок: пробьют — а из нее цевкой спирт льется. Всю изрешетили, и каждый возле пробоины стоит, подставляет, кто шапку, кто ведро, кто фляжку, а иные прямо пригоршни держут и тут же пьют… Двоих добровольцев зарубили, какие охраняли склад, ну, дорвались, и пошла потеха! Один казачишка при мне полез на цистерну, хотел конскую цебарку зачерпнуть прямо из вольного, сорвался туда и утоп. Пол цементовый, враз натекло спирту по колено, бродют по нем, нагинаются, пьют, как кони в речке, прямо из-под ног, и тут же ложатся… И смех и грех! Там не один захлебнется до смерти. Вот и мы там поджились. Нам много не надо: прикатили бочонок ведер на пять, ну, нам и хватит. Гуляй, душа! Все одно — пропадает тихий Дон! Платона там за малым не утопили. Повалили на пол, начали ногами толочь, он хлебнул раза два, и готов. Уж я его насилу вытянул оттедова…

Ото всех от них резко разило спиртом, луком, табаком. Григорий почувствовал легкий приступ тошноты, головокружение, улыбаясь слабой, вымученной улыбкой, закрыл глаза.

Неделю он пролежал в Екатеринодаре, на квартире у знакомого Богатыреву врача, медленно поправляясь после болезни, потом, как говорил Прохор, «пошел на поправку» и в станице Абинской в первый раз за время отступления сел на коня.

В Новороссийске шла эвакуация. Пароходы увозили в Турцию российских толстосумов, помещиков, семьи генералов и влиятельных политических деятелей. На пристанях день и ночь шла погрузка. Юнкера работали в артелях грузчиков, заваливая трюмы пароходов военным имуществом, чемоданами и ящиками сиятельных беженцев.

Части Добровольческой армии, опередив в бегстве донцов и кубанцев, первыми докатились до Новороссийска, начали грузиться на транспортные суда. Штаб Добровольческой армии предусмотрительно перебрался на прибывший в порт английский дредноут «Император Индии». Бои шли около Тоннельной. Десятки тысяч беженцев заполняли улицы города. Воинские части продолжали прибывать. Около пристаней шла неописуемая давка. Брошенные лошади тысячными табунами бродили по известковым склонам гор, окружающих Новороссийск. На прилегавших к пристаням улицах завалами лежали казачьи седла, снаряжение, воинское имущество. Все это было уже никому не нужно.

По городу ходили слухи о том, что на суда будет погружена только Добровольческая армия, а донцы и кубанцы походным порядком пойдут в Грузию.

Утром 25 марта Григорий и Платон Рябчиков пошли на пристань узнать, грузятся ли части Второго Донского корпуса, так как накануне среди казаков распространился слух, будто генерал Деникин отдал приказ: вывезти в Крым всех донцов, сохранивших вооружение и лошадей.

Пристань запрудили калмыки Сальского округа. Они пригнали с Маныча и Сала косяки лошадей и верблюдов, до самого моря довезли свои деревянные жилые будки. Нанюхавшись в толпе пресных запахов бараньего сала, Григорий и Рябчиков подошли к самым сходням стоявшего у причала большого транспортного парохода. Сходни охранялись усиленным караулом офицеров Марковской дивизии. Около, ожидая погрузки, толпились донцы-артиллеристы. На корме парохода стояли орудия, накрытые брезентами защитного цвета. С трудом протискавшись вперед, Григорий спросил у молодцеватого черноусого вахмистра:

— Какая это батарея, станишник?

Вахмистр покосился на Григория, неохотно ответил:

— Тридцать шестая.

— Каргиновская?

— Так точно.

— Кто тут заведует погрузкой?

— А вот он стоит у перил, полковник какой-то.

Рябчиков тронул Григория за рукав, злобно сказал:

— Пойдем отседова, ну их к черту! Разве у них тут толку добьешься? Когда воевали — нужны были, а зараз мы им ни к чему…

Вахмистр улыбнулся, подмигнул выстроившимся в очередь батарейцам:

— Усчастливились вы, артиллеристы! Господ офицеров и то не берут.

Полковник, наблюдавший за погрузкой, проворно шел по сходням; следом за ним, спотыкаясь, спешил лысый чиновник в распахнутой дорогой шубе. Он умоляюще прижимал к груди котиковую шапку, что-то говорил, и на потном лице его и в близоруких глазах было такое просительное выражение, что полковник, ожесточась, отворачивался от него, грубо кричал:

— Я вам уже сказал раз! Не приставайте, иначе я прикажу свести вас на берег! Вы с ума сошли! Куда, к черту, мы возьмем ваше барахло? Вы что, ослепли? Не видите, что творится? А, да ну вас совсем! Да жалуйтесь, ради бога, хоть самому генералу Деникину! Сказал, не могу, — и не могу, вы русский язык понимаете?

Когда он, отмахиваясь от назойливого чиновника, проходил мимо Григория, тот преградил ему путь и, приложив руку к козырьку фуражки, волнуясь, спросил:

— Офицеры могут рассчитывать на погрузку?

— На этот пароход — нет. Нет места.

— Тогда на какой же?

— Узнайте в эвакопункте.

— Мы там были, никто ничего не знает.

— Я тоже не знаю, пропустите меня!

— Но вы же грузите тридцать шестую батарею! Почему нам нет места?

— Про-пу-стите, я вам говорю! Я — не справочное бюро! — Полковник попробовал легонько отстранить Григория, но тот стоял на ногах твердо. В глазах его вспыхивали и гасли голубоватые искорки.

— Теперь мы вам не нужны стали? А раньше были нужны? Примите руку, меня вы не

спихнете!

Полковник посмотрел в глаза Григорию, оглянулся; стоявшие на сходнях марковцы, скрестив винтовки, с трудом сдерживали напиравшую толпу. Глядя мимо Григория, полковник устало спросил:

— Вы какой части?

— Я — Девятнадцатого Донского, остальные — разных полков.

— Сколько вас всего?

— Человек десять.

— Не могу. Нет места.

Рябчиков видел, как у Григория дрогнули ноздри, когда он вполголоса сказал:

— Что же ты мудруешь, гад?! Вша тыловая! Сейчас же пропускай нас, а то…

«Зараз Гриша его резнет!» — со злобным удовольствием подумал Рябчиков, но, увидев, как двое марковцев, прикладами очищая дорогу сквозь толпу, спешат на выручку полковнику, предупреждающе тронул Григория за рукав:

— Не связывайся с ним, Пантелевич! Пойдем…

— Вы — идиот! И вы ответите за ваше поведение! — сказал побледневший полковник и, обращаясь к подоспевшим марковцам, указал на Григория: — Господа! Уймите вот этого эпилептика! Надо же навести здесь порядок! У меня срочное дело к коменданту, а тут извольте выслушивать всякие любезности от всяких… — и торопливо скользнул мимо Григория.

Высокий марковец с погонами поручика на синей бекеше, с аккуратно подбритыми английскими усиками, подошел к Григорию вплотную.

— Что вам угодно? Почему вы нарушаете порядок?

— Место на пароходе, вот что мне угодно!

— Где ваша часть?

— Не знаю.

— Ваш документ.

Второй из караула, молодой пухлогубый юноша в пенсне, ломающимся баском сказал:

— Его надо отвести в караульное помещение. Не тратьте времени, Высоцкий!

Поручик внимательно прочитал свидетельство Григория, вернул его.

— Разыщите вашу часть. Советую отсюда уйти и не мешать погрузке. У нас есть приказ: арестовывать всех, независимо от их звания, проявляющих недисциплинированность, мешающих погрузке. — Поручик твердо сжал губы, подождал несколько секунд и, косясь на Рябчикова, наклонился к Григорию, шепнул: — Могу вам посоветовать: поговорите с командиром тридцать шестой батареи, станьте в их очередь, и вы сядете на пароход.

Рябчиков, слышавший шепот поручика, обрадованно сказал:

— Иди к Каргину, а я живо смотаюсь за ребятами. Из твоего имущества, окромя вещевого мешка, что брать?

— Пойдем вместе, — равнодушно сказал Григорий.

По пути они встретили знакомого казака — уроженца хутора Семеновского. На огромной фурманке он вез к пристани ворох накрытого брезентом печеного хлеба. Рябчиков окликнул станичника:

— Федор, здорово! Куда везешь?

— А-а-а, Платон, Григорий Пантелевич, здравствуйте! На дорогу свой полк хлебом снабжаем. Насилу выпекли, а то пришлось бы в пути одну кутью жрать…

Григорий подошел к остановившейся фурманке, спросил:

— Хлеб у тебя важенный на весах? Или считанный?

— Какой его черт считал? А вам что, хлеба надо?

— Надо.

— Бери!

— Сколько можно?

— Сколько унесешь, его на нас хватит!

Рябчиков с удивлением смотрел, как Григорий снимает буханку за буханкой, не утерпев, спросил:

— На чуму ты его столько берешь?

— Надо, — коротко ответил Григорий.

Он выпросил у возчика два мешка, сложил в них хлеб, поблагодарил за услугу и, распрощавшись, приказал Рябчикову:

— Бери, понесем.

— Ты не зимовать тут собрался? — насмешливо спросил Рябчиков, взвалив мешок на плечи.

— Это не мне.

— Тогда кому же?

— Коню.

Рябчиков проворно сбросил мешок на землю, растерянно спросил:

— Шутишь?

— Нет, всерьез.

— Значит, ты… ты чего же это надумал, Пантелевич? Хочешь остаться, так я понимаю?

— Правильно понимаешь. Ну, бери мешок, пойдем. Надо же коня кормить, а то все ясли прогрыз. Конь ишо сгодится, не пешему же служить…

До самой квартиры Рябчиков молчал, покряхтывал, подкидывая на плечах мешок; подойдя к калитке, спросил:

— Ребятам скажешь? — и, не дождавшись ответа, с легким оттенком обиды в голосе сказал: — Это ты здорово удумал… А мы как же?

— А как хотите, — с деланным равнодушием ответил Григорий. — Не берут нас, не находится для всех места — и не надо! На кой они ляд нам нужны, навязываться им! Останемся. Спробуем счастья. Да проходи же, чего ты застрял в калитке?

— Тут, с этим разговором застрянешь… Я ее, и калитки-то, не вижу. Ну и дела! Ты меня, Гриша, как обухом в темя вдарил. Прямо ум мне отшиб. А я-то думаю: «На черта он этот хлеб выпрашивает?» Теперь ребята наши узнают, взволнуются…

— Ну, а ты как? Не останешься? — полюбопытствовал Григорий.

— Что ты! — испуганно воскликнул Рябчиков.

— Подумай.

— И думать нечего! Поеду без разговоров, пока вакан есть. Пристроюсь к каргиновской батарее и поеду.

— Зря.

— Вот это да! Мне, брат, своя голова дороже. Что-то нет охоты, чтобы красные на ней свои палаши пробовали.

— Ох, подумай, Платон! Дело такое…

— И не говори! Поеду зараз же.

— Ну, как хочешь. Не уговариваю, — с досадой сказал Григорий и первый шагнул на каменные ступеньки крыльца.

Ни Ермакова, ни Прохора, ни Богатырева на квартире не было. Хозяйка, пожилая горбатая армянка, сказала, что казаки ушли и обещали скоро вернуться. Григорий, не раздеваясь,

крупными ломтями порезал буханку хлеба, пошел в сарай к лошадям. Хлеб разделил поровну, всыпал своему коню и Прохорову — и только что взял ведра и хотел идти, чтобы принести воды, как в дверях стал Рябчиков. В полах шинели он бережно держал наломанный крупными кусками хлеб. Конь Рябчикова, зачуяв хозяина, коротко заржал, а хозяин его молча прошел мимо сдержанно улыбавшегося Григория, ссыпал куски в ясли, не глядя на Григория, сказал:

— Не оскаляйся, пожалуйста! Раз так дело указывает — приходится и мне коня кормить… Ты думаешь, я-то с охотой бы поехал? Сам себя за шиворот взял бы и повел на этот растреклятый пароход, не иначе! Ить живой страх подгонял… голова-то одна на плечах? Не дай бог эту срубят — другая до покрова не вырастет…

Прохор и остальные казаки вернулись только перед вечером. Ермаков принес огромную бутыль спирта, а Прохор — мешок герметически закупоренных банок с мутновато-желтой жидкостью.

— Вот подработали! На всю ночь хватит, — похваляясь, Ермаков указал на бутыль, пояснил: — Попался нам военный доктор, упросил помочь ему вывезти на пристань со склада медикаменты. Грузчики отказались работать, одни юнкерья со склада таскали, ну и мы к ним припряглись. Спиртом доктор расплатился за нашу помочь, а банки эти Прохор наворовал, накажи господь, не брешу!

— А что в них такое? — полюбопытствовал Рябчиков.

— Это, братушки, почище спирту! — Прохор поболтал банку, посмотрел на свет, как под темным стеклом пузырится густая жидкость, самодовольно закончил: — Это — самое что ни на есть дорогое заграничное вино. Одним больным его дают, так мне сказал юнкеришка, какой английский язык понимает. Сядем на пароход, выпьем с горя, заведем «Разродимую мою сторонушку» и до самого Крыму будем пить, а банки в море кидать.

— Иди скорей, садись, а то через тебя пароход задерживают, не отправляют. «Где, говорят, Прохор Зыков — герой из героев, без него не можем плыть!» — насмешливо сказал Рябчиков. И, помолчав, указал желтым, обкуренным пальцем на Григория: — Вот он раздумал ехать. И я тоже.

— Да ну? — ахнул Прохор, от изумления чуть не выронив банку из рук.

— Что такое? Что вы тут надумали? — хмурясь, пристально глядя на Григория, спросил Ермаков.

— Решили не ехать.

— Почему?

— Потому, что местов для нас нету.

— Нынче нету — завтра будут, — уверенно заявил Богатырев.

— А ты на пристанях был?

— Ну, дальше?

— Видал, что там делается?

— Ну, видал.

— Занукал! Коль видал, чего же и толковать. Нас с Рябчиковым только двоих брали, и то один доброволец сказал, чтобы пристраивались к каргинской батарее, иначе нельзя.

— Она ишо не погрузилась, эта батарея? — с живостью спросил Богатырев.

Узнав, что батарейцы стояли в очереди, ожидая погрузки, он тотчас же стал собираться: сложил в вещевой мешок белье, запасные шаровары, гимнастерку, положил хлеб и попрощался.

— Оставайся, Петро! — посоветовал Ермаков. — Не к чему нам разбиваться.

Богатырев, не отвечая, протянул ему потную руку, с порога еще раз поклонился, сказал:

— Бывайте здоровы! Приведет бог — ишо свидимся! — и выбежал.

После его ухода в комнате долго стояла нехорошая тишина. Ермаков сходил на кухню к хозяйке, принес четыре стакана, молча разлил в них спирт, поставил на стол большой медный чайник с холодной водой, нарезал сала и, все так же молча, присел к столу, облокотился на него, несколько минут тупо смотрел себе под ноги, потом прямо из горлышка чайника выпил воды, хриповато сказал:

— На Кубани везде вода керосином воняет. С чего бы это?

Ему никто не ответил. Рябчиков чистой ветошкой протирал запотевшие долы шашки, Григорий рылся в своем сундучке, Прохор рассеянно смотрел в окно на голые склоны гор, усеянные конскими табунами.

— Садитесь к столу, выпьем. — Ермаков, не дожидаясь, опрокинул в рот полстакана, запил водой и, разжевывая кусок розового сала, повеселевшими глазами глядя на Григория, спросил: — Не наведут нам решку красные товарищи?

— Всех не перебьют. Народу останется тут большие тыщи, — ответил Григорий.

— Я обо всех и не печалуюсь, — рассмеялся Ермаков. — У меня об своей овчине забота…

После того как изрядно выпили, разговор пошел веселее. А немного погодя неожиданно явился посиневший от холода, нахмуренный, угрюмый Богатырев. Он у порога сбросил целый тюк новеньких английских шинелей, молча начал раздеваться.

— С прибытием вас! — кланяясь, язвительно поздравил Прохор.

Богатырев метнул в его сторону озлобленный взгляд, со вздохом сказал!

— Просить будут все эти Деникины и другие б…, и то не поеду! Стоял в очереди, иззяб, как кобель на морозе, а все без толку. Отрезало как раз по мне. Двое впереди меня стояли, одного пропустили, а другого нет. Половина батареи осталась, ну что это такое, а?

— Вот так вашего брата умывают! — захохотал Ермаков и, расплескивая из бутыли, налил Богатыреву полный стакан спирта. — На, запей свое горькое горе! Или ты будешь ждать, когда тебя просить прийдут? Глянь в окно: это не генерал Врангель за тобой идет?

Богатырев молча цедил спирт. Он вовсе не расположен был к шуткам. А Ермаков и Рябчиков — сами вполпьяна — напоили до отказа старуху хозяйку и уже поговаривали о том, чтобы пойти разыскать где-нибудь гармониста.

— Идите лучше на станцию, — посоветовал Богатырев, — там вагоны расчиняют. Весь состав с обмундированием.

— На черта оно нужно, твое обмундирование! — кричал Ермаков. — Нам этих шинелев хватит, какие ты приволок. А лишнее все одно заберут, Петро! Клеп собачий! Мы тут решаемся в красные идтить, понял? Ить мы казаки — или кто? Ежли оставят в живых нас красные — пойдем к ним служить! Мы — донские казаки! Чистых кровей, без подмесу! Наше дело — рубить. Знаешь, как я рублю? С кочерыжкой! Становись, на тебе попробую! То-то, ослабел? Нам все равно, кого рубить, лишь бы рубить. Так я говорю, Мелехов?

— Отвяжись! — устало отмахивался Григорий.

Кося налитыми кровью глазами, Ермаков пытался достать свою лежавшую на сундуке шашку. Богатырев беззлобно отталкивал его, просил:

— Ты не буровь дюже, Аника-воин, а то я тебя враз усмирю. Пей степенно, ты же в офицерском чине.

— Я на этот чин кладу с прибором! Он мне зараз нужен, как колодка свинье. Не вспоминай! Сам такой. Дай я тебе погоны отрежу? Петя, жаль моя, погоди, погоди, я их зараз…

— Ишо не время, с этим успеется, — посмеивался Богатырев, отстраняя расходившегося друга.

Пили до зари. Еще с вечера откуда-то появились незнакомые казаки, один из них с

двухрядкой. Ермаков танцевал «казачка» до тех пор, пока не свалился. Его оттащили к сундуку, и он тотчас же уснул на голом полу, широко разбросав ноги, неловко запрокинув голову. До утра продолжалась невеселая гулянка. «Я из Кушматской!.. Из самой станицы! У нас были быки — рога не достанешь! Кони были — как львы! А сейчас, что осталось в хозяйстве? Одна облезлая сучка! Да и она скоро сдохнет, кормить нечем…» — пьяно рыдая, говорил пожилой казак — один из случайных знакомых, пришедших на гульбище. Какой-то кубанец в изорванной черкеске заказывал гармонисту «наурскую» и, картинно раскинув руки, с такой поразительной легкостью скользил по комнате, что Григорию казалось, будто подошвы горских сапог кубанца вовсе и не прикасаются к грязному, зашарпанному полу.

В полночь кто-то из казаков невесть откуда притащил два высоких глиняных узкогорлых кувшина; на боках их темнели полусгнившие этикетки, пробки были опечатаны сургучом, из-под вишнево-красных сургучных печатей свешивались массивные свинцовые пломбы. Прохор долго держал в руках ведерный кувшин, мучительно шевелил губами, стараясь разобрать иностранную надпись на этикетке. Недавно проснувшийся Ермаков взял у него из рук кувшин, поставил на пол, обнажил шашку, Прохор не успел ахнуть, как Ермаков, косо замахнувшись, срезал шашкой горло кувшина на четверть, громко крикнул: «Подставляй посуду!»

Густое, диковинно ароматное и терпкое вино распили в несколько минут, и после долго Рябчиков в восхищении цокал языком, бормотал: «Это не вино, а святое причастие! Такое только перед смертью пить, да и то не всем, а таким, какие за всю жизнь в карты не играли, табак не нюхали, баб не трогали… Архирейский напиток, одним словом!» Тут Прохор вспомнил, что у него в мешке лежат банки с лечебным вином.

— Погоди, Платон, не хвали дюже! У меня винцо получше этого будет! Это — дерьмо, а вот я достал на складе, так это винцо! Ладан с медом, а может, даже лучше! Это тебе, браток, не архирейское, а — прямо сказать — царское! Раньше цари пили, а зараз нам довелось… — бахвалился он, открывая одну из банок.

Жадный на выпивку Рябчиков глотнул сразу полстакана мутно-желтой густой жидкости, мгновенно побледнел и вытаращил глаза.

— Это не вино, а карболка! — прохрипел он и, в ярости выплеснув остатки из стакана Прохору на рубаху, пошел, покачиваясь, в коридор.

— Брешет он, гад! Вино — английское! Первый сорт! Не верьте ему, братцы! — стараясь перекричать гул пьяных голосов, заорал Прохор. Он выпил стакан залпом и тотчас стал белее Рябчикова.

— Ну как? — допытывался Ермаков, раздувая ноздри, заглядывая Прохору в посоловевшие глаза. — Как царское вино? Крепкое? Сладкое? Говори же, чертяка, а то я эту банку об твою голову разобью!

Прохор покачивал головой, страдал молча, а потом икнул, проворно вскочил и выбежал вслед за Рябчиковым. Ермаков, давясь от смеха, заговорщицки подмигнул Григорию, пошел во двор. Спустя минуту он вернулся в комнату. Раскатистый хохот его перекрыл все голоса.

— Ты чего это? — устало спросил Григорий. — Чего ржешь, глупой? Железку нашел?

— Ох, парень, пойди глянь, как они наизнанку выворачиваются! Ты знаешь, что они пили?

— Ну?

— Английскую мазь от вшей!

— Брешешь!

— Истинный бог! Я сам, как на складе был, думал сначала, что это вино, а потом спросил у доктора: «Что это такое, господин доктор?» — «Лекарство», — говорит. Я

спрашиваю: «Оно, случаем, не от всех скорбей? Не на спирту?» — «Боже упаси, говорит, это союзники от вшей нам прислали смазку. Это — наружное лекарство, за воротник его никак нельзя употреблять!»

— Чего же ты, лиходей, не сказал им? — с досадой упрекнул Григорий.

— Нехай, черти, очищаются перед сдачей, небось не сдохнут! — Ермаков вытер проступившие от смеха слезы, не без злорадства добавил: — Да и пить будут полегше, а то за ними не успеешь и рюмки со стола взять. Жадных так надо обучать! Ну, что ж, мы-то с тобой выпьем или повременим? Давай за нашу погибель выпьем?

Перед рассветом Григорий вышел на крыльцо, дрожащими руками свернул папироску, закурил, долго стоял, прислонившись спиной к влажной от тумана стене.

В доме, не умолкая, звучали пьяные вскрики, захлебывающиеся переборы гармошки, разудалый свист; сухую дробь безустально выбивали каблуки завзятых плясунов… А из бухты ветер нес густой, низкий рев пароходных сирен; на пристанях людские голоса сливались в сплошной гул, прорезываемый громкими возгласами команды, ржанием лошадей, гудками паровозов. Где-то в направлении станции Тоннельная шел бой. Глухо погромыхивали орудия, в интервалах между выстрелами чуть слышался жаркий треск пулеметов. За Мархотским перевалом высоко взметнулась брызжущим светом ракета. На несколько секунд стали видны озаренные зеленым, призрачным сиянием горбатые вершины гор, а потом снова вязкая темень мартовской ночи покрыла горы, и еще отчетливее и чаще, почти сливаясь, загремели артиллерийские залпы.

XXIX

Соленый, густой, холодный ветер дул с моря. Запах неведомых чужих земель нес он к берегу. Но для донцов не только ветер — все было чужое, неродное в этом скучном, пронизанном сквозняками, приморском городе. Стояли они на молу сплошной сгрудившейся массой, ждали погрузки… У берега вскипали зеленые пенистые волны. Сквозь тучу глядело на землю негреющее солнце. На рейде дымили английские и французские миноносцы; серой грозной махиной высился над водой дредноут. Над ним стлалось черное облако дыма. Зловещая тишина стояла на пристанях. Там, где недавно покачивался у причала последний транспорт, плавали в воде офицерские седла, чемоданы, одеяла, шубы, обитые красным плюшем стулья, еще какая-то рухлядь, сброшенная второпях со сходен…

Григорий с утра приехал на пристань; поручив коня Прохору, долго ходил в толпе, высматривал знакомых, прислушивался к отрывистым тревожным разговорам. На его глазах у сходен «Святослава» застрелился пожилой отставной полковник, которому отказали в месте на пароходе.

За несколько минут до этого полковник, маленький, суетливый, с седой щетиной на щеках, с заплаканными, пыхлыми, сумчатыми глазами, хватал начальника караула за ремни портупеи, что-то жалко шепелявил, сморкался и вытирал нечистым платком прокуренные усы, глаза и дрожащие губы, а потом вдруг как-то сразу решился… И тотчас же какой-то проворный казак вынул из теплой руки мертвого блещущий никелем браунинг, труп в светло-серой офицерской шинели ногами, как бревно, откатили к штабелю ящиков, и возле сходен еще гуще закипел народ, еще яростнее вспыхнула драка в очереди, еще ожесточеннее залаяли хриплые, озлобленные голоса беженцев.

Когда последний пароход, покачиваясь, начал отходить от причала, в толпе послышались женские рыдания, истерические вскрики, ругань… Не успел еще утихнуть

короткий басовитый рев пароходной сирены, как молодой калмык в лисьем треухе прыгнул в воду, поплыл вслед за пароходом.

— Не вытерпел! — вздохнул кто-то из казаков.

— Значит, ему никак нельзя было оставаться, — проговорил стоявший возле Григория казак. — Значит, он красным дюже нашкодил.

Григорий, стиснув зубы, смотрел на плывущего калмыка. Все реже взмахивали руки пловца, все ниже оседали плечи. Намокший чекмень тянул книзу. Волною смыло с головы калмыка, отбросило назад рыжий лисий треух.

— Утопнет, проклятый нехристь! — сожалеюще сказал какой-то старик в бешмете.

Григорий круто повернулся, пошел к коню. Прохор оживленно разговаривал с подскакавшими к нему Рябчиковым и Богатыревым. Завидев Григория, Рябчиков заерзал в седле, в нетерпении тронул коня каблуками, крикнул:

— Да поспешай же ты, Пантелевич! — И, не дождавшись, когда Григорий подойдет, еще издали закричал: — Пока не поздно, давай уходить. Тут собралось нас с полсотни казаков, думаем правиться на Геленджик, а оттудова в Грузию. Ты как?

Григорий подходил, глубоко засунув руки в карманы шинели, молча расталкивая плечами бесцельно толпившихся на пристани казаков.

— Поедешь или нет? — настойчиво спрашивал Рябчиков, подъехав вплотную.

— Нет, не поеду.

— С нами пристроился один войсковой старшина. Он дорогу тут наскрозь знает, говорит: «Зажмурки до самого Тифлису доведу!» Поедем, Гриша! А оттуда к туркам, а? Надо же как-то спасаться! Край подходит, а ты какой-то, как рыба снулый…

— Нет, не поеду. — Григорий взял из рук Прохора поводья, тяжело, по-стариковски, сел в седло. — Не поеду. Не к чему. Да и поздновато трошки… Гляди!

Рябчиков оглянулся, в отчаянии и ярости скомкал, оторвал темляк на шашке: с гор текли цепи красноармейцев. Около цементных заводов лихорадочно застучали пулеметы. С бронепоездов ударили по цепям из орудий. Возле мельницы Асланиди разорвался первый снаряд.

— Поехали на квартиру, ребятки, держи за мной! — приказал повеселевший и как-то весь подобравшийся Григорий.

Но Рябчиков схватил Григорьева коня за повод, испуганно воскликнул:

— Не надо! Давай тут останемся… На миру, знаешь, и смерть красна…

— Э, черт, трогай! Какая там смерть? Чего ты мелешь? — Григорий в досаде хотел еще что-то сказать, но голос его заглушило громовым гулом, донесшимся с моря. Английский дредноут «Император Индии», покидая берега союзной России, развернулся и послал из своих двенадцатидюймовых орудий пачку снарядов. Прикрывая выходившие из бухты пароходы, он обстреливал катившиеся к окраинам города цепи красно-зеленых, переносил огонь на гребень перевала, где показались красные батареи. С тяжким клекотом и воем летели через головы сбившихся на пристани казаков английские снаряды.

Туго натягивая поводья, удерживая приседающего коня, Богатырев сквозь гул стрельбы кричал:

— Ну и резко же гавкают английские пушки! А зря они стервенят красных! Пользы от ихней стрельбы никакой, одного шума много…

— Нехай стервенят! Нам зараз все равно. — Улыбаясь, Григорий тронул коня, поехал по улице.

Навстречу ему из-за угла, пластаясь в бешеном намете, вылетели шесть конных с обнаженными клинками. У переднего всадника на груди кровенел, как рана, кумачный бант.

* ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ *

I

С юга двое суток дул теплый ветер. Сошел последний снег на полях. Отгремели пенистые вешние ручьи, отыграли степные лога и речки. На заре третьего дня ветер утих, и пали над степью густые туманы, засеребрились влагой кусты прошлогоднего ковыля, потонули в непроглядной белесой дымке курганы, буераки, станицы, шпили колоколен, устремленные ввысь вершины пирамидальных тополей. Стала над широкой донской степью голубая весна.

Туманным утром Аксинья впервые после выздоровления вышла на крыльцо и долго стояла, опьяненная бражной сладостью свежего весеннего воздуха. Преодолевая тошноту и головокружение, она дошла до колодца в саду, поставила ведро, присела на колодезный сруб.

Иным, чудесно обновленным и обольстительным, предстал перед нею мир. Блестящими глазами она взволнованно смотрела вокруг, по-детски перебирая складки платья. Повитая туманом даль, затопленные талой водою яблони в саду, мокрая огорожа и дорога за ней с глубоко промытыми прошлогодними колеями — все казалось ей невиданно красивым, все цвело густыми и нежными красками, будто осиянное солнцем.

Проглянувший сквозь туман клочок чистого неба ослепил ее холодной синевой; запах прелой соломы и оттаявшего чернозема был так знаком и приятен, что Аксинья глубоко вздохнула и улыбнулась краешками губ; незамысловатая песенка жаворонка, донесшаяся откуда-то из туманной степи, разбудила в ней неосознанную грусть. Это она — услышанная на чужбине песенка — заставила учащенно забиться Аксиньино сердце и выжала из глаз две скупые слезинки…

Бездумно наслаждаясь вернувшейся к ней жизнью, Аксинья испытывала огромное желание ко всему прикоснуться руками, все оглядеть. Ей хотелось потрогать почерневший от сырости смородиновый куст, прижаться щекой к ветке яблони, покрытой сизым бархатистым налетом, хотелось перешагнуть через разрушенное прясло и пойти по грязи, бездорожно, туда, где за широким логом сказочно зеленело, сливаясь с туманной далью, озимое поле…

Несколько дней Аксинья провела в ожидании, что вот-вот появится Григорий, но потом узнала от заходивших к хозяину соседей, что война не кончилась, что многие казаки из Новороссийска уехали морем в Крым, а те, которые остались, пошли в Красную Армию и на рудники.

К концу недели Аксинья твердо решила идти домой, а тут вскоре нашелся ей и попутчик. Как-то вечером в хату, не постучавшись, вошел маленький сутулый старичок. Он молча поклонился, стал расстегивать мешковато сидевшую на нем грязную, распоротую по швам английскую шинель.

— Ты что же это, добрый человек, «здравствуйте» не сказал, а на жительство располагаешься? — спросил хозяин, с изумлением разглядывая незваного гостя.

А тот проворно снял шинель, встряхнул ее у порога, бережно повесил на крюк и, поглаживая коротко остриженную седую бородку, улыбаясь, сказал:

— Прости, ради Христа, мил человек, но я по нынешним временам так обучен: спервоначалу разденься, а потом уж просись почивать, иначе не пустят. Народ нынче грубый стал, гостям не радуется…

— Куда ж мы тебя положим? Видишь, тесно живем, — уже мирнее сказал хозяин.

— Мне и места-то надо с гулькин нос. Вот тут, у порога, свернусь и усну.

— Ты кто же такой будешь, дедушка? Беженец? — полюбопытствовала хозяйка.

— Вот-вот, беженец и есть. Бегал, бегал, до моря добег, а зараз уж оттуда потихонечку иду, приморился бегать-то… — отвечал словоохотливый старик, присаживаясь у порога на корточки.

— А кто такой есть? Откудова? — продолжал допытываться хозяин.

Старик достал из кармана большие портняжные ножницы, повертел их в руках и, все с той же не сходящей с губ улыбкой, сказал:

— Вот по моему чину документ, от самого Новороссийска с ним командируюсь, а родом я издалека, из-за Вешенской станицы. Туда и иду, попивши в море соленой воды.

— И я вешенская, дедушка, — вспыхнув от радости, сказала Аксинья.

— Скажи на милость! — воскликнул старик. — Вот где станишницу довелось повстречать! Хотя по нынешним временам это и не диковинно: мы зараз, как евреи, — рассеялись по лицу земли. На Кубани так: кинь в собаку палкой, а попадешь в донского казака. Понавтыкано их везде — не оберешься, а сколько в земле зарыто — и того больше. Нагляделся я, мил люди, всякой всячины за это отступление. Какую нужду народ трепает, и не расскажешь! Позавчера сижу на станции, рядом со мной благородная женщина в очках сидит, сквозь очки вошек на себе высматривает. А они по ней пешком идут. И вот она их сымает пальчиками, а сама так морщится, как будто лесовую яблоку раскусила. Начнет эту бедную вошку давить — еще дюжей морщится, аж всю ее наперекос берет, до того ей противно! А другой твердяк человека убивает и не морщится, не косоротится. При мне один такой молодец трех калмыков зарубил, а потом шашку вытер об конскую гриву, достал папироску, закурил, подъезжает ко мне, спрашивает: «Ты чего, дед, гляделки вылупил? Хочешь, тебе голову срублю?» — «Что ты, говорю, сынок, бог с тобой! Срубишь голову мне, а тогда как же я хлеб буду жевать?» Засмеялся он и отъехал.

— Человека убить иному, какой руку на этом деле наломал, легше, чем вшу раздавить. Подешевел человек за революцию, — глубокомысленно вставил хозяин.

— Истинное слово! — подтвердил гость. — Человек — он не скотина, ко всему привыкает. Вот я и спрашиваю у этой женщины: «Кто вы такая будете? По обличью вы словно бы не из простых». Глянула она на меня, слезой умылась. «Я — жена генерала-маера Гречихина». Вот тебе, думаю, генерал, вот тебе и маер, а вшей — как на шелудивой кошке блох! И говорю ей: «Вы, ваше превосходительство, ежли будете, извиняюсь, ваших насекомых козявок так переводить, так вам работы до покрова хватит. И коготки все пообломаете. Давите их всех разом!» — «Как так?» — спрашивает. Я и посоветовал ей: «Сымите, говорю, одежку, расстелите на твердом месте, и бутылкой их». Гляжу: сгреблась моя генеральша и — за водокачку, гляжу: катает по рубахе бутылку зеленого стекла, да так здорово, как, скажи, она всю жизнь ее катала! Покрасовался я на нее и думаю: у бога всего много, напустил он козявок и на благородных людей, пущай, мол, они и ихней сладкой кровицы пососут, не все же им трудовой кровушкой упиваться… Бог — он не Микишка! Он свое дело знает. Иной раз он подобреет к людям и до того правильно распорядится, что лучше и не придумаешь…

Без умолку болтая и видя, что хозяева слушают его с большим вниманием, портной ловко намекнул, что мог бы рассказать еще немало занимательного, но так проголодался, что поклонило его в сон.

После ужина, примащиваясь спать, он спросил у Аксиньи:

— А ты, станишница, долго ли думаешь тут гостить?

— Собираюсь домой, дедушка.

— Ну, вот и пойдем со мной вместе, все веселее будет.

Аксинья охотно согласилась, и наутро, попрощавшись с хозяевами, они покинули затерявшийся в степи поселок Ново-Михайловский.

На двенадцатые сутки ночью пришли в станицу Милютинскую. Ночевать выпросились в большом, богатом на вид доме. Утром Аксиньин спутник решил остаться на неделю в станице, отдохнуть и залечить растертые до крови ноги. Идти дальше он не мог. В доме нашлась для него портняжная работа, и наскучавший по делу старик живо примостился у окошка, достал ножницы и связанные веревочкой очки, проворно начал распарывать ка-кую-то ветошь.

Прощаясь с Аксиньей, старый балагур и весельчак перекрестил ее и неожиданно прослезился, но тотчас же смахнул слезы, с обычной для него шутливостью сказал:

— Нужда — не родная матушка, а людей роднит… Вот уж и жалко тебя… Ну, да нечего делать, ступай одна, дочушка, поводырь-то твой охромел сразу на все ноги, должно быть, накормили его где-нибудь ячменным хлебом… Да и то сказать, промаршировали мы с тобой порядочно, для моих семидесяти годков даже чересчур. Будет случай — перекажи моей старухе, что сиз голубок ее жив и здоров, и в ступе его толкли, и в мялке мяли, а он все живой, на ходу добрым людям штаны шьет и что не видно домой припожалует… Так и передай ей: старый дурак, мол, кончил отступать и наступает обратно к дому, не чает, когда до печки доберется…

Еще несколько дней провела Аксинья в дороге. От Боковской доехала до Татарского на попутной подводе. Поздно вечером вошла в настежь распахнутую калитку своего двора, глянула на мелеховский курень и задохнулась от внезапно подступивших к горлу рыданий… В пустой, пахнущей нежилым кухне выплакала все скопившиеся за долгое время горькие бабьи слезы, а потом сходила на Дон за водой, затопила печь, присела к столу, уронив на колени руки. Задумавшись, она не слышала, как скрипнула дверь, и очнулась, когда Ильинична, войдя, негромко сказала:

— Ну, здравствуй, соседушка! Долго ж ты пропадала в чужих краях…

Аксинья испуганно взглянула на нее, встала.

— Ты чего воззрилась на меня и молчишь? Аль плохие вести принесла? — Ильинична медленно подошла к столу, присела на край лавки, не сводя пытливого взгляда с Аксиньиного лица.

— Нет, какие же у меня вести… Не ждала я вас, задумалась что-то и не слыхала, как вы вошли… — растерянно проговорила Аксинья.

— Исхудала ты, в чем и душа держится.

— В тифу была…

— Григорий-то наш… Он как же… Вы где с ним расстались? Живой он?

Аксинья коротко рассказала. Ильинична выслушала ее, не проронив слова, под конец спросила:

— Он, когда оставил тебя, не хворый поехал?

— Нет, он не хворал.

— И больше ты об нем ничего не слыхала?

— Нет.

Ильинична облегченно вздохнула:

— Ну вот, спасибо на добром слове. А тут по хутору разное брешут про него…

— Что же? — чуть слышно спросила Аксинья.

— Так, пустое… Всех не переслухаешь. Из хуторных один только Ванька Бесхлебнов вернулся. Он видал Гришу в Катеринодаре больного, а другим я не верю!

— А что говорят, бабушка?

— Прослыхали мы, что какой-то казачишка с Сингинского хутора говорил, будто зарубили Гришу красные в Новороссийском городе. Ходила я пеши в Сингин — материнское-то сердце не терпит, — нашла этого казачишку. Отрекся он. И не видал, говорит, и не слыхал. Ишо слух прошел, будто посадили в тюрьму и там он помер от тифу…

Ильинична опустила глаза и долго молчала, рассматривая свои узловатые тяжелые руки. Обрюзгшее лицо старухи было спокойно, губы строго поджаты, но вдруг как-то сразу на смуглых скулах ее проступил вишневый румянец, и мелко задрожали веки. Она взглянула на Аксинью сухими, исступленно горящими глазами, хрипло сказала:

— А я не верю! Не может быть, чтобы лишилась я последнего сына! Не за что богу меня наказывать… Мне уж и жить-то чуть осталось… Мне жить вовсе мало осталось, а горюшка и без этого через край хлебнула!.. Живой Гриша! Сердце мое не вещует, — значит, живой он, мой родимый!

Аксинья молча отвернулась.

В кухне долго стояла тишина, потом ветер распахнул дверь в сени, и стало слышно, как глухо ревет за Доном в тополях полая вода и потревоженно перекликаются на разливе дикие гуси.

Аксинья закрыла дверь, прислонилась к печке.

— Вы не печалуйтесь об нем, бабушка, — тихо сказала она. — Разве такого хворость одолеет? Он крепкий, прямо как железный. Такие не помирают. Он всю дорогу в трескучие морозы без перчаток ехал…

— О детишках-то он вспоминал? — устало спросила Ильинична.

— И о вас и о детишках вспоминал. Здоровые они?

— Здоровые, чего им подеется. А Пантелей Прокофич наш помер в отступе. Остались мы одни…

Аксинья молча перекрестилась, про себя дивясь тому спокойствию, с каким старуха сообщила о смерти мужа.

Опираясь на стол, Ильинична тяжело встала:

— Засиделась я у тебя, а на базу уж ночь.

— Сидите, бабушка.

— Там Дуняшка одна, надо идтить. — Поправляя платок на голове, она оглядела кухню, поморщилась: — Дымок из печки подходит. Надо было пустить кого-нибудь на жительство, когда уезжала. Ну, прощай! — И, уже взявшись за дверную скобу, не глядя назад, сказала: — Обживешься — зайди к нам, проведай. Может, услышишь про Григория что — скажи.

С этого дня отношения между Мелеховыми и Аксиньей круто изменились. Тревога за жизнь Григория как бы сблизила и породнила их. На следующее утро Дуняшка, увидев Аксинью во дворе, окликнула ее, подошла к плетню и, обнимая худые Аксиньины плечи, улыбнулась ей ласково и просто:

— Ох, и похудела же ты, Ксюша! Одни мосольчики остались.

— Похудеешь от такой жизни, — ответно улыбнулась Аксинья, не без внутренней зависти разглядывая цветущее зрелой красотой, румяное девичье лицо.

— Была у тебя мать вчера? — почему-то шепотом спросила Дуняшка.

— Была.

— Я так и подумала, что она к тебе пошла. Про Гришу спрашивала?

— Да.

— А не кричала?

— Нет, твердая она старуха.

Дуняшка, доверчиво глядя на Аксинью, сказала:

— Лучше б она покричала, все ей легче было бы… Знаешь, Ксюша, какая-то она с этой зимы чудная стала, не такая, как раньше была. Услыхала она про отца, я думала, что сердце у нее зайдется, испужалась страшно, а она и слезинки не выронила. Только и сказала: «Царство ему небесное, отмучился, милый мой…» И до вечеру ни с кем не гутарила. Я к ней и так и сяк, а она рукой отмахивается и молчит. То-то страсти я набралась в этот день! А вечером убрала скотину, пришла с надворья и спрашиваю у ней: «Маманя, вечерять будем, чево варить?» Отошло у нее сердце, заговорила… — Дуняшка вздохнула и, задумчиво глядя куда-то через плечо Аксиньи, спросила: — Григорий наш помер? Верно это болтают?

— Не знаю, милушка.

Дуняшка сбоку испытующе поглядела на Аксинью, вздохнула еще глубже.

— Маманя по нем, ну, чисто, истосковалась вся! Она его иначе и не зовет: «мой младшенький». И никак не верит, что его в живых нету. А ты знаешь, Ксюша, ежли она узнает, что он взаправди помер — она от тоски сама помрет. Жизнь-то от нее уж отошла, одна зацепка у ней — Григорий. Она и к внучатам какая-то нежеланная стала, и в работе — все у ней из рук валится… Ты вздумай, за один год у нас четверо в семье…

Движимая состраданием, Аксинья потянулась через плетень, обняла Дуняшку, крепко поцеловала ее в щеку.

— Займи матерю чем-нибудь, моя хорошая, не давай ей дюже горевать.

— Чем же ее займешь? — Дуняшка вытерла кончиком платка глаза, попросила: — Зайди к нам, погутарь с ней, все ей легче будет. Нечего тебе нас чураться!

— Зайду как-нибудь, беспременно зайду!

— Я завтра, должно, на поля поеду. Спряглись с Аникушкиной бабой, хотим хоть десятины две пшеницы посеять. Ты-то не думаешь сеять себе?

— Какая я посевщица, — невесело улыбнулась Аксинья. — Не на чем, да и не к чему. Одной мне мало надо, проживу и так.

— Про Степана твоего что слышно?

— А ничего, — равнодушно ответила Аксинья и неожиданно для себя сказала: — Я по нем не дюже сохну. — Нечаянно сорвавшееся признание смутило ее, и она, прикрывая смущение, торопливо сказала: — Ну, прощай, девонька, пойду в курене прибрать.

Делая вид, как будто она не заметила Аксиньиного замешательства, Дуняшка глянула в сторону, сказала:

— Погоди трошки, я вот что хочу тебе сказать, ты не пособишь нам в работе? Земля пересыхает, боюсь, не управимся мы, а казаков во всем хуторе двое осталось, и те калеки.

Аксинья охотно согласилась, и довольная Дуняшка пошла собираться.

Весь день она деятельно готовилась к выезду: с помощью Аникушкиной вдовы подсеяла зерно, кое-как подправила бороны, смазала колеса арбы, наладила сеялку. А вечером нагребла в платок очищенной пшеницы и отнесла на кладбище, посыпала могилы Петра, Натальи и Дарьи, чтобы поутру слетелись на родные могилки птицы. В детской простоте своей она верила, что веселое птичье щебетание будет услышано мертвыми и обрадует их…

Только перед рассветом устанавливалась над Обдоньем тишина. Глухо ворковала вода в затопленном лесу, омывая бледно-зеленые стволы тополей, мерно раскачивая потонувшие вершинки дубовых кустов и молодого осинника; шуршали наклоненные струей метелки камыша в залитых озерах; на разливе, в глухих заводях, — там, где полая вода, отражая сумеречный свет звездного неба, стояла неподвижно, как завороженная, — чуть слышно перекликались казарки, сонно посвистывали чирковые селезни да изредка звучали серебряные трубные голоса заночевавших на приволье пролетных лебедей. Иногда всплескивала в темноте жирующая на просторе рыба; по воде, усеянной золотыми бликами, далеко катилась

зыбкая волна, и слышался предостерегающий гогот потревоженной птицы. И снова тишина окутывала Обдонье. Но с рассветом, когда лишь чуть розовели меловые отроги гор, подымался низовой ветер. Густой и мощный, он дул против течения. По Дону бугрились саженные волны, бешено клокотала вода в лесу, стонали, раскачиваясь, деревья. Ветер ревел целый день и утихал глубокой ночью. Такая погода стояла несколько дней.

Над степью повисла сиреневая дымка. Земля пересыхала, приостановились в росте травы, по зяби пошли заструги. Почва выветривалась с каждым часом, а на полях хутора Татарского почти не видно было людей. Во всем хуторе осталось несколько древних стариков, из отступления вернулись неспособные к труду, обмороженные и больные казаки, в поле работали одни женщины да подростки. По обезлюдевшему хутору ветер гонял пыльцу, хлопал ставнями куреней, ворошил солому на крышах сараев. «Будем в нонешном году без хлеба, — говорили старики. — Одни бабы на полях, да и то через три двора сеют. А мертвая землица не зародит…»

На другой день после выезда в поле, перед закатом солнца, Аксинья погнала к пруду быков. Около плотины, держа в поводу оседланную лошадь, стоял десятилетний мальчишка Обнизов. Лошадь жевала губами, с серого бархатистого храпа ее падали капли, а спешившийся ездок забавлялся: бросал в воду комки сухой глины, смотрел, как расходятся по воде круги.

— Ты куда это собрался, Ванятка? — спросила Аксинья.

— Харчи привозил матери.

— Ну, что там в хуторе?

— А ничего. Дед Герасим здо-о-о-ровенного сазана в вентери нынче ночью поймал. А ишо пришел из отступа Федор Мельников.

Приподнимаясь на цыпочки, мальчишка взнуздал лошадь, взял в руки прядку гривы и с дьявольской ловкостью вскочил на седло. От пруда он поехал — как рассудительный хозяин — шагом, но спустя немного оглянулся на Аксинью и поскакал так, что на спине его пузырем вздулась выцветшая голубенькая рубашонка.

Пока пили быки, Аксинья прилегла на плотине и тут же решила идти в хутор. Мельников был служивый казак, и он должен был знать что-либо об участи Григория. Пригнав быков к стану, Аксинья сказала Дуняшке:

— Схожу в хутор, а завтра рано прийду.

— Дело есть?

— Дело.

Наутро Аксинья вернулась. Она подошла к запрягавшей быков Дуняшке, беспечно помахивая хворостиной, но брови ее были нахмурены, а в углах губ лежали горькие складки.

— Мельников Федор пришел. Ходила, спрашивала у него про Григория. Ничего не знает, — сказала она коротко и, круто повернувшись, отошла к сеялке.

После сева Аксинья принялась за хозяйство: посадила на бахче арбузы, обмазала и побелила курень, сама — как сумела — покрыла остатками соломы крышу сарая. Дни проходили в работе, но тревога за жизнь Григория ни на час не покидала Аксинью. О Степане Аксинья вспоминала с неохотой, и почему-то ей казалось, что он не вернется, но, когда в хутор приходил кто-либо из казаков, она сначала спрашивала: «Степана моего не видал?» — а уж потом, осторожно и исподволь, пыталась выведать что-либо о Григории. Про их связь знали все в хуторе. Даже охочие до сплетен бабы перестали судачить о них, но Аксинья стыдилась высказывать свое чувство, и лишь изредка, когда скупой на слова служивый не упоминал про Григория, она, щуря глаза и заметно смущаясь, спрашивала: «А соседа нашего, Григория Пантелевича, не доводилось встречать? Мать об нем беспокоится, высохла вся…»

Никто из хуторных казаков не видел ни Григория, ни Степана после сдачи Донской армии в Новороссийске. И только в конце июня к Аксинье зашел пробиравшийся за Дон сослуживец Степана с хутора Колундаевского. Он-то и сообщил ей:

— Уехал Степан в Крым, верное слово тебе говорю. Сам видал, как он грузился на пароход. Погутарить с ним не пришлось. Давка была такая, что по головам ходили. — На вопрос о Григории уклончиво ответил: — Видал на пристани, в погонах он был, а после не трапилось видать. Много офицеров в Москву увезли, кто его знает, где он зараз…

А неделю спустя в Татарский заявился раненый Прохор Зыков. Его привезли со станции Миллерово на обывательской подводе. Услышав об этом, Аксинья бросила доить корову, припустила к ней телка и, на ходу покрывшись платком, торопливо пошла, почти побежала к зыковскому базу: «Уж Прохор знает, уж он-то должен знать! А что, ежели скажет, что нету Гриши в живых? Как же я тогда?» — думала она дорогой и с каждой минутой все больше замедляла шаги, прижимая руку к сердцу, страшась услышать черную весть.

Прохор встретил ее в горнице, широко улыбаясь, пряча за спину куцый обрубок левой руки.

— Здорово, односумка! Здорово! Живую тебя видать! А мы уж думали, что ты дуба дала в энтом поселке. Ох, и тяжелехонько ж ты лежала… Ну, как он, тифок, прихорашивает вашего брата? А меня вот видишь, как белые-поляки обработали, в рот им дышло! — Прохор показал пустой, завязанный узлом рукав защитной гимнастерки. — Жена увидала, слезьми кричит, а я ей говорю: «Не реви, дура, другим головы отрывает, и то не обижаются, а рука — эка важность! Зараз деревянные приделывают. Энта, по крайней мере, холоду не будет бояться, и обрежешь ее — кровь не пойдет». Беда, что не научился, девка, одной рукой с делами управляться. Штаны не застегну — и шабаш! От самого Киева до дому с расстегнутой мотней ехал. Срам-то какой! Так что ты уж извиняй, ежли непорядок за мной приметишь… Ну, проходи, садись, гостем будешь. Погутарим, пока бабы моей нету. Снарядил ее, анчихриста, за самогонкой. Муж приехал с оторванной рукой, а ей и проздравить его нечем. Все вы такие без мужьев, я вас, чертей мокрохвостых, знаю до тонкостей!

— Ты бы сказал…

— Знаю, скажу. Велел вот как кланяться. — Прохор шутливо поклонился, поднял голову и удивленно шевельнул бровями: — Вот тебе и раз! Чего же ты кричишь, глупая? Все вы, бабы, такие крученые-верченые. Убьют — кричат, живой остался — опять кричат. Утрись, утрись, чего рассопливилась-то? Говорю тебе, живой и здоровый, морду наел во какую! Вместе с ним в Новороссийском поступили в Конную армию товарища Буденного, в Четырнадцатую дивизию. Принял наш Григорий Пантелевич сотню, то бишь эскадрон, я, конешно, при нем состою, и пошли походным порядком под Киев. Ну, девка, и дали мы чертей этим белым-полякам! Шли туда, Григорий Пантелевич и говорит: «Немцев рубил, на всяких там австрияках палаш пробовал, неужли у поляков черепки крепше? Сдается мне, их легше рубить, чем своих — русских, как ты думаешь?» — и подмигивает мне, оскаляется. Переменился он, как в Красную Армию заступил, веселый из себя стал, гладкий, как мерин. Ну, не обошлось у нас с ним без семейного скандалу… Раз подъехал к нему и говорю шутейно: «Пора бы привалом стать, ваше благородие — товарищ Мелехов!» Ворохнул он на меня глазами, говорит: «Ты мне эти шутки брось, а то плохо будет». Вечером по какому-то делу подзывает меня, и дернул же черт меня опять обозвать его «благородием»… Как схватится он за маузер! Побелел весь, ощерился, как волк, а зубов у него полон рот, не меньше сотни. Я — коню под пузо да ходу от него. За малым не убил, вот какой чертоломный!

— Что ж он, может, в отпуск… — заикнулась было Аксинья.

— И думать не моги! — отрезал Прохор. — Говорит, буду служить до тех пор, пока

прошлые грехи замолю. Это он проделает — дурачье дело нехитрое… Возле одного местечка повел он нас в атаку. На моих глазах четырех ихних уланов срубил. Он же, проклятый, левша сызмальства, вот он и доставал их с обеих сторон… После боя сам Буденный перед строем с ним ручкался, и благодарность эскадрону и ему была. Вот он какие котелки выкидывает, твой Пантелевич!

Аксинья слушала, как в чаду… Она опомнилась только у мелеховской калитки. В сенях Дуняшка цедила молоко; не поднимая головы, спросила:

— Ты за накваской? А я пообещала принесть, да и забыла. — Но, заглянув в мокрые от слез, сияющие счастьем глаза Аксиньи, она поняла все без слов.

Прижавшись к ее плечу пылающим лицом, задыхаясь от радости, Аксинья шептала:

— Живой и здоровый… Поклон прислал… Иди же! Иди скажи матери!

II

К лету в Татарский возвратилось десятка три казаков из числа ходивших в отступление. В большинстве своем это были старики и служивые старших возрастов, а молодые и средних лет казаки, за вычетом больных и раненых, почти полностью отсутствовали. Часть их была в Красной Армии, остальные — в составе врангелевских полков — отсиживались в Крыму, готовясь к новому походу на Дон.

Добрая половина отступавших навсегда осталась в чужих краях: иные погибли от тифа, другие приняли смерть в последних схватках на Кубани, несколько человек, отбившись от обоза, замерзли в степи за Манычем, двое были захвачены в плен красно-зелеными и пропали без вести… Многих казаков недосчитывались в Татарском. Женщины проводили дни в напряженном и тревожном ожидании и каждый раз, встречая коров на выгоне, подолгу стояли, вглядываясь из-под ладоней — не покажется ли на шляху, задернутом лиловой вечерней марью, запоздалый пешеход?

Приходил домой какой-нибудь оборванный, обовшивевший и худой, но долгожданный хозяин, и в хате начиналась радостная, бестолковая суета: грели воду для черного от грязи служивого, дети наперебой старались услужить отцу и караулили каждое его движение, растерявшаяся от счастья хозяйка то кидалась накрывать на стол, то бежала к сундуку, чтобы достать чистую пару мужниного белья. А бельишко, как на грех, оказывалось незаштопанным, а дрожащие пальцы хозяйки никак не могли продеть нитку в игольное ушко… В эту счастливую минуту даже дворовой собаке, которая издали узнала хозяина и до порога бежала за ним, облизывая ему руки, разрешалось войти в дом; даже за разбитую посуду или пролитое молоко не попадало детям, и любой их проступок сходил безнаказанно… Не успевал хозяин переодеться после купанья, как уже в хату полно набивалось женщин. Приходили узнать о судьбе родных, пугливо и жадно ловили каждое слово служивого. А спустя немного какая-нибудь женщина выходила во двор, прижав ладони к залитому слезами лицу, шла по проулку, как слепая, не разбирая дороги, и вот уж в одном из домишек причитала по мертвому новая вдова и тонко вторили ей плачущие детские голоса. Так было в те дни в Татарском: радость, вступая в один дом, вводила в другой неизбывное горе.

Наутро помолодевший, чисто выбритый хозяин вставал чуть свет, оглядывал хозяйство, примечал, за что надо взяться сразу. После завтрака он уже принимался за дело. Весело шипел рубанок или постукивал топор где-нибудь под навесом сарая, в холодке, словно возвещая, что появились в этом дворе жадные на работу, умелые мужские руки. А там, где накануне

узнали о смерти отца и мужа, глухая тишина стояла в доме и на подворье. Молча лежала придавленная горем мать, и около нее теснились, сбиваясь в кучку, повзрослевшие за одну ночь сироты-дети.

Ильинична, услышав о возвращении кого-либо из хуторных, говорила:

— И когда это наш прийдет! Чужие идут, а про нашего и слуху нет.

— Молодых казаков не спускают, как вы не понимаете, маманя! — с досадой отвечала ей Дуняшка.

— Как это — не спускают? А Тихон Герасимов? Он на год моложе Гриши.

— Он же раненый, маманя!

— Какой он там раненый! — возражала Ильинична. — Вчера видала его возле кузницы, ходит как по струнке. Такие раненые не бывают.

— Был раненый, а зараз на поправке.

— А наш мало был раненый? Все тело его в рубцах, что ж ему и поправка не нужна, по-твоему?

Дуняшка всячески старалась доказать матери, что надеяться на приход Григория сейчас нельзя, но убедить в чем-либо Ильиничну было делом нелегким.

— Замолчи, дура! — приказывала она Дуняшке. — Я не меньше твоего знаю, и ты ишо молода матерю учить. Говорю — должон прийти, значит, прийдет. Ступай, ступай, я с тобой и речей не хочу терять!

Старуха с величайшим нетерпением ждала сына и вспоминала о нем при всяком случае. Стоило только Мишатке оказать ей неповиновение, как она тотчас грозила: «А вот погоди, анчутка вихрастый, прийдет отец, докажу ему, так он тебе всыпет!» Завидев на проезжавшей мимо окон арбе свежевделанные ребра, она вздыхала и непременно говорила: «По справе сразу видно, что хозяин дома, а нашему — как, скажи, кто дорогу домой заказал…» Никогда в жизни Ильинична не любила табачного дыма и всегда выгоняла курцов из кухни, но за последнее время она изменилась и в этом отношении; «Сходи покличь Прохора, — не раз говорила она Дуняшке, — нехай прийдет, выкурит цигарку, а то уже тут мертвежиной воняет. Вот прийдет со службы Гриша, тогда у нас жилым, казачьим духом запахнет…» Каждый день, стряпая, она готовила что-нибудь лишнее и после обеда ставила чугун со щами в печь. На вопрос Дуняшки — зачем она это делает, Ильинична удивленно ответила: «А как же иначе? Может, служивенький наш нынче прийдет, вот он сразу и поест горяченького, а то пока разогреешь, того да сего, а он голодный, небось…» Однажды, придя с бахчи, Дуняшка увидела висевшую на гвозде в кухне старую поддевку Григория и фуражку с выцветшим околышем. Дуняшка вопросительно взглянула на мать, и та, как-то виновато и жалко улыбаясь, сказала: «Это я, Дуняшка, достала из сундука. Войдешь с базу, глянешь, и как-то легше делается… Будто он уже с нами…»

Дуняшке опостылели бесконечные разговоры о Григории. Однажды она не вытерпела, упрекнула мать:

— И как вам, маманя, не надоест все об одном и том же гутарить? Вы уже обрыдли всем с вашими разговорами. Только от вас и послышишь: Гриша да Гриша…

— Как это мне надоест об родном сыне гутарить? Ты народи своих, а тогда узнаешь… — тихо ответила Ильинична.

После этого она унесла из кухни к себе в горницу поддевку и фуражку Григория и несколько дней вслух не вспоминала о сыне. Но незадолго до начала лугового покоса она сказала Дуняшке:

— Вот ты серчаешь, как я вспоминаю об Грише, а как же мы будем без него жить? Об этом ты подумала, глупая? Заходит покос, а у нас и грабельника обтесать некому… Вон как у

нас все поползло, и ничему мы с тобой рахунки не дадим. Без хозяина и товар плачет…

Дуняшка промолчала. Она отлично понимала, что вопросы хозяйства вовсе не так уж тревожат мать, что все это служит только предлогом поговорить о Григории, отвести душу. Ильинична с новой силой затосковала по сыну и скрыть этого не смогла. Вечером она отказалась от ужина и, когда Дуняшка спросила ее, — не захворала ли она? — неохотно ответила:

— Старая я стала… И сердце у меня болит об Грише… Так болит, что ничего мне не мило и глазам глядеть на свет больно…

Но не Григорию пришлось хозяйствовать на мелеховском базу… Перед луговым покосом в хутор приехал с фронта Мишка Кошевой. Он заночевал у дальних родственников и наутро пришел к Мелеховым. Ильинична стряпала, когда гость, вежливо постучав в дверь и не получив ответа, вошел в кухню, снял старенькую солдатскую фуражку, улыбнулся Ильиничне:

— Здорово, тетка Ильинична! Не ждала?

— Здравствуй. А ты кто такой мне, чтобы я тебя ждала? Нашему забору двоюродный плетень? — грубо ответила Ильинична, негодующе глянув в ненавистное ей лицо Кошевого.

Нимало не смущенный таким приемом, Мишка сказал:

— Так уж и плетень… Как-никак знакомые были.

— Только и всего.

— Да больше и не надо, чтобы зайти проведать. Я не жить к вам пришел.

— Этого бы ишо недоставало, — проговорила Ильинична и, не глядя на гостя, принялась за стряпню.

Не обращая внимания на ее слова. Мишка внимательно рассматривал кухню, говорил:

— Зашел проведать, поглядеть, как вы живете… Не видались-то год с лишним.

— Не дюже по тебе соскучились, — буркнула Ильинична, яростно двигая по загнетке чугуны.

Дуняшка прибирала в горнице и, заслышав Мишкин голос, побледнела, безмолвно всплеснула руками. Она вслушивалась в происходивший на кухне разговор, присев на лавку, не шевелясь. На лице Дуняшки то вспыхивал густой румянец, то бледность покрывала щеки так, что на тонкой горбинке носа выступали продольные белые полоски. Она слышала, как твердо прошагал по кухне Мишка, сел на скрипнувший под ним стул, потом чиркнул спичкой. В горницу потянуло папиросным дымком.

— Старик, говорят, помер?

— Помер.

— А Григорий?

Ильинична долго молчала, затем с видимой неохотой ответила:

— В красных служит. Такую ж звезду на шапку нацепил, как и ты.

— Давно бы надо ему нацепить ее…

— Это — его дело.

В голосе Мишки прозвучала явная тревога, когда он спросил:

— А Евдокия Пантелевна?

— Прибирается. Больно ранний ты гость, добрые-то люди спозаранок не ходют.

— Будешь недобрым. Соскучился, вот и пришел. Чего уж тут время выбирать.

— Ох, Михаил, не гневил бы ты меня…

— Чем же я вас, тетушка, гневлю?

— А тем!

— Все-таки, чем же?

— Вот этими своими разговорами!

Дуняшка слышала, как Мишка тяжело вздохнул. Больше она не смогла выдержать: вскочила, оправила юбку, вышла на кухню. Желтый, исхудавший до неузнаваемости, Мишка сидел возле окна, докуривал папиросу. Мутные глаза его оживились, на лице проступил чуть приметный румянец, когда он увидел Дуняшку. Торопливо поднявшись, он хрипло сказал:

— Ну, здравствуй!

— Здравствуй… — чуть слышно ответила Дуняшка.

— Ступай воды принеси, — тотчас приказала Ильинична, мельком взглянув на дочь.

Мишка терпеливо ждал возвращения Дуняшки. Ильинична молчала. Молчал и Мишка, потом затушил в пальцах окурок, спросил:

— Чего вы лютуете на меня, тетушка? Дорогу я вам перешел или что?

Ильинична повернулась от печки, словно ужаленная.

— Как тебе только совесть дозволяет приходить к нам, бесстыжие твои глаза?! — сказала она. — И ты у меня ишо спрашиваешь?! Душегуб ты…

— Это какой же я душегуб?

— Истинный! Кто Петра убил? Не ты?

— Я.

— Ну вот! Опосля этого кто же ты есть? И ты идешь к нам… садишься, как будто… — Ильинична задохнулась, смолкла, но, оправившись, продолжала: — Мать я ему или кто? Как же твои глаза на меня глядят?

Мишка заметно побледнел. Он ждал этого разговора. Слегка заикаясь от волнения, он сказал:

— Не с чего моим глазам зажмуряться! А ежели б Петро меня поймал, что бы он сделал? Думаешь, в маковку поцеловал бы? Он бы тоже меня убил. Не для того мы на энтих буграх сходились, чтобы нянькаться один с другим! На то она и война.

— А свата Коршунова? Старика мирного убивать, это — тоже война?

— А как же? — удивился Мишка. — Конечно, война! Знаю я этих мирных! Такой мирный дома сидит, портки в руках держит, а зла наделает больше, чем иной на позициях… Самое такие, как дед Гришака, и настраивали казаков супротив нас. Через них и вся эта война зачалась! Кто агитацию пущал против нас? Они, вот эти самые мирные. А ты говоришь — «душегуб»… Тоже, нашла душегуба? Я, бывало, ягнока или поросенка не могу зарезать и зараз — знаю, что не зарежу. У меня на эту живность рука не налегает. Другие, бывало, режут — и то я уши заткну и ухожу куда-нибудь подальше, чтобы и не слыхать и не видать.

— А свата…

— Дался вам этот сват! — досадливо перебил Мишка. — От него пользы было, как от козла молока, а вреду много. Говорил ему: выходи из дому, не пошел, ну и лег на том месте. Злой я на них, на этих старых чертей! Животную не могу убить, может, со зла только, а такую, вы меня извиняйте, пакость, как этот ваш сват или другой какой вражина — могу сколько угодно! На них, на врагов, какие зря на белом свете живут, у меня рука твердая!

— Через эту твою твердость ты и высох весь, — язвительно сказала Ильинична. — Совесть небось точит…

— Как бы не так! — добродушно улыбнулся Мишка. — Станет меня совесть точить из-за такого барахла, как этот дед. Меня лихорадка замучила, вытрепала всего начисто, а то бы я их, мамаша…

— Какая я тебе мамаша? — вспыхнула Ильинична. — Сучку кличь мамашей!

— Ну, ты меня не сучи! — глуховато сказал Мишка и зловеще сощурил глаза. — Я подряда не брал всего от тебя терпеть. А говорю тебе, тетка, толком: за Петра не держи на

меня сердце. Сам он нашел, чего искал.

— Душегуб ты! Душегуб! Ступай отсюда, зрить я тебя не могу! — настойчиво твердила Ильинична.

Мишка закурил снова, спокойно спросил:

— А Митрий Коршунов — сват ваш — не душегуб? А Григорий кто? Про сынка-то ты молчишь, а уж он-то душегуб настоящий, без подмесу!

— Не бреши!

— Со вчерашнего дня не брешу. Ну, а кто он, по-твоему? Сколько он наших загубил, об этом ты знаешь? То-то и оно! Коли такое прозвище ты, тетушка, даешь всем, кто на войне был, тогда все мы душегубы. Все дело в том, за что души губить и какие, — значительно сказал Мишка.

Ильинична промолчала, но, видя, что гость и не думает уходить, сурово сказала:

— Хватит! Некогда мне с тобой гутарить, шел бы ты домой.

— У меня домов, как у зайца теремов, — усмехнулся Мишка и встал.

Черта с два его можно было отвадить всякими этими штучками и разговорами! Не такой уж он, Мишка, был чувствительный, чтобы обращать внимание на оскорбительные выходки взбесившейся старухи. Он знал, что Дуняшка его любит, а на остальное, в том числе и на старуху, ему было наплевать.

На следующий день утром он снова пришел, поздоровался как ни в чем не бывало, сел у окна, провожая глазами каждое движение Дуняшки.

— Часто наведываешься… — вскользь бросила Ильинична, не отвечая на Мишкино приветствие.

Дуняшка вспыхнула, взглянула на мать загоревшимися глазами и опустила взгляд, не сказав ни слова. Усмехаясь, Мишка ответил:

— Не к тебе хожу, тетка Ильинична, зря ты горишь.

— Лучше б ты вовсе забыл дорогу к нашему куреню.

— А куда же мне идтить-то? — посерьезнев, спросил Мишка. — По милости вашего свата Митрия остался я один, как глаз у кривого, а в пустой хате бирюком не просидишь. Хочешь ты или не хочешь, тетушка, а ходить я к вам буду, — закончил он и сел поудобнее, широко расставив ноги.

Ильинична внимательно посмотрела на него. Да, пожалуй, такого не так-то просто выставить. Бычье упорство было во всей сутуловатой Мишкиной фигуре, в наклоне головы, в твердо сжатых губах…

После того как он ушел, Ильинична проводила детей во двор, сказала, обращаясь к Дуняшке:

— Чтобы больше и ноги его тут не ступало. Поняла?

Дуняшка, не сморгнув, глянула на мать. Что-то присущее всем Мелеховым на миг появилось в бешеном прищуре ее глаз, когда она, словно откусывая каждое слово, проговорила:

— Нет! Будет ходить! Не закажете! Будет! — И, не выдержав, закрыла лицо передником, выбежала в сени.

Ильинична, тяжело переводя дыхание, присела к окну, долго сидела, молча покачивая головой, устремив невидящий взгляд куда-то далеко в степь, где серебряная под солнцем кромка молодой полыни отделяла землю от неба.

Перед вечером Дуняшка с матерью — не примирившиеся и молчаливые — ставили на огороде у Дона упавший плетень. Подошел Мишка. Он молча взял из рук Дуняшки лопату, сказал:

— Мелко роешь. Ветер дунет, и опять упадет ваш плетень. — И стал углублять ямки для стоянов, потом помог поставить плетень, приклячил его к стоянам и ушел. Утром он принес и поставил возле мелеховского крыльца два только что обструганных грабельника и держак на вилы; поздоровавшись с Ильиничной, деловито спросил:

— Траву в лугу косить думаете? Люди уже поехали за Дон.

Ильинична промолчала. Вместо матери ответила Дуняшка:

— Нам и переехать-то не на чем. Баркас с осени лежит под сараем, рассохся весь.

— Надо бы спустить его весной на воду, — укоризненно сказал Мишка. — Может, его законопатить? Без баркаса вам будет неспособно.

Дуняшка покорно и выжидающе взглянула на мать. Ильинична молча месила тесто и делала вид, будто весь этот разговор ее вовсе не касается.

— Конопи есть у вас? — спросил Мишка, чуть приметно улыбаясь.

Дуняшка пошла в кладовую, принесла охапку конопляных хлопьев.

К обеду Мишка управился с лодкой, зашел в кухню.

— Ну, стянул баркас на воду, нехай замокает. Примкните его к карше, а то как бы кто не угнал. — И снова спросил: — Так как же, тетушка, насчет покоса? Может, пособить вам? Все одно я зараз без дела.

— Вон у нее спроси. — Ильинична кивнула головой в сторону Дуняшки.

— Я у хозяйки спрашиваю.

— Я тут, видно, не хозяйка…

Дуняшка заплакала, ушла в горницу.

— Тогда прийдется пособить, — крякнув, решительно сказал Мишка. — Где тут у вас плотницкий инструмент? Грабли хочу вам поделать, а то старые, должно, негожи.

Он ушел под сарай и, посвистывая, стал выстругивать зубья на грабли. Маленький Мишатка вертелся около него, умоляюще засматривал в глаза, просил:

— Дяденька Михаил, сделай мне маленькие грабли, а то мне некому сделать. Бабуня не умеет, и тетка не умеет… Один ты умеешь, ты хорошо умеешь!

— Сделаю, тезка, ей-богу, сделаю, только отойди трошки, а то как бы тебе стружка в глаза не попала, — уговаривал его Кошевой, посмеиваясь и с изумлением думая: «Ну до чего похож, чертенок… Вылитай батя! И глаза, и брови, и верхнюю губу также подымает… Вот это — работенка!»

Он начал было мастерить крохотные детские граблишки, но закончить не смог: губы его посинели, на желтом лице появилось озлобленное и вместе с тем покорное выражение. Он перестал насвистывать, положил нож и зябко шевельнул плечами.

— Михайло Григорич, тезка, принеси мне какую-нибудь дерюжку, я ляжу, — попросил он.

— А зачем? — поинтересовался Мишатка.

— Захворать хочу.

— На что?

— Эх, до чего ты неотвязный, прямо как репей… Ну, пришло время захворать, вот и все! Неси скорей!

— А грабли мои?

— Потом доделаю.

Крупная дрожь сотрясала Мишкино тело. Стуча зубами, он прилег на принесенную Мишаткой дерюгу, снял фуражку и накрыл ею лицо.

— Это ты уже захворал? — огорченно спросил Мишатка.

— Готов, захворал.

— А чего ты дрожишь?

— Лихорадка меня трясет.

— А на что зубами клацаешь?

Мишка из-под фуражки одним глазом взглянул на своего маленького докучливого тезку, коротко улыбнулся и перестал отвечать на его вопросы. Мишатка испуганно посмотрел на него, побежал в курень.

— Бабуня! Дядя Михаил лег под сараем и так дрожит, так дрожит, ажник подсигивает!

Ильинична посмотрела в окно, отошла к столу и долго-долго молчала, о чем-то задумавшись…

— Ты чего ж молчишь, бабуня? — нетерпеливо спросил Мишатка, теребя ее за рукав кофты.

Ильинична повернулась к нему, твердо сказала:

— Возьми, чадунюшка, одеялу и отнеси ему, анчихристу, нехай накроется. Это лихоманка его бьет, болезня такая. Одеялу ты донесешь? — Она снова подошла к окну, глянула во двор, торопливо сказала: — Постой, постой! Не носи, не надо.

Дуняшка накрывала своей овчинной шубой Кошевого и, наклонившись, что-то говорила ему…

После приступа Мишка до сумерек возился с подготовкой к покосу. Он заметно ослабел. Движения его стали вялы и неуверенны, но грабли Мишатке он все же смастерил.

Вечером Ильинична собрала ужинать, усадила за стол детей, не глядя на Дуняшку, оказала:

— Иди, кличь этого… как его… вечерять.

Мишка сел за стол, не перекрестив лба, устало сгорбившись. На желтом лице его, покрытом грязными полосами засохшего пота, отражалось утомление, рука мелко вздрагивала, когда он нес ко рту ложку. Он ел мало и неохотно, изредка равнодушно оглядывая сидевших за столом. Но Ильинична с удивлением заметила, что потухшие глаза «душегуба» теплели и оживлялись, останавливаясь на маленьком Мишатке, огоньки восхищения и ласки на миг вспыхивали в них и гасли, а в углах рта еще долго таилась чуть приметная улыбка. Потом он переводил взгляд, и снова на лицо его тенью ложилось тупое равнодушие.

Ильинична стала исподтишка наблюдать за Кошевым и только тогда увидела, как страшно исхудал он за время болезни. Под серой от пыли гимнастеркой резко и выпукло очерчивались полудужья ключиц, выступами горбились острые от худобы углы широких плеч, и странно выглядел заросший рыжеватой щетиной кадык на ребячески тонкой шее… Чем больше всматривалась Ильинична в сутулую фигуру «душегуба», в восковое лицо его, тем сильнее испытывала чувство какого-то внутреннего неудобства, раздвоенности. И вдруг непрошеная жалость к этому ненавистному ей человеку — та щемящая материнская жалость, которая покоряет и сильных женщин, — проснулась в сердце Ильиничны. Не в силах совладать с новым чувством, она подвинула Мишке тарелку, доверху налитую молоком, сказала:

— Ешь ты, ради бога, дюжей! До того ты худой, что и смотреть-то на тебя тошно… Тоже, жених!

III

В хуторе стали поговаривать о Кошевом и Дуняшке. Одна из баб, встретив как-то

Дуняшку на пристани, спросила с откровенной издевкой: «Аль наняла Михаила в работники? Что-то он у вас с базу не выводится…»

Ильинична на все уговоры дочери упорно твердила: «Хоть не проси, не отдам тебя за него! Нету вам моего благословения!» И только когда Дуняшка заявила, что уйдет к Кошевому, и тут же стала собирать свои наряды, — Ильинична изменила решение.

— Опамятуйся! — испуганно воскликнула она. — Что ж я одна с детишками буду делать? Пропадать нам?

— Как знаете, маманя, а я посмешищем в хуторе не хочу быть, — тихо проговорила Дуняшка, продолжая выкидывать из сундука девичью свою справу.

Ильинична долго беззвучно шевелила губами, потом, тяжело передвигая ноги, пошла в передний угол.

— Ну что же, дочушка… — прошептала она, снимая икону, — раз уж ты так надумала, господь с тобой, иди…

Дуняшка проворно опустилась на колени. Ильинична благословила ее, сказала дрогнувшим голосом:

— Этой иконой меня покойница мать благословляла… Ох, поглядел бы на тебя зараз отец… Помнишь, что говорил он о твоем суженом? Видит бог, как тяжело мне… — И, молча повернувшись, вышла в сени.

Как ни старался Мишка, как ни уговаривал невесту отказаться от венчания, — упрямая девка стояла на своем. Пришлось Мишке скрепя сердце согласиться. Мысленно проклиная все на свете, он готовился к венчанию так, как будто собирался идти на казнь. Ночью поп Виссарион потихоньку окрутил их в пустой церкви. После обряда он поздравил молодых, назидательно сказал:

— Вот, молодой советский товарищ, как бывает в жизни: в прошлом году вы собственноручно сожгли мой дом, так сказать — предали его огню, а сегодня мне пришлось вас венчать… Не плюй, говорят, в колодец, ибо он может пригодиться. Но все же я рад, душевно рад, что вы опомнились и обрели дорогу к церкви Христовой.

Этого уже вынести Мишка не смог. Он молчал в церкви все время, стыдясь своей бесхарактерности и негодуя на себя, но тут яростно скосился на злопамятного попа, шепотом, чтобы не слышала Дуняшка, ответил:

— Жалко, что убег ты тогда из хутора, а то бы я тебя, черт долгогривый, вместе с домом спалил! Понятно тебе, ну?

Ошалевший от неожиданности поп, часто моргая, уставился на Мишку, а тот дернул свою молодую жену за рукав, строго сказал: «Пойдем!» — и, громко топая армейскими сапогами, пошел к выходу.

На этой невеселой свадьбе не пили самогонки, не орали песен. Прохор Зыков, бывший на свадьбе за дружка, на другой день долго отплевывался и жаловался Аксинье:

— Ну, девка, и свадьба была! Михаил в церкви что-то такое ляпнул попу, что у старика и рот набок повело! А за ужином, видала, что было? Жареная курятина да кислое молоко… хотя бы капелюшку самогонки выставили, черти! Поглядел бы Григорий Пантелевич, как сеструшку его просватали!.. За голову взялся бы! Нет, девка, шабаш! Я теперича на эти новые свадьбы не ходок. На собачьей свадьбе и то веселей, там хоть шерсть кобели один на одном рвут, шуму много, а тут ни выпивки, ни драки, будь они, анафемы, прокляты! Веришь, до того расстроился опосля этой свадьбы, что всю ночь не спал, лежал, чухался, как, скажи, мне пригоршню блох под рубаху напустили…

Со дня, когда Кошевой водворился в мелеховском курене, все в хозяйстве пошло по-иному: за короткий срок он оправил изгородь, перевез и сложил на гумне степное сено,

искусно завершив обчесанный стог; готовясь к уборке хлеба, заново переделал полок и крылья на лобогрейке, тщательно расчистил ток, отремонтировал старенькую веялку и починил конскую упряжь, так как втайне мечтал променять пару быков на лошадь, и не раз говорил Дуняшке: «Надо нам обзаводиться лошадью. Оплаканная езда на этих клешнятых апостолах». В кладовой он как-то случайно обнаружил ведерко белил и ультрамарин и тотчас же решил покрасить серые от ветхости ставни. Мелеховский курень словно помолодел, глянув на мир ярко-голубыми глазницами окон.

Ретивым хозяином оказался Мишка. Несмотря на болезнь, он работал не покладая рук. В любом деле ему помогала Дуняшка.

За недолгие дни замужней жизни она заметно похорошела и как будто раздалась в плечах и бедрах. Что-то новое появилось в выражении ее глаз, в походке, даже в манере поправлять волосы. Исчезли ранее свойственные ей неловкая угловатость движений, ребяческая размашистость и живость. Улыбающаяся и притихшая, она смотрела на мужа влюбленными глазами и не видела ничего вокруг. Молодое счастье всегда незряче…

А Ильинична с каждым днем все резче и больнее ощущала подступавшее к ней одиночество. Она стала лишней в доме, в котором прожила почти всю свою жизнь. Дуняшка с мужем работали так, словно на пустом месте создавали собственное гнездо. С ней они ни о чем не советовались и не спрашивали ее согласия, когда предпринимали что-либо по хозяйству; как-то не находилось у них и ласкового слова к старухе. Только садясь за стол, они перебрасывались с ней несколькими незначащими фразами, и снова Ильинична оставалась одна со своими невеселыми мыслями. Ее не радовало счастье дочери, присутствие чужого человека в доме — а зять по-прежнему оставался для нее чужим — тяготило. Сама жизнь стала ей в тягость. За один год потеряв столько близких ее сердцу людей, она жила, надломленная страданием, постаревшая и жалкая. Много пришлось испытать ей горя, пожалуй, даже слишком много. Она была уже не в силах сопротивляться ему и жила, исполненная суеверного предчувствия, что смерть, так часто повадившаяся навещать их семью, еще не раз переступит порог старого мелеховского дома. Примирившись с замужеством Дуняшки, Ильинична хотела лишь одного: дождаться Григория, передать ему детей, а потом навсегда закрыть глаза. За свою долгую и трудную жизнь она выстрадала это право на отдых.

Нескончаемо тянулись длинные летние дни. Жарко светило солнце. Но Ильиничну уже не согревали колючие солнечные лучи. Она подолгу сидела на крыльце, на самом припеке, неподвижная и безучастная ко всему окружающему. Это была уже не прежняя хлопотливая и рачительная хозяйка. Ей ничего не хотелось делать. Все это было ни к чему и казалось теперь ненужным и нестоящим, да и сил не хватало, чтобы трудиться, как в былые дни. Часто рассматривала свои раздавленные многолетней работой руки, мысленно говорила: «Вот уж и отработались мои ручушки… Пора на покой… Зажилась я, хватит… Только бы дождаться Гришеньку…»

Лишь однажды к Ильиничне вернулась, и то ненадолго, прежняя жизнерадостность. По пути из станицы зашел Прохор, еще издали крикнул:

— Магарыч станови, бабка Ильинична! Письмо от сына доставил!

Старуха побледнела. Письмо в ее представлении неизбежно связывалось с новым несчастьем. Но когда Прохор прочитал коротенькое письмо, наполовину состоявшее из поклонов родным и лишь в конце содержавшее приписку о том, что он, Григорий, постарается к осени прийти на побывку, — Ильинична долго ничего не могла сказать от радости. По коричневому лицу ее, по глубоким морщинам на щеках катились мелкие, как бисер, слезинки. Понурив голову, она вытирала их рукавом кофты, шершавой ладонью, а они

все сбегали по лицу и, капая на завеску, пестрили ее, словно частый теплый дождь. Прохор не то что недолюбливал — он прямо-таки не переносил женских слез, поэтому-то он, морщась с нескрываемой досадой, сказал:

— Эк тебя развезло, бабушка! Сколь много у вашего брата, у баб, этой мокрости… Радоваться надо, а не кричать. Ну, пошел я, прощевай! Приятности мне мало на тебя глядеть.

Ильинична спохватилась, остановила его.

— За такую-то весточку, милушка ты мой… Как же это я так… Постой-ка угощу тебя… — бессвязно бормотала она, доставая из сундука хранившуюся с давних пор бутылку самогона.

Прохор присел, разгладил усы.

— Ты-то выпьешь со мной на радостях? — спросил он. И тотчас же с тревогой подумал: «Ну, вот и опять дернул меня черт за язык! Как раз ишо влипнет в часть, а там этой самогонки на одну понюшку…»

Ильинична отказалась. Она бережно свернула письмо, положила его на божницу, но, видно, передумав, снова взяла, подержала в руках и сунула за пазуху, крепко прижала к сердцу.

Дуняшка, вернувшись с поля, долго читала письмо, потом улыбнулась, вздохнула:

— Ох, хотя бы он поскорей пришел! А то вы, маманя, и на себя непохожи стали.

Ильинична ревниво отобрала у нее письмо, опять спрятала за пазуху и, улыбаясь, глядя на дочь прижмуренными лучистыми глазами, сказала:

— Обо мне и собаки не брешут, уж какая есть, а вот младшенький-то вспомнил про матерю! Как он пишет-то! По отчеству, Ильиничной, повеличал… Низко кланяюсь, пишет, дорогой мамаше и еще дорогим деткам, и про тебя не забыл… Ну чего смеешься-то? Дура ты, Дуняшка, чистая дура!

— Так уж, маманя, и улыбнуться мне нельзя! Куда это вы собираетесь?

— На огород пойду, подобью картошку.

— Я сама завтра схожу, сидели бы дома. То вы жалуетесь, что хвораете, а то и дела враз нашли.

— Нет, я пойду… Радость у меня, хочу одна побыть, — призналась Ильинична и по-молодому проворно покрылась платком.

По пути на огород она зашла к Аксинье, сначала для приличия поговорила о посторонних делах, а потом достала письмо.

— Прислал письмецо наш, порадовал матерю, сулится на побывку прийтись. На-кось, соседушка, почитай, и я ишо разок послухаю.

С той поры Аксинье часто приходилось читать это письмо. Ильинична приходила к ней по вечерам, доставала тщательно завернутый в платочек желтый конверт, вздыхая, просила:

— Почитай-ка, Аксиньюшка, что-то мне нынче так темно на сердце, и во сне его видела маленьким, таким, как он ишо в школу ходил…

Со временем буквы, написанные чернильным карандашом, слились, и многих слов вовсе нельзя было разобрать, но для Аксиньи это не составляло затруднения: она так часто читала письмо, что заучила его наизусть. И после, когда тонкая бумага уже превратилась в лохмотья, Аксинья без запинки рассказывала все письмо до последней строчки.

Недели две спустя Ильинична почувствовала себя плохо. Дуняшка была занята на молотьбе, и отрывать ее от работы Ильинична не хотела, но сама стряпать не могла.

— Не встану я нынче. Уж ты как-нибудь одна управляйся, — попросила она дочь.

— А что у вас болит, маманя?

Ильинична разгладила сборки на своей старенькой кофте, — не поднимая глаз, ответила:

— Все болит… Кубыть, все у меня в середке отбито. Смолоду, бывало, покойничек отец

твой разгневается и зачнет меня бить… А кулачья-то у него были железные… По неделе лежала замертво. Вот так и зараз: все у меня ломит, будто избитая я…

— Может, за фельдшером послать Михаила?

— На что он нужен, как-нибудь встану.

Ильинична на другой день действительно поднялась, походила по двору, но к вечеру снова слегла. Лицо ее слегка припухло, под глазами появились отечные мешки. За ночь она несколько раз, опираясь на руки, приподнимала голову с высоко взбитых подушек, часто дышала — ей не хватало дыхания. Потом удушье прошло. Она могла спокойно лежать на спине и даже вставать с постели. Несколько дней провела в состоянии какой-то тихой отрешенности и покоя. Ей хотелось быть одной, и когда приходила проведать ее Аксинья, она скупо отвечала на вопросы и облегченно вздыхала, когда та уходила. Она радовалась, что детишки большую часть дня проводят во дворе и что Дуняшка редко заходит и не тревожит ее всякими вопросами. Она уже не нуждалась ни в чьем сочувствии и утешении. Пришла такая пора, когда властно потребовалось остаться одной, чтобы вспомнить многое из своей жизни. И она, полузакрыв глаза, часами лежала, не шевелясь, только припухшие пальцы ее перебирали складки одеяла, и вся жизнь проходила перед ней за эти часы.

Удивительно, как коротка и бедна оказалась эта жизнь и как много в ней было тяжелого и горестного, о чем не хотелось вспоминать. Почему-то чаще всего в воспоминаниях, в мыслях обращалась она к Григорию. Быть может, потому, что тревога за его судьбу не покидала ее все годы с начала войны и все, что связывало теперь ее с жизнью, заключалось только в нем. Или же тоска по старшему сыну и мужу притупилась, выветрилась со временем, но о них, о мертвых, она вспоминала реже, и виделись они ей как бы сквозь серую туманную дымку. Она неохотно вспоминала молодость, замужнюю свою жизнь. Все это было просто ненужно, ушло так далеко и не приносило ни радости, ни облегчения. И, возвращаясь к прошлому в последних воспоминаниях, она оставалась строгой и чистой. А вот «младшенький» вставал в памяти с предельной, почти осязательной яркостью. Но стоило ей подумать о нем, как сейчас же она начинала слышать свое учащенное сердцебиение. Потом подступало удушье, лицо ее чернело, и она подолгу лежала в беспамятстве, но, отдышавшись, снова думала о нем. Не могла же она забыть своего последнего сына…

Однажды Ильинична лежала в горнице. За окном сияло полуденное солнце. На южной окраине неба в ослепительной синеве величественно плыли белые, вздыбленные ветром облака. Глухо тишину нарушал лишь монотонный, усыпляющий звон кузнечиков. Снаружи под самым окном сохранилась не выжженная солнцем, прижавшаяся к фундаменту трава — полуувядшая лебеда вперемешку с овсюгом и пыреем, — в ней-то, найдя себя приют, и заливались кузнечики. Ильинична прислушалась к их неумолчному звону, уловила проникший в горницу запах нагретой солнцем травы, и перед глазами ее на миг, как видение, возникли опаленная солнцем августовская степь, золотистая пшеничная стерня, задернутое сизой мглой жгуче-синее небо…

Она отчетливо видела быков, пасущихся на полынистой меже, арбу с раскинутым над ней пологом, слышала трескучий звон кузнечиков, вдыхала приторно-горький запах полыни… Она увидела и себя — молодую, рослую, красивую… Вот она идет, спешит к стану. Под ногами ее шуршит, покалывает голые икры стерня, горячий ветер сушит на спине мокрую от пота, вобранную в юбку рубаху, обжигает шею. Лицо ее полыхает румянцем, от прилива крови тонко звенит в ушах. Она придерживает согнутой рукой тяжелые, тугие, налитые молоком груди и, заслышав захлебывающийся детский плач, прибавляет шагу, на ходу расстегивает ворот рубахи.

Обветренные губы ее дрожат и улыбаются, когда она достает из подвешенной к арбе

люльки крохотного смуглого Гришатку. Придерживая зубами мокрый от пота гайтан нательного крестика, она торопливо дает ему грудь, сквозь стиснутые зубы шепчет: «Милый ты мой, сыночек! Расхорош ты мой! Уморила тебя с голоду мать…» Гришатка, все еще обиженно всхлипывая, сосет и больно прихватывает зубенками сосок. А рядом стоит, отбивает косу, молодой черноусый Гришаткин отец. Из-под опущенных ресниц она видит его улыбку и голубые белки усмешливых глаз… Ей трудно дышать от жары, пот стекает со лба и щекочет щеки, и меркнет, меркнет свет перед глазами…

Она очнулась, провела рукой по мокрому от слез лицу и после долго лежала, мучаясь от жесточайшего приступа удушья, временами впадая в беспамятство.

С вечера, когда Дуняшка с мужем уснули, она собрала последние остатки сил, встала, вышла во двор. Аксинья, допоздна разыскивавшая пропавшую из табуна корову, возвращалась домой и видела, как Ильинична, медленно ступая, покачиваясь, прошла на гумно. «Зачем это она, хворая, туда пошла?» — удивилась Аксинья и, осторожно пройдя к граничившему с мелеховским гумном плетню, заглянула на гумно. Светил полный месяц. Со степи набегал ветерок. От прикладка соломы на голый, выбитый каменными катками ток ложилась густая тень. Ильинична стояла, придерживаясь руками за изгородь, смотрела в степь, туда, где, словно недоступная далекая звездочка, мерцал разложенный косарями костер. Аксинья ясно видела озаренное голубым лунным светом припухшее лицо Ильиничны, седую прядь волос, выбившуюся из-под черной старушечьей шальки.

Ильинична долго смотрела в сумеречную степную синь, а потом негромко, как будто он стоял тут же возле нее, позвала:

— Гришенька! Родненький мой! — Помолчала и уже другим, низким и глухим голосом сказала: — Кровинушка моя!..

Аксинья вся содрогнулась, охваченная неизъяснимым чувством тоски и страха, и, резко отшатнувшись от плетня, пошла к дому.

В эту ночь Ильинична поняла, что скоро умрет, что смерть уже подошла к ее изголовью. На рассвете она достала из сундука рубаху Григория, свернула и положила под подушку; приготовила и свое, смертное, во что ее должны были обрядить после последнего вздоха.

Утром Дуняшка, как всегда, зашла проведать мать. Ильинична достала из-под подушки аккуратно свернутую рубаху Григория, молча протянула ее Дуняшке.

— Что это? — удивленно спросила Дуняшка.

— Гришина рубаха… Отдай мужу, нехай носит, на нем его старая-то, небось, сопрела от пота… — чуть слышно проговорила Ильинична.

Дуняшка увидела лежавшие на сундуке черную материну юбку, рубаху и матерчатые чирики — все, что надевают на покойниц, провожая их в дальний путь, — увидела и побледнела:

— Что это вы, маманюшка, смертное приготовили? Приберите его, ради Христа! Господь с вами, рано вам об смерти думать.

— Нет, пора мне… — прошептала Ильинична. — Мой черед… Детишек береги, соблюдай, пока Гриша возвернется… А я уж его, видно, не дождуся… Ох, не дождуся!

Чтобы Дуняшка не видела ее слез, Ильинична отвернулась к стене и закрыла лицо платком.

Через три дня она умерла. Сверстницы Ильиничны обмыли ее тело, обрядили в смертное, положили на стол в горнице. Вечером Аксинья пришла попрощаться с покойной. Она с трудом узнала в похорошевшем и строгом лице мертвой маленькой старушки облик прежней гордой и мужественной Ильиничны. Прикоснувшись губами к желтому холодному лбу покойной, Аксинья заметила знакомую ей непокорную, выбившуюся из-под беленького

головного платочка седую прядь волос и крохотную круглую, совсем как у молодой, раковинку уха.

С согласия Дуняшки Аксинья увела детей к себе. Она накормила их — молчаливых и напуганных новой смертью, — уложила спать с собой. Странное чувство испытывала она, обнимая прижавшихся к ней с обеих сторон, притихших детишек родного ей человека. Вполголоса она стала рассказывать им слышанные в детстве сказки, чтобы хоть чем-нибудь развлечь их, увести от мысли о мертвой бабушке. Тихо, нараспев, досказывала она сказку о бедном сиротке Ванюшке:

Гуси-лебеди,
Возьмите меня
На белы крылышки,
Унесите меня
На родимую
На сторонушку…

И не успела закончить сказку, как услышала ровное мерное дыхание детишек. Мишатка лежал с краю, плотно прижавшись лицом к ее плечу. Аксинья движением плеча осторожно поправила его запрокинувшуюся голову и вдруг ощутила на сердце такую безжалостную, режущую тоску, что горло ее перехватила спазма. Она заплакала тяжело и горько, вздрагивая от сотрясавших ее рыданий, но она даже не могла вытереть слез: на руках ее спали дети Григория, а ей не хотелось их будить.

IV

После смерти Ильиничны Кошевой, оставшийся в доме единственным и полновластным хозяином, казалось бы, должен был с еще большим усердием взяться за переустройство хозяйства, за дальнейшее его расширение, но на деле вышло не так: с каждым днем Мишка работал все менее охотно, все чаще уходил из дому, а вечерами допоздна сидел на крыльце, курил, размышлял о чем-то своем. Дуняшка не могла не заметить происходившей с мужем перемены. Она не раз с удивлением наблюдала, как Мишка, ранее трудившийся с полным самозабвением, вдруг ни с того ни с сего бросал топор или рубанок и садился где-либо в сторонке отдыхать. То же самое было в поле, когда сеяли озимую рожь: пройдет Мишка два гона, остановит быков, свернет цигарку и долго сидит на пашне, покуривает, морщит лоб.

Унаследовавшая от отца практическую сметку, Дуняшка с тревогой думала: «Ненадолго его хватило… Либо хворает, либо просто приленивается. Беды я наберусь с таким муженьком! Как, скажи, он у чужих людей живет: полдня курит, полдня чухается, а работать некогда… Надо с ним потолковать потихоньку, чтобы не осерчал, а то, ежели он будет и дальше так стараться в хозяйстве, нужду из дома и лопатой не выгребешь…»

Однажды Дуняшка осторожно спросила:

— Что-то ты не такой стал, Миша, аль хворость тебя одолевает?

— Какая там хворость! Тут без хворости тошно, — с досадой ответил Мишка и тронул быков, пошел за сеялкой.

Дуняшка сочла неудобным продолжать расспросы: в конце концов не бабье это дело — учить мужа. На том разговор и кончился.

Дуняшка ошибалась в своих догадках. Единственной причиной, мешавшей Мишке работать с прежним старанием, было росшее в нем с каждым днем убеждение, что преждевременно осел он в родном хуторе. «Рановато я взялся за хозяйство, поспешил…» — с

досадой думал Мишка, читая в окружной газете сводки с фронтов или слушая по вечерам рассказы демобилизованных казаков-красноармейцев. Но особенно тревожило его настроение хуторян: некоторые из них открыто говорили, что Советской власти к зиме будет конец, что Врангель вышел из Таврии и вместе с Махно подходит уже к Ростову, что союзники высадили в Новороссийске огромный десант… Слухи, один нелепей другого, распространялись по хутору. Казаки, вернувшиеся из концентрационных лагерей и с рудников, успевшие за лето отъесться на домашних харчах, держались особняком, по ночам пили самогон, вели какие-то свои разговоры, а встречаясь с Мишкой, с деланным равнодушием спрашивали: «Ты газетки прочитываешь, Кошевой, расскажи, как там, Врангеля скоро прикончат? И верно это или брехня, что союзники опять на нас прут?»

Как-то под воскресенье вечером пришел Прохор Зыков. Мишка только что вернулся с поля, умывался, стоя возле крыльца. Дуняшка лила ему воду из кувшина на руки, с улыбкой смотрела на худую загорелую шею мужа. Прохор, поздоровавшись, сел на нижней ступеньке крыльца, спросил:

— Про Григория Пантелевича ничего не слыхать?

— Нет, — ответила Дуняшка, — не пишет.

— А ты по нем соскучился? — Мишка вытер лицо и руки, без улыбки глянул в глаза Прохора.

Прохор вздохнул, поправил порожний рукав рубахи.

— Само собой. Вместе всю службу сломали.

— И сызнова думаете доламывать?

— Чего это?

— Ну, службу.

— Мы с ним свое отслужили.

— А я думал, что ты его ждешь не дождешься опять служить, — все так же без улыбки продолжал Мишка. — Опять воевать против Советской власти…

— Ну, это ты зря, Михаил, — обиженно проговорил Прохор.

— Чего же зря? Слышу я про всякие разговорчики, какие по хутору ходят.

— Либо я говорил такое? Где это ты слыхал?

— Не ты, а такие вот, вроде тебя с Григорием, какие все «своих» ждут.

— Я этих «своих» не жду, мне все одинаковые.

— Вот и плохо, что тебе все одинаковые. Пойдем в хату, не обижайся, это я шутейно говорил.

Прохор неохотно поднялся по крыльцу и, переступив порог сеней, сказал:

— Шутки твои, браток, не дюже веселые… Об старом забывать надо. Я за это старое оправдался.

— Старое не все забывается, — сухо сказал Мишка, садясь за стол. — Присаживайся вечерять с нами.

— Спасибо. Конешно, не все забывается. Вот руки я лишился — и рад бы забыть, да оно не забывается, кажный секунд об этом помнишь.

Дуняшка, накрывая на стол и не глядя на мужа, спросила:

— Что ж, по-твоему, кто в белых был, так им и сроду не простится это?

— А ты как думала?

— А я так думала, что кто старое вспомянет, тому, говорят, глаз вон.

— Ну, это, может, так по Евангелию гласит, — холодно сказал Мишка. — А по-моему, должон человек всегда отвечать за свои дела.

— Власть про это ничего не говорит, — тихо сказала Дуняшка.

Ей не хотелось вступать в пререкания с мужем при постороннем человеке, но в душе она была обижена на Михаила за его, как казалось ей, неуместную шутку с Прохором и за ту неприязнь к брату, которую он открыто выказал.

— Тебе она, власть, ничего не говорит, ей с тобой не об чем разговаривать, а за службу в белых надо отвечать перед советским законом.

— И мне, стал быть, отвечать? — поинтересовался Прохор.

— Твое дело телячье: поел да в закуток. С денщиков тут не спрашивают, а вот Григорию придется, когда заявится домой. Мы у него спросим за восстание.

— Ты, что ли, будешь спрашивать? — Дуняшка, сверкнув глазами, поставила на стол миску с молоком.

— И я спрошу, — спокойно ответил Мишка.

— Не твое это дело… Без тебя найдутся спрашивальщики. Он в Красной Армии заслужил себе прощение.

Голос Дуняшкин вздрагивал. Она села к столу, перебирая пальцами оборки завески. Мишка, словно он и не заметил волнения, охватившего жену, с тем же спокойствием продолжал:

— Мне тоже интересно спросить. А насчет прощения погодить надо… Надо ишо разглядеть, как он его заслужил. Нашей крови он пролил немало. Ишо примерить надо, чья кровь переважит…

Это был первый разлад за время их совместной жизни с Дуняшкой. В кухне стояла неловкая тишина. Мишка молча хлебал молоко, изредка вытирая рушником губы. Прохор курил, посматривая на Дуняшку. Потом он заговорил о хозяйстве. Посидел еще с полчаса. Перед уходом спросил:

— Кирилл Громов пришел. Слыхал?

— Нет. Откуда он явился?

— Из красных. Тоже в Первой Конной был.

— Это он у Мамонтова служил?

— Он самый.

— Лихой вояка был, — усмехнулся Мишка.

— Куда там! По грабежу первый был. Легкая у него рука на это.

— Рассказывали про него, будто он пленных рубил без милости. За ботинки солдатские убивал. Убьет — одними ботинками пользуется.

— Был такой слух, — подтвердил Прохор.

— Его тоже надо прощать? — вкрадчиво спросил Мишка. — Бог, дескать, прощал врагов и нам велел, или как?

— Да ить как сказать… А что ты с него возьмешь?

— Ну, я бы взял… — Мишка прищурил глаза. — Я бы так с него взял, что он опосля этого и дух выпустил! Да он от этого не уйдет. В Вешках Дончека есть, она его приголубит.

Прохор улыбнулся, сказал:

— Вот уж истинно, что горбатого могила выпрямит. Он и из Красной Армии пришел с грабленым добром. Моей бабе его жененка похвалялась, что какую-то пальто женскую ей принес, сколько там платьев и разного другого добра. Он в бригаде Маслака был и оттуда подался домой. Не иначе он дезиком заявился, оружие с собой принес.

— Какое оружие? — заинтересовался Мишка.

— Понятно какое: укороченную карабинку, ну, наган, может, ишо что-нибудь.

— В Совет он ходил регистрироваться, не знаешь?

Прохор рассмеялся, махнул рукой:

— Его туда и на аркане не затянешь! Я так гляжу, что он в бегах. Он не нынче-завтра из дому смотается. Вот Кирилл, по всему видать, ишо думает воевать, а ты на меня грешил. Нет, браток, я свое отвоевал, наелся этого добра по самую завязку.

Прохор вскоре ушел. Спустя немного вышел во двор и Мишка. Дуняшка покормила детей и только что собралась ложиться, как вошел Мишка. В руках он держал что-то завернутое в мешковину.

— Куда тебя черти носили? — неласково спросила Дуняшка.

— Свое приданое доставал, — беззлобно улыбнулся Мишка.

Он развернул заботливо упакованную винтовку, распухший от патронов подсумок, наган и две ручные гранаты. Все это сложил на лавку и осторожно нацедил в блюдце керосину.

— Откуда это? — Дуняшка движением бровей указала на оружие.

— Мое, с фронта.

— А где же ты его хоронил?

— Где бы ни хоронил, а вот соблюл в целости.

— Вот ты, оказывается, какой потаенный… И не сказал ничего. От жены и то хоронишься?

Мишка, с деланной беззаботностью улыбаясь и явно заискивая, сказал:

— И на что это тебе было знать, Дуняшка? Это дело не бабье. Нехай оно — это имение — лежит, оно, девка, в доме не лишнее.

— А к чему ты его в хату приволок? Ты же законником стал, все знаешь… А за это тебе не прийдется по закону отвечать?

Мишка посуровел с виду, сказал:

— Ты дура! Когда Кирюшка Громов оружие приносит — это Советской власти вред, а когда я приношу — окромя пользы, Советской власти от этого ничего не будет. Понимаешь ты? Перед кем же я могу быть в ответе? Болтаешь ты бог знает что, ложись, спи!

Он сделал единственно правильный, по его мнению, вывод: если уж белые недобитки приходят с оружием, то ему надо быть настороже. Он тщательно прочистил винтовку и наган, а наутро, чуть свет, пешком отправился в Вешенскую.

Дуняшка, укладывая ему харчи в подсумок, с досадой и горечью воскликнула:

— Ты все со мной в молчанку играешь? Скажи хоть, надолго ли идешь и по какому делу? Что это за черт, за жизня! Собрался идти — и слова от него не добьешься!.. Муж ты мне или пришей-пристебай?

— Иду в Вешки, на комиссию, чего я тебе ишо скажу? Вернусь, тогда все узнаешь.

Придерживая рукой подсумок, Мишка спустился к Дону, сел в баркас и ходко погнал его на ту сторону.

В Вешенской после осмотра на врачебной комиссии доктор коротко сказал Мишке:

— Не годитесь вы, дорогой товарищ, для службы в рядах Красной Армии. Очень вас малярия истрепала. Лечиться надо, а то будет плохо. Такие Красной Армии не нужны.

— А какие же ей нужны? Два года служил, а теперь не нужен стал?

— Нужны прежде всего здоровые люди. Станете здоровым — и вы понадобитесь. Возьмите рецепт, в аптеке получите хинин.

— Та-а-ак, все понятно. — Кошевой надевал гимнастерку, словно хомут на норовистую лошадь: все никак не мог просунуть голову в воротник, штаны застегнул уже на улице и прямиком направился в окружной комитет партии.

…Вернулся в Татарский Мишка председателем хуторского ревкома. Наскоро поздоровавшись с женой, сказал:

— Ну, теперь поглядим!

— Ты об чем это? — удивленно спросила Дуняшка.

— Все об том же.

— Об чем?

— Председателем меня назначили. Понятно?

Дуняшка горестно всплеснула руками. Она хотела что-то сказать, но Мишка не стал ее слушать, он оправил перед зеркалом ремень на вылинявшей защитной гимнастерке и зашагал в Совет.

Председателем ревкома с самой зимы был старик Михеев. Подслеповатый и глухой, он тяготился своими обязанностями и с превеликой радостью узнал от Кошевого о том, что пришла ему смена.

— Вот бумажки, соколик ты мой, вот хуторская печать, бери их, ради Христа, — говорил он с непритворной радостью, крестясь и потирая руки. — Восьмой десяток мне, сроду в должности не ходил, а тут вот на старости годов пришлось… Это самое ваше молодое дело; а мне где уж там! И недовижу и недослышу… Богу молиться пора, а меня председателем назначили…

Мишка бегло просмотрел предписания и приказы, присланные станичным ревкомом, спросил:

— Секретарь где?

— Ась?

— Э, черт, секретарь где, говорю?

— Секельтарь? Житу сеет. Он, пострели его гром, в неделю раз сюда заходит. Иной раз из станицы прийдет бумага, какую надо почитать, а его и с собаками не сыщешь. Так и лежит важная бумага по скольку дней нечитаная. А из меня грамотей плохой, ох, плохой! Со трудом расписываюсь, а читать вовсе не могу, только и могу, что печать становить…

Сдвинув брови, Кошевой рассматривал ошарпанную комнату ревкома, украшенную одним стареньким, засиженным мухами плакатом.

Старик до того обрадовался неожиданному увольнению, что даже отважился на шутку: передавая Кошевому завернутую в тряпицу печать, сказал:

— Вот и все хуторское хозяйство, денежных суммов нету, а насеки атаманской при Советской власти иметь не полагается. Коли хочешь — свой стариковский костыль могу отдать. — И протянул, беззубо улыбаясь, отполированную ладонями ясеневую палку.

Но Кошевой не был расположен к шуткам. Еще раз оглядел жалкую в своей неприглядности комнату ревкома, нахмурился и со вздохом сказал:

— Будем считать, дед, что дела от тебя я принял. Теперь катись отседова к едреной бабушке, — и выразительно показал глазами на дверь.

А потом сел за стол, широко расставил локти и долго сидел в одиночестве, стиснув зубы, выставив вперед нижнюю челюсть. Боже мой, каким же сукиным сыном был он все это время, когда рылся в земле, не поднимая головы и по-настоящему не вслушиваясь в то, что творилось кругом… Злой донельзя на себя и на все окружающее, Мишка встал из-за стола, оправил гимнастерку, сказал, глядя в пространство, не разжимая зубов:

— Я вам, голуби, покажу, что такое Советская власть!

Дверь он плотно прикрыл, накинув цепку на пробой, зашагал через площадь к дому. Около церкви встретил подростка Обнизова, небрежно кивнул ему головой, прошел мимо и, вдруг озаренный догадкой, повернулся, окликнул:

— Эй, Андрюшка! Постой-ка, пойди сюда!

Белобрысый, застенчивый паренек молча подошел к нему. Мишка, как взрослому, протянул ему руку, спросил:

— Ты куда направился? На энтот край? Ну-ну, гуляешь, значит? По делу? Вот что я у тебя хочу спросить: ты вроде в высшем начальном учился? Учился? Это хорошо. А канцелярию-то знаешь?

— Какую?

— Ну, обыкновенную. Разные там уходящие-выходящие знаешь?

— Ты про что говоришь, товарищ Кошевой?

— Ну, про бумажки, какие бывают. Ты это знаешь? Ну, бывают уходящие, а бывают всякие другие. — Мишка неопределенно пошевелил пальцами и, не дожидаясь ответа, твердо сказал: — Ежли не знаешь, потом выучишься. Я зараз председатель хуторского ревкома, а тебя — как грамотного парнишку — назначаю секретарем. Иди в помещение ревкома и карауль там дела, они все на столе лежат, а я вскорости вернусь. Понятно?

— Товарищ Кошевой!

Мишка махнул рукой, нетерпеливо сказал:

— Это потом мы с тобой потолкуем, иди занимай должность. — И медленно, размеренным шагом пошел по улице.

Дома он надел новые шаровары, сунул в карман наган и, тщательно поправляя перед зеркалом фуражку, сказал жене:

— Схожу тут в одно место по делу. Ежли кто будет спрашивать, где, мол, председатель, — скажи, что скоро возвернется.

Должность председателя кое к чему обязывала… Мишка шел медленно и важно; походка его была столь необычна, что кое-кто из хуторных при встрече останавливался и с улыбкой смотрел ему вслед. Прохор Зыков, повстречавшийся ему в переулке, с шутливой почтительностью попятился к плетню, спросил:

— Да ты что это, Михаил? В будний день во все доброе вырядился и выступаешь, как на параде… Уж не сызнова ли свататься идешь?

— Вроде этого, — ответил Мишка, значительно сжав губы.

Около ворот громовского база он, не останавливаясь, полез в карман за кисетом, зорко оглядел широкое подворье, разбросанные по нему дворовые постройки, окна куреня.

Мать Кирилла Громова только что вышла из сеней. Откинувшись назад, она несла таз с мелко нарезанными кусками кормовой тыквы. Мишка почтительно поздоровался с ней, шагнул на крыльцо:

— Дома Кирилл, тетенька?

— Дома, дома, проходи, — сторонясь, сказала старуха.

Мишка вошел в темные сени, в полутьме нащупал дверную ручку.

Кирилл сам открыл ему дверь в горницу, отступил на шаг. Чисто выбритый, улыбающийся и слегка хмельной, он окинул Мишку коротким изучающим взглядом, непринужденно сказал:

— Ишо один служивый! Проходи, Кошевой, садись, гостем будешь. А мы тут выпиваем, так, по маленькой…

— Хлеб-соль да сладкая чарка. — Мишка пожал руку хозяина, оглядывая сидевших за столом гостей.

Приход его был явно не ко времени. Широкоплечий незнакомый Михаилу казак, развалившийся в переднем углу, коротко и вопросительно взглянул на Кирилла, отодвинул стакан. Сидевший по ту сторону стола Ахваткин Семен — дальний родственник Коршуновых, увидев Михаила, нахмурился и отвел глаза.

Хозяин пригласил Мишку к столу.

— Спасибо за приглашение.

— Нет, ты садись, не обижай, выпей с нами.

Мишка присел к столу. Принимая из рук хозяина стакан с самогонкой, кивнул головой:

— С прибытием тебя, Кирилл Иванович!

— Спасибо. Ты-то давно из армии?

— Давно. Успел обжиться.

— И обжиться и жениться, говорят, успел? Да ты что же это кривишь душой? Пей по всей!

— Не хочу. У меня к тебе дело есть.

— Это уж нет! Это ты не балуйся! Нынче я об делах не гутарю. Нынче я гуляю с друзьями. Ежли ты по делу, приходи завтра.

Мишка встал из-за стола, спокойно улыбаясь, сказал:

— Оно и дело пустяшное, да не терпит. Давай выйдем на минутку.

Кирилл, поглаживая тщательно закрученные черные усы, некоторое время молчал, потом встал:

— Может, тут скажешь? Чего же мы будем компанию рушить?

— Нет, давай выйдем, — сдержанно, но настойчиво попросил Мишка.

— Да выйди ты с ним, чего торгуетесь? — сказал незнакомый Мишке широкоплечий казак.

Кирилл неохотно пошел в кухню. Жене, хлопотавшей у печи, шепнул:

— Выйди отседова, Катерина! — И, садясь на лавку, сухо спросил: — Какое дело?

— Ты сколько дней дома?

— А что?

— Сколько, спрашиваю, дома живешь?

— Четвертый день, кажись.

— А в ревком заходил?

— Нет пока.

— А в Вешки думаешь идти, в военкомат?

— Ты к чему это гнешь? Ты по делу пришел, так об деле и говори.

— Я об деле и говорю.

— Тогда ступай ты к черту! Ты что такое есть за кочка на ровном месте, что я тебе должен отчет давать?

— Я председатель ревкома. Покажи удостоверение из части.

— Во-о-он что! — протянул Кирилл и острыми потрезвевшими глазами глянул в зрачки Михаила. — Во-о-он ты куда!

— Туда самое. Давай удостоверение!

— Нынче приду в Совет и принесу.

— Сейчас давай!

— Оно у меня где-то прибратое.

— Найди.

— Нет, зараз не буду искать. Ступай домой, Михаил, ступай от скандалу.

— У меня с тобой скандал короткий… — Мишка положил руку в правый карман. — Одевайся!

— Брось, Михаил! Ты меня лучше не трогай…

— Пойдем, я тебе говорю!

— Куда?

— В ревком.

— Мне что-то не хочется. — Кирилл побледнел, но говорил, насмешливо улыбаясь.

Качнувшись влево, Мишка вытащил из кармана наган, взвел курок.

— Ты пойдешь или нет? — спросил он тихо.

Кирилл молча шагнул к горнице, но Мишка стал ему на пути, глазами указал на дверь в сени.

— Ребята! — с деланной непринужденностью крикнул Кирилл. — Меня тут вроде арестовали! Допивайте водку без меня!

Дверь из горницы широко распахнулась, Ахваткин ступил было через порог, но, увидев направленный на него наган, поспешно отшатнулся за притолоку.

— Иди, — приказал Мишка Кириллу.

Тот вразвалку пошел к выходу, лениво взялся за скобу и вдруг одним прыжком перемахнул сени, бешено хлопнул наружной дверью, прыгнул с крыльца. Пока он, пригибаясь, бежал через двор к саду, — Мишка выстрелил по нему два раза и не попал. Положив ствол нагана на локоть согнутой левой руки, широко расставив ноги, Мишка тщательно целился. После третьего выстрела Кирилл как будто споткнулся, но, оправившись, легко прыгнул через плетень. Мишка сбежал с крыльца. Вслед ему из дома грохнул сухой и отрывистый винтовочный выстрел. Впереди, в побеленной стене сарая пуля выхватила глину и, цокнув, осыпала на землю серые каменные брызги.

Кирилл бежал легко и быстро. Согнутая фигура его мелькала между зелеными шатрами яблонь. Мишка перепрыгнул плетень, упал, лежа выстрелил по убегающему еще два раза и повернулся лицом к дому. Наружная дверь была широко распахнута. На крыльце стояла мать Кирилла, козырьком приложив к глазам ладонь, смотрела в сад. «Надо было его без разговоров стрелять на месте!» — тупо подумал Мишка. Он еще несколько минут лежал под плетнем, посматривая на дом, и каким-то размеренным, механическим движением счищал прилипшую к коленям грязь, а потом встал, тяжело перелез через плетень и, опустив дуло нагана, пошел к дому.

V

Вместе с Кириллом Громовым скрылись Ахваткин и тот незнакомый казак, которого видел Кошевой, когда пришел к Громовым. В ночь еще двое казаков исчезли из хутора. Из Вешенской в Татарский приехал небольшой отряд Дончека. Кое-кого из казаков арестовали, четырех, явившихся из частей без документов, направили в Вешенскую в штрафную роту.

Кошевой целыми днями просиживал в ревкоме, в сумерках приходил домой, возле кровати клал заряженную винтовку, наган засовывал под подушку и ложился спать не раздеваясь. На третий день после случая с Кириллом он сказал Дуняшке:

— Давай спать в сенцах.

— Чего ради? — изумилась Дуняшка.

— В окно могут стрельнуть. Кровать возле окна.

Дуняшка молча переставила кровать в сени, а вечером спросила:

— Что ж, так и будем на заячьем положении жить? И зима прийдет, а мы все будем в сенцах ютиться?

— До зимы далеко, а пока прийдется так жить.

— И докуда же это «пока» будет?

— Пока Кирюшку не шлепну.

— Так он тебе лоб и подставил!

— Когда-нибудь подставит, — уверенно ответил Мишка.

Но расчеты его не оправдались: Кирилл Громов, скрывшийся вместе со своими приятелями где-то за Доном, — услышав о приближении Махно, перебрался на правую сторону Дона и отправился в станицу Краснокутскую, где, по слухам, оказались передовые отряды махновской банды. Ночью он побывал в хуторе, на улице случайно встретил Прохора Зыкова и приказал передать Кошевому, что, мол, Громов низко кланяется и просит ждать в гости. Прохор утром рассказал Мишке о встрече и разговоре с Кириллом.

— Что ж, пусть является. Один раз ушел, а в другой уже не вырвется. Научил он меня, как с ихним братом надо обходиться, и за это спасибо, — сказал Мишка, выслушав рассказ.

Махно действительно появился в пределах Верхнедонского округа. Под хутором Коньковом в коротком бою он разбил пехотный батальон, высланный ему навстречу из Вешенской, но на окружной центр не пошел, а двинулся к станции Миллерово, севернее ее пересек железную дорогу и ушел по направлению к Старобельску. Наиболее активные белогвардейцы-казаки примкнули к нему, но большинство их остались дома, выжидая.

Все так же настороженно жил Кошевой, внимательно присматриваясь ко всему, что происходило в хуторе. А жизнь в Татарском была не очень-то нарядная. Казаки усердно поругивали Советскую власть за все те нехватки, которые приходилось им испытывать. В крохотной лавчонке недавно организованного ЕПО [75] почти ничего не было. Мыло, сахар, соль, керосин, спички, махорка, колесная мазь — все эти предметы первой необходимости отсутствовали в продаже, и на голых полках сиротливо лежали одни дорогие асмоловские папиросы да кое-что из скобяных товаров, на которые месяцами не находилось покупателя.

Вместо керосина по ночам жгли в блюдцах топленое коровье масло и жир. Махорку заменял доморощенный табак — самосад. В широком ходу за отсутствием спичек были кремни и наспех выделываемые кузнецами стальные кресала. Трут вываривали в кипятке с подсолнечной золой, чтобы скорее загорался, но все же с непривычки огонь добывался трудно. Не раз Мишка, по вечерам возвращаясь из ревкома, наблюдал, как курцы, собравшись где-нибудь на проулке в кружок и дружно высекая из кремней искры, вполголоса матерно ругались, приговаривали: «Власть Советская, дай огня!» Наконец у кого-либо искра, попавшая в сухой трут, возгоралась, все дружно дули на тлеющий огонек и, закурив, молча присаживались на корточки, делились новостями. Не было и бумаги на раскурку. В церковной караулке растащили все метрические книги, а когда покурили их, по домам пошло на цигарки все, включая старые ребячьи учебники и даже стариковские священные книги.

Прохор Зыков, довольно часто захаживавший на старое мелеховское подворье, разживался у Михаила бумагой на курение, печально говорил:

— У бабы моей крышка на сундуке была обклеена старыми газетами — содрал и покурил. Новый завет был, такая святая книжка, — тоже искурил. Старый завет искурил. Мало этих заветов святые угодники написали… У бабы книжка была поминальная, все сродствие там, живое и мертвое, прописанное, — тоже искурил. Что же, зараз мне надо капустные листья курить али, скажем, лопухи вялить на бумагу? Нет, Михаил, как хочешь, а давай газетку. Я без курева не могу. Я на германском фронте свою пайку хлеба иной раз на восьмушку махорки менял.

Невеселая была жизнь в Татарском в ту осень… Визжали на ходах и арбах неподмазанные колеса, сохла и лопалась без дегтя ременная упряжь и обувка, но скучнее всего было без соли. За пять фунтов соли в Вешенской отдавали татарцы сытых баранов и возвращались домой, кляня Советскую власть и разруху. Эта проклятая соль много огорчений причинила Михаилу… Как-то в Совет пришли старики. Они чинно поздоровались с председателем, сняли шапки, расселись по лавкам.

— Соли нету, господин председатель, — сказал один из них.

— Господ нету зараз, — поправил Мишка.

— Извиняй, пожалуйста, это все по старой привычке… Без господ-то жить можно, а без соли нельзя.

— Так что вы хотели, старики?

— Ты, председатель, хлопочи, чтоб привезли соль. С Маныча на быках ее не навозишься.

— Я докладал об этом в округе. Там это известно. Должны вскорости привезти.

— Пока солнце взойдет — роса очи выест, — сказал один из стариков, глядя в землю.

Мишка вспыхнул, встал из-за стола. Багровый от гнева, он вывернул карманы.

— У меня соли нету. Видите? С собой не ношу и из пальца вам я ее не высосу. Понятно, старики?

— Куда она подевалась, эта соль? — после некоторого молчания спросил кривой старик Чумаков, удивленно оглядывая всех единственным глазом. — Раньше, при старой власти, об ней и речей никто не вел, бугры ее лежали везде, а зараз и щепотки не добудешь…

— Наша власть тут ни при чем, — уже спокойнее сказал Мишка. — Тут одна власть виноватая: бывшая ваша кадетская власть! Это она разруху такую учинила, что даже соль представить, может, не на чем! Все железные дороги побитые, вагоны — то же самое…

Мишка долго рассказывал старикам о том, как белые при отступлении уничтожали государственное имущество, взрывали заводы, жгли склады. Кое-что он видел сам во время войны, кое о чем слышал, остальное же вдохновенно придумал с единственной целью — отвести недовольство от родной Советской власти. Чтобы оградить эту власть от упреков, он безобидно врал, ловчился, а про себя думал: «Не дюже большая беда будет, ежели я на сволочей и наговорю немножко. Все одно они сволочи, и им от этого не убудет, а нам явится польза…»

— Вы думаете, они — эти буржуи — пальцем деланные, что ли? Они не дураки! Они все запасы сахару и соли, огромные тыщи пудов, собрали со всей России и увезли ишо загодя в Крым, а там погрузили на пароходы и — в другие страны, продавать, — блестя глазами, говорил Мишка.

— Что ж они, и мазут весь увезли? — недоверчиво спросил кривой Чумаков.

— А ты думал, дед, тебе оставили? Очень ты им нужен, как и весь трудящийся народ. Они и мазут найдут кому продать! Они бы все с собой забрали, ежели б могли, чтобы народ тут с голоду подыхал.

— Это, конечно, так, — согласился один из стариков. — Богатые — все такие гущееды. Спокон веков известно: чем ни богаче человек, тем он жаднее. В Вешках один купец, когда первое отступление было, все на подводы сложил, все имущество забрал до нитки, и вот уж красные близко подходют, а он все не выезжает с двора, одетый в шубе бегает по куреню, щипцами гвозди из стен вынает. «Не хочу, говорит, им, проклятым, ни одного гвоздя оставить!» Так что нехитро, что они и мазут забрали с собой.

— Так как же все-таки без соли будем? — под конец разговора добродушно спросил старик Максаев.

— Соли наши рабочие скоро новой нароют, а пока можно на Маныч послать подводы, — осторожно посоветовал Мишка.

— Народ не хочет туда ехать. Калмыки там шкодят, соли на озерах не дают, быков грабежом забирают. Один мой знакомец пришел оттуда с одним кнутом. Ночью за Великокняжеской подъехали трое оружейных калмыков, быков угнали, а ему показали на горло: «Молчи, говорят, бачка, а то плохо помрешь…» Вот и поезжай туда!

— Прийдется подождать, — вздохнул Чумаков.

Со стариками Мишка кое-как договорился, но зато дома, и опять-таки из-за соли, вышел

у него с Дуняшкой крупный разговор. Вообще что-то разладилось в их взаимоотношениях…

Началось это с того памятного дня, когда он в присутствии Прохора завел разговор о Григории, да так эта небольшая размолвка и не забылась. Однажды вечером Мишка за ужином сказал:

— Щи у тебя несоленые, хозяйка. Или недосол на столе, а пересол на спине.

— Пересола зараз при этой власти не будет. Ты знаешь, сколько у нас соли осталось?

— Ну?

— Две пригоршни.

— Дело плохое, — вздохнул Мишка.

— Добрые люди ишо летом на Маныч за солью съездили, а тебе все некогда было об этом подумать, — с укором сказала Дуняшка.

— На чем бы это я поехал? Тебя запрягать на первом году замужества как-то неудобно, а бычата нестоящие…

— Ты шуточки оставь до другого раза! Вот как будешь жрать несоленое — тогда пошути!

— Да ты чего на меня взъелась? На самом деле, откуда я тебе этой соли возьму? Вот какой вы, бабы, народ… Хоть отрыгни, да подай вам. А ежли ее нету, этой соли, будь она трижды проклята?

— Люди на быках на Маныч ездили. У них теперь и солка будет и все, а мы будем пресное с кислым жевать…

— Как-нибудь проживем, Дуня. Вскорости должны привезти соль. Аль у нас этого добра мало?

— У вас всего много.

— У кого это, у вас?

— У красных.

— А ты какая?

— Вот такая, какую видишь. Брехали-брехали: «Всего-то у нас будет много, да все будем ровно жить да богато…» Вот оной богачество ваше: щи посолить нечем!

Мишка испуганно посмотрел на жену, побледнел:

— Что это ты, Дуняха! Как ты гутаришь? Да разве можно?

Но Дуняшка закусила удила: она тоже побледнела от негодования и злости и, уже переходя на крик, продолжала:

— А так можно? Чего ты глаза вылупил-то? А ты знаешь, председатель, что у людей уж десны пухнут без соли? Знаешь ты, что люди вместо соли едят? Землю на солонцах роют, ходят ажник за Нечаев курган да в щи кладут эту землю… Об этом ты слыхал?

— Погоди, не шуми, слыхал… Дальше что?

Дуняшка всплеснула руками:

— Куда же дальше-то?

— Переживать-то это как-нибудь надо?

— Ну, и переживай!

— Я-то переживу, а вот ты… А вот у тебя вся ваша мелеховская порода наружу выкинулась…

— Какая это порода?

— Контровая, вот какая! — глухо сказал Мишка и встал из-за стола. Он смотрел в землю, не поднимая на жену глаз; губы его мелко дрожали, когда он говорил: — Ежли ишо раз так будешь говорить — не жить нам с тобой вместе, так и знай! Твои слова — вражьи…

Дуняшка что-то хотела возразить, но Мишка скосил глаза и поднял сжатую в кулак руку.

— Молчи!.. — приглушенно сказал он.

Дуняшка без страха, с нескрываемым любопытством всмотрелась в него, спустя немного спокойно и весело сказала:

— Ну, и ладно, черт те об чем затеялись гутарить… Проживем и без соли! — Она помолчала немного и с тихой улыбкой, которую так любил Мишка, сказала: — Не серчай, Миша! На нас, на баб, ежли за все серчать, так и сердца не хватит. Мало ли чего не скажешь от дурна ума… Ты взвар будешь пить или кислого молока положить тебе?

Несмотря на молодость, Дуняшка была уже умудрена житейским опытом и знала, когда в ссоре можно упорствовать, а когда надо смириться и отступить…

Недели через две после этого от Григория пришло письмо. Он писал, что был ранен на врангелевском фронте и что после выздоровления будет, по всей вероятности, демобилизован. Дуняшка сообщила мужу о содержании письма, осторожно спросила:

— Прийдет он домой, Миша, как же тогда будем жить?

— Перейдем в мою хату. Нехай он один тут живет. Имущество поделим.

— Вместе нам нельзя. Он, по всему видать, Аксинью возьмет.

— Ежли б и можно было, все одно я жить с твоим братцем под одной крышей не стал бы, — резко заявил Мишка.

Дуняшка изумленно подняла брови:

— Почему, Миша?

— Ты же знаешь.

— Это — что он в белых служил?

— Вот-вот, это самое.

— Не любишь ты его… Вы же друзья с ним были!

— На черта он мне сдался — любить его! Были друзья, да только кончилась наша дружба.

Дуняшка сидела за прялкой. Размеренно жужжало колесо. Нитка пряжи оборвалась. Ладонью Дуняшка придержала обод колеса, ссучивая нитку, не глядя на мужа, спросила:

— Прийдет он, что же ему за службу у казаков будет?

— Суд будет. Трибунал.

— А к чему же он его может присудить?

— Ну, уж этого я не знаю, я не судья.

— Могут и к расстрелу присудить?

Мишка посмотрел на кровать, где спали Мишатка с Полюшкой, прислушался к их ровному дыханию, понизив голос, ответил:

— Могут.

Больше Дуняшка ни о чем не спрашивала. Утром, подоив корову, зашла к Аксинье:

— Скоро Гриша приедет, зашла тебя порадовать.

Аксинья молча поставила чугун с водой на загнетку, прижала руки к груди. Глядя на ее вспыхнувшее лицо, Дуняшка сказала:

— А ты не дюже радуйся. Мой говорит, что суда ему не миновать. К чему присудят — бог его знает.

В глазах Аксиньи, увлажненных и сияющих, на секунду мелькнул испуг.

— За что? — отрывисто спросила она, а сама все еще была не в силах согнать с губ запоздавшую улыбку.

— За восстание, за все.

— Брехня! Не будут его судить. Ничего он, твой Михаил, не знает, тоже, знахарь нашелся!

— Может, и не будут. — Дуняшка помолчала, потом сказала, подавив вздох: — Злой он

на братушку… Так мне от этого тяжело на сердце — и сказать не могу! Жалко братушку страшно! Его опять поранили… Вот какая у него жизня нескладная…

— Лишь бы пришел: заберем детей и скроемся куда-нибудь, — взволнованно проговорила Аксинья.

Она зачем-то сняла головной платок, снова покрылась и, бесцельно переставляя посуду на лавке, все никак не могла унять охватившего ее сильного волнения.

Дуняшка заметила, как дрожали ее руки, когда она присела на лавку и стала разглаживать на коленях складки старенького, приношенного передника.

Что-то подступило к горлу Дуняшки. Ей захотелось поплакать одной.

— Не дождалась его маманя… — тихо сказала она. — Ну, я пойду. Надо печь затоплять.

В сенях Аксинья торопливо и неловко поцеловала ее в шею, поймала и поцеловала руку.

— Рада? — прерывающимся низким голосом спросила Дуняшка.

— Так, самую малость, чуть-чуть… — ответила Аксинья, пытаясь за шуткой, за дрожащей улыбкой скрыть проступившие слезы.

VI

На станции Миллерово Григорию — как демобилизованному красному командиру — предоставили обывательскую подводу. По пути к дому он в каждой украинской слободе менял лошадей и за сутки доехал до границы Верхнедонского округа. В первом же казачьем хуторе председатель ревкома — молодой, недавно вернувшийся из армии красноармеец — сказал:

— Прийдется вам, товарищ командир, ехать на быках. Лошадей у нас на весь хутор одна, и та на трех ногах ходит. Всех лошадок на Кубани оставили при отступлении.

— Может, на ней как-нибудь доберусь? — спросил Григорий, постукивая пальцами по столу, испытующе глядя в веселые глаза разбитного председателя.

— Не доберетесь. Неделю будете ехать, и все одно не доедете! Да вы не беспокойтесь, быки есть у нас справные, шаговитые, и нам все одно надо подводу в Вешенскую посылать, телефонный провод отправить, завалялся у нас тут после этой войны; вот вам подводу и менять не придется, до самого дома вас доставит. — Председатель прижмурил левый глаз и, улыбаясь и лукаво подмигивая, добавил: — Дадим вам наилучших быков и в подводчицы — молодую вдовую бабу… Есть у нас тут одна такая зараза, что лучше и во сне не приснится! С ней и не заметите, как дома будете. Сам служил — знаю все это и тому подобную военную нужду…

Григорий молча прикидывал в уме: ждать попутную подводу — глупо, идти пешком — далеко. Надо было соглашаться и ехать на быках.

Через час подошла подвода. Колеса на старенькой арбе визгливо скрипели, вместо задней грядушки торчали обломки, клочьями свисало неряшливо наваленное сено. «Довоевались!» — подумал Григорий, с отвращением глядя на убогую справу. Подвозчица шагала рядом с быками, помахивая кнутом. Она действительно была очень хороша собой и статна. Несколько портила ее фигуру массивная, не по росту, грудь, да косой шрам на круглом подбородке, придавал лицу выражение нехорошей бывалости и словно бы старил смугло-румяное молодое лицо, у переносицы осыпанное мелкими, как просо, золотистыми веснушками.

Поправляя платок, она сощурила глаза, внимательно оглядела Григория, спросила:

— Тебя, что ли, везть?

Григорий встал с крыльца, запахнул шинель.

— Меня. Провод погрузила?

— А я им проклятая грузить? — звонко закричала казачка. — Кажин день в езде да в работе! Таковская я им, что ли? Небось, сами эту проволоку навалят, а нет — так я и порожнем уеду!

Она таскала на арбу мотки провода, громко, но беззлобно переругивалась с председателем и изредка метала на Григория косые изучающие взгляды. Председатель все время посмеивался, смотря на молодую вдову с искренним восхищением. Иногда, подмигивая Григорию, он как бы говорил: «Вот какие у нас бабы есть! А ты не верил!»

За хутором далеко протянулась бурая, поблекшая осенняя степь. От пашни полз через дорогу сизый поток дыма. Пахари жгли выволочки — сухой кустистый жабрей, выцветшую волокнистую брицу. Запах дыма разбудил в Григории грустные воспоминания: когда-то и он, Григорий, пахал зябь в глухой осенней степи, смотрел по ночам на мерцающее звездами черное небо, слушал переклики летевших в вышине гусиных станиц… Он беспокойно заворочался на сене, поглядел сбоку на подводчицу.

— Сколько тебе лет, бабочка?

— Под шестьдесят, — кокетливо ответила она, улыбаясь одними глазами.

— Нет, без шуток.

— Двадцать первый.

— И вдовая?

— Вдовая.

— Куда же мужа дела?

— Убили.

— Давно?

— Второй год пошел.

— В восстание, что ли?

— После него, перед осенью.

— Ну, и как живешь?

— Живу кое-как.

— Скучно?

Она внимательно посмотрела на него, надвинула на губу платок, пряча улыбку. Голос ее зазвучал глуше, и какие-то новые интонации появились в нем, когда она говорила:

— Некогда скучать в работе.

— Без мужа-то скучно?

— Я со свекровью живу, в хозяйстве делов много.

— Без мужа-то как обходишься?

Она повернулась к Григорию лицом. На смуглых скулах ее заиграл румянец, в глазах вспыхнули и погасли рыжеватые искорки.

— Ты про что это?

— Про это самое.

Она сдвинула с губ платок, протяжно сказала:

— Ну, этого добра хватает! Свет не без добрых людей… — И, помолчав, продолжала: — Я с мужем-то и бабьей жизни не успела раскушать. Месяц толечко и пожили, а потом его забрали на службу. Обхожусь кое-как без него. Зараз полегчало, молодые казаки попришли в хутор, а то было плохо. Цоб, лысый! Цоб! Вот так-то, служивенький! Такая моя живуха.

Григорий умолк. Ему, пожалуй, не к чему было вести разговор в таком игривом тоне. Он уже жалел об этом.

Крупные упитанные быки шли все тем же размеренным заплетающимся шагом. У одного из них правый рог был когда-то надломлен и рос, косо ниспадая на лоб. Опираясь на локти, полузакрыв глаза, Григорий лежал на арбе. Он стал вспоминать тех быков, на которых ему в детстве и потом, когда он уже стал взрослым, пришлось работать. Все они были разные по масти, по телосложению, по характеру, даже рога у каждого имели какую-то свою особую форму. Когда-то водился на мелеховском базу бык вот с таким же изуродованным, сбитым набок рогом. Злобный и лукавый, он всегда смотрел искоса, выворачивая иссеченный кровяными прожилками белок, старался лягнуть, когда подходили к нему сзади, и всегда в рабочую пору по ночам, когда пускали скот на попас, норовил уйти домой или — что было еще хуже — скрывался в лесу либо в дальних логах. Часто Григорий верхом на лошади по целым дням разъезжал в степи и, уже изуверившись в том, что когда-либо найдет пропавшего быка, вдруг обнаруживал его где-нибудь в самой теклине буерака, в непролазной гущине терновника, либо в тени, под раскидистой и старой дикой яблоней. Умел этот однорогий дьявол снимать налыгач, ночью поддевал рогом завязку на воротцах скотиньего база, выходил на волю и, переплыв Дон, скитался по лугу. Много неприятностей и огорчений доставил в свое время он Григорию…

— Как этот бык, у какого рог сбитый, смирный? — спросил Григории.

— Смирный. А что?

— Да так просто.

— Оно и «так» доброе слово, ежели нечего больше сказать, — с усмешкой проговорила подводчица.

Григорий промолчал. Ему приятно было думать о прошлом, о мирной жизни, о работе, обо всем, что не касалось войны, потому что эта затянувшаяся на семь лет война осточертела ему до предела, и при одном воспоминании о ней, о каком-либо эпизоде, связанном со службой, он испытывал щемящую внутреннюю тошноту и глухое раздражение.

Он кончил воевать. Хватит с него. Он ехал домой, чтобы в конце концов взяться за работу, пожить с детьми, с Аксиньей. Еще там, на фронте, он твердо решил взять Аксинью в дом, чтобы она воспитывала его детей и постоянно была возле него. С этим тоже надо было кончать — и чем ни скорее, тем лучше.

Григорий с наслаждением мечтал о том, как снимет дома шинель и сапоги, обуется в просторные чирики, по казачьему обычаю заправит шаровары в белые шерстяные чулки и, накинув на теплую куртку домотканый зипун, поедет в поле. Хорошо бы взяться руками за чапиги и пойти по влажной борозде за плугом, жадно вбирая ноздрями сырой и пресный запах взрыхленной земли, горький аромат порезанной лемехом травы. В чужих краях и земля и травы пахнут по-иному. Не раз он в Польше, на Украине и в Крыму растирал в ладонях сизую метелку полыни, нюхал и с тоской думал: «Нет, не то, чужое…»

А подводчице было скучно. Ей хотелось разговаривать. Она бросила погонять быков, села поудобнее и, теребя ременный махор кнута, долго исподтишка рассматривала Григория, его сосредоточенное лицо, полуопущенные глаза. «Он не дюже старый, хоть и седой. И какой-то чудаковатый, — думала она. — Все глаза прижмуряет, чего он их прижмуряет? Как, скажи, уж такой он уморенный, как, скажи, на нем воза возили… А он из себя ничего. Только седых волос много, и усы вон почти седые. А так ничего из себя. Чего он все думает? Сначала стал вроде заигрывать, а потом приутих, чегой-то про быка спросил. Не об чем ему разговаривать, что ли? Или, может, робеет? Не похоже. Глаза у него твердые. Нет, хороший казак, только вот чудной какой-то. Ну и молчи, черт сутулый! Очень ты мне нужен, как же! Я и сама умею молчать! К жене едешь не доедешь. Ну и молчи на доброе здоровье!»

Она привалилась спиной к ребрам арбы, тихо запела.

Григорий поднял голову, посмотрел на солнце. Было еще довольно рано. Тень от прошлогоднего татарника, угрюмо караулившего дорогу, лежала в полшага; было, по всей вероятности, не больше двух часов пополудни.

Словно очарованная, в мертвом молчании лежала степь. Скупо грело солнце. Легкий ветер беззвучно шевелил рыжую, выгоревшую траву. Ни птичьего голоса, ни посвиста сусликов не было слышно вокруг. В холодном бледно-голубом небе не парили коршуны и орлы. И только раз серая тень скользнула через дорогу, и, еще не поднимая головы, Григорий услышал тяжкий мах больших крыльев: пепельно-сизый, блистающий на солнце белым подбоем оперенья, пролетел дудак и сел возле дальнего кургана, там, где не освещенная солнцем падина сливалась с сумеречно-лиловой далью. Только поздней осенью наблюдал, бывало, Григорий в степи такую грустную и глубокую тишину, когда ему казалось, что он слышит, как шуршит по сухой траве подхваченное ветром перекати-поле, далеко-далеко впереди пересекающее степь.

Дороге, казалось, не будет конца. Она вилась по изволоку, спускалась в балку, снова поднималась на гребень бугра. И все такая же — глазом не окинешь — простиралась вокруг глухая, табунная степь.

Григорий залюбовался росшим на склоне буерака кустом черноклена. Опаленные первыми заморозками листья его светились дымным багрянцем, словно присыпанные пеплом угли затухающего костра.

— Как тебя звать, дяденька? — спросила подводчица, тихонько касаясь кнутовищем плеча Григория.

Он вздрогнул, повернулся к ней лицом. Она смотрела в сторону.

— Григорий. А тебя как?

— Меня зовуткой зовут.

— Помолчала бы ты, зовутка.

— Надоело молчать! Полдня молчу, во рту все пересохло. Ты чего такой невеселый, дядя Гриша?

— А чего мне веселиться?

— Домой едешь, должен веселый быть.

— Года мои ушли — веселиться.

— Ишь ты, старик нашелся. А с чего это ты молодой, а седой?

— Все-то тебе надо знать… От хорошей жизни, видно, поседел.

— Ты женатый, дядя Гриша?

— Женатый. Тебе, зовутка, тоже надо поскорее замуж выходить.

— Почему это — скорее?

— Да уж дюже ты игреливая…

— А это плохо?

— Бывает и плохо. Знал я одну такую игреливую, тоже вдовая была, играла-играла, а потом нос у нее начал проваливаться…

— Ох, господи, страсти-то какие! — с шутливым испугом воскликнула она и тотчас же деловито добавила: — Наше вдовье дело такое: бирюка бояться — в лес не ходить.

Григорий взглянул на нее. Она беззвучно смеялась, стиснув мелкие белые зубы. Вздернутая верхняя губа ее подрагивала, из-под опущенных ресниц озорно светились глаза. Григорий невольно улыбнулся и положил руку на ее теплое круглое колено.

— Бедная ты, разнесчастная зовутка! — сожалеюще сказал он. — Двадцать годков тебе, а как тебя жизнь выездила…

Вмиг от веселости ее и следа не осталось. Она сурово оттолкнула его руку, нахмурилась

и покраснела так, что на переносице исчезли крохотные веснушки.

— Ты жену пожалей, когда приедешь, а у меня и без тебя жалельщиков хватит!

— Да ты не серчай, погоди!

— А ну тебя к черту!

— Я это, жалеючи тебя, сказал.

— Иди ты со своей жалостью прямо… — Она по-мужски умело и привычно выругалась, сверкнула потемневшими глазами.

Григорий поднял брови, смущенно крякнул:

— Загнула, нечего сказать! Вон ты какая необузданная.

— А ты какой? Святой во вшивой шинели, вон ты кто! Знаю я вас! Замуж выходи, то да се, а давно ты таким истовым стал?

— Нет, недавно, — посмеиваясь, сказал Григорий.

— А чего же ты мне уставы читаешь? У меня на это свекровь есть.

— Ну, хватит тебе, чего ты злуешь, дура баба? Я же промежду прочим так выразился, — примирительно сказал Григорий. — Гляди вон, быки от нашего разговору с дороги сошли.

Примащиваясь на арбе поудобнее, Григорий мельком взглянул на веселую вдову и заметил на глазах ее слезы. «Вот ишо морока! И всегда они, эти бабы, такие…» — подумал он, ощущая какую-то внутреннюю неловкость и досаду.

Вскоре он заснул, лежа на спине, накрыв лицо бортом шинели, и проснулся только в сумерках. На небе светились бледные вечерние звезды. Свежо и радостно пахло сеном.

— Быков надо кормить, — сказала она.

— Что ж, давай останавливаться.

Григорий сам выпряг быков, достал из вещевой сумки банку мясных консервов, хлеб, наломал и принес целый ворох сухого бурьяна, неподалеку от арбы разложил огонь.

— Ну, садись вечерять, зовутка, хватит тебе серчать.

Она присела к огню, молча вытряхнула из сумки хлеб, кусок заржавленного от старости сала. За ужином говорили мало и мирно. Потом она легла на арбе, а Григорий бросил в костер, чтобы не затухал, несколько комьев сухого бычачьего помета, по-походному примостился возле огня. Долго лежал, подложив под голову сумку, смотрел в мерцающее звездами небо, несвязно думал о детях, об Аксинье, потом задремал и очнулся от вкрадчивого женского голоса:

— Спишь, что ли, служивый? Спишь ай нет?

Григорий приподнял голову. Опершись на локоть, спутница его свесилась с арбы. Лицо ее, озаренное снизу неверным светом угасающего костра, было розово и свежо, ослепительно белели зубы и кружевная каемка головного платка. Она, как будто между ними и не было размолвки, снова улыбалась, шевеля бровью, говорила:

— Боюсь, замерзнешь ты там. Земля-то холодная. Уж ежли дюже озяб — иди ко мне. У меня шуба те-о-оплая-претеплая! Прийдешь, что ли?

Григорий подумал и со вздохом ответил:

— Спасибо, девка, не хочу. Кабы год-два назад… Небось, не замерзну возле огня.

Она тоже вздохнула, сказала:

— Ну, как хочешь. — И укрылась шубой с головой.

Спустя немного Григорий встал, собрал свои пожитки. Он решил идти пешком, чтобы к рассвету добраться до Татарского. Немыслимо было ему — возвращающемуся со службы командиру — приехать домой среди бела дня на быках. Сколько насмешек и разговоров вызвал бы такой приезд…

Он разбудил подводчицу:

— Я пойду пешком. Не боишься одна в степи оставаться?

— Нет, я не из пужливых, да тут и хутор близко. А тебе, что ж, не терпится?

— Угадала. Ну, прощай, зовутка, не поминай лихом!

Григорий вышел на дорогу, поднял воротник шинели. На ресницы его упала первая снежинка. Ветер повернул с севера, и в холодном дыхании его Григорию почудился знакомый и милый сердцу запах снега.

Кошевой вернулся из поездки в станицу вечером. Дуняшка увидела в окно, как он подъехал к воротам, проворно накинула на плечи платок, вышла во двор.

— Гриша утром пришел, — сказала она у калитки, глядя на мужа с тревогой и ожиданием.

— С радостью тебя, — сдержанно и чуть насмешливо ответил Мишка.

Он вошел в кухню, твердо сжав губы. Под скулами его поигрывали желваки. На коленях у Григория примостилась Полюшка, заботливо принаряженная теткой в чистое платьице. Григорий бережно опустил ребенка на пол, пошел навстречу зятю, улыбаясь, протягивая большую смуглую руку. Он хотел обнять Михаила, но увидел в безулыбчивых глазах его холодок, неприязнь и сдержался.

— Ну, здравствуй, Миша!

— Здравствуй.

— Давно мы с тобой не видались! Будто сто лет прошло.

— Да, давненько… С прибытием тебя.

— Спасибо. Породнились, значит?

— Пришлось… Что это у тебя кровь на щеке?

— Э, пустое, бритвой порезался, спешил.

Они присели к столу и молча разглядывали друг друга, испытывая отчуждение и неловкость. Им еще предстояло вести большой разговор, но сейчас это было невозможно. У Михаила хватило выдержки, и он спокойно заговорил о хозяйстве, о происшедших в хуторе переменах.

Григорий смотрел в окно на землю, покрытую первым голубым снежком, на голые ветви яблонь. Не такой ему представлялась когда-то встреча с Михаилом…

Вскоре Михаил вышел. В сенях он тщательно наточил на бруске нож, сказал Дуняшке:

— Хочу позвать кого-нибудь валушка зарезать. Надо же хозяина угостить как полагается. Сбегай за самогонкой. Погоди, вот что: дойди до Прохора и скажи ему, чтобы в землю зарылся, а достал самогонки. Он это лучше тебя сделает. Покличь его вечерять.

Дуняшка просияла от радости, с молчаливой благодарностью взглянула на мужа… «Может, и обойдется все по-хорошему… Ну, кончили воевать, чего им зараз-то делить? Хоть бы образумил их господь!» — с надеждой думала она, направляясь к Прохору.

Меньше чем через полчаса прибежал запыхавшийся Прохор.

— Григорий Пантелевич!.. Милушка ты мой!.. И не чаял и не думал дождаться!.. — высоким, плачущим голосом закричал он и, споткнувшись о порог, за малым не разбил ведерный кувшин с самогоном.

Обнимая Григория, он всхлипнул, вытер кулаком глаза, разгладил мокрые от слез усы. У Григория что-то задрожало в горле, но он сдержался, растроганно, грубовато хлопнул верного ординарца по спине, несвязно проговорил:

— Вот и увидались… Ну и рад я тебе, Прохор, страшно рад! Что ж ты, старик, слезу пущаешь? Ослабел на уторах? Гайки слабоватые стали? Как твоя рука? Другую тебе баба не отшибла?

Прохор гулко высморкался, снял полушубок.

— Мы с бабой живем зараз, как голуби. Вторая рука, видишь, целая, а эта, какую белые-поляки отняли, отрастать начинает, ей-богу! Через год уж на ней пальцы окажутся, — заговорил он со свойственной ему веселостью, потрясая порожним рукавом рубахи.

Война приучила их скрывать за улыбкой истинные чувства, сдабривать и хлеб и разговор ядреной солью; потому-то Григорий и продолжал расспросы в том же шутливом духе:

— Как живешь, старый козел? Как прыгаешь?

— По-стариковски, не спеша.

— Без меня ничего ишо не добыл?

— Чего это?

— Ну, соловья, что прошлой зимой носил…

— Пантелевич! Боже упаси! Зараз к чему же мне такая роскошь? Да и какой из меня добытчик с одной рукой? Это — твое дело, молодое, холостое… а мне уж пора свою справу бабе на помазок отдавать, сковородки подмазывать…

Они долго смотрели друг на друга — старые окопные товарищи, — смеющиеся и обрадованные встречей.

— Совсем пришел? — спросил Прохор.

— Совсем. Вчистую.

— До какого же ты чина дослужился?

— Был помощником командира полка.

— Чего же это тебя рано спустили?

Григорий помрачнел, коротко ответил:

— Не нужен стал.

— Через чего это?

— Не знаю. Должно быть, за прошлое.

— Так ты же эту фильтру-комиссию, какая при Особом отделе офицеров цедила, проскочил, какое может быть прошлое?

— Мало ли что.

— А Михаил где?

— На базу. Скотину убирает.

Прохор придвинулся ближе, снизил голос:

— Платона Рябчикова с месяц назад расстреляли.

— Что ты говоришь?

— Истинный бог!

В сенях скрипнула дверь.

— Потом потолкуем, — шепнул Прохор и — громче: — Так что же, товарищ командир, выпьем при такой великой радости? Пойти покликать Михаила?

— Иди зови.

Дуняшка собрала на стол. Она не знала, как угодить брату: положила ему на колени чистый рушник, придвинула тарелку с соленым арбузом, раз пять вытерла стакан… Григорий с улыбкой отметил про себя, что Дуняшка зовет его на «вы».

За столом Михаил первое время упорно молчал, внимательно вслушивался в слова Григория. Пил он мало и неохотно. Зато Прохор опрокидывал по полному стакану и только багровел да чаще разглаживал кулаком белесые усы.

Накормив и уложив спать детей, Дуняшка поставила на стол большую тарелку с вареной бараниной, шепнула Григорию:

— Братушка, я сбегаю за Аксиньей, вы супротив ничего не будете иметь?

Григорий молча кивнул головой. Ему казалось, никто не замечает, что весь вечер он

находится в напряженном ожидании, но Дуняшка видела, как он настораживается при каждом стуке, прислушивается и косится на дверь. Положительно ничто не могло ускользнуть от не в меру проницательных глаз этой Дуняшки…

— А Терещенко-кубанец все взводом командует? — спрашивал Прохор, не выпуская из рук стакана, словно опасаясь, что кто-нибудь отнимет его.

— Убит под Львовом.

— Ну, царство ему небесное. Хороший был конармеец! — Прохор торопливо крестился, потягивал из стакана, не замечая язвительной улыбки Кошевого.

— А этот, у какого чудная фамилия? Какой правофланговым был, фу, будь он проклят, как его, кажись — Май-Борода? Хохол, такой тУшистый и веселый, что под Бродами польского офицера напополам разрубил, — он-то живой-здоровый?

— Как жеребец! В пулеметный эскадрон его забрали.

— Коня своего кому же сдал?

— У меня уже другой был.

— А белолобого куда дел?

— Убили осколком.

— В бою?

— В местечке стояли. Обстрел шел. У коновязи и убили.

— Ах, жалко! До чего добрый конь был! — Прохор вздыхал и снова прикладывался к стакану.

В сенях звякнула щеколда. Григорий вздрогнул, Аксинья переступила порог, невнятно сказала: «Здравствуйте!» — и стала снимать платок, задыхаясь и не сводя с Григория широко раскрытых сияющих глаз. Она прошла к столу, села рядом с Дуняшкой. На бровях и ресницах ее, на бледном лице таяли крохотные снежинки. Зажмурившись, она вытерла лицо ладонью, глубоко вздохнула и только тогда, пересилив себя, взглянула на Григория глубокими, потемневшими от волнения глазами.

— Односумка! Ксюша! Вместе отступали, вместе вшей кормили… Хотя мы тебя и бросили на Кубани, но что же нам было делать? — Прохор протягивал стакан, плеская на стол самогонку. — Выпей за Григория Пантелевича! Проздравь его с прибытием… Говорил я тебе, что возвернется в целости, и вот он, бери его за рупь двадцать! Сидит как обдутенький!

— Он уже набрался, соседка, ты его не слухай. — Григорий, смеясь, указал глазами на Прохора.

Аксинья поклонилась Григорию и Дуняшке и только слегка приподняла от стола стакан. Она боялась, что все увидят, как дрожит ее рука.

— С приездом вас, Григорий Пантелевич, а тебя, Дуняша, с радостью.

— А тебя с чем? С горем? — Прохор захохотал, толкнул Михаила в бок.

Аксинья густо покраснела, даже маленькие мочки ушей ее стали прозрачно-розовыми, но, твердо и зло глянув на Прохора, она ответила:

— И меня — с радостью… С великой!

Такой прямотой Прохор был обезоружен и умилен. Он попросил:

— Тяни ее, ради бога, всю до капельки. Умеешь прямо сказать — умей и пить прямо! Мне это вострый нож в сердце, кто оставляет.

В гостях Аксинья побыла недолго, ровно столько, сколько, по ее мнению, позволяло приличие. За все это время она лишь несколько раз, и то мельком, взглянула на своего возлюбленного. Она принуждала себя смотреть на остальных и избегала глаз Григория, потому что не могла притворяться равнодушной и не хотела выдавать своих чувств посторонним. Только один взгляд от порога, прямой, исполненный любви и преданности,

поймал Григорий, и этим, по сути, все было сказано. Он вышел проводить Аксинью. Захмелевший Прохор крикнул вслед им:

— А ты недолго! Все попьем!

В сенях Григорий молча поцеловал Аксинью в лоб и губы, спросил:

— Ну как, Ксюша?

— Ох, всего не расскажешь… Прийдешь завтра?

— Прийду.

Она спешила домой, шла быстро, словно там ждало ее неотложное дело, только около крыльца своего куреня замедлила шаг, осторожно поднялась по скрипучим ступенькам. Ей хотелось поскорее остаться наедине со своими мыслями, со счастьем, которое пришло так неожиданно.

Она сбросила кофту и платок, не зажигая огня, прошла в горницу. Через не прикрытое ставнями окно в комнату вторгался густой, лиловый свет ночи. За камелем печи звонко трещал сверчок. По привычке Аксинья заглянула в зеркало, и хоть в темноте и не видела своего отражения, все же поправила волосы, разгладила на груди сборки муслиновой кофточки, потом прошла к окну и устало опустилась на лавку.

Много раз в жижи не оправдывались, не сбывались ее надежды и чаяния, и, быть может, поэтому на смену недавней радости пришла всегдашняя тревога. Как-то сложится теперь ее жизнь? Что ждет ее в будущем? И не слишком ли поздно улыбается ей горькое бабье счастье?

Опустошенная пережитым за вечер волнением, она долго сидела, прижавшись к холодному, заиндевевшему стеклу, устремив спокойный и немножко грустный взгляд в темноту, лишь слегка озаряемую снегом.

Григорий присел к столу, налил себе из кувшина полный стакан, выпил залпом.

— Хороша? — полюбопытствовал Прохор.

— Не разберу. Давно не пил.

— Как николаевская, истинный бог! — убежденно сказал Прохор и, качнувшись, обнял Михаила. — Ты в этих делах, Миша, разбираешься хуже, чем телок в помоях, а вот я знаю в напитках толк! И каких только настоек и вин мне не припадало пить! Есть такое вино, что не успеешь пробку вынуть, а из бутылки пена идет, как из бешеной собаки, видит бог — не брешу! В Польше, когда прорвали фронт и пошли с Семеном Михайловичем белых-поляков кастрычить, взяли мы с налету одну помещицкую усадьбу. Дом в ней стоит об двух с лишним этажах, на базу скотины набито рог к рогу, птицы всякой по двору ходит — плюнуть некуда, ну словом, жил этот помещик, как царь. Когда взвод наш прибег на конях в эту усадьбу, там как раз офицеры пировали с хозяином, нас не ждали. Всех их порубили, в саду и на лестнице, а одного взяли в плен. Важный офицер был, а как забрали его — и усы книзу опустил, обмяк весь со страху. Григория Пантелевича в штаб экстренно вызвали, остались мы сами хозяева, зашли в нижние комнаты, а там стол огромадный, и чего только на этом столе нету! Покрасовались, а начинать страшно, хотя и ужасные мы голодные. «Ну, как, думаем, оно все отравленное?» Пленный наш глядит чертом. Приказуем ему: «Ешь!» Жрет. Не с охотой, а жрет. «Пей!» Опять же пьет он. Из каждой блюды заставили по большому куску пробовать, из каждой бутылки — по стакану пить. Распухает проклятый на наших глазах от этих харчей, а у нас соленые слюни текут. Потом, видим, что офицер не помирает, и мы приступили. Наелись, напились пенистого вина по ноздри. Глядь, а офицера чистить с обоих концов начинает. «Ну, думаем, пропали! Сам, гад, отравленный корм ел и нас обманул». Приступаем к нему с шашками, а он — и руками и ногами. «Пане, это же я перекушал по вашей милости, не сумлевайтесь, пища здоровая!» И тут мы взялись обратно за вино! Нажмешь пробку, она стрельнет, будто из винтовки, и пена клубом идет, ажник со стороны глядеть страшно! От

этого вина я в ту ночь до трех раз с коня падал! Только сяду в седло, и сызнова меня — как ветром сдует. Вот такое вино кажин день пил бы натощак по стакану, по два и жил бы лет до ста, а так разве свой срок доживешь? Разве это, к примеру, напиток? Зараза, а не напиток! От него, от падлы, раньше сроку копыта откинешь… — Прохор кивком головы указал на кувшин с самогоном и… налил себе стакан доверху.

Дуняшка ушла спать к детям в горницу, спустя немного поднялся и Прохор. Покачиваясь, он накинул внапашку полушубок, сказал:

— Кувшин не возьму. Душа не позволяет ходить с порожней посудой… Прийду, и зараз меня баба зачнет казнить. Она это умеет! Откудова у нее такие вредные слова берутся? Сам не знаю! Прийду выпимши, и она, к примеру, говорит так: «Кобель пьяный, безрукий, такой-сякой, разэтакий!» Тихочко и спокойночко образумляю ее, говорю: «Где же ты, чертова шалава, сучье вымя ты, видала пьяных кобелей, да ишо безруких? Таковых и на свете не бывает». Одну подлость опровергаю — она мне другую говорит, другую опровергаю — она мне третью подносит, так у нас всенощная и идет до зари… Иной раз начертеет ее слухать — уйду под сарай спать, а другой раз прийдешь выпимши, и ежели она молчит, не ругается — я уснуть не могу, истинный бог! Чего-то мне вроде не хватает, какая-то чесотка на меня нападет, — не усну, и шабаш! И вот затрону супругу, и опять она пошла меня казнить, ажник искры с меня сыпются! Она у меня от черта отрывок, а деваться некуда, пущай лютует, от этого она злей в работе будет, верно я говорю? Ну, пойду, прощайте! То ли уж мне в яслях переночевать, не тревожить ее нынче?

— До дома дотянешь? — смеясь, осведомился Григорий.

— Раком, а доползу! Али я не казак, Пантелевич? Даже очень обидно слухать.

— Ну, тогда — с богом!

Григорий проводил друга за калитку. Вошел в кухню.

— Что ж, потолкуем, Михаил?

— Давай.

Они сидели друг против друга, разделенные столом, молчали. Потом Григорий сказал:

— Что-то у нас не так… По тебе вижу, не так! Не по душе тебе мой приезд? Или я ошибаюсь?

— Нет, ты угадал, не по душе.

— Почему?

— Лишняя забота.

— Я думаю сам прокормиться.

— Я не об этом.

— Тогда об чем же?

— Враги мы с тобой…

— Были.

— Да, видно, и будем.

— Не понимаю. Почему?

— Ненадежный ты человек.

— Это ты зря. Говоришь ты это зря!

— Нет, не зря. Почему тебя в такое время демобилизовали? Скажи прямо?

— Не знаю.

— Нет, знаешь, да не хочешь сказать! Не доверяли тебе, так?

— Ежли б не верили — не дали бы эскадрон.

— Это на первых порах, а раз в армии тебя не оставили, стало быть, дело ясное, браток!

— А ты мне веришь? — глядя в упор, спросил Григорий.

— Нет! Как волка ни корми, он в лес глядит.

— Ты выпил нынче лишнего, Михаил.

— Это ты брось! Я не пьяней твоего. Там тебе не верили и тут веры большой давать не будут, так и знай!

Григорий промолчал. Вялым движением он взял с тарелки кусок соленого огурца, пожевал его и выплюнул.

— Тебе жена рассказывала про Кирюшку Громова? — спросил Михаил.

— Да.

— Тоже не по душе был его приезд. Как только услыхал я, в этот же день…

Григорий побледнел, глаза его округлились от бешенства.

— Что ж я тебе — Кирюшка Громов?!

— Не шуми. А чем ты лучше?

— Ну, знаешь…

— Тут и знать нечего. Все давно узнатое. А потом Митька Коршунов явится, мне тоже радоваться? Нет, уж лучше бы вы не являлись в хутор.

— Для тебя лучше?

— И для меня, да и народу лучше, спокойнее.

— Ты меня с ними не равняй!

— Я уже тебе сказал, Григорий, и обижаться тут нечего: ты не лучше их, ты непременно хуже, опасней.

— Чем же? Чего ты мелешь?

— Они рядовые, а ты закручивал всем восстанием.

— Не я им закручивал, я был командиром дивизии.

— А это мало?

— Мало или много — не в том дело… Ежли б тогда на гулянке меня не собирались убить красноармейцы, я бы, может, и не участвовал в восстании.

— Не был бы ты офицером, никто б тебя не трогал.

— Ежли б меня не брали на службу, не был бы я офицером… Ну, это длинная песня!

— И длинная и поганая песня.

— Зараз ее не перепевать, опоздано.

Они молча закурили. Сбивая ногтем пепел с цигарки, Кошевой сказал:

— Знаю я об твоих геройствах, слыхал. Много ты наших бойцов загубил, через это и не могу легко на тебя глядеть… Этого из памяти не выкинешь.

Григорий усмехнулся.

— Крепкая у тебя память! Ты брата Петра убил, а я тебе что-то об этом не напоминаю… Ежли все помнить — волками надо жить.

— Ну что ж, убил, не отказываюсь! Довелось бы мне тогда тебя поймать, я и тебя бы положил, как миленького!

— А я, когда Ивана Алексеевича в Усть-Хопре в плен забрали, спешил, боялся, что и ты там, боялся, что убьют тебя казаки… Выходит, занапрасну я тогда спешил.

— Благодетель какой нашелся! Поглядел бы я, как ты со мной разговаривал, ежли б зараз кадетская власть была, ежли б вы одолели. Ремни бы со спины, небось, вырезывал! Это ты зараз такой добрый…

— Может, кто-нибудь и резал бы ремни, а я поганить об тебя рук не стал бы.

— Значит, разные мы с тобой люди… Сроду я не стеснялся об врагов руки поганить и зараз не сморгну при нужде. — Михаил вылил в стаканы остатки самогона, спросил: — Будешь пить?

— Давай, а то дюже трезвые мы стали для такого разговора…

Они молча чокнулись, выпили. Григорий слег грудью на стол, смотрел на Михаила щурясь, покручивая ус.

— Так ты чего же, Михаил, боишься? Что я опять буду против Советской власти бунтовать?

— Ничего я не боюсь, а между прочим думаю: случись какая-нибудь заварушка — и ты переметнешься на другую сторону.

— Я мог бы там перейти к полякам, как ты думаешь? У нас целая часть перешла к ним.

— Не успел?

— Нет, не схотел. Я отслужил свое. Никому больше не хочу служить. Навоевался за свой век предостаточно и уморился душой страшно. Все мне надоело, и революция и контрреволюция. Нехай бы вся эта… нехай оно все идет пропадом! Хочу пожить возле своих детишек, заняться хозяйством, вот и все. Ты поверь, Михаил, говорю это от чистого сердца!

Впрочем, никакие заверения уже не могли убедить Кошевого, Григорий понял это и умолк. Он испытал мгновенную и горькую досаду на себя. Какого черта он оправдывался, пытался что-то доказать? К чему было вести этот пьяный разговор и выслушивать дурацкие проповеди Михаила? К черту! Григорий встал.

— Кончим этот никчемушний разговор! Хватит! Одно хочу тебе напоследок сказать: против власти я не пойду до тех пор, пока она меня за хрип не возьмет. А возьмет — буду обороняться. Во всяком случае, за восстание голову подкладать, как Платон Рябчиков, не буду!

— Это как, то есть?

— Так. Пущай мне зачтут службу в Красной Армии и ранения, какие там получил, согласен отсидеть за восстание, но уж ежели расстрел за это получать — извиняйте! Дюже густо будет!

Михаил презрительно усмехнулся:

— Тоже моду выдумал! Ревтрибунал или Чека у тебя не будет спрашивать, чего ты хочешь и чего не хочешь, и торговаться с тобой не будут. Раз проштрафился — получай свой паек с довеском. За старые долги надобно платить сполна!

— Ну, тогда поглядим.

— Поглядим, ясное дело.

Григорий снял пояс и рубашку, кряхтя, стал разуваться.

— Делиться будем? — спросил он, с чрезмерным вниманием разглядывая отпоровшуюся подметку на сапоге.

— У нас дележ короткий: подправлю свою хатенку и перейду туда.

— Да, давай уж как-нибудь расходиться. Ладу у нас с тобой не будет.

— Не будет, — подтвердил Михаил.

— Не думал, что ты обо мне такого мнения… Ну что ж…

— Я сказал прямо. Что думаю, то и сказал. В Вешенскую когда поедешь?

— Как-нибудь, днями.

— Не как-нибудь, а надо ехать завтра.

— Я шел пешком почти сорок верст, подбился, завтра отдохну, а послезавтра пойду на регистрацию.

— Приказ есть такой: регистрироваться немедленно. Ступай завтра.

— День-то отдохнуть надо? Не убегу же я.

— А черт тебя знает. Я за тебя отвечать не хочу.

— До чего же ты сволочной стал, Михаил! — сказал Григорий, не без удивления

разглядывая посуровевшее лицо бывшего друга.

— Ты меня не сволочи! Я к этому не привык… — Михаил перевел дух и повысил голос: — Эти, знаешь, офицерские повадки бросать надо! Отправляйся завтра же, а ежли добром не пойдешь — погоню под конвоем. Понятно?

— Теперь все понятно… — Григорий с ненавистью посмотрел в спину уходившему Михаилу, не раздеваясь лег на кровать.

Что ж, все произошло так, как и должно было произойти. И почему его, Григория, должны были встречать по-иному? Почему, собственно, он думал, что кратковременная честная служба в Красной Армии покроет все его прошлые грехи? И, может быть, Михаил прав, когда говорит, что не все прощается и что надо платить за старые долги сполна?

…Григорий видел во сне широкую степь, развернутый, приготовившийся к атаке полк. Уже, откуда-то издалека неслось протяжное: «Эскадро-о-он…» — когда он вспомнил, что у седла отпущены подпруги. С силой ступил на левое стремя — седло поползло под ним… Охваченный стыдом и ужасом, он прыгнул с коня, чтобы затянуть подпруги, и в это время услышал мгновенно возникший и уже стремительно удалявшийся грохот конских копыт.

Полк пошел в атаку без него…

Григорий заворочался и, просыпаясь, услышал свой хриплый стон.

За окном чуть брезжил рассвет. Наверное, ветер ночью открыл ставню — и сквозь запушенное изморозью стекло был виден зеленый искрящийся круг ущербленного месяца. Ощупью Григорий нашел кисет, закурил. Все еще гулко и часто сдваивало сердце. Он лег на спину, улыбнулся: «Приснится же такая чертовщина! Не довелось сразиться…» Не думал он в этот предрассветный час, что еще не раз придется ему ходить в атаку и во сне и наяву.

VII

— Дуняшка поднялась рано — надо было доить корову. В кухне осторожно ходил, покашливал Григорий. Прикрыв детишек одеялом, Дуняшка проворно оделась, вошла в кухню. Григорий застегивал шинель.

— Вы куда это спозаранок собрались, братушка?

— Пройдусь по хутору, погляжу.

— Позавтракали бы — тогда…

— Не хочу, голова болит.

— К завтраку вернетесь? Я зараз печь затоплю.

— Меня нечего ждать, я не скоро прийду.

Григорий вышел на улицу. К утру слегка оттаяло. Ветер дул с юга влажный и теплый. На каблуки сапог прилипал перемешанный с землею снег. Медленно шагая к центру хутора, Григорий внимательно, словно в чужой местности, разглядывал знакомые с детства дома и сараи. На площади чернели обуглившиеся развалины купеческих домов и лавок, сожженных Кошевым в прошлом году, полуразрушенная церковная ограда зияла проломами. «Кирпич на печки понадобился», — равнодушно подумал Григорий. Церковь стояла по-прежнему маленькая, вросшая в землю. Давно не крашенная крыша ее золотилась ржавчиной, стены пестрели бурыми подтеками, а там, где отвалилась штукатурка, — ярко и свежо краснел обнаженный кирпич.

На улицах было безлюдно. Две или три заспанные бабы повстречались Григорию неподалеку от колодца. Они молча, как чужому, кланялись Григорию и только тогда, когда он проходил мимо, останавливались и подолгу глядели ему вслед.

«Надо на могилки сходить, проведать мать и Наталью, — подумал Григорий и свернул в проулок по дороге к кладбищу, но, пройдя немного, остановился. И без того тяжело и смутно было у него на сердце. — Как-нибудь в другой раз схожу, — решил он, направляясь к Прохору. — Им-то теперь все равно — приду или не приду. Им там покойно теперь. Все кончено. Могилки присыпало снежком. А земля, наверно, холодная там, в глубине… Вот и отжили — да как скоро, как во сне. Лежат все вместе, рядом: и жена, и мать, и Петро с Дарьей… Всей семьей перешли туда и лежат рядом. Им хорошо, а отец — один в чужой стороне. Скучно ему там среди чужих…» Григорий уже не смотрел по сторонам, шел, глядя под ноги на белый, слегка увлажненный оттепелью и очень мягкий снежок, настолько мягкий, что он даже не ощущался под ногами и почти не скрипел.

Потом Григорий стал думать о детях. Какие-то они стали не по летам сдержанные, молчаливые, не такие, какими были при матери. Слишком много отняла у них смерть. Они напуганы. Почему Полюшка вчера заплакала, когда увидела его? Дети не плачут при встрече, это на них непохоже. О чем она подумала? И почему в глазах ее мелькнул испуг, когда он взял ее на руки? Может быть, она все время думала, что отца нет в живых и он никогда больше не вернется, а потом, увидев его, испугалась? Во всяком случае, он, Григорий, ни в чем не виноват перед ними. Надо только сказать Аксинье, чтобы она жалела их и всячески старалась заменить им мать… Пожалуй, они привяжутся к мачехе. Она ласковая, добрая баба. Из любви к нему она будет любить и детей.

Об этом тоже тяжело и горько было думать. Все это было не так-то просто. Вся жизнь оказалась вовсе не такой простой, какой она представлялась ему недавно. В глупой, ребячьей наивности он предполагал, что достаточно вернуться домой, сменить шинель на зипун, и все пойдет как по-писаному: никто ему слова не скажет, никто не упрекнет, все устроится само собой, и будет он жить да поживать мирным хлеборобом и примерным семьянином. Нет, не так это просто выглядит на самом деле.

Григорий осторожно открыл повисшую на одной петле калитку зыковского база. Прохор в растоптанных круглых валенках, в надвинутом по самые брови треухе шел к крыльцу, беспечно помахивая порожним дойным ведром. Белые капли молока невидимо сеялись по снегу.

— Здорово ночевали, товарищ командир!

— Слава богу.

— Опохмелиться бы надо, а то голова пустая, как вот это ведро.

— Опохмелиться — дело стоящее, а почему ведро пустое? Сам, что ли, корову доил?

Прохор кивком головы сдвинул треух на затылок, и только тогда Григорий увидел необычайно мрачное лицо Друга.

— А то черт, что ли, мне ее будет доить? Ну, я ей, проклятой бабе, надоил. Как бы животом она не захворала от моего удоя!.. — Прохор остервенело швырнул ведро, коротко сказал: — Пойдем в хату.

— А жена? — нерешительно спросил Григорий.

— Черти с квасом ее съели! Ни свет ни заря сгреблась и поехала в Кружилинский за терном. Пришел от вас, и взялась она за меня! Читала-читала разные акафисты, потом как вскочит: «Поеду за терном! Нынче Максаевы снохи едут, и я поеду!» — «Езжай, думаю, хоть за грушами, скатертью тебе дорога!» Встал, затопил печь, пошел корову доить. Ну и надоил. Ты думаешь, одной рукой способно такие дела делать?

— Позвал бы какую-нибудь бабу, чудак!

— Чудак баран, он до покрова матку сосет, а я сроду чудаком не был. Думалось — сам управлюсь! Ну, и управился. Уж я под этой коровой лазил-лазил на ракушках, а она, треклятая,

не стоит, ногами сучит. Я и треух снял, чтобы не пужать ее, — один толк. Рубаха на мне взмокла, пока подоил ее, и только руку протянул, ведро из-под нее брать, — как она даст ногой! Ведро — на один бок, — я на другой. Вот и надоил. Это не корова, а черт с рогами! Плюнул ей в морду и пошел. Я и без молока проживу. Будем похмеляться?

— А есть?

— Одна бутылка. Заклятая.

— Ну, и хватит.

— Проходи, гостем будешь. Яишню сжарить? Я это в один миг.

Григорий нарезал сала, помог хозяину развести на загнетке огонь. Они молча смотрели, как шипят, подтаивают и скользят по сковородке кусочки розового сала. Потом Прохор вытащил из-за божницы запыленную бутылку.

— От бабы хороню там секретные дела, — коротко пояснил он.

Закусывали они в маленькой, жарко натопленной горнице, пили и вполголоса разговаривали.

С кем же как не с Прохором мог поделиться Григорий своими самыми сокровенными думами? Он сидел за столом, широко расставив длинные мускулистые ноги, хриповатый басок его звучал приглушенно:

— …И в армии и всю дорогу думал, как буду возле земли жить, отдохну в семье от всей этой чертовщины. Шутка дело — восьмой год с коня не слазил! Во сне и то чуть не каждую ночь вся эта красота снится: то ты убиваешь, то тебя убивают… Только, видно, Прохор, не выйдет по-моему… Видно, другим, не мне прийдется пахать землю, ухаживать за ней…

— Говорил с Михаилом вчера?

— Как меду напился.

— Чего же он?

Григорий крестом сложил пальцы.

— Вот на нашу дружбу. За службу белым попрекает, думает, что зло таю на новую власть, нож держу против нее за пазухой. Боится, что восстание буду подымать, а на черта мне это нужно — он и сам, дурак, не знает.

— Он и мне это говорил.

Григорий невесело усмехнулся.

— Один хохол на Украине, как шли на Польшу, просил у нас оружия для обороны села. Банды их одолевали, грабили, скотину резали. Командир полка — при мне разговор был — и говорит: «Вам дай оружие, а вы сами в банду пойдете». А хохол смеется, говорит: «Вы, товарищ, только вооружите нас, а тогда мы не только бандитов, но и вас не пустим в село». Вот и я зараз вроде этого хохла думаю: кабы можно было в Татарский ни белых, ни красных не пустить — лучше было бы. По мне они одной цены — что, скажем, свояк мой Митька Коршунов, что Михаил Кошевой. Он думает, что такой уж я белым приверженный, что и жить без них не могу. Хреновина! Я им приверженный, как же! Недавно, когда подступили к Крыму, довелось цокнуться в бою с корниловским офицером — полковничек такой шустрый, усики подбритые по-англицки, под ноздрями две полоски, как сопли, — так я его с таким усердием навернул, ажник сердце взыграло! Полголовы вместе с половиной фуражки осталось на бедном полковничке… и белая офицерская кокарда улетела… Вот и вся моя приверженность! Они мне тоже насолили достаточно. Кровью заработал этот проклятый офицерский чин, а промежду офицеров был как белая ворона. Они, сволочи, и за человека меня сроду не считали, руку гребовали подавать, да чтобы я им после этого… Под разэтакую мамашу! И говорить-то об этом тошно! Да чтоб я ихнюю власть опять устанавливал? Генералов Фицхелауровых приглашал? Я это дело опробовал раз, а потом год икал, хватит,

ученый стал, на своем горбу все отпробовал!

Макая в горячее сало хлеб, Прохор сказал:

— Никакого восстания не будет. Первое дело — казаков вовсе на-мале осталось, а какие уцелели — они тоже грамотные стали. Крови братушкам пустили порядком, и они такие смирные да умные стали, что их зараз к восстанию и на аркане не притянешь. А тут ишо наголодался народ по мирной жизни. Ты поглядел бы, как это лето все работали: сенов понавалили скирды, хлеб убрали весь до зерна, ажник хрипят, а пашут и сеют, как, скажи, каждый сто годов прожить собирается! Нет, об восстании и гутарить нечего. Глупой это разговор. Хотя чума их знает, чего они, казачки, удумать могут…

— А чего же они удумать могут? Ты это к чему?

— Соседи-то наши удумали же…

— Ну?

— Вот тебе и ну. Восстание в Воронежской губернии, где-то за Богучаром, поднялось.

— Брехня это!

— Какая там брехня, вчера сказал знакомый милиционер. Их как будто туда направлять собираются.

— В каком самое месте?

— В Монастырщине, в Сухом Донце, в Пасеке, в Старой и Новой Калитвеи и ишо где-то там. Восстание, говорит, огромадное.

— Чего же ты вчера об этом не сказал, гусь щипаный?

— Не схотел при Михаиле говорить, да и приятности мало об таких делах толковать. Век бы не слыхать про такие штуки, — с неудовольствием ответил Прохор.

Григорий помрачнел. После долгого раздумья сказал:

— Это плохая новость.

— Она тебя не касается. Нехай хохлы думают. Набьют им зады до болятки, тогда узнают, как восставать. А нам с тобой это вовсе ни к чему. Мне за них нисколько не больно.

— Мне теперь будет трудновато.

— Чем это?

— Как — чем? Ежели и окружная власть обо мне такого мнения, как Кошевой, тогда мне тигулевки не миновать. По соседству восстание, а я бывший офицер да ишо повстанец… Понятно тебе?

Прохор перестал жевать, задумался. Такая мысль ему не приходила в голову. Оглушенный хмелем, он думал медленно и туговато.

— При чем же ты тут, Пантелевич? — недоуменно спросил он.

Григорий досадливо поморщился, промолчал. Новостью он был явно встревожен. Прохор протянул было ему стакан, но он отстранил руку хозяина, решительно сказал:

— Больше не пью.

— А может, ишо по одной протянем? Пей, Григорий Пантелевич, пока почернеешь. От этой развеселой жизни только самогонку и глушить.

— Черней уж ты один. И так голова дурная, а от нее и вовсе загубишься. Мне нынче в Вешки идти, регистрироваться.

Прохор пристально посмотрел на него. Опаленное солнцем и ветрами лицо Григория горело густым, бурым румянцем, лишь у самых корней зачесанных назад волос кожа светилась матовой белизной. Он был спокоен, этот видавший виды служивый, с которым война и невзгоды сроднили Прохора. Слегка припухшие глаза его смотрели хмуро, с суровой усталостью.

— Не боишься, что это самое… что посадят? — спросил Прохор.

Григорий оживился:

— Как раз этого-то, парень, и боюсь! Сроду не сидел и боюсь тюрьмы хуже смерти. А видно, прийдется и этого добра опробовать.

— Зря ты домой шел, — с сожалением сказал Прохор.

— А куда же мне было деваться?

— Прислонился бы где-нибудь в городе, переждал, пока утрясется эта живуха, а тогда и шел бы.

Григорий махнул рукой, засмеялся:

— Это не по мне! Ждать да догонять — самое постылое дело. Куда же я от детей пошел бы?

— Тоже, сказал! Жили же они без тебя? Потом забрал бы их и свою любезную. Да, забыл тебе сказать! Хозяева твои, у каких ты перед войной с Аксиньей проживал, преставились обое.

— Листницкие?

— Они самые. Кум мой Захар был в отступе при молодом Листницком за денщика, рассказывал: старый пан в Морозовской от тифу помер, а молодой до Катеринодара дотянул, там его супруга связалась с генералом Покровским, ну, он и не стерпел, застрелился от неудовольствия.

— Ну и черт с ними, — равнодушно сказал Григорий. — Жалко добрых людей, какие пропали, а об этих горевать некому. — Он встал, надел шинель и, уже держась за дверную скобу, раздумчиво заговорил: — Хотя черт его знает, такому, как молодой Листницкий или как наш Кошевой, я всегда завидовал… Им с самого начала все было ясное, а мне и до се все неясное. У них, у обоих, свои, прямые дороги, свои концы, а я с семнадцатого года хожу по вилюжкам, как пьяный качаюсь… От белых отбился, к красным не пристал, так и плаваю, как навоз в проруби… Видишь, Прохор, мне, конечно, надо бы в Красной Армии быть до конца, может; тогда и обошлось бы для меня все по-хорошему. И я сначала — ты же знаешь это — с великой душой служил Советской власти, а потом все это поломалось… У белых, у командования ихнего, я был чужой, на подозрении у них был всегда. Да и как могло быть иначе? Сын хлебороба, безграмотный казак — какая я им родня? Не верили они мне! А потом и у красных так же вышло. Я ить не слепой, увидал, как на меня комиссар и коммунисты в эскадроне поглядывали… В бою с меня глаз не сводили, караулили каждый шаг и наверняка думали: «Э-э, сволочь, беляк, офицер казачий, как бы он нас не подвел». Приметил я это дело, и сразу у меня сердце захолодало. Остатнее время я этого недоверия уже терпеть не мог больше. От жару ить и камень лопается. И лучше, что меня демобилизовали. Все к концу ближе. — Он глухо откашлялся, помолчал и, не оглядываясь на Прохора, уже другим голосом сказал: — Спасибо за угощение. Пошел я. Бывай здоров. К вечеру, ежели вернусь, зайду. Бутылку прибери, а то жена приедет — сковородник об твою спину обломает.

Прохор проводил его до крыльца, в сенях шепнул:

— Ох, Пантелевич, гляди, как бы тебя там не примкнули.

— Погляжу, — сдержанно ответил Григорий.

Не заходя домой, он спустился к Дону, отвязал у пристани чей-то баркас, пригоршнями вычерпал из него воду, потом выломал из плетня кол, пробил лед в окраинцах и поехал на ту сторону.

По Дону катились на запад темно-зеленые, вспененные ветром волны. В тиховодье у берегов они обламывали хрупкий прозрачный ледок, раскачивали зеленые пряди тины-шелковицы. Над берегом стоял хрустальный звон бьющихся льдинок, мягко шуршала омываемая водой прибрежная галька, а на середине реки, там, где течение было

стремительно и ровно, Григорий слышал только глухие всплески и клекот волн, толпившихся у левого борта баркаса, да низкий, басовитый, неумолчный гул ветра в обдонском лесу.

До половины вытащив баркас на берег, Григорий присел, снял сапоги, тщательно перемотал портянки, чтобы легче было идти.

К полудню он пришел в Вешенскую.

В окружном военном комиссариате было многолюдно и шумно. Резко дребезжали телефонные звонки, хлопали двери, входили и выходили вооруженные люди, из комнат доносилась сухая дробь пишущих машинок. В коридоре десятка два красноармейцев, окружив небольшого человека, одетого в сборчатый романовский полушубок, что-то наперебой говорили и раскатисто смеялись. Из дальней комнаты, когда Григорий проходил по коридору, двое красноармейцев выкатили станковый пулемет. Колесики его мягко постукивали по выщербленному деревянному полу. Один из пулеметчиков, упитанный и рослый, шутливо покрикивал: «А ну сторонись, штрафная рота, а то задавлю!»

«Видно, и на самом деле собираются выступать на восстание», — подумал Григорий.

Его задержали на регистрации недолго. Поспешно отметив удостоверение, секретарь военкомата сказал:

— Зайдите в политбюро [76] при Дончека. Вам, как бывшему офицеру, надлежит взяться у них на учет.

— Слушаю. — Григорий откозырял, ничем не выдав охватившего его волнения.

На площади он остановился в раздумье. Надо было идти в политбюро, но все существо его мучительно сопротивлялось этому. «Посадят!» — говорил ему внутренний голос, и Григорий содрогался от испуга и отвращения. Он стоял около школьного забора, незрячими глазами смотрел на унавоженную землю и уже видел себя со связанными руками, спускающегося по грязной лестнице в подвал, и — человека сзади, твердо сжимающего шершавую рукоятку нагана. Григорий сжал кулаки, посмотрел на вздувшиеся синие вены. И эти руки свяжут? Вся кровь бросилась ему в лицо. Нет, сегодня он не пойдет туда! Завтра — пожалуйста, а сегодня он сходит в хутор, проживет этот день с детьми, увидит Аксинью и утром вернется в Вешенскую. Черт с ней, с ногой, которая побаливает при ходьбе. Он только на один день сходит домой — и вернется сюда, непременно вернется. Завтра будь что будет, а сегодня — нет!

— А-а, Мелехов! Сколько лет, сколько зим…

Григорий повернулся. К нему подходил Яков Фомин — однополчанин Петра, бывший командир мятежного 28-го полка Донской армии.

Это был уже не тот Фомин, нескладный и небрежно одетый атаманец, каким его некогда знавал Григорий. За два года он разительно изменился: на нем ловко сидела хорошо подогнанная кавалерийская шинель, холеные русые усы были лихо закручены, и во всей фигуре, в подчеркнуто бравой походке, в самодовольной улыбке сквозило сознание собственного превосходства и отличия.

— Какими судьбами к нам? — спросил он, пожимая руку Григория, засматривая в глаза ему своими широко поставленными голубыми глазами.

— Демобилизован. В военкомат заходил…

— Давно прибыл?

— Вчера.

— Часто вспоминаю братана твоего Петра Пантелевича. Хороший был казак, а погиб зря… Мы же с ним темные [77] друзья были. Не надо было вам, Мелехов, восставать в прошлом году. Ошибку вы понесли!

Что-нибудь нужно было говорить, и Григорий сказал:

— Да. Ошиблись казаки…

— Ты в какой части был?

— В Первой Конной.

— Кем?

— Командиром эскадрона.

— Вот как! Я тоже зараз командую эскадроном. Тут же у нас, в Вешенской, свой караульный эскадрон. — Он глянул по сторонам и, понизив голос, предложил: — Вот что, пойдем-ка пройдемся, проводишь меня трошки, а то тут народ слоняется, не дадут нам потолковать.

Они пошли по улице. Фомин, искоса посматривая на Григория, спросил:

— Думаешь дома жить?

— А где же мне жить? Дома.

— Хозяйствовать?

— Да.

Фомин сожалеюще покачал головой и вздохнул:

— Плохое время ты, Мелехов, выбрал, ох, плохое… Не надо бы тебе домой являться ишо год, два.

— Почему?

Взяв Григория под локоть, слегка наклонившись, Фомин шепнул:

— Тревожно в округе. Казаки дюже недовольные продразверсткой. В Богучарском уезде восстание. Нынче выступаем на подавление. Лучше бы тебе, парень, смыться отсюда, да поживее. С Петром друзья мы были большие, поэтому и даю тебе такой совет: уходи!

— Мне уходить некуда.

— Ну, гляди! Я к тому это говорю, что политбюро офицеров зачинают арестовывать. За эту неделю трех подхорунжих с Дударевки привезли, одного с Решетовки, а с энтой стороны Дона их пачками везут, да и простых, нечиненых, казаков начинают щупать. Угадывай сам, Григорий Пантелевич.

— За совет спасибо, но только никуда я не пойду, — упрямо сказал Григорий.

— Это уж твое дело.

Фомин заговорил о положении в округе, о своих взаимоотношениях с окружным начальством и с окрвоенкомом Шахаевым. Занятый своими мыслями, Григорий слушал его невнимательно. Они прошли три квартала, и Фомин приостановился.

— Мне надо зайти в одно место. Пока. — Приложив руку к кубанке, он холодно попрощался с Григорием, пошел по переулку, поскрипывая новыми наплечными ремнями, прямой и до смешного важный.

Григорий проводил его взглядом и повернул обратно. Поднимаясь по каменным ступенькам двухэтажного здания политбюро, он думал: «Кончать — так поскорее, нечего тянуть! Умел, Григорий, шкодить — умей и ответ держать!»

VIII

Часам к восьми утра Аксинья загребла жар в печи, присела на лавку, вытирая завеской раскрасневшееся, потное лицо. Она встала еще до рассвета, чтобы пораньше освободиться от стряпни, — наварила лапши с курицей, напекла блинов, вареники обильно залила каймаком, поставила зажаривать; она знала — Григорий любит зажаренные вареники, и готовила праздничный обед в надежде, что возлюбленный будет обедать у нее.

Ей очень хотелось под каким-нибудь предлогом пойти к Мелеховым, побыть там хоть минутку, хоть одним глазком взглянуть на Григория. Просто немыслимо было думать, что он тут, рядом, и не видеть его. Но она все же пересилила это желание, не пошла. Не девчонка же она, в самом деле. В ее возрасте незачем поступать легкомысленно.

Она тщательнее, чем всегда, вымыла руки и лицо, надела чистую рубашку и новую, с прошивкой нижнюю юбку. У открытого сундука долго стояла в раздумье — что же все-таки надеть? Неудобно было в будничный день наряжаться, но и не хотелось оставаться в простом, рабочем платье. Не зная, на чем остановить свой выбор, Аксинья хмурилась, небрежно перебирала выглаженные юбки. Наконец, она решительно взяла темно-синюю юбку и почти неприношенную голубую кофточку, отделанную черным кружевом. Это было лучшее, что она имела. В конце концов не все ли равно, что подумают о ней соседи? Пусть для них сегодня — будни, зато для нее — праздник. Она торопливо принарядилась, подошла к зеркалу. Легкая удивленная улыбка скользнула по ее губам: чьи-то молодые, с огоньком, глаза смотрели на нее пытливо и весело. Аксинья внимательно, строго рассматривала свое лицо, потом с облегчением вздохнула. Нет, не отцвела еще ее красота! Еще не один казак остановится при встрече и проводит ее ошалелыми глазами!

Оправляя перед зеркалом юбку, она вслух сказала: «Ну, Григорий Пантелевич, держись!..» — и, чувствуя, что краснеет, засмеялась тихим, приглушенным смехом. Однако все это не помешало ей найти на висках несколько седых волос и выдернуть их. Григорий не должен был видеть ничего такого, что напоминало бы ему об ее возрасте. Для него она хотела быть такой же молодой, как семь лет назад.

До обеда она кое-как высидела дома, но потом не выдержала и, накинув на плечи белый, козьего пуха платок, пошла к Мелеховым. Дуняшка была дома одна. Аксинья поздоровалась, спросила:

— Вы не обедали?

— С такими бездомовниками пообедаешь вовремя! Муж в Совете, а Гриша ушел в станицу. Детишек уже покормила, жду больших.

Внешне спокойная, ни движением, ни словом не выказав постигшего ее разочарования, Аксинья сказала:

— А я думала — вы все в сборе. Когда же Гриша… Григорий Пантелевич вернется? Нынче?

Дуняшка окинула быстрым взглядом принаряженную соседку, нехотя сказала:

— Он пошел на регистрацию.

— Когда сулил вернуться?

В глазах Дуняши сверкнули слезы; запинаясь, она с упреком проговорила:

— Тоже, нашла время… разнарядилась… А того не знаешь — он, может, и не вернется вовсе.

— Как — не вернется?

— Михаил говорит, что его арестуют в станице… — Дуняшка заплакала скупыми, злыми слезами, вытирая глаза рукавом, выкрикнула: — Будь она проклята, такая жизня! И когда все это кончится? Ушел, а детишки, как, скажи, они перебесились, — ходу мне не дают: «Куда батянька ушел да когда он прийдет?» А я знаю? Проводила вон их на баз, а у самой все сердце изболелось… И что это за проклятая жизня! Нету никакого покоя, хоть криком кричи!..

— Ежли к ночи он не вернется — завтра пойду в станицу, узнаю. — Аксинья сказала это таким безразличным тоном, как будто речь шла о чем-то самом обыденном, что не стоило ни малейшего волнения.

Дивясь ее спокойствию, Дуняшка вздохнула:

— Теперь уж его, видно, не ждать. И на горе он шел сюда!

— Ничего покамест не видно! Ты кричать-то перестань, а то дети подумают… Прощай!

Григорий вернулся поздно вечером. Побыв немного дома, он пошел к Аксинье.

Тревога, в которой провела она весь долгий день, несколько притупила радость встречи. Аксинья к вечеру испытывала такое ощущение, как будто работала весь день, не разгибая спины. Подавленная и уставшая от ожидания, она прилегла на кровать, задремала, но, заслышав шаги под окном, вскочила с живостью девочки.

— Что же ты не сказал, что пойдешь в Вешки? — спросила она, обнимая Григория и расстегивая на нем шинель.

— Не успел сказаться, спешил.

— А мы с Дуняшкой откричали, каждая поврозь, думали — не вернешься.

Григорий сдержанно улыбнулся.

— Нет, до этого не дошло. — Помолчал и добавил: — Пока не дошло.

Прихрамывая, он прошел к столу, сел. В раскрытую дверь было видно горницу, широкую деревянную кровать в углу, сундук, тускло отсвечивавший медью оковки. Все здесь осталось таким же, каким было в то время, когда он еще парнем захаживал сюда в отсутствие Степана; почти ни в чем он не видел перемен, словно время шло мимо и не заглядывало в этот дом; сохранился даже прежний запах: пахло бражным душком свежих хмелин, чисто вымытыми полами и совсем немного, чуть слышно — увядшим чабрецом. Как будто совсем недавно Григорий в последний раз на заре выходил отсюда, а на самом деле как давно все это было…

Он подавил вздох и не спеша стал сворачивать папироску, но почему-то дрогнули руки, и он рассыпал на колени табак.

Аксинья торопливо собирала на стол. Холодную лапшу надо было подогреть. Сбегав за щепками в сарай, Аксинья — запыхавшаяся и слегка побледневшая — стала разводить огонь на загнетке. Она дула на мечущие искрами пылающие уголья и успевала посматривать на сгорбившегося, молча курившего Григория.

— Как твои дела там? Все управил?

— Все по-хорошему.

— С чего это Дуняшка взяла, что тебя беспременно должны заарестовать? Она и меня-то напужала до смерти.

Григорий поморщился, с досадой бросил папиросу.

— Михаил ей в уши надул. Это он все придумывает, беду на мою голову кличет.

Аксинья подошла к столу. Григорий взял ее за руки.

— А ты знаешь, — сказал он, снизу вверх глядя в ее глаза, — дела мои не дюже нарядные. Я сам думал, как шел в это политбюро, что не выйду оттуда. Как-никак я дивизией командовал в восстание, сотник по чину… Таких зараз к рукам прибирают.

— Что же они тебе сказали?

— Анкету дали заполнить, бумага такая, всю службу там надо описать. А из меня писарь плохой. Сроду так много не припадало писать, часа два сидел, описывал все свое прохождение. Потом ишо двое в комнату зашли, все про восстание расспрашивали. Ничего, обходительные люди. Старший спрашивает: «Чаю не хотите? Только с сахарином». Какой там, думаю, чай! Хотя бы ноги от вас в целости унесть. — Григорий помолчал и презрительно, как о постороннем, сказал: — Жидковат оказался на расплату… Сробел.

Он был зол на себя за то, что там, в Вешенской, струсил и не в силах был побороть охвативший его страх. Ему было вдвойне досадно, что опасения его оказались напрасными. Теперь все пережитое выглядело смешно и постыдно. Он думал об этом всю дорогу и, быть может, потому сейчас рассказывал обо всем этом, высмеивая себя и несколько преувеличивая

испытанные переживания.

Аксинья внимательно выслушала его рассказ, затем мягко освободила руки и отошла к печи. Поправляя огонь, она спросила:

— А как же дальше?

— Через неделю опять надо идти отмечаться.

— Думаешь, тебя все-таки заберут?

— Как видно — да. Рано или поздно возьмут.

— Что же будем делать? Как жить будем, Гриша?

— Не знаю. Давай потом об этом потолкуем. Вода у тебя есть умыться?

Они сели ужинать, и снова к Аксинье вернулось то полновесное счастье, которое испытывала она утром. Григорий был тут, рядом с ней; на него можно было смотреть безотрывно, не думая о том, что посторонние подстерегают ее взгляды, можно было говорить глазами все, не таясь и не смущаясь. Господи, как она соскучилась по нем, как истомилось, наскучало по этим большим неласковым рукам ее тело! Она почти не прикасалась к еде; слегка подавшись вперед, смотрела, как жадно жует Григорий, ласкала затуманившимся взглядом лицо его, смуглую, туго обтянутую стоячим воротником гимнастерки шею, широкие плечи, руки, тяжело лежавшие на столе… Она жадно вдыхала исходивший от него смешанный запах терпкого мужского пота и табака, такой знакомый и родной запах, свойственный лишь одному ему. Только по запаху она с завязанными глазами могла бы отличить своего Григория из тысячи мужчин… На щеках ее горел густой румянец, часто и гулко стучало сердце. В этот вечер она не могла быть внимательной хозяйкой, потому что, кроме Григория, не видела ничего вокруг. А он и не требовал внимания: сам отрезал хлеба, поискал глазами и нашел солонку на камельке печи, налил себе вторую тарелку лапши.

— Голодный я, как собака, — словно оправдываясь, с улыбкой сказал он. — С утра ничего не ел.

И только тогда Аксинья вспомнила о своих обязанностях, торопливо вскочила:

— Ох, головушка горькая! Про вареники и про блинцы-то я и забыла! Ешь курятину, пожалуйста! Ешь дюжей, мой родимый!.. Зараз все подам.

Но как же долго и старательно он ел! Как будто его не кормили целую неделю. Угощать его было делом совершенно излишним. Аксинья терпеливо ждала, потом все же не выдержала: села рядом с ним, левой рукой притянула к себе его голову, правой взяла чистый расшитый рушник, сама вытерла возлюбленному замаслившиеся губы и подбородок и, зажмурив глаза так, что в темноте брызнули оранжевые искорки, не дыша, крепко прижалась губами к его губам.

В сущности, человеку надо очень немного, чтобы он был счастлив. Аксинья, во всяком случае, была счастлива в этот вечер.

IX

Григорию тяжело было встречаться с Кошевым. Отношения их определились с первого дня, и разговаривать им было больше не о чем, да и не к чему. По всей вероятности, и Михаилу не доставляло удовольствия видеть Григория. Он нанял двух плотников, и они спешно ремонтировали его хатенку; меняли полусгнившие стропила на крыше, заново перебирали и ставили одну из покосившихся стен, делали новые притолоки, рамы и двери.

После возвращения из Вешенской Григорий сходил в хуторской ревком, предъявил Кошевому свои отмеченные военкоматом воинские документы и ушел, не попрощавшись. Он

переселился к Аксинье, забрал с собою детей и кое-что из своего имущества. Дуняшка, провожая его на новое жительство, всплакнула.

— Братушка, не держите на меня сердца, я перед вами не виноватая, — сказала она, умоляюще глядя на брата.

— За что же, Дуня? Нет-нет, что ты, — успокоил ее Григорий. — Заходи нас проведывать… Я у тебя один из родни остался, я тебя всегда жалел и зараз жалею… Ну а муж твой — это другое дело. С тобой мы дружбу не порушим.

— Мы скоро перейдем из дому, не серчай.

— Да нет же! — досадливо сказал Григорий. — Живите в доме хотя до весны. Вы мне не помеха, а места мне с ребятами и у Аксиньи хватит.

— Женишься на ней, Гриша?

— С этим успеется, — неопределенно ответил Григорий.

— Бери ее, брат, она хорошая, — решительно сказала Дуняшка. — Покойница маманя говорила, что тебе только ее в жены и брать. Она ее прилюбила последнее время, часто наведывалась к ней перед смертью.

— Ты меня вроде как уговариваешь, — улыбаясь, сказал Григорий. — На ком же мне, окромя нее, жениться? Не на бабке же Андронихе?

Андрониха была самая древняя старуха в Татарском. Ей давно перевалило за сто. Дуняшка, вспомнив ее крохотную, согнутую до земли фигурку, рассмеялась:

— Скажешь же ты, братушка! Я ить так только спросила. Ты молчишь об этом — я и спросила.

— Уж кого-кого, а тебя на свадьбу позову. — Григорий шутливо хлопнул сестру по плечу и с легким сердцем пошел с родного двора.

По правде сказать, ему было безразлично, где бы ни жить, лишь бы жить спокойно. Но вот этого-то спокойствия он и не находил… Несколько дней он провел в угнетающем безделье. Пробовал было кое-что смастерить в Аксиньином хозяйстве и тотчас почувствовал, что ничего не может делать. Ни к чему не лежала душа. Тягостная неопределенность мучила, мешала жить; ни на одну минуту не покидала мысль, что его могут арестовать, бросить в тюрьму — это в лучшем случае, а не то и расстрелять.

Просыпаясь по ночам, Аксинья видела, что он не спит. Обычно он лежал на спине, закинув за голову руки, смотрел в сумеречную темноту, и глаза у него были холодные и злые. Аксинья знала, о чем он думает. Помочь ему она ничем не могла. Она сама страдала, видя, как ему тяжело, и догадываясь о том, что надежды ее на совместную жизнь снова становятся несбыточными. Она ни о чем его не спрашивала. Пусть он решает все сам. Только раз ночью, когда проснулась и увидела сбоку багряный огонек папиросы, она сказала:

— Гриша, ты все не спишь… Может, ты ушел бы на это время из хутора? Или, может, нам вместе куда-нибудь уехать, скрыться?

Он заботливо прикрыл одеялом ее ноги и нехотя ответил:

— Я подумаю. Ты спи.

— А потом вернулись бы, когда все тут успокоится, а?

И снова он ответил неопределенно, так, как будто у него не было никакого решения:

— Поглядим, как оно дальше будет. Спи, Ксюша. — И осторожно и ласково прикоснулся губами к ее голому шелковисто прохладному плечу.

А на самом деле он уже принял решение: в Вешенскую он больше не пойдет. Напрасно будет ждать его тот человек из политбюро, который принимал его прошлый раз. Он тогда сидел за столом, накинув шинель на плечи, с хрустом потягивался и притворно зевал, слушая его, Григория, рассказ о восстании. Больше он ничего не услышит. Все рассказано.

В тот день, когда надо будет отправляться в политбюро, Григорий уйдет из хутора, если понадобится — надолго. Куда — он еще сам не знал, но уйти решил твердо. Ни умирать, ни сидеть в тюрьме ему не хотелось. Выбор он сделал, но преждевременно говорить об этом Аксинье не хотел. Незачем было отравлять ей последние дни, они и так были не очень-то веселыми. Об этом надо будет сказать в последний день, так он решил. А сейчас пусть она спит спокойно, уткнувшись лицом ему в подмышку. Она часто за эти ночи говорила: «Хорошо мне спать под твоим крылом». Ну, и пусть спит пока. Недолго ей, бедной, осталось прижиматься к нему…

По утрам Григорий нянчился с детьми, потом бесцельно бродил по хутору. На людях ему было веселее.

Как-то Прохор предложил собраться у Никиты Мельникова, выпить вместе с молодыми казаками-сослуживцами. Григорий решительно отказался. Он знал из разговоров хуторян, что они недовольны продразверсткой и что во время выпивки об этом неизбежно будет идти речь. Ему не хотелось навлекать на себя подозрения, и даже при встречах со знакомыми он избегал разговоров о политике. Хватит с него этой политики, она и так выходила ему боком.

Осторожность была тем более не лишней, что хлеб по продразверстке поступал плохо, и в связи с этим трех стариков взяли как заложников, под конвоем двух продотрядников отправили в Вешенскую.

На следующий день возле лавки ЕПО Григорий увидел недавно вернувшегося из Красной Армии бывшего батарейца Захара Крамскова. Он был преизрядно пьян, покачивался на ходу, но, подойдя к Григорию, застегнул на все пуговицы измазанную белой глиной куртку, хрипло сказал:

— Здравия желаю, Григорий Пантелевич!

— Здравствуй. — Григорий пожал широченную лапу коренастого и крепкого, как вяз, батарейца.

— Угадываешь?

— А как же.

— Помнишь, как в прошлом годе под Боковской наша батарея выручила тебя? Без нас твоей коннице пришлось бы туго. Сколько мы тогда красных положили — страсть! Один раз на удар давали, другой раз шрапнелью… Это я наводчиком у первого орудия работал! Я! — Захар гулко стукнул кулаком по своей широкой груди.

Григорий покосился по сторонам — на них смотрели стоявшие неподалеку казаки, вслушивались в происходивший разговор. У Григория дрогнули углы губ, в злобном оскале обнажились белые плотные зубы.

— Ты пьяный, — сказал он вполголоса, не разжимая зубов. — Иди проспись и не бреши лишнего.

— Нет, я не пьяный! — громко выкрикнул подгулявший батареец. — Я, может, от горя пьяный! Пришел домой, а тут не жизня, а б…! Нету казакам больше жизни, и казаков нету! Сорок пудов хлеба наложили, это — что? Они его сеяли, что накладывают? Они знают, на чем он, хлеб, растет?

Он смотрел бессмысленными, налитыми кровью глазами и вдруг, качнувшись, медвежковато облапил Григория, дохнул в лицо ему густым самогонным перегаром.

— Ты почему штаны без лампасов носишь? В мужики записался? Не пустим! Лапушка моя, Григорий Пантелевич! Перевоевать надо! Скажем, как в прошлом годе: долой коммунию, да здравствует Советская власть.

Григорий резко оттолкнул его от себя, прошептал:

— Иди домой, пьяная сволочь! Ты сознаешь, что ты говоришь?

Крамсков выставил вперед руку с широко растопыренными обкуренными пальцами, бормотнул:

— Извиняй, ежели что не так. Извиняй, пожалуйста, но я тебе истинно говорю, как своему командиру… Как все одно родному отцу-командиру: надо перевоевать!

Григорий молча повернулся, пошел через площадь домой. До вечера он находился под впечатлением этой нелепой встречи, вспоминал пьяные выкрики Крамскова, сочувственное молчание и улыбки казаков, думал: «Нет, надо уходить поскорее! Добра не будет…»

В Вешенскую нужно было идти в субботу. Через три дня он должен был покинуть родной хутор, но вышло иначе: в четверг ночью, — Григорий уже собрался ложиться спать, — в дверь кто-то резко постучал. Аксинья вышла в сени. Григорий слышал, как она спросила: «Кто там?» Ответа он не услышал, но, движимый неясным чувством тревоги, встал с кровати и подошел к окну. В сенях звякнула щеколда. Первой вошла Дуняшка. Григорий увидел ее бледное лицо и, еще ни о чем не спрашивая, взял с лавки папаху и шинель.

— Братушка…

— Что? — тихо спросил он, надевая в рукава шинель.

Задыхаясь, Дуняшка торопливо сказала:

— Братушка, уходи зараз же! К нам приехали четверо конных из станицы. Сидят в горнице… Они говорили шепотом, но я слыхала… Стояла под дверью и все слыхала… Михаил говорит — тебя надо арестовать… Рассказывает им про тебя… Уходи!

Григорий быстро шагнул к ней, обнял, крепко поцеловал в щеку.

— Спасибо, сестра! Ступай, а то заметят, что ушла. Прощай. — И повернулся к Аксинье: — Хлеба! Скорей! Да не целый, краюху!

Вот и кончилась его недолгая мирная жизнь… Он действовал, как в бою, — поспешно, но уверенно; прошел в горницу, осторожно поцеловал спавших детишек, обнял Аксинью.

— Прощай! Скоро подам вестку, Прохор скажет. Береги детей. Дверь запри. Спросят — скажи, увел в Вешки. Ну, прощай, не горюй, Ксюша! — Целуя ее, он ощутил на губах теплую, соленую влагу слез.

Ему некогда было утешать и слушать беспомощный, несвязный лепет Аксиньи. Он легонько разнял обнимавшие его руки, шагнул в сени, прислушался и рывком распахнул наружную дверь. Холодный ветер с Дона плеснулся ему в лицо. Он на секунду закрыл глаза, осваиваясь с темнотой.

Аксинья слышала сначала, как похрустывает снег под ногами Григория. И каждый шаг отдавался острой болью в ее сердце. Потом звук шагов затих и хрястнул плетень. Потом стало вовсе тихо, только ветер шумел за Доном в лесу. Аксинья пыталась услышать что-нибудь сквозь шум ветра, но ничего не услышала. Ей стало холодно. Она вошла в кухню и потушила лампу.

X

Поздней осенью 1920 года, когда в связи с плохим поступлением хлеба по продразверстке были созданы продовольственные отряды, среди казачьего населения Дона началось глухое брожение. В верховых станицах Донской области — в Шумилинской, Казанской, Мигулинской, Мешковской, Вешенской, Еланской, Слащевской и других — появились небольшие вооруженные банды. Это было ответом кулацкой и зажиточной части казачества на создание продовольственных отрядов, на усилившиеся мероприятия Советской власти по проведению продразверстки.

В большинстве своем банды — каждая численностью от пяти до двадцати штыков — состояли из местных жителей-казаков, в прошлом активных белогвардейцев. Среди них были: служившие в восемнадцатом-девятнадцатом годах в карательных отрядах, уклонившиеся от сентябрьской мобилизации младшего командного состава урядники, вахмистры и подхорунжие бывшей Донской армии, повстанцы, прославившиеся ратными подвигами и расстрелами пленных красноармейцев во время прошлогоднего восстания в Верхнедонском округе, — словом, люди, которым с Советской властью было не по пути.

Они нападали на хуторах на продовольственные отряды, возвращали следовавшие на ссыппункты обозы с хлебом, убивали коммунистов и преданных Советской власти беспартийных казаков.

Задача ликвидации банд была возложена на караульный батальон Верхнедонского округа, расквартированный в Вешенской и в хуторе Базках. Но все попытки уничтожить банды, рассеянные по обширной территории округа, оказались безуспешными — во-первых, потому, что местное население относилось к бандитам сочувственно, снабжало их продовольствием и сведениями о передвижении красноармейских частей, а также укрывало от преследования, и, во-вторых, потому, что командир батальона Капарин, бывший штабс-капитан царской армии и эсер, не хотел уничтожения недавно народившихся на Верхнем Дону контрреволюционных сил и всячески препятствовал этому. Лишь время от времени, и то под нажимом председателя окружного комитета партии, он предпринимал короткие вылазки — и снова возвращался в Вешенскую, ссылаясь на то, что он не может распылять сил и идти на неразумный риск, оставляя без должной охраны Вешенскую с ее окружными учреждениями и складами. Батальон, насчитывавший около четырехсот штыков при четырнадцати пулеметах, нес гарнизонную службу: красноармейцы караулили арестованных, возили воду, рубили деревья в лесу, а также собирали, в порядке трудовой повинности, чернильные орешки с дубовых листьев для изготовления чернил. Дровами и чернилами батальон успешно снабжал все многочисленные окружные учреждения и канцелярии, а тем временем число мелких банд по округу угрожающе росло. И только в декабре, когда началось крупное восстание на территории смежного с Верхнедонским округом Богучарского уезда Воронежской губернии, поневоле прекратились и заготовка лесоматериалов, и сбор чернильных орешков. Приказом командующего войсками Донской области батальон в составе трех рот и пулеметного взвода, совместно с караульным эскадроном, 1-м батальоном 12-го продовольственного полка и двумя небольшими заградительными отрядами, был послан на подавление этого восстания.

В бою на подступах к селу Сухой Донец вешенский эскадрон под командованием Якова Фомина атаковал цепи повстанцев с фланга, смял их, обратил в бегство и вырубил при преследовании около ста семидесяти человек, потеряв всего лишь трех бойцов. В эскадроне, за редким исключением, все были казаки — уроженцы верховых станиц Дона. Они и здесь не изменили вековым казачьим традициям: после боя, несмотря на протесты двух коммунистов эскадрона, чуть ли не половина бойцов сменила старенькие шинели и теплушки на добротные дубленые полушубки, снятые с порубленных повстанцев.

Через несколько дней после подавления восстания эскадрон был отозван в станицу Казанскую. Отдыхая от тягот военной жизни, Фомин развлекался в Казанской как мог. Завзятый бабник, веселый и общительный гуляка — он пропадал по целым ночам и приходил на квартиру только перед рассветом. Бойцы, с которыми Фомин держал себя запанибрата, завидев вечером на улице своего командира в ярко начищенных сапогах, понимающе перемигивались, говорили:

— Ну, пошел наш жеребец по жалмеркам! Теперь его только заря выкинет.

Тайком от комиссара и политрука эскадрона Фомин захаживал и на квартиры к знакомым казакам-эскадронцам, когда ему сообщали, что есть самогон и предстоит выпивка. Случалось это нередко. Но вскоре бравый командир заскучал, помрачнел и почти совсем забыл о недавних развлечениях. По вечерам он уже не начищал с прежним старанием своих высоких щегольских сапог, перестал ежедневно бриться, впрочем, на квартиры к хуторянам, служившим в его эскадроне, изредка заходил, чтобы посидеть и выпить, но в разговорах оставался немногословным.

Перемена в характере Фомина совпала с сообщением, полученным командиром отряда из Вешенской: политбюро Дончека коротко информировало о том, что в Михайловке, соседнего Усть-Медведицкого округа, восстал караульный батальон во главе с командиром батальона Вакулиным.

Вакулин был сослуживцем и другом Фомина. Вместе с ним они были некогда в корпусе Миронова, вместе шли из Саранска на Дон и вместе, в одну кучу, костром сложили оружие, когда мятежный мироновский корпус окружила конница Буденного. Дружеские отношения между Фоминым и Вакулиным существовали до последнего времени. Совсем недавно, в начале сентября, Вакулин приезжал в Вешенскую, и еще тогда он скрипел зубами и жаловался старому другу на «засилие комиссаров, Которые разоряют хлеборобов продразверсткой и ведут страну к гибели», В душе Фомин был согласен с высказываниями Вакулина, но держался осторожно, с хитрецой, часто заменявшей ему отсутствие природного ума. Он вообще был осторожным человеком, никогда не торопился и не говорил сразу ни да, ни нет. Но вскоре, после того как он узнал о восстании вакулинского батальона, всегдашняя осторожность ему изменила. Как-то вечером, перед выступлением эскадрона в Вешенскую, на квартире взводного Алферова собрались эскадронцы. Огромная конская цебарка была полна самогоном. За столом шел оживленный разговор. Присутствовавший на этой попойке Фомин молча вслушивался в разговоры и так же молча черпал из цебарки самогон. Но когда один из бойцов стал вспоминать, как ходили в атаку под Сухим Донцом, Фомин, задумчиво покручивая ус, прервал рассказчика.

— Рубили мы, ребята, хохлов неплохо, да как бы самим вскорости не пришлось горевать… Что, как приедем в Вешенскую, а там у наших семей продотряды весь хлебец выкачали? Казанцы шибко обижаются на эти продотряды. Гребут они из закромов чисто, под метло…

В комнате стало тихо. Фомин оглядел своих эскадронцев и, натянуто улыбаясь, сказал:

— Это я — шутейно… Глядите, языками не надо трепать, а то из шутки черт те чего сделают.

По возвращении в Вешенскую Фомин, сопровождаемый полувзводом красноармейцев, поехал домой, в хутор Рубежный. В хуторе, не заезжая к себе во двор, он спешился около ворот, кинул поводья одному из красноармейцев, пошел в дом.

Он холодно кивнул жене, низко поклонился старухе матери и за руку почтительно поздоровался с ней, обнял детишек.

— А где же батя? — спросил он, присев на табурет, ставя между колен шашку.

— Уехал на мельницу, — ответила старуха и, глянув на сына, строго приказала: — Шапку-то сыми, нехристь! Кто же под образа садится в шапке? Ох, Яков, не сносить тебе головы…

Фомин неохотно улыбнулся, снял кубанку, но раздеваться не стал.

— Чего же не раздеваешься?

— Я заскочил на минутку проведать вас, все некогда за службой.

— Знаем мы твою службу… — сурово сказала старуха, намекая на беспутное поведение сына, на связи его с женщинами в Вешенской.

Слух об этом уже давно прошел по Рубежному.

Преждевременно постаревшая, бледная, забитая с виду жена Фомина испуганно взглянула на свекровь, отошла к печи. Чтобы хоть чем-нибудь угодить мужу, чтобы снискать его расположение и удостоиться хотя бы одного ласкового взгляда, — она взяла из-под загнетки тряпку, стала на колени и, согнувшись, начала счищать густую грязь, прилипшую к сапогам Фомина.

— Сапоги-то какие на тебе добрые, Яша… Замазал ты их дюже… Я зараз вытру их, чисточко вытру! — почти беззвучно шептала она, не поднимая головы, ползая на коленях у ног мужа.

Он давно не жил с ней и давно не испытывал к этой женщине, которую когда-то в молодости любил, ничего, кроме легкой презрительной жалости. Но она всегда любила его и втайне надеялась, что когда-нибудь он снова вернется к ней, — прощала все. Долгие годы она вела хозяйство, воспитывала детей, во всем старалась угодить своенравной свекрови. Вся тяжесть полевых работ ложилась на ее худые плечи. Непосильный труд и болезнь, начавшаяся после вторых родов, из года в год подтачивали ее здоровье. Она исхудала. Лицо ее поблекло. Преждевременная старость раскинула на щеках паутину морщин. В глазах появилось то выражение испуганной покорности, какое бывает у больных умных животных. Она сама не замечала того, как быстро она старится, как с каждым днем тает ее здоровье, и все еще на что-то надеялась, при редких встречах поглядывала на своего красавца мужа с робкой любовью и восхищением…

Фомин смотрел сверху вниз на жалко согнутую спину жены с резко очерченными под кофточкой худыми лопатками, на ее большие дрожащие руки, старательно счищавшие грязь с его сапог, думал: «Хороша, нечего сказать! И с такой холерой я когда-то спал… Хотя она здорово постарела… До чего же она все-таки постарела!»

— Хватит тебе! Все одно вымажу, — с досадой сказал он, высвобождая ноги из рук жены.

Она с усилием распрямила спину, встала. На желтых щеках ее проступил легкий румянец. Столько любви и собачьей преданности было в ее обращенных на мужа увлажнившихся глазах, что он отвернулся, спросил у матери:

— Ну как вы тут живете?

— Все так же, — хмуро ответила старуха.

— Продотряд был в хуторе?

— Только вчера выехали в Нижне-Кривской.

— У нас хлеб брали?

— Взяли. Сколько они насыпали, Давыдушка?

Похожий на отца четырнадцатилетний подросток, с такими же широко поставленными голубыми глазами, ответил:

— Дедуня при них был, он знает. Кажись, десять чувалов.

— Та-а-ак… — Фомин встал, коротко взглянул на сына, оправил портупею. Он слегка побледнел, когда спрашивал: — Говорили вы им, чей они хлеб берут?

Старуха махнула рукой и не без злорадства улыбнулась:

— Они об тебе не дюже понимают! Старший ихний говорит: «Все без разбору должны сдавать хлебные лишки. Нехай он хоть Фомин, хоть сам окружной председатель — все одно лишний хлеб возьмем!» С тем и начали по закромам шарить.

— Я с ними, мамаша, сочтусь. Я сочтусь с ними! — глухо проговорил Фомин и, наскоро попрощавшись с родными, вышел.

После поездки домой он осторожно стал разведывать, каково настроение бойцов его

эскадрона, и без особого труда убедился в том, что в большинстве своем они недовольны продразверсткой. К ним приезжали из хуторов и станиц жены, дальние и близкие родственники; привозили рассказы о том, как продотрядники производят обыски, забирают весь хлеб, оставляя только на семена и на продовольствие. Все это привело к тому, что в конце января на гарнизонном собрании, происходившем в Базках, во время речи окружного военкома Шахаева эскадронцы выступили открыто. Из рядов их раздавались возгласы:

— Уберите продотряды!

— Пора кончать с хлебом!

— Долой продовольственных комиссаров!

В ответ им красноармейцы караульной роты кричали:

— Контры!

— Расформировать сволочей!

Собрание было длительным и бурным. Один из немногочисленных коммунистов гарнизона взволнованно сказал Фомину:

— Надо тебе выступить, товарищ Фомин! Смотри, какие номера откалывают твои эскадронцы!

Фомин незаметно улыбнулся в усы:

— Я же беспартийный человек, разве они меня послухают?

Отмолчавшись, он ушел задолго до конца собрания вместе с командиром батальона Капариным. По дороге в Вешенскую они заговорили о создавшемся положении и очень быстро нашли общий язык. Через неделю Капарин на квартире у Фомина, с глазу на глаз говорил ему:

— Либо мы выступим сейчас, либо не выступим никогда, так ты это и знай, Яков Ефимович! Надо пользоваться моментом. Сейчас он очень удобен. Казаки нас поддержат. Авторитет твой в округе велик. Настроение у населения — лучше и придумать нельзя. Что же ты молчишь? Решайся!

— Чего ж тут решаться? — медленно, растягивая слова и глядя исподлобья, проговорил Фомин. — Тут дело решенное. Надо только такой план сработать, чтобы все вышло без заминки, чтобы комар носу не подточил. Об этом и давай говорить.

Подозрительная дружба Фомина с Капариным не осталась незамеченной. Несколько коммунистов из батальона устроили за ними слежку, сообщили о своих подозрениях начальнику политбюро Дончека Артемьеву и военкому Шахаеву.

— Пуганая ворона куста боится, — смеясь, сказал Артемьев. — Капарин этот — трус, да разве он на что-либо решится? За Фоминым будем смотреть, он у нас давно на примете, только едва ли и Фомин отважится на выступление. Ерунда все это, — решительно заключил он.

Но смотреть было уже поздно: заговорщики успели столковаться. Восстание должно было начаться 12 марта в восемь утра. Было условлено, что в этот день Фомин выведет эскадрон на утреннюю проездку в полном вооружении, а затем внезапно атакует расположенный на окраине станицы пулеметный взвод, захватит пулеметы и после этого поможет караульной роте провести «чистку» окружных учреждений.

У Капарина были сомнения, что батальон не полностью его поддержит. Как-то он высказал это предположение Фомину. Тот внимательно выслушал, сказал:

— Лишь бы пулеметы захватить, а батальон твой мы после этого враз усмирим…

Тщательное наблюдение, установленное за Фоминым и Капариным, ничего не дало. Встречались они редко и то лишь по служебным делам, и только в конце февраля однажды ночью патруль увидел их на улице вдвоем. Фомин вел в поводу оседланного коня, Капарин

шел рядом. На оклик Капарин отозвался: «Свои». Они зашли на квартиру к Капарину. Коня Фомин привязал к перилам крыльца. В комнате огня не зажигали. В четвертом часу утра Фомин вышел, сел верхом на коня и поехал к себе. Вот все, что удалось установить.

Шифрованной телеграммой на имя командующего войсками Донобласти окружной военком Шахаев сообщил свои подозрения относительно Фомина и Капарина. Через несколько дней был получен ответ командующего, санкционировавший снятие Фомина и Капарина с должностей и их арест.

На совещании бюро окружного комитета партии было решено: известить Фомина приказом окрвоенкомата, что он отзывается в Новочеркасск в распоряжение командующего войсками, предложить ему передать командование эскадроном своему помощнику Овчинникову; в тот же день эскадрон выслать в Казанскую под предлогом появления там банды и после этого ночью произвести арест заговорщиков. Вывести эскадрон из станицы было решено из опасения, как бы эскадрон не восстал, узнав об аресте Фомина. Командиру второй роты караульного батальона коммунисту Ткаченко было предложено предупредить коммунистов батальона и взводных командиров о возможности восстания и привести в боевую готовность находившиеся в станице роту и пулеметный взвод.

Утром на следующий день Фомин получил приказ.

— Ну, что ж, принимай эскадрон, Овчинников. Поеду в Новочеркасск, — сказал он спокойно. — Отчетность будешь глядеть?

Никем не предупрежденный, ничего не подозревая, беспартийный командир взвода Овчинников углубился в бумаги.

Фомин, улучив минуту, написал Капарину записку: «Выступаем нынче. Меня снимают. Готовься». В сенях он передал записку своему ординарцу, шепнул:

— Положи записку за щеку. Шагом, — понял? — шагом езжай к Капарину. Ежели кто будет тебя в дороге останавливать — записку проглоти. Отдашь ему и зараз же вертайся сюда.

Получив приказ о выступлении в станицу Казанскую, Овчинников на церковной площади выстроил эскадрон к походу, Фомин подъехал верхом к Овчинникову:

— Разреши проститься с эскадроном.

— Пожалуйста, только покороче, не задерживайте нас.

Став перед эскадроном, сдерживая переплясывающего коня, Фомин обратился к бойцам:

— Вы меня, товарищи, знаете. Знаете, за что я всегда боролся. Я всегда был вместе с вами. Но зараз я не могу мириться, когда грабят казачество, грабят вообще хлеборобов. Вот за это меня и сняли. А что сделают со мной — это я знаю. Поэтому и хочу с вами проститься…

Шум и выкрики в эскадроне на секунду прервали речь Фомина. Он привстал на стременах, резко повысил голос:

— Ежели хотите избавиться от грабежа — гоните отсюдова продотряды, бейте продкомиссаров Мурзовых и комиссаров Шахаевых! Они приехали к нам на Дон…

Шум покрыл последние слова Фомина. Выждав момент, он зычно подал команду:

— Справа по три, направо шагом — арш!

Эскадрон послушно выполнил команду. Овчинников, ошарашенный всем случившимся, подскакал к Фомину.

— Вы куда, товарищ Фомин?

Не поворачивая головы, тот насмешливо ответил:

— А вот вокруг церкви объедем…

И только тогда до сознания Овчинникова дошло все происшедшее за эти немногие минуты. Он отделился от колонны; политрук, помощник комиссара и всего лишь один

красноармеец последовали за ним. Фомин заметил их отсутствие, когда они отъехали шагов на двести. Повернув лошадь, он крикнул:

— Овчинников, стой!..

Четверо всадников с легкой рыси перешли на галоп. Из-под копыт их лошадей во все стороны полетели комья талого снега. Фомин скомандовал:

— Ружья к бою! Поймать Овчинникова!.. Первый взвод! Вдогон!..

Беспорядочно зазвучали выстрелы. Человек шестнадцать из первого взвода устремились в погоню. Тем временем Фомин разбил оставшихся эскадронцев на две группы: одну во главе с командиром третьего взвода послал обезоружить пулеметный взвод, другую сам повел к расположению караульной роты, помещавшейся на северной окраине станицы, в бывших конюшнях станичных жеребцов.

Первая группа, стреляя в воздух и помахивая клинками, поскакала по главной улице. Изрубив попавшихся на пути четырех коммунистов, мятежники на краю станицы спешно построились и молча, без крика, пошли в атаку на выбежавших из дома красноармейцев пулеметного взвода.

Дом, в котором помещался пулеметный взвод, стоял на отшибе. Расстояние от него до крайних дворов станицы не превышало ста саженей. Встреченные пулеметным огнем в упор, мятежники круто повернули обратно. Трое из них, не доскакав до ближайшего переулка, были пулями сбиты с лошадей. Пулеметчиков захватить врасплох не удалось. Вторичной попытки мятежники не предприняли. Командир третьего взвода Чумаков отвел свою группу за прикрытие; не слезая с коня, осторожно выглянул из-за угла каменного сарая, сказал:

— Ну, выкатили еще два «максима». — Потом вытер папахой потный лоб и повернулся к бойцам: — Поехали назад, ребята!.. Нехай сам Фомин берет пулеметчиков. Сколько у нас на снегу осталось, трое? Ну, вот, нехай он сам попробует.

Как только на восточной окраине станицы началась стрельба, командир роты Ткаченко выскочил из квартиры, на ходу одеваясь, побежал к казарме. Человек тридцать красноармейцев уже стояли возле казармы, выстроившись в шеренгу. Командира роты встретили недоуменными вопросами:

— Кто стреляет?

— В чем дело?

Не отвечая, он молча пристраивал к шеренге выбегавших из казармы красноармейцев. Несколько коммунистов — работников окружных учреждений — почти одновременно с ним прибежали к казарме и стали в строй.

По станице трещали разрозненные винтовочные выстрелы. Где-то на западной окраине гулко ухнула ручная граната. Завидев с полсотни всадников, скакавших с обнаженными шашками по направлению к казарме, Ткаченко не спеша вынул из кобуры наган. Он не успел подать команду: в шеренге разом смолкли разговоры, и красноармейцы взяли винтовки наизготовку.

— Да это свои бегут! Глядите, вон наш комбат товарищ Капарин! — крикнул один из краснорамейцев.

Всадники, вырвавшись из улицы, дружно, как по команде, пригнулись к шеям лошадей и устремились к казарме.

— Не пускай! — резко крикнул Ткаченко.

Покрывая его голос, грохнул залп. В ста шагах от сомкнутой шеренги красноармейцев четыре всадника свалились с лошадей, остальные в беспорядке, рассыпавшись, повернули обратно. Вслед им часто лопались, трещали выстрелы. Один из всадников, как видно легко раненный, сорвался с седла, но повод из руки не выпустил. Саженей десять волочился он за

шедшей карьером лошадью, а потом вскочил на ноги, ухватился за стремя, за заднюю луку седла и через какой-то незаметный миг очутился уже на лошади. Яростно дернув повод, он на всем скаку круто повернул, скрылся в ближайшем переулке.

Эскадронцы первого взвода после безрезультатной погони за Овчинниковым вернулись в станицу. Поиски комиссара Шахаева не привели ни к чему. Ни в опустевшем военкомате, ни на квартире его не оказалось. Услышав стрельбу, он бросился к Дону, перебежал по льду в лес, оттуда — в хутор Базки и на другой день очутился уже за пятьдесят верст от Вешенской, в станице Усть-Хоперской.

Большинство руководящих работников успели вовремя спрятаться. Искать их было небезопасно, так как красноармейцы пулеметного взвода с ручными пулеметами подошли к центру станицы и держали под обстрелом все прилегающие к главной площади улицы.

Эскадронцы прекратили поиски, спустились к Дону и наметом прискакали к церковной площади, откуда начали погоню за Овчинниковым. Вскоре там собрались все фоминцы. Они снова стали в строй. Фомин приказал выставить сторожевое охранение, остальным бойцам расположиться по квартирам, но лошадей не расседлывать.

Фомин и Капарин, а также командиры взводов уединились в одном из окраинных домишек.

— Все проиграно! — в отчаянии воскликнул Капарин, обессиленно рухнув на скамью.

— Да, станицу не взяли, стало быть, нам тут не удержаться, — тихо сказал Фомин.

— Надо, Яков Ефимович, махнуть по округу. Чего нам теперича робеть? Все одно раньше смерти не помрем. Подымем казаков, а тогда и станица будет наша, — предложил Чумаков.

Фомин молча посмотрел на него, повернулся к Капарину:

— Раскис, ваше благородие? Утри сопли! Раз взялся за гуж, не говори, что не дюж. Вместе начинали, давай вместе и вытягивать… Как по-твоему — уходить из станицы или ишо разок попробовать?

Чумаков резко сказал:

— Нехай пробуют другие! Я на пулеметы в лоб не пойду. Пустое это занятие.

— Я у тебя не спрашиваю, цыц! — Фомин глянул на Чумакова, и тот опустил глаза.

После недолгого молчания Капарин сказал:

— Да, конечно, теперь уже бессмысленно начинать второй раз. У них превосходство в вооружении. У них четырнадцать пулеметов, а у нас ни одного. И людей у них больше… Надо уходить и организовывать казаков на восстание. Пока им подбросят подкрепления — весь округ будет охвачен восстанием. Только на это и надежда. Только на это!

После долгого молчания Фомин сказал:

— Что ж, на том прийдется и решить. Взводные! Зараз же проверьте снаряжение, подсчитайте, сколько у каждого на руках патронов. Строгий приказ: ни одного патрона зря не расходовать. Первого же, кто ослушается, зарублю самолично. Так и передайте бойцам. — Он помолчал и злобно стукнул по столу огромным кулаком. — Эх, п…пулеметы! А все ты, Чумаков! Хотя бы штучки четыре отбить! Зараз они, конечно, выставят нас из станицы… Ну, расходитесь! Ночуем, ежели не выбьют нас, в станице, а на рассвете выступим, пройдемся по округу…

Ночь прошла спокойно. На одном краю Вешенской находились восставшие эскадронцы, на другом — караульная рота и влившиеся в нее коммунисты и комсомольцы. Всего лишь два квартала разделяли противника, но ни одна сторона не отважилась на ночное наступление.

Утром мятежный эскадрон без боя покинул станицу и ушел в юго-восточном направлении.

XI

Первые три недели после ухода из дому Григорий жил в хуторе Верхне-Кривском Еланской станицы у знакомого казака-полчанина. Потом ушел в хутор Горбатовский, там у дальнего родственника Аксиньи прожил месяц с лишним.

Целыми днями он лежал в горнице, во двор выходил только по ночам. Все это было похоже на тюрьму. Григорий изнывал от тоски, от гнетущего безделья. Его неудержимо тянуло домой — к детям, к Аксинье. Часто во время бессонных ночей он надевал шинель, с твердым решением идти в Татарский — и всякий раз, пораздумав, раздевался, со стоном падал на кровать вниз лицом. Под конец так жить стало невмоготу. Хозяин, доводившийся Аксинье двоюродным дядей, сочувствовал Григорию, но и он не мог держать у себя такого постояльца бесконечно. Однажды Григорий, после ужина пробравшись в свою комнату, услышал разговор. Тонким от ненависти голосом хозяйка спрашивала:

— Когда же это кончится?

— Что? Об чем ты гутаришь? — баском отвечал ей хозяин.

— Когда ты этого дурноеда сбудешь с рук?

— Молчи!

— Не буду молчать! У самих хлеба осталось — кот наплакал, а ты его, черта горбатого, содержишь, кормишь каждый день. До каких пор это будет, я у тебя спрашиваю? А ежели Совет дознается? С нас головы посымают, детей осиротят!

— Молчи, Авдотья!

— Не буду молчать! У нас дети! У нас хлеба осталось не более двадцати пудов, а ты прикормил в доме этого дармоеда! Кто он тебе доводится? Родной брат? Сват? Кум? Он тебе и близко не родня! Он тебе — двоюродный кисель на троюродной воде, а ты его содержишь, кормишь, поишь. У-у, черт лысый! Молчи, не гавкай, а то завтра сама пойду в Совет и заявлю, какой цветок у тебя в доме кохается!

На другой день хозяин вошел к Григорию в комнату, глядя на половицы, сказал:

— Григорий Пантелевич! Как хочешь суди, а больше тебе жить у меня нельзя… Я тебя уважаю и родителя твоего покойного знал и уважал, но зараз мне тяжело содерживать тебя нахлебником… Да и опасаюсь, как бы власть не дозналась про тебя. Иди куда хочешь. У меня семья. Голову из-за тебя мне закладывать неохота. Прости, ради Христа, но ты нас избавь…

— Хорошо, — коротко сказал Григорий. — Спасибо за хлеб-соль, за приют. Спасибо за все. Я сам вижу, что в тягость тебе, но куда же мне деваться? Все ходы у меня закрыты.

— Куда знаешь.

— Ладно. Нынче уйду. Спасибо тебе, Артамон Васильевич, за все.

— Не стоит, не благодари.

— Я твою доброту не забуду. Может, и я тебе чем-нибудь когда-нибудь сгожусь.

Растроганный хозяин хлопнул Григория по плечу:

— Об чем там толковать! По мне ты хотя бы ишо два месяца жил, да баба не велит, ругается кажин день, проклятая! Я казак, и ты казак, Григорий Пантелевич: мы с тобой обое против Советской власти, и я тебе пособлю: ступай нынче на хутор Ягодный, там мой сват живет, он тебя примет. Скажи ему моим словом: Артамон велит принять тебя, как родного сына, кормить и содерживать, пока силов хватит. А там мы с ним сочтемся. Но ты только уходи от меня нынче же. Мне больше тебя держать нельзя, тут-таки баба одолевает, а тут опасаюсь, как бы Совет не прознал… Пожил, Григорий Пантелевич, и хватит. Мне своя голова тоже дорогая…

Поздней ночью Григорий вышел из хутора и не успел дойти до стоявшего на бугре

ветряка, как трое конных, выросших словно из-под земли, остановили его:

— Стой, сукин сын! Ты кто такой?

У Григория дрогнуло сердце. Он молча остановился. Бежать было безрассудно. Около дороги — ни ярка, ни кустика: пустая, голая степь. Он не успел бы сделать и двух шагов.

— Коммунист? Иди назад, в гроб твою мать! А ну, живо!

Второй, наезжая на Григория конем, приказал:

— Руки! Руки из карманов! Вынай, а то голову срублю!

Григорий молча вынул руки из карманов шинели и, еще не совсем ясно осознавая, что с ним произошло и что это за люди, остановившие его, спросил:

— Куда идти?

— В хутор. Вертай назад.

До хутора его сопровождал один всадник, двое остальных на выгоне отделились, поскакали к шляху. Григорий шел молча. Выйдя на дорогу, он замедлил шаг, спросил:

— Слухай, дядя, вы кто такие есть?

— Иди-иди! Не разговаривай! Руки заложи назад, слышишь?

Григорий молча повиновался. Немного спустя снова спросил:

— Нет, все-таки, кто вы такие?

— Православные.

— Я и сам не старовер.

— Ну, и радуйся.

— Ты куда меня ведешь?

— К командиру. Иди ты, гад, а то я тебя…

Конвойный легонько ткнул Григория острием шашки. Тонко отточенное, холодное, стальное жало коснулось голой шеи Григория, как раз между воротником шинели и папахой, и в нем, как искра, на миг вспыхнуло чувство испуга, сменившееся бессильным гневом. Подняв воротник, вполоборота глянув на конвойного, он сказал сквозь зубы:

— Не дури! Слышишь? А то как бы я у тебя эту штуку не отобрал…

— Иди, подлюка, не разговаривай! Я тебе отберу! Руки назад!

Григорий шага два ступил молча, потом сказал:

— Я и так молчу, не ругайся. Подумаешь, дерьмо какое…

— Не оглядывайся!

— Я и так не оглядываюсь.

— Молчи, иди шибче!

— Может, рысью побечь? — спросил Григорий, смахивая с ресниц налипающие снежинки.

Конвойный молча тронул коня. Лошадиная влажная от пота и ночной сырости грудь толкнула Григория в спину, возле ног его конское копыто с чавканьем продавило талый снег.

— Потише! — воскликнул Григорий, упираясь ладонью в конскую гриву.

Конвойный поднял на уровень головы шашку, негромко сказал:

— Ты иди, сучий выб…, и не разговаривай, а то я тебя не доведу до места. У меня на это рука легкая. Цыц, и ни слова больше!

До самого хутора они молчали. Около крайнего двора конный придержал лошадь, сказал:

— Иди вот в эти ворота.

Григорий вошел в настежь распахнутые ворота. В глубине двора виднелся просторный, крытый железом дом. Под навесом сарая фыркали и звучно жевали лошади. Возле крыльца стояло человек шесть вооруженных людей. Конвойный вложил в ножны шашку, сказал,

спешиваясь:

— Иди в дом, по порожкам прямо, первая дверь налево. Иди, не оглядывайся, сколько разов тебе говорить, в рот тебя, в печенку, в селезенку!

Григорий медленно поднимался по ступенькам крыльца. Стоявший у перил человек в буденовке и длинной кавалерийской шинели спросил:

— Поймали, что ли?

— Поймали, — неохотно ответил знакомый Григорию сиплый голос его конвоира. — Возле ветряка взяли.

— Секретарь ячейки или кто он такой?

— А хрен его знает. Какая-то сволочуга, а кто он такой — зараз узнаем.

«Либо это банда, либо вешенские чекисты мудрят, притворяются. Попался! Попался, как дурак», — думал Григорий, нарочно мешкая в сенях, пытаясь собраться с мыслями.

Первый, кого он увидел, открыв дверь, был Фомин. Он сидел за столом в окружении многих одетых в военное незнакомых Григорию людей. На кровати навалом лежали шинели и полушубки, карабины стояли возле лавки, рядком; здесь же на лавке в беспорядочную кучу были свалены шашки, патронташи, подсумки и седельные саквы. От людей, от шинелей и снаряжения исходил густой запах конского пота.

Григорий снял папаху, негромко сказал:

— Здравствуйте!

— Мелехов! Вот уж воистину степь широкая, а дорога узкая! Пришлось-таки опять увидеться! Откудова ты взялся? Раздевайся, садись, — Фомин встал из-за стола, подошел к Григорию, протягивая руку. — Ты чего тут околачиваешься?

— По делу пришел.

— По какому делу? Далековато ты забрался… — Фомин пытливо рассматривал Григория. — Говори по правде — спасался тут, что ли?

— Это — вся и правда, — нехотя улыбаясь, ответил Григорий.

— Где же тебя мои ребята сцапали?

— Возле хутора.

— Куда шел?

— Куда глаза глядят…

Фомин еще раз внимательно посмотрел Григорию в глаза и улыбнулся:

— Ты, я вижу, думаешь, что мы тебя словили и в Вешки повезем? Нет, брат, нам туда дорога заказанная… Не робей! Мы перестали Советской власти служить. Не ужились с ней…

— Развод взяли, — пробасил немолодой казак, куривший возле печи.

Кто-то из сидевших за столом громко засмеялся.

— Ты ничего про меня не слыхал? — спросил Фомин.

— Нет.

— Ну, садись за стол, погутарим. Щей и мяса нашему гостю!

Григорий не верил ни одному слову Фомина. Бледный и сдержанный, он разделся, присел к столу. Ему хотелось курить, но он вспомнил, что у него уже вторые сутки нет табака.

— Покурить нечего? — обратился он к Фомину.

Тот услужливо протянул кожаный портсигар. От внимания его не ускользнуло, что пальцы Григория, бравшие папиросу, мелко вздрагивали, и Фомин снова улыбнулся в рыжеватые волнистые усы:

— Против Советской власти мы восстали. Мы — за народ и против продразверстки и комиссаров. Они нам долго головы дурили, а теперь мы им будем дурить. Понятно тебе, Мелехов?

Григорий промолчал. Он закурил, несколько раз подряд торопливо затянулся. У него слегка закружилась голова и к горлу подступила тошнота. Он плохо питался последний месяц и только сейчас почувствовал, как ослабел за это время. Потушив папиросу, он жадно принялся за еду. Фомин коротко рассказал о восстании, о первых днях блуждания по округу, высокопарно именуя свои скитания «рейдом». Григорий молча слушал и, почти не прожевывая, глотал хлеб и жирную, плохо сваренную баранину.

— Однако отощал ты в гостях, — добродушно посмеиваясь, сказал Фомин.

Икая от пресыщения, Григорий буркнул:

— Жил-то не у тещи.

— Оно и видно. Ешь дюжей, наедайся, сколько влезет. Мы хозяева не скупые.

— Спасибо. Вот покурить бы зараз… — Григорий взял предложенную ему папиросу, подошел к стоявшему на лавке чугуну и, отодвинув деревянный кружок, зачерпнул воды. Она была студеная и слегка солоноватая на вкус. Опьяневший от еды, Григорий с жадностью выпил две большие кружки воды, после этого с наслаждением закурил.

— Казаки нас не дюже привечают, — продолжал рассказывать Фомин, подсаживаясь к Григорию. — Нашарахали их в прошлом году во время восстания… Однако добровольцы есть. Человек сорок вступило. Но нам не это требуется. Нам надо весь округ поднять, да чтобы и соседние округа, Хоперский и Усть-Медведицкий, подсобили. Вот тогда мы потолкуем по душам с Советской властью!

За столом шел громкий разговор. Григорий слушал Фомина, украдкой посматривая на его сподвижников. Ни одного знакомого лица! Он все еще не верил Фомину, думал, что тот лукавит, и из осторожности молчал. Но и молчать все время — тоже было нельзя.

— Ежели ты это, товарищ Фомин, всурьез говоришь — чего же вы хотите? Новую войну подымать? — спросил он, силясь отогнать навалившуюся на него сонливость.

— Я уже тебе об этом сказал.

— Власть сменять?

— Да.

— А какую же ставить?

— Свою, казачью!

— Атаманов?

— Ну, об атаманах трошки погодим гутарить. Какую власть народ выберет, такую и поставим. Но это — дело не скорое, да я и не секу насчет политики. Я — военный человек, мое дело — уничтожить комиссаров и коммунистов, а насчет власти — это тебе Капарин, мой начальник штаба, расскажет. Он у меня голова насчет этого. Башковитый человек, грамотный. — Фомин наклонился к Григорию, шепнул: — Бывший штабс-капитан царской армии. Умница парень! Он зараз спит в горнице, что-то прихворнул, должно, с непривычки: переходы делаем большие.

В сенях послышались шум, топот ног, стон, сдержанная возня и приглушенный крик: «Дай ему в душу!» За столом разом смолкли разговоры. Фомин настороженно глянул на дверь. Кто-то рывком распахнул ее. Низом хлынул в комнату белый всклубившийся пар. Высокий человек без шапки, в стеганой защитной теплушке и седых валенках, от звучного удара в спину клонясь вперед, сделал несколько стремительных спотыкающихся шагов и сильно ударился плечом о выступ печи. Из сеней кто-то весело крикнул, перед тем как захлопнуть дверь:

— Возьмите ишо одного!

Фомин встал, поправил на гимнастерке пояс.

— Ты кто такой? — властно спросил он.

Человек в теплушке, задыхаясь, провел рукой по волосам, попробовал шевельнуть лопатками и сморщился от боли. Его ударили в позвоночник чем-то тяжелым, видимо — прикладом.

— Чего же молчишь? Язык отнялся? Кто такой, спрашиваю.

— Красноармеец.

— Какой части?

— Двенадцатого продовольственного полка.

— А-а, это — находка! — улыбаясь, проговорил один из сидевших за столом.

Фомин продолжал допрос:

— Что ты тут делал?

— Заградительный отряд… нас послали…

— Понятно. Сколько вас было тут в хуторе?

— Четырнадцать человек.

— Где остальные?

Красноармеец помолчал и с усилием разжал губы. В горле его что-то заклокотало, из левого угла рта потекла на подбородок тоненькая струйка крови. Он вытер губы рукой, посмотрел на ладонь и вытер ее о штаны.

— Эта сволочь… ваша… — глотая кровь, заговорил он булькающим голосом, — легкие мне отбил…

— Не робь! Вылечим! — насмешливо сказал приземистый казак, вставая из-за стола, подмигивая остальным.

— Где остальные? — вторично спросил Фомин.

— Уехали в Еланскую с обозом.

— Ты откуда? Каких краев рожак?

Красноармеец взглянул на Фомина лихорадочно блестящими голубыми глазами, выплюнул под ноги сгусток крови и ответил уже чистым звучным баском:

— Псковской губернии.

— Псковский, московский… слыхали про таких… — насмешливо сказал Фомин. — Далеко ты, парень, забрался за чужим хлебом… Ну, кончен разговор? Что же нам с тобой делать, а?

— Надо меня отпустить.

— Простой ты, парень… А может, и на самом деле отпустим его, ребята? Вы — как? — Фомин повернулся к сидевшим за столом, посмеиваясь в усы.

Григорий, внимательно наблюдавший за всем происходившим, увидел сдержанные понимающие улыбки на бурых обветренных лицах.

— Нехай у нас послужит месяца два, а тогда пустим его домой, к бабе, — сказ-ал один из фоминцев.

— Может, и взаправди послужишь у нас? — спросил Фомин, тщетно силясь скрыть улыбку. — Коня тебе дадим, седло, заместо валенок — новые сапоги с дутыми голенищами… Плохо вас снабжают ваши командиры. Разве это обувка? На базу ростепель, а ты в валенках. Поступай к нам, а?

— Он — мужик, он верхом сроду не ездил, — юродствуя, притворно тонким голосом прошепелявил один из казаков.

Красноармеец молчал. Он прислонился спиной к печи, оглядывая всех посветлевшими ясными глазами. Время от времени он морщился от боли и слегка приоткрывал рот, когда ему было трудно дышать.

— Остаешься у нас или как? — переспросил Фомин.

— А вы кто такие есть?

— Мы? — Фомин высоко поднял брови, разгладил ладонью усы. — Мы — борцы за трудовой народ. Мы против гнета комиссаров и коммунистов, вот кто мы такие.

И тогда на лице красноармейца Григорий вдруг увидел улыбку.

— Оказывается, вот вы кто… А я-то думал: что это за люди? — Пленный улыбался, показывая окрашенные кровью зубы, и говорил так, словно был приятно удивлен услышанной новостью, но в голосе его звучало что-то такое, что заставило всех насторожиться. — По-вашему, значит, борцы за народ? Та-а-ак. А по-нашему, просто бандиты. Да чтобы я вам служил? Ну и шутники же вы, право!

— Ты тоже веселый парень, погляжу я на тебя… — Фомин сощурился, коротко спросил! — Коммунист?

— Нет, что вы! Беспартийный.

— Не похоже.

— Честное слово, беспартийный!

Фомин откашлялся и повернулся к столу.

— Чумаков! В расход его.

— Меня убивать не стоит. Не за что, — тихо сказал красноармеец.

Ему ответили молчанием. Чумаков — коренастый красивый казак в английской кожаной безрукавке — неохотно встал из-за стола, пригладил и без того гладко зачесанные назад русые волосы.

— Надоела мне эта должность, — бодро сказал он, вытащив из груды сваленных на лавке шашек свою и пробуя лезвие ее на большом пальце.

— Не обязательно самому. Скажи ребятам, какие во дворе, — посоветовал Фомин.

Чумаков холодно оглядел красноармейца с ног до головы, сказал:

— Иди вперед, милый.

Красноармеец отшатнулся от печи, сгорбился и медленно пошел к выходу, оставляя на полу влажные следы промокших валенок.

— Шел сюда — хотя бы ноги вытер! Явился, наследил нам тут, нагрязнил… До чего же ты неряха, братец! — с нарочитым недовольством говорил Чумаков, направляясь за пленным.

— Скажи, чтобы вывели на проулок либо на гумно. Возле дома не надо, а то хозяева будут обижаться! — крикнул вслед им Фомин.

Он подошел к Григорию, сел рядом, спросил:

— Короткий у нас суд?

— Короткий, — избегая встретиться глазами, ответил Григорий.

Фомин вздохнул.

— Ничего не попишешь. Зараз так надо. — Он еще что-то хотел сказать, но на крыльце громко затопали, кто-то крикнул, и звучно хлопнул одинокий выстрел.

— Что их там черт мордует! — с досадой воскликнул Фомин.

Один из сидевших возле стола вскочил, ударом ноги распахнул дверь.

— В чем там дело? — крикнул он в темноту.

Вошел Чумаков, оживленно сказал:

— Такой шустрый оказался! Вот чертяка! С верхней приступки сигнул и побег. Пришлось стратить патрон. Ребята там его кончают…

— Прикажи, чтобы вытянули с база на проулок.

— Я уже сказал, Яков Ефимович.

В комнате на минуту стало тихо. Потом кто-то спросил, подавив зевоту:

— Как, Чумаков, погода? Не разведривает на базу?

— Тучки.

— Ежели дождь пройдет — последний снежок смоет.

— А на что он тебе нужен?

— Он мне не нужен. По грязюке неохота хлюстаться.

Григорий подошел к кровати, взял свою папаху.

— Ты куда? — спросил Фомин.

— Оправиться.

Григорий вышел на крыльцо. Неярко светил проглянувший из-за тучки месяц. Широкий двор, крыши сараев, устремленные ввысь голые вершины пирамидальных тополей, покрытые попонами лошади у коновязи — все это было освещено призрачным голубым светом полуночи. В нескольких саженях от крыльца, головою в тускло блистающей луже талой воды, лежал убитый красноармеец. Над ним склонились трое казаков, негромко разговаривая. Они что-то делали возле мертвого.

— Он ишо двошит, ей-богу! — с досадой сказал один. — Что же ты, косорукий черт, так добивал? Говорил тебе — руби в голову! Эх, тюря неквашеная!

Хрипатый казак, тот самый, который конвоировал Григория, ответил:

— Дойдет! Подрыгает и дойдет… Да подыми ты ему голову! Не сыму никак. Подымай за волосья, вот так. Ну, а теперь держи.

Хлюпнула вода. Один из стоявших над мертвым выпрямился. Хрипатый, сидя на корточках, кряхтел, стаскивая с убитого теплушку. Немного погодя он сказал:

— У меня рука легкая, через это он и не дошел пока. Бывало, в домашности кабана начну резать… Поддерживай, не бросай! О, черт! Да-а, бывало, начну кабана резать, все горло ему перехвачу, до самой душки достану, а он, проклятый, встанет и пойдет по базу. И долго ходит! Весь в кровище, а ходит, хрипит. Дыхать ему нечем, а он все живет. Это, значит, такая уже легкая рука у меня. Ну, бросай его… Все ишо двошит? Скажи на милость. А ить почти до мосла шею ему располохнул…

Третий распялил на вытянутых руках снятую с красноармейца теплушку, сказал:

— Обкровнили левый бок… Липнет к рукам, тьфу, будь она неладна!

— Обомнется. Это не сало, — спокойно сказал хрипатый и снова присел на корточки. — Обомнется либо отстирается. Не беда.

— Да ты что, и штаны думаешь с него сымать? — недовольно спросил первый.

Хрипатый резко сказал:

— Ты, ежели спешишь, иди к коням, без тебя тут управимся! Не пропадать же добру?

Григорий круто повернулся, пошел в дом.

Фомин встретил его коротким изучающим взглядом, встал:

— Пойдем в горницу, потолкуем, а то тут галдят дюже.

В просторной, жарко натопленной горнице пахло мышами и конопляным семенем. На кровати, раскинувшись, спал одетый в защитный френч небольшой человек. Редкие волосы его были всклокочены, покрыты пухом и мелкими перьями. Он лежал, плотно прижавшись щекой к грязной, обтянутой одним наперником подушке. Висячая лампа освещала его бледное, давно не бритое лицо.

Фомин разбудил его, сказал:

— Вставай, Капарин. Гость у нас. Это наш человек — Мелехов Григорий, бывший сотник, к твоему сведению.

Капарин свесил с кровати ноги, потер руками лицо, встал. С легким полупоклоном он пожал Григорию руку:

— Очень приятно. Штабс-капитан Капарин.

Фомин радушно придвинул Григорию стул, сам присел на сундук. По лицу Григория он, вероятно, понял, что расправа над красноармейцем произвела на него гнетущее впечатление, потому и сказал:

— Ты не думай, что мы со всеми так строго обходимся. Это же, чудак, — из продотрядников. Им и разным комиссарам спуску не даем, а остальных милуем. Вот вчера поймали трех милиционеров; лошадей, седла и оружие у них забрали, а их отпустили. На черта они нужны — убивать их.

Григорий молчал. Положив руки на колени, он думал о своем и слышал как во сне голос Фомина.

— …Вот так и воюем пока, — продолжал Фомин. — Думаем все-таки поднять казаков. Советской власти не жить. Слухом пользуемся, что везде война идет. Везде восстание: и в Сибири, и на Украине, и даже в самом Петрограде. Весь флот восстал в этой крепости, как ее прозывают…

— В Кронштадте, — подсказал Капарин.

Григорий поднял голову, пустыми, словно незрячими глазами взглянул на Фомина, перевел взгляд на Капарина.

— На, закури. — Фомин протянул портсигар. — Так вот, Петроград уж взяли и подходют к Москве. Везде такая волынка идет! Нечего и нам дремать. Подымем казаков, стряхнем Советскую власть, а там, ежели кадеты подсобят, вовсе дела наши пойдут на лад. Нехай ихние ученые люди власть устанавливают, мы им поможем. — Он помолчал, потом спросил: — Ты как, Мелехов, думаешь: ежели кадеты подопрут от Черного моря и мы соединимся с ними, — нам же это зачтется, что мы первые восстали в тылу? Капарин говорит — непременно зачтется. Неужели, к примеру, мне будут попрекать, что я увел в восемнадцатом году Двадцать восьмой полк с фронта и каких-нибудь два года служил Советской власти.

«Вот ты куда стреляешь! Дурак, а хитрый…» — подумал Григорий, невольно улыбнувшись. Фомин ждал ответа. Вопрос этот, очевидно, занимал его не на шутку. Григорий нехотя сказал:

— Это дело длинное.

— Конечно, конечно, — охотно согласился Фомин. — Я это к слову сказал. Дальше виднее будет, а теперь нам надо действовать, громить коммунистов в тылу. Жить мы им все одно не дадим! Они пехотишку свою посадили на подводы и думают за нами угоняться… Пущай пробуют. Пока конную часть им подкинут, мы весь округ кверх ногами поставим!

Григорий снова смотрел под ноги себе, думал. Капарин извинился, прилег на кровать.

— Устаю очень. Переходы сумасшедшие у нас, мало спим, — сказал он, вяло улыбнувшись.

— Пора и нам на покой, — Фомин встал, опустил тяжелую руку на плечо Григория. — Молодец, Мелехов, что послухал тогда в Вешках моего совета! Не прихоронись ты тогда — навели бы тебе решку. Лежал бы теперь в вешенских бурунах, и ноготки обопрели бы… Это уж я — как в воду гляжу. Ну, так что надумал? Говори, да давай ложиться спать.

— Об чем говорить?

— С нами идешь или как? Всю жизню по чужим катухам не прохоронишься.

Григорий ждал этого вопроса. Надо было выбирать: или дальше скитаться по хуторам, вести голодную, бездомную жизнь и гибнуть от глухой тоски, пока хозяин не выдаст властям, или самому явиться с повинной в политбюро, или идти с Фоминым. И он выбрал. Впервые за весь вечер глянул прямо в глаза Фомину, кривя губы улыбкой, сказал:

— У меня выбор, как в сказке про богатырей: налево поедешь — коня потеряешь, направо поедешь — убитым быть… И так — три дороги, и ни одной нету путевой…

— Ты уж выбирай без сказок. Сказки потом будем рассказывать.

— Деваться некуда, потому и выбрал.

— Ну?

— Вступаю в твою банду.

Фомин недовольно поморщился, закусил ус.

— Ты это название брось. Почему это — банда? Такое прозвище нам коммунисты дали, а тебе так говорить негоже. Просто восставшие люди. Коротко и ясно.

Недовольство его было минутным. Он явно был обрадован решением Григория — и не мог скрыть этого; оживленно потирая руки, сказал:

— Нашему полку прибыло! Слышишь, ты, штабс-капитан? Дадим тебе, Мелехов, взвод, а ежели не хочешь взводом командовать — будешь при штабе с Капариным заворачивать. Коня тебе отдаю своего. У меня есть запасный.

XII

К заре слегка приморозило. Лужи затянуло сизым ледком. Снег стал жесткий, звучно хрустящий. На зернистой снежной целине копыта лошадей оставляли неясные, осыпающиеся, круглые отпечатки, а там, где вчерашняя оттепель съела снег, голая земля с приникшей к ней мертвой прошлогодней травой лишь слегка вминалась под копытами и, продавливаясь, глухо гудела.

Фоминский отряд строился за хутором в походную колонну. Далеко на шляху маячили шестеро конников высланного вперед головного разъезда.

— Вот оно, мое войско! — подъехав к Григорию, улыбаясь, сказал Фомин. — Черту рога можно сломать с такими ребятами!

Григорий окинул взглядом колонну, с грустью подумал: «Нарвался бы ты со своим войском на мой буденновский эскадрон, мы бы тебя за полчаса по косточкам растрепали!»

Фомин указал плетью, спросил:

— Как они на вид?

— Пленных рубят неплохо и раздевают битых тоже неплохо, а вот как они в бою — не знаю, — сухо ответил Григорий.

Повернувшись в седле спиной к ветру, Фомин закурил, сказал:

— Поглядишь их и в бою. У меня народ все больше служивый, эти не подведут.

Шесть пароконных подвод с патронами и продовольствием поместились в середине колонны. Фомин поскакал вперед, подал команду трогаться. На бугре он снова подъехал к Григорию, спросил:

— Ну, как мой конь? По душе?

— Добрый конь.

Они долго молча ехали рядом, стремя к стремени, потом Григорий спросил:

— В Татарском не думаешь побывать?

— По своим наскучал?

— Хотелось бы проведать.

— Может, и заглянем. Зараз думаю на Чир свернуть, потолкать казачков, расшевелить их трошки.

Но казаки не очень-то охотно «шевелились»… В этом Григорий убедился в течение ближайших же дней. Занимая хутор или станицу, Фомин приказывал созвать собрание граждан. Выступал больше сам он, иногда его заменял Капарин. Они призывали казаков к

оружию, говорили о «тяготах, которые возложила на хлеборобов Советская власть», об «окончательной разрухе, которая неизбежно придет, если Советскую власть не свергнуть». Фомин говорил не так грамотно и складно, как Капарин, но более пространно и на понятном казакам языке. Кончал он речь обычно одними и теми же заученными фразами: «Мы с нонешнего дня освобождаем вас от продразверстки. Хлеб больше не возите на приемные пункты. Пора перестать кормить коммунистов-дармоедов. Они жир нагуливали на вашем хлебе, но эта чужбина кончилась. Вы — свободные люди! Вооружайтесь и поддерживайте нашу власть! Ура, казаки!»

Казаки смотрели в землю и угрюмо молчали, зато бабы давали волю языкам. Из тесных рядов их сыпались ядовитые вопросы и выкрики.

— Твоя власть хорошая, а мыла ты нам привез?

— Где ты ее возишь, свою власть, в тороках?

— А вы сами чьим хлебом кормитесь?

— Небось, зараз поедете по дворам побираться?

— У них шашки. Они без спросу курам начнут головы рубить!

— Как это — хлеб не возить? Нынче вы тут, а завтра вас и с собаками не сыщешь, а нам отвечать?

— Не дадим вам наших мужьев! Воюйте сами!

И многое другое в великом ожесточении выкрикивали бабы, изуверившиеся за годы войны во всем, боявшиеся новой войны и с упорством отчаяния цеплявшиеся за своих мужей.

Фомин равнодушно выслушивал их бестолковые крики. Он знал им цену. Выждав тишину, он обращался к казакам, И тогда коротко и рассудительно те отвечали:

— Не притесняйте нас, товарищ Фомин, навоевались мы вдосталь.

— Пробовались, восставали в девятнадцатом году!

— Не с чем восставать и не к чему! Пока нужды нету.

— Пора подходит — сеять надо, а не воевать.

Однажды из задних рядов кто-то крикнул:

— Сладко гутаришь зараз! А где был в девятнадцатом году, когда мы восставали? Поздно ты, Фомин, всхомянулся!

Григорий видел, как Фомин изменился в лице, но все же сдержался и ничего не сказал в ответ.

Первую неделю Фомин вообще довольно спокойно выслушивал на собраниях возражения казаков, их короткие отказы в поддержке его выступления; даже бабьи крики и ругань не выводили его из душевного равновесия. «Ничего, мы их уломаем!» — самоуверенно говорил он, улыбаясь в усы. Но, убедившись в том, что основная масса казачьего населения относится к нему отрицательно, — он круто изменил свое отношение к выступавшим на собраниях. Говорил он, уже не слезая с седла, и не столько уговаривал, сколько грозил. Однако результат оставался прежним: казаки, на которых он думал опереться, молча выслушивали его речь и так же молча начинали расходиться.

В одном из хуторов после его речи выступила с ответным словом казачка. Большая ростом, дородная и широкая в кости вдова говорила почти мужским басом и по-мужски ухватисто и резко размахивала руками. Широкое изъеденное оспой лицо ее было исполнено злой решимости, крупные вывернутые губы все время кривились в презрительной усмешке. Тыча красной пухлой рукой в сторону Фомина, каменно застывшего на седле, она словно выплевывала язвительные слова:

— Ты чего смутьянничаешь тут? Ты куда наших казаков хочешь пихнуть, в какую яму? Мало эта проклятая война у нас баб повдовила? Мало деток посиротила? Новую беду на

наши головы кличешь? И что это за царь-освободитель такой объявился с хутора Рубежного? Ты бы дома порядку дал, разруху прикончил, а после нас бы учил, как жить и какую власть принимать, а какую не надо! А то у тебя у самого дома баба из хомута не вылазит, знаем точно! А ты усы распушил, разъезжаешь на конике, народ мутишь. У тебя у самого в хозяйстве — кабы ветер хату не подпирал, она давно бы упала. Учитель нашелся! Чего же ты молчишь, рыжее мурло, аль я неправду говорю?

В толпе зашелестел тихий смешок. Зашелестел, как ветер, и стих. Левая рука Фомина, лежавшая на луке седла, медленно перебирала поводья, лицо темнело от сдерживаемого гнева, но он молчал, искал в уме достойный выход из создавшегося положения.

— И что это за власть твоя, что ты зовешь ее поддерживать? — напористо продолжала вошедшая в раж вдова.

Она подбоченилась и медленно шла к Фомину, виляя широченными бедрами. Перед нею расступались казаки, пряча улыбки, потупив смеющиеся глаза. Они очищали круг словно для пляски, сторонились, толкали друг Друга…

— Твоя власть без тебя на земле не остается, — низким басом говорила вдова. — Она следом за тобой волочится и больше часу в одном месте не живет! «Нынче на коне верхом, а завтра в грязи Пахом» — вот кто ты такой, и власть твоя такая же!

Фомин с силой сжал ногами бока коня, послал его в толпу. Народ шарахнулся в разные стороны. В широком кругу осталась одна вдова. Она видала всякие виды и потому спокойно глядела на оскаленную морду фоминского коня, на бледное от бешенства лицо всадника.

Наезжая на нее конем, Фомин высоко поднял плеть:

— Цыц, рябая стерва!.. Ты что тут агитацию разводишь?!

Прямо над головой бесстрашной казачки высилась задранная кверху, оскаленная конская морда. С удил слетел бледно-зеленый комок пены, упал на черный вдовий платок, с него — на щеку. Вдова смахнула его движением руки, ступила шаг назад.

— Тебе можно говорить, а нам нельзя? — крикнула она, глядя на Фомина круглыми, сверкающими от ярости глазами.

Фомин не ударил ее. Потрясая плетью, он заорал:

— Зараза большевицкая! Я из тебя дурь выбью! Вот прикажу задрать тебе подол да всыпать шомполов, тогда доразу поумнеешь!

Вдова ступила еще два шага назад и, неожиданно повернувшись к Фомину спиной, низко нагнулась, подняла подол юбки.

— А этого ты не видал, Аника-воин? — воскликнула она и, выпрямившись с диковинным проворством, снова стала лицом к Фомину. — Меня?! Пороть?! В носе у тебя не кругло!..

Фомин с ожесточением плюнул, натянул поводья, удерживая попятившегося коня.

— Закройся, кобыла нежеребая! Рада, что на тебе мяса много? — громко сказал он и повернул коня, тщетно пытаясь сохранить на лице суровое выражение.

Глухой задавленный хохот зазвучал в толпе. Один из фоминцев, спасая посрамленную честь своего командира, подбежал к вдове, замахнулся прикладом карабина, но здоровенный казак, ростом на две головы выше его, заслонил женщину широким плечом, тихо, но многообещающе сказал:

— Не трогай!

И еще трое хуторян быстро подошли и оттеснили вдову назад. Один из них — молодой, чубатый — шепнул фоминцу:

— Чего намахиваешься, ну? Бабу побить нехитро, ты свою удаль вон там, на бугре, покажи, а по забазьям все мы храбрые…

Фомин шагом отъехал к плетню, приподнялся на стременах.

— Казаки! Подумайте хорошенько! — крикнул он, обращаясь к медленно расходившейся толпе. — Зараз добром просим, а через неделю вернемся — другой разговор будет!

Он почему-то пришел в веселое расположение духа и, смеясь, сдерживая танцующего на одном месте коня, кричал:

— Мы не из пужливых! Нас этими бабьими… (последовало несколько нецензурных выражений) не напужаете! Мы видали и рябых и всяких! Приедем, и ежели никто из вас добровольно не впишется в наш отряд — насильно мобилизуем всех молодых казаков. Так и знайте! Нам с вами нянчиться и заглядывать вам в глаза некогда!

В толпе, приостановившейся на минуту, послышались смех и оживленные разговоры. Фомин, все еще улыбаясь, скомандовал:

— По ко-о-ням!..

Багровея от сдерживаемого смеха, Григорий поскакал к своему взводу.

Растянувшийся по грязной дороге фоминский отряд выбрался уже на бугор, скрылся из глаз негостеприимный хутор, а Григорий все еще изредка улыбался, думал: «Хорошо, что веселый народ мы, казаки. Шутка у нас гостюет чаще, чем горе, а не дай бог делалось бы все всурьез — при такой жизни давно бы завеситься можно!» Веселое настроение долго не покидало его, и только на привале он с тревогой и горечью подумал о том, что казаков, наверное, не удастся поднять и что вся фоминская затея обречена на неизбежный провал.

XIII

Шла весна. Сильнее пригревало солнце. На южных склонах бугров потаял снег, и рыжая от прошлогодней травы земля в полдень уже покрывалась прозрачной сиреневой дымкой испарений. На сугревах, на курганах, из-под вросших в суглинок самородных камней показались первые, ярко-зеленые острые ростки травы медвянки. Обнажилась зябь. С брошенных зимних дорог грачи перекочевали на гумна, на затопленную талой водой озимь. В логах и балках снег лежал синий, доверху напитанный влагой; оттуда все еще сурово веяло холодом, но уже тонко и певуче звенели в ярах под снегом невидимые глазу вешние ручейки, и совсем по-весеннему, чуть приметно и нежно зазеленели в перелесках стволы тополей.

Подходила рабочая пора, и с каждым днем таяла фоминская банда. После ночевки наутро недосчитывались одного-двух человек, а однажды сразу скрылось чуть ли не полвзвода; восемь человек с лошадьми и вооружением отправились в Вешенскую сдаваться. Надо было пахать и сеять. Земля звала, тянула к работе, и многие фоминцы, убедившись в бесполезности борьбы, тайком покидали банду, разъезжаясь по домам. Оставался лихой народ, кому нельзя было возвращаться, чья вина перед Советской властью была слишком велика, чтобы можно было рассчитывать на прощение.

К первым числам апреля у Фомина было уже не больше восьмидесяти шести сабель. Григорий тоже остался в банде. У него не хватало мужества явиться домой. Он был твердо убежден в том, что дело Фомина проиграно и что рано или поздно банду разобьют. Он знал, что при первом же серьезном столкновении с какой-либо регулярной кавалерийской частью Красной Армии они будут разгромлены наголову. И все же остался подручным у Фомина, втайне надеясь дотянуть как-нибудь до лета, а тогда захватить пару лучших в банде лошадей, махнуть ночью в Татарский и оттуда вместе с Аксиньей — на юг. Степь донская — широкая, простору и неезженых дорог в ней много; летом все пути открыты, и всюду можно найти приют… Думал он, бросив где-нибудь лошадей, пешком с Аксиньей пробраться на

Кубань, в предгорья, подальше от родных мест, и там пережить смутное время. Иного выхода, казалось ему, не было.

Фомин, по совету Капарина, решил перед ледоходом перейти на левую сторону Дона. На грани с Хоперским округом, где было много лесов, надеялся он в случае необходимости укрыться от преследования.

Выше хутора Рыбного банда переправилась через Дон. Местами, на быстринах, лед уже пронесло. Под ярким апрельским солнцем серебряной чешуей сверкала вода, но там, где была набитая зимняя дорога, на аршин возвышавшаяся над уровнем льда, Дон стоял нерушимо. На окраинцы положили плетни, лошадей по одной провели в поводу, на той стороне Дона построились и, выслав вперед разведку, пошли в направлении Еланской станицы.

День спустя Григорию довелось увидеть своего хуторянина — кривого старика Чумакова. Он ходил в хутор Грязновский к родне и повстречался с бандой неподалеку от хутора. Григорий отвел старика в сторону от дороги, спросил:

— Детишки мои — живые-здоровые, дедушка?

— Бог хранит, Григорий Пантелевич, живые и здоровые.

— Великая просьба к тебе, дедушка: передай им и сестре Евдокии Пантелевне от меня низкий поклон и Прохору Зыкову — поклон, а Аксинье Астаховой скажи, пущай меня вскорости поджидает. Только, окромя них, никому не говори, что видал меня, ладно?

— Сделаю, кормилец, сделаю! Не сумлевайся, все передам, как надо.

— Что нового в хуторе?

— А ничего нету, все по-старому.

— Кошевой все председателем?

— Он самый.

— Семью мою не обижают?

— Ничего не слыхал, стало быть, не трогают. Да за что же их и трогать? Они за тебя не ответчики…

— Что обо мне гутарят по хутору?

Старик высморкался, долго вытирал усы и бороду красным шейным платком, потом уклончиво ответил:

— Господь их знает… Разное брешут, кто во что горазд. Замиряться-то с Советской властью скоро будете?

Что мог ответить ему Григорий? Удерживая коня, рвавшегося за ушедшим вперед отрядом, он улыбнулся, сказал:

— Не знаю, дед. Пока ничего не видно.

— Как это не видно? С черкесами воевали, с турком воевали, и то замирение вышло, а вы все свои люди и никак промежду собой не столкуетесь… Нехорошо, Григорий Пантелевич, право слово, нехорошо! Бог-милостивец, он все видит, он вам всем это не простит, попомни мое слово! Ну, мыслимое ли это дело: русские, православные люди сцепились между собой, и удержу нету. Ну, повоевали бы трошки, а то ить четвертый год на драку сходитесь. Я стариковским умом так сужу: пора кончать!

Григорий попрощался со стариком и шибко поскакал догонять свой взвод. Чумаков долго стоял, опершись на палку, протирая рукавом слезящуюся пустую глазницу. Единственным, но по-молодому зорким глазом он смотрел вслед Григорию, любовался его молодецкой посадкой и тихо шептал:

— Хороший казак!.. Всем взял, и ухваткой и всем, а вот непутевый… Сбился со своего шляху! Вся статья ему бы с черкесами воевать, а он ишь чего удумал! И на чуму она ему нужна, эта власть? И чего они думают, эти молодые казаки? С Гришки-то спрашивать нечего,

у них вся порода такая непутевая… И покойник Пантелей такой же крученый был, и Прокофия-деда помню… Тоже ягодка-кислица был, а не человек… А вот что другие казаки думают — побей бог, не пойму!

Фомин, занимая хутора, уже не созывал собрания граждан. Он убедился в бесплодности агитации. Впору было удерживать своих бойцов, а не вербовать новых. Он заметно помрачнел и стал менее разговорчив. Утешения начал искать в самогоне. Всюду, где только приходилось ему ночевать, шли мрачные попойки. Глядя на своего атамана, пили и фоминцы. Упала дисциплина. Участились случаи грабежей. В домах советских служащих, скрывавшихся при приближении банды, забиралось все, что можно было увезти на верховой лошади. Седельные вьюки у многих бойцов невероятно распухли. Однажды Григорий увидел у одного из бойцов своего взвода ручную швейную машину. Повесив на луку поводья, он держал ее под мышкой левой руки. Только пустив в ход плеть, Григорию удалось заставить казака расстаться с приобретением. В этот вечер между Фоминым и Григорием произошел резкий разговор. Они были вдвоем в комнате. Распухший от пьянства Фомин сидел за столом. Григорий крупными шагами ходил по комнате.

— Сядь, не маячь перед глазами, — с досадою сказал Фомин.

Не обращая внимания на его слова, Григорий долго метался по тесной казачьей горенке, потом сказал:

— Мне это надоело, Фомин! Кончай грабиловку и гулянки!

— Плохой сон тебе нынче приснился?

— Тоже, шуточки… Народ об нас начинает плохо говорить!

— Ты же видишь, ничего не поделаю с ребятами, — нехотя сказал Фомин.

— Да ты ничего и не делаешь!

— Ну, ты мне не указ! А народ твой доброго слова не стоит. За них же, сволочей, страдаем, а они… Я об себе думаю, и хватит.

— Плохо и об себе думаешь. За пьянством думать некогда. Ты четвертые сутки не просыпаешься, и все остальные пьют. В заставах и то по ночам пьют. Чего хочешь? Чтобы нас пьяных накрыли и вырезали где-нибудь в хуторе?

— А ты думаешь, это нас минует? — усмехнулся Фомин. — Когда-нибудь прийдется помирать. Повадился кувшин по воду ходить… Знаешь?

— Тогда давай завтра сами поедем в Вешенскую и подымем вверх руки: берите, мол, нас, сдаемся.

— Нет, мы ишо погуляем…

Григорий стал против стола, широко расставив ноги.

— Ежели ты не наведешь порядок, ежели не прикончишь грабежи и пьянку, я отколюсь от тебя и уведу с собой половину народа, — тихо сказал он.

— Попробуй, — угрожающе протянул Фомин.

— И без пробы выйдет!

— Ты… ты мне брось грозить! — Фомин положил руку на кобуру нагана.

— Не лапай кобуру, а то я тебя через стол скорей достану! — быстро сказал Григорий, побледнев, до половины обнажив шашку.

Фомин положил руки на стол, улыбнулся:

— Чего ты привязался ко мне? Без тебя голова трещит, а тут ты с глупыми разговорами. Вложи шашку в ножны! И пошутить с тобой нельзя, что ли? Скажи, пожалуйста, строгий какой! Чисто девочка шестнадцати годов…

— Я уже тебе сказал, чего хочу, и ты это заруби себе на носу. У нас не все такого духу, как ты.

— Знаю.

— Знай и помни! Завтра же прикажи, чтобы опорожнили вьюки. У нас — конная часть, а не вьючный обоз. Отсеки им это, как ножом! Тоже; борцы за народ называются! Сгрузились грабленым добром, торгуют им на хуторах, как раньше, бывало, купцы-коробейники… Стыду до глаз! И на черта я с вами связывался? — Григорий плюнул и отвернулся к окну, бледный от негодования и злобы.

Фомин засмеялся, сказал:

— Ни разу нас конница не надавила… Сытый волк, когда за ним верховые гонят, все, что сожрал, на бегу отрыгивает. Так и мои стервецы — все покидали бы, ежли бы нажали на нас как следует. Ничего, Мелехов, не волнуйся, все сделаю! Это я так, трошки духом пал и распустил вожжи, но я их подберу! А делиться нам нельзя, давай кручину трепать вместе.

Им помешали закончить разговор: в комнату вошла хозяйка, неся дымящуюся миску щей, потом толпой ввалились предводимые Чумаковым казаки.

Но разговор все же возымел действие. Наутро Фомин отдал приказ опорожнить вьюки, сам проверил исполнение этого приказа. Одного из отъявленных грабителей, оказавшего сопротивление при осмотре вьюков и не пожелавшего расстаться с награбленным, Фомин застрелил в строю из нагана.

— Уберите это падло! — спокойно сказал он, пихнув ногой мертвого, и оглядел строй, повысил голос: — Хватит, сукины сыны, по сундукам лазить! Я вас не для того поднял против Советской власти! С убитого противника можете сымать все, даже мазаные исподники, ежли не погребуете, а семьи не трожьте! Мы с бабами не воюем. А кто будет супротивничать — получит такой же расчет!

В строю прокатился и смолк тихий шумок…

Порядок был как будто восстановлен. Дня три банда рыскала по левобережью Дона, уничтожая в стычках небольшие отрядики местной самообороны.

В станице Шумилинской Капарин предложил перейти на территорию Воронежской губернии. Он мотивировал это тем, что там они наверняка получат широкую поддержку населения, недавно восстававшего против Советской власти. Но когда Фомин объявил об этом казакам, те в один голос заявили: «Из своего округа не пойдем!» В банде замитинговали. Пришлось изменить решение. В течение четырех дней банда безостановочно уходила на восток, не принимая боя, который навязывала ей конная группа, качавшая преследовать Фомина по пятам от самой станицы Казанской.

Заметать свои следы было нелегко, так как всюду на полях шла весенняя работа и даже в самых глухих уголках степи копошились люди. Уходили ночами, но едва лишь утром останавливались где-либо подкормить лошадей — неподалеку появлялась конная разведка противника, короткими очередями бил ручной пулемет, и фоминцы под обстрелом начинали поспешно взнуздывать лошадей. За хутором Мельниковом Вешенской станицы Фомину искусным маневром удалось обмануть противника и оторваться от него. Из донесения своей разведки Фомин знал, что командует конной группой Егор Журавлев — напористый и понимающий в военном деле казак Букановской станицы; знал он, что конная группа численностью почти вдвое превосходит его банду, имеет шесть ручных пулеметов и свежих, не измотанных длительными переходами лошадей. Все это заставляло Фомина уклоняться от боя, с тем чтобы дать возможность отдохнуть людям и лошадям, а потом, при возможности, не в открытом бою, а внезапным налетом растрепать группу и таким образом избавиться от навязчивого преследования. Думал он также разжиться за счет противника пулеметами и винтовочными патронами. Но расчеты его не оправдались. То, чего опасался Григорий, случилось восемнадцатого апреля на опушке Слащевской дубравы. Накануне Фомин и

большинство рядовых бойцов перепились в хуторе Севастьяновском, из хутора выступили на рассвете. Ночью почти никто не спал, и многие теперь заснули в седлах. Часам к девяти утра неподалеку от хутора Ожогина стали на привал. Фомин выставил сторожевое охранение и приказал дать лошадям овса.

С востока дул сильный порывистый ветер. Бурое облако песчаной пыли закрывало горизонт. Над степью висела густая мгла. Чуть просвечивало солнце, задернутое высоко взвихренной мглою. Ветер трепал полы шинелей, конские хвосты и гривы. Лошади поворачивались к ветру спиной, искали укрытия возле редких разбросанных на опушке леса кустов боярышника. От колючей песчаной пыли слезились глаза, и было трудно что-либо рассмотреть даже на недалеком расстоянии.

Григорий заботливо протер своему коню храп и влажные надглазницы, навесил торбу и подошел к Капарину, кормившему лошадь из полы шинели.

— Ну и место для стоянки выбрали! — сказал он, указывая плетью на лес.

Капарин пожал плечами:

— Я говорил этому дураку, но разве его можно в чем-либо убедить!

— Надо было стать в степи или на искрайке хутора.

— Вы думаете, что нападения можно ждать из леса?

— Да.

— Противник далеко.

— Противник может быть и близко, это вам не пехота.

— Лес голый. Пожалуй, увидим в случае чего.

— Смотреть некому, почти все спят. Боюсь, как бы и в охранении не спали.

— Они с ног валятся после вчерашней пьянки, их теперь не добудишься. — Капарин сморщился, как от боли, сказал вполголоса: — С таким руководителем мы погибнем. Он пуст, как пробка, и глуп, прямо-таки непроходимо глуп! Почему вы не хотите взять на себя командование? Казаки вас уважают. За вами они охотно пошли бы.

— Мне это не надо, я у вас короткий гость, — сухо ответил Григорий и отошел к коню, сожалея о нечаянно сорвавшемся с языка неосторожном признании.

Капарин высыпал из полы на землю остатки зерна, последовал за Григорием.

— Знаете, Мелехов, — сказал он, на ходу сломив ветку боярышника, ощипывая набухшие тугие почки, — я думаю, что долго мы не продержимся, если не вольемся в какую-нибудь крупную антисоветскую часть, например — в бригаду Маслака, которая бродит где-то на юге области. Надо пробиваться туда, иначе нас здесь уничтожат в одно прекрасное время.

— Зараз разлив. Дон не пустит.

— Не сейчас, но когда вода спадет — надо уходить. Вы думаете иначе?

После некоторого раздумья Григорий ответил:

— Правильно. Надо подаваться отсюда. Делать тут нечего.

Капарин оживился. Он стал пространно говорить о том, что расчеты на поддержку со стороны казаков не оправдались и что теперь надо всячески убеждать Фомина, чтобы он не колесил бесцельно по округу, а решился на слияние с более мощной группировкой.

Григорию надоело слушать его болтовню. Он внимательно следил за конем, и как только тот опорожнил торбу, снял ее, взнуздал коня и подтянул подпруги.

— Выступаем еще не скоро, напрасно вы спешите, — сказал Капарин.

— Вы лучше пойдите приготовьте коня, а то тогда некогда будет седлать, — ответил Григорий.

Капарин внимательно посмотрел на него, пошел к своей лошади, стоявшей возле обозной линейки.

Ведя коня в поводу, Григорий подошел к Фомину. Широко разбросав ноги, Фомин лежал на разостланной бурке, лениво обгладывал крыло вареной курицы. Он подвинулся, жестом приглашая занять место рядом с ним.

— Садись полудновать со мной.

— Надо уходить отсюда, а не полудновать, — сказал Григорий.

— Выкормим лошадей и тронемся.

— Потом можно выкормить.

— Чего ты горячку порешь? — Фомин отбросил обглоданную кость, вытер о бурку руки.

— Накроют нас тут. Место подходящее.

— Какой нас черт накроет? Зараз разведка вернулась, говорят, что бугор пустой. Стало быть, Журавлев потерял нас, а то бы он теперь на хвосте висел. Из Букановской ждать некого. Военкомом там Михей Павлов, парень он боевой, но силенок у него маловато, и он едва ли пойдет встречать нас. Отдохнем как следует, перегодим трошки этот ветер, а потом направимся в Слащевскую. Садись, ешь курятину, чего над душой стоишь? Что-то ты, Мелехов, трусоват стал, скоро все кусты будешь объезжать, вон какой крюк будешь делать! — Фомин широко повел рукой и захохотал.

Выругавшись в сердцах, Григорий отошел, привязал к кусту коня, лег около, прикрыв от ветра лицо полой шинели. Он задремал под свист ветра, под тонкий напевный шорох склонившейся над ним высокой сухой травы.

Длинная пулеметная очередь заставила его вскочить на ноги. Очередь еще не успела кончиться, а Григорий уже отвязал коня. Покрывая все голоса, Фомин заорал: «По коням!» Еще два или три пулемета затрещали справа, из лесу. Сев в седло, Григорий мгновенно оценил обстановку. Справа над опушкой леса, чуть видные сквозь пыль человек пятьдесят красноармейцев, развернувшись лавой, отрезая путь к отступлению на бугор, шли в атаку. Холодно и так знакомо поблескивали над головами их голубые при тусклом свете солнца клинки. Прямо из лесу, с заросшего кустарником пригорка, с лихорадочной поспешностью опорожняя диск за диском, били пулеметы. Слева тоже с пол-эскадрона красноармейцев мчались без крика, помахивая шашками, растягиваясь, замыкая кольцо окружения. Оставался единственный выход: прорваться сквозь редкие ряды атакующих слева и уходить к Дону. Григорий крикнул Фомину: «За мной держи!» — и пустил коня, обнажив шашку.

Отскакав саженей двадцать, он оглянулся. Фомин, Капарин, Чумаков и еще несколько бойцов бешеным наметом шли позади, в каких-нибудь десяти саженях от него. Пулеметы в лесу смолкли, лишь крайний справа бил короткими злыми очередями по суетившимся около обозных повозок фоминцам. Но и последний пулемет сразу умолк, и Григорий понял, что красноармейцы — уже на месте стоянки и что позади началась рубка. Он догадывался об этом по глухим отчаянным вскрикам, но редкой прерывистой стрельбе оборонявшихся. Ему некогда было оглядываться. Сближаясь в стремительном броске с шедшей навстречу лавой, он выбирал цель. Навстречу скакал красноармеец в куцем дубленом полушубке. Под ним была серая не очень резвая лошадь. Как при вспышке молнии, за какое-то неуловимое мгновение Григорий увидел и лошадь с белой звездой нагрудника, покрытого хлопьями пены, и всадника с красным, разгоряченным, молодым лицом, и широкий пасмурный просвет уходящей к Дону степи — за ним… В следующий миг надо было уклоняться от удара и рубить самому. В пяти саженях от всадника Григорий резко качнулся влево, услышал режущий посвист шашки над головой и, рывком выпрямившись в седле, только кончиком своей шашки достал уже миновавшего его красноармейца по голове. Рука Григория почти не ощутила силы удара, но, глянув назад, он увидел поникшего, медленно сползавшего с седла красноармейца и густую полосу крови на спине его желтой дубленки. Серая лошадь сбилась с

намета и шла уже крупной рысью, дико задрав голову, избочившись так, словно она испугалась собственной тени…

Григорий припал к шее коня, привычным движением опустил шашку. Тонко и резко свистали над головой пули. Плотно прижатые уши коня вздрагивали, на кончиках их бисером проступил пот. Григорий слышал только воющий свист посылаемых ему в угон пуль да короткое и резкое дыхание коня. Он еще раз оглянулся и увидел Фомина и Чумакова, за ними саженях в пятидесяти скакал приотставший Капарин, а еще дальше — лишь один боец второго взвода, хромой Стерлядников, отбивался на скаку от двух наседавших на него красноармейцев. Все остальные восемь или девять человек, устремившиеся следом за Фоминым, были порублены. Разметав по ветру хвосты, лошади без седоков уходили в разные стороны, их перехватывали, ловили красноармейцы. Лишь один гнедой высокий конь, принадлежавший фоминцу Прибыткову, скакал бок о бок с конем Капарина, всхрапывая, волоча следом за собой мертвого хозяина, не высвободившего при падении ногу из стремени.

За песчаным бугром Григорий придержал коня, соскочил с седла, сунул шашку в ножны. Чтобы заставить коня лечь, понадобилось несколько секунд. Этому нехитрому делу Григорий выучил его в течение одной недели. Из-за укрытия он расстрелял обойму, но так как, целясь, он спешил и волновался, то лишь последним выстрелом свалил под красноармейцем коня. Это дало возможность пятому фоминцу уйти от преследования.

— Садись! Пропадешь! — крикнул Фомин, равняясь с Григорием.

Разгром был полный. Только пять человек уцелело из всей банды. Их преследовали до хутора Антоновского, и погоня прекратилась, лишь когда пятеро беглецов скрылись в окружавшем хутор лесу.

За все время скачки никто из пятерых не обмолвился ни одним словом.

Возле речки лошадь Капарина упала, поднять ее уже не смогли. Под остальными загнанные лошади качались, еле переставляли ноги, роняя на землю густые белые хлопья пены.

— Тебе не отрядом командовать, а овец стеречь! — сказал Григорий, спешиваясь и не глядя на Фомина.

Тот молча слез с коня, стал расседлывать его, а потом отошел в сторону, так и не сняв седла, сел на поросшую папоротником кочку.

— Что ж, коней прийдется бросить, — сказал он, испуганно озираясь по сторонам.

— А дальше? — спросил Чумаков.

— Надо пеши перебираться на энту сторону.

— Куда?

— Перебудем в лесу до ночи, тогда переедем через Дон и схоронимся на первых порах в Рубежном, там у меня родни много.

— Очередная глупость! — яростно воскликнул Капарин. — Ты предполагаешь, что там тебя не будут искать? Именно в твоем хуторе тебя теперь и будут ожидать! Чем ты только думаешь?

— Ну, а куда же нам деваться? — растерянно спросил Фомин.

Григорий вынул из седельных сум патроны и кусок хлеба, сказал:

— Вы долго думаете ладиться? Пошли! Привязывайте лошадей, расседлывайте их и — ходу, а то нас и тут сумеют забрать.

Чумаков бросил на землю плеть, затоптал ее ногами в грязь, сказал дрогнувшим голосом:

— Вот мы и пешие стали… А ребятки наши все полегли… Матерь божья, как нас трепанули! Не думал я нынче в живых остаться… Смерть в глазах была…

Они молча расседлали лошадей, привязали всех четырех к одной ольхе и гуськом, одним

следом, по-волчьи, пошли к Дону, неся в руках седла, стараясь держаться зарослей погуще.

XIV

Весною, когда разливается Дон и полая вода покрывает всю луговую пойму, против хутора Рубежного остается незатопленным небольшой участок высокого левобережья.

С обдонской горы весною далеко виден на разливе остров, густо поросший молодыми вербами, дубняком и сизыми раскидистыми кустами чернотала.

Летом деревья там до макушек оплетает дикий хмель, внизу по земле стелется непролазный колючий ежевичник, по кустам ползут, кучерявятся бледно-голубые вьюнки, и высокая глухая трава, щедро вскормленная жирной почвой, поднимается на редких полянах выше человеческого роста.

Летом даже в полдни в лесу тихо, сумеречно, прохладно. Только иволги нарушают тишину да кукушки наперебой отсчитывают кому-то непрожитые года. А зимою лес и вовсе стоит пустой, голый, скованный мертвой тишиной. Мрачно чернеют зубцы его на фоне белесого зимнего неба. Лишь волчьи выводки из года в год находят в чаще надежное убежище, днями отлеживаясь в заваленном снегом бурьяне.

На этом острове обосновались Фомин, Григорий Мелехов и остальные уцелевшие от разгрома фоминской банды. Жили кое-как: питались скудными харчишками, которые по ночам доставлял им на лодке двоюродный брат Фомина, ели впроголодь, зато спали вволю, подложив под головы седельные подушки. Ночами по очереди несли караул. Огня не разводили из опасения, что кто-либо обнаружит их местопребывание.

Омывая остров, стремительно шла на юг полая вода. Она грозно шумела, прорываясь сквозь гряду вставших на пути ее старых тополей, и тихо, певуче, успокоенно лепетала, раскачивая верхушки затопленных кустов.

К неумолчному и близкому шуму воды Григорий скоро привык. Он подолгу лежал возле круто срезанного берега, смотрел на широкий водный простор, на меловые отроги обдонских гор, тонущих в сиреневой солнечной дымке. Там, за этой дымкой, был родной хутор, Аксинья, дети… Туда летели его невеселые думки. На миг в нем жарко вспыхивала и жгла сердце тоска, когда он вспоминал о родных, вскипала глухая ненависть к Михаилу, но он подавлял эти чувства и старался не смотреть на обдонские горы, чтобы не вспоминать лишний раз. Незачем было давать волю злой памяти. Ему и без этого было достаточно тяжко. И без этого так наболело в груди, что иногда ему казалось — будто сердце у него освежевано, и не бьется оно, а кровоточит. Видно, ранения, и невзгоды войны, и тиф сделали свое дело: Григорий стал слышать докучливые перестуки сердца каждую минуту. Иногда режущая боль в груди, под левым соском, становилась такой нестерпимо острой, что у него мгновенно пересыхали губы, и он с трудом удерживался, чтобы не застонать. Но он нашел верный способ избавления от боли: он ложился левой стороной груди на сырую землю или мочил холодной водой рубашку, и боль медленно, словно с неохотой, покидала его тело.

Погожие и безветренные стояли дни. Лишь изредка в ясном небе проплывали белые, распушившиеся на вышнем ветру облачка, и по разливу лебединой стаей скользили их отражения и исчезали, коснувшись дальнего берега.

Хорошо было смотреть на разметавшуюся у берега, бешено клокочущую быстрину, слушать разноголосый шум воды и ни о чем не думать, стараться не думать ни о чем, что причиняет страдания. Григорий часами смотрел на прихотливые и бесконечно разнообразные завитки течения. Они меняли формы ежеминутно: там, где недавно шла ровная струя, неся на

поверхности побитые стебли камыша, мятые листья и корневища трав, — через минуту рождалась причудливо изогнутая воронка, жадно всасывающая все, что проплывало мимо нее, а спустя немного на месте воронки уже вскипала и выворачивалась мутными клубами вода, извергая на поверхность то почерневший корень осоки, то распластанный дубовый лист, то неведомо откуда принесенный пучок соломы.

Вечерами горели на западе вишнево-красные зори. Из-за высокого тополя вставал месяц. Свет его белым холодным пламенем растекался по Дону, играя отблесками и черными переливами там, где ветер зыбил воду легкой рябью. По ночам, сливаясь с шумом воды, так же неумолчно звучали над островом голоса пролетавших на север бесчисленных гусиных стай. Никем не тревожимые птицы часто садились за островом, с восточной стороны его. В тиховодье, в затопленном лесу призывно трещали чирковые селезни, крякали утки, тихо гоготали, перекликались казарки и гуси. А однажды, бесшумно подойдя к берегу, Григорий увидел неподалеку от острова большую стаю лебедей. Еще не всходило солнце. За дальней грядиной леса ярко полыхала заря. Отражая свет ее, вода казалась розовой, и такими же розовыми казались на неподвижной воде большие величественные птицы, повернувшие гордые головы на восход. Заслышав шорох на берегу, они взлетели с зычным трубным кликом, и, когда поднялись выше леса, — в глаза Григория ударил дивно сияющий, снежный блеск их оперения.

Фомин и его соратники каждый по-своему убивали время: хозяйственный Стерлядников, примостив поудобнее хромую ногу, с утра до ночи чинил одежду и обувь, тщательно чистил оружие; Капарин, которому не впрок пошли ночевки на сырой земле, целыми днями лежал на солнце, укрывшись с головой полушубком, глухо покашливая; Фомин и Чумаков без устали играли в самодельные, вырезанные из бумаги карты; Григорий бродил по острову, подолгу просиживал возле воды. Они мало разговаривали между собой, — все было давно переговорено, — и собирались вместе только во время еды да вечерами, ожидая, когда приедет брат Фомина. Скука одолевала их, и лишь однажды за все время пребывания на острове Григорий увидел, как Чумаков и Стерлядников, почему-то вдруг развеселившись, схватились бороться. Они долго топтались на одном месте, кряхтя и перебрасываясь короткими шутливыми фразами. Ноги их по щиколотки утопали в белом зернистом песке. Хромой Стерлядников был явно сильнее, но Чумаков превосходил его ловкостью. Они боролись по-калмыцки, на поясах, выставив вперед плечи и зорко следя за ногами друг друга. Лица их стали сосредоточенны и бледны от напряжения, дыхание — прерывисто и бурно. Григорий с интересом наблюдал за борьбой. Он увидел, как Чумаков, выбрав момент, вдруг стремительно опрокинулся на спину, увлекая за собой противника и движением согнутых ног перебрасывая его через себя. Секунду спустя гибкий и проворный, как хорь, Чумаков уже лежал на Стерлядникове, вдавливая ему лопатки в песок, а задыхающийся и смеющийся Стерлядников рычал: «Ну и стерва же ты! Мы же не уговаривались… чтобы через голову кидать…»

— Связались, как молодые кочета, хватит, а то как раз ишо подеретесь, — сказал Фомин.

Нет, они вовсе не собирались драться. Они мирно, в обнимку, сели на песке, и Чумаков глухим, но приятным баском в быстром темпе завел плясовую:

Он, вы, морозы!
Ой, вы, морозы!
Вы, морозы крещенские, лютые,
Сморозили сера волка в камыше,
Зазнобили девчоночку в тереме…

Стерлядников подхватил песню тоненьким тенорком, и они запели согласно и

неожиданно хорошо:

Выходила девчоночка на крыльцо,

Выносила черну шубку на руке,

Одевала урядничка на коне…

Стерлядников не выдержал: он вскочил и, прищелкивая пальцами, загребая песок хромой ногой, пустился в пляс. Не прерывая песни, Чумаков взял шашку, вырыл в песке неглубокую ямку и тогда сказал:

— Погоди, черт хромой! У тебя же одна ножка короче, тебе на ровном месте плясать неспособно… Тебе надо либо на косогоре плясать, либо так, чтобы одна нога, какая длинней, была в ямке, а другая наруже. Становись длинной ногой в ямку и ходи, поглядишь, как оно расхорошо получится… Ну, начали!..

Стерлядников вытер пот со лба, послушно ступал здоровой ногой в вырытое Чумаковым углубление.

— А ить верно, так мне ловчее, — сказал он.

Задыхаясь от смеха, Чумаков хлопнул в ладоши, скороговоркой запел:

Будешь ехать — заезжай, милый, ко мне,

Как заедешь — расцелую я тебя…

И Стерлядников, сохраняя на лице присущее всем плясунам серьезное выражение, начал ловко приплясывать и попробовал даже пройтись на присядку…

Дни проходили похожие один на другой. С наступлением темноты нетерпеливо ждали, когда приедет брат Фомина. Собирались на берегу все пятеро, вполголоса разговаривали, курили, прикрывая полами шинелей огоньки папирос. Было решено пожить на острове еще с неделю, а потом перебраться ночью на правую сторону Дона, добыть лошадей и двинуться на юг. По слухам, где-то на юге округа ходила банда Маслака.

Фомин поручил своим родственникам разузнать, на каком из ближайших хуторов есть годные под верх лошади, а также велел ежедневно сообщать ему обо всем, что происходило в округе. Новости, которые передавали им, были утешительны: Фомина искали на левой стороне Дона; в Рубежном хотя и побывали красноармейцы, но после обыска в доме Фомина тотчас уехали.

— Надо скорее уходить отсюда. Какого тут анчихриста сидеть? Давайте завтра махнем? — предложил однажды во время завтрака Чумаков.

— Про лошадей надо разведать сначала, — сказал Фомин. — Чего нам спешить? Кабы похарчевитее нас кормили — с этой живухой до зимы не расстался бы. Глядите, какая красота кругом! Отдохнем — и опять пойдем в дело. Нехай они нас половят, так мы им в руки не дадимся. Разбили нас, каюсь, по моей глупости, ну, обидно, конечно, только это не все. Мы ишо народу соберем! Как только сядем верхи, проедемся по ближним хуторам, и через неделю вокруг нас уж полсотни будет, а там и сто. Обрастем людишками, ей-богу!

— Чепуха! Глупая самоуверенность! — раздражительно сказал Капарин. — Нас казаки предали, не пошли за нами и не пойдут. Надо иметь мужество и смотреть правде в глаза, а не обольщаться дурацкими надеждами.

— Как это — не пойдут?

— А вот так, как не пошли вначале, так и сейчас не пойдут.

— Ну, это мы ишо поглядим! — вызывающе кинул Фомин. — Оружие я не сложу!

— Все это пустые слова, — устало сказал Капарин.

— Чертова голова! — громко воскликнул вскипевший Фомин. — Чего ты тут панику разводишь? Осточертел ты мне со своими слезьми хуже горькой редьки! Из-за чего же тогда огород было городить? К чему было восставать? Куда ты лез, ежели у тебя кишка такая

слабая? Ты первый подбивал меня на восстание, а зараз в кусты? Чего же ты молчишь?

— А не о чем мне с тобой разговаривать, ступай ты к черту, дурак! — истерически вскрикнул Капарин и отошел, зябко кутаясь в полушубок, подняв воротник.

— Они, эти благородные люди, все такие тонкокожие. Чуть что — и он готов уже, спекся… — со вздохом проговорил Фомин.

Некоторое время они сидели молча, вслушиваясь в ровный и мощный гул воды. Над головами их, надсадно крякая, пролетела утка, преследуемая двумя селезнями. Оживленно щебечущая стайка скворцов снизилась над поляной, но, завидев людей, взмыла вверх, сворачиваясь на лету черным жгутом.

Спустя немного Капарин подошел снова.

— Я хочу поехать сегодня в хутор, — сказал он, глядя на Фомина и часто моргая.

— Зачем?

— Странный вопрос! Разве ты не видишь, что я окончательно простудился и уже почти не держусь на ногах?

— Ну, так что? В хуторе твоя простуда пройдет, что ли? — с невозмутимым спокойствием спросил Фомин.

— Мне необходимо хотя бы несколько ночей побыть в тепле.

— Никуда ты не поедешь, — твердо сказал Фомин.

— Что же мне, погибать здесь?

— Как хочешь.

— Но почему я не могу поехать? Ведь меня доконают эти ночевки на холоде!

— А ежели тебя захватят в хуторе? Об этом ты подумал? Тогда доконают нас всех. Али я тебя не знаю? Ты же выдашь нас на первом допросе! Ишо до допроса выдашь, по дороге в Вешки.

Чумаков засмеялся и одобрительно кивнул головой. Он целиком был согласен со словами Фомина. Но Капарин упрямо сказал:

— Я должен поехать. Твои остроумные предложения меня не разубедили.

— А я тебе сказал — сиди и не рыпайся.

— Но пойми же, Яков Ефимович, что я больше не могу жить этой звериной жизнью! У меня плеврит и, может быть, даже воспаление легких!

— Выздоровеешь. Полежишь на солнышке и выздоровеешь.

Капарин резко заявил:

— Все равно я поеду сегодня. Держать меня ты не имеешь права. Уеду при любых условиях!

Фомин посмотрел на него, подозрительно сощурил глаз и, подмигнув Чумакову, поднялся с земли.

— А ты, Капарин, похоже, что на самом деле захворал… У тебя, должно быть, жар большой… Ну-ка, дай я попробую — голова у тебя горячая? — Он сделал несколько шагов к Капарину, протягивая руку.

Видно, что-то недоброе заметил Капарин в лице Фомина, попятившись, резко крикнул:

— Отойди!

— Не шуми! Что шумишь? Я только попробовать. Чего ты полохаешься? — Фомин шагнул и схватил Капарина за горло. — Сдаваться, сволочь?! — придушенно бормотал он и весь напрягся, силясь опрокинуть Капарина на землю.

Григорий с трудом разнял их, пустив в ход всю свою силу.

…После обеда Капарин подошел к Григорию, когда тот развешивал на кусте свое выстиранное бельишко, сказал:

— Хочу с вами поговорить наедине… Давайте присядем.

Они сели на поваленный бурей, обопревший ствол тополя.

Капарин, глухо покашливая, спросил:

— Как вы смотрите на выходку этого идиота? Я искренне благодарю вас за вмешательство. Вы поступили благородно, как и подобает офицеру. Но это ужасно! Я больше не могу. Мы — как звери… Сколько дней уже, как мы не ели горячего, и потом этот сон на сырой земле… Я простудился, бок отчаянно болит. У меня, наверно, воспаление легких. Мне очень хочется посидеть у огня, поспать в теплой комнате, переменить белье… Я мечтаю о чистой, свежей рубашке, о простыне… Нет, не могу!

Григорий улыбнулся:

— Воевать хотелось с удобствами?

— Послушайте, какая это война? — с живостью отозвался Капарин. — Это не война, а бесконечные кочевки, убийства отдельных совработников, а затем бегство. Война была бы тогда, когда нас поддержал бы народ, когда началось бы восстание, а так это — не война, нет, не война!

— У нас нету другого выхода. Не сдаваться же нам?

— Да, но что же делать?

Григорий пожал плечами. Он сказал то, что не раз приходило ему на ум, когда он отлеживался тут, на острове:

— Плохая воля все-таки лучше хорошей тюрьмы. Знаете, как говорят в народе: крепка тюрьма, да черт ей рад.

Капарин палочкой чертил на песке какие-то фигуры, после долгого молчания сказал:

— Не обязательно сдаваться, но надо искать какие-то новые формы борьбы с большевиками. Надо расстаться с этим гнусным народом. Вы — интеллигентный человек…

— Ну, какой там из меня интеллигент, — усмехнулся Григорий. — Я и слово-то это со трудом выговариваю.

— Вы офицер.

— Это по нечаянности.

— Нет, без шуток, вы же офицер, вращались в офицерском обществе, видели настоящих людей, вы же не советский выскочка, как Фомин, и вы должны понимать, что нам бессмысленно оставаться здесь. Это равносильно самоубийству. Он подставил нас в дубраве под удар и, если с ним и дальше связывать нашу судьбу, — подставит еще не раз. Он попросту хам, да к тому же еще буйный идиот! С ним мы пропадем!

— Так, стало быть, не сдаваться, а уйти от Фомина? Куда? К Маслаку? — спросил Григорий.

— Нет. Это такая же авантюра, только масштабом крупнее. Сейчас я иначе смотрю на это. Уходить надо не к Маслаку…

— А куда же?

— В Вешенскую.

Григорий с досадой пожал плечами:

— Это называется — опять за рыбу деньги. Не подходит это мне.

Капарин посмотрел на него остро заблестевшими глазами:

— Вы меня не поняли, Мелехов. Могу я вам довериться?

— Вполне.

— Честное слово офицера?

— Честное слово казака.

Капарин глянул в сторону возившихся у стоянки Фомина и Чумакова и, хотя расстояние

до них было порядочное и они никак не могли слышать происходившего разговора, понизил голос:

— Я знаю ваши отношения с Фоминым и другими. Вы среди них — такое же инородное тело, как и я. Меня не интересуют причины, заставившие вас пойти против Советской власти. Если я правильно понимаю, это — ваше прошлое и боязнь ареста, не так ли?

— Вы сказали, что вас не интересуют причины.

— Да-да, это к слову, теперь несколько слов о себе. Я в прошлом офицер и член партии социалистов-революционеров, позднее я решительно пересмотрел свои политические убеждения… Только монархия может спасти Россию. Только монархия! Само провидение указывает этот путь нашей родине. Эмблема Советской власти — молот и серп, так? — Капарин палочкой начертил на песке слова «молот, серп», потом впился в лицо Григория горячечно блестящими глазами: — Читайте наоборот. Прочли? Вы поняли? Только престолом окончится революция и власть большевиков! Знаете ли, меня охватил мистический ужас, когда я узнал об этом! Я трепетал, потому что это, если хотите, — божий перст, указывающий конец нашим метаниям…

Капарин задохнулся от волнения и умолк. Его острые, с тихой сумасшедшинкой глаза были устремлены на Григория. Но тот вовсе не трепетал и не испытывал мистического ужаса, услышав такое откровение. Он всегда трезво и буднично смотрел на вещи, потому и сказал в ответ:

— Никакой это не перст. Вы в германскую войну на фронте были?

Озадаченный вопросом, Капарин ответил не сразу:

— Собственно, почему вы об этом? Нет, непосредственно на фронте я не был.

— А где же вы проживали войну? В тылу?

— Да.

— Все время?

— Да, то есть не все время, но почти. А почему вы об этом спрашиваете?

— А я на фронте с четырнадцатого года и по нынешний день, с небольшими перерывами. Так вот насчет этого перста… Какой там может быть перст, когда и бога-то нету? Я в эти глупости верить давно перестал. С пятнадцатого года как нагляделся на войну, так и надумал, что бога нету. Никакого! Ежели бы был — не имел бы права допущать людей до такого беспорядка. Мы, фронтовики, отменили бога, оставили его одним старикам да бабам. Пущай они потешаются. И перста никакого нету и монархии быть не может. Народ ее кончил раз навсегда. А это, что вы показываете, буквы разные перевертываете, это, извините меня, — детская забава, не больше. И я трошки не пойму — к чему вы все это подводите? Вы мне говорите попроще да покороче. Я в юнкерском не учился и не дюже грамотный, хотя и офицером был. Ежели бы я пограмотнее был, может, и не сидел бы тут с вами на острове, как бирюк, отрезанный половодьем, — закончил он с явственно прозвучавшим в голосе сожалением.

— Это не важно, — торопливо сказал Капарин. — Не важно, верите вы в бога или нет. Это — дело ваших убеждений, вашей совести. Точно так же не имеет значения — монархист вы, или учредиловец, или просто казак, стоящий на платформе самостийности. Важно, что нас объединяет единство отношений к Советской власти. Вы согласны с этим?

— Дальше.

— Мы делали ставку на всеобщее восстание казаков, так? Она оказалась битой. Теперь надо выпутываться из этого положения. С большевиками можно бороться и потом и не только под начальством какого-то Фомина. Важно сейчас сохранить себе жизнь, поэтому я и предлагаю вам союз.

— Какой союз. Против кого?

— Против Фомина.

— Не понимаю.

— Все очень просто. Я приглашаю вас в сообщники… — Капарин заметно волновался и говорил уже, прерывисто дыша: — Мы с вами убиваем эту троицу и идем в Вешенскую. Понятно? Это нас спасет. Эта заслуга перед Советской властью избавляет нас от наказания. Мы живем! Вы понимаете, живем!.. Спасаем себе жизнь! Само собою разумеется, что в будущем при случае мы выступаем против большевиков. Но тогда, когда будет серьезное дело, а не такая авантюра, как с этим несчастным Фоминым. Согласны? Учтите, что это — единственный выход из нашего безнадежного положения, и притом блистательный выход.

— Но как это сделать? — спросил Григорий, внутренне содрогаясь от возмущения, но всеми силами стараясь скрыть охватившее его чувство.

— Я все обдумал: мы сделаем это ночью, холодным оружием, на следующую ночь приезжает этот казак, который снабжает нас продуктами, мы переезжаем Дон — вот и все. Гениально просто, и никаких ухищрений!

С притворным добродушием, улыбаясь, Григорий сказал:

— Это здорово! А скажите, Капарин, вы утром, когда собирались в хутор греться… Вы в Вешки собирались? Фомин разгадал вас?

Капарин внимательно посмотрел на добродушно улыбавшегося Григория и сам улыбнулся, слегка смущенно и невесело:

— Откровенно говоря — да. Знаете ли, когда стоит вопрос о собственной шкуре — в выборе средств не особенно стесняешься.

— Выдали бы нас?

— Да, — честно признался Капарин. — Но вас лично я постарался бы оградить от неприятностей, если б вас взяли здесь, на острове.

— А почему вы один не побили нас? Ночью это легко было сработать.

— Риск. После первого выстрела остальные…

— Клади оружие! — сдержанно сказал Григорий, выхватывая наган. — Клади, а то убью на месте! Я зараз встану, заслоню тебя спиной, чтобы Фомин не видал, и ты кинешь наган мне под ноги. Ну? Не вздумай стрелять! Положу при первом движении.

Капарин сидел, мертвенно бледнея.

— Не убивайте меня! — прошептал он, еле шевеля белыми губами.

— Не буду. А оружие возьму.

— Вы меня выдадите…

По заросшим щекам Капарина покатились слезы. Григорий сморщился от омерзения и жалости, повысил голос:

— Бросай наган! Не выдам, а надо бы! Ну и хлюст ты оказался! Ну и хлюст!

Капарин бросил револьвер к ногам Григория.

— А браунинг? Давай и браунинг. Он у тебя во френче, в грудном кармане.

Капарин вынул и бросил блеснувший никелем браунинг, закрыл лицо руками. Он вздрагивал от сотрясавших его рыданий.

— Перестань ты, сволочь! — резко сказал Григорий, с трудом удерживаясь от желания ударить этого человека.

— Вы меня выдадите… Я погиб.

— Я тебе сказал, что нет. Но как только переедем с острова — копти на все четыре стороны. Такой ты никому не нужен. Ищи сам себе укрытия.

Капарин отнял от лица руки. Мокрое багровое лицо его с опухшими глазами и

трясущейся нижней челюстью было страшно.

— Зачем же тогда… Зачем вы меня обезоружили? — заикаясь, спросил он.

Григорий нехотя сказал:

— А это — чтобы ты мне в спину не выстрелил. От вас, от ученых людей, всего можно ждать… А все про какой-то перст толковал, про царя, про бога… До чего же ты склизкий человек…

Не взглянув на Капарина, время от времени сплевывая обильно набегавшую слюну, Григорий медленно пошел к стоянке.

Стерлядников сшивал дратвой скошевку на седле, тихо посвистывал. Фомин и Чумаков, лежа на попонке, по обыкновению, играли в карты.

Фомин коротко взглянул на Григория, спросил:

— Чего он тебе говорил? Об чем речь шла?

— На жизнь жаловался… Болтал, так, абы что…

Григорий сдержал обещание — не выдал Капарина. Но вечером незаметно вынул из капаринской винтовки затвор, спрятал его. «Черт его знает, на что он может ночью решиться…» — думал он, укладываясь на ночлег.

Утром его разбудил Фомин. Наклонившись, он тихо спросил:

— Ты забрал у Капарина оружие?

— Что? Какое оружие? — Григорий приподнялся, с трудом расправил плечи.

Он уснул только перед рассветом и сильно озяб на заре. Шинель его, папаха, сапоги — все было мокрое от упавшего на восходе солнца тумана.

— Оружие его не найдем. Ты забрал? Да проснись же ты, Мелехов!

— Ну я. А в чем дело?

Фомин молча отошел. Григорий встал, отряхнул шинель. Чумаков неподалеку готовил завтрак: он ополоснул единственную в лагере миску, прижав к груди буханку хлеба, отрезал четыре ровных ломтя, налил из кувшина в миску молока и, раскрошив комок круто сваренной пшенной каши, глянул на Григория.

— Долго ты, Мелехов, зорюешь нынче. Гляди, солнышко-то где!

— У кого совесть чистая, энтот всегда хорошо спит, — сказал Стерлядников, вытирая о полу шинели чисто вымытые деревянные ложки. — А вот Капарин всею ноченьку не спал, все ворочался…

Фомин, молча улыбаясь, смотрел на Григория.

— Садитесь завтракать, разбойнички! — предложил Чумаков.

Он первый зачерпнул ложкой молока, откусил добрых пол-ломтя хлеба. Григорий взял свою ложку, внимательно оглядывая всех, спросил:

— Капарин где?

Фомин и Стерлядников молча ели, Чумаков пристально смотрел на Григория и тоже молчал.

— Капарина куда дели? — спросил Григорий, смутно догадываясь о том, что произошло ночью.

— Капарин теперь далеко, — безмятежно улыбаясь, ответил Чумаков. — Он в Ростов поплыл. Теперь, небось, уже возле Усть-Хопра качается… Вон его полушубочек висит, погляди.

— На самом деле убили? — спросил Григорий, мельком глянув на капаринский полушубок.

Об этом можно было бы и не спрашивать. И так все было ясно, но он почему-то спросил. Ему ответили не сразу, и он повторил вопрос.

— Ну, ясное дело — убили, — сказал Чумаков и прикрыл ресницами серые, женственно красивые глаза. — Я убил. Такая уж у меня должность — убивать людей…

Григорий внимательно посмотрел на него. Смуглое, румяное и чистое лицо Чумакова было спокойно и даже весело. Белесые с золотистым отливом усы резко выделялись на загорелом лице, оттеняя темную окраску бровей и зачесанных назад волос. Он был по-настоящему красив и скромен на вид, этот заслуженный палач фоминской банды… Он положил на брезент ложку, тыльной стороной ладони вытер усы, сказал:

— Благодари Якова Ефимыча, Мелехов. Это он спас твою душеньку, а то бы и ты бы зараз вместе с Капариным в Дону плавал…

— Это за что же?

Чумаков медленно, с расстановкой заговорил:

— Капарин, как видно, сдаваться захотел, с тобой вчера об чем-то, долго разговаривал… Ну, мы с Яковом Ефимычем и надумали убрать его от греха. Можно ему все рассказывать? — Чумаков вопросительно посмотрел на Фомина.

Тот утвердительно качнул головой, и Чумаков, с хрустом дробя зубами неразварившееся пшено, продолжал рассказ:

— Приготовил я с вечеру дубовое полено и говорю Якову Ефимычу: «Я их обоих, и Капарина и Мелехова, дочушкой порешу». А он говорит: «Капарина кончай, а Мелехова не надо». На том и согласились. Подкараулил я, когда Капарин уснул, слышу — и ты спишь, похрапываешь. Ну, подполз и тюкнул поленом по голове. И ножками наш штабс-капитан не дрыгнул! Сладко так потянулся — и покончил жизню… Потихонечку обыскали его, потом взяли за ноги и за руки, донесли до берега, сняли сапоги, френчик, полушубок — и в воду его. А ты все спишь, сном-духом ничего не знаешь… Близко от тебя, Мелехов, смерть нынешнюю ночь стояла! В головах она у тебя стояла. Хотя Яков Ефимыч и сказал, что тебя трогать не надо, а я думаю: «Об чем они могли днем гутарить? Дохлое это дело, когда из пятерых двое начинают наиздальке держаться, секреты разводить…» Подкрался к тебе и уже хотел тебя рубануть с потягом, а то, думаю — вдарь его поленом, а он, черт, здоровый на силу, вскочит и начнет стрелять, ежели не оглушу доразу… Ну, Фомин опять мне все дело перебил. Подошел и шепчет: «Не трогай, он наш человек, ему можно верить». То да се, а тут непонятно нам стало — куда капаринское оружие делось? Так и ушел я от тебя. Ну и крепко же ты спал, беды не чуял!

Григорий спокойно сказал:

— И зря бы убил, дурак! Я в сговоре с Капариным не состоял.

— А с чего же это оружие его у тебя оказалось?

Григорий улыбнулся:

— Я у него пистолеты ишо днем отобрал, а затвор вечером вынул, под седельный потник схоронил.

Он рассказал о вчерашнем разговоре с Капариным и о его предложении.

Фомин недовольно спросил:

— Почему же ты вчера об этом не сказал?

— Пожалел его, черта слюнявого, — откровенно признался Григорий.

— Ах, Мелехов, Мелехов! — воскликнул искренне удивленный Чумаков. — Ты жалость туда же клади, куда затвор от капаринской винтовки положил, — под потник хорони ее, а то она тебя к добру не приведет!

— Ты меня не учи. С твое-то я знаю, — холодно сказал Григорий.

— Учить мне тебя зачем же? А вот ежели бы ночью, через эту твою жалость, ни за что ни про что на тот свет тебя отправил бы, — тогда как?

— Туда и дорога была бы, — подумав, тихо ответил Григорий. И больше для себя, чем для остальных, добавил: — Это в яви смерть животу принимать страшно, а во время сна она, должно быть, легкая…

XV

В конце апреля ночью они переправились на баркасе через Дон. В Рубежном у берега их поджидал молодой казак с хутора Нижне-Кривского Кошелев Александр.

— Я с вами, Яков Ефимыч. Остобрыдло дома проживать, — сказал он, здороваясь с Фоминым.

Фомин толкнул Григория локтем, шепнул:

— Видишь? Я же говорил… Не успели переправиться с острова, а народ уже — вот он! Это — мой знакомец, боевой казачишка. Хорошая примета! Значит, дело будет!

Судя по голосу, Фомин довольно улыбался. Он был явно обрадован появлением нового соучастника. Удачная переправа и то, что сразу же к ним примкнул еще один человек, — все это подбадривало его и окрыляло новыми надеждами.

— Да у тебя, окромя винтовки с наганом, и шашка и бинокль? — довольно говорил он, рассматривая, ощупывая в темноте вооружение Кошелева. — Вот это казак! Сразу видно, что настоящий казак, без подмесу!

Двоюродный брат Фомина подъехал к берегу на запряженной в повозку крохотной лошаденке.

— Кладите на повозку седла, — вполголоса сказал он. — Да поспешайте, ради Христа, а то и время не раннее, да и дорога нам не близкая…

Он волновался, торопил Фомина, а тот, перебравшись с острова и почуяв под ногами твердую землю родного хутора, уже не прочь был бы и домой заглянуть на часок, и проведать знакомых хуторян…

Перед рассветом в табуне около хутора Ягодного выбрали лучших лошадей, оседлали их. Старику, стерегшему табун, Чумаков сказал:

— Дедушка, об конях дюже не горюй. Они доброго слова не стоют, да и поездим мы на них самую малость — как только найдем получше, этих возвернем хозяевам. Ежели спросят: кто, мол, коней угнал? — скажи: милиция станицы Краснокутской забрала. Пущай хозяева туда идут… Мы за бандой гоняем, так и скажи!

С братом Фомина распрощались, выехав на шлях, потом свернули налево, и все пятеро свежей рысью пошли на юго-запад. Где-то неподалеку от станицы Мешковской, по слухам, появилась на днях банда Маслака. Туда и держал путь Фомин, решившийся на слияние.

В поисках банды Маслака трое суток колесили они по степным дорогам правобережья, избегая больших хуторов и станиц. В тавричанских поселках, граничивших с землями Каргинской станицы, обменяли своих плохоньких лошаденок на сытых и легких на побежку тавричанских коней.

На четвертые сутки утром, неподалеку от хутора Вежи, Григорий первый заметил на дальнем перевале походную колонну конницы. Не меньше двух эскадронов шло по дороге, а впереди и по сторонам двигались небольшие разъезды.

— Либо Маслак, либо… — Фомин приложил к глазам бинокль.

— Либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет, — насмешливо сказал Чумаков. — Ты гляди лучше, Яков Ефимыч, а то, ежели это красные, нам надо поворачивать, да поскорее!

— А черт их отсюдова разглядит! — с досадой проговорил Фомин.

— Глядите! Они нас узрили! Разъезд сюда бежит! — воскликнул Стерлядников.

Их действительно увидели. Продвигавшийся правой стороной разъезд круто повернул, на рысях направляясь к ним. Фомин поспешно сунул в футляр бинокль, но Григорий, улыбаясь, перегнулся с седла, взял фоминского коня под уздцы:

— Не спеши! Давай подпустим ближе. Их только двенадцать человек. Разглядим их как следует, а в случае чего можно и ускакать. Кони под нами свежие, чего ты испужался? Гляди в бинокль!

Двенадцать всадников шли на сближение, с каждой минутой все более увеличиваясь в размерах. На зеленом фоне поросшего молодой травой бугра уже отчетливо видны были их фигуры.

Григорий и остальные с нетерпением смотрели на Фомина. У того слегка дрожали державшие бинокль руки. Он так напряженно всматривался, что по щеке, обращенной к солнцу, поползла слеза.

— Красные! На фуражках звезды!.. — наконец глухо выкрикнул Фомин и повернул коня.

Началась скачка. Вслед им зазвучали редкие разрозненные выстрелы. Версты четыре Григорий скакал рядом с Фоминым, изредка оглядываясь.

— Вот и соединились!.. — насмешливо сказал он.

Фомин подавленно молчал. Чумаков, слегка придержав коня, крикнул:

— Надо уходить мимо хуторов! Подадимся на вешенский отвод, там глуше.

Еще несколько верст бешеной скачки, и кони сдадут. На вытянутых шеях их проступила пенная испарина, глубоко залегли продольные складки.

— Надо полегче! Придерживай! — скомандовал Григорий.

Из двенадцати всадников позади осталось только девять, остальные отстали. Григорий смерил глазами разделявшее их расстояние, крикнул:

— Стой! Давайте их обстреляем!..

Все пятеро свели лошадей на рысь, на ходу спешились и сняли винтовки.

— Держи повод! По крайнему слева с постоянного прицела… огонь!

Они расстреляли по обойме, убили под одним из красноармейцев лошадь и снова стали уходить от погони. Их преследовали неохотно. Время от времени обстреливали с далекого расстояния, потом отстали совсем.

— Коней надо попоить, вон пруд, — сказал Стерлядников, указывая плетью на синевшую вдали полоску степного пруда.

Теперь они ехали уже шагом, внимательно оглядывая встречные ложбинки и балки, стараясь пробираться так, чтобы их прикрывали неровные складки местности.

В пруду напоили лошадей и снова тронулись в путь, сначала шагом, а спустя немного — рысью. В полдень остановились покормить лошадей на склоне глубокого лога, наискось пересекавшего степь. Фомин приказал Кошелеву пешком подняться на ближний курган, залечь там и вести наблюдение. В случае появления где-либо в степи верховых Кошелев должен был подать сигнал и немедленно бежать к лошадям.

Григорий стреножил своего коня, пустил на попас, а сам прилег неподалеку, выбрав на косогоре место посуше.

Молодая трава здесь, на подсолнечной стороне лога, была выше и гуще. Пресное дыхание согретого солнцем чернозема не могло заглушить тончайшего аромата доцветающих степных фиалок. Они росли на брошенной залежи, пробивались между сухими будыльями донника, цветным узором стлались по краям давнишней межи, и даже на кремнисто-крепкой целине из прошлогодней, поблекшей травы смотрели на мир их голубые, детски чистые глаза. Фиалки доживали положенный им срок в этой глухой и широкой степи,

а на смену им, по склону лога, на солонцах уже поднимались сказочно яркие тюльпаны, подставляя солнцу свои пунцовые, желтые и белые чашечки, и ветер, смешав разнородные запахи цветов, далеко разносил их по степи.

На крутой осыпи северного склона, затененные обрывом, еще лежали слитые, сочащиеся влагой пласты снега. От них несло холодом, но холод этот еще резче подчеркивал аромат доцветающих фиалок, неясный и грустный, как воспоминание о чем-то дорогом и давно минувшем…

Григорий лежал, широко раскинув ноги, опершись на локти, и жадными глазами озирал повитую солнечной дымкой степь, синеющие на дальнем гребне сторожевые курганы, переливающееся текучее марево на грани склона. На минуту он закрывал глаза и слышал близкое и далекое пение жаворонков, легкую поступь и фырканье пасущихся лошадей, звяканье удил и шелест ветра в молодой траве… Странное чувство отрешения и успокоенности испытывал он, прижимаясь всем телом к жесткой земле. Это было давно знакомое ему чувство. Оно всегда приходило после пережитой тревоги, и тогда Григорий как бы заново видел все окружающее. У него словно бы обострялись зрение и слух, и все, что ранее проходило незамеченным, — после пережитого волнения привлекало его внимание. С равным интересом следил он сейчас и за гудящим косым полетом ястреба-перепелятника, преследовавшего какую-то крохотную птичку, и за медлительным ходом черного жука, с трудом преодолевавшего расстояние между его, Григория, раздвинутыми локтями, и за легким покачиванием багряно-черного тюльпана, чуть колеблемого ветром, блистающего яркой девичьей красотой. Тюльпан рос совсем близко, на краю обвалившейся сурчины. Стоило лишь протянуть руку, чтобы сорвать его, но Григорий лежал не шевелясь, с молчаливым восхищением любуясь цветком и тугими листьями стебля, ревниво сохранявшими в складках радужные капли утренней росы. А потом переводил взгляд и долго бездумно следил за орлом, парившим над небосклоном, над мертвым городищем брошенных сурчин…

Часа через два они снова сели на лошадей, стремясь достигнуть к ночи знакомых хуторов Еланской станицы.

Красноармейский разъезд, вероятно, по телефону сообщил об их продвижении. При въезде в слободу Каменку откуда-то из-за речки навстречу им защелкали выстрелы. Певучий свист пуль заставил Фомина свернуть в сторону. Под обстрелом проскакали краем слободы и вскоре выбрались на табунные земли Вешенской станицы. За поселком Топкая Балка их попробовал перехватить небольшой отряд милиции.

— Околесим с левой стороны, — предложил Фомин.

— Пойдем в атаку, — решительно сказал Григорий. — Их девять человек, нас пятеро. Прорвемся!

Его поддержали Чумаков и Стерлядников. Обнажив шашки, они пустили усталых лошадей легким наметом. Не спешиваясь, милиционеры открыли частую стрельбу, а потом поскакали в сторону, не приняв атаки.

— Это слабосильная команда. Они протоколы писать мастера, а драться всурьез им слабо! — насмешливо крикнул Кошелев.

Отстреливаясь, когда увязавшиеся за ними милиционеры начинали наседать, Фомин и остальные уходили на восток, уходили, как преследуемые борзыми волки: изредка огрызаясь и почти не останавливаясь. Во время одной из перестрелок был ранен Стерлядников. Пуля пробила ему икру левой ноги, затронув кость. Стерлядников охнул от пронизавшей ногу боли, сказал, бледнея:

— В ногу попали… И все в эту же, хромую. Вот сволочуги, а?

Чумаков, откинувшись назад, захохотал во все горло. Он смеялся так, что на глазах его выступили слезы. Подсаживая на лошадь опиравшегося на его руку Стерлядникова, он все еще вздрагивал от смеха, говорил:

— Ну, как это они выбрали? Это они нарочно туда целили… Видят — хромой какой-то скачет, дай, думают, вовзятки ему эту ногу перебьем… Ох, Стерлядников! Ох, смертынька моя!.. Нога-то ишо на четверть короче станет… Как же ты теперь плясать будешь? Прийдется мне теперь ямку для твоей ноги на аршин глуби копать…

— Замолчи, пустобрех! Не до тебя мне! Замолчи, ради Христа! — морщась от боли, просил Стерлядников.

Полчаса спустя, когда стали выезжать на изволок одной из бесчисленных балок, он попросил:

— Давайте остановимся, повременим трошки… Надо мне рану залепить, а то крови натекло полон сапог…

Остановились. Григорий держал лошадей, Фомин и Кошелев вели редкий огонь по маячившим вдали милиционерам. Чумаков помог Стерлядникову разуться.

— А крови-то на самом деле набежало много… — хмурясь, сказал Чумаков и вылил из сапога на землю красную жижу.

Он хотел было разрезать шашкой мокрую и парную от крови штанину, но Стерлядников не согласился.

— Штаны на мне добрые, не к чему их пороть, — сказал он и уперся ладонями в землю, поднял раненую ногу. — Стягивай штанину, только потихоньку.

— Бинт у тебя есть? — спросил Чумаков, ощупывая карманы.

— А на черта он мне нужен, твой бинт? Обойдусь и без него.

Стерлядников внимательно рассмотрел выходное отверстие раны, потом зубами вынул из патрона пулю, всыпал на ладонь пороху и долго размешивал порох с землей, предварительно размочив землю слюною. Оба отверстия сквозной раны он обильно замазал грязью и довольно проговорил:

— Это дело опробованное! Присохнет ранка и через двое суток заживет, как на собаке.

До самого Чира они не останавливались. Милиционеры держались позади на почтительном расстоянии, и лишь изредка оттуда звучали одиночные выстрелы. Фомин часто оглядывался, говорил:

— Провожают нас вназирку… Либо подмоги ждут со стороны? Неспроста они держатся издали…

На хуторе Вислогузовском вброд переехали речку Чир, шагом поднялись на пологий бугор. Лошади предельно устали. Под гору на них кое-как съезжали рысцой, а на гору вели в поводу, ладонями сгребая с мокрых лошадиных боков и крупов дрожащие комья пены.

Предположения Фомина сбылись: верстах в пяти от Вислогузовского их стали нагонять семь человек конных на свежих, резво бежавших лошадях.

— Ежели они нас и дальше будут так из рук в руки передавать — рептух нам будет! — мрачно сказал Кошелев.

Они ехали по степи бездорожно, отстреливались по очереди: пока двое, лежа в траве, вели огонь — остальные отъезжали саженей на двести, спешивались и держали под обстрелом противника, давая возможность первым двум проскакать вперед саженей четыреста, залечь и изготовиться к стрельбе. Они убили или тяжело ранили одного милиционера, под вторым убили лошадь. Вскоре была убита лошадь и под Чумаковым. Он бежал рядом с лошадью Кошелева, держась за стремя.

Длиннее становились тени. Солнце клонилось к закату. Григорий предложил не

разъединяться, и они поехали шагом, все вместе. Рядом с ним шагал Чумаков. Потом они увидели на гребне бугра пароконную подводу, повернули к дороге. Пожилой бородатый казак-подводчик погнал лошадей вскачь, но выстрелы заставили его остановиться.

— Зарублю подлюгу! Будет знать, как убегать… — сквозь зубы процедил Кошелев, вырываясь вперед, изо всех сил охаживая лошадь плетью.

— Не трогай его, Сашка, не велю! — предупредил Фомин и еще издали закричал: — Распрягай, дед, слышишь? Распрягай, пока живой!

Не слушая слезных просьб старика, сами отцепили постромки, сняли с лошадей шлеи и хомуты, живо накинули седла.

— Оставьте хоть одну из своих взамен! — плача просил старик.

— А того-сего не хочешь в зубы, старый черт? — спросил Кошелев. — Нам кони самим нужны! Благодари господа бога, что живой остался…

Фомин и Чумаков сели на свежих лошадей. К шестерым всадникам, следовавшим за ними по пятам, вскоре присоединились еще трое.

— Надо погонять! Трогайте, ребята! — сказал Фомин. — К вечеру ежели доберемся до Кривских логов — тогда мы будем спасенные…

Он хлестнул плетью своего коня, поскакал вперед. Слева от него на коротком поводу шел второй конь. Срезанные лошадиными копытами, во все стороны летели, словно крупные капли крови, пунцовые головки тюльпанов. Григорий, скакавший позади Фомина, посмотрел на эти красные брызги и закрыл глаза. У него почему-то закружилась голова, и знакомая острая боль подступила к сердцу.

Лошади шли из последних сил. От беспрерывной скачки и голода устали и люди. Стерлядников уже покачивался в седле и сидел белый, как полотно. Он много потерял крови. Его мучили жажда и тошнота. Он съел немного зачерствевшего хлеба, но его тотчас же вырвало.

В сумерках неподалеку от хутора Кривского они въехали в середину возвращавшегося со степи табуна, в последний раз сделали по преследователям несколько выстрелов и с радостью увидели, что погоня отстает. Девять всадников вдалеке съехались вместе, о чем-то, видимо, посовещались, а потом повернули обратно.

В хуторе Кривском у знакомого Фомину казака они пробыли двое суток. Хозяин жил зажиточно и принял их хорошо. Поставленные в темный сарай лошади не поедали овса и к концу вторых суток основательно отдохнули от сумасшедшей скачки. У лошадей дневали по очереди, спали вповалку в прохладном, затянутом паутиной мякиннике и отъедались вволю за все полуголодные дни, проведенные на острове.

Хутор можно было бы покинуть на другой же день, но их задерживал Стерлядников: рана его разболелась, к утру по краям ее появилась краснота, а к вечеру нога распухла, и больной впал в беспамятство. Его томила жажда. Всю ночь, как только сознание возвращалось к нему, он просил воды, пил жадно, помногу. За ночь он выпил почти ведро воды, но вставать даже при посторонней помощи уже не мог — каждое движение причиняло ему жестокую боль. Он мочился, не поднимаясь с земли, и стонал не умолкая. Его перенесли в дальний угол мякинника, чтобы не так слышны были стоны, но это не помогло. Он стонал иногда очень громко, а когда к нему приходило беспамятство, в бреду громко и несвязно кричал.

Пришлось и около него установить дежурство. Ему давали воду, смачивали пылающий лоб и ладонями или шапкой закрывали рот, когда он начинал слишком громко стонать или бредить.

К концу второго дня он пришел в себя и сказал, что ему лучше.

— Когда едете отсюда? — спросил он Чумакова, поманив его к себе пальцем.

— Нынче ночью.

— Я тоже поеду. Не бросайте меня тут, ради Христа!

— Куда ты гож? — вполголоса сказал Фомин. — Ты же и ворохнуться не можешь.

— Как — не могу? Гляди! — Стерлядников с усилием приподнялся и тотчас снова лег.

Лицо его горело, на лбу мелкими капельками выступил пот.

— Возьмем, — решительно сказал Чумаков. — Возьмем, не бойся, пожалуйста! И слезы вытри, ты — не баба.

— Это пот, — тихо шепнул Стерлядников и надвинул на глаза шапку…

— И рады бы тебя тут оставить, да хозяин не соглашается. Не робей, Василий! Заживет твоя нога, и мы с тобой ишо поборемся и казачка спляшем. Чего ты духом пал, ну? Хоть бы рана сурьезная была, а то так, ерунда!

Всегда суровый и хамовитый в обращении с другими, Чумаков сказал это так ласково и с такими подкупающе мягкими и сердечными нотками в голосе, что Григорий удивленно посмотрел на него.

Из хутора они выехали незадолго до рассвета. Стерлядникова с трудом усадили в седло, но самостоятельно сидеть он не мог, валился то на одну сторону, то на другую. Чумаков ехал рядом, обняв его правой рукой.

— Вот обуза-то… Прийдется бросить его, — шепнул Фомин, поравнявшись с Григорием, сокрушенно качая головой.

— Добить?

— Ну, а что же, в зубы глядеть ему? Куда мы с ним?

Они долго ехали шагом, молчали. Чумакова сменил Григорий, потом Кошелев.

Взошло солнце. Внизу над Доном все еще клубился туман, а на бугре уже прозрачны и ясны были степные дали, и с каждой минутой все синее становился небосвод, с застывшими в зените перистыми облачками. На траве серебряной парчою лежала густая роса, и там, где проходили лошади, оставался темный ручьистый след. Только жаворонки нарушали великую и благостную тишину, распростертую над степью.

Стерлядников, в такт лошадиному шагу обезволенно мотавший головой, тихо сказал:

— Ох, тяжелехонько!

— Молчи! — грубо прервал его Фомин. — Нам с тобой нянчиться тоже не легче!

Неподалеку от Гетманского шляха из-под ног лошадей свечою взвился стрепет. Тонкий дребезжащий посвист его крыльев заставил Стерлядникова очнуться от забытья.

— Братцы, ссадите меня с коня… — попросил он.

Кошелев и Чумаков осторожно сняли его с седла, положили на мокрую траву.

— Дай хоть поглядим, что у тебя с ногой. А ну, расстегни-ка штаны! — сказал Чумаков, присаживаясь на корточки.

Нога Стерлядникова чудовищно распухла, туго без единой морщинки натянув, заполнив вею просторную штанину. До самого бедра кожа, принявшая темно-фиолетовый оттенок, лоснилась и была покрыта темными бархатистыми на ощупь пятнами. Такие же пятна, только более светлой окраски, показались и на смуглом, глубоко ввалившемся животе. От раны, от засохшей на штанах бурой крови уже исходил дурной, гнилостный запах, и Чумаков рассматривал ногу своего друга, зажав пальцами нос, морщась и еле удерживая подкатившую к горлу тошноту. Потом он внимательно посмотрел на опущенные синие веки Стерлядникова и переглянулся с Фоминым, сказал:

— Похоже, что антонов огонь прикинулся… Да-а-а… Плохие твои дела, Василий Стерлядников… Прямо-таки дохлые дела!.. Эх, Вася; Вася, как это тебя угораздило…

Стерлядников коротко и часто дышал и не говорил ни слова. Фомин и Григорий спешились как по команде, с наветренной стороны подошли к раненому. Он полежал немного и, опираясь на руки, сел, оглядел всех мутными и строгими в своей отрешенности глазами:

— Братцы! Предайте меня смерти… Я уже не жилец тут… Истомился весь, нету больше моей моченьки…

Он снова лег на спину и закрыл глаза. Фомин и все остальные знали, что такая просьба должна была последовать, и ждали ее. Коротко мигнув Кошелеву, Фомин отвернулся, а Кошелев, не прекословя, сорвал с плеча винтовку. «Бей!» — скорее догадался, чем услышал он, глянув на губы отошедшего в сторону Чумакова. Но Стерлядников снова открыл глаза, твердо сказал:

— Стреляй сюда. — Он поднял руку и пальцем указал себе на переносицу. — Чтобы сразу свет потух… Будете на моем хуторе — скажите бабе, мол, так и так… Нехай не ждет.

Кошелев что-то подозрительно долго возился с затвором, медлил, и Стерлядников, опустив веки, успел договорить:

— У меня — только одна баба… а детишек нету… Одного она родила, и то мертвого… А больше не было…

Два раза Кошелев вскидывал винтовку и опускал ее, все больше и больше бледнея… Чумаков яростно толкнул его плечом, вырвал из рук винтовку.

— Не можешь, так не берись, щенячья кровь… — хрипло крикнул он и снял с головы шапку, пригладил волосы.

— Скорей! — потребовал Фомин, ставя ногу в стремя.

Чумаков, подыскивая нужные слова, медленно и тихо сказал:

— Василий! Прощай и прости меня и всех нас, ради Христа! На том свете сойдемся, и нас там рассудят… Бабе твоей перекажем, об чем просил. — Он подождал ответа, но Стерлядников молчал и бледнел, ожидая смерти. Только опаленные солнцем ресницы его вздрагивали, словно от ветра, да тихо шевелились пальцы левой руки, пытавшиеся зачем-то застегнуть на груди обломанную пуговицу гимнастерки.

Много смертей видел Григорий на своем веку, а на эту — смотреть не стал. Он торопливо пошел вперед, с силой натягивая поводья, ведя за собой коня. Выстрела он ждал с таким чувством, как будто ему самому должны были всадить пулю между лопатками… Выстрела ждал, и сердце отсчитывало каждую секунду, но когда сзади резко, отрывисто громыхнуло — у него подкосились ноги, и он еле удержал вставшего на дыбы коня…

Часа два они ехали молча. Только на стоянке Чумаков первый нарушил молчание. Закрыв глаза ладонью, он глухо сказал:

— И на черта я его стрелял? Было бы бросить его в степи, не брать лишнего греха на душу. Так и стоит перед глазами…

— Все никак не привыкнешь? — спросил Фомин. — Сколько народу ты перебил — и не мог привыкнуть? У тебя же не сердце, ржавая железяка заместо него…

Чумаков побледнел, свирепо уставился на Фомина.

— Ты не трогай меня зараз, Яков Ефимович! — тихо сказал он. — Ты не квели мою душу, а то я и тебя могу стукнуть… Очень даже просто!

— На что ты мне нужен, трогать тебя? У меня и без тебя забот хватает, — примирительно сказал Фомин и лег на спину, щурясь от солнца, с наслаждением потягиваясь.

XVI

Вопреки ожиданиям Григория, за полторы недели к ним присоединилось человек сорок казаков. Это были остатки растрепанных в боях различных мелких банд. Потеряв своих атаманов, они скитались по округу и охотно шли к Фомину. Им было решительно все равно — кому бы ни служить и кого бы ни убивать, лишь бы была возможность вести привольную кочевую жизнь и грабить всех, кто попадался под руку. Это был отпетый народ, и Фомин, глядя на них, презрительно говорил Григорию: «Ну, Мелехов, наплав пошел к нам, а не люди… Висельники, как на подбор!» В глубине души Фомин все еще считал себя «борцом за трудовой народ», и хотя не так часто, как прежде, но говорил: «Мы — освободители казачества…» Глупейшие надежды упорно не покидали его… Он снова стал сквозь пальцы смотреть на грабежи, учиняемые его соратниками, считая, что все это — неизбежное зло, с которым необходимо мириться, что со временем он избавится от грабителей и что рано или поздно все же будет он настоящим полководцем повстанческих частей, а не атаманом крохотной банды…

Но Чумаков, не стесняясь, называл всех фоминцев «разбойниками» и до хрипоты спорил, убеждая Фомина в том, что и он, Фомин, — не кто иной, как разбойник с большой дороги. Между ними, когда отсутствовали посторонние, часто возникали горячие споры.

— Я идейный борец против Советской власти! — багровея от гнева, кричал Фомин. — А ты меня обзываешь черт те по-каковски! Понимаешь ты это, дурак, что я сражаюсь за идею?!

— Ты мне голову не морочь! — возражал Чумаков. — Ты мне не наводи тень на плетень. Я тебе не мальчик! Тоже, нашелся идейный! Самый натуральный разбойник ты, и больше ничего. И чего ты этого слова боишься? Никак не пойму!

— Почему ты так меня срамишь? Почему, в рот тебе погибель?! Я против власти восстал и дерусь с ней оружием. Какой же я разбойник?..

— А вот потому ты и есть разбойник, что идешь супротив власти. Разбойники — они всегда супротив власти, спокон веков так. Какая бы она, Советская власть, ни была, а она — власть, с семнадцатого года держится, и кто супротив нее выступает — это и есть разбойный человек.

— Пустая твоя голова! А генерал Краснов или Деникин — тоже разбойники были?

— А то кто же? Только при эполетах… Да ить эполеты — дело маленькое. И мы с тобой можем их навесить…

Фомин стучал кулаком, плевался и, не находя убедительных доводов, прекращал бесполезный спор. Убедить Чумакова в чем-либо было невозможно…

В большинстве вновь вступавшие в банду были прекрасно вооружены и одеты. Почти у всех были хорошие лошади, втянувшиеся в бесконечные переходы и без труда делавшие пробеги по сотне верст в день. У некоторых имелось по две лошади: одна шла под седлом, а вторая, именуемая заводной, — налегках, сбоку всадника. При нужде пересаживаясь с лошади на лошадь, давая возможность им отдыхать по очереди, двуконный всадник мог сделать около двухсот верст в сутки.

Фомин как-то сказал Григорию:

— Ежели б у нас было сначала по два коня, ни черта бы нас не угоняли! Милиции или красноармейским частям нельзя у населения брать коней, они стесняются это делать, а нам все дозволено! Надо обзаводиться каждому лишнею лошадью, и нас сроду тогда не угоняют! Старые люди рассказывали, что в древние времена, бывало, татары, как ходили в набеги, каждый о-двуконь, а то и трехконным идет. Кто же таких пристигнет? Надо и нам так проделать. Мне эта татарская мудрость дюже нравится!

Лошадьми они скоро разжились, и это на первое время сделало их действительно неуловимыми. Конная группа милиции, вновь сформированная в Вешенской, тщетно

пыталась настигнуть их. Запасные лошади давали возможность малочисленной банде Фомина легко бросать противника и уходить от него на несколько переходов вперед, избегая рискованного столкновения.

Однако в середине мая группа, превосходившая банду численностью почти в четыре раза, ухитрилась прижать Фомина к Дону неподалеку от хутора Бобровского станицы Усть-Хоперской. Но после короткого боя банда все же прорвалась и ушла берегом Дона, потеряв восемь человек убитыми и ранеными. Вскоре после этого Фомин предложил Григорию занять должность начальника штаба.

— Надо нам грамотного человека, чтобы ходить по плану, по карте, а то когда-нибудь зажмут нас и опять дадут трепки. Берись, Григорий Пантелевич, за это дело.

— Чтобы милиционеров ловить да рубить им головы, штаб не нужен, — хмуро ответил Григорий.

— Всякий отряд должен иметь свой штаб, не болтай пустяков.

— Бери Чумакова на эту должность, ежели без штаба жить не можешь.

— А ты почему не хочешь?

— Понятия не имею об этом деле.

— А Чумаков имеет?

— И Чумаков не имеет.

— Тогда на кой же хрен ты мне его суешь? Ты — офицер и должон иметь понятие, тактику знать и всякие другие штуки.

— Из меня такой же офицер был, как из тебя зараз командир отряда! А тактика у нас одна: мотайся по степи да почаще оглядывайся… — насмешливо сказал Григорий.

Фомин подмигнул Григорию и погрозил пальцем.

— Вижу тебя наскрозь! Все в холодок хоронишься? В тени хочешь остаться? Это, брат, тебя не выручит! Что взводным быть, что начальником штаба — одна цена. Думаешь, ежели поймают тебя, скидку сделают? Дожидайся, как же.

— Ничего я про это не думаю, зря ты догадываешься, — внимательно рассматривая темляк на шашке, сказал Григорий. — А чего не знаю — за это и браться не хочу…

— Ну не хочешь — и не надо, как-нибудь обойдемся и без тебя, — согласился обиженный Фомин.

Круто изменилась обстановка в округе: в дворах зажиточных казаков, всюду, где раньше Фомина встречали с великим гостеприимством, теперь на засов запирали ворота, и хозяева при появлении в хуторе банды дружно разбегались, прятались в садах и левадах. Прибывшая в Вешенскую выездная сессия Ревтребунала строго осудила многих казаков, ранее радушно принимавших Фомина. Слух об этом широко прокатился по станицам и оказал соответствующее воздействие на умы тех, кто открыто выражал свое расположение бандитам.

За две недели Фомин сделал обширный круг по всем станицам Верхнего Дона. В банде насчитывалось уже около ста тридцати сабель, и уже не наспех сформированная конная группа, а несколько эскадронов переброшенного с юга 13-го кавалерийского полка ходили за ними по пятам.

Из числа примкнувших к Фомину за последние дни бандитов многие были уроженцами дальних мест. Все они попали на Дон разными путями: некоторые в одиночку бежали с этапов, из тюрем и лагерей, но основная масса их состояла из отколовшейся от банды Маслака группы в несколько десятков сабель, а также из остатков разгромленной банды Курочкина. Маслаковцы охотно разделились и были в каждом взводе, но курочкинцы не захотели разъединяться. Они целиком составили отдельный взвод, крепко сколоченный и

державшийся несколько обособленно ото всех остальных. И в боях и на отдыхе они действовали сплоченно, стояли друг за друга горой, а разграбив где-либо лавку ЕПО или склад, все валили в общий взводный котел и делили добычу поровну, строго соблюдая принцип равенства.

Несколько человек терских и кубанских казаков в поношенных черкесках, двое калмыков станицы Великокняжеской, латыш в охотничьих, длинных, до бедер, сапогах и пятеро матросов-анархистов в полосатых тельняшках и выгоревших на солнце бушлатах еще больше разнообразили и без того пестро одетый, разнородный состав фоминской банды.

— Ну, и теперь будешь спорить, что у тебя не разбойнички, а эти, как их… идейные борцы? — спросил однажды у Фомина Чумаков, указывая глазами на растянувшуюся походную колонну. — Только попа-расстриги да свиньи в штанах нам и не хватает, а то был бы полный сбор пресвятой богородицы…

Фомин перемолчал. Единственным желанием его было — собрать вокруг себя как можно больше людей. Он ни с чем не считался, принимая добровольцев. Каждого, изъявлявшего желание служить под его командованием, он опрашивал сам, коротко говорил:

— К службе годен. Принимаю. Ступай к моему начальнику штаба Чумакову, он укажет, в каком взводе тебе состоять, выдаст на руки оружие.

В одном из хуторов Мигулинской станицы к Фомину привели хорошо одетого курчавого и смуглолицего парня. Он заявил о своем желании вступить в банду. Из расспросов Фомин установил, что парень — житель Ростова, был осужден недавно за вооруженное ограбление, но бежал из ростовской тюрьмы и, услышав про Фомина, пробрался на Верхний Дон.

— Ты кто таков по роду-племени? Армянин или булгарин? — спросил Фомин.

— Нет, я еврей, — замявшись, ответил парень.

Фомин растерялся от неожиданности и долго молчал. Он не знал, как ему поступить в таком, столь непредвиденном случае. Пораскинув умом, он тяжело вздохнул, сказал:

— Ну что ж, еврей — так еврей. Мы и такими не гребуем… Все лишним человеком больше. А верхом ездить ты умеешь? Нет? Научишься! Дадим по-первам тебе какую-нибудь немудрячую кобыленку, а потом научишься. Ступай к Чумакову, он тебя определит.

Несколько минут спустя взбешенный Чумаков подскакал к Фомину.

— Ты сдурел али шутки шутишь? — крикнул он, осаживая коня. — На черта ты мне жида прислал? Не принимаю! Нехай метется на все четыре стороны!

— Возьми, возьми его, все счетом больше будет, — спокойно сказал Фомин.

Но Чумаков с пеной на губах заорал:

— Не возьму! Убью, а не возьму! Казаки ропот подняли, ступай сам с ними рядись!

Пока они спорили, пререкались, возле обозной тачанки с молодого еврея сняли вышитую рубашку и клешистые суконные штаны. Примеряя на себя рубашку, один из казаков сказал:

— Вон, видишь за хутором — бурьян-старюка? Беги туда рысью и ложись. Лежать будешь — пока мы уедем отсюдова, а как уедем — вставай и дуй куда хочешь. К нам больше не подходи, убьем, ступай лучше в Ростов к мамаше. Не ваше это еврейское дело — воевать. Господь бог вас обучал торговать, а не воевать. Без вас управимся и расхлебаем эту кашку!

Еврея не приняли, зато в этот же день со смехом и шутками зачислили во второй взвод известного по всем хуторам Вешенской станицы дурачка Пашу. Его захватили в степи, привели в хутор и торжественно обрядили в снятое с убитого красноармейца обмундирование, показали, как обращаться с винтовкой, долго учили владеть шашкой.

Григорий шел к своим лошадям, стоявшим у коновязи, но, увидев в стороне густую толпу, направился туда. Взрыв хохота заставил его ускорить шаг, а затем в наступившей тишине он услышал чей-то поучающий, рассудительный голос:

— Да не так же, Паша! Кто так рубит! Так дрова можно рубить, а не человека. Надо вот так, понял? Поймаешь — и сразу приказывай ему становиться на колени, а то стоячего тебе рубить будет неспособно… Станет он на колени, и ты вот так, сзади, и секани его по шее. Норови не прямо рубить, а с потягом на себя, чтобы лезвие резало, шло наискось…

Окруженный бандитами, юродивый стоял навытяжку, крепко сжимая эфес обнаженной шашки. Он слушал наставления одного из казаков, улыбаясь и блаженно жмуря выпученные серые глаза. В углах рта его, словно у лошади, белели набитые пенистые заеди, по медно-красной бороде на грудь обильно текли слюни… Он облизывал нечистые губы и шепеляво, косноязычно говорил:

— Все понял, родненький, все. Так и сделаю… поставлю на коленочки раба божьего и шеечку ему перережу… как есть перережу! И штаны вы мне дали, и рубаху, и сапоги… Вот только пальта у меня нету… Вы бы мне пальтишечку справили, а я вам угожу! Изо всех силов постараюсь!

— Убьешь какого-нибудь комиссара — вот тебе и пальто. А зараз рассказал бы, как тебя в прошлом году женили, — предложил один из казаков.

В-глазах юродивого, расширившихся и одетых мутной наволочью, мелькнул животный страх. Он длинно выругался и под общий хохот стал что-то говорить. Так омерзительно было все это, что Григорий содрогнулся, поспешно отошел. «И вот с такими людьми связал я свою судьбу…» — подумал он, охваченный тоской, горечью и злобой на самого себя, на всю эту постылую жизнь…

Он прилег возле коновязи, стараясь не слушать выкриков юродивого и грохочущего хохота казаков. «Завтра же уеду. Пора!» — решил он, посматривая на своих сытых, поправившихся лошадей. Он готовился к уходу из банды тщательно и обдуманно. У зарубленного милиционера взял документы на имя Ушакова, зашил их под подкладку шинели. Лошадей стал подготавливать к короткому, но стремительному пробегу еще две недели назад: вовремя поил их, чистил так старательно, как не чистил и на действительной службе, всеми правдами и неправдами добывал на ночевках зерно, и лошади его выглядели лучше, чем у всех остальных, особенно — тавричанский серый в яблоках конь. Он весь лоснился, и шерсть его сверкала на солнце, как кавказское черненое серебро.

На таких лошадях можно было смело уходить от любой погони. Григорий встал, пошел в ближний двор. У старухи, сидевшей на порожках амбара, почтительно спросил:

— Коса есть у вас, бабушка?

— Где-то была. Только чума ее знает, где она. А на что тебе?

— Хотел в вашей леваде зеленки лошадям скосить. Можно?

Старуха подумала, потом сказала:

— И когда уж вы с нашей шеи слезете? То вам дай, это подай… Одни приедут — зерна требуют, другие приедут — тоже тянут и волокут все, что глазом накинут. Не дам я тебе косы! Как хочешь, а не дам.

— Что ж, тебе травы жалко, божья старушка?

— А трава, она, что ж, по-твоему, на пустом месте растет? А корову чем я буду кормить?

— Мало в степи травы?

— Вот и поезжай туда, соколик. В степи ее много.

Григорий с досадой сказал:

— Ты, бабушка, лучше дай косу. Я трошки скошу, остальное тебе останется, а то, ежели пустим туда лошадей, — все потравим!

Старуха сурово глянула на Григория и отвернулась.

— Ступай сам возьми, она, никак, под сараем висит.

Григорий разыскал под навесом сарая старенькую порванную косу и, когда проходил мимо старухи, отчетливо слышал, как та проговорила: «Погибели — на вас, проклятых, нету!»

К этому было не привыкать Григорию. Он давно видел, с каким настроением встречают их жители хуторов. «Они правильно рассуждают, — думал он, осторожно взмахивая косой и стараясь выкашивать чище, без огрехов. — На черта мы им нужны? Никому мы не нужны, всем мешаем мирно жить и работать. Надо кончать с этим, хватит!»

Занятый своими мыслями, он стоял около лошадей, смотрел, как жадно хватают они черными бархатистыми губами пучки нежной молодой травы. Из задумчивости его вывел юношеский ломающийся басок:

— До чего конь расхорош, чисто — лебедь!

Григорий глянул в сторону говорившего. Молодой, недавно вступивший в банду казачишка Алексеевской станицы смотрел на серого коня, восхищенно покачивая головой. Не сводя очарованных глаз с коня, он несколько раз обошел вокруг него, пощелкал языком:

— Твой, что ли?

— А тебе чего? — неласково ответил Григорий.

— Давай меняться! У меня гнедой — чистых донских кровей, любую препятствию берет и резвый, до чего резвый! Как молонья!

— Ступай к черту, — холодно сказал Григорий.

Парень помолчал немного, вздохнул огорченно и сел неподалеку. Он долго рассматривал серого, потом сказал:

— Он у тебя с запалом. И отдушины у него нету.

Григорий молча ковырял в зубах соломинкой. Наивный паренек ему начинал нравиться.

— Не будешь меняться, дяденька? — тихо спросил тот, глядя на Григория просящими глазами.

— Не буду. И самого тебя в додачу не возьму.

— А откуда у тебя этот конь?

— Сам выдумал его.

— Нет, взаправди!

— Все из тех же ворот: кобыла ожеребила.

— Вот и погутарь с таким дураком, — обиженно проговорил парень и отошел в сторону.

Пустой, словно вымерший, лежал перед Григорием хутор. Кроме фоминцев, ни души не было видно вокруг. Брошенная на проулке арба, дровосека во дворе с наспех воткнутым в нее топором и недотесанной доской возле, взналыганные быки, лениво щипавшие посреди улицы низкорослую траву, опрокинутое ведро около колодезного сруба — все говорило о том, что мирное течение жизни в хуторе было неожиданно нарушено и что хозяева, бросив незаконченными свои дела, куда-то скрылись.

Такое же безлюдье и такие же следы поспешного бегства жителей видел Григорий, когда казачьи полки ходили по Восточной Пруссии. Теперь довелось ему увидеть это же в родном краю… Одинаково угрюмыми и ненавидящими взглядами встречали его тогда — немцы, теперь — казаки Верхнего Дона. Григорий вспомнил разговор со старухой и тоскливо огляделся по сторонам, расстегнул ворот рубашки. Опять подступила к сердцу проклятая боль…

Жарко калило землю солнце. Пахло на проулке пресным запахом пыли, лебедой и конским потом. В левадах, на высоких вербах, усеянных лохматыми гнездами, кричали грачи. Степная речушка, вскормленная где-то в вершине лога ключами родниковой воды, медлительно текла по хутору, деля его на две части. С обеих сторон к ней сползали

просторные казачьи дворы, все в густой зелени садов, с вишнями, заслонившими окна куреней, с разлапистыми яблонями, простиравшими к солнцу зеленую листву и молодую завязь плодов.

Затуманившимися глазами смотрел Григорий на поросший кучерявым подорожником двор, на крытую соломой хату с желтыми ставнями, на высокий колодезный журавль… Возле гумна, на одном из кольев старого плетня висел лошадиный череп, выбеленный дождями, черневший провалами порожних глазниц. По этому же колу, свиваясь спиралью, ползла, тянулась к свету зеленая тыквенная плеть. Она достигла верхушки кола, цепляясь мохнатыми усиками за выступы черепа, за мертвые лошадиные зубы, и свесившийся кончик ее, ища опоры, уже доставал ветку стоявшего неподалеку куста калины.

Во сне или в далеком детстве видел все это Григорий? Охваченный внезапным приступом горячей тоски, он лег под плетень ничком, закрыл лицо ладонями, и поднялся только тогда, когда издали донеслось протяжное: «Сед-ла-а-ай ко-ней!»

Ночью на походе он выехал из рядов, остановился, как будто для того чтобы переседлать коней, а потом прислушался к медленно удалявшемуся, затихавшему цокоту конских копыт и, вскочив в седло, наметом поскакал в сторону от дороги.

Верст пять он гнал лошадей, не останавливаясь, а потом перевел их на шаг, прислушался — не идет ли позади погоня? В степи было тихо. Только жалобно перекликались на песчаных бурунах кулики да где-то далеко-далеко чуть слышно звучал собачий лай.

В черном небе — золотая россыпь мерцающих звезд. В степи — тишина и ветерок, напитанный родным и горьким запахом полыни… Григорий приподнялся в стременах, вздохнул облегченно, полной грудью…

XVII

Задолго до рассвета он прискакал на луг против Татарского. Ниже хутора, где Дон был мельче, разделся донага, привязал к лошадиным головам одежду, сапоги, оружие и, держа в зубах подсумок с патронами, вместе с лошадьми пустился вплавь. Вода обожгла его нестерпимым холодом. Стараясь согреться, он быстро загребал правой рукой, не выпуская из левой связанных поводьев, вполголоса подбадривая стонущих и фыркающих на плаву лошадей.

На берегу торопливо оделся, подтянул подпруги седел и, чтобы согреть лошадей, шибко поскакал к хутору. Намокшая шинель, мокрые крылья седла, влажная рубашка холодили тело. Зубы Григория стучали, по спине бежал озноб, и сам он весь дрожал, но вскоре быстрая езда его разогрела, и неподалеку от хутора он поехал шагом, осматриваясь по сторонам и чутко прислушиваясь. Лошадей решил оставить в яру. По каменистой россыпи спустился в теклину яра. Под копытами лошадей сухо защелкали камни, посыпались высекаемые подковами огненные брызги.

Григорий привязал лошадей к знакомому с детства сухому караичу, пошел в хутор.

Вот и старый мелеховский курень, темные купы яблонь, колодезный журавль под Большой Медведицей… Задыхаясь от волнения, Григорий спустился к Дону, осторожно перелез через плетень астаховского база, подошел к не прикрытому ставнями окну. Он слышал только частые удары сердца да глухой шум крови в голове. Тихо постучал в переплет рамы, так тихо, что сам почти не расслышал стука. Аксинья молча подошла к окну, всмотрелась. Он увидел, как она прижала к груди руки, и услышал сорвавшийся с губ ее невнятный стон. Григорий знаком показал, чтобы она отворила окно, снял винтовку. Аксинья

распахнула створки.

— Тише! Здравствуй! Не отпирай дверь, я — через окно, — шепотом сказал Григорий.

Он стал на завалинку. Голые руки Аксиньи охватили его шею. Они так дрожали и бились на его плечах, эти родные руки, что дрожь их передалась и Григорию.

— Ксюша… погоди… возьми винтовку, — запинаясь, чуть слышно шептал он.

Придерживая рукой шашку, Григорий шагнул через подоконник, закрыл окно.

Он хотел обнять Аксинью, но она тяжело опустилась перед ним на колени, обняла его ноги и, прижимаясь лицом к мокрой шинели, вся затряслась от сдерживаемых рыданий. Григорий поднял ее, усадил на лавку. Клонясь к нему, пряча лицо на груди у него, Аксинья молчала, часто вздрагивала и стискивала зубами отворот шинели, чтобы заглушить рыдания и не разбудить детей.

Видно, и ее, такую сильную, сломили страдания. Видно, солоно жилось ей эти месяцы… Григорий гладил ее рассыпавшиеся по спине волосы, горячий и мокрый от пота лоб. Он дал ей выплакаться вволю, потом спросил:

— Детишки живы-здоровы?

— Да.

— Дуняшка?

— И Дуняшка… Живая… и здоровая.

— Михаил дома? Да погоди же ты? Перестань, у меня рубаха вся мокрая от твоих слез… Ксюша! Дорогая моя, хватит! Некогда кричать, времени мало… Михаил дома?

Аксинья вытерла лицо, мокрыми ладонями сжала щеки Григория. Улыбаясь сквозь слезы, не сводя с возлюбленного глаз, тихо сказала:

— Я не буду… Я уже не кричу… Нету Михаила, второй месяц в Вешках, служит в какой-то части. Пойди же глянь на детей!.. Ой, и не ждали мы тебя и не чаяли!..

Мишатка и Полюшка, разметавшись, спали на кровати. Григорий склонился над ними, постоял немного и отошел на цыпочках, молча присел возле Аксиньи.

— Как же ты? — горячим шепотом спросила она. — Как пришел? Где же ты пропадал? А ежели поймают тебя?

— Я за тобой. Небось, не поймают! Поедешь?

— Куда?

— Со мною. Ушел я из банды. Я у Фомина был. Слыхала?

— Да. А куда же я с тобой?

— На юг. На Кубань или дальше. Проживем, прокормимся как-нибудь, а? Никакой работой не погнушаюсь. Моим рукам работать надо, а не воевать. Вся душа у меня изболелась за эти месяцы… Ну, об этом после.

— А дети?

— Оставим на Дуняшку. Потом видно будет. Потом заберем и их. Ну? Едешь?

— Гриша… Гришенька…

— Не надо! Без слез. Хватит же! Потом покричим с тобой, время будет… Собирайся, у меня кони ждут в яру. Ну? Едешь?

— А как бы ты думал? — вдруг громко сказала Аксинья и испуганно прижала руку к губам, глянула на детей. — Как бы ты думал? — уже шепотом спросила она. — Сладко мне одной? Поеду, Гришенька, родненький мой! Пеши пойду, поползу следом за тобой, а одна больше не останусь! Нету мне без тебя жизни… Лучше убей, но не бросай опять!..

Она с силой прижала к себе Григория. Он целовал ее и косился на окно. Коротки летние ночи. Надо спешить.

— Может, приляжешь? — спросила Аксинья.

— Что ты! — испуганно воскликнул он. — Скоро рассвет, надо ехать. Одевайся и ступай покличь Дуняшку. Договоримся с ней. Нам надо затемно добраться до Сухого лога. Там в лесу переднюем, а ночью — дальше. Верхом-то ты усидишь?

— Господи, тут хоть бы как-нибудь, а не то — верхом! Я все думаю — не во сне ли это мне снится? Я тебя часто во сне вижу… и все по-разному… — Аксинья торопливо причесывала волосы, держа в зубах шпильки, и говорила невнятно, тихо. Она быстро оделась, шагнула к двери.

— Разбудить детей? Хоть поглядишь на них.

— Нет, не надо, — решительно сказал Григорий.

Он достал из шапки кисет и стал сворачивать папироску, но как только Аксинья вышла, он поспешно подошел к кровати и долго целовал детей, а потом вспомнил Наталью и еще многое вспомнил из своей нелегкой жизни и заплакал.

Переступив порог, Дуняшка сказала:

— Ну, здравствуй, братец! Прибился к дому? Сколько ни блукать тебе по степи… — И перешла на причитания. — Дождались детки родителя… При живом отце стали сиротами…

Григорий обнял ее, сурово сказал:

— Тише, детишек побудишь! Ты это брось, сестра! Я эту музыку слыхал! А слез и горя у меня своего хватает… Тебя я не за этим покликал. Детей возьмешь на воспитание?

— А ты куда денешься?

— Ухожу и Аксинью беру с собой. Возьмешь детей к себе? Устроюсь на работу, тогда заберу их.

— Ну, а как же? Раз уж вы обое уходите — возьму. Не на улице же им оставаться, и на чужих людей их не кинешь…

Григорий молча поцеловал Дуняшку, сказал:

— Великое спасибо тебе, сестра! Я знал, что не откажешь.

Дуняшка молча присела на сундук, спросила:

— Когда уходите? Зараз?

— Да.

— А дом как же? Хозяйство?

Аксинья нерешительно ответила:

— Смотри сама. Пусти квартирантов — или делай, как знаешь. Что останется из одежи, из имения — перенеси к себе…

— Что я скажу людям-то? Спросят, куда делась, — что я говорить буду? — спросила Дуняшка.

— Скажи, что ничего не знаешь, вот и весь сказ. — Григорий повернулся к Аксинье. — Ксюша, поспешай, собирайся. Много не бери с собой. Возьми теплую кофту, две-три юбки, бельишко какое есть, харчей на первый случай, вот и все.

Чуть забрезжил рассвет, когда, простившись с Дуняшкой и перецеловав так и не проснувшихся детей, Григорий и Аксинья вышли на крыльцо. Они спустились к Дону, берегом дошли до яра.

— Когда-то мы с тобой в Ягодное вот так же шли, — сказал Григорий. — Только узелок у тебя тогда был побольше, да сами мы были помоложе…

Охваченная радостным волнением, Аксинья сбоку взглянула на Григория.

— А я все боюсь — не во сне ли это? Дай руку твою потрогаю, а то веры нету. — Она тихо засмеялась, на ходу прижалась к плечу Григория.

Он видел ее опухшие от слез, сияющие счастьем глаза, бледные в предрассветных сумерках щеки. Ласково усмехаясь, подумал: «Собралась и пошла, как будто в гости… Ничто

ее не страшит, вот молодец баба!»

Словно отвечая на его мысли, Аксинья сказала:

— Видишь, какая я… свистнул, как собачонке, и побежала я за тобой. Это любовь да тоска по тебе, Гриша, так меня скрутили… Только детишек жалко, а об себе я и «ох» не скажу. Везде пойду за тобой, хоть на смерть!

Заслышав их шаги, тихо заржали кони. Стремительно приближался рассвет. Уже зарозовела чуть приметно на восточной окраине полоска неба. Над Доном поднялся от воды туман.

Григорий отвязал лошадей, помог Аксинье сесть в седло. Стремена были отпущены длинновато по ногам Аксиньи. Досадуя на свою непредусмотрительность, он подтянул ремни, сел на второго коня.

— Держи за мной, Ксюша! Выберемся из яра — пойдем наметом. Тебе будет не так тряско. Поводья не отпускай. Конишка, какой под тобой, этого недолюбливает. Береги колени. Он иной раз балуется, норовит ухватить зубами за колено. Ну, айда.

До Сухого лога было верст восемь. За короткий срок они проскакали это расстояние и на восходе солнца были уже возле леса. На опушке Григорий спешился, помог Аксинье сойти с коня.

— Ну, как? Тяжело с непривычки ездить верхом? — улыбаясь, спросил он.

Раскрасневшаяся от скачки Аксинья блеснула черными глазами.

— Хорошо! Лучше, чем пешком, Вот только ноги… — И она смущенно улыбнулась. — Ты отвернись) Гриша, я гляну на ноги. Что-то кожу пощипывает… потерлась, должно быть.

— Это пустяки, пройдет, — успокоил Григорий. — Разомнись трошки, а то у тебя ноженьки что-то подрагивают… — И с ласковой насмешкой сощурил глаза: — Эх, ты, казачка!

У самой подошвы буерака он выбрал небольшую полянку, сказал:

— Тут и будет наш стан, располагайся, Ксюша!

Григорий расседлал коней, стреножил их, положил под куст седла и оружие. Обильная густая роса лежала на траве, и трава от росы казалась сизой, а по косогору, где все еще таился утренний полумрак, она отсвечивала тусклой голубизной. В полураскрытых чашечках цветов дремали оранжевые шмели. Звенели над степью жаворонки, в хлебах, в душистом степном разнотравье дробно выстукивали перепела: «Спать пора! Спать пора! Спать пора!» Григорий умял возле дубового куста траву, прилег, положив голову на седло. И гремучая дробь перепелиного боя, и усыпляющее пение жаворонков, и теплый ветер, наплывавший из-за Дона с неостывших за ночь песков, — все располагало ко сну. Кому-кому, а Григорию, не спавшему много ночей подряд, пора было спать. Перепела уговорили его, и он, побежденный сном, закрыл глаза. Аксинья сидела рядом, молчала, задумчиво обрывая губами фиолетовые лепестки пахучей медвянки.

— Гриша, а никто нас тут не захватит? — тихо спросила она, коснувшись стебельком цветка заросшей щеки Григория.

Он с трудом очнулся от дремотного забытья, хрипло сказал:

— Никого нету в степи. Зараз же глухая пора. Я усну, Ксюша, а ты покарауль лошадей. Потом ты уснешь. Сон сморил меня… сплю… Четвертые сутки… Потом погутарим…

— Спи, родненький, спи крепше!

Аксинья наклонилась к Григорию, отвела со лба его нависшую прядь волос, тихонько коснулась губами щеки.

— Милый мой, Гришенька, сколько седых волос-то у тебя в голове… — сказала она шепотом. — Стареешь, стало быть? Ты же недавно парнем был… — И с грустной

полуулыбкой заглянула в лицо Григорию.

Он спал, слегка приоткрыв губы, мерно дыша. Черные ресницы его, с сожженными солнцем кончиками, чуть вздрагивали, шевелилась верхняя губа, обнажая плотно сомкнутые белые зубы. Аксинья всмотрелась в него внимательнее и только сейчас заметила, как изменился он за эти несколько месяцев разлуки. Что-то суровое, почти жестокое было в глубоких поперечных морщинах между бровями ее возлюбленного, в складках рта, в резко очерченных скулах… И она впервые подумала, как, должно быть, страшен он бывает в бою, на лошади, с обнаженной шашкой. Опустив глаза, она мельком взглянула на его большие узловатые руки и почему-то вздохнула.

Спустя немного Аксинья тихонько встала, перешла поляну, высоко подобрав юбку, стараясь не замочить ее по росистой траве. Где-то недалеко бился о камни и звенел ручеек. Она спустилась в теклину лога, устланную замшелыми, покрытыми прозеленью, каменными плитами, напилась холодной родниковой воды, умылась и досуха вытерла порумяневшее лицо платком. С губ ее все время не сходила тихая улыбка, радостно светились глаза. Григорий снова был с нею! Снова призрачным счастьем манила ее неизвестность… Много слез пролила Аксинья бессонными ночами, много горя перетерпела за последние месяцы. Еще вчера днем, на огороде, когда бабы, половшие по соседству картофель, запели грустную бабью песню, — у нее больно сжалось сердце, и она невольно прислушалась.

Тега-тега, гуси серые, домой,
Не пора ли вам наплаваться?
Не пора ли вам наплаваться,
Мне, бабеночке, наплакаться…

— выводил, жаловался на окаянную судьбу высокий женский голос, и Аксинья не выдержала: слезы так и брызнули из ее глаз! Она хотела забыться в работе, заглушить ворохнувшуюся под сердцем тоску, но слезы застилали глаза, дробно капали на зеленую картофельную ботву, на обессилевшие руки, и она уже ничего не видела и не могла работать. Бросив мотыгу, легла на землю, спрятала лицо в ладонях, дала волю слезам…

Только вчера она проклинала свою жизнь, и все окружающее выглядело серо и безрадостно, как в ненастный день, а сегодня весь мир казался ей ликующим и светлым, словно после благодатного летнего ливня. «Найдем и мы свою долю!» — думала она, рассеянно глядя на резные дубовые листья, вспыхнувшие под косыми лучами восходящего солнца.

Возле кустов и на солнцепеке росли душистые пестрые цветы. Аксинья нарвала их большую охапку, осторожно присела неподалеку от Григория и, вспомнив молодость, стала плести венок. Он получился нарядный и красивый. Аксинья долго любовалась им, потом воткнула в него несколько розовых цветков шиповника, положила в изголовье Григорию.

Часов в девять Григорий проснулся от конского ржания, испуганно сел, шаря вокруг себя руками, ища оружие.

— Никого нету, — тихо сказала Аксинья. — Чего ты испужался?

Григорий протер глаза, сонно улыбнулся:

— Приучился по-заячьи жить. Спишь и во сне одним глазом поглядываешь, от каждого стука вздрагиваешь… От этого, девка, скоро не отвыкнешь. Долго я спал?

— Нет. Может, ишо уснешь?

— Мне надо сутки подряд спать, чтобы отоспаться как следует. Давай лучше завтракать. Хлеб и нож у меня в седельных сумах, достань сама, а я пойду коней напою.

Он встал, снял шинель, повел плечами. Жарко пригревало солнце. Ветер ворошил листья деревьев, и за шелестом их уже не слышно было певучего говора ручья.

Григорий спустился к воде, из камней и веток сделал в одном месте запруду, шашкой нарыл земли, засыпал ею промежутки между камнями. Когда вода набралась возле его плотины, он привел лошадей и дал им напиться, потом снял с них уздечки, снова пустил пастись.

За завтраком Аксинья спросила:

— Куда же мы поедем отсюда?

— На Морозовскую. Доедем до Платова, а оттуда пойдем пеши.

— А кони?

— Бросим их.

— Жалко, Гриша! Кони такие добрые, на серого прямо не наглядишься, и надо бросать? Где ты его добыл?

— Добыл… — Григорий невесело усмехнулся. — Грабежом взял у одного тавричанина.

После недолгого молчания он сказал:

— Жалко не жалко, а бросать прийдется… Нам лошадьми не торговать.

— А к чему ты при оружии едешь? На что оно нам сдалось? Не дай бог, увидит кто — беды наберемся.

— Кто нас ночью увидит? Я его так, для опаски оставил. Без него мне уже страшновато… Бросим коней — и оружие брошу. Тогда оно уже будет ненужное.

После завтрака они легли на разостланной шинели. Григорий тщетно боролся со сном, Аксинья, опершись на локоть, рассказывала, как жила без него, как много выстрадала за это время. Сквозь неодолимую дрему Григорий слышал ее ровный голос и не в силах был поднять отяжелевшие веки. Иногда он вовсе переставал слышать Аксинью. Голос ее удалялся, звучал глуше и затихал совсем. Григорий вздрагивал и просыпался, а через несколько минут уже снова закрывал глаза. Усталость была сильнее его желаний и воли.

— …скучали, спрашивали — где батя? Я с ними по-всячески, все больше лаской. Приобыкли, привязались ко мне и стали реже проведывать Дуняшку. Полюшка — тихонькая, смирная. Куклят ей нашью из лоскутков, она и сидит с ними под столом, занимается. А Мишатка раз прибегает с улицы, весь дрожит. «Ты чего?» — спрашиваю. Заплакал, да так горько. «Ребята со мной не играются, говорят — твой отец бандит. Мамка, верно, что он бандит? Какие бывают бандиты?» Говорю ему: «Никакой он не бандит, твой отец. Он так… несчастный человек». Вот и привязался он с расспросами: почему несчастный и что такое несчастный? Никак ему не втолкую… Они сами, Гриша, стали звать меня матерью, не подумай, что я их учила. А Михаил ничего с ними обходился, ласково. Со мной не здоровался, отвернется и пройдет мимо, а им раза два сахару привозил из станицы. Прохор все об тебе горевал. Пропал, говорит, человек. На прошлой неделе зашел погутарить об тебе и ажник слезьми закричал… Обыск делали у меня, все оружие искали — и под застрехами, и в погребу, и везде…

Григорий уснул, так и не дослушав рассказа. Над головой его шептались под ветром листья молодого вяза. По лицу скользили желтые блики света. Аксинья долго целовала его закрытые глаза, а потом и сама уснула, прижавшись к руке Григория щекой, улыбаясь и во сне.

Поздней ночью, когда зашел месяц, они покинули Сухой лог. Через два часа езды спустились с бугра к Чиру. На лугу кричали коростели, в камышистых заводях речки надсаживались лягушки, и где-то далеко и глухо стонала выпь.

Сплошные сады тянулись над речкой, неприветно чернея в тумане.

Неподалеку от мостка Григорий остановился. Полное безмолвие царило в хуторе. Григорий тронул коня каблуками, свернул в сторону. Ехать через мост он не захотел. Не верил он этой тишине и боялся ее. На краю хутора они переехали речку вброд и только что

свернули в узкий переулок, как из канавы поднялся человек, за ним — еще трое.

— Стой! Кто едет?

Григорий вздрогнул от окрика, как будто от удара, натянул поводья. Мгновенно овладев собой, он громко отозвался: «Свои! — И круто поворачивая коня, успел шепнуть Аксинье: — Назад! За мной!»

Четверо из заставы недавно расположившегося на ночевку продотряда молча и не спеша шли к ним. Один остановился прикурить, зажег спичку. Григорий с силой вытянул плетью коня Аксиньи. Тот рванулся и с места взял в карьер. Пригнувшись к лошадиной шее, Григорий скакал следом. Томительные секунды длилась тишина, а потом громом ударил неровный раскатистый залп, вспышки огня пронизали темноту. Григорий услышал жгучий свист пуль и протяжный крик:

— В ружье-о-о!..

Саженях в ста от речки Григорий догнал машисто уходившего серого коня, поравнявшись, крикнул:

— Пригнись, Ксюша! Пригнись ниже!

Аксинья натягивала поводья и, запрокидываясь, валилась набок. Григорий успел поддержать ее, иначе она бы упала.

— Тебя поранили?! Куда попало?! Говори же!.. — хрипло спросил Григорий.

Она молчала и все тяжелее наваливалась на его руку. На скаку прижимая ее к себе, Григорий задыхался, шептал:

— Ради господа бога! Хоть слово! Да что же это ты?!

Но ни слова, ни стона не услышал он от безмолвной Аксиньи.

Верстах в двух от хутора Григорий круто свернул с дороги, спустился к яру, спешился и принял на руки Аксинью, бережно положил ее на землю.

Он снял с нее теплую кофту, разорвал на груди легкую ситцевую блузку и рубашку, ощупью нашел рану. Пуля вошла Аксинье в левую лопатку, раздробила кость и наискось вышла под правой ключицей. Окровавленными трясущимися руками Григорий достал из переметных сум чистую исподнюю рубашку, индивидуальный пакет. Он приподнял Аксинью, подставил под спину ей колено, стал перевязывать рану, пытаясь унять хлеставшую из-под ключицы кровь. Клочья рубашки и бинт быстро чернели, промокали насквозь. Кровь текла также из полуоткрытого рта Аксиньи, клокотала и булькала в горле. И Григорий, мертвея от ужаса, понял, что все кончено, что самое страшное, что только могло случиться в его жизни, — уже случилось…

По крутому склону яра, по тропинке, пробитой в траве и усеянной овечьими орешками, он осторожно спустился в яр, неся на руках Аксинью. Безвольно опущенная голова ее лежала у него на плече. Он слышал свистящее, захлебывающееся дыхание Аксиньи и чувствовал, как теплая кровь покидает ее тело и льется изо рта ему на грудь. Следом за ним сошли в яр обе лошади. Фыркая и гремя удилами, они стали жевать сочную траву.

Аксинья умерла на руках у Григория незадолго до рассвета. Сознание к ней так и не вернулось. Он молча поцеловал ее в холодные и соленые от крови губы, бережно опустил на траву, встал. Неведомая сила толкнула его в грудь, и он попятился, упал навзничь, но тотчас же испуганно вскочил на ноги. И еще раз упал, больно ударившись обнаженной головой о камень. Потом, не поднимаясь с колен, вынул из ножен шашку, начал рыть могилу. Земля была влажная и податливая. Он очень спешил, но удушье давило ему горло, и, чтобы легче было дышать, он разорвал на себе рубашку. Предутренняя свежесть холодила его влажную от пота грудь, и ему стало не так трудно работать. Землю он выгребал руками и шашкой, не отдыхая ни минуты, но пока вырыл могилу глубиной в пояс — ушло много времени.

Хоронил он свою Аксинью при ярком утреннем свете. Уже в могиле он крестом сложил на груди ее мертвенно побелевшие смуглые руки, головным платком прикрыл лицо, чтобы земля не засыпала ее полуоткрытые, неподвижно устремленные в небо и уже начавшие тускнеть глаза. Он попрощался с нею, твердо веря в то, что расстаются они ненадолго…

Ладонями старательно примял на могильном холмике влажную желтую глину и долго стоял на коленях возле могилы, склонив голову, тихо покачиваясь.

Теперь ему незачем было торопиться. Все было кончено.

В дымной мгле суховея вставало над яром солнце. Лучи его серебрили густую седину на непокрытой голове Григория, скользили по бледному и страшному в своей неподвижности лицу. Словно пробудившись от тяжкого сна, он поднял голову и увидел над собой черное небо и ослепительно сияющий черный диск солнца.

XVIII

Ранней весною, когда сойдет снег и подсохнет полегшая на зиму трава, в степи начинаются весенние палы. Потоками струится подгоняемый ветром огонь, жадно пожирает он сухой аржанец, взлетает по высоким будыльям татарника, скользит по бурым верхушкам чернобыла, стелется по низинам… И после долго пахнет в степи горькой гарью от выжженной и потрескавшейся земли. Кругом весело зеленеет молодая трава, трепещут над нею в голубом небе бесчисленные жаворонки, пасутся на кормовитой зеленке пролетные гуси и вьют гнезда осевшие на лето стрепета. А там, где прошлись палы, зловеще чернеет мертвая, обуглившаяся земля. Не гнездует на ней птица, стороною обходит ее зверь, только ветер, крылатый и быстрый, пролетает над нею и далеко разносит сизую золу и едкую темную пыль.

Как выжженная палами степь, черна стала жизнь Григория. Он лишился всего, что было дорого его сердцу. Все отняла у него, все порушила безжалостная смерть. Остались только дети. Но сам он все еще судорожно цеплялся за землю, как будто и на самом деле изломанная жизнь его представляла какую-то ценность для него и для других…

Похоронив Аксинью, трое суток бесцельно скитался он по степи, но ни домой, ни в Вешенскую не поехал с повинной. На четвертые сутки, бросив лошадей в одном из хуторов Усть-Хоперской станицы, он переправился через Дон, пешком ушел и Слащевскую дубраву, на опушке которой в апреле впервые была разбита банда Фомина. Еще тогда, в апреле, он слышал о том, что в дубраве оседло живут дезертиры. К ним и шел Григорий, не желая возвращаться к Фомину.

Несколько дней бродил он по огромному лесу. Его мучил голод, но пойти куда-либо к жилью он не решился. Он утратил со смертью Аксиньи и разум и былую смелость. Треск поломанной ветки, шорох в густом лесу, крик ночной птицы — все повергало его в страх и смятение. Питался Григорий недозрелыми ягодами клубники, какими-то крохотными грибками, листьями орешника — и сильно отощал. На исходе пятого дня его встретили в лесу дезертиры, привели к себе в землянку.

Их было семь человек. Все они — жители окрестных хуторов — обосновались в дубраве с осени прошлого года, когда началась мобилизация. Жили в просторной землянке по-хозяйски домовито и почти ни в чем не нуждались. Ночами часто ходили проведывать семьи; возвращались, приносили хлеб, сухари, пшено, муку, картофель, а мясо не варево без труда добывали в чужих хуторах, изредка воруя скот.

Один из дезертиров, некогда служивший в 12-м казачьем полку, опознал Григория, и его приняли без особых пререканий.

Григорий потерял счет томительно тянувшимся дням. До октября он кое-как прожил в лесу, но когда начались осенние дожди, а затем холода — с новой и неожиданной силой проснулась в нем тоска по детям, по родному хутору…

Чтобы как-нибудь убить время, он целыми днями сидел на нарах, вырезывал из дерева ложки, выдалбливал миски, искусно мастерил из мягких пород игрушечные фигурки людей и животных. Он старался ни о чем не думать и не давать дороги к сердцу ядовитой тоске. Днем это ему удавалось, но длинными зимними ночами тоска воспоминаний одолевала его. Он подолгу ворочался на нарах и не мог заснуть. Днем никто из жильцов землянки не слышал от него ни слова жалобы, но по ночам он часто просыпался, вздрагивая, проводил рукою по лицу — щеки его и отросшая за полгода густая борода были мокры от слез.

Ему часто снились дети, Аксинья, мать и все остальные близкие, кого уже не было в живых. Вся жизнь Григория была в прошлом, а прошлое казалось недолгим и тяжким сном. «Походить бы ишо раз по родным местам, покрасоваться на детишек, тогда можно бы и помирать», — часто думал он.

На провесне как-то днем неожиданно заявился Чумаков. Он был мокр по пояс, но по-прежнему бодр и суетлив. Высушив одежду возле печурки, обогревшись, подсел к Григорию на нары.

— Погуляли же мы, Мелехов, с той поры, как ты от нас отбился! И под Астраханью были, и в калмыцких степях… Поглядели на белый свет! А что крови чужой пролили — счету нету. У Якова Ефимыча жену взяли заложницей, имущество забрали, ну, он и остервенился, приказал рубить всех, кто Советской власти служит. И зачали рубить всех подряд: и учителей, и разных там фельдшеров, и агрономов… Черт те кого только не рубили! А зараз — кончили и нас, совсем, — сказал он, вздыхая и все еще ежась от озноба. — Первый раз разбили нас под Тишанской, а неделю назад — под Соломным. Ночью окружили с трех сторон, оставили один ход на бугор, а там снегу — лошадям по пузо… С рассветом вдарили из пулеметов, и началось… Всех посекли пулеметами. Я да сынишка Фомина — только двое и спаслись. Он, Фомин-то, Давыдку своего с собой возил с самой осени. Погиб и сам Яков Ефимыч… На моих глазах погиб. Первая пуля попала ему в ногу, перебила коленную чашечку, вторая — в голову, наосклизь. До трех раз падал он с коня. Остановимся, подымем, посадим в седло, а он проскачет трошки и опять упадет. Третья пуля нашла его, ударила в бок… Тут уж мы его бросили. Отскакал я на сотейник, оглянулся, а его уже лежачего двое конных шашками полосуют…

— Что ж, так и должно было получиться, — равнодушно сказал Григорий.

Чумаков переночевал у них в землянке, утром стал прощаться.

— Куда идешь? — спросил Григорий.

Улыбаясь, Чумаков ответил:

— Легкую жизнь шукать. Может, и ты со мной?

— Нет, топай один.

— Да, мне с вами не жить… Твое рукомесло, Мелехов, — ложки-чашки вырезывать — не по мне, — насмешливо проговорил Чумаков и с поклоном снял шапку: — Спаси Христос, мирные разбойнички, за хлеб-соль. за приют. Нехай боженька даст вам веселой жизни, а то дюже скучно у вас тут. Живете в лесу, молитесь поломанному колесу — разве это жизня?

Григорий после его ухода пожил в дубраве еще с неделю, потом собрался в дорогу.

— Домой? — спросил у него один из дезертиров.

И Григорий, впервые за все время своего пребывания в лесу, чуть приметно улыбнулся:

— Домой.

— Подождал бы весны. К Первому маю амнистию нам дадут, тогда и разойдемся.

— Нет, не могу ждать, — сказал Григорий и распрощался.

Утром на следующий день он подошел к Дону против хутора Татарского. Долго смотрел на родной двор, бледнея от радостного волнения. Потом снял винтовку и подсумок, достал из него шитвянку, конопляные хлопья, пузырек с ружейным маслом, зачем-то пересчитал патроны. Их было двенадцать обойм и двадцать шесть штук россыпью.

У крутояра лед отошел от берега. Прозрачно-зеленая вода плескалась и обламывала иглистый ледок окраинцев. Григорий бросил в воду винтовку, наган, потом высыпал патроны и тщательно вытер руки о полу шинели.

Ниже хутора он перешел Дон по синему, изъеденному ростепелью, мартовскому льду, крупно зашагал к дому. Еще издали он увидел на спуске к пристани Мишатку и еле удержался, чтобы не побежать к нему.

Мишатка обламывал свисавшие с камня ледяные сосульки, бросал их и внимательно смотрел, как голубые осколки катятся вниз, под гору.

Григорий подошел к спуску, задыхаясь, хрипло окликнул сына:

— Мишенька!.. Сынок!

Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза. Он узнал в этом бородатом и страшном на вид человеке отца…

Все ласковые и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, вспоминая там, в дубраве, своих детей, сейчас вылетели у него из памяти. Опустившись на колени, целуя розовые холодные ручонки сына, он сдавленным голосом твердил только одно слово:

— Сынок… сынок…

Потом Григорий взял на руки сына. Сухими, исступленно горящими глазами жадно всматриваясь в его лицо, спросил:

— Как же вы тут?.. Тетка, Полюшка — живые-здоровые?

По-прежнему не глядя на отца, Мишатка тихо ответил:

— Тетка Дуня здоровая, а Полюшка померла осенью… От глотошной. А дядя Михаил на службе…

Что ж, и сбылось то немногое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына…

Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром.

К О Н Е Ц

* ПРИМЕЧАНИЯ *

[1] ендова — котловина, опушенная лесом

[2] церковный староста

[3] завеска — передник

[4] керосин

[5] двухвершковый конь — конь ростом в два аршина и два вершка; в царскую армию казак обязан был явиться со своим конем не ниже двух аршин и полвершка

[6] атаман — у казаков в царской России так назывался выборный начальник всех степеней; во главе Донского войска стоял войсковой атаман, во главе станиц — станичные атаманы, при выступлении казацкого отряда в поход выбирался особый, походный атаман; в широком смысле это слово значило — старшина; с окончательной утратой самостоятельности донского казачества звание атамана всех казачьих войск было присвоено наследнику престола; фактически казачьими войсками управляли наказные (то есть назначенные) атаманы

[7] офицерские чины царской армии имели следующие наименования: 1) подпоручик (в кавалерии — корнет, в казачьих войсках — хорунжий), 2) поручик (у казаков — сотник), 3) штабс-капитан (в кавалерии — штабс-ротмистр, в казачьих войсках — подъесаул), 4) капитан (в кавалерии — ротмистр, в казачьих войсках — есаул), 5) подполковник (у казаков — войсковой старшина), 6) полковник; первые четыре ступени назывались чинами обер-офицерскими, а последние две — штаб-офицерскими

[8] сослуживец по полку

[9] дышло в бычачьей упряжке

[10] лазоревым цветком называют на Дону степной тюльпан

[11] на-час — на минутку

[12] коклюшковый — связанный на коклюшках, то есть на палочках

[13] Хопер — левый, Чир — правый приток Дона

[14] вязы — шея

[15] круг — четыре гектара

[16] ухнали — гвозди для подков

[17] дать рахунку — довести дело до конца

[18] полипоны — кличка старообрядцев

[19] на неоседланной лошади

[20] хист — ловкость, сноровка, умение

[21] семак — две копейки

[22] станицы имели каждая свое прозвище: Вешенская — Кобели (прим. авт.)

[23] стать на лунки — поставить лошадей на подножный корм

[24] приказный — здесь: звание нижнего чина в казачьих войсках царской армии (помощник урядника, ефрейтор)

[25] черничка — здесь: монашенка

[26] фейерверкер — в царской армии одно из званий в артиллерии, соответствующее унтер-офицеру пехоты

[27] каков голос — каково

[28] особый отдел штаба дивизии

[29] Листницкий имеет в виду ставшие поговоркой слова, которыми будто бы ответив Юлий Цезарь на высказанные ему подозрения относительно поведения его жены: «Жена

Цезаря — выше подозрений"

[30] Кто это? (нем.)

[31] Это ты, Отто? Отчего ты так поздно? (нем.)

[32] Ты меня отпускаешь? О, теперь я понял! Ты — русский рабочий? Социал-демократ, как и я? Да? О! О! Это — как во сне… Мой брат, как я могу забыть… Я не нахожу слов… Но ты чудесный, храбрый парень… Я… (нем.)

[33] В будущих классовых битвах мы будем в одних окопах. Не правда ли, товарищ? (нем.)

[34] Николай Николаевич (1856-1929) — великий князь, верховный главнокомандующий русской армии с начала мировой войны; во время гражданской войны бежал за границу, где, поддерживаемый Врангелем и большей частью монархистов, был одним из претендентов на русский престол

[35] Друзья! Мы били не раз синешинельников! Давайте же покажем и этим, что значит иметь дело с нами. Больше выдержки. Не стреляйте пока (нем.)

[36] дрям — хворост, валежник

[37] поречье — мех выдры или норки

[38] сопля

[39] суцкой (судской) — чиновник, интеллигент

[40] выя — шея

[41] В.Фредерикс — граф, министр царского двора

[42] "Приказ № 1» (1/III — 1917 г.) Исполнительного комитета Петроградского Совета, изданный под давлением революционно настроенных масс, вводил выборные организации в войсковых частях и контроль этих организаций над действиями старого царского командного состава

[43] боевая большевистская газета

[44] Алиса — Александра Федоровна (до замужества принцесса Алиса Гессенская), жена Николая II

[45] здесь: цейсовский (фабрики Цейса) бинокль

[46] наштаверх — начальник штаба верховного главнокомандующего

[47] здесь: солдаты женского ударного батальона («Батальона смерти»)

[48] филе — здесь: вязаная сеткою (ячейками) работа (например, рыболовные сети)

[49] искровая команда — так назывались радиотелеграфисты

[50] пятым номером обозначался список большевистских кандидатов на выборах в Учредительное собрание

[51] деривация — отклонение вправо во время полета снарядов и пуль нарезного оружия

[52] "Партия народной свободы» — так называлась контрреволюционная партия кадетов

[53] Вот так так, вот это да!..

[54] Сиверс Р.Ф. — бывший прапорщик, большевик; в 1917 г. был редактором большевистской «Окопной правды»; один из руководителей вооруженной борьбы с белогвардейщиной и интервенцией на Украине и Дону; умер от тяжелого ранения в декабре 1918 г.

[55] здесь и далее даты — по новому стилю

[56] туба — низменное место на лугу, обычно поросшее лесом, сообщающееся с руслом реки лощиной

[57] водворка — дочь, за которую в дом принимают зятя

[58] Союз русского народа — черносотенная, монархическая организация в царской России, вела антисемитскую агитацию, организовывала еврейские погромы, убийства

политических противников, получая огромные суммы денег от правительства

[59] флинта — старинное ружье

[60] ледяным походом корниловцы назвали свое отступление от Ростова и Кубани

[61] путы, треноги

[62] вот-вот, очень скоро

[63] чига, чигуня — насмешливое прозвище верхнедонских казаков

[64] сетка, в которой носят сено

[65] хирша — загривок

[66] совсем, вконец

[67] снеговой покров на льду, пропитанный водой

[68] сразу

[69] Киквидзе Василий Исидорович (1894-1919) — революционер, коммунист, герой гражданской войны, командир дивизии; погиб в бою 11 февраля 1919 года

[70] связь — хата из двух комнат, соединенных сенями

[71] старцы — нищие

[72] крольчиха

[73] урема — мелкий лес и кустарник в низменных долинах рек

[74] две копейки

[75] единое потребительское общество

[76] здесь: название окружных или уездных органов ЧК в 1920-1921 гг.

[77] здесь: в смысле закадычные